



Н.И. Кареев

ХІХ ВЕК. СРЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
ОТ ИЮЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ДО ПАДЕНИЯ ВТОРОЙ ИМПЕРИИ
(1830—1870 гг.)



ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НОВОЕ ВРЕМЯ



**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ**

Предисловие

Настоящий том «Истории Западной Европы в Новое время», заключающий в себе обзор четырех средних десятилетий XIX в. (1830—1870 гг.), находится в более тесной связи с четвертым томом, в котором изложена история первых трех десятилетий того же века (1800—1830 гг.). Главные события и культурно-социальные движения излагаются в них подробнее, чем то было сделано в первых трех томах по отношению к предшествующим столетиям, и этим двум томам предпослана в виде «введения в историю XIX века» особая книжка под заглавием «Философия культурной и социальной истории Нового времени», являющаяся своего рода résumé первых трех томов. Автор предполагает подобным же образом резюмировать в одном историко-философском очерке и содержание обоих томов, посвященных истории XIX века, чтобы, представляя собой изложение основных понятий, главнейших обобщений и наиболее существенных итогов истории первых двух третей истекающего столетия, этот новый историко-философский очерк, в свою очередь, послужил введением в историю последних трех десятилетий XIX века, которая будет составлять содержание VI тома.

В настоящем томе выдерживаются общая точка зрения и характер изложения предыдущих частей всего труда, тем более что содержание первой половины этого тома тоже было предметом университетских лекций, как и содержание других томов.

*8 февраля 1895 г.
15 октября 1898 г.*

Н.И. Кареев

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Развитие культурных и социальных
отношений

XIX век. Средние десятилетия.
От Июльской революции до падения
Второй империи (1830–1870 гг.)

«Академический проект»

Москва, 2019

УДК 94(100)"05/..."
ББК 63.3(0)4/6
К22

Кареев Н.И.

К22 История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. XIX век. Средние десятилетия. От Июльской революции до падения Второй империи (1830–1870 гг.). — М.: Академический проект, 2019. — 797 с. — (История Европы: эпохи).

ISBN 978-5-8291-2239-3

В настоящее издание входит капитальный труд известного русского историка и социолога Н.И. Кареева «История Западной Европы в Новое время» (изданный в 1893–1917 гг.), который охватывает значительный период европейской истории, начиная от позднего Средневековья до начала XX в. Эта работа возникла из читанных им общих курсов новой истории, имевших своей целью выяснить значение двух главных переворотов в жизни европейского Запада за последние четыре века, то есть Реформации и Революции, в связи с общим характером новой истории с ее отличием от средневековой. Книга написана на высоком теоретическом уровне с привлечением огромного количества источников. Исторические события освещаются в связи с общим культурным контекстом, что позволяет увидеть некоторые скрытые механизмы-двигатели исторического процесса и проследить их взаимное влияние, обеспечивая необходимую для исторического анализа широту взгляда, проследить процесс становления современного европейца. Книга издается впервые с момента своего выхода в свет.

Данный том посвящен истории Европы в период 1830–1870-х гг. XIX в. Подробно рассматриваются революционные события 1848 г. и последовавшая за ними реакция, в том числе интеллектуальная и культурная. Книга может быть рекомендована как историкам-профессионалам, так и всем, кто интересуется историей Европы.

УДК 94(100)"05/..."
ББК 63.3(0) 4/6

ISBN 978-5-8291-2239-3

© Составление, оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2019

Июльская революция

I. Общий взгляд на состояние Западной Европы перед Июльской революцией¹

Общее значение 1830 г. в западноевропейской истории. — Перемена в английской политике в середине двадцатых годов. — Греческое восстание и отношение к нему Европы. — Неудача политики Меттерниха. — Франко-русское сближение при Карле X и Николае I. — Усиление либерализма во Франции и в Англии. — Французское влияние в Европе. — Бельгия и Польша в 1815—1830 гг. — Результаты эпохи реакции в Германии и Италии. — Связь международной политики с внутренними отношениями

В 1830 г. во Франции совершился политический переворот, получивший название «июльской революции». Бурбоны, дважды (1814 и 1815 гг.) восстанавливавшиеся на французском престоле в лице Людовика XVIII, были в лице его брата Карла X низвергнуты, а королем сделался родственник низложенного дома, герцог Орлеанский, принявший имя Людовика-Филиппа. За эпохой «реставрации» последовала эпоха «июльской монархии», окончившаяся через восемнадцать лет новой катастрофой, известной под названием «февральской революции» 1848 г. Оба эти переворота отразились и на других государствах Западной Европы, вследствие чего 1830 и 1848 гг. имеют важное общеевропейское значение.

Июльская революция, прежде всего, повлияла на Бельгию, которая восстала против соединения своего с Голландией в одно Нидерландское королевство и добилась отделения от Голландии. Успех парижского переворота и бельгийского восстания подействовал на поляков, осенью того же 1830 г. поднявших знамя восстания во имя национальной независимости. Революционные попытки сделаны были, далее, и в некоторых частях Италии и Германии. Наконец, в самой Англии начались смуты, благодаря коим подвинулось вперед дело парламентской реформы. Казалось, что наступал период новых революционных бурь, коим суждено было опять потрясти всю Европу,

¹ *Gervinus*. Geschichte des XIX Jahrhunderts seit den Wiener Verträge; *Flahe Th.* Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1883 (в коллекции Онкена), особенно кн. I, отд. III (Niedergang und Auflösung der heiligen Allianz); *Debidou A.* Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du congrès de Vienne jusqu'à la clôture du congrès de Berlin (1814—1878). T. I. La Sainte Alliance. P., 1891; *Finlay*. Hist. of the Greek revolution, 1861; *Prokesch-Osten*. Gesch. des Abfalls der Griechen. 1867; *Zinkeisen*. Gesch. der griechischen Revolution (3—4 тома его Истории Греции. 1840); *Mendelssohn-Bartholdy K.* Gesch. Griechenlands seit 1453, 1870—1874; *Hertzberg G.F.* Neueste Gesch. Griechenlands, 1879. Сочинения по истории Бельгии и Польши до 1830 г. указаны в следующей главе вместе с сочинениями по истории обеих революций. Для политики России при Николае I см. кн. С. С. Татищева.

как это было в эпоху первой Французской революции. Между тем, как раз перед июльским переворотом весьма сильно порасшатался Священный союз, бывший главным органом европейской реакции с 1815 г., союз, подавивший конституционные движения начала двадцатых годов в южнороманских странах и везде содействовавший абсолютистским и клерикально-аристократическим стремлениям. Известно, что настоящим руководителем реакционной политики в «эпоху конгрессов» (1814–1822 гг.) был австрийский министр, князь Меттерних. Но во второй половине двадцатых годов его международное положение сильно поколебалось. В конце 1825 г. в России произошла перемена царствования. Новый император, Николай I, с самого же начала освободил русскую иностранную политику от австрийского влияния, которому вполне подчинялся его предшественник в последние годы своей жизни. Около того же времени и английская политика, шедшая дотоле на буксире политики австрийской, равным образом эмансипировалась от ее влияния и пошла совершенно самостоятельным путем. Эта перемена выразилась в том, что, вопреки Меттерниху, Англия и Россия, к коим примкнула и Франция, вмешались в греческое восстание: с точки зрения Священного союза последнее было такой же революцией, какие были подавлены этим союзом в Италии и Испании, тогда как, наоборот, общественное мнение высказывалось повсюду в смысле необходимости оказания помощи грекам, и вот на сторону этих самых греков становятся, к крайнему неудовольствию Австрии, три великие державы. Священный союз, видимо, отступал от своих традиций и распадался. В перспективе были даже новые международные комбинации, осуществление коих могло бы повести к новой перделке карты Европы, т. е. к изменению того, что было сделано Венским конгрессом и что взял под свою охрану Священный союз. Июльская революция не могла не отразиться на международных отношениях Европы. Низвержение легитимной монархии во Франции и взрыв революций в Бельгии и Варшаве повлекли за собою скрепление значительно поколебленного в предыдущие годы союза между Австрией, Пруссией и Россией, т. е. возобновление тех политических традиций, коими жил Священный союз. Но на этот раз ни Франция, в которой Июльская революция нанесла удар абсолютистской и клерикально-феодальной реакции, ни Англия, где равным образом реакция уступила место более либеральному режиму, уже не могли играть той роли, какая выпала на их долю в эпоху конгрессов. Если итальянские и германские волнения, — не получившие, впрочем, большого значения, — и были подавлены, то и французская, и бельгийская революции избежали той участи, какой подверглись в начале двадцатых годов революции неаполитанская и испанская. Между прочим, прямо на пользу им послужила революция, вспыхнувшая в Польше и создавшая новые хлопоты не одной только России, и последней было теперь не до вмешательства в западноевропейские дела; да и Австрия была занята близко ее касавшимися

итальянскими волнениями. Дело до общеевропейской войны, которой все боялись в первые два года после Июльской революции, однако, не дошло, но, как бы то ни было, созданиям Венского конгресса и принципам Священного союза был нанесен удар успехом французской и бельгийской революций¹. Кроме того, возникновение революционных движений вслед за Июльской революцией в разных местах показывало, что везде более или менее существовал горячий материал и что Франция не утратила способности революционировать народы, — способности, доставившей ей такие успехи в конце XVIII в. 1848 г. обнаружил это еще с большей очевидностью.

Таково общее значение 1830 г. в западноевропейской истории. Прежде, нежели мы будем говорить о самом июльском перевороте и о его последствиях вне Франции, мы должны бросить взгляд на общее состояние Западной Европы перед этими событиями, т. е., во-первых, на международные отношения во второй половине двадцатых годов, а во-вторых, на общественное настроение в тех странах, где произошли революционные движения начала тридцатых годов.

Веронский конгресс 1822 г. и вызванная им французская экспедиция 1823 г. в Испании для подавления революции в этой стране были последними крупными деяниями Священного союза, заставившими повсеместно реакционеров поднять голову. Вскоре после этого произошла значительная перемена во внешней политике Англии, которая в министерство Кэстльри, в общем, шла рука об руку со Священным союзом. В 1822 г. Кэстльри окончил жизнь самоубийством, и министром иностранных дел (а в 1826 г. и первым министром) сделался знаменитый Джордж Каннинг², при коем и произошла упомянутая перемена во внешней политике Англии. Новый министр отнесся весьма неблагоприятно к принципам Веронского конгресса и к французскому вмешательству в испанские дела. «Итак, — говорил он в начале 1823 г. французскому *chargé d'affaires* в Лондоне, гр. Марселлюсу, — вы предпринимаете крестовый поход во имя политических теорий! Разве вы не знаете, что система, вами защищаемая, нам ненавистна, и что английская система есть не что иное, как результат побед, которые одерживались подданными над королями... Если, — сказал Каннинг в другой раз тому же лицу, — Фердинанд (испанский король) будет, подобно Иакову II, противиться желаниям своей нации, он вполне заслужит, чтобы к нему была применена английская система. И поверьте мне, этот пример может распространиться, пожалуй, даже и на вас самих». Впрочем, в испанском деле Каннинг ограничился лишь заявлениями своего несочувствия, да предложением своих услуг испанским корте-

¹ Обо всем относящемся к Венскому конгрессу, Священному союзу, южнороманским революциям и новым конгрессам см. Историю Западной Европы в Новое время, т. IV, гл. XII (в конце) и XV.

² См.: *Stapleton A. Political Life of Canning 1822—1827, 1831.*

сам в смысле посредничества. Решительнее выступил он зато в деле американских колоний Испании, отложившихся от своей метрополии, чтобы образовать самостоятельные республики. Испанское правительство, конечно, не хотело терять своих колоний и в этом отношении пользовалось нравственной поддержкой Священного союза, а он не прочь был бы при известных обстоятельствах оказать и более действительную помощь мадридскому двору. Французский министр иностранных дел уже носился с планом о новом конгрессе для улаживания вопроса об испанских колониях от имени Священного союза, — правда, в смысле образования из колоний автономных королевств с принцами из дома Бурбонов во главе, причем в случае надобности Франция должна была бы и в Америке разыграть роль исполнительницы велений Священного союза. Но Каннинг ни под каким видом не хотел допустить нового расширения французского влияния и вошел в соглашение с Северо-Американскими Штатами, где нашел полное сочувствие и поддержку. Тогда именно президент великой заатлантической республики Монро торжественно заявил, что Европа не имеет ни малейшего права вмешиваться во внутренние дела свободных американских народов (1823 г.). Между тем испанский король по внушению со стороны французского двора предложил открыть в Париже конференцию для решения испанско-американского вопроса. Каннинг не только наотрез отказал в участии Англии в этой конференции, но прямо выразил то мнение, что единственным способом решения вопроса могло бы быть лишь признание совершившихся фактов. Не менее решительным отказом отвечал Каннинг и на новое предложение созвать конференцию (1824 г.). Мало того, он назначил английских консулов в главные города испанской Америки и с одной из новых республик даже заключил торговый договор. Наконец, 1 января 1825 г. он объявил всем иностранным посланникам, находившимся в Лондоне, что он намерен послать в испанско-американские колонии дипломатических агентов, признать эти колонии за самостоятельные республики и заключить с ними коммерческие трактаты. В том же 1825 г. Каннинг содействовал признанию независимости Бразилии от Португалии, которая равным образом не соглашалась на отделение этой своей колонии и пользовалась в своем упорстве нравственной поддержкой всех сторонников легитимизма.

Конечно, политику Каннинга в американских делах, шедшую вразрез с идеями Священного союза, нельзя объяснять одним принципиальным несочувствием политике этого союза. Каннинг в данном случае оберегал, прежде всего, политические интересы Англии, коим могло бы сильно повредить и французское вмешательство в пользу Испании, и признание новых республик одними соперничавшими с Англией Соединенными Штатами. С другой стороны, содействие, оказанное английским министром освобождению испано-американских республик, дало ему возможность

посредством торговых трактатов с новыми республиками создать обширный рынок для английской промышленности и вывозной торговли. Какие, однако, мотивы ни руководили бы Каннингом в этой политике, важно то, что она шла вразрез со стремлениями Священного союза, прямо наносила ему удар. С другой стороны, несомненно, что Каннинг, начавший свою политическую карьеру в рядах торийской партии, все более и более начинал действовать в духе либеральных стремлений эпохи. Понятно, с каким негодованием узнали реакционные тории о словах, произнесенных Каннингом (в то время уже первым министром) на одном банкете: «Гражданская и религиозная свобода для всего Мира!». Немудрено поэтому, что главный руководитель реакционной политики, Меттерних, видел в Каннинге опасного революционера и якобинца.

Противоположность взглядов и образа действий Меттерниха, как хранителя заветов Священного союза, и Каннинга, который первый из государственных людей эпохи ушел из-под влияния этого союза, лучше всего выразилась в отношениях обоих к греческому восстанию. В наш план совсем не входит излагать историю этого восстания, но на нем следует тем не менее остановиться, поскольку оно играло роль в истории разложения Священного союза и в истории либерального настроения образованных классов западноевропейского общества накануне Июльской революции.

Национальное движение между греками, приведшее в двадцатых годах к восстанию их против турецкого ига, началось отчасти под влиянием первой Французской революции, на которую греческие патриоты возлагали большие надежды. Сначала это движение выразилось в образовании тайных обществ, или гетерий (ἐταιρία), из коих первая возникла еще в 1795 г. В 1814 г. организовалась новая гетерия (дружеское общество, ἐταιρία φιλική), имевшая свое правительство и свою казну. Центром этой политической организации была Одесса. Гетерия, как известно, и начала восстание вторжением в Молдавию в 1821 г. Одновременно с ней действовала другая организация с центром в Афинах, так называемые «филомузы»: ее целью было поднятие культурного уровня Эллады посредством издания газет и книг, основания школ, посылки молодежи в заграничные университеты. Греческое национальное движение встретило сочувствие в Западной Европе, где оно с особой силой проявилось в так называемом филэллинизме. Когда в 1821 г. началось греческое восстание, сочувствовавшие ему либералы стали оказывать грекам деятельную помощь присылкой денег, оружия, волонтеров, посредничеством при заключении займов. Особенно прославились на поприще филэллинизма великий английский поэт Байрон, сам поехавший в Грецию, чтобы сражаться за ее свободу, вюртембергский генерал Норманн, ставший во главе целого отряда филэллинов-добровольцев, женеvский богач Эйнар, который переслал немало денег восставшим грекам. В этом увлечении образованного общества греческим

делом было нечто, напоминающее, пожалуй, увлечение французов войной североамериканских колоний Англии за свою независимость. Ужасы турецкой репрессии только усилили общественное сочувствие Европы к греческому восстанию. Совсем иначе смотрели на дело европейские правительства. Греческое восстание началось одновременно с революциями в южнороманских странах и было произведено, как и эти революции, тайными обществами. Для представителей реакции и легитимизма события, происходившие на Балканском полуострове, имели тот же источник и тот же характер, какие проявились в испанском и итальянском переворотах. Священный союз забывал как раз то, что, наоборот, постоянно было в мыслях народов, — забывал именно, что здесь шла борьба христианского и европейского народа против врагов христианства и против азиатского варварства. В греках правительства видели, прежде всего, подданных, взбунтовавшихся против своего законного государя; это была мысль, на которой с особою силою настаивала австрийская политика, руководимая Меттернихом. Понятно, что враждебное отношение Священного союза к греческому восстанию также должно было сделать это восстание особенно популярным в глазах всех, кто не сочувствовал реакционной внешней и внутренней политике. Все усилия Меттерниха в этом вопросе направились к тому, чтобы и его решить в духе принципов Священного союза. Между тем во второй половине двадцатых годов, вскоре после того, как принципам Священного союза был нанесен удар в Америке, такой же удар ожидал реакционную политику и в греческом вопросе.

Европейская дипломатия должна была заняться греческим вопросом с самого начала восстания. Как и в других случаях, правительства не могли смотреть на него с исключительно принципиальной точки зрения. Из-за греческого вопроса выдвигался грозный вопрос восточный, в коем в той или другой степени были заинтересованы все великие державы, кроме одной Пруссии. К судьбам Османской империи не могли оставаться равнодушными и ближайшие ее соседки, Австрия и Россия, равно как и западные державы, Англия и Франция. Для Австрии было бы крайне невыгодным вмешательство России в дела соседней Турции, и вот Меттерних ничего так не желал, как того, чтобы турки сами распорядились с греками. До поры до времени ему удавалось проводить в общеевропейской политике свой взгляд на греческое дело, вполне совпадавший с реакционными принципами Священного союза. Но Каннинг и тут стал поперек его дороги.

Из всех европейских государств более других одна лишь Австрия имела совершенно особый интерес дорожить порядком, созданным на Венском конгрессе, и противиться каким бы то ни было внутренним переменам у соседей, чем, как известно, и определялась строго консервативная политика этой державы после 1815 г. В числе правил, коих держался Мет-

терних в своей дипломатической деятельности, не последнее место занимало охранение Турции от разгрома и именно охранение ее от честолюбия России, которого Меттерних побаивался довольно сильно. Восстание греков было в глазах австрийского министра событием особенно опасным, так как Россия, у которой не были еще сведены прежние счеты с Турцией, могла воспользоваться предложением традиционной защиты своих единоверцев на Востоке для начала новой войны с Портой. Поэтому он весьма подозрительно относился к неоднократным заявлениям императора Александра I — и на Венском конгрессе, и на парижских конференциях — в смысле большого сочувствия к христианскому населению Турции и в особенности к грекам. Когда вспыхнуло греческое восстание, — бывшее Меттерниху неприятным еще и потому, что в Германии к грекам сочувственно отнеслись либералы, университетские профессора, учащаяся молодежь, — он поставил своей задачей всячески мешать тому, чтобы Россия заступилась за греков. В этом деле он нашел сильную поддержку и в Англии, где еще с конца XVIII в. тории включили в свою политическую программу охрану Османской империи от России. В Англии после 1815 г. постоянно возникали слухи о том, что Александр I готовится совершить вторжение в Турцию. Наконец, и в Австрии, и в Англии сильно боялись новой войны после всего того, что произошло с 1792 по 1815 г. Кэстльри, руководивший английской иностранной политикой, когда вспыхнуло греческое восстание, старался удержать Александра I от вмешательства в пользу греков, ссылаясь на необходимость обереечь Европу от новых испытаний, от новой войны, которая Бог знает когда бы еще кончилась. В этом смысле усилия австрийской и английской политики сходились. На первых порах и Каннинг не изменял политики своего предшественника, насколько дело касалось греческого вопроса. И он также не хотел, чтобы Россия вступилась за греков, ибо это только усилило бы ее престиж на Востоке, но принципиально он был не прочь, чтобы грекам была оказана помощь, лишь бы произошло это не во вред, а наоборот в пользу английскому политическому влиянию.

Кроме России, опасной соперницей в этом деле для Англии могла бы быть только Франция. Филэллизм среди французов с 1823 г. принял весьма широкие размеры, и, что особенно замечательно, в сочувствии к греческому восстанию сходились самые противоположные партии — ультрароялисты, движимые мотивами религиозного чувства, а либералы — по той же причине, которая заставляла их приветствовать с восторгом южно-романские революции. В Париже и в провинции составлялись комитеты для оказания помощи грекам деньгами, оружием, людьми; между французскими капиталистами и греческим революционным правительством велись переговоры о заключении большого займа; многие из французских филэллинов говорили греческим инсургентам, что недурно

было бы им взять в короли одного из французских принцев, например, герцога Немурского, сына герцога Орлеанского, на что, по-видимому, соглашался сам герцог Орлеанский. Каннингу было бы совсем невыгодно, если бы в деле, начинавшем приобретать такую популярность, Англию предупредила Франция. В самой Англии тоже началось филэллинское движение. Между прочим, английские капиталисты стали также думать, что упускать времени не следует, что, если они сами не рискнуть дать денег займы греческому революционному правительству, то сделают это капиталисты французские. Всего этого Каннинг не мог не принять в расчет. С 1823 г. его отношение к грекам сделалось более благоприятным. Губернатор Ионических островов, принадлежавших Англии, начал оказывать инсургентам покровительство и не мешал более организации революционных комитетов; между прочим Байрону разрешено было на острове Корфу готовить экспедицию для вторжения в Грецию. В начале 1824 г. греческим правительством в Лондоне был заключен первый заем в 800 тыс. фунтов стерлингов. Все надежды свои греки стали после этого возлагать на Англию и Францию, совершенно отказавшись от своих расчетов на помощь со стороны России. Каннингу нужно было теперь не допустить до того, чтобы Франция одна выдвинулась вперед. Он воспользовался обращением к нему греческого правительства с протестом против тогдашнего (1824) русского плана устроить в Греции три княжества в вассальной зависимости от Порты: послав на этот протест свой ответ, он первый из министров вступил в непосредственные сношения с греческим революционным правительством. Вскоре после этого (в следующем 1825 г.) Англия оказала грекам защиту, когда один из английских офицеров пригрозил туркам британским вмешательством в весьма критическую для греков минуту. Результатом этого было обращение греков в Лондон с просьбой о покровительстве, причем Англия должна была дать Греции и короля. В Лондоне указывали и на кандидата: это был проживавший в английской столице принц Леопольд Саксен-Кобургский (сделавшийся в 1831 г. королем бельгийским). Положение, занятое Англией в греческом вопросе в 1825 г., было очень прочно, и Каннинг мог теперь дать России понять, что, если только она двинется за Прут, англичане немедленно займут Морею и греческие острова. Сам Александр I незадолго до своей смерти не прочь был решить греческий вопрос при помощи Англии. Перемена царствования в России только подвинула дело к развязке.

В то самое время, как английская политика в греческом вопросе совершила такую эволюцию, Меттерних упорно стоял на своем. С самого начала и до самого конца кризиса он выдерживал одну точку зрения на греческое восстание. Еще после подавления неаполитанской и пьемонтской революций он по поводу греков писал: «В шесть недель мы окончили две войны и подавили две революции. Будем надеяться, что третья, вспыхнув-

шая на Востоке, не будет счастливее». После одного страшного поражения греков в 1824 г. Меттерних и его «правая рука», Генц, как рассказывает этот последний, сам, «*pianissimo*¹, чтобы друзья Греции не могли их слышать, поздравили друг друга с этим приятным событием, которое могло легко оказаться началом конца греческого восстания». Меттерних не терял надежды на то, что революция будет подавлена и после смерти Александра I. «Надежды партии, враждебной общественному покою, — писала в 1826 г. *Augsburger Zeitung*², — лопнули. Государи должны соединиться, чтобы раздавить революцию, под каким бы видом она ни возникла: они должны отказаться от временных выгод и твердо держаться системы Священного союза. Всякий государственный человек, сходящий с этого пути, есть враг трона и народов. И на этот раз величайший государственный человек, мудрые советы коего столько лет обеспечивали Европе мир, который всегда оставался самим собой, которого никакие нападения врагов не могли заставить сойти с верной дороги, — и на этот раз он разрушил все надежды либералов».

Меттерниху вполне удалось перетянуть на свою сторону Александра I. Греки сначала возлагали большие надежды на русского императора. Известно, что в самом же начале восстания они обратились за содействием к своему соотечественнику (уроженцу Ионических островов) графу Каподистрии, который в 1809 г. поступил на русскую службу и весьма скоро сделался доверенным лицом Александра I, сопровождал его на Венский конгресс и принимал видное участие в заведовании русскими иностранными делами в последующую эпоху. Когда Каподистрия, бывший против восстания в надежде на то, что дело его родины возьмет в свои руки Россия, отказался от предложенной ему чести стать во главе освободительного движения, гетеристы обратились к другому греку, который также находился на русской службе. Это был генерал-адъютант Александр Ипсиланти, и вот он, рассчитывая на помощь России, как известно, и стал во главе восстания (1821 г.). В это самое время происходил Лайбахский конгресс. Ипсиланти написал письмо к Александру I, находившемуся на конгрессе, но русский император велел Каподистрии написать ответ, в коем говорилось, что Россия никогда не станет помогать заговорщикам и бунтовщикам. Вместе с этим, Ипсиланти увольнялся из русской службы. Все это произошло не без влияния со стороны Меттерниха, который подозревал Каподистирию в тайном сочувствии греческому восстанию. Опасения Меттерниха относительно Александра I были небезосновательны. На возвратном пути из Лайбаха в Санкт-Петербург император имел массу случаев убедиться в том, что его подданные сочувствуют греческому восстанию. Он узнал об этом уже в Варшаве, потому что поляки точно так же, как

¹ Очень тихо (*ит.*). — *Прим. ред.*

² «Аугсбургская газета» (*нем.*). — *Прим. ред.*

и русские, относились весьма благожелательно к грекам, взявшимся за оружие для освобождения своей родины. Но особенно сильно было движение в пользу единоверных греков в самой России. Ближайшие советники Александра стояли за то, что Россия должна заступиться за восточных христиан, на которых обрушилась месть турок за греческое восстание. Результатом этого была отправка русским правительством ультиматума Турции и ноты четырем великим державам, где указывалось на возможность такого же вмешательства России для восстановления порядка в Турции, на какое Священный союз только что уполномочил Австрию в Италии. Меттерних и Кэстлри немедленно приняли меры против такого поворота русской политики, заявив, что революцию следует всюду подавлять, а не покровительствовать ей. Пруссия присоединилась к австро-английскому взгляду, а Франция была занята испанскими делами. Александру I пришлось отказаться от своей мысли ввиду явного нерасположения к ней великих держав. Объявление греческим национальным собранием полной независимости Греции с совершенно демократической конституцией (в январе 1822 г.) еще более охладило Александра I, который ввиду продолжения революционного движения в Испании всю задачу своей политики полагал теперь в том, чтобы везде, где только можно, бороться с революцией. На Веронском конгрессе греческое дело было, по-видимому, окончательно осуждено европейской дипломатией. Около этого времени и Каподистрия был удален с русской службы и жил в Женеве, откуда, однако, не переставал действовать на Александра, поддерживая в нем раздражение против турок. В 1823 г. русский император снова поставил было на очередь греческий вопрос, и с этой целью в 1825 г. собралась в Санкт-Петербурге конференция пяти великих держав, но и тут Австрия всячески мешала принятию какого-либо решения. Александр I предлагал потребовать перемирия от турок и греков, затем выступить между ними с коллективным посредничеством, а в случае неудачи восстановить спокойствие вооруженным вмешательством. Австрийский уполномоченный и слышать об этом не хотел и, зная, что не встретит сочувствия в русском государе, заявил, что лучше уже прямо признать независимость греков. Недовольный такой политикой Австрии, Александр I готов уже был обратиться к содействию Англии, когда его постигла неожиданная кончина.

Николай I с самого же начала царствования решил более энергичным образом требовать от Турции удовлетворения России по разным спорным вопросам, оставшимся от прежнего царствования. Это не значит, чтобы новый император по отношению собственно к греческому вопросу держался иного взгляда, чем его предшественник. По крайней мере, иностранным дворам и дипломатам он заявил, что греки — бунтовщики, революционеры, варвары и что он вовсе не на стороне народа, возмущившегося против своего государя. Но с другой стороны, Николай I совершенно вы-

шел из-под влияния Меттерниха, удерживавшего Россию от войны с Турцией. Переменою царствования в России и воспользовался Каннинг. Зная настроение нового императора, он постарался заранее связать его такой конвенцией, которая помешала бы России по собственному усмотрению — и в смысле выбора времени, и в смысле результата — решить греческий вопрос. Ему удалось добиться того, что в Санкт-Петербурге 4 апреля 1826 г. Россией и Англией был подписан протокол о вмешательстве обеих держав в греческое дело с целью превращения Греции в автономную, хотя и данническую провинцию Турецкой империи. Это соглашение держалось некоторое время в тайне. Когда оно сделалось известным Меттерниху, последний стал выражать по его поводу беспредельное негодование, стал говорить, что Каннинг революционер, что он вовлек молодого русского царя в союз с радикальной партией и т.п., или утверждал, наоборот, что Англия попала в ловушку, сделавшись орудием честолюбивых замыслов России. Австрийский посланник в Лондоне вошел в сношение с врагами Каннинга, рассчитывая на нелюбовь к нему короля Георга IV, но положение английского министра было непоколебимо. Зато Меттерниху вполне удалось отклонить Пруссию от какого бы то ни было участия в англо-русском соглашении. Что касается до Франции, то она вскоре, наоборот, присоединилась к этому соглашению (лондонский трактат от 6 июля 1827 г.). Это было, однако, последним триумфом политики Каннинга. Он только что (10 апреля) сделался первым министром, а через месяц после подписания соглашения между Англией, Россией и Францией его не стало (8 августа). Лондонский трактат брал под свое покровительство дело, на которое Священный союз смотрел дотоле, как на революцию, и самодержавная Россия отделялась, вместе с тем, от своих главных союзниц, Австрии и Пруссии, чтобы действовать сообща с двумя конституционными державами, министр одной из которых был «революционер» и противник Священного союза. Священный союз видимо разлагался.

Дальнейший ход событий слишком известен. 8(20) октября союзный флот Англии, Франции и России истребил при Наварине турецко-египетский флот. В следующем году началась между Россией и Турцией война, окончившаяся Адрианопольским миром (1829 г.), за которым последовало образование из Греции самостоятельного государства (1830 г.). Июльская революция не могла не отразиться на дальнейшей судьбе и этого государства.

Перед июльским переворотом Австрия была совершенно изолирована. Князь Юлий Полиньяк, сделавшийся французским министром иностранных дел (8 августа 1829 г.), к великому неудовольствию Меттерниха, вовсе не думал сам о союзе с Австрией. Напротив того, он искал сближения с Россией, при помощи которой мечтал осуществить грандиозные политические планы в пользу своего отечества. Карл X и Николай I должны были воспользоваться восточным кризисом, чтобы в тесном союзе переде-

лать карту Европы. Турки изгонялись из Европы. Россия получала Молдавию и Валахию, Австрия — Сербию, Боснию, Герцеговину и турецкую Далмацию. Остальная часть Турции с Константинополем, Грецией и островами составила бы новое государство с королем нидерландским во главе. Голландия и Саксония должны были достаться Пруссии взамен ее владений на левом берегу Рейна, который был бы отдан Саксонскому королю. На долю Франции назначались Бельгия, Люксембург и земли, отнятые у Франции трактатом 1815 г. Англия получила бы при этом голландские колонии. Этот проект сделался известным Николаю I лишь после заключения мира с Турцией, но последний не помешал Полиньяку вести переговоры с Санкт-Петербургом в указанном смысле. Реальным результатом их было, впрочем, только одобрение Россией задуманной Полиньяком экспедиции в Алжир. Это предприятие вооружило против Франции Англию, и многие думали, что дело кончится их столкновением. В то же время в Германии отношения между Австрией и Пруссией были довольно натянутыми в силу обострения старого соперничества между Габсбургами и Гогенцоллернами из-за влияния над средними и мелкими немецкими государствами. Священный союз, действительно, распадался. А между тем либеральное движение в отдельных государствах снова начинало усиливаться. Успешное окончание южноамериканских и греческой революции вселило в недовольных существующим порядком новые надежды. Когда вспыхнула в Париже Июльская революция, она немедленно нашла отголосок в других странах, и одно время казалось, что против Священного союза государей, бывшего в полном разложении, возникнет «Священный союз народов».

Во внутренней жизни Франции и Англии, как известно, во второй половине двадцатых годов либерализм сделал значительные успехи. В царствование Карла X среди французских роялистов произошел раскол, и многие из них, не сочувствуя клерикальной политике короля, начали сближаться с либералами. Последние одержали большую победу на выборах 1827 г. Назначение министром реакционера Полиньяка заставило либералов думать об организации оппозиции на случай нарушения королем конституции. Усилилось оппозиционное направление и в периодической прессе, и в литературе¹. В Англии около 1825 г. прекращается борьба правительства против митингов и против свободы прессы. В 1829 г. совершилась эмансипация католиков. Движение в пользу парламентской реформы тоже усиливалось с каждым годом². Одновременно и во Франции, и в Англии рядом с политическими вопросами, волновавшими в обеих странах общественное мнение, начинал ставиться вопрос социальный³, которому суждено было

¹ Обо всем этом см.: Т. IV. Гл. XVIII, и особенно XIX.

² Там же. Гл. XXI.

³ Там же. Гл. XXV и XXVII.

в скором времени играть такую видную роль в общественных движениях эпохи. Одним словом, и во Франции, и в Англии приходил конец реакционному режиму. Вмешательство трех держав в греческое дело в глазах либералов было — и не без основания — сочтено за победу их принципов над принципами Священного союза и реакции. Усиление либерализма во Франции, кроме того, не могло не отразиться на настроении всех недовольных в разных государствах Европы. С эпохи просвещения XVIII в. и великой революции образованные классы европейского общества находились под сильным влиянием того, что говорилось, писалось и делалось в Париже. После низвержения Наполеона Франция была самым свободным государством на материке Европы, и весьма естественно, что либералы всех стран прислушивались с величайшим интересом к тому, что в области политики совершалось в Париже. Французская конституционная хартия 1814 г. была (как одно время испанская конституция 1812 г.) образцом свободных учреждений. Там, где существовали представительные собрания, оппозиционные элементы в большей или меньшей степени старались подражать речам и поведению либеральных депутатов французской палаты (как это, например, наблюдается в заседаниях варшавского сейма). Идеи французского либерализма были вообще весьма популярны у всех людей, недовольных тогдашними порядками. Это французское влияние в Европе, сильное уже в эпоху Реставрации, не ослабело и в последующую эпоху, когда Франция продолжала играть все ту же роль передовой страны континента. Англию на материке знали мало, и только во Франции интересовались ее историей, ее государственным устройством. Понятно, что никакие другие события в такой степени, как французские, не могли отражаться на внутренней жизни других народов. Революция в Испании и Португалии, в Неаполе и Пьемонте, в американских колониях и в Греции не могла иметь такого потрясающего действия, как революция, вспыхнувшая в Париже.

Бросим теперь беглый взгляд на то, что делалось в отдельных странах перед 1830 г.

Из всех соседних с Францией стран сильнее других подчинялась ее влиянию Бельгия. Восстание бельгийцев против Иосифа II в защиту старых национальных учреждений от нововведений «просвещенного абсолютизма» совпало по времени с Французской революцией 1789 г., и весьма скоро обе революции объединились. Когда начались революционные войны, Бельгия весьма скоро сделалась добычей победоносной Франции и вошла в состав французской республики и оставалась в ее составе в эпоху консульства и империи¹, т. е. в течение более двадцати лет. Соседняя с Бельгией Голландия, с которой она за два с половиной года перед тем была соединена под властью одного государя, тоже была (в 1810 г.) включена

¹ См. новейший (1894 г.) труд: *Sylvain Balau. La Belgique sous l'empire et la défaite de Waterloo.*

в состав французской империи, но когда стало рушиться владычество Наполеона, живший в изгнании в Лондоне принц Вильгельм Оранский вернулся в свою голландскую родину, принял во главе голландских войск участие в борьбе с Наполеоном и вступил в управление Голландией, в коей была введена новая конституция. Затем он завладел и Бельгией. Венский конгресс признал совершившийся факт и утвердил соединение Голландии и Бельгии в одно Нидерландское королевство под властью Вильгельма Оранского. Этому созданию конгресса, желавшего устроить на восточной границе Франции целый оплот из второстепенных государств, грозило возвращение Наполеона с острова Эльбы, но битва при Ватерлоо, в коей приняли участие и нидерландские войска, укрепила существование нового королевства. Вскоре после этого на рассмотрение и утверждение голландских государственных чинов и бельгийских нотаблей была представлена общая для всего нового королевства конституция. Собравшиеся в Гааге Генеральные штаты приняли ее без малейшего возражения, но собрание бельгийских нотаблей в Брюсселе значительным большинством голосов (796 против 527) отвергло эту конституцию. Король не обратил на это внимания и, воспользовавшись прецедентом, имевшим место во время введения французами в Голландии новой конституции (1801 г.), велел к числу утвердительных голосов прибавить голоса всех не явившихся на собрание нотаблей. Так совершилось соединение Бельгии с Голландией в одно королевство.

Между обеими частями этого нового королевства не было ничего общего. В национальном отношении фламандско-валлонская Бельгия с господством французского языка в образованных классах общества и в литературе была совершенно отлична от батавской Голландии. Бельгия, далее, была страной католической и притом настроенной крайне клерикально, — не даром до начала XVIII в. она была под властью Испании, а в XVIII в. под властью Австрии, — тогда как Голландия была страной протестантской и в XVII столетии служила убежищем для всех гонимых за религиозные убеждения. Одной из основных причин недовольства Бельгии своим соединением с Голландией было то, что католикам приходилось подчиняться королю-протестанту, вести все внутренние дела с иноверцами, руководиться принципами религиозной равноправности. Бельгийское духовенство протестовало против свободы культов и добивалось восстановления уничтоженных в стране революцией привилегий клира, десятины, монастырей и т. п. Оно было весьма влиятельно в народе и пользовалось сочувствием и поддержкой французских клерикалов. Особенно рьяно действовал против нового порядка гентский епископ Морис Броль. Ему даже пришлось бежать в Париж, откуда он продолжал вести свою агитацию, усилившуюся после того, как в самой Франции со вступлением Карла X на престол клерикализм поднял голову и начал свою агрессивную

политику. Столкновение между нидерландским правительством и бельгийской клерикальной партией было особенно сильно на почве вопросов о народном образовании, которое и государство, и церковь хотели подчинить своему исключительному контролю. Между тем король, обнаруживший явную склонность к абсолютизму, оттолкнул от себя бельгийскую буржуазию, которая сначала находила для себя выгодным соединение с Голландией, готова была поддерживать конституционный режим и шла вразрез с реакционными стремлениями духовенства и дворянства. Вильгельм I, отличавшийся упрямством, хотел править самовластно и окружал себя раболепными министрами (вроде министра юстиции ван Маанена). Далее, бельгийцы жаловались и на то, что правительство во всем отдавало предпочтение голландцам, и многие жалобы были основательны, хотя в других были или недоразумения, или сильные преувеличения. Мало-помалу рядом с клерикальной оппозицией возникла в Бельгии оппозиция либеральная, и обе они сблизилась между собой в одном и том же чувстве вражды к правительству и к Голландии. Повторилось то, что раз уже случилось в Бельгии, когда Иосиф II затронул одновременно католицизм и национальное чувство бельгийцев. Во главе союза клерикалов с либералами стал богатый и ученый Поттер. Началась борьба в прессе. Правительство стало преследовать оппозиционные издания, но за свободу прессы стали высказываться многочисленные петиции, адресованные правительству. Вышедшая в конце двадцатых годов во Франции книга Ламенне «Успехи революции и война против церкви», в которой дело католицизма отождествлялось с делом либерализма, произвела на бельгийских клерикалов сильное впечатление. Либеральный Поттер, сидевший в тюрьме за одну из статей своих против министров, со своей стороны провозгласил необходимость отстаивать свободу преподавания, за которую, собственно говоря, ополчился и Ламенне, когда во Франции министерство Мартинонья подчинило духовные школы разным ограничениям и контролю государства. За то, что либералы стали на сторону свободы преподавания, дававшей духовенству возможность сохранять свое господство в деле народного образования, клерикалы сделали теперь рьяными защитниками свободы печати. Правительство не довольствовалось после этого (1829 г.) одной борьбой путем судебных преследований, штрафов и тюремных заключений, но основало в Брюсселе свою газету («Le National»¹), редактирование коей поручило итальянскому пройдохе Либри-Баньо, подливавшему масла в огонь своими ругательствами. Вильгельм I совсем не понимал, что совершалось в Бельгии, и приписывал все интриге немногих честолюбцев, ловивших рыбу в ими же самими взмученной воде. В конце декабря 1829 г. он обратился к генеральным штатам, открывавшим свои заседания, с по-

¹ Всенародная (фр.). — Прим. ред.

сланием, в коем порицал поведение прессы, говорил о неосновательности многих жалоб в петициях, все в большем и большем количестве подававшихся правительству, заявлял, что не намерен устанавливать ответственности министров в смысле требований либерализма. Это послание и циркуляр министров юстиции и внутренних дел, приглашавший всех их подчиненных выразить в течение двух дней одобрение идеям королевского послания, только сильнее раздражило общественное мнение. В памфлете «Письмо Демофила» Поттер стал доказывать, что правительственная система противоречит самым основам конституционной монархии. Затем он предложил образовать особое общество для оказания помощи чиновникам, уволенным со службы за свое несогласие с правительственной системой. За это в начале 1830 г. Поттер был приговорен судом к изгнанию из государства на восемь лет, и с ним на семь лет были изгнаны два его союзника. Оппозиция присмирела, но вспыхнувшая в Париже революция заставила вождей бельгийского национального движения, собравшихся в Париже, подумать о том, как бы воспользоваться ею для блага своей родины. Поттер не шел далее пересмотра конституции и расширения местного самоуправления, но другие прямо указывали на необходимость отложения от Голландии, хотя бы для этого нужно было присоединиться к Франции.

Одновременно с движением, происходившим в Бельгии, готовилась буря и в конституционном Царстве Польском. Говоря о настроении, господствовавшем среди поляков в двадцатых годах, не нужно упускать из виду судеб польской нации за последние десятилетия XVIII и в начале XIX в. Разделы 1772, 1793 и 1795 г. окончили существование Речи Посполитой. Польша пала, несмотря на патриотические усилия спасти ее от гибели — сначала конституцией 3 мая 1791 г., потом костюшковским восстанием 1794 г. Эти события совпали с Французской революцией, на которую поляки возлагали большие надежды. После падения Польши эмигранты польские вступили на службу Французской революции и сражались за ее дело, как за свое собственное, на разных театрах начавшейся тогда общеевропейской войны. Упования поляков на восстановление отечества усилились при Наполеоне. Образование им из польских земель, доставшихся Пруссии и Австрии, великого герцогства Варшавского, казалось полякам лишь началом восстановления старой Польши. Но поляки ошиблись в своих ожиданиях. После неудачного для Наполеона похода на Москву в 1812 г. Великое герцогство Варшавское было завоевано русским императором, хотя ему не удалось все это государство целиком превратить в Царство Польское, которое Венский конгресс соединил с Россией под одним скипетром. Поляки не могли быть вполне довольны тем, что целые территории старой Речи Посполитой остались за Пруссией и Австрией, и думали также, что Россия должна возвратить им Литву. Не забудем, что образо-

вание герцогства Варшавского отделяется от падения Польши лишь двенадцатью годами (1795—1807 гг.), что само это герцогство не просуществовало и десяти даже лет (1807—1813 гг.), что от установления Царства Польского (1815 г.) до взрыва Июльской революции, в которой не одни поляки видели начало новых переговоров во всей Европе, прошло опять-таки только пятнадцать лет. Все перипетии в национальной судьбе поляков приучали их смотреть на свое положение, как на временное, как на переходное, и не лишали их надежды на то, что могут наступить такие обстоятельства, которые позволят им восстановить в полноте их прежнюю политическую независимость. Одним словом, поляки не расставались с мечтой, которой они жили с самого 1795 г. Это одно уже могло явиться причиной революционного брожения. Но к ней присоединились натянутые отношения, не замедлившие возникнуть между поляками и русским правительством.

15(27) ноября 1815 г. отданное Александру I Венским конгрессом Царство Польское получило от своего нового «короля» конституцию¹. Эта конституция превращала только что созданное государство в наследственную монархию, «навсегда соединенную с Российской империей» (ст. 1 и 3). «Король» в случае своего отсутствия назначал наместника, каковым мог быть лишь поляк; исключение делалось только для наместников из членов императорского дома (ст. 5 и 6). «Римско-католическая религия, исповедуемая большинством жителей Царства Польского», должна была быть предметом особого попечения правительства без малейшего, однако, ущерба для свободы иных исповеданий (ст. 11). Отдельной статьей обеспечивалась свобода печати, и особый закон должен был определить способы устранения злоупотреблений этой свободой (ст. 16). Далее обеспечивалась свобода личности с ссылкой на стародавний² основной закон: «Neminem captivari permittimus nisi jure victum»³ (ст. 18—28). Польский язык объявлялся языком администрации, суда, войска и т. п. (ст. 28), и все должности должны были замещаться только одними поляками (ст. 29). «Польский народ, — гласила далее одна статья (31), — на вечные времена будет иметь национальное представительство на сейме, состоящем из короля и двух палат («изб»), из коих первую будет составлять сенат, а вторую — послы и депутаты от общин» («гмин»). Королю всецело отдавалась исполнительная власть (ст. 36 и след.), причем все его преемники должны были короноваться в Варшаве и давать присягу в сохранении конституции (ст. 45).

¹ Оригинальный текст был на французском языке. Мы пользовались перепечаткой польского перевода (*Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego*), сделанного в Санкт-Петербурге в 1816 г.

² Начала XVI в.

³ Никто не может быть признан виновным иначе, кроме как по решению суда (*лат.*). — *Прим. ред.*

«Все королевские распоряжения и постановления должны были скрепляться подписью министра, стоящего во главе той или другой части управления, который и будет нести ответственность за все, что могло бы в этих распоряжениях и постановлениях заключаться противного конституции и законам» (ст. 47). Конституция учреждала, кроме того, государственный совет, без которого наместник не мог предпринимать ничего важного (ст. 63–68). Между прочим, государственный совет должен был вырабатывать законопроекты и наблюдать за правильностью действия конституции (ст. 73). Министерств («комиссий») устанавливалось пять: министерство культов и народного просвещения, министерство юстиции, министерство внутренних дел и полиции, министерство военное и министерство государственных доходов и имуществ (ст. 76). Что касается до власти законодательной, она должна была заключаться в особе короля и в двух палатах (ст. 85). Сейм созывался каждые два года на тридцать дней, причем королю давалось право роспуска, отсрочки или продолжения сеймовых заседаний (ст. 87) или созыва чрезвычайного сейма (ст. 88). Члены сейма в период сессии пользовались неприкосновенностью (ст. 89). Законодательная инициатива признавалась только за королем (ст. 90), но послам и депутатам позволялось представлять королю через государственный совет разного рода желания, касающиеся блага их сограждан (ст. 92). Бюджет устанавливался сеймом и не более, как на четыре года (ст. 93). Заседания обеих палат объявлялись публичными, и только по желанию десятой части присутствующих членов палаты могли превращаться в секретные комитеты (ст. 95). Проекты правительства, рассмотренные особыми сеймовыми (выборными) комиссиями (ст. 98) и подлежащие изменению только в государственном совете (ст. 99), должны были в обеих палатах втироваться большинством голосов (ст. 102). Окончательная санкция принадлежала королю, который мог и отказывать в своей санкции (ст. 105). Сенаторы (члены императорского дома, епископы, воеводы и каштеляны) назначались королем на всю жизнь и притом (кроме сенаторов первых двух категорий) из двух кандидатов, представленных самим сенатом (ст. 110). «Посольская изба» должна была состоять из 77 послов, выбранных на шляхетских сеймиках по одному из каждого повета, т. е. уезда, и из 51 депутата от гмин, т. е. общин (ст. 118). Срок полномочий для послов и депутатов устанавливался шестилетний (ст. 120), а избирательный ценз определялся уплатою в виде прямого налога не менее ста злотых (ст. 121). Если бы король распустил «посольскую избу», то в течение двух месяцев должен был бы назначить новые выборы (ст. 124). Отдельные статьи конституции определяли состав и функции шляхетских сеймиков и нешляхетских общинных собраний, которым давалось право выбирать не только послов и депутатов, но и членов воеводских советов, а также составлять списки кандидатов на административные должности (ст. 125–134). От-

правление правосудия конституция объявила независимым (ст. 138), т. е., как пояснял особый параграф (ст. 139), судья должен был выражать свое мнение совершенно свободно от каких бы то ни было влияний со стороны «наивысшей или министерской власти». Судьи, назначенные королем и выборные (ст. 140), объявлялись несменяемыми (ст. 141), за исключением случаев смещений по судебному приговору за должностные или иные преступления (ст. 142). Государственные преступления и преступления высших государственных сановников подлежали сеймовому суду из всех членов сената (ст. 152). Наказание конфискацией имущества отменялось и не могло быть ни в каком случае восстановлено (ст. 159).

Эта конституция, которая некоторыми своими сторонами (особенно терминологией) примыкает к прежнему устройству Речи Посполитой¹, была весьма либеральна, принимая в расчет политические теории эпохи. В наиболее существенных своих пунктах она выдерживает сравнение с французской хартией 1814 г., которая сама должна была установить порядок, напоминающий английскую конституцию. Либеральный характер польского «конституционного устава» 1815 г. признается и историками, изучавшими этот документ². Весь вопрос заключался в том, могла ли она удовлетворить поляков и насколько исполнялась она самой властью, даровавшей представительные учреждения польскому народу. Искренние поляки³ сами признавались, что даже вполне добросовестное исполнение обещаний, данных в хартии 1815 г., не могло бы предотвратить революцию. Действительно, поляки слишком сжились с традициями своей прежней «золотой вольности», которая была не чем иным, как анархией, и не хотели или вернее не умели понимать свободу под иными формами,

¹ См. наш «Исторический очерк польского сейма».

² Эта конституция, по словам Гервинуса (Т. II. С. 759), «заключала в себе самые существенные условия национальной свободы, ответственность министров, независимость судей, свободу печати и вероисповеданий и т. п.». Ch. de Mazade в одном из своих примечаний к *Mémoire du prince Adam Czartoryski et correspondance avec l'empereur Alexandre I* (Р., 1887. II, 350) называет конституционную хартию «fort libérale».

³ Мохпацкий в своей «Истории польского восстания». Особенно важны в этом отношении соображения в кн. Г. Лисицкого *Alexander Wielopolski* (Kraków. 1879. Т. IV), где под заглавием «Przyczyny powstania roku 1830—1831» помещен довольно обстоятельный (около 300 страниц) очерк истории конституционного Царства Польского. Между прочим, г. Лисицкий вооружается против «общепринятого метода» польских историков «скрывать все ошибки нации и общества» и, «сваливая вину на других и на обстоятельства, выставляя нацию в самом выгодном для нее свете». Объясняя, говорит он, причины восстания 1830 г., историки «не обращали внимания на поступки и поведение нации, которая не подчинялась обязанностям, налагавшимся на нее конституционным договором, не следовала здоровой политике, вместо того, чтобы оберегать (piełęgnować) существование королевства, — это горчичное зерно возрождавшейся Польши, — пренебрегала этим существованием и оставляла необработанным легальное поле национальной жизни и общественной работы». Нельзя, впрочем, не отметить, что общий взгляд автора упомянутого очерка обуславливается не только фактами, собранными им в очерке, но и тем отношением, в какое встала часть польского общества к восстанию 1863 г. Полной истории Царства Польского с 1815 по 1830 г. приходится еще ждать.

а к традициям старых конфедераций, заговоров и восстаний присоединилось еще то, что в течение двух последних десятилетий (1795—1815 гг.) они только и думали о восстановлении старины путем конспираций и переворотов. Присоединение Литвы к «конгрессовому» королевству было, в конце концов, целью мечтаний громадного большинства польского общества. С другой стороны, не могло не оказывать влияния на поляков и то обстоятельство, что путь тайных обществ, заговоров и переворотов имел вообще в двадцатых годах многочисленных сторонников среди либералов всех европейских наций: стоит только вспомнить, что испанская, неаполитанская и греческая революции были произведены тайными обществами (итальянский карбонаризм, гетерия), что попытки переворота посредством заговоров делались во Франции в течение всего царствования Людовика XVIII, что наклонность к организации тайных обществ (начиная со знаменитого «Тугендбунда») характеризует настроение оппозиционных элементов и в Германии, что тайные общества, приведшие к 14 декабря 1825 г., возникли и в России к концу царствования Александра I.

Революционное настроение польской нации не могло не быть известным русскому правительству, хотя многое из того, что говорилось и делалось в Варшаве, доходило до его сведения с преувеличениями и искажениями, и это вселяло в представителей русской власти в Польше недоверие к полякам, которое не могло не отражаться и на образе действий этой власти. По мере того, как Александр I все более и более отказывался от своего либерализма и склонялся на сторону реакции под влиянием событий, происходивших на Западе, и отношение его к полякам стало изменяться весьма заметным образом. Связь, в какой находились русские декабристы с польскими тайными обществами, заставила и Николая I относиться с особой подозрительностью ко всему, что делалось в Польше. Понятно, что перемена в отношениях русского правительства к полякам должна была только усиливать происходившее среди них революционное брожение. Но и независимо от той натянутости отношений между подданными и властью, какая должна была образоваться на почве взаимного недоверия, была и другая причина, которая действовала в том же направлении. Конституция 1815 г. не соответствовала не только политическим традициям и нравам польской нации, но и тем принципам и привычкам, которые были выработаны всей предыдущей историей русской государственной системы. В иностранной и русской литературах уже не раз указывалось на противоречие, заключавшееся в соединении под одним скипетром конституционного королевства с самодержавной империей¹. Начала, на основании коих управлялась империя, так или иначе не могли не переноситься в практику правительственной власти в Польше, а это ес-

¹ См., например: *Лоренц*. История новейшего времени (СПб., 1871. Ст. 26).

тественно и необходимо возбуждало неудовольствие, которым только все более и более питалось революционное брожение.

После периода бесплодных попыток внутреннего переустройства Польши в царствование Станислава-Августа (1764—1794 гг.) и после периода прусского владычества в Варшаве (1795—1806 гг.) и военных бурь (1806—1813 гг.) польская нация впервые получала теперь внутренний порядок с довольно широкой общественной самодеятельностью и прочно обеспеченный внешний мир. За пятнадцать лет конституционного своего существования Царство Польское сделало большие успехи на пути экономического и культурного развития. Вся предшествовавшая эпоха с падения конституции 3 мая 1791 г. была крайне неблагоприятна для благосостояния и просвещения страны. Внутренние смуты и войны, приведшие к двум последним разделам, чужеземное владычество, тяжелое бремя, наложенное на Великое герцогство Варшавское Наполеоном, который превратил его в форпост Франции на севере Европы и набирал здесь солдат для своих бесконечных войн, — все это, конечно, не могло содействовать мирному преуспеянию поляков. С 1815 по 1830 г. народонаселение страны значительно увеличилось; развились промышленность, торговля, пути сообщения и общественный кредит (национальный банк); государственное хозяйство было приведено в порядок; возникли новые учебные заведения, между коими отметим в одной Варшаве университет, военную академию, сельскохозяйственную школу (под Варшавой), женский институт; в то же время началось возрождение польской литературы, и параллельно с этим в бывших частях Речи Посполитой, отошедших к России в XVIII в., деятельно восстанавливался польский элемент. Экономические и культурные успехи страны только служили бльшему подъему национального духа. Ко всему этому нужно прибавить, что по конституции 1815 г. Царство Польское получило отдельную национальную армию (ст. 10, 38, 153—156), которая, благодаря заботам о ней ее главного начальника великого князя Константина Павловича, доведена была до большого совершенства, хотя в то же время своим суровым обращением великий князь и в ней порождал большое неудовольствие. Общее политическое брожение, совершавшееся в обществе, вообще не могло не коснуться этого войска, тем более, что в ту эпоху и в других государствах армия нередко играла роль революционного фактора. Вот это-то все, вместе взятое, и создавало в высшей степени неблагоприятные условия для мирного развития внутренних общественных сил польской нации на основах конституции 1815 г., которая притом не вполне соблюдалась представителями власти.

В недавно изданных «Мемуарах князя Адама Чарторыйского и его переписке с императором Александром I» есть любопытный мемуар, посланный императору этим польским деятелем, другом молодости государя, занимавшим важные посты на русской государственной службе.

Помечен он 21 августа 1821 г. и включает в себе указания на настроение умов в Польше. Это настроение было весьма тревожно (“*les esprits dans une incertitude extraordinaire et dans le découragement le plus complet*”¹). «Все, по-видимому, — писал Чарторыйский, — находится под вопросом; нет учреждения, за которое бы не было опасений; нет такой печальной метаморфозы, которой не предсказывали бы стране... Тревога питается фразами, которые, как говорят, вырвались у людей, считаемых за доверенных истолкователей вашего величества... То (как понимаются их слова) конституция неприменима (*impraticable*), бесполезна, слишком дорого стоит, то нужно уничтожить независимость судов, то говорится, будто народное просвещение будет урезано, что сеймы признаются за помеху, подлежащую устранению, что Царство Польское будет управляться на одних началах с другими провинциями... Утверждают при этом, что источник всего этого в собственных мыслях вашего величества, что с некоторого времени ваши мнения, ваши чувства совершенно изменились и сделались совсем противоположными тому, чем были прежде». Между прочим, Чарторыйский напоминал и о несбывшихся надеждах своих соотечественников на обещанное Александром I соединение «всех польских провинций под его скипетром и национальным правительством». Вместе с этим Чарторыйский защищал конституцию от тех нападок, которые на нее, по слухам, делались в высших сферах, и отмечал, что многие упреки по ее адресу объясняются не особенно строгим ее исполнением (*parce que la constitution n’a pas été strictement exécutée*). «Среди поляков, — писал еще Чарторыйский, — создается мнение, будто правительство сознательно стремится к тому, чтобы отвратить от занятия общественных должностей людей с талантами и характером и наполнить ряды правительственных лиц честолюбивыми и жадными пронырами без всякой репутации». В заключение он просил Александра I рассеять опасения несчастной и совершенно отчаявшейся страны: «Одного вашего слова будет достаточно, чтобы вернуть стране исчезающую уверенность в ее прочной и счастливой будущности». Наконец, он предостерегал государя от инсинуаций и влияний иностранных кабинетов, которым было бы выгодно лишить такого могущественного монарха любви его подданных, составляющей одну из основ его могущества. Нужно заметить, что жалобы и предостережения подобного рода в письмах Чарторыйского к Александру I начинаются с самого 1816 г. и, между прочим, с самого же начала этого периода касаются деятельности великого князя Константина Павловича, который, как известно, сначала был сделан начальником польских военных сил, а потом и наместником Царства Польского².

¹ Дух сомнения приводит в уныние сверх меры (*фр.*). — *Прим. ред.*

² Издатель «Мемуаров и переписки» кн. Чарторыйского совершенно верно замечает: «*Les lettres du prince Adam Czartoryski sont un document essentiel pour l’histoire assez peu connue*

И при Александре I, и при его преемнике великий князь Константин Павлович, представлявший собою высшую власть в Царстве Польском, пользовался особым нерасположением со стороны поляков. Это нерасположение находит свое объяснение в основных чертах характера и в образе действий великого князя. Он был человек горячий, вспыльчивый, недостаточно сдержанный и весьма часто резкий в своем обращении с людьми. Его военное воспитание, большая требовательность к подчиненным в деле чисто внешней военной дисциплины и формалистики, привычка к военной команде мало соответствовали той в высшей степени трудной миссии, которая выпала на его долю, миссии, для успешного выполнения коей нужны были, прежде всего, более спокойный характер, большее умение ладить с окружающими людьми, привычка считаться с принципами и формами установленных законов гражданского управления. Великий князь не любил поляков, как не любили некоторые его советники. Он был женат на польке, сжился с поляками, был искренне предан польской армии, подвигами коей готов был восхищаться даже тогда, когда она сражалась с русскими войсками, но если бы он даже был по происхождению поляком, его нрав и образ действий должны были бы порождать против него постоянное неудовольствие во многих частях польского общества. Уже в одном из писем Чарторыйского к императору Александру I, писанных в 1815 г., мы читаем жалобу на то, что великому князю (тогда еще не бывшему наместником) вверена «независимая военная власть, с которой правительство не в состоянии бороться. Я, — продолжает Чарторыйский, — никогда не осмелился бы касаться этого щекотливого предмета (*cette corde délicate*), если бы меня к тому не обязывали самые настойчивые обстоятельства. Рискуя навлечь на себя неудовольствие вашего императорского величества, я все-таки буду говорить, ибо успех вашего дела касательно Польши настолько же, я думаю, важен и для вашей славы, государь, насколько важен он и для благоденствия этой страны». После такого предисловия Чарторыйский сообщал императору, что его высочество (*Monseigneur*) относится ко всему польскому пренебрежительно. «Особенно конституция¹ делается предметом постоянных сарказмов с его стороны; все, что можно назвать правилом, формой, законом, он подвергает насмешкам, и, к несчастью, за словами уже последовали и действия. Великий князь не исполняет даже военных законов, им же самим утвержденных. Он во что бы то ни стало желает ввести в армию шпицрутены (*les coups de bâton*) и он их вчера предписал, не взирая на единодушные представления комитета... Можно подумать, — прибавлял Чарторыйский, — что составил тайный план противодействия видам вашего

de ce malheureux essai constitutionnel de Pologne» (II, 351) («Письма князя Адама Чарторыйского — это документ, весьма важный для истории: малоизвестный очерк несчастий Польши, облагодетельствованной конституцией» (*фр.*). — *Прим. ред.*).

¹ Письмо от 17 (29) июля 1815 г., когда были провозглашены лишь основы конституции.

величества, дабы сделать призрачными ваши благодеяния и с самого же начала испортить ваше предприятие. В таком случае его высочество, сам того не подозревая, был бы лишь слепым орудием этого злосчастного замысла. Верно, по-видимому, то, что некоторые из близких к великому князю людей весьма сильно содействуют его дурному настроению». Несколько далее Чарторыйский прямо заявлял, что «великий князь словно не желает ни с чем считаться и что по его образу действий можно было бы подумать, что он намерен не останавливаться даже перед крайностями. Враг не мог бы более вредить вашему императорскому величеству... Если бы ваше императорское величество даже и находило нужным присутствие великого князя в этой стране, то пусть он будет здесь лишь главнокомандующим войсками, но не правителем (*administrateur*) и судьей». Ходатайствуя в том же письме за некоего Крюковецкого, сидевшего под арестом, Чарторыйский выражал опасение, что в данном случае, пожалуй, правосудие будет бессильно, ибо «его высочество великий князь думает, что правосудие подчинено субординации, и что можно предписать судебный приговор». В другом письме к Александру I от того же 1815 г. Чарторыйский в числе причин, замедлявших реорганизацию страны, ставил «присутствие великого князя, поведение коего получило такое направление, чтобы отнять всякую надежду относительно будущей судьбы страны, и сделало неприменимыми многие реформы и предложения, которых правительство желало, но не могло осмелиться предпринять». Письма Чарторыйского нередко сообщают и разные факты, известные, впрочем, и из других источников. Уже в одном письме от 1816 г. он жалуется на то, что великий князь, нарушая предписание хартии, послал в Санкт-Петербург свой проект организации военного министерства (*commission de guerre*), который должен был быть внесен в государственный совет и подвергнуться установленным обсуждениям.

Известно, что у самого Александра I благосклонное отношение к либерализму, выразившееся в даровании Царству Польскому конституции, под конец царствования изменилось отчасти под влиянием западноевропейских событий и внушений Меттерниха, отчасти под влиянием оппозиции, какую его проекты встречали со стороны варшавских сеймов. Первый сейм был открыт Александром I лишь в 1818 г. Речь, которой император открыл сейм (15(27) марта), произвела большое впечатление и за границей, и в России. Он говорил, что свободные учреждения были всегда предметом его попечительных размышлений, и просил поляков доказать всему миру, что эти учреждения вовсе не суть опасные обольщения, так как, будучи применены с искренними и благими намерениями, они не только не противоречат порядку, но и содействуют истинному благоденствию народа. При этом он даже прямо указал на то, что со временем он намерен распространить благодеяния свободных учреждений и на другие земли, находящиеся под его скипетром. Мало того, в том обстоятельстве, что сейм

отклонил один из предложенных ему законопроектов, Александр I не без удовольствия усматривал доказательство независимости сейма. Известно, однако, что вскоре после того настроение императора стало изменяться. Его уже несколько обидел свободный тон одного представления, в котором сейм выражал некоторые свои желания и отмечал некоторые несогласные с конституцией действия министров, и он даже выразил порицание палате депутатов в рескрипте, обращенном к совету министров. Между тем собрался Аахенский конгресс, на котором много говорилось с реакционной точки зрения о разных случившихся тогда происшествиях во Франции и Германии. События последующих годов еще сильнее тревожили Александра, тем более, что около этого времени и в Польше стали возникать тайные общества. Общая реакционная политика отразилась тогда одинаково и на России, и на Польше. В сентябре 1820 г. был собран второй сейм Царства Польского и, хотя Александр I по-прежнему заявлял о своем расположении к конституционным учреждениям, однако, вместе с тем, предостерегал поляков от следования политическим теориям эпохи и указывал на христианскую мораль, как на единственную основу, которой следует держаться. На этот раз сейм проявил уже весьма значительный оппозиционный дух, причем выдвинулись два брата Немоевских, находившихся под сильным влиянием французского либерализма. Из всех предложений правительства сеймом были приняты только два. Со своей стороны Александр I заявил, что к польскому государственному устройству нечего применять современные конституционные теории.

У Николая I явилась новая причина подозрительного отношения к полякам. Следствие по делу декабристов открыло, что русские тайные общества находились в более или менее тесной связи с тайными обществами польскими. Многие поляки были арестованы и преданы суду сената, который их, однако, оправдал в 1827 г. Поэтому Николай I короновался в Варшаве польскою короною лишь в 1829 г. Во время пребывания его в столице Польши против него составлен был новый заговор. Неудовольствие поляков росло все более и более, несмотря на то что Николай I соблюдал конституцию более точным образом, нежели его предшественник; они жаловались на то, что почти ни одна существенная статья конституции не осталась в силе. Между прочим, сейм, который должен был созываться каждые два года, с 1820 г. не созывался до 1825 г. Несмотря на то, что пред сеймом 1825 г. были употреблены все усилия, чтобы палата наполнилась людьми, приятными правительству, и в ней проявилось оппозиционное направление, заставившее правительство отменить публичность заседаний сейма и принять разные меры для того, чтобы послы сделались более сговорчивыми, а следующий сейм был созван после очень долгой отсрочки, именно лишь в конце мая 1830 г. На этот раз послы находились под несомненным влиянием политического возбуждения, царствовавшего во

Франции, причем уже готовился вопрос об обвинении министров в тот самый момент, когда сейм по истечении законного месячного срока был закрыт. Отношения были более, чем когда-либо, натянутыми в то самое время, как в Париже вспыхнула июльская революция. Понятно, что она не могла не отразиться на внутренних отношениях Царства Польского.

Мы увидим, что июльская революция, вызвавшая восстания в Бельгии и Польше, не прошла бесследно и для Германии с Италией. В первой из этих стран общественное движение, вызванное войной за освобождение 1813 г., около 1820 г. должно было уступить место сильному реакционному направлению. После знаменитых Карлсбадских постановлений 1819 г. и Венского заключительного акта 1820 г. реакция, по-видимому, надолго нанесла удар немецкому либерализму. Несмотря, однако, на это, брожение в Германии все-таки поддерживалось, и событие, совершившееся у соседей, не могло не отозваться на отдельных немецких государствах. В Брауншвейге шла борьба между герцогом Карлом и его подданными. Этот правитель не обращал никакого внимания на законы страны, не созывал земских чинов, произвольно увеличивал налоги, распродал государственное, имущество и вообще действовал с большим самовластием. Это вызывало жалобы на герцога в союзный сейм, и между недовольными, обращавшимися в это учреждение, были, между прочим, земские чины, которые в 1829 г. собрались по собственной своей инициативе для защиты старого государственного устройства. Случилось так, что в начале 1830 г. герцог, которому было не особенно приятно оставаться в стране при таких натянутых отношениях, предпринял большое путешествие за границу, попал в Париж, был сам свидетелем июльских дней и немедленно поспешил в свою столицу, чтобы предотвратить здесь возможный взрыв недовольствия. Большое недовольствие существовало и в Кургессене, где с 1821 г. царствовал Вильгельм II, человек крайне самовластный, расточительный и вместе с тем находившийся под влиянием реакционной политики Меттерниха. Население курфюршества было особенно недовольно тяжелыми налогами и скандальной хроникой двора. Было брожение и в королевстве Саксонском. Известно, что между средними и малыми государствами Германии Саксония представляла из себя страну, где с особой неприкосновенностью сохранились все черты отжившего старого порядка. Здесь именно с особенной силой чувствовалось господство привилегированных сословий и гнет правительственного произвола. Католическая династия этой протестантской страны находилась под сильным влиянием иезуитов, что тоже было одной из причин народного недовольствия. Последнее нашло даже выражение в довольно значительных беспорядках, происшедших по поводу празднования в июне 1830 г. 300-летнего юбилея Аугсбургского исповедания. Недовольны были, кроме того, своим положением населения Альтенбурга, Зондерсгаузена и Шлезвиг-Гольштейн-

на, который был притом недоволен своим подчинением Дании. Наконец, и в Ганновере было довольно значительное неудовольствие на правительство, которое, несмотря на существование в этом королевстве с 1819 г. земских чинов, правило совершенно неограниченно, поддерживало все отжившие законы и учреждения и страшно увеличивало налоги (за 17 лет от 1813 до 1830 г. вдвое). Во всех названных странах июльский переворот вызвал революционные движения, которые не прошли бесследно для внутренних отношений большей части этих стран.

В Италии после 1821 г., когда были подавлены неаполитанская и пьемонтская революции, равным образом господствовала реакция. Старый карбонаризм, однако, продолжал действовать, и та реакционная роль, какую играла во всех государствах полуострова Австрия, только усиливала народное неудовольствие, сообщая ему национально-патриотический характер. Весьма любопытно, что около 1820 г. карбонаризм в Италии принял бонапартистский характер. На этот раз, однако, революционное движение не коснулось ни Неаполя, ни Пьемонта, где еще памятливы были поражения 1821 г.

Таково было общее положение Западной Европы в 1830 г. Мы видели, что в международной политике начинала создаваться новая группировка держав, благодаря коей Священному союзу, по-видимому, грозило полное распадение. Россия сближалась с Францией, Австрия была изолирована. Революция, совершившаяся в Париже, сделала невозможным союз России с Францией. Распространение революции на Бельгию, Польшу, Германию и Италию, в свою очередь, должно было вернуть главных членов Священного союза, т. е. Австрию, Пруссию и Россию к старой политике, незадолго перед тем покинутой преемником виновника Священного союза. С другой стороны, революционное движение вне Франции искало поддержки в этой последней стране, надеясь, что и на этот раз, как то было раньше, Франция ополчится на защиту свободы народов, и нужно заметить, что среди самих французов было сильное движение в пользу вмешательства в революционные события, происходившие в других государствах. Если последнее обстоятельство заставляло европейские правительства держать себя настороже по отношению к Франции, то и новому французскому правительству оно создавало немало хлопот и затруднений, так как на его собственное положение в стране оказывала большое влияние его внешняя политика, которая постоянно подвергалась нападкам за то, что Франция отказывалась от роли вождя общеевропейской революции.

II. Июльская революция¹

Общий взгляд на настроение Франции перед 1830 г. — Конфликт между правительством и палатой. — Выборы в новую палату. — Ордонансы 25 июля. — Июльские дни и поведение в эти дни депутатов, журналистов, парижского народа и защитников легитимизма. — Возведение на престол Людовика-Филиппа. — Конституционная хартия 1830 г.

Вся история Реставрации во Франции была историей борьбы между реакцией и либерализмом. Людовик XVIII еще желал поддерживать некоторое равновесие между обеими враждующими партиями, но его преемник, еще будучи наследником престола, не без основания считался главой ультрароялистов и клерикалов. До 1827 г. господствующее положение в палате депутатов занимали роялисты, но выборы 1827 г. ознаменовались победой либералов. Это обстоятельство, заставившее выйти в отставку министерство Виллеля, не могло не отразиться на правительственной политике, которая вынуждена была теперь вступить на путь уступок. Таково было значение министерства Мартиньяка, возбудившего против себя весьма резкую оппозицию со стороны реакционных партий. Мартиньяку не оставалось ничего более, как искать поддержки у либералов, но те не поняли своего положения и в союзе с собственными своими врагами довели Мартиньяка до падения. Карл X заменил министерство Мартиньяка министерством Полиньяка, одного из самых резких представителей реакционной партии. Это совершилось 8 августа 1829 г. и понято было во всей Франции как переход правительственной власти к людям, от которых нужно было ожидать всего худшего: боялись даже ниспровержения конституции, возвращения к абсолютизму. Между тем в конце двадцатых годов либерализм во Франции сделал большие успехи. Либерализм усилился не в одной палате депутатов, он усилился еще и в периодической прессе, усилился и в обществе, нередко принимая, вместе с тем, антидинастический характер. Лозунгом либералов сделалось — устраивать либеральные демонстрации, кричать виваты хартии. Похороны популярных политических деятелей давали поводы к внушительным уличным процессиям.

¹ О фактах, рассказанных в начале главы, см.: Т. IV. Литература по истории Июльской революции и июльской монархии: *Blanc L. Histoire de dix ans (1830—1840)*; *Nowvion. Hist. du règne de Louis Philippe, 1837—1861* (в орлеанистском духе); *Hillebrand K. Geschichte Frankreichs (1830—1871)*, 1877. В этом труде рассказываются события с начала августа 1830 г., но к нему позднее (1881) автор прибавил большое введение под заглавием «Die Julirevolution und ihre Vorgeschichte (1814—1830)», составляющее *Ergänzungsheft zum I Bande*; *Грегар М. История Франции в XIX веке*, 1893; *Du Bled. Histoire de la monarchie de Juillet*, 1877; *Thureau-Dangin. Histoire de la monarchie de Juillet, 1837—1892*; *D'Haussonville. Histoire de la politique extérieure du gouvernement français (1830—1848)*, 1850.

Падение реакционных законопроектов праздновалось иллюминациями и фейерверками, а одна иллюминация (по поводу либеральных выборов 1827 г.) сопровождалась даже попыткой постройки баррикад. Смотр национальной гвардии, устроенный в 1827 г. Карлом X, окончился оппозиционной манифестацией, после чего король счел себя вынужденным распустить национальную гвардию. Составлялись общества («Aide toi, le ciel t'aidera»¹) для либеральной пропаганды, а после назначения Полиньяка — для сопротивления взиманию налогов на тот случай, если бы хартия была уничтожена. Поездка Лафайета в некоторые департаменты превратилась в целый ряд оппозиционных манифестаций. Роялистская пресса подливала масла в огонь, проповедуя, что на короле лежит обязанность, по примеру римских диктаторов, предотвращать опасности, грозящие государству. Многие ультрароялисты были недовольны тем, что Полиньяк не предпринимал ничего решительного. Чего можно было ожидать от самого Карла X, об этом судили, между прочим, потому, что на новогоднем приеме 1830 г. он выразил свое неудовольствие судьям, постановлявшим оправдательные приговоры по делам, которые возбуждались правительством против оппозиционных газет, а когда судьи подошли с поздравлениями к невестке короля, герцогине Ангулемской, она движением веера отклонила их приветствие и довольно резким тоном сказала им: «Проходите дальше» (*passsez*).

Через два месяца после этого происшествия, именно 2 марта, король торжественно открыл заседания палат. Карл X прочитал тронную речь, в которой было одно место, включенное в нее министерством, по ходившим тогда слухам, вследствие настояний самого короля и наиболее близких к нему лиц. «Я не сомневаюсь, — сказал он, — что вы будете содействовать осуществлению добра, к которому я стремлюсь. Вы с презрением отвергнете злонамеренные инсинуации, которые распространяют в настоящее время. Если бы эти преступные происки стали создавать для моей власти препятствия, которых я не могу и не хочу предвидеть, то я нашел бы для их преодоления достаточную силу в своей решимости поддерживать общественный мир, в справедливом доверии французов и в той любви, которую они всегда обнаруживали к своему королю». Произнося эти слова, Карл X до такой степени взволновался, что выпустил из руки свою шляпу, которую поспешил поднять стоявший тут герцог Орлеанский. На громадное большинство палаты это заявление короля произвело самое тягостное впечатление. В нем видели угрозу по отношению ко всякой оппозиции против министерства. Когда палата депутатов приступила к выбору своего президента, громадное большинство голосов выпало на долю Ройе-Коллара, игравшего роль одного из видных вождей либеральной партии. За-

¹ Помогай себе, и небо тебе поможет (*фр.*). — *Прим. ред.*

тем назначена была комиссия для выработки проекта ответного адреса на тронную речь. Состав комиссии был оппозиционный, и написанный ею адрес вызвал в палате горячие прения, окончившиеся победой либералов: адрес был принят большинством 221 голоса против 181. «В основе всех действий администрации, — говорилось, между прочим, в этом адресе, — лежит в настоящее время недоверие к чувству и разуму Франции; недоверие это глубоко огорчает ваш народ, потому что оно оскорбительно для него; оно беспокоит его, потому что угрожает его вольностям. Это недоверие не должно проникать в ваше благородное сердце. Нет, ваше величество! Франция так же мало желает анархии, как вы сами желаете деспотизма; она достойна, чтобы вы верили в ее преданность, как она верит в ваши обещания. Пусть ваше величество выскажет, кого вы выбираете: тех ли, кто высказывает такое полное непонимание вашей нации, спокойной, тихой и верной, или нас, с глубоким убеждением в своей правоте повергающих к стопам вашего величества горе целого народа, который жаждет уважения и доверия своего короля». В адресе прямо указывалось на то, что между правительством и палатой нет более никакой солидарности. Это было выражение недоверия министерству, которому после такого заявления следовало бы подать в отставку, но Карл X и его министры взглянули на дело совершенно иначе: они увидели в этом заявлении палаты нарушение права короля выбирать своих министров и даже чуть не прямое оскорбление, наносимое самому королю. 18 марта Карл X на торжественной аудиенции принял палатскую депутацию, которая была уполномочена поднести адрес. Он холодно выслушал чтение этого адреса Ройе-Колларом и затем объявил следующее: «Я имел основание рассчитывать на содействие обеих палат для выполнения задуманного мною добра. Я глубоко огорчен тем, что депутаты от департаментов отказывают мне в этом содействии. Господа, я заявил вам о своем решении в тронной речи, открывшей сессию. Решение это непоколебимо: интерес моего народа запрещает мне изменять его. Мои министры сообщат вам о моих дальнейших намерениях». Эта короткая речь Карла X выслушана была с гробовым молчанием. На другой день заседания палаты были отсрочены до 1 сентября, но все очень хорошо понимали, что непорочная палата будет распущена. Понятное дело, что с обеих сторон стали готовиться к борьбе: она всем казалась на этот раз неизбежной, хотя никто с точностью не предвидел, к чему приведет эта борьба. Уже ранее, как мы видели, общественное возбуждение было весьма напряженным. Теперь оно проявилось еще с большей силой. С обеих сторон писались горячие политические статьи. Оппозиционные депутаты сделались героями дня, которых чествовали публичными банкетами в то самое время, как ультрароялисты и клерикалы превозносили до небес твердость короля.

Вскоре после этого с прямым намерением отвлечь общественное внимание от внутренних дел правительство Карла X предприняло экспеди-

цию против алжирского дея¹, поводом к чему было оскорбление, нанесенное деом представителю Франции. В июле французская армия заняла Алжир, и Карл X сильно рассчитывал на то, что успех его оружия отзовется в благоприятном для него смысле на настроении французской нации. Еще 16 мая палата депутатов была объявлена распущенной и издано было распоряжение о производстве новых выборов с тем, чтобы заседания новой палаты открылись 3 августа. Со стороны министерства были пущены в ход все средства для того, чтобы получить результаты, благоприятные для правительства. Даже сам Карл X вмешался в избирательную борьбу, обратившись к нации с манифестом, в котором он, как отец и король французов, приглашал своих подданных собраться воедино под его знаменем. Действовало со своей стороны и известное уже нам общество «Aide toi, le ciel t'aidera»²: оно организовало комитеты, поставившие своей целью переизбрание 221 депутата, вотивовавших ответный адрес. Настроение в Париже делалось все более бурным. Как раз в это время столицу Франции посетили король и королева Неаполитанские, и в их честь герцог Орлеанский дал блестящий бал, в котором присутствовал и сам Карл X. Один из гостей заметил хозяину, что это настоящий неаполитанский праздник, так как тут танцуют на вулкане. Действительно, в ту же самую ночь в дворцовом саду, на глазах у высоких гостей, собравшаяся здесь случайная толпа произвела беспорядки, пытаясь сокрушать все, что ни попадалось под руку.

Выборы в палату депутатов происходили в середине июля. На них оппозиция одержала блестящую победу, так как число либеральных депутатов достигло 272, и громадное большинство из 221 (именно 202) было переизбрано; правительство же прибрело только 145 голосов. Перед Карлом X теперь была двоякая дорога: ему оставалось только или дать отставку Полиньяку и назначить новое министерство, которое управляло бы в согласии с либеральным большинством новой палаты, или предпринять расширение королевской прерогативы в том смысле, в каком уже давно добивались этого ультрароялисты, говорившие королю, что он должен быть полным хозяином в своем доме. Гордость не позволила Карлу X идти по первому из этих двух путей; второй путь ближе подходил к тому взгляду, какой у Карла X составилась относительно конституционной хартии, тем более, что уже давным-давно шла речь о возможности, будто бы даваемой самой хартией, выступить более решительно с королевской прерогативой. Карл X и решился идти этим вторым путем.

Известно, что ст. 14 хартии 1814 г. предоставляла королю, между прочим, право «издавать регламенты и ордонансы, необходимые для исполнения законов и безопасности государства». Карл X и его министры задумали

¹ Пожизненный правитель. — *Прим. ред.*

² В название общества вынесена поговорка: «Помогай себе, и небо тебе поможет». — *Прим. ред.*

мали воспользоваться широким толкованием этой статьи для того, чтобы выйти из неприятного положения. Нужно заметить, что уже гораздо раньше роялисты толковали в том смысле, что в некоторых случаях королевская власть может стать выше законов не для того, чтобы сокрушить законы, а для того, чтобы их утвердить. О готовившемся государственном перевороте говорили и в обществе, говорили и в дипломатических сферах. Даже представители абсолютных монархий не одобряли намерения французского правительства, и в числе лиц, опасавшихся печального исхода, были и князь Меттерних, и император Николай I. Виллель, с таким искусством несколько лет занимавший министерский пост, нарочно приехал в Париж, чтобы отговорить Карла X от государственного переворота; а Виллель, как известно, сам принадлежал к роялистам. Все было, однако, напрасно. 25 июля Карл X, живший тогда в Сен-Клу, в заседании совета министров подписал знаменитые ордонансы, опубликование которых было ближайшим поводом взрыва революции¹. Первый ордонанс уничтожал свободу периодической прессы и восстанавливал цензуру в том виде, какой она имела по закону 21 октября 1814 г. Газеты и журналы могли впредь издаваться в Париже и департаментах только по особому королевскому разрешению, даваемому отдельно авторам и типографщику, причем это разрешение должно было быть возобновляемо каждые три месяца и во всякое время могло быть взято назад. В департаментах временные разрешения могли даваться префектами. Далее, все издания ниже 20 печатных листов могли появляться лишь с разрешения министра внутренних дел в Париже и префектов в департаментах. Даже отчеты о судебных процессах и публикации ученых и литературных обществ подлежали предварительной цензуре, если только касались политических вопросов. Вторым ордонансом распускалась только что избранная палата депутатов. Эта мера мотивировалась «происками, имевшими место в разных частях королевства, с целью обмана и введения в заблуждение избирателей». В третьем ордонансе делалась ссылка опять на «пагубное влияние» этих происков и указывалось, с одной стороны, на неудобство существующих правил избрания и на право короля «подавлять всякое предприятие, наносящее ущерб достоинству короны». Этот ордонанс совершенно изменял всю прежнюю избирательную систему в смысле расширения административных воздействий и ограничения избирательных прав лишь одним классом богатых землевладельцев. Четвертый ордонанс предписывал совершение выборов на 6 и 18 сентября и созывал палаты на 28-е число того же месяца. Кроме этих четырех ордонансов изданы были еще два, коими назначались членами государственного совета лица, известные крайне реакционным направлением. Издавая эти ордонансы, правительство не приняло ника-

¹ Эти ордонансы перепечатаны, между прочим, в приложении к I тому «Истории десяти лет» Луи Блана.

ких мер против возможности восстания, полагаясь на уверения министра полиции, что Париж останется совершенно спокойным. Любопытно, что и для либеральной буржуазии происшедшее в Париже восстание народа было, в сущности, неожиданностью, так как народ, который по конституции 1814 г. вследствие высокого избирательного ценза не пользовался никакими политическими правами, не имел непосредственного интереса защищать хартию. Сами либералы или вовсе не рассчитывали на содействие народной массы, или даже прямо говорили, что в случае их поражения народ не воспрепятствует их казни.

Мы сделаем теперь самый беглый очерк так называемых «июльских дней», чтобы потом подробнее рассмотреть в отдельности поведение в эти дни либеральных депутатов, журналистов, парижского населения и защитников легитимизма, включая в их число и самого Карла X.

Июльские ордонансы были опубликованы 26-го числа, но в этот день лишь немногие узнали об их существовании и поняли их значение. В этот день только депутаты и журналисты собирались для того, чтобы обсудить положение дел и свой будущий образ действий, да кое-где на улицах кричали: «Да здравствует хартия! Долой министров!» 27 июля в двух газетах появился протест журналистов, и на улицах и площадях стали составляться толпы народа и начали происходить стычки с полицией и войсками; в этот же день было разграблено несколько оружейных лавок и стали строиться баррикады. К вечеру волнение, по-видимому, стало успокаиваться, но за ночь на всех главных улицах Парижа выстроены были громадные баррикады. Утром 28 июля колокольный звон на всех парижских церквях стал призывать народ к восстанию. Скоро громадная толпа овладела ратушей и водрузила на ней трехцветное знамя, бывшее знаменем первой революции и империи Наполеона. При этом все чаще и чаще раздавались крики: «Долой Бурбонов!» Тогда же из либеральных депутатов стало образовываться временное правительство. Маршал Мармон, у которого было слишком мало войска для того, чтобы справиться с движением, послал в Сен-Клу сказать королю о необходимости уступок, но прежде чем мог прийти оттуда какой-либо ответ, победа уже склонилась на сторону революции. Войско не особенно было расположено сражаться с народом, и отдельные отряды начали прямо переходить на сторону инсургентов. За ночь на 29 июля были выстроены новые баррикады, а днем народ овладел Тюильрийским и Луврским дворцами, заставив маршала Мармона отступить с остатками своего войска. Теперь окончательно организовалось временное правительство и собралась национальная гвардия, во главе которой стал Лафайет. Лишь после этого Карл X взял назад свои ордонансы, назначил трех новых министров, разрешил снова основать национальную гвардию и созывал палаты на 3 августа. Эти уступки пришли слишком поздно: 30 июля уже поставлена была кандидатура герцога Орлеанского, которому

депутаты, находившиеся в Париже, предложили стать во главе движения с титулом наместника королевства. 31 июля герцог принял этот титул, что было лишь прелюдией к возведению его на престол. Карл X поспешил утвердить герцога в новом сане в надежде на то, что Людовик-Филипп будет действовать в его интересах. Когда, однако, его положение в Сен-Клу сделалось небезопасным, он переехал в Рамбуйе, где, желая, по крайней мере, спасти корону для своей династии, он в форме письма на имя наместника королевства подписал отречение от престола за себя и за дофина в пользу своего внука, герцога Бордоского. Последний был тогда еще ребенком и во время его малолетства управлять государством в качестве наместника королевства должен был герцог Орлеанский. И эта мера оказалась запоздалой. В начале августа Карлу X с семейством пришлось покинуть территорию Франции для того, чтобы искать убежища в Англии, где, как известно, он и прожил до 1832 г., переселившись затем в Австрию¹.

Переходим теперь к более подробному рассмотрению того, как вели себя отдельные общественные элементы во время этого кризиса. Начнем с оппозиционных депутатов, которые в конце июля находились в Париже. В самый же день опубликования ордонансов (26 июля) они два раза собирались, чтобы переговорить о положении дел. Первое собрание было у Казимира Перье, второе — у Лаборда. Но никаких решений собравшимися депутатами не было принято: до такой степени они растерялись и не знали, что им делать. 27-го числа у Казимира Перье было новое собрание, на котором опять-таки никаких решений принято не было. Один современник говорит, что никогда он не видал в одном месте такого большого числа перетрусивших людей. Разошлись, чтобы на другой день сойтись снова у депутата Одри-де-Пюираво. Этот депутат, предложив свою квартиру для совещания депутатов, нарочно оповестил об этом многих инсургентов, которые на другой день и пришли слушать у открытых окон первого этажа, о чем будут говорить депутаты. На этом собрании (28 июля) присутствовал, между прочим, Лафайет, которому пришлось сыграть вообще столь видную роль в этом перевороте. Депутат Моген первый заявил, что представителям народа приходится стать во главе революции, выбирая между королевской гвардией и народом, который уже начал тогда восстание. Но многие присутствовавшие с этим не соглашались и говорили о необходимости вступить в переговоры с маршалом Мармоном. На этот раз, однако, был составлен Гизо протест депутатов «против мер, которые советники короны, искажая намерения монарха, только что предприняли для низвержения законной системы выборов и на гибель свободы печати». Вместе с этим в протесте говорилось о неизменной верности депутатов королю и конституционной партии.

¹ Он умер в 1836 г., а 8 лет спустя скончался и сын его, герцог Ангулемский. Что касается до герцога Бордоского (Генриха V), то он умер в Австрии же в 1883 г.

Из этого видно, что собравшиеся у Пюираво депутаты (их было, впрочем, только 20 человек) вовсе еще не думали о перемене династии. Только к вечеру некоторые депутаты стали понимать, что победа парижского народа должна будет иметь более решительные следствия. Наконец, 29 июля, когда победа была уже окончательно на стороне народа, тридцать депутатов, собравшихся у Лафитта, решились стать во главе движения, хотя дело и тут не обошлось без одного комического эпизода. В это время уже многие отряды войска перешли на сторону народа. Один из таких отрядов отправился к дому Лафитта, чтобы отдать себя в распоряжение депутатов, и перед этим домом выстрелил в воздух, чем навел панический страх на депутатов, попрятавшихся кто где мог. Лишь после того, как недоразумение разъяснилось, учрежден был особый комитет для заведования делами управления до восстановления порядка. В состав этого комитета вошли Лафитт, Казимир Перье и некоторые другие депутаты, но они не решились назвать себя временным правительством, приняв имя муниципальной комиссии.

Гораздо решительнее и определеннее вели себя журналисты, уже 26 июля решившиеся протестовать против нарушения хартии. В редакции газеты «National», во главе которой стояли Тьер, Минье и Арман Каррель, собрались редакторы и сотрудники оппозиционных газет. Здесь по инициативе Тьера был составлен протест, который решено было на другой же день опубликовать во всех либеральных газетах. «В последние шесть месяцев, — говорилось в этом документе, — нередко возникали слухи, будто законы будут нарушены и будто совершится государственный переворот. Здравый смысл общества отказывался этому верить. Министерство отвергало это предположение, как клевету. Однако в «Монитёре» обнародованы, наконец, эти достопамятные ордонансы, представляющие собой самое очевидное нарушение законов. Итак, легальный порядок прерван: началось господство силы. В том положении, в какое мы поставлены, повиновение перестает быть долгом. Граждане, которые первыми призываются к повиновению, суть сотрудники газет; они же первыми должны дать пример сопротивления власти, лишившей себя характера законности... Предметы, коих касаются сегодняшние ордонансы, относятся к числу тех, о которых на основании хартии королевская власть одна не может делать постановлений». Далее протест делал ссылку на ст. 8 и 35-й хартии, по которым печать и выборы должны были регулироваться законами, а не ордонансами, и продолжал в следующих выражениях: «Сама корона до сих пор признавала эти статьи; она вовсе и не думала вооружаться против них ни в силу якобы принадлежащей ей учредительной власти, ни в силу права, неверно выводимого из ст. 14. В самом деле, каждый раз, когда правительство ввиду обстоятельств, которые считало важными, желало изменения в законах о печати или в избирательной системе, оно всегда обращалось

к обеим палатам... Королевская власть, следовательно, признавала и сама исполняла эти самые 8 и 35 статьи и по отношению к ним не приписывала себе ни учредительной, ни диктаторской власти, которые нигде не существуют. Суды, — говорилось далее, — пользующиеся правом толкования законов, признали торжественно те же самые принципы... Они рассматривали, как оскорбление правительству, предположение о том, что оно прибегнет к ордонансам в вопросах, которые могут решаться лишь путем закона...¹ Итак, теперь правительство нарушило законность. Мы освобождены от обязанности повиноваться; мы попробуем издавать наши газеты, не испрашивая разрешения, к чему нас принуждают, и мы употребим все усилия, чтобы, по крайней мере, сегодня наши листки могли распространиться по всей Франции». В заключение к своему протесту журналисты высказывали свой взгляд и на положение вопроса о выборах. «Нам нечего, — говорили они, — указывать незаконно распущенной палате, как она должна исполнить свой гражданский долг. Но мы можем умолять ее от имени всей Франции опереться на свое очевидное право и, насколько ей это будет возможно, оказать сопротивление нарушению законов... Хартия в ст. 50 говорит, что король может распускать палату депутатов, но для этого нужно, чтобы она была в сборе, чтобы депутаты уже образовали из себя палату, чтобы, наконец, она проявила деятельность, способную вызвать ее распускание. Но до собрания, до образования палаты существуют только выборы. Однако нигде хартия не говорит, чтобы король мог кассировать выборы. Ордонансы, обнародованные сегодня, как раз кассируют выборы, а потому они незаконны, ибо предписывают то, на что хартия их не уполномочивает. Избранные депутаты, которые созданы на 3 августа, таким образом, избраны и созданы совершенно правильно и законно. Их право сегодня такое же, каким было вчера. Франция их умоляет этого не забывать. Все, что будет в их власти сделать для того, чтобы доставить торжество этому праву, — они обязаны это сделать». Протест оканчивался указанием на то, что журналисты намерены сопротивляться незаконным требованиям власти, поскольку последние касаются их самих, предоставляя уже всей Франции судить о том, до какого предела ей нужно будет довести свое собственное сопротивление. Этот протест², несомненно, был весьма смелым актом, грозившим опасностью всем, кто его подписал, и он заключал в себе совершенно верную, с точки зрения конституционного права, оценку ордонансов Карла X. Обнародование этого воззвания имело поэтому своей целью разъяснить нации настоящее значение государственного переворота. Но одно дело было составить и подписать протест, другое дело — его напечатать. Хотя весьма многие редакции присо-

¹ Ссылка на некоторые судебные приговоры против газет, обвинявшихся правительством в министерство Полиньяка.

² Перепечатан целиком в приложении к I т. сочинений Луи Блана.

единились к протесту, однако, не все имели возможность его опубликовать. На другой день, т. е. 27 июля, полиция приступила к закрытию типографий оппозиционных газет. В типографии газеты «National», в коей был напечатан протест, полиция выломала двери и испортила станки при протестах главного редактора и его сотрудников. При этой сцене присутствовала толпа, кричавшая: «Да здравствует хартия! Долой министров!» Полиция явилась сделать то же самое и в типографии газеты «Temps»¹. Собственники газеты выставили весь персонал редакции и типографии в два ряда перед своим домом, а сами стали у входных дверей. Конечно, на это зрелище сбежалось много народа. Когда появился полицейский комиссар с целым отрядом сержантов, один из собственников газеты, Бод, отказался его впустить. «Вы, — сказал он ему, — требуете, чтобы я открыл вам двери, и ссылаетесь на ордонансы, а я во имя закона требую, чтобы вы уважали мою собственность». Комиссар послал тогда за слесарем, который мог бы отпереть или сломать дверной замок. Слесарь скоро явился, но Бод прочитал ему статью уголовного кодекса, грозящую каторжной работой за кражу со взломом. После минутного колебания слесарь отказался исполнить требование полиции при громких аплодисментах публики. Послали за другим слесарем, и в течение целых двух часов новому слесарю полиция грозила, а толпа не давала сломать замок. Наконец, комиссар послал в префектуру полиции, откуда и был прислан рабочий, занимавшийся заковыванием преступников в кандалы; он и сломал замок. На все это от появления полиции до вторжения ее в типографию газеты потребовалось около семи часов. Тем не менее и «National», и «Temps» выходили и в последующие дни, разъясняя публике совершавшиеся события. Вообще из всех журналистов самую видную и влиятельную роль в эти дни играл Тьер. Мы еще увидим, какое участие принимал он в деле возведения на престол герцога Орлеанского. Он принадлежал к той части либеральной партии, которая составляла антидинастическую оппозицию и, проводя параллель между французской и английской историей, указывала на вторую Английскую революцию как на пример, достойный подражания и для Франции².

На массу парижского населения ордонансы 25 июля подействовали еще решительнее. Сначала 26 июля появление ордонансов в «Монитёр» произвело впечатление на биржу, где тотчас же пала цена некоторых бумаг, и произошло еще небольшое волнение в галереях и в саду Пале-Рояля, да в доме Полиньяка были выбиты стекла. До какой степени в этот день нельзя было еще предвидеть восстания — об этом, между прочим, может свидетельствовать такой факт. Когда некоторые из бывших карбонариев стали говорить об удобстве этого момента для того, чтобы вызвать революцию,

¹ «Время» (фр.). — Прим. ред.

² Не забудем, что Тьер был автором первой большой истории Французской революции.

Тьер охладил их пыл уверением, что народ не двинется. Таково было убеждение и многих других либеральных деятелей, но то же самое думало и правительство. Дело в том, однако, что ордонансы появились в этот день слишком поздно и в малораспространенной газете и потому не могли тотчас же произвести свое действие. Но на другой день было уже совсем не то. Содержатели типографий, полагая, что новое распоряжение о печати значительно сократит их работу, распустили своих рабочих; так же поступили некоторые фабриканты; многие лавочники тоже закрыли свои заведения, и их приказчики и служащие были в этот день свободны. Быть может, что все это сделано было не без умысла, дабы вызвать волнение. На улицах и площадях действительно стали собираться народные толпы. Протест журналистов, который жадно читался всеми, производил свое действие. Назначение в высшей степени непопулярного Мармона главнокомандующим только подливало масла в огонь. Такие сцены, как те, которые произошли при закрытии типографий, газет «National» и «Temps», равным образом действовали на толпу возбуждающим образом. Чем более разрасталось это движение, тем все более и более хозяева торговых и промышленных заведений закрывали свои конторы, магазины, мастерские, и весь служащий и рабочий люд выходил на улицу. Появились и прокламации, обращенные к уничтоженной в 1827 г. национальной гвардии: ее убеждали выступить на защиту законов против произвола. Местами стали даже появляться мундиры национальной гвардии. К движению присоединились многочисленная учащаяся молодежь Парижа и бывшие наполеоновские солдаты; последние оказались потом особенно полезными восстанию благодаря своим военным знаниям. Кое-где пытались строить баррикады. Между тем, с другой стороны, не принималось никаких мер для усмирения восстания, хотя стычки между народом и военными патрулями начались довольно рано. К вечеру, однако, Мармон счел нужным усилить эти отряды, и вскоре дело дошло до кровопролития. Несколько человек было ранено, несколько — убито, и трупы убитых торжественно были пронесены по улицам города, что, конечно, еще более усилило народное раздражение. Восстание 27 июля было чисто стихийным народным движением: оно никем не было подготовлено; у него не было еще вождей; восставшие еще сами не знали, к какому определенному результату им нужно было стремиться. Старый боевой крик: «Да здравствует хартия!» и теперь, по-видимому, объединял движение. К ночи на улицах водворилась тишина, и весь Париж погрузился в глубокий мрак, так как большая часть фонарей или была переломана или просто не была зажжена. На самом деле, однако, народ готовился к дальнейшему сопротивлению. Старые карбонарии постарались наскоро организовать в отдельных частях города комитеты восстания, и, где только было возможно, воздвигались баррикады, которые должны были препятствовать движению войск и слу-

жить прикрытием для восставших. На другой день, т. е. 28 июля, восстание в Париже было уже в полном разгаре, тем более что со всех колоколен раздался набатный звон. В этот день выступила и национальная гвардия, во главе которой впоследствии стал Лафайет. В регулярной армии уже стала проявляться борьба между солдатским долгом и гражданским чувством, и это повлекло за собой потом переход многих солдат на сторону народа, который почти везде являлся победителем. Несмотря, однако, на все это, трудно было сказать, к чему должно было привести это движение, хотя в этот день уже кое-где ломали королевские гербы и эмблемы, кричали: «Долой Бурбонов!» и вывешивали трехцветное знамя. Если таким образом в этот день движение и стало принимать антидинастический характер, то еще никто не знал, чем могла бы быть заменена монархия Бурбонов; даже 30 июля газеты еще не решались объяснить, что совершалось, и сделать отсюда какие-либо определенные выводы. Между тем 29 июля с переходом части войск на сторону революции победа вполне уже была в руках народа. Карл X теперь был готов на уступки, и депутаты, еще раз собравшиеся у Лафитта, все еще думали уладить дело новыми переговорами с королем; но журналисты Тьер и Минье решительно заявили, что после всего совершившегося речь может идти только о перемене династии, — мнение, к которому присоединился и Лафитт. (На следующий день Тьер и Минье выпустили целую массу летучих листов, в которых высказывались в смысле перемены династии в пользу герцога Людовика-Филиппа Орлеанского.) Уличная борьба окончилась 29 июля. В три дня этой борьбы со стороны народа пало 780 человек, со стороны солдат — 163. Одной из замечательных особенностей июльских дней было то, что народная толпа сама останавливала все попытки к совершению краж и грабежей.

Но как и перед началом восстания, так и после победы народная масса не имела никакого определенного представления о том, к чему эта победа должна привести. В одном все были согласны: Бурбоны, которые дважды были навязаны Франции силою иностранного оружия, теперь были совершенно невозможны, а затем оставалось три исхода: установление республики, перемена королевской династии или возвращение к империи. Но это была эпоха, наименее благоприятная для бонапартизма, и выбор мог быть лишь между конституционной монархией с новой династией и с измененною хартией, с одной стороны, и республикой — с другой. Последние числа июля и первые числа августа решили этот вопрос в смысле возведения на престол герцога Орлеанского, который уже давным-давно был кандидатом антибурбонской оппозиции, и потому можно сказать, что возведение на престол этого принца не было случайностью: либералы и гораздо раньше тяготели к Орлеанской династии. Только под влиянием всех этих событий и депутаты, собравшиеся 30 июля у Лафитта, стали говорить о низложении Карла X. Между тем они назначили формальное за-

седание в Palais Bourbon¹, а Тьер отправился лично в Нёйльи, поместье герцога Орлеанского, где тот в это время проживал, и стал настаивать на том, чтобы герцог поскорее приехал в Париж и вмешался в события, совершавшиеся в столице. О личном поведении герцога в эти дни речь будет идти еще впереди — в связи с прошлым и вообще с характером этого короля, возведенного на престол революцией 1830 г. Здесь же мы ограничимся самыми необходимыми фактами. Заявление кандидатуры герцога Орлеанского в прокламации 30 июля было встречено многими весьма сочувственно, но у этого кандидата были противники: это были сравнительно немногочисленные республиканцы, которые тоже выпустили и развесили на стенах Парижа прокламацию, требовавшую предоставить решение судьбы Франции самому народу и вместе с тем заявлявшую о необходимости до решения дела соблюдать следующие принципы: королевская власть отменяется; право прямого или косвенного участия в выборе депутатов предоставляется всем гражданам; повсеместно должна быть восстановлена национальная гвардия, и т. д. Либеральные депутаты менее всего думали о демократической республике и потому не особенно благоприятно отнеслись к этой прокламации, но она нашла зато очень много сторонников в парижском населении, накануне совсем еще и не думавшем о республике. Для депутатов поэтому, — при их желании сохранить монархию для Франции, наиболее подходящим кандидатом на престол был герцог Орлеанский. Если под давлением народного движения муниципальная комиссия, объявляя о том, что Карл X перестал царствовать, и обещала предоставить народу самому решить вопрос о будущей форме правления, то на самом деле она сильно склонялась на сторону Орлеанской династии. В высшей степени важен был переход на ту же точку зрения героя первой революции и одного из вождей либерализма в эпоху Реставрации, Лафайета. Его сочувствие было на стороне республики, но он не решался идти против большинства депутатов и не хотел взять на себя ответственность за провозглашение республики. Он даже, как рассказывают, прямо заявил, что «герцог Орлеанский есть лучшая из республик». Депутаты, собравшиеся 30 июля в здании палаты, послали к герцогу Орлеанскому депутацию с приглашением поскорее прибыть в Париж для исполнения обязанностей наместника королевства. Пешком и в партикулярном платье Людовик-Филипп в ночь с 30 на 31 июля прибыл из своей загородной резиденции в Пале-Рояль, но, по-видимому, в этот момент у него не было еще твердого решения, как поступить. Лишь после того, как уполномоченные депутатов сказали ему, что всякое промедление с его стороны будет лишь на руку республиканцам, он принял сделанное ему предложение. Он сам вслед за этим продиктовал декларацию парижскому населению, в которой

¹ Дворец Бурбонов (фр.). — Прим. ред.

говорилось о принятии им звания наместника королевства от депутатов, находящихся в Париже, для предотвращения междоусобной войны и анархии и давалось обещание в том, что палаты займутся обсуждением вопроса о способах обеспечить господство законов и права нации, после чего «хартия будет истиной». В народе эта прокламация была встречена довольно равнодушно. В дальнейшем герцогу Орлеанскому была, однако, оказана весьма существенная услуга со стороны Лафайета, который по-прежнему пользовался громадной популярностью и авторитетом среди парижского населения. Дело в том, что герцог Орлеанский решился в сопровождении почти целой сотни депутатов поехать из Пале-Рояля в ратушу, чтобы принять там власть от членов муниципальной комиссии. И вот Лафайет с трехцветным знаменем и под руку с герцогом Орлеанским вышел на балкон ратуши перед собравшимся народом. Когда Людовик-Филипп еще ехал только туда, протискиваясь через толпу, настроение народа было по отношению к нему не особенно дружелюбное, и многие даже боялись, как бы герцог не был убит во время своего проезда. Теперь же его появление под руку с Лафайетом вызвало целую бурю восторга. На обратном пути в Пале-Рояль его даже приветствовали с особой горячностью. Вечером в Париже была по случаю радостного события устроена иллюминация.

Республиканцы не хотели так скоро сдаться. Так называемое «Общество друзей народа» продолжало требовать, чтобы созвано было национальное собрание для изменения хартии в смысле идеи народовластия и чтобы этой хартии новый монарх присягнул до своего вступления на престол. В этом духе была составлена в ратуше программа, о которой Лафайет высказался весьма сочувственно, но которая практического значения не имела. Все дело ограничилось только тем, что Лафайет съездил к герцогу Орлеанскому и заявил ему, что «Франции нужен трон, окруженный республиканскими учреждениями». Он вполне удовлетворился ответом герцога, заявившего, что он вполне предоставляет палатам определить условия его будущей королевской власти. Лафайету даже удалось успокоить многих патриотов ручательством в том, что герцог Орлеанский будет настоящим конституционным монархом и что республиканское королевство для Франции лучшая форма правления.

Как же вели себя во время этого кризиса роялисты? Они не выставили ни одного волонтера, который стал бы с оружием в руках защищать права короля. В палате пэров только один Шатобриан протестовал с некоторой энергией против низложения Бурбонов. Это одно показывает, как мало было сколько-нибудь истинных приверженцев у старой династии. Карл X не мог даже положиться на армию. В ней стало сильно развиваться дезертирство, особенно после того, как распространилось известие, что сам король утвердил герцога Орлеанского в звании наместника королевства. Министры, давшие Карлу X совет о государственном перевороте, поспе-

шили спастись бегством за границу. Некоторым это удалось, но другие — и в их числе Полиньяк — были схвачены и заключены в Венсенский замок. Мы уже видели, что сам Карл X, не считая себя безопасным в Сен-Клу, перешел в Рамбуйе, где и подписал свое отречение от престола в пользу маленького внука. Наконец, и в Рамбуйе Карлу X долее нельзя было оставаться. В начале августа он выехал оттуда в Шербур и в середине того же месяца был уже в Англии. Он еще, однако, не успел покинуть французской территории, когда совершившийся факт был уже признан всей нацией. Примеру парижан последовало население некоторых других городов, и в Лионе, например, также произошло народное восстание. Повсеместно в городах и селах водружалось трехцветное знамя, но нигде не было заметно движения в пользу Бурбонов. Сам отъезд Карла X из Рамбуйе был вызван целым народным походом, направившимся из Парижа на этот город и нигде не встретившим сопротивления. Правда, король ехал в Шербур под охраной оставшихся ему верными гвардейских полков, совершая очень короткие переезды в надежде на возникновение междоусобной войны, но очень скоро ему пришлось убедиться в неосновательности этой надежды.

3 августа герцог Орлеанский открыл заседание палаты речью, в которой указал на совершенные правительством нарушения конституции, приведшие к восстанию, и объявил об отречении от престола Карла X и его старшего сына, ни словом, впрочем, не упомянув, что это отречение сделано было в пользу малолетнего Генриха V. Со своей стороны, он обещал употребить все усилия для обеспечения законности и свободы, равно как неприкосновенности хартии. Громадное большинство депутатов старалось замять вопрос о праве палаты без особого полномочия народа изменять конституцию, республиканская же партия именно и старалась выдвинуть этот самый вопрос вперед, производя в таком смысле агитации в парижском населении. Это последнее обстоятельство только заставило большинство палаты поторопиться с окончанием дела. Под влиянием главным образом Гизо и герцога Броля особая комиссия переделала хартию 1814 г., изложив все изменения в объявлении, которое и было принято большинством 219 голосов против 33. Это объявление было отнесено собранием герцогу Орлеанскому 7 августа. Выслушав чтение названного документа, Людовик-Филипп сказал, что видит в объявлении палаты выражение народной воли, что ему самому всегда были дороги изложенные здесь принципы и что он согласен на предложенные ему условия. И на этот раз он вместе с Лафайетом вышел на балкон, и оба они перед собравшимся народом пожали друг другу руки. В тот же день к Людовику-Филиппу явилась депутация пэров, чтобы сообщить о присоединении и верхней палаты к объявлению палаты депутатов и принести «королю-гражданину» уверение в своей преданности. 9 августа Людовик-Филипп принес торже-

ственную присягу конституции, составленной на основании объявления 7 августа, и вступил на престол под именем Людовика-Филиппа, короля французов. Он царствовал во Франции, как известно, до конца февраля 1848 г., когда новая революция низвергла и «июльский трон».

На этом мы пока и остановимся в изложении французских событий 1830 г., чтобы в другом месте подвергнуть обсуждению общий смысл июльского переворота в связи с рассмотрением тех условий, какие были им созданы для политического существования Франции в 18-летний период Орлеанской монархии. Теперь же мы познакомимся с теми переменами, какие были произведены в государственном устройстве Франции в начале августа 1830 г.

Конституция, которая управляла Францией с 1830 по 1848 г., была, в сущности, не чем иным, как видоизменением конституционной хартии 1814 г. В своей декларации 7 августа палата депутатов объявляла, что вследствие удаления Карла X и всего королевского семейства с французской территории трон Франции сделался вакантным. Во-вторых, палата объявляла, что «по желанию и в интересе французского народа вступление в конституционную хартию уничтожается» как оскорбительное для национального достоинства, так как в этом вступлении дело представляется таким образом, «будто французам были дарованы права, которые существенно им принадлежат». Другими словами, хартия 1830 г. должна была заключать в себе признание за французской нацией политических прав не в силу добровольной уступки со стороны королевской власти, а потому, что права эти составляют неотъемлемое достояние нации. В этой же декларации говорилось еще, что герцог Орлеанский призывается на французский трон, т. е. что он будет царствовать не в силу какого-либо своего наследственного права, а по приглашению французского народа. Ко всему этому прибавлялось, что герцог Орлеанский «будет приглашен принять и утвердить своей присягой условия и обязательства, изложенные в этой декларации, и соблюдение конституционной хартии со сделанными в ней изменениями». Таким образом, в 1830 г. во Франции снова принцип народного верховенства приходил на смену принципу божественного права королей, хотя, нужно заметить, принцип народного верховенства и не был достаточно ясно выражен ни в этой декларации, ни в измененной конституционной хартии. Собственно говоря, депутаты ссылались более на обстоятельства, чем на какую-либо теорию. Они говорили именно «о повелительной необходимости», созданной июльскими событиями, об «общем положении, в каком очутилась Франция вследствие нарушения конституционной хартии», об «общем и настоятельном интересе французского народа». Дальнейшие изменения хартии были такого рода. Католическая церковь переставала считаться государственной религией и превращалась в религию, исповедуемую большинством французов (ст. 6), как это было

сказано и в наполеоновском конкордате. Религиозная церемония коронации уничтожалась и заменялась королевской присягой конституции в присутствии обеих палат (ст. 65). Восстановление цензуры запрещалось самым положительным образом (ст. 7), и давалось обещание, что преступления по делам печати, равно как преступления политические, будут принадлежать суду присяжных (ст. 69). Знаменитая 14-я статья хартии 1814 г., на основании которой Карл X считал себя вправе издать свои июльские ордонансы, была изменена в таком смысле, чтобы подобные нарушения конституции сделались невозможными. Вместо «права издавать регламенты и ордонансы для исполнения законов и безопасности государства», как было сказано в конституции 1814 г., король получал теперь право издавать «регламенты и ордонансы, необходимые для исполнения законов, но без права когда-либо останавливать действие самих законов и разрешать их неисполнение» (ст. 13). Хартия Людовика XVIII ограничивала ответственность министров лишь случаями измены и взяточничества, новая конституция (ст. 69) обещала издание специального закона об ответственности министров и других агентов исполнительной власти. Прежняя конституция лишь за одним королем признавала законодательную инициативу, которая теперь распространилась одинаково на обе палаты (ст. 15), причем за королем было признано и право veto¹ (ст. 17). Палата депутатов могла теперь сама выбирать своего президента (ст. 37), который прежде назначался королем из пяти кандидатов, предлагавшихся палатою, а заседания палаты пэров делались публичными (ст. 27), тогда как привилегией этой прежде пользовалась лишь одна палата депутатов. Хартия производила, далее, перемены в избирательном праве (понижение возраста депутатов с 40 до 30 лет, а возраста избирателей — с 30 до 25 лет, уничтожение так называемого double vote², обязанность переизбрания для депутатов, получивших платные должности и т. п.). Всякие исключительные и чрезвычайные суды запрещались (ст. 54). Вместе с этим хартия обещала реорганизацию национальной гвардии с правом участия подчиненных в выборе офицеров, реформу департаментских и муниципальных учреждений на выборном начале, свободу образования и т. п. (ст. 69). Как и хартия 1814 г., конституция 1830 г. не делает никакого различия между учредительной и законодательной властями, но зато особой статьей «настоящая хартия и все права, ею освященные, поручались патриотизму и мужеству национальной гвардии и всех французских граждан». Все эти изменения были не чем иным, как выполнением обещаний, данных в упоминавшейся выше декларации. В палате депутатов хартия была принята 219 голосами против 33³. Три чле-

¹ Запрет (от *lat. veto* — запрещаю) — отказ главы государства (монарха или президента) подписать и ввести в действие законопроект, принятый парламентом. — *Прим. ред.*

² Двойной голос (*фр.*). — *Прим. ред.*

³ Всех членов было 430.

на протестовали во имя божественного права; один член требовал, чтобы формально был провозглашен принцип народовластия; другой доказывал необходимость подвергнуть новый конституционный акт всенародному принятию (как это делалось в эпоху революции и при Наполеоне); третий предлагал созвать избирательные коллегии для выбора особых депутатов, которые уже и выбрали бы короля. В числе лиц, отстаивавших новую хартию, был Бенжамен Констан, который принимал участие в комиссии, ее вырабатывавшей¹. Палата пэров, в которой собралось очень мало членов, тоже приняла эту хартию. Существенными к ней дополнениями были законы о понижении ценза для избирателей с 300 до 200 франков, а для избираемых — с 1000 до 500² и о составе палаты пэров. Благодаря первому закону число избирателей более чем удвоилось: прежде их было около 90 тыс., теперь стало около 200 тыс., что, конечно, было очень мало для тридцатимиллионной нации. Что касается до палаты пэров, то ст. 68 хартии обещала в ближайшем будущем пересмотр ст. 23 прежней хартии, в коей говорилось о назначении пэров. Это обещание было исполнено в конце 1831 г., когда был издан закон в замену упомянутой статьи. Прежде право короля назначать пэров не подвергалось никаким ограничениям, теперь же прямо указывались те категории лиц, из коих король только и мог выбирать пэров, но при этом каждый раз нужно было указывать на заслуги данного лица и на основания его назначения, а само звание пэра могло быть только пожизненным. Лица, имевшие право сделаться пэрами, назывались в законе 1831 г. *notabilités*.

Одним из наиболее важных вопросов, касавшихся нового французского правительства, был вопрос о том, в какое отношение станет июльская монархия к политическим осложнениям, которые возникли на континенте Европы под влиянием Июльской революции.

¹ О Бенжамене Констане и его политической теории см. т. IV.

² О цензе по хартии 1814 г. см. т. IV.

III. Влияние Июльской революции на Европу¹

Бельгийская революция. — «Ноябрьское восстание» в Польше. — Революционные движения в Германии и Италии. — Впечатление, произведенное революционными движениями 1830 г. на монархические правительства. — Решение бельгийского и греческого вопросов. — Возобновление союза между Австрией, Пруссией и Россией

Первой страной, испытавшей на себе влияние Июльской революции, была Бельгия. Мы уже видели, до какой степени были натянуты в этой стране взаимные отношения правительства и нации. В то самое время, когда в Париже произошла революция, бельгийские города готовились к празднованию пятьдесят восьмой годовщины рождения своего короля (24 августа), и все было, по-видимому, совершенно спокойно. На самом деле, однако, радикальная партия, желавшая извлечь пользу из Июльской революции для своей родины, готовилась к деятельному выступлению и обнародовала краткую программу празднеств в честь годовщины рождения короля: в понедельник — фейерверк, во вторник — иллюминация, в среду — революция. 25 августа в Брюсселе давали оперу Фенелла, содержание которой взято из неаполитанского восстания Мазаньелло (в середине XVII в.) против испанского владычества. Народные сцены этой оперы своим революционным характером произвели на зрителей сильное впечатление, и каждый малейший намек, какой в этих сценах можно было только усмотреть по отношению к обстоятельствам, переживавшимся Бельгией, со стороны публики подчеркивался бурными рукоплесканиями. Это воодушевление из театральной залы передалось и народной толпе, стоявшей перед зданием оперы. После представления народная масса бросилась к типографии газеты «National», издававшейся на правительственные деньги, и к дому, в котором жил редактор этой газеты, разрушила типографские станки и разграбила винный погреб редактора. В ту же ночь

¹ Бельгия (и Голландия): *Juste Th.* Le soulèvement de la Hollande et la fondation des Pays-Bas, 1870; *Hymans.* Hist. parlementaire de la Belgique de 1814 à 1830, 1869; *Bavay De.* Histoire de la révolution belge de 1830; *Nothomb.* Essai historique et politique sur la révolution belge (в 1876 г. вышло четвертое издание, сделанное Juste'ом); *Juste Th.* Les fondateurs de la nationalité belge; *Он же.* Le congrès national de Belgique (1830—1831), 1880; Польша: кроме сочинений, указанных выше, см.: *Araminski.* Histoire de la révolution polonaise; *Schmitt F. v.* Geschichte des polnischen Aufstandes und Kriegen, 1848 (2-е изд.); Германия: *Treitschke.* Deutsche Geschichte im XIX Jahrhundert, IV Bd.; *Mucke.* Politische Bewegungen von 1830—1835 (1875); *Bursian.* Der Aufstand in Braunschweig, 1858; *Bauer B.* Geschichte der konstitutionellen und revolutionären Bewegungen im südlichen Deutschland (1831—1834), 1845; Италия: *Cantu.* Storia di cento anni; *Он же.* Della indipendenza Italiana. Кроме того, сочинения по истории Италии Рейхлина, Сорена и др.

народ сжег отель министра юстиции ван Маанена, в котором видели главного виновника ненавистной системы, и разрушила дом директора полиции. На другой день беспорядки приняли еще более грозный характер, пока не организовалась наскоро гражданская гвардия, которой наконец и удалось восстановить спокойствие на улицах Брюсселя. Одновременно с этим образовался комитет, взявший в свои руки власть. О характере движения можно судить по тому, что королевские гербы были повсюду сняты или просто переломаны, а на ратуше было вывешено трехцветное (черно-желто-красное) брабантское знамя вместо королевского штандарта.

Из Брюсселя движение быстро распространилось и на другие города. Но цели, к каким должна была стремиться начавшаяся революция, понимались различно как ее вождями, так и участниками. Одни вовсе не думали об отторжении от Голландии, желая лишь получить известную административную автономию; другие, наоборот, мечтали о превращении Бельгии в самостоятельное монархическое или республиканское государство; третьи полагали, что наилучшим решением вопроса было бы слияние страны с Францией. На первых порах, однако, ни одна партия не имела достаточного перевеса над другими, и многие считали возможным уладить дело посредством соглашения с королем, к которому в Гаагу и была отправлена депутация с просьбой об увольнении ван Маанена и об установлении ответственности министров. Вильгельм I не шел ни на какие уступки, заявив депутации, что намерен действовать в согласии с Генеральными штатами, которые должны были собраться 13 сентября. Тем не менее он послал своего старшего сына, принца Вильгельма Оранского, в Брюссель для успокоения умов, поручив в то же время другому своему сыну, принцу Фридриху, привести в Брюссель войска, находившиеся в Антверпене. Требование принцев, чтобы в городе были восстановлены королевские гербы и чтобы не делалось никакой помехи вступлению в город королевского войска, снова вызвало в Брюсселе страшное народное волнение, и в одну ночь на улицах города было построено полсотни баррикад. Как ни старался принц Оранский, которого впустили в город лишь с небольшой свитой, расположить к себе бельгийцев ласковым и уступчивым обращением, но известие об ответе, данном брюссельской депутации его отцом, делало невозможным какое бы то ни было соглашение. Некоторые лица советовали принцу последовать примеру герцога Орлеанского, да и находившиеся в Брюсселе депутаты Генеральных штатов передали ему, что народ бельгийский желает совершенного отделения южных провинций от северных, с сохранением между ними лишь одной династической связи. Так ни с чем и покинул принц Оранский брабантскую столицу, где между тем (9 сентября) организовалось временное правительство.

Вильгельм I в его упорном сопротивлении требованиям бельгийцев поддерживало сочувствие, какое его образу действий выказывало насе-

ние Голландии, видевшее в бельгийцах достойных самого строгого усмирения бунтовщиков. Когда бельгийские депутаты приехали в Гаагу на заседания Генеральных штатов, они были весьма враждебно приняты своими голландскими товарищами. Голландские войска горели нетерпением идти на усмирение мятежных подданных короля. Открывая Генеральные штаты, Вильгельм I, к великому удовольствию голландцев, еще раз заявил, что от него «партийные страсти» никогда не дождутся никаких уступок. Ответ этот вызвал в Брюсселе новые волнения, которыми пожелали воспользоваться для достижения своих целей члены вновь организованного республиканско-радикального клуба, стремившегося при помощи народа вырвать власть из рук временного правительства. В двадцатых числах сентября дело дошло действительно до нового восстания в Брюсселе. Инсургенты овладели городом и заставили временное правительство спасаться бегством. Многие зажиточные граждане, принадлежавшие к умеренной партии, обратились к принцу Вильгельму, стоявшему недалеко от Брюсселя со значительным войском, и стали просить его занять город, но попытка, какую сделал принц, чтобы овладеть городом, встретила сильное сопротивление со стороны вооруженного народа, храбро сражавшегося на баррикадах.

Борьба продолжалась целых три дня — 23, 24 и 25 сентября («сентябрьские дни») и окончилась отступлением голландского войска. В эти знаменательные дни успело образоваться в Брюсселе новое временное правительство, и видную роль в нем стал вскоре играть Поттер, возвратившийся на родину из изгнания на другой день после победы. Одним из первых актов этого временного правительства было освобождение бельгийских солдат от присяги, данной ими голландскому правительству. Скоро в руках голландцев осталось только четыре крепости. Лишь после всего этого король решился идти на уступки, лишь бы сохранить Бельгию за своей династией. Он снова отправил на юг принца Оранского, дав ему самые широкие полномочия. Напрасно, однако, хлопотал принц удержать Бельгию под властью своего отца. В стране теперь уже господствовала партия, стремившаяся к полной независимости Бельгии, и потому прокламация принца, в коей он обещал стране особую администрацию, широкую свободу в школьном деле и полную политическую амнистию, не произвела никакого действия на народ (5 октября). Инсургенты требовали теперь удаления голландских войск из бельгийской территории и предоставления бельгийскому национальному конгрессу решить вопрос о том, как нужно устроить политическую будущность страны. Во второй своей прокламации (16 октября) принц и на это соглашался, предлагал себя в вожди движения, но получил в ответ заявление временного правительства, что бельгийский народ сам с оружием в руках завоевал свою свободу, которая потому не нуждается в чьем-либо утверждении (19 октября). Вскоре после

этого временное правительство, наскоро организовавшее армию волонтеров, решило отнять у голландцев Антверпен, к которому король приказал стянуть свои главные военные силы. Когда инсургенты приблизились к этому городу, в нем тоже вспыхнула революция, и даже сделано было нападение на крепкую цитадель, в коей заперлось голландское войско. Начальник цитадели тогда начал бомбардировку города из трехсот орудий. Она продолжалась семь часов (27 октября), но в конце концов голландский гарнизон должен был оставить город. Это событие сделало примирение окончательно невозможным. Национальный конгресс, созванный в Брюсселе временным правительством, провозгласил независимость Бельгии и низложение Оранского дома (18 ноября). Поттер предлагал учредить в Бельгии республику, но конгресс постановил основать конституционную монархию с новой династией, которая была бы выбрана по соглашению с иностранными державами. Недовольный таким решением, Поттер уехал в Париж.

Прошло лишь несколько дней после провозглашения независимости брюссельским национальным конгрессом, как вспыхнула революция и в Варшаве. Известия о падении трона Бурбонов во Франции и о революции в Бельгии воспламенили значительную часть польского общества, и уже в конце ноября в Польше вспыхнуло восстание, получившее название ноябрьского (*powstanie listopadowe*).

Только за месяц до взрыва парижской революции окончил свои заседания последний сейм конституционного Царства Польского. Оппозиционное настроение послов этого сейма не только оживило надежды людей, принимавших участие в политических заговорах, но и сообщилось провинциальной шляхте. Своим послам, возвращавшимся с сейма, она устраивала торжественные приемы. Воеводские советы стали посылать варшавскому правительству представления, написанные в резких выражениях. Оппозиция центральным административным учреждениям сделалась как бы общим лозунгом. Вести, приходившие из Франции о конфликте между королем и народным представительством, только усиливали брожение, а когда совершилось падение Бурбонов, в Польше отнеслись к этому событию с нескрываемой радостью. У многих варшавских общественных деятелей были личные связи в Париже, где не без удовольствия смотрели на возможность революции и в Польше, так как эта революция создала бы затруднение для русского императора, в коем видели главного покровителя легитимизма. Речи, говорившиеся в Париже об освобождении всех народов, и в частности о свободе поляков, делались известными в Польше и усиливали надежды, какие громадное большинство польского общества возлагало на помощь Франции. Никто, однако, не знал истинного положения дел, взаимных отношений между кабинетами, содержания дипломатических переговоров, и все поэтому придавали слишком большое зна-

чение заявлениям отдельных парламентских или клубных ораторов за границы. Не знали, например, того, что новое французское правительство вовсе не намерено было вмешиваться в чужие дела и что одним из результатов Июльской революции было закрепление ослабевшего за последнее время союза между Австрией, Пруссией и Россией, т. е. как раз между тремя державами, которые участвовали в разделе Речи Посполитой.

Сигнал к восстанию против русского правительства был подан из военного училища молодыми юнкерами, воспитывавшимися взаперти, под строгой военной дисциплиной, представлявшими себе окружающую их действительность в том свете, в каком она должна была являться им на основании тайных разговоров. В эту школу проникли конспиративные стремления, существовавшие в обществе. В этой школе возник заговор, о котором, конечно, узнали и некоторые политические деятели страны, вовсе, однако, не предвидевшие, что заговорщики предпримут что-либо решительное на собственный страх. Были, впрочем, и другие тайные кружки, которые тотчас же после начала восстания превратились в «якобинские» клубы. Великому князю Константину Павловичу доносили о брожении, совершавшемся в Варшаве, но он не верил этим донесениям и даже в своих рапортах Николаю I писал, что «ручается за спокойствие Польши». Утром того самого дня, в конце которого началось восстание, он еще не верил возможности революции и, раздраженный противоречием тех, которые ему докладывали о том, что она готовится, воскликнул: «Если так, то пусть же поскорее начинается эта революция!» Особенно казалась невероятной революция великому князю и польским министрам потому, что как на главный очаг заговора указывали на упомянутую «школу подхорунжих».

В наш план не входит рассказывать о самих событиях восстания 1830—1831 гг. Движение началось с нападения вечером 29 ноября двадцати подхорунжих под начальством поручика Высоцкого на Бельведерский дворец, в котором жил великий князь. Одновременно с этим население Варшавы было призвано к оружию под тем предлогом, будто русские жгут город. Великий князь счел себя вынужденным покинуть город (а вскоре затем и само Царство Польское). Уже в первые дни к повстанцам стали примыкать польские полки, на верность коих великий князь полагался, как на каменную гору. На первых порах успех революции был, по-видимому, полный. Но уже с самого начала среди поляков образовались две партии: консервативно-артистократическая партия, желавшая только изменения конституции по образцу французской хартии и думавшая добиться этого путем переговоров с императором, и партия радикально-демократическая, стремившаяся к совершенной национальной независимости Польши и находившая нужным действовать решительно и смело. Вскоре образовалось временное правительство. Оно состояло из людей первой партии, но его образ действий казался обществу изменой национальному делу,

и в состав правительства были включены вожди партии революционной. Консерваторы, опасаясь того, что горячность демагогов лишь испортит дело, настояли тогда на установлении диктатуры, которая с обязанностью организации армии и была вверена генералу Хлопицкому. Диктатор и его советники вступили в переговоры с русским правительством, в то же время стараясь воздержать революционную партию от перенесения восстания за пределы Царства Польского в другие земли, входившие раньше в состав Речи Посполитой. Когда в самом конце 1830 г. (20 декабря) собрался сейм, он утвердил диктатуру Хлопицкого, приставив к нему, однако, наблюдательную комиссию из сенаторов и земских послов, и издал манифест, в коем оправдывал все совершившееся действиями русского правительства. В то же время, однако, он послал в Санкт-Петербург изложение желаний польской нации, требуя, чтобы конституция впредь строго исполнялась и чтобы к Царству Польскому были присоединены земли, принадлежавшие прежде Польше. Император ответил, что требует безусловной покорности и что лишь в таком случае все совершившееся будет предано забвению. В январе¹ 1831 г. (17-го числа) Хлопицкий, не поладивший с сеймовой комиссией, сложил с себя диктатуру, и управление перешло в руки особого комитета (князь Адам Чарторыйский, историк Лелевель и др.), а через неделю (25 января) сейм объявил, что дом Романовых перестал царствовать в Польше. Однако тот же самый сейм отверг, через три месяца, предложение наделить крестьян землей и заменить барщину оброком, который подлежал бы выкупу², и этим лишил себя возможности вызвать настоящую народную войну.

Между тем вслед за сеймовым объявлением 25 января русские войска вступили в Царство Польское. Началась ожесточенная борьба, во время которой сделаны были неудачные попытки возбудить общее восстание в Литве и на Волыни. Сначала поляки имели некоторый успех. После сражения при Грохове, недалеко от Варшавы (25 февраля), русские вынуждены были отступить, и польская армия в мае решилась перейти через Буг, и только поражение, нанесенное ей при Остроленке (26 мая), заставило ее отступить назад. Вскоре после этого русский главнокомандующий граф Дибич-Забалканский умер от холеры, а назначенный на его место Паскевич-Эриванский перешел Вислу в прусских владениях и явился под Варшавой. В столице Польши произошло тогда народное восстание против консервативно-аристократической партии, которую стали обвинять в измене. После двухдневного штурма Варшавы со стороны ее предместья Воли (6–7 сентября) город должен был сдаться русскому фельдмаршалу. Вскоре затем сдались и польские крепости Модлин и Замостье. Остатки

¹ Даты приводятся по новому стилю.

² Крестьяне получили личную свободу в 1807 г., но крестьянская земля сделалась при этом полной собственностью помещиков.

польской армии в количестве 24 тыс. человек перешли на прусскую территорию, где и были обезоружены. Немедленно же началась эмиграция польских патриотов за границу, преимущественно во Францию, Англию и Швейцарию. Подобно тому, как после 1794 г. все свои надежды поляки возлагали на Французскую революцию, так и теперь польские эмигранты искали помощи у революционных партий и сами стали принимать участие в разных заговорах, имевших своей целью новые политические перевороты. Те участники восстания, которым не удалось бежать за границу, подверглись суровому наказанию; очень многие были сосланы в Сибирь. Конституция 1815 г. была уничтожена и заменена «органическим статутом» 1832 г., который, предоставляя Польше существовать уже в качестве простой провинции с особым только управлением, не был, однако, вполне осуществлен. Паскевич, сделавшийся наместником Царства Польского, правил им с диктаторской властью до самой своей смерти, последовавшей через год после кончины Николая I.

В Германии Июльская революция не отразилась ни на Австрии, ни на Пруссии. Ее влиянию подверглись только северногерманские государства средней величины, где вспыхнули восстания, имевшие результатом конституционные изменения, да, кроме того, в южногерманских государствах, в которых уже раньше действовали конституционные учреждения, в начале тридцатых годов обострилась политическая борьба в местных палатах. Мы уже видели раньше, какие внутренние усложнения возникли к этому времени в Брауншвейге, в Кургессене, в Саксонии, в Ганновере и других землях. В Брауншвейге восстание произошло 6 сентября. Герцог Карл вынужден был бежать в Англию, а в стране организовалось временное правительство в форме комитета земских чинов (9 сентября), который объявил себя главной властью до собрания земского сейма и вызвал из Берлина брата герцога, Вильгельма, и его сам герцог должен был признать генерал-губернатором. Через несколько времени герцог, однако, силою думал возратить себе прежнюю власть, но потерпел неудачу. Еще раньше Англия и Пруссия советовали ему отречение, но он упорствовал благодаря двусмысленной политике Австрии. В дело вмешался тогда германский союзный сейм, и кончилось все тем, что герцог Вильгельм, сначала уполномоченный от союзного сейма управлять страной, занял (20 апреля 1831 г.) престол своего брата. Последний остался жить за границей, где (именно в Женеве¹) и умер в 1873 г. В октябре 1832 г. Брауншвейг получил новую конституцию. Через несколько дней после переворота в Брауншвейге произошло движение и в Кургессене. 15 сентября курфюрсту был подан адрес, в коем у него требовали созвания земского сейма, на что он поспешил дать согласие, боясь взрыва революции; он согласился также на образование гражданской гвардии. Это не по-

¹ *Braun. Der Diamantenherzog, 1881.*

мешало, однако, вспыхнуть крестьянским восстаниям в разных местах страны. Сельское население в Кургессене было страшно угнетено налогами, оброками и барщинами, и вот оно отказывается платить и даже начинает нападать на замки. В январе 1831 г. земские чины утвердили новую конституцию, а затем потребовали у курфюрста, удалившегося из страны со своей всеми ненавидимой метрессой графиней Рейхенбах, чтобы он или вернулся домой, или отказался от престола. Курфюрст предпочел передать правление в руки своего сына. В Саксонии беспорядки начались еще до взрыва Июльской революции, именно по поводу празднования трехсотлетнего юбилея аугсбургского исповедания, но настоящее восстание произошло лишь в сентябре сначала в одном Лейпциге, откуда движение перешло и в Дрезден. На первых порах в обоих городах оно направилось против местных магистратов, но скоро получило чисто политический характер, потому что и тут инсургенты стали требовать конституции. Король был вынужден дать отставку нелюбимым министрам и призвать к соправительству своего сына Фридриха-Августа. Только через год, однако, именно 4 сентября 1831 г., Саксония получила конституцию, которая была выработана по совещанию с прежними земскими чинами. В Ганновере, как и в других местах, революционное движение началось равным образом в сентябре. Сначала оно имело характер стихийного взрыва, вызванного чисто экономическими причинами: дороговизной хлеба, низкой заработной платой и т. п., но этим движением воспользовались местные либералы, чтобы направить его к политическим целям. Правительство употребило против начавшегося восстания военную силу. Тем не менее в марте 1831 г. оно собрало земский сейм, на котором, благодаря новым выборам и общему духу эпохи, весьма сильно обнаружилось либеральное настроение. В июне—октябре особая комиссия выработала проект новой конституции, но, несмотря на одобрение его правительством, введена в действие она была лишь 26 сентября 1833 г., притом со значительными изменениями против первоначального проекта. В сентябре же 1830 г. произошло народное восстание в Альтенбурге, заставившее герцога сначала бежать, потом созвать земские чины и согласиться на новую конституцию, которая и была введена 29 апреля 1831 г. Далее, опять-таки в сентябре же, началось брожение и среди подданных князя Шварцбург-Зондерсгаузенского. Испуганный князь поспешил (25 сентября) сам обещать своим подданным конституцию, но в действительности все осталось здесь по-старому. Полную неудачу потерпело и народное движение в Шлезвиге и Гольштейне, стремившееся к соединению обоих герцогств в одно целое новой конституцией, причем страна должна была находиться лишь в простой личной унии с Данией.

Отразилась Июльская революция и на южногерманских государствах, где в начале тридцатых годов происходила весьма горячая парламентская борьба, сопровождавшаяся по местам народными волнениями (крестьянские восста-

ния в Гессен-Дармштадте, студенческие беспорядки в Баварии и т. п.). Кроме того, в некоторых промышленных центрах разных частей Германии начинались рабочие беспорядки, вызванные тяжелым экономическим положением трудящейся массы. Это общее настроение продолжалось и в 1831 г., особенно после падения Варшавы, когда в Германию нахлынули целые толпы польских эмигрантов, коих немцы принимали с большим сочувствием. В 1832 и 1833 гг., как мы еще увидим после, революционное брожение выразилось в новых явлениях, за которыми, однако, последовала суровая реакция. Заметим, что немецкие радикалы этой эпохи, мечтавшие о республике, рассчитывали на помощь французов, стремились к восстановлению Польши и т. п. и что, с другой стороны, в этом немецком движении принимали большое участие французские, польские и итальянские эмигранты.

В Италии 1830 г. окончился без нарушения порядка, но зато все время шло деятельное приготовление восстаний карбонариями, которые большей частью думали добиться своих целей в союзе с наполеонидами (Наполеоном II, т. е. герцогом Рейхштадтским, Иеронимом Бонапартом или сыновьями бывшего голландского короля). 4 февраля 1831 г. сделана была неудачная попытка восстания в Модене, примеру которой последовала соседняя Болонья, находившаяся в Папской области. 2 февраля на папский престол, сделавшийся вакантным после смерти Пия VIII (в ноябре 1830 г.), был выбран кардинал Каппелари под именем Григория XVI, но Болонья объявила (8 февраля), что светская власть папы над этим городом прекращается. К такому решению примкнули и некоторые другие города Церковной области, и 25 февраля в Болонье открылось собрание депутатов от этих городов, избравшее временное правительство. Успех этого движения отразился и на Модене, откуда герцог должен был удалиться на австрийскую территорию. Здесь тоже было учреждено временное правительство. Немедленно произошло то же самое и в Парме, откуда должна была спастись бегством вдова Наполеона I, Мария-Луиза, получившая, как известно, это герцогство при разделе итальянской территории в 1815 г. Все эти революционные попытки, однако, были подавлены благодаря австрийскому вмешательству. Итальянские патриоты снова поплатились за свои стремления дать Италии свободные учреждения. Многие из них должны были бежать за границу или были приговорены к изгнанию. Между инсургентами были два сына бывшего голландского короля: Наполеон-Людовик и Людовик-Наполеон; первый из них в это время умер, а другой, будущий император Наполеон III, едва спасся от плена¹.

Все эти революции и революционные попытки на таком громадном пространстве — от берегов Сены до берегов Вислы и Буга и от Бельгии до Средней Италии — должны были сильно встревожить монархические пра-

¹ Июльская революция отчасти отразилась и на Швейцарии.

вительства Европы. При первом известии об июльском перевороте многие стали ожидать, что во Франции установится республика, которая, подобно первой республике, начнет революционную пропаганду. Говорят, что прусский король, узнав о падении Карла X, сказал: «Если французы дойдут только до Рейна, я с места не двинусь». Поэтому для абсолютных монархий все-таки было большим облегчением, когда стало известно, что трон во Франции не был низвергнут и что новый король в самом же начале своего царствования заявил, что надеется избежать усложнений в Европе. Одной из первых забот Людовика-Филиппа, конечно, было добиться признания со стороны других дворов. Он вступил на престол в момент, бывший для него весьма благоприятным — в одном по крайней мере отношении. Священный союз, как мы знаем, в это время был в полном расстройстве. Правда, Меттерних уже в августе 1830 г. думал организовать против «короля баррикад» европейскую коалицию, но дело оказалось трудным. Начать с того, что в Англии к июльскому перевороту отнеслись сочувственно, а без Англии европейская коалиция была немыслима. Во главе правления в это время стояли тори. Понятно, что демократическая революция должна была и им внушить некоторый страх, но зато она низвергла Карла X, союз которого с Россией очень не нравился Англии и завоевание которым Алжира даже создало натянутые отношения между парижским и лондонским правительствами. Что касается до вигов, то они прямо приветствовали и сам переворот, надеясь, что он поможет их собственному делу, как это действительно и случилось. С другой стороны, даже сама Австрия имела причины быть недовольной поступками Карла X, и когда Людовик-Филипп стал оправдывать свое вступление на чужой трон необходимостью поддержать внутренний порядок во Франции и тем спасти общеевропейский мир, жидущийся на трактатах 1815 г., то Меттерних и Франц I успокоились и уже не помышляли более о новой коалиции. Успокоился и прусский король, уже соглашавшийся, в крайнем случае, дозволить французам дойти до Рейна: уверения Людовика-Филиппа, что он не будет искать территориального расширения Франции, пересилили воинственный задор ближайших к королю лиц. Неприятнее всего подействовал июльский переворот на Николая I: он лишился в лице Карла X союзника, а в лице Людовика-Филиппа, как друга Англии, наоборот, получал врага; сверх того, его властной натуре претило вступать в сношения с похитителем престола, получившим власть от мятежников против законного государя. Тем не менее и русский император признал Людовика-Филиппа, хотя и сделал это в высокомерных выражениях. Между прочим, упомянул, что останется тесно связан со своими союзниками (т. е. с Австрией и Пруссией), чтобы заставить уважать трактаты 1815 г., — первое важное заявление о том, что Священный союз не совсем еще разрушился. Веря миролюбивым заявлениям нового короля французов, абсолютные монархи, однако, сомнева-

лись все-таки, будет ли он в состоянии сдержать данные им обещания ввиду того, что во Франции существовала партия, требовавшая революционной пропаганды. Опасения держав были не без основания. В Париже некоторые депутаты, а также пресса и клубы приглашали к восстанию все угнетенные национальности, в конце же августа и начале сентября вспыхнули восстания в Бельгии и некоторых немецких государствах. Мы еще увидим, какие меры были приняты тогда же в Германии, чтобы подавить и сделать впредь невозможными революционные попытки, но это было чисто внутреннее германское дело. В ином виде представлялся державам вопрос о Бельгийской революции.

На Венском конгрессе Бельгию соединили с Голландией, чтобы составить оплот против Франции на северо-востоке: отторжение Бельгии от Голландии и, как того можно было опасаться, соединение ее с Францией грозило опасностью политическому равновесию, ибо, владея Антверпеном, Франция могла бы вредить Англии, владея Маастрихтом и Люксембургом — угрожать Германии. В деле, значит, были заинтересованы и Англия, и весь Германский союз с двумя своими первенствующими державами. Между тем король нидерландский обратился за помощью к великим державам. Россия была, однако, слишком далеко, чтобы оказать помощь; Австрия держалась наготове, чтобы в случае надобности действовать в Италии; одна лишь Пруссия была готова двинуть свои войска в Нидерланды, но Франция, не желавшая возвращения Бельгии под голландское владычество, заявила, что если только Пруссия это сделает, то немедленно вступит в Бельгию и французская армия. В данном случае правительство Людовика-Филиппа нашло поддержку в Англии, где равным образом не желали возвращения Бельгии в прежнее положение и думали, что нужно сделать Франции маленькую уступку, лишь бы только Франция не стала искать союза с Россией. На просьбу нидерландского короля о помощи из Лондона ответили поэтому вежливым отказом. Любопытно, что французское правительство остановило Пруссию в ее намерении оказать помощь Вильгельму I во имя принципа невмешательства, а между тем оно вошло в соглашение с Англией (протокол от 15 октября 1830 г.), в силу коего судьбу Бельгии должна была решить конференция пяти держав. Австрия, Пруссия и Россия согласились на эту комбинацию, рассчитывая выиграть время. Между тем бельгийцы провозгласили свое отложение от Голландии, что было принято в Вене, Берлине и Санкт-Петербурге с крайним раздражением: в этом событии видели руку Людовика-Филиппа, мечтавшего о бельгийском престоле для одного из своих сыновей. Меттерних и слышать не хотел о принципе невмешательства, говоря, что на него могут ссылаться лишь разбойники, не хотящие жандармов, и поджигатели, протестующие против пожарных. Так как в Париже произошли около этого времени новые смуты, то три северные монархии еще подозрительнее

стали относиться к тому, что делалось во Франции. Пруссия начала стягивать войска по Рейну и Мозелю; Австрия направила к Швейцарии и Италии лучшие свои полки; Россия объявила новый набор и мобилизовала польскую армию. Вскоре за этим последовала циркулярная нота трех дворов, где прямо говорилось о праве вооруженной борьбы с общим врагом всех стран — с революцией. Европа, по-видимому, была накануне большой европейской войны, но как раз в это самое время вспыхнуло польское восстание. Оно заняло Россию, без которой Австрия и Пруссия не могли рисковать войной с Францией, да и сами они должны были озаботиться о том, чтобы восстание из Царства Польского не перешло в их собственные провинции с польским населением.

Новый оборот, какой приняли дела после взрыва Варшавской революции, был весьма благоприятным для Бельгии и для планов Франции и Англии, не желавших возвращения этой страны в прежнее положение. Австрия, Пруссия и Россия теперь были вынуждены идти на уступки, коими можно было бы обезоружить Францию, предупредить с ее стороны какой-либо решительный поступок в бельгийском деле. Вот почему конференция пяти держав, собравшаяся в Лондоне, своим протоколом от 20 декабря 1830 г. формально признала в принципе независимость Бельгии, а 9 января 1831 г. потребовала от нидерландского короля согласия на перемирие. Правда, вместе с тем, к величайшему неудовольствию Людовика-Филиппа, мечтавшего о бельгийской короне для своего сына, герцога Немурского, державы постановили, что Бельгия (и притом без Люксембурга, Маастрихта и устьев Шельды) должна сделаться совершенно нейтральным государством (20 января 1831 г.), но о возвращении Бельгии в прежнее положение и думать теперь было нечего. Национальный бельгийский конгресс протестовал против этого решения и даже провозгласил герцога Немурского королем Бельгии, но последний был избран лишь 96 голосами против 95, разделившихся между двумя другими кандидатами¹, т. е. таким незначительным большинством, что Людовик-Филипп вынужден был отвергнуть предложение короны его сыну, тем более что и лондонская конференция высказалась против кандидатуры герцога Немурского (февраль 1831 г.). Бельгии был поставлен срок, в течение коего она должна была принять условия конференции, и в то же время Пруссия двинула уже свои войска по направлению к Маасу, а германскому союзному сейму было предложено мобилизовать армейский корпус под предлогом защиты Люксембурга как составной части Германского союза. Опять все ожидали взрыва войны, которая, по-видимому, была совершенно невозможной за несколько недель перед этим. Военственная партия в Париже заговорила громче прежнего. Упорство, с каким бельгийцы протестовали против решений лондонской конференции, не-

¹ Герцог Лейхтенбергский (сын принца Евгения Богарне) получил 74 голоса, и эрцгерцог Карл — 21 голос.

безуспешное на первых порах сопротивление, оказанное поляками русской армии, глухое брожение, которое продолжалось еще в Германии, революционные попытки в Италии, начатые в расчете на французскую помощь, — все это должно было как нельзя более поддерживать воинственное настроение парижских клубов и прессы. Людовик-Филипп, однако, не хотел войны. Он воспользовался первым представившимся случаем, чтобы сместить стоявшего тогда во главе правления Лафитта, который грозил Австрии вооруженным сопротивлением ее вмешательству в дела Папской области и старался через французского посланника в Константинополе снова вооружить турецкого султана против России. Преемником Лафитта, склонного действовать в духе «партии движения», был Казимир Перье, стоявший за «партию сопротивления» революционной политике. Эта перемена произошла в середине марта 1831 г. Новый министр тотчас же отказался от того, чтобы видеть во вступлении австрийских войск в папские владения повод к объявлению войны, хотя и дал понять Австрии, что такой шаг с ее стороны был бы нарушением международных правил. Со своей стороны он предложил, чтобы пять держав склонили папу Григория XVI к введению некоторых реформ, и это предложение было принято: 21 мая представители великих держав вручили государственному секретарю папы меморандум о реформах, но ничего серьезного из этого впоследствии не вышло. Таким образом, весной 1831 г. Европа вторично избежала опасности общей войны, какою ей грозили политические осложнения, вызванные революционными движениями 1830 г., хотя эта опасность все еще не могла считаться миновавшей, пока не был решен бельгийский вопрос.

При Лафитте Франция не давала согласия на постановления лондонской конференции относительно Бельгии, но Казимир Перье счел нужным во избежание внешних осложнений присоединиться к этим постановлениям. Нидерландский король еще раньше выразил согласие на требования держав, так как они все-таки были для него более выгодными, нежели то, к чему стремились сами бельгийцы. Все дело, однако, заключалось в том, что брюссельский конгресс с упорством продолжал отвергать решения, принятые лондонской конференцией. Это усложняло вопрос. Между тем Франция, отказавшаяся от мысли дать Бельгии своего короля и защитить ее территориальные притязания, стала утрачивать в Бельгии прежнее сочувствие, и этим Англия воспользовалась для того, чтобы перетянуть бельгийскую нацию в свою сторону. Именно она выдвинула своего кандидата на бельгийский престол в лице принца Леопольда Саксен-Кобургского, дав понять бельгийцам, что в случае его избрания постановления лондонской конференции могли бы быть и переделаны. Принц Леопольд уже ранее был кандидатом Англии на греческий престол. Как раз в это время Европе предстояло улаживать дела Греции, только что освободившейся от турецкого владычества. 8 февраля 1830 г. державы подписали

протокол, коим определялись границы будущего греческого государства и решалось превращение Греции в конституционную монархию, причем кандидатом на престол лондонская конференция выдвигала упомянутого принца Саксен-Кобургского. Последний, однако, не особенно стремился к греческой короне, имея в виду занять довольно важное положение в самой Англии. Он был зятем английского короля Георга IV и проживал в Англии, находясь в весьма близких сношениях с партией вигов. В январе 1830 г. Георг IV опасно заболел. Ожидали его кончины, а его брат и наследник, герцог Кларенский, был тоже человек преклонного возраста, слабого здоровья и бездетный, так что в перспективе предвиделось вступление на престол их племянницы Виктории, тогда еще малолетней и потому нуждавшейся в регентстве, и у Леопольда Саксен-Кобургского были все права, чтобы занять в этом регентстве видное положение. Вот почему этот принц начал ставить державам, предлагавшим ему греческую корону, свои условия. Начались переговоры, во время которых и греки предъявили свои требования, не вполне нравившиеся Леопольду. Кончилось тем, что 21 мая 1830 г. последний совсем отказался от предложенной ему короны. Этого самого принца Англия в мае 1831 г. и выдвинула как кандидата на бельгийский престол, а Франции при этом было обещано, что новый король женится на одной из дочерей Людовика-Филиппа. Австрия, Пруссия и Россия дали свое согласие на этот выбор, так как были довольны устранением французской кандидатуры герцога Немурского. Громадным большинством голосов (152 против 44) принц Леопольд был выбран бельгийским конгрессом в короли 4 июня 1831 г. Он принял это предложение, хотя потребовалось еще немало времени для окончательного улаживания бельгийского вопроса. 21 июля Леопольд приехал в Брюссель, присягнул конституции и был провозглашен королем, но новому королевству, как известно, пришлось выдержать вооруженную борьбу с Голландией, возобновившей войну с Бельгией¹. В ноябре 1832 г. Бельгия была признана нейтральным государством. Что касается бельгийской конституции, то она прямо исходила из принципа народовластия и впоследствии сделалась образцом для многих монархий Европы. Она и до сих пор действует в Бельгии и может рассматриваться как одна из наиболее типичных конституций².

¹ Война эта окончилась лишь благодаря вмешательству Англии и Франции, которые только силой заставили Вильгельма I отдать Антверпен Бельгии (1832 г.). Голландия признала независимость Бельгии лишь в 1839 г.

² Дайси в своих «Основах государственного права Англии» (СПб., 1890), сравнивая английскую конституцию с континентальными, довольно часто обращается именно к бельгийской конституции как к своего рода типу континентальных конституций. Принцип народовластия в ней был выражен в такой форме: «Tous les pouvoirs émanent de la nation» («Власть принадлежит народу». — *Прим. ред.*). См.: *Thonissen. Constitution belge*, 1879; *Giron A. Droit public de la Belgique*, 1881; *Vauthier. Staatsrecht des Königreichs Belgien*, 1892.

В то самое время, как Бельгия получила национальную независимость, Польша должна была подвергнуться своей печальной участи. Пруссия прямо содействовала подавлению польского восстания. Австрия от усмирения поляков тоже только выигрывала. Очень мало думали о вмешательстве в защиту Польши также и Франция с Англией. Но так как общественное мнение во Франции настойчиво требовало заступничества за поляков, то Казимир Перье предложил Меттерниху вступить в переговоры о посредничестве между поляками и Николаем I. Однако Меттерних хотел, чтобы в этом деле приняла участие и Англия. И у последней были тоже свои особые причины не раздражать русского императора. Его войска еще занимали Дунайские княжества, а Греция, все еще не имевшая короля, управлялась Каподистрией, который был, в сущности, подручником России. Боясь, что Николай I создаст новые осложнения на Востоке, английское правительство не присоединилось к французскому предложению, решив принести Польшу в жертву. Со своей стороны, и русский император, занятый сначала подавлением польского восстания, а потом восточными делами, предоставил Англии устроить бельгийские дела, как она того хотела. Таким образом, и польское восстание, усмиренное к осени 1831 г., не повлекло за собой войны, к которой так стремилась «партия движения» в Париже. В следующем 1832 г. греческая корона была передана в лондонской конференции баварскому принцу Оттону, который и вступил на престол нового королевства. Около того же времени получил свое разрешение вопрос о европейском вмешательстве в итальянские дела. Выше было упомянуто, что папскому правительству державами было предложено произвести в Церковной области некоторые реформы. Папа дал на это свое согласие, но на деле это ни к чему не привело. Мало того, для водворения порядка в той части Церковной области, где в начале 1831 г. произошло революционное движение, папа стал просить у Австрии военной помощи. Казимир Перье не хотел одного австрийского вмешательства во внутренние дела этого государства и предложил Святому престолу помощь и со стороны Франции. Григорий XVI отклонил это предложение, дав понять, что итальянцы непременно взглянут на появление французского войска как на поощрение к новой революции, тогда как австрийское вмешательство будет иметь обратный смысл. Вместе с тем Казимир Перье сделал подобное же заявление и в Вене, к великому неудовольствию Меттерниха, который на этот раз, однако, не решился грозить войной. Когда в начале 1832 г. в Папской области произошли новые беспорядки и австрийские войска появились под Болоньей, Франция силою захватила принадлежавшую папе Анкону (22 февраля) и поставила там свой гарнизон. Папа и австрийское правительство горячо протестовали против этого шага Казимира Перье. Австрийский, прусский и русский посланники обратились к французскому министру с вопросом, существует ли в Европе публичное право? «Да, — отвечал Казимир Перье, — и это я его защищаю!» Твер-

дый ответ министра заставил в конце концов и Австрию, и Григория XVI согласиться на то, чтобы французское занятие Анконы продолжалось до тех пор, пока австрийцы останутся в Папской области (16 апреля 1832 г.).

К середине 1832 г. в Европе установилось спокойствие, прежде нарушенное Июльской революцией и ее ближайшими последствиями. Постановления Венского конгресса потерпели значительный ущерб. Франция заставила признать за собой право располагать своею собственной судьбой. Бельгия сделалась свободным и нейтральным государством. Исключительному преобладанию Австрии в Италии Франция создала противовес. Ухудшилось положение только одной Польши. Кроме того, возобновилось конституционное движение, выразившееся в переделке французской хартии на более либеральных началах, в создании весьма либеральной бельгийской конституции, в конституционных изменениях, которые были произведены в некоторых второстепенных немецких государствах, не говоря уже о введении конституции в Греции, хотя последнее совершалось в 1843 г.¹ Наконец, многие из указанных фактов свидетельствуют о почти полном бессилии Священного союза в его борьбе с революцией. Конечно, венский, берлинский и петербургский кабинеты были крайне недовольны всем совершившимся и продолжали относиться к Франции с величайшим недоверием. В то самое время, как за подавлением вооруженного восстания в Царстве Польском, лишенном своей конституции, происходила суровая репрессия, Австрия и Пруссия продолжали держаться прежней реакционной политики, как у себя дома, так и в остальной Германии. События последних лет влекли австрийское, прусское и русское правительства к возобновлению старого союза для противодействия революции. Пока бельгийские дела не были еще окончательно улажены, в Пруссии продолжало проявляться воинственное направление. Берлинское правительство не решалось, впрочем, одно начать войну и добивалось в конце 1832 г. содействия России и Австрии. Ни та ни другая, однако, не пошли на предложения Пруссии: Николай I требовал для приготовления по крайней мере полгода, а Австрия отвечала, что выставит свои войска лишь в случае перенесения войны на территорию Германского союза. При том обе державы, в особенности же Россия, были заняты новыми осложнениями, возникавшими на Востоке вследствие честолюбия египетского вассала Порты. Наконец, Меттерних с неудовольствием смотрел на то, как Пруссия начинала играть роль в остальной Германии, благодаря вступлению в таможенный союз с второстепенными германскими государствами. Таким образом, и в конце 1832 г. не могло быть речи о новой войне для защиты реакционной политики. Тем не менее все события этих годов сближали государства, образовавшие Священный союз. Особенно Меттерних хлопотал в это вре-

¹ Греческая конституция была составлена по образцу бельгийской и французской 1830 г.

мая о его восстановлении и с этой целью стал заискивать расположения Николая I. Ему казалось, что наступил благоприятный момент для того, чтобы вернуться к традициям Троппауского и Лайбахского конгрессов. Для того чтобы достигнуть этой цели, ему необходимо было устроить свидание трех государей, и это ему удалось сделать в 1833 г. Свидание монархов подготавливалось в величайшем секрете, особенно по отношению к Франции. Встреча должна была произойти в Теплице, куда к Францу I приехал Фридрих-Вильгельм III 7 августа и куда ожидали приезда Николая I. Русский император, однако, опоздал с приездом на целый месяц, и в этот промежуток времени прусский король уехал, оставив в Теплице своего старшего сына. Это не помешало Николаю I по дороге свидеться с Фридрихом-Вильгельмом III и поговорить об общих интересах. Наконец, мысль Меттерниха осуществилась на съезде двух императоров и прусского наследного принца в Мюнхенграце 10–20 сентября. Принятые здесь решения напоминают нам те самые, которые принимались Священным союзом на конгрессах начала двадцатых годов, хотя и на этот раз дело не обошлось без некоторых затруднений. Именно Пруссия, государя коей не было на съезде, не особенно охотно входила в виды Меттерниха, стремившегося вернуть Австрии преобладающее значение в Германии, а, в свою очередь, австрийский и русский государи не оказывали расположения к военному вмешательству, на котором настаивал, наоборот, прусский наследный принц в пользу голландского короля. Россия и Австрия далее взаимно обязались поддерживать существование Турции, и все три двора дали друг другу обещание относительно спокойного обладания польскими провинциями, доставшимися их державам по прежним разделам. Несомненно, что общий интерес в последнем отношении служил сильным связующим звеном для политики Австрии, Пруссии и России. Совершенно в таком же направлении действовали и политические принципы трех дворов. Хотя они и вынуждены были признать независимость и нейтралитет бельгийского королевства, созданного революцией, и даже приняли меры к тому, чтобы поскорее прекратилась распря между Голландией и Бельгией, тем не менее общий дух принятых в Мюнхенграце решений был строго реакционный. Мы еще увидим, что в Германии и в 1833 г. еще не улеглось революционное движение. В Мюнхенграце немецкие дела поэтому также были предметом обсуждения, и было решено принять меры к тому, чтобы водворить в Германском союзе порядок¹. Это делалось в силу того принципа вмешательства, который был формально признан конгрессами двадцатых годов, но против которого Франция после 1830 г. выставила принцип невмешательства.

¹ Обо всем этом см. ниже в гл. VIII, в которой рассматривается история Германии после 1830 г.

Не в одной только Германии, но и во всей остальной Европе Меттерних стремился подавить революцию. Он указывал на ту опасность, какую для существующих правительств представляли из себя революционеры разных национальностей, нашедшие убежище в Бельгии, Швейцарии и особенно во Франции, где они пользовались и сочувствием, и поддержкой демократических партий. Поэтому австрийский министр настоял на том, чтобы монархические правительства составили из себя союз для борьбы с этой международной революцией. Результатом мюнхенгретского съезда был трактат, в котором говорилось о праве каждого государя, угрожаемого внутренними смутами или внешними опасностями, искать помощи у правительств Австрии, Пруссии и России. К этому прибавлялось, что если бы какая-либо держава вздумала противодействовать подобному оказанию помощи, то союзники стали бы рассматривать ее действия как враждебные по отношению к ним самим и приняли бы меры к тому, чтобы отразить такое нападение. После этого Меттерниху было легко произвести контрреволюцию в Германии. Одним из результатов мюнхенгретского свидания было еще требование правительствами у Швейцарии изгнания революционных заговорщиков. Хотя некоторые кантоны пытались воспротивиться этому требованию, однако дело кончилось тем, что большинство эмигрантов должно было оставить Швейцарию и искать убежища в Англии или Америке. Понятно, что Англия и Франция и в качестве конституционных государств, и в качестве великих держав не могли согласиться на то, чтобы три абсолютные монархии могли одни распоряжаться судьбами всей Европы. По отношению к Германии Франция и Англия ограничились только протестациями, в коих напоминали Меттерниху и его союзникам о правах, гарантированных отдельным немецким государствам трактатами 1815 г. Но вместе с этим дано было знать, что всякое вмешательство нового союза в дела Бельгии, Швейцарии и Пьемонта будет отражено силой. Со своей стороны, Австрия, Пруссия и Россия еще раз скрепили свой союз на новом свидании монархов в Теплице в 1835 г. Здесь тоже были приняты некоторые меры относительно Германии, и даже было решено, что в случае убийства или низвержения Людовика-Филиппа Австрия, Пруссия и Россия признают французским королем только герцога Бордоского. Таким образом, Меттерниху удалось вернуть Россию и Пруссию к традициям Священного союза. Сам Николай I, относившийся в начале своего царствования неблагоприятно к этому государственному деятелю, теперь расточал ему любезности и называл его своим начальником, «краеугольным камнем всего здания». Следствием этого нового сближения абсолютных монархий было, с другой стороны, сближение монархий конституционных — Англии и Франции. Одно время могло казаться, что в Европе по всем политическим вопросам постоянно будут существовать эти два лагеря великих держав, но на самом деле было иначе.

IV. Парламентская реформа 1832 года в Англии¹

Общий взгляд на выборное право в Англии в первой трети XIX в. — Причины народного недовольства в Англии в эту эпоху. — Вопрос о парламентской реформе. — Впечатление, произведенное Июльской революцией в Англии. — Борьба за парламентскую реформу в 1830–1831 гг. — Билль 1832 г. — Значение парламентской реформы 1832 г. — Ее влияние на внутреннюю жизнь Англии. — Реформы 1867 и 1884–1885 гг. — Недостатки английской избирательной системы. — Преклонение перед английским государственным строем либералов на континенте

Июльская революция не прошла бесследно и для Англии. Здесь она ускорила решение давно поставленного на очередь вопроса о парламентской реформе.

Парламентское представительство в Англии, так сказать, застыло в тех формах, которые выработались к исходу Средних веков. Правом посылать представителей в нижнюю палату пользовалось самое незначительное меньшинство, состоявшее главным образом из землевладельческого класса, причем представительство было распределено крайне неравномерно между отдельными графствами и городами. Часто самые незначительные «гнилые местечки» пользовались правом посылать представителей в парламент в то самое время, как большие промышленные города, выросшие главным образом в XVIII в., совсем были лишены этого права. «Гнилые местечки» находились обыкновенно в полной зависимости от крупных землевладельцев, которые и были настоящими господами выборов. Места членов нижней палаты продавались и покупались за деньги; сами члены парламента торговали своими голосами. Уже давно лучшие люди Англии указывали на необходимость реформы, просто ради оздоровления политических нравов и обеспечения свободы, которой грозила всеобщая продажность. С течением времени необходимость реформы стала чувствоваться и с другой стороны. Парламент, в коем главным образом представлены были землевладельческие элементы общества, весьма естественно должен был ставить своими задачами охрану интересов господствующего класса и создание новых условий для дальнейшего обеспечения этих интересов. Парламент то и дело издавал акты, лишавшие сельских

¹ См. кроме сочинений, указанных в т. IV: *Fraqueville. Le gouvernement et le parlement britanniques* (1887), где изложены подробности преобразований в избирательной системе; *Лучицкий И.* Борьба за избирательную реформу в Англии и реформа 1832 г. («Русское богатство», 1897). В *Zeitschr. für gesammte Staatswissenschaft* за 1876 г. есть специальная статья Нассе о социальном состоянии палаты общин до и после реформы 1832 г.

жителей пользования общими угодьями: известно, сколько было «огорожено» земли в пользу лендлордов в конце XVIII и начале XIX в. К этому же времени относятся строгие законы об охоте. Для поддержания на высоком уровне поземельной ренты в эту же эпоху парламент издавал так называемые «хлебные законы» (corn-law), в силу которых хлеб мог ввозиться в Англию лишь тогда, когда достигал в ней известной, весьма высокой цены. Едва только окончилась грандиозная борьба с Наполеоном I, во время коей ввоз иностранного хлеба в Англию был крайне затруднен, как парламент прибег к новому хлебному закону (1815 г.), который должен был поддерживать высокую цену этого первого предмета необходимости. Наконец, все важные и доходные должности — государственные, церковные и общественные — считались, и на самом деле были как бы наследственным достоянием одного только этого господствующего класса. Между тем в Англии народились новые общественные классы, которые равным образом стали стремиться к самостоятельному участию в политической жизни, весьма справедливо находя, что их интересы парламентом не только не принимаются в расчет, но даже прямо нарушаются. В конце XVIII и начале XIX в. в Англии совершился целый экономический переворот, результатом коего было образование двух новых общественных классов: крупных предпринимателей-фабрикантов и рабочего пролетариата. Парламентская олигархия вызывала против себя неудовольствие одинаково в обоих этих классах. Когда в 1815 г. парламент устанавливал новые хлебные законы, представители крупной промышленности, коим принадлежало некоторое количество мест в нижней палате, протестовали против такой меры, которая в то же самое время была встречена очень недружелюбно и народной массой. Весьма естественно, что и промышленная буржуазия, и рабочий класс стали приходить к той мысли, что единственное средство защиты их интересов может заключаться в парламентском представительстве. Это ставило вопрос о парламентской реформе уже на новую почву. Не в том только теперь было дело, чтобы положить конец злоупотреблениям и подкупам при выборах или подаче голосов, но и в том, чтобы распространить права представительства на новые общественные классы, которые справедливо жаловались на нарушение своих интересов. Правда, по многим важным и существенным вопросам буржуазия и пролетариат уже в то время высказывали диаметрально противоположные желания и стремления, но в одном пункте они сходились, и это как раз в мысли о необходимости отменить устарелые законы, касавшиеся представительства в парламенте. Буржуазия все более и более обогащалась и получала все большее и большее общественное значение, а между тем новые промышленные города, бывшие полем деятельности этой буржуазии, представителей в парламент не посылали. Это одно должно было делать мысль о парламентской реформе, весьма популярной в промышлен-

ном классе. С другой стороны, никогда раньше народ до такой степени не бедствовал в Англии, как в конце XVIII и начале XIX в. В сравнительно короткое время Англия пережила один из самых крупных экономических переворотов, какой только знает история. Переворот этот отразился крайне неприятно на благосостоянии народной массы, что, в свою очередь, вызвало целый ряд насильственных действий, бунтов и восстаний. Недовольство, господствовавшее в народе, коснулось и парламента. Палату общин стали обвинять в своекорыстном образе действий, стали объяснять ее поведение ее составом, стали говорить, что народ должен быть действительно представлен в палате общин.

Как же держал себя господствующий класс? Известно, что в эту эпоху в Англии царило крайне реакционное направление. Великая французская революция страшно напугала господствующий класс Англии, и более всего он стал бояться парламентской реформы, которая казалась ему первым шагом к демократической революции. Вот почему мысль о парламентской реформе, приобретавшая все более и более сторонников в новых общественных классах, наоборот, была крайне непопулярна в поземельной аристократии. В парламенте сторонники реформ составляли из себя всегда самое незначительное меньшинство, да и реформы, которые они хотели бы провести, большей частью отличались чертами осторожности и умеренности. Начиная с 1770 г. вопрос о реформе выборов время от времени ставился на очередь, но каждый раз повторялась одна и та же история: парламент и слышать не хотел о каких бы то ни было изменениях в существовавшей системе представительства. Многие члены парламента прямо утверждали, что, например, отнятие представительства у «гнилых местечек» было бы нарушением права частной собственности: только ввиду подобного соображения становится нам понятным сделанное еще в 1785 г. Питтом предложение ассигновать весьма крупную сумму денег на выкуп этого права у собственников «гнилых местечек». И перед самой парламентской реформой 1832 г. старая система защищалась тем же самым аргументом. По мере того как парламент все более и более обнаруживал свое упорство, в обществе, наоборот, идея реформы получала все большую и большую силу. В начале XIX столетия она делается предметом политической агитации в прессе и на митингах, особенно с 1819 г. Более умеренные предположения, возникавшие относительно реформы у прежних ее защитников, сменяются теперь требованиями более радикальными, прямо демократическими, какие, например, пропагандирует Коббет. Стараясь во что бы то ни стало сохранить старый порядок, господствующее большинство парламента и правительство принимают разные репрессивные меры против политической агитации во имя парламентской реформы. Сами виги, среди коих возник вопрос о реформе, были не особенно довольны радикальной проповедью представителей новой демократической партии и нередко обнаруживали некоторое колеба-

ние, боясь, как бы реформа не зашла дальше того, на чем, по их мнению, она должна была остановиться, а это, в свою очередь, только ослабляло партию реформы. Лишь в середине двадцатых годов намечается в Англии некоторый общий поворот от реакции к либерализму и стали создаваться более благоприятные условия для проведения реформ. Припомним, что в 1824 г. разрешено было рабочим заключать между собой союзы, хотя бы это разрешение и было вскоре обставлено ограничительными правилами. Припомним также, что около того же времени парламент отменил старые законы, закрывавшие для диссидентов доступ к государственной и общественной деятельности, а в 1829 г. согласился на так называемую эмансипацию католиков. На сторонников парламентской реформы не могло не произвести впечатления то обстоятельство, что эмансипация католиков была результатом совершенно такой же политической агитации, какая велась и в пользу парламентской реформы. Наконец, в самом парламенте в конце двадцатых и начале тридцатых годов состав был уже несколько иной, нежели в предыдущее десятилетие. Старые деятели, сохранявшие в своей памяти впечатление, произведенное на них Французской революцией, начинали сходить со сцены, и их места начинали занимать представители более молодого поколения, уже знавшего о революции только понаслышке и потому спокойнее относившегося к перспективе изменений в государственном строе Англии, необходимость коих чувствовалась все настоятельнее и настоятельнее.

Главным борцом за реформу в парламенте был Джон Россель, которому удалось образовать вокруг себя целую группу сторонников реформы из умеренных вигов. Он и слышать не хотел о радикальных предложениях, делавшихся вождями демократической партии. Весь его план сводился к тому, чтобы лишить землевладельческие классы исключительного влияния на выборы и даровать представительство новым промышленным центрам. В первый раз с таким проектом выступил Россель в 1819 г. и не переставал энергично добиваться своего в следующие годы. Между тем произведена была эмансипация католиков, открывшая перед ними двери парламента. Многие тори стали опасаться, как бы католики не скупили всех «гнилых местечек» и не приобрели большинства в палате общин. Один из членов этой партии, лорд Бландфорд, внес предложение о реформе парламента в демократическом духе. Это предложение было поддержано героем эмансипации католиков О'Коннелем, который, со своей стороны, в 1830 г. потребовал всеобщей и тайной подачи голосов, причем члены палаты общин должны были выбираться только на три года. Все эти предложения проваливались. Против них выступало и само правительство. Каннинг, повернувший в либеральную сторону во внешней политике, был решительным противником реформы и даже однажды умолял Росселя не поднимать этого вопроса. Еще менее можно было ожидать уступки со стороны Веллингтона, в руки которого перешла власть по смер-

ти Каннинга: это был представитель самого реакционного торизма. Ни большинство парламента, ни министерство не обращали ни малейшего внимания на массу петиций, поступавших ежегодно от отдельных графств и городов. В таком положении было дело, когда 26 июня 1830 г. скончался Георг IV и английский престол перешел к его брату, Вильгельму IV. По старому обычаю, парламент, собранный умершим королем, должен был быть распущен, дабы можно было по приглашению уже нового короля созвать и новый парламент. Акт роспуска парламента был подписан 23 июля, а через несколько дней в Англии было получено известие об Июльской революции в Париже.

На англичан Июльская революция произвела сильное впечатление. Партия, стоявшая у власти с Веллингтоном во главе, отнеслась к этому перевороту с крайним неудовольствием. Зато виги не скрывали своей радости. Они ненавидели Веллингтона за его реакционную внешнюю политику, особенно за его туркофильство во время греческого восстания, и даже питали подозрение, будто Веллингтон поддерживал во Франции ретроградную политику Полиньяка. Газеты вигов выражали полнейшее свое удовольствие по поводу совершившегося переворота. Многие состоятельные люди нарочно совершали путешествие в Париж, чтобы посмотреть на тамошних героев дня и выразить им свое сочувствие. Еще более радовались радикалы, для которых парижская революция получала характер поощряющего примера. Среди рабочих господствовал настоящий энтузиазм. Агитация в пользу реформы при таких обстоятельствах сделалась еще более настойчивой. Только что возникшая «национальная уния», располагая большими суммами денег и большим влиянием на общество, воспользовалась общим настроением для того, чтобы усилить агитацию в прессе и на митингах в пользу реформы.

Новый парламент собрался в начале ноября. Первая речь, произнесенная в палате лордов, была посвящена вопросу о реформе, и выступил с ним один из самых старых сторонников реформы, лорд Грей. Он указал на то, что происходило тогда на континенте: буря могла разразиться и в Англии, и бурю эту нужно было предотвратить, но для этого необходимо было реформой парламента удовлетворить желания современников. И на этот раз Веллингтон отвечал упорным отказом. В своей речи в ответ Грею он даже заявил, что если бы ему было поручено издать для Англии новые законы, то при всем своем желании он едва ли сумел бы придумать что-либо более совершенное, чем существующий порядок. Это заявление отличалось такой резкостью, что даже многие лорды торийской партии нашли речь Веллингтона бестактной, а один лорд прямо сказал ему, что после этого дни его министерства сочтены. В палате общин слова министра вызвали целую бурю негодования. В Лондоне и стране господствовало страшное волнение. На другой же день денежные фонды стали падать, и возможность еще

большого их падения произвела панику среди представителей денежного капитала. Население столицы до такой степени волновалось, что власти со дня на день ожидали восстания и принимали экстренные меры. Обычное посещение королем и министрами банкета, устраиваемого лордом-мэром, было отменено, но известие об этом, опубликованное в газетах, только подлило масла в огонь. В первый же воскресный день толпы народа окружили здание парламента, в котором собрались многие члены, громко выражавшие протест против поведения министерства. Кое-где происходили стычки народа с полицией и войском. На другой же день лордом Брумом был снова поставлен в парламенте вопрос о реформе, который по его требованию должен был немедленно же подвергнуться рассмотрению. Прежде, однако, чем началось обсуждение этого дела, министерство Веллингтона, потерпевшее поражение по одному второстепенному вопросу, касавшемуся содержания королевской фамилии, вынуждено было подать в отставку.

Вильгельм IV, который лично далеко не был расположен в пользу реформы, поручил составить новое министерство лорду Грею. При тогдашних обстоятельствах, конечно, и думать было нечего о каком-либо министерстве, которое не стояло бы за реформу. Большинство нового кабинета состояло из членов верхней палаты, т. е. из представителей крупного землевладения, что служило известной гарантией для членов парламента, опасавшихся радикальной реформы. Назначение нового министерства не успокоило брожения, происходившего в народной массе. Зима 1830/31 г. была крайне беспокойна, и многие были убеждены в неизбежности близкой революции. Понятно, что министерство, стоявшее за необходимость уступок, должно было действовать с большой осторожностью, но в нем самом не было единства во взглядах на то, чем должна была быть поставленная на очередь реформа. Одни члены кабинета представляли себе дело довольно узко, другие высказывались за более широкие перемены. На первых порах трудно было предвидеть, какое мнение получит перевес, но по мере того как министерство все более и более убеждалось, что положение с каждым днем становится серьезнее, мнение о необходимости более широкой реформы, хотя бы в основе своей и умеренной, стало получать перевес. Комиссия, которая должна была приготовить билль, была образована из лиц, стоявших в кабинете за более широкую реформу. Самым видным членом этой комиссии был Россель: он и внес в парламент билль о реформе 1 марта 1831 г. Когда содержание билля сделалось известным, встречен он был различным образом. Тори негодовали и всячески выражали свое недовольство, тогда как, наоборот, виги отнеслись к биллю в общем с большим одобрением. В обществе и в народных массах билль был принят с восторгом, и даже Коббет, шедший в своих политических требованиях гораздо далее того, что давала предполагавшаяся реформа, отозвался о билле с большим сочувствием.

Наоборот, в торийской партии все сильнее проявлялось несочувствие к реформе, в которой некоторые представители этой партии готовы были видеть настоящую революцию. Они решились во что бы то ни стало отстаивать старый порядок, и поэтому билль о реформе сделался предметом ожесточенной борьбы, продолжавшейся более года. Соппротивление, встреченное им, было весьма упорное, но не меньшую энергию проявили и защитники реформы, за которыми стояли народные массы, занявшие к этому времени весьма грозное положение.

Сущность билля о реформе сводилась к следующему. 60 «гнилых местечек» должны были совершенно лишиться права посылать представителей в парламент, а 47 бургов¹, в коих население превышало 2000 душ, могли впредь высылать лишь по одному представителю вместо прежних двух. Крупные промышленные центры получали в парламенте 44 места, и число представителей от Лондона увеличивалось на восемь. Ранее право выбирать представителей принадлежало в городах замкнутым корпорациям, а теперь оно распространялось на всех домохозяев, плативших за квартиру 10 фунтов стерлингов. Особенно населенные графства получали по лишнему представителю, причем право голоса и здесь распространялось на большее количество лиц. Общее число членов нижней палаты вследствие этих перемен должно было понизиться с 658 до 596, сами избирательные порядки подвергались некоторым изменениям, а срок полномочий представителей сокращался с семи лет² на пять. Первое чтение билля прошло благополучно, но при втором чтении из 603 членов палаты общин, подававших голоса, за билль высказалось только 302 голоса (22 марта). Это не предвещало ничего хорошего, и действительно, при третьем чтении (19 апреля) 299 голосов против 291 было подано за одну частную поправку, принятие которой было почти равносильно отвержению самого билля. Для министерства такое голосование было равносильно поражению. Тем не менее оно потребовало, чтобы палата приступила к обсуждению бюджета, но торийская партия добилась того, что и в этом требовании министерству было отказано. Министерство заранее предвидело возможность неудачи и незадолго перед тем испрашивало у короля согласия на роспуск парламента. Сначала Вильгельм IV в этой просьбе министерству отказал, но Грей теперь снова поставил тот же вопрос, и на этот раз получил согласие. Узнав об этом, тори задумали было воспрепятствовать роспуску, подав королю просьбу этого не делать, но не успели привести в исполнение свой план. Вильгельм IV лично явился в парламент, чтобы объявить его роспуск. Известие об этом было принято в Лондоне с большой радостью. На улицах королю, когда он возвращался из парламента, был оказан восторженный прием, а вечером весь город был иллюминирован, и гулявшие толпы

¹ Небольшой город (от *англ.* borough). — *Прим. ред.*

² О введении семилетнего срока см. т. III.

народа выбивали стекла в домах лордов, которые отказались осветить свои дома.

Во время выборов, вскоре затем начавшихся, с обеих сторон были употреблены все усилия, чтобы получить победу. Тори платили сумасшедшие деньги, чтобы добиться торжества своей партии на выборах, но последние дали большинство партии реформы довольно солидное — в 136 человек. Новому парламенту билль был предложен 24 июня. Но в течение целых трех месяцев тори всячески мешали законодательному движению билля. В течение всего этого времени по всей Англии происходила усиленная агитация: собирались митинги, подавались в парламент петиции и т. п. Только 21 сентября билль прошел в третьем чтении 345 голосами против 236. На другой же день он поступил в палату лордов, но через две недели с небольшим (8 октября) лорды 199 голосами против 158 отвергли реформу. При известии об этом палата общин приняла решение во что бы то ни стало поддерживать министерство. То же самое сделал и совет Сити. Во всей стране стали опять собираться митинги; самый грандиозный из них в 150 000 человек собрался в Бирмингеме, бывшем в течение всего этого времени одним из наиболее видных центров всего движения, и на нем вполне единодушно было решено не платить налогов до тех пор, пока не будет принят билль. Другой большой митинг в самом Лондоне при участии многих членов парламента и массы богатых лиц принял решение организовать особый политический союз, дабы всеми мерами добиваться проведения реформы. Одновременно возвышал свой голос и другой союз чисто демократического характера, имевший сильную поддержку в рабочем классе. Он выступил с прокламацией, в которой требовал всеобщей и тайной подачи голосов с ежегодными выборами в парламент. Авторы этого манифеста заявляли, что лишь исполнение этих требований может удовлетворить рабочих, что какая бы то ни было другая реформа ими признана не будет, и созывали в Лондоне митинг на 7 ноября. Министерство и партия реформы в парламенте были сильно встревожены агитацией демократического союза; решено было даже прибегнуть к мерам предосторожности. Так как на митинге должна была идти речь об основании политической ассоциации с центральным отделением в Лондоне и филиальными отделениями в графствах и городах, то министерство объявило, что такие ассоциации несогласны с конституцией и незаконны, а на случай могущего возникнуть мятежа были приготовлены вооруженные силы. И в Лондоне, и в других местах действительно происходили крупные беспорядки, которые давали повод торийским газетам говорить о начинающейся революции. На ноябрь заседания парламента были отсрочены, и за это время часть более умеренных тори согласилась заключить компромисс с партией реформы. В начале декабря в палату общин снова был внесен билль о реформе, на этот раз, однако, сильно урезанный: число членов палаты остав-

лено было прежнее, число местечек, лишившихся права представительства или сохранявших право посылать только одного представителя, было уменьшено. В палате общин билль в этой новой форме прошел благополучно. В самой палате лордов Грею удалось перетянуть на свою сторону некоторых епископов и светских пэров, благодаря чему первое чтение билля дало большинство в 9 голосов. Положение было, однако, все-таки непрочным, и у министерства было в запасе верное средство добиться благоприятного голосования: именно стоило только назначить достаточное количество новых лордов, набравши их из среды лиц, сочувствовавших реформе, что было вполне конституционным правом короны. Грей не хотел прибегать к этой во всяком случае исключительной мере и, только уступая давлению со стороны своих единомышленников и удовлетворяя единодушному желанию вигистских газет, испросил на это согласие у короля, отложив, впрочем, приведение этой меры в исполнение. Со своей стороны, противники реформы напрягли все свои силы и 7 мая при рассмотрении отдельных параграфов билля нанесли министерству поражение 151 голосом против 116. Грей и его товарищи подали в отставку. Составить новый кабинет было поручено герцогу Веллингтону, но палата депутатов была против него. 10 мая большинством в 80 голосов она вотировала королю адрес о своем доверии к министерству Грея. В Лондоне и во всей стране брожение сразу приняло весьма грозный характер. Лондонский городской совет послал в палату общин петицию о том, чтобы она не выдавала правительству денежных средств. Подобное же требование предъявлялось и в других местах. На многочисленных митингах принималось решение не платить налогов. В Бирмингеме снова был созван митинг в 150 000 человек, и на нем была принесена торжественная клятва во что бы то ни стало добиваться реформ. Во многих случаях агитация направлялась прямо против палаты лордов. Не было недостатка и в воззваниях, приглашавших взяться за оружие. Положение Веллингтона было крайне затруднительно. Не только виги не могли представить себе Веллингтона у власти, но и крайние тори отнеслись к нему враждебно, как к изменнику, потому что король дал ему поручение составить новый кабинет под условием внесения в парламент нового билля о реформе. 14 мая из обеих партий вышло даже предложение выразить недоверие новому министерству. Между тем Веллингтон и сам убедился, что образовать новый кабинет он не в силах, так как не мог найти людей, которые согласились бы принять на себя бремя правления среди таких трудных обстоятельств. Поэтому 15 мая он просил короля освободить его от этой непосильной задачи, и Вильгельму IV осталось только обратиться снова к Грею с предложением образовать новое министерство. После этого судьба билля была уже обеспечена: под угрозой назначения новых пэров лорды сделались уступчивее, а для полного обеспечения билля Грей уговорил короля пустить в ход еще одно средство,

которое нельзя назвать вполне конституционным: ко многим из членов верхней палаты король обратился с посланием, в коем выражал желание, чтобы они более не препятствовали реформе. Некоторые лорды прямо уклонились от участия в обсуждении билля, и в начале июня 1832 г. он был принят окончательно, а утверждение его королем дало ему силу закона.

Парламентская реформа 1832 г. доставила победу вигам, которые после этого надолго утвердились у власти. Такая перемена не могла не отразиться и на внешней политике Англии. Уже сама Июльская революция, снова сблизившая между собой три абсолютные монархии — Австрию, Пруссию и Россию, заставила Францию и Англию искать поддержки друг у друга, а переход власти в самой Англии от консервативной партии к либеральной должен был еще более содействовать этому сближению обеих конституционных монархий. Между ними образовалось даже особого рода соглашение, и вскоре Англии и Франции пришлось выступить сообща во имя поддержки конституционных учреждений на Пиренейском полуострове, где происходила своя политическая борьба. Но главное значение парламентская реформа имела, конечно, во внутренней истории Англии, сделавшись исходным пунктом нового исторического периода и положив начало постепенной, хотя и не вполне еще завершившейся, демократизации английского государственного строя.

На парламентскую реформу 1832 г. мы вообще имеем право смотреть как на первый шаг, сделанный английским парламентом в том направлении, которое раньше или позже должно привести к установлению всеобщей подачи голосов. Правда, этот последний принцип, проведения которого требовала демократическая партия, не был принят, и по биллю 1832 г. избирательное право рассматривалось как льгота (*franchise*), т. е. привилегия, принадлежащая особым корпорациям, каковы собрания графств, города и университеты, или распространяющаяся лишь на обладателей имущественного ценза, но несмотря на это старому порядку был нанесен удар. Число избирателей сразу повышалось. Прежде в графствах число избирателей не доходило до 250 000, теперь оно достигало 370 000; в городах и местечках число избирателей увеличилось приблизительно на 100 000, именно с 188 000 до 286 000. Таким образом, в общей сложности Англия получала около 220 000 новых избирателей, что при 435 000 прежних избирателей составляло довольно солидную цифру. Правда и то, что число представителей оставалось прежним, выбирались они на прежний довольно длинный семилетний срок, подача голосов сохранялась старая, открытая, и избранным признавался по старому тот, кто получал относительно большее количество голосов, хотя бы это большинство не было абсолютным, — тем не менее палата общин после 1832 г. гораздо более стала соответствовать общественному настроению и вернее выражать общественное мнение. Таких представителей, которые являлись бы в палату по желанию

какого-либо лендлорда или по назначению замкнутой городской олигархии, более уже не могло быть, или они представляли лишь редкие исключения. Число злоупотреблений во время выборов стало сокращаться, и, наоборот, стало возрастать количество случаев, когда палата оспаривала правильность выборов, что, конечно, гарантировало их большую добросовестность и законность. Члены палаты общин стали ревностнее посещать заседания и гораздо больше работать. Об усилении их деятельности свидетельствует то обстоятельство, что число ежегодных докладов и отчетов, печатавшихся для палаты, возросло на первых же порах с 30 до 50 томов. Несмотря на рост периодической печати, парламент в первой трети нынешнего столетия по-прежнему относился неблагосклонно к печатанию газетами отчетов о парламентских заседаниях. Например, в 1832 г. палата общин не разрешила предать гласности списки голосов, поданных представителями, и была крайне недовольна, когда О'Коннель обнародовал в Ирландии эти списки, чем, по старым понятиям, нарушил одну из существенных привилегий парламента. Но скоро и в этом отношении произошла перемена. Когда стали строить новую залу для заседаний на месте прежней, сгоревшей, то нашли нужным отвести в ней особые места для публики. Это было всего через два года после реформы, а прошло еще два года, и палата начала сама публиковать, какие голоса какими представителями подавались по отдельным вопросам. Отношение парламента к периодической прессе равным образом изменилось и в другом отношении. В 1886 г. понижен был гербовый налог, платившийся с каждого отдельного экземпляра всех номеров любой газеты, что сделало газеты более доступными по цене сравнительно с прежним временем¹. Сразу же и тут обнаружилось возрастание гласности, а с нею и общественного интереса к парламенту. Наконец, случаи возбуждения судебного преследования против газет стали делаться все более редкими, что благотворно отозвалось на развитии свободы печати. Одним словом, от реформы 1832 г. в Англии, несомненно, выиграла политическая свобода. Хотя брожение, вызванное в стране требованием парламентской реформы, и не могло сразу улеяться, прежнего ожесточения в борьбе с новыми движениями уже не было. Мало того, бывшие противники реформы не только не пытались вернуться к старому порядку, но поставили прямо своею задачею охранять новый строй, вышедший из преобразования выборов, мирясь, конечно, в данном случае, с совершившимся фактом, но в то же время опасаясь новых, еще более резких перемен. В этом отношении консерватизм в Англии совсем не похож на консерватизм континентальных стран: он вполне заслуживал своего названия, как направление действительно охранительное, поддерживающее существующий порядок, тогда как континентальные консерва-

¹ Этот налог был отменен только в 1855 г.

торы в большинстве случаев выступали в роли реакционеров, враждебных существующему порядку, раз последний не соответствовал их желаниям, раз он являлся результатом отмены каких-либо старых привилегий или злоупотреблений. Впоследствии даже случалось, что консерваторы в Англии проводили реформы, задуманные либералами. Само образование неудавшегося министерства Веллингтона в 1832 г. было обусловлено выработкой билля о реформе, который в таком случае был бы внесен торийским министерством. Впрочем, после 1832 г. тори долгое время не удавалось утвердиться у власти. Новые избиратели на выборах поддерживали большей частью вигов. Сами тори, когда им приходилось пользоваться властью, стали разделять принцип вигов, в силу которого министерство должно было выходить в отставку, лишаясь доверия палаты общин. Вскоре после реформ Вильгельм IV, воспользовавшись несогласием либералов по одному частному вопросу, образовал торийское министерство, во главе коего стоял сначала Веллингтон, потом Пиль. Не имея поддержки большинства в палате общин, Пиль убедил короля распустить палату, но новые выборы также не дали министерству большинства, и это вскоре заставило Пилия не только выйти в отставку, но и признать сам принцип парламентарного министерства. Он сам говорил, что общий смысл государственного устройства и законов Англии требует, чтобы министерство не шло наперекор прямому желанию палаты общин даже в тех случаях, когда оно имеет на своей стороне полное доверие короны и большинство в палате лордов (1835 г.). Это было окончательным признанием принципа, который выработался еще за сто лет перед тем, но не всегда соблюдался в течение этих ста лет.

Парламентская реформа 1832 г. не могла вполне удовлетворить демократическую партию и те общественные классы, которые по-прежнему оставались исключенными из представительства. Нужно было быть собственником или нанимателем дома, магазина, конторы, склада или фабрики, стоящих не менее 10 фунтов стерлингов в год, или нужно было быть собственником либо арендатором поземельной собственности, приносящей известный доход, чтобы пользоваться избирательным правом, а это значило, что избирательное право для рабочих оставалось совершенно невозможным. Вот почему в Англии в конце тридцатых годов возникла новая агитация в пользу демократической реформы парламента и других аналогичных изменений, известная под названием «чартизма». Движение это, как мы увидим в своем месте, своей цели не достигло. С самого же начала новой демократической агитации палата общин 500 голосов против 22 одобрила ответ Джона Росселя, что реформа парламента окончена и никаких более изменений не нужно. Однако в пятидесятых годах в самом парламенте пришли к мысли о необходимости новой избирательной реформы, и весьма любопытно, что первым, предложившим некоторые

изменения в действовавшей системе, был как раз Дж. Россель. Это означало, что потребность в новой реформе вполне созрела. В 1866 г. либеральным министерством Гладстона была предложена, а в 1867 г. консервативным министерством Дизраэли проведена новая парламентская реформа, призвавшая к пользованию избирательным правом значительную часть рабочего класса в городах. Было вычислено, что благодаря этой реформе выборов состав избирателей в английских городах увеличился вдвое, в шотландских городах — втрое, а в графствах благодаря понижению ценза — в полтора раза. Так как, однако, многие новые избиратели (подобно, впрочем, и многим избирателям старым) находились в экономической зависимости от землевладельцев или капиталистов, то пользоваться полной свободой при подаче голосов они не могли, пока существовала старая система открытой подачи голосов; тайная же подача голосов установлена была в Англии лишь в 1872 г. Реформа 1867 г. в городах давала избирательное право всем квартирохозяевам, платящим за свои жилища 10 фунтов стерлингов в год, но в графствах рабочие оставались по-прежнему исключенными из избирательного права до 1884 г., когда по предложению Гладстона закон 1867 г. не был распространен и на население графств. В 1884 г. были преобразованы избирательные округа и избирательные списки в смысле более равномерного распределения голосов. По реформам 1884 и 1885 гг. избирательное право получили все домохозяева, которые занимают отдельные жилища, будь то целый дом или только часть дома, и к этой категории лиц были причислены даже съемщики помещений от квартирантов с платой не менее 10 фунтов стерлингов в год. При этом число членов палаты общины было повышено до 670.

Однако и эта последняя реформа парламента не затронула некоторых старинных особенностей английского избирательного права. Главное, на что нужно обратить внимание, это связь права голоса с жилищем, а не с лицом, благодаря чему в 1885 г. в Англии насчитывалось около 1 800 000 совершеннолетних мужчин, лишенных права голоса, и само это право по-прежнему остается особой льготой.

Если в 1884—1885 гг., т. е. через 50 с лишком лет после парламентской реформы 1832 г. Англия не решилась еще ввести у себя всеобщую подачу голосов, то весьма понятно, как должны были правящие классы отнестись к демократической программе реформы выборов в свое время. Выиграли от реформы лишь новые промышленно-торговые классы. Виги, стоявшие тогда у власти, определяя, какие местечки должны лишиться избирательного права, особенно неблагосклонно отнеслись к тем из них, которые привыкли посылать в парламент тори. В союзе с вигами английская буржуазия стала пользоваться своим новым положением, главным образом для защиты своих классовых интересов. Прямые подкупы в прежнем смысле сделались почти невозможными или по крайней мере весьма риско-

ванными ввиду более строгого отношения к ним со стороны властей, но разные косвенные способы расположения в свою пользу избирателей продолжали существовать по-прежнему. До 1832 г. лица, ставившие свою кандидатуру, должны были тратить большие деньги, чтобы добиться избрания, но и после реформы избирательные расходы оставались по-прежнему весьма высокими, доступными лишь людям с большими средствами, и понятно, что кому-нибудь должно было быть выгодно нести эти расходы. В лондонском Сити в конце пятидесятых годов каждый избранный кандидат обходился в 11 000 с лишком фунтов стерлингов, т. е. около ста тыс. руб. Многие лица, которые не одобряли подобной системы, должны были отказываться от звания членов парламента. Так поступил, например, Дж. Ст. Милль, согласившийся на предложение своих друзей выбираться в парламент под условием, чтобы на постановку его кандидатуры не было истрачено больших денежных сумм. До сих пор в Англии избирательные расходы весьма значительны, и если к этому прибавить еще то, что представители не получают жалованья, станет вполне понятным, почему — в некоторых по крайней мере отношениях — Англию опередили континентальные страны, в которых установились более демократические системы выборов.

Три последовательные реформы английского парламента оставили неприкосновенным и старый семилетний срок депутатских полномочий. Благодаря этому парламент не всегда вполне точно выражает собой господствующее в данную минуту настроение народа. Правда, установился обычай, в силу которого парламент распускается обыкновенно раньше истечения его полномочий, но это зависит от усмотрения министерства, в руках которого угроза роспуска является в иных случаях важным оружием. Избрание депутатов и в настоящее еще время производится относительным большинством голосов без баллотировки, благодаря чему бывают иногда возможны консервативные избрания в местностях, где консерваторам далеко не принадлежит большинство голосов. Из этого видно, до какой степени в Англии упорно держатся старые избирательные порядки. Требование демократической партии, чтобы выборы в парламент происходили ежегодно, в свое время должно было точно так же возбудить против себя господствующий класс. Лишь постепенно, путем частных уступок, господствующий класс удовлетворял новым требованиям, но и демократическую партию частные уступки успокаивали лишь на время, пока какие-либо обстоятельства не заставляли ее снова требовать изменений.

Таким именно обстоятельством и был для Англии июльский переворот 1830 г. Если Великая французская революция повлияла на внутреннюю жизнь Англии, усилив в ней реакционные стремления, то это объясняется лишь слабостью в Англии в конце XVIII в. тех общественных элементов,

которые могли бы сочувственно отнестись к великому демократическому движению, происходившему по ту сторону Ла-Манша. За четыре десятилетия, отделяющие одну революцию от другой, новые общественные элементы в Англии настолько выросли и окрепли, настолько стали сознавать и чувствовать свою силу, что общим результатом Июльского переворота для Англии было усиление не консервативных элементов общества, как то случилось после 1789 г., а наоборот, усиление элементов прогрессивных. Конечно, трудно определительно утверждать, что без Июльской революции парламентская реформа в Англии была бы еще надолго отсрочена, но что Июльская революция произвела сильное впечатление на англичан и значительно содействовала страстности, с какой до принятия билля велась борьба, — в этом не может быть никакого сомнения, и по свидетельству самих современников, и по действительным фактам, коими располагает история. Брожение в Англии имело настоящий революционный характер, но если и при таких исключительных обстоятельствах дело не дошло в Англии до насильственного переворота, которого одни опасались и от которого другие были недалеки, то в этом сказалось превосходство английских государственных учреждений и политических нравов, воспитанных свободными учреждениями. Революционная буря 1848 г., потрясшая чуть не всю Западную Европу, прошла мимо Англии. Спокойное, в общем, внутреннее развитие Англии, между прочим, сильно содействовало тому, чтобы еще более поднять авторитет английских политических учреждений в глазах континентальных либералов, тем более что последние в тридцатых и сороковых годах в классовом отношении были представителями интересов буржуазии, т. е. того самого общественного класса, который в Англии 1832 г. был настоящим победителем. Но уже и в Англии, и во Франции, а затем и в других странах буржуазный либерализм начинал вызывать против себя демократическую оппозицию, то ограничивавшуюся областью одной политики, то, наоборот, выдвигавшую на первый план социальные вопросы.

Парламентская реформа 1832 г., нанеся удар преобладанию поземельной аристократии, но в то же время не допустившая к политическим правам демократию, поставила буржуазию в необходимость, так сказать, вести борьбу на два фронта — против старых законов, коими защищались интересы аристократии, и против демократии, желавшей издания новых законов, коими защищались бы и ее интересы.

V. Торжество буржуазии после 1830 года¹

Сравнение между Июльской революцией во Франции и парламентской реформой в Англии. — Характер консервативной и либеральной партии в Англии и Франции в эту эпоху. — Начало политической роли социализма. — Господство буржуазной идеи в политической экономии. — Отмена закона о бедных в Англии. — Агитация в пользу свободной торговли. — Возникновение манчестерской школы. — Взгляд Луи Блана и Токвиля на господство буржуазии. — Лионское восстание рабочих в 1831 г. и его значение. — Буржуазность в литературе

Июльская революция во Франции и парламентская реформа в Англии весьма сильно содействовали усилению буржуазии в обеих странах. Эпоха Реставрации во Франции была эпохой политической реакции, за которой скрывалась реакция социальная. В сущности, политическая борьба сводилась к вопросу о том, какому общественному классу — землевладельческому дворянству или промышленной буржуазии — должно принадлежать господство. Июльская революция решила этот вопрос в пользу буржуазии. Хотя в июльские дни победа над старым порядком была одержана народом, плодами победы воспользовалась буржуазия. Недаром июльскую монархию называют царством буржуазии, а короля-гражданина — королем буржуа. Хотя ценз избирателей и избираемых в палату депутатов был понижен и благодаря этому число лиц обеих категорий значительно возросло, ценз этот оставался все-таки весьма высоким, и громадное большинство французского народа лишено было представительства в палате депутатов. Вот почему в течение всего периода июльской монархии ей пришлось испытывать довольно сильную демократическую оппозицию, все более и более принимавшую чисто социальный характер.

¹ Для истории буржуазии во Франции и в Англии кроме сочинений, указанных в т. III, см.: *Wade J.* History of middle and working classes, 1835; *Levi L.* Hist. of british commerce, 1880; *Cunnigham.* The growth of english industry in modern times, 1892; *Gibbins.* Industrial history of England (русский перевод 1895 г.). Специально о движении в пользу свободной торговли см.: *Richelot.* Histoire de la réforme commerciale en Angleterre, 1853—1855; *Калиновский.* О развитии и распространении идеи свободной торговли, 1850; *Янжул Ж.* Опыт исследования английских косвенных налогов, 1874 (есть история лиги против хлебных законов); *Он же.* Английская свободная торговля, 1882. Т. II: Период свободной торговли; *Mongredien A.* History of the Free-trade-movement in England, 1881; *Brentano L.* Anfang und Ende der englischen Kornzölle, 1892. О Кобдене и его роли в истории свободной торговли существует целая литература, а именно соч. *Garnier* (1846), *Bastiat* (1848), *Mac Gilchrist*, *Holtzendorf* (1874), *John Morley* (1881 и французский перевод 1885 г.) и др. В книге Барду *La bourgeoisie française* (1789—1848), вышедшей в свет в 1886 г., совсем не освещены взаимные отношения буржуазии и пролетариата.

В Англии тоже, благодаря парламентской реформе 1832 г., значительно возросло число избирателей, но ценз все-таки оставался довольно высоким, и потому избиратели продолжали составлять очень небольшое меньшинство населения страны. Хотя и здесь перемена была результатом энергичного выступления народной массы, в выигрыше оказалась главным образом промышленная буржуазия, благодаря переходу права представительства от «гнилых местечек» к большим промышленным городам. В борьбе за парламентскую реформу в Англии есть много общего с той борьбой, какую во Франции вела либеральная буржуазия против реакционного дворянства. И в дальнейшем наблюдается аналогия между демократической оппозицией июльскому режиму во Франции и так называемым чартистским движениям в Англии. И здесь и там в известных кругах и слоях общества обнаруживается недовольство исходом, какой получили в одной стране революция, в другой — парламентская реформа, и в Англии тоже, подобно тому, как это было и во Франции, демократическое движение получило социальный характер.

В обеих странах общественные классы, имевшие парламентское представительство, по-прежнему делились на две партии — консервативную и либеральную. В Англии эти названия стали прилагаться к прежним тори и вигам, но какие бы разногласия ни существовали между ними по общим и частным вопросам политики, обе эти партии одинаково представляли собой интересы господствующих классов. Во Франции деление на партии было несколько более сложным, но если мы исключим немногочисленных приверженцев Генриха V, с одной стороны, а с другой — не особенно сильную левую, то двумя главными партиями, боровшимися между собой за власть, окажутся правый и левый центры. Подобно тому как в Англии после реформы 1832 г. консервативные министерства не придерживались строго парламентского правления, а министерства либеральные, наоборот, его укрепляли, и во Франции вождь правого центра, Гизо, отстаивал торийский принцип, по которому король имел право назначать министров, лишь считаясь с мнением палат, а не подчиняясь воле большинства, а глава левого центра, Тьер, следовал принципу вигов, в силу коего король должен был выбирать министров, прямо сообразуясь с волей большинства в палате. Были, конечно, и другие пункты разногласия между этими двумя главными партиями, боровшимися между собой за власть, но все это были пункты чисто политические, в классовом же отношении политические противники были, в сущности, защитниками одних и тех же интересов. Либерализм, который уже раньше имел буржуазный характер, теперь еще более отражал на себе предрассудки, пристрастия и интересы господствующего класса. Партии, отстаивавшие интересы народных масс и притом вполне понимавшие, что дело не в одних политических преобразованиях, обречены были на внепарламентскую деятельность. Весьма естественно, что здесь царствовало оппо-

зиционное настроение, но очень часто эта оппозиция принимала характер простого политического радикализма. Тем не менее именно после 1830 г. старый политический радикализм начинает проникаться новыми социальными стремлениями. До тридцатых годов зарождавшийся социализм, — социализм сен-симонистов, Фурье, Оуэна, — держал себя далеко от политической жизни, и в свою очередь политические радикалы мало интересовались вопросами, которые были самыми важными, самыми главными для тогдашних социальных реформаторов. Политическую роль социализм начинает играть лишь после Июльской революции и отчасти даже под ее влиянием, и, с другой стороны, социальные вопросы начинают входить в политические программы тоже в эту эпоху.

Времена июльской монархии вообще характеризуются обострением отношений между буржуазией и пролетариатом. Впервые в эту эпоху утопический социализм, бывший сначала достоянием немногих умов в культурном слое общества, проникает в народную массу и делается политической силой. Буржуазии, которая ранее вела борьбу преимущественно с представителями старого порядка, теперь после победы над последним приходится отстаивать себя против натиска с другой стороны. Новые учения встречаются ею крайне враждебно, и либерализм, когда-то игравший роль прогрессивного фактора, начинает получать консервативный оттенок — против требований новых общественных классов, выступающих на арену политической жизни. Более высокие стремления прежнего либерализма суживаются, и особенной популярностью начинает пользоваться идея невмешательства государства в сферу экономических отношений, в борьбу капитала с трудом. Эта идея сделалась своего рода догматом, и в Англии образовалась целая школа политической экономии, так называемая манчестерская, которая положила принцип «laissez faire, laissez passer»¹ в основу всего своего учения. Во Франции эта доктрина равным образом получила все права гражданства и в литературе, и на кафедрах.

Еще в 1820 г. лондонское Сити представило парламенту петицию о свободной торговле, сразу вызвав этим сочувствие в других частях Соединенного Королевства. Немедленно вслед за этим и главный город Шотландии Эдинбург послал в парламент свою петицию в том же самом смысле. Парламент тотчас же образовал особую комиссию об улучшении и расширении иностранной торговли страны. С этого момента в английском обществе все более и более распространяется и утверждается идея свободной торговли, и вместе с тем она начинает оказывать влияние на парламентское законодательство. Приблизительно с этого же времени обнаруживается сильный общественный интерес к политической экономии. «До 1818 г., — говорит один современник, — о политической экономии

¹ Пусть все идет как идет (фр.). — Прим. ред.

мало кто знал или, по крайней мере, наука эта служила предметом обсуждения лишь среди тесного кружка философов, а законодательство, которое далеко не согласовывалось с принципами этой науки, с каждым днем все более и более отдалялось от них». Несколько лет спустя общественное отношение к политической экономии было уже совершенно иное. «Политическая экономия, — говорит Милль, — с большой силой потребовала себе права заведовать общественными делами, и это требование выразилось в подаче петиции лондонских купцов об осуществлении свободной торговли». «Экономические трактаты указанной эпохи, — прибавляет он, — привлекли всеобщее внимание к науке, и воззрения Рикардо начали приобретать приверженцев даже в самом министерстве». С 1822 г. в парламент начинают вноситься билли в духе свободной торговли, причем сторонники последней защищают ее не только путем теоретических соображений, но и посредством указаний на практические требования, вытекающие из самого состояния английской промышленности. Например, для английских фабрик необходимы были сырые продукты, привозившиеся в страну из других государств, и пока на сырье налагались ввозные пошлины, английские фабриканты не могли получать его по дешевой цене. Или еще в силу навигационного акта середины XVII в. привозить в Англию иностранные товары можно было только на английских судах, что тоже неблагоприятно отзывалось на английской промышленности, тем более что стеснения, коим были подчинены иностранцы в торговых сношениях с Англией, вызывали со стороны других правительств меры, стеснительные для самой английской торговли, а потому стеснительные и для английской промышленности, работавшей для вывоза за границу. Вот почему идея свободной торговли сделалась так популярна в английской буржуазии и почему эта буржуазия с такой последовательностью и настойчивостью добивалась осуществления нового принципа путем целого ряда законодательных мер, отменявших те или другие старые стеснения ввозной и вывозной торговли.

Совершенно иначе относилась к этому вопросу поземельная аристократия, которая получала большие выгоды от существования хлебных законов, не позволявших падать ценам на хлеб, производимый в Англии. Но парламентская реформа 1832 г. создала для буржуазии совершенно новые условия для проведения в жизнь своих классовых интересов. Ослабив политическое значение поземельной аристократии, эта реформа увеличила избирательные права буржуазии, а через это и ее влияние на парламентское законодательство. Рабочие классы, которые своим содействием помогли буржуазии добиться расширения избирательных прав, довольно скоро почувствовали, что сами они ничего не выиграли от этой реформы. И вот в то самое время, как буржуазия стремится к осуществлению свободной торговли, распространяя этот принцип и на промышленность в смысле полного невмеша-

тельства государства в экономическую жизнь, рабочие классы, наоборот, вооружаются против принципа свободной конкуренции, как крайне невыгодного для их интересов, и начинают требовать государственного вмешательства в промышленность ради ограждения именно этих интересов. В тридцатых и сороковых годах английская буржуазия добивается от парламента целого ряда мер, результатом коих было освобождение торговли от государственной регламентации. Но буржуазии не удалось провести принцип во всей его чистоте — в области отношений между промышленными предприятиями и промышленным трудом. Дело в том, что, с одной стороны, рабочие слишком громко предъявляли свои требования, а с другой стороны, нередко они находили союзников среди поземельной аристократии, которая не разделяла увлечения буржуазии идеей экономической свободы.

Влияние идеи невмешательства государства в экономическую жизнь народа прежде всего отразилось на отмене в 1834 г. старых законов о бедных. По этим законам приходы посредством особого налога, падавшего на поземельных собственников, должны были обеспечивать существование своих бедняков, между прочим, даже в форме приплаты к личному заработку бедняка, если этого заработка не хватало для содержания его самого. С 1834 г. пауперы¹ могли получать пособия только в рабочих домах, где были заведены самые строгие порядки, заставлявшие бедняков всячески избегать этих благотворительных тюрем. При проведении этого закона ссылались на теорию Мальтуса, говорившего, что благотворительность только плодит нищих. Но самый важный аргумент был сформулирован во время прений герцогом Веллингтоном и Брумом, которые указывали на то, что налоги в пользу бедных скоро поглотят имущества лордов и джентльменов и что потому нужно спасти их имения от непомерной тяжести. На аргументе о разорительности налога в пользу бедных сходились все собственники — и лендлорды, и фабриканты, и консерваторы, и либералы.

В 1836 г. было положено основание ассоциации, вскоре получившей название «Лиги против хлебных законов» (*Anti-Corn-law league*)². Инициаторы и организаторы всего этого движения выставляли на вид, что пошлины на ввозный хлеб крайне вредно отзываются на материальном благосостоянии бедных классов населения. Любопытно, однако, что кампания против хлебных законов, предпринятая этой лигой, не пользовалась сочувствием рабочего класса, причиной же этого было то, что вождями лиги являлись те самые лица, которые выступали в парламенте во имя принципа промышленной свободы противниками государственного вмешательства в видах

¹ От *лат.* *pauper* (бедный) — нищий; человек, лишенный всяких средств к существованию. — *Прим. ред.*

² Собственно говоря, в 1836 г. основалось несколько местных ассоциаций, а в 1838 г. образовалась подобная ассоциация в Манчестере, которая в 1839 г. и объединила все остальные в одну лигу.

ограждения интересов рабочего класса. И на самом деле это была борьба промышленной буржуазии против поземельной аристократии, борьба, в которой буржуазия не жалела денежных средств ради пропаганды своих идей путем митингов и прессы. Хотя в этой борьбе лига стремилась заинтересовать все классы, тем не менее она не могла скрыть, что целью всего похода должно было быть ослабление землевладельческого класса путем уменьшения доходов, доставляемых поземельной собственностью. Кроме того, более дешевый хлеб обеспечивал возможность и более низкой рабочей платы. Вот почему в рабочих классах лига против хлебных законов не пользовалась популярностью, а некоторые представители их интересов даже становились во враждебное отношение к деятельности лиги. Например, многие из так называемых чартистов, — участников сильного демократического движения, охватившего Англию в конце тридцатых годов, — прямо говорили, что уничтожение хлебных законов было бы выгодно лишь для фабрикантов, так как дало бы им возможность дешевле платить за труд. Нерасположение чартизма к идее экономической свободы было так велико, что одной из причин, заставивших буржуазию неприязненно отнестись ко всеобщему избирательному праву, было неблагоприятное отношение рабочих к идее свободной торговли. Нередко и на митингах, и в парламенте сами фабриканты довольно откровенно заявляли, что стоят за отмену хлебных законов в расчете на то, что мера эта позволит им меньше платить за труд рабочих. Буржуазии, однако, удалось добиться своего и без помощи со стороны рабочих. Через десять лет после того, как началась агитация, в июне 1846 г., парламент после весьма упорной борьбы между заинтересованными сторонами отменил хлебные законы. Понятно, что лига тотчас же прекратила свое существование, как только цель ее была достигнута.

Одновременно с этим целый ряд частных мер все более и более делал из Англии страну свободной торговли. Начинали даже отменяться такие законы, которые ранее, при других обстоятельствах, были изданы как раз в видах ограждения интересов промышленного класса. Стремясь удержать за собой монополию многих производств, Англия строго наблюдала за тем, чтобы не дать развиваться этим производствам в других странах. С этой целью запрещались вывоз каменного угля и машин, а также высылка из страны механиков, машинистов и вообще сколько-нибудь искусных рабочих. Такие запрещения, конечно, противоречили принципу свободы, но мало-помалу стало обнаруживаться, что запрещения эти, кроме того, сопряжены и со многими практическими неудобствами и даже прямо имеют вредные следствия. С одной стороны, промышленный прогресс Англии настолько опередил экономическое развитие континентальных стран Европы, что английским предпринимателям нечего было бояться иностранной конкуренции и они могли, например, спокойно относиться к вывозу каменного угля и машин. С другой стороны, свободы торговли стали пря-

мо требовать интересы владельцев каменноугольных и железных копей, равно как машиностроителей, так как эти отрасли промышленности получили весьма значительное развитие. Вот почему уже в 1843 г. парламент объявил полную свободу для вывоза машин из Англии, а в следующем году один из главных борцов за свободную торговлю говорил уже в парламенте, что «настало время, когда почти каждый индивидуум, рожденный на британской почве, должен смотреть на мануфактуру, а, во всяком случае, не на земледелие, как на единственные средства своего существования».

Оставалось сделать только еще один шаг, чтобы устранить всякие задержки, препятствовавшие свободному развитию английской торговли и промышленности. Навигационный акт середины XVII столетия и другие аналогичные законы создавали массу ограничений для иностранного судоходства в Великобритании и ее колониях. В 1847 г. парламент организовал особую комиссию по вопросу о том, как отражаются навигационные законы на экономической жизни страны, а через год в парламент был внесен билль о необходимости их отмены. Противники стеснений указывали на то, что при существующих условиях Англия вовсе не нуждается в защите от иностранцев и что отмена всяких ограничений в деле судоходства только удешевит перевозку товаров, создаст новые предметы вывоза и откроет новые рынки. В 1848 г. провести этот билль не удалось вследствие оппозиции, в которой играли роль, между прочим, судовладельцы. Но в следующем году билль о свободе судоходства был принят, хотя и с некоторыми ограничениями. Впрочем, и эти последние просуществовали недолго, потому что в 1851 г. и они были окончательно отменены.

В этом торжестве принципов свободной торговли нельзя не видеть одного из важнейших результатов парламентской реформы 1832 г., усилившей влияние английской буржуазии. С другой стороны, и сама свободная торговля в значительной степени содействовала усилению буржуазии. Весьма естественно поэтому, что экономическая теория свободной конкуренции сделалась очень популярной среди представителей промышленности, торговли и денежных операций. Но английская буржуазия, восставшая против государственной регламентации, стремилась устранить ее и из области взаимных отношений труда и капитала. Целая школа экономистов выступила с защитой и проповедью принципа государственного невмешательства, и в данном случае английские буржуазные экономисты нашли товарищей в лице французских экономистов, защищавших точно так же принцип «laissez passer, laissez faire».

Эта школа получила название манчестерской, а созданное ею направление — название манчестерства. Дело в том, что главным центром агитации против хлебных законов был Манчестер, в котором впоследствии даже воздвигли памятник главному вождю «лиги против хлебных законов», знаменитому Кобдену, принадлежавшему к числу фабрикантов этого про-

мышленного города. К чести Кобдена нужно сказать, что он искренне верил в благо свободной торговли и мирного соперничества наций и даже агитировал в пользу прекращения международных войн. Его проповедь была проповедью человека, убежденного в спасительности принципа, и весьма нередко он действительно выступал в роли защитника народных интересов, так что ему не совсем даром было дано имя «друга народа». Уже в самом начале своей деятельности, в середине тридцатых годов, он нападал на своекорыстную политику поземельной аристократии и восставал против тех практических выводов, неблагоприятных для народа, которые делались из теории Мальтуса. С большой энергией боролся Кобден, в 1841 г. сделавшийся членом парламента, против хлебных законов, и принцип свободной торговли весьма многим был обязан его неутомимой деятельности. Немудрено поэтому, что впоследствии его имя было принято в Англии обществом, написавшим на своем знамени принцип экономической свободы (Cobden club). Защита экономической свободы и есть основная черта манчестерства. Эта школа, представители которой, главным образом, занимались комментированием и систематизацией взглядов Адама Смита, Мальтуса и Рикардо, взяла на себя задачу апологии *laisser passer, laisser faire* ввиду, с одной стороны, реакции против принципа экономической свободы, которая стала проявляться в литературе и обществе, а с другой — ввиду начавшегося распространения социалистических идей. Последователи этого направления возводили принцип свободной конкуренции на степень какого-то догмата, т. е. придавали ему безусловное значение, какого он не имел у самого родоначальника политической экономии. В то время, когда писали манчестерцы, уже не должно было бы быть места оптимизму, характеризующему взгляды Адама Смита, но они как бы закрывали глаза на действительность, противоречившую спасительности безусловного экономического соперничества, и их теории прямо приспособлялись к защите интересов промышленного класса. Наиболее видными представителями этого направления были Макколлох, Сениор и Р. Торренс. Второй из названных писателей, замечательный систематизатор в области политической экономии в начале тридцатых годов, был одним из главных агитаторов против законов о бедных, доказывая, будто в них была главная причина всех зол в экономической жизни, так как общественная помощь пауперам снимает с них риск, присущий свободной деятельности, и заставляет лениться. И по другим вопросам Сениор выступал в роли противника требований, предъявлявшихся государству со стороны рабочих. Вообще манчестерская школа экономистов прославилась своим противодействием всяким социальным реформам, благодаря чему и приобрела такую популярность в буржуазии. Английские защитники промышленной свободы настолько полно разработали предмет со своей исключительной точки зрения, что французским их собратьям в большинстве случаев оставалось

только повторять на разные лады положения английской политической экономии, хотя и у французских буржуазных экономистов был свой родоначальник в лиц Жана-Батиста Сея, который уже в эпоху Реставрации проповедовал те же идеи и с величайшим оптимизмом говорил о промышленном прогрессе, обязанном своим происхождением экономической свободе.

Уже современники дали яркую характеристику французской буржуазии в эпоху ее господства, причем впервые в эту эпоху само слово «буржуазия» получило тот определенный смысл, который имеет в настоящее время.

На одной из первых страниц своей «Истории десяти лет», появившейся в начале сороковых годов, Луи Блан дает такое определение буржуазии и народа. «Под буржуазией, — говорит он, — я разумею совокупность граждан, которые, владея орудиями труда или капиталом, работают при помощи своих собственных средств и зависят от других только в известной мере. Народ есть совокупность граждан, которые, не владея капиталом, зависят от других вполне и во всем, что касается первых потребностей жизни». С легким видоизменением Луи Блан повторяет оба определения в общем заключении к своему историческому труду, прибавляя только, что члены первого класса «могут, не поработав, развивать свои способности», тогда как лица, входящие в состав народа, «не находят в самих себе средств для своего развития». Читая эти слова, невольно вспоминаешь, что за четверть века перед тем, в эпоху Реставрации, передовые деятели французского общества определяли иначе состав своей нации. Именно тогда в ней различали только «людей пергамена» и «людей индустрии», феодалов и третье сословие, аристократию и плебеев.

Даже родоначальник французского социализма Сен-Симон в период своего увлечения индустриализмом держался той же самой классификации, противопоставляя потомкам феодального дворянства как представителям отживающего военного общества всех людей, занятых производительным трудом, были ли эти люди капиталистами-предпринимателями или наемными рабочими. Только позднее, уже перед самой смертью, он вполне ясно сознал, что весь вопрос о реорганизации общества сводился не к тому, чтобы доставить победу индустриалам над феодалами, а к тому, чтобы среди самого промышленного класса создать иные условия существования для наиболее многочисленной и бедной части народа. Луи Блан только развил далее ту мысль, которая была высказана Сен-Симоном. И если либеральные историки двадцатых годов стремились понять все прошлое Франции — и более близкое, и более отдаленное — с точки зрения борьбы между феодальной аристократией и третьим сословием, выделившим из себя буржуазию, как передовых бойцов за права народа, то Луи Блан стремится понять и современную ему историю, — а спустя некоторое время и историю Французской революции со всем тем, что ее подготавливало, — уже с этой новой точки зрения — противоположности интересов буржуазии

и народа. Основная мысль сочинения, в котором он рассказал историю первых десяти лет июльской монархии, заключается именно в том, что царствование Людовика-Филиппа было, собственно говоря, царством буржуазии; поэтому и вся его книга получила характер обвинительного акта против буржуазии. Он везде упрекает ее за то, что уже ранее она начала ставить выше всего материальные интересы, коим и стала подчинять все проявления общественной жизни. Сам либерализм буржуазии, по его представлению, скрывал за собой чисто классовые интересы, откуда общее нерасположение Луи Блана и к либерализму. Людовик-Филипп вполне соответствовал правящему классу. Но, собственно говоря, личность Людовика-Филиппа, по его мнению, была здесь ни при чем. «Напрасно, — замечает он, — в Европе полагают, что революция во Франции была обуздана политической ловкостью короля»: ему приписали лишь то, «что было результатом силы интересов буржуазии, дурно направленных и плохо понятых. Довольная своею судьбой, — продолжает он, — буржуазия не хотела, чтобы страдания, которые не были ее страданиями, доводились до ее сведения шумом тревожных сигналов: отсюда — система порядка, зависящего от молчания несчастных и защищавшегося пушечными выстрелами. Ослепленная мелочными заботами о благосостоянии, буржуазия видела только денежные потери в волнениях, какие могли произойти в Европе: отсюда система унижительного мира». Луи Блан не забывает, однако, что буржуазия в свое время сослужила службу историческому прогрессу. «Как воинствующий класс, буржуазия оказала немалые услуги цивилизации. У нее есть свои хорошие качества: любовь к труду, уважение к закону, ненависть к фанатизму и к его увлечениям, мягкость нравов, бережливость, все, что составляет основу семейных добродетелей. Но ей не хватает вообще глубины идей и возвышенности чувств, и у нее нет никаких широких верований». Именно поэтому Луи Блан и считает буржуазию неспособной к общественным делам. Вследствие узости взглядов и отсутствия всяких порывов буржуазия должна была отвергать реформы, которые могли бы предупредить возмущения, а во внешней политике должна была отказываться от всякого смелого шага.

«Внутри государства, — говорит еще Луи Блан, — мы слышали проповедь морали интереса, имевшую позорный успех. Чисто рыночные сцены не один раз наполняли шумом и скандалом дворец, где происходили совещания. Чтобы умножить милости, которые можно было бы раздавать, и создать новые приманки для продажных душ, управление общественными работами, изъятые из ведения государства, сделалось орудием ажиотажа для банкиров, средством избирательных маневров для министров. Это отразилось дурно даже на национальном характере». Управление государством, по замечанию Луи Блана, требует самоотвержения, но «чего же ожидать, — спрашивает он, — от системы, которая именно из частного

интереса сделала источник власти?.. Что касается до общественного порядка, которого желала буржуазия и который ею поддерживался, то он был отмечен полным пренебрежением к бедняку. Заблуждение буржуазии заключалось в том, что она верила, будто там, где нет равенства в средствах к развитию, довольно одной свободы для прогресса и справедливости».

Отзыв Луи Блана может быть заподозрен в пристрастии, но он, в общем, вполне сходится с отзывом другого писателя, общественное мирозерцание которого было диаметрально противоположно мирозерцанию Луи Блана. Именно в недавно вышедших в свет «Воспоминаниях» Токвиля, написанных в начале пятидесятых годов, мы находим общую характеристику господства буржуазии в эпоху июльской монархии, с указанием на глубокую пропасть, образовавшуюся между обоими классами, которые сообща вели борьбу против старого порядка в течение четырех десятилетий, от 1789 по 1830 г. «В 1830 г., — говорит Токвиль, — торжество среднего класса было окончательным и столь полным, что все политические власти, все вольности, все прерогативы и само правительство целиком были заключены и как бы нагромождены в узких границах одного этого класса с устранением *de jure* всего того, что было внизу, и *de facto* всего того, что было наверху. Таким образом, этот класс один только управлял всем обществом и, даже можно сказать, взял его себе на откуп. Он забрал себе все места, страшно увеличив число разных должностей, и составил себе привычку жить почти столько же на казенный счет, как и на доходы от собственной промышленности. Едва только завершилось это событие, как произошло большое умиротворение всех политических страстей, своего рода всеобщее измельчание во всех вещах и быстрое развитие общественного богатства. Частный характер среднего класса сделался общим характером правительства; он стал господствовать одинаково во внешней политике и во внутренних делах, — характер деятельный, предприимчивый, часто не особенно честный, вообще аккуратный, иногда смелый вследствие тщеславия и себялюбия, но по темпераменту робкий, умеренный во всех отношениях, кроме стремления к благосостоянию, и, в сущности, посредственный, — характер, который в соединении с характером народа или аристократии может делать чудеса, но который сам по себе никогда не в состоянии ничего создать, кроме правительства, лишенного доблести и величия. Овладев всем, как не делала этого и никогда, может быть, не сделает никакая аристократия, средний класс, превратившись в правительство, принял вид частной промышленной компании; он укрепился в своей власти, и весьма скоро каждый из членов этого класса в своем эгоизме стал думать гораздо более о своих частных делах, чем о делах общественных, и о своих удовольствиях гораздо более, нежели о величии нации. Потомство, — прибавляет Токвиль, — видящее всегда только бросающиеся в глаза преступления и обыкновенно не замечающее пороков, быть мо-

жет, никогда не поймет, до какой степени тогдашнее правительство приняло подконец все повадки промышленной компании, где все операции производятся ради барыша, который из предприятия могут извлечь его участники. Эти пороки зависели от естественных инстинктов господствующего класса, от его безусловной власти, от самого духа времени». В другом месте Токвиль делает еще следующую любопытную характеристику отношения нации к деятельности собственных представителей. «Нация, — говорит он, — мало-помалу привыкла видеть в той борьбе, которая происходила в палатах, скорее умственные турниры, чем серьезные обсуждения, а во всем том, что разделяло разные парламентские партии (большинство левой, центр и династическую левую), — только внутренние распри членов одного и того же семейства, стремившихся надуть друг друга». Понятно, какие чувства нация должна была питать к этому классу и к его парламентским представителям. «Страна, — замечает Токвиль, — была тогда разделена на две части или скорее на два неравных слоя: в верхнем слое, в коем должна была содержаться вся политическая жизнь нации, царствовала только какая-то вялость, бессилие, неподвижность, скука; в нижнем слое, наоборот, начинала проявляться политическая жизнь симптомами лихорадочными и неправильными, которые, однако, были слишком ясны для внимательного наблюдателя». К частным мыслям, выраженным в приведенных строках, Токвиль не раз возвращается на страницах своих «Воспоминаний», указывая при этом на общие причины отмечаемых ими явлений. Стремление буржуазии к занятию общественных должностей и к жизни на счет налогов он ставит, например, в связь с той комбинацией, которая создалась во Франции между «демократическим устройством гражданского общества и чрезмерной централизацией правительства», а сверх всего этого буржуазия не была солидарна со своим правительством. Последнее не могло рассчитывать на поддержку того самого среднего класса, которому оно всячески угождало и который вместе с тем оно же и развращало. «У нас, — говорит Токвиль, — когда правительство, опирающееся на исключительные интересы и эгоистические страсти одного класса, становится непопулярным, бывает обыкновенно так, что члены того самого класса, ради которого правительство лишается популярности, предпочитают удовольствие бранить его вместе с другими теми привилегиями, которые оно за ними обеспечивает. Старая французская аристократия, более просвещенная, чем средний класс, и отличавшаяся более сильным корпоративным духом, уже ранее дала пример этого: она кончила тем, что стала порицать свои собственные привилегии и громить те злоупотребления, коими сама жила». Этот дух инсубординации среднего класса по отношению к правительству, бывшему, в сущности, органом и орудием ее классовых интересов, отмечает, между прочим, и Луи Блан во многих местах своей «Истории десяти лет». В другом месте мы увидим, как оба эти писателя,

столь различно смотревшие на вещи, сходились между собой в том, что основным принципом, разделявшим нацию на два класса, признавали различное отношение обоих этих классов к собственности.

В самом начале июльской монархии во Франции произошло одно восстание, которое возникло именно на почве взаимных отношений капитала и труда и которое показало, какая пропасть образовалась между буржуазией и рабочим классом. Восстание это произошло в Лионе в ноябре 1831 г. и замечательно особенно тем, что, с одной стороны, совершенно было лишено политического характера, а с другой — произошло независимо и от какой бы то ни было агитации социалистического характера. Мы еще увидим, что социалистические идеи стали распространяться в рабочем классе несколько позднее, и, действительно, нет никаких указаний на то, чтобы лионское восстание 1831 г. было результатом какой-нибудь идейной пропаганды. Это был скорее стихийный взрыв, причины которого заключались непосредственно в недовольстве рабочих отношением к ним со стороны предпринимателей. Правда, когда вспыхнуло возмущение, им вздумали воспользоваться для своих целей политические противники июльской монархии, т. е. легитимисты, республиканцы и бонапартисты, но замечательно, что они не имели решительно никакого успеха у восставших рабочих. Причины возмущения были как раз чисто экономические: это было враждебное столкновение труда и капитала, своего рода предупреждение для буржуазии, всего смысла и значения коего она, однако, не поняла, привыкши смотреть на все общественные движения с исключительно политической точки зрения. Мы остановимся несколько подробнее на этом эпизоде.

По населенности Лион был вторым городом Франции и представлял собой один из важнейших промышленных центров страны. В 1830 г. в городе было около 300 000 жителей, и добрую половину этой цифры составляли рабочие с их женами и детьми. Главным видом промышленности в городе было старинное шелковое производство, в котором участвовали около 800 фабрикантов при 30 000—40 000 рабочих. Не нужно, впрочем, представлять себе, чтобы между фабрикантами и рабочими существовали непосредственные отношения и чтобы работы производились в больших фабричных зданиях. Между предпринимателями и ткачами шелковых материй стоял класс хозяев отдельных маленьких мастерских, в коем насчитывалось от 8000 до 10 000 человек; обладая каждый 4—5 ткацкими станками, они раздавали полученную от предпринимателей работу ткачам, удерживая в своих руках половину платы, дававшейся им фабрикантами. Одним словом, лионская шелковая промышленность находилась в переходном состоянии от кустарного производства к чисто фабричному. Лионская промышленность была одной из наиболее процветавших, и потому капиталисты весьма охотно вкладывали в нее свои деньги. В двадцатых годах число предпринимате-

лей в Лионе сильно возросло, но именно увеличение производства должно было, как это часто бывает в подобных случаях, привести к застою в делах: товаров было наготовлено гораздо более, чем мог поглотить тогдашний рынок, и за этим неминуемо должен был последовать промышленный кризис. Кроме того, у лионских предпринимателей явились конкуренты в Цюрихе, Базеле, Берне, Кёльне, да и Англия, долгое время вывозившая шелковые ткани из Лиона, стала мало-помалу сокращать свои закупки. Первым результатом кризиса было постепенное понижение рабочей платы: в хорошие времена искусный и трудолюбивый ткач зарабатывал от 4 до 6 франков, но эта плата стала постепенно падать до 2 и 1,5 франка, а в ноябре 1831 г. 18 часов труда оплачивались 18 су, т. е. менее нежели одним франком. Для всей массы ткачей это было равносильно нищете, но страдали также и собственники ткацких станков, которые иногда не в состоянии были даже уплачивать за помещения своих мастерских. На этот кризис повлияла, между прочим, и Июльская революция с последовавшими за ней замешательствами и опасением большой европейской войны. Спрос на предметы роскоши несколько сократился, и часть капитала была изъята из производства. Понятно, что среди лионских рабочих с каждым днем возрастало недовольство. Особенно много рабочих жило в квартале, который носил название *Croix Rousse*¹ и занимал нагорную часть города. Общая нужда заставляла рабочих все более и более сознавать общность своих интересов. Уже за два года до Июльской революции многие рабочие образовали в своей среде особый «союз взаимопомощи» (*Mutuelliste*), и хотя, конечно, далеко не все рабочие входили в состав этой организации, ее вожди пользовались большим почетом и влиянием среди всей массы ткачей. Со своей стороны, и предприниматели вошли между собой в соглашение и устроили ассоциацию, получившую название «союза фабрикантов». Это были две классовые организации на почве чисто экономических интересов, без примеси какой бы то ни было политической идеи. Сама рабочая организация была вызвана к жизни не какой-либо идейной пропагандой извне, а самой печальной действительностью, тяжело отзывавшейся на материальном благосостоянии рабочих и их семейств. Одним словом, в Лионе стояли лицом к лицу и готовы были прийти во враждебное столкновение два экономических класса — капиталисты и рабочие. Все лионское восстание и разыгралось на почве этой борьбы капитала и труда.

К осени 1831 г. «мютюеллисты» решили потребовать определения минимума рабочей платы. К этому решению весьма сочувственно отнесся лионский префект Бувье-Дюмолар, которого очень беспокоило возбуждение, царившее среди рабочих. Но легче было прийти к такому решению, чем его исполнить. Во-первых, начиная с законодательства учредительно-

¹ Рыжий крест (фр.). — Прим. ред.

го собрания, ничто не уполномочивало представителей власти на подобного рода вмешательство во взаимные отношения между нанимателями и работниками. Во-вторых, господствующей идеей эпохи, весьма популярной в буржуазии, был принцип «laissez faire, laissez passer», и лионские фабриканты не так-то легко могли быть убеждены в законности и полезности минимума рабочей платы, установленного авторитетом власти. Наконец, Бувье-Дюмолар не встретил поддержки со стороны муниципальной администрации, а главный военный начальник в городе генерал-лейтенант Роге не только видел в недовольных лионских рабочих опасных мятежников, которым не следовало давать спуска, но и к самому префекту относился весьма неприязненно по мотивам чисто личного свойства. В начале октября Бувье-Дюмолар стал деятельно хлопотать о введении тарифа и с этой целью созывал на совещания торговую палату, мэров Лиона и его предместий, фабрикантов и делегатов со стороны рабочих. На разные переговоры ушло около двух недель. Недовольные промедлением, рабочие 25 октября устроили внушительную демонстрацию. В этот день, когда в здании префектуры должно было происходить совещание по вопросу о таксе рабочей платы, из квартала Croix Kousse спустилась в город громадная толпа, совершенно безоружная и державшаяся вполне спокойно. Когда она пришла на площадь префектуры, Бувье-Дюмолар вышел к ней и просил ее разойтись, говоря, что не нужно подавать ни малейшего повода к возникновению мнения, будто тариф вынужден какими-либо угрозами, и прибавил, что совещание об установлении тарифа откроется лишь тогда, когда толпа разойдется. Эта речь была принята народом хорошо; многие даже кричали: «Да здравствует префект!» — и весьма скоро рабочие опять, в полном порядке, возвратились туда, откуда пришли. Вслед за тем на совещании делегатов от обеих сторон был принят тариф заработной платы, и известие об этом весьма быстро распространилось по всему городу. В тот же день вечером рабочие устроили иллюминацию своих домов, и на улицах еще поздно ночью происходило большое народное веселье с пением и танцами. Возбуждение, господствовавшее среди рабочих, стало теперь волновать фабрикантов.

Многие фабриканты не принимали никакого участия в выборе делегатов и не захотели подчиняться тарифу. А когда ремесленный совет, призванный блюсти за правильным исполнением состоявшегося соглашения, начал налагать на них штрафы, они составили протест, в коем говорилось, что тариф противоречит свободе сделок и что издан он был под влиянием страха, нагнанного буйными рабочими. В этом документе, под которым подписалось 104 фабриканта, говорилось даже, что все это буйство есть прямой результат испорченности рабочих, ибо они создали себе совершенно ненужные потребности и потому требуют за свой труд лишнюю плату. Не чувствуя твердой почвы под ногами, Бувье-Дюмолар 17 ноября

официальным письмом в ремесленный совет заявил, что тариф не может иметь обязательной силы, подобной силе закона, и что потому все значение его сводится лишь к простой рекомендации фабрикантам придерживаться известной нормы при договорах с рабочими. Кроме того, в Лионе распространился слух, что министр торговли имел в Париже совещание с лионскими депутатами и не одобрил образа действий префекта. Генерал Роге, со своей стороны, принял меры, чтобы помешать повторению манифестаций, подобных той, которая была 25 октября. Войска в казармах должны были быть готовы явиться по первому призыву для подавления беспорядков, и даже целая половина солдат ложилась спать несколько дней не раздеваясь. Караулы в городе были усилены отрядами первого легиона национальной гвардии, состоявшего исключительно из фабрикантов. Случаи нарушения тарифа фабрикантами стали делаться более частыми, но ремесленный совет более не накладывал на них штрафов. Положение дел ухудшалось тем, что некоторые фабриканты прекратили совсем работы и распустили рабочих. Тогда среди «мютюеллистов» возникло решение прекратить повсеместно работу на целую неделю и повторять манифестации на улицах города. По городу распространялись самые тревожные слухи. Об одном фабриканте рассказывали, что он принял у себя рабочих с пистолетами на столе, а другому приписывали такие слова: «Если у них нет хлеба в брюхе, мы им всунем туда штыки!» Городские власти не были между собою согласны относительно принятия необходимых мер. Напрасно префект обращался в Париж за указаниями, его письма оставались без ответа. Стоявший в городе гарнизон был слишком недостаточен для поддержания порядка, а в национальной гвардии прямо существовало разногласие по вопросу о тарифе. Последнее обстоятельство вполне ясно проявилось на смотре, бывшем 20 ноября. Более богатые ее члены явились сюда в мундирах, какие были в ходу еще во время реставрации, более бедные, главным образом содержатели мелких мастерских, — в более простых мундирах нового образца. Со стороны своих зажиточных товарищей они были встречены насмешками, на которые отвечали угрозами. Вечером ни у кого не было сомнения в том, что на другой день начнется борьба.

Борьба действительно началась на другой день. Рано утром значительная толпа рабочих собралась в квартале Croix Rousse, главным образом с целью силой принудить к прекращению работ тех ткачей, которые пошли в свои мастерские. На место собрания явился небольшой отряд национальной гвардии с видимым намерением разогнать собравшихся штыками. Благодаря численному превосходству, рабочие смяли этот отряд, обезоружив одну его часть, а другую обратив в бегство. Затем по четыре человека в ряд они двинулись к центру города, но на дороге встретили новый отряд национальной гвардии, состоявший из одних фабрикантов, и из этого отряда раздался залп, тяжело ранивший нескольких рабочих.

Остальные обратились в бегство, распространяя по всему кварталу известие о случившемся. В самое короткое время на улицах появились целые массы рабочих, вооруженных чем попало, — палками, заступами, вилами и даже ружьями. Захватив две пушки, принадлежавшие национальной гвардии этого квартала, они двинулись на Лион под звуки барабанов и с черным знаменем, на котором было написано: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» Одновременно с этим началась постройка баррикад, которые должны были помешать вступлению войска в названное предместье. Навстречу инсургентам двинулась колонна, состоявшая из линейного войска и национальной гвардии. Но когда она поднималась в гору, ее встретил град пуль, камни и черепицы, что заставило колонну попятиться назад. Между тем национальная гвардия предместья *Stoix Rousse* присоединилась к рабочим и потребовала, чтобы сам префект явился для переговоров. Бувье-Дюмолар отправился на место происшествия и в сопровождении одного генерала вышел к народу на балкон мэрии в то самое время, как в разных пунктах возобновился бой. Подозревая префекта в измене, рабочие арестовали его, а сопровождавший его генерал чуть не был убит. Однако Бувье-Дюмолару удалось убедить рабочих в своей невинности, и к вечеру он был отпущен домой, сопровождаемый приветственными криками; несколько позднее в тот же день был отпущен и сопровождавший его генерал. 21 ноября рабочим так-таки и не удалось прорваться в центральный город. На следующий день восстание распространилось и на другие предместья, населенные рабочими. В ночь на 23-е число генерал Роге даже вынужден был очистить город, хотя отступление войска могло совершаться только через баррикады, которые предварительно нужно было разрушать пушечными выстрелами. Префект со своими подчиненными остался в городе, находившемся с 23 ноября вполне во власти рабочих. Последние сами везде восстановили порядок, прекратив силою начавшийся было грабеж. Они сами организовали стражу для охраны монетного двора и казначейства. Дома богатых фабрикантов точно так же охранялись от возможного разграбления. Немедленно в городе образовалось нечто вроде временного правительства из нескольких энергичных личностей. Но между ними не было почти никакого согласия. Одни из них сводили все дело к вопросу о тарифе и полагали, что главное — улучшить материальное положение народа. Другие, наоборот, видели в лионском восстании лишь начало политической революции для низвержения монархии и замены ее республикой. Рабочее население Лиона само стояло на первой точке зрения, несмотря на то что были сделаны попытки придать ему прямо политический характер. Уже 22 ноября один из июльских бойцов пытался было направить движение в пользу провозглашения республики, но за ним почти никто не последовал. После отступления войска агенты легитимистов, бонапартистов и республиканцев овладели было ра-

тушей, откуда думали обратиться к населению с прокламацией против существующего правительства, но решительно не имели успеха. Бувье-Дюмолар все это время пользовался в городе авторитетом, и к концу недели в городе все было спокойно. Дюмолар даже взял на себя роль посредника между инсургентами и правительством и писал в Париж о необходимости амнистии для всех, принимавших участие в движении.

Центральное правительство думало, однако, иначе. При первом же известии об этом восстании гарнизоны соседних с Лионом городов получили по телеграфу приказание идти на Лион. 25 ноября военный министр маршал Сульг и наследник престола отправились также в Лион, послав туда с дороги требование о распусчении национальной гвардии и обезоружении народа. Известие об этом было принято в городе спокойно. Казалось, что народ истощил всю свою энергию в предыдущие дни. 3 декабря совершилось торжественное вступление наследного принца и маршала Сульта в город во главе весьма значительной армии в боевом порядке. В Лионе был оставлен гарнизон в 20 000 человек, а вокруг Croix Rousse мало-помалу выросли форты, из коих можно было бы обстреливать мятежное предместье. Тариф был отменен, а Бувье-Дюмолар не только отставлен от должности, но и приглашен немедленно оставить город. Таким образом окончилось восстание. Правда, при этом было оказано вспомоществование рабочим, оставшимся без занятий, а споры между фабрикантами и рабочими предоставлено было впредь разрешать совету экспертов, образованному наполовину из предпринимателей, наполовину из хозяев мастерских и простых ткачей.

Все значение этого эпизода из истории первых лет июльской монархии может быть понято только в том случае, если мы посмотрим, как отнеслись к нему современники.

При известии о лионских событиях палата депутатов почти единогласно вотировала адрес королю по поводу «откровенного и подробного сообщения» министров о том, что произошло в Лионе. «Мы спешим, — говорилось в этом адресе, — выразить вашему величеству единодушное желание депутатов Франции, чтобы правительство противопоставило этим печальным эксцессам всю силу законов. Личная безопасность подверглась жестокому нападению; собственность была угрожаема в самом своем принципе; свободе промышленности грозило уничтожение; голоса властей не хотели слушать. Нужно, чтобы эти беспорядки прекратились как можно скорее; нужно, чтобы подобные покушения энергично подавлялись... Меры, принятые правительством вашего величества, вселяют в нас уверенность, что восстановление порядка не заставит себя долго ждать... Ваше величество может рассчитывать на гармонию властей. Мы счастливы, государь, что от имени Франции можем предложить вам содействие ее депутатов, чтобы восстанавливать повсюду мир, где бы только

он ни был нарушен, подавлять все проявления анархии, укреплять священные принципы, на коих основывается само существование нации, поддерживать славное дело июльской революции и везде обеспечивать за законом подобающую ему силу». Приблизительно такого же содержания адрес был вотирован и палатой пэров. Даже оппозиция, принявшая большое участие в прениях по поводу лионского восстания, в сущности, стояла на той же точке зрения. Во время этих прений не поднималось вопроса ни о минимуме рабочей платы, ни о государственном вмешательстве в дела промышленности, ни о чем-либо другом, имевшем отношение к причинам лионского восстания. Один из вождей оппозиции, Моген, принимавший наиболее горячее участие в прениях, сделал только личное нападение на тогдашнего первого министра Казимира Перье. Он предложил назначить следствие над министрами, обвинив их в том, что они сами при помощи полицейских средств вызывают разные мятежи; другими словами, вопрос о лионском восстании обогатил историю палаты депутатов лишь парламентским скандалом, из которого правительство вышло победителем, так как обвинение, будто оно само устраивало беспорядки, было уже слишком нелепо.

Пресса также не сумела оценить действительного значения совершившихся фактов. Газеты поспешили успокоить своих читателей указаниями на то, что восстание отнюдь не имело политического характера, что это была простая борьба между фабрикантами и рабочими. А одна из наиболее влиятельных газет («Journal des Débats»¹) комментировала события следующим образом: «Уверенное во внешнем мире, опираясь на могущественную армию, в которой развеваются трехцветные знамена, правительство не должно бояться каких-либо последствий от бунта, кроме частных бедствий. Конечно, они крайне прискорбны, но и они будут сокращаться и уменьшаться, благодаря легальной репрессии». Социальное значение лионских событий совершенно не было понято органами господствующего класса Франции.

Одним из первых, осветивших лионское восстание с надлежащей точки зрения, был Луи Блан, рассказавший его историю в третьем томе «Истории десяти лет». По его словам, зло, которым было вызвано лионское восстание, имело более глубокие корни, чем те обстоятельства, которые порождали политические вопросы, волновавшие умы и разгорячавшие страсти в Париже. Отмечая тот факт, что лионские рабочие были чужды какой бы то ни было политической страсти, он прибавляет, что они недостаточно еще понимали, в какой зависимости их судьба могла бы находиться от коренного изменения в правительственной форме. «Политические люди, — прибавляет он, — со своей стороны поглощены были желанием

¹ «Journal des Débats Politiques et Littéraires» («Газета политических и литературных дебатов»). — *Прим. ред.*

низвергнуть власть и едва помышляли о том, чтобы дать общественному порядку новые основания». Многие тогдашние республиканцы даже прямо были в лагере противников рабочих. «Лионские рабочие, — говорит он еще, — восстали не во имя Генриха V или Наполеона II, не ради основания республики. На этот раз восстание имело характер и значение совсем в иных отношениях страшные, ибо это было кровавое доказательство экономических недостатков промышленного режима, установленного в 1789 г., это было обнаружение всего того, что только есть постыдного и лицемерного в пресловутой свободе договоров, которая отдает бедняка в полное распоряжение богатого и обещает легкую победу умеющей ждать жадности над голодом, не могущим ждать». Комментируя слова, стоявшие на знамени возмущившихся рабочих, Луи Блан замечает, что лионское восстание было лишь провозвестником бурь, которые нес с собой XIX в. И недаром в историческом труде Луи Блана вслед за главой, посвященной лионскому восстанию, идет речь о зарождении социализма в школе Сен-Симона: сенсимонистов он прямо противопоставляет, как родоначальников нового движения, министрам Людовика-Филиппа. «Рабы политической рутины, — говорит он, — люди, лишенные инициативы, чуждые умственному движению, совершавшемуся вокруг них, привыкшие, наконец, сводить всю общественную жизнь к мелким ссорам, на которые они растрчивали всю свою энергию, эти министры перестали сознавать всю важность восстания ткачей, лишь только прекратился шум этого восстания». Этот взгляд Луи Блана сделался достоянием исторической литературы. Один из наиболее основательных и беспристрастных историков июльской монархии, немецкий ученый К. Гиллебранд, тоже подчеркивает неполитический характер лионского восстания и полную непричастность к нему социалистической пропаганды. В этом событии он усматривает «первый симптом того разделения нации на народ и правящий класс, которое должно было быть столь опасно для июльской монархии. Министры, — прибавляет он, — большинство в палатах, даже сама оппозиция, сталкивавшаяся между собой на политической почве, в данном случае говорили одним и тем же языком, именно языком работодателей по отношению к работникам». И этот новейший историк указывает также на то, что правящие классы не поняли истинного значения лионских событий конца 1831 г.

Впрочем, такое отношение буржуазии к социальному вопросу не было исключительным для данного только случая. Вообще характер, нравы и стремления буржуазии отразились на тогдашней публицистике и даже изящной литературе. Эпоха Реставрации была временем расцвета политической прессы во Франции. В эту эпоху отдельные газеты были прежде всего органами разных политических партий и менее всего представляли собой простые коммерческие предприятия с целью материальной наживы. Но такие газеты стоили очень дорого, именно около 80 франков в год.

Понизить подписную цену до 40 франков оказалось возможным лишь под условием покрытия расходов по изданию из других источников, а таким источником оказались печатавшиеся в газетах частные объявления. Понятно, что последние в особенно большом количестве направлялись в газеты, более других распространявшиеся в обществе, а это были газеты, лучше других подходившие к пониманию и вкусам толпы. Золотая середина, т. е. известная неопределенность или бледность мнений, и здесь приобретала значение как своего рода залог внешнего успеха. Стремясь к увеличению подписки, редакторы газет хлопотали также о том, чтобы читатели получали как можно более материала для легкого и занимательного чтения. Каждая газета желала иметь на своих столбцах какой-нибудь забористый роман, печатавшийся ежедневно маленькими кусочками, и на страпанье таких романов набросились многочисленные писатели, иногда при помощи более мелких литературных работников, причем получение известной построчной платы сделалось главной целью подобной писательской индустрии. И представители настоящей промышленности или разного рода денежных спекуляций стали смотреть на газеты как на подспорье в своих предприятиях, потому что газеты за деньги охотно рекламировали те или другие предприятия, — зло, от которого до сих пор не может еще отделаться французская периодическая печать.

В области изящной литературы французское буржуазное общество времен июльской монархии имело особенных любимцев, которые вполне соответствовали идеям и вкусам своих читателей и получали весьма крупные гонорары за свои произведения. Одного из этих любимцев, именно Бальзака, называли «романистом финансового мира», а другой любимец, Скриб, был драматургом этого мира. Впрочем, это весьма неравные между собой величины. Первый из них был крупный писатель, оставивший после себя весьма заметный след во французской литературе, тогда как второй был простой литературный промышленник, в настоящее время справедливо забытый. Но оба они были настоящими сынами буржуазной эпохи: оба любили деньги и даже участвовали в разного рода спекуляциях, а в своих произведениях изображали одну и ту же среду разного рода промышленников и аферистов, равно как всякий люд, который живет и кормится около героев легкой наживы. Как крупный писатель, сделавшийся одним из родоначальников литературного реализма, Бальзак изображает буржуазное общество, каким оно было, и его изображение выходило правдивым, каковы бы ни были его собственные симпатии и антипатии. Скриб, наоборот, прямо стремится представить это общество в том свете, который был бы приятен и понятен буржуазным зрителям его драм и комедий. По его мнению, если что-либо и было дурного в этом обществе, то лишь отдельные частные недостатки, какие возможны во всяком обществе, например, общечеловеческие слабости и пороки. Идеальные личности Скриба, — конечно, в смысле

идеалов его среды, — принадлежат обыкновенно буржуазии. Выводя представителей отжившего аристократического мира, он разыгрывает роль сатирика; такое же отношение мы находим у него и к низшим классам.

Такого положения, какого достигла буржуазия в Англии и во Франции, этот общественный класс не достигал еще в других странах, за исключением разве Голландии и Бельгии. В первой из этих двух стран уже давным-давно промышленный, торговый и денежный класс пользовался видным общественным положением. Бельгийская революция 1830 г. весьма сильно содействовала развитию буржуазии и в новом государстве, которое было обязано своим происхождением этой революции. Иные отношения существовали в более отсталых странах, к числу коих в отношении промышленности нужно отнести и Германию еще в исходе первой половины XIX в. Здесь еще не произошло развития крупной промышленности и не образовалось резкого разделения между буржуазией и народом. Преобладание мелкой промышленности создавало целый ряд переходов от простых рабочих, занятых в мастерских мелких патронов, к буржуазии, в которой тоже еще не успели обособиться менее зажиточные и более богатые элементы. Победа реакции в Германии и после 1815 г., и после 1830 г., — реакции, благоприятствовавшей дворянству, — с одной стороны, препятствовала развитию буржуазии, а с другой — до известной степени объединяла интересы всех непривилегированных, как это было, например, и во Франции до великой революции. Наконец, долгое время тормозом для экономического развития Германии служили таможи, существовавшие между тремя дюжинами немецких государств и страшно стеснявшие торговлю, а через то препятствовавшие и развитию промышленности. Впрочем, еще в эпоху Реставрации стал возникать в Германии таможенный союз (Zollverein) между отдельными государствами. Но настоящее свое развитие он получил только в тридцатых и сороковых годах, именно между большей частью немецких государств таможи были уничтожены только в ночь под 1 января 1834 г., после чего расширение площади таможенного союза продолжалось и в начале следующего десятилетия. На этот факт обыкновенно смотрят с политической точки зрения как на один из шагов к объединению Германии, но факт этот имел и очень важное экономическое значение, так как уничтожение внутренних застав в Германии сразу оживило торговлю и промышленность и способствовало развитию в Германии новых социальных отношений. Весьма естественно, что немецкое бюргерство в тридцатых и сороковых годах обращало свои взоры в Англию и Францию, где и теоретически разрабатывались, и практически осуществлялись идеи экономической свободы. Само понятие свободы политической тесно было связано в представлении немецких либералов с понятием свободного развития отношений, возникающих в сфере промышленности.

Тридцатые и сороковые годы

VI. Борьба с революцией во Франции в тридцатых годах¹

Общий взгляд на первое десятилетие июльской монархии. — Личные свойства Людовика-Филиппа. — Процесс министров Карла X. — Политические партии первых лет июльской монархии. — Министерство Казимира Перье. — Народные волнения в первые годы июльской монархии. — Попытка восстания легитимистов. — «Отчет депутатов оппозиции». — Республиканское восстание 1832 г. — Министерство Сульта. — Покушение на жизнь короля. — Правительственная репрессия. — Новые попытки восстания и покушения на жизнь короля. — Неудачные предприятия принца Бонапарта. — Успокоение Франции в 1840 г.

Эпоху Июльской революции во Франции можно разделить на два периода почти равной величины. Один из лучших историков этой эпохи, Гиллебранд, первые шесть-семь лет июльской монархии весьма удачно называет *Sturm und Drangperiode*². Действительно, это были годы довольно бурные, годы целого ряда волнений, задававших нелегкую задачу июльскому правительству. Общественное возбуждение после переворота исчезнуть сразу не могло. Многие надежды, возлагавшиеся на перемену режима, не оправдались. Рабочие, оставшиеся без дела, представляли из себя горячий материал, весьма легко воспламенявшийся. Сама монархия Людовика-Филиппа была созданием, собственно говоря, лишь одной фракции. И в населении страны, особенно в населении столицы, было немало количество недовольных, были ли то приверженцы легитимной династии или сторонники республиканской формы. К этим шести-семи годам нужно прибавить еще годы перехода к следующему периоду, время, характеризующееся какой-то неустойчивостью, когда, например, в четыре с половиной года сменилось пять министерств. Совершенно иной характер имеют последние восемь-девять лет июльской монархии, особенно долголетнее министерство Гизо (29 октября 1840 г. — 22 февраля 1848 г.). Это — период полного господства парламентаризма, период большей политической устойчивости, но вместе с тем и внутреннего застоя. Мы рассмотрим пока первую половину царствования Людовика-Филиппа, чтобы историю

¹ Указания на литературу по истории июльской монархии см. выше. Кроме того, см.: *Hodde De la. Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848*. В начале 1830-х гг. Гейне писал корреспонденции из Парижа в «Аугсбургскую газету», а потом издал свои письма отдельно под заглавием «*Französische Zustände*». Русский перевод А. Н. Плещеева («Мещанская монархия в 1832 г.») помещен в «Сочинениях Г. Гейне в переводе русских писателей под ред. П. И. Вейнберга».

² Период бури и натиска (нем.). — *Прим. ред.*

министерства Гизо связать впоследствии непосредственно с историей Февральской революции.

Итак, первые времена июльской монархии отличаются характером бурным. Они обильны важными характерными и драматическими фактами, полны внутренней борьбы, притом борьбы довольно сложной. Здесь мы имеем дело с частыми министерскими кризисами, за которыми скрываются партийные несогласия, с уличными демонстрациями, заговорами и покушениями, даже с прямыми восстаниями, заставлявшими правительство прежде всего заботиться о собственном сохранении, а также с политическими процессами и репрессивными мерами, коими правительство отвечало на общественное возбуждение. Сам Людовик-Филипп, которого приверженцы старины называли «королем баррикад», не долго пользовался популярностью, созданной ему июльскими днями 1830 г. Главная ошибка нового короля заключалась в том, что он не понял своего жизненного принципа. Его трон имел революционное происхождение. Сам он сделался королем «не потому, что был Бурбон, и несмотря на то, что был Бурбон». Другими словами, настоящей основой его власти был принцип народного верховенства, а между тем Людовик-Филипп поддерживал себя quasi-легитимизмом. Это была его личная ошибка, но, кроме того, несчастьем для Людовика-Филиппа было то, что ему и трудно было, — чтобы не сказать невозможно, — править, сообразуясь с голосом страны, ибо страна была разделена на партии, угодить которым всем зараз было прямо невысказано, но из которых ни одна не могла считаться вполне господствующей и представлять собой прочную опору для власти. Людовик-Филипп обращался поочередно к разным партиям, но каждую из них он призывал к власти лишь для того, чтобы ее ослабить, а затем удалить от себя, являясь во всех правительственных комбинациях действительно своего рода «неподвижной мыслью» (*la pensée immuable*), — одна из кличек, дававшихся ему недовольными людьми. Хотя Людовик-Филипп легко бы мог, следуя известной формуле, «царствовать, не управляя», на самом деле он хотел и управлять, прячась за спины своих министров. Поэтому не представляется ни малейшей возможности понять внутреннюю и внешнюю политику июльской монархии, не познакомившись с личностью самого Людовика-Филиппа, тем более что по своему характеру он как нельзя более соответствовал тому общественному классу, который господствовал в течение всех восемнадцати лет июльской монархии.

Между буржуазией и фамилией орлеанских герцогов существовали старинные симпатии и связи, но и личная судьба Людовика-Филиппа немало содействовала выработке из него настоящего короля буржуазии. Людовик-Филипп родился в 1773 г., и, следовательно, ему шел только 16-й год, когда вспыхнула Великая французская революция. Известно, какую печальную роль в событиях этой эпохи играл его отец, мечтавший сам сесть на фран-

цузский престол, а потом отрекшийся от своего фамильного имени и герцогского титула, чтобы назваться гражданином Эгалите, подававший голос за казнь Людовика XVI и сам сложивший голову на гильотине. Молодой принц, получивший при рождении титул герцога Валуа, а потом носивший титул герцога Шартрского, по примеру своего отца примкнул к новому порядку вещей, созданному революцией, вступил в национальную гвардию, а в 1790 г. вошел в число членов якобинского клуба. В следующем 1791 г. он начал деятельную военную службу, в которой благодаря своему происхождению сразу стал занимать весьма важные должности. В 1792 г. он участвовал в канонаде при Вальми и в битве при Жемаппе, имевшей такое важное значение в истории начинавшихся революционных войн. К этому времени относится его сближение с Дюмуре, победителем при Жемаппе. Когда монархия пала во Франции, молодой герцог Шартрский последовал примеру своего отца и также начал называться гражданином Эгалите, но после несчастной битвы при Неервиндене, где принц командовал центром, он вынужден был вместе с Дюмуре спастись от ярости Конвента за границу бегством.

Здесь, однако, он не примкнул к эмигрантам и не думал о том, чтобы вместе с ними вернуться на родину при помощи иностранных войск. Одно время он снискивал себе пропитание в качестве учителя математики и географии в одной швейцарской школе, потом путешествовал по Дании, Германии, Швеции и Норвегии, нередко крайне нуждаясь в материальных средствах. Его матери и обоим братьям, герцогу Монпансье и графу Божоле, директория разрешила возвратиться во Францию, но под непременным условием, чтобы сам он, принявший по смерти своего отца титул герцога Орлеанского, оставил Европу, и Людовик-Филипп вынужден был тогда уехать в Америку, куда после 18-го фрюктидора последовали и оба его брата. В Америке Людовик-Филипп оставался до 1800 г., когда он с братьями переселился в Англию. После смерти братьев в 1807 г. он переехал на жительство в Палермо и через два года женился на дочери короля Фердинанда I. В эту пору своей жизни он дважды делал попытку противодействия в Испании владычеству Иосифа Бонапарта, но оба раза не имел удачи. Во Францию он возвратился в 1814 г. после падения Наполеона, но с самого же начала Людовик XVIII стал относиться к нему с некоторым недоверием. Это недоверие усилилось после того, как герцог Орлеанский после «ста дней» сделался одним из кандидатов на престол в глазах французских либералов. Дело доходило до того, что герцог Орлеанский на целый год покидал Францию. Во все время Реставрации Людовик-Филипп вел себя сдержанно и осторожно, но тем не менее у представителей антидинастической оппозиции его имя часто было своего рода политическим лозунгом, а его двор оставался одним из центров, где встречались либеральные деятели и писатели эпохи. В 1830 г. при вступлении на престол он

доживал уже шестой десяток лет и был отцом довольно многочисленного семейства. Личное его имущество было очень велико, так как в 1814 г. он получил обратно все земли, которые прежде принадлежали его отцу и были конфискованы во время революции.

Людовик-Филипп был одним из представителей того поколения, которое было слишком молодо в начале революции, чтобы вполне ясно и отчетливо понимать ее смысл, и вместе с тем слишком стар, чтобы его можно было причислить к поколению, вступившему в жизнь в эпоху Реставрации. В лучшие годы своей жизни он вынужден был стоять совершенно в стороне от событий, волновавших его родину, и не принимал никакого участия в действиях, направленных к поддержанию или низвержению существовавших тогда правительств. Это обстоятельство наложило печать на все его поведение. К тому же его положение, как сына гражданина Филиппа Эгалите, в котором видели «цареубийцу», и в то же время как ближайшего родственника королевского дома, было довольно щекотливым. С другой стороны, полученные им образование и личный жизненный опыт были незаурядны. Он много знал, вращался среди наиболее замечательных людей своего времени, знаком был с жизнью чужих стран, испытал нужду и необходимость тяжелым личным трудом зарабатывать средства к существованию, видел превратности судьбы, и все это не могло не оставить следа на его уме и характере. Людовику-Филиппу нельзя отказать в умении понимать людей и вещи и пользоваться обстоятельствами, равно как в добродетелях семьянина и частного человека. При своем живом уме и общительном характере он должен был сильно тяготиться вынужденным бездействием. Немудрено, что в эпоху своего изгнания он с жадностью искал политической деятельности, которой не мог, однако, найти в рядах французских эмигрантов. Еще тяжелее было ему переносить это бездействие в эпоху Реставрации. Когда разразилась Июльская революция, Людовик-Филипп, однако, не сразу дал согласие занять то место, на которое его призывали. Он уже давным-давно находился в сношениях с видными представителями либерализма, но при этом он предпочитал ничем себя не компрометировать, ничем не рисковать и придерживался одной чисто выжидательной политики. Весьма естественно, что он некоторое время колебался. Еще 31 июля он просил герцога Мортемара передать королю, что в Париж его привели силой и что он скорее позволит изрубить себя в куски, чем наденет корону на свою голову, хотя в тот же самый день согласился принять звание наместника королевства. Известно далее, что, докладывая палатам об отречении короля и дофина от престола, он не счел нужным упомянуть, что это отречение было подписано в пользу Генриха V, при котором он сам должен был бы состоять регентом. Это обстоятельство сторонники падшей династии не могли не ставить ему в вину.

В самый же день своего избрания он совершил еще один поступок, который произвел неблагоприятное впечатление на нацию. По старому обычаю, французские короли, вступая на престол, обыкновенно присоединяли свою личную собственность к государственным имуществам в знак полного бракосочетания особы короля с государством. Людовик-Филипп отступил от этого обычая. Будучи человеком предусмотрительным, он хотел обеспечить свое многочисленное семейство и потому разделил свое личное имение между своими сыновьями. Это очень не понравилось французам, среди которых утвердилось мнение о крайней любостязательности нового короля. Вскоре представился и другой случай обвинить Людовика-Филиппа в том же самом. В числе принцев, вернувшихся во Францию с Бурбонами, был престарелый принц Конде, отец несчастного герцога Энгиенского. В свое время он играл видную роль в эмиграции; но после трагической кончины сына он жил в полном уединении и в эпоху Реставрации держал себя далеко от двора. В последние годы своей жизни он находился вполне в руках своей любовницы, англичанки Фешер, которая была хорошо принята в Пале-Рояле. Под ее влиянием старый принц завещал все свое громадное состояние крестнику своему, герцогу Омальскому, четвертому сыну Людовика-Филиппа, назначив при этом на долю госпожи Фешер около 15 млн франков. Июльская революция произвела ужасное впечатление на его расслабленный рассудок, и, не желая ни отправиться в новое изгнание с Бурбонами, ни оставаться во Франции, где легитимная монархия была сокрушена, он в конце августа кончил жизнь самоубийством: его нашли повесившимся на двух шелковых галстуках в окне его спальни. Но в это время очень плохо верили самоубийству принца и стали говорить, будто он хотел покинуть Францию и переделать свое духовное завещание в пользу герцога Бордоского и будто в предупреждение этого он был задушен своей любовницей. Этим рассказам верили, несмотря на то что следствие констатировало самоубийство. В довершение скандала семья де Роганов, имевшая права на наследство, начала иск о возвращении ей достоинства принца Конде. В общественных толках по этому поводу нередко произносилось имя нового короля с весьма обидными намеками, и многие находили, что Людовику-Филиппу при таких обстоятельствах следовало бы отказаться от наследства, оставленного его сыну. Людовик-Филипп этого, однако, не сделал, и вот тогда еще больше заговорили о жадности и любостязательности короля. Так за ним эта слава и утвердилась до последнего времени, несмотря на то что орлеанистские историки не без основания иногда указывали на преувеличенность такого рода мнений о Людовике-Филиппе.

В первые дни своего царствования Людовику-Филиппу приходилось не раз выражать свою признательность участникам июльского переворота. Жертвам революции палата постановила выдать денежное пособие, и сам

король должен был дать аудиенцию разным лицам, осужденным в предшествовавший период за политические преступления. Ища популярности в парижском населении, он часто появлялся на улицах пешком, в партикулярном платье и с зонтиком в руках, как самый обыкновенный буржуа, любезно раскланивался с прохожими, пожимал руки встречным национальным гвардейцам и даже принимал от рабочих угощение вроде стакана вина. В этом стремлении к простоте и общению со своими подданными он, что называется, прямо пересаливал и весьма скоро сделался предметом насмешек — прежде всего в аристократических салонах и в газетах, оставшихся верными старой монархии. Окружив себя людьми, коим он был обязан своим возведением на престол, он, однако, вовсе не думал действовать вместе с ними. Во главе национальной гвардии продолжал стоять Лафайет, но он был не особенно удобен для нового правительства: иностранные дворы смотрели на него косо, а внутри он был, так сказать, живым напоминанием о неисполненных обещаниях. Весьма естественно, что Людовику-Филиппу было весьма приятно отделаться от Лафайета.

На первых же порах Лафайет оказал Людовику-Филиппу немаловажную услугу. Министры Карла X после июльского переворота искали спасения в бегстве, но в разных местах были арестованы, и правительство вынуждено было посадить их в Венсенский замок и начать против них процесс. Ни новый король, ни палата депутатов вовсе не были расположены к тому, чтобы слишком строго обойтись со слугами павшего правительства; но в народе господствовало против них такое озлобление, что лишь смертный приговор мог бы вполне удовлетворить народ. Лафайет решил, в данном случае, помочь правительству. Такое намерение вполне соответствовало его гуманному характеру: он хотел быть великодушным по отношению к людям, которые, находясь у власти, охотно расстреляли бы его самого, если бы в их руках были прямые улики его революционной деятельности. Противники смертной казни бывших министров Карла X стали говорить, что вообще смертная казнь не соответствует духу времени и что в особенности должны быть совершенно изъяты от смертной казни виновные в политических преступлениях. В этом смысле стали говорить в палатах, и правительству сделано было предложение — выработать проект закона, которым отменялась бы смертная казнь за политические преступления. Известие об этом произвело страшное возбуждение в парижском населении. Толпы народа бросились на Венсенский замок, чтобы собственным судом расправиться с бывшими министрами Карла X, и удалились лишь тогда, когда комендант замка твердо заявил, что скорее взорвет башню, где заключены министры, и вместе с ними сам погибнет, чем выдаст их народу (18 октября). Только национальная гвардия, охранявшая Пале-Рояль, где под председательством короля заседал совет министров, не допустила толпу до новой попытки совершить насилие. Бывший в то время

префектом Сенского департамента Одилон Барро считал нужным успокоить народ особой прокламацией, в которой, однако, выразил неодобрение палате за ее намерение отменить смертную казнь. Людовик-Филипп потребовал, чтобы Одилон Барро был удален со своего места, но должен был уступить настояниям Лафайета и некоторых министров, которые защищали Барро, и последний остался на прежнем месте. Тогда большая часть министров вышли в отставку. Новое министерство, во главе которого стоял Лафитт (20 октября 1830 г. — 13 марта 1831 г.), было совершенно в духе Лафайета. Вот тогда-то и пришлось ему выступить в весьма трудной роли, когда, наконец, начался процесс бывших министров Карла X. Правительство имело все основания опасаться новой вспышки ненависти против князя Полиньяка и его товарищей. Поэтому были приняты меры предосторожности. Усилили парижский гарнизон, предписали национальной гвардии быть готовой каждую минуту взяться за оружие и во главе всех вооруженных сил столицы поставили Лафайета. Процесс начался 15 декабря, и в населении Парижа снова началось сильное брожение, успокоить которое, казалось, могла только казнь подсудимых. Это настроение господствовало и в самой национальной гвардии. 19 декабря это народное недовольство разразилось целым восстанием. Толпы народа бросились на Люксембургский дворец, где заседала палата пэров, судившая министров. Железные решетки, окружавшие здание, были сломаны, и лишь с большим трудом был восстановлен порядок. Через два дня, когда пэры должны были произнести приговор, дворец уже охраняли 30 000 солдат и национальных гвардейцев, а подсудимых пришлось вести обратно в Венсенский замок не обычной дорогой и под охраной значительного кавалерийского отряда. Сами судьи по окончании процесса большей частью поспешили отправиться домой переодетые, чтобы случайно не быть узнанными толпой. Министры Карла X были приговорены к пожизненному заключению, и правительство очень боялось, что на этот приговор Париж ответит восстанием. Ночь с 21 на 22 декабря прошла действительно крайне беспокойно в виду возбужденного состояния жителей, из коих многие даже не ложились спать. Линейные войска и национальная гвардия оставались под оружием; но и защитникам порядка правительство не вполне доверяло, особенно двум артиллерийским батареям национальной гвардии, собранным на дворе Лувра: начальниками этих батарей были заведомые республиканцы, и начальство двух других подобных батарей зорко наблюдало за тем, как бы эти батареи не соединились с народом и не вступили в борьбу со своими товарищами. Всю ночь на улицах и площадях Парижа горели бивуачные огни. Если дело не дошло до междоусобия, то большая доля заслуги в этом падала на главного начальника национальной гвардии Лафайета, которому, однако, вскоре пришлось выйти в отставку: 24 декабря палата депутатов отменила должность главного началь-

ника всей французской национальной гвардии. Лафайет увидел в этом решение, лично направленное против него, и не захотел оставаться во главе национальной гвардии Парижа. После этого он принадлежал уже к оппозиции. Вскоре за Лафайетом последовали и некоторые другие видные политические деятели, солидарные с Лафайетом: Дюпон де л'Эр, министр юстиции, и Трельяр, префект полиции. В этих отставках усматривали начинающуюся реакцию; действительно, таково и было их значение.

Лафайет и Дюпон с Лафиттом были вождями прежней революционной партии, которая еще задолго подготавливала восстание против Бурбонов, а после июльских дней превратилась в «партию движения». Она стремилась к тому, чтобы Июльская революция обнаружила все свои последствия путем поддержки демократического движения в самой Франции и оказания помощи другим народам в их борьбе за свободу. В самом начале своего царствования Людовик-Филипп вынужден был призвать к власти представителей этой партии, но в то же время он призвал к власти представителей прежней легальной оппозиции (Гизо, Броля, Дюпена), которые стали теперь во главе «партии сопротивления», считавшей революцию законченной, а потому и стремившиеся, с одной стороны, поддерживать консервативную буржуазию внутри страны, во внешней же политике искавшие сближения с монархическими державами. Образование министерства Лафитта, о котором было сказано выше, знаменовало собою усиление «партии движения»; но скоро Людовик-Филипп отделался и от Лафитта, к которому не мог относиться с доверием, несмотря на прежнюю личную дружбу. Лафитт весьма скоро почувствовал нерасположение к себе короля. Июльская революция сильно порасстроила его денежные дела, и, конечно, их не могла поправить непрочность внутреннего и внешнего положения Франции. Нужно было принять какие-либо меры для поправки этих дел, и Лафитт предложил Людовику-Филиппу купить у него за 15 млн франков один большой лес. Сделка была заключена, но Лафитт желал, чтобы она держалась в секрете, боясь, как бы известие об этой продаже не пошатнуло его кредита. Но король настаивал на том, чтобы его право собственности на лес было поскорее утверждено формальным актом, в чем Лафитт усмотрел со стороны короля недоверие к себе. Скоро представился и другой повод для неудовольствия. Дело в том, что в это время революция, которая вспыхнула сначала в Бельгии, а затем в Польше, стала распространяться и на Италию. Во Франции общественное мнение было на стороне восставших и требовало, чтобы правительство оказало поддержку революции за границей. Людовику-Филиппу было очень неприятно, что Лафитт благоприствал общественному движению в этом смысле, так как сам он вовсе не желал начинать войну, к которой, несомненно, привело бы вмешательство в иностранные дела. Не доверяя Лафитту, Людовик-Филипп скрыл от него одну депешу, полученную из Вены, и министру бо-

лее не оставалось ничего делать, как выйти в отставку. «Партия движения» должна была теперь уступить свое место «партии сопротивления» в лице Казимира Перье, которому после выхода Лафитта в отставку Людовик-Филипп поручил составить новое министерство. Но и к этому министерству у короля не было и не могло быть искреннего расположения.

Подобно Лафитту, Казимир Перье был главой крупного банкирского дома. Подобно Лафитту, и он в последние годы Реставрации принадлежал к буржуазной оппозиции против клерикально-феодалного направления Карла X; но если Лафитт всегда был готов содействовать низвержению Бурбонов, то Казимир Перье, наоборот, не обнаруживал ни малейшего сочувствия к революции. Когда последняя произошла, он признал совершившийся факт, но не для того, чтобы вывести из него какие-либо дальнейшие следствия, а именно чтобы стать на страже существующего порядка вещей и остановить дальнейшее развитие революции. Его программа заключалась в том, чтобы создать прочное и твердое правительство, обеспечить преобладание за буржуазией, положить конец демократическому движению и сохранить мир с другими державами отречением от поддержки революционных движений за границей. По личному характеру это был человек властный и надменный, страстно и ревниво относившийся к малейшим посягательствам ему противоречить, приходивший в раздражение, когда его воля не исполнялась беспрекословно. Будучи президентом министерства, он, безусловно, господствовал над своими товарищами, и еще менее способен он был допустить, чтобы король вел сколько-нибудь самостоятельную политику. Людовик-Филипп должен был подчиниться своему министру и прямо исполнять его волю. Одним из первых действий Казимира Перье было распускание палаты, собранной в 1830 г. Новая палата, выбранная уже по новому избирательному закону, заключала в себе громадное министерское большинство. Тронная речь, которой Людовик-Филипп 25 июля 1831 г. открыл сессию, была составлена Казимиром Перье в весьма энергичных выражениях, и, когда король читал ее, министр по имевшемуся у него списку следил за тем, чтобы ни одно слово речи не было изменено при чтении. По мнению Казимира Перье, Франция должна была чувствовать, что ею управляют, и Франция действительно при нем управлялась. Первый министр был чем-то вроде «просвещенного деспота» XVIII в., и хотя ему приходилось соблюдать конституционные формы, понимал он эти формы чисто внешним образом. Король должен был царствовать, но не управлять; Казимир Перье не принимал в расчет особой ответственности короля, вытекавшей из революционного происхождения его власти. Между Людовиком-Филиппом и первым министром установилось отношение, которое иначе нельзя назвать, как личным соперничеством: по крайней мере у короля господствовало именно это самое чувство. И от Франции властолюбивый министр требовал безусловного к себе доверия

не за благородство своих намерений, не за истинность своих принципов, а доверия к своему характеру, «твердому намерению, — как говорил он, — заставить уважать закон».

Понятно, что такой человек должен был объявить войну революции и внутри страны, и за границей. Все политические союзы, существовавшие в это время во Франции, нашли в нем своего врага; но он старался действовать против них легальными мерами. Революции в Польше и в Италии он решил предоставить их собственной судьбе, положив конец той косвенной поддержке, какую оказывало восставшим прежнее министерство. Французская кровь, по словам Казимира Перье, должна была проливаться только за Францию: и если в чем он проявил особую энергию, так это в охране бельгийской независимости, так как в Бельгии затронуты были непосредственные интересы Франции. Политика Казимира Перье весьма сильно содействовала потере Людовиком-Филиппом популярности, и эта строгая система держалась до 16 мая 1832 г., когда энергичный министр был похищен свирепствовавшей в то время холерой. Можно сказать, что при известии о смерти Казимира Перье у Людовика-Филиппа гора свалилась с плеч. Но результатами системы он не мог быть недоволен. Внешний мир был обеспечен, и в то же время Франция сохраняла свободу действий в международных делах, что обеспечивало ее положение в Европе. Пошатнувшийся общественный кредит был восстановлен, что еще более склоняло буржуазию на сторону нового режима. Одного только не удалось сделать Казимиру Перье: не удалось положить конец революционному брожению, все еще продолжавшемуся в стране.

Октябрьские и декабрьские беспорядки 1830 г. по случаю процесса бывших министров Карла X были только первыми в целом ряду волнений, которыми наполнены первые годы июльской монархии. 14 февраля 1831 г., в годовщину смерти герцога Беррийского, легитимисты устроили торжественные поминки в церкви Saint-Germain l'Auxerrois¹, нечто вроде политической демонстрации, во время которой был выставлен портрет «законного короля», герцога Бордоского. Толпы народа в весьма враждебном настроении собрались вокруг церкви, и, когда богослужение кончилось, церковь подверглась полному разгрому: алтарь, кафедра, исповедальни, статуи святых, кресты — все это было поломано и поругано, а священные облачения послужили для импровизированного маскарада. Полиция предвидела возможность беспорядков и даже советовала устроителям заупокойной мессы не приводить своего намерения в исполнение, но сама никаких мер предосторожности не приняла: толпа совершенно беспрепятственно сделала свое дело. Явилось опасение, что беспорядки возобновятся и на другой день, и Пале-Рояль снова сделался предметом усилен-

¹ Имеется в виду церковь Сен-Жермен-л'Осеруа (Святого Германа Осерского) в Париже. — *Прим. ред.*

ной охраны. Беспорядки действительно возобновились, но сверх ожидания народные толпы двинулись на дворец архиепископа, и он подвергся полнейшему разгрому. Правда, на защиту этого дворца явилось несколько отрядов национальной гвардии, но они были бессильны что-либо сделать. Не только мебель и посуда, книги и произведения искусства были при этом истреблены, сами стены здания были разрушены. На соборе Парижской Богоматери были сломаны каменные кресты. Подобные же сцены происходили и около других церквей, а потом стали повторяться и в провинции. Бурбонские лилии тоже везде уничтожались, так что Людовик-Филипп поспешил устранить лилии и из своего фамильного герба. Под влиянием этих происшествий многие стали оставлять Париж, а на бирже произошло падение денежных ценностей.

При Казимире Перье, принявшем бразды правления через месяц после беспорядков, вызванных манифестацией легитимистов, народные волнения тоже не прекращались. Первое большое волнение произошло по поводу медали, которой решено было украсить людей, дравшихся на баррикадах в июльские дни 1830 г. На этой медали министерство захотело сделать надпись: «Дана королем». Но известие об этом встречено было крайне враждебно, и началось было восстание. Громадная толпа народа собралась на Вандомской площади, но явившийся сюда маршал Лобо велел привезти большое количество пожарных труб, которые — из-за солдат — стали обливать народ холодной водой. Впрочем, правительство отказалось делать на медали предположенную подпись, и волнение скоро успокоилось.

Сильное неудовольствие производила и внешняя политика Франции. В палате депутатов было очень много горячих сторонников польской революции. В адрес королю, заключавший в себе ответ на тронную речь, включено было пожелание, чтобы польская национальность не погибла. Под влиянием общественного мнения правительство даже вступило в переговоры с Англией насчет совместного посредничества между русским императором и поляками, но получило из Лондона отказ. Между тем польское восстание было подавлено, и 15 сентября в Париже узнали о падении Варшавы. В этот день в городе были отменены все театральные представления, а на другой день начались серьезные беспорядки: грабили лавки, продававшие оружие; пробовали строить баррикады; только присутствие войска на всех опасных пунктах не дало этому движению разгореться со всей силою. В палате происходили также бурные сцены. Защищая правительственную политику, министр иностранных дел, генерал Себастиани, сказал, что «в Варшаве царствует порядок». Это вызвало страшное негодование; только через несколько дней прений правительство добилось постановления, в силу коего палата отказывала в требовании назначить над правительством формальное следствие по вопросу о его поведении в польском деле. Но и впоследствии оппозиционные партии

постоянно нападали на правительство за то, что оно не поддержало Польши. Фраза о том, что «польская национальность не должна погибнуть», вставлялась затем в адреса Людовику-Филиппу в течение всего его царствования, и долго еще не могли простить июльскому правительству заявления, что в Варшаве царствует порядок. Во второй половине 1831 г. и в провинциальных городах — в Страсбурге, в Перпиньяне, в Марселе — происходили народные волнения, имевшие, впрочем, чисто местные причины. Известие о взятии Варшавы тоже вызвало значительные беспорядки на юге Франции, в Тулузе, Гренобле и Тулоне. В самом же конце 1831 г. произошло и знаменитое восстание лионских рабочих. Начало следующего 1832 г. было ознаменовано новыми беспорядками в Париже. Ночью 4 января на церкви Парижской Богоматери раздался набатный звон, а из ее башен показался густой дым и огонь. Полиция бросилась внутрь башен; но ее встретили там пистолетными выстрелами. Оказалось, что на башни проникла целая толпа молодых людей из простонародья, которые набатным звоном и пожаром башен хотели подать сигнал к началу нового восстания. Другое восстание по плану заговорщиков, на этот раз легитимистов, должно было вспыхнуть в ночь с 1 на 2 февраля. В заговор было посвящено очень много лиц: должно было быть сделано нападение на Тюильри, чтобы овладеть Людовиком-Филиппом и его семьей и провозгласить королем Генриха V, т. е. герцога Бордосского. Так как полиция была предупреждена о всех подробностях заговора, то своевременно были приняты меры, и заговорщики были арестованы, когда стали собираться в назначенном месте для немедленного начатия действий. За людьми, непосредственно действовавшими, большей частью, ремесленниками, стояли многие аристократы и военные генералы, находившиеся в сношениях с легитимистами всей Франции, и даже, по-видимому, стоявшие в связи с иностранными державами.

Особенно много хлопот правительству Людовика-Филиппа доставила попытка легитимистического восстания, которая была сделана герцогиней Беррийской, матерью малолетнего Генриха V. Она убедила своего свекра Карла X, проживавшего в шотландском замке Голируд, назначить ее регентшей за малолетством ее сына и поставить во главе восстания против Людовика-Филиппа. Страстная и энергичная по своей натуре, эта принцесса в середине 1831 г. оставила Голируд и на время поселилась во владениях герцога Моденского, чтобы оттуда в надлежащее время явиться во Францию и стать во главе восставших. Здесь около герцогини собрались наиболее видные и рьяные представители французского легитимизма. Объявив, что в силу своего отречения Карл X утратил всякое право на вмешательство во внутренние дела Франции, они признали это право исключительно за герцогиней, как матерью несовершеннолетнего короля. Честолюбивая принцесса заранее назначила временное правительство, вступила в деятельные сношения с вождями легитимистов в разных пунк-

тах Франции и даже отправила доверенных лиц к русскому, испанскому и голландскому дворам, чтобы заручиться их содействием. Начать действие решено было в Вандее, население которой, как и за сорок лет перед тем, не мирилось с новыми порядками, и вместе с тем восстание должно было вспыхнуть и в Провансе. В конце апреля 1832 г. герцогиня с главными своими приверженцами высадилась недалеко от Марселя, и тогда же была сделана попытка взбунтовать население этого города во имя Генриха V. Предприятие не удалось, и герцогиня, которой был совершенно отрезан путь к бегству в Испанию, с фальшивым паспортом успела переехать в Вандею; туда же за ней последовали и ее приверженцы. Марсельская неудача сильно обескуражила вандейцев. Самые видные легитимисты начали настаивать на том, чтобы восстание было отложено. Между тем уже ранее было решено, что общий взрыв последует 24 мая. С трудом убедили герцогиню отменить уже данные приказы; но потом она передумала и снова назначила начало восстания на 7 июня. Все это не предвещало успеха делу. В нескольких местностях произошли вспышки, не нашедшие, однако, поддержки в соседних местностях. Между отдельными бандами инсургентов и военными отрядами, посланными для их усмирения, местами были стычки. С обеих сторон выказано было много ненависти и ожесточения. Некоторое время думали, что герцогиня Беррийская погибла во время пожара одного замка, но на самом деле после многих приключений она добралась до Нанта, где и нашла приют в доме одного легитимиста. Из своего тайного убежища она в течение четырех месяцев продолжала руководить легитимистическим движением. Лишь с большим трудом правительство выследило, где находится герцогиня. Помог ему это сделать некто Дейц, крещеный еврей, пользовавшийся раньше милостями Карла X и сделавшийся после революции секретным агентом легитимистов. Имея возможность, по своему положению, узнать, где скрывается герцогиня, он предал ее правительству, и оно предписало ее арестовать. Дом, где она жила, однажды ночью был окружен солдатами и жандармами, а в самом доме произведен очень тщательный обыск; но герцогиню нигде не могли найти, и только, когда солдаты затопили один камин, герцогиня вынуждена была оставить свое убежище, которым оказалась небольшая каморка, замаскированная камином. Будучи арестована, она была отвезена морем в замок Блэ близ Бордо. Правительство не знало, что делать с этой пленницей. Сама она вывела Людовика-Филиппа из затруднения, объявив в феврале 1833 г. о своей беременности от тайного брака с одним сицилийским графом. Это сильно ее скомпрометировало в глазах легитимистов, и, когда в начале мая она разрешилась от бремени девочкой, правительство, считая ее совершенно безопасной на будущее время, отправило ее на одном из своих военных кораблей в Палермо.

Как раз в то самое время, когда должно было вспыхнуть легитимистское восстание в Вандее, в Париже власть должна была перейти в новые

руки. В конце марта 1832 г. в столице Франции вспыхнула холера, которая с каждым днем стала похищать все большее и большее количество жертв. В низших классах населения, которые прежде всего и страдали от страшной болезни, распространился слух о том, что тут действовала отрава. Легитимисты пользовались этим слухом, чтобы накинуть тень подозрения на Людовика-Филиппа, и префект полиции счел себя вынужденным обратиться к населению с декларацией, в которой странным образом факт отравления не подвергался ни малейшему сомнению, но вина сваливалась на неизвестных злодеев. Начались холерные беспорядки, и в это время поплатились жизнью многие люди, заподозренные в отравительстве. Мусорщики, которым полиция запретила заниматься их ремеслом, произвели даже настоящее восстание, усмирненное только военным отрядом. Казимир Перье вместе со старшим сыном Людовика-Филиппа посещал госпитали с холерными больными, сам подхватил заразу и в мае умер.

Едва только скончался Казимир Перье, как появилась книга «Отчет депутатов оппозиции», авторы коей, Корменен и Одилон Барро, собрали под своим произведением около полутора ста подписей своих товарищей по палате депутатов. Это был целый обвинительный акт против правительства. Июльская революция должна была доставить торжество принципам 1789 г., а между тем, говорили депутаты, правительство смотрит на себя как на продолжение Реставрации. Оно, указывали далее авторы «Отчета», не исполнило данных им же самим обещаний и только то и делало, что мешало осуществлению мер, предлагавшихся оппозиционными депутатами. Ставилось в вину правительству и то, что оно не очистило служебного персонала от сторонников Реставрации, т. е. не назначало на правительственные должности преимущественно друзей нового порядка. Внешняя политика правительства подвергалась равным образом самой строгой критике. Франция должна была бы тверже и энергичнее заступиться за Италию и Польшу, и никакой войны из-за этого не вышло бы, а вот именно слабость правительства, наоборот, способна вызвать войну. «Отчет» произвел весьма сильное впечатление и в Париже, и в департаментах, где общее политическое брожение выразилось опять целым рядом беспорядков, потребовавших военного вмешательства. В самом Париже в начале июня произошло новое восстание, которое вспыхнуло совершенно неожиданно и застало правительство врасплох. Дело было так: 1 июня умер генерал Ламарк, один из наиболее видных деятелей либеральной партии, и она решила устроить ему 5 июня самые пышные похороны. Этим задумали воспользоваться все враги июльской монархии, чтобы произвести на улицах Парижа новые беспорядки, за которыми последовало бы крушение июльского трона. В этом деле участвовали посредством подстрекательств и обещаний, а также посредством денежных раздач одинаково и легитимисты, и республиканцы, и сформировавшиеся в отдель-

ную партию бонапартисты. Энергичнее всех и с большими надеждами на успех действовали республиканцы. К ним присоединились многочисленные польские, итальянские и немецкие эмигранты, побежденные на родине и рассчитывавшие, что новая французская республика вступится за свободу угнетенных наций. К движению примкнули также студенты, ремесленники и старые наполеоновские солдаты. Когда правительство узнало о том, что подготавливается, то приняло, со своей стороны, наскоро самые необходимые меры. С раннего утра 5 июня весь Париж высыпал на улицы. Члены тайных революционных обществ решились выступить сплоченными отрядами и даже со своими собственными знаменами. Все это стремилось примкнуть к похоронной процессии или стать на ее пути, который шел чуть не через весь Париж. Многие вооружились кинжалами и пистолетами. На площади Бастилии процессия должна была остановиться, потому что здесь была воздвигнута трибуна, и с нее должны были быть произнесены речи Лафайетом и другими видными деятелями либеральной партии. Сюда же прибежали студенты Политехнической школы, появление которых приветствовали звуками марсельезы. Молодежь задумала было везти на себе траурную колесницу в Пантеон, но конный отряд загородил ей дорогу. За этой первой стычкой последовал ряд других. В разных местах народ стал нападать на караулы и казармы, грабить оружейные магазины, строить баррикады. Многие ожидали, что дело окончится новой революцией, но на самом деле этого не могло случиться. Войско осталось верным правительству, и республиканские депутаты и журналисты, собравшиеся в редакции газеты «National», должны были убедиться, что при таком условии победа народа немыслима, хотя у них уже и заходила речь об образовании временного правительства и, между прочим, называлось имя Лафайета, как вождя новой революции. Тем не менее восстание продолжалось целую ночь, хотя без особенной надежды на успех. С крайним упорством защищалась от напора солдат одна баррикада, на которой сражалось около сотни республиканцев. Только в четыре часа дня 6 июня наиболее значительные баррикады были разрушены пушечными выстрелами, причем погибло большое число инсургентов. Во все это время Людовик-Филипп держал себя довольно храбро. Уже 5 июня, узнав о том, что делается в Париже, он поспешил из Сен-Клу, где в то время жил, вернуться в Тюильри, чтобы принять меры, необходимые для восстановления спокойствия. На другой день, когда еще не все баррикады были уничтожены, он решил лично объехать некоторые части города, хотя это было весьма небезопасно. Но он и слышать не хотел о том, чтобы отступить от принятой правительственной системы. В тот же самый день произошло свидание между ним и тремя оппозиционными депутатами — Лафиттом, Араго и Одилоном Барро, явившимися к нему от имени своих политических единомышленников заявить, что причина восстания заключалась

именно в системе и что поэтому последняя должна быть изменена. Наоборот, правительство решилось на меры строгости. Это было все еще прежнее министерство Казимира Перье, которое король удержал у власти после смерти его главы, сам в действительности сделавшись душой кабинета. Восстанием 5–6 июня король задумал воспользоваться для новых репрессивных мер, и эти меры не замедлили появиться.

Уже 7 июня официальный орган правительства (*Moniteur*) обнародовал, во-первых, закрытие Политехнической и Ветеринарной школ, равно как распускание артиллерии национальной гвардии, — все это за участие в восстании, — и, во-вторых, объявление Парижа в осадном положении, вследствие чего инсургенты подлежали военному суду. Это последнее распоряжение прямо нарушало конституционную хартию, которой запрещалось установление каких бы то ни было чрезвычайных судов. Однако на практике правительство с этой мерой потерпело неудачу. Хотя парижский королевский суд признал себя некомпетентным рассматривать восстание 5–6 июня, а наоборот, офицеры, из коих образовали военный суд, поспешили начать свою деятельность, приговорив к смертной казни одного подсудимого, несшего революционное знамя, кассационный суд не утвердил этого приговора, признав его совершенно незаконно постановленным, и этим подрывалась компетентность военного суда во всем деле. Правительство вынуждено было после этого предать обвинявшихся в восстании обыкновенному суду с присяжными заседателями. Но число таких подсудимых оказалось весьма незначительным. Хотя и сделано было распоряжение, чтобы врачи доносили полиции обо всех раненых, лечить которых их будут призывать, ни один врач не исполнил этого требования, и если тем не менее было арестовано очень много народу, то за недостатком ясных улик большую часть задержанных скоро пришлось освободить. Из 22 подсудимых, против коих было возбуждено преследование, 16 человек было оправдано, и только шестеро поплатились ссылкой или тюремным заключением. В числе арестованных были некоторые видные члены легитимистской и республиканской партий, например Шатобриан и Арман Каррель. Лафайета арестовать не решились ввиду его громадной популярности в парижском населении. Это не было, однако, последним восстанием, с которым пришлось бороться июльской монархии, и репрессивные меры французского правительства этим еще не кончились.

В 1832 г. палаты были закрыты еще за месяц до смерти Казимира Перье. Перед открытием новой сессии оказалось необходимым преобразовать министерство, что и было исполнено 11 октября (откуда оно и получило название «министерства 11 октября»). Во главе кабинета был поставлен маршал Сульт, сохранивший военное министерство, которое он имел и в кабинете Казимира Перье. Министром иностранных дел был назначен герцог Броль, внутренние дела и народное просвещение были по-

ручены Тьеру и Гизо. В сущности, новый кабинет продолжал политику Казимира Перье, опираясь на орлеанистское большинство палаты депутатов. Но в населении оно не пользовалось популярностью. Оно скоро получило кличку *juste milieu* (золотая середина) — выражение, которое было однажды употреблено самим королем в речи, излагавшей политическую программу правительства. Когда Людовик-Филипп 19 ноября ехал на открытие новой сессии, против него было сделано покушение, которым открылся целый ряд других покушений на жизнь этого короля. Впоследствии выяснилось, что пистолетный выстрел, раздавшийся около Людовика-Филиппа, был произведен неким Бержероном, но так как против последнего не было сильных улик, то он был оправдан присяжными, равно как и другой заподозренный, по имени Бенуа. Около того же времени правительство предприняло процесс против «Общества друзей народа», но и этот процесс окончился для правительства неблагоприятно. Хотя суд и постановил закрыть общество, но сами обвиняемые в противозаконном соединении были оправданы. Большое неудовольствие вызывалось и поведением правительства в деле герцогини Беррийской. Многие вандейские инсургенты подверглись по суду весьма строгим наказаниям, а между тем герцогиня Беррийская оставалась безнаказанной. Периодическая пресса, в которой было много оппозиционных органов, пользовалась всяким удобным случаем для того, чтобы критиковать действия правительства и возбуждать против него народное недовольство. Со своей стороны правительство начало преследовать оппозиционную печать. Особенно большое внимание обращал на себя план министерства устроить вокруг Парижа фортификации, — план, к которому палаты относились не без подозрения и который, несмотря на это, без предварительного согласия палат начинал приводиться в исполнение. Хотя предположенные укрепления должны были защищать столицу от внешнего нападения, народная молва приписывала им совсем другое значение. Неудовольствие парижского населения было так велико, что правительство, боясь нового восстания, оказалось вынужденным прекратить начатые работы и объявить об этом официально. Вот именно по поводу этого вопроса еще в то время, когда работы велись, и был начат первый процесс против печати. Судилась республиканская газета «Трибуна», которая приговорена была к 10 000 франков штрафа. Вообще эта газета в течение четырех лет 111 раз подвергалась судебному преследованию и 20 раз приговаривалась к наказанию: общая сумма штрафа, налагавшегося на нее судебными приговорами, превысила 150 000 франков, а приговоры к тюремным заключениям, в общей сложности, составляли почтенную цифру — около 50 лет. Другой процесс был вызван брошюрой Шатобриана, написанной в защиту герцогини Беррийской; здесь он открыто признавал герцогиню матерью своего короля. Присяжные, однако, оправдали Шатобриана. Рядом с процессами подобного рода шли

и процессы против политических обществ, продолжавших мечтать о новой революции. Но нередко и эти процессы оканчивались для правительства крайне неблагоприятно. Один из таких процессов был начат против «Общества прав человека»: некоторые его члены обвинялись правительством в намерении воспользоваться годовщиной июльских дней, чтобы вызвать новое восстание. «Общество прав человека» представляло из себя политическую организацию, которая искусным образом обходила закон, воспрещавший всякие союзы, в коих было более двадцати членов. Именно оно состояло из отдельных кружков по двадцать человек в каждом, но, в свою очередь, эти секции были сгруппированы в серии, и вся страна была покрыта сетью таких кружков. Основные принципы этого общества совпадали с требованиями якобинской «декларации прав человека и гражданина», привести же в исполнение свои принципы оно считало возможным опять-таки только якобинским способом, т. е. путем революционной диктатуры. Общество выработало целый манифест, в коем изложило свои основные идеи, и так как под ним подписались некоторые депутаты, то в палате даже возник вопрос, не подлежат ли они исключению из числа депутатов. Когда против этой организации начато было преследование, ее вожди решились прибегнуть к самым крайним средствам для того, чтобы отстоять свое существование. Между тем правительство шло своим путем по части репрессий, приглашая палату к изданию соответственных законов. В начале 1834 г. мелкая книжная торговля, а следовательно, и уличная продажа газет и брошюр были подчинены полицейскому усмотрению. Около того же времени прошли законы, запрещающие так называемые мятежные возгласы и хранение у себя оружия; за употребление оружия при каких бы то ни было беспорядках полагалась прямо смертная казнь. Наконец, правительство предложило палатам окончательно воспретить всякие политические общества, и в марте 1834 г. этот закон был принят обеими палатами. «Общество прав человека» не пожелало подчиниться такому решению. К нему примкнули другие политические ассоциации; из них наиболее видная — «Общество для защиты свободы печати», руководимое Лафайетом.

Вне Парижа наибольшее количество членов подобных ассоциаций было в Лионе. После чисто рабочего восстания 1831 г., бывшего в этом городе, местные республиканцы устроили здесь особое «Общество мютюелистов», разделявшееся на 122 ложи, по 20 членов в каждой. Когда в Лионе сделалось известным постановление палат, запрещающее политические общества, а вслед затем в первых числах апреля начался суд над вожаками одной рабочей стачки, в городе вспыхнуло восстание. Несмотря на то что были приняты военные меры и что в рядах войска господствовало страшное ожесточение против инсургентов, восстание удалось подавить только на четвертый, и даже пятый день (9—13 апреля). С обеих сторон дрались с крайним ожесточением; в эти дни погибло немало народа не только на

улицах, но даже в домах, в коих врывавшиеся солдаты убивали без разбора, не исключая даже больных. Победа, собственно, была одержана 12 апреля, но в руках инсургентов оставалась еще одна церковь; она взята была войском только на другой день, причем большая часть ее защитников была перебита, многие на ступенях главного алтаря.

Лионское восстание произошло вопреки желанию жожаков республиканской партии в Париже: они не особенно рассчитывали на свои силы или не считали себя еще достаточно подготовившимися. Когда, однако, в столицу прибыло известие о лионских событиях, «Общество прав человека» тоже пришло в движение, хотя ему сильно повредил арест некоторых видных революционеров. Попытка восстания в Париже была сделана уже тогда, когда в Лионе успех перешел на сторону войска. Да и правительство приняло свои меры, подготовив значительное количество войска. Первые баррикады были построены, а также начались стычки с военными отрядами 13 апреля, но уже 14-го числа эти баррикады были разрушены пушечными выстрелами. Подобно тому как это было и в Лионе, солдаты и в Париже неистовствовали в тех домах, в коих искали убежища инсургенты. В этот же самый день восстание было совершенно подавлено в столице. Известие о том, что произошло в Лионе и Париже, быстро распространилось по всем большим городам, где уже подготавливались и даже начинались народные движения подобного рода. Конечно, все должно было прекратиться.

Восстания только усиливали реакцию. Новая палата, выбранная в июне того же года, уже заключала в себе гораздо менее оппозиционных элементов, как легитимистских, так и республиканских. Правда, в это время в министерстве происходили довольно частые перемены в зависимости от партийных и личных интриг, но от этого нисколько не менялось общее направление политики. Весьма долгое время правительство было занято следствием над виновниками апрельских восстаний 1834 г. Когда это следствие было закончено, всех обвиняемых решено было предать суду палаты пэров, ибо она по конституционной хартии признавалась компетентной в делах государственной измены, и в покушениях на безопасность государства. Одно было только сомнительно: в конституции говорилось, что на этот счет должен был быть выработан определенный закон, а между тем такого закона еще не существовало. Это давало удобную почву для превращения процесса в чисто политическое нападение обвиняемых на правительство. Наиболее видные подсудимые пригласили в свои защитники самых знаменитых адвокатов и журналистов, и когда сделался известным длинный список лиц, которые должны были выступить в процессе в качестве защитников подсудимых, правительство пришло в смущение и объявило, что только одни профессиональные адвокаты будут допущены к защите, хотя такое распоряжение противоречило и законам, и судебной

практике. В обществе и печати это было встречено бурей негодования. Многие формально протестовали и советовали подсудимым отказаться от всякой защиты. Были даже прямые оскорбления по адресу палаты пэров. Процесс начался 5 мая 1835 г., но подсудимые были разделены на отдельные группы; только в январе 1836 г. был произнесен приговор над последней группой подсудимых. Наказания были наложены весьма строгие — до 20 лет тюремного заключения. Впрочем, главные подсудимые успели бежать из тюрьмы. В течение нескольких месяцев общественное внимание сосредоточивалось преимущественно на этом грандиозном процессе. Поведение подсудимых, не хотевших признавать судебной власти пэров, отказывавшихся от защиты и даже прямо не являвшихся в заседание, вызывало повсеместно сочувствие: их прославляли как героев. Во всяком случае, попытки республиканских восстаний после этого прекратились, если не считать еще одной неудачной попытки, сделанной в 1839 г. Зато начались единичные покушения на жизнь короля, коих с 1835 г. по 1846 г. было шесть. Самое опасное из них было первое — в 1835 г., и непосредственный результат его выразился в еще большем усилении реакции.

За несколько дней до празднования в 1835 г. годовщины Июльской революции уже ходили слухи, что в этот день должно произойти нечто особенное. 28 июля на Больших бульварах король производил смотр регулярному войску и национальной гвардии, и прием ему был сделан довольно холодный. Когда в сопровождении своей свиты он проезжал по бульварам, в одном месте выступил вперед какой-то национальный гвардеец, чтобы подать прошение, но едва только Людовик-Филипп, приостановив лошадь, нагнулся к просителю, как раздался ружейный залп, и посыпались пули. Король и его сыновья остались целы, но вокруг них оказались убитыми два генерала, несколько офицеров и национальных гвардейцев и даже кое-кто из любопытных, стоявших на тротуаре. Оказалось, что залп последовал из окна одного соседнего дома, где и найден был особый станок с двумя дюжинами ружейных стволов, связанных вместе. При выстреле некоторые из этих стволов были разорваны, причем получил раны и виновник покушения. Последний был схвачен, несмотря на то что он довольно искусно приготовил себе путь к бегству. При допросе обнаружилось, что это был корсиканец Фиески. 4 августа, накануне дня, назначенного для торжественного погребения жертв этого покушения, правительство вошло в палату с тремя предложениями, клонившимися к тому, чтобы еще более стеснить оппозиционные партии. Один из этих законопроектов предлагал сократить формальности уголовного судопроизводства при политических процессах, а другой — понизить число голосов, необходимых для постановления присяжных, с восьми на семь. Третий законопроект касался прессы и состоял из целого ряда отдельных предложений. Под угрозой сильных наказаний запрещалось, между прочим, нападать на суще-

ствующую форму правительства, требовалось введение цензуры для печатных изображений и театральных представлений, запрещалось устраивать какие бы то ни было подписки для уплаты штрафов, к которым присуждались редакторы газет, и т. п. В обществе и в печати эти планы были встречены крайне враждебно, но палаты, наоборот, не только приняли эти предложения, но даже от себя кое-что к ним прибавили вроде повышения залога, вносившегося издателями газеты, с 48 000 до 100 000 франков. Новые законы получили название «сентябрьских» по тому месяцу, когда были утверждены, и стали прилагаться с большой суровостью. Легитимистские и республиканские газеты подвергались постоянным штрафам. Так как защитники падшей династии принадлежали к состоятельным классам общества, то им легче было выплачивать эти штрафы, а республиканские газеты стали падать одна за другой или должны были печататься тайно. Процесс по делу Фиески начался в палате пэров только в конце января следующего года, так как полиция долго разыскивала корни и нити заговора. Вместе с Фиески к суду были привлечены еще четыре человека, выданные главным исполнителем предприятия. В середине февраля Фиески и два других подсудимых были приговорены к смертной казни, один подсудимый — к тюремному заключению на двадцать лет, а один оправдан. Фиески оказался довольно ординарным авантюристом: по-видимому, он до самого конца рассчитывал на помилование, по его словам, даже прямо ему будто бы обещанное, но парижское население охотно ставило его на пьедестал героя, а после его смерти некая Нина Лассав, бывшая любовницей Фиески, показывала себя публике за деньги (по два франка с персоны) в одном из парижских кафе.

Во все время этих восстаний, покушений и процессов подавляющее большинство в палате депутатов принадлежало сторонникам орлеанской династии, и все министерства за этот период действовали в духе этого большинства, представлявшего собой компактную массу, вне которой находились, с одной стороны, легитимисты, с другой — разные оттенки левой. Мало-помалу, однако, в этом большинстве обнаружилось три партии: правый центр, во главе коего стоял Гизо, левый центр, руководимый Тьером, и между ними небольшая группа, носившая название «третьей партии» (*tiers parti*), главным деятелем в которой был Дюпен. Перевес принадлежал то сторонникам Гизо, то сторонникам Тьера¹, и лишь однажды в ноябре 1834 г., да и то только на три дня, удалось было «третьей партии» очутиться у власти. Своих собственных принципов она, впрочем, не имела, и все сводилось здесь к личному честолюбию и антагонизму. В сентябре 1836 г. обе большие соперничающие партии соединились между собой, после того как Тьер, только в феврале этого года сменив-

¹ См. выше. Ср. также главу X, в которой говорится подробнее о французских партиях и делается характеристика политических стремлений Тьера и Гизо.

ший Гизо, вышел в отставку вследствие прямого желания короля, сделавшего первым министром своего личного друга Моле. На сторону нового министерства перешли многие депутаты обоих центров, которые готовы были подавать голоса за всякое министерство. Началась глухая борьба между королем и палатой, — борьба, вызвавшая новую комбинацию партий, благодаря чему на первый план выступали и новые политические вопросы. Дело доходило в 1839 г. до роспуска палаты по требованию Моле, но в новой палате министерство не имело большинства, и принуждено было выйти в отставку (8 марта). Королю предстояла в высшей степени трудная задача: образовать новое министерство ввиду того, что большинство, низвергшее Моле, само состояло из соперничавших между собою партий. Впрочем, Людовик-Филипп вовсе и не хотел такого министерства, в коем одновременно находились бы и Тьер, и Гизо, и Одилон Барро, потому что, если бы они на самом деле между собою спелись, Людовик-Филипп должен был бы отказаться от той самостоятельной роли, какую он привык уже играть. Король делал вид, что он всего ожидает от соглашения между вождями большинства, но на самом деле вел себя так, чтобы этого никогда не могло случиться. В течение двух месяцев продолжался этот министерский кризис, и ему не было видно конца. Фракцией управляло временное министерство, состоявшее из малоизвестных людей. Таким положением дел задумала воспользоваться республиканская партия, чтобы произвести новое восстание и низвергнуть Людовика-Филиппа.

На этот раз во главе революционного предприятия стояло тайное общество, носившее название «Общество времен года» и руководимое Барбесом, Бланки и Бернаром. Это общество насчитывало около тысячи членов; конечно, этого числа было слишком мало для того, чтобы произвести переворот, но они рассчитывали на содействие народной массы. 12 мая заговорщики овладели несколькими караулами и сделали попытку построить баррикаду, но поддержки в населении они не нашли. Восстание было подавлено в самом начале, и главные зачинщики были арестованы. Барбес палатой пэров был приговорен к смертной казни, но потом помилован королем и заключен в тюрьму; к тюремному заключению был приговорен и Бланки. В то самое время, когда была сделана эта революционная попытка, образовалось новое министерство под председательством маршала Сульта. Но и оно, будучи, в сущности, вполне послушным королю, оказалось весьма непрочным. Правительству не удалось составить в свою пользу большинства, а за министерством Сульта в марте 1840 г. следовало столь же недолговечное министерство Тьера. В общей сложности за десять лет во Франции сменилось десять министерств. Зато Гизо, занявший место Тьера 29 октября, оставался министром в течение остальных восьми лет царствования Людовика-Филиппа.

Революционная попытка 1839 г. была последней в ряду других подобных попыток, ознаменовавших собой тридцатые годы во Франции. Последние восемь лет царствования Людовика-Филиппа в этом отношении прошли спокойно. Равным образом и большая часть покушений, которым так часто подвергался Людовик-Филипп, относится к тридцатым же годам. Таковы, кроме двух уже упоминавшихся покушений 1832 и 1835 гг., покушения, связанные с именами Алибо (1836 г.), Мёнье (1836 г.), Гюбера (1838 г.) и Бармеса (1840 г.), следовавшие скоро одно за другим. Во второй половине царствования жизнь Людовика-Филиппа подвергалась опасности только дважды, и оба раза в 1846 г. (Леконт и Анри). Если к этому прибавить, что в министерство Гизо после постоянных министерских перемен Франция получила прочное правительство, созданное кабинетом Гизо, то может показаться что к 1840 г. борьба с революцией, предпринятая тотчас же вслед за июльским переворотом, была приведена к благополучному окончанию. На самом деле, однако, вышло не так, и сороковые годы были, наоборот, эпохой приготовления нового революционного взрыва в 1848 г.

Во всяком случае, в 1840 г. июльская монархия считалась упроченной. Легитимисты более ничего не предпринимали, республиканская партия была подавлена, и обещания 1830 г. могли оставаться неисполненными. Правда, намечался еще новый политический фактор, опасный для июльской монархии, но и он потерпел поражение. Дело в том, что во Франции не прерывалась все это время наполеоновская традиция. В первые два года июльской монархии был еще жив сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, наследник имени и прав своего отца, но в 1832 г. он скончался, и это было обстоятельством, благоприятным для июльского трона.

Хотя в это время жили еще братья Наполеона, Иосиф и Луциан, наследником династических прав объявил себя принц Людовик-Наполеон, сын бывшего голландского короля Людовика. Двадцати трех лет от роду он принимал участие в итальянском движении 1831 г., а затем поселился у своей матери на берегу Констанцкого озера. Отсюда он вошел в сношения с несколькими недовольными французскими офицерами, задумав при их помощи произвести во Франции переворот в свою пользу. Рассчитывая главным образом на популярность своего исторического имени, молодой принц в конце октября 1836 г. приехал в Страсбург, где у него было несколько единомышленников среди офицеров тамошнего гарнизона. Артиллерийский полковник Водрей рано утром 30 октября собрал свой полк, и перед офицерами и солдатами, ожидавшими чего-то необыкновенного, внезапно появился принц, нарочно одевшийся так, как одевался Наполеон I. Полковник произнес заранее приготовленную речь, в которой сказал, что дело племянника и наследника великого императора есть дело всего французского народа, и что лишь через него нация может вернуть себе прежнюю славу и свободу. Солдаты приветствовали принца кри-

ком «Да здравствует император!» и двинулись по улицам города, продолжая кричать виваты императору. Комендант и префект были арестованы, но когда взбунтовавшийся полк пришел в пехотные казармы, то встретил там отпор. Речь, произнесенная здесь принцем, не встретила никакого сочувствия, и дело окончилось тем, что претендент был арестован вместе со своими соучастниками после довольно нерешительной попытки защитить его, сделанной пришедшими с ним артиллеристами. Узнав об этом происшествии, правительство рассудило, что будет лучше всего придать попытке принца характер мальчишеской выходки, за которую нельзя и наказывать строго. Под полицейским конвоем он был отвезен в Шербур, откуда должен был уехать в Америку. Проездом через Париж он даже написал Людовику-Филиппу письмо с выражением своей благодарности и с просьбой о снисхождении к его соучастникам. Но общественное мнение было крайне недовольно тем, что и на этот раз, подобно тому как это было и в деле герцогини Беррийской, главный виновник уходил безнаказанным. На это последнее обстоятельство особенно напирала адвокаты главных соучастников Людовика-Наполеона перед судом присяжных в Страсбурге; именно они указывали на то, что, отпустив зачинщика всего дела, правительство лишило суд возможности разобрать, как следует, вину каждого из подсудимых. Оппозиционная пресса равным образом эксплуатировала это обстоятельство в свою пользу. Все подсудимые были оправданы, и в их честь даже устраивались потом разные овации. Но общее впечатление, произведенное в этом деле претендентом, было крайне для него неблагоприятное.

Людовик-Наполеон, однако, не покидал своей мысли. В следующем же году он опять приехал в Швейцарию и только после требования французского правительства, чтобы Швейцария изгнала принца под страхом вторжения в страну французского войска, он переселился в Англию, где занялся разработкой своих «Наполеоновских идей». В 1840 г. он решился повторить свое неудавшееся предприятие, выбрав для этого, как ему казалось, самый подходящий момент, когда во Франции снова оживилась память о Наполеоне по случаю перенесения в Париж его останков с острова Святой Елены. Тьер, сделавшись министром 1 марта 1840 г., задумал привести в исполнение последнюю волю Наполеона, выразившего в своем духовном завещании желание, чтобы его прах покоился на берегах Сены «среди французского народа, который он так любил». Для этого Тьер вошел в сношение с английским правительством, и последнее выразило полное согласие на то, чтобы гроб с останками Наполеона был взят с острова Святой Елены. Палаты охотно отпустили необходимые деньги, и за гробом Наполеона был послан фрегат, на котором находился один из сыновей короля, принц Жуанвильский. Это решение совпало по времени с международными осложнениями, сильно подействовавшими на французских шовинистов, мечтавших о новом завоевании левого берега Рейна. Энтузиазм к памяти

Наполеона и воинственное настроение, охватившее весьма многих французов, и дали повод принцу Людовiku-Наполеону еще раз воспользоваться памятью своего дяди, дабы низвергнуть орлеанскую династию, обманувшую ожидания большинства французской нации. На этот раз он даже заручился согласием нескольких видных военных; кроме того, его отчасти поощряла иностранная дипломатия, которая, не веря в успех предприятия, не прочь была вызвать во Франции какое-либо замешательство. 4 августа Людовик-Наполеон отплыл из Англии к берегам Франции с несколькими единомышленниками, и высадился с ними 6 августа недалеко от Булони. На берегу их ожидала другая горсть заговорщиков, и все вместе они двинулись в названный город, где рассчитывали увлечь за собой один из стоявших там полков. В числе офицеров этого полка был один из соумышленников принца. Он разбудил спавших солдат и выстроил их на дворе казармы, а явившийся перед ними принц произнес патетическую речь. На шум сбежались другие офицеры и стали уговаривать солдат не изменять своему долгу. Принцу и его спутникам пришлось спасаться бегством. Сначала они пытались было собрать приверженцев наполеоновской идеи в самом городе, но потом должны были отказаться и от этого. Спасаясь от преследования, Людовик-Наполеон с некоторыми спутниками прыгнул в лодку, которая должна была отвезти их на пароход, но лодка опрокинулась, и заговорщики были вынуты из воды, чтобы затем быть отведенными в тюремное заключение. Пароход, привезший их из Англии, был также задержан; на нем во время обыска нашли документ, в котором претендент устанавливал временное правительство — с Тьером во главе, занимавшим в то время пост первого министра. Предполагалось, что французский народ сам решил бы затем вопрос о будущей правительственной форме. На этот раз принц не избежал суда пэров. В то самое время, как отец принца, проживавший тогда во Франции, напечатал в газетах письмо, которым желал смягчить участь сына ссылкой на то, что он обнаружил полное отсутствие здравого человеческого смысла, сам претендент выступил на суде в роли защитника народного верховенства и в качестве законного наследника императора, получившего корону для себя и своего семейства в силу всенародного голосования. 6 октября Людовик-Наполеон был приговорен к пожизненному заключению и вскоре отведен в крепость Гам; здесь он занял ту самую комнату, в которой прежде жил князь Полиньяк. Особого шума по поводу этого процесса в Париже не было. Бонапартизм вообще не имел тогда больших шансов на успех. Гроб Наполеона прибыл в Париж только в первой половине декабря и 15-го числа в торжественной процессии доставлен в Дом инвалидов. Стечение народа на улицах в этот день было громадное, но народ гораздо холоднее отнесся к возвращению в Париж останков Наполеона, чем можно было этого ожидать по восторгу, какой вызван был решением правительства перевезти гроб императора в Париж. После 1840 г. правительству июльской мо-

нархии нечего было, следовательно, бояться какой-либо революции и под знаменем наполеоновских идей.

Таким образом, через десять лет после июльского переворота монархия, обязанная ему своим происхождением, могла считаться упроченной. Людовик-Филипп мог теперь, так сказать, повернуть спину к революции, возведшей его на престол. В 1840 г. годовщина революции была ознаменована открытием на площади Бастилии знаменитой Июльской колонны, но никто из членов королевской фамилии не удостоил своим присутствием этого торжества, только сам король постоял несколько времени у окна, когда мимо Лувра проходила процессия на заупокойную мессу в память июльских защитников свободы. И то обстоятельство, что в этот день в столице Франции не произошло никакого движения, указывало, по-видимому, на окончание борьбы с революцией. Две знаменитые фразы, произнесенные в сороковых годах, — заявление Ламартина (1843 г.) о том, что «Франция скучает» (*La France s'ennuie*), и заявление Гизо (1846 г.) о том, что «порядок надолго обеспечен», — выражали собой мнение весьма многих французов о характере этой второй половины царствования Людовика-Филиппа. На самом деле в течение сороковых годов назревали во Франции два вопроса, коим суждено было вызвать новую революцию: вопрос о реформе представительства и вопрос социальный.

VII. Внешняя политика июльской монархии¹

Мирный характер политики Людовика-Филиппа. — Сближение Франции с Англией. — Испанские и португальские дела. — Отношение к ним Франции с Англией и абсолютных монархий. — Возникновение соперничества между Францией и Англией. — Стремление Людовика-Филиппа к сближению с континентальными монархиями. — Восточный вопрос. — Европейский кризис 1840 г. — Внешняя политика Франции в сороковых годах. — «Испанские браки». — Сближение Гизо с Меттернихом

Внешняя политика Франции при Людовике-Филиппе вполне соответствовала внутренней политике этого короля. В первые два года, следовавшие за июльским переворотом, то и дело готова была вспыхнуть большая европейская война, но Людовик-Филипп всячески старался избежать войны. С одной стороны, он мог бояться воинственных замыслов Австрии, Пруссии и России, которые под влиянием Июльской революции возвратились к традициям Священного союза, с другой — он опасался воинственного настроения весьма значительной части французского общества, мечтавшего о возобновлении революционной пропаганды. Обстоятельства помешали, однако, абсолютным монархиям предпринять какие-либо враждебные действия. Они только возвратились к старому союзу и заняли по отношению к Франции крайне недоверчивое положение, что очень не нравилось Людовику-Филиппу. Зато в самой Франции не прекращалась агитация в пользу оказания помощи восставшим народам. Газеты, клубы, такие политические деятели, как Лафайет, Моген, Ламарк, громко требовали энергичной внешней политики и этим поддерживали у восставших народов надежду на французскую помощь. Эта агитация производила впечатление и на абсолютные монархии, тем более что они не считали самого Людовика-Филиппа достаточно прочным на престоле. Одно время Людовик-Филипп должен был даже держать у власти представителей так называемой «партии движения». Вступление в министерство Казимира Перье сразу придало внешней политике Франции более умеренный, хотя и весьма твердый характер. В середине 1832 г. тревожное настроение прекратилось. Франции удалось защитить Бельгию и создать противовес одностороннему австрий-

¹ Для истории внешней политики кроме сочинений по истории отдельных стран см.: *Debidour A. Histoire diplomatique de l'Europe*, 1891 (первый том); *Haussanville D. Histoire de la politique du gouvernement français (1830—1848)*; *Capefigue. L'Europe depuis l'avenement du roi Louis-Philippe*; *Bollaert. The wars of succession of Portugal and Spain*. (Кроме того, конечно, история Испании Baumgwrten'a, Hibbard'a, Reynald'a, Трачевского и история Португалии Schaefer'a); *Bulwer. Life of Palmerston*; *Lytton-Bulwer. Essai sur Talleyrand*; *Mirabeau (comtesse de). Le prince de Talleyrand et la maison d'Orleans*.

скому влиянию в Италии, но зато Германия и Польша были предоставлены в распоряжение Австрии, Пруссии и России. Печальный исход Польской революции постоянно давал повод оппозиционным партиям нападать на правительство Людовика-Филиппа, тем более что во Франции спаслось бегством огромное количество поляков, которые встретили среди французов большое сочувствие и сами стали принимать участие в политических движениях, происходивших во Франции. Людовик-Филипп деятельно боролся с этими политическими движениями, но в Вене, Берлине и Санкт-Петербурге на него продолжали смотреть как на «короля баррикад». Даже тогда, когда абсолютные монархи успокоились насчет его собственных намерений¹, они все еще опасались какого-нибудь нового переворота во Франции, результатом которого могло бы быть возобновление революционной пропаганды. Поэтому Людовику-Филиппу оставалось только искать сближения с Англией, где к Июльской революции отнеслись благосклонно и где вместе с тем в 1830 г. власть перешла к вигам.

Англия точно так же, как и Франция, не считала возможным вмешиваться в немецкие и польские дела. Зато она вместе с Францией находила нужным защитить Бельгию и Италию. Но особенно политика обеих стран была заинтересована в том, чтобы не дать реакционным принципам восторжествовать в обоих государствах Пиренейского полуострова, где в начале тридцатых годов произошли важные события.

¹ Приводим отрывки из письма Людовика-Филиппа к императору Николаю I (от 19 августа 1830 г.):

«Уже давно я сожалел, что король Карл и его правительство не следовали политике, которая соответствовала бы ожиданиям и желаниям нации... С 8 августа 1829 г. образование нового министерства меня очень встревожило. Я видел, до какой степени это назначение было ненавистно и подозрительно для нации, и я разделял общее беспокойство относительно мер, которых мы должны были ожидать от новых министров. Тем не менее уважение к законам, любовь к порядку сделали столько успехов во Франции, что сопротивление этому министерству не уклонилось бы, конечно, с пути парламентской борьбы, если бы в своем безумии само это министерство не подало рокового сигнала самым дерзким нарушением хартии и уничтожением всех гарантий нашей национальной свободы, за которые готов пролить кровь каждый француз.

Но было невозможно, чтобы от этого не произошло никакого потрясения в нашем общественном строю, и то же самое возбуждение энтузиазма, которое отвратило французов от беспорядков, увлекало их к попытке приложения такой политической теории, которая повергла бы Францию и, может быть, всю Европу в пучину всяких бедствий. Среди таких-то обстоятельств все взоры обратились на меня. Побужденные сами сочли меня нужным для своего спасения. Но, быть может, еще более я был необходим, чтобы победители не могли сойти с истинного пути. И я принял на себя эту благородную и трудную задачу... ибо я ясно увидел, что малейший отказ с моей стороны мог бы сделаться рискованным и относительно будущего Франции, и относительно спокойствия соседей...

Да не потеряет ваше величество из виду, что, пока король Карл X царствовал над Францией, я был самым покорным и самым верным из его подданных и что только в ту минуту, когда я увидел действие законов парализованным и совершенно уничтоженной силу королевской власти, — я счел за долг свой согласиться на желание нации, принимая корону, к которой был призван».

После Мюнхенгрецкого свидания, на котором, между прочим, были приняты некоторые меры относительно Германии, лондонский и парижский дворы, так сказать, ради соблюдения приличий протестовали против нарушения прав, обеспеченных за отдельными немецкими государствами трактатами 1815 г., но, в сущности, до политической свободы Германии им не было никакого дела, и протест не имел никаких реальных последствий. Однако ни Франция, ни Англия не хотели, чтобы абсолютные монархии самовластно распоряжались во всей Европе. Французское правительство даже заявило венскому двору, что с оружием в руках будет сопротивляться всякому вмешательству союзников в дела Бельгии, Швейцарии и Пьемонта, как стран, входящих в сферу французского влияния. Меттерних, по-видимому, в это время имел намерение превратить всю Италию в военную федерацию под гегемонией Австрии, но из Франции ему дали понять, что она не допустит осуществления подобного плана. И Франция, и Англия выступали, таким образом, в роли защитниц национальной и политической свободы, по крайней мере в некоторой части Европы. В сферу их влияния, несомненно, входили также Испания и Португалия, где в рассматриваемую эпоху возникли внутренние смуты из-за престолонаследия и началась борьба политических партий, защищавших противоположные политические принципы. Интересом обеих конституционных держав было поддержать на Пиренейском полуострове либеральную партию, тогда как, наоборот, испанские и португальские консерваторы пользовались сочувствием трех абсолютных монархий. События, происшедшие на Пиренейском полуострове, и дали повод Франции и Англии проявить свое «сердечное согласие» (*entente cordiale*), хотя, в сущности, за этой видимой солидарностью скрывался старый политический антагонизм.

Конституционные движения в Испании и Португалии, ознаменовавшие собой начало двадцатых годов, были весьма скоро же подавлены, как известно, не без содействия Священного союза и, в частности, самой Франции. В обоих государствах свирепствовала жестокая реакция и, по-видимому, не было никаких шансов на восстановление конституции. В Испании, однако, среди самих реакционеров начался раскол, напоминающий аналогичное явление во Франции в царствование Карла X. Испанская клерикальная партия, носившая название апостолической, находила, что Фердинанд VII недостаточно строго проводит принципы реакции, и все свои надежды стала возлагать на королевского брата дона Карлоса, который — за бездетностью короля — должен был наследовать престол. Наиболее нетерпеливые сторонники этой партии даже подумывали о низложении Фердинанда VII. В этом смысле в 1825 г. составилась заговор против этого короля, но был открыт. В следующем году недовольство против короля еще более усилилось, благодаря тому, что он недостаточно энергично действовал в пользу реакционной партии в Португалии. И вот была издана как бы от

имени испанского народа прокламация, требовавшая возведения на престол дона Карлоса. В начале 1827 г. в Арагонии и Каталонии вспыхнуло даже восстание, которое было жестоко подавлено, причем подверглись новому гонению либералы, в данном случае совершенно неповинные. Но надеждам апостолической партии не суждено было осуществиться. Потеряв в 1829 г. свою третью жену, Фердинанд VII немедленно женился в четвертый раз на дочери неаполитанского короля Франциска I, Марии-Христине. Когда разнеслась весть о беременности новой королевы, апостолическая партия крайне встревожилась. Еще более усилилось ее негодование, когда король весной 1830 г. обнародовал прагматическую санкцию, допускавшую женщин к занятию испанского престола. Дело в том, что старый кастильский закон не исключал женщин и женские поколения из права престолонаследия, и так называемый «салический закон», признававший это право только за мужчинами, был введен в Испании лишь Филиппом V Бурбоном. Однако в 1789 г. Карл IV с согласия нотаблей постановил возвратиться к прежнему порядку, хотя и велел это решение хранить в тайне. Испанская конституция 1812 г. равным образом признавала право престолонаследия и за женщинами. Прагматическая санкция 1830 г. основывалась именно на постановлении Карла IV. Осенью того же самого года у короля родилась дочь Изабелла, которая и должна теперь была наследовать престол. Апостолическая партия решила действовать интригой. Один из ее членов, Каломарде, занимавший пост первого министра и оказывавший большое влияние на короля, воспользовался его болезнью и, когда тот чувствовал себя особенно дурно и совершенно не имел своей воли, добился от него декрета, объявлявшего прагматическую санкцию уничтоженной. В это время Фердинанду VII было так плохо, что с минуты на минуту ожидали его смерти; в Париж даже телеграфировали о его кончине. Но сверх ожидания король остался жив и даже несколько поправился. Каломарде был лишен места и заменен новым министром, Зеа-Бермудесом, придерживавшимся воззрений просвещенного абсолютизма. На время продолжавшейся болезни короля регентство было передано Христине. Желая приобрести популярность, она дала амнистию политическим преступникам и открыла университеты, закрытые прежним министром. Когда, наконец, Фердинанду VII совсем стало лучше, он решился обеспечить судьбу своей дочери, созвав в 1833 г. кортесы, которые утвердили прагматическую санкцию и присягнули Изабелле в качестве наследницы престола. Дон Карлос протестовал против этого письмом на имя брата, но в ответ получил «позволение» уехать из Испании и более в нее не возвращаться. Когда в том же самом 1833 г. Фердинанд VII все-таки умер, дон Карлос стал оспаривать престол у своей маленькой племянницы и явился в Северной Испании, чтобы стать во главе восстания. Австрия и обе ее союзницы не только не признали Изабеллу королевой Испании, а ее мать — регентшей, но даже стали тайно оказывать поддержку

претенденту. Это восстание продолжалось около семи лет, но, собственно говоря, внутренняя смута была гораздо более продолжительной, и время от времени в Испании происходили военные перевороты (*pronunciamiento*), отдававшие власть то в те, то в другие руки. По смерти мужа Христина оставила во главе государства Зеа-Бермудеса, но он в качестве просвещенного абсолютиста не мог быть приятен ни апостолической партии, ни либералам. В армии он также не пользовался сочувствием, а один видный генерал прямо указал регентше, что если этот министр останется у власти, то нельзя будет ручаться ни за спокойствие страны, ни за прочность положения самой маленькой королевы. В начале 1834 г. Зеа-Бермудес был отставлен и заменен другим министром, принадлежавшим к умеренно-либеральной партии, Мартинесом де ла Розою: новый министр раньше был членом кортесов, выработавших конституцию 1812 г. Ему пришлось на себе испытать реакцию в начале царствования Фердинанда VII: он сидел в тюрьме и побывал в ссылке. После революции 1820 г. он снова играл политическую роль в рядах «модератосов»¹, но после низвержения конституции долго жил за границей. Поставленный теперь во главе правления 10 апреля 1834 г., он ввел в Испании под названием королевского статута (*Estatuto real*) новую конституцию, составленную в весьма умеренном духе. В ней, например, не было гарантий личной свободы, свободы печати и независимости судов. Инициатива законов принадлежала правительству, и кортесы не должны были заниматься вопросами, которые не были предложены королем, хотя, во всяком случае, новые законы не могли издаваться и налоги не могли устанавливаться без согласия кортесов. Конституция принимала двухпалатную систему, причем верхняя палата должна была заключать в себе наиболее аристократические и богатые элементы населения, а в палату депутатов могли избираться лица, имевшие значительный доход. Как бы там ни было, однако Испания из абсолютной монархии все-таки превращалась в монархию конституционную.

Подобного же рода изменение произошло и в Португалии. Здесь тоже в начале двадцатых годов результатом военной революции было введение конституции, продержавшейся очень недолго. Хотя король Иоанн VI и согласился (1822 г.) на ограничение своей власти, этого решения не хотели признать ни жена его, сестра Фердинанда VII Испанского, ни его младший сын, дон Мигуэль. Этот молодой принц проявил крайне абсолютистические стремления и, поощряемый французским вмешательством в испанские дела (1823 г.), при помощи части армии произвел государственный переворот, взял в плен своего отца и заставил его отменить конституционную хартию. Правда, Иоанну VI удалось бежать из плена и при помощи Англии вернуть себе престол, что заставило дона Мигуэля искать

¹ Умеренные (*исп. moderados*) либералы. — *Прим. ред.*

убежища в Австрии, но весьма скоро смерть Иоанна VI (1826 г.) дала повод дону Мигуэлю снова вмешаться в португальские дела. За год до своей смерти Иоанн VI признал независимость Бразилии, отдав ее старшему своему сыну, дону Педро, под условием раздельного существования бразильской и португальской короны. После смерти отца дон Педро, не желая покидать Бразилию, уступил Португалию своей малолетней дочери Марии да Глория, опекуном которой и регентом королевства был назначен живший в изгнании дон Мигуэль. Дон Педро, настоявший на том, чтобы его отец дал конституцию Бразилии, делая теперь португальской королевой свою дочь, и этой стране дал конституцию или так называемую «Хартию законов» (*Carta de lei*). Дон Мигуэль не оправдал доверия своего брата. В 1828 г. он объявил конституцию уничтоженной, а себя — законным королем Португалии вместо своей племянницы. Апостолическая партия в Испании и Меттерних оказали ему свою поддержку. Юная португальская королева, уже отправленная из Бразилии в Европу, доехала только до Англии. Хотя в Лондоне и признали ее права, тем не менее не оказали ей никакой поддержки, и Марию да Глория пришлось отвезти обратно в Бразилию. В 1831 г. дон Педро решился сам отстаивать права своей дочери. Отрекшись от бразильского престола в пользу своего малолетнего сына, дона Педро II, он отправился с женою и дочерью в Европу. Обстоятельства ему благоприятствовали. Июльская революция создала во Франции правительство, которое не могло поддерживать абсолютизм. В Англии власть перешла от тори к вигам. Наконец, в Испании прагматическая санкция нанесла удар апостолической партии, поддерживавшей дона Мигуэля. Дон Педро посетил Лондон и Париж и, благодаря содействию английского и французского правительств, заключил заем, который позволил ему собрать войско и устроить флот, а летом 1832 г. занять город Оporto. Началась междоусобная война, которая сделалась вместе с тем борьбой абсолютизма с либерализмом. В то самое время, как дону Педро оказывали поддержку Англия и Франция, дон Мигуэль, наоборот, пользовался сочувствием Австрии и ее союзниц. В самой Португалии за молодую королеву заступились либералы, которые еще в 1830 г. организовали на острове Терсейре регентство. Так как дон Мигуэль пользовался покровительством и французских легитимистов, то Людовик-Филипп имел и особую причину симпатизировать предприятию дона Педро. Испания сначала стояла на стороне дона Мигуэля, но когда и в этом государстве возник спор за престол и между португальским и испанским претендентами установилась солидарность, то мадридское правительство стало поддерживать дона Педро. Любопытно, что в то самое время, как многие французские легитимисты вступили в армию дона Мигуэля, Людовик-Филипп разрешил некоторым французским военным сражаться в Португалии за конституцию. Англия дала дону Педро начальника флота в лице Чарльза Непира.

Таким образом, в начале тридцатых годов и в Испании, и в Португалии положение дел было совершенно одинаковое: и там, и здесь по закону власть принадлежала малолетним королевам, за права которых в обеих странах заступались либералы, тогда как реакционеры стояли на стороне родных дядей обеих королей, приверженцев абсолютизма. Если дон Карлос и дон Мигуэль друг друга признавали королями, то и оба регентства поддерживали друг друга. Россия и Пруссия, не решаясь открыто высказаться за обоих претендентов, тем не менее не хотели признать ни королеву Изабеллу, ни королеву Марию. Относительно Изабеллы Австрия держалась той же политики, но Марию Португальскую австрийский император признал королевой, так как ее мать была его дочерью, но только он совсем не хотел признавать конституцию. Совсем иначе вели себя Англия и Франция. Оба эти государства стали на сторону конституционных партий. Людовик-Филипп хотел нанести удар дону Карлосу, французские друзья которого были, так сказать, его личными врагами. С другой стороны, он рассчитывал впоследствии выдать замуж молодую испанскую королеву таким образом, чтобы утвердить в Мадриде французское влияние. В конце 1833 г. в совете министров даже серьезно обсуждался вопрос о посылке в Испанию французского войска, чтобы утвердить в Мадриде влияние июльской монархии и вместе с тем поднять ее военный престиж. У Людовика-Филиппа при этом была еще одна цель. Он боялся возможности нового революционного движения в Испании, т. е. повторения 1820 г. и восстановления конституции 1812 г., что, несомненно, только придало бы смелости французским демократам: посылка французской армии в Испанию не только поддержала бы королеву Изабеллу против дона Карлоса, но и не позволила бы что-либо предпринять испанским демократам. Этот план французского правительства, однако, никоим образом не мог быть принят Англией. В Лондоне, где также мечтали выдать со временем Изабеллу замуж за принца, который поддерживал бы в Испании английское влияние, вовсе не были расположены к тому, чтобы французская военная экспедиция увеличила шансы июльской монархии в Мадриде. Таким образом, интересы Франции и Англии были далеко не одинаковы на Пиренейском полуострове, и союз их не мог быть вполне искренним.

Собственно говоря, испанский либерализм, как таковой, не находил большого сочувствия в Людовике-Филиппе, которому было бы гораздо приятнее, чтобы у власти оставался Зеа-Бермудес, вовсе не думавший о конституции. Наоборот, английское правительство немало содействовало тому, чтобы этому министру была дана отставка и чтобы управление делами было передано Мартинесу де ла Роза, стороннику умеренной конституции. Мало того, лорд Пальмерстон, в то время министр иностранных дел в Англии, предложил новому испанскому правительству вступить в союз с Англией, и подобное же предложение было сделано португальскому двору. Переговоры об этом союзе велись в совершенной тайне, и до-

говор был подписан в Лондоне в первых числах апреля 1834 г. Целью этого союза было изгнание из Португалии дон Мигуэля и дон Карлоса, удалившегося туда из Испании, для чего испанское правительство должно было помочь дону Педро войском, а Англия — флотом. Лорд Пальмерстон держал переговоры в таком секрете, что Талейран, бывший в то время французским посланником в Лондоне, ни о чем не догадывался. Когда наконец он узнал об этом трактате, то потребовал, чтобы и Франция была принята в союз. Ему в этом не отказали, и в последних числах апреля был подписан акт четверного союза, хотя услуги Франции могли иметь место по буквальному смыслу договора лишь в том случае, если бы это нашли нужным трое остальных союзников. Этот союз Людовик-Филипп старался выставить как торжество своей политики. На самом же деле он обозначал собой утверждение на Пиренейском полуострове исключительно английского влияния. По внешности четверной союз конституционных государств был как бы ответом на тройственный союз Австрии, Пруссии и России, но правительства абсолютных монархий весьма скоро догадались об истинном характере отношений, какие существовали между Англией и Францией. Для Испании и Португалии заключение этого союза имело то значение, что приблизительно через месяц и дон Мигуэль, и дон Карлос должны были сложить оружие и покинуть Португалию. Первый из них так и оставил свои притязания, но второй в конце июля 1834 г. снова явился в Северной Испании, собрал около себя приверженцев, объявил себя королем и послал своих представителей ко дворам абсолютных монархий, что заставило Англию и Францию прийти к новому соглашению, по которому Англия брала на себя военную помощь испанской королеве, а Франция обязывалась только наблюдать за тем, чтобы к дону Карлосу не приходила помощь из-за Пиренеев. Между тем дон Педро созвал кортесы, на которых была утверждена конституция, и в том же году умер, успев объявить свою дочь совершеннолетней. Время внутренних смут и переворотов этим, однако, не кончилось в обоих пиренейских государствах.

Английское влияние продолжало быть прочным в Португалии и в последующий период. Но в Испании соперничество Англии и Франции сделалось постоянным явлением, отражавшимся и на внутренних делах этого государства. Вскоре здесь возобновилась междоусобная война. В 1835 г. дон Карлос, поддерживаемый Австрией, Пруссией и Россией, имел весьма значительный успех и его войска занимали почти всю страну между Пиренеями и Эбро. Мария-Христина обратилась за помощью к Франции, но, как мы увидим, в это время Людовик-Филипп уже начинал заискивать у Австрии и не был особенно расположен помогать испанской правительнице. Однако французское министерство, наоборот, считало нужным прийти на помощь мадридскому правительству и заставило короля начать об этом переговоры с Англией. К великому удовольствию Людовика-Фи-

липпа, Пальмерстон отверг это предложение, и французские министры увидели, что Англия просто не хочет французского вмешательства в испанские дела, предпочитая безраздельно господствовать в Мадриде. Действительно, Мария-Христина прямо руководствовалась указаниями из Лондона, меняя министров. Положение дел между тем усложнялось. В Испании опять зашевелились крайние демократы — «экзальтадосы»¹. В разных городах возникли революционные хунты² и произошли восстания с резко антиклерикальным характером. Одновременно и банды «карлистов» стали проникать в самую Кастилию, и в 1836 г. встревоженная Англия сама обратилась к Франции с просьбой вмешаться в испанские дела, быть может, впрочем, имея в виду — в случае отказа Франции — воспользоваться этим для того, чтобы дискредитировать французское правительство в глазах испанцев. На этот раз и французское министерство (Тьер) не хотело помогать Испании вследствие того, что тогдашний испанский министр был сторонником англичан. Людовик-Филипп стал только употреблять все усилия, чтобы первенствующим министром Испании было лицо, расположенное в пользу Франции. Когда наконец ему удалось этого добиться, он задумал положить конец всем смутам, выдав замуж Изабеллу за старшего сына дона Карлоса и этим укрепить французское влияние в Мадриде. Предполагалось, что при этом сам дон Карлос отречется от своих притязаний и признает вместе с законными правами Изабеллы и конституционное устройство. Меттерних, которому был сообщен этот план, от имени трех держав объявил, что сын претендента может жениться лишь как король, отнюдь не отрекаясь от своих личных прав. Положение мадридского двора, снова находившегося под временным влиянием Франции, в 1836 г. было крайне тяжелое. «Карлисты» крепко держались на севере, а «экзальтадосы», подстрекаемые повсеместно английскими агентами, во многих местах настойчиво требовали восстановления конституции 1812 г. Тьер прямо готовился к вмешательству, к крайнему неудовольствию Людовика-Филиппа, уже подыскивавшего ему преемников, как вдруг в ночь с 12 на 13 августа в Испании вспыхнула новая военная революция, была провозглашена конституция 1812 г. и были собраны кортесы, чтобы согласовать ее с положением дел и новыми нуждами Испании. Вождь «экзальтадосов» Калатрава сделался первым министром и стал пользоваться поддержкой Англии. Как ни доказывал Тьер Людовику-Филиппу, что победа Франции над «карлистами» нанесет одновременно удар и «экзальтадосам», и английскому влиянию, Людовик-Филипп теперь находил новый предлог против вмешательства, говоря, что он не хочет поддерживать де-

¹ «Экзальтированные либералы». — *Прим. ред.*

² От *исп.* junta, от *лат.* junctus, от *jungere* — соединять. Высшее политическое собрание в Испании, состоящее из выборных лиц для оперативного разрешения особо важных государственных вопросов. — *Прим. ред.*

магогию в Испании. Дело кончилось отставкой Тьера и образованием нового кабинета (Моле).

Между тем в Испании в 1837 г. была введена новая конституция. Менее демократическая, чем конституция 1812 г., она была гораздо либеральнее «королевского статута» 1834 г. Ею обеспечивались свобода и неприкосновенность личности, свобода печати, право петиций. Верховная власть признавалась за народом, а учредительная власть за кортесами. Последние должны были созываться ежегодно, и в том случае, если бы до 1 декабря они не были созваны, они должны были собираться сами. Министерство должно было быть ответственным. Весьма скоро после этого Мария-Христина поставила во главе войска одного из вождей «экзальтадосов», Эспартеро, пользовавшегося явным покровительством английского министерства. Он весьма энергично повел войну с «карлистами», и «христиносы» стали одерживать победу за победой, между тем как баскские провинции Испании, бывшие главным оплотом «карлистов», стали охладевать к делу претендента, оказавшегося человеком бездарным и вдобавок жестоким. В 1839 г. Эспартеро удалось заключить договор с одним из главных вождей «карлистов» на основании признания за баскскими провинциями их привилегий (фуеросов). Это привело к окончанию междоусобной войны, и, конечно, Эспартеро сделался теперь господином положения. Но королева-регентша, получавшая внушения от Людовика-Филиппа, не хотела примириться с конституцией 1837 г. Пока Эспартеро наносил последние удары карлистским бандам, Мария-Христина, распустив палату, добилась посредством административного давления на выборах более благоприятной для своих видов палаты депутатов, и последняя приняла реакционный закон, ограничивавший старинные муниципальные вольности испанских городов. Это было причиной нового восстания в Мадриде и других городах (1840 г.). Во главе восставших были опять «экзальтадосы», которых сильно поддерживала Англия, тем самым противодействовавшая французскому влиянию на регентшу и «модераторов». Совершенно растерявшаяся, Мария-Христина призвала к власти Эспартеро, а сама вынуждена была сложить с себя звание правительницы государства. Кортесы объявили регентом Эспартеро, и он стал жестоко расправляться со всеми оппозиционными партиями, но в 1843 г. сам был низвергнут личным врагом своим, Нарваэсом. Этот переворот был делом французской интриги. Удалившись в Париж, Мария-Христина нашла самый сердечный прием у Людовика-Филиппа, приходившегося ей дядей. Она стала сватать свою дочь, оставшуюся в Испании, за сына Людовика-Филиппа, герцога Омальского, между тем как Эспартеро хотел выдать ее замуж за какого-нибудь немецкого принца по указанию Англии. Правительство Людовика-Филиппа весьма искусно пользовалось неудовольствием, царившим среди «христиносов» против Эспартеро, и поддерживало попытки его низвергнуть. Наконец, это и удалось сделать при помощи Нарваэса, пользовав-

шегося большим доверием со стороны Марии-Христины и французского двора. Эспартеро вынужден был бежать в Англию. В Мадриде опять восторжествовало французское влияние. Изабелла, которой только что исполнилось тринадцать лет, была объявлена совершеннолетней, и восторжествовавшая партия считала себя достигшей прочного господства. Но вслед за этим начались новые перевороты. Мария-Христина вернулась в Испанию, и в 1845 г. конституция подверглась опять пересмотру. Вступление, в коем говорилось о народовластии, было опущено; кортесы лишены были права собираться сами собой в том случае, если правительство их не созывает; суд присяжных по делам печати был отменен. Эти перемены указывают на то, какой смысл имел пересмотр конституции. В Испании началась продолжительная внутренняя реакция, заграничным вдохновителем которой был Людовик-Филипп, мечтавший о том, чтобы теснее привязать Испанию к Франции путем брачных союзов между обоими королевскими домами.

Кроме дел на Пиренейском полуострове были и другие причины, расстроившие хорошие отношения между Францией и Англией. Английское правительство было весьма недовольно, когда Карл X предпринял завоевание Алжира, и Людовик-Филипп, желая быть приятным Англии, на первых порах не делал ничего серьезного для завоевания Алжира. Только в 1834 г. французское правительство объявило, что намеревается подчинить себе всю эту страну, и начались энергичные военные действия против знаменитого вождя алжирских арабов Абдель-Кадера, получавшего тайную помощь из Англии. В Константинополе Англия также старалась ослабить влияние Франции, дискредитируя ее в глазах султана. Все это не могло укрыться от взоров абсолютных монархов. Меттерних поставил тогда своею задачею отвлечь французскую политику от английской, а Николай I готов был идти даже на уступки англичанам, лишь бы только расстроить союз обеих конституционных держав. С другой стороны, Людовик-Филипп очень рано стал подумывать о сближении с великими континентальными державами. Особенно был он раздражен союзом, который Англия в 1834 г. заключила с Испанией и Португалией без ведома французского правительства. Талейран, занимавший в это время пост французского посланника в Лондоне, тоже не мог этого простить английскому правительству, вышел в отставку и возвратился в Париж. Здесь он стал внушать Людовику-Филиппу мысль о необходимости изменения всего курса внешней политики. «Союз с Англией, — говорил он, — был необходим в 1830 г., когда Франция, внутри потрясенная революцией, а извне угрожаемая войной, не могла бы найти других союзов». Теперь обстоятельства изменились. Монархия во Франции утвердилась, и Англия успела обнаружить характер своей политики: ее целью было не помогать, а мешать Франции. Вывод отсюда делался тот, что французское правительство должно было искать сближения с континентальными державами, тем более что и для

упрочения новой династии была бы важна поддержка со стороны легитимных династий. Такие речи как нельзя более соответствовали собственным стремлениям Людовика-Филиппа. У него была своя собственная политика с самого начала царствования, и он очень твердо ее держался, всегда стремясь отделяться от воинственных министров, какими были Лафитт и Тьер, и наоборот, выбирая и поддерживая таких министров, которые действовали согласно с его взглядами. Мало того, почти без ведома своих министров и без соблюдения парламентских правил он вступил в секретную переписку с иностранными министрами, особенно деятельно поддерживая сношения с Меттернихом. Главное свое внимание он направил именно на Австрию, так как в Санкт-Петербурге к нему продолжали относиться крайне неблагоприятно за постоянные манифестации в защиту Польши, происходившие в разных городах Франции. Меттерних охотно шел на встречу Людовику-Филиппу и в своих ответах указывал на то, что Англия обманывает Францию и что самому Людовику-Филиппу нужно внутри страны держаться более монархической политики. Людовик-Филипп соглашался на все. Он мечтал уже о том, чтобы женить своего старшего сына герцога Орлеанского на эрцгерцогине Терезе, племяннице австрийского императора. Он даже заговорил о возможности поездки своего сына в Вену, но там под всякими предлогами старались отклонить этот визит. Поддержку своим австрийским планам Людовик-Филипп нашел и в министерстве, когда в 1836 г. в его главе стал Тьер. И ему также казалось, что из союза с Австрией Франция будет в состоянии извлечь большие выгоды, не жертвуя ни своими интересами, ни своим достоинством. И он также находил необходимым соединить обе династии брачными узами. Вот почему Франция в это время не оказала никакого противодействия абсолютным монархиям, когда они заняли своими войсками вольный город Краков, изгнали оттуда польских эмигрантов, уничтожили местную милицию и реорганизовали внутренние учреждения республики, сделав все это на том основании, что Краков превратился в центр польских заговоров. Людовик-Филипп стал даже с особенной предупредительностью относиться к желаниям австрийского двора и в том же 1836 г. отказал Англии послать свое войско для помощи испанскому правительству. Он, можно сказать, готовил тогда благосклонный прием в Вене своему старшему сыну, которого отправил туда просить руки племянницы императора. Но Меттерних и слышать не хотел об этом браке, а потому молодой принц уехал домой с прямым отказом. Людовик-Филипп и после этого так упорно держался своей мысли, что готов был идти на новые уступки. Раньше, когда абсолютные монархи обращались к швейцарскому правительству с требованием, чтобы оно изгоняло со своей территории разных эмигрантов, злоумышляющих против всех государей, французское правительство, само не одобряя поведения этих эмигрантов, отстаивало тем не менее полную внутреннюю независимость Швейцарии во имя принципа

невмешательства. Летом 1836 г. Австрия опять потребовала изгнания из Швейцарии эмигрантов. На этот раз французское правительство поддержало требования Австрии, грозя Швейцарии прервать с нею сношения. Людовик-Филипп зашел так далеко в этом деле, что без ведома министерства отправил в эту страну своих шпионов. Стесненная с обеих сторон, маленькая республика должна была уступить, и ее сейм принял закон об изгнании эмигрантов по требованию иностранных правительств. На все эти уступки Меттерних вовсе не думал отвечать тем же, хотя и продолжал переписываться с Людовиком-Филиппом и требовал от него новых строгостей по отношению к Швейцарии. Австрийскому министру было даже обещано, что Францией не будет оказано помощи Марии-Христине, а конфиденциально ему давали даже понять, что, пожалуй, дона Карлоса можно будет признать королем, если только он получит сколько-нибудь значительный успех на войне. Людовик-Филипп все еще рассчитывал на благоприятный исход своего сватовства, но Меттерних поспешил устроить брак эрцгерцогини Терезы с королем Неаполитанским, за которого сам Людовик-Филипп незадолго перед тем думал выдать одну из своих дочерей: вообще ему во что бы то ни стало хотелось породниться с той или другой легитимной династией. Прусский двор он тоже давно начал располагать в свою пользу, всячески стараясь угождать Фридриху-Вильгельму III. Потерпев неудачу с планом австрийского брака, он сумел добиться того, что за его сына вышла замуж принцесса Мекленбург-Шверинская, родственница прусского короля, который согласился на этот брак, несмотря на крайнее неудовольствие русского правительства.

Таким образом, Людовик-Филипп мало-помалу сближался с Австрией и Пруссией и тем самым отдалялся от Англии. Его реакционная политика в Испании находилась в самой тесной связи с этими новыми отношениями к двум великим немецким державам. Только император Николай I не хотел изменить своего отношения к июльской монархии. Вскоре между Австрией и Францией даже состоялось соглашение по итальянскому вопросу. Именно в 1838 г. Австрия объявила французскому правительству, что отзывает свои войска из Папской области, и предложила ему отозвать и свой отряд из Анконы. Людовик-Филипп должен был исполнить это требование по существу дела, но, не желая, чтобы этот шаг был истолкован в смысле уступки, сделанной Австрии, французское правительство обратилось к папе Григорию XVI с советом дать своим подданным некоторые реформы и с предложением выразить благодарность Франции за то содействие, которое она оказала папе. Однако и тут Людовику-Филиппу не удалось добиться своего, так как папа, по наущению Меттерниха, отказался исполнить совет Франции и выразить ей благодарность.

Внутри страны внешняя политика Людовика-Филиппа вызывала крайнее неудовольствие. Его обвиняли в том, что он слишком мало оказы-

вал противодействия абсолютным монархиям и ронял честь и достоинство нации. Французская буржуазия в вопросах внешней политики отличалась щепетильностью и шовинизмом. Между правящими классами Англии и Франции существовал резко выраженный антагонизм, и поведение лондонского правительства нередко давало повод французам нападать на Людовика-Филиппа, которого Англия не раз ставила в неловкое положение. В сущности, буржуазия была настроена так же мирно, как и ее король, но она не одобряла его внешней политики, приписывая ей слишком личный, не конституционный характер. Особенно сильно было это неудовольствие в 1839 г., и затруднительность положения Людовика-Филиппа выразилась, между прочим, тем, что после отставки Моле, сделавшегося крайне непопулярным за свою внешнюю политику, король более нежели два месяца не мог образовать нового министерства.

Эта миролюбивая и заискивающая у других государств внешняя политика июльской монархии подверглась весьма тяжелому испытанию в 1840 г., когда, казалось, готова была вспыхнуть большая европейская война. События, которые привели к этому кризису, стояли в связи с восточным вопросом. Адрианопольский мир 1829 г. совершенно подчинил Турцию русскому влиянию, и Россия стала играть первенствующую роль на Востоке. Между тем египетский вице-король Мехмед-Али потребовал у султана, чтобы тот отдал ему в управление Сирию, как это было ему обещано за помощь, оказанную Турции при усмирении греческого восстания. Так как султан не исполнял этого обещания, то Мехмед-Али самовольно занял Сирию, продолжая, впрочем, признавать себя подданным султана и даже предлагая ему большую сумму денег. Когда, однако, султан объявил его мятежником, он со своим войском вступил в Малую Азию и двинулся на Константинополь. Тогда напугавшееся турецкое правительство обратилось за помощью к русскому императору. Николай I послал на защиту Константинополя армию в 15000 человек. В благодарность за свое спасение Турция согласилась на договор с Россией, подписанный в 1833 г. в Ункиар-Искелесси. По этому трактату Османская империя отдавала себя, в сущности, под протекторат России. Между прочим, Порта в данном случае выразила и свое неудовольствие против Англии и Франции, оказавших поддержку притязаниям Мехмеда-Али. Особенно благоприятствовало последнему французское правительство, находившее, в данном случае, сочувствие и в общественном мнении страны: на честолюбивого и энергичного египетского наместника в Париже смотрели как на верного друга Франции и притом как на человека, которому суждено было возродить Османскую империю. Из Франции особенно сильно настаивали перед султаном, чтобы он согласился на предложение Мехмеда-Али. В Англии, наоборот, возобладало мнение, что слишком поощрять честолюбивого пашу значит только усиливать французское влияние на Востоке, а потому английское правительство поставило своей

задачей поддерживать целостность Османской империи. В этом отношении оно шло рука об руку с Австрией, Пруссией и Россией, которые уже ранее пришли к той же мысли. Мало того, английская дипломатия стала подстрекать султана к отвоеванию Сирии, и в 1839 г. турецкое войско вторглось в Сирию, но только для того, чтобы потерпеть новое поражение. По договору 1833 г. Николай I, собственно говоря, должен был оказать помощь султану, но Англия этому воспрепятствовала, вступив в переговоры с Австрией, так как с Францией имела слишком различные виды относительно восточных дел. Узнав об этом, Николай I воспользовался представившимся теперь случаем, чтобы изолировать Францию, и объявил, что отказывается от своего права на одностороннее вмешательство в турецкие дела, дабы действовать в согласии с другими державами. Конечным результатом этих переговоров было то, что четыре великие державы без Франции заключили между собой и с султаном в июле 1840 г. договор, по которому Мехмеду-Али предлагалось получить Египет в наследственное владение, а часть Сирии во владение пожизненное, причем державы обязывались силой заставить Мехмеда-Али подчиниться этому требованию. Во Франции все еще льстили себя надеждой, что в восточном вопросе можно будет действовать в согласии с Англией, и известие о том, что по этому вопросу состоялось соглашение между Англией и Россией, к коим примкнули Австрия и Пруссия, было сильным ударом, нанесенным французской дипломатии. Франция была, так сказать, исключена из концерта великих держав. Ее союзница Англия вступала в соглашение с государем, который проявлял непреклонность в своем неприязненном отношении к июльской монархии. Австрия и Пруссия, перед которыми Людовик-Филипп так заискивал, ради дружбы с которыми готов был идти на всевозможные уступки, были тоже во враждебном лагере. Международное положение Франции в 1840 г. было то же самое, в каком она находилась за четверть века перед тем в 1815 г., когда она была одна, а против нее была коалиция Англии, Австрии, Пруссии и России. В ультиматуме, предъявленном в 1840 г. этими державами союзнику Франции, и правительство и страна должны были видеть как бы ультиматум, предъявленный самой Францией. И это вызвало кризис, весьма опасный для европейского мира.

Правда, меморандум, в котором державы объявляли Франции о своем решении, позолотил пилюлю, так как в нем было сказано, что, конечно, отделение держав от Франции только временное, что оно не нарушит прежних дружеских отношений и что державы даже просили бы Францию оказать им свое нравственное содействие, употребив влияние на Мехмеда-Али, чтобы он принял предложенные ему условия. Но Людовик-Филипп был до крайности раздражен этим сообщением. «Уже десять лет, — говорил он, — я создаю плотину против революций на счет своей популярности, своего спокойствия, даже безопасности своей жизни. Они мне обязаны

европейским миром, безопасностью своих тронов, и вот какова их благодарность! Или они хотят непременно, чтобы я надел на себя красный колпак»¹. Особенно был раздражен Людовик-Филипп против Австрии и Пруссии. «Вы совсем неблагодарные люди, — сказал он представителям обеих этих держав. — Вы хотите войны, и вы ее получите. Если будет нужно, я спущу тигра с цепи. Меня он знает, и я умею с ним играть. Посмотрим, так ли он будет с вами обходиться, как со мной». Но это раздражение уступило весьма скоро место иному настроению, именно тому настроению, которое с самого начала определяло всю внешнюю политику Людовика-Филиппа: мир во что бы то ни стало должен был быть сохранен, так как война все-таки была бы большим риском для новой династии. Однако Людовик-Филипп и впоследствии, как сам признавался в интимном кругу, считал нужным кричать громче Тьера (тогдашнего министра), дабы не сделаться «самым непопулярным человеком» и дабы застрашать, если возможно, обе немецкие державы. Своему посланнику в Вене он сообщал конфиденциально, что не позволит «завлечь себя слишком далеко своему маленькому министру»². «В сущности, — писал он, — Тьер хочет войны, а я ее не хочу, и когда он мне не оставит других способов, я скорее брошу его, чем порву со всей Европой». Действительно, Тьер очень решительно заявлял, что, если уже на то пошло, Франция будет воевать. Впрочем, войны во что бы то ни стало он не желал и, в конце концов, не считал ее неизбежной. Если бы Людовик-Филипп не стал кричать громче Тьера, если бы он осмелился высказывать свои настоящие мысли, сам он мог бы быть низвергнут с престола: до такой степени сильно было общественное возбуждение во Франции, вызванное союзом четырех держав, ибо в нем французы видели и оскорбление, и угрозу. Людовик-Филипп очень хорошо понимал, что на этой почве могут разгораться революционные страсти и что воинственное настроение, овладевшее его подданными, может найти исход только в новой революционной пропаганде силой оружия. За девять лет перед тем во Франции уже было весьма сильно подобное настроение, но тогда он употребил все усилия, чтобы не дать этому настроению подчинить себе внешнюю политику правительства. И теперь у него не было основания изменять своим принципам. Но и опасно было, вместе с тем, открыть свои карты ввиду решительных намерений министерства и воинственного настроения нации. Вот почему дела приняли такой оборот, как будто Франция действительно была накануне войны с целой европейской коалицией.

Французские газеты второй половины 1840 г., и притом даже наиболее умеренные из них, пополнялись статьями крайне воинственного содержания, статьями, проповедовавшими необходимость пересмотра трактатов

¹ Фригийская шапка, сделавшаяся республиканским символом в эпоху первой революции.

² То есть Тьеру, который отличался очень малым ростом.

1815 г., возвращения Франции рейнской границы, борьбы с новым Священным союзом. В театрах постоянно требовали пения «Марсельезы», которая каждый раз встречалась энтузиазмом публики. Происходили манифестации и другого рода. Договор четырех держав был подписан всего за несколько дней перед десятилетним юбилеем Июльской революции, празднование которого было ознаменовано открытием Июльской колонны и перенесением останков июльских жертв в склеп, устроенный под колонною. Это торжество дало повод для весьма внушительной манифестации со стороны национальной гвардии, громко требовавшей войны. Собственно говоря, именно это воинственное настроение французов и внушило мысль принцу Людовiku Наполеону Бонапарту совершить свою вторую попытку низвергнуть июльскую монархию, что, конечно, тоже не могло не испугать Людовика-Филиппа. Действия министерства Тьера гармонировали с этим общественным настроением, хотя король, со своей стороны, начал принимать меры к тому, чтобы предотвратить войну и добиться включения Франции в союз великих держав. Через бельгийского короля Леопольда, женатого на его дочери и пользовавшегося расположением лондонского двора, он хлопотал о том, чтобы Франция была присоединена к этому союзу, и бельгийский король, боявшийся за свое маленькое королевство, которое могло бы быть легко присоединено к Франции в случае новой революционной войны, сильно старался в пользу своего тестя. Но Пальмерстон и слышать не хотел о какой бы то ни было сделке, которая изменяла бы смысл договора четырех держав. Уже в самых последних числах июля Тьер получил от короля ордонанс, призывавший под знамена внушительные военные силы. Затем начали энергично заготавливать военные запасы, снаряжать флот, вооружать крепости. В середине сентября новым королевским ордонансом, — так как палаты не были тогда в сборе, — открывался кредит в 100 млн франков для возведения фортификаций вокруг Парижа. Чтобы застрашать иностранные правительства, министерство не принимало никаких мер против народных демонстраций, хотя ими пользовались для своих целей вожди оппозиционных партий. Недаром в это же самое время во Франции началась агитация в пользу избирательной реформы, — агитация, оказавшаяся впоследствии роковой для июльской монархии. И французская дипломатия заговорила в это время весьма решительно, хотя Тьер, главным образом, думал только выиграть время путем переговоров и откладывал начало войны до весны. Он полагал, что Мехмед-Али удержит занятую позицию, что Пруссия не тронется с места, что борьба предстоит непосредственно с Австрией, и главным образом в Италии, которую легко было бы революционизировать. Но он во многом ошибался. В Германии, и особенно в Пруссии, воинственный задор французов разбудил дремавшее национальное чувство. Наоборот, Австрия очень не желала войны, и Меттерних даже прямо давал

знать Людовику-Филиппу, что если он хочет доказать свои миролюбивые чувства, то пусть даст отставку такому министру, как Тьер. Но Людовик-Филипп уже и сам подумывал о том, чтобы отделаться от министра, решительность которого он находил излишней. В октябре 1840 г. на жизнь короля было совершено одно из покушений, которых было так много при Людовике-Филиппе. Каждый раз в народной массе это усиливало популярность короля. Теперь он и воспользовался благоприятным моментом, чтобы отделаться от Тьера. В конце того же месяца должна была открыться сессия палат, и Тьер представил королю проект тронной речи, но Людовик-Филипп нашел ее слишком воинственной, предложив, со своей стороны, другой текст этой речи. Результатом этого разногласия была отставка Тьера и его товарищей. Образование нового министерства было поручено маршалу Сульту, настоящим же его главой с самого начала был Гизо, призванный к заведованию иностранными делами. Любопытно, что до этого Тьер уже два раза подавал в отставку, но она не принималась, и даже не только король, но и королева умоляли Тьера не оставлять их ради спасения династии. Тьер делал уступки правительству, чем возбуждал против себя общественное мнение, начинавшее все с большим и большим недоверием относиться к правительству.

Новое министерство отличалось характером консервативным и миролюбивым, т. е. вполне соответствовало настроению Людовика-Филиппа и тому, что давно ему советовал Меттерних. Людовик-Филипп не особенно любил Гизо, который уже ранее бывал министром, в данный же момент занимал пост французского посланника в Лондоне: очень многие думали, что новое министерство будет непрочно подобно всем предыдущим министерствам. На деле вышло совсем не так: «министерство 29 октября 1840 г.» держалось у власти во весь второй период июльской монархии, когда вся внутренняя и внешняя политика французского правительства направлялась полным единодушием короля, министерства и большинства обеих палат. Опасный кризис был пережит. Гизо поставил своей задачей восстановить мир между июльской монархией и остальной Европой. Какова была его внутренняя политика, мы еще увидим это впоследствии. Если Пальмерстон продолжал держаться прежнего вызывающего образа действий, то Меттерних, наоборот, готов был всячески содействовать Гизо в исполнении поставленной им себе задачи. Пруссия без Австрии не решалась на войну, которая должна была бы разыграться на Рейне. И вот обе державы, несмотря на оппозицию со стороны России и крайнее неудовольствие Англии, сами начинают хлопотать о том, чтобы Франция была принята в европейский концерт. Под их влиянием четверной союз уже в начале 1841 г. согласился смягчить свои требования в восточном вопросе, и между Францией, с одной стороны, и четырьмя державами — с другой, начались переговоры в более миролюбивом тоне. Мало того, между Францией и Англией возобновилось

более тесное сближение, и в период времени 1843—1845 гг. английская королева Виктория дважды посетила Францию, а Людовик-Филипп побывал в Англии. Этому новому сближению весьма сильно содействовало и то обстоятельство, что в Англии около этого времени либеральное министерство должно было уступить место министерству консервативному. «Сердечное согласие», о коем официально стали говорить оба правительства, соединяло, однако, только правительства, потому что обе нации, наоборот, продолжали относиться одна к другой по-прежнему враждебно. Независимо от этого, июльская монархия продолжала стремиться к тому, чтобы действовать в полном согласии с венским двором, хотя и Людовик-Филипп и Гизо очень хорошо понимали, что слишком явная дружба с Австрией могла постоянно создавать неприятности и затруднения правительству внутри страны. Мы видели, что в течение нескольких лет (1834—1840 гг.) Людовик-Филипп постоянно стремился войти в более тесные сношения с Австрией; Гизо продолжал ту же политику и сносился с Меттернихом по наиболее важным вопросам политики. Общее брожение, происходившее в сороковых годах и грозившее установившимся порядкам, одинаково беспокоило и Гизо, и Меттерниха. И это беспокойство внушало им обоим одинаковый образ действий в духе строгого консерватизма и упорного сопротивления каким бы то ни было попыткам изменить установившиеся отношения. Так кончился кризис 1840 г. в то самое время, как и внутри Франции, по-видимому, заглохли последние отголоски Июльской революции. Политика «сопротивления» торжествовала над политикой «движения».

И восточные дела были улажены. Мехмед-Али вынужден был подчиниться, и даже отказаться от Сирии, и вскоре после этого (1841 г.) конвенция всех великих держав с султаном объявила Босфор и Дарданеллы закрытыми для военных судов всех наций. Франция уже участвовала в этой конвенции о проливах и, таким образом, оказалась снова принятой в европейский концерт. Как ни старалось, однако, правительство Людовика-Филиппа поддерживать дружественные отношения с Англией, все-таки постоянно возникали поводы для новых несогласий. Самыми важными поводами в середине сороковых годов был проект таможенного союза с Бельгией и так называемые испанские браки. Возникновение в Германии прусского таможенного союза, заключившего в начале сороковых годов торговые договоры с Турцией, Англией и Голландией, было крайне неблагоприятно для торговых интересов Бельгии, а также и Франции, и вот возникла мысль об образовании подобного же таможенного союза между Францией и Бельгией, к которому предполагалось присоединить и Швейцарию. Англия протестовала против этого плана, так как его осуществление повлекло бы за собой и политическое подчинение Бельгии соседней с нею великой державе, а это нарушило бы трактаты 1815 г. Французское правительство возражало на это, указывая на то, что дозво-

ленное Пруссии по ту сторону Рейна не может быть запрещено Франции по эту сторону, но требование Англии было поддержано тремя абсолютными монархиями, и Франция должна была уступить: мысль о франко-бельгийском таможенном союзе была оставлена (1840 г.). И в Испании снова произошло столкновение между планами обоих конституционных государств. Людовик-Филипп, всегда хлопотавший о том, чтобы обогащать и хорошо пристраивать своих детей, задумал женить одного из своих сыновей, герцога Монпансье, на младшей сестре молодой испанской королевы и заручился на этот счет согласием лондонского двора, причем было решено, что сама Изабелла выйдет замуж за одного из бурбонских принцев, и как только у нее родится ребенок, состоится брак и герцога Монпансье. Но Франция и Англия имели в виду для Изабеллы разных женихов, хотя и родных братьев, кузенов Изабеллы. Королева-мать, со своей стороны, не хотела ни того ни другого, и английский посланник в Мадриде предложил ей третьего — принца Кобургского. Из-за этого начались несогласия, которые привели к формальному разрыву. Пальмерстон протестовал против нарушения конституции в Испании, а Франция добилась того, что обе дочери Христины одновременно вышли замуж за женихов, выставленных французским правительством. Англия объявила подобный образ действий некорректным, и «сердечное согласие» с ее стороны было признано утратившим свою силу. Это новое охлаждение между обеими конституционными державами тотчас же отразилось на политике, с одной стороны, абсолютных монархий, с другой стороны, самой Франции.

В другом месте будет еще идти речь о политическом движении среди поляков в середине сороковых годов. Результатом этого движения было то, что в начале 1846 г. вольный город Краков снова был занят военным отрядом от имени трех соседних держав. Вместе с этим по инициативе русского правительства в Берлине собралась конференция трех держав, на которой русский уполномоченный предложил присоединение Кракова к Галиции, т. е. отдачу его Австрии. Это было нарушением трактатов 1815 г., а потому во Франции и Англии имели полное основание протестовать против подобного намерения. Гизо по этому поводу отправил в Вену дипломатическую ноту, а Пальмерстон решительно заявил в палате общин, что, «если Венский трактат нехорош на берегах Вислы, то он должен быть одинаково дурен как на берегах Рейна, так и на берегах По». Поэтому Австрия, Пруссия и Россия не решились действовать сразу, и заседания конференции были перенесены в Вену. Абсолютные монархии заявили даже, что это присоединение будет только временным, и лишь ожидали более благоприятного момента для того, чтобы положить конец существованию Краковской республики. Такой момент наступил, когда Франция и Англия поссорились из-за испанских браков, и каждая стала стремиться к тому, чтобы расположить в свою пользу три великие державы. Англий-

ское правительство особенно хлопотало, чтобы убедить Европу, что Франция желает нарушить политическое равновесие в свою пользу, подчиняя Испанию своему влиянию. Австрия, а за нею и две другие державы ответили, что, не признавши Изабеллу испанской королевой, они лишены возможности делать ей какие-либо представления относительно ее брака; этот ловкий ответ, в сущности, был в пользу Франции. Он еще более отдалил Францию от Англии, наоборот, сблизив еще более Австрию и Францию. В это время Меттерних, которого беспокоили первые признаки начинавшихся национальных движений, сам особенно искал сближения с французским правительством, расточая перед Гизо самую неумеренную лесть. Французский министр шел навстречу заискиваниям Меттерниха. «Мы боремся, — писал Гизо австрийскому канцлеру, — мы боремся, вы и я, — осмеливаюсь так думать, — чтобы обереечь или излечить современные общества, и в этом заключается наш союз. Только при содействии Австрии французской консервативной политике можно успешно бороться с революционным и анархическим духом» (1847 г.). Таким образом, Гизо прямо заявлял о своей солидарности с главным представителем европейской реакции с 1815 г. Понятно, что при таких условиях Австрия могла без всяких затруднений присоединить к своим владениям Краков, вознаградив Россию и Пруссию прирезкой к их владениям незначительных округов. Замечательно, что это событие совершилось всего через несколько дней после брачных церемоний, имевших место в Мадриде. Правда, под влиянием общественного мнения Гизо предложил Пальмерстону сообщать протестовать против нарушения международных трактатов, но английский министр отклонил это предложение, и обе державы протестовали порознь — прямо, что называется, для очистки совести.

В годы, непосредственно предшествовавшие революции 1848 г., французскую и австрийскую дипломатию одинаково беспокоили события в Швейцарии и Италии, и оба правительства стремились поддержать существовавшие порядки в то самое время, как английское министерство, наоборот, поощряло партии, добивавшиеся перемен. Но на самом деле, стремясь к одной и той же цели, Гизо и Меттерних не могли относиться друг к другу с полным доверием, тем более что обоим приходилось еще считаться с неодинаковыми в обоих случаях условиями своего личного положения. Вместо того чтобы идти рука об руку, они скорее друг другу мешали, нейтрализовали деятельность один другого. Гизо и Меттерних, можно сказать, соединились между собой только для того, чтобы одновременно упасть в яму, которая разверзлась перед ними. Но политика Гизо была, в сущности, политикой самого Людовика-Филиппа, а союз июльской монархии с главной представительницей политической реакции в центре Европы был только логическим выводом из того принципа, которого этот король счел нужным держаться еще в 1830 г.

VIII. Реакция тридцатых годов в Германии¹

Репрессивные меры, вызванные в Германии революционными движениями начала тридцатых годов. — Гамбахский праздник и франкфуртское покушение. — Новые репрессивные меры. — Постановления венской министерской конференции. — Стеснение представительных учреждений. — Отмена ганноверской конституции. — Реакция в других немецких конституционных государствах. — Цензурные строгости. — Успехи клерикализма. — Церковный спор в Пруссии. — Черты австрийской и прусской реакции. — Таможенный союз. — Возрождение национальных стремлений

Брожение, вызванное в Германии Июльской революцией, улеглось не сразу. Мы видели, что в Северной Германии осенью 1830 г. произошло несколько восстаний, имевших своим результатом конституционные изменения, и что в Южной Германии оживилась оппозиционная деятельность палат. В Бадене Велькером сделано было даже предложение (1832 г.) об учреждении общегерманского парламента, но, в общем, все эти движения имели местный характер и не были между собой связаны сколько-нибудь тесным образом. Зато правительства продолжали действовать солидарно при помощи чисто полицейских мер. Еще 21 мая 1830 г. ввиду уже тогда существовавшего общественного недовольства союзный сейм принял ряд мер, дабы остановить общественное волнение: члены Германского союза должны были оказывать друг другу военную помощь и сообщать союзному сейму обо всех нарушениях порядка; вместе с этим рекомендовалось усилить бдительность цензуры. В октябре того же года союзный сейм сделал постановление, запрещавшее подачу каких бы то ни было коллективных адресов и заявлений по вопросам внутреннего устройства Германии. Эти меры были одобрены императором Николаем I, приславшим за них союзному сейму свою благодарность. В то самое время, как южногерманские либералы не скрывали своего сочувствия к французам и вступали в сношения с эмигрантами, а также с Францией, Польшей и Италией, немец-

¹ Кроме соч., указанных в гл. III, см.: *Deventer Van*. Cinquante années de l'histoire fédérale de l'Allemagne, 1870; *Kaltenborn*. Geschichte der deutschen Bundesverhältnisse und Einheitsbestrebungen, 1857; *Droysen*. Abhandlungen zur neueren Geschichte, 1876; *Wirth*. Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach, 1832; *Strieker*. Das Frankfurter Attentat, 1875; *Grotefend*. Geschichte der allgemeinen landständischen Verfassung des Königreichs Hannover von 1817 bis 1848, 1857; *Oppermann*. Zur Geschichte des Königreichs Hannover von 1830 bis 1860, 1860—1862; *Natzmer Von*. Unter den Hohenzollern. Aus der Zeit Friedrich-Wilhelms III, 1888; *Hase*. Die beiden Erzbischöfe, 1839; *Maurenbrecher*. Die preussische Kirchenpolitik und der Kölner Kirchenstreit, 1881. Литература по истории таможенного союза указана в т. IV. Кроме того, см.: *Worms E*. L'Allemagne économique ou histoire du Zollverein allemand.

кие правительства готовились к борьбе с Францией, для чего Пруссия предложила другим членам Германского союза ввести в нем общую военную организацию. Правда, когда опасность французского вторжения миновала, это предприятие было оставлено, но оно указывало на то, что, когда немецким правительствам грозила общая опасность, они умели соединяться вместе из чувства самосохранения. Внутренний враг — революция — беспокоил их не менее, если не более, внешнего врага, каким являлась Франция.

Особенно сильно было либеральное настроение на Рейне, в Бадене, в Гессене и преимущественно в баварском Пфальце. Здесь газеты пользовались большей свободой, и представлялась возможность созывать народные собрания. Несколько публицистов взяло на себя задачу распространять идеи политической свободы в народных массах. Особенно на этом поприще прославились доктора Вирт и Зибенпфейфер. Им-то и принадлежала инициатива большой политической демонстрации, устроенной либералами в конце мая 1832 г. в замке Гамбах недалеко от Нейштадта. На это празднество «в день рождения баварской конституции» собралось около 30 000 народа. Манифестация вышла грандиозная. Говорились зажигательные речи, провозглашались революционные тосты — за Германию, за Польшу, за Францию, за каждый народ, сбрасывающий с себя цепи рабства, за союз немецких республик, за превращение всей Европы в единую федеративную республику. Среди организаторов этого праздника в честь свободы явилась даже мысль образовать временное правительство для будущей свободной Германии, но мысль эта в исполнение не была приведена. Подобные же празднества были устроены и в некоторых других городах Юго-Западной Германии. Немедленно после этого происшествия на Гамбах двинулся с войском князь Вреде, и главные агитаторы были арестованы. Гамбахский праздник, конечно, должен был сильно встревожить немецкие правительства, и Меттерних писал тогда президенту союзного сейма, что если сумеет искусно воспользоваться гамбахским происшествием, то от этого будет большой праздник и на улице благонамеренных людей. Так и случилось. В конце июня и начале июля того же самого года союзный сейм снова принял ряд реакционных мер, часть которых была еще в сентябре 1831 г. выработана Австрией и принята Пруссией. Одни из этих мер были направлены против самостоятельности земских чинов, права коих и сфера деятельности подлежали всяким ограничениям. С другой стороны, сейм запрещал издавать без правительственного разрешения политические сочинения менее двадцати листов, а также запрещал политические союзы, народные собрания и празднества, политические речи и адреса, равно как употребление знамен, флагов, лент и кокард неустановленных цветов. Прежние постановления, касавшиеся надзора за университетами, подлежали строгому исполнению. Полиция должна была бдительно наблюдать

за поведением всех подозрительных людей, между прочим, и иностранцев. Политические беглецы должны были быть выдаваемы. Все эти меры тотчас же стали приводиться в исполнение. Многие газеты были запрещены, а некоторым публицистам и впредь не дозволялось издавать газеты. Земский сейм в курфюршестве Гессен-Кассельском вздумал было протестовать, и за это был распущен. То же самое случилось и с вюртембергским ландтагом.

Все эти и другие подобные меры только усиливали неудовольствие оппозиционных элементов. Стали возникать тайные общества; некоторые из этих организаций поставили своей задачей издавать революционные листки и брошюры. Как и за двадцать лет перед тем, политическое брожение проникло также в среду университетской молодежи. Стали создаваться планы насильственного переворота, и даже была сделана попытка совершить подобный переворот, овладев Франкфуртом, где заседал союзный сейм. Вечером 3 апреля 1833 г. человек 50 заговорщиков, — большей частью студенты из Гейдельберга, Геттингена, Вюрцбурга и Эрлангена, вместе с некоторыми франкфуртскими гражданами и несколькими поляками, — сделали нападение на гауптвахту, убили несколько солдат и стали призывать народ к провозглашению республики. На помощь заговорщикам должно было явиться около трехсот крестьян и около такого же количества польских эмигрантов из Швейцарии. Но прежде, нежели они подошли, заговорщики встретили сопротивление со стороны военного отряда и должны были спастись бегством. Ответом на франкфуртское покушение было образование (по сеймовому постановлению 30 июня того же самого года) центральной следственной комиссии, которая должна была заседать во Франкфурте и состоять из австрийских, баварских, вюртембергских и великогерцогско-гессенских членов. Хотя компетенция этой комиссии и не была столь широкой, как компетенция прежней комиссии, заседавшей в Майнце, но действовала она, в сущности, совершенно так же в течение почти десяти лет, разыскивая следы тайных обществ и революционных планов, подвергая арестам и судебным преследованиям сотни разных лиц и повсеместно поощряя шпионство и доносы. Многие немецкие либералы в эту эпоху лишились своих должностей, сажались в тюрьму на более или менее продолжительные сроки и даже приговаривались к смертной казни, хотя последняя и не приводилась в исполнение. Военная сила стала пускаться в ход при самых незначительных нарушениях порядка — и даже в таких случаях, когда и нарушения порядка никакого не было. Например, в 1833 г. несколько нейштадтских граждан устроили маленькую пирушку в годовщину гамбахского празднества и за это подверглись грубому солдатскому нападению. Понятие государственной измены сделалось до такой степени растяжимым, что весьма многие немцы предпочитали в эту эпоху эмигрировать за границу, преимущественно в Швей-

царию и во Францию, нередко и в Америку, из простого опасения быть как-нибудь обвиненными в государственном преступлении. Ввиду того, однако, что Швейцария сделалась главным убежищем политических изгнанных, немецким студентам стали запрещать ездить учиться в Бернский и Цюрихский университеты. Но правительства не удовлетворялись одними теми мерами, которые были приняты союзным сеймом в 1832 г., и пошли еще далее.

В 1834 г. по инициативе Меттерниха в Вену съехались министры наиболее значительных немецких государств и составили тайные постановления, которые, вторгаясь в компетенцию союзного сейма, в то же самое время наносили удар конституционным учреждениям в тех германских землях, в коих таковые существовали. Союзный сейм не протестовал против постановлений венской министерской конференции и даже, насколько от него зависело, содействовал их проведению в жизнь. Первыми параграфами (1—14) этого акта учреждался для разбора пререканий между немецкими государями и земскими чинами третейский суд, но до 1848 г. не было ни одного случая, когда бы такой суд собирался. Следующими затем статьями (15—27) ограничивались права земских чинов. Правительствам запрещалось расширять компетенцию земских чинов и предписывалось распускать сеймы, которые стали бы отказывать союзному сейму в необходимых средствах или не хотели бы утверждать налоги. Вместе с этим земские чины лишались права обсуждать постановления союзного сейма и чем бы то ни было стеснять деятельность местных правительств, например, давая согласие на налоги под условием исполнения каких-либо требований. Правительства не должны были, кроме того, терпеть, чтобы военные приносили присягу конституции. Особыми параграфами (28—37) устанавливались правила, коим должна была подвергнуться печать. Отдельным правительствам предлагалось, по возможности, сокращать число политических газет, давать разрешения на издания новых газет лишь вполне благонадежным лицам, да и то с оговоркой, что данное разрешение может быть всегда взято назад. Вместе с этим усиливались цензурные строгости, и, например, дозволение напечатать книгу, данное в одном государстве, еще не решало вопроса о ее свободном обращении в других государствах. Должно было требоваться также разрешение цензуры для печатания отчетов о заседаниях земских сеймов во всех вообще немецких государствах. Такой же характер имели параграфы (38—54), касавшиеся университетов, профессоров и студентов, подчинявшихся особенно строгому надзору правительственных комиссаров. Последними параграфами определялся порядок введения новых правил, большая часть которых должна была храниться в секрете, и определялся срок их действия шестью годами. В 1841 г. действие этих постановлений было продолжено еще на шесть лет. Реакция, предводимая Австрией и Пруссией, действовала впол-

не солидарно, пользуясь, вдобавок, поддержкой со стороны России, особенно благодаря свиданиям трех монархов в 1833 и 1835 гг.

Преимущественно в прусских придворных и военных кругах все более и более утверждалась мысль о том, что только в тесном союзе с русским императором Пруссия может иметь какое-либо будущее и что Россия же является главной опорой всех консервативных интересов. Строго консервативная политика обеих больших немецких монархий оказала свое влияние и в тех частях Германии, в коих существовали конституционные учреждения. Местные правительства предпринимали самые разнообразные меры для того, чтобы ослабить представительные учреждения. При выборах в палаты пускались в ход административное давление, подкупы, застрашивание. Разными способами старались не допускать в палаты сколько-нибудь независимых людей, и, например, в Баварии было признано, что адвокаты, врачи, члены городских магистратов находятся на государственной службе и потому могут исполнять обязанности депутатов лишь с дозволения начальства. Права, признанные за представительными учреждениями, подвергались разного рода урезыванию и даже делались предметом спора, а если большинство выражало свое сочувствие к какому-либо проекту, который был неприятен для правительства, то палату распускали, причем выборы подвергались всяким стеснениям, лишь бы только новое большинство было благоприятно министерству. Правда, в этих фактах не было ничего нового сравнительно с предшествовавшей эпохой, но они, несомненно, усилились. Было бы слишком долго перечислять все случаи стеснения политической свободы в тех немецких государствах, которые пользовались конституционными учреждениями, тем более что большая часть этих случаев проходила, так сказать, бесследно. Только один эпизод в этой борьбе против представительных собраний наделал большого шума.

В Ганноверском королевстве, получившем конституцию в 1833 г., произошла в 1837 г. важная перемена. Именно в этом году умирает король Вильгельм I, который, кроме того, царствовал в Англии под именем Вильгельма IV. Так как законы о престолонаследии в Англии и Ганновере были различные, а у покойного короля не было прямого потомства, то английская и ганноверская корона, соединенные на одной и той же голове с 1714 г., достались теперь разным лицам. В Англии воцарилась племянница короля, юная принцесса Виктория, а в Ганновере сделался королем ее дядя герцог Кумберландский Эрнст-Август. Новый король не захотел признать только что за четыре года перед тем введенной конституции. Извещая подданных о своем вступлении на престол, он объявил вместе с тем, что не считает для себя обязательным государственный закон 1833 г. как нарушающий права верховной власти и притом изданный без согласия принцев королевского дома. Последнее утверждение было прямо неправильно. На самом деле, будучи еще герцогом Кумберландским, Эрнст-Август дал свое согласие на но-

вую конституцию и на включение доменов в государственные имущества, взамен чего король должен был получать определенное содержание из государственной казны. Воспитанный в строго торийских принципах, грубый и необразованный, новый ганноверский король отличался, вдобавок, лживостью и расточительностью. Один из его клеветников, бывший в то же время вождем дворянской партии, Шееле, уверил его, что государственный закон 1833 г. имеет демократический характер. С другой стороны, ему хотелось вполне распоряжаться доменами как своей частной собственностью, потому что ему нужны были деньги для уплаты многочисленных долгов, которые он успел наделать раньше. Объявляя о недействительности конституции, утвержденной его преемником, Эрнст-Август разрешал от присяги на верность ей всех «королевских слуг», как официально были при этом названы ганноверские чиновники. Вместе с этим восстанавливалось старое государственное устройство 1819 г., дававшее перевес дворянству и чиновничеству. Этот государственный переворот произвел сильное впечатление на страну; но общественная жизнь так мало была развита, что фактически отмена королем конституции была принята беспрекословно. На защиту попранного права решились лишь семь ученых, занимавших в то время разные кафедры в Геттингенском университете. Считая себя связанными присягой на верность отмененной конституции, они составили и опубликовали свой протест, произведший значительное впечатление в Германии и за ее пределами.

Эти профессора были крупные представители науки: филологи братья Гримм, историки Дальманн, Гервинус и Эвальд, юрист Альбрехт и физик Вильгельм Вебер. Результатом этого протеста было то, что королевским рескриптом они увольнялись от своих должностей, а трое из них (Дальманн, Яков Гримм и Гервинус) в три дня должны были оставить страну. Главным инициатором этого протеста был Дальманн, которому принадлежала и его редакция, и он на этом еще не остановился, издав потом в защиту свою и своих товарищей особую брошюру. В ней он указывал на то, что дело касается не одного Ганновера, а всей Германии, и ее будущего. «Я, — говорил он здесь, между прочим, — веду борьбу за бессмертного короля, за закономерную волю правительства, пользуясь оружием закона против того, что в данную минуту предпринимает смертный король в полном несогласии с существующими законами». Равным образом и Я. Гримм написал брошюру о своей отставке, в которой заявил, что, пока он жив, он будет радоваться тому, что поступил таким образом. И другие подписавшие протест в особых статьях сочли нужным объяснить свой образ действий; но правительство конфисковало подобные заявления. Всем этим общественное мнение Германии было весьма сильно возбуждено. В пользу отставленных профессоров делалась подписка, и многие хлопотали о том, чтобы найти для них новое поле деятельности. За братьев Гримм горой стоял Савиньи, желавший видеть их в Берлинском университете, но ему

не удалось достигнуть своей цели. Только Альбрехт получил место в Лейпциге, да Эвальд в Тюбингене. Даже многие консервативно настроенные люди выражали свое сочувствие «семи геттингенцам», как стали звать этих профессоров.

В 1838 г. собрался в Ганновере сейм, избранный на основании закона 1819 г.; но когда земские чины сделали заявление, что не признают себя вправе считать государственный закон 1833 г. отмененным, им предписано было разойтись. Обращение некоторых противников ганноверского государственного переворота к союзному сейму также не привело ни к чему, ибо союзный сейм объявил, что это касается внутренних дел Ганновера, в которые он не имеет права вмешиваться. Только южногерманские государства с Баварией во главе высказались за то, чтобы в Ганновере был восстановлен законный порядок. С особенной энергией стал в это время защищать отмененную ганноверскую конституцию оснабрюкский бургмейстер Штюфе, запросивший по этому вопросу мнения некоторых юридических факультетов (иенского, гейдельбергского и тюбингенского). Так как эти факультеты высказались не в пользу ганноверского правительства, то было несколько случаев отказа платить налоги по требованию этого правительства; но последнее прибегло к описи имущества протестовавших. В сейме, который несколько раз собирался и снова распускался, точно так же возникла оппозиция, но правительство не обращало на нее никакого внимания. Например, когда весьма многие сеймовые депутаты заявили, что они не могут заседать в собрании, избранном противозаконно, правительство заменило их другими членами, не имевшими большинства голосов на выборах. Мало-помалу оно добилось своего, и в августе 1840 г. ганноверские земские чины самым незначительным большинством утвердили новый государственный закон, отменявший конституцию 1833 г. По вопросам законодательным за ганноверским ландтагом признавалось теперь только право высказывать свое мнение, да и то заседания были сделаны не публичными. От каждого депутата требовалось, чтобы он до вступления своего в состав сейма заявлял, что безусловно признает этот основной государственный закон 1840 г. Ответственность министров совершенно отменялась, а домены отдавались в полное распоряжение короля. Против протестовавших, а в их числе и против Штюфе, были начаты разные гонения. В конце концов, Эрнсту-Августу удалось достигнуть совершенного прекращения какой бы то ни было оппозиции в своем королевстве; но в других немецких государствах нарушение ганноверской конституции долго еще служило предметом горячих дебатов и протестов.

Нечто подобное происходило и в Гессен-Касселе, который в 1831 г. получил довольно либеральную конституцию. В 1832 г. во главе управления в этом государстве стал министр Гассенфлуг, который проводил в жизнь идею абсолютизма. Преемники его действовали в том же направлении.

Даже в южногерманских государствах, где конституционные порядки введены были гораздо ранее, правительства всячески стесняли их деятельность. В министерство Абеля (1837—1848 гг.) в Баварии прямо ожидали низвержения конституции подобно тому, как это случилось в Ганновере. Быть может, только слишком послушное поведение палат спасало баварскую конституцию от уничтожения. В Вюртемберге, где реакция имела сравнительно-умеренный характер, сеймы в тридцатых и сороковых годах тоже вели себя довольно покорно. Некоторое оживление политической жизни наблюдалось только в Бадене, где сформировалась весьма значительная либеральная партия, игравшая видную роль на сеймах и даже оказывавшая влияние на правительство. Но и здесь в 1838 г., когда во главе министерства стал барон Блиттерсдорф, началась реакция, сопровождавшаяся довольно частыми нарушениями конституции. Но эта реакция только обострила оппозицию, которая в сороковых годах выделила из своей среды особую радикальную партию. Наконец, и в Гессен-Дармштадте, и в герцогстве Нассауском министры, пользовавшиеся доверием своих государей, не обращали никакого внимания на земские сеймы, совершали постоянные нарушения конституционных законов и принимали всякие произвольные меры против неприятных им людей. Во всех этих случаях правительства средних и мелких немецких государств пользовались сочувствием, поддержкой и даже помощью главного представителя общенемецкой реакции, Меттерниха. Пруссия, находившаяся снова в союзе с Австрией, в общем, благоприятствовала такому реакционному направлению внутренней политики средних и мелких немецких государств. Император Николай I, со своей стороны, действовал в том же направлении, и, например, в борьбе из-за ганноверской конституции сочувствие его было всецело на стороне Эрнста-Августа.

Подобно тому как это было и в предшествовавший период, и в описываемую эпоху со стороны правительств предпринимались разные меры против печати и университетского преподавания. В обоих отношениях тридцатые и сороковые годы обильны всякого рода преследованиями и запрещениями. Со случаями подобного рода мы встречаемся в большей части немецких государств. В Саксонии с особой силой выразилось это направление в сороковых годах, когда, например, был запрещен журнал Арнольда Руге («*Deutsche Jahrbücher*»¹). В Гессен-Касселе большого шума наделала отставка марбургского профессора юриспруденции Иордана (1839 г.). Обвиненный в государственной измене на основании самых незначительных улик, он был посажен на четыре года в тюрьму, после чего был приговорен к пятилетнему заключению в крепости за «содействие попытке государственной измены тем, что не воспротивился преступному

¹ «Немецкий ежегодник» (нем.). — Прим. ред.

предприятию посредством доноса». В Баварии, где реакция получила прямо клерикальный характер, на некоторое время закрывали Мюнхенский университет из-за самых незначительных беспорядков, имевших в нем место. Введенная Абелем цензура была столь же строга, как и австрийская, потому что этот министр считал печать самой подлой блудницей, а в журналистах видел извергов рода человеческого. Профессорская деятельность даже таких людей, как Шеллинг и Баадер, подвергалась всевозможным стеснениям. Только строго католическое направление пользовалось поддержкой, а некоторые профессора прямо фанатизировали студентов. В Вюртемберге печать и университетское преподавание тоже подвергались стеснениям, и в числе профессоров, вообще отставленных в эту эпоху от должности, был знаменитый тюбингенский профессор Роберт Моль (1845 г.). К подобного же рода фактам относятся в Бадене закрытие Фрейбургского университета и увольнение профессоров Роттека и Велькера (1832 г.). Упомянутый выше Блиттерсдорф ввел в Бадене весьма строгую цензуру. Особенности стеснения повсеместно встречали сколько-нибудь независимые газеты. В некоторых немецких государствах формально запрещалось обсуждать внутренние дела. Неприятные газеты почта отказывалась пересылать подписчикам, и вследствие этого, равно как вследствие судебных преследований, многие издания должны были прекратиться. Бывали даже случаи, что подвергались наказанию издатели сочинений, пропущенных цензурой. Некоторые издательские фирмы были прямо на дурном счету у властей, и деятельности таких фирм устраивали всякого рода препятствия. Особенно, например, любопытно то, что в 1835 г. союзный сейм наложил свой интердикт на сочинения некоторых писателей не только вышедшие, но и на те, которые могли бы только выйти впоследствии. В этот список попали представители так называемой «молодой Германии», в их числе Гейне и Гутцков: все они официально были признаны писателями крайне опасными. Любопытно еще, что в Баварии за проступки по делам печати приговаривали, между прочим, к публичному покаянию перед портретом короля.

Эта реакция в католических странах, особенно в Баварии и в прирейнских землях, принимала совершенно клерикальный, ультрамонтанский характер. Немецкий католицизм конца XVIII и начала XIX в. отличался довольно либеральным характером, и католическое духовенство в тех государствах, где население принадлежало к разным вероисповеданиям, вообще было известно своей терпимостью и даже выделяло из своей среды людей, которые хорошо относились к протестантским пасторам и не прочь были ввести некоторые реформы в католическую церковь, например, брак священников, богослужение на народном языке и т. п. Но к началу тридцатых годов поколение католических священников, воспитанное в более широких взглядах, начало сходить со сцены и уступать место людям, выросшим

уже под влиянием общей реакции против идей XVIII в. Власти и дворянство повсеместно благоприятствовали притязаниям католического клира. Даже протестантские государи видели в католицизме своего рода опору общественного порядка. В Баварии в министерство Абеля протестантизм подвергался всяким стеснениям, и, например, в течение семи лет (1838–1845 гг.) протестанты, находившиеся на военной службе, должны были, несмотря на все протесты, преклонять колена перед католическими святынями. В тридцатых и сороковых годах католическое духовенство стало с особенным фанатизмом относиться к протестантам. Особенно вооружилось оно против смешанных браков, весьма часто встречавшихся в Германии.

Уже давно установился обычай, по которому сыновья следовали религии отца, а дочери — религии матери, если только брачный контракт не устанавливал какого-либо особого условия. В некоторых землях с населением, принадлежавшим обоим вероисповеданиям, указанный обычай получил силу закона. В 1825 г. Фридрих-Вильгельм III задумал распространить на западные провинции своей монархии закон, господствовавший в коренной Пруссии, по которому все дети от смешанных браков должны были воспитываться в религии отца, если только предварительно между мужем и женой не было особого соглашения поступать как-нибудь иначе. Епископы рейнских провинций по этому поводу обратились за указаниями в Рим, и папа Пий V в 1830 г. издал бреве¹, коим разрешал благословлять смешанные браки лишь под условием, чтобы жених и невеста обязывались воспитывать всех своих будущих детей в католической религии. Прусское правительство не приняло этого бреве и даже вошло в тайное соглашение с кельнским архиепископом Шпигелем, давшим согласие не приводить в исполнение папского закона, если, со своей стороны, прусское правительство отменит в прирейнских землях гражданский брак. Но преемник Шпигеля Дросте Фишеринг, отличавшийся крайним католическим фанатизмом, отказался следовать соглашению своего предшественника и, кроме того, заявил притязание быть полным господином в назначении и увольнении профессоров богословского факультета в Бонне. Тогда прусское правительство отрешило архиепископа от должности; при этом он был арестован и отвезен в Минденскую крепость (1837 г.). Из-за этого столкновения в Германии возгорелась горячая полемика между католиками и протестантами, и обе стороны одинаково доказывали, что защищают свободу, одни — свободу церкви от произвола светской власти, другие — свободу немецкой нации от римской курии. Католическое население прирейнской провинции стало на сторону архиепископа. Примеру Дросте скоро последовал и архиепископ Гнезненский Дунин, но и он тоже был заключен в крепость. Однако, прусское правительство весьма скоро пошло на уступки и даже отозвало из Рима своего

¹ Грамота папы римского с лаконичным изложением (от *лат.* breve < brevis — краткий) распоряжения по незначительному церковному вопросу. — *Прим. ред.*

посла Бунзена, который был неприятен курии. Фридрих-Вильгельм III весьма благоволил к своим католическим подданным, а его преемник, Фридрих-Вильгельм IV, решился во что бы то ни стало восстановить мир между государством и церковью. Хотя Дросте и не вернулся более на свою кафедру, Фридрих-Вильгельм IV сделал католическому духовенству всякие уступки, которые Дросте с большим удобством мог потом толковать в смысле полной победы церкви. Ультрамонтаны в Германии могли теперь повсеместно поднять голову. Они стали подражать французским и бельгийским клерикалам, которые еще в эпоху Реставрации поставили своей задачей вернуть церкви господство над государством и светской школой. За отсутствием в Германии конца тридцатых и начала сороковых годов серьезных политических интересов вероисповедная полемика, вызванная столкновением между прусской монархией и католической церковью, сильно занимала немецкое общество и снова возвращала его к той религиозной розни, от которой оно уже начинало освобождаться.

Вообще всей немецкой нации в эту эпоху задавало тон настроение, господствовавшее в обеих больших монархиях, в Австрии и в Пруссии. В обоих этих государствах после Июльской революции доживали свои последние годы монархи, принадлежавшие к предыдущим историческим периодам. В 1835 г. умер император Франц I, оставив престол своему сыну Фердинанду I, человеку весьма недалекому, бесхарактерному и, вдобавок, подверженному припадкам падучей болезни. Такой государь не в состоянии был изменить господствующей системы, и Меттерних по-прежнему оставался у власти. Все средства были пущены в ход, чтобы новый государь не вздумал изменить политики. Пустили даже в ход завещание, будто бы составленное покойным императором, и в этом завещании говорилось, что самое лучшее — не сдвигать с места ни одной основы государственного здания, ничего не изменять и во всем полагаться прежде всего на князя Меттерниха. Так как, однако, в высших австрийских кругах нашлись люди, которые не прочь были занять место Меттерниха, и это грозило придворными раздорами, то обратились за советом к императору Николаю I, и он приезжал на свидание с Фердинандом I в Теплице (1835 г.), где и было окончательно решено ничего не изменять в прежней системе управления.

Фридрих-Вильгельм III умер в 1840 г. В последние годы своего царствования он все сильнее и сильнее подчинялся принципам культурной и политической реакции. Особенно ревниво оберегал он права своей верховной власти, стараясь, однако, управлять так, чтобы у народа не могло родиться потребности заменить старую патриархальную систему новыми конституционными учреждениями. И во внутренней и во внешней политике он строго придерживался указаний, которые шли из Вены и Санкт-Петербурга. И он считал нужным во что бы то ни стало поддерживать существующий порядок. Еще в 1827 г. он написал духовное завещание,

в котором предостерегал своего преемника от господствующей вокруг страсти к новизне и от непрактических теорий, обращающихся в обществе; впрочем, к этому он прибавлял, что и предпочтение к старине не должно заходить слишком далеко. Внутри он рекомендовал заботиться о хорошем состоянии армии, во внешней политике — крепко держаться союза с Австрией и Россией. Это завещание было обнародовано после смерти короля, но в 1838 г. он набросал еще проект завещания с некоторыми весьма любопытными подробностями. Залогом порядка и законности объявлялись здесь существующие порядки. Король заявлял, что оставляет своему преемнику неограниченную власть, и выражал желание, чтобы ни один будущий государь Пруссии не изменял ничего в ее устройстве без согласия всех своих агнатов¹. Если бы понадобилось совершить заем, который по указу 1820 г. мог быть сделан лишь с гарантией государственных чинов, то последние должны быть образованы из выборных от провинциальных сеймов и равного им числа членов государственного совета под председательством лица, назначенного королем. Но компетенция такого собрания должна была бы ограничиваться только вопросом о займе. Этим распоряжениям Фридрих-Вильгельм III хотел придать значение фамильного закона прусского королевского дома, и на них действительно впоследствии ссылался, протестуя против конституционных планов Фридриха-Вильгельма IV, принц Прусский, будущий первый германский император. Таким образом, вот к чему свелись все конституционные обещания Фридриха-Вильгельма III: даже своим преемникам он, так сказать, запрещал самовольно изменять существующее устройство монархии.

В эту эпоху Реакции только в одной области государственной жизни немецкого народа совершалась в высшей степени важная перемена, начало которой было, впрочем, положено еще в эпоху Реставрации. Существование таможен между отдельными немецкими государствами крайне неблагоприятно отражалось на внутренней торговле Германии, и уже около 1820 г. отдельные соседние государства начали вступать между собой в частные таможенные союзы, из коих особенное значение получили союзы, заключавшиеся Пруссией с некоторыми из ее соседей. Несмотря на то что уничтожения таможен требовали материальные интересы отдельных немецких государств, политический партикуляризм был до такой степени силен, что зарождавшийся, благодаря почину Пруссии, общегерманский таможенный союз с разных сторон встречал противодействие.

Особенно недовольна была Австрия, которая постоянно соперничала с Пруссией в делах общегерманского характера. В 1828 г. ей удалось устро-

¹ От *лат.* *agnatus* — родственник по отцу. В древнеримском праве агнаты — все члены семьи, происходящие по мужской линии от одного родоначальника; в праве германских народов — кровные родственники-мужчины, связанные происхождением по мужской линии. — *Прим. ред.*

ить особый торговый союз, в состав коего вошли Саксония, Ганновер, Гессен, Ольденбург, Нассау, Брауншвейг и еще некоторые мелкие княжества, равно как вольные города Бремен и Франкфурт. Вызванный только недоверием к Пруссии и к ее таможенному союзу, этот союз, в сущности, совсем не объединял входивших в его состав государств, но все-таки сильно мешал Пруссии. Впрочем, он весьма скоро распался, и в тридцатых годах одно за другим стали присоединяться к прусскому союзу отдельные государства, раньше относившиеся к нему враждебно. Не только партикуляристические стремления, имевшие весьма часто строго консервативный характер, сталкивались с объединительной политикой Пруссии, но в большинстве случаев и либералы в отдельных немецких государствах весьма косо смотрели на придуманный Пруссией таможенный союз, опасаясь усиления Пруссии с ее пиетестическим¹, милитаристическим и бюрократическим режимом. С этой стороны таможенный союз тоже встречал немалые препятствия. Наконец, и иностранные державы, сколько могли, мешали экономическому объединению Германии. Однако положительная экономическая необходимость оказывалась более могущественною, чем все перечисленные препятствия, и с 1 января 1834 г. большая часть немецких государств (7720 кв. м и 23 млн жителей) входила в состав таможенного союза. Те государства, которые до этой даты не вошли еще в состав союза, стали одно за другим примыкать к нему, и в 1842 г. союз охватывал около 8250 кв. м с 28,5 млн населения. Нассау и Франкфурт, присоединившиеся к союзу в 1836 г., сначала для того только, чтобы не подчиняться прусской таможенной системе, заключили крайне унижительные для себя договоры — Нассау с Францией, а Франкфурт с Англией. Франция даже обязала (1833 г.) нассауское правительство в течение пяти лет не примыкать к таможенному союзу; но выполнить это условие оказалось невозможным. Какие, однако, несогласия были возможны между самими членами таможенного союза, показывает следующий случай, относящийся к началу сороковых годов. Висбаденское правительство задумало в интересах торговли произвести некоторые улучшения в Бибрихской гавани; но правительство гессен-дармштадтское увидело в этом посягательство на торговые интересы Майнца и потому решилось искусственно произвести обмеление нассауского берега, для чего приказало в надлежащем месте опускать на дно Рейна барки, нагруженные камнем. Некоторые государства упорно держались в стороне от таможенного союза и впоследствии, а именно, с одной стороны, Австрия на юге, а с другой стороны, приморские государства на севере, т. е. Ганновер, Ольденбург, Мекленбург, Брауншвейг и три вольных города: Гамбург, Любек и Бремен. Наибольшее упор-

¹ От *lat.* *pietas* — благочестие. Пиетизм — течение, возникшее в лютеранстве в конце XVII в., имевшее целью усиление влияния религии на основе строгого благочестия и религиозного подвижничества в повседневной жизни. — *Прим. ред.*

ство в этом партикуляризме обнаружил Ганновер, который даже устроил с Ольденбургом и Брауншвейгом в 1834 г. свой частный союз, хотя впоследствии (1851 г.) и он должен был примкнуть к прусскому союзу. Мекленбург даже совсем держал себя особняком.

В другом месте уже было упомянуто о том, что образование таможенного союза оказало значительное влияние на промышленное и торговое развитие Германии. В самом деле, в десять лет с 1834 по 1844 г. ввоз и вывоз поднялся с 250 млн талеров до 385 млн, а таможенные доходы с 12 млн до 21 млн. Особенно благоприятно отразилась эта перемена на Южной Германии, благодаря чему тамошние палаты, сначала не доверявшие Пруссии, скоро примирились с таможенным союзом. Правда, сама Пруссия в некоторых отношениях проиграла, вследствие чего в берлинских правительственных сферах образовалось даже течение, не особенно благоприятное для таможенного союза, но у вопроса была и политическая сторона, весьма выгодная для Пруссии. Таможенный союз подготавливал почву для прусской гегемонии в Германии, а уклонение Австрии от союза создавало для нее изолированное положение в Германии. Пруссия занимала теперь господствующее положение в союзном сейме. Само значение этого сейма стало падать. Уже раньше он не пользовался популярностью как учреждение, не только не содействовавшее удовлетворению новых потребностей, но даже прямо тормозившее всякое развитие. Таможенный союз, охвативший почти все внеавстрийские земли Германии, стал играть в жизни немецкого народа более видную и прогрессивную роль, чем союз, созданный трактатами 1815 г. И в этом новом союзе главное значение принадлежало государству, которое даже в эпоху общей реакции не заходило так далеко, как католическая и феодальная Австрия.

В тридцатых годах и идея германского единства, одушевлявшая когда-то либералов, не сделала никаких успехов. Политические движения начала тридцатых годов имели преимущественно характер местный. Интересы консервативных элементов немецкой нации были тесно связаны с политическим партикуляризмом, и с этой стороны весьма понятно подозрительное и недружелюбное отношение консерваторов к идее германского единства. В свою очередь, либералы более дорожили политической свободой, которой пользовались в некоторых частях Германии, чем объединением, так как при тогдашних обстоятельствах оно скорее могло бы грозить уничтожением свободы. Немецкий либерализм тридцатых годов был больше космополитическим, чем национальным. Сознание национального единства снова стало выступать на первый план только в начале сороковых годов, да и то главным образом под влиянием чисто внешних событий. В этом отношении прежде всего на Германии отразилось воинственное настроение, охватившее, как мы видели, Францию и даже ее правительство в 1840 г. В Германии, в свою очередь, обнаружилось также воинственное настроение, и драматич-

шее национальное чувство, выражавшееся преимущественно в ненависти к французам, получило особенную силу. Тогда Беккер сочинил свою знаменитую рейнскую песнь: «Он не достанется им, свободный немецкий Рейн!», на что французский поэт отвечал словами: «Что раз уже было приобретаемо, то может быть вновь приобретено». «Г. Тьер, — писал Меттерних одному из своих корреспондентов, — любит, чтобы его сравнивали с Наполеоном. В отношении Германии это сходство полное, и г-ну Тьеру даже принадлежит пальма первенства. Ему нужно было очень немного времени, чтобы вызвать в этой стране настроение, которое при императоре создали десять лет притеснений. Вся Германия готова принять вызов, и это будет война народа с народом». Правда, этот эпизод прошел бесследно, и дело до войны не дошло, так как международные осложнения уладились иным путем; но национальное чувство немцев было задето и стало скоро проявляться в таких формах, которые начали пугать самих правителей. Другой повод к национальному возбуждению в Германии представлял собой шлезвиг-гольштейнский вопрос. Шлезвиг и Гольштейн, из коих второй был имперским леном, принадлежали датскому королю. Последний стремился теснее связать оба эти княжества с Данией, с каковой целью, например, вводил датский язык в администрацию и суды. В тридцатых годах общественное мнение в Германии мало интересовалось тем, что делалось в обоих княжествах. Но вот в 1839 г. умер датский король Фридрих VI, а его преемник Христиан VIII был бездетен, и после его смерти престол должен был перейти к сестре короля, немецкие же законы, действовавшие в обоих княжествах, не допускали перехода престола в женскую линию. По этому вопросу возникли споры и пререкания, которые стали все больше и больше обращать на себя внимания в Германии, пока, наконец, немцы не начали смотреть на шлезвиг-гольштейнский вопрос как на свое кровное национальное дело. В сороковых годах этим вопросом были одинаково заняты и печать, и общество, и земские чины, и даже некоторые правительства. Но, в общем, правительства всячески сдерживали проявления национального чувства. Сначала в 1840 г., когда грозила война с Францией, германские государи не прочь были сами возбуждать национальный патриотизм своих подданных. Когда, однако, немецкие писатели в том же самом 1840 г. задумали отпраздновать четырехсотлетний юбилей изобретения книгопечатания и с этой целью стали устраивать празднества, то многие правительства этому воспротивились. Весьма нередко власти с неудовольствием смотрели и на общенемецкие съезды ученых, особенно юристов, которые для всей Германии требовали единого национального права. Если откуда-нибудь в эту эпоху и делались предложения в смысле установления большего единства в Германии, то преимущественно лишь из Пруссии. Если бы в 1840 г. вспыхнула война между немцами и французами, то прежде всего опасность иноземного вторжения испытали бы на себе прирейнские провинции Пруссии. Вот почему и в этом

вопросе Пруссия выступила вперед и даже начала настаивать на необходимости преобразовать союзный сейм. В этом отношении любопытна записка 1847 г., составленная Радовицем и сообщенная берлинским кабинетом венскому: в ней предлагалось введение в Германии однообразного устройства войска, общего гражданского, торгового и уголовного права, одинаковой монеты и системы мер, равно как однообразных железнодорожных и почтовых правил, причем должна была быть объявлена полная свобода переселения, и таможенный союз должен был быть распространен на все земли членов Германского союза. Для введения всех этих перемен Пруссия хлопотала о созыве конгресса всех немецких правителей, но Австрия не имела ни малейшей охоты производить какие бы то ни было перемены в устройстве Германского союза.

Еще в одном вопросе Пруссия выступила в сороковых годах в общегерманской роли. Фридрих-Вильгельм IV, отличавшийся романтическими стремлениями, задумал достроить знаменитый Кельнский собор, как лучший памятник немецкой готической архитектуры. С этой целью на закладку соборных башен он сам приехал в Кельн, пригласив на празднество других немецких государей. Особенно сильное впечатление произвела речь, которую произнес во время этого торжества сам прусский король: великолепное здание, по его словам, должно было сделаться символом национального единства и братского единения между всеми немцами. Молва приписала, кроме того, австрийскому эрцгерцогу Иоганну тост, кончившийся словами: «Нет более ни Австрии, ни Пруссии, а есть одна только великая Германия, крепкая и сильная, как ее горы». Во всяком случае, инициатива этой национальной манифестации принадлежала опять-таки Пруссии. К концу сороковых годов, когда в самом этом государстве повеяло новым духом, на нем снова стали покоиться надежды немецких патриотов.

IX. Общий очерк политических, социальных и национальных движений в 1830–1840-х годах¹

Причины успеха реакции и разные в ней течения. — Общий характер демократических движений эпохи. — Происхождение национальных движений. — Взаимные отношения между движениями разных категорий. — Политические движения в духе либерализма. — Борьба с клерикализмом. — Республиканские идеи. — Взаимные отношения политического и социального движений. — Успехи социализма. — Международная демократия. — Главнейшие национальные движения тридцатых и сороковых годов

В трех последних главах главное внимание было обращено на успех реакции против политических движений 1830 г. Эта реакция не была чем-либо новым. Она была только продолжением реакции, овладевшей европейской политикой после 1815 г. Те же интересы, которые проявились в политической борьбе в эпоху Реставрации, те же принципы, во имя которых велась тогда борьба, продолжали играть роль и в эпоху июльской монархии. Подобно тому как это было и раньше, да и всегда бывает, интересы и принципы, объединявшие известные общественные группы, и теперь нередко противоречили одни другим, и одни с другими сталкивались. Подобное несоответствие принципов и интересов представляет собой, например, политика Англии и Франции: как конституционные державы, обе они должны были бы находиться в постоянном союзе против абсолютных монархий, но они, наоборот, находясь в постоянном соперничестве, весьма часто содействовали именно политике абсолютных монархий. В обоих конституционных государствах как господствовавшая в них буржуазия, так и руководившие ею государственные деятели выдвигают на первый план свои национальные интересы, очень часто оказывавшиеся интересами только классовыми или даже партийными, в иных случаях даже и не интересами вовсе, а своего рода шовинистическими предубеждениями. В самой Англии во весь этот период как раз либеральная партия относилась с особым недружелюбием к Франции и толкала последнюю на путь сближения с абсолютными монархиями, в особенности с Австрией. Только переход власти к консерваторам в Англии

¹ Кроме общих историй XIX века и книг Осокина и Лимановского см.: Meyer. Der Emancipationskampf des vierten Standes; Stein L. Die sociale Frage im Lichte der Philosophie, 1897; Warschauer. Gecsh. des Socialismus, 1893; Sombart W. Sozialismus und soziale Bewegung in XIX Jahr, 1887. К тексту этой небольшой книжки приложены (под заглавием «Хроники социального движения») синхронистические таблицы важнейших дат в истории пролетариата и социализма с 1750 по 1896 г. Первые пять глав (из восьми) были переведены в «Новом слове» за 1897 г. (октябрь—ноябрь).

облегчал установление лучших отношений между обеими конституционными державами. Да и сама французская политика по чисто внутренним причинам принимала консервативную окраску. Этот антагонизм Англии и Франции, равно как консервативные стремления Людовика-Филиппа, немало содействовали успехам общеевропейской реакции. Мы видели, что в конце двадцатых годов Священный союз начинал разлагаться и что Июльская революция сильно содействовала его сплочению. Несмотря на то что интересы Австрии, Пруссии и России очень часто находились между собою в противоречии (интересы Австрии и Пруссии в Германии, интересы Австрии и России на Балканском полуострове), эти три государства в вопросах принципиального характера оставались совершенно солидарными, продолжая в своей политике за весь этот период действовать в том же духе, в каком они действовали в эпоху конгрессов. Такая солидарность, конечно, была весьма выгодна для реакции, которая почти повсеместно и побеждает к 1840 г., т. е. к началу нового десятилетия после Июльской революции.

Но в самой реакции мы должны различать разные течения. Реакция, которая господствовала в Австрии, Пруссии и России, имела своей целью сохранить неизблемыми главные устои того старого порядка, против которого было направлено главным образом все историческое движение, вызванное Великой французской революцией. Во Франции и в Англии старый порядок был побежден. Здесь, после 1830 и 1832 гг., могла проявиться только реакция буржуазная, — реакция, которая, конечно, не хотела возвращения старого порядка, но которая вместе с тем не хотела, чтобы начавшееся историческое движение шло далее известных границ, соответствовавших интересам и всему кругу идей средних классов. Понятно, что эти две реакции имели разный характер и не могли между собой вполне совпадать. Меттерниху и Гизо, как вождям клерикально-аристократической Австрии и буржуазной Франции, приходилось, конечно, охранять не одно и то же, но их сближала между собою именно одинаковая политика, направленная на охранение *status quo*¹. Для Австрии революцией было бы установление таких порядков, какие во Франции уже существовали: этого одного достаточно для того, чтобы видеть, что реакция реакции была рознь. В самой Франции буржуазная реакция против чисто демократических движений не была совершенной новостью. Ею, как известно, была ознаменована вторая половина девяностых годов XVIII в., подготовившая владычество Наполеона I, подобно тому как впоследствии буржуазная реакция, вызванная событиями 1848 г., подготовила владычество Наполеона III. И во Франции, и в Англии против господства буржуазии, которая сама при помощи народа сбросила с себя иго аристократических привилегий, начинается в этом самом народе заметное политическое движение, заставляющее буржуазию держаться во

¹ Сущестующее положение (*лат.*). — *Прим. ред.*

многих отношениях чисто консервативной политики. С этой точки зрения, например, сближение между Меттернихом и Гизо было не только их личным делом, но и результатом могущественных исторических течений. Современников могла особенно интересовать и волновать борьба политических партий, сменявшихся у власти в Англии и Франции, но эти партии разделяли между собой людей, принадлежавших к одному и тому же социальному классу. Оппозиционная партия становилась правительственной, и наоборот, но ни та ни другая не находились в оппозиции к установившемуся политическому режиму. Стояли ли у власти консерваторы или либералы, их программы были лишь оттенками некоторой общей классовой программы, вызывавшей против себя оппозицию со стороны представителей большинства, исключенного вследствие ценза из пользования политическими нравами. Если в немецких, например, государствах в политической оппозиции старому порядку сливались воедино и буржуазные и демократические элементы, то во Франции и в Англии эти элементы уже составляли два разных лагеря и демократические движения были именно направлены против буржуазии.

Демократические движения времен июльской монархии опять не представляют из себя чего-либо совершенно нового, так как они совершались и раньше. Но нельзя также сказать, чтобы они только усилились, несколько не изменив своего характера. Во-первых, демократические программы стали резче обособляться от программ буржуазных, с которыми они ранее иногда сливались воедино, когда буржуазии и народу приходилось еще сообща вести борьбу против старого порядка. Во-вторых, демократическая оппозиция еще в эпоху Реставрации имела главным образом чисто политический характер, тогда как после Июльской революции рядом с прежним политическим направлением демократии возникает направление социальное, которое с течением времени все более и более усиливается. Начало социализма относят обыкновенно к эпохе Реставрации, но известно, что социалисты двадцатых годов нынешнего столетия, т. е. последователи Сен-Симона, Фурье и Оуэна, принципиально сторонились от всякой политики, равно как и политические революционеры этой эпохи не интересовались социальным вопросом, как его ставили тогдашние родоначальники социализма. В эпоху июльской монархии произошло сближение политической и социальной программ демократии. Революция 1830 г. имела характер исключительно политический, в революции же 1848 г. громадную роль играет и вопрос социальный. Значит, в течение этих восемнадцати лет должна была произойти важная общественная перемена. Такая перемена действительно произошла. Резче всего она бросается в глаза во Франции, но она совершилась и в Англии. Даже в Германии, где буржуазная и демократическая оппозиция была еще чем-то нераздельным, влияние социальной мысли давало о себе знать в политическом брожении, которое подготовило

1848 г. В дальнейшем мы увидим, что в самом французском социализме, наиболее заслуживающем внимания с точки зрения общей истории, в эту эпоху произошла большая перемена сравнительно с тем, что представляли из себя сен-симонизм и фурьеризм конца двадцатых и начала тридцатых годов. Особенно стал усиливаться социализм в сороковых годах.

В тех же сороковых годах политические движения на западе Европы стали осложняться не только со стороны вопроса социального, но и со стороны вопроса национального. Известно вообще, какое важное значение в истории XIX в. принадлежит национальным движениям. Великая французская революция, провозгласившая право каждого народа на самоопределение, может рассматриваться как своего рода исходный пункт этих движений. Наполеоновская эпоха со своей идеей универсальной империи не могла быть благоприятной национальным движениям, хотя и вызывала их к жизни, как это случилось, например, в Германии. Равным образом и эпоха Реставрации, провозгласившая принцип легитимизма, не могла относиться с уважением к идее национальной независимости. Венский конгресс прямо делил отдельные нации на части и соединял в одно целое чуждые одну другой национальности. Тем не менее в течение первой трети XIX в. национальные стремления давали себя чувствовать. Среди народов политически разделенных обнаруживалось стремление к единству, хотя на первых порах оно проявлялось лишь в деятельности немногих лиц, думавших о политических переворотах. С другой стороны, национальности, находившиеся под чужеземной властью, стремились сбросить с себя тяготевшее над ними иго. Недовольство данными политическими и социальными порядками у народов, лишенных государственного единства или даже не имевших государственного существования, весьма естественно должно было принимать характер национальный; чем более развивалось национальное самосознание, тем сильнее начинали проявляться и национальные стремления, а такому самосознанию весьма много должна была содействовать культурная работа, совершавшаяся в интеллигентных слоях общества и оттуда переходившая в народные массы. Если во Франции и Англии в эту эпоху народные массы обращали на себя внимание главным образом со стороны своего экономического положения, то в других странах, там именно, где наиболее давали себя чувствовать национальные стремления, задача культурного подъема народных масс прямо диктовалась национальным самосохранением. Во многих порабощенных и исторически отставших национальностях происходит настоящее духовное возрождение, которому точно так же принадлежит важная роль в подготовке всеобщего напряжения, пережитого Западной Европой в конце сороковых годов.

Политические, социальные и национальные движения находились между собой в известной связи в каждой отдельной стране, и вообще в разных странах Западной Европы. Можно сказать, что политические движения

осложнялись движениями социальными преимущественно в странах более развитой культуры, тогда как с национальными движениями они соединялись главным образом в странах с культурой более отсталой. Комбинации между этими движениями были равным образом весьма неодинаковые — в зависимости от условий чисто местного характера. Прежде, нежели мы приступим к более подробному изложению этих движений в главнейших странах, мы рассмотрим весь относящийся сюда материал в общем очерке.

Основной целью политических движений этой эпохи, как и раньше, была политическая свобода в форме конституционной монархии. В истории Западной Европы в XIX в. можно различать чередующиеся периоды усиления и ослабления конституционных стремлений. Один из таких периодов составляли последние годы владычества Наполеона и первые годы эпохи Реставрации до окончательного торжества реакции, совершившегося, как известно, уже в начале двадцатых годов. Другим таким периодом было начало тридцатых годов под непосредственным влиянием Июльской революции. К этому времени относятся новые конституции: бельгийская, кургессенская, альтенбургская, саксонская (1831 г.), брауншвейгская, (1832 г.), ганноверская, шлезвиг-гольштейнская, а также испанская (1834 г.), о коих речь шла раньше, равно как новые конституции более либерального характера, введенные в некоторых швейцарских кантонах в 1830, 1831 и 1832 гг. Затем наступила эпоха застоя, если не считать введения конституции в 1836 г. в маленьком княжестве Липпе-Детмольдском. Конституционное движение оживилось только к концу сороковых годов, когда еще до взрыва Февральской революции в Париже одновременно в разных государствах начались политические движения, нередко заставлявшие правителей идти на уступки. В 1846 г. после вступления на папский престол Пия IX в Церковной области, а затем и в других частях Италии произошло значительное политическое брожение. Новый папа готовился выступить реформатором, а король Сардинский и великий герцог Тосканский пошли на разные уступки. Одновременно в королевстве Ломбардо-Венецианском и в королевстве Обеих Сицилий стали происходить либеральные демонстрации и делаться усилия для достижения свободы. Меттерних и Гизо всполошились, а Людовик-Филипп стал даже советовать папе умерить свой либерализм. Тогда же в Швейцарии произошла междоусобная война, результатом коей явилась новая конституция 1848 г. Начиналось брожение и среди славянских народов Австрии, одним из симптомов каковых движений была знаменитая галицийская резня 1846 г. Начинала волноваться и Венгрия. Не без влияния остались все эти движения на решение прусского правительства в 1847 г. организовать общее представительство в форме так называемого соединенного ландтага. Февральская революция только усилила конституционные стремления. Таким образом, движение, подавленное в начале тридцатых годов, возобно-

лось в конце сороковых, несмотря на общую реакцию, господствовавшую во второй половине тридцатых и первой половине сороковых годов. В эти две эпохи политических движений «требовать конституции» было, так сказать, готовой программой всех недовольных существовавшими порядками в странах, не имевших политической свободы, а «обещать конституцию» было, так сказать, формой, в которой абсолютные правительства выражали свое согласие на уступки недовольным подданным. В этой области государственной жизни уже существовало достаточное количество образцов для подражания. Сама теория конституционной монархии была уже достаточно разработана в предыдущий период, и к ней уже нельзя было прибавить что-нибудь существенно новое. Новые принципы и формы приходилось создавать, главным образом, для отношений социальных, а не политических. Самое важное и существенное в чисто политической сфере, интересовавшее общество, имело отношение к социальным интересам народной массы. С одной стороны, это был вопрос о демократизации политических прав, с другой — вопрос о государственном вмешательстве во взаимные отношения капитала и труда. Понятно, что буржуазия враждебно относилась и к расширению избирательного права, и к ограничению промышленной свободы, так как и то и другое противоречило ее классовым интересам. Но демократические программы вызывали против себя возражения и с более принципиальной точки зрения во имя свободы, которой могла грозить опасность от перехода власти к народным массам и которая в одной по крайней мере области нарушалась, раз за государством признавалось право вмешательства во взаимные отношения между отдельными категориями граждан, предпринимателями и рабочими.

Не нужно, однако, думать, что единственным социальным вопросом, осложнявшим политическую борьбу этой эпохи, был так называемый рабочий вопрос, порожденный экономическим переворотом конца XVIII и начала XIX в. Рабочий вопрос волновал умы преимущественно в государствах, опередивших другие страны в своем социальном развитии, тогда как в государствах более отсталых оставался еще неразрешенным вопрос крестьянский, так сказать, завещанный XIX в. просвещенным абсолютизмом и Французской революцией. На истории этого последнего вопроса также отражалась судьба общественных движений. Политические перевороты, происходившие на западе Европы с конца XVIII в., сопровождались большей частью переменами и в положении крестьянского сословия; но каждый раз, когда происходила реакция, наступал конец и крестьянским реформам, а в некоторых случаях даже отменялось и то немного, что было уже сделано в пользу крестьян. Такой эпохой застоя в истории крестьянского вопроса были двадцатые годы. Революция 1830 г. снова поставила на очередь в некоторых государствах этот вопрос; но вскоре наступившая реакция снова затормозила дело — до революции 1848 г., когда им

занялись более решительным образом. Вот почему период июльской монархии прошел почти бесследно для крестьянского вопроса. Понятно, что он должен был иметь особенно важное значение в немецких государствах. В Пруссии конец сороковых годов застал крестьян в том положении, какое для них создала эпоха реформ Штейна и Гарденберга. Когда в Австрии в сороковых годах правительство нашло нужным определить права и повинности крестьян, то не нашло ничего лучшего, как возвратиться к законодательству Марии-Терезии. Только в Саксонии (1832 г.), Кургессене (1831, 1832, 1835 и 1837 гг.), Ганновере (1831 и 1833 гг.) и некоторых более мелких княжествах были изданы в эту эпоху законы, отменявшие крепостничество и устанавливавшие выкуп повинностей. Нужно вспомнить, что в только что названных государствах одновременно была совершена и политическая реформа. И то и другое совершалось во имя принципа свободы. «Старый порядок», против которого направлялись либеральные движения эпохи, был соединением политического абсолютизма с социальным феодализмом, который резче всего проявлялся в подчинении сельского населения поместному дворянству. С другой стороны, главным поборником конституционного движения было среднее сословие, враждебно относившееся к привилегиям. Понятно, что конституционное движение сопровождалось крестьянскими реформами. Но, повторяем, в тридцатых и сороковых годах до взрыва новой революции для уничтожения остатков социального феодализма было сделано вообще чрезвычайно мало.

Другой характерной чертой того же самого политического движения является его антиклерикальное направление. И в этом отношении политические движения XIX в. были продолжением того, что в XVIII столетии было начато просвещенным абсолютизмом и Французской революцией. И новое воззрение на государство, свойственное передовым политическим теориям, и принцип свободы, под знаменем коего совершались все политические движения с конца прошлого столетия, были одинаково враждебны притязаниям католической церкви. Между тем в эпоху Реставрации католицизм задумал снова играть прежнюю роль в жизни западноевропейских народов, и в этом отношении история эпохи Реставрации представляет немало весьма поучительных фактов. Когда и Июльская революция вызвала против себя политическую и социальную реакцию со стороны правительств и аристократии, католическое духовенство весьма естественно воспользовалось этой реакцией, чтобы восстановить свое прежнее культурное влияние на общество. Мы уже видели, к каким последствиям повела эта новая католическая реакция в истории Пруссии, где в тридцатых годах дело дошло до серьезного столкновения между церковью и государством. Но немецкие клерикалы, очень может быть, никогда не решились бы на слишком резкое сопротивление государственной власти, если бы им не подавали поощряющего примера клерикалы фран-

цузские и бельгийские. В обоих этих свободных государствах католическая церковь стремилась обратить в свою пользу политическую свободу, при помощи которой можно было легче добиться влияния и власти. Во Франции реакционное направление католицизма, подобно тому как это было и в Германии, особенно усилилось после 1830 г., когда один за другим стали сходить со сцены духовные лица прежнего, более свободного направления. Правда, новые деятели церкви уже не хлопотали о возвращении ей отобранных имуществ и аристократических привилегий. Все свое внимание они обратили на то, чтобы подчинить себе светское общество путем школы. Хартия 1830 г. обещала французам свободу преподавания, которая была немыслима до тех пор, пока во Франции существовала наполеоновская система государственной монополии в деле народного просвещения. Натиск на светскую науку был произведен столь дружно, что в первой половине сороковых годов французскому либерализму пришлось дать отпор притязаниям духовенства поддержкою указанной государственной монополии, хотя это и противоречило принципу свободы преподавания. Еще более ожесточенная борьба между либерализмом и клерикаризмом происходила в Бельгии, где особенно сильна была католическая реакция. Здесь духовенству в 1842 г. удалось добиться, во имя свободы вероисповеданий, нового закона о народном образовании. Этим законом религиозное воспитание объявлялось обязательным в общественных школах и отдавалось в распоряжение церкви, хотя и под контролем государства. Либеральная партия начала тогда деятельную агитацию против самостоятельной роли духовенства в деле народного образования. Возник даже особый союз, который поставил своей задачей добиться такой организации общественного образования, которая на всех своих ступенях находилась бы в исключительной зависимости от светской власти. С точки зрения членов этого союза, государство должно было направлять все усилия к тому, чтобы частные учебные заведения не могли конкурировать с правительственными и чтобы министр духовных дел не имел никакого касательства до учебных заведений, устроенных и содержащихся государством. В 1846 г. власть в Бельгии досталась католикам, и в следующем году они задумали провести новый закон о среднем образовании в интересах своей партии. Но либералы стали устраивать в разных городах внушительные манифестации против таких намерений клерикалов. Любопытно, что Людовик-Филипп, который у себя во Франции держался в стороне от борьбы между либералами и клерикалами, не желая ссориться с последними, в Бельгии, наоборот, советовал своему зятю Леопольду действовать решительно против либеральных демонстраций. Таким образом, одновременно и во Франции, и в Бельгии духовенство стремилось вернуть себе прежнее значение путем захвата в свои руки народного образования, ссылаясь при этом на либеральный принцип свободы преподавания. Ли-

берализм, всегда отличавшийся антиклерикальным характером, невольно должен был оставить свою прежнюю позицию, требовавшую от него признания за преподаванием полной свободы от государственного вмешательства, какая принималась им для столь не сходных между собой областей религии и промышленности. Борьба с клерикализмом выдвинула в эту эпоху нескольких замечательных деятелей, из коих особого упоминания заслуживают французские историки Кинэ и Мишле. Для них католицизм являлся главным врагом новой свободы в то самое время, как в этом же католицизме другие деятели этой эпохи искали обновления всей социальной жизни человечества.

В этом политическом направлении, враждебном абсолютизму, аристократизму и клерикаризму, в движении, связанном тесной преемственностью с принципами Великой французской революции, мы должны, однако, различать два разных направления. Одно можно назвать буржуазным, другое — демократическим. Первое после революции 1830 г. было господствующим в тех странах, где новые начала одержали победу. Это направление становилось консервативным, в иных случаях даже реакционным по отношению к другому направлению — демократическому, которое по обстоятельствам времени вынуждено было играть только оппозиционную роль. Между тем это демократическое направление вело свое начало, равным образом, от Французской же революции и даже прямо вдохновлялось принципами и событиями этой эпохи, идеализируя якобинизм и представляя его в свете совершенно новых настроений и стремлений, порожденных политической и социальной борьбой времен июльской монархии.

Во Франции еще до 1830 г. существовала республиканская партия, которая время от времени заявляла о своем существовании. Наиболее деятельные ее члены организовывались в тайные общества, пользовавшиеся каждым удобным случаем, чтобы при помощи недовольных социальных элементов произвести восстание. Выше мы уже видели, что эти попытки оканчивались обыкновенно неудачно. Из этой же партии выходили и те люди, которые делали покушения на жизнь короля. Главной целью французских демократов было восстановление республики, основанной на всеобщей подаче голосов по образцу якобинской конституции 1793 г. Одно из тайных обществ, которое особенно энергично действовало в первой половине тридцатых годов, прямо назвало себя «Обществом прав человека» и приняло в основу своей программы декларацию прав 1793 г. Однако среди французских республиканцев в 1832 г. произошел раскол. Одни стояли на той точке зрения, что политическая революция должна быть только средством для совершения социального переворота, тогда как другие держались того взгляда, по которому учреждение республики не должно было касаться существующего общественного строя. Таким образом, социальный радикализм отделился от радикализма политического, и рядом с республиканцами

из буржуазии явились республиканцы из рабочих, причем главную силу этой партии составляли не столько фабричные рабочие, сколько ремесленники. Республиканские восстания тридцатых годов предпринимались главным образом республиканской партией этого второго, т. е. социального оттенка, между тем как политические радикалы из буржуазии предпочитали действовать путем мирной пропаганды в печати. Это разделение внешним образом выразилось в том, что политические республиканцы приняли своим знаменем трехцветный флаг, тогда как республиканцы социальные — флаг красного цвета. Сторонники социальной революции стали даже издавать тайным образом свою газету под заглавием «Свободный человек» и в самом конце тридцатых годов приняли название партии коммунистов. Главные деятели последней попытки республиканского восстания, бывшей в 1839 г., стояли на той точке зрения, что для социального переворота прежде всего необходимо было создать диктаторскую власть, которая и взяла бы в свои руки все революционное движение. Не следует, однако, думать, чтобы преобразование социального строя всеми его сторонниками ставилось в связь с какой бы то ни было чисто политической программой. Прежде всего сен-симонисты и фурьеристы по-прежнему, собственно говоря, сторонились от политики, рассчитывая на то, что их идеи будут осуществлены благодаря своей внутренней силе. Такое же неполитическое движение представляло из себя так называемое движение икарыйское, связанное с именем Кабе. Вот почему демократические движения во Франции этой эпохи можно разделить на чисто политическое и чисто социальное, рядом с которыми существовало еще движение социально-политическое, которое было, так сказать, объединением двух других. Если первое из названных движений ставило своей целью преобразование государства без преобразования общества, а второе — преобразование общества без предварительного преобразования государства, то целью стремлений третьего движения было именно преобразование и политического и социального строя. Главным образом, это последнее направление стало делать успехи около 1840 г., и одним из главных виновников сближения обеих программ был Луи Блан. Уже в 1842 г. один наблюдательный немец, писавший о тогдашних французских отношениях¹, говорил, что для Франции прошло время чисто политических движений и что следующим переворотом будет, несомненно, переворот с социальным характером. Это общественное брожение, конечно, не могло не отразиться на французской литературе времен июльской монархии. Оно нашло свое выражение не только в публицистике, но и в философии, и в историографии, и даже в изящной литературе, породив в последней так называемый «социальный роман». В дальнейшем все эти проявления демократической оппозиции будут рассмотрены подробнее.

¹ Лоренц Штейн, о котором см. ниже (в гл. XVI).

Аналогичные явления наблюдаются и в истории английского общества за тот же самый период. И здесь параллельно действуют то отдельно, то сообща демократические партии, ставящие на своем знамени или политическую, или социальную реформу. И здесь вожди демократии рассчитывают или на одно действие моральной силы, или исключительно на силу физическую. Сама парламентская реформа 1832 г. обязана была своим происхождением довольно значительному демократическому движению чисто политического характера, а так как оно не могло быть вполне удовлетворено этой буржуазной реформой, то весьма естественно, что оно не могло прекратиться и после преобразования парламентских выборов. С другой стороны, и потребность в чисто социальной реформе уже в предыдущий период нашла свое выражение в учении и деятельности Оуэна, который около 1830 г. имел на родине уже весьма многочисленных последователей. Хотя оба эти движения и впоследствии продолжали развиваться вне всякой зависимости одно от другого, однако между ними все-таки должно было произойти сближение, как это случилось и во Франции. Еще до парламентской реформы рабочие вступали между собой в союзы для защиты своих интересов, после того как парламент отменил прежние законы, запрещавшие образование каких бы то ни было ассоциаций среди рабочих. Между прочим, участие в этом движении принял и Оуэн, проповедовавший необходимость основания кооперативных ассоциаций. Политическая агитация, подготовившая парламентскую реформу, до некоторой степени затормозила развитие рабочих союзов, но после 1832 г. оно возобновляется с новой силой под руководством Оуэна. Возник даже большой промышленный союз (Trades-Union), охвативший собой всю Англию и поставивший своей целью посредством общей стачки рабочих добиться от парламента издания закона, по которому рабочий день не превышал бы восьми часов. В этой организации насчитывалось около пятисот тысяч членов. Так как фабриканты для борьбы с этим союзом образовали свой собственный, а суды стали преследовать участников рабочего союза, то весьма скоро от этого способа борьбы английскому пролетариату пришлось отказаться. Естественным недовольством рабочих воспользовались тогда радикалы, которые стали доказывать, что рабочие никогда не добьются осуществления своих стремлений, пока не будут иметь представительства в парламенте. В 1837 г. между вождями обоих движений состоялось соглашение, результатом коего и было знаменитое движение чартистов, принявшее весьма грозный характер. Но надежды, которые на него возлагались, себя не оправдали, и впоследствии рабочие снова отказались от политической программы для того, чтобы действовать исключительно путем частных сделок с предпринимателями и путем петиций в парламент о том, чтобы было создано более справедливое законодательство о рабочих. Нельзя сказать, чтобы в последнем отношении рабочее движение

было безуспешным. Хотя идея невмешательства и была в эту эпоху весьма популярна в господствующем классе общества, тем не менее практически принцип экономической свободы проводился только в области торговли, тогда как в области промышленности, наоборот, издавались законы, ограждавшие рабочих от эксплуатации со стороны предпринимателей. Сторонники манчестерской школы и капиталисты резко восставали против нарушения того, что они называли свободой частных соглашений, но и эта свобода стала встречать все большее и большее количество противников не только среди рабочих, которые ее никогда и не защищали, но и среди людей, принадлежавших к другим классам общества.

Вообще безусловному господству принципа «laissez passer, laissez faire» приходил конец, и за государственное вмешательство, уже ранее намечавшееся, например Сисмонди, все чаще и чаще начинали раздаваться голоса в литературе. Мало того, недоверие к свободе частных соглашений в области промышленности стало переноситься вообще на принцип индивидуальной свободы. В предыдущий период уже сен-симонисты проявляли крайнее нерасположение к индивидуальной свободе и подчиняли всю жизнь личности строгой общественной регламентации. В эпоху июльской монархии такое антииндивидуалистическое течение выразилось во Франции и в некоторых других общественных учениях. Здесь оно соединилось, с одной стороны, с демократическим католицизмом, стремившимся к переустройству общества на основе своеобразно понятого христианства, с другой — с традицией якобинизма, коему стало приписываться значение чисто социальной доктрины. Явилось даже представление о тождестве принципов католицизма и якобинизма, требующих безусловного подчинения личного начала началу общественному. В подобного рода воззрениях демократии прямо рекомендовалось смотреть на принцип индивидуальной свободы как на принцип буржуазный и антисоциальный. В Англии, где свобода давным-давно вошла в общественные нравы, демократические учения не принимали такой окраски. Но и здесь также социальные требования демократии выводились иногда из религиозно-нравственных принципов, и точно так же существовало целое направление так называемого «христианского социализма».

В двадцатых годах новые социальные учения были достоянием лишь интеллигентных кружков и не проникали еще в рабочие массы. Настоящую историческую роль в обеих названных странах эти учения начали играть лишь с тридцатых годов. Германия отставала от Франции и Англии и в том отношении, что учения социального характера стали в ней возникать позднее, и в том отношении, что в ней начал образовываться пролетариат как отдельный класс тоже гораздо позднее. Тем не менее и в Германии в эту эпоху рядом с радикализмом политическим возникает и радикализм социальный под несомненным влиянием французской социалистической мысли. В эту

эпоху немецкие демократы вели агитацию во имя восстановления германской империи с демократической конституцией, но, как мы видели, отдельные правительства и союзный сейм всячески старались подавить это движение. Около 1833 г. среди немецких демократов произошло разделение на чисто политических и социальных революционеров. В Гессене образовалось даже особое тайное общество «Прав человека», которое предприняло агитацию среди местных крестьян. Но в самой Германии вести подобную пропаганду было небезопасно, и поэтому главные немецкие организации возникали и действовали за пределами Германии. В 1836 г. в Париже немецкие эмигранты и рабочие основали особое тайное общество, называвшееся сначала «Союзом праведников» («Bund der Gerechten»), а потом «Союзом коммунистов» («Bund der Communisten»). В начале сороковых годов в связи с этим союзом стояли уже немецкие демократические организации в Швейцарии, Англии и Бельгии. Главные деятели этого союза даже вынуждены были перенести свое местопребывание из Парижа в Лондон (1840 г.). В самой Германии у них были многочисленные сторонники, образовывавшие отдельные радикальные кружки и издававшие запрещенные листки и брошюры.

Весьма значительное демократическое движение происходило и в Швейцарии. Уже в самом конце двадцатых годов здесь возникла демократическая партия, которая стала требовать изменений в конституциях отдельных кантонов. Июльская революция была как нельзя более благоприятна этим требованиям, и вот в 1830 и 1831 гг. в одиннадцати наиболее важных кантонах были введены новые конституции весьма демократического и либерального характера¹. Ободренные этим успехом, швейцарские радикалы задумали произвести изменения и в союзной конституции, но эта попытка не привела к желательному результату, так как встретила оппозицию со стороны представителей старины. Одни из швейцарских либералов удовлетворялись произведенными переменами, но другие стояли за необходимость продолжения революции. Между тем после неудач, каким подверглись разные политические движения начала тридцатых годов, в Швейцарию переселилось большое количество эмигрантов различных национальностей — поляки и итальянцы, немцы и французы, которые тотчас же сделались верными союзниками швейцарских демократов. Это навлекло на Швейцарию неудовольствие монархических правительств, которые стали требовать выдачи или изгнания революционеров. Умеренные либералы готовы были идти на уступки, но радикалы отстаивали право убежища. Параллельно с этим демо-

¹ Для истории Швейцарии в этот период см.: *Baumgartner*. Die Schweiz und ihre Umgestaltungen, 1853—1865 (период от 1830 по 1850); *Henne am Rhyn*. Geschichte des Schweizervolkes, 1878. Т. III; *Vuillemin*. Histoire de la confederation suisse, 1881. Т. II; *Daendliher*. Geschichte der Schweiz, 1895. Т. III; *Tillier*. Geschichte der Eidgenossenschaft (во второй части период 1830—1848); *Berghoff-Ising*. Die socialistische Arbeiter-Bewegung in der Schweiz, 1895. Сочинения по так называемому Зондербунду будут указаны в гл. XVII.

кратическим движением в стране происходило и движение клерикальное, которое, опираясь на католические кантоны, стремилось к отмене всех либеральных нововведений. Весьма естественно, что демократическая партия в Швейцарии должна была принять резкий антиклерикальный характер. Наконец, так как в Швейцарии проживали эмигранты разных национальностей, среди которых уже существовали и чисто социальные стремления, то и здесь в эту эпоху происходит социалистическая пропаганда.

Одной из любопытных черт демократического движения тридцатых и сороковых годов является сближение между революционерами разных национальностей; в это время даже делаются попытки установления международной солидарности между демократами разных стран. Этому весьма много содействовала разноплеменная политическая эмиграция, собиравшаяся то в Париже, то в Цюрихе, то в Брюсселе, то в Лондоне. Впрочем, и это явление не было совершенно новым, так как уже в эпоху Реставрации тайные общества, например карбонариев, входили в сношения друг с другом. Новым было то, что создавалась единая организация для всей Европы. Первая попытка в этом направлении сделана была главным образом итальянскими республиканцами, которые основали общество «Молодая Италия». По образцу этой организации мало-помалу возникли «Молодая Польша», «Молодая Германия», «Молодая Швейцария», «Молодая Франция» и «Молодая Испания», во всей своей совокупности составлявшие «Молодую Европу». Это был, так сказать, международный союз революционных элементов, притом чисто политического характера. Так как, однако, в большей части названных стран уже существовали и чисто социалистические кружки, то немудрено, что несколько позднее возникла мысль и о соединении под одно знамя социалистов и реформаторов всех стран. Эта идея вышла в конце сороковых годов из среды немецких демократов, которые, как мы только что видели, организовали свой «Союз коммунистов» с центральным управлением сначала в Париже, потом в Лондоне и с разветвлениями в Бельгии, Швейцарии и Германии. Таким образом, деятельность демократов разных стран объединялась, и то, что мысль вырабатывала в одной стране, скоро делалось известным в других.

Иногда это международное демократическое движение принимало прямо космополитический характер. В этом отношении особенно выдвигались вперед немцы, среди которых и в прежние времена космополитические стремления находили наибольшее количество приверженцев. Равным образом это настроение господствовало в Германии и среди передовых евреев, особенно в западных областях, где вообще общественная жизнь отличалась большим развитием. Многие немецкие либералы прямо говорили, что, если бы вспыхнула война между Францией и двумя великими немецкими державами, то все немцы, дорожащие политической свободой, должны были бы стать на сторону Франции. В этом же направлении

высказывались и наиболее крупные немецкие писатели этой эпохи, Бёрне и Гейне. С другой стороны, однако, общими силами демократов всех стран должны были достигаться цели строго национального характера, как это и было, например, при организации «Молодой Италии», разросшейся в «Молодую Европу». Но одновременно с этим происходили и чисто национальные движения, отличавшиеся большой исключительностью и воспитывавшие международную рознь. Для последней существовали, конечно, свои реальные основания — в том угнетении, в каком одни национальности находились по отношению к другим. Особенное значение это имело в Австрии, в пределах которой немецкая национальность господствовала над итальянцами, венграми и славянами разных народностей. Иногда национальное господство было в то же время и социальным, в тех именно случаях, когда господствующие классы и народная масса принадлежали к разным национальностям. Национальные движения, охватывавшие разные слои общества, должны были принимать, если можно так выразиться, народнический характер, так как вожди этих движений весьма справедливо в народной массе видели естественную основу каждой национальности. Благодаря этому, среди образованных людей возникал интерес к народному быту, но в то самое время, как, например, во Франции и Англии народолюбцы более всего интересовались экономическим положением трудящейся массы, в других странах интерес к народу выражался в исследовании того, что в наши дни получило название фольклора, т. е. в изучении этнографических особенностей народного быта, народных преданий и поверий, обычаев и обрядов. Подобное направление особенно развилось в Германии и сделалось чуть не господствующим у австрийских славян. Соединяясь с известным романтизмом, большей частью чуждое культурным и социальным запросам новейшего времени, оно должно было отличаться и отличалось на самом деле весьма узким национализмом и нерасположением к чужим национальностям. Немцы, которые в XVIII в. проявляли наибольший космополитизм, в начале XIX в. сделались наставниками других народов в сочинении историко-философских теорий, доказывавших духовное превосходство и, так сказать, провиденциальное избранничество известных народностей. Родоначальниками этого направления еще в предыдущем периоде были немецкие философы Фихте и Гегель, учившие о превосходстве «германского духа». В период, о котором идет речь, итальянец Джюберти, наоборот, доказывал первенство своей национальности. Но особенно благодарную почву нашли подобного рода воззрения у славян, получив у них сильную религиозно-мистическую окраску, хотя совершенно неодинаковую у отдельных народов. Здесь мы особенно имеем в виду польский мессианизм и русское славянофильство — два направления, одно другому враждебные и в национальном, и в вероисповедном отношениях, но одинаково сходящиеся в том, чтобы при-

писывать особое исключительное положение славянству во всемирной истории. Можно сказать, что происходившая у нас в России борьба между западниками и славянофилами была лишь отражением великой противоположности между социально-политическим и националистическим направлениями, существовавшими на западе Европы. Первое было представлено преимущественно Францией и Англией, второе — главным образом славянами. Среди немцев существовали оба эти направления, только не так резко выраженные, как у их западных и восточных соседей. Во всяком случае, национальные движения отрешались от международной солидарности и способны были подниматься лишь до понятия солидарности племенной. В этом отношении заслуживает внимания то обстоятельство, что среди слабых и разрозненных славянских народностей Австрии весьма естественно должна была возникнуть мысль, что лишь в общем союзе славяне были бы в состоянии отстаивать себя против германизма. Такова была основная мысль направления, получившего название панславизма и под этим названием сделавшегося своего рода пугалом для Западной Европы. Хотя в славянском движении действительно было немало реакционного и хотя в бурную революционную эпоху славяне отчасти на самом деле сыграли реакционную роль, однако они все-таки отстаивали и прогрессивные принципы национальной независимости и развития самосознания в народных массах. Немецкие националисты были не способны оценить эту сторону дела, и международная рознь немало содействовала общему неуспеху движения конца сороковых годов.

Эти национальные движения выразились в формах двоякого рода — в литературе и политике; нужно заметить, что славянское движение в конце концов оставило гораздо больше следов на развитии литературы, чем в политической области, хотя передовые славянские народы, поляки и чехи, испытывали на себе в сильной степени действие западных политических идей.

На крайнем Западе только в одной Ирландии происходило движение, которое можно поставить рядом с национальными движениями центральной Европы. Именно здесь мы разумеем Ирландию, которая угнеталась англичанами. Громадное большинство населения этого острова в двояком отношении было чуждо господствующему английскому меньшинству — и по вере, и по социальному положению. Так называемая эмансипация католиков не успокоила ирландцев, и среди них по-прежнему происходило сильное брожение с довольно резко выраженным национальным характером.

Все общественные движения, намеченные в этой главе, зародившись еще до 1830 г., в течение двух следующих десятилетий получили настолько сильное развитие, что дали весьма яркую окраску революции 1848 г., сделав из нее событие более грандиозное и сложное, чем была революция 1830 г. В следующих главах мы и рассмотрим историю новых политических, социальных и национальных стремлений в отдельных странах.

Х. Английское законодательство тридцатых и сороковых годов¹

Взаимные отношения парламентских партий после 1832 г. — Преобразования в местном управлении. — Государственная деятельность Пия. — Фабричное законодательство в Англии. — Условия, при которых оно проводилось. — Связанная с ним публицистика той эпохи. — Агитация рабочих союзов. — Главнейшие фабричные законы. — Роль фабричной инспекции. — Печальное положение английских рабочих. — Общее значение фабричного законодательства. — Положение Ирландии. — О'Коннель и ирландская партия. — Главные реформы в Ирландии

В Англии в рассматриваемый период политическое преобладание, как и во Франции, принадлежало средним классам, господство которых и здесь вызвало весьма значительную демократическую оппозицию. Эта оппозиция проявилась именно в начале царствования королевы Виктории, которая в 1837 г. наследовала своему дяде Вильгельму IV. Как в конце царствования этого короля, так и в начале нового царствования во главе английского правительства стояли либералы; этим именем с течением времени стали называть партию, в состав которой вошли прежние виги и радикалы.

Консерваторы, т. е. прежние тори, лишь временно пользовались властью. В 1834 г. Вильгельм IV задумал было отделаться от либерального министерства, но лишь на очень короткое время во главе правления становилось консервативное министерство Роберта Пия. В 1835 г. либералы опять вернулись к власти, имея во главе Мельборна, и оставались у кормила правления до 1841 г., когда власть снова перешла в руки Пия, на этот

¹ Общий очерк законодательной деятельности парламента после реформы 1832 г. можно найти в конце второго тома книги Мау'я, где указаны и менее важные реформы. Главный недостаток этого очерка тот, что более крупные реформы не выделены и, например, фабричному законодательству посвящена лишь одна страница. Общий тон этого очерка страдает излишним оптимизмом. Сочинения по истории английских реформ в области торговли указаны выше, а вообще по социальной истории Англии — в т. IV. Для местного управления см.: *Gneist. Das heutige englische Verfassungs-und Verwaltungsrecht, 1857—1863* (позднейшие издания под несколько измененным заглавием); *Jenks E. An outline of english local government, 1894; Arminjon. L'administration locale d'Angleterre, 1895; Бомье. Местное управление в Англии, 1896.* Для положения рабочих и фабричного законодательства (кроме I т. «Капитала» Маркса): *Engels Fr. Die Lage der arbeitenden Klassen in England, 1845* (было переиздано в 1892 г.); *Alfred. The history of the factory movement, 1857*, а также некоторые книги, указанные в следующей главе. Для Ирландии см.: *Murphy. Ireland industrial, political and social, 1870; Pressensé. L'Irlande et L'Angleterre (1800—1888), 1889; Daunt. Eighty five years of irish history (1800—1885), 1886.* См. также статью Каутского в «Русском Богатстве» за 1894 г., кн. I. В книге А. Мануйлова «Аренда земли в Ирландии» (1895) собрано много фактов, относящихся к истории самой аренды и ее законодательного регулирования.

раз уже на более продолжительное время: либералы с Росселем во главе возвратились к власти только в 1846 г. и удерживали ее затем весьма долгое время, хотя все-таки с короткими перерывами. Несмотря на то что обе партии постоянно находились в антагонизме между собой, по некоторым вопросам они действовали в полном согласии. И консерваторы, и либералы одинаково отстаивали политический строй Англии от каких бы то ни было дальнейших преобразований, видя в парламентской реформе 1832 г. все, на что можно было согласиться или чего следовало требовать в этой области. Наоборот, в других областях либералы выступали в роли реформаторов. Из их среды вышли билли в пользу преобразований в деле общественного призрения и в пользу свободной торговли, о чем речь была уже выше. Впрочем, по обоим вопросам либералы пользовались поддержкой части консерваторов, а в 1847 г. в консервативной партии произошел даже раскол, так как одна ее часть высказалась за принцип свободной торговли. Благодаря либералам также в 1832 г. парламент в первый раз отпустил правительству 20 000 фунтов стерлингов для оказания поддержки делу народного образования. Нужно заметить, что первоначальное обучение до этого времени находилось всецело в руках господствующей церкви и религиозных сект и поддерживалось в значительной мере частной благотворительностью. Либералы нашли такой порядок вещей ненормальным и провели в жизнь принцип государственной помощи школьному делу, хотя и не решались еще на то, чтобы взять это дело в ведение государства. Консерваторы, в общем, довольно сочувственно отнеслись к этой перемене, так как совсем не были заражены обскурантизмом своих континентальных собратьев. К концу тридцатых годов ежегодная государственная субсидия школам возросла в полтора раза сравнительно с суммой 1832 г. В 1843 г. она повысилась до 40 000 фунтов стерлингов, но если мы примем в расчет, что весь тогдашний бюджет составлял 54 млн фунтов стерлингов, то должны будем признать, как незначительна была еще сумма, отпускавшаяся на народное образование¹. Следует прибавить, что первоначально этими деньгами пользовались главным образом школы, содержавшиеся вероисповедными ассоциациями. Мало-помалу, однако, помощь стала оказываться и частным школам светского характера. В 1839 г. были учреждены особые правительственные инспектора, и образовался особый центральный комитет по школьному делу, хотя по-прежнему закон совершенно не вмешивался во внутренние распоряжки школ. Только в 1870 г. изданы были на этот предмет особые постановления.

Важны были также произведенные в тридцатых годах преобразования в местном управлении. В Англии принцип местного самоуправления был давным-давно осуществлен в жизни, но оно имело строго аристократиче-

¹ Теперь Англия расходует 183 млн фунтов стерлингов на начальное образование.

ский, и даже олигархический характер. Местные дела в приходах и графствах ведались приходскими советами и мировыми судьями, а в городах и бургах — наследственными олигархическими корпорациями, имевшими крайне разнообразное устройство. Должностные лица по местному управлению исправляли свои обязанности безвозмездно, вследствие чего за такого рода деятельность могли браться только весьма обеспеченные люди. Кроме того, они пользовались своей властью, и почти безотчетно, что в некоторых случаях вело к злоупотреблениям. Особенно, например, произвольно поступали надзиратели за бедными, которые, между прочим, занимались поставкою малолетних рабочих на фабрики. Наиболее важной и влиятельной в местном управлении должностью была старинная должность мирового судьи (*justice of the peace*) с весьма широкой, но довольно неопределенной компетенцией в делах судебно-полицейского и хозяйственного характера. Эта должность, пожизненная и бессменная, сделалась достоянием членов поземельной аристократии, которые исполняли свои сложные и трудные обязанности безвозмездно, но в то же самое время и почти независимо от центральной власти, так что мировые судьи сделались настоящими представителями автономии графств. После парламентской реформы 1832 г. прежняя система местного управления стала подвергаться частичным изменениям, общий характер которых заключался, с одной стороны, в ослаблении влияния аристократии, а с другой — в постепенной, хотя и довольно медленной демократизации местных учреждений. Обыкновенно реформа касалась лишь какой-нибудь отдельной стороны местной жизни, например общественной благотворительности, как это произошло при отмене старых законов о бедных в 1834 г. Или когда назревали новые нужды, для их удовлетворения создавались и новые органы. В обоих случаях возникали новые должности, по существу своему отличные от должности мирового судьи, получавшего пожизненное назначение и не пользовавшегося никаким вознаграждением. Новые должности были или выборные, или чиновничьи с жалованьем из государственного казначейства. Вместе с этим в Лондоне создавались новые центральные учреждения, которые должны были руководить действиями местных органов. В городах и бургах закон 1835 г. отменил привилегии прежних наследственных корпораций, распространив право участвовать в выборах на всех жителей, удовлетворявших требованию известного имущественного ценза. Вместе с этим был положен конец крайне пестрому разнообразию прежнего устройства городов и местечек и введен был повсеместно более однообразный порядок. Этими реформами была открыта эра полной перестройки старых местных учреждений без нарушения, однако, существенных признаков так называемого *selfgovernment*¹.

¹ То есть самоуправления (англ.). — Прим. ред.

Разные реформы, какие вообще в эту эпоху предпринимались в Англии, объясняются не только интересами того общественного класса, который сделался преобладающим в политической жизни, но и другими причинами, а именно лучшим пониманием условий и требований новой государственной жизни и влиянием общественного мнения. Например, забота о народном образовании не имела в себе вовсе классового характера, и если вопрос об этом был поставлен либералами, консерваторы были настолько умны, чтобы понять, что гораздо лучше иметь дело с людьми, получившими некоторое образование, чем с совершенно невежественными массами. Как выше было уже сказано в одном месте, английский консерватизм не имел того ретроградного характера, каким отличались так называемые консервативные партии на континенте. После парламентской реформы консервативная партия в Англии не только не думала о том, чтобы как-нибудь все переделать на старый лад, но до известной степени даже обнаруживала уступчивость по отношению к новым требованиям и условиям жизни. В этом отношении особенно замечательна в рассматриваемую эпоху деятельность одного государственного человека, вполне справедливо причисляемого к наиболее видным государственным людям Англии.

Мы имеем в виду сэра Роберта Пиль¹, биографию которого позднее написал Гизо, лично бывший с ним знакомым и одновременно с ним находившийся у власти. Но между обоими государственными людьми была некоторая разница, несмотря на консерватизм обоих. Не в пример своему французскому товарищу, Пиль гораздо лучше понимал задачи консервативной политики, сдерживающей, но не задерживающей общественные перемены. Если Гизо может быть назван либералом, постепенно превратившимся в реакционера, то Пиль, наоборот, был консерватором, по временам считавшим нужным совершать либеральные реформы. В тридцатых и сороковых годах он был признанным вождем консервативной партии и тогда, когда она находилась в оппозиции, и тогда, когда в ее руки переходила власть. С этой точки зрения независимо от личного своего характера Пиль заслуживает особого внимания как лучший представитель английского консерватизма.

По своему рождению в торийской семье и по своему воспитанию в ту эпоху, когда в английском обществе господствовало реакционное настроение, вызванное Французской революцией, Пиль начал свою политическую карьеру в рядах консерваторов. Ему едва исполнился двадцать один год, когда, благодаря влиянию своего отца, он был избран в нижнюю палату (1809 г.), где примкнул к партии тори. В следующем же году он сделался

¹ Биографии Peel'я написаны Künzel'm (1851), Guisot (1856), Lawr, Peel'em (1860), Bulwer'ом (1874) и др. Пиль обыкновенно выставляются как образец настоящего консерватизма; ср. статью А. Д. Градовского «Что такое консерватизм» (в сборнике «Трудные годы», 1880).

помощником статс-секретаря по делам колоний, а затем в течение шести лет (1812—1818 гг.) занимал такую же должность по ирландским делам. Знакомясь с практической жизнью, он не оставался упорным доктринером партии, но нередко принимал в расчет указания опыта. Продолжительное занятие ирландскими делами показало ему, до какой степени ненормальны были условия, исключавшие католиков из права представительства в парламенте, и он сделался одним из сторонников идеи о необходимости уступить требованиям католиков. С 1822 по 1827 г. Пиль находился в составе министерства, в которое вернулся в 1828 г. после смерти Каннинга. В это время в палате общин уже неоднократно поднимался вопрос об эмансипации католиков, а также велась деятельная агитация посредством прессы и митингов. Пиль решил идти навстречу этому движению, и вот как в своих мемуарах он объясняет свое решение: «Существует большая разница между уступками, которые делаются агитации с поспешностью, нарушающей порядок, и мерами, которые с предусмотрительностью принимаются для предупреждения общественного взрыва. Прежде, нежели решиться не делать никаких уступок и ничего не изменять, благоразумный министр обязан тщательно взвесить, чему он должен будет оказывать сопротивление и какие средства для этого находятся в его распоряжении». Убедив короля разрешить министерству поставить католический вопрос, Пиль и обратился к палате с предложением согласиться на эмансипацию католиков. «Я, — говорил он в своей речи, — уступаю только перед нравственной необходимостью, бороться с которой более не в состоянии». И он просил палату решить, что было бы опаснее для протестантских учреждений, которые он защищает: безусловное ли сопротивление или такие уступки, с коими соединены и некоторые предосторожности. Своим противникам, обвинявшим его в измене собственным принципам и в трусости перед католической ассоциацией, он отвечал, что оставляет за собой право действовать согласно с интересами родины и ввиду требований времени и что самый худший вид страха — это страх подвергнуться обвинению в трусости. Иначе держал он себя по отношению к парламентской реформе. В 1830 г. торийское министерство вышло в отставку, а виги поставили вопрос о реформе. Пиль, далеко не разделяя вражды Веллингтона к этому преобразованию, тем не менее пускал в ход всю свою логику и все свое красноречие, чтобы не дать осуществиться роковому, как он его называл, биллю. В реформе он видел источник всяких бедствий для Англии, опасаясь, что реформа повлечет за собой «самый скверный из всех деспотизмов — деспотизм демагогов и журнализма». Эта оппозиция примирила с Пилем тори, которые косились на него за эмансипацию католиков. Мало того, эту партию, расстроенную парламентской реформой, он снова организовал и, став в ее главе, придал ей новый характер большей уступчивости требованиям времени и умения сдерживать чисто реакционные стремле-

ния. Задачей своей политики Пиль ставил теперь охрану государственного строя, созданного реформой 1832 г. В декабре 1834 г. ему на очень короткое время удалось вернуться к власти, и он объявил парламенту, что смотрит на только что сделанную реформу «как на окончательное и бесповоротное решение великого конституционного вопроса, — решение, — прибавил он, — которому ни один друг мира и счастья родной страны не должен причинять ущерба ни прямо, ни окольными путями». Правда, у власти ему пришлось оставаться лишь до апреля следующего года, и затем в течение целых шести лет он опять был главой консервативной оппозиции. Однако в течение всего этого периода он во многих случаях поддерживал реформы, проводившиеся либералами. Между прочим, к концу тридцатых годов его все более начинала тревожить судьба рабочих классов, для которых он считал нужным «сделать то, что можно».

В 1841 г. Пилю удалось низвергнуть либеральное министерство, и новые выборы дали консервативное большинство, благодаря чему Пиль снова сделался министром. Но это не было поворотом к какой-нибудь реакционной политике. Напротив того, признанный вождь консервативной партии выступил реформатором. Будучи сам членом правящего класса, он сумел шире взглянуть на задачи правительства. Как и во время борьбы за эмансипацию католиков, Пиль считал необходимым уступить требованиям времени в области экономической жизни страны. Одним из первых его действий было восстановление упраздненного в 1815 г. подоходного налога (income tax) на доходы свыше 150 фунтов стерлингов. К немалому неудовольствию весьма многих членов своей партии, он добился также в 1842 г. понижения пошлины на привозный хлеб. Вместе с этим он содействовал уничтожению последних вывозных пошлин, хотя и этим вызвал ропот немалого количества членов своей партии. Таким образом, в лице Пилиа консерваторы пошли на уступки либералам, агитировавшим в пользу свободной торговли. Вследствие этого он даже лишился поддержки части торийской партии и, наоборот, сблизился с оппозицией. Но он все еще стоял за пошлины на привозный хлеб, опасаясь, что при иностранной конкуренции сократится производство хлеба в Англии, и желая, чтобы страна могла обходиться без иностранного хлеба в случае войны. Но когда в 1845 г. вследствие недорода хлеб в Англии сделался слишком дорог, и даже начался голод, Пиль решился потребовать полной отмены хлебных законов. Таким образом, мера, в пользу которой агитировала либеральная партия, была предложена консервативным министерством, хотя в данном случае большинство составилось лишь из 104 консерваторов в союзе с 223 либералами против 229 консерваторов. Это случилось в 1846 г. Но именно этот раскол среди самих консерваторов заставил Пилиа выйти в отставку, хотя и после этого с ним осталась большая группа членов парламента, получившая название «пилитов». Принципы свободной торговли, в пользу кото-

рой действовало новое либеральное министерство (Росселя), нашли поддержку в этой части консервативной партии.

Правда, по многим вопросам часть консервативной партии могла выступать солидарно с либералами по той простой причине, что обе эти партии представляли часто одни и те же социальные интересы, но важно, что консерваторы иногда являлись продолжателями реформ, начатых их политическими противниками, и именно в таких отношениях, где никак уже не были затронуты положительным образом интересы господствующих классов. Это можно сказать, во-первых, о мерах, касающихся народного образования, во-вторых, о фабричном законодательстве. Последнее заслуживает по своей важности особого рассмотрения.

Старая законодательная регламентация промышленности в Англии пала в начале XIX в., а вместе с этим отменено было и запрещение рабочим вступать между собой в союзы. Таким образом, устанавливался в жизни принцип свободного договора, за который и в течение рассматриваемого периода продолжала ратовать буржуазия, находившая в данном случае поддержку со стороны представителей политического либерализма и наиболее видных деятелей экономической науки. Совсем иначе смотрели на вопрос о вмешательстве или невмешательстве в экономическую жизнь рабочие классы, которые, наоборот, желали, чтобы законы ограждали их от эксплуатации капиталистов. И весьма рано рабочие начали напоминать парламенту о своем существовании путем петиций о законодательной защите их интересов. Сначала они просили о сохранении и строгом выполнении старых законов, ограждавших интересы трудящейся массы, потом стали просить издания и новых законов в том же смысле. В первой трети XIX в. в Англии происходили постоянные народные волнения, вызывавшиеся главным образом бедствиями сельских и городских рабочих. Общественное мнение было также сильно возбуждено возмутительными злоупотреблениями, какие были обнаружены в области применения детского труда на фабриках и в сельском хозяйстве. Все это заставляло парламент так или иначе рассматривать вопросы, касавшиеся быта рабочих и взаимных отношений труда и капитала. По этим вопросам парламент уже в начале XIX в. назначал разные комиссии, собиравшие фактический материал, опрашивавшие заинтересованных лиц и составлявшие свои доклады. Такая разработка вопросов, касавшихся быта рабочих, получила новый толчок, когда началась агитация в пользу свободной торговли, также затрагивавшей интересы различных классов общества. Если отсюда далеко не всегда возникали какие-либо практические меры, во всяком случае таким путем накапливался богатый фактический материал, на основании которого можно было судить о действительном положении дел. Например, знаменитая работа Энгельса «Положение рабочих классов в Англии», вышедшая в свет в середине сороковых годов, сделалась возможной лишь

благодаря существованию такого материала. В этом отношении английский парламент оставил далеко за собою французские палаты. Как относились последние к бедствиям рабочих, можно видеть хотя бы из примера того, как отнеслись они к лионскому восстанию 1831 г. Быть может, в связи с этим нужно поставить и меньшую разработанность социальной истории Франции в XIX в. сравнительно с социальной историей Англии.

Первый закон, изданный «в видах ограждения здоровья и нравственности учеников, работающих на бумагопрядильных и других фабриках», относится еще к 1802 г. Известно, однако, что ближайшим поводом для издания этого закона было сильное распространение эпидемических болезней на фабриках Манчестера и его округа. Рабочие, а между ними особенно дети и подростки, были поставлены в самые невозможные условия жизни и работы. Жили они в очень тесных помещениях, которые притом плохо проветривались, да и помещения, в коих производилась работа, были также самые невозможные. Рабочие были притом дурно одеты, питались весьма скудно и работали сверх своих сил. Но закон 1802 г. ограничивался только заботой о приходских учениках, т. е. о детях бедняков, отдававшихся приходами как бы в учение фабрикантам, и совершенно не касался детей, отдававшихся на фабрики родителями и, следовательно, как тогда полагали, находившихся под надзором самих отцов и матерей. Этот закон запрещал заставлять приходских учеников работать более двенадцати часов в сутки. Конечно, такое сокращение рабочего времени для детей нельзя назвать особенно значительным, да и само сокращение распространялось далеко не на всех детей, работавших на фабриках, тем не менее закон 1802 г. имеет важное историческое значение как прецедент, показывавший, что парламент и при новом экономическом строе не отрекался от своего старого права вмешиваться в дела промышленности. Положим, поводом к изданию этого закона послужило развитие эпидемических болезней, — как то же самое случилось и позднее, когда в начале тридцатых годов в Англии стала свирепствовать холера, — но важно именно то, что парламент не мог удержаться на точке зрения безусловного невмешательства государства в ведение дел промышленными предпринимателями. Таким образом, в английской государственной жизни существовала все-таки более или менее прочная традиция, неблагоприятная для сторонников безусловной экономической свободы. Между тем эту свободу в рассматриваемую эпоху стремились осуществить и практические деятели из буржуазии, понимавшие, что она для них выгодна, и весьма многие влиятельные теоретики, не видевшие или не хотевшие видеть вредной стороны невмешательства государства во взаимные отношения труда и капитала. Доктрина свободной конкуренции не господствовала, однако, безусловно. Сторонники демократических стремлений весьма естественно осуждали доктрину, столь невыгодно отражавшуюся на интересах народа. К ним

примыкали филантропы из разных лагерей, не исключая и консервативного, возмущавшиеся печальными явлениями действительности с точки зрения гуманности, нравственности и христианской религии. Этим создавалось общественное мнение, враждебное по крайней мере наиболее грубым формам эксплуатации труда. Общественная совесть возмущалась особенно сильно дурным обращением, какому подвергались несчастные дети, работавшие на фабриках. Это не могло не действовать на парламент, тем более что в нем самом консервативная партия не только не разделяла идей манчестерской школы, но даже находила нужным противодействовать своекорыстным стремлениям промышленной буржуазии, отстаивавшей экономическую свободу. Вот при каких обстоятельствах зародилось в Англии фабричное законодательство, в коем Франция так сильно отставала от своей соседки. Достаточно отметить, что во Франции первый закон о детском труде на фабриках был издан лишь в 1841 г., т. е. почти через сорок лет после того, как то же самое впервые было сделано в Англии.

Впрочем, и в самой Англии дело шло крайне медленно, и ничего важного не было предпринято до начала тридцатых годов. Нельзя сказать, чтобы за весь этот период не раздавалось голосов в пользу фабричного законодательства, но они не оказывали практического влияния на жизнь. Самым энергичным представителем этой идеи был родоначальник английского социализма Оуэн, который еще в 1815 г. создал целый план об ограничении детского труда на фабриках, мотивируя необходимость такого закона ссылками на творившиеся в фабричных заведениях ужасы. За этим следовал целый ряд брошюр, в коих Оуэн излагал свои взгляды на необходимость вмешательства вообще в положение фабричных детей и других рабочих. Но особенно публицистика по рабочему вопросу развилась в Англии в тридцатых и сороковых годах, когда пауперизм в стране достиг крайних пределов. В 1833 г. вышло в свет любопытное сочинение Уэкфильда под заглавием «Англия и Америка», в коем проводилась параллель между обеими странами. Именно в этой книге автор ссылался на то, что сами англичане стали называть свои рабочие классы белыми рабами. Изобразив бедственное положение этих людей, Уэкфильд продолжает: «Положим, в Америке проделывают с людьми (неграми) то же самое, но там обращаются с ними, как с дорого стоящим скотом, дают им досыта есть, укрывают их от непогоды, держат их в хорошем настроении духа и даже выводят их ребят прогуливаться на лужайку. Английские рабы запрягаются в возовые телеги и при этом дурно кормятся, дурно одеваются, живут в плохих жилищах, и, в заключение, с ними обращаются весьма нехорошо во многих отношениях». При этом Уэкфильд замечает, что английские рабочие мрут более американских рабов и что последние размножаются быстрее первых. Английский простолюдин «терпит почти все бедствия рабства и не наслаждается ни одной его выгодой: он не свобод-

ный человек и не раб, он — паупер». Отсюда Уэкфильд делает тот вывод, «что худший вид рабства существует в Англии». Более всего, конечно, он возмущается эксплуатацией детского труда и проводит красноречивую параллель между тем, как обращаются с детьми бедняков в Англии и с детьми негров в Америке: здоровьем и жизнью будущих рабов в Америке дорожат гораздо более, чем здоровьем и жизнью будущих свободных граждан Англии. В том же самом 1833 г. вышла также книга Уэда под заглавием «История среднего и рабочего классов», заключающая в себе изображение бедственного положения, в каком находились в то время английские рабочие. Внимание общества все более и более приковывалось к этому вопросу, и Уэкфильд не без основания писал в своей книге, что пауперизм был тогда «наиболее трактуемым вопросом в английской прессе». В то самое время, как в парламенте рассматривался вопрос о налоге на бедных, один из известных вождей демократической партии, Коббет, написал памфлет «Завещание рабочим», в котором он доказывал, что бедные имеют право пользоваться частью дохода с земли. В этом сочинении, имеющем polemический характер, он также изображает бедственное положение рабочих и говорит о необходимости оказания им государственной помощи. И в общих трактатах политической экономии начинают встречаться заявления в пользу государственной помощи рабочим, рядом с критикой существующих экономических отношений. Таковы книги Томпсона («Исследование принципов распределения богатств», 1824), Годскина («Популярная политическая экономия», 1827), Скроба («Принципы политической экономии», 1833), Брея («Болезни и лекарства труда», 1839), а также два анонимных сочинения, вышедших в свет в 1844 г. и имевших большой успех: «Опасности для нации» и «Средства против некоторых зол, составляющих опасность для нации». Первая из двух только что названных книг носит еще подзаголовок «Воззвание к законодательству, духовенству, высшим и средним классам», но и вся указанная литература имеет значение именно таких воззваний к правительству и правящим классам. Общий вывод был тот, что государство не должно оставаться равнодушным ввиду народных бедствий, порожденных новой экономической системой.

Правящие классы имели, однако, свой особый взгляд на этот предмет и продолжали указывать, как на причины экономического расстройств, на законы о бедных и на стеснения торговли, пока эти законы и стеснения продолжали существовать. Потом стали ссылаться преимущественно на лень и нравственную распушенность рабочих, обвиняя, таким образом, их самих во всех бедствиях, их постигающих. Понятно, что подобного рода аргументы не оставались без ответа. Особенно много надежд возлагалось на благодеяния свободной торговли, в пользу которой велась самая деятельная агитация. Но многие и тогда уже понимали, что дело совсем не в уничтожении стеснительных для торговли законов. «Какой же толк, —

спрашивал в 1833 г. Уэд, — может быть для нации от расширения заграничной торговли, которая ради доставления иностранцам дешевого коленкора наполняет наши рабочие дома нищими?» Уже в это время начинали понимать, что так называемое национальное богатство может совмещаться с нищетой народа. «Я, — говорит тот же Уэд, — большой поклонник политической экономии, но отнюдь не желаю без разбору принимать все ее догмы. Народное счастье несравненно важнее, чем народное богатство, неравномерно распределенное... Высокая заработная плата много полезнее, чем высокая прибыль. Хотя бы последняя и совсем упала, все-таки пусть лучше народ будет счастлив, чем иностранная торговля преуспевает». Между прочим, критики господствующей системы весьма нередко понимали надлежащим образом и те мотивы, которые лежали в основе агитации в пользу свободной торговли. Например, в одном из анонимных сочинений, названных выше, рассказывается, как некто, сделав крупное пожертвование в пользу лиги против хлебных законов, сказал при этом: «Я даю сто фунтов и верю, что когда цель лиги будет достигнута, то я получу барыш, в десять раз больший, от увеличения моей промышленности». Другой на это заметил, что дело здесь весьма простое: у кого окажется карман шире — у них или у землевладельцев? Одновременно с тем, как за интересы рабочих ратовала известная часть публицистики, и сами рабочие пытались бороться с неблагоприятными условиями, в какие они были поставлены. Главными средствами для этого были стачки и рабочие союзы (trades-unions). В Англии уже давно существовали ассоциации рабочих одного и того же ремесла, договаривавшиеся с хозяевами относительно общих условий работы. В двадцатых годах подобные товарищества стали получать и другой характер благодаря инициативе Оуэна, проповедовавшего необходимость организации кооперативных ассоциаций в духе созданной им социальной системы. В начале тридцатых годов он даже основал особое «Общество содействия национальному возрождению», а затем общий рабочий союз, чтобы агитировать в пользу введения восьмичасового рабочего дня. Начались особенно частые стачки, на которые предприниматели ответили своим союзом. Дело доходило до того, что один из наиболее популярных политикозэкономов эпохи, Сениор, требовал применения к рабочим исключительных законов, на что, однако, либеральное министерство отвечало сначала отказом, не желая наносить ущерба общественной свободе, охраняемой законом. Лишь впоследствии оно согласилось признать за стачками значение противозаконных заговоров. Одновременно с этим и был поднят в парламенте вопрос о фабричном законодательстве — рабочие напоминали о себе сами.

Главными деятелями на этом поприще были лорд Ашлей (впоследствии граф Шефстбюри) и Ричард Остлей. Первый из них гораздо позже сам рассказывал о том, какие мотивы заставили его взяться за это дело. «Я хо-

рошо помню, — говорит он, — как при самом начале фабричного движения мне однажды пришлось стоять у ворот фабрики, когда из нее выходили дети: и какие это были жалкие, убитые, мертвенного вида существа! В Брэдфорде особенно бросалось в глаза, до чего могла довести ребенка долгая жестокая работа. Между ними можно было насчитать сотни, почти тысячи калек и увечных. Мой знакомый как-то собрал их много в одном месте, чтобы я мог посмотреть на них: это было доводящее до слез зрелище; их уродства казались просто невозможными». Нужно заметить, что лорд Ашлей принадлежал к консервативной партии. Другой из названных деятелей ранее прославился своей деятельностью в союзе со знаменитым Вильберфорсом в пользу уничтожения рабства негров в Вест-Индии. Живя потом в одном фабричном округе, он тоже своими глазами видел бедствия, какие претерпевались фабричными детьми, и это заставило его в тридцатых и сороковых годах с особой энергией настаивать на необходимости законодательного ограничения эксплуатации детского труда. Уже в 1831 г. парламент образовал особую комиссию, которая должна была исследовать этот вопрос, и результаты ее работ были таковы, что законодательное вмешательство было признано вполне необходимым¹. В том же самом году был издан закон, которым запрещалась ночная работа для лиц моложе двадцати одного года, тех же рабочих, которым не исполнилось еще восемнадцати лет, и днем нельзя было заставлять работать более двенадцати часов, а по субботам более девяти.

После парламентской реформы под влиянием агитации со стороны рабочих союзов и враждебного отношения консервативной партии к фабрикантам фабричное законодательство приняло более решительный характер, тем более что прежние законы касались главным образом бумагопрядильных фабрик, а теперь новые правила стали распространять и на другие производства. Первый такой закон был издан парламентом в 1833 г. по инициативе лорда Шефстбюри и при сильной поддержке со стороны представителей крупного землевладения, которым впоследствии фабриканты отомстили отменой хлебных законов. Акт 1833 г. устанавливал для подростков от тринадцати до восемнадцати лет максимум работы не более двенадцати часов в сутки, да и то только между половиной шестого утра и половиной девятого вечера. Ночной труд запрещался также и для малолетних, т. е. для детей от девяти до тринадцати лет, которые притом вообще не должны были работать более восьми часов в сутки. За некоторыми,

¹ Впрочем, еще в 1819 г. был издан также закон, запрещавший бумагопрядильным фабрикам занимать детей, не достигших девятилетнего возраста, а не достигшие шестнадцати лет не могли быть заняты работой свыше двенадцати часов в сутки. Любопытно, что защитники рабочих около этого времени начинали требовать девятичасовой и восьмичасовой нормы для взрослых (между прочим, Оуэн). Всех парламентских актов, касающихся рабочих, было пять с 1802 по 1833 г.

впрочем, исключениями запрещалось, наконец, пользоваться каким бы то ни было трудом детей моложе девяти лет. Этот закон, который должен был вводиться с известной постепенностью, создавал и особую фабричную инспекцию для наблюдения за тем, чтобы фабриканты не нарушали постановлений этого закона. Предприниматели были крайне недовольны этим актом, и под их давлением правительство вскоре предложило понизить возраст малолетних с тринадцати на двенадцати лет. Но парламент не решился на подобную уступку ввиду крайнего возбуждения, господствовавшего среди рабочих. К числу противников нового закона принадлежал и экономист Сениор. Практическое значение акта может явствовать из того, что перед 1833 г. на трех тысячах фабрик работало более пятидесяти шести тысяч детей, а через пять лет на четырех тысячах фабрик насчитывалось лишь около двадцати тысяч. Это значит, что предприниматели стали меньше прибегать к детскому труду. Кроме того, новый закон заставил фабрикантов обратиться к более усовершенствованным машинам, которые должны были удешевлять производство. Вскоре, однако, стало обнаруживаться, что фабриканты научились весьма ловко обходить закон, прибегнув к системе смен, именно заставляя детей и подростков, отработав узаконенное время в одном месте, работать затем в другом. В 1844 г. фабричные инспектора прямо заявляли министру внутренних дел, что при такой системе смен действительный контроль над исполнением закона делается совершенно невозможным. С другой стороны, многие фабриканты, по тем или другим причинам строго исполнявшие закон 1833 г., указывали парламенту, что их собратья, нарушающие закон, тем самым вредят интересам более добросовестных предпринимателей. В 1844 г. парламент сделал к закону 1833 г. весьма важное добавление, в силу которого к несовершеннолетним приравнивались и женщины свыше восемнадцати лет: их рабочее время было ограничено двенадцатью часами в сутки, и женская ночная работа запрещалась. На этот раз сами фабриканты вынуждены были пойти на уступки, с одной стороны, под влиянием продолжавшихся среди рабочих движений, с другой — желая расположить рабочих в свою пользу во время своей борьбы с лендлордами за отмену хлебных законов. Многие сторонники этой последней меры даже обещали рабочим, что, если состоится отмена хлебных законов, то фабриканты, пожалуй, согласятся и на закон о десятичасовом дне, коего добивались рабочие.

Закон 1844 г. впервые регулирует рабочее время совершеннолетних лиц. Это было настоящим нововведением. Еще при издании закона 1833 г. в парламенте говорили, что ограничение труда взрослых породило бы только большее зло, чем то, которое желают предотвратить. Фабричный отчет за 1844 и 1845 гг. не без иронии замечает, что инспекторам неизвестно ни одного случая, когда бы взрослые женщины жаловались на вторжение в их права. Прибавим, что по тому же самому закону 1844 г. детский

труд был сокращен до 6,5 или 7 часов в сутки и были приняты меры для того, чтобы не было злоупотребления в системе смен. Косвенным результатом всего этого было то, что и ежедневный труд взрослых мужчин подвергся сокращению, так как в очень многих случаях работа взрослых мужчин требовала содействия женщин, подростков и детей. С 1844 по 1847 г. двенадцатичасовой рабочий день вошел почти в общее употребление. Нельзя, однако, при этом не вспомнить, что в XVIII столетии рабочий дом, в коем бродяги должны были бы работать полные двенадцать часов, назывался «домом ужаса».

В 1846 г. совершилась отмена хлебных законов, да и вообще около этого времени восторжествовали принципы свободной торговли. Крайне раздосадованные консерваторы готовы были еще более, чем прежде, поддерживать требования рабочих. Мы еще увидим в следующей главе, что демократическое движение, ставившее на своем знамени, между прочим, десятичасовой билль, в это время продолжалось с прежней силой. Можно было ожидать, что сторонники свободной торговли, добившись своего, исполнят обещание, нередко пускавшееся ими в среду рабочих во время агитации против хлебных законов, но они не только не сделали этого, но даже выступили противниками нового фабричного закона. Их оппозиция, впрочем, осталась безуспешной, и парламент в 1847 г. принял еще один билль, представляющий из себя дальнейшее развитие законов 1833 и 1844 гг.

Этот новый фабричный акт, датированный 8 июня 1847 г., объявлял, что с первого же июля того же года рабочее время для подростков и всех вообще работниц должно было быть ограничено одиннадцатью часами в сутки, а через десять месяцев после того, т. е. с первого мая 1848 г., рабочее время для лиц обеих категорий должно было быть сокращено до десяти часов в сутки. Фабриканты были крайне недовольны таким законом и обнаружили твердое намерение помешать его проведению в жизнь. Среди рабочих в этом году была большая нужда, так как вследствие кризиса, разразившегося около того времени, многие фабриканты вынуждены были сократить производство, и очень многие рабочие, лишившиеся заработка, готовы были работать на каких угодно условиях. И вот между ними фабриканты стали теперь агитировать, желая при их же помощи добиться отмены закона 1847 г., как будто бы для них вредного. С другой стороны, пользуясь сокращением рабочего времени как предлогом для понижения платы, фабриканты стали платить рабочим иногда на 25 % менее, чем платили раньше. По-видимому, и этим средством они также думали возбудить рабочих против ненавистного закона. Им действительно удалось вызвать со стороны рабочих несколько петиций в желательном для них смысле, но громадное большинство рабочего класса стояло твердо на стороне нового закона. Да и среди тех, которые подписывались под подобными петициями, было немало лиц, заявлявших впоследствии, что их подписи были вы-

нужденные — под страхом отказа от работ. Фабриканты вели агитацию и в периодической печати, и в парламенте, изображая фабричных инспекторов, как людей, подобных конвентским комиссарам, которые ради своих филантропических фантазий готовы были жертвовать действительными интересами подвластных им людей. Но и эта ссылка на пример первой французской революции оказалась совершенно неосновательной. Один фабричный инспектор допросил лично или через своих помощников более 10 000 взрослых рабочих, и из них около 7 000 высказалось за десятичасовой рабочий день, очень многие — за одиннадцатичасовой, и лишь весьма незначительное меньшинство — за двенадцатичасовой. Тот же фабричный инспектор (его фамилия была Горнер) столь же документально опроверг фабрикантов и по другому пункту. Весьма часто заставляя взрослых мужчин работать тринадцать, четырнадцать и даже пятнадцать часов в сутки, фабриканты ссылались на подобного рода примеры как на доказательство того, будто сами рабочие стремятся к удлинению рабочего времени. На самом деле рабочие, допрошенные Горнером, заявляли, что они с большей охотой работали бы часов по десять в сутки, хотя бы и за уменьшенную плату, но что им приходится выбирать или между более длинным рабочим временем, или отказом от работы. Агитация фабрикантов потерпела полное поражение, и 1 мая 1848 г. закон о десятичасовой работе подростков и женщин вошел в окончательную силу. На этом, однако, фабриканты не успокоились и начали изобретать разные способы обходить закон. Во-первых, десятичасовая работа должна была совершаться с половины шестого утра до половины девятого вечера только для подростков и женщин, и вот, начав отпускать последних целыми массами, предприниматели принялись за восстановление уже почти позабытого ночного труда для мужчин, так как не было никакого закона, который ограничивал бы рабочее время мужчин старше восемнадцати лет. Во-вторых, неправильно толкуя постановления фабричных законов о роздыхах, необходимых для принятия пищи, предприниматели заставляли людей, состоявших под защитой фабричных актов, работать по десять часов без перерыва. Особенно тяжела была такая работа без всякого отдыха для детей моложе тринадцати лет¹.

Весьма деятельный отпор фабриканты, нарушавшие закон, встречали со стороны фабричных инспекторов, которые вчиняли против них судебные преследования. Многие из этих инспекторов проявляли в этой борьбе прямо замечательную энергию, несмотря на то что не всегда одерживали победу и что даже им внушалось иногда не слишком придирается к нарушениям буквы закона. Нередко фабричные инспектора прямо указывали властям на то, что антагонизм обоих классов принимает слишком острый характер, да и среди самих фабрикантов было крайнее неудовольствие на

¹ Нужно заметить, что в промежуток между 1844 и 1847 гг. парламент разрешил принимать на фабрики детей не с девятилетнего, а с восьмилетнего возраста.

то, что по нарушениям фабричного закона одни суды решали дела так, другие — иначе, вследствие чего между предпринимателями не могло быть полного равенства в эксплуатации рабочей силы. Опасное брожение среди рабочих заставило, наконец, парламент в 1850 г. издать акт, по которому подростки и женщины в первые пять дней недели должны были работать по десять с половиной часов, а в субботу — семь с половиной, но так, чтобы рабочее время заключалось между шестью часами утра и шестью часами вечера с перерывами в полтора часа для принятия пищи; по субботам же работа должна была кончаться в два часа дня.

Таковы были главные фабричные законы в Англии в рассматриваемый период. Сверх того, можно указать и несколько второстепенных законов вроде запрещения уплаты заработка съестными припасами и другими продуктами из фабричных лавок, в коих рабочих заставляли забирать все необходимое, или вроде запрещения пользоваться детским и женским трудом для подземных работ в каменноугольных копях, для чего установлена была должность особых инспекторов (1842 г.), и т. п. Замечательно, что все эти законы были изданы в то самое время, когда господствовала идея о благодетельности невмешательства. Если, однако, такие законы все-таки издавались, то объясняется это тремя главными причинами. Во-первых, весьма большое влияние в данном случае оказано было рабочим движением, которое не могло не производить давления на правящие классы. Правда, очень многие рабочие сами содействовали злоупотреблению детским трудом, отдавая детей и подростков на фабрику, отчасти по нужде, отчасти эксплуатируя их труд в свою пользу. Правда и то, что, когда в 1848 г. рабочее движение на континенте потерпело поражение, это отозвалось и в Англии, где фабриканты стали делать все, что только могли, дабы задержать приведение в исполнение фабричного закона 1847 г. Во всяком случае, требования, которые парламенту предъявлялись рабочими в тридцатых и сороковых годах, не могли пройти бесследно, не вызвавши хотя бы некоторых уступок. Во-вторых, немаловажную помощь рабочим в их домогательствах оказали многие люди из других классов общества, которые, движимые чувством человеколюбия, выступали бескорыстными защитниками интересов трудящейся массы. Таковы были писатели, изображавшие бедственное положение рабочих и в особенности обличавшие эксплуатацию детского труда. Подобное же значение имеет и деятельность многих фабричных инспекторов, из коих особенно следует выдвинуть упоминавшегося выше Горнера, «фабричного цензора, — как выражается о нем Маркс, — оказавшего бессмертные услуги английскому рабочему классу». Между прочим, Горнер полемизировал со знаменитым Сениором, который всячески поддерживал манчестерцев в их ненависти к вмешательству закона в свободу договоров. Наконец, благоприятное значение для рабочих имело и то обстоятельство, что между правящими

классами существовал раскол, касавшийся как раз вопроса об экономической свободе. В некоторых случаях последняя была прямо неблагоприятна для интересов землевладельческого класса, а в других этот класс только не имел оснований защищать эту свободу. Представители промышленного капитала, добиваясь отмены хлебных законов, наносили ущерб всем получавшим поземельную ренту, и вот последние мстили своим соперникам, поддерживая фабричное законодательство. Сами капиталисты до известной степени иногда считали нужным идти на уступки, желая расположить в свою пользу рабочий класс, среди которого велась деятельная агитация в пользу отмены хлебных законов.

Конечно, успех не соответствовал сделанным усилиям. Положение английских рабочих в конце рассматриваемого периода было весьма плачевным. В 1845 г. в Лейпциге на немецком языке вышла в свет знаменитая книга Фридриха Энгельса «Положение рабочих классов в Англии», представляющая собой наиболее полное и вместе с этим очень точное описание разных сторон промышленного быта Англии. В своем «Капитале» Маркс для периода до 1845 г. отсылает читателя преимущественно к этой книге, беря сам необходимые ему примеры из того периода, когда в Англии (после 1848 г.) восторжествовала свободная торговля. Позднее были опубликованы в Англии официальные отчеты о детском труде на фабриках, и из них общество могло узнать, на какой низкой степени умственного развития находились фабричные подростки. Например, один мальчик двенадцати лет говорил, что он живет не в Англии, что такая страна, может быть, и существует, но что раньше он о ней ничего не слыхал. Другой слышал, что у них есть король, т. е. человек, которому принадлежат все деньги, но что король этот — королева и что называют его принцессой Александрой. Сведения многих подростков в религии были не лучше. Один мальчик семнадцати лет говорил официальным комиссарам, что слышал в церкви о каком-то Иисусе Христе, который отличался от других людей тем, что был религиозен, а другие люди не религиозны; больше же он ничего о Христе не знает и никаких других имен назвать не может. «Дьявол — хороший человек, — говорил еще один. — Но я не знаю, где он живет. Христос был злой человек».

Выше было уже упомянуто, что во Франции до 1841 г. не было издано ни одного закона, ограждавшего детский труд от эксплуатации. Но и этот закон был единственным, какой только был издан в эпоху июльской монархии. Если мы теперь рассмотрим его содержание, то увидим, насколько в самом деле англичане опередили французов в этой области законодательства. Французский закон 1841 г. устанавливал восьмичасовой день для детей от восьми до двенадцати лет и двенадцатичасовой для детей от двенадцати до шестнадцати лет, причем допускал разные исключения и в некоторых случаях разрешал ночной труд даже для восьмилетних детей. Не-

смотря на то что французское законодательство в сравнении с английским вообще гораздо более (можно даже сказать, неизмеримо более) подчиняет жизнь граждан административному и полицейскому надзору, законом 1841 г. совсем не учреждалось никакой специальной инспекции для наблюдения за тем, чтобы по крайней мере этот несовершенный закон соблюдался, и для привлечения к ответственности предпринимателей, его нарушавших. В этом отношении Англия все-таки являлась страной передовой. В ней ранее, чем в других странах, обнаружили все результаты «индустриальной революции», и в ней же опять-таки ранее, чем в других странах, законодательство, несмотря на все неблагоприятные усилия и даже прямые препятствия, стало вмешиваться во взаимные отношения капитала и труда. Этот вопрос получил особенно важное значение во второй половине XIX в., но история не должна забывать, что впервые упорная борьба в пользу законодательного регулирования отношений между капиталом и трудом началась еще в тридцатых годах.

Вообще, сравнительно с предыдущим периодом, когда в английской общественной жизни господствовал застой, тридцатые и сороковые годы были временем преобразований, и опять-таки по сравнению с Англией та же самая эпоха в истории Франции представляется нам временем законодательного застоя, совершенно несоответствовавшего общему характеру эпохи, т. е. тем политическим и социальным движениям, которых было так много в царствование Людовика-Филиппа. Так как Англия не испытала переворота, подобного совершившемуся во Франции в 1789 г., и так как вызванная в Англии Великой французской революцией реакция надолго затормозила всякие реформы, то в английских учреждениях и оставалось более старины, требовавшей отмены: этим, конечно, и можно объяснить целый ряд реформ, начавшихся еще в двадцатых годах, но не нужно забывать и другой стороны дела, именно того, что многие реформы требовались не несоответствием старых учреждений новым условиям жизни, а как раз разного рода неудобствами, которые вытекали именно из этих новых условий. Если англичане реформировали в рассматриваемый период свое местное управление, то в этом случае они именно имели дело со старинными порядками, уже не годившимися при новых обстоятельствах: в этой сфере впереди шли все-таки французы, хотя бы реформы, произведенные ими в данной области в 1789 и 1800 гг., и нельзя было назвать удачными. Наоборот, фабричное законодательство вызывалось к жизни обстоятельствами новейшего происхождения, и вот в этой области, наоборот, англичане в гораздо большей степени, чем французы, оказались новаторами. Этого нельзя упускать из виду при общей оценке июльской монархии. Хотя в обеих странах после 1830 г. начинается господство буржуазии, все-таки в Англии оно не было столь полным, как во Франции. Здесь буржуазию, с одной стороны, сдерживали представители старого аристократиче-

ского строя, образовавшие весьма сильную консервативную партию, тогда как во Франции соответственным общественным элементом Июльской революции был нанесен сильный удар. С другой стороны, несмотря на все неудачи, какие испытывало в Англии демократическое движение, оно все-таки более сдерживало буржуазию, между прочим, потому, что вся английская нация в целом, воспитанная свободными учреждениями, имела и более опытности в политической жизни, и большую привычку пользоваться благами политической свободы. По той же причине английские правящие классы не всегда решались прибегать к таким репрессивным мерам, какие были в ходу во Франции, где долго еще не умирали привычки и нравы «старого порядка».

Только в Ирландии, как и прежде, не было той свободы, какой пользовалась сама Англия. С середины XVII в. почти вся страна принадлежала английским землевладельцам, настоящий же ирландский народ был превращен в арендаторов, которых можно было во всякое время согнать с их участков, даже без всякого вознаграждения. Нищета этих крестьян была поразительной вследствие крайне ненормальных условий пользования землею. В середине тридцатых годов было предпринято официальное исследование быта ирландских крестьян особой парламентской комиссией, представившей очень неприглядное описание экономического положения сельского люда: вместо жилья нередко жалкие землянки; весьма часто помещение для скота в самом человеческом жилье; одежда, напоминавшая собой скорее нищенские лохмотья; очень скудная пища, состоявшая главным образом из одного картофеля; население хронически голодало, а по временам голод обострялся, и тогда начиналась эмиграция в Америку. Особенно страшный голод пережила Ирландия в 1846 г., лишившись после этого целой четверти своего населения. Весьма естественно, что народ желал хотя бы одного только упрочения прав арендаторов на землю, т. е. уничтожения произвольной власти лендлордов. Поработители и поработенные говорили на одном языке, но одни были протестанты, другие — католики: в середине тридцатых годов, когда население Ирландии доходило почти до 8 млн душ, католиков в ней было около 6,5 млн. Вероисповедная рознь еще более обостряла рознь социальную, и оппозиция ирландцев против англичан принимала вследствие этого национальный характер. В конце XVIII в., особенно под влиянием Французской революции, Ирландия сделала было попытку сбросить английское иго, но дело окончилось тем, что в 1800 г. Ирландия лишилась своего парламента и стала высылать своих представителей в Лондон. После этого у английского парламента по отношению к Ирландии существовали только репрессивные и принудительные меры. Некоторые частные улучшения, к числу коих нужно отнести уничтожение прежней торговой зависимости Ирландии от Англии, не могли улучшить общего положения дел. Не нужно забывать и того, что до

1829 г., когда в Англии была проведена эмансипация католиков, представителями Ирландии могли быть только протестанты.

Эмансипация католиков несколько не изменила положения англиканской церкви в Ирландии. Она по-прежнему продолжала считаться государственной церковью, хотя к ней принадлежала едва одна десятая часть населения страны. Англиканское духовенство владело весьма многими землями, и, кроме того, в его пользу все население должно было вносить десятину. Крестьяне-католики делали это крайне неохотно, и из-за десятины возникало столько разных столкновений, что правительство еще в XVIII в. подумывало о необходимости реформы в этой области. В XIX в. отношения только обострились. Нередко дело доходило до убийств или до взыскания десятины вооруженной силой. С другой стороны, в Ирландии, несмотря на эмансипацию католиков, и в административной и судебной области продолжалось господство протестантов вследствие того, что они принадлежали к правящему классу. Одновременно с эмансипацией католиков произошли наконец изменения в ирландском избирательном праве, которые были не всегда благоприятны для народной массы. В 1832 г. в Ирландии не пришлось уничтожать большого количества «гнилых местечек», так как они лишились избирательного права еще в 1800 г., когда прекратил свое существование отдельный ирландский парламент. В эту эпоху избирательными правами пользовались все фригольдеры, имевшие сорок шиллингов годового дохода, и лендлорды даже старались увеличить число таких арендаторов, дабы иметь более голосов на выборах. Боясь, как бы при эмансипации католиков голосами таких избирателей не воспользовались католические священники, английский парламент в 1829 г. повысил избирательный ценз с сорока шиллингов на десять фунтов. Постановления парламентской реформы 1832 г., приведшие к увеличению числа избирателей в самой Англии, имели в своем применении к Ирландии противоположное действие: благодаря условиям ценза, принятым этой реформой, число избирателей здесь понизилось, и, конечно, это все могло быть вознаграждено увеличением числа ирландских представителей в великобританском парламенте со ста на сто пять. Как бы там ни было, однако, около этого времени в английском парламенте образовалась отдельная ирландская партия, поставившая своей задачей добиться путем участия в законодательстве лучших условий для существования своей родины. С этого момента английским консерваторам и либералам приходилось считаться с существованием не только радикалов, но и ирландцев. Выступление новой партии, отстаивавшей чисто местные интересы, с одной стороны, протягивавшей руку католицизму, с другой — часто соединявшейся, наоборот, с радикалами, вносило новое осложнение в английскую государственную жизнь. Хотя сменявшие друг друга правительства, в общем, следовали прежней системе деспотического управления Ирландией, однако без

уступок и тут им нельзя было обходиться. Во-первых, условия хорошего управления, хотя бы и путем одностороннего действия власти, сами требовали изменения невозможных порядков, существовавших в Ирландии. Во-вторых, для достижения своей цели ирландцы стали прибегать к тем же способам, коими пользовались в подобных случаях англичане, т. е. действовали путем политических обществ, митингов, прессы, и с этим поневоле приходилось до известной степени считаться. Наконец, и в чисто партийных отношениях консерваторов и либералов, сменявших друг друга у власти, ирландцы все-таки играли кое-какую роль. Вот почему даже в ирландском вопросе английский парламент должен был иногда отступать от системы применения одних исключительных мер.

Главой ирландской партии в парламенте в тридцатых и сороковых годах оставался О'Коннель, игравший такую видную роль в проведении эмансипации католиков. Уже в начале тридцатых годов, ободренный успехом предшествовавшей агитации, он начал новую агитацию — в пользу отмены закона об унии между Ирландией и Англией, но вскоре от этой мысли отказался, по крайней мере на время, рассчитывая принести пользу своей родине в качестве члена английского парламента. В 1837 г., когда разнесся слух, будто герцог Кумберлендский и тори угрожали молодой королеве, он готов был выступить на защиту ее прав, говоря, что за ним будет стоять по крайней мере полмиллиона храбрых ирландцев. Сначала действительно он надеялся, что разными частными реформами можно будет добиться общего улучшения ирландских дел. Поэтому он поддерживал либеральную партию, находившуюся у власти, хотя ее поведение не всегда соответствовало его ожиданиям, так как правительство прибегало к репрессивным мерам в Ирландии ввиду происходивших там волнений. Но когда в начале сороковых годов образовалось консервативное министерство Пиля, О'Коннель начал грандиозную агитацию, требуя восстановления ирландского парламента. По всей стране начались митинги, на одном из которых, например, присутствовало до 250 000 человек (в 1843 г.). Испуганное правительство прибегло к репрессии, добившись закона, который не позволял ирландскому населению иметь огнестрельное оружие и запретив митинги. Хотя О'Коннель вовсе не думал прибегать к насильственным средствам и даже убедил своих приверженцев не оказывать сопротивления, он был арестован и предан суду. Приговоренный сначала к наказанию за устройство заговора и подстрекательство народа против правительства, он был, однако, освобожден из тюрьмы по приговору палаты лордов. Вскоре после этого престарелый патриот, получивший от своих соотечественников название Освободителя, уехал в Италию, где и умер. Агитация кончилась полной неудачей. Громадное большинство католического населения Ирландии, руководимое своими священниками, повиновалось решению вождя на-

циональной партии примириться с неудачей. Но именно такое решение повлекло за собой образование демократической и революционной партии, отказавшейся от повиновения духовенству и принявшей имя «Молодая Ирландия». Эта партия, поставив своей задачей освободить Ирландию вооруженной рукой, вошла в сношения с континентальными политическими заговорщиками. Правительство решилось действовать против революционного движения репрессивными мерами. Пиль предложил даже ввести в Ирландии осадное положение и, конечно, нашел бы поддержку в консерваторах, если бы последние не мстили ему за отмену хлебных законов. Министерство на этот раз потерпело поражение и вышло в отставку. Вскоре в Париже вспыхнула Февральская революция, окрылившая надежды «Молодой Ирландии». Сделана была даже попытка начать восстание, но была подавлена правительством в самом зародыше. Общее положение Ирландии только ухудшилось.

Такова была в общих чертах внутренняя история Ирландии в тридцатых и сороковых годах. И все-таки и либералы и консерваторы находили одинаково нужным действовать не одними репрессивными мерами, но и преобразованиями, которыми отменялись, по крайней мере, самые вопиющие злоупотребления прежнего режима.

Первое, на что английское правительство обратило внимание, касалось положения англиканской церкви в Ирландии. Так как католическое население не хотело платить десятины, правительство должно было прийти на помощь к священникам, наиболее пострадавшим от неуплаты этого сбора, и парламент назначил довольно значительную сумму денег на вознаграждение этих священников (1833 г.). Понятно, что такая мера могла быть только паллиативной, а потому министерство предприняло целый ряд мер, изменявших положение англиканского клира в Ирландии. Сокращено было число архиепископов и епископов (с 22 на 12), равно как уничтожены были и лишние приходы. Произведены были также и другие менее важные реформы, причем правительство стало строже контролировать расходы на нужды англиканской церкви в Ирландии. Подобные меры, сильно раздражавшие консерваторов, собственно говоря, нисколько не облегчали народа, хотя и обнаружили, что англиканская церковь в Ирландии, в общем, получала доходов гораздо больше, нежели требовала на свое содержание. Затем, министерство задумало превратить десятину в поземельный налог, который бы уплачивался землевладельцами и подлежал бы выкупу. Но и этот проект сначала встречен был неблагоприятно: к нему отнеслись несочувственно даже сами члены ирландской партии, понимавшие, что такая конверсия только упрочит доходы англиканской церкви, не облегчив фермеров, на которых землевладельцы перенесут, конечно, этот новый налог. Этот вопрос, затрагивавший множество интересов, весьма долгое время занимал парламент, и в числе лиц, предла-

гавших проекты конверсии десятины, был Роберт Пиль, когда в середине тридцатых годов ему на время удалось стать во главе правления. Только в 1838 г. дело было решено в смысле первоначального предложения, хотя либеральному министерству пришлось при этом отказаться от своего плана, обращать избытки церковных доходов на разные общественные нужды. В том же самом 1838 г. в Ирландии были созданы новые учреждения по общественному призрению. Дело в том, что до тех пор в стране не существовало ничего, что напоминало бы английские законы о бедных, а между тем в этом чувствовалась настоятельная надобность, так как число лиц, живших подаян timer, в известную пору года достигало иногда 2,5 млн. В общем, ирландское законодательство на этот счет было не чем иным, как некоторым видоизменением законодательства английского, т. е. расходы по общественному призрению падали на поземельную собственность, а помощь пауперам должна была оказываться в рабочих домах.

Консервативная партия также провела некоторые реформы в Ирландии. Когда в сороковых годах в стране началось революционное движение, Пиль нашел нужным расположить в свою пользу более мирно настроенных ирландцев некоторыми новыми уступками. В 1845 г. он добился значительного увеличения субсидии, которую английское правительство давало духовной семинарии, приготавливавшей католических священников для Ирландии. Но особенно он считал нужным удовлетворить жалобы ирландских фермеров, среди коих революционная пропаганда могла найти особенно благоприятную почву. Он назначил специальную комиссию для исследования вопроса о том, какими способами можно было бы улучшить положение ирландского крестьянства. Затем он задумал распространить на всю Ирландию порядки, существовавшие уже в северо-восточной части острова (Ольстер), населенной большей частью шотландцами пресвитерианского исповедания: в этой провинции землевладелец не имел права произвольно прогонять своих фермеров, а в тех случаях, когда закон позволял ему отказывать от аренды, он обязывался вознаграждать за все улучшения, произведенные фермером на своем участке. В этом смысле Пилем и был подготовлен законопроект, но предложение его было отвергнуто палатой лордов (1845 г.). После выхода Пилия в отставку либеральное министерство Росселя, нашедшее поддержку в консерваторах, оставшихся верными Пиллю, также думало облегчить положение фермеров, создав некоторые гарантии против произвольной власти землевладельцев. Вместе с этим оно предложило распродать церковные земли, обремененные слишком большими долгами, предполагая, что новые владельцы будут брать низкую арендную плату. Парламент в 1848 г. согласился на вторую меру, но то, чего ожидали от покупателей церковных земель, не оправдалось: новые землевладельцы стали поступать со своими фермерами совершенно так же, как поступали вообще все ирландские лендлорды. Что каса-

ется до ограничения власти последних над фермерами, то и на этот раз парламент отказался принять какие бы то ни было меры в этом направлении. Принцип невмешательства восторжествовал в сфере поземельных отношений, и ирландские крестьяне оказались менее счастливыми, чем английские рабочие, коим удалось добиться осуществления хотя бы и некоторой только части своих требований. За страшным ирландским голодом 1846 г. последовала в весьма значительных размерах эмиграция ирландских крестьян в Америку, а те, которые оставались на родине, стали мстить сгонявшим их с насиженных участков землевладельцам так называемыми аграрными убийствами.

XI. Чартистское движение в Англии¹

Настроение народной массы в Англии после реформы 1832 г. — Демократическая программа времен агитации за реформу. — «Народная хартия». — Чартистская петиция в парламент. — Чартистские демонстрации. — Разделение чартистов на партии «физической силы» и «моральной силы». — Революционное брожение в народных массах. — Судьба первой чартистской петиции в парламенте. — Отношение правящих классов к чартизму. — Распадение чартизма на разные фракции в начале сороковых годов. — Судьба движения в сороковых годах. — Общее значение чартизма и влияние его на литературу. — Томас Карлейль. — Английский социализм. — Отражение чартизма в изящной литературе

Парламентская реформа 1832 г. была проведена благодаря деятельному участию народных масс. Главные вожди этого движения самым недвусмысленным образом обещали народным массам улучшение их положения от перемены в избирательном праве. Правда, уже во время самого движения многие доказывали, что серьезное значение могла бы иметь только радикальная реформа с всеобщим избирательным правом и тайной подачей голосов и что реформа, предложенная вигами, лишь увеличит число лиц, господствующих над миллионами англичан, тем не менее громадное большинство нации было довольно и этой умеренной реформой. Только впоследствии, когда явилось естественное разочарование по поводу неисполненных обещаний, среди рабочих классов стала распространяться и находить все большее и большее количество последователей идея чисто демократической реформы, входившая в программу радикальной партии. На самых же первых порах парламент, избранный по закону

¹ История чартизма, о коем идет речь в этой главе, вообще обращала на себя гораздо менее внимания, чем следовало бы. (Например, в превосходной двухтомной *Constitutional history of England* May'я этому движению посвящено всего только 6—7 страниц.) Главным сочинением о чартизме до сих пор остается: *Gammage. History of Chartist movement*, 1854. Оно было переиздано в 1894 г. На русском языке есть обстоятельная статья Н. Ч** «Чартизм», появившаяся в последних четырех книгах «Русской Мысли» за 1882 г. Кроме того, вообще для политического и социального движения см. соч. Schulze-Gaevernitz'a и его русское изложение, а также гл. III второго тома книги проф. Янжула, приводившейся выше (в этой главе речь идет о чартизме и социализме в Англии); *Kaufmann. Christian socialism*; *Gibbins. English social reformers*, 1992 (есть и в русском переводе, 1896); *Webb. History of trade-unionism*, 1894 (обещан русский перевод); *Howel. The conflicts of capital and labour* (есть в немецкой переработке Hugo. *Die englische Gewerkvereins-Bewegung*); *Travis. English socialism*, 1880. О Карлейле существует большая литература: *Froude. Thomas Carlyle*, 1882—1884; *Taine. L'idéalisme anglais. Étude sur Carlyle*, 1864; *Pich. Garnett. Life of Th. Carlyle*, 1887; *Flügel. Th. Carlyle's religiöse und sittliche Entwicklung und Weltanschauung*, 1887. На русском языке см.: *Окольский А. Фома Карлейль и английское общество в XIX столетии*; *Яковенко Е. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность*, 1891. О Ловетте — *The life and struggles of William Lovett*, 1876. О Кингслее — *Thomas Hughes* в предисловии к собранию его сочинений (1878).

1832 г., обнаружил явное стремление консолидировать новое политическое приобретение средних классов и не делать никаких уступок требованиям радикальной партии и народных масс. Весьма быстро сочувственное отношение народа к реформе 1832 г. стало сменяться крайним раздражением.

Одновременно с агитацией в пользу парламентской реформы в Англии происходило среди рабочих, как известно, и значительное кооперативное движение, вызванное проповедью Оуэна. Оно началось около 1824 г., и к концу двадцатых годов в Англии существовало уже до пятисот рабочих союзов, ставивших своей целью преобразование экономического строя путем проповеди и примера. Хотя родоначальник этого движения относился к политическим вопросам совершенно индифферентно, среди рабочих, примкнувших к его программе, начинало тем не менее распространяться воззрение, более благоприятное и для политической агитации. В 1831 г., т. е. в самый разгар борьбы за реформу, в Лондоне возник особый «Национальный союз рабочих и других классов», который, так сказать, соединял в своих требованиях и то, что составляло сильную сторону движения, возбужденного Оуэном, и то, что составляло саму основу движения в пользу парламентской реформы. Не имея еще значительного количества последователей, этот союз старался распространять свои идеи путем разных публикаций, которые находили одинаково весьма дурной прием в консервативной и либеральной прессе. Самой замечательной из этих публикаций была декларация, выпущенная союзом после того, как парламентом был принят билль о реформе. В ней были уже сформулированы демократические принципы, которые впоследствии составляли главное содержание знаменитой «народной хартии». Через пять лет возникла новая демократическая организация, получившая название «Лондонский союз рабочих». Она состояла из одних только рабочих и допускала в свой состав людей других общественных положений лишь в качестве почетных членов, выработав весьма широкую программу политических и культурных мер для распространения равноправности, благосостояния и просвещения среди рабочей массы, как городов, так и деревень. Оба указанных союза находились, несомненно, в преемственной связи между собой. На это указывают, во-первых, сходство программ, во-вторых, то обстоятельство, что и здесь и там наиболее деятельными членами выступают одни и те же лица, именно: Гетерингтон, Клив, Ватсон, Ловетт и др., игравшие впоследствии видную роль в самом чартистском движении. И из этой организации вышло также немало разного рода публикаций, большей частью в форме адресов и посланий, с коими ассоциация обращалась к королеве, к нации, к рабочим и к демократам других стран. В начале 1837 г. ассоциация созвала большой митинг, на котором впервые и были окончательно установлены шесть пунктов «народной хартии» (People's Charter), давшей название всему движению. Эти пункты

были следующие: 1) всеобщая подача голосов; 2) ежегодные выборы в парламент; 3) тайная баллотировка; 4) отмена имущественного ценза; 5) вознаграждение членов парламента в период исполнения ими своих обязанностей; 6) равные избирательные округа по числу избирателей. Под этими требованиями немедленно подписалось около трех тысяч человек. Но вместе с тем было решено собирать подписи под «народной хартией» и в других местах, для чего в наиболее важные города должны были съездить сами руководители начинавшегося движения. Некоторые из них уже успели стяжать себе известность, как талантливые публицисты, создавшие дешёвые газеты, в коих проповедовали свои идеи. В Лондоне остался действовать Ловетт, бывший главным организатором всего этого движения. Предполагалось, что на основании изложенных принципов будет выработан билль и что он должен был быть внесен в парламент одним из членов нижней палаты. В провинции агитация имела весьма большой успех, и когда выяснилось, что за «народную хартию» выскажется громадное количество голосов, решено было составить петицию в парламент, под которой стали бы подписываться во всех сколько-нибудь населённых местностях страны, где только представлялась бы возможность устраивать демонстрации в пользу «народной хартии». Петиция эта на имя «Благородных общин Великобритании и Ирландии от их страждущих соотечественников» появилась в мае 1838 г. Она заключала в себе ряд жалоб на тяжесть налогов, на нищету и разорение рабочих, на разные другие несправедливости, от коих терпел народ. «Мы, — говорилось далее в петиции, — со всей тщательностью старались найти причины столь тягостной нужды, но не могли найти эти причины ни в природе, ни в Провидении. Народ почитает Провидение и не думает оскорблять небесных щедрот, но безумие правителей наших лишает эти щедроты всякого значения. Все средства нашего могущественного государства уходят на усиление власти и увеличение богатств себялюбивых и невежественных людей. Благосостояние одной части увеличивалось на счет благосостояния всего народа. Немногие правят нами в интересах немногих же, а интересы многих открыто и тиранически приносятся им в жертву». Далее указывалось на то, какие надежды народ возлагал на реформу 1832 г. и как жестоко он был обманут: следствием реформы был только переход власти от одной господствующей клики к другой, народ же остался таким же беспомощным, каким был и прежде. Подобное положение вещей не может дальше существовать без серьезной опасности для прочности престола и спокойствия в государстве. Указав далее весьма кратко на те меры, которые могли бы улучшить положение трудящегося человека, петиция выражала желание, чтобы интересы народа были поставлены под охрану самого народа, ибо это — единственное средство, способное защитить и обеспечить его интересы. Раз государство обязывает своих подданных повиноваться законам,

нужно, чтобы и при составлении законов выслушивался голос каждого подданного: «Мы исполняем обязанности свободных людей, мы должны пользоваться и их привилегиями». Петиция повторяла далее шесть требований, выработанных раньше, с краткими разъяснениями каждого из этих требований. В заключение говорилось, что эти требования внушены просителям не страстью к новизне, а самыми серьезными соображениями и что если бы даже широкое участие народа в управлении и было бессильно оградить народ от разных бедствий, то по крайней мере этим устранится возможность пользоваться ими во вред общего блага. В конце мая 1838 г., вскоре после того, как эта петиция была опубликована, в Глазго была устроена первая демонстрация чартистов, в которой, по свидетельству современников, участвовало около 200 000 манифестантов. Демонстрация заключалась в грандиозной процессии с сорока оркестрами музыки и с целыми сотнями знамен и флагов. На последовавшем затем митинге говорилось о глубоком разочаровании народа парламентской реформой и о необходимости новой, действительно народной реформы, которой и предлагалось добиваться путем подачи в парламент новых и новых петиций с несколькими миллионами подписей, пока просимое не будет получено. Между прочим, в одной из речей была высказана та мысль, что, хотя в распоряжении народа и находится большая физическая сила, ему нет надобности к ней прибегать, так как довольно и одной нравственной силы, чтобы добиться своего. Несмотря на громадное стечение народа и на зажигательные речи, говорившиеся некоторыми ораторами, митинг прошел в полном порядке и собравшиеся спокойно разошлись по домам. За этой чартистской демонстрацией последовал ряд других подобных митингов; но дело не всегда кончалось так благополучно, как в первый раз. Когда приблизительно через месяц подобная же манифестация, в коей участвовало до 80 000 человек, произошла в Ньюкасле, то против собравшегося народа выдвинуты были целые отряды войска, вооруженные даже пушками. Хотя негодование народа этой мерой властей, нарушавшей свободу собраний, достигло крайней степени, дело до столкновения между обеими сторонами не дошло; но этот инцидент, конечно, подхваченный демократической прессой, произвел весьма тягостное впечатление и, по всей вероятности, сильно содействовал тому, что очень многие чартисты стали находить недостаточной одну нравственную силу, которую и начали поэтому предлагать заменить силой физической. На новом большом митинге, собравшемся в начале августа в Бирмингеме в количестве 200 000 человек, уже прямо проповедовалась необходимость революционного пути для достижения тех требований, которые были написаны в «народной хартии». С таким именно предложением выступил здесь ирландец О'Коннор, прославившийся среди рабочих своей агитаторской деятельностью. По его словам, нравственная сила дана человеку не для того, чтобы он оста-

вался рабом, а чтобы он умел владеть собой и знал, когда можно и когда нельзя терпеть. Настоящее же проявление нравственной силы есть сила физическая. Поэтому он думал, что петицию в парламент должны сопровождать сотни тысяч народа, которые и дали бы парламенту знать, что ждут его решения. Таким образом, в самом же начале чартистского движения наметился раскол между сторонниками моральной и физической силы, — раскол, впоследствии значительно обострившийся и не оставшийся без влияния на исход самого движения. Это различие взглядов стало проявляться и в чартистской периодической прессе, которая быстро достигла значительного развития. Одни газеты вроде «Северной звезды» О'Коннора или «Истинного шотландца» стояли на точке зрения «физической силы», другие, наоборот, проповедовали необходимость ограничиваться одной «моральной силой». Одна из газет последней категории, именно «Бирмингемская газета», защищавшая первоначально более умеренный взгляд, с течением времени стала все более и более склоняться на сторону первого принципа. Это разногласие обнаруживалось и на митингах, которые между тем продолжали собираться в разных частях государства. В середине сентября 1838 г. был большой митинг в Лондоне, который, однако, по своим размерам не был столь внушителен, как первые митинги. На этом собрании главные ораторы говорили в духе нравственной силы и старались строго определить задачи чартистского движения, дабы кто-нибудь не подумал, будто оно направлено, например, против хлебных законов или чего-нибудь другого в таком роде. Но и в Лондоне образовалась более воинственная демократическая ассоциация, которая стала издавать свой собственный орган, носивший название «Лондонский демократ». Гораздо более грандиозная демонстрация в конце сентября была произведена в Манчестере, а в середине следующего месяца была другая, не менее внушительная манифестация между Лидсом и Годдерфильдом: в обеих участвовало около полу-миллиона человек, и здесь уже говорились речи, в коих предсказывалось, что новая реформа не обойдется без кровопролития.

Не только консервативная, но и либеральная печать относилась к этому движению крайне несочувственно. Не было недостатка в людях, которые не прочь были бы положить конец всей этой агитации запрещением новых митингов, но правительство было против подобной меры. Стоявший тогда во главе министерства Джон Россель еще в самом начале движения воспользовался одним банкетом для того, чтобы произнести речь, в которой защищал право народа собираться для мирного обсуждения своих нужд и для выражения своих желаний, без чего, по его словам, недовольные стали бы соединяться в тайные общества, что было бы гораздо опаснее для правительства. Впрочем, в конце 1838 г. правительство сочло необходимым объявить незаконными некоторые формы, которые начинало принимать движение, именно митинги по вечерам при свете факелов

и с ружейными залпами, посредством коих выражалось сочувствие ораторам. Пресса правящих классов сначала больше, пожалуй, только высмеивавшая чартизм, весьма скоро заговорила о нем языком крайнего раздражения и стала прямо обвинять сторонников движения в стремлении к насилиям и грабёжам. Повод для подобного рода обвинений давали нередко сами ораторы, выступавшие на митингах, хотя всякие крайности порицались не только сторонниками моральной силы, но и видными представителями противоположного взгляда. Например, «Северная звезда» сильно вооружалась против ненужных эксцессов, думая, что делу они принесут только вред, а не пользу. Все эти митинги собирались не только ради политических манифестаций: на них подписывали петицию, а также выбирали делегатов в особый «конвент», который должен был объединить все движение. Этот съезд чартистских делегатов действительно состоялся в Лондоне в начале февраля 1839 г. И здесь возникло также разногласие. Одни полагали, что вся задача конвента заключалась в подаче петиции парламенту, хотя бы, как думали некоторые из них, это пришлось повторять несколько раз, тогда как другие представляли себе дело совершенно иначе: в случае отказа парламента на петицию должно было вспыхнуть восстание. Эту последнюю идею проповедовал с особенным жаром «Лондонский демократ» Гарнея. В спорах о дальнейшем образе действий прошло немало времени, тем более что на первых же заседаниях съезда делегатов обнаружилось, что во многих случаях петиция совсем не подписывалась и не было никакого выбора делегатов. Решено было отправить в эти местности доверенных лиц для новой агитации, а пока поневоле приходилось ждать, пока эта агитация даст результаты. Одновременно в разных местах снова стали происходить митинги, собиравшие десятки и даже сотни тысяч народа, и на них опять произносились речи, предлагавшие народу те или другие способы для того, чтобы добиться превращения «хартии» в закон. В числе таких мер особенно пропагандировалась всеобщая стачка. Предполагалось объявить «Священный месяц», в течение которого народ должен был отказаться от работы и от употребления спиртных напитков. Эта идея о «Священном месяце» была довольно популярна среди чартистов. Кое-где происходили стычки с полицией, и толпа переходила сама к насилию. Страсти, видимо, начинали разгораться: правительство малопомалу стало выходить из своей первоначальной сдержанности, а лондонский конвент все это время получал из провинции запросы относительно того, что следует делать дальше. В Бирмингеме на собравшийся народ было сделано нападение полиции, и конвент против этого резко протестовал, за что его секретарь Ловетт поплатился арестом. В середине июля в Бирмингеме собрался новый митинг поздно вечером, причем на всех улицах был потушен газ, было разграблено несколько магазинов и даже подожжены многие дома. Со своей стороны полиция произвела немало

арестов. Известие об этом вызвало весьма сильное волнение в других городах, собрание митингов не было остановлено бирмингемским происшествием, и на них раздавались протесты против господствующего класса, который, как говорили народные ораторы, хочет управлять своими согражданами посредством насилия.

Как раз в середине же июля (12-го числа) совершилась передача парламенту петиции, под которой уже было собрано 1 280 000 подписей. Документ этот имел вид громадного свитка, диаметр коего равнялся четырем футам, и несли его двенадцать человек. Передача петиции нижней палате сопровождалась речью Атвуда, в которой доказывалось, что палата общин, выбранная 700 000 избирателей, не может представлять многомиллионный народ, что вообще богатые не могут быть представителями бедных и что без коренного изменения конституции Англии не избежать революции. На эту весьма решительную речь отвечал сам Россель, сказавший, между прочим, что требования чартистов не могут быть осуществлены в стране, признающей монархию и наследственных пэров. По его представлению выходило, будто подписавшиеся под петицией добиваются не чего иного, как равного раздела собственности. В данном случае министр выражал мнение подавляющего большинства парламента, и весьма естественно, что петиция не имела ни малейшего успеха. Такой исход дела произвел самое удручающее впечатление на массу чартистов, которые надеялись на то, что петиция будет иметь успех, и вообще не хотели сходить с чисто легального пути. Правда, весьма многие и раньше находили нужным в случае неудачи прибегнуть к насильственному образу действий, но наиболее видные представители «физической силы» в это время сидели в тюрьмах. Только кое-где начинались были народные волнения и назначались новые собрания для того, чтобы продолжать агитацию, но, в общем, осенью 1839 г. движение находилось в полном упадке. Сам конвент в начале сентября разошелся, видя, что его дело совсем проиграно. Так как против вождей движения были начаты судебные преследования, оканчивавшиеся нередко приговорами к тюремному заключению, то и дальнейшая агитация должна была прекратиться. Все случившееся являлось, впрочем, лишним аргументом, на который могли теперь ссылаться сторонники физической силы.

Встреченное сначала насмешками среди имущих классов, чартистское движение весьма скоро стало им внушать опасения, тем более что для многих оно было равносильно проповеди насилия и грабежа. Поэтому когда оно потерпело неудачу, аристократия и буржуазия не могли скрыть своей радости по поводу устранения грозившей им опасности. Фабриканты, рабочие которых принимали участие в движении, спешили их рассчитать или не принимали к себе на службу людей, лишившихся работы у своих прежних хозяев по той же причине. Если и ранее очень многие из

рабочего класса оставались совершенно незатронутыми агитацией, когда она шла успешно, то после поражения еще менее можно было ожидать, чтобы пропаганда охватила всю народную массу. И без того, например, Джон Россель указывал, что под петицией подписалась только одна четверть взрослого мужского населения Англии. Правда, у чартизма осталось еще немало последователей, но разногласие, существовавшее между вождами и прежде этого, теперь еще более обострилось. Возникли даже новые раздоры, и немало демократических элементов было отвлечено от политического движения последователями Оуэна, сознательно отделявшими свою социальную реформу от всякого сколько-нибудь деятельного вмешательства в политику. В конце 1839 г. Оуэн имел в Англии до ста тысяч последователей, мечтавших о перевоспитании человечества путем образования сообществ на коммунистических началах. К этому времени сам Оуэн из филантропа, пользовавшегося покровительством «сильных мира сего», превратился в агитатора, проповедовавшего разрушение религии, брака и собственности, этой, как он выражался, «троицы зла», источника человеческого невежества, порочности и рабства. Пропаганда этих идей путем лекций, диспутов и брошюр велась весьма деятельно, и разочарование, которое явилось результатом неудачи чартизма, создавало почву, весьма благоприятную для оуэнизма. Если, однако, это общественное течение создало настоящий политический индифферентизм, то, с другой стороны, оно распространяло в массах новые социальные идеи, которые не всегда ясно сознавались чисто политическими демократами. Хотя, таким образом, между чартизмом и оуэнизмом существовал некоторый антагонизм, тем не менее оба эти движения глубоко волновали народную массу, раскрывая перед ней лишь разные стороны одного и того же демократического процесса. Нередко прежние последователи Оуэна делались чартистами, и бывало наоборот, что чартисты переходили на сторону Оуэна.

Возрождение чартизма стало обнаруживаться только в середине 1840 г., когда, с одной стороны, начали выходить из тюремного заключения вожди предыдущего движения, а с другой — в Манчестере состоялся съезд нескольких делегатов, порешивших снова начать агитацию путем публичных лекций. Но эта новая агитация далеко не была повторением прежней. Хотя, как и раньше, среди чартистов обнаруживался раскол между сторонниками нравственной и физической силы, рядом с этим возникли еще новые течения. Представителем одного из них явился Ловетт, который раньше был одним из главных организаторов и инициаторов всего движения. Приговоренный к тюремному заключению, из коего он вышел только летом 1840 г., он занялся пересмотром вопроса о сущности свободы и о средствах ее добиться. В брошюре «Чартизм», написанной им вместе с одним товарищем по заключению, он, так сказать, отрекся от прежнего направления своей деятельности. По его новому мнению, настоящую свободу нужно было добывать не

внешними актами законодательства, а развитием в народе внутренней свободы — свободы от заблуждений и пороков. Другими словами, политическая агитация должна была смениться чисто просветительной деятельностью. Вышедши из тюрьмы, он даже не поехал на манчестерский съезд, и не только не согласился примкнуть к задуманной на нем великобританской ассоциации чартистов, но даже создал свой собственный план — образование особой национальной ассоциации, которая занималась бы исключительно просвещением и облагораживанием народных масс. Эта новая проповедь Ловетта нашла значительный успех среди участников демократического движения. Еще один из прежних вождей чартизма, именно Винцент, также посидевший в тюрьме, начал доказывать, что прежде всего необходимо нравственное воздержание, и даже советовал основать особую ассоциацию, целью которой была бы пропаганда этого принципа. Весьма своеобразное, наконец, явление представляло собой превращение чартизма в своего рода религиозное учение сектантского характера, прямо излагавшееся в проповедях с церковных кафедр. В сущности, эти три новые направления имели свою основу в прежней доктрине нравственной силы, и весьма понятно, что к ним весьма несочувственно отнеслись сторонники чисто политического движения, начавшие теперь резко протестовать против этих новых форм чартизма. Одним из наиболее рьяных противников «чартизма образования, чартизма воздержания, чартизма христианства» был О'Коннор, который громил «отступников» при каждом удобном случае. С обеих сторон страсти разгорались до такой степени, что сторонники О'Коннора угрожали Ловетту смертью за измену, а приверженцы Ловетта обвиняли О'Коннора и его партию исключительно во властолюбивых стремлениях. Среди самих политических чартистов происходили точно так же несогласия по вопросу о том, за какую партию, т. е. за консерваторов или за либералов, подавать голоса на общих парламентских выборах 1841 г. В том же самом 1841 г. и в начале следующего года образовалось еще одно течение, которое характеризовалось стремлением соединить чартизм с радикализмом средних классов путем смягчения тех требований, которые заключались в знаменитых шести пунктах. Один из христианских чартистов, по фамилии Миаалль, говоривший церковные проповеди и издававший свой орган «Нонконформист», стал доказывать, что нужно требовать не всеобщего права голоса (*universal suffrage*), а полного права голоса (*complet suffrage*). Разница состояла в том, чтобы правом голоса пользовались лишь плательщики налогов, а добиваться этого он рекомендовал исключительно мирным путем. С этой целью он советовал основать особую лигу, и когда у него набралось достаточное количество последователей, действительно образовалась новая лига и даже была составлена на имя королевы особая петиция в смысле предложения Миаалля. Эта организация, к которой примкнул и Ловетт, получила название «Национальный союз полного права голоса». На ее сторону перешли и некоторые из полити-

ческих чартистов, но О'Коннор оставался непреклонным и ожесточенно нападал на программу «полного права голоса» как на измену народному делу в интересах средних классов.

В 1842 г. вожди чартизма снова собирались на съезды, на которых раскол между отдельными направлениями только обострялся, тем более что радикалы из буржуазии, с коими стремилась соединиться часть чартистов, выработали свою собственную программу, весьма отличную от народной хартии. Первый такой съезд состоялся в начале апреля в Бирмингеме, а через месяц, именно 2 мая, парламенту была представлена новая петиция, заключавшая в себе кроме шести известных статей еще одну — об отделении Ирландии от Великобритании. Под этой петицией успели собрать около 3 300 000 подписей. Сам документ везли по улицам Лондона в здание парламента в сопровождении целой процессии, а в залу палаты общин его внесли шестнадцать человек. Один из членов парламента предложил, чтобы было позволено самим чартистам защищать в палате свою петицию, но это предложение было отвергнуто громадным большинством голосов. Лето 1842 г. было весьма тревожное. Многие фабриканты сокращали производство или уменьшали заработную плату, а рабочие в свою очередь устраивали стачки и пропагандировали мысль о необходимости всеобщего прекращения работы до тех пор, пока «народная хартия» не получит законной силы. В августе даже стали составляться большие отряды стачечников, которые обходили фабричные города, везде приглашая прекращать работу. Они носили с собой знамя, на котором было написано: «Лучше умереть от меча, чем от голода!» Если рабочие какой-либо фабрики не соглашались бросить работу, то пришедшая толпа насильно заставляла их это сделать, подвергая порче паровики и машины. Между прочим, стачечники совершенно овладели Манчестером и 12 августа устроили новую конференцию чартистских делегатов. Но весьма скоро в дело вмешались полиция и войска. Многие члены конференции были арестованы, другие спаслись бегством. Подобного рода волнения происходили и в других местах, но всюду народное движение подавлялось военной силой, а затем следовали аресты, судебные приговоры к тюремному заключению или ссылке. Все это не помешало, однако, в самом конце 1842 г. собраться в Бирмингеме новой конференции чартистских делегатов. На этом съезде со стороны радикальной буржуазии было сделано предложение вместо «народной хартии» требовать «нового билля прав», существенно отличавшегося от демократической программы чартистов. Правда, это предложение провалилось, но само оно показывало, что между буржуазией и пролетариатом соглашение было невозможно. Сами представители «нравственной силы», думавшие первоначально о возможности соглашения с парламентскими радикалами, отшатнулись от них, но по-прежнему не хотели мириться со сторонниками физической силы. Любопытно, что как раз в то же самое

время, как совершалось чартистское движение, происходила агитация в пользу отмены хлебных законов. Мы видели уже, что этот вопрос интересовал главным образом буржуазию, но что в народной массе агитация против хлебных законов не пользовалась сочувствием. Чартисты даже противодействовали знаменитой лиге, агитировавшей против хлебных законов. Они указывали на то, что для рабочих дешевый хлеб равносителен дешевому труду. Так как сторонники свободной торговли сулили всякие благополучия и народной массе, когда хлеб будет дешев, то вожди демократического движения предостерегали рабочих от «нового обмана» со стороны буржуазии и твердили, что нужно добиваться не дешевого хлеба, а всеобщей подачи голосов. Со своей стороны, противники хлебных законов и на митингах, и в печати старались перетянуть народную массу в свой лагерь, но встречали мало к себе доверия, так как, проповедуя свободу торговли, они в то же самое время выступали противниками фабричного законодательства, пользовавшегося, наоборот, большой популярностью среди рабочих. Многие члены лиги появлялись даже на чартистских митингах и говорили, что, пожалуй, ничего не будут иметь против «народной хартии», если народ будет их поддерживать в их агитации против хлебных законов. Но чартистские ораторы на это им возражали, что если хлебные законы вредны, то народ и сам сумеет их отменить, когда добьется участия во власти. Лига пыталась даже устраивать чисто рабочие митинги для подкрепления своей агитации, но и в этом не имела желанного успеха. Само сокращение работ на фабриках летом 1842 г. объясняется до известной степени планом некоторых сторонников лиги сразу создать массу безработного люда, которая легла бы тяжелым бременем на сельские приходы и съела бы всю ренту землевладельцев. Об этом открыто говорилось в собраниях лиги и печаталось в их изданиях. Скоро, однако, лидеры должны были сознаться в том, что их попытка убедить рабочих в солидарности их интересов с интересами среднего класса потерпела неудачу. Это было уже совершенно ясно перед началом августовских беспорядков 1842 г., в значительной мере обязанных своим происхождением той тактике, к которой прибегли сторонники свободной торговли, когда стали убеждать, что народ не будет с ними заодно. Когда разыгрались эти события, вожди чартистов прямо обвиняли буржуазию в том, что она сама вызвала народные волнения против землевладельцев, а затем стала умирять восставших, когда последние обратились против владельцев фабрик. Конечно, все это далеко не могло содействовать тому, чтобы возможно было какое-нибудь сближение даже между радикальными представителями буржуазии и чартистами. С одной стороны, августовский погром, с другой — разлад между самими чартистами, с особой силой обнаружившийся на последней конференции 1842 г., до такой степени неблагоприятно отразились на демократическом движении, что последнее надолго заглохло. Действительно,

в это время вожди между собой окончательно перессорились, обвиняя друг друга в печальном исходе всего движения. Сторонники чартизма разделились на мелкие фракции, из коих одна, руководимая О'Коннором, задумала теперь устроить поземельную компанию на кооперативных началах. Это предприятие, по мысли основателей, должно было приносить доход, необходимый для дальнейшего ведения чартистской агитации. Дело это, однако, стало осуществляться только в 1847 г. Другая фракция, вождем которой был О'Брайен, относилась к этой затее, напротив, крайне неприязненно как к делу, не имеющему никакой будущности, а в настоящем только отвлекающему силы от другой, более плодотворной работы. О'Брайен стал издавать газету «Национальный реформатор» и проводил в ней ту общую мысль, что прежняя программа чартизма со своим чисто политическим характером должна быть расширена в сторону реформ социального характера. Он ссылаясь при этом на историю вообще политических движений, происходивших в то время в Европе, на их бесплодность и постоянные неудачи. Собственная его программа заключалась в том, чтобы вся земля была объявлена государственной собственностью с вознаграждением прежних ее владельцев, а также чтобы были введены национальные обменные рынки и особый национальный кредитный банк. При этом, конечно, должна была быть введена и «народная хартия». По вопросу о том, какими способами могла быть осуществлена общая социальная и политическая реформа, О'Брайен высказывался в смысле употребления властной силы.

Снова чартизм стал оживать и играть роль видного политического фактора только в 1847 г. За год перед тем с отменой хлебных законов прекратилась агитация, которая выдвинулась на первый план после поражения чартизма в 1842 г. В 1847 г. происходили парламентские выборы, давшие чартистам повод снова выступить на политическое поприще. Во многих местностях были поставлены чартистские кандидатуры, имевшие иногда успех. О'Коннор оказался выбранным в члены парламента. В это время появились у чартизма и новые деятели, из коих особенно выдвинулся поэт и оратор Эрнест Джонс. Стали вместе с тем выходить в свет новые периодические издания, проповедовавшие необходимость «народной хартии». Возобновились и митинги, на коих произносились речи в защиту требований демократии. Это возрождение чартизма совпало по времени с общим усилением демократических движений на континенте, подготавливавших события 1848 г. В своих речах и статьях О'Коннор предсказывал скорое наступление важных событий. Вожди чартистов довольно зорко следили за тем, что происходило в соседних странах, и при случае высказывали свои симпатии «Молодой Ирландии», «Молодой Испании», «Молодой Польше». В сороковых годах в столице Англии проживало немало эмигрантов из различных стран, и они даже составляли из себя особую «Ассоциацию братских демо-

кратий». Через них чартисты входили в сношения с руководимой Мадзини «Молодой Европой». Это сближение чартизма с международной демократией отмечает собой последний фазис народного движения в Англии тридцатых и сороковых годов. Когда в конце 1847 г. во Франции началась агитация в пользу реформы выборов, а в начале 1848 г. произошли революции в отдельных итальянских государствах, чартисты усилили свою деятельность, а после того как в конце февраля совершилось в Париже падение июльской монархии, общественное возбуждение в Англии достигло высшей степени. Многие думали, что и для английской нации наступала пора добиться, наконец, настоящих политических прав. Чартисты разных направлений также соединились между собой и с другими политическими организациями вроде братских демократов, чтобы послать в Париж сочувственный адрес народу, только что возвратившему себе свои права. Обыкновенно, когда говорят о влиянии Февральской революции на Европу, упускают из виду, что этого влияния не избежала и Англия. Весной 1848 г. чартисты сделали новую грандиозную попытку добиться главной своей цели. Мы еще увидим в своем месте, как была совершена эта попытка и почему она кончилась новой неудачей. Кроме причин местного характера здесь действовала и причина общая — поражение демократии на континенте. Теперь мы отметим только, что уже в конце 1849 г. чартизм был снова в полном расстройстве, несмотря на замечательное развитие в это время демократической прессы в Англии. В начале пятидесятых годов чартистская организация продолжала еще владеть свое существование, но в 1854 г. и она, наконец, закрылась после того, как обнаружилось, что рабочий класс утратил всякую веру в «народную хартию». Симпатии рабочих направились теперь в сторону образования союзов, которые объединяли бы для защиты общих интересов рабочих одних и тех же отраслей промышленности или одних и тех же местностей. Поворот в эту сторону начался еще около 1845 г. после первых неудач чартизма, когда основалось «Национальное общество союзных ремесел для покровительства труду». Эта организация рекомендовала рабочим улаживать свои неудовольствия с предпринимателями путем третейских судов и в то же время обращаться к парламенту с просьбами о пересмотре фабричных законов. Но мысль о демократической реформе выборов тем не менее в Англии не умирала, и сами рабочие мало-помалу чисто практическим путем приходили к сознанию необходимости получить в свои руки влияние и силу на выборы в парламент, дабы иметь возможность содействовать законодательству в благоприятном для себя смысле. Период, в течение которого рабочие, организованные в союзы, относились индифферентно к текущей политике и, так сказать, держались нейтралитета в борьбе партий, был непродолжителен, и мало-помалу они стали убеждаться, что в своих же собственных интересах они должны поддерживать парламентских радикалов.

На чартизм следует смотреть как на первую попытку, сделанную современным пролетариатом для завоевания политической власти, как орудия в проведении этих интересов. И здесь Англия шла впереди других западно-европейских стран. Нельзя, однако, признавать чартизм движением исключительно одного пролетариата, да и не все наиболее развитые элементы рабочего класса примкнули к этому движению. Во-первых, на стороне чартизма стояла и радикальная часть мелкой буржуазии, а во-вторых, рабочие, принимавшие участие в профессиональных союзах, в громадном большинстве случаев держались далеко от всей этой агитации. Впрочем, в событиях 1842 г. в чартизме все-таки с особой силой проявилась его экономическая подкладка. Между прочим, чартисты добивались и чисто экономических перемен, к числу коих, например, относится нормировка рабочего времени. Чартисты действовали и путем забастовок. Оставшись безрезультатным в смысле полного неуспеха «народной хартии» как новой парламентской реформы, чартизм, однако, возбудил значительное умственное движение в английском рабочем классе, породив даже целую народную литературу. Один из выдающихся деятелей чартизма, Томас Купер, был вместе с тем недюжинным поэтом. Впоследствии (в 1853 г.), сидя в тюрьме, он написал прославившую его поэму «Purgatory of Suicides»¹. Он же, подобно другим чартистам, содействовал развитию дешевой периодической печати для народа (Couper Journal, 1850). Многие организаторы чартистского движения выступили с трактатами, в коих излагали свои социальные воззрения. Ловетт и Коллинз, сидя в тюрьме, написали вдвоем труд под заглавием «Чартизм, новая организация народа» (1841 г.), на котором сказалось и влияние идей Оуэна о необходимости воспитания и образования народа. О'Коннор в 1848 г. издал книгу «Монополия как причина всех зол», развив в ней подробно некоторые мысли петиции о «народной хартии». В этой книге он называет монополией все, что вредно для народного блага, откуда бы это ни шло, и вооружается против «вредной секты» экономистов, которые своим учением поддерживают общественное неравенство. Но, кроме того, чартизм оказал сильное влияние и на литературу правящих классов.

Самым выдающимся из писателей, на произведениях которого отразилось чартистское движение, был, несомненно, Томас Карлейль. Последователь немецкой идеалистической философии, он самым резким образом расходился с тем положительным направлением, которое господствовало в мирозерцании англичан под влиянием Адама Смита и Бентама. Обладая в высшей степени своеобразным и ярким талантом, он вместе с тем постоянно отзывался на современные злобы дня, но в своей публицистической деятельности выступал более как моралист и философ, нежели как политик и практический деятель. Если благодаря своему восторженному идеализму

¹ «Чистилище самоубийц» (англ.). — Прим. ред.

он занимал совершенно особое положение среди мыслителей своей родины, то и в политической жизни он стоял совершенно особняком, не принадлежа ни к одной из существовавших тогда политических партий вследствие того, что на все практические вопросы своего времени смотрел исключительно с нравственной точки зрения. Это был прежде всего проповедник религиозной веры, хотя и возвышавшейся над какой бы то ни было догматикой в пользу вообще некоторой приподнятости настроения духа, проповедник нравственного достоинства человека, которое он особенно высоко ценил в избранных личностях, «героях» человечества, проповедник уважения к труду, взятому опять-таки со стороны моральной, а не экономической. И в своем методе Карлейль проявлял гораздо больше способности к вдохновенному творческому синтезу, чем к кропотливому научному анализу, а потому гораздо более действовал на настроение, чем на мирозерцание своих читателей. Например, его знаменитая «Французская революция» (1837 г.), переведенная на разные языки¹, представляется скорее своего рода лирической поэмой, чем историческим повествованием. Как моралист, полагавший, что все добро и вся красота человеческой жизни заключается в нравственной силе отдельных личностей, он придавал вообще мало значения положительному знанию и общественным учреждениям. Критикуя с такой точки зрения настоящее, справедливо казавшееся ему неприглядным, он готов был даже идеализировать прошедшее, которое в его воображении далеко не всегда соответствовало действительности, и впоследствии даже подвергал своей насмешке некоторые общественные явления современности, во все не заслуживавшие к себе такого отношения, как он это сделал, например, в «Памфлетах последних дней» (1858 г.), где достается и демократии, и освобождению негров. Силою своего своеобразного таланта, затрагивая притом жгучие вопросы минуты, он заставлял публику читать свои произведения, но вместе с тем вызывал нередко враждебное к себе отношение в противоположных политических лагерях. Радикалы готовы были признавать его за консерватора, консерваторы — за радикала. Некоторыми резкими выходками, особенно во второй период своей жизни, он отталкивал от себя нередко и своих поклонников. Такой человек обладал слишком чуткой душой, чтобы не отзываться на вопросы современности, и слишком большой искренностью мысли и прямоотой речи, чтобы не видеть и не изображать общественных бедствий своей эпохи. Но его несколько туманный идеализм, его невнимание к реальному значению учреждений в общественной жизни, его неспособность и недоверие к чисто объективному мышлению в области общественных наук как нельзя менее соответствовали тому, чтобы в его сочинениях можно было искать каких-нибудь практических советов и планов. Настоящим призванием Карлейля было нравственно поучать современное

¹ К сожалению, по-русски был издан перевод только одной из трех частей этого труда, да и эта книга давно сделалась библиографической редкостью.

ему общество, просвещать его совесть, подобно тому, как это делали древние еврейские пророки, а не открывать перед миром новые умственные горизонты, не вести его по новым политическим путям. Понятно, что такого человека не могло не затронуть, в частности, и чартистское движение, а раз Карлейль должен был его коснуться, он не мог не высказать целого ряда горьких истин своим соотечественникам. В 1839 г. он издал один из наиболее сильных своих памфлетов под заглавием «Чартизм», в коем сделал самую убийственную характеристику общественных порядков своего времени.

Еще очень молодым человеком, в двадцатых годах, Карлейль имел случай столкнуться с бедствиями, которые тогда переживались рабочим классом его родины. Они произвели на него весьма сильное впечатление и заставили его задуматься над современным положением дел. В 1829 г. он поместил в «Эдинбургском обозрении» небольшую статью под заглавием «Знамения времени», и здесь он впервые высказал свой взгляд на характер эпохи. Он указывал именно, что в общественной жизни совершается серьезный кризис. Если бы кто-нибудь вздумал в одном слове дать характеристику переживаемому моменту, то не нашел бы лучшего определения для этого момента, как назвав его механическим в том смысле, что все цепляются исключительно за одни внешние средства, совершенно пренебрегая внутренними силами¹. Между прочим, все образованные народы только и требуют реформы правительства, т. е. чисто внешних перемен, вовсе не думая о духовном состоянии народа. Все дело в хорошей «фабрике законов». Философы наших дней — не Сократ и Платон, ставившие выше всего внутреннее достоинство человека, а Адам Смит и Бентам, приучающие смотреть на жизнь с чисто механической точки зрения. «Если, — думал еще Карлейль, — в материальном отношении мы опередили все эпохи, то в отношении нравственном, быть может, мы стоим ниже всех других времен». В другой статье, напечатанной под заглавием «Характеристика» также в «Эдинбургском обозрении» (1831 г.), Карлейль указывал еще и на то, что если в наше время накопились большие богатства, то и бедность вместе с тем все увеличивается и все большею и большею делается пропасть, отделяющая богатство от бедности. «Человек подчинил себе нашу планету, свое обиталище и свое достояние, но не пользуется плодами своей победы. Какая печальная картина! На самой высокой ступени цивилизации девять десятых человеческого рода обречены на вечную борьбу с голодом средствами, которые в ходу не только у дикарей, но и у хищных животных». Главный же источник всех бедствий Карлейль видел в оскудении веры, этой силы, способной двигать горами, веры, оживляющей человека даже тогда, когда его члены истощены непосильной работой и спина его сгибается

¹ Ср. с идеями Фихте в «Речах немецкой нации».

под тяжестью нищеты. Он думал даже, что в последнем отношении Средние века были временами более благоприятными для человечества, чем наша эпоха, — мысль, которую впоследствии он развивал подробнее в своем «Прошедшем и настоящем». Таково было отношение Карлейля к современности, когда в Англии готовилось чартистское движение. Еще в 1832 г. в одной из своих статей он делился с читателями своими опасениями за самую будущность Англии, предрекая вместе с тем близкий конец ненормальному положению дел. В качестве наблюдателя он со всей горячностью, с какой только был способен, отнесся к чартизму. Когда прошел первый взрыв этого движения и газеты господствующих классов праздновали победу, радуясь гибели политических химер чартистов, Карлейль, гораздо глубже понимавший характер явления, решился обнародовать свои мысли на этот счет, указать обществу на истинные причины явления, на средства его прекращения. И вот в своем «Чартизме» (1839 г.) он объявил, что подавлена могла быть только внешняя форма, какую приняло движение, но само оно имеет глубокие внутренние причины. Карлейль объясняет чартизм как выражение горького неудовольствия рабочих на свое экономическое положение: «Чартизм — не химера: это лишь новое имя для вещи, которую уже называли и которую будут еще долго называть различным образом. Его основа имеет роковой характер, и его корни, глубоко уходя в почву и вширь, далеко распространяются. Не вчера это началось и кончится также не сегодня или завтра». Карлейль исследует общие причины этого явления, рассматривая отдельные стороны экономического быта современной ему Англии. Все, против чего протестовали рабочие, и с его стороны подверглось осуждению и отрицанию, но положительные средства, им рекомендуемые, отличаются или своею незначительностью, или слишком большим оптимизмом человека, думающего, что общественные бедствия можно врачевать одними призывами слушаться внутреннего голоса совести. Особенно сильную сторону «Чартизма» Карлейля составляет его полемика против тогдашней экономической школы. Ее представители утверждали, что переживаемые рабочими бедствия имеют чисто временный характер и что в будущем все устроится само собой наилучшим образом, а Карлейль, готовый даже согласиться, что это, пожалуй, так и будет, говорил, что нужно же подумать и о настоящем. Теория «laissez faire, laissez passer» им иллюстрируется на следующем примере. Ведь обязан же хозяин по окончании летних работ кормить своих лошадей всю зиму, когда они ему совсем почти не нужны. Хорошо бы, в самом деле, вышло, если бы вместо этого он обратился к своим лошадям с такими словами: «Четвероногие! Для вас у меня работы больше не имеется, но вообще на белом свете работы существует достаточно. Должны же вы знать (ведь мне нечего читать вам лекции по политической экономии), что паровые машины повсеместно создали лишнюю работу. В одной части света строят

железные дороги, в другой — роют каналы, и везде в Европе, Азии, Африке и Америке найдется что-нибудь, что требует перевозки, а потому нечего сомневаться в том, что работу где-нибудь вы себе найдете. Поэтому, лошадки, отправляйтесь искать себе извоза. До свидания, желаю вам счастливого пути!» «Лошади, — продолжает Карлейль свою притчу, — фырканием выражают свое сомнение, ибо Европа, Азия, Африка или Америка от них далеко, да и сами они достоверно не знают, действительно ли где-нибудь нуждаются в их работе». И в самом деле, лошади, пожалуй, и не найдут, что могли бы возить. И вот тогда они бросятся искать корм по большим дорогам, огороженным, как следует, и справа, и слева. В конце концов, голод заставит их перепрыгнуть через эти преграды и приняться пожирать чужую собственность, а остальное известно. «Ах, господа, — восклицает при этом Карлейль, — не веселая это шутка, и более горек, чем сами слезы, тот смех, который вызывается у человечества применением принципа *laissez faire* к несчастному населению такой страны, как Европа в 1839 г.» По определению Карлейля, принцип этот равносителен самоотречению правителей, равносителен допущению, что они совсем негодны далее к правлению, что, пожалуй, к нему они совсем и не призваны даже. И народ понимает этот принцип в том смысле, что то руководство со стороны правителей, коему подвергается страна, гораздо хуже, нежели всякое его отсутствие, и народ этим недоволен. Говорят, в Англии, что общество существует для покровительства собственности и что собственностью обладают равным образом и бедняки в виде труда, за который получают поденную плату. Да, это верно, но восьмую заповедь, запрещающую похищать чужую собственность, нужно исполнять в достаточной степени, дабы она действительно обеспечивала права человека: «Ты не должен красть, но ты не должен быть и обкрадываем». Общий вывод Карлейля был тот, что «с рабочими поступают несправедливо, их судьба не основывается на законе и потому не такова, какова должна быть». Главнейшая причина чартизма, по его определению, и заключается в оскорбленном чувстве справедливости.

Появление этого памфлета заранее было объявлено публике, и очень многие желали поскорее его прочесть. Отдельные партии думали встретить в объявленном сочинении благоприятные для них взгляды. На основании того, что Карлейль высказывал раньше, радикалы были уверены, что он будет для них желанным союзником, но они к величайшему своему удивлению увидели, что автор признавал за высшими классами общества не только обязанность руководить народной массой, но и право управлять ими, хотя, конечно, и не так, как делали это английская аристократия и буржуазия. Радикалы стали поэтому причислять его к тори, но и последние не могли считать его за своего, так как он мечтал об аристократии нравственно лучших людей, а те классы, которые действительно правили Англией, находил и недостойными, и неспособными это делать. Во всяком случае, одна-

ко, памфлет имел громадный успех и немало содействовал пробуждению умов от прежней спячки. Чартистское движение затихло, но народные бедствия продолжались, и Карлейль снова заговорил об этих бедствиях в новом публицистическом произведении «Прошедшее и настоящее» (1843 г.). Здесь он проводит параллель между современной и средневековой Англией, идеализируя прошедшее в ущерб настоящему, как это не раз уже и до него делали романтики. По его представлению, современные люди забыли Бога, чтобы поклоняться Маммону: «Религия нашего времени — мамманизм». Мы называем обществом соединение людей, но на самом деле проповедуем полное обособление. Единственная связь между людьми признается только в форме денежного договора, словно обязанности человека по отношению к человеку заключаются только в том, чтобы сунуть в его руки известное количество монет и затем вытолкнуть его в шею. Богатый фабрикант говорит в свою защиту, что ведь он заключил честный договор со своими рабочими и расплатился с ними наличными деньгами сполна, — что же ему еще для них делать? Но и Каин на вопрос о том, что он сделал со своим братом, возражал: разве я обязан сторожить своего брата? Современная общественная жизнь представлялась Карлейлю не взаимной помощью, а всеобщей войной: ее и называют свободной конкуренцией. Но и здесь он или совсем не указывает практических средств, чтобы вывести общество из такого положения, или как бы советует вернуться к старинным отношениям. Демократии он не доверяет, ибо под свободой она понимает только подачу голосов на парламентских выборах, причем каждый потом хвастается, что имеет одну двадцатитысячную часть говоруна в парламенте. В наше время каждый человек совершенно обособлен от других людей, тогда как в былые времена существовали прочные узы даже у рабов с их господами. Свободу называют божественной вещью, но свобода, заставляющая умирать с голоду, совсем уже не божественная вещь. В конце концов, Карлейль — за возвращение к аристократии и к священничеству, но в каком-то особом идеальном понимании. И эта книга Карлейля имела громадный успех, будучи встречена даже настоящим восторгом среди всех тех, которые подобно ему проклинали тогдашнюю экономическую теорию свободной конкуренции. Вывод был тот, что формальная свобода отнюдь не улучшила, сравнительно с прошлым, положения рабочего класса. Последнее скорее даже ухудшилось, так как господин все-таки заботился о том, чтобы раб не умер с голоду, а в современном обществе никто не заботится о голодном человеке.

Некоторые идеи, высказанные Карлейлем, сближают его с социалистами, хотя сам он был очень далек от социализма. Вообще чартистское движение оказало сильное влияние на многих лиц, принадлежавших по своему общественному положению к средним классам, но относившихся сочувственно к народным бедствиям и нуждам. Из некоторых таких лиц даже образовалась партия «христианских социалистов», которая особенно деятельно

выступила к концу сороковых годов. Самым выдающимся и характерным писателем в духе христианского социализма был Чарльз Кингслей, ученый и публицист, романист и поэт, писавший под псевдонимом «Parson Lot»¹. Его принципами были христианская любовь и мирное разрешение социального вопроса. В духе христианского социализма писал и Купер. Через все сочинения этой партии проходит красной нитью отрицательное отношение к принципу невмешательства. В этом отношении они сходились с другой социалистической партией, которая, разделяя вместе с тем идею христианских социалистов о необходимости одной легальной борьбы, относилась отрицательно не только к монархическим и аристократическим принципам своих христианских товарищей, считая идеалом государственного устройства республику, но и к самой религии как теоретической основе социализма, заменяя ее секуляризмом. Эта партия называла себя безразлично социалистами, коммунистами, кооператорами и группировалась около Голиока, который в 1846 г. для пропаганды своих идей основал газету «Мыслитель» (The Reasoner) с «Вестником прогресса». Лозунгом этой газеты было провозглашено: «Не должно быть бедных» (no poor). Несмотря, однако, на то что и христианский, и секуляристический социализм появился в бурную эпоху чартизма и развился главным образом под его влиянием, представители обоих этих направлений были одинаково неревOLUTIONОННЫ. Благодаря тому что в Англии более, чем где-либо, обеспечены были свобода личности и свобода слова и более, чем где-либо, представлялась возможность проводить в жизнь свои идеи открыто, а это вселяло надежду на возможность их осуществления мирными путями, английские представители социального переустройства в большинстве случаев держались легальной почвы существующих учреждений и относились неблагосклонно к насильственным средствам и переворотам. Со стороны континентальных социалистов иногда по их адресу за это раздавались порицания. В числе их критиков с такой точки зрения был, например, Энгельс — в книге о положении рабочих классов в Англии².

Чартистское движение с вызвавшей его бедностью народа отразилось и на изящной литературе. Некоторые романисты эпохи касались в своих произведениях этой злобы дня. Можно сказать, что так называемый социальный роман, изображавший народные бедствия, сделался одной из наиболее популярных литературных форм. На этом поприще выступал и Кингслей в своих повестях «Yeast» (1848 г.) и «Alton Locke» (1859 г.)³. К этой же эпохе относится и знаменитая «Песня о рубашке» («Song of the shirt») Томаса Гуда, вызвавшая в обществе целое движение против эксплуатации женского труда.

¹ Проповедник судеб. — *Прим. ред.*

² Дело в том, что Энгельс в этом своем сочинении касается и английского социального движения эпохи, о чем см. также ниже (в конце главы XVI). Ср.: *Метен*. Социализм в Англии, 1898.

³ Соответственно «Дрожжи» и «Весь запертый». — *Прим. ред.*

XII. Французский либерализм времен июльской монархии¹

Парламентские партии в эпоху июльской монархии. — Прошлое Гизо и его карьера при Людовике-Филиппе. — Буржуазное направление Гизо. — Его политические идеи. — Политическая карьера Тьера. — Отношение его к революции и Наполеону. — Политическое мировоззрение Тьера. — Взгляд французских либералов на административную централизацию. — Государственная монополия в деле народного образования. — Биография Токвиля. — «Демократия в Америке». — Роль Токвиля в палате. — Политические идеи Токвиля. — Взаимные отношения равенства и свободы. — В каких отношениях Токвиль не доверял демократии? — Недостаточное внимание Токвиля к социальному вопросу

Июльская революция доставила во Франции власть людям, которые в эпоху Реставрации составляли либеральную оппозицию против реакционных стремлений трона, духовенства и аристократии. Роялисты, игравшие столь видную роль при Людовике XVIII и Карле X, потеряли всякое значение при Людовике-Филиппе. Они образовали из себя в палатах так называемую правую² и стали называться легитимистами, но сколько-нибудь видной роли уже совершенно не играли. Все остальные политические группы, составлявшие подавляющее большинство, вели свое начало от прежней оппозиции. Правда, некоторым из этих групп и впоследствии пришлось играть оппозиционную роль, но это было весьма незначительное меньшинство. Крайнюю левую составляла небольшая кучка радикалов-республиканцев, и к ней примыкала другая небольшая группа, во главе которой стоял Лафитт. Известно, какую роль этот политический деятель играл в самом начале

¹ Кроме сочинений, названных выше, см. главным образом биографии Гизо, Тьера и Токвиля. Guizot в 1858—1868 гг. издал «*Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*». О нем: *Mazade*. Portraits d'histoire morale et politique du temps, 1875; *Witt De*. M. Guizot dans la famille et avec ses amis, 1880; *Simon J.* Thiers, Guizot, Rémusat, 1885; *Bardoux*. Guizot (в коллекции «Les grands écrivains français»), 1894. О Тьере: *Rémusat P. de*. Thiers (в коллекции «Les grands écrivains français»), 1889. О Токвиле: *Oeuvres et correspondance inédites d'Alexis de Tocqueville*, publiées et précédées d'une notice par G. de Beaumont, 1861 (в 1897 г. эта Notice sur A. de Tocqueville была переиздана отдельной книжкой). Переписка Токвиля, изданная Бомоном, справедливо считается важным комментарием к его сочинениям. Такое же значение имеют и *Souvenirs de Alexis de Tocqueville* (1893), на которые не раз делаются ссылки в настоящем томе; они существуют в русском переводе. *Jaques H. A.* de Tocqueville. Ein Lebens- und Geistesbild, 1876. Самым новым трудом (1897) является небольшая книга: *Eichthal E.* Alexis de Tocqueville et la démocratie libérale. Наконец, см. сочинения по истории политических теорий: *Janet P.* Histoire de la science politique, но особенно прекрасный труд: *Michel H.* L'idée de l'état. Essai critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en France depuis la révolution, 1896.

² Политические группировки (левая, правая и пр.) во французском парламенте, немецкой философии и др. — *Прим. ред.*

июльской монархии. Человек страшно богатый и лично весьма близкий к Людовiku-Филиппу, он вскоре разорился и разошелся с королем. Уже в 1831 г. он сближается с республиканцами и затем до самой своей смерти в 1844 г. остается в оппозиции. К этой группе примыкала династическая левая, во главе коей находился Одилон Барро, стоявший за орлеанский трон, но требовавший расширения народных прав. И членам этой партии не удавалось получить политического значения вплоть до самых последних дней июльской монархии. Между правой и разными оттенками левой стояли две большие партии, попеременно получавшие правительственное значение и носившие название правого и левого центров, а между ними была еще менее значительная группа, называвшаяся третьей партией. Вождями двух больших партий были Гизо и Тьер. Они и сделались настоящими главами громадного большинства народных представителей. Старые вожаки либералов сходили один за другим со сцены. Бенжамен Констан, идеи которого восторжествовали в 1830 г., умер вскоре после переворота. Лафайет, подобно Лафитту разочаровавшийся в июльской монархии, скончался четыре года спустя. Ройе-Коллар пережил его на одиннадцать лет, но после 1830 г. уже почти не принимал никакого участия в политических делах вследствие старости. Только в тридцатых годах он выступал еще дважды против Гизо, между прочим, для защиты либеральных принципов. Правда, на парламентской сцене появились в эту эпоху и новые деятели, из коих в истории политических идей особенно следует отметить Токвиля, но они не приобрели прочного влияния. В конце концов, наиболее крупными фигурами парламентского режима во Франции в эту эпоху, таким образом, оставались Тьер и Гизо, оба уже вполне сформировавшиеся в эпоху Реставрации. До 1836 г. они действовали сообща, но потом между ними произошел разрыв. Обоим им приходилось стоять у власти, но наиболее подходящим к характеру короля и к стремлениям правящего класса оказался Гизо, сохранявший власть в течение последних восьми лет июльской монархии. Руководимые ими правый и левый центры сходились между собой и в приверженности к июльскому трону, и в защите буржуазных интересов, и в своем невнимании к требованиям демократии. Вся разница заключалась только в том, что и во внутренней, и во внешней политике Гизо был консервативнее Тьера, т. е. упорнее сопротивлялся новым требованиям и легче прибегал к реакционным мерам. А между тем и Гизо в эпоху Реставрации был одним из представителей тогдашнего либерализма и даже подвергался неприятностям со стороны правительства за свой образ мыслей. Таким образом, либерализм, который уже в эпоху Реставрации имел весьма заметную буржуазную окраску, из направления оппозиционного превращался в направление консервативное. Мы еще увидим впоследствии, какой характер получила внутренняя французская политика в сороковых годах, когда главным ее руководителем был Гизо. Здесь мы познакомимся только несколько ближе с его политическими идеями.

На общественную арену Гизо выступил двадцати пяти лет в качестве адъюнкт-профессора по кафедре истории в Сорбонне. Это было еще при Наполеоне в 1812 г. Перед вступительной лекцией высшее начальство дало понять молодому профессору, что император просматривал все вступительные лекции и что он привык в каждой из них встречать похвалу своему правлению. Гизо, однако, не захотел последовать этому обычаю и сумел настоять на своем. В Сорбонне на талантливого преподавателя обратил внимание Ройе-Коллар, занимавший должность декана словесного факультета. Когда произошла первая реставрация, Ройе-Коллар, группировавший вокруг себя сторонников конституционной монархии, рекомендовал Гизо правительству на место главного секретаря в министерство внутренних дел, и в этой должности Гизо впервые познакомился воочию с притязаниями будущих ультрароялистов. Он оставил это место и собирался вернуться на свою кафедру, но вскоре началось стодневное владычество Наполеона, во время которого Гизо остался верен законной династии и даже лично сблизился с Людовиком XVIII во время пребывания последнего в Генте. Вторая реставрация Бурбонов вернула его к государственной жизни, и двадцати восемью лет от роду он сделался членом государственного совета, а затем, кроме того, директором департаментской и общинной администрации. Когда после убийства в 1820 г. герцога Беррийского французское правительство явно вступило на реакционный путь, Гизо был отставлен от обеих должностей и опять вернулся к профессорской деятельности, сделав предметом своего курса историю представительных учреждений. В 1822 г. министерством Виллеля была прервана на довольно продолжительное время и эта деятельность Гизо, так как его лекции были признаны слишком либеральными. Он возвратился на кафедру только в 1828 г., когда в министерство Мартиньяка снова повеяло более свободным духом. В промежуток между двумя последними датами Гизо предпринял свои замечательные работы по истории Английской революции, работы, заканчивать которые ему пришлось уже после Февральской революции. Содержанием его курсов конца двадцатых годов были знаменитые истории цивилизации в Европе и во Франции. Вместе с этим он вернулся и в государственный совет. В эти годы Гизо принадлежал к либеральной оппозиции и принимал участие в политическом обществе «*Aide toi, le ciel t'aidera*», имевшем своей целью подготовку либеральных выборов. Он сам был избран в палату 1830 г. и был в числе 221 депутата, вотировавших оппозиционный адрес Карлу X.

Таково было прошлое политического деятеля, которому пришлось играть такую видную и, в конце концов, столь роковую роль в делах июльской монархии. Уже в самом начале он занимает при новом короле министерский пост, хотя на первый раз и на очень короткое время. Он не сошелся с Лафиттом и вышел из министерства. Затем он снова дважды

был министром в кабинете Сульта и кабинете Моле, сначала вместе с Тьером, потом без него. В 1837 г. он стоял во главе оппозиции и даже соединялся с левыми фракциями для низвержения министерства Моле, с которым он разошелся. Когда во главе министерства снова стал маршал Султ, Гизо получил от него пост посланника в Лондоне, на каковом и оставался в эпоху осложнения восточного вопроса в министерство Тьера. Наконец, в 1840 г. он снова вошел в состав министерства Сульта, заняв в нем руководящее положение, хотя главой кабинета и по имени он сделался только в 1847 г. Какой политики держался он в иностранных делах, это мы видели уже выше, а о политике внутренней речь еще впереди. Здесь нас могут интересовать лишь идеи политического деятеля, начавшего свою государственную карьеру либералом, кончившего же ее реакционером.

С самого начала своей общественной деятельности Гизо заявил себя защитником средних классов общества. Это была эпоха, когда весь политический вопрос сводился к тому, кто должен стоять во главе нации — победители ли 1789 г. или побежденные, т. е. третье сословие или привилегированные. Гизо открыто стал на сторону первых и выразил эту свою мысль в памфлете 1820 г. «О правительстве Франции со времени Реставрации и о теперешнем министерстве». Это и сделало его особенно популярным в буржуазии. До 1830 г. буржуазия только еще добивалась власти, а потому ее настроение было оппозиционным. После Июльской революции этому классу уже нужно было главным образом охранять занятую им позицию. Гизо и взял на себя именно роль охранителя, роль, так сказать, консервативного либерала, снискавшую ему, между прочим, расположение и английского правящего класса: известно, что виги ставили ему в заслугу его привязанность к свободным учреждениям, тори — его противодействие переменам, которые казались им опасными. Сколько раз, вступая на парламентскую трибуну, он приносил на нее с собой речи, оправдывавшие и даже прославлявшие господство средних классов! Две такие речи, произнесенные им в 1837 г., имели поразительный успех, и около двухсот депутатов сделали между собой складчину, чтобы распространить эти речи в десятках тысяч экземпляров. И в своих столь прославленных мемуарах Гизо продолжает защищать ту же самую буржуазию, хотя уже и отмечает ее слабые стороны. Конечно, ему нужно было создать теорию, на которой можно было бы основать права буржуазии, так как противники ставили ему на вид, что он проповедует восстановление в новой форме старого привилегированного сословия. Против такого обвинения он протестовал. В буржуазии он хотел видеть цвет нации, класс людей, обязанных своим возвышением личным способностям, трудолюбию, бережливости, класс, в который всем открыт свободный доступ. И вот ему казалось, что те, которые противопоставляют буржуазии какую-то демократию, заслуживают названия людей неблагодарных по отношению к благодеяниям современ-

ного общества, наиболее свободного и наиболее осуществляющего принцип равенства. «Вот в каком смысле, — восклицал он в одной из своих речей 1837 г., — вот в каком смысле понимаю я слова: средние классы, демократия, свобода и равенство! Ничто не может заставить меня уклониться от этого смысла». Подобно большинству либералов своей эпохи, он не доверял демократии. Далекий одинаково от теории божественного права королей и от теории народного верховенства, он полагал, что истинный суверенитет должен заключаться в верховенстве человеческого разума, представительницею же его в глазах Гизо была просвещенная буржуазия, так сказать, уполномоченная всей нацией на то, чтобы управлять ее судьбами. На этой точке зрения Гизо держался с упрямством доктринера, создавшего себе политическую систему и не желавшего видеть действительности, как она есть. С таким же упрямством поддерживал он политический порядок, созданный революцией 1830 г., связав свою личную судьбу с судьбой промышленной олигархии, которая во Франции завладела всем. Впоследствии в своих мемуарах Гизо, однако, счел нужным оправдываться от обвинения в том, что он не любил народа. Но и в этом оправдании он не скрывает своего недоверия к способности народа управлять самим собой.

На политическое поприще Гизо выступил настоящим либералом, защитником не только конституционного принципа, но и других свободных начал. Например, в начале двадцатых годов он издал два сочинения, одно — «О заговорах и политических судах», другое — «О смертной казни за государственные преступления», и в обоих он стоял на либеральной точке зрения. Впоследствии он также отстаивал такие принципы, как свобода совести и равенство перед законом, но вместе с тем он хотел, чтобы свобода не нарушала порядка, как сам он, конечно, понимал последний. Легальная оппозиция представлялась ему вполне законной, но он чувствовал своего рода отвращение к революционным средствам. Еще в очень молодых годах, в начале Реставрации, он примкнул к партии доктринеров, которая желала примирить свободу с порядком и сочетать конституционное правление с сильной властью, и эти идеи он сохранял в тридцатых и сороковых годах. В одном из ранних своих политических памфлетов «О способах управления и оппозиции при современном состоянии Франции» он проводил ту мысль, что его отечество знало до той поры политическую свободу только в революции, а порядок только в деспотизме: по его мнению, необходимо было установить гармонию между свободой и порядком. Его политическим идеалом была Англия, какой она вышла из революции 1689 г., и он принадлежал к числу тех людей, которые готовы были видеть в Июльской революции лишь повторение того, что совершилось в Англии за полтора столетия перед тем. Быть может, современную ему Францию он понимал слишком по образцу Англии, невзирая на то,

что аналогия могла быть проведена далеко не везде¹. Он даже как будто закрывал глаза на окружавшую его действительность, и это, между прочим, отразилось впоследствии на его мемуарах, которые дают так мало материала для характеристики общественного состояния и настроения Франции в занимающий нас период. Впрочем, и вообще все политическое учение Гизо заключалось в объяснении и оправдании известных существующих фактов. Желая занять среднее положение между старой и новой Францией, он вынужден был отказываться от следствий самим им признававшегося принципа и, наоборот, принимать следствия принципов, которые он отвергал. Это был своего рода оппортунизм. Нужно еще заметить, что на политическом мирозерцании Гизо сказалось влияние немецкой исторической школы права.

Тьер принадлежал к тому же общественному классу, как и Гизо, но и по уму, и по характеру отличался гораздо большей живостью и меньшей прямолинейностью. Оба они тем не менее были политическими деятелями, защищавшими одни и те же социальные интересы, служившие одним и тем же политическим идеям. Вся разница между ними касалась скорее оттенков общего им направления, чем самого существа направления. И Тьер во время июльского переворота был уже совсем сформировавшимся человеком, с вполне определенными идеями. Начав свою деятельность при посредстве либерального депутата Манюэля журналистом, весьма быстро прославив себя имевшей большой успех «Историей Французской революции», а в самом начале 1830 г. основав оппозиционную газету «National»², он, как известно, сыграл очень видную роль при возведении Людовика-Филиппа на престол. Это открыло перед ним доступ к политической карьере. Сделавшись членом государственного совета и главным секретарем министерства финансов, он вскоре был выбран в палату депутатов, а в 1832 г. получил пост министра сначала внутренних дел, а потом торговли и общественных работ. Затем он возвращался еще раз в министерство внутренних дел в 1834 г. Сначала он поддерживал самые дружественные отношения с либералами, но в скором времени строгость, с какою он отнесся к демократическим восстаниям, отвратила от него многих из прежних его политических друзей. В 1836 г. он сделался главой министерства, взяв на себя заведование иностранными делами. Несмотря на то что по внутренней политике он оказался весьма уступчивым по отношению к Людовику-Филиппу, последний был крайне недоволен его иностранной политикой, которую он находил слишком либеральной. Вышедши в отставку вследствие разногласия с королем, Тьер после кратковременного удаления от дел перешел на сторону оппозиции. Весной 1840 г. он сделался снова минист-

¹ Об аналогиях, какие проводили французы между своей и английской историей, см. т. IV.

² «Национальная» (фр.). Не путать со «Всенародной газетой», основанной в Брюсселе в 1829 г. (см. выше). — *Прим. ред.*

ром. Это было как раз то время, когда Европа переживала опасный кризис, и Людовик-Филипп поспешил снова избавиться от министра, казавшегося ему слишком воинственным. После того как образовалось министерство, имевшее фактически главой Гизо, Тьер снова сделался одним из вождей оппозиции, направив ее главным образом против личной политики короля. Одним из политических принципов, коих он держался, был знаменитый принцип, им же и сформулированный: «Король царствует, но не управляет» (*le roi règne, il ne gouverne pas*).

До революции 1830 г. Тьер особенно прославился своей «Историей Французской революции», представляющей из себя апологию этого политического события. В этом труде он является поклонником успеха и с этой своеобразной точки зрения оправдывает или осуждает отдельных деятелей и целые партии. Уже в самом конце этого сочинения он наметил свое будущее отношение к Наполеону как к человеку, который упрочил за «плебеями» завоеванное ими место. Известного рода расположение к Наполеону он проявил потом в тридцатых годах восстановлением его статуи на Вандомской колонне и окончанием большой Триумфальной арки, увековечившей победы Наполеона. В другом месте нами было уже указано на то, что по инициативе Тьера в 1840 г. были перевезены в Париж останки императора. В сороковых годах в виде продолжения своей истории революции он предпринял большой труд, который стал выходить в свет под названием «История консульства и империи»; здесь преобладает та же черта Тьера — преклонение перед успехом. Этим своим трудом он немало содействовал оживлению во Франции наполеоновской легенды и возрождению бонапартизма. Во всяком случае, нельзя не принимать в расчет, что либерализм Тьера соединялся с известного рода культом Наполеона и той военной славы, которою он покрыл Францию. У него была даже личная страсть к военному делу, но гораздо более заслуживает внимания то, как он понимал отношение Наполеона к революции. Консульство и империя, как известно, долгое время пользовались поддержкой буржуазии, видевшей, с одной стороны, в военной диктатуре гарантию против возвращения старого порядка, а с другой — против повторения якобинской диктатуры во имя демократии. Тьер в данном случае только формулировал взгляд, уже раньше его существовавший, и в этом отношении был выразителем мнений буржуазии. И его отношение к Французской революции можно назвать буржуазным. Только в эпоху июльской монархии, как мы еще увидим, значение Французской революции снова стало освещаться с демократической точки зрения, которая отнюдь не могла быть точкой зрения Тьера.

Являясь сторонником свободы, Тьер в то же время, подобно Гизо, был сторонником и порядка, разумея под ним неизменность известного уклада жизни. И он думал, что лучше всего во Франции сочетание свободы и по-

рядка могло бы быть достигнуто конституционной монархией. Правлением, наиболее приближающимся к норме, ему казалось английское государственное устройство, и, по его мнению, окончательным исходом Французской революции должно было быть то же самое, к чему привели Англию обе ее революции. В этом отношении он довольно близко подходил к Гизо, с тем только различием, что принципы доктринеров казались ему слишком абсолютными. Лично в нем самом было гораздо больше податливости, и на практике он был гораздо большим оппортунистом, чем Гизо, который был более теоретиком оппортунизма. Принципиально он стоял за свободу прессы, свободу собраний и сообществ и право петиций и все это потом в эпоху Наполеона III называл *libertés nécessaires*¹. Во времена Реставрации он думал, что, пока в жизни Франции будет признаваться закон легитимности, до тех пор будет существовать вечная угроза свободным учреждениям. Ему казалось, что Франции нужна только новая династия, которая не могла бы опираться на принцип легитимизма, и что стоит только заменить одну династию другой для того, чтобы ни о чем серьезном заботиться было нечего. Свой взгляд на значение Июльской революции Тьер выразил в брошюре «Монархия 1830 года», увидевшей свет в 1831 г. В ней он защищает революцию, но борется с революционным духом, — различие, напоминающее нам то, которое несколько ранее делал Ремюза между *esprit révolutionnaire* и *esprit né de la révolution*². Июльский переворот представлялся Тьеру не нападением на власть во имя нового права, а защитой старого права от покушения на него со стороны власти. Целью своей брошюры он ставил успокоение и умиротворение нации, так как все, в чем нация нуждалась, по его мнению, было достигнуто. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы консолидировать приобретения революции; это была именно та самая задача, которая, по представлению Тьера, выпала раньше на долю Наполеона, с тем лишь различием, что Тьер не мог представить себе возможности такой консолидации без общественной свободы. И в этом отношении Тьер сходиллся с Гизо. Но если последний более всего хлопотал о том, чтобы примирить с новым положением вещей тех людей, которые были напуганы переворотом 1830 г., то Тьер, наоборот, стремился примирить с существующим порядком людей, не вполне им довольных ввиду новых требований, какие стали предъявляться в политической жизни. Поэтому Гизо, пожалуй, и не прочь был бы от реформ, лишь бы они проводились консервативными силами общества, а Тьер, наоборот, вовсе не был против политики консервативного характера, лишь бы она осуществлялась при содействии либеральных элементов общества. Как сказано было выше, это были лишь различные оттенки од-

¹ Необходимые свободы (фр.). — Прим. ред.

² Революционный дух и дух вне революции (фр.). — Прим. ред.

ного и того же политического понимания. Они были так близки один к другому, что сначала Гизо и Тьер могли действовать сообща.

Вот почему оппозиция Тьера в сороковых годах была чисто конституционной и целиком опиралась на защиту принципов 1830 г. Быть может, если бы Тьер был в эту эпоху не в оппозиции, а во главе правительства, он скорее сумел бы поддержать еще на некоторое время существование буржуазной монархии против надвигавшегося на нее демократизма. И сам Людовик-Филипп, как мы увидим, в последний момент обратился к Тьеру, но когда последний снова получил власть, было уже слишком поздно. Нужно прибавить к этому, что Тьер и не принимал участия в политическом движении, непосредственным результатом коего было падение июльского трона. Еще менее, чем демократические стремления своей эпохи, разделял он стремления социальные. Их он, прямо можно сказать, игнорировал; только в 1848 г., когда эти социальные стремления проявили себя достаточно грозно, он выступил со своей книгой «О собственности», написанной в защиту этого учреждения от нападков, какие на него делались.

Быть может, никогда Тьер так хорошо не выразил своего политического миросозерцания, как в одной своей речи, произнесенной в начале февраля 1848 г., всего за три недели до революции, сокрушившей июльскую монархию. «Я не радикал, господа, — сказал он между прочим. — Радикалы это хорошо знают, и стоит только почитать их газеты, чтобы в этом убедиться. Но поймите хорошо мои чувства: я принадлежу к партии революции как во Франции, так и в Европе. Я желаю, чтобы правительство революции (*le gouvernement de la révolution*) оставалось в руках людей умеренных, и я буду делать все от меня зависящее, чтобы в их руках оно оставалось и на будущее время. Тем не менее даже в том случае, когда это правительство перейдет в руки лиц не столь умеренных, как я и мои друзья, в руки людей более пылких, хотя бы то были и радикалы, я не оставлю из-за этого защищаемого мною дела: я всегда буду на стороне революции». В этих словах мы встречаемся и со своеобразным пониманием защиты революции, и с той податливостью, которая отличала Тьера от слишком непреклонного Гизо. Поэтому и впоследствии Тьер опять играл политическую роль, тогда как для Гизо падение июльской монархии было окончанием политической карьеры, а он ведь после этого прожил еще целую четверть века.

Забываясь о сочетании свободы с порядком, оба политических соперника вовсе не думали о том, чтобы сочетать эту свободу с равенством, стремление к которому столь характерно для французского общества, начиная еще с эпохи Великой революции. Правда, и в этом отношении один был прямолинейнее и упорнее, другой обнаруживал более способности склоняться перед силой и успехом. Однако и тот и другой пытались задерживать демократическое движение, — Гизо в союзе с консерваторами, Тьер —

пытаясь умерить требования новаторов. Оба они были представителями буржуазии и оба воспитывались в ту эпоху, когда защитники политической свободы и с принципиальной точки зрения относились с недоверием к демократии, опасаясь, что народная масса и не сумеет, и не захочет защищать политическую свободу. Основания для таких опасений либералы времен Реставрации и июльской монархии находили в истории Конвента и Наполеона. С другой стороны, и в их время было немало людей, которые более дорожили равенством, чем свободой. Но ни Гизо, ни Тьер не понимали, какой могучий исторический фактор заключался в стремлении к равенству. В конце концов, они считали возможным задержать демократическое движение и не ставили себе задачей хотя бы теоретически определить, при каких условиях демократия может пользоваться политической свободой. Другими словами, пытаясь сочетать, как уже было указано раньше, свободу с порядком, они не думали о сочетании свободы с равенством. Эту последнюю задачу поставил себе лишь один видный политик той эпохи, Токвиль, в данном вопросе получивший весьма большой авторитет.

Этот политический деятель и мыслитель выступил в качестве противника той административной централизации, которая была создана Наполеоном I и затем удержана Реставрацией. Только незадолго до Июльской революции, в министерство Мартиньяка была сделана попытка изменить эту систему, рассчитанную на то, чтобы вся Франция беспрекословно повиновалась правительственной воле, но предложенная реформа была отвергнута палатой депутатов. Либеральная буржуазия и до 1830 г., и после 1830 г. одинаково не была расположена к местному самоуправлению, полагая, что наполеоновская система вполне соответствовала духу новой Франции. К числу наиболее горячих, например, поборников этого наследства наполеоновского режима принадлежал Тьер. Возражая сторонникам противоположных воззрений, он говорил, что «общественная жизнь должна обнаруживать всю свою полноту главным образом в центре государства», ибо это — «великое явление современности», состоящее в том, чтобы «общественное тело жило в совершенном единстве». По мнению Тьера, если Реставрация, принеся Франции так много зла в моральном и политическом отношениях, не нанесла ущерба материальным интересам страны, то произошло это по той причине, что она сохранила административную систему империи. «Не мы, — прибавлял он, — ретрограды: это мы защищаем олицетворенную революцию (*la révolution vivante*). Освобождая крупные общины, вы разрушаете единство; вы рубите топором дерево у самого корня». Правда, по законам 1831 и 1833 гг. члены муниципальных, окружных и генеральных советов должны были быть избираемыми, но мэры и их помощники, не говоря уже о префектах и подпрефектах, и теперь назначались правительством. Правом выбора пользовались лишь лица, платившие налоги в наивысшем размере, равно как многие категории чиновников, а генераль-

ные советы созывались лишь раз в два года, и их заседания не были публичными. Полномочия их, определенные точнее по закону 1838 г., по-прежнему оставались очень незначительными. Таким образом, конституционная монархия сохраняла административную систему, созданную в интересах деспотической империи, и это не казалось противоречием большинству французских либералов. В министерстве Гизо все оставалось по-прежнему: административная система вполне соответствовала той идее, какую он себе составил о сильной власти.

Равным образом французские либералы этой эпохи крепко держались за государственную монополию в деле народного образования, созданную Наполеоном. Свобода преподавания, обещанная хартией, так-таки и не была введена. Это вполне соответствовало духу бюрократической опеки, воспитанному административной централизацией, и Гизо скорее стоял за право государства давать образование индивидууму, чем за право индивидуума получать образование¹.

Если Гизо и Тьер под порядком разумели, между прочим, систему централизации, то Токвиль именно и взялся доказать, что такой порядок несовместим со свободой. В этом отношении он расходился с вождями двух больших партий, игравших главную роль в политической жизни страны, унаследовав вместе с тем от своих предшественников недоверие к демократии, хотя он и не думал, что стремление к равенству может быть задержано.

Токвиль родился в 1805 г. Его отец происходил из старой графской фамилии, а мать была внучкой знаменитого Мальзерб, который защищал Людовика XVI перед Конвентом. Таким образом, Токвиль был аристократического происхождения, и его семейные связи имели роялистический характер. В эпоху Реставрации, когда новое правительство выдвигало вперед старые дворянские фамилии, оставшиеся верными законной династии, отец Токвиля занимал место префекта. На эти годы и падает время воспитания будущего противника административной централизации. Когда вспыхнула Июльская революция, ему только что исполнилось двадцать пять лет, но он уже выработал себе вполне определенные политические взгляды. По его мнению, каждый народ, достойный этого имени, должен принимать участие в заведовании своими делами, и потому сочувствие его было на стороне свободных учреждений, причем он думал, что

¹ Нужно прибавить, что Гизо для своего времени сделал немало, чтобы поднять во Франции народное образование. Занимая пост министра народного просвещения в 1832–1834 гг., он организовал целое исследование положения народных школ в стране, давшее весьма печальные результаты (*Lorain. Tableau de l'instruction primaire en France*). Законом 1833 г. были организованы во Франции начальные школы, и часть расходов по их содержанию государство взяло на себя. В 1832 г. в стране было 42 тыс. начальных школ с 2 млн учеников, в 1848 г. — 63 тыс. школ с 3,5 млн учеников. Распространение начального образования Гизо называл долгом справедливости по отношению к народу и залогом благосостояния нации.

наиболее подходящей для Франции формой правления была конституционная монархия. Вместе с этим он полагал, что политическая свобода во Франции лучше всего могла бы быть обеспечена старшей линией Бурбонов, чем какой бы то ни было другой династией революционного происхождения. Он с большим недоверием относился к демагогии, так как думал, что результатом ее может быть только абсолютная власть. Впоследствии в своем знаменитом сочинении «Старый порядок и революция» (1856 г.) он сам говорил, что издавна любил свободу, и, действительно, любовь к ней была господствующей в нем страстью. В то же самое время он видел, однако, что современное общество демократизируется, и невольно ставил себе вопрос, каким образом сделать так, чтобы власть, вышедшая из демократии, не стала всемогущей и тиранической и где найти силу для борьбы с этой властью в обществе, состоящем из людей, хотя и равных друг с другом, но одинаково слабых и немощных. К Июльской революции Токвиль отнесся двойственно: как либерал, он должен был сочувствовать торжеству свободы, но он вовсе не разделял увлечения своих современников насильственным характером переворота. С самого начала он относился с некоторого рода недоверием к июльскому трону. Вскоре после революции он задумал посетить Северо-Американские Штаты, которые заинтересовали его, как государство, сумевшее сочетать самые демократические учреждения с наибольшим развитием политической свободы. Еще в последние годы Реставрации он получил должность прокурора при версальском уголовном суде, что, конечно, заставляло его интересоваться вопросом о тюрьмах. В это самое время во Франции очень много говорили о новой пенитенциарной системе, которая незадолго перед тем была введена в Америке, и вот Токвиль с одним из своих друзей подает министру внутренних дел записку, в коей предлагает ему свои услуги ехать в Америку для изучения новой системы на ее родине. Министерство приняло это предложение, и Токвиль получил командировку. В Северо-Американских Штатах он прожил целый год (1831–1832), можно сказать, не теряя ни минуты, чтобы только познакомиться со всеми сторонами американской жизни. Он не только исполнил данное ему официально поручение, опубликовав вместе со своим другом книгу «Об американской пенитенциарной системе», удостоившуюся потом немецкого и английского переводов, но и собрал громадный материал для всестороннего изучения североамериканской жизни. Вышедши вскоре по возвращении на родину в отставку, он приступил к печатанию основанной на этом материале книги «Демократия в Америке».

Это сочинение вышло в свет в четырех томах. Первые два тома были изданы в начале 1835 г. и сразу завоевали автору почетное место среди политических писателей. «Демократия в Америке» относится к числу тех немногих книг, появление которых составляет своего рода событие. Старый вождь французских либералов, Ройе-Коллар, прочитав книгу, сказал,

что «после Монтескьё не появлялось ничего подобного». Книга имела уже некоторый успех даже ранее появления своего в продаже: автор не без удивления узнал, что наборщики той типографии, где она печаталась, прочитывали ее с самым жгучим интересом. В публике она встретила особенно сочувственный прием среди людей самого несходного образа мыслей, и каждая партия хотела считать Токвиля своим. В то время как одни видели в нем аристократа, другие, наоборот, были уверены, что он демократ. За границей «Демократия в Америке» имела не меньший успех, о чем свидетельствуют переводы этой книги на разные языки¹. Между прочим, сами американцы нередко выражали изумление по поводу того, каким образом иностранец в столь короткое время мог так хорошо изучить чуждые для него нравы и порядки. В Англии имя Токвиля сделалось весьма популярным среди политических деятелей разных партий, и когда он в 1835 г. посетил Лондон, даже парламентская комиссия, разрабатывавшая вопрос о гарантиях правильности политических выборов, пригласила его в свое заседание. Мнение, высказанное здесь Токвилем, впоследствии в самом парламенте было приведено Робертом Пилем, и на Токвиля же ссылались сторонники противоположной партии. Эта поездка в Англию доставила автору «Демократии в Америке» случай завязать личные отношения со многими замечательными людьми того времени. На родине Токвиль получил также большой почет. В 1836 г. сочинение его было «увенчано» Французской академией, а спустя два года он сам был выбран в члены Академии моральных и политических наук. Через три года Токвиль сделался и членом Французской академии, одним из «сорока бессмертных». Около этого же самого времени (1840 г.) вышли в свет и два последних тома «Демократии в Америке».

Подобного рода успех открывал путь к политической карьере, которая прельщала и самого Токвиля, хотя как государственный деятель он далеко оставался позади самого себя как политического мыслителя. Он не хотел, однако, прибегать к тем некрасивым путям, которыми пользовались в ту эпоху многие кандидаты в депутаты, и более всего стремился к тому, чтобы сохранить полную независимость. В 1837 г. он поставил свою кандидатуру в Нормандии, где у него было поместье и где его хорошо знали; со своей стороны, министерство, без ведома самого Токвиля, стало официально поддерживать его кандидатуру. Когда незадолго до выборов он узнал об этом, то горячо протестовал против этой поддержки письмом на имя министра Моле. Результатом этого инцидента было то, что Токвиль не попал в депутаты. Только два года спустя, в 1839 г., снова поставив свою кандидатуру, он был избран громадным большинством голосов. С этого времени до самой Февральской революции он оставался членом палаты депутатов,

¹ Русский перевод появился только в шестидесятых годах. В 1897 г. вышел новый русский перевод г. Линда.

где постоянно подавал голос с конституционной левой. Среди своих товарищей он пользовался уважением, но не оказывал на них большого влияния. Не обладая качествами, необходимыми для оратора, он весьма редко появлялся на трибуне и работал преимущественно в комитетах, в которые его охотно выбирали. Само положение его в оппозиции было совершенно особенное. С одной стороны, он относился с недоверием к тому характеру, какой имела тогдашняя демократическая оппозиция; с другой стороны, он сам был человеком слишком беспристрастным и сдержанным, чтобы вносить в свою оппозицию сколько-нибудь увлечения и страсти. Еще будучи очень молодым человеком, он говорил, что главные человеческие бедствия суть болезни, смерть и сомнение; этого сомнения было в Токвиле, пожалуй, слишком много, и оно-то главным образом проявилось в замечательной критической и аналитической способности его ума. Многие товарищи прямо были не способны его понять, и это, конечно, вредило ему как практическому деятелю. Вообще он был более способен тонко наблюдать и трезво рассуждать, чем успешно действовать. Читая недавно изданные мемуары Токвиля, в коих идет речь о 1848 г., постоянно встречаешься с этой чертой его духовной природы: он много наблюдал и мало действовал. Вот почему Токвиль так хорошо разгадывал прошлое и так удачно предсказывал будущее, а в настоящем не играл той роли, на которую давали ему право его умственные и нравственные качества. Мы увидим еще, сколько проницательности обнаружил Токвиль в эпоху Февральской революции и декабрьского переворота, как видели уже, в чем он полагал главные грехи царившей тогда буржуазии. И к буржуазии, и к демократии своего времени он относился критически, понимая, однако, что современное общество неудержимо развивается в демократическом направлении. Весь вопрос заключается для него в том, чтобы это демократическое развитие не было пагубно для политической свободы. Впоследствии установление второй империи оправдало его опасения, и тогда он написал свою глубокомысленную книгу «Старый порядок и революция».

«Демократия в Америке» не утратила своего значения и в настоящее время, хотя о современных американских порядках и нравах, конечно, удобнее знакомиться по книге Брайса «Американская республика». В дальнейшем мы остановимся, однако, исключительно на общих политических взглядах, которые Токвиль высказывает в этом сочинении.

«Великий демократический переворот, — говорит Токвиль в самом начале этого труда, — совершается между нами: все его видят, но не все одинаково судят о нем. Одни видят в нем новость и, считая его случайностью, надеются еще остановить его, между тем как другие признают его неотвратимым, потому что он кажется им фактом самым непрерывным и постоянным из известных истории». Сам Токвиль становится на вторую точку зрения, и затем он спрашивает, разумно ли предполагать, чтобы это общест-

венное движение могло быть приостановлено усилиями одного поколения. «Можно ли думать, — продолжает он, — что, разрушивши феодальный строй и победивши королей, демократия отступит перед буржуазией и богатым классом? Останется ли она теперь, когда она сделалась столь сильной, а ее противники столь слабыми?» Токвиль признаётся, что вся его книга «была написана под впечатлением некоторого рода религиозного ужаса, произведенного в душе автора видом этой неудержимой революции, которая совершается в течение стольких веков, несмотря на все препятствия, и которая и теперь, видимо, подвигается вперед среди производимого ею разрушения». «Совершенно новому обществу, — говорит он далее, — нужна и новая политическая наука», но «никогда главы государства не подумали о том, чтобы подготовить что-нибудь заранее к этой великой общественной революции: она делалась вопреки им или помимо них. Наиболее могущественные, интеллигентные и нравственные классы народа не старались овладеть движением, чтобы его направить. Демократия, следовательно, была предоставлена своим диким инстинктам; она выросла, как те дети, лишённые родительских забот, которые сами собой воспитываются на улицах наших городов и знают из общественной жизни только ее пороки и слабости. Казалось, — прибавляет он, — еще никто не знал о ее существовании, когда она неожиданно захватила в свои руки власть. Тогда все рабски подчинились ее малейшим желаниям; перед ней преклонились, как перед образом силы, и когда, наконец, она была ослаблена собственными излишествами, то законодатели задались безрассудной целью уничтожить ее, вместо того чтобы постараться научить ее и исправить, и, не желая обучить ее управлению, думали лишь о том, чтобы удалить ее от управления». Токвиль указывает и на результат, который отсюда должен был получиться: «демократическая революция произошла в составе общества, а между тем ни в законах, ни в понятиях, ни в нравах и обычаях не произошло перемены, необходимой для того, чтобы сделать эту революцию полезной. Таким образом, — заключает он, — у нас есть демократия, но без того, что могло бы ослабить ее пороки и выдвинуть вперед ее естественные преимущества; поэтому, уже видя причиняемое ею зло, мы незнакомы еще с тем добром, которое она нам может дать».

Таков основной взгляд Токвиля на весь предмет, и вот почему он так заинтересовался Америкой, где указанная им великая общественная революция, «по-видимому, уже почти достигла своего естественного предела». Говорить так о демократии, как говорит Токвиль, конечно, не мог бы завзятый аристократ, но в то же время у него не было и того догматического отношения к демократии, которое характеризует многих его современников. Одно из основных качеств Токвиля — беспристрастие. «Может быть, — заявляет он сам в начале третьего тома, — может быть, покажется странным, что, имея твердое убеждение в том, что демократическая революция, при

которой мы присутствуем, есть факт неизбежный, бороться с коим было бы неблагоразумно и нежелательно, я в то же время часто обращаюсь в этой книге с очень строгими суждениями к демократическим обществам, созданным этой революцией. На это я отвечу просто, что именно потому, что я не противник демократии, я и желал быть искренним относительно нее. Люди не принимают истины от своих врагов, а друзья никогда ее им не предлагают; вот почему я ее высказал. Я думал, что многие возмутятся говорить о новых благах, которые обещает людям равенство, но не многие осмелятся издали указать на опасности, коими оно им угрожает. Поэтому я обратил преимущественное внимание на эти опасности и, видя их, как мне казалось, ясно, я не был настолько малодушен, чтобы умолчать о них». Несомненно, что эти слова были ответом на общественные толки, вызванные отношением Токвиля к демократии, и тут же он просит своих читателей обвинить его, если в книге они, как выражается он, «найдут хоть одну фразу, содержащую в себе лесть по отношению или к одной из больших партий, волновавших его страну, или к одной из мелких, тревожащих и обессиливающих ее в данную минуту».

Книга написана об Америке, но мысль автора постоянно возвращается к Европе. «Я считаю, — говорит Токвиль в одном месте, — совершенно слепыми тех людей, которые думают о возобновлении монархии Генриха IV или Людовика XIV. Что касается до меня, то, глядя на состояние, до которого дошли уже многие европейские нации, я склонен думать, что скоро между ними окажется возможной только или демократическая свобода, или тирания цезарей». Но раз перед людьми, правящими обществом, стоит альтернатива «или постепенно поднять толпу до себя, или предоставить всем гражданам упасть ниже общечеловеческого уровня», — одного этого достаточно, чтобы преодолеть в себе недоверие к демократии. «Не следовало ли бы, — спрашивает он, — признать постепенное развитие демократических учреждений и нравов не лучшим, а единственным средством, остающимся у нас для того, чтобы мы могли быть свободными, и не имея любви к демократическому правлению, не были ли бы мы склонны принять его в качестве лекарства, наиболее применимого и наиболее безупречного, которое может быть противопоставлено наличным бедствиям общества?.. Воля демократии изменчива; ее исполнители грубы; ее законы несовершенны; я соглашаюсь со всем этим, но если бы оказалось верным, что скоро не будет ничего среднего между господством демократии и владычеством одного, то не следовало ли бы нам скорее склониться к первому, чем добровольно подчиниться второму? И если бы, наконец, мы должны были прийти к полному равенству, то не лучше ли предоставить себя уравнивать свободе, чем деспоту?.. Я предвижу, — прибавляет Токвиль несколько далее, — что если нам не удастся со временем основать у себя мирное господство большинства, то мы рано или поздно придем

к неограниченному господству одного». В одной из глав четвертого тома этой же книги Токвиль проводит ту мысль, что в европейских государствах нашего времени верховная власть усиливается, хотя правительства становятся менее прочными. «Пока демократическая революция, — говорит он здесь, — была еще в разгаре, люди, занятые уничтожением боровшихся против нее старинных аристократических властей, были одушевлены сильным духом независимости, но по мере того, как победа равенства делалась более полной, они мало-помалу предавались естественным инстинктам, порождаемым этим самым равенством, и потому усиливали и централизовали общественную власть. Они хотели быть свободными для того, чтобы сделаться равными, и по мере того, как равенство все более утверждалось посредством свободы, оно же затрудняло для них пользование свободой». Ссылаясь на Французскую революцию, за которой последовала империя, Токвиль говорит, что французы одновременно показали миру пример «и того, каким способом приобретается независимость, и того, как она теряется». Он откровенно заявляет, что не доверяет свободолюбию своих современников. «Я вижу, — говорит он, — что в наше время народы склонны к беспорядку, но я не вижу ясно того, чтобы они были склонны к свободе, и боюсь, что, когда кончатся эти волнения, колеблющие троны, то верховные правители окажутся еще сильнее, чем они были до сих пор». В старые времена свобода имела аристократические формы, но Токвиль высказывает убеждение, что «все те, которые в наступающие века будут пытаться основать свободу на привилегии и аристократии, не достигнут своей цели: кто захочет привлечь и удержать власть в среде одного класса, заранее обречен на неудачу». Но демократические учреждения сами по себе еще вовсе не являются гарантией политической свободы, если с ними не соединены весьма важные условия, которые одни создают и поддерживают свободу при каком бы то ни было общественном строе. Наличие этих условий Токвиль нашел в Америке, но не нашел у себя на родине. С другой стороны, и чисто теоретически он понимал взаимные отношения равенства и свободы совсем не так, как это делали многие его соотечественники, полагавшие, что демократическое равенство во власти есть истинная основа свободы. Они стояли на точке зрения Руссо, а Токвиль шел по стопам Монтескьё, советовавшего не смешивать свободу народа с властью народа.

Токвиль находил, что вообще в демократических нациях любовь к равенству обнаруживает больше пылкости и постоянства, чем любви к свободе. Конечно, он представлял себе такое состояние, при котором свобода и равенство соприкасаются и сливаются. Он даже прямо называл идеалом демократических наций общество, в коем люди будут совершенно свободны, потому что они будут вполне равны, и совершенно равны, потому что будут вполне свободны. «Это, — замечает он, — есть самая совершенная

форма, какую только может принять равенство на земле, но есть тысяча других, которые, хотя и не столь совершенны, тем не менее дороги народам». Например, равенство может касаться гражданских отношений и без господства в политической области, или даже в этой последней области может существовать некоторого рода равенство без какой бы то ни было политической свободы, когда все равны за исключением одного, безраздельно господствующего надо всеми и выбирающего исполнителей своей воли из всех без различия. Во всяком случае, понятия свободы и равенства не совпадают. «Действительно, — говорит Токвиль, — стремление людей к свободе и любовь их к равенству — две вещи различные, и я осмелюсь прибавить, что у демократических народов эти две вещи не равны». Он даже думает, что существуют некоторые общие причины, которые во все времена побуждают людей ставить равенство выше свободы. Но в особенности ему казалось, что этим отличается переживавшаяся ими эпоха. По его словам, бывают времена, когда любовь к равенству «доходит до безумия», а такие времена наступают, «когда старая общественная иерархия, давно уже расшатанная, с последней внутренней борьбой окончательно рушится, и преграды, разделявшие граждан, наконец, падают: тогда люди бросаются на равенство, как на добычу, и привязываются к нему, как к драгоценности, которую хотят у них отнять». Обращаясь к истории европейских народов, Токвиль указывал на то, что стремление к свободе стало у них развиваться со времени уничтожения резких граней между сословиями, а над этим последним делом особенно потрудились абсолютная монархия. У европейских народов равенство, таким образом, шло впереди свободы: «Равенство имело уже за собой прошлое, когда свобода была еще новинкой; первое успело уже создать соответствующие мнения, обычаи, законы, когда вторая сама только что появлялась на свет в первый раз». Вот почему он и не удивляется, находя, что его современники предпочитают равенство, вошедшее в привычки и нравы, свободе, существующей только в идеях и стремлениях. «Они хотят равенства вместе со свободой; но если это им не доступно, то хотят его даже в рабстве». С другой стороны, Токвиль находил, что «во Франции многие смотрят на равенство, как на главное зло, а на политическую свободу, как на второе. Когда приходится примириться с одним, стараются избавиться, по крайней мере, от другого. Я, напротив, утверждаю, — прибавляет он, — что для борьбы с бедствиями, порождаемыми равенством, есть только одно действительное средство: это — политическая свобода». Через всю книгу Токвиля проходит та мысль, что демократ может легко сделаться основой для самого крайнего деспотизма. «Во время моего пребывания в Соединенных Штатах, — говорит он в одном месте четвертого тома, — я заметил, что демократический общественный строй, подобный тому, который существует у американцев, мог бы представить чрезвычайные удобства для установле-

ния деспотизма, а по возвращении моем в Европу я увидел, как большинство наших правителей уже воспользовалось идеями, чувствами и потребностями, порождаемыми этим самым общественным строем, для того, чтобы распространить пределы своей власти», и к этим словам Токвиль еще прибавляет, что «более обстоятельное исследование этого предмета и пять лет новых размышлений не уменьшили его опасений». Особенно его пугало то, что разрушение старого строя сопровождалось разобщением людей друг от друга и вытекающими отсюда, с одной стороны, эгоизмом, с другой — бессилием отдельных личностей. Это — самая удобная почва для установления абсолютизма.

Понятно, какой интерес для Токвиля должна была представлять великая заатлантическая республика, которая сочетала в своих учреждениях равенство и свободу. Большим счастьем для американцев, по его словам, было то, что «они пришли к демократии без демократических революций и не сделали, а родились равными». Целью своей книги Токвиль именно и поставил «показать на примере Америки, что законы и, в особенности, нравы способны дать возможность народу остаться свободным». Токвиль — враг централизации и в этом отношении коренным образом расходился с французскими либералами, которые были, как мы видели, сторонниками централизации. Само недоверие его к демократии вытекало из его взгляда, по которому концентрация власти у демократических народов естественно происходит из их понятия относительно формы правления, а также из их чувств. Вот почему, говоря об условиях, поддерживающих в Америке демократическую республику, он главным образом останавливается на ее федеративной форме и на «общинных учреждениях, которые, умеряя деспотизм большинства, в то же время дают народу склонность к свободе и умение быть свободным» (к этим двум условиям он прибавляет третье — своеобразное устройство судебной власти). Свое изображение американского устройства он начинает с общинного быта, исходя из той идеи, что «между всеми видами свободы свобода общины, так трудно устанавливаемая, есть в то же время и наиболее подверженная вмешательству власти. Предоставленные самим себе, — говорит Токвиль, — общинные учреждения совершенно не могли бы бороться с сильным и предприимчивым правительством. Чтобы успешно защищаться, им необходимо достичь полного развития и войти в народные понятия и привычки. Значит, пока общинная свобода не вошла в нравы, ее легко уничтожить, а войти в нравы она может лишь тогда, когда она давно уже существовала в законах». Между тем, по его мнению, именно в общине заключается сила народных преданий. «Без общинных учреждений нация может дать себе свободное правительство, но в ней не будет духа свободы. Временные стремления, интересы минуты, случайные обстоятельства могут дать ей внешний вид независимости, но деспотизм, вогнанный внутрь общест-

венного организма, рано или поздно проявится наружу». Все различие между Францией и Америкой в этом отношении Токвиль усматривал в том, что во Франции правительство дает своих агентов общине, а в Америке, наоборот, община дает своих чиновников правительству. Откуда же происходит эта общинная свобода? Токвиль прямо заявляет, что в Соединенных Штатах она вытекает из догмата народовластия. Этот последний догмат он понимает, однако, несколько иначе, чем то делал Руссо. Гражданин только в том, что касается взаимных отношений граждан, становится в положение подданного, но во всем, что касается лишь его самого, он остается господином. «Из этого, — говорит Токвиль, — вытекает то правило, что каждый отдельный человек есть лучший и единственный судья своих частных интересов, и что общество лишь тогда имеет право направлять его действия, когда от этих действий оно чувствует для себя ущерб или когда оно имеет нужду в его помощи». Община, взятая в целом по отношению к центральному правительству, представлялась Токвилю такой же единицей, как и отдельное лицо, и к ней он применял то же самое рассуждение, как и по отношению к отдельному гражданину. Общинная жизнь рассматривалась им как настоящая школа политической свободы. По его представлению, общинные учреждения относятся к последней, как начальные школы относятся к науке. Это уже совершенно особенный взгляд на народовластие — не тот, который мы находим у Руссо и во имя которого якобинцы утверждали во Франции «единую и нераздельную республику» с концентрацией всей власти в комитете общественного спасения.

Между прочим, интересны главы «Демократии в Америке», в которых Токвиль высказывает свой взгляд на значение большинства в демократических государствах. «По самому существу всякого демократического правления, — говорит он, — господство большинства в нем должно быть абсолютно, потому что помимо большинства в демократиях нет ничего устойчивого». Это происходит само собой, но американцы постарались еще искусственно увеличить эту естественную силу большинства. Если оно здесь «по какому-нибудь вопросу образовалось, то нет уже, так сказать, никаких препятствий, которые могли бы не то, что остановить, а хотя бы задержать его движение и дать ему время услышать жалобы тех, кого оно давит мимоходом». По мнению Токвиля, вообще недостатки, свойственные правлению демократии, только возрастают вместе с увеличением силы большинства. «Я, — замечает он, — считаю нечестивым и отвратительным то правило, что в деле управления большинство может делать все, что вздумается, и, однако же, в воле большинства вижу источник всякой власти... Что такое, в самом деле, большинство, взятое в его совокупности, как не индивидуум, который имеет мнения, а чаще всего и интересы, противоположные с мнениями и интересами другого индивидуума, называемого меньшинством. Но если вы допускаете, что один человек, облеченный безграничной властью, может зло-

употребить ею против своих противников, то почему не допустите вы того же и для большинства? Разве люди, сходясь вместе, изменяют свой характер? Сделавшись сильнее, разве они становятся терпеливее перед препятствиями?» Не думая этого, Токвиль не соглашается дать многим той власти, которую он отказывается дать одному. Но он отнюдь не полагает, чтобы для сохранения свободы возможно было смешать несколько принципов в одной форме правления: он не верит в так называемое смешанное правление. Высшая власть должна же где-нибудь находиться, но для свободы опасно, когда эта власть не встречает пред собой никакого препятствия, которое могло бы задержать ее ход и дать ей время умерить саму себя. «Всемогущество, — говорит Токвиль, — кажется мне по существу своему делом нехорошим и опасным... Нет на земле такой власти, как бы она ни была достойна уважения сама по себе и какими бы священными правами она ни была облечена, которой бы я пожелал предоставить возможность действовать бесконтрольно и господствовать беспрепятственно. И если я вижу, — продолжает он, — что какой-нибудь власти дается право и возможность делать что вздумается, будь эта власть народ или король, демократия или аристократия, я говорю: здесь зародыш тирании, — и стараюсь уйти оттуда и жить под другими законами».

В «Демократии в Америке» Токвиль преподавал немало полезных советов демократии в родной стране, вовсе не думая, однако, чтобы все дело заключалось в прямом заимствовании у американцев их учреждений. Все дело в нравах и привычках. Между прочим, он хорошо знал, что со времен Великой революции французская демократия отличалась воинственным настроением, и в этом он видел одну из опасностей, грозящих его родине. Если демократические народы, по его мнению, естественно хотят мира, то, наоборот, демократические армии отличаются стремлением к войне. «Военные перевороты, — говорит он, — почти никогда не бывают страшны для аристократии, но демократическим народам всегда приходится опасаться их. Этого рода опасности следует считать самыми серьезными, какими только грозит им будущее, и государственные люди должны неустанно искать средства исцелить эту болезнь».

Токвиль сам заявляет, что когда он писал свою книгу, то «не имел в виду ни помогать, ни противодействовать какой-либо партии: я, — поясняет он, — хотел видеть не иначе, чем видят партии, но дальше их, и в то время, как они заботятся о завтрашнем дне, я желал подумать о будущем». Но Токвиль видел только одну политическую сторону совершавшейся в его время социальной эволюции. Сторона экономическая, та самая, которая стала с особенной настойчивостью привлекать к себе внимание современников, весьма мало занимала его вообще и в особенности в то время, когда он писал свою книгу об американской демократии. Только впоследствии он должен был признать, что, кроме политического вопроса, исто-

рия поставила и вопрос социальный, и отметил распадение нации на буржуазию и народ. В своих «Воспоминаниях», написанных в начале пятидесятых годов, он имел случай высказаться о современных социальных стремлениях и указать на их совершенно новый характер. Не соглашаясь с социалистическими теориями, он признавал, однако, что в них для разрешения были поставлены самые серьезные вопросы и, не будучи принципиальным противником современного общественного строя, он писал следующее в одном месте своих «Воспоминаний»: «По мере того как я все более и более изучаю прежнее состояние света и более подробно вникаю в теперешний порядок вещей, рассматривая страшное разнообразие, какое встречаю не только между законами, но и между принципами законов, и разнообразные формы, какие принимало и даже в настоящее время имеет, — что бы там ни говорили, — право собственности на земле, мне все более хочется думать, что то, что называют необходимыми учреждениями, весьма часто суть только учреждения, к коим мы привыкли, и что в деле общественного устройства область возможного гораздо обширнее, нежели воображают люди, живущие в каждом обществе»¹.

По основному политическому принципу Токвиля, — а этим принципом была свобода, — мы должны причислить его к либералам. Один из его друзей, прочитав «Демократию в Америке», заметил ему, что его политическая теория есть что-то вроде адской машины. На это Токвиль отвечал, что, безгранично любя свободу, он вместе с тем питает глубочайшее уважение к справедливости, а потому представляет собой особенный вид либерализма, коего не следует смешивать с большинством современных демократов. И он объяснил своему другу, что сочинением своим он хотел показать одним, каков должен быть идеал демократии, а другим — что они не должны противиться грядущему будущему. Он сознавал, однако, что его поняли лишь очень немногие². К числу лиц, особенно плохо его понимавших, принадлежал, например, Гизо. Только после своего падения он высказывал сожаление, что им приходилось только истощать энергию своего ума в бесполезных препирательствах, а не идти рука об руку в великой борьбе за разумную свободу против ее врага — деспотизма.

¹ В одном месте III тома «Демократии в Америке» Токвиль выражает недоверие к крупной промышленности. Она концентрирует рабочий класс, что влечет за собой правительственный надзор за ним, а это только содействует расширению сферы деятельности правительства. Кроме того, развитие промышленности требует улучшения дорог, каналов, портов — новый повод для государства расширять сферу своей деятельности.

² Любопытны письма Токвиля к Дж.Ст. Миллю, который прекрасно понял смысл его сочинения и являлся истолкователем его мыслей перед английской публикой.

XIII. Французский социализм и коммунизм времен июльской монархии¹

Антииндивидуалистическая реакция во французской литературе. — Противоположность политического радикализма и сектантского социализма. — Влияние Июльской революции на сен-симонистов. — Основание сен-симонистского «семейства» и его судьба. — Фурьеризм после Июльской революции. — Роль В. Консидерана. — Бюшез и Леру. — Кабе, его роман и попытки осуществления коммунистического идеала. — Луи Блан и его «Организация труда». — Прудон и его теория собственности

Французские либералы времен июльской монархии унаследовали от своих предшественников идею индивидуальной свободы. На этой точке зрения стояли Ройе-Коллар, Бенжамен Констан и даже Гизо. Ту же самую точку зрения разделял и Токвиль. Представителем индивидуализма выступил равным образом и Ламартин, которому пришлось играть впоследствии столь видную роль в событиях 1848 г. Но рядом с этой традицией, основа коей коренилась в просвещении XVIII в., во Франции развивалось и другое направление, которое можно обозначить как антииндивидуалистическую реакцию против философии XVIII в. С одной стороны, представителями этой реакции были писатели, стоявшие на католической точке зрения и проповедовавшие возвращение к средневековому мирозерцанию и средневековым порядкам, каковы были Жозеф де Местр и Бональд, эти ненавистники всякой новизны в жизни. Но с другой стороны, ту же антииндивидуалистическую тенденцию мы встречаем у писателей, наоборот, мечтавших о перестройке общественной жизни на совершенно новых началах, именно у социальных реформаторов, осуществление идей которых было бы равносильно новой революции, — революции более радикальной даже, чем

¹ Кроме сочинений, указанных в т. III, см.: *Stein L.* Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, 1842; *Idem.* Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, 1850; *Ferraz.* Histoire de la philosophie en France au XIX siècle; *Michel H.* (соч., указ. в предыдущей главе). О сен-симонизме соч.: *Hubbard, Paul Janet, Booth* (т. IV), *P. Weisengrün.* Die socialwissenschaft. Ideen St. Simons; *Weil.* St. Simon et son oeuvre; *L'école St. Simonienne*, 1896; *Charlety.* Histoire de saint-simonisme, 1896. О Фурье соч.: *Bebel.* Charles Fourier, sein Leben und seine Theorien, 1888. О Консидеране соч. г-жи *Goguet.* Victor Considérant, sa vie, son oeuvre, 1895. О Кабе и икаризме соч.: *Lux.* Etienne Cabet und der ikarische Communismus, 1894; *Hepner.* Die Ikarier in Nord-America, 1886. О Луи Блане в следующей главе. О Прудоне: *Sainte-Beuve.* Proudhon; *Desjardins.* Proudhon, savié, ses oeuvres, sa doctrine, 1896. Ср.: *Жуковский Ю.* Прудон и Луи Блан, 1866. В книге А. А. Исаева «Промышленные товарищества во Франции и Германии» (1879) есть краткое изложение социальных учений и их влияния на возникновение и развитие рабочих ассоциаций. См. также указанное в т. IV соч. *Levasseur* а.

переворот, совершившийся под влиянием принципов XVIII в. С таким антииндивидуалистическим характером во второй половине двадцатых годов выступила школа сен-симонистов. В тридцатых и сороковых годах это направление проявилось у целого ряда писателей, расходившихся между собой по многим пунктам социального и политического мирозерцания, но одинаково согласных в недоверии к индивидуальной свободе, в которой они видели как бы только отрицательную и разрушительную силу. Все эти писатели были демократами, но их демократизм был полной противоположностью либерализму, а потому не имел ничего общего с тем пониманием демократии, какое мы встречаем у Токвиля. От современных им либералов они отличались преимущественно тем, что выдвигали на первый план не политические, а социальные вопросы. Для нового направления в тридцатых годах возникло и новое название — социализм. Нужно, впрочем, говоря о возникновении этого термина, твердо помнить, что в нем не столько отличалась социальная сторона жизни от стороны политической, сколько противопоставлялся социальный, т. е. общественный принцип принципу индивидуальному, личному: социализм должен был быть антитезой индивидуализма. И опять было бы неправильно, если бы мы всех критиков современного общественного строя, указывавших на возможность иного лучшего строя, признавали за противников индивидуализма. Напротив того, в основу своей социальной системы Фурье и его последователи полагали самую полную, всестороннюю и безусловную свободу личности с совершенным устранением какой бы то ни было принудительной власти. В этом смысле фурьеризм был настоящей противоположностью сен-симонизму с его общественной регламентацией даже интимных сторон личной жизни. В тот период, который нами теперь рассматривается, тоже с тезисом глубоко индивидуалистическим выступает Прудон, который, как известно, с замечательной силой и непреодолимой логикой доказывал, что коммунизм необходимо приводит к апофеозу государства, рассматриваемого в качестве силы, враждебной индивидууму. Он сам называл себя анархистом, определяя анархию, как «отсутствие господина или государя». Другими словами, он доходил до упразднения правительства или государства, представляя себе общество основанным всецело на взаимных договорах между отдельными индивидуумами.

Таким образом, вопрос о взаимных отношениях личной свободы и общественной власти понимался различно не только теми мыслителями, которые интересовались исключительно одной политической стороной жизни, но и теми, которые нападали на современный социальный строй. Проповедь полного поглощения личности государством (или церковью) встречается и у политических писателей реакционного лагеря, и у социальных реформаторов, выставляющих иногда чисто коммунистический идеал общества. С другой стороны, и индивидуальная свобода находит

своих защитников одинаково и среди лиц, принимавших современный социальный строй таким, каков он есть, и среди лиц, мечтавших о замене его совсем новым строем, основанным на принципе солидарности. Можно вообще сказать, что французская демократия тридцатых и сороковых годов обнаруживала гораздо больше склонности и способности увлекаться теми учениями, отношение коих к индивидуальной свободе было менее благоприятно. Либеральная демократия Токвиля менее всего подходила к настроению рабочих классов: если его политическое мировоззрение было слишком демократично для буржуазии, то для народа оно было бы слишком либерально — в смысле проповеди невмешательства государства в экономическую жизнь. Другие демократические теории, исходя из идеи правительственного вмешательства, распространяли ее действие на все стороны жизни и приходили к проповеди полного поглощения личности государством или обществом.

Указанная противоположность представляет лишь одну сторону идейных течений во французской передовой литературе первой половины XIX в. Другую противоположность мы наблюдаем, рассматривая, с одной стороны, политический радикализм, чуждый каких бы то ни было социальных явлений, с другой — так называемый утопический социализм, совершенно устранившийся от политики. Однако между этими обоими направлениями происходит сближение, результатом чего было возникновение политическо-революционного социализма с якобинской окраской. Демократическое движение во Франции подчинилось, в конце концов, этому направлению, имевшему свои корни, с одной стороны, в сен-симонизме, с другой — в якобинской традиции. В обоих этих источниках социально-политического направления, игравшего столь великую роль в 1848 г., мы встречаемся с отрицательным отношением к личной свободе как к началу противогосударственному и противообщественному. Истории социальных и политических течений демократического характера и их взаимодействия в области мысли и ее литературных выражений и будут посвящены эта и следующая глава.

Начнем с рассмотрения судьбы социальных учений, унаследованных эпохой июльской монархии от предыдущего периода. Этими учениями были сен-симонизм и фурьеризм¹.

В промежуток времени между смертью Сен-Симона и Июльской революцией его последователи успели организовать в целую сектантскую церковь, которая имела свое официальное учение и свою иерархию. В ней даже успел произойти своего рода раскол, вызванный, между прочим, различиями учения о Божестве. Но до июльского переворота сен-симонисты не решались на публичную проповедь. Свое учение они пропагандирова-

¹ Общую их характеристику до 1830 г. см.: Т. IV. Гл. XXVII.

ли на собраниях в частных квартирах, куда могли являться лишь одни приглашенные. Притом они держали себя совершенно в стороне от либерального движения, приведшего к июльскому перевороту. Последний произвел на них сильное впечатление, и в нем они увидели как бы подтверждение того, что вся современная социальная система никуда более не годится и что общество должно быть перестроено на совершенно новых началах. Уже 30 июля на парижских улицах был расклеен манифест за подписью тогдашних «начальников учения Сен-Симона», Базара и Анфантена. В этом манифесте французам обещалось окончательное уничтожение феодализма со всеми привилегиями рождения, дабы каждый занимал в обществе место, соответственное его заслугам, и вознаграждался соответственно своим делам. Успеха среди парижского населения манифест не имел, но весьма скоро о сен-симонизме заговорили в палате депутатов как о новой секте, требующей общности имуществ и даже жен. Это дало повод Базару и Анфантену написать письмо к президенту палаты с целью выяснения, в чем на самом деле заключается новое учение. Собственно говоря, этот документ был предназначен для публики, так как был вместе с тем напечатан в нескольких тысячах экземпляров и получил широкое распространение. Авторы письма указывали на то, что сен-симонистам совершенно неверно приписывается учение об общности имуществ и жен и что их задача заключается в возрождении общества на религиозных началах, провозглашенных христианством. Однако и это письмо большого впечатления в широких кругах общества не произвело. Одновременно сен-симонисты весьма энергично вели свою пропаганду и другими способами. К прежнему своему журналу «Организатор», издававшемуся с 1829 г., они присоединили новый «журнал сен-симоновской религии», именно *Le Globe*¹. Этой литературной проповеди нового учения должны были содействовать и отдельные брошюры, которые стали тогда ими издаваться. Уничтожение прежних цензурных стеснений, конечно, было только благоприятно для подобной пропаганды. С другой стороны, в разных местах Парижа было организовано устное изложение новой доктрины для самых различных слоев тогдашнего общества. Особенное внимание было направлено на распространение сен-симоновской религии среди рабочего населения столицы. Деятельно велась пропаганда и в некоторых других городах, в коих существовали уже свои «церкви». Благодаря всему этому сен-симонисты, наконец, заставили о себе говорить. Между прочим, в главном их журнале печатались статьи по экономическим и финансовым вопросам, занимавшим тогдашнее французское общество.

В конце 1830 г. парижские сен-симонисты, бывшие большей частью представителями свободных профессий и учащейся молодежи, основали

¹ «Глобус» (фр.). — Прим. ред.

нечто вроде религиозного общежития, которому дали название «семейства». «Отцы и дети, братья и сестры о Сен-Симоне», как они себя называли, собирались ежедневно на общую трапезу, вели между собой беседы о разных вопросах своего учения, принимали новых «братьев» и «сестер», рассылали миссионеров по провинциальным городам, устраивали праздники и вообще проводили время приятно и весело. Религиозная сторона этого братства нашла выражение в разного рода обрядах, которыми сопровождались браки, похороны и другие важные случаи в жизни членов общины. На этих священнодействиях, совершавшихся верховными отцами Анфантенем и Базаром, произносились проповеди на религиозно-социальные темы. Но и в этой религиозной общине произошли раздоры, так как весьма скоро обнаружилось разногласие между отдельными членами и даже между обоими верховными отцами. Главным пунктом спора был вопрос о браке. Анфантен учил, что брак должен быть различным для людей, отличающихся постоянством или, наоборот, непостоянством: последние, по его мнению, могут менять жен и мужей когда кому захочется. Многие братья и сестры называли такое учение безнравственным, и на их сторону стал Базар. Между обоими верховными отцами уже давно было соперничество и чисто личного характера. Оно не могло остаться незамеченным со стороны самих членов общины, и вот между ними образовалась некоторая группа, которая представила обоим отцам письменное изложение неудовольствия, вызывавшегося их поведением и их взаимными отношениями. Уже с самого начала этих раздоров отдельные лица хлопотали об умиротворении разгоревшихся страстей, и в этом деле принимал особенно деятельное участие Родриг, бывший ранее Базара и Анфантена главой новой религии, но сам не обнаруживавший никакого честолюбия. Многие готовы были даже идти на компромиссы, боясь, что раздоры погубят дело «возрождения человечества», в которое они искренне верили. Усилия эти, однако, не увенчались успехом, и в конце 1831 г. Базар вышел из «семейства», а с ним ушли и другие братья из числа наиболее рьяных последователей доктрины. После этого состав семейства сделался более однородным. Анфантен, который был провозглашен «верховным начальником религии Сен-Симона», объявил, что теперь-то и должно начаться полное осуществление новых принципов на практике. По учению Анфантена, люди должны были «освящаться в труде и удовольствии». В зимний сезон 1831/32 г. в помещении своего «семейства» сен-симонисты стали устраивать шумные и многолюдные собрания, на которые стали приглашаться дамы для танцев и других увеселений. Женский вопрос, уже ранее намеченный сен-симонистами в смысле необходимости религиозной, политической и гражданской эмансипации женщины, стал теперь выдвигаться на первый план. Более ранние последовательницы сен-симонизма отнеслись с крайним неудовольствием к теории Анфантена о взаимных отношениях

полов. Когда Базар покинул «семейство», Анфантен обратился к женщинам с особым воззванием (*Appel aux femmes*), в котором говорил о необходимости самим женщинам прийти на помощь людям, поставившим своей целью положить конец порабощению женского пола. Танцевальные вечера должны были служить своего рода приманкой для женщин, а кроме того, среди гостей Анфантен желал найти лично для себя достойную подругу. По его учению, общественным индивидуумом является не отдельное лицо, а пара, т. е. мужчина и женщина вместе. Точно так же и во главе новой религии должен был стоять не один верховный жрец, а двое: верховный жрец и верховная жрица, составляющие вместе жреческую пару (*couple-prêtre*). Этой жреческой паре должны были принадлежать особые права в определении правил нравственности, и они должны были вмешиваться во взаимные отношения между отдельными мужчинами и женщинами новой религиозной общины. Среди дам, приглашавшихся на танцевальные вечера, Анфантен и надеялся найти ту, которая была бы достойна вместе с ним составить верховную жреческую пару. На заседаниях «семейства» после удаления Базара рядом с креслом Анфантена ставилось другое кресло, остававшееся пустым в ожидании верховной жрицы.

Одновременно с этим сен-симонисты вели деятельную пропаганду и среди рабочих. Еще при Базаре в парижском пролетариате они уже начали основывать потребительские товарищества, а теперь стали устраиваться ими и производительные ассоциации. Сен-симонистам удалось пристроить на свой счет около четырех тысяч рабочих, что, конечно, стоило им больших денег. Сначала материальные средства новой секты были сравнительно незначительны и составлялись из пожертвований отдельных лиц, причем самым крупным вкладчиком был Анфантен, израсходовавший до осени 1830 г. лично ему принадлежавшие 14 000 франков. Пока деньги нужны были только для разного рода изданий, большого количества их и не было нужно. Так как к движению примкнули многие люди с весьма значительными денежными средствами, то по мере расширения деятельности общины после Июльской революции и пожертвования должны были увеличиваться. Через год общая сумма стоимости всего движимого и недвижимого имущества сен-симонистов простиралась до 600 000 франков. На разные надобности до 1 августа 1831 г. было истрачено около 250 000 франков, а в следующие три-четыре месяца, сверх того, было издержано еще около 150 000 франков. Когда тем не менее стал ощущаться недостаток в деньгах, решено было произвести заем, выпустив билеты по тысяче франков, за которые, на самом деле, нужно было уплачивать лишь по 250 франков и которые должны были приносить ежегодный доход в 50 франков, что составляло 20% на капитал. Этот заем кое-что дал для расширения деятельности «семейства». Один Анфантен, истратив сверх 14 000 франков еще 9000, внес на общее дело впоследствии новых 77 000.

Были и другие лица, которые истратили кто полтораста, кто 100 000, кто тридцать или двадцать тысяч. В общей сложности, сумму всего собранного и истраченного сен-симонистами с осени 1830 по осень 1832 г. определяют в 900 000 и даже в 1 млн франков. Западного фонда не было; тратились не проценты, а сам капитал. При этом дела в производительных ассоциациях шли дурно. Между рабочими, которые далеко не проникались воззрениями сен-симонистов, и руководителями новых ассоциаций происходили пререкания, и многие рабочие, недовольные своими руководителями, уходили прочь. Но вожди движения верили в свой успех. Большие суммы денег, затраченных на жизнь самого «семейства», на пропаганду учения, на устройство мастерских, позволили сен-симонистам одно время действительно пользоваться известным внешним успехом. Но в будущем «семейству» грозило несомненное разорение.

В самом «семействе» опять произошли раздоры. На этот раз ссора была между Анфантенем и Родригом. Хотя последний добровольно отказался еще раньше от главенства в пользу Базара и Анфантена, тем не менее продолжал пользоваться особым нравственным авторитетом в качестве первого и непосредственного ученика и настоящего преемника Сен-Симона. Сам Анфантен получил свою власть из рук Родрига. Рано или поздно неопределенные отношения между этими двумя авторитетами должны были привести к ссоре при первом серьезном столкновении. Раздор и на этот раз был вызван разногласием по вопросу об отношениях между полами. Родриг стал находить учение Анфантена безнравственным, Анфантен же обвинял Родрига в том, что он не сумел освободиться от ига старой семьи. Дело кончилось удалением Родрига. Хотя за ним из «семейства» никто и не ушел, но выход его не мог не отразиться на «семействе». Родриг заправлял всеми денежными делами «семейства» и занимался в данный момент реализацией упомянутого займа. Теперь это дело остановилось. Анфантену пришлось отказаться от издания журнала, от найма зал для проповеди и увеселения, даже от дорогого стоившей парижской квартиры «семейства». Недалеко от Парижа, в Менильмонтане, у него был большой дом с садом: сюда теперь и было переведено «семейство», жизнь его здесь была устроена на новых началах. Праздники были прекращены, прислуга распущена, члены «семейства» разделили между собой занятия и работы по дому и саду, собираясь вместе к обеду, во время которого они пели молитвы и слушали проповеди своего «отца». Для членов общины Анфантен даже придумал особый костюм, состоявший из красной фуражки, короткого синего камзола и белых панталон. Прическа у всех должна была быть тоже одинаковая — длинные волосы до плеч. Станный образ жизни «семейства» обратил на него внимание соседей; иные из них стали даже приходить посмотреть, как сен-симонисты сидели за столом, или послушать пение их религиозных гимнов. В этом уединении сен-симонисты под ру-

ководством Анфантена продолжали разработку догматов своей религии. Написана была «Новая книга», состоявшая из катехизиса и «Книги Бытия», — смесь разного рода религиозных и моральных, научных и фантастических воззрений. (Это произведение сен-симонистов осталось ненапечатанным.) И здесь община, несмотря на довольно скромный образ жизни, в сущности, продолжала идти к полному разорению. Правда, все должны были работать, но главная работа была совершенно непроизводительная: сажали, поливали, подчищали деревья в саду, чистили и проводили новые дорожки, усыпали их песком и т. п. Но самый тяжелый удар «семейству» был нанесен уголовным процессом, который был начат против сен-симонистов прокурорской властью, обвинявшей их в том, что они образовали противозаконное общество и проповедуют безнравственное учение.

В свое время этот процесс наделал очень много шума. Это было одно из наиболее замечательных событий первых лет июльской монархии и важным моментом в истории самого сен-симонизма. На суде они держали себя как настоящие сектанты, и во всем продолжали слушаться Анфантена, не переставая называть его отцом. Когда их хотели привести к присяге, они отказались повиноваться председателю, потому что Анфантен запретил им присягать. Сам глава секты заявил в ответ на вопросы председателя, что он называет себя «отцом человечества» и «живым законом». Он вздумал даже испытывать силу своего взгляда над судьями и присяжными, пристально и упорно устремляя на них свои взоры. В свое оправдание подсудимые указывали на то, что их общество имеет религиозный характер и что потому, пользуясь свободой совести, они не совершали никакого противозаконного деяния, собираясь вместе для удовлетворения своих религиозных потребностей. Возражая на второй пункт обвинения, они сами произносили обвинительные речи против дурного устройства общества как главной причины целого ряда безнравственных явлений. В частности, сен-симонистам поставлено было в вину, что, по их учению, жреческой паре предоставлялись весьма широкие права над взаимными отношениями между отдельными супругами в их общине. Прокурор даже сравнил эти права со знаменитым в Средние века «правом сеньора» (*jus primae noctis*¹). Сен-симонисты не отрицали, что предоставляют жреческой паре особые права, и только старались оправдать свое учение на этот счет. Суд приговорил Анфантена с двумя его товарищами к тюремному заключению на год и к 100 франкам штрафа с каждого, а Родрига, который тоже был привлечен к суду, и еще одного сен-симониста — к одному штрафу по 50 франков. После этого процесса община сен-симонистов продолжала существовать очень недолго. Сначала ее члены страшно бедствовали и готовы даже были работать на соседних виноградниках за одно лишь дневное пропитание,

¹ Право первой ночи (*лат.*). — *Прим. ред.*

а потом они мало-помалу разошлись в разные стороны. По истечении срока тюремного заключения Анфантен с немногими наиболее верными приверженцами сделал попытку устройства новой общины, на этот раз в Египте, но и эта община просуществовала только два года. После таких неудач сен-симонизму уже трудно было возродиться; его приверженцы стали даже перекладывать на сторону фурьеризма.

В описанном движении приняли участие главным образом обеспеченные люди, среди которых особенно много было студентов Политехнической школы, но люди, мало знакомые с жизнью, еще менее знакомые с философией и общественными науками. Сен-симонизм казался им новым религиозным откровением, долженствующим улучшить быт «самого многочисленного и самого бедного класса народа». Вместе с этим они думали, что стоит только иметь добрую волю, и легко будет осуществить идеальное общество, первообразом которого должно было быть их «семейство». В их попытках заниматься физическим трудом было гораздо больше прихоти и забавы, чем серьезного дела. Ни один настоящий рабочий не был допущен в состав этой общины, да и в ней самой притом, особенно на первых порах, все время проходило преимущественно в разговорах и увеселениях. Мало-помалу бывшие члены сен-симонистской общины стали совершенно отрешаться от своего бывшего увлечения. Правда, некоторые из них, как, например, Пьер Леру, продолжали говорить и писать в духе религиозно-мистического социализма, но другие сделались учеными, писателями, журналистами, чиновниками, банкирами, инженерами, адвокатами, фабрикантами и т. п. Сам Анфантен впоследствии занимал должность почтмейстера в одном небольшом городе. Только в 1848 г. он выступил было снова с проповедью своего учения в газете «Кредит», но на этот раз не имел уже решительно никакого успеха.

Параллельно с движением сен-симонистов развивалось движение среди последователей Фурье. Еще за несколько месяцев до взрыва Июльской революции Фурье обращался к тогдашнему реакционному правительству Франции с мемуаром, заключавшим в себе проект общественной реорганизации Франции на началах, лежавших в основании его учения. Революция окрылила его надежды, и он с подобного же рода предложениями стал обращаться к наиболее видным деятелям нового режима — к Лафитту, к Казимиру Перье и др. Когда с этой стороны Фурье не получил ожидаемого, он стал искать сближения с сен-симонистами и даже предлагал Анфантену соединиться вместе для общей цели переустройства вселенной на новых началах. Анфантен отверг это предложение, и тогда между обеими школами произошел полный разрыв. В 1831 г. Фурье даже издал брошюру под заглавием «Ловушки и шарлатанство сект Сен-Симона и Оуэна». В следующем 1832 г. фурьеристы начали издавать для пропаганды своих принципов собственный журнал «Промышленная реформа, или Фалан-

стер». Внутреннее разложение сен-симонизма и постигшая его катастрофа фурьеризму принесли только пользу, так как многие последователи первого учения один за другим стали переходить на сторону Фурье. Нашлись и среди сторонников этого реформатора довольно богатые люди, которые готовы были жертвовать большие суммы ради торжества новой общественной системы. Один член палаты депутатов, Бодэ-Дюлари, человек весьма состоятельный, отказался от своего звания, чтобы заняться исключительно распространением нового учения, и принял участие в учреждении акционерной компании для образования капитала в 1,2 млн франков, который был необходим для устройства фаланстера. Решено было немедленно основать таковой верстах в шестидесяти от Парижа на земле, которая по очень дешевой расценке была отдана за акции упомянутым Бодэ-Дюлари и братьями Деве. Приступили даже к работам, но вскоре дело остановилось — за недостатком средств, а главное — вследствие крайней непрактичности распорядителей всего предприятия. Были воздвигнуты монументальные постройки, стали разводить дорогие экзотические растения и не в состоянии были довести дело до конца. Эта неудача заставила некоторых фурьеристов покинуть своего учителя; другие страшно приуныли и опустили руки, а издание журнала прекратилось. Фурье продолжал, однако, надеяться, что к нему придет на помощь какой-нибудь магнат, который даст необходимые средства, и не переставал время от времени издавать брошюры с изложением своих идей. Подобно Сен-Симону, он страшно бедствовал в последние годы своей жизни, — одно время вынужденный добывать средства к существованию простой перепиской. Его системе, несомненно, грозила судьба сен-симонизма, но от этой участи учение Фурье было спасено одним из наиболее энергичных его учеников, Виктором Консидераном, который примкнул к нему еще во второй половине двадцатых годов, принимал затем участие в неудачной попытке устроить фаланстер, но после крушения этой затеи не упал духом и даже сумел ободрить своих товарищей. Еще при жизни Фурье Консидеран, относившийся к своему учителю с трогательной любовью, сделался как бы вторым главой школы. Важно было и то, что сам Фурье писал крайне тяжело, и собственные его сочинения были плохим орудием пропаганды. Наоборот, Консидеран обладал литературным талантом, и его книга «*La destine sociale*»¹ привлекла к фурьеризму много новых последователей, тем более что, излагая систему своего учителя, Консидеран устранил из нее все, что в этой системе способно было вызывать насмешки. Первый том этой книги вышел в год смерти Фурье (1837 г.), второй — в следующем году.

Консидеран по своей профессии был военный инженер. Познакомившись с Фурье, он оставил свою службу, чтобы целиком посвятить себя про-

¹ «Социальное предназначение» (фр.). — Прим. ред.

паганде нового учения. В 1835 г. он издал «Рассуждение об архитектонике», где с точки зрения инженера защищал взгляды своего учителя относительно устройства фаланстера. В следующем году он опубликовал брошюру «Разгром политики», где проводил ту мысль, что чисто политические реформы не могут принести никакой пользы обществу. За главным трудом Консидерана следовал целый ряд новых брошюр (в одной из них он сильно вооружился против железных дорог). В 1836 г. он начал издавать журнал «Фаланга», который в начале сороковых годов превратился в ежедневное издание. Вообще тридцатые и сороковые годы были эпохой сильного развития фурьеристической литературы: оно указывало на то, что у Фурье и Консидерана было довольно значительное число последователей. В школе Фурье были свои поэты и художники, сочинявшие песни, рисовавшие заманчивые картины жизни в фаланстере, изображавшие в сатирическом виде современную цивилизацию. И в этой школе тоже произошел своего рода раскол, причем фурьеристы-диссиденты также имели свою литературу.

Сен-симонисты и фурьеристы нашли последователей и за границами Франции. Уже в тридцатых годах о сен-симонизме писали в Италии и Германии, а в следующем десятилетии довольно значительное количество лиц в разных странах Европы и даже Америки увлекалось фурьеризмом.

Сен-симонизм и фурьеризм вербовали своих последователей среди интеллигентной буржуазии. Внутреннее развитие сен-симонизма совершалось, собственно говоря, в смысле не сближения с пролетариатом, а отдаления от него. Еще Базар, бывший карбонарий, участвовавший когда-то в заговорах против Бурбонов, старался выдвинуть на первый план экономическую сторону доктрины и дать ей дальнейшее развитие, но должен был уступить главенство Анфантену, более всего интересовавшемуся религиозной стороной нового учения и разрабатывавшему моральную его сторону в направлении грубой «реабилитации плоти». Кроме Базара, откололся от секты и Бюшез, который тоже более всего думал об экономической стороне доктрины. Как раз в те июньские дни 1832 г., когда на улицах Парижа кипел бой против буржуазной монархии, Анфантен увел свое «семейство» в менильмонтанское уединение. После процесса одни из сен-симонистов отпали от него, чтобы, отдав долг юношескому увлечению, вполне остепениться и даже заняться банкирскими делами и разными промышленными предприятиями, другие сделали фурьеристами, чтобы совершить несколько неудачных опытов основания фаланстера опять-таки не для людей из рабочего класса. Впоследствии, когда во Франции возникло политическое движение в пользу парламентской реформы, признанный глава фурьеристов, Консидеран, относился к этому движению несочувственно, находя его излишним¹. Но идейное движение, вызванное сен-симонизмом и фурьериз-

¹ Ср. аналогичное явление в Англии (см. выше).

мом, не прекратилось с неудачей, постигшей на практике оба эти учения. Тридцатые и сороковые годы во Франции были особенно богаты разными социальными учениями, получившими широкое распространение даже за ее пределами. Некоторые из них даже стоят в прямой связи с рассмотренными проявлениями утопического социализма.

К числу сен-симонистов, отделившихся от них еще до катастрофы, постигшей «семейство», принадлежали, между прочим, два писателя, которые вскоре выступили с собственными социальными учениями, отразившими на себе влияние сен-симонизма. Один из них был Бюшез, другой — Леру.

Бюшез до своего сближения с сен-симонистами (уже после смерти основателя новой религии) принимал, подобно Базару, деятельное участие в тайной политической агитации, которая происходила во Франции при Людовике XVIII. Впрочем, принадлежность его к сен-симонизму продолжалась сравнительно недолго. Когда школа, видимо, стала превращаться в настоящую религиозную секту, Бюшез заявил, что никаких новых догматов веры не нужно. Пламенный католик с юных лет, он еще сильнее утвердился теперь в своих верованиях, хотя, собственно говоря, его католицизм имел в высшей степени своеобразный характер. В 1831 г. он начал издавать журнал «Европеец», в котором пропагандировал свои религиозные и социальные идеи. Через два года он выпустил в свет «Введение в науку истории», большой трактат историко-философского содержания в мистическом духе, и начал вместе с одним своим единомышленником Ру-Лавернем знаменитую «Парламентарную историю Французской революции». Мы еще будем говорить более подробно об этом капитальном издании в другой связи, а здесь отметим лишь коротко его общий взгляд на революцию. Бюшез доказывал именно полное внутреннее сродство между христианством, понимаемым в католическом духе, и Французской революцией, понятой с чисто якобинской точки зрения. Заявив себя противником индивидуализма религиозного и политического, он не мог, конечно, не быть в то же самое время и противником личного интереса и свободной конкуренции в экономической сфере. Мало того, он старается доказать, что индивидуализм, — под которым он разумеет преимущественно эгоизм, — никогда не в состоянии был «изменить хотя бы одну йоту в делах этого мира»; всякий прогресс, по его учению, совершается «массами, человечеством, нацией, а не индивидуумом». В одном существенном пункте Бюшез совершенно расходился, однако, с сен-симонистами, хотя они точно так же были принципиальными противниками индивидуальной свободы. Сен-симонисты стремились к более справедливому распределению благ мира, исходя из вполне материального представления о человеческом счастье: «реабилитация плоти», отвергавшаяся христианством, составляет один из наиболее важных пунктов их учения. Наоборот, этика Бюшеза имеет строго аскетический характер. Он прославляет добровольную бедность, он требует от каждого самоотречения,

самопожертвования во имя великой и верховной цели, служить которой должны отдельные лица, целые нации, все человечество. Этот аскетизм Бюшеза вполне соответствует его католическому настроению. Хотя он и держал себя далеко от представителей официальной церкви, себя он постоянно называл католиком, а его ближайший сотрудник по изданию «Парламентарной истории Французской революции» и многие ученики были даже настоящими, правочерными католиками. Особого распространения учение Бюшеза не получило. Некоторые его идеи оказали только значительное влияние на социальные и исторические воззрения Луи Блана. Кроме того, Бюшез повлиял и на рабочее движение во Франции. У него были постоянные связи в рабочей среде. В 1832 г. под его влиянием устроилось во Франции производительное товарищество столяров (*ouvriers menuisiers*), а в 1834 г. ему удалось организовать во Франции производительную ассоциацию из нескольких золотых дел мастеров (*bijoutiers en doré*). Один из учеников Бюшеза, работник Карбон, в 1840 г. начал издавать газету «Atelier»¹, в которой проповедовалась необходимость основания кооперативных товариществ. В числе сотрудников этой газеты был столяр Пердигье, и его Жорж Санд сделала героем одного из своих романов («*Le compagnon d'un tour de France*»²). Бюшез и его последователи, между прочим, думали, что для содействия эмансипации рабочего класса промышленные товарищества должны отделять часть прибыли для образования особого неделимого капитала всех рабочих.

Родственное этому направление развивал в своих сочинениях и Пьер Леру. Он также примкнул сначала к сен-симонистам, но оставил их во время одного из раздоров, которые между ними происходили. Вместе с Рейно, другим сен-симонистом, принимавшим ранее весьма деятельное участие в пропаганде нового учения, он основал в 1835 г. «Новую энциклопедию», где и начал излагать свои социальные идеи. Главными его сочинениями были: «Опыт о равенстве» (1838 г.), «О человечестве, его принципе и его будущем» (главный труд; 1840 г.), «Опровержение эклектизма» (1841 г.), «Рассмотрение современного состояния общества и человеческого ума» (1841 г.), «О христианстве и его демократическом происхождении» (1848 г.) и др. В 1845 г. с пятидесятью двумя своими последователями Леру задумал организовать на новых началах человеческой солидарности земледельческую общину в департаменте Крезы, на что получил, между прочим, довольно значительную сумму денег от Жорж Санд, своей большой приятельницы и поклонницы. Подобно Бюшезу, Леру выступил с антииндивидуалистической проповедью. Личность, всем обязанная обществу, должна жить исключительно для человечества. Стоит только стать на эту точку зрения, и в обществе не будет более погони за личной выгодой. Индивиду-

¹ «Мастерская» (фр.). — Прим. ред.

² «Странствующий подмастерье» (фр.). — Прим. ред.

лизм в экономическом отношении приводит к прославлению капитала, научающему лишь презирать бедность, да к мальтузианству. Свое учение Леру называл религией человечества, и она, по его представлению, должна прийти на смену христианству. Есть принцип более высокий, чем христианское милосердие, — это принцип солидарности, существующей во всем человечестве. Из последнего принципа Леру делал выводы, касавшиеся загробной жизни, и даже существа Бога. Между прочим, именно ему принадлежит и само слово «социализм», которое им впервые было употреблено в одной статье 1834 г. Совершенно так же, как Бюшез, Леру интересовался экономическими вопросами более с моральной и религиозной, нежели с научной точки зрения. Современных ему экономистов он прямо называл безбожниками. Его мистицизм доходил до того, что он искренне верил в переселение душ и на учении о метемпсихозе основывал свое отрицание наследства. «Зачем, — спрашивал он, — передавать имущество детям, раз в тела последних переселились души людей, совершенно чуждых владельцу этого имущества, и раз его собственная душа может перейти в тело ребенка, имеющего родиться, быть может, в самой бедной семье? Не лучше ли сделать так, чтобы имущество каждого человека поступало в пользу всего общества, дабы и то семейство, в котором человеку предстоит родиться вновь, пользовалось одинаковым с другими материальным благополучием?» Идеи Леру были вообще слишком своеобразны, слишком фантастичны и вместе с этим слишком противоречивы, чтобы его проповедь могла иметь какой-либо успех, кроме успеха чисто литературного.

Гораздо более важное значение получила коммунистическая проповедь Кабе. Его, пожалуй, с большим правом, чем какого-либо из тогдашних социальных реформаторов, можно назвать утопистом; он строил свой общественный идеал путем чистой фантазии, руководимый идеями равенства и братства, из коих он выводил необходимость общности имуществ как единственного залога людского счастья. Подобно другим современным реформаторам, он полагал, что для осуществления этого идеала нужна одна мирная пропаганда. Но у этого фантазера была еще политическая жилка, была якобинская закваска, и он требовал политического господства демократии как переходной ступени к идеальному устройству общества. Поэтому он говорил рабочим о необходимости избирательной реформы. Пользуясь громадной популярностью среди пролетариата, он особенно сильно влиял на развитие в нем классового сознания.

Родившись за десять лет до Великой французской революции, Кабе в самом раннем возрасте проникся республиканскими идеями. Сделавшись незадолго до реставрации Бурбонов адвокатом, он весьма часто выступал в качестве защитника лиц, подвергавшихся политическим преследованиям. Это сблизило его с вождями либеральной оппозиции, в особенности с Лафайетом. Весьма естественно, что при таком настроении он должен

был принять деятельное участие в июльском перевороте. Между прочим, он сильно настаивал перед герцогом Орлеанским на необходимости созвать учредительное собрание для выработки новой конституции. Герцог Орлеанский успокаивал его неопределенными обещаниями и, сделавшись королем, старался не отталкивать его от себя. Кабе получил даже место генерального контролера в Корсике, но в том же самом году вышел в отставку, увидевши, что новое правительство вступило на путь реакции. С этого момента Кабе сделался одним из самых рьяных противников июльской монархии. Свое оппозиционное направление он выразил в небольшом сочинении под заглавием «Революция 1830 г. и теперешнее положение»: это был целый обвинительный акт против нового правительства, которое, по его словам, обмануло народ и изменило своим собственным принципам. Памфлет навлек на него уголовное преследование, но присяжные его оправдали. На суд Кабе явился в сопровождении шестидесяти своих товарищей по палате депутатов, в которой он занял место в июле 1831 г. В палате Кабе также при каждом удобном случае порицал правительство, в особенности за его поведение в польском вопросе. В 1833 г. он стал издавать еженедельную газету «Le Populaire»¹, в которой равным образом нападал на тогдашнюю политику. Одна из статей, помещенных в этой газете, сделалась причиной нового процесса, возбужденного против него правительством, и на этот раз суд его приговорил к двухлетнему тюремному заключению. Кабе хотел подвергнуться этому приговору, но его политические единомышленники настояли на том, чтобы он уехал за границу и оставался там до тех пор, пока не истечет срок пятилетней давности, после которого он мог бы безопасно вернуться на родину (1834 г.). Эти пять лет Кабе провел сначала в Брюсселе, а затем, когда его оттуда изгнали, в Лондоне. На чужбине ему пришлось сильно бедствовать, что не мешало ему продолжать литературную борьбу за свои политические идеи. Первоначально Кабе стоял на точке зрения народовластия и выступал в качестве чисто политического демократа. Решительное влияние на его общественное мировоззрение оказало чтение «Утопии» Томаса Мора. Он сам признаётся в своем главном сочинении, что эта книга произвела на него весьма сильное впечатление. До того времени, по его словам, он не удосужился ближе познакомиться с учением коммунистов и вполне разделял общее мнение, что осуществить их принципы невозможно. «Я долго, — говорил он, — размышлял об этих принципах и, рассматривая различные общественные вопросы, пришел к тому убеждению, что осуществить эту систему не только можно, но и легко». От Мора Кабе перешел к другим писателям коммунистического направления — к Платону, Кампанелле, Морелли и Мабли. Тогда же он познакомился с сочинениями современных социалистов.

¹ «Народная» (фр.). — Прим. ред.

В 1839 г. Кабе возвратился во Францию, а в следующем году издал знаменитое «Путешествие в Икарию, философский и социальный роман». На первом издании он не решился поставить своего имени, боясь преследований со стороны правительства: сочинение было издано, как будто бы перевод с английского. Тогда же и в следующие годы Кабе издал еще несколько книг и брошюр, написанных в коммунистическом духе, и начал издавать ежемесячный журнал под старым названием «Le Populaire». «Путешествие в Икарию» и вообще произведения Кабе имели необычайный успех. Рабочие в Париже и других больших городах Франции буквально зачитывались фантастическим романом, и целые десятки тысяч делали последователями Кабе. Один из сторонников «икаризма» утверждает даже, будто число лиц, принявших учение Кабе, дошло до 400 000 человек. Икарийцы появились и в других странах, даже в Америке. Такой успех заставил Кабе подумать об осуществлении своей системы на практике, для чего он вошел в сношения с Оуэном. Ему удалось выхлопотать в Северной Америке миллион акров пустопорожней земли в Техасе для основания новой колонии. В Париже был основан особый икарийский комитет, который должен был снаряжать и отправлять партии колонистов. Число лиц, выразивших желание переселиться в Америку, было громадное. Вся пресса заговорила об этом предприятии, и у него оказалось очень много благожелателей. Разумеется, Кабе сам стоял во главе всего дела, и от каждого, желавшего переселиться в Америку, он брал подписку в том, что его будут признавать беспрекословно за единственного главного распорядителя. Первая партия икарийцев отправилась в дорогу 3 февраля 1848 г., всего-навсего за три недели до революции, результатом которой было провозглашение во Франции республики. Переворот этот был настоящей неожиданностью. Многие из собиравшихся эмигрировать в Америку стали говорить, что гораздо разумнее будет остаться на родине, чтобы придать совершившейся революции социальный характер и осуществить коммунистическую систему в широких размерах. Сам Кабе разделял такой же взгляд. Те, которые успели уехать, узнав о провозглашении республики, стали сожалеть, что уехали. Притом на чужбине переселенцам, почти исключительно городским рабочим, нужно было заняться непривычным для них земледельческим трудом в совершенно некультурной местности, при крайне неблагоприятных санитарных условиях. Икарийцы стали болеть лихорадкой, некоторые из них умерли, поехавший с ними доктор сошел с ума. Грустные вести, приходившие из Америки, начали попадать в печать, многие эмигранты вернулись на родину и впоследствии возбудили против Кабе процесс, обвиняя его в обманном присвоении себе их денег. Между тем Кабе сначала оставался в Париже, все еще надеясь на то, что совершившейся революцией можно будет воспользоваться в социальных целях. Он уехал в Америку только в 1849 г., а в его отсутствие над ним со-

стоялся суд, приговоривший его к тюремному заключению на два года за мошенничество. Кабе решился через некоторое время возвратиться в Париж для того, чтобы оправдать себя от возведенного на него обвинения перед общественным мнением и перед апелляционным судом. Это ему вполне удалось, к нему вернулась его прежняя популярность, и он думал о том, чтобы играть видную роль, когда через несколько месяцев после его судебного оправдания произошел государственный переворот 2 декабря 1851 г., заставивший его снова покинуть отечество.

В конце концов, Кабе в первую же свою поездку в Америку все-таки успел устроить колонию. В штате Иллинойс, в местности, называемой Новоо, было небольшое поселение мормонов, которые, преследуемые соседями, оказались вынужденными оставить свое насиженное место, чтобы переселиться куда-нибудь, где никто не стал бы более мешать им жить по своим уставам. Они продавали свои жилища, хозяйственные постройки и поля, засеянные хлебом, за сравнительно очень дешевую цену. Кабе решился купить это имущество и поселил в Новоо около 280 техасских эмигрантов. С самого же начала в новой колонии начались раздоры, и многие икарийцы стали посылать во Францию протесты против образа действий Кабе, стоявшего во главе колонии. Большинство, однако, продолжало держать его сторону, и к прежним колонистам присоединялись даже новые. Хозяйство здесь шло очень недурно, икарийцы благоденствовали, стали издавать свою газету и устроили небольшой театр. Прикупались даже новые земли. Но все это было непрочно. Для своей колонии Кабе составил новую религию, далеко не отличавшуюся терпимостью: католики, методисты и атеисты назывались бесчестными или слепыми даже в официальном журнале колонии; их презирали, над ними смеялись. Между тем число членов колонии постепенно увеличивалось, и вновь прибывавшие икарийцы очень часто не желали повиноваться установленным порядкам, тем более что Кабе в целях моральной дисциплины вводил разные тягостные правила: разрешал мясную пищу только в известные дни, запрещал курить табак и т. п. Правда, Кабе отказался от своей диктатуры, передав власть народному собранию, но последнее, пока большинство было на стороне Кабе, лишь санкционировало волю основателя колонии. Когда Кабе увидел, однако, что начинает оставаться в меньшинстве, он предложил икарийцам изменить прежнее устройство, дабы на будущее время власть принадлежала президенту, избираемому на четыре года. Это предложение, поддержанное значительным большинством, вызвало сильные раздоры, продолжавшиеся около целого года, дело окончилось тем, что Кабе и около ста семидесяти икарийцев должны были покинуть Новоо. Он не мог этого пережить и в том же году (1856 г.) умер. Оставшиеся ему верными последователи основали новую колонию, которая продолжала существовать до 1864 г. Старая община оказалась более прочной, но, так

сказать, постепенно таяла. В 1856 г. в ней было до 300 человек, а в конце семидесятых (на новом уже месте) лишь около 75.

Главное сочинение Кабе «Путешествие в Икарию», которое он сам называл «философским и социальным романом», представляет из себя, с одной стороны, заманчивую картину коммунистического строя общества, с другой — попытку принципиального обоснования начал коммунизма, но в изложение введен и чисто романический элемент. Фабула этого произведения заключается в том, что некий лорд Керисдаль, которого Кабе будто бы встретил у Лафайета, совершил путешествие в новую, вполне неизвестную страну Икарию, узнавши от Кабе о замечательных порядках, господствовавших в этой стране. Его путеводителем в Икарии сделался один из местных жителей, молодой студент Вальмор, изучавший философию и богословие и тем приготавливавший себя к занятию священнического сана. Лорд Керисдаль основательно знакомится с общественными порядками новой страны, а один икарийский ученый, Динар, рассказывает ему и предыдущую историю своей родины. На самом деле, эта история Икарии представляет собой не что иное, как повторение истории европейских государств, начиная с «великого переселения народов»: народ был в постоянном угнетении, время от времени делал попытки свергнуть с себя тяготевшее над ним иго, но всегда был побеждаем и подвергаем новому угнетению, хотя нередко менял форму правления, так как новые правители оказывались не лучше старых, да и старые, случалось, снова возвращались к власти. В 1782 г. народ низверг последних деспотов, но на этот раз имел великое счастье найти в лице Икара такого диктатора, который действительно желал благоденствия и свободы для своих соотечественников. В честь этого диктатора жители и дали своей стране, вместо прежнего ее имени, название Икария. Любопытно, что период времени, предшествовавший этому перевороту, Кабе характеризует некоторыми чертами, в коих читатели его книги усматривали намеки на современную им эпоху июльской монархии. Интересно также, что переход к новому общественному строю Кабе представлял себе как результат революции и установления диктатуры, которая должна была дать государству новое устройство. Для характеристики социальных взглядов Кабе важно и то, что он рассказывает о самом Икаре. Этот необыкновенный человек, еще в раннем детстве начавший посредством чтения просвещать свой ум, вывел свою идею о всеобщем братстве между людьми первоначально из первых слов молитвы Господней «Отче наш». Сделавшись священником, он стал с большим красноречием проповедовать идеи коммунизма, подкрепляя их авторитетом заповедей Христа. Духовные власти запретили ему проповедь; тогда Икар стал излагать свои идеи в сочинениях, в коих, между прочим, доказывал, что Христос был самым смелым революционером, какой когда-либо появлялся на земле. Понятно, что и со стороны светских властей Икар

должен был подвергнуться преследованию и спастись от смертной казни лишь благодаря тому, что половина судей признала его совершенно невменяемым, как человека, несомненно, сумасшедшего. Смелого реформатора оставили тогда в покое, а между тем около этого времени умер в Ост-Индии страшно богатый дядя Икара, оставив своему племяннику громадное наследство. Это позволило ему еще решительнее работать для распространения коммунистических идей в народе. Мало-помалу он сделался идолом последнего, и когда чаша страданий народных переполнилась, он первый подал сигнал к восстанию. Благодарный народ дал ему неограниченную власть над собой и доверил ему устройство своей будущей судьбы. Опять-таки для характеристики Кабе весьма важно, что, по его рассказу, Икар начал свою реформу общества с установления новой религии. В начале его правления, по его же инициативе, был созван собор из представителей священников и профессоров, философов и моралистов, ученых и писателей: целью этого собрания, продолжавшегося четыре года, была выработка новой религии. Наиболее важные вопросы решались этим собором большей частью единогласно: так, например, в утвердительном смысле посредством вставания и сидения был решен вопрос о существовании Бога. Другие вопросы решались большинством голосов, и такие решения тоже получали законную силу. Любопытно также, что и народом новая религия была принята совершенно единодушно. Далее, по представлению Кабе, общность имуществ и полное равенство граждан были введены в государстве не сразу: мудрый Икар нашел нужным установить переходный период в пятьдесят лет, в течение которого современное устройство общества могло бы постепенно замениться устройством коммунистическим, и в год смерти Икара уже весьма значительная часть его соотечественников устроилась на новых началах. Лорд Керисдаль посетил Икарию через три года по истечении переходных пятидесяти лет и уже мог наблюдать не только полное осуществление коммунистических принципов, но и поразительные результаты устройства общества на этих началах: в 1835 г. Икария была страной удивительного промышленного прогресса и небывалого материального благосостояния народа.

Понятно, что самое главное в книге Кабе, это — изображение икарийского устройства. Верховная власть в Икарии принадлежит народу, который, однако, пользуется своими правами через представителей и ни под каким видом не соединяет в одних и тех же руках власти законодательной и исполнительной. Только конституция государства и самые важные законы должны одобряться непосредственно всем народом. Отдельные провинции и общины пользуются широким самоуправлением. Между гражданами господствует полнейшее равенство. Таково устройство икарийского государства. Народное хозяйство икарийцев организовано строго коммунистически. Вся земля со всеми минеральными богатствами, на-

ходящимися под ее поверхностью, и со всем тем, что находится над поверхностью, представляет собою единое владение, принадлежащее всем сообща. Не только все постройки, воздвигнутые на икарийской территории, но и все движимое имущество, включая сюда как орудия производства, так и продукты добывающей и обрабатывающей промышленности, принадлежат сообща всем. Вместе с этим сообща происходит эксплуатация всех природных богатств страны, и сообща же икарийцы пользуются всеми получаемыми продуктами. Каждый икариец имеет от общества помещение с мебелью, одежду и стол, равно как от общества же каждый получает одинаковое для всех элементарное образование и образование профессиональное по разным специальностям. Через своих доверенных лиц сама община заранее определяет на целый год, какие предметы будут ей необходимы, и распределяет между отдельными гражданами, что каждый из них должен делать. С этой точки зрения каждый гражданин есть вместе с тем национальный рабочий — мужчина от 18 до 65 лет, женщина от 18 до 50. Труд на пользу общины Кабе старается представить в самом привлекательном виде, прибегая для этого к предположению, что наиболее тяжелые, опасные и неприятные работы производятся самыми усовершенствованными машинами, и что все виды труда пользуются одинаковым уважением в обществе. Праздности и лености, пьянства и воровства у икарийцев не существует. Рабочее время сокращается до семи, и даже до шести часов в сутки. Кабе весьма подробно и притом самыми заманчивыми чертами описывает устройство икарийских мастерских, их изящество и роскошь, веселое настроение, господствующее между рабочими, даже красивые костюмы, в которые одеты работающие женщины и девушки. Но участие граждан в общих работах весьма строго и до мельчайших подробностей определяется законом. Например, закон требует, чтобы в течение первых двух часов все работы производились молча, в следующие два часа разрешалось разговаривать с соседями и только в последние два часа дозволено было петь во время работы в одиночку или хором. Законами же в Икарии определяются и разные подробности обыденной жизни. Домá, а в них квартиры, предназначенные для отдельных семейств, построены по одному плану, но эти семейства сами представляют из себя небольшие общины: женатые сыновья не отделяются от своих родителей и продолжают жить вместе. Община в лице своих ученых устанавливает, какими вещами и в каком количестве должны питаться граждане. Закон определяет даже, сколько раз в день, когда и где следует принимать пищу, сколько времени сидеть за столом и даже какие кушанья в каком порядке есть. Икарийцам предписывалась и общая религия, довольно неопределенная в своих догматах и весьма, вместе с тем, близкая к христианской морали. Икариец должен сдерживать свои страсти, и в данном случае к нему на помощь могла прийти поддержка извне — со стороны жреца или жрицы.

Брачные отношения икарийцев Кабе рисует вполне в согласии с христианским идеалом.

Свои картины икарийского быта Кабе постоянно сопровождает краткими положениями, в которых излагает свои моральные и социальные принципы, тут же их разясняя, когда это казалось ему нужным, но в большинстве случаев оставляя эти принципы без теоретического обоснования, т. е. выставляя их чисто догматически: его принципы, по-видимому, казались ему нравственными и общественными истинами, не требующими доказательств и внутренней своей очевидностью способными проложить себе дорогу во всеобщее сознание. Исключение он делает только для основного своего принципа, да и то, в данном случае, особую силу он, по-видимому, сам полагал в полемической части своих рассуждений о коммунизме: таким характером отличается именно эпизод, имеющий своим содержанием диспут между ученым икарийцем Динаром и одним иностранцем, посетившим Икарию, но вздумавшим доказывать преимущества частной собственности. Кабе прибегал к разным аргументам с целью обоснования главного своего принципа относительно общности имущества, но едва ли не самое важное в его глазах доказательство заключается в том, что коммунистическая организация народного хозяйства, внося единство и планомерность в экономическую жизнь, лучше всего может утилизировать человеческий труд с наибольшей выгодой для общества. Другое соображение Кабе сводится к тому, что природа создала человека существом общественным и что поэтому человек должен жертвовать своей эгоистической свободой во имя общей пользы. Коммунизм принимает у него характер единственно нравственного общественного устройства, поскольку им отрицается частная собственность, учреждение, питающее эгоизм, разрушающее любовь к ближнему и вместе с тем являющееся источником пороков и преступлений. Кабе кажется, что проектируемое им устройство одно способно осуществить истинную свободу. Ему достаточно, что икарийские законы издаются всем народом сообразно с природой и разумом в интересе самого же народа: такие законы, думает он, не могут исполняться иначе, как «всегда с удовольствием и с некоторым чувством гордости». Настоящую индивидуальную свободу или, как выражается Кабе, «слепую страсть к свободе» он считает «ошибкой, пороком и великим злом». Вся жизнь икарийца строго регламентируется общиной. В заслугу коммунизма Кабе даже прямо ставит, что это общественное устройство влечет за собой исчезновение (*fait disparaître*) личного интереса, хотя и оговаривается при этом, что такое исчезновение личного интереса совершается ради слияния его с интересом общины.

Мы нарочно остановились несколько подробнее на икарийском движении как на весьма характерном эпизоде французской общественной жизни времен июльской монархии. В Икарии французский пролетариат

стал видеть свой политический и социальный идеал, и наиболее горячие головы верили в возможность его близкого осуществления. Коммунизм обещал ему равенство, и его последователей не смущала общественная регламентация личной жизни, совершенно убивавшая индивидуальную свободу.

Одновременно с Кабе выступил со своим планом общественной реформы и Луи Блан, которому пришлось потом играть значительную роль в истории революции 1848 г. В сороковых годах он был одним из видных представителей демократической оппозиции против июльского режима и вождей французского социализма.

Луи Блан принадлежал к тому поколению, которому не было еще двадцати лет, когда совершился июльский переворот. Получив среднее образование в одном из провинциальных городов Франции, он очень молодым выступил на литературное поприще с двумя стихотворными поэмами, а затем и с политическими статьями. В 1834 г. он переехал в Париж и здесь скоро начал сотрудничать в газете «Le Bon Sens»¹. Статьи Луи Блана обратили на себя внимание, и Арман Баррел предложил ему также сотрудничать в своей газете «Le National». Несколько позднее и Гodefруа Каваньяк, один из вождей республиканской партии², пригласил его писать в издававшейся им «Реформе». В 1839 г. молодому публицисту удалось уже основать свой собственный орган, которому он дал название «La revue du progrès politique, social et littéraire»³. Все газеты, в которых ранее участвовал Луи Блан, принадлежали к демократическому направлению, но господствующая в них точка зрения была главным образом политическая, хотя уже в них Луи Блан касался и чисто социальных отношений. Наоборот, новая газета с самого начала сделалась органом социальной реформы. В ней впервые появилось и главное публицистическое произведение Луи Блана «Организация труда» (1839 г.), сразу выдвинувшее его вперед как провозвестника нового общественного строя. Впоследствии эта небольшая работа не раз переиздавалась, подвергаясь при этом переделкам. «Организация труда» имела громадный успех среди рабочих. Вскоре после того Луи Блан издал другое сочинение больших размеров, которое произвело сильное впечатление и на буржуазию. Это была знаменитая «История десяти лет» (1830—1840 гг.), т. е. первой половины царствования Людовика-Филиппа. В этом труде Луи Блану удалось воспользоваться весьма многими материалами, остававшимися до него совершенно неизвестными публике. Характерно, что многое Луи Блану было сообщено ненавидевшими июльскую монархию легитимистами, принимавшими его радушно в своих салонах. Июльское правительство подвергалось в этой

¹ Полное название «Здравый смысл народа, газета порядочных людей». — *Прим. ред.*

² Он умер в 1845 г.; в 1848 г. действовал его брат Евгений.

³ «Обзор политического, социального и литературного прогресса» (*фр.*). — *Прим. ред.*

книге весьма суровой и, в общем, очень справедливой критике. В самое короткое время книга выдержала несколько изданий. Такой успех заставил Луи Блана приняться за крупный исторический труд уже по истории Великой революции. Первый том этой истории появился уже в 1846 г., но оканчивать ее Луи Блану пришлось уже в изгнании после декабрьского переворота 1851 г. Занявшись историческими работами, Луи Блан вынужден был прекратить издание собственного органа, но продолжал участвовать в газете Каваньяка. Под его влиянием эта газета приняла мало-помалу определенно социалистический характер. Между прочим, в начале 1848 г., когда было весьма сильно брожение, подготовившее Февральскую революцию, «*La Réforme*»¹ обнародовала свою политическую программу, в которой, собственно говоря, повторялись основные положения «Организации труда». Уже в 1846 г. Луи Блану предлагали занять место в палате депутатов, но тогда он отклонил от себя кандидатуру. При той популярности, какою он пользовался в рабочем классе, при том выдающемся положении, которое он занял в республиканской партии, он, конечно, не мог остаться в тени, когда вспыхнула Февральская революция. Можно даже сказать, что своей «Историей десяти лет» он сильно повредил июльской монархии, а другими своими сочинениями до известной степени определил общий характер и направление самой революции, оживив якобинскую традицию и дав социальному движению определенную программу.

В истории социального движения сороковых годов Луи Блану по справедливости принадлежит видное место, ибо в своих публицистических и исторических сочинениях он выступил, действительно, с определенной идеей. Живя в эпоху обострившейся классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом, в своей «Истории десяти лет» он взглянул на современность именно с точки зрения этой классовой борьбы, распространив такое толкование исторических событий и перемен и на предшествующие десятилетия XIX в. Та же самая мысль, как красная нить, проходит равным образом через всю его «Историю Французской революции». Луи Блан заявляет здесь себя горячим сторонником якобинцев как защитников пролетариата, провозвестников принципа «братства». Наоборот, к жирондистам Луи Блан относится с нескрываемым несочувствием: в них он видит представителей буржуазии, защитников существующего общественного строя и людей, которые поставили на своем знамени «индивидуализм». Определяя свободу, как свободу для всех, как возможность для каждого человека «развиваться по законам своей природы», он в то же время отождествляет ее с властью. Свобода без власти есть пустой звук. Обеспечить за индивидуумом возможность развития может только государство, в котором абстрактное понятие свободы заменяется реальным явлением власти.

¹ «Реформация» (фр.). — Прим. ред.

Из всех писателей XVIII в. Луи Блан выше всего ставит Руссо и из его политических воззрений делает чисто социальные выводы, чтобы в духе этих выводов истолковать и всю политическую доктрину женевого гражданина. То же самое подчинение личности общественному целому, которое характеризует «Общественный договор» Руссо, политическую программу якобинцев и воззрения социальных реформаторов первых десятилетий XIX в., мы встречаем и в учении Луи Блана. У своих непосредственных предшественников он заимствовал всю свою критику системы свободной конкуренции с ее *«laissez faire, laissez passer»* как системы, основанной на частном интересе и приводящей на практике лишь к экономическому неустройству, к крайне неравномерному распределению материального достатка и к прямой нищете наиболее трудящегося класса общества. Все зло, по Луи Блану, заключается в индивидуализме. В нем он готов еще признать силу, которая в свое время была призвана сокрушить господство «авторитета», воплощавшегося в католической церкви и абсолютной монархии, но в его глазах это — сила по существу своему противообщественная и противонравственная. Индивидуализм есть жизненный принцип буржуазии, индустриализм, чисто материальный взгляд на жизнь, есть настоящая религия буржуазии. Современный порядок вещей не только заставляет бедствовать народные массы, но и портит душу народа. Принцип индивидуализма должен уступить место принципу братства, провозвестниками которого Луи Блан считает сектантов времен Реформации, а в XVIII в. — Руссо и якобинцев. В принципе, он, конечно, признает дух исследования, — этот действительный первоисточник развитого индивидуализма, — но на практике он не одобряет «вторжений и отклонений» этого духа. Все мирозерцание Луи Блана проникнуто своего рода моральным идеализмом, принимающим чисто религиозный характер. «Когда мы требуем, — говорит он, — чтобы за всеми было гарантировано право жить посредством труда, мы приветствуем Творца в его творении».

Таковы основные воззрения Луи Блана¹. Каждый имеет право на труд, и для того, чтобы это право осуществлялось в действительности, необходимо возложить на общество обязанность организовать труд в соответствии с таким требованием. В рассмотрении этого вопроса и заключается все содержание «Организации труда» Луи Блана. Уже из того, какое важное значение принадлежало «праву на труд» в революции 1848 г., можно заключить о широком распространении и глубоком влиянии идей Луи Блана во французском обществе сороковых годов. Созданный им план социальной реформы был удобопонятен, казался простым и легко осуществимым. Государство должно было посредством большого национального займа образовать денежный фонд, при помощи которого для главных от-

¹ С его взглядами на историю революции мы познакомимся подробнее еще в следующей главе.

раслей промышленности были бы основаны так называемые «общественные мастерские» (*ateliers sociaux*). Для работы в этих мастерских должны были быть допущены рабочие, стоящие на известном нравственном уровне, и все они за свой труд получали бы совершенно одинаковую плату. На первых порах внутренние распорядки в таких мастерских были бы установлены самим правительством; оно же назначило бы и руководителей для совершающихся в них работ, но по истечении первого года следовало бы самим рабочим предоставить право выбирать своих начальников. Главная задача таких учреждений, по представлению Луи Блана, заключалась в том, чтобы нанести удар всем частным промышленным предприятиям. Будучи принципиальным врагом свободной конкуренции, он думал воспользоваться этой самою конкуренцией для того, чтобы сделать ее в будущем совершенно невозможной. Частные промышленные предприятия должны были постепенно исчезнуть, и вся промышленность имела бы тогда строго социальную организацию. Социальные мастерские одной и той же специальности могли бы уживаться между собой совершенно мирно. Прежнюю конкуренцию заменило бы теперь совпадение усилий. В конце концов, явилась бы и солидарность между различными отраслями промышленности. Важное подспорье для проведения своего плана на практике Луи Блан видел в обязательном и даровом народном образовании: оно имело бы своей целью воспитывать в подрастающих поколениях идеи, чувства и наклонности, какие должен требовать от людей новый общественный строй. Вообще по этой теории государство должно было не только создать новый порядок вещей, но и руководить общественной деятельностью. Луи Блан сам называет государство «высшим регулятором производства» и говорит, что его вмешательство необходимо везде, где только нужно «поддерживать равновесие между правами и обеспечивать интересы». На государство же он возлагает и обязанность «ставить всех граждан в одинаковые условия нравственного, умственного и физического развития». Конечно, оговаривается он, там, где власть на одной стороне, а народ на другой, государство необходимо делается тираническим; но, будучи организовано демократически, государство есть только сам народ, ведущий собственные свои дела через своих уполномоченных, т. е. у государства не может быть интересов, отличных от интересов народа. «Такое государство, — прибавляет Луи Блан, — не может быть господином: оно может быть только слугою или защитником неопытных, слабых, несчастных». Но чтобы государство могло выполнять свое назначение, Луи Блан считал нужным дать ему большую силу, иначе — восстановить в его пользу принцип авторитета. С этой точки зрения он даже нападал в «Истории десяти лет» на либералов эпохи Реставрации за то, что они ослабляли власть, и высказывал сочувствие сен-симонистам, которые, наоборот, работали в пользу усиления общественного авторитета. Тем не менее Луи Блан хотел

сохранить за меньшинством известную свободу от тирании большинства. Ему не хотелось доводить свой социализм до крайности, и в его сочинениях встречаются прямые заявления против коммунизма. Проповедь абсолютного равенства он прямо называл бессмыслицей. По его мнению, в обществе распределение благ должно совершаться даже не по той формуле, которую провозгласили сен-симонисты¹. «Каждому по его способностям, каждому по его нуждам» — вот собственный принцип Луи Блана, выраженный им, кроме того, и в следующей формуле: «Долг соразмерно со способностями и силами, право соразмерно с нуждами». Такое, как он выражается, «справедливое равенство» уже осуществляется в семейной жизни: каждый член семейства работает и своим трудом содействует общему благополучию по мере своих сил, но когда все садятся за стол, тот, кто более голоден, и ест больше, не встречая никакого препятствия со стороны других. Все требования социализма Луи Блан сводит к тому, чтобы общество было организовано, как семья.

Первые французские социалисты стояли в самой резкой оппозиции учениям современной им экономической науки. В лице Луи Блана уже начинается сближение между основными понятиями, выработанными политической экономией, с одной стороны, и теми практическими идеями, которые характеризуют социализм — с другой². Можно сказать, что в этом отношении Луи Блан подготавливал Маркса, выступившего несколько позднее. Предшественники Луи Блана нередко обнаруживали непонимание той важной роли, которую играет капитал в экономической жизни. Мало того, в капитале, в богатстве они даже готовы были видеть источник всех общественных зол. Подобно, впрочем, самим экономистам, они смешивали капитал с капиталистами. Луи Блан сумел отделить одно от другого. По его мнению, капитал представляет из себя силу великую и полезную, и весь вопрос заключается лишь в том, в чьих руках должна находиться эта сила. Он самым решительным образом высказывается против того, чтобы этой силой распоряжались отдельные лица, но вместе с тем он не хочет, чтобы капитал находился и в обладании отдельных рабочих ассоциаций: ведь и между последними возможна конкуренция, а потому необходимо, чтобы капиталом распоряжалась единая всеобщая ассоциация, которая сама заведовала бы всем производством. Возлагая такую задачу на государство, Луи Блан находил вместе с тем нужным, чтобы в своей деятельности общественная власть руководилась указаниями строгой науки. Быть может, это и представляет собой наиболее оригинальную черту в миросозерцании Луи Блана, и в данном отношении он очень близко подходил

¹ Каждому по его способности, каждой способности по ее делам.

² Нужно, впрочем, оговориться, что во время написания «Организации труда» он был еще далек от знакомства с политической экономией. В 1846 г. Прудон писал: «Говорят, что г. Луи Блан принялся серьезно изучать политическую экономию».

к Огюсту Конту. Ход человеческих дел весьма часто зависит от случая, но этого быть не должно, т. е. человеческие дела должны управляться наукою. При системе свободной конкуренции цены на продукты устанавливаются без всякого отношения к действительным нуждам общества, но в той организации, которую предлагал Луи Блан, все должно было регулироваться предусмотрительностью государства. Лишь под этим условием он считал возможным избавиться от тирании, «более тяжелой, чем тирания Тиберия и Нерона, от тирании вещей». Поэтому в науке он видел великую силу, при помощи которой человек в состоянии переделать само общество соответственно со своим идеалом. Для него, правда, общество уже не является предметом человеческого искусства, как то думали политические писатели XVIII в., но зато он готов признать, что общество есть произведение человеческой науки. Хотя некоторыми сторонами этого учения Луи Блан сильно еще напоминает утопический социализм своих непосредственных предшественников, но своим стремлением обосновать общественную реформу на данных одной науки он, так сказать, уже расчищал путь перед тем направлением, которое впоследствии дало себе имя научного социализма.

Совершенно особое место среди французских социалистов сороковых годов занимает Пьер-Жозеф Прудон. Родившись (1809 г.) в бедной рабочей семье, он до двенадцатилетнего возраста жил в деревне, пас коров и помогал в полевых работах. Когда он поступил в школу, то по бедности должен был, не имея учебников, собственноручно переписывать заданные уроки. В школу он являлся без шапки и в деревянных башмаках, которые должен был оставлять за дверьми. Впоследствии мы видим Прудона наборщиком и корректором в типографии. Ему было тогда девятнадцать лет, т. е. та пора жизни, когда впервые с особой силой начинают проявлять себя у людей, сколько-нибудь одаренных, умственные интересы. В той типографии, где он работал, печаталась Библия и другие книги теологического содержания. Молодой корректор с большим интересом читал все, что ни попадалось под руки. Он сам даже стал пописывать, и первым его трудом был «Опыт всеобщей грамматики», благодаря которому он получил от академии своего родного города, Безансона, на три года стипендии по 500 франков в год. Имея от роду тридцать лет, он переехал на жительство в Париж, чтобы серьезно заняться своим образованием. Средства его были крайне незначительны, тем более что получаемой стипендией он должен был делиться с родными. Душевное его настроение было тоже неважное. Но, в конце концов, он верил в свое будущее, в свои силы. Уже в 1840 г. он писал одному из своих приятелей, что занимается новым методом исследования социальных и психологических вопросов, сравнивая его с методом, созданным геометрами для решения математических вопросов. Ему казалось даже, что ни по существу дела, ни по форме ничего

подобного раньше его не было высказываемо. Из общественных вопросов в это время его особенно интересовал вопрос о собственности. «В борьбе на жизнь и на смерть, — писал он, — я должен убить неравенство и собственность; или я совершенно ослеплен, или она уже никогда не поднимется от удара, который ей скоро будет нанесен». В том же 1840 г. в Безансоне появился его первый мемуар «Что такое собственность?» (*Qu'est ce qu'est la propriété?*). Но это сочинение прошло едва замеченным в большой публике, хотя автор из-за него чуть было не лишился своей стипендии. Уже здесь вполне проявился чисто критический дух общественной философии Прудона. Он сам говорил впоследствии, что его правило было доводить каждый принцип до последних его результатов: если в нем обнаружится при этом внутреннее противоречие, то следует признать этот принцип за совершенно неверный и не имеющий никакого значения, а потому, прибавлял он, и каждое учреждение, которое основывается на таком принципе, не может считаться истинным. С этой точки зрения за единственно правильную основу собственности он признавал труд. С той же точки зрения он подверг критике и идею правительства, поставив на ее место «анархию» в смысле отсутствия всякого правительства, или в виде противоположности всякой форме правления — республике и демократии, монархии и конституции, аристократии и смешанному правлению. Первый свой мемуар о собственности Прудон представил в Академию моральных и политических наук, и она поручила рассмотреть эту работу Бланки. Так как последний, отнесшись, в общем, весьма благоприятно к сочинению начинающего писателя, заметил, однако, что судить о собственности нужно не с философской, а с общественной точки зрения и что идея собственности получает все большее и большее признание в обществе, то Прудон написал второй мемуар, где проводил, наоборот, ту мысль, что собственность вместе с религией и властью стремятся скорее к упадку. Вскоре за вторым мемуаром последовал третий, вызванный отчасти нападением на его идеи со стороны одного фурьериста. В этом новом сочинении Прудон очень резко напал на фурьеризм и вместе с тем с таким ожесточением говорил о собственности и собственниках, что навлек на себя уголовное преследование. Присяжные, однако, оправдали смелого автора. В 1843 г. Прудон издал новое сочинение «О создании порядка в человечестве или принципы человеческой организации». Он был вполне уверен, что этот труд составит эпоху в общественной науке, но ожидание его не оправдалось. В новой книге он проводил ту мысль, что время религии и философии проходит, что будущее принадлежит знанию, — мысль, которая сильно напоминает нам знаменитую формулу О. Конта о трех фазисах развития. На самом деле, впрочем, метод, которым пользовался Прудон, был чисто метафизическим, и в диалектике он даже видел единственное средство, ведущее к истине. Как у Гегеля, его мысль движется по формуле: тезис, антитезис и синтезис.

Занимаясь экономическими вопросами, Прудон около этого времени стал все более и более чувствовать недостаточность тогдашней официальной политической экономии и начал сближаться с социалистами, все более и более подчиняясь их влиянию. В 1844 г. он познакомился с Карлом Марксом, который посвятил его в философию Гегеля. В том же самом 1844 г. Прудон писал одному из своих друзей, что социализм должен получить научную основу и что лишь на этой основе он овладеет обществом и с несокрушимой силой поведет его по новой дороге. Свою историческую миссию Прудон даже прямо стал видеть в том, чтобы поставить социализм на научную почву, выяснить ему его собственную сущность, которой он пока не понимает, называя себя коммунизмом. Эту задачу и должно было выполнить новое сочинение Прудона, вышедшее в свет в 1846 г. под заглавием «Система экономических противоречий, или философия нищеты». На этом труде уже сильно отразилось формальное влияние философии Гегеля, но общий тон был чисто отрицательный. Суть его рассуждений заключается в том, что в каждой экономической категории он различает хорошую и дурную сторону. Хорошие стороны современного экономического строя выяснены экономистами, дурные — социалистами, Прудон же ищет такого синтеза, который, удерживая хорошие стороны, устранял бы дурные. Между прочим, в этом сочинении он весьма резко критиковал и осмеивал веру социалистов во всеобщее братство, нападал на коммунизм Кабе, сильно бранил «Организацию труда» Луи Блана. «Коммунизм не что иное, как карикатура собственности, — заявляет, например, Прудон в этой книге. — Коммунисты — устрицы, прикрепленные одна около другой, без деятельности и чувства на скале братства». «Едва ли, — говорит он еще, — всякий знает всю массу тупоумия и бесстыдства, которую заключает в себе фаланстерианская система... Фаланстер — последний сон допивившегося до бреда забулдыги... Социализм — простая логомахия. Он и логик плохой, и бесстыдный шарлатан... Луи Блан так же недалек в логике, как и в политической экономии, и об обоих он рассуждает, как слепой о цветах». Понятно, почему Леру назвал Прудона «l'enfant terrible du socialism»¹. Впоследствии сам Прудон говорил, что все, им напечатанное с 1839 по 1852 г., было только простым спором. Несмотря, однако, на то что ему удалось заставить о себе говорить, он не пользовался решительно никаким политическим значением, когда вспыхнула революция 1848 г.

Общее значение Прудона заключается в его критике собственности. Правда, его знаменитое изречение о собственности, как краже (*la propriété, c'est le vol*) не было вполне оригинальным, и в данном отношении он имел предшественника в лице Бриссо, но никто из социалистических его предшественников, нападавших на отдельные стороны собственности и свя-

¹ Ужасное дитя социализма (фр.). — Прим. ред.

занные с ними явления, каковы фабричная система, деньги, свободная конкуренция, в своей критике не касался собственности как таковой. Если экономисты защищали собственность, исходя из рассмотрения богатства, ею производимого, то Прудон, наоборот, сделал своей темой производимые ею бедствия.

«Организация труда» Луи Блана, «Путешествие в Икарию» Кабе и «Что такое собственность?» Прудона вышли одновременно (1839—1840 гг.). Как ни различны были между собой их учения, в одном они сходились — в отрицании современного экономического строя, в поисках другого, лучшего, но уже без мистических стремлений, характеризующих сен-симонистов, Бюшеза и Леру.

XIV. Идеи и настроение французской демократии времен июльской монархии¹

Распространение республиканских стремлений во французском обществе. — Республиканская программа 1830 г. — Политические идеи, господствовавшие в тайных обществах. — Возрождение бабуизма. — Возрождение якобинской традиции в историографии Французской революции (Бюшез и Луи Блан). — Антиякобинские историки французской революции (Ламартин и Мишле). — Вера в непосредственную правду народа. — Демократическая проповедь Ламенне. — Отражение общественного движения на изящной литературе. — Социальный роман и тенденциозная драма

В то самое время, как господствующее меньшинство французской нации, вполне довольное установившимся режимом, держалось за конституционную монархию и орлеанскую династию, в других общественных классах все сильнее и сильнее распространялись республиканские стремления. Среди самой буржуазии мало-помалу образовалась оппозиция против финансовой аристократии, сделавшейся госпожой положения и не всегда удовлетворявшей желания промышленного класса. Одна часть недовольных, оставаясь верной июльскому трону, думала только о том, чтобы посредством реформы выборов лишить финансовую аристократию ее привилегированного положения, тогда как другая часть склонялась к республике, полагая, что эта политическая форма лучше обеспечит интересы господствующего класса, взятого в его целом. Эта часть более зажиточной буржуазии целым рядом переходных ступеней сливалась с мелкой буржуазией, состоявшей из ремесленников, торговцев и т. п. В ней также распространялись республиканские идеи, и, отделяя себя от буржуазии,

¹ Кроме литературы, указанной в двух предыдущих главах, см. еще: *Janet P.* Philosophie de la révolution française (краткий обзор историографии Французской революции); *Corréard. Michelet, la vie, les oeuvres*, 1886; *Jules Simon. Mignet, Michelet, Henri Martin*, 1889; *Monod G. Jules Michelet*, 1876; *Idem. Renan, Tains, Michelet* (последний очерк был переведен в «Русской мысли» за 1895 г.; в этом же журнале была в 1886 г. переведена и статья Тэна о Мишле). О нем же статья проф. В. Е. Герье в «Вестнике Европы» за 1896 г. («Народник во французской историографии»); *Михайловский Н. К.* Философия истории Луи Блана (Сочинения. 1897. Т. III). О Ламартине см. сочинения: *Ch. de Pomerols* (1889), *Deschanel* (1893) и др. О Ламенне: *Janet P.* La philosophie de Lamennais, 1890; *Roussel. Lamennais d'après des documents inédits*, 1892; *Spuller. Lamennais*, 1893, и др. О социальном романе см. в историях французской литературы, указанных в других местах. Специально о Жорж Санд см.: *Скабичевский А.* Французские романтики (Ч. II. Жорж Санд); *Анненская П.* Жорж Санд. Саго в издании *Les grands écrivains français; On же. Georges Sand. Histoire de ses oeuvres*, 1887. Весьма важным пособием для истории разных идей во Франции является книга *Julian Schmidt. Geschichte der französischen Literatur* (1874. Т. II).

обладавшей цензом, причисляя себя к «народу» вместе с пролетариатом, она, до известной степени, вместе с ним и выступала под одним знаменем в тех республиканских демонстрациях и попытках восстания, которые делались в первую половину царствования Людовика-Филиппа. Таким образом, республиканская идея объединяла некоторые части буржуазии и народа, в последнем — и торговцев, и ремесленников, и фабричных рабочих. Но между наиболее отдаленными в классовом отношении разрядами республиканцев существовало громадное различие в понимании социальных отношений. Республиканцы из буржуазии были противниками социализма; наоборот, в пролетариате все более распространялась мысль, что республика без коренного изменения социального строя не будет иметь никакого смысла. Между этими воззрениями, представлявшими два полюса республиканской идеи, были еще мнения, так сказать, переходного характера, более демократические, чем мнения буржуазных республиканцев, и не столь решительно социалистические, как те, которые начинали получать перевес среди рабочих.

Республиканская партия зародилась во Франции еще до Июльской революции, а в 1830 г. даже думала воспользоваться народным восстанием для того, чтобы провозгласить республику. Ей это не удалось, но тогда же она сформулировала свою программу в знаменитой прокламации, которая и была принята так называемой муниципальной комиссией. Вот эта прокламация целиком.

«Франция свободна. — Она желает конституции. — Временному правительству она предоставляет право лишь обратиться к ней за ее решением. — Пока она не выразила своей воли посредством новых выборов, должны уважаться следующие принципы: королевская власть отменяется; правительственная власть должна находиться в руках одних выборных уполномоченных нации; исполнительная власть вверяется временному президенту; все граждане посредственно или непосредственно участвуют в избрании депутатов; религиозные культы свободны, и государственный культ отменяется; должности в армии и флоте гарантируются против произвольных отставок; национальная гвардия учреждается во всех местностях Франции, и ей вверяется охрана конституции. Эти принципы, во имя которых мы только что подвергали опасности свою жизнь, мы готовы в случае надобности защищать посредством законного восстания (*insurrection légale*)».

Приводя этот документ в своей «Истории десяти лет», Луи Блан замечает, что прокламация муниципальной комиссии «наиболее точным образом определяет границу, далее которой в 1830 г. не шли самые смелые умы, если только исключить нескольких немногочисленных учеников Сен-Симона». Указав еще на то, что программа совершенно не затрагивала социальных вопросов, он прибавляет, что подобные вопросы «были слишком

высоки для эпохи», и что «должна была разразиться не одна гроза для того, чтобы стали думать об их разрешении». Мало того, по словам Луи Блана, «в 1830 г. даже и не думали ставить эти вопросы». Таким образом, республиканская партия, выступившая в эпоху Июльской революции, имела исключительно политический характер. Если что и делало эту программу популярной в народной массе, т. е. главным образом среди низших слоев городского населения, так это ясность и относительная новизна этой программы. Во всяком случае, впоследствии на эту программу, получившую название «программы ратуши», постоянно ссылались недовольные июльской монархией.

Попытки республиканских восстаний, делавшиеся во Франции в первые годы июльской монархии, имели своей целью установление именно такого режима, какой заключался в принципах указанной программы, но с течением времени демократическая программа начинала все более и более осложняться требованиями социального характера. Осуществить свои политические планы французские республиканцы тридцатых годов думали посредством вооруженного восстания в Париже. С этой целью они организовывались в тридцатых годах в тайные общества, вербовавшие своих членов преимущественно среди учащейся молодежи и рабочих. Предыдущая история Франции указывала на то, что стоило только овладеть Парижем, и вся страна беспрекословно принимала новый порядок вещей. Вот почему члены тайных республиканских обществ верили в легкость завоевания власти для утверждения во всей Франции республики. Их немало воодушевлял пример Конвента, управлявшего всей Францией при поддержке столичного населения, и сама республика понималась ими в духе принципов 1793 г. и якобинской диктатуры. Мы еще подробнее остановимся на рассмотрении этого любопытного явления — возрождения во французском обществе якобинской традиции и даже идеализации якобинского режима с новых точек зрения, выработанных только общественными условиями середины XIX в.

В другом месте мы уже рассматривали историю республиканских восстаний, тайных обществ, которые ими руководили, и репрессивных мер, предпринимавшихся правительством против республиканской агитации. Для нашей цели теперь особенно важно познакомиться с теми идеями, какие были в ходу среди французских республиканцев. Самое интересное в этом предмете — распадение французских демократов на политических и социальных революционеров. И те и другие сходились между собой в том, что во Франции должна быть восстановлена республика со всеобщей подачей голосов и даже с конституцией 1793 г., как наилучшим государственным устройством. «Общество прав человека» даже приняло за свою программу якобинскую декларацию прав человека и гражданина. Но именно по вопросу об этой декларации и произошли первые несогласия

среди вождей республиканской партии. Сторонники чисто политической революции вполне довольствовались декларацией прав, принятой в 1793 г. Конвентом. Но те члены, которые думали, что будущая революция должна прозвести перемены не только в устройстве государства, но и в общественном строе, предпочитали принять редакцию декларации, спроектированную в 1793 г. Робеспьером. В этой последней, между прочим, был такой параграф: «Собственность¹ состоит в праве каждого гражданина пользоваться и располагать по своему усмотрению той частью имуществ, которая обеспечивается за ним законом». Этим параграфом собственность признавалась не за одно из естественных прав человека, а за создание государственного закона, который потому может и изменять само право собственности. Якобинская декларация 1793 г. стояла именно на той точке зрения, что собственность относится к числу естественных прав человека и заключается в произвольном пользовании и распоряжении имуществом, вследствие чего «никто не может быть лишен хотя бы малейшей части своего имущества без собственного на то согласия» (за исключением случаев законного отчуждения на общественные нужды под условием справедливого и предварительного вознаграждения). Когда часть членов общества, руководимая Годафруа Каваньяком, приняла взгляд на собственность, выраженный Робеспьером, против этого протестовал Арман Каррель, к которому присоединились и многие другие республиканцы. Это разделение с течением времени все более и более обострялось. Сторонники социальных перемен постоянно высказывали свое недовольство исключительно политическими стремлениями демократов, полагавших, что весь вопрос в перемене правительственной формы. Например, в речи одного из членов «Общества прав человека» было сказано следующее: «Вот о чем у нас говорят: долой все привилегии, даже привилегии рождения! долой монополию богатств! долой эксплуатацию человека человеком! долой социальные неравенства! Вот что нас занимает и о чем печать совсем не говорит. Вообще она хлопочет только о политической перемене. Между тем самые великие революции — не политические перевороты: если они не сопровождаются переворотами социальными, из них ничего или почти ничего не выходит... Пусть промышленность освободится от закона рабочей платы, — закона произвольного и тиранического, — и будет подчинена только закону ассоциации!» (Последние слова указывают на то, что перемена в общественном строе понималась в смысле замены наемного труда трудом общественным по известной формуле, созданной школой Сен-Симона.)

Когда после неудачи республиканского восстания 1834 г. «Общество прав человека» должно было прекратить свою прежнюю деятельность, его место заняло другое, руководимое Бланки и Барбесом. В «Обществе прав

¹ Об этих двух различных взглядах на право собственности см. т. II (теории Гоббса и Локка).

человека» преобладали представители буржуазии, Бланки и Барбес начали организовывать пролетариат. Бланки был типичный заговорщик, проживший на белом свете 76 лет, но из них 37 в несколько приемов просидевший в тюрьме. Впервые с тюремным заключением он познакомился еще в конце двадцатых годов, в 1830 г. он был одним из уличных бойцов, но весьма скоро, недовольный сохранением монархии, основал республиканское «Общество друзей народа», начал борьбу с правительством и стал приговариваться к заключению в тюрьму. В середине тридцатых годов вместе с Барбесом он и основал новое республиканское «Общество семейств», превратившееся в «Общество времен года»¹, которое требовало «социальной и радикальной революции», «истребления аристократии, финансистов, банкиров, поставщиков, монополистов, спекулянтов, крупных землевладельцев, жиреющих на счет народа». Для Бланки республика была лишь средством для передачи имуществ «людей, ничего не делающих, народу, ничего не имеющему». Общественный идеал членов новой республиканской организации был коммунистический в духе учения Бабёфа. Дело в том, что один из старых «бабувистов», Буонаротти, возвратившийся в 1830 г. в Париж, стал распространять в революционно настроенных кружках свою «Историю заговора Бабёфа», изданную им за десять лет перед тем в Брюсселе. В эпоху Реставрации это сочинение во Франции было мало известно, если только вообще было известно, но в тридцатых годах оно приобрело большую славу. Республиканское восстание 1834 г. одно время наполнило парижские тюрьмы массой заключенных, среди которых уже были люди, знакомые с сочинением Буонаротти; вот здесь-то и велась деятельная бабувистская пропаганда. Вскоре один книгопродавец выписал из Брюсселя остававшиеся нераспроданными экземпляры сочинения Буонаротти и нажил на их распродаже хорошие деньги. Бланки и Барбес вполне прониклись идеями Бабёфа. Будучи заправилами «Общества времен года», они приняли в его катехизис идею коммунизма. Та же идея пропагандировалась в тайной периодической прессе (*Le Moniteur républicain*, 1837—1838, *L'Homme libre*² и др.). Бланки и Барбес думали подражать Бабёфу не только в цели, но и в тактике: 12 мая 1839 г. с самыми незначительными силами они решились овладеть Парижем, чтобы начать социальную революцию. Попытка сразу была подавлена, и вожди, приговоренные сначала к смертной казни, были посажены в тюрьму, из которой они освободились только в 1848 г., благодаря февральской революции.

Сравнивая республиканские восстания 1834 и 1839 гг., мы можем сказать, что в середине тридцатых годов французский пролетариат впервые

¹ Свое название оно получило от устройства своего в виде соединения небольших (из семи членов) групп, названных «неделями», в большие группы: «месяцы», «времена года» и «годы».

² «Указатель республиканцев», «Человек свободный» (фр.). — *Прим. ред.*

начинает организовываться под знаменем социального переворота, заимствуя свои идеи из времен первой революции. Знакомство с бабувизмом впервые прокладывает дорогу для распространения коммунистических идей. «Путешествие в Икарию» вышло вслед за неудачей заговора Бланки и Барбеса и не было притом единственным сочинением, написанным в духе коммунизма. В сороковых годах во Франции в этом направлении развивается целая литература, между прочим, в виде тайных периодических изданий, сильно распространявшихся среди рабочих, хотя и не пользовавшихся таким успехом и влиянием, как «Путешествие в Икарию»¹. Неудача, постигшая попытку «Общества времен года», произвести социальную революцию, не охладила пыла коммунистов, и многие из них основали новое тайное общество рабочих, получившее название «*Société des travailleurs égalitaires*»². Один из тайных коммунистических журналов («*L'Humanitaire*»³) издавался членами именно этого общества. В 1840 г. коммунист Пилло, разделявший идею Бабёфа о том, что новый общественный строй нужно ввести путем террора, невзирая на желания и чувства населения страны, председательствовал даже на банкете своих единомышленников, которых собралось на эту манифестацию до 1200 человек. С точки зрения крайних представителей этого направления автор «Путешествия в Икарию» был человек слишком умеренный, и Кабе нередко вступал с ними в полемику. Это движение имело, несомненно, бабувистский характер, т. е. сводилось к якобинизму, отданному на службу коммунистической идее. В таком виде коммунизм принимал характер чисто революционный. Правительство вступило с ним в борьбу. В числе преследуемых был, например, аббат Констан, называвший Христа жертвой свободы и Богом революции, автор «Библии свободы» (1840 г.), проникнутый жгучей ненавистью к имущим классам, которых не признавал за людей и грозил преследовать, как диких зверей. В 1846 г. за сочинение под заглавием «Голос голода» он был приговорен к тюремному заключению на год и к тысяче франков штрафа. Покушения на жизнь короля или членов его семейства, сделанные около этого времени людьми из рабочего класса, также сильно тревожили правительство.

И политические, и социальные революционеры тридцатых и сороковых годов вдохновлялись, как мы только что видели, идеями и примерами первой Французской революции. Демократия рассматриваемой эпохи самым очевидным образом возвращалась к принципу и образу действий якобинизма, и в этом отношении весьма любопытна та перемена, которая

¹ Таковы сочинения: *Desami*. Code de la communaut, 1842; *Piilor*. Ni chateaux, ni chaumière, 1840; *Constant*. Bible de liberté, 1840 и т. п.; среди этих писателей были и христианские коммунисты, каковы Эскирос, Пеккер. Коммунистических журналов было несколько.

² «Общество равноправных трудящихся» (фр.). — Прим. ред.

³ «Человеколюбивый» (фр.). — Прим. ред.

произошла во взглядах на историю революции. Взгляды ее историков, писавших в тридцатых и сороковых годах, складывались под влиянием совершавшегося вокруг них демократического движения и, в свою очередь, придавали этому движению известный характер, известное направление. В двадцатых годах Тьер и Минье писали свои истории Французской революции с точки зрения буржуазной оппозиции против старого порядка, легитимизма и реставрации. Теперь против самой буржуазии возникала оппозиция, имевшая демократический характер, притом оппозиция и политическая, и социальная, принимавшая якобинскую окраску. Это отразилось и на историографии Французской революции, в которой возрождается теперь якобинская традиция. Это мы видим главным образом в историях революции Бюшеза и Луи Блана.

Бюшез¹ в тридцатых годах издал весьма большую коллекцию (40 томов) материалов под заглавием «Парламентская история Французской революции». Почти каждому тому этого издания он предпосылал по небольшому введению, пользуясь этим способом для того, чтобы развивать свои общие взгляды на революцию, в коих он соединяет воедино католицизм и якобинизм. Уже в начале первого тома Бюшез объясняет, что «Французская революция была последним и наиболее ушедшим вперед следствием новой цивилизации, а последняя вышла целиком из Евангелия». Ему кажется совершенно бесспорным, что «на знамени и кодексах революции начертана была, в сущности, доктрина Иисуса», именно принципы равенства и братства. Другие объяснения генезиса революции ему представлялись неосновательными, и он не хотел допустить, «чтобы народ предался революционному движению ради приобретения каких-либо материальных благ». Эту общую мысль Бюшез проводит и через другие предисловия. Вторая основная его мысль та, что «в 1789 г. буржуазия стала стремиться обратить революцию в свою пользу», тогда как только народ понимал истинный смысл великих принципов революции. Декларация прав человека и гражданина была лишь освящением частного интереса и эгоизма, служащего для него основанием. «Если бы, — замечает в одном месте Бюшез, — учредительное собрание провозгласило доктрину долга, возможны были бы только две партии — благонамеренных и злонамеренных. Эбер и ему подобные не могли бы в таком случае проповедовать. У жиронды даже не могло бы явиться повода излагать свои доктрины, ибо где долг, там единство». Вообще идея единства — церковного, государственного, национального — занимала весьма видное место в соображениях Бюшеза. С этой точки зрения он осуждал реформационное движение XVI в., которое во Франции было делом дворянства. «Громадное большинство нации поднялось против аристократических замыслов, и они погибли в кровавой рас-

¹ Ср. изложение его общих взглядов, сделанное выше. Ср. также, что сказано об исторических взглядах Бюшеза в т. III.

праве Варфоломеевской ночи и в войнах лиги. Французский народ остался католическим прямо из национального чувства или, вернее говоря, сохранился единым, благодаря своей католической вере». Бюшез даже подробно останавливается на принципах протестантизма, которые называет «чудовищными догматами»: это — философия, превыше всего ставящая отдельное я и приводящая к аристократизму, т. е. к преобладанию индивидуума над всеми. Ему не хочется, чтобы Французская революция чем-либо походила на протестантизм. Последний провозгласил верховенство индивидуального разума, тогда как первая провозгласила принцип верховенства народа. «Принцип народовластия, — говорит Бюшез, — прежде всего есть принцип католический в том смысле, что он предписывает каждому повиноваться всем. Он предполагает, что существует доктрина, которой должны целиком себя отдавать как отдельные лица, так и целые поколения. В чем же заключается эта доктрина? На этот счет революция высказалась совершенно ясно. Она отвечала, что это — догмат братства. Принцип народовластия есть принцип католический потому еще, что он охватывает собой все прошлое, все настоящее и все будущее». К этому Бюшез прибавляет, что верховенство народа сводится «к верховенству цели общей деятельности», которая «создает нацию». И догмат братства — католический, между прочим, потому, что «вытекает непосредственно из учения церкви и отвергает эгоизм, к которому приводит протестантизм». Среди предшественников революции Бюшез различает поэтому, с одной стороны, людей, проникнутых духом религиозной веры и братства, с другой — неверующих эгоистов. Соответственно с этим, по его мнению, и в самой революции существовало два аналогичных течения. В сущности, говоря это, Бюшез имеет в виду жирондистов, которых он постоянно порицает, и якобинцев, на стороне коих, наоборот все его симпатии. Упоминая в одном месте о том, что христианство всегда выходило победителем из борьбы с разными ересями, он даже находит действительным террор, когда он «борется со злом, угрожая в отдельных лицах самому началу эгоизма, в силу коего они делают зло... Террор, — продолжает он, — в мире политическом соответствует уголовной репрессии в мире обыкновенных человеческих отношений: он препятствует эгоистическим страстям проявляться в поступках, заинтересовывая эгоизм предпочитать воздержание действию. Потому террор вовсе не такое средство, которое можно было бы, безусловно, порицать, и не такое, которым следовало бы пользоваться по всякому поводу и без всякого расчета. Это — лишь известный метод, а обо всяком методе мы должны судить по его цели». Верховенство цели, действительно составлявшее догмат якобинцев, с этой точки зрения вполне оправдывает у Бюшеза и якобинский метод. Далее, дабы общество не было простым множеством отдельных индивидуумов, а превратилось в нераздельное единство, нужно, чтобы в основу общественного

бытия был положен догмат существования Бога, ибо в этом заключается единственная связь между людьми. «Якобинцы, — замечает Бюшез, — провозгласили эту истину, позволившую им увидеть и все остальные»: для них она была не убеждением личной практики, а символом практики социальной, так как в самоотречении личности заключается первое условие существования общественных отношений. В лице Сен-Жюста Бюшез хвалит якобинцев за то, что они противопоставили «свободу невинности и доблести свободе, которая вытекает из естественного права и есть только свобода личных appetitов». Жирондистов, как и протестантов, напротив, он осуждает за то, что они отлагались от единства, за их индивидуализм и «федерализм». За ними он не хочет даже признать добросовестности заблуждения, тогда как вся заслуга якобинцев, по его представлению, заключалась в том, что ради поддержания единства они готовы были подвергать себя всяким опасностям. Якобинцы, одним словом, восхваляются, как представители национального и политического единства Франции, — единства, в стремлении к коему французов воспитал католицизм, единства, для достижения которого позволителен террор, препятствующей личному эгоизму проявлять себя наружу. В представлении Бюшеза, демократия должна всеми средствами подавлять индивидуальную свободу: ведь и само братство он определяет, как повиновение каждого всем¹.

Под влиянием этой католико-якобинской философии истории Французской революции сложилось общее представление о ней и у Луи Блана². Конечно, он совершенно отрешился от мистических рассуждений своего предшественника, но он сохранил целиком противоположения буржуазии и народа, индивидуализма и братства, жирондистов и якобинцев, отождествив жирондистскую программу с программой буржуазного эгоизма и превратив якобинцев в социалистических защитников интересов народа. Здесь не место разбирать, насколько такое общее построение Французской революции соответствует действительной ее истории. Взгляд Луи Блана должен здесь интересоваться нас как своего рода знамение времени, притом, как взгляд, сделавшийся популярным и влиятельным во французской демократии конца сороковых годов. «История Французской революции» Луи Блана стала выходить в свет, так сказать, накануне революции 1848 г. и только укрепляла якобинскую традицию, поддерживала якобинское настроение деятелей этого года. С другой стороны, любопытно видеть, как эта политическая традиция получает социальный характер, и как писатель, продолжающий дело сен-симонистов, обращается к якобинской традиции за примером и назиданием.

¹ См. диаметрально противоположное понимание демократии у Токвиля (см. выше).

² Ср. изложение его общественных взглядов, сделанное выше, а также и изложение его взглядов на Французскую революцию в т. III.

«Три великих принципа, — говорит Луи Блан, — господствуют в мире и в истории: авторитет, индивидуализм, братство». Характерными особенностями авторитета он признает, с одной стороны, слепо принимаемые верования, с другой — принуждение. Принцип индивидуализма, по его словам, «берет человека вне общества и независимо от общества, делая его единственным судьей самого себя и всего окружающего, внушая ему преувеличенное понятие о своих правах без указания ему на его обязанности и предоставляя его своим собственным силам». Этот принцип, по мнению Луи Блана, вместо всякого правительства провозглашает полный произвол. Несомненно, что в приведенном определении индивидуализма Луи Блан смешивает довольно-таки разнохарактерные признаки, логически между собой не связанные. Наконец, принцип братства, как он его понимает, состоит в том, что он, принцип этот, «считая солидарными членов великой семьи, стремится организовать общество, дело человека, по образцу тела человеческого, которое есть дело Божие, и основывает правящую власть на убеждении, на добровольном согласии сердец». В истории Западной Европы авторитет нашел полное свое выражение в средневековом католицизме. Лютер провозгласил принцип индивидуализма, который «развился с непреодолимой силой и, освободившись от религиозного элемента, восторжествовал во Франции при посредстве публицистов учредительного собрания». В этой исторической ссылке нельзя не видеть прямого влияния Бюшеза, который, тоже неблагоприятно относясь к индивидуализму, сопоставлял несимпатичную ему сторону Французской революции с протестантизмом. К этому Луи Блан прибавляет, что индивидуализм «правит нашим временем», что «он есть душа вещей». Принцип братства, тоже заимствованный у Бюшеза, он, однако, отделил от католицизма. Братство на деле не было еще никогда осуществлено. В эпоху Французской революции оно было, говорит Луи Блан, «провозглашено монтаньярами (т. е. якобинцами), исчезло тогда среди бури и в настоящее время еще является нам в виде далекого идеала». Сравнивая между собой первые два принципа, Луи Блан говорит, что оба они влекут за собой угнетение личности, первый — посредством ее подавления, второй — посредством анархии. Таким образом, для него индивидуализм и анархия одно и то же. «Лишь один третий принцип, — говорит он, — посредством гармонии производит свободу». Совершенно так же, как и Бюшез, «в том, что обыкновенно называют Французской революцией», он различает два течения, из коих одно было направлено в сторону индивидуализма, а другое было «только шумной попыткой во имя братства». Первое течение владело в 1789 г., второе — в 1793 г. «Что революция 1789 г., — говорит Луи Блан, — только одна пустила корни в события, это происходило от того, что она неожиданно завладела обществом, что она служила интересом класса, ставшего господствующим, — буржуазии, что она, наконец, яви-

лась с полной доктриной под тройной формой философии, политики и промышленности». Через все сочинение Луи Блана проходит та мысль, что стремление к индивидуальной свободе враждебно не только авторитету, но и братству, которое, как и у Бюшеза, провозглашается у него и Евангелием, и якобинизмом. Другая мысль — та, что индивидуализм есть принцип буржуазии, и что победы, одерживаемые индивидуализмом и буржуазией, идут, так сказать, параллельно. В XVIII столетии перед революцией индивидуализм восторжествовал в философском отношении в школе Вольтера, в политическом отношении в школе Монтескьё, в экономическом отношении в школе Тюрго. Этим трем мыслителям Луи Блан противопоставляет Руссо, Мабли и Неккера, даже Неккера, который тоже должен представлять собой принцип братства. Особым сочувствием Луи Блана пользовался Руссо, «Общественный договор» которого он старался истолковать в духе социальных требований своего времени, тогда как, на самом деле, он написан был в духе политических требований XVIII в.; гораздо более был прав тот историк, который заметил (конечно, имея в виду терминологию нашего времени), что Руссо должен был бы назвать свой трактат «*Contrat politique*»¹, а не «*Contrat social*». В таком же освещении являются у Луи Блана якобинцы. Эти республиканские государственники, требовавшие полного подчинения гражданина «отечеству», если бы применить к ним классификацию самого Луи Блана, оказались бы представителями как раз принципа авторитета, и это, пожалуй, гораздо лучше было понято Бюшезом (который, впрочем, сливал авторитет и братство воедино, полагая само братство в повиновении отдельного члена общины целой общине по образцу отношений, существующих между отдельными верующими и всей церковью). В «Истории Французской революции» Луи Блана якобинцы явились не тем, чем были на самом деле, — не политическими радикалами, унаследовавшими из прошлого государственную цель и государственные средства старой монархии, а пророками и провозвестниками идеального общественного строя, имеющего осуществиться только в будущем.

Успех первых томов книги Луи Блана, вышедших в свете еще до Февральской революции, был громадный, и влияние их на идеи демократов той эпохи было весьма значительно. Основная мысль всего труда, равно как и «Истории десяти лет», появившейся несколькими годами ранее, соответствовала как нельзя более злобе дня. С одной стороны, к концу сороковых годов история вырыла целую пропасть между буржуазией и народом, а Луи Блан как раз сделал попытку осветить все прошлое Франции с точки зрения антагонизма этих двух общественных классов; с другой же стороны, на сочинении Луи Блана сказалась одна из наиболее характер-

¹ «Политический договор» (фр.). — Прим. ред.

ных особенностей французской демократии, которая, быть может, именно и заставляла задумываться Токвиля, — ее отрицательное отношение к индивидуальной свободе и обращение к общественной власти, как к той силе, которая одна в состоянии водворить в обществе равенство. Правда, Луи Блан теоретически различал принципы братства и авторитета, которые у Бюшеза были соединены в одном принципе, но, пожалуй, в данном отношении Бюшез, а не Луи Блан, выражал настоящее настроение французской демократии. Как бы там ни было, якобинская традиция оказывала сильное влияние на демократическую мысль эпохи, непосредственно предшествовавшей 1848 г. Проницательные наблюдатели событий второй французской республики не раз отмечали, какой консерватизм, какое рутинерство проявляли многие из деятелей республиканской революции, думавшие, что вся их задача — копировать якобинцев, даже в мелочах их поведения¹.

К концу сороковых годов вообще во Франции оживился интерес к первой революции, и притом с демократической, республиканской точки зрения, хотя бы и не якобинско-социалистической. Одновременно с первыми томами сочинения Луи Блана появилась (1847 г.) знаменитая «История жирондистов» Ламартина. Автор был поэт, и отношение его к истории было чисто дилетантское. Его книга была скорее своего рода поэтическим произведением, элегической апологией жирондистов, на стороне коих все симпатии Ламартина. Определенного политического мирозерцания у него, впрочем, не было. В палате, в которую он попал в 1833 г., он сначала объявил себя независимым консерватором, но потом стал называть себя прогрессистом. Об общих его взглядах могут дать понятие такие, например, заявления: «святая и божественная мысль демократии и Французской революции вытекает из христианской идеи в применении к политике» (1843); «демократия, республика, это — в принципе непосредственное царствование Бога» (*le direct règne de Dieu*, 1848). Впрочем, как и Токвиль, он желал, чтобы господство демократии не нанесло никакого ущерба правам, завоеванным в 1789 г., т. е. личной безопасности, свободе совести, мысли и печати. «История жирондистов» произвела весьма сильное впечатление, сделав имя Ламартина одним из самых популярных политических имен. Республиканское настроение, коим проникнута вся книга, вполне гармонировало с оппозиционным духом французского общества. В 1848 г. он, как и Луи Блан, сделался членом временного правительства, в коем и играл очень видную роль.

Гораздо более важное значение имеет другая история Французской революции, тоже написанная в республиканском, но антиякобинском духе

¹ На этот счет есть прекрасные места у А. И. Герцена, который был очевидцем разыгравшейся тогда драмы и глубоко понимал ее смысл. То же отметил и Токвиль.

и тоже появившаяся накануне Февральской революции. Ее автором был один из самых замечательных французских историков этой эпохи, Мишле.

Родившийся в крестьянской среде и прошедший раннюю юность в крайней нужде, исполняя черную типографскую работу, Мишле всегда особенно чувствовал свою связь с народом. Еще в очень раннем возрасте от одного старого книгопродавца, пылкого республиканца, сделавшегося его первым учителем, он воспринял первые свои идеи о Французской революции как о событии, принесшем много добра французскому народу. В конце двадцатых годов Мишле был уже профессором Нормальной школы, где преподавал философию и историю, представляя ту и другую своим слушателям в гегельянской оболочке. Оригинальная мысль, которую он вносил в свое преподавание, заключалась в изображении истории как драмы, имеющей своим содержанием борьбу свободы с фатализмом. В первые годы июльской монархии он временно замещал Гизо в Сорбонне, а кроме того, получил место начальника исторического отдела в Национальном архиве. С этого времени он сосредоточил свои занятия на средневековой истории своего отечества, результатом чего была его знаменитая «История Франции в шести томах», вышедшая в свет между 1833 и 1843 гг. В 1838 г. Мишле начал читать лекции в Collège de France; здесь он должен был выступать уже не перед несколькими студентами, а перед большой публикой, весьма подвижной и пылкой, требовавшей от профессора широких взглядов и красноречивого слова. В Collège de France он сошелся из своих товарищей по профессуре с Мицкевичем, занимавшим кафедру славянских литератур, и с Кине, который читал лекции по истории южнороманских литератур. С этими двумя писателями, имевшими на него весьма большое влияние, он образовал нечто вроде триумvirата, поставившего своей задачей «создавать души», воспитывая молодежь в гуманных и либеральных идеях. Между тем июльская монархия с самого начала сороковых годов все более и более проявляла свой реакционный характер, вызывая вместе с тем против себя все большую и большую оппозицию с характером антиклерикальным и демократическим. В своей дальнейшей деятельности Мишле отразил на себе обе стороны этой оппозиции. Усвоив себе религиозное мирозерцание, близкое к деизму, он выступил принципиальным противником католицизма как врага духовной свободы и как союзника политического деспотизма. С другой стороны, Мишле носил в своей душе идею народа, несколько туманную и даже мистическую, но вдохновлявшую его на защиту политической свободы. Он сговорился с Кине прочесть по курсу об иезуитах и потом напечатал свой курс отдельным изданием, имевшим громадный успех в публике. Антиклерикальный характер имела также его книжка «Священник, женщина и семья» (1845 г.). Свои демократические взгляды он изложил подробнее всего в сочинении «Народ» (1846 г.), сделавшемся своего рода вступлением в «Историю

Французской революции», предпринятую Мишле около того же времени. В «Наре» Мишле выступает защитником крестьян и пролетариев, изображая их страдания, стремления и надежды. В то самое время, как другие писатели под народом начинали разумеать преимущественно городских рабочих, Мишле видел его преимущественно в крестьянстве. Он вполне разделял и общественный идеал французского крестьянина, всегда стремившегося сесть на свою землю для того, чтобы работать на ней самостоятельным хозяином. С этой точки зрения он был решительным противником социалистических и коммунистических стремлений своей эпохи. Признавая вместе с тем, что лучшим государственным устройством может быть лишь демократическая республика, он чувствовал, однако, непреодолимую антипатию к якобинизму. Террористические средства вызывали в нем глубокое отвращение. Ему также весьма мало была понятна теория классовой борьбы, с точки зрения которой Бюшез и Луи Блан рассматривали взаимные отношения буржуазии и народа. В своей «Истории Французской революции» он даже старался — в противоположность Луи Блану — представить дело так, как будто французская нация, за исключением привилегированных, была чем-то однородным, не разделялась внутри противоположными интересами. В высшей степени благожелательный к народу, Мишле, в сущности, его донельзя идеализировал и в самом идеальном смысле понимал взаимные отношения между культурными слоями общества и народной массой, возлагая на первые обязанность нести в народ свет знания. В свою очередь, культурные классы от соприкосновения с народом, по мнению Мишле, должны были морализироваться, ибо лишь в народе живет высшая непосредственная правда. Если Мишле и противопоставлял народу буржуазию, то не в экономическом, а в культурном смысле: признавая вообще превосходство инстинкта над рефлексией, он думал, что в народных массах преобладает инстинкт, в буржуазии — рефлексия. Благодаря преобладанию непосредственности, народ, несмотря на беспорядочность и пороки, происходящие от его беспомощности и бедности, носит в себе лучшие качества первобытной невинности и совершенства, богатство чувств, доброту сердца и умение жертвовать собой. Так как всякий инстинкт есть необходимое побуждение к действию, то опять-таки только в народе живет настоящая способность к действию: образованные классы растрачивают всю свою энергию на рассуждения и разговоры, а народ скуп на слова, но зато, когда нужно, умеет действовать. В этом-то качестве народа Мишле и видел крепкий якорь спасения, главную основу лучшего будущего. Этот же самый идеализированный народ является настоящим главным героем его «Истории Французской революции».

Первый том этого труда Мишле вышел в свет в 1847 г. На нем сказалось отрицательное отношение автора, с одной стороны, к буржуазной

монархии, с другой — к тому представлению о революции, которое создавалось в социалистическом лагере. Если Бюшез отождествлял революцию с христианством, то Мишле, наоборот, ставит их в резкую противоположность друг к другу. «Я, — говорит он в самом начале своей книги, — определяю революцию, как пришествие закона, воскресение права, воздействие справедливости. Но, спрашивается, соответствует или противоречит тот закон, который явился нам в революции, религиозному закону, ей предшествовавшему? Другими словами, была ли революция христианской или антихристианской? Исторически и логически этот вопрос нужно поставить раньше всех других. Он касается, он даже проникает собою те вопросы, которые признаются исключительно политическими. Все учреждения гражданского порядка, которые застала революция, или вытекали из христианства, или были созданы по его образцам, получали его санкцию». Христианство и революция — вот для Мишле «два великих факта, два принципа, два действующих лица», которые он постоянно видит на великой исторической сцене. «Многие выдающиеся умы, — продолжает он, — в похвальном стремлении к успокоению и миру стали недавно утверждать, что революция есть только завершение христианства, что она имела своей целью продолжать его и осуществить на деле все его обещания. Если это утверждение верно, то XVIII век, философы, предшественники и вожди революции ошибались и делали совсем не то, что хотели делать. Вообще у них была совсем иная цель, отнюдь не завершение христианства... Революция продолжает христианство и находится с ним в противоречии. Она в одно и то же время его наследница и противница. В том, что они заключают общее и человеческое, именно в чувстве оба принципа сходятся. В том, что составляет обособленную жизнь, в основной идее каждого из них они находятся в противоречии и вражде. Они сходятся в чувстве человеческого братства. Это чувство, родившееся вместе с человеком, вместе с миром, присущее каждому обществу, тем не менее было расширено и углублено христианством. В свою очередь, революция, дочь христианства, проповедовала его всем, всякому народу, всякой религии, существующей под солнцем. В этом все сходство. А вот в чем различие. Революция основывает братство на любви человека к человеку, на взаимном долге, на праве и справедливости. Это единственная основа, и никакой другой не нужно. Для этого бесспорного принципа революция не искала сомнительной исторической основы. Она не выводила братства из общего родства, из последовательности поколений, которая от отцов к детям вместе с кровью передает солидарность в преступлении» (т. е. грехе). Мишле пускается в длинное рассуждение о догмате первородного греха и догмате благодати. Последний он сопоставляет со старой монархией, сближая их между собой в идее привилегии немногих избранных среди массы отверженных; точно так же подводятся им под одну категорию дог-

мат о первородном грехе и наследственность общественных положений в сословном строе общества. В этих сопоставлениях и противопоставлениях Мишле много произвольного, много самых очевидных натяжек, как много их и у самого Бюшеза, которого он оспаривал. Все, что было несправедливого в католицизме и в старом порядке, Мишле готов был сводить к одному принципу, восхваляя революцию как событие, которое принесло в мир справедливость и свободу. Религиозная свобода для него была неотделима от свободы политической, и здесь он опять не соглашался с Бюшезом. Всей своей книгой Мишле возражал писателям, которые воплощали революцию в одном якобинизме. Сам он совершенно одинаково относится и к жирондистам, и к якобинцам, видя в них партии, одинаково стоявшие над народом и руководимые образованными людьми (*lettrés*). Все хорошее, что было сделано в эпоху революции, было, по представлению Мишле, сделано всеми, т. е. народом, все дурное было делом отдельных честолюбцев, вынесенных на поверхность движением народных волн. Этих деятелей он даже называет «честолюбивыми марионетками», противопоставляя им главного своего героя — любвеобильный, великодушный и справедливый народ. Мрачные и ненавистные стороны революции, конечно, отталкивали от себя мягкого и благожелательного Мишле, но ответственность за все злодеяния он возлагал на отдельных честолюбцев, думавших руководить движением и подчинявших его своим ложным теориям.

Мишле особенно резко выступает против теории и практики якобинцев. То братство, которое они проповедают, не может быть названо братством. «Братство! братство! — восклицает он. — Еще мало только повторять это слово. Нужно, чтобы народ видел у нас братское сердце, и только тогда он пойдет за нами. Победа будет за братством любви, а не за братством гильотины... Братство или смерть! — восклицали террористы, но это было братство рабов. Зачем еще в виде жестокой насмешки присоединять к этому священное имя свободы? Братья, которые бегут друг от друга, которые бледнеют один при виде другого, которые протягивают и отдергивают мертвенную, холодную руку!.. Ужасное, отвратительное зрелище! Если что-либо должно быть свободно, так это братское чувство. Одна свобода, основанная в последнем веке, сделала возможным братство. Философия нашла человека без права, как нечто несуществующее, затерянное в религиозной и политической системе, основанной на произволе. И она сказала: сотворим человека, и да будет он через свободу! Едва созданный, он стал любить. И опять-таки посредством свободы и наше время, проснувшись от долгого сна, чтобы вернуться к своей истинной традиции, будет в состоянии, в свою очередь, продолжать великое дело. Оно не напишет в своем законе: стань моим братом или умри! Но, искусно действуя на лучшие чувства человеческой души, оно сделает так, что все, не тратя напрас-

но слов, захотят в действительности быть братьями». И вообще Мишле проводит ту мысль, что братство не осуществимо без той свободы, которую многие хотели заклеить именем индивидуализма: братство без любви есть пустое слово, любовь же не может быть вызвана террором и гильотиной. Мишле кажется, наконец, что народ не только истинный герой революции, но и самый справедливый ее судья. Он «любит, например, Мирабо, вопреки всем его порокам, и осуждает Робеспьера, несмотря на его добродетели». Мишле поэтому преклоняется перед национальной традицией, перед народной верой, как в них отразилась революция. И здесь у него мы встречаемся с той же идеализацией народа. В одном месте он прямо заявляет, что эта традиция есть национальная совесть. Написанная в таком духе и притом в весьма приподнятом тоне, и эта «История Французской революции» должна была производить очень сильное впечатление на своих читателей. Конечно, демократизм Мишле был иной, чем демократизм Бюшеза или Луи Блана, но это тоже был демократизм, и как «История Французской революции», так и другие сочинения Мишле представляли собой совершенно особое направление демократических стремлений, в котором основной чертой была мистическая вера в народ и в правду, в нем живущую. На этой почве воззрения Мишле соприкасались со взглядами Бюшеза и Луи Блана.

Родоначальником такого отношения к народу во французской литературе был, без сомнения, Руссо. И Бюшез, и Луи Блан, и Мишле были большими поклонниками женеvского философа. С последним Мишле разделял веру в неиспорченность человеческой природы, в доброту естественных чувств человека, в безошибочность непосредственных инстинктов, в то, что все лучшие силы человеческой души таятся в недрах народной массы, и к народу, вместе с Руссо, он разделял то сентиментальное отношение, в свете которого народный быт рисовался ему патриархальной идиллией. Стоит только прочесть те страницы «Народа», на которых Мишле изображает любовное отношение крестьянина к земле, дабы видеть, чего он желал для народа, в чем видел его благо.

Народ, его бедствия, его стремления играют вообще очень видную роль во французской литературе тридцатых и сороковых годов. Все наиболее живые умственные силы общества весьма несходных между собой направлений сходились на почве интереса к народу и стремления ему служить. Это общее народническое движение охватывало собой писателей разных лагерей, коснувшись и таких писателей, которые начали свою литературную деятельность под другими знаменами. Самым характерным явлением в последнем отношении был Ламенне.

Как известно, Ламенне выступил на поприще публициста еще в эпоху империи с сочинениями крайнего клерикального направления. Оставаясь на строго католической почве, он продолжал писать в том же направлении

и во времена Реставрации. Однако мало-помалу на него начинало влиять происходившее тогда общественное движение, и, отстаивая свободу преподавания, он даже объявил, что либерализм есть восстание христианского духа свободы против светского деспотизма. Проповедуя необходимость непогрешимого авторитета, каковой он полагал в папстве, Ламенне вместе с тем искал основания для этого авторитета, равно как и для всего католицизма, во всеобщем признании, т. е. как бы становился на демократическую точку зрения, оправдывая известное учреждение верою в него народных масс. Противники Ламенне уже тогда указывали ему на то, что в своих воззрениях он соединяет ультрамонтанство с якобинизмом. Когда произошел июльский переворот, этот трибун католицизма пошел еще далее в своем либерализме и демократизме. Вполне оправдывая совершившуюся революцию, он находил, однако, что она сделала не все, что должна была сделать, и для пропаганды своих идей основал с Лакордером, Монталамбером и др. газету «L'Avenir»¹. Главными пунктами его программы были уничтожение палаты пэров, установление всеобщего голосования, свобода совести, печати, образования, союзов, труда и промышленности, на первом же плане — отделение церкви от государства. Понятно, что такая проповедь была встречена с большим неудовольствием со стороны духовенства. Узнав, что папа также неодобрительно отзывался о новой газете, Ламенне со своими друзьями поехал в Рим для личных объяснений с главой церкви. Тогда на папском престоле сидел незадолго перед тем избранный Григорий XVI, суровый реакционер, враг всякой новизны. Конечно, прием, оказанный Ламенне в Риме, не мог быть для него благоприятным, но ничего определенного издатели неприятной газеты от папы все-таки не услышали. Только после их отъезда Григорий XVI обнародовал энциклику², строго осуждавшую такие ереси, как свобода совести, свобода печати и т. д. Подчиняясь папскому авторитету, Ламенне прекратил издание своего органа. С него даже было взято письменное обязательство, что он и впредь не будет ничего писать, противного католической церкви (1832 г.). Между тем во Франции совершались события, которые не могли не действовать на Ламенне, отличавшегося большой впечатлительностью и пылкостью характера. В начале тридцатых годов уже заставлял о себе говорить социальный вопрос. Попытки республиканских восстаний, подавлявшиеся при помощи военной силы, тоже обращали на себя всеобщее внимание. Ламенне в это время переживал весьма мрачное, тягостное настроение духа: вынужденное молчание было выше его сил. Наконец он не вытерпел. В 1834 г. вышла в свет его небольшая книжка под заглавием «Paroles d'un croyant». Это были действительно «слова верующего», притом верующего,

¹ «Будущее» (фр.). — Прим. ред.

² Послание папы римского всем католикам (от *лат.* encyclical < *гр.* enkylios — общий, для всех). — Прим. ред.

одаренного большим поэтическим талантом и хорошо усвоившего простой, но возвышенный тон псалмов, библейских пророчеств и евангельских притч. Содержание «Слов верующего» заключается в полном осуждении современного автору политического и экономического строя, как противного христианской религии. Народ бедствует, и из бедственного состояния его не могут и не хотят вывести ни духовная, ни светская власть. «Восемнадцать столетий тому назад Божественное слово посеяло семя, и Дух Святой оживотворил его. И видели люди цвет его и вкушали плоды его, плоды древа жизни, снова посаженного на их бедной земле. И радость их была велика, когда они узрели свет и ощутили теплоту от небесного огня. Ныне земля сделалась опять мрачной и холодной». И вот на земле этой «у лисиц есть свои логовища и у птиц небесных свои гнезда; сын же человеческий не имеет, где преклонить голову». Главные жалобы, уже раздававшиеся в лагере социальных реформаторов, нашли место и в книге Ламенне. Многие вследствие этого причисляют его к социалистам, даже называя его родоначальником католического социализма. Несомненно, что автор «Слов верующего» отразил на себе начинавший распространяться во Франции социализм, но гораздо сильнее в его книге выступает чисто политический радикализм. Еще раньше Ламенне высказывал республиканские симпатии. Теперь они выражаются у него совершенно ясно. Одно из его видений напоминает нам своей рельефностью Апокалипсис, своею фразеологией — республиканизм Французской революции: семь королей, пьющие кровь из человеческого черепа, вместо чаши, проклинают Христа, принесшего в мир свободу, и клянутся друг другу в том, что будут развращать подвластные им народы, дабы беспрепятственно ими править. Народное верховенство теперь окончательно делается политическим догматом Ламенне. В Риме «Слова верующего» встретили самое безусловное осуждение. В новой энциклике, специально посвященной книге, Григорий XVI назвал ее произведением, выдающимся по превратности изложенных в нем идей.

После этого Ламенне был в совершенном разрыве с католицизмом. В 1836 г. он даже издал книгу «Римские дела», в которой дает целый обвинительный акт против современного папства и, в частности, против Григория XVI. И в ряде новых сочинений, каковы «Книга народа» (1837 г.), «Современное рабство» (1839 г.), «Страна и правительство» (1840 г.), «Голос из тюрьмы» (1841 г.), «Набросок философии» (1841—1848 гг.), он продолжал пропагандировать свои демократические воззрения, постепенно отрешаясь от самого христианства для выработки своеобразного религиозного мирозерцания, в котором, так сказать, перекрещиваются отголоски платонизма с философией Шеллинга на почве умозрений Фомы Аквинского. За одно из этих сочинений («Страна и правительство») Ламенне даже попал в тюрьму. Да и вообще за свои нападки на июльскую монархию

он довольно часто подвергался преследованиям. Когда, наконец, пал ненавистный ему политический режим и во Франции была провозглашена республика со всеобщей подачей голосов, он начал издавать газету «Le Peuple constituant»¹. В это именно время и обнаружилось, как далек был Ламенне на самом деле от социализма. По его мнению, все социальные системы, бывшие в то время в ходу, никуда не годились, ибо, в конце концов, они приводят к коммунизму, а «собственность должна быть индивидуальной, или ее вовсе не будет». С другой стороны, по его представлению, все дело только в добровольном проявлении братских чувств между отдельными членами общества, проникнутыми христианской любовью и просвещенными религиозной верой. Наконец, он прямо предостерегал народ от «призрачных и обманчивых систем, выдумываемых людьми и только отклоняющих нас от путей, предначертанных божественным Провидением». Поэтому он обвинял все социалистические системы в том, что они готовят для народа такое рабство, какого еще свет не видел, ибо превращают человека в машину, в простое орудие, низводят его на степень раба, ниже негра, ниже животного.

Сочинения Ламенне тоже производили сильное впечатление на читателей. Подобно другим писателям, стоявшим в оппозиции к правящему классу, он выступал защитником народных интересов. Его демократизм имел тоже ясно выраженный республиканский характер. Не разделяя воззрений современного социализма и коммунизма, он, однако, не только не защищал существующего общественного строя, но обличал его, по-своему находя его противным евангельской истине.

Общественные движения, происходившие во Франции между Июльской и Февральской революцией, отразились и на изящной литературе. Правда, весьма многие явления этой литературы находились вне всякого отношения к политической злобе дня, и даже эта эпоха выставила немало представителей чистой поэзии, защитников «искусства для искусства», а с другой стороны, писатели нередко старались только угождать вкусам буржуазной толпы, тем не менее в литературе июльской монархии было слишком много отражений современности, чтобы можно было обойти ее молчанием.

Июльская революция совпала по времени с победой романтизма над классицизмом. Устами Виктора Гюго романтизм объявил себя либерализмом в литературе. В это время и он окончательно разделался со своими прежними роялистическими и католическими симпатиями. Запрещение театральной цензурой пьесы «Le roi s'amuse»² (1832 г.) крайне раздосадовало Виктора Гюго, и он заговорил оппозиционным языком. Но это еще не значило, что изящная литература обратилась к политическим темам.

¹ «Народное учредительное собрание» (фр.). — *Прим. ред.*

² «Король забавляется» (фр.). — *Прим. ред.*

В тридцатых годах роман и драма интересовались более миром внутренней жизни личности и взаимных людских отношений частного характера, чем вопросами чисто общественного свойства. События 1830 г. отразились только на лирике, да и то в данном случае вдохновляла поэтов главным образом драматическая сторона событий. Делавинь воспел Июльскую революцию в своей «*Parisienne*», за которой последовала «*La Varsovienne*»¹, воспевавшая польское восстание. Последнее вообще вдохновляло французских поэтов, среди которых по этому же поводу необходимо назвать и старика Беранже. Бартеlemi и Мери, осмеивавшие в стихах порядки Реставрации и подвергавшиеся за это преследованиям, выразили свое недовольство исходом Июльской революции в стихотворении «*La dupinade ou la revolution dupée*»². Великий сатирик Барбье нападал с негодованием в своих сильных стихах («Ямбы») на реакционное направление властей и правящих классов, вырывавших у народа плоды его июльской победы. Вообще, репрессивные меры против печати сильно раздражали писателей и отвращали их от июльского режима. Но самое интересное литературное явление, достойное здесь быть отмеченным, это — обращение романистов и драматургов к начинавшему все более и более волновать умы социальному вопросу.

В сороковых годах одним из самых любимых видов литературы во Франции сделался так называемый социальный роман, главным содержанием которого было изображение бедствий, происходящих от дурного устройства общества. Особенно много читались в эту эпоху знаменитые «Парижские тайны» Эжена Сю, вышедшие в свет в 1842 г. Автор этого романа вступил на литературное поприще еще около 1830 г. и скоро сделался одним из наиболее читаемых авторов. Первоначальное его направление, однако, далеко не соответствовало новым демократическим стремлениям. Скорее, он был даже бытописателем доброго старого времени и противником современных идей. Около 1840 г. он сразу перешел в лагерь социалистов и в своих «Парижских тайнах» дал ужасающую картину нищеты и порочности парижского пролетариата. Это произведение было написано в духе сенсационных романов той эпохи, рассчитанных на то, чтобы поражать читателя разными невероятностями и несообразностями, но основная мысль Эжена Сю была та, что все ужасы, которые он изображал, были результатом дурного общественного устройства. Успех романа был колоссальный. О нем свидетельствуют многочисленные издания, выдержанные им в короткое время, между прочим, дешевое издание для народа, а также и разные подражания, которые стали появляться на литературном рынке. «Парижские тайны» были переведены на многие языки, и имя Сю сделалось одним из наиболее популярных во всей Европе. И впоследствии

¹ «Парижанка», «Варшавянка» (фр.). — *Прим. ред.*

² «Измена, или Обманутая революция» (фр.). — *Прим. ред.*

Сю выступал с романами, в которых затрагивал социальные вопросы. Его книга «*Les mystères du peuple*»¹, в коей изображалось состояние пролетариата в разные исторические времена, подвергалась даже судебному преследованию, и присяжные приговорили уничтожить ее за ее безнравственность и опасное направление, так как увидали в ней призыв к мятежу.

Почти в одно время с Эженом Сю сделала социальные отношения предметом своих произведений и самая замечательная романистка эпохи, Жорж Санд. Как известно, это был литературный псевдоним Авроры Дюдеван, вступившей на литературное поприще в начале тридцатых годов в сотрудничестве с Жюлем Сандо, из фамилии которого и возник ее литературный псевдоним. В своей юности Жорж Санд пришлось испытать массу неприятностей семейного характера в смысле родительского и супружеского деспотизма. Разошедшись в 1831 г. с мужем, она поселилась в Париже, подружилась со многими молодыми писателями и постоянно вела с ними компанию, переодевшись в мужское платье. Первые ее романы представляли из себя проповедь свободы чувства, заступничество за права женщины против того положения, в какое ее ставили семья и брак как основа семьи. Эти романы были написаны в романтическом духе, и реальная жизнь подвергалась в них сильной идеализации. У Жорж Санд никогда не исчезала мистическая основа ее миросозерцания, и на ней до самого конца сверх того сказывалось влияние сентиментализма Руссо. Ее романы производили сильное впечатление на современное общество. Особенно большое влияние оказала Жорж Санд на теоретическую постановку женского вопроса; в этом отношении ее проповедь имела много общего с той эмансипацией женщины, о которой говорили сен-симонисты. Некоторые романы Жорж Санд делались предметом самых живых общественных толков, и нет ничего мудреного в том, что социальные реформаторы той эпохи искали сближения с талантливой романисткой, которая обнаруживала замечательную способность к красноречивой защите исповедуемых ею принципов. Сама Жорж Санд, натура в высшей степени подвижная и увлекающаяся, искала знакомств среди людей нового образа мыслей, легко воспринимала их идеи, особенно если последние гармонировали с ее собственным миросозерцанием, и около 1840 г. от мира личной страсти, который изображала в первых своих романах, обратилась к окружающей общественной действительности, дабы воспроизвести ее в целом ряде новых романов с содержанием прямо социальным.

Начало ее сближения с тогдашними демократами относится к середине тридцатых годов. Именно в это время она сблизилась с Мишелем, одним из адвокатов, принимавших участие в знаменитом политическом процессе по случаю республиканского восстания 1834 г. Впервые в это

¹ «Народные тайны» (фр.). — Прим. ред.

время Жорж Санд начала интересоваться политикой, тем более что сам Мишель указывал ей на эгоистичность любви и говорил о необходимости распространить защиту человеческих прав на всех, кто только страдает от людской несправедливости. Около того же времени Жорж Санд стала видаться с Ламенне, Леру и Луи Бланом. Особенно сильное влияние оказали на нее два первых писателя, более подходившие к ее собственному миро-созерцанию и настроению своим религиозным мистицизмом. С этого времени в своих романах она начала заступаться за народ против своекорыстной буржуазии, пользуясь привычной ей литературной формой для того, чтобы распространять социалистические идеи. В 1841 г. со своими новыми друзьями она даже основала журнал «*Révue Indépendante*»¹ для пропаганды новой социальной религии. В романах Жорж Санд, вышедших из-под ее пера в сороковых годах, выводятся на сцену лица разных общественных положений, но все симпатии автора на стороне пролетариата и крестьянства. Мы напрасно, однако, стали бы искать в этих романах настоящий народ. Свою прежнюю манеру — идеализировать действительность — она перенесла и в новую область литературного творчества. Народ в ее произведениях, в особенности сельский люд, который она идеализировала с тем большей охотой, что здесь ей представлялась возможность рисовать чисто идиллические картины быта, является вообще настроенным весьма религиозно и в то же время обладающим здравым смыслом и большой практической мудростью. Первым романом, в котором она открыто стала проповедовать новые идеи, был «*Le Compagnon d'un tour de France*», названный в русском переводе по имени главного героя «Пьер Пюгенен» (1841 г.). За этим романом следовал ряд других, и все они нарасхват читались публикой, производя сильное впечатление на людей, бывших недовольными существующими порядками.

Французский театр сороковых годов равным образом становился оружием пропаганды новых общественных идей. Достаточно вспомнить пьесу «Парижский ветошник», о которой писал Герцен в своих корреспонденциях из Парижа в 1847 г. Автором этой пьесы был Феликс Пиа, игравший впоследствии такую видную роль в истории французской демократии. Герцен рассказывает анекдот о том, что, когда знаменитый в то время французский актер Леметр представил некоторые сцены из этой драмы перед королевой Викторией в Виндзоре, последняя была ими тронута до слез. «Неужели в Париже много таких бедняков?» — спросила она Леметра. «Много, ваше величество, — отвечал Леметр, — это — парижские ирландцы».

Новое общественное движение было встречено во Франции господствовавшей в то время эклектической философией весьма неблагоприятно.

¹ «Независимый мечтатель» (фр.). — Прим. ред.

В эпоху июльской монархии эклектизм Кузена, сделавшегося членом государственного совета и палаты пэров, получил, так сказать, официальное признание, и философские кафедры замещались почти исключительно его последователями. Нисколько не изменив своего характера, эта школа стала направлять свои удары только в другую сторону, чем делала это раньше. Прежде она боролась против реакционного католицизма, заимствуя свои идеи из Германии, а теперь врагом, с которым она считала нужным вести борьбу, был социализм, немецкая же философия сама, как мы увидим, резко порвала со своим консервативным прошлым. Недовольный таким оборотом, Кузен возвратился к «национальным традициям» в философии, усердно начав изучать Декарта. Весьма естественно, что представители новых общественных идей выступили противниками Кузена, хотя сами стояли на религиозно-мистической точке зрения. Впрочем, в рассматриваемый период вышел в свет «Курс положительной философии» (1830—1842 гг.) Огюста Конта, но в ту эпоху он не обратил на себя большого внимания и не оказал влияния на мирозерцание современников¹.

¹ Социальные идеи тридцатых и сороковых годов не в одной Франции имели, как выразился бы Конт, теологическую и метафизическую окраску, т. е. принимали мистический и романтический характер («утопический социализм»). Только очень немногие в это время мечтали об основании социальной философии на данных науки, хотя и не все понимали, как это должно было произойти (пример — Луи Блан). Мысль Конта о социологии как позитивной науке об обществе поэтому имеет в высшей степени важное значение. В Германии с такой же идеей несколько позже выступил Маркс, как это будет показано в обеих следующих главах.

XV. Немецкий литературный и политический радикализм тридцатых и сороковых годов¹

Влияние Июльской революции на умственную жизнь Германии. — Бёрне и Гейне как главные представители оппозиционной литературы. — Личность и литературная физиономия Бёрне. — Общественное мировоззрение Гейне. — «Молодая Германия» и политическая лирика. — Начало раскола в гегельянстве. — Штраус, Фейербах, Бруно Бауер, Штирнер. — Деятельность Руге. — Первое выступление Карла Маркса. — Философские и политические взгляды Маркса в начале сороковых годов

На Германии Июльская революция отразилась не только тем, что вызвала несколько политических волнений. Тридцатые и сороковые годы были эпохой и совершенно новых явлений в умственной жизни немецкой нации, на которых несомненным образом сказалось влияние Июльской революции. Последняя нанесла удар всему тому, что было в столь большом почете в Германии в эпоху Реставрации. В немецкой литературе тридцатых и сороковых годов происходило освободительное движение, которое было настоящим протестом против начал, получивших перевес в жизни немецкого народа в предыдущий период. В самом деле, до 1830 г. реакция господствовала в Германии не только в области политики, но и в умственной жизни. В литературе царила романтическая школа, характеризующаяся преклонением перед Средними веками, их культурными принципами

¹ Общие сочинения по истории немецкой литературы: *Hillebrand I.* Die deutsche Nationalliteratur seit dem Anfange des XVIII Jahrhundert (1850 и след.; см. вторую половину III тома); *Gottschal.* Deutsche Nationalliteratur des XIX Jahrhunderts. 1892; *Kirchner.* Die deutsche Nationalliteratur des XIX Jahrhunderts, 1893. Специально «Молодой Германии» посвящены книги: *Wehl F.* Das junge Deutschland. Ein kleiner Beitrag zur Literaturgeschichte unserer Zeit, 1886; *Brandes G.* Das junge Deutschland (VI т. его соч. Die Literatur des XIX Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen, 1891). Соч. о Бёрне и Гейне: *Boden A.* Heine und Börne. 1841; *Reinganum.* Биография Бёрне при полном собрании сочинений, 1862; *Grün C.* Биография Бёрне в другом издании его сочинений, 1868; *Alberti C.* Ludwig Börne, 1886. По-русски есть перевод его сочинений, сделанный П.И. Вейнбергом, написавшим и биографический очерк Бёрне. Кроме того, см.: *Утин Е.* Политическая литература в Германии // Вестник Европы, 1870. Биографии и характеристики Гейне писались *Meisner*'ом (1856), *Strodtmann*'ом (1857 и более новые издания), *Proelss*'ом (1886), П.И. Вейнбергом (1892, в «Биографической библиотеке» Павленкова). Изд. соч. Гейне в русских переводах под ред. П. И. Вейнберга. Немало указаний на политические взгляды Бёрне и Гейне собрано в кн. Юлиана Шмидта по истории французской литературы, названной выше. Для истории философского движения см. общие курсы по истории новой философии или истории философии в Германии, особенно *Erdmann.* Grundriss der Geschichte der Philosophie. II. 608 sq. Более подробные указания в русских переводах книг Ибервега-Гейнца и Фалькенберга. Литература о Марксе указывается в след. главе.

и социальными формами. Это литературное направление стояло далеко от действительной жизни или даже относилось к ее треволнениям как к чему-то будничному и недостойному внимания людей, живущих высшими духовными интересами. Идеалистическая философия этой эпохи равным образом отличалась абстрактностью и, если нисходила из заоблачных высот для того, чтобы говорить о земных предметах, то лишь для оправдания окружающей действительности, а так как эта действительность имела реакционный характер, то и философия, которая ее оправдывала, была проповедью по меньшей мере общественного квиетизма. В области правоповедения самым выдающимся явлением того времени была так называемая историческая школа, которая, конечно, оказала весьма важные услуги развитию объективной науки, но в общественном смысле придерживалась начал строгого консерватизма. Впоследствии по образцу этой исторической школы юриспруденции сформировалась и историческая школа в политической экономии, которая точно так же или сторонилась живых вопросов современности, или стремилась разрешить их в консервативном смысле. Под тройным влиянием романтической литературы, идеалистической философии и исторической школы права немецкое общество как будто засыпало, но Июльская революция его пробудила. «С тех пор, — говорит Гейне, — как Лютер защищал свои тезисы на Wormsском сейме, ни одно событие так сильно не взволновало мое отечество, как Июльская революция». Переворот этот был совершенной неожиданностью для немцев: до такой степени они свыклись с мыслью о том, что жизнь европейских народов вступила в период какой-то неподвижности, которую проповедовали и литераторы, и философы, и ученые. Несмотря на то что за политическими движениями, вызванными в Германии Июльской революцией, снова наступила реакция, на этот раз она ограничилась главным образом одними правительственными сферами, тогда как в обществе, наоборот, те идеи, проповедниками коих были писатели предыдущих лет, стали утрачивать всякий кредит, а на первый план выдвинулись новые идеи, бывшие отрицанием не только господствовавших порядков, но и принципов, царивших в умственной жизни Германии до 1830 г. В данном отношении особенно характерными явлениями немецкого культурного развития тридцатых и сороковых годов было, с одной стороны, новое литературное направление, сделавшееся известным под именем «Молодой Германии», а с другой — новое философское направление, имевшее своих представителей в лице так называемых «молодых гегельянцев», образовавших в школе знаменитого философа «левую» партию. И в литературе, и в философии, порвавших с традициями Реставрации, стал господствовать радикализм, который по временам принимал прямо революционный характер.

Главными представителями нового литературного движения были Бёрне и Гейне. Оба они по происхождению принадлежали к еврейству. Не свя-

занные со старыми национальными традициями немецкого общества, оба они должны были скорее отрицательно относиться к этим традициям, если только мы вспомним, в каком унижении жили их единоплеменники при господстве старого порядка. К окружающей их действительности оба они относились отрицательно, как и к тем культурным началам, которые господствовали в литературе предыдущих десятилетий. Сначала они между собой сблизились, встретившись в Париже, куда оба отправились после Июльской революции. Они даже стали вместе действовать, но затем разошлись в разные стороны благодаря крайнему несходству своих натур. Бёрне относился к жизни как практический деятель, Гейне — как художник. Один был прежде всего политическим агитатором, другой интересовался более всего эстетической стороной жизни. К своим принципам Бёрне относился с крайним фанатизмом, не позволявшим ему глядеть по сторонам, и даже все, как следует, видеть там, куда были направлены его умственные взоры. У Гейне, наоборот, скорее не было принципов, и ко всему он готов был относиться скептически, особенно если что-нибудь не совпадало с его артистическим вкусом; во всяком случае, он интересовался весьма живо многими такими вещами, которые для Бёрне имели значение пустяков. Когда Бёрне хорошо узнал, что представлял собой Гейне, он постоянно упрекал его в политическом индифферентизме и в чрезмерном преклонении перед художественной формой. Он говорил, например, что, пожалуй, в эпоху Великой революции Гейне и способен был бы увлечься сценой в *Jeu de Paume*¹ и стал бы на сторону самых рьяных защитников свободы, но если бы он увидел, что из кармана Мирабо высовывается кончик трубки с кисточкой, как у любого немецкого бурша², он тотчас же охладел бы к свободе и начал бы выхваливать в чудесных стихах прелестные глаза Марии-Антуанеты. Это было сказано очень зло, но вместе с тем весьма метко. Со своей стороны, Гейне находил Бёрне слишком узким и слишком скучным и, признавая его честность, не хотел признавать за ним дарований. Впоследствии, уже после смерти Бёрне, он написал о нем небольшое сочинение, в котором даже весьма нескромно выставляет на вид собственные свои достоинства рядом с недостатками своего бывшего приятеля. Оба они будили мысль немецкого общества, но каждый по-своему, и в этом смысле они только друг друга дополняли. Как писатель, Гейне, конечно, стоял гораздо выше своего соперника, но последний превосходил его как нравственная личность и как общественный деятель. Оружием Гейне была злая насмешка; ради красного словца, лишь бы только вышло остроумно, он никого и ничего не щадил, позволяя себе выходки и против тех принципов, которым, по-видимому, служил всей своей литературной деятельностью. Такие выходки были осо-

¹ Галерея (зал) для игры в теннис (*фр.*). — *Прим. ред.*

² Наименование члена студенческой корпорации в немецких университетах. — *Прим. ред.*

бенно несимпатичны Бёрне: он тоже умел зло смеяться, но не умел смеяться ради простого остроумия, так как в основе его смеха лежало глубокое негодование на те явления жизни, которые находились в резком противоречии с его нравственным и общественным идеалом.

Людвиг Бёрне первоначально предназначался к занятию медициной, потом юриспруденцией, по желанию своего отца, мелкого франкфуртского банкира. Но его влекли к себе науки политические, на которых он окончательно и остановился. Его студенческие годы пришлось на время национального возбуждения Германии, вызванного борьбой с Наполеоном. Еще совсем молодым человеком он стал издавать журналы в либеральном духе, выступая специально против людей, которые в это время в Германии проповедовали ненависть к французам и ко всему французскому. По условиям тогдашней цензуры, ему не всегда было возможно проводить без обиняков свои политические взгляды. Особенно охотно он обращался к критике литературных произведений, если при этом представлялась возможность высказать те или другие общественные взгляды. Статьи по форме выходили литературные, по содержанию публицистические. Другую категорию его статей представляли те, в коих он выступал сатириком, изображая в смешном виде тогдашнюю немецкую периодическую печать, равно как немецкое общество, составлявшее читателей всей этой пошлой прессы. Цензура преследовала издания Бёрне, да и к нему самому власти относились довольно подозрительно. Однажды во время знаменитого преследования демагогов Бёрне даже предпочел на время покинуть родину и уехал в Париж. Другой раз ему не удалось избежать обыска, за которым последовал арест, впрочем непродолжительный, так как в бумагах его не было найдено ничего сколько-нибудь предосудительного. Когда вспыхнула Июльская революция, Бёрне поспешил в Париж. Сначала все его там необыкновенно увлекало и он был в полном восторге от переворота, пока не стали обнаруживаться признаки вызванной этим переворотом реакции. За кратковременным периодом увлечения наступил период разочарования. Но Бёрне остался жить в Париже, откуда своими сочинениями главным образом и действовал на немецкое общество. Для многочисленных политических выходцев из Германии, искавших убежища в Париже после неудачи революционных попыток начала тридцатых годов, дом Бёрне сделался своего рода центром, и сам он на время превратился в вождя немецкого политического радикализма. Только в последние годы своей жизни он был вынужден из-за болезни проводить свои дни в уединении. Кроме того, он один из первых пришел к мысли о необходимости объединения политической деятельности друзей свободы в обеих соседних нациях. Вообще французская общественная мысль в эту эпоху оказывала весьма сильное влияние на немцев, а Бёрне был первым видным писателем, который стал разъяснять немцам значение Июльской революции.

В двадцатых годах Бёрне был еще мало известен читающей публике. В 1829 г. он предпринял издание своих сочинений, весьма сочувственно принятое критикой, но сначала не обратившее на себя большого внимания в обществе. Только когда появились его «Письма из Парижа», он сразу прославился и сделался одним из любимцев читающей публики. Первоначально эти письма вовсе не предназначались для печати. Бёрне писал их к одной своей приятельнице, госпоже Воль, которая убедила его потом предать эти письма гласности. В них вылилось все то, что накопилось у него на душе по поводу событий 1830 г. не только во Франции, но и в других странах. Немецкие правительства, встревоженные громадным успехом книги, поторопились ее запретить, а писатели из консервативного лагеря стали нападать на ее автора. Это только увеличило популярность Бёрне. В 1832 г. он даже предпринял не вполне безопасное путешествие в Германию на знаменитый Гамбахский праздник. Во время этого путешествия он был предметом самых пламенных оваций со стороны немецких либералов. Этот успех заставил его продолжать свои «Письма из Парижа», в которых он по-прежнему давал волю своему политическому негодованию. Общественное миросозерцание Бёрне можно определить как политический радикализм. Он верил, что политическая свобода в демократических формах есть главное, и даже единственное средство против всех общественных бедствий. Социальный вопрос его интересовал очень мало, и он думал даже, что установление республиканской формы правления само по себе может устранить все недостатки общественного устройства. Только в конце своей жизни он стал увлекаться проповедью Ламенне и даже начал переводить его сочинения на немецкий язык, да и то, по-видимому, ценя в этих сочинениях религиозно-демократическое направление их автора. Известно, что Бёрне принял христианство лишь в 1817 г., имея от роду около тридцати лет. Его личное отношение к христианской религии было весьма сочувственное, и в ней ему особенно нравилась заповедь братской любви. Христианство казалось ему религией демократии и гуманности, религией простонародья (*die Religion des armen Teufels*¹). Он даже считал католицизм религией свободы, ссылаясь, между прочим, на то, что единственным народом на севере Европы, ведущим борьбу за свободу, являются поляки, оставшиеся верными католицизму. Не будучи человеком верующим в догматическом смысле, он неприязненно относился, однако, к сен-симонистам за их отступничество от католицизма и очень не одобрял появившуюся в последние годы его жизни книгу Штрауса «Жизнь Иисуса». Такое отношение к христианству вполне объясняет нам, почему Бёрне сделался переводчиком «Слов верующего» Ламенне. Тон, в котором Бёрне писал свои памфлеты, отличался большой резкостью. В его глазах главными виновниками всего дурного в общественной жизни

¹ Религия бедолаг (нем.). — Прим. ред.

были правители. С другой стороны, еще в самом начале своей литературной деятельности он всячески преследовал филистерство, в котором видел главный недостаток немецкого общества. «Если бы, — писал он однажды, — я был немецким государем, я всех своих подданных сделал бы счастливыми: я всех их произвел бы в надворные советники, да, по крайней мере, в надворные советники». Его очень огорчало, что другие народы гораздо более любят свободу, чем его соотечественники. «Испанцы, итальянцы, русские, — писал он в 1831 г., — и разные другие народы — рабы, а народы немецкого языка — прислужники. Рабство, однако, делает людей только несчастными, не лишая их достоинства, тогда как прислужничество унижает человека». На одном международном банкете 1831 г. он даже не решился произнести речи, объяснив потом свой отказ следующим образом: «Поляк, испанец представляют собой некоторое отечество; за каждым из них стоит целый народ. Но что представляю собой я? О каких делах я напоминаю? Я стою одиноко, я лакей и, как все немцы, ношу ливрею». Весьма естественно, что своими нападками на сам характер немецкого общества он возбуждал против себя национальное чувство значительной части своих соотечественников, и как среди его современников, так и впоследствии против Бёрне раздавались обвинения в недостатке патриотизма, в желании всячески унижать Германию и на ее счет возвышать Францию, как настоящую страну света и свободы. Главным противником Бёрне в этом отношении был известный «французоед» (Französenfresser) Менцель, когда-то либерал, впоследствии обскурант и реакционер, сделавшийся даже настоящим политическим доносчиком. В последний год своей жизни (1837 г.) Бёрне разразился против него известной статьей, которая еще более ожесточила Менцеля против нового направления литературы.

Литературная деятельность Генриха Гейне началась лет за десять до Июльской революции. Первые его произведения, написанные в духе романтизма, увидели свет еще в его студенческие годы. Уже в этих юношеских его произведениях обнаруживалось довольно смелое отношение автора к традиционным решениям разных религиозных и моральных вопросов. В 1825 г. Гейне окончил свой докторский экзамен, переменяв еврейскую религию на лютеранство, что ни малейшим образом не было результатом какого-либо убеждения. Около этого времени он много путешествовал по Германии, плодом чего были его знаменитый «Reisebilder». Появление первого выпуска этого сочинения Гейне доставило ему большую известность, но вместе с тем книжка подверглась запрещению. Та же судьба постигла и вторую часть «Путевых картин», которая также произвела сильное впечатление. Сам Гейне считал даже более благоразумным на время уехать в Лондон. И третья часть «Путевых картин» была запрещена тотчас же после своего выхода в Берлине, который Гейне благоразумно поспешил оставить. Вскоре после этого произошла Июльская революция, и Гейне стал подумывать о переселении в Па-

риж. Намерение это он привел в исполнение весной 1831 г., сделавшись корреспондентом «Allgemeine Zeitung». Однако его корреспонденции в эту газету должны были скоро прекратиться, потому что у ее издателя власти прямо потребовали прекращения сотрудничества с Гейне. Тогда он собрал свои статьи в одну книгу, под заглавием «Französische Zustände»¹ (1832 г.), снабдив ее таким предисловием, после которого возвращение на родину сделалось для него совершенно немыслимым. Подобно Бёрне, в Париже Гейне стал сближаться с французами и даже писал для французских журналов статьи по религии, философии и литературе Германии. На родине между тем его сочинения подвергались новым преследованиям. Его поэма «Зимняя сказка», в которой он подвергает беспощадному осмеянию тогдашние немецкие порядки, была немедленно запрещена, а прусским пограничным властям было послано предписание схватить дерзкого поэта, если бы он только где-нибудь появился. Таким образом, Гейне был обречен проводить жизнь в изгнании. В сороковых годах он даже вынужден был жить на пенсию, которую ему платило французское правительство. Когда в Париже вспыхнула новая революция, Гейне был уже настоящей развалиной от страшной болезни, в течение восьми лет державшей его прикованным к постели.

Здесь не место рассматривать деятельность Гейне как поэта, особенно в тех сторонах его поэзии, за которые его справедливо называют великим писателем. Для нас здесь важно указать лишь на характер общественного миросозерцания и политического настроения Гейне, бывший полной противоположностью романтизма, в духе которого Гейне начал свою поэтическую деятельность. Незадолго до своей смерти в «Признаниях» (1854 г.) он сам писал, что один умный француз назвал его «романтиком-расстригой» (*un romantique défroqué*) и что такое определение весьма метко. «Делая, — продолжает он, — опустошительные набеги против романтики, я сам оставался, однако, романтиком и был им еще в большей мере, нежели то думал сам». Действительно, он весьма многое унаследовал и удержал за собой из романтизма, хотя в то же самое время своей насмешкой никто не наносил романтизму таких, как он, убийственных ударов. Особенно было важно то, что он сделал предметом своей поэзии действительную жизнь и что он внес в свою поэзию критическое отношение к принципам и формам культурного и политического быта современной ему Германии. Благодаря этому то, что было романтического в его литературной деятельности, получало совершенно иной характер, и эта деятельность приобрела, несомненно, освободительное значение для общества, которое только что пережило несколько лет самой мрачной культурной реакции.

Немецкий романтизм питался идеями Средних веков с их рыцарством и монашеством. В одном из своих произведений Гейне называет себя «ры-

¹ «Французские дела» (нем.). — Прим. ред.

царем духа», но этот рыцарь, как опять-таки говорит о себе он сам, был «удалым барабанщиком» свободы, «храбрым солдатом в войне за освобождение человечества». Прежде всего это освобождение было освобождением от всякого аскетизма и пуританизма. Поэт защищал права человеческой личности, наслаждение радостями жизни, и в этом смысле та реабилитация плоти, которую проповедовали сен-симонисты, была весьма симпатична Гейне. Пожалуй, только это и понимал он в сен-симонизме, экономическая доктрина которого его интересовала весьма мало. Вообще, всех людей по миросозерцанию и настроению он делил на иудеев и эллинов, отдавая решительное предпочтение жизнерадостному эллинству перед ригористическим иудейством. Первая Французская революция казалась ему слишком строгой и добродетельной, потому что его собственное сочувствие было на стороне демократии блаженных богов, питающихся нектаром и амброзией и живущих в полное свое удовольствие. Гейне всегда был индивидуалистом-эпикурейцем и потому не сносил никаких внешних стеснений. Но этот эпикуреец не был квиетистом и индифферентистом. Натура его была боевая, и настроение оппозиционное. При этом, однако, он был лишен строго определенного политического миросозерцания, будучи способен восторгаться силой и величием духа, проявлялась ли она в революционном порыве народа или гениальной личности Наполеона, глубоко презирая только всякую посредственность и пошлость, проявлялись ли они в буржуазном филистерстве целых общественных слоев, или в тех «трех дюжинах монархов», как он называл современных ему немецких государей.

Гейне с восторгом приветствовал Июльскую революцию. Известие о перевороте пришло к нему, когда ради купания в море он жил на острове Гельголанде. «С материка, — писал он тогда же, — получился толстый пакет газет с горячими, знойно-жаркими новостями. То были солнечные лучи, завернутые в бумагу, и они произвели в душе моей самый дикий пожар. Мне казалось, что я мог зажечь весь океан до северного полюса тем огнем вдохновения и безумной радости, который пылал во мне. Я, как сумасшедший, бегал по всему дому.. Я все еще точно во сне, — читаем мы в другом месте. — Особенно имя Лафайета звучить для меня, как сказка, слышанная в самом раннем детстве. Неужели он, в самом деле, снова сидит на коне, предводительствуя национальной гвардией?... Лафайет, трехцветное знамя, марсельеза! Я в совершенном опьянении! Смелые надежды страстно вздымаются во мне, как деревья с золотыми плодами и длинными-длинными ветвями, достигающими высоких облаков... Я сын революции, — восклицает еще Гейне, — и снова берусь за оружие, над которым моя мать произнесла свое полное чар благословение. Цветов! цветов! Я увенчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру! дайте мне лиру, чтобы я спел боевую песню. Из нее вылетят слова подобно пламенным звездам, которые стреляют вниз с небесной высоты, сожигая дворцы и освещая хижины». Поэту даже каза-

лось, что он совсем сошел с ума: «Из этих диких, завернутых в печатную бумагу солнечных лучей один попал мне в мозг, и все мои мысли горят ярким пламенем». Ему иногда представлялось, что его члены получали колоссальные размеры, и он на неизмеримо длинных ногах перебежал из Германии во Францию: «Да, я помню, что прошедшей ночью я пробежал по всем немецким землям и землям и стучал в дверь моих друзей и будил спящих». В этих словах Гейне выразил его восторг, с одной стороны, перед драматической красотой момента, с другой — перед свободой, которая для него тоже была своего рода красотой. Он не прочь был вдохновляться и картинами будущего лучшего общественного строя, когда последний рисовался ему в поэтических красках. Но восторгаясь марсельезой, он в то же время создавал своего рода культ Наполеона и с аристократической брезгливостью отворачивался от реального народа, когда ему приходилось с ним непосредственно сталкиваться. Прибавим еще, что его пугали новые социальные стремления, которые, как ему казалось, грозили красоте жизни с ее духовными интересами, поэзией и искусством. В «Признаниях», написанных уже незадолго до смерти, Гейне очень хорошо передает это свое настроение, сам отмечая собственные свои противоречия в области общественных взглядов¹. Самодержавие народной массы его пугало. «Мы, — говорит он, — охотно жертвуем собой за народ: самопожертвование принадлежит к числу утонченнейших наших наслаждений; освобождение народа было великой задачей нашей жизни. Мы боролись за нее и перенесли много неизъяснимой скорби как на родине, так и в изгнании. Но, — продолжает он, — чистая, чувствующая натура поэта боится всякого личного близкого прикосновения к народу. Один великий демократ сказал однажды: если бы король пожал мне руку, я тотчас же положил бы ее в огонь, чтобы очистить ее. А я говорю: если бы самодержавный народ удостоил меня рукопожатия, я вымыл бы после того руки». В тех же «Признаниях», откуда выписаны эти строки, Гейне рассказывает о своей встрече «со знаменитым подмастерьем портного Вейтлингом, который отрекомендовал себя, как товарища, преданного тем же революционным и атеистическим доктринам». В эту минуту Гейне «желал, чтобы милосердный Бог вовсе не существовал, дабы не мог заметить замешательства», в какое Гейне был повергнут таким товариществом и недостатком почтительности, обнаруженным со стороны этого мастерового. С особой брезгливостью слушал он рассказ Вейтлинга о том, как тюремщики надевали ему цепи. «Странные противоречия в чувствах человеческого сердца! — восклицает при этом Гейне. — Я, поцеловавший однажды с благовоением в Мюнстере останки портного Яна Лейденского, цепи, которые он носил, и орудия его пытки, до сих пор хранящиеся в нише перед мюнстер-

¹ На упрек Бёрне, находившего противоречия в мнениях Гейне, последний отвечал, что каждый раз, когда он начинает что-нибудь писать, он обыкновенно перечитывает политические взгляды прежних своих сочинений, дабы не впасть как-нибудь в противоречие с самим собой.

ской ратушей, — я, восторженно поклонявшийся мертвому портному, почувствовал непреодолимое отвращение при приближении живого портного, бывшего, однако, мучеником того самого дела, за которое пострадал блаженной памяти Ян Лейденский». И Гейне к этому прибавляет, что он не в состоянии объяснить это противоречие и только констатирует факт, несмотря на возможность крайне неблагоприятного для себя его истолкования.

Вот почему у Гейне мы встречаем одновременно выражения крайнего страха перед надвигающимися социальными стремлениями и прославление будущего общественного строя, на который направлены все эти стремления. «Моя боязнь коммунизма, — говорит он, — право, не имеет ничего общего со страхом счастливого, дрожащего за свои капиталы. Нет! сердце мое сжимается с затаенным страхом художника и ученого, которые понимают, что победа коммунизма грозит гибелью всей нашей новейшей цивилизации, наследству, добытому трудом стольких столетий, плоду благороднейших усилий наших предшественников». Тот же самый Гейне, однако, написал в первой главе своей «Германии» «Новую песнь», на которой, как думают некоторые, сказалось влияние Маркса¹.

Во всяком случае, отношение Гейне к тогдашней политической действительности его отечества было, в общем, вполне отрицательное. «Три дюжины немецких корон» не давали ему покоя, а в частности его сатирическое перо особенно поражало некоторых представителей власти в Германии. С особенной резкостью он относился к Пруссии, казавшейся ему воплощением всего того, что было для него наиболее ненавистного в тогдашней немецкой общественной жизни. Свое политическое настроение он выражал подчас с такой резкостью, которая должна была казаться более, нежели дерзостью, всем немецким правительствам (например, его стихотворение «1649—1789—???»). Весьма естественно, что сочинения этого писателя в тогдашней Германии были запрещены.

Бёрне и Гейне причисляют к литературной группе, которая получила название «Молодая Германия», хотя в более тесном смысле это имя носило несколько писателей более второстепенного значения, именно Лаубе, Винбарг, Гутцков и Мундт. Это были писатели, которые, подобно Гейне, порвав связи

¹ Другую, другую и лучшую песнь / Для вас я, друзья, начинаю: / Небесное царство уж здесь на земле. / Я с вами найти уповаю. / Мы счастливы будем и здесь на земле... / К чему распинанья и муки? / Ленивому брюху того не проесть, / Что нам заработают руки. / А хлеба для всех земнородных и здесь / Довольно еще наберется: / Есть мирты и розы, краса и любовь, / И сладкий горошек найдется. / Да, сладкий горошек для всех мы найдем, / Пусть только стручочки облупим, / А страны воздушные мы воробьям / И силам нездешним уступим... / Да, новую, новую, лучшую песнь: / Звучит она музыкой бальной... / Исчезни навек Miserere пред ней, / Замокны и звон погребальный! / Прекрасный у девы Европы жених... / То гений свободы: ликуя, / Друг другу в объятья упали они, — И в первом слились поцелуе. / И пусть освящения им нет от попа, / Их брак всех прочнее на свете, / Да здравствуют век молодая чета / И все их грядущие дети!

с романтическим мирозерцанием, сохранили, однако, его субъективизм гениальных натур, свысока взирающих на будничную жизнь. В области политических взглядов они примыкали к радикализму и благоговели перед Францией, что и создавало близость между ними и Бёрне. Их моральная доктрина, как и у Гейне, была своеобразным эпикуреизмом, протестом против всякого аскетизма и ригоризма, проповедью реабилитации плоти. В этом отношении на них сказывалось влияние сен-симонизма и романов Жорж Санд — из той поры ее деятельности, когда основным мотивом этих романов была эмансипация женщины. Произведения «Молодой Германии» наделали немало шума, и на них было обращено внимание. Главным литературным противником «Молодой Германии» явился Менцель, действовавший прямо нелитературными приемами. В своих напаках на эту группу он стал указывать, что она пропагандирует презрение к родине, вражду к религии, прямую безнравственность и неуважение к установленным властям и существующим порядкам. Результат известен: 10 декабря 1835 г. союзный сейм издал свое знаменитое постановление, которым немецкие правительства обязывались действовать всеми уголовными и полицейскими средствами своих земель против сочинителей, издателей, типографщиков и распространителей произведений «Молодой Германии», как названа была официально новая литературная школа. Это постановление только усилило оппозиционное настроение новой литературной школы, и ее представители начинают проявлять еще больший радикализм. Как мы увидим несколько далее, около того же 1835 г. начинается новое движение и в области немецкой философии. Оба направления даже объединяются в общем действии — на почве отрицания романтики и реакционных общественных порядков. Позднее, главным образом в сороковых годах, в Германии появляется даже плеяда поэтов, которые создают особую политическую лирику с характером резко оппозиционным и даже иногда прямо революционным. Уже в предисловии к своей «Истории немецкой поэзии» (1840 г.) Гервинус высказал мысль, что в будущем немецкая нация не будет интересоваться исключительно поэзией и искусством, но начнет стремиться к разрешению практических жизненных задач.

Предшественником этих поэтов был австрийский поэт Ауерсперг, большой поклонник системы Иосифа II. Его стихи были направлены главным образом против клерикализма, причем, однако, он делал строгое различие между «попами» (Pfaffen) и священниками. Другими предметами его ненависти были Меттерних, тайная полиция и цензура. Наиболее выдающимся представителем политической лирики был Гервег, «король немецких поэтов», как готовы были называть его критики. В 1841 г. он сразу прославился сборником стихотворений («*Gedichte eines Lebendigen*»¹), а в 1848 г. — своим участием в революционном движении. В промежуток между этими двумя

¹ «Стихотворения живого человека» (нем.). — Прим. ред.

датами он был выслан из Пруссии за резкое письмо, написанное к Фридриху-Вильгельму IV. Особенно было в ходу его двистишие, в котором он приглашал вырывать из земли кресты, чтобы превращать их в мечи. Впрочем, его политические воззрения не отличались определенностью. Нападая на «тиранов» и на «филистеров», он то склонялся к республике, то, наоборот, возлагал все свои упования на Пруссию. Одновременно с ним выступил Дингельштедт, который в 1842 г. выпустил сборник стихов под заглавием «Песни космополитического ночного сторожа», в свое время пользовавшийся успехом в публике. Но он скоро изменил оппозиционному направлению своей поэзии. Эта политическая лирика стала даже отражать на себе и чисто социальные стремления эпохи. Последнее можно сказать, например, о Фрейлиграте, находившемся в тесной дружбе с Марксом и даже прямо вдохновлявшемся его идеями. Другим таким поэтом был Веерд, состоявший в близком знакомстве с Энгельсом. Многие из этих политических поэтов впоследствии принимали участие в событиях 1848 г.

Переходя теперь к немецкому философскому движению тридцатых и сороковых годов, мы должны прежде всего заметить, что новые литературные направления находились в самой тесной связи с этим философским движением. Оно само было реакцией против романтизма и ретроградства, притом же иногда и сами философы выступали в роли литературных критиков, а поэты, в свою очередь делавшиеся подчас литературными критиками, так или иначе отражали в своих воззрениях новые философские идеи. Между отдельными философами и литераторами существовали весьма часто и близкие отношения личного характера, скреплявшиеся сотрудничеством в одних и тех же периодических изданиях. Наконец, «философия» прямо давала для поэтической обработки политические, социальные и моральные темы. Этим путем происходило распространение новых идей в широких кругах читающей публики, несмотря на все цензурные строгости. Подобно тому, как многие политические деятели в эту эпоху удалялись на жительство за границу, так и печататься многие произведения тогдашней немецкой литературы могли лишь за пределами Германского союза. Этот оппозиционный характер литературы и философии тридцатых и сороковых годов был результатом весьма медленного культурного процесса, совершавшегося в общественной немецкой жизни. Общее его направление может быть определено как переход от метафизического и романтического идеализма к жизненному и научному реализму, от политического индифферентизма к живому интересу перед основными вопросами общественной жизни и главными явлениями окружающей общественной действительности. Если, однако, в областях литературного творчества и политического мышления немцы этой эпохи многим были обязаны французам, то в области отвлеченной философии, наоборот, они выступили вполне самостоятельно и создали совершенно оригинальные направления.

Перед 1830 г. господствующей философией в Германии была система Гегеля. Многим верным последователям берлинского философа казалось, что в области мысли далее и идти некуда, и они готовы были серьезно предлагать вопрос, что же будет составлять дальнейшее содержание истории человечества после того, как всемирный дух достиг в гегелевой философии познания самого себя, составлявшего цель всего процесса. Система Гегеля царила не только в философии, но и в других науках. Этим господством она была обязана своей строгой законченности, равно как приложимости своих основных понятий и своего метода к разным отраслям знания. Число гегельянцев росло с каждым годом. Для распространения идей этой школы основывались и специальные органы, из которых первый стал выходить в свет в 1827 г. под заглавием «Ежегодник для научной критики». Распространению гегельянства и утверждению его в университетах очень много содействовало и покровительство, которое оказывалось этой философии свыше, особенно в Пруссии. В последние годы своей жизни, когда Гегель занимал профессорскую кафедру в Берлине, его система сделалась, как выразился о нем один историк, «научообразной хранильницей духа прусской реставрации». Действительно, его философия в политическом отношении была, так сказать, идеологическим воспроизведением прусской государственности, отличаясь характером оптимистического консерватизма. В 1831 г. Гегель умер, но и после его смерти продолжалось господство его философии, вообще характеризующее рассматриваемую эпоху. Вскоре, однако, среди гегельянцев начались разногласия, которые привели к весьма резкому разделению школы на две главные партии. Им дано было название, заимствованное из политической области, — одни образовали из себя правую сторону, другие составили левую.

Исходным пунктом разногласия было отношение к религиозным вопросам, о которых Гегель высказался недостаточно ясно. Во всяком случае, оказалось возможным толковать его взгляд на отношения, существующие между знанием и верой, совершенно различным образом. Он учил, что философия имеет то же самое содержание, как и религия, только в другой форме, именно в форме понятия, а не представления. Те из гегельянцев, которые были настроены более консервативно, ухватились за эту формулу, чтобы превратить философию в своего рода умозрительное богословие. Другой вывод сделали более свободомыслящие гегельянцы. Они выдвигали на первый план ту мысль, что изменение формы влечет за собой и изменение содержания. Одни стояли за сохранение церковной догматики, другие стали относиться к ней отрицательно. В частности, между учениками Гегеля разгорелся спор о том, есть ли Бог личное или безличное существо, принадлежит ли бессмертие каждому индивидуальному духу или только знаменует вечность всеобщего разума, и, наконец, следует ли признавать за Богочеловека личность Христа или понимать под богочеловечеством идею челове-

ства. Консервативным сторонникам Гегеля не нравился основной пантеистический характер системы учителя, и они старались истолковать его учение в смысле церковных догматов. Наоборот, противоположная партия настаивала на том, чтобы видеть в Боге лишь вечную и всеобщую субстанцию, доходящую до самосознания только в человечестве, чтобы бессмертие допускать в смысле вечности духа вообще, а богочеловечество принимать лишь в отвлеченном смысле. С этого и началось разделение между правой и левой гегельянства. Разделение, возникшее в области отвлеченной философии, распространилось потом и на отношение к вопросам личной и общественной жизни. Правые гегельянцы в политическом смысле являлись защитниками существующих порядков и в этом отношении даже усугубляли консервативный характер философии родоначальника своей школы. Наоборот, левая сторона проникнута была радикальными стремлениями не только в философии, но и в политике. Исключение составляли только Штраус и Бруно Бауер, которые, будучи видными представителями левого гегельянства в философии, в политическом отношении держались, наоборот, довольно консервативных взглядов. Второй из них, впрочем, и начал свою деятельность в рядах консервативных гегельянцев и даже весьма резко нападал на Штрауса. Затем он сделался радикалом, но в конце действовал в духе прусской реакции. Несколько гегельянцев заняли среднее положение между правой и левой, составив то, что в парламентах называется центром. Левые гегельянцы — Рихтер, Руге, Бруно Бауер, Фейербах и Штраус, к ним нужно присоединить и Карла Маркса, — представляли собой, так сказать, революционную партию немецкой философии, которая совершенно изменила характер ее сравнительно с прежними идеалистическими системами Фихте, Шеллинга и самого Гегеля. Пантеизм последнего в этом новом направлении стал постепенно превращаться в метафизический материализм, ставший в весьма враждебные отношения к христианству. Это направление создавало в Германии совершенно новое умственное настроение, которое расшатывало старые устои немецкого общества и государства.

Одним из первых выступил на арену с сочинением в новом направлении Рихтер, автор «Учения о последних вещах» (1833 г.), где он проводил взгляд о поглощении всякого индивидуального духа духом всеобщим, из коего он возник, подобно тому как волна поглощается океаном. Но особенно большой разлад вызвало появление в 1835 г. книги Давида Штрауса «Жизнь Иисуса». Штраус был адъюнктом в Тюбингене, когда написал это свое сочинение, за которое и лишился своего места. Впоследствии он вынужден был жить главным образом литературным трудом, и только в конце тридцатых годов либеральное цюрихское правительство пригласило его на кафедру богословия в своем университете. Но Штраусу не удалось занять эту кафедру. В Цюрихе против него началось серьезное народное волнение, и правительство должно было уступить, дав только что назна-

ченному профессору отставку с пенсией (1839 г.). В своей «Жизни Иисуса» Штраус выступил с чисто рационалистическим объяснением Евангелия. Под его пером философия религии, которой так охотно занимались немецкие идеалисты, превратилась в историческую критику Священного Писания и догматики. С этой точки зрения история развития догматов должна была превратиться в их уничтожение путем их критики. Штраус проповедовал несовместимость христианства и философии: для того чтобы получить возможность знать, прежде всего нужно перестать верить. Собственное его мирозерцание сводилось к пантеизму. Отвергая чудо, которое было бы только перерывом в естественном процессе, произведенным непосредственным вмешательством творческой силы, Штраус прилагал к толкованию библейских рассказов понятие мифа. Мифы не передают нам ничего действительно бывшего, но в них заключается идеальная истина. Всякий миф создается народной фантазией, которая облекает в такую форму ту или другую вечную правду. Эту свою теорию Штраус применял и к тем историческим данным, которые послужили для первоначальной христианской общины в выработке всего евангельского сказания. Все то, что церковь относит к Христу, должно быть относимо не к индивидууму, а к идее, идеей же этой является человечество как богочеловек. Сочинение Штрауса вызвало целую массу опровержений, на которые он отвечал со своей стороны. Но ни Штраус, ни его противники большей частью не подвергали исследованию самих источников евангельского рассказа. Этим последним делом занялась так называемая тюбингенская школа богословов, которые к вопросу о начале христианства стали применять методы исторической критики, выработанные предыдущим развитием науки: сам Штраус получил свое образование в Тюбингенском университете и слушал лекции Бауера, признанного главы этой школы.

Другим видным представителем левого гегельянства был Фейербах. Если Штраус, так сказать, обнажил пантеистическую основу гегелевой системы, то Фейербах привел ее к материализму. Он сам в следующих словах определил ход своего философского развития: «Первой моей мыслью был Бог, второй мыслью — разум, третьей и последней — человек». Сначала он действительно предавался изучению богословия, но затем весьма рано променял его на философию, сделавшись одним из самых рьяных последователей Гегеля. В духе его системы в 1828 г. он начал читать лекции в Эрлангене, а в год смерти Гегеля издал (без имени автора) «Мысли о смерти и бессмертии», написанные в пантеистическом направлении. Однако, подобно тому, как теологию победила философия Гегеля, сама она, по представлению Фейербаха, должна была уступить место чисто человеческой философии. По его собственным словам, высшим и единственным предметом философии может быть только человек, а также природа, служащая для него основанием. Поэтому универсальной наукой Фейербах стал признавать антро-

пологию (конечно, не в том смысле, в каком это слово употребляется в настоящее время). С такой точки зрения он вообще принимал за истину только то, что достоверно непосредственно. Он выступил решительным противником теологии, так как всякий догмат равносителен запрещению мыслить. Задача философии вовсе не в том, чтобы оправдывать содержание догматов, а в том, чтобы объяснять психологически их происхождение. В своих главных сочинениях «О философии и христианстве» (1839 г.), «Сущность христианства» (1841 г.) и «Сущность религии» (1845 г.) он развивает ту мысль, что в религии человек олицетворяет свое собственное существо и противопоставляет его себе как некоторое личное существо. Не в человеке Бог сознаёт самого себя, как говорил Гегель, а, наоборот, человек в своем Боге сознаёт самого себя. Всякая религия есть не что иное, как самообожание человека: в ней происходит как бы его раздвоение, и вот ограниченный человеческий индивидуум обращается к собственной своей сущности, возведенной до бесконечности, дабы от своего Бога получить удовлетворение тех потребностей, которые не могут быть удовлетворены его собственными средствами. Вечное противоречие между хотением человека и возможностью его исполнения является истинным источником религии. Качества, коих сам человек не имеет, но которые ему были бы в высшей степени желательны, он и приписывает своим богам. В философском отношении Фейербах приходит к сенсуализму, а через него к материализму.

К левому гегельянству примкнул и Бруно Бауер, который во второй половине тридцатых годов читал богословские лекции в Берлине и Бонне, но в начале сороковых годов вынужден был оставить университет. Сначала он стоял на правой стороне гегельянства и даже нападал вместе с другими на «Жизнь Иисуса» Штрауса. Поводом к неудовольствию на него и к лишению его права преподавания было издание им двух сочинений — «Критика Евангелия от Иоанна» и «Критика синоптических евангелий» (1840 и 1841—1842 гг.). Здесь Бауер объявляет основные книги Нового Завета тенденциозными сочинениями, хотя и не имевшими обмана своей целью. Его брат Эдгар, защищавший его в сочинении «Спор критики с церковью и государством» (1841 г.), поплатился за это сочинение заключением в крепости. Впоследствии оба брата развивали принцип чистой, или абсолютной, критики в применении решительно ко всему, что является предметом спора разных партий. Если, утверждали они, что-либо получает признание, тем самым оно перестает быть истинным. Чистая критика должна совершенно спокойно созерцать, как все идет само собой к уничтожению. Ничто поэтому не может претендовать на безусловное значение. Истина может заключаться только в нашем я, которое все подвергает критике и тем самым все уничтожает, будучи само совершенно свободно от каких бы то ни было извне налагаемых уз.

К такому же отрицательно-индивидуалистическому выводу пришел также и Каспар Шмидт, издавший в 1845 г. — под псевдонимом Макса

Штирнера — знаменитую книгу, озаглавленную «Отдельная личность и ее собственность» (*Der Einzige und sein Eigentum*). Этот *Einzige* есть от начала до конца эгоист. У отдельного я нет и быть не может ничего дороже своего же я, и все, что находится вне его, а следовательно и другие люди, все это — только орудия или средства, коими отдельное я пользуется для достижения собственных своих целей, заключающихся в наслаждении. Все остальное лишь призраки, предрассудки и суеверия, остатки старого мирозерцания. Человек на все имеет право и может стать всем и всем обладать, что только ему физически доступно. Нравственность и общественные узы с такой точки зрения теряют то значение, которое приписывают им люди. Безусловный индивидуализм, который Бруно Бауером признавался для области мысли, Максом Штирнером провозглашался для области жизни. Но любопытно, что из того же самого левого гегельянства вышло и противоположное воззрение практической философии — социализм Карла Маркса.

Штраус и Фейербах, Бруно Бауер и Штирнер сделали предметом своих исследований философию религии и тесно с ней связанную мораль. Политика, собственно, лежала вне их области; но и этот предмет стал также рассматриваться с этой новой точки зрения, вырабатывавшейся в левом лагере гегельянцев. Первым, кто направил философское исследование на общественные вопросы, был Арнольд Руге, особенно замечательный своими попытками создать для нового направления свободный литературный орган. В начале двадцатых годов Руге учился филологии и философии в разных немецких университетах, а затем был обвинен в принадлежности к так называемому союзу юношей, мечтавшему об объединении Германии под главенством Пруссии, за что подвергся заключению в крепости на целых пять лет. В это время он ревностно изучал классических поэтов и философов. В 1831 г. он выступил с диссертацией о Платоновой эстетике. Примкнув к молодым гегельянцам, он в 1838 г. предпринял периодическое издание под названием «*Hallesche Jahrbücher für deutsche Kunst und Wissenschaft*»¹, сделавшееся главным органом левого гегельянства. Хотя это издание носило название города Галле, на самом деле печаталось оно в Лейпциге. В 1840 г. прусское правительство, побуждаемое берлинскими пиэтистами, предписало, чтобы журнал Руге печатался непременно в Галле и не иначе как с разрешения местной цензуры. Тогда Руге, переименовав только название журнала в «*Deutsche Jahrbücher*» и сняв с обложки свое имя, только усилил радикальный характер издания. Это навлекло на него неудовольствие саксонского правительства, и в 1843 г. журнал был запрещен. Руге, однако, не хотел сдаваться. Соединившись с молодым гегельянцем Карлом Марксом, который около этого времени вступил на литературное поприще, он задумал продолжать свой журнал за границей, для чего и переселился в Париж. Здесь его издание должно было

¹ «Галльский ежегодник немецкой науки и искусства» (нем.). — *Прим. ред.*

возобновиться под названием «Deutsch-französische Jahrbücher»¹. Но едва только начал выходить в свет этот новый орган, как между Руге и его компаньоном произошло серьезное разногласие, и издание прекратилось. Во второй половине сороковых годов Руге занялся вместе с Фребелем издательским делом в Цюрихе, но Германский союз запретил издания этой фирмы в своих владениях. Когда вспыхнула революция 1848 г., Руге стал играть политическую роль в рядах тогдашней крайней левой, вместе с тем продолжая свою издательскую деятельность. Последняя прекратилась только с полной победой реакции в начале пятидесятых годов.

Руге обладал, несомненно, большим организаторским талантом. В своих изданиях он хотел объединить всех радикальных писателей эпохи. Ему в высшей степени трудно было издавать свои органы в Германии, и ранее, чем он вынужден был переселиться в Париж, он уже параллельно со своими «Deutsche Jahrbücher» издавал в виде приложения к ним в Швейцарии так называемые «Anecdota zur neuesten deutschen Philosophic und Publicists»². В его изданиях принимали участие все видные представители левого гегельянства. В числе сотрудников Руге был, между прочим, и Бакунин, в то время изучавший в Берлине философию Гегеля. Переселившись в Париж, Руге мечтал привлечь к сотрудничеству также французов, главным образом Ламартина, Ламенне, Луи Блана, Леру и Прудона. Однако ему не удалось получить от них ни одной статьи. Ламенне выставлял на вид свою религиозную точку зрения, но объявил, что подождет, какой характер примет издание. Ламартин сначала обнадежил Руге и Маркса, но потом заявил в газетах, что вовсе не намерен появляться в печати рядом с еретиком Ламенне. Луи Блан в «Révue Indépendante» выразил свое удовольствие по поводу того, что молодое поколение немцев направило свои мысли на практические вопросы жизни, но находил, что немцам следовало бы поумерить свой пыл, так как атеизм в философии неминуемо приводит к анархии в политике. Он не скрывал, что возвращение немецкой философии к французскому материализму прошлого века, к Дидро, Гольбаху и Энциклопедии для него крайне несимпатично. Он напоминал, что настоящим представителем демократии, основывавший ее на единении и братской любви, был Руссо и что та же самая рука, которая написала «Общественный договор», начертала и «Исповедание веры савойского викария». Зато Руге удавалось получать работы таких видных представителей немецкой поэзии, как Гейне и Гервег. Кроме Маркса в недолговечном парижском журнале Руге выступил и Энгельс, играющий такую видную роль в истории немецкого социализма.

В качестве представителя левого гегельянства Руге особенно важен тем, что подверг критике философию права Гегеля. Именно он нашел, что Гегель в этой части своей системы отступил от собственного диалектиче-

¹ «Немецко-французский ежегодник» (нем.). — Прим. ред.

² «Анекдоты из новейшей немецкой философии и публицистики» (нем.). — Прим. ред.

ского метода. Его государство — нечто туманное; оно столь же мало реально, как и государство Платона, хотя оно и напоминает прусское государство, как государство Платона — греческое. Гегель успокоился на разумности абсолютизма, потому что абсолютизм был настолько разумен, чтобы признать разумность гегелевой философии. Вся ошибка Гегеля, по мнению Руге, заключалась в том, что он принял исторические формы, каковы наследственная королевская власть, майораты, двухпалатная система, за чисто логические необходимости. Для того чтобы иметь государство в форме государства, нужно еще обладать теми великими учреждениями, которых еще совершенно лишены немцы, а именно: национальным представительством, судом присяжных, свободой печати. Руге, однако, сам не выдерживал последовательно своей точки зрения. Рассматривая прусское феодально-абсолютистическое государство как историческую категорию, он не распространял этого понятия на современный строй гражданского общества, продолжая принимать его, наоборот, за чисто логическую категорию. Во всяком случае, Руге перевел критику гегелевой философии с почвы религиозной на почву политическую. Подобно другим своим современникам, истинное начало государственности он готов был видеть как бы воплощенным в тогдашней Франции, в которой беспрепятственно совершалось политическое движение. Он думал даже, что быть против Франции все равно, что быть против политики, а быть против политики для него обозначало быть против свободы. Вот почему он переселился в Париж, вот почему он хотел, чтобы в его издании приняли участие французы. Он даже рассчитывал, что гегелева философия своей строгой логичностью принесет пользу самим французам, которые, как представлялось гегельянцам, пускаются в область общественных вопросов без руля и без ветрил. Но в Париже ему пришлось разочароваться. Умственный союз с французами, о котором он мечтал, не состоялся. Коммунистическое направление, господствовавшее в известных кругах французского общества, в нем самом не встретило ни малейшего сочувствия. Мало того, его товарищ по изданию нового журнала, Маркс, наоборот, заинтересовался именно этим общественным направлением, и как раз на этой почве между обоими издателями «*Deutsch-französische Jahrbücher*» произошел разлад, повлекший за собой прекращение этого издания.

Самый ранний период литературной деятельности Маркса принадлежит всецело истории левого гегельянства. Карл Маркс родился в 1818 г. в Трире в еврейской семье, которая приняла христианство в 1824 г. С XVI столетия предки Маркса были раввинами, но отец его был юрист и впоследствии занимал должность юстицрата. Семья, в которой родился Маркс, была весьма образованная. Очень рано он имел возможность познакомиться с французским и английским языками, что открывало перед ним свободный доступ к литературам двух народов, значительно опережавших в своем развитии

Германию. Годы его ранней юности совпадали с эпохой крайней реакции, к которой он относился весьма враждебно. Подобно другим своим современникам, он болел душой, видя, в каком печальном положении находилась его родина. Впоследствии некоторые его противники (например, Бакунин) даже прямо обвиняли его в излишнем национальном патриотизме. Окончив гимназический курс в родном городе, он учился потом в Боннском и Берлинском университетах. Своей специальностью он избрал юриспруденцию, но весьма скоро заинтересовался историей и философией. Марксу пришлось учиться в университете как раз в то время, когда самым важным явлением в умственной жизни немецкого образованного общества была борьба двух противоположных направлений, возникших в школе Гегеля. Он сразу примкнул к передовой партии, ревностно занявшись изучением философии. Одно время он даже думал, что настоящее его призвание заключалось именно в философии и ее преподавании с университетской кафедры. В 1841 г. он окончил курс и получил докторскую степень за диссертацию о философии Эпикура. Ему даже представлялась возможность занять должность доцента философии в Боннском университете, но уже в то время прусское правительство начинало принимать меры против философского свободомыслия. Когда Бруно Бауер, находившийся в личной дружбе с Марксом, был лишен доцентуры на богословском факультете Боннского университета, Маркс отказался от своего первоначального намерения. Перед ним открывалась совершенно иная дорога. Будучи человеком в материальном отношении достаточно обеспеченным, он мог совершенно свободно предаться литературной деятельности не ради заработка, — по крайней мере, на первых порах, — а для удовлетворения своей внутренней потребности. Отличаясь весьма живым умом и интересом к окружающей действительности, он сделался публицистом, но публицистом особенного рода. Именно он стал применять к рассмотрению общественных вопросов диалектический метод гегелевской школы, которым он с самого же начала владел в совершенстве. Но абстрактный идеализм философии Гегеля даже в работах представителей левой не удовлетворял Маркса. Его привлекали к себе больше вопросы практической жизни, а эти вопросы в ту эпоху ставились и разрешались главным образом во французской литературе. Социалисты эпохи Реставрации и июльской монархии вскрывали язвы современного общества и искали средств для их исцеления. Одновременно с этим французские историки, ставившие свою науку на почву изучения общественного строя и общественных движений, указывали на более верный путь в деле понимания исторических явлений, нежели тот, по которому шел Гегель в своей идеалистической философии истории. Маркс не сразу перешел на новую точку зрения, но и впоследствии он оставался верным диалектическому методу Гегеля.

В 1842 г. в Кёльне местные либералы основали «Рейнскую газету», в которой Маркс и выступил с первыми своими публицистическими статьями.

Газета эта весьма энергично защищала свободу печати, и в ней участвовали братья Бауеры, Штирнер, Гейне и др. Маркс писал в ней статьи о заседаниях рейнского провинциального ландтага и, кроме того, подверг весьма резкой критике воззрения исторической школы права. Его участие в газете было настолько выдающимся, что очень скоро он сделался ее редактором. Но это издание просуществовало лишь около полутора лет. Прусское правительство очень скоро обратило внимание на оппозиционное направление «Рейнской газеты» и запретило ее дальнейшее издание. В это-то самое время Маркс и переселился в Париж, чтобы вместе с Руге издавать «Deutsch-französische Jahrbücher». В эту пору своей жизни он еще стоял на точке зрения тогдашних немецких политических радикалов, воззрения которых вообще господствовали среди гегельянцев прогрессивного направления. Экономические вопросы занимали их очень мало, и Маркс сам скоро убедился, до какой степени его сведения в этой области были недостаточны и как односторонни были его научные понятия. В Париже он ревностно принялся читать и изучать сочинения всех сколько-нибудь выдающихся экономистов, социалистов и коммунистов. Не забудем, что незадолго до переселения Маркса в Париж вышли в свет сочинения Кабе, Луи Блана и Прудона. Новые идеи совершенно его поглотили, и в его голове началась та работа, результатом коей было своеобразное сочетание радикального гегельянства, усвоенного им в годы университетского учения, с новыми социальными воззрениями, развившимися на французской почве. Выше было уже упомянуто, что Маркс довольно скоро разошелся с Руге, который совсем не разделял его увлечения новыми идеями. Но это было только началом его разрыва и с другими его товарищами, молодыми гегельянами. В 1845 г. он вместе со своим новым другом Фридрихом Энгельсом издал полемическое сочинение под заглавием «Святое семейство, или Критика критической критики».

«Святым семейством» в шутку называли философский кружок, группировавшийся около братьев Бауеров, и воззрения этого кружка были подвергнуты теперь разбору. Выход в свет этой книги был признаком полного разрыва с партией радикальных гегельянцев. После прекращения журнала, который Маркс начал издавать с Руге, он предпринял издание собственного органа «Vorwärts»¹, в котором он стал нападать на прусское правительство. Последнее было задето этими нападками за живое и стало требовать у французского правительства высылки Маркса. Людовик-Филипп в середине сороковых годов сильно заискивал у легитимных монархов, да и Гизо, бывший душой тогдашнего французского министерства, разделял взгляды короля на необходимость по возможности делать приятное абсолютным государям. Маркс был выслан из Парижа и вместе с Энгельсом переселился в Брюссель, где началась для него совершенно новая деятельность, именно дея-

¹ «Вперед» (нем.). — *Прим. ред.*

тельность социалиста — критика и агитатора. Собственно говоря, он далеко не был первым проповедником социализма в немецкой литературе, и прежде, нежели продолжать рассмотрение его дальнейшей деятельности, нам придется рассмотреть его предшественников в этом направлении. Здесь пока мы познакомимся с философскими и общественными взглядами Маркса в первый, самый ранний период его литературной деятельности, когда он еще принадлежал к молодым гегельянцам или только что начинал переходить в ряды социалистов.

Маркс выступил в первый раз в «Рейнской газете» со статьями, в которых он касался жгучих вопросов современности. Рассматривал он их здесь еще совершенно в духе всей школы с заоблачной высоты, исходя из чисто идеологических предпосылок. С этой же точки зрения он напал и на историческую школу права, которая, по его словам, способна была обнаруживать отнюдь не разумность, а именно неразумность существующего. Основные взгляды Маркса были тогда совершенно гегельянскими. О французском социализме «Рейнская газета» тогда почти еще ничего не говорила. В 1842 г. в Страсбурге был ученый конгресс, на который съехались многие немцы и французы. Среди последних были Консидеран и Леру, и в одной секции съезда рассматривались системы французского социализма. «Рейнская газета» имела на этом съезде своего корреспондента, который написал о нем отчет, высказав в нем ту мысль, что как в 1789 г. среднее сословие отвоевало у дворянства его привилегии и стало на его место, так теперь неимущие хотят занять место среднего сословия. Но, прибавлял корреспондент, теперешнее среднее сословие отличается большей предусмотрительностью, чем дворянство 1789 г., и вопрос, конечно, будет решен мирным путем. Это невинное заявление представило случай консервативным газетам обвинить «Рейнскую газету» в коммунистической пропаганде, что дало повод Марксу, незадолго перед тем взявшему на себя редакцию, отвечать на этот донос. Любопытно, что в своей статье он совершенно искренно признавался, что не имеет еще своего собственного взгляда на французский социализм. Вместе с этим он, однако, указывал на то, что сочинения Леру, Консидерана и Прудона заслуживают изучения и критики. «Мы глубоко убеждены, — писал он, — что настоящую опасность представляет не практическая попытка, но теоретическое развитие коммунистических идей, ибо на практические попытки, раз они становятся опасными, можно отвечать пушками, но идеи, которые усваивает наш ум, которые входят в наше настроение и при помощи которых наш рассудок управляет нашею совестью, — вот настоящие цепи, от которых нельзя освободиться, не нанося ран своему сердцу, вот демоны, коих человек может победить лишь тогда, когда им подчиняется». Редактируя «Рейнскую газету», Маркс не имел и достаточно времени, чтобы заняться изучением французского социализма. Как мы видели, этому делу он посвятил себя

в Париже, с самого же начала применив к учениям догматических коммунистов свою философско-критическую точку зрения. Особенно ему не по душе было мнение, господствовавшее среди многих французских социальных реформаторов о том, что политические вопросы сами по себе не имеют большого значения. Он стал, наоборот, проводить тот взгляд, что социальная истина повсюду развивается из конфликта политического государства с самим собою и из противоречия между его идеальным назначением и его реальными исходными пунктами. И вот с новой точки зрения, которая начинает в это время вырабатываться у Маркса, он в «*Deutsch-französische Jahrbücher*» берется за тему, которой раньше занимался Руге, — за критику гегельянской философии права.

В левом лагере гегельянцев Маркс ближайшим образом примыкал к Фейербаху, к которому всегда относился с величайшим уважением. У него он заимствовал положение, что не религия создает человека, а человек религию. Кроме того, уже Фейербах высказывал ту мысль, что если наши идеи возникают из чувств, то лишь благодаря духовному общению между несколькими индивидуумами: высшие понятия не могут быть произведениями отдельного я без содействия некоторого ты. Поэтому Фейербах думал, что сущность человеческой природы настоящим образом выражается только в обществе. Маркс пошел далее в том же направлении. По его представлению, человек вовсе не какое-то абстрактное существо: человек — это мир людей, государство, общество. Задача истории и задача философии, которая служит истории, заключается в установлении истины действительного мира после того, как исчезла истина «того света». Вследствие этого критика неба превращается в критику земли, критика религии в критику права, критика теологии в критику политики. Критика политики обращается у Маркса на современную ему Германию, которая кажется ему лишь копией другого оригинала: немецкие отношения 1843 г. соответствуют французским отношениям 1789 г. Эту отсталость Германии сравнительно с Францией, а также и с Англией он особенно охотно выдвигает на первый план. Но зато, если немцы в экономическом и политическом отношениях далеко не соответствуют современности, их история имеет некоторое идеальное продолжение в их философии: немцы являются философскими современниками настоящей эпохи, не будучи ее историческими современниками. Критика немецкой философии права и государства вводит непосредственно в те вопросы, над практическим разрешением которых работает современная жизнь. Но критическая мысль должна иметь реальную опору. «Оружие критики никоим образом не может заменить критики оружия. Материальная сила должна быть низвергнута материальной же силой, но и теория становится материальной силой, когда она овладевает массами. Теория способна овладеть массами, раз только она демонстрирует на людях, а она демонстрирует на людях, раз она радикаль-

на. Быть радикальным — значит схватывать вещи в их корне, а корень для человека есть сам человек». Каждая теория может осуществиться в народе лишь настолько, насколько она сама является осуществлением его потребностей. Таким образом радикально-философским теориям своего времени Маркс приписывал способность осуществления новых форм жизни, но лишь под условием, чтобы они соответствовали потребностям масс. Прежде всего нужно, чтобы эмансипировалась и достигла всеобщего господства одна часть народа, и чтобы такой класс, вследствие своего особого положения, предпринял общую эмансипацию общества. Но сделает это он только под тем условием, чтобы все общество находилось в положении этого класса, например, обладало достатком и просвещением или, по крайней мере, свободно могло бы достигать того и другого. Но нужно, кроме того, чтобы этот класс был способен проявлять в самом себе и пробуждать в массе энтузиазм, сливаться с массой в этом энтузиазме и выступать в роли ее представителя. Но необходимо еще, с другой стороны, чтобы все недостатки общественного устройства сосредоточивались в каком-нибудь другом классе, чтобы известное сословие было предметом общего нерасположения и чтобы освобождение от него получало характер всеобщего самоосвобождения. Например, во Франции, по представлению Маркса, отрицательно-всеобщее значение дворянства и духовенства обуславливало положительно-всеобщее значение буржуазии. Немецкая жизнь еще не выработала такой резкой противоположности. Сферы немецкого общества относятся одна к другой не драматически, а эпически, и средний класс в Германии является скорее всеобщим представителем филистерской посредственности всех остальных классов. Единственная положительная возможность немецкой эмансипации заключается, говорил тогда Маркс, «в образовании класса, который не был бы ни одним классом гражданского общества, — сословия, которое было бы разложением всех сословий, т. е. сферы, которая получила бы универсальный характер, вследствие своих универсальных страданий, и добивалась бы не какого-нибудь особенного права, так как испытывала бы не какую-нибудь особенную несправедливость, а несправедливость вообще». «Эта сфера, — продолжает Маркс, — не может эмансипироваться от существующего государственно-го устройства, не эмансипируясь в то же самое время от других сфер общества и, вместе с тем, не эмансипируя всех остальных сфер общества». Таким общественным классом, утратившим человеческое достоинство, но долженствующим приобрести его вновь, Маркс объявляет пролетариат. «Подобно тому, — говорит он, — как философия должна найти в пролетариате свою материальную силу, так и пролетариат должен найти свое духовное оружие в философии», и только тогда осуществится эмансипация немецкого народа. «Голова этой эмансипации — философия, ее сердце — пролетариат. Философия не может осуществиться без прекращения про-

летариата, пролетариат не может прекратиться без осуществления философии. Когда исполнятся все внутренние условия, день немецкого воскресенья будет возведен пением галльского петуха». Такова основная мысль той статьи Маркса, в которой он высказывает свои идеи в области философии права. Необходимым дополнением к ней была другая статья, посвященная, собственно говоря, еврейскому вопросу, но в ней автор поднял более широкий вопрос о различии между двумя видами эмансипации — освобождением политическим и освобождением человеческим. Когда, например, положение гражданина в государстве не обуславливается принадлежностью гражданина к той или другой религии, это обозначает лишь освобождение государства от религии, и тут мы имеем случай политической эмансипации, которая вовсе еще не свидетельствует о том, что и человек сделался совершенно свободным от религии. Совершенно также государство может не обращать внимания на то, есть ли у гражданина собственность или нет и как эта собственность велика, и тогда политические права гражданина не будут определяться никаким имущественным цензом, но это еще вовсе не обозначает, чтобы частная собственность как таковая перестала существовать и оказывать влияние на взаимные отношения людей. И в данном случае политическая эмансипация неимущих совсем не совпадает с эмансипацией человека от тех последствий, которые вытекают из существования частной собственности. «Политическая эмансипация, — говорит Маркс, — есть сведение человека, с одной стороны, на члена гражданской общины, на эгоистического и независимого индивидуума, с другой стороны — на гражданина государства, на моральную личность. Лишь тогда, когда действительный индивидуальный человек поглощает в себе отвлеченного гражданина государства и, как индивидуальный человек, в своей эмпирической жизни, в своей индивидуальной работе, в своих индивидуальных отношениях становится представителем своего рода; лишь тогда, когда человек сознал и организовал свои собственные силы, как общественные силы, и потому более не отделяет от себя общественную силу в образе особой политической силы, — лишь тогда совершается человеческая эмансипация». Обращаясь к современности, Маркс высказывает ту мысль, что в настоящую минуту религиозная злоба дня имеет исключительно общественное значение и что религиозные интересы как таковые важности более не имеют. И сущность еврейского вопроса заключается не в религиозной теории, а в промышленной и торговой практике. Признание человеческих прав есть не что иное, как признание эгоистической гражданской индивидуальности и ничем нестесняемого движения духовных и материальных элементов, составляющего содержание теперешней гражданской жизни¹. Для теперешнего государства признание

¹ Нужно заметить, что у Маркса и его последователей слово «Bürger» вообще имеет двойкий смысл, соответствуя, с одной стороны, французскому *bourgeois*, с другой — француз-

прав человека равносильно признанию рабства античным государством. Как это последнее имело в своей основе рабство, так современные государства ту же основу получают в гражданском обществе.

Это рассуждение Маркса привело его к выводу, диаметрально противоположному тому, который был главным пунктом гегелевой философии права. Гегель подчинял общество государству, Маркс, наоборот, государство — обществу: и в античном мире, и в мире феодальном, равно как и в современности, общество является необходимой основой государства, отнюдь не наоборот. В критике философии Гегеля это был весьма решительный шаг вперед. Совершенно в духе этих новых идей Маркс написал и свой памфлет против Бруно Бауера, с которым, собственно, он полемизировал и в статье по еврейскому вопросу. Главным предметом нападения со стороны Маркса в философии Бруно Бауера и его товарищей сделался абстрактный идеализм, господствовавший вообще в воззрениях радикальных гегельянцев. «У реального гуманизма, — говорит Маркс, — нет в Германии более опасного врага, как спиритуализм или умозрительный идеализм, который на место действительного индивидуального человека ставит самосознание или дух... То, что мы оспариваем в бауеровской критике, есть именно умозрение, воспроизводящее себя в виде карикатуры. Оно представляется нам как совершеннейшее выражение христианско-германского принципа, который прибегает к своему последнему средству, превращая саму критику в какую-то трансцендентную силу». Крайнему идеализму Бауера, который был готов объяснять явления жизни из идей, Маркс противопоставил столь же крайнее объяснение этих явлений из интереса, между прочим, применив эту точку зрения к общему ходу Французской революции. Разрыв с гегельянским идеализмом был полный. Подобно Фейербаху, Маркс стал на материалистическую точку зрения, но применил ее не к объяснению природы, а к объяснению общества. Сохранив диалектическое представление Гегеля об историческом процессе, он наполнил эту унаследованную им из его школы форму содержанием, заимствованным главным образом у современных ему французских социалистов. Еще незадолго перед выходом в свет «Святого семейства» Маркс признавался, что не успел составить себе самостоятельного взгляда на новые общественные идеи, которые развивались главным образом во Франции. Теперь, наоборот, он выступает именно со своим собственным взглядом в этой области и с точки зрения своей новой исторической и политической философии подвергает критике учение современных ему социалистов. С этого момента имя Маркса принадлежит уже не истории радикального гегельянства, а истории социализма.

скому citoyen. То же самое относится и к прилагательному «bürgerlich», которое обозначает и «буржуазный», и «гражданский».

В философском учении Маркса гегельянство, если так можно выразиться, перешло в полную свою противоположность. Здесь последовательный идеализм заменился столь же последовательным материализмом, и если один поставил своей задачей защитить от нападков современный общественный порядок, то другой, наоборот, явился беспощадным критиком этого порядка. Для Гегеля исторически сложившееся общество и государство было разумным уже по одному тому, что оно было существующим, а все существующее ведь было только саморазвитием идеи. Наоборот, Маркс, видя в современном обществе и государстве необходимую ступень развития, признавал эту необходимость, отнюдь, однако, не приписывая ей разумности, так как для него развитие представлялось процессом чисто материальным. Мало того, в современном состоянии он видел не завершение процесса, как Гегель, а новые противоречия, которые должны быть сняты дальнейшим развитием. Гегель был склонен признавать за современностью логическую необходимость, а Маркс говорил только об одной необходимости исторической, и это последнее понятие распространил на современную капиталистическую форму производства, как неизбежный фазис исторического процесса. Противоречия, которые порождаются этой формулой, и сделались главным предметом его внимания. С точки зрения закономерной необходимости процесса общественной жизни он отверг французские учения о будущем общественном строе, как утопические, но не для того, чтобы совершенно устранить всякие надежды на лучший социальный строй, а лишь для того, чтобы вывести его историческую необходимость из изучения современного общества, заключающего в себе как начало своего разложения, так и те силы, которые совершенно естественным путем осуществляют эмансипацию человека. Старшие товарищи Маркса в левом гегельянстве тоже ставили своей задачей эмансипацию человека, но более в области мирозерцания, чем в различных сферах общественной жизни. Маркс все свое внимание сосредоточил именно на вопросах общественной жизни, поняв их притом не так, как понимали их старшие его товарищи по школе Гегеля, не шедшие далее политического радикализма¹.

¹ Маркс сделался родоначальником особой историко-философской теории, получившей название «экономического материализма». Свое отношение к ней мы высказали в книге «Старые и новые этюды об экономическом материализме» (СПб., 1896), к которой и отсылаем читателя (см. особенно гл. V и VI этой книги). От общей отвлеченной историко-философской (вернее — социологической) теории Маркса следует отличать суждения о конкретных исторических явлениях (преимущественно двух последних веков), весьма часто поражающие своей тонкой наблюдательностью и глубокой проницательностью. Что касается до экономической теории Маркса, которую опять-таки следует рассматривать отдельно от его «экономического материализма» и общего взгляда на европейскую историю, то главные работы его в этой области относятся уже к следующему периоду.

XVI. Немецкие экономические и социальные учения 1830–1840-х годов¹

Социальное состояние Германии тридцатых и сороковых годов. — Общий взгляд на общественное настроение. — Политическая экономия на немецкой почве и возникновение исторической школы. — Родбертус. — Книга Лоренца Штейна о французском социализме и коммунизме. — Первые немецкие социалисты. — Деятельность Маркса во второй половине сороковых годов. — Фридрих Энгельс. — Немецкое социалистическое движение. — «Коммунистический манифест»

Социальное развитие Германии в тридцатых и сороковых годах значительно отставало от социального развития Англии и Франции. Начать с того, что в самых значительных частях Германии старые феодальные порядки или оставались еще в полной неприкосновенности, или только были поколеблены, а не совсем еще уничтожены. Дворянство продолжало по-прежнему играть роль привилегированного сословия сравнительно с бюргерством и все еще господствовало над сельским населением. Крупная промышленность в том виде, какой она получила в Англии и Франции, едва только зарождалась в Германии, и старые цеховые формы ремесленного сословия еще не отжили здесь своего века. По статистическим данным, в 1846 г. в Пруссии насчитывалось 457 365 мастеров и самостоятельных ремесленников, у которых работали 384 783 подмастерьев и учеников, тогда как на фабриках было занято лишь около 550 000 человек. И вообще в Германии тогда еще не существовало резких границ между от-

¹ По истории экономических учений, кроме общих руководств Кауца, Дюринга, Ингрэма и др., указанных в т. III и т. IV, см.: *Roscher W.* Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland, 1874; *Meÿer M.* Главные течения в современной политической экономии, 1891. Для истории социализма, кроме сочинений, указанных в т. IV, см.: *Adler.* Geschichte der ersten socialpolitischen Bewegung in Deutschland, 1885. Далее, по отдельным вопросам: *Goldschmidt Fr.* Friedrich List, Deutschlands grosser Volkswirth, 1879; *Dietzel.* Karl Rodbertus. Darstellung seines Lebens und seiner Lehre, 1886–1887; *Блок А.* Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические порядки. 1880. (Ср. разбор теории Штейна у Гумпловича в *Rechtsstaat und Socialismus*, 1881. II. § 15–22.) В конце семидесятых годов историю немецкого социализма (*Die deutsche Socialdemocratie, ihre Geschichte und Theorie*) издал Fr. Mehring (изложение этой книги г. А-ва в статье «Социальное движение в Германии», «Вестник Европы», 1879). Впоследствии он резко переменил свой взгляд на предмет и издал свой труд в сильно переработанном виде (*Geschichte der deutschen Socialdemocratie*. 1897; первый том охватывает время от 1830 до 1863 г.), включив его в «Geschichte des Socialismus in Einzeldarstellungen» (изд. с 1895 г.); *Weryho.* Marx des Philosoph, 1895; *Wenckstern.* Marx, 1896; *Kautsky.* Marxoekonomische Lehren, 1890. Весьма большой материал по социальной истории Германии собран в известном «Handwörterbuch der Staatswissenschaften» Конрада, Эльстера, Лексиса и Лёнинга. Там же и библиографические указания. См. еще: *Jaurès.* De primis socialismi germanici lineamentis.

дельными общественными классами городского населения. Нарождавшаяся крупная буржуазия незаметно переходила в мелкую буржуазию, а эта последняя почти сливалась с ремесленным сословием. В области промышленности продолжали господствовать старые порядки, исчезновение которых долго задерживали таможенные заставы, паспортные правила, более поздняя сравнительно с Англией и Францией постройка железных дорог, наконец, вся бюрократическая и полицейская практика тогдашних правительств. Если крестьяне продолжали жить под прежним помещичьим гнетом, то и городское простонародье держалось, так сказать, в ежовых рукавицах всякого рода административными и судебными властями, равно как не особенно было избаловано обращением и своих хозяев из более зажиточного бюргерства. Вообще рабочий класс, сколько-нибудь похожий на английский и французский пролетариат, был сравнительно малочислен, разрознен и не особенно развит в культурном отношении. Только к концу сороковых годов стало замечаться некоторое движение в этом классе, что и подготовило его выступление в 1848 г.

Введение машин в фабричное производство и в Германии сопровождалось уже всеми теми непосредственными следствиями, которые еще ранее дали себя знать в Англии и Франции. В тех местностях, где благодаря какому-нибудь особенным условиям получала некоторое развитие фабричная промышленность нового типа, уже обнаруживались все бедствия, которые влек за собой экономический переворот. Например, в первой половине сороковых годов страшная нищета и безработица господствовала в Силезии, где с двадцатых годов развилась прядельная и ткацкая промышленность. Весьма многие рабочие вдобавок были крестьяне, обремененные разного рода оброками и повинностями по отношению к своим помещикам. В 1844 г. доведенные до отчаяния ткачи стали ломать машины, громить фабричные здания, истреблять конторские книги. Их усмиряли военной силой. В следующих годах в Силезии свирепствовал голод, и стала распространяться эпидемия голодного тифа. Правительство пришло на помощь к бедствующему населению, продавая хлеб по удешевленной цене и организуя общественные работы. Но эти меры не могли сразу остановить этого бедствия. В Чехии также рано развилась прядельная промышленность, и введение новых машин сокращало число рабочих, удлиняло рабочий день, понижало заработную плату. В 1844 г. в разных местностях этой страны произошли равным образом серьезные рабочие беспорядки, сопровождавшиеся разгромом зданий и машин. Когда одна большая толпа взбунтовавшихся рабочих направилась к Праге, чтобы просить защиты у эрцгерцога Стефана, ее встретили военным отрядом, открывшим по ней ружейные выстрелы. Признаки глубокого расстройтва обнаруживались и в сельском хозяйстве, которое не могло хорошо идти при существовании многочисленных остатков феодального режима. Од-

новременно с местными кризисами в только что зарождавшейся крупной промышленности на народное благосостояние удручающим образом действовали частые недороды хлеба. Во второй половине сороковых годов народные волнения, вызывавшиеся безработицей и дороговизной хлеба, были особенно часты. В большие города стекалось множество бездомного и безработного люда, увеличивая собой так называемый «опасный элемент» городского населения. Против него принимались преимущественно меры чисто полицейского характера, но вообще правительства, по-видимому, гораздо более боялись крестьянских волнений. Голодные и праздные люди представляли из себя постоянный контингент для уличных беспорядков. Самым типичным примером народного волнения, вызванного дороговизной пищи, была так называемая картофельная война в Берлине в апреле 1847 г., продолжавшаяся целых четыре дня. Расходившийся народ усмиряли военной силой, и многие потом заплатились тюремным заключением за свое участие в этих беспорядках. Бюргерство, недовольное общим направлением внутренней политики, оправдывало подобного рода проявления народного раздражения, если только беспорядки не принимали прямо характера восстания неимущих против имущих. В разных вспышках народного недовольства оно охотно видело доказательство того, что правительства плохо делают свое дело, что старые порядки нигде более не годятся. Его вражда была направлена главным образом на представителей власти и сословные привилегии. Предполагалось, что все категории промышленного класса, начиная богатыми купцами и фабрикантами и кончая самыми незначительными ремесленниками, имеют совершенно тождественные интересы, и в этом были убеждены представители мелкой буржуазии, которая еще не ощущала на себе невыгодного для нее влияния крупной индустрии, забивающей мелкую промышленность. В низших слоях городского населения, особенно в том общественном классе, который впоследствии стал называться *Lumpen proletariat* (по-русски — «босая команда», «золоторотцы» и т. п.), не было, да и быть не могло никакой политической идеи по их крайней неразвитости, никакого общего классового сознания при полной между ними разрозненности, естественно, поддерживавшейся полицейскими мерами. Только в нарождавшемся фабричном пролетариате могли распространяться новые идеи, но большей частью эти идеи были иностранного происхождения, да и общие политические условия не особенно благоприятствовали их распространению.

Интеллигентная немецкая буржуазия была в эту эпоху под сильным влиянием политического либерализма, с завистью смотря на английские и французские отношения. Гнет меттерниховской системы приводил ее в раздражение, и в этом общем недовольстве существующими порядками сглаживались в значительной мере разные политические оттенки. Указанное оппозиционное настроение принимало нередко революционный ха-

ракти, по крайней мере в своих словесных выражениях. Особенно были ненавистны немецким либералам вероисповедный характер внутренней политики и вообще духовный гнет в области науки и литературы. В сороковых годах наиболее видные представители немецкого либерализма стали сближаться между собой на почве общих демократических и республиканских стремлений, которые, однако, они не решались высказывать публично. Таковы были знаменитый в свое время баденский парламентский оратор Адам фон Ишштейн, Роберт Блум из Лейпцига, известный своим свободолюбием, Мати из Бадена, на которого смотрели, как на весьма решительного человека, и некоторые другие деятели. С 1840 г. они ежегодно съезжались для того, чтобы потолковать об общем положении дел и о лучшем будущем. От политического радикализма было, так сказать, рукой подать до радикализма социального, главные идеи которого, как было сказано, приходили из Франции. Таково было настроение, которое господствовало в средних классах. Мелкая немецкая буржуазия сравнительно мало была задета идейными течениями эпохи и по многим вопросам разделяла даже взгляды доброго старого времени, например, высказываясь против доктрины свободной конкуренции с точки зрения цеховых преданий. Из фабричных рабочих лишь те начинали сознательно относиться к своему положению, которым удавалось побывать в чужих странах. Особенно много немцев уходило на заработки в Швейцарию. Хотя тамошние экономические отношения не отличались от тех, какие существовали в Германии, но благодаря политической свободе немецкие рабочие в Швейцарии могли основывать между собой союзы, и политические эмигранты пользовались этими союзами для распространения новых общественных идей. Немецкие работники отправлялись также иногда во Францию и Англию, где знакомились уже с совершенно новыми индустриальными порядками и воспринимали идеи, бывшие в ходу у французских и английских пролетариев. Возвращаясь на родину, странствующие рабочие приносили с собой новые взгляды. В 1834 г. около Берна состоялся съезд немецких рабочих, вызвавший со стороны немецких властей запрещение отправляться на заработки в Швейцарию. Прусское правительство даже нашло нужным держать в Швейцарии своих шпионов. Но вообще движение это отличалось довольно наивным характером. В свое время рассказывали анекдот об одном молодом подмастерье, который на вопрос о его ремесле отвечал: «Fürstenmörder»¹. Только в прирейнских областях настроение рабочего класса было более определенно и решительно. Во всяком случае, то «Германии сонное храпение», о котором говорит Гейне в одном из своих произведений, было скорее остроумной шуткой, чем верной действительности характеристикой общественного настроения немцев.

¹ Князь (глава) убийц (нем.). — Прим. ред.

Рядом с политическими вопросами внимание немецкого общества в тридцатых и сороковых годах привлекали к себе и вопросы экономические. Политическая экономия, которая в Германии интересовала сначала почти исключительно одних чиновников и практических деятелей на поприщах промышленности и торговли, мало-помалу стала обращать на себя внимание и более широких кругов общества. Но это случилось здесь гораздо позднее, нежели, например, в Англии. Хотя Адама Смита переводить на немецкий язык, излагать и комментировать начали еще в семидесятых годах XVIII в., и тогда же образовалась небольшая школа экономистов, следовавших его учению, английская экономическая теория в Германии не имела особенно большого влияния. Писатели и деятели реакционного направления были горячими противниками новой экономической доктрины, которая казалась им слишком сродни Французской революции, и они не хотели ни распространения теоретических взглядов Адама Смита, ни приложения их к практической жизни. Даже великий прусский реформатор Штейн далеко не разделял воззрений новой экономической школы. Идея свободной конкуренции совершенно противоречила всем общественным порядкам, а также воззрениям и интересам господствующего дворянского сословия. С другой стороны, промышленная буржуазия существовала только в зародыше, и поэтому манчестерство не могло найти в Германии столь многочисленных и влиятельных сторонников, каких оно приобрело в Англии и во Франции. Вот почему история политической экономии в Германии пошла по несколько иному пути, нежели во Франции, хотя и здесь и там основные принципы новой науки были заимствованы из одного и того же источника — из английской классической школы, созданной Адамом Смитом, Мальтусом и Рикардо. Немцы отнеслись к новой теории вообще с большею критикой, нежели французы (конечно, если исключить социалистов), и внесли в науку политической экономии совершенно новые понятия.

Наиболее видные немецкие экономисты школы Адама Смита действовали около 1830 г. Особенно популярен был в эту эпоху — преимущественно в среде немецкого чиновничества — Карл Рау, прославившийся своей ученостью и большим запасом фактического материала в своих трудах. Уже у него мы встречаемся с идеей относительности принципов политической экономии. Еще более любопытное явление представляет собой фон Тюнен, автор знаменитого в свое время сочинения «Изолированное государство в его отношениях к сельскому хозяйству и политической экономии» (1826 г.). Между прочим, фон Тюнена уже тревожила мысль о возможности крупного конфликта между средним классом и рабочей массой. Относясь с большим сочувствием к трудящемуся люду, он сделал предметом своих специальных изысканий вопрос о заработной плате, стремясь найти ее естественную величину. В его глазах эта плата выражала собой не

только цену труда, взятого в качестве товара, но и средства к существованию громадного большинства народа. Он выразил в математической формуле, которую завещал вырезать на своем надгробном памятнике, эту естественную величину заработной платы, необходимо, по его мнению, растущую с увеличением общего количества продуктов труда. Будучи вполне убежден в истинности своего экономического закона, он даже сделал рабочих в своем имении участниками в прибылях хозяйства. Но самым замечательным представителем политической экономии в Германии в рассматриваемую эпоху был Фридрих Лист, главное сочинение которого «Национальная система политической экономии» вышло в свет в 1841 г. Его деятельность — сначала чиновничья, потом профессорская — началась гораздо раньше. Удаленный с вюртембергской службы за несогласный образ мыслей, он с 1819 г. сделался главным агитатором в пользу таможенного союза, так как полагал, что основная причина неудовлетворительного состояния Германии заключалась в разобщенности отдельных частей ее территории. Именно в этом году он основал «Немецкий торговый и промышленный союз» и стал издавать для пропаганды своей идеи журнал «Орган для немецкого торгового и промышленного сословия». Вюртембергское правительство продолжало его преследовать и после того, как он был выбран в нижнюю палату ландтага: за либеральное воззвание к своим избирателям он был исключен из ландтага, подвергся тюремному заключению и в заключение был выслан из страны. В середине двадцатых годов он эмигрировал в Америку, из которой вернулся в Германию только в начале тридцатых годов. Кроме того, временно он жил еще в Швейцарии, во Франции и в Бельгии. Во время своих странствований Лист имел возможность присмотреться к весьма различным экономическим порядкам и наблюдать экономические явления на разных ступенях общественного развития, и это не могло не отразиться на его научной теории. В тридцатых годах Лист кроме таможенного союза пропагандировал еще необходимость проведения в Германии железных дорог. Живя в разных местностях Германии, он был хорошо знаком и с ее экономическим бытом. Помимо этого, он внимательно следил за тем, что делалось за границей, знакомя немецкую и даже французскую публику с борьбой из-за экономических вопросов, происходившей в тогдашней Англии. В своей теории Лист выступает уже противником системы Адама Смита. Он находил, что английская школа слишком космополитична, потому что между отдельной личностью и человечеством стоит еще нация, как нечто единое и целое в культурном и политическом отношениях. Вот почему он назвал свою систему «национальной»; да и вообще после того немцы стали охотнее называть политическую экономию национальной экономией. Особенно замечательна мысль Листа, что все народы умеренного климата проходят через известные фазисы хозяйственного развития. По его мнению, на выс-

шей ступени находилась Англия, за ней следовала Франция, а на более низкой ступени, исключительно земледельческой, находились южнороманские страны. Что касается до Германии, то она вместе с Соединенными Штатами Северной Америки занимала промежуточную ступень, характеризующуюся началом развития обрабатывающей промышленности. Лист указывал далее на то, что каждая такая ступень развития имеет свои условия, с которыми следует сообразоваться, и свои нужды, требующие удовлетворения. Он не только не отрицал государственного вмешательства, но даже ставил правительству задачу создавать путем законодательства и административных мероприятий наилучшие условия для дальнейшего развития и наиболее подходящие средства для удовлетворения текущих потребностей. С этой точки зрения он различным образом оценивал значение свободной торговли, смотря по тому, на какой ступени развития находится страна. Для Англии он считал свободную торговлю системой вполне уместной, т. е. необходимой и полезной. Но для Германии требовалось нечто иное. По его мнению, внутренние таможи в Германии, стеснявшие промышленность и торговлю в самой стране, должны быть уничтожены, но вся Германия, взятая в целом, должна была быть подчинена разумному протекционизму для насаждения в ней самостоятельной обрабатывающей промышленности. Идеи Листа, которые были весьма благоприятны для зарождавшейся промышленной буржуазии, произвели сильное впечатление на немецкое общество, так как в них отвлеченная экономическая теория являлась в сочетании с целым рядом ответов на вопросы национального существования Германии. Благодаря этому политической экономией и стали теперь интересоваться вообще образованные люди, не имевшие специального отношения к вопросам промышленности и торговли.

Идея относительности принципов политической экономии с большей или меньшей резкостью выступает в сочинениях большей части немецких ученых этой эпохи. Политическая экономия Адама Смита, равно как его предшественников — физиократов, возникла в эпоху господства антиисторической философии естественного права. Германии, которой принадлежала честь создания исторической школы права, выпало на долю положить начало и исторической школе политической экономии. Уже Лист при изучении экономических явлений становился на историческую точку зрения. В 1839 и 1840 гг. он даже написал по-французски и по-немецки две статьи о политической экономии «перед судом истории» и «с исторической точки зрения». Одновременно Ганссен в качестве историка изучал экономический быт древности и Средних веков. Но настоящим основателем исторической школы был весьма ученый историк и экономист Вильгельм Рошер, прямо противопоставивший исторический метод методу философскому. В 1843 г. он изложил основные принципы нового

научного направления в небольшом «Пособии к лекциям политической экономии на основании исторического метода». Здесь он поставил для науки новую задачу — изучение взаимной связи истории форм народного хозяйства и экономических учений. Между прочим, Рошер указывал на то, что недостаточно наблюдать лишь современные хозяйственные явления, что нужно сравнивать эти явления в разных странах и в разные времена и что лишь этим путем можно объяснить, как и почему учреждения, бывшие когда-то целесообразными, постепенно превратились в нечто бессмысленное, и вещи, бывшие раньше полезными, сделались вредными. С этой точки зрения он не мог допускать, чтобы одно и то же было хорошо или было дурно для всех народов и для всех ступеней развития. Этим Рошер вводил в науку требование объективизма, так как исторический метод не позволяет абсолютно порицать или восхвалять какие бы то ни было хозяйственные учреждения. Наконец, будучи сам хорошим знатоком древней истории¹, он утверждал, что с наибольшими интересом и поучительностью мы должны исследовать жизнь древнего мира, история которого перед нами вся, как цельный, завершившийся процесс.

Рошер справедливо считается основателем исторической школы в области экономических изучений, хотя он выражал только стремления, общие ему с другими экономистами эпохи, и лишь переносил на изучение народного хозяйства идеи, бывшие в ходу в исторической школе права. Несколько позднее, именно в 1848 г., Бруно Гильдебранд издал первый том оставшегося без продолжения труда под заглавием «Национальная экономия прошедшего и будущего», где тоже проводил принципы исторического направления и метода. По его мысли, политическая экономия должна была прямо превратиться в науку о законах экономического развития народов. Методологическим образцом для него в этом отношении служила тогдашняя лингвистика, уже широко применявшая приемы сравнительного изучения. Научное значение исторической школы не подлежит ни малейшему сомнению, но у нее были и свои недостатки, как в философском, так и в общественном смыслах. Наиболее рьяные сторонники экономического историзма стали отрицать всякое значение за абстрактным методом школы, созданной английскими экономистами². С другой стороны, объективизм, провозглашенный этой школой, нередко заставлял ее сторонников лишь констатировать данные явления без их оценки, особенно в применении к жизненной практике, а историзм, как и в соответственной школе права, был иногда только прикрытием своего рода консерватизма. Становясь на историческую точку зрения, при известном

¹ В 1838 и 1842 гг. он издал «De historicae doctrinae apud sophistas majores vestigiis» и «Leben, Werk and Zeitalter des Thucydides».

² См. мои «Старые и новые этюды об экономическом материализме».

настроении легко оправдывать настоящее ссылками на то, что это настоящее есть не что иное, как необходимый результат прошедшего. Такая точка зрения действительно давала возможность брать под защиту одинаково и против либеральной экономии, и против социалистов устаревшие хозяйственные формы, обреченные на разложение. Консерватизм, присущий исторической школе права, проявился, таким образом, и в новом направлении политической экономии. Рошер, конечно, справедливо указывал на то, что наука не может ограничиваться изучением одного современного состояния. Но здесь он слишком перегнул сломанную палку в другую сторону, поставив на самое первое место изучение античного народного хозяйства, дабы извлекать оттуда данные для понимания немецкой современности, которую гораздо более могли бы осветить исследования в области экономических порядков тогдашних Англии и Франции. Не без основания поэтому упрекали историческую школу в том, что в ней начинал преобладать дух беспринципного оппортунизма, без ясных и определенных ответов на вопросы, ставившиеся самой жизнью. В этом заключалась и слабая сторона идеи об относительности экономических принципов, бывшей одним из лозунгов исторической школы. Рошеру и его школе, быть может, позволительно еще сделать упрек и в том, что, признавая в теории относительность принципов политической экономии, ни он, ни последователи его не распространяли этой идеи на сами понятия политической экономии, рассматривая их не как исторические, а как логические категории.

Новое направление политической экономии получило большое пространство и оказало значительное влияние на дальнейшее развитие науки. Но в ту же самую пору в Германии жил один экономист, которого надлежащим образом оценили только позднее. Это был Родбертус-Ягетцов. По окончании университетского курса он сначала состоял на прусской государственной службе, а потом, с середины тридцатых годов, проживал помещиком и сельским хозяином в своем померанском имении. На литературное поприще Родбертус вступил в начале сороковых годов и продолжал подвизаться на нем до самой своей смерти (1875 г.). С 1848 г. он, кроме того, играл в Пруссии и политическую роль.

Первая статья, которую он еще в 1839 г. написал для «Allgemeine Zeitung», касалась требований рабочих классов, но редакция этой газеты отклонила присланную ей статью как нечто совсем неподходящее. В 1842 г. он издал сочинение «К познанию наших экономических отношений». Свою точку зрения он называл лишь последовательным развитием принципа, впервые высказанного Адамом Смитом и затем подкрепленного Рикардо, что с экономической точки зрения все блага нужно рассматривать единственно как продукты труда. Существование пауперизма и экономических кризисов он принимал за указания на то, что в распределении продуктов общего труда не

все обстоит благополучно¹. Другими словами, Родбертус доказывал, что труд есть единственный источник ценности, но что современный экономический порядок с его свободной конкуренцией не может считаться правильным. На первоначальных воззрениях Родбертуса, несомненно, сказалось некоторое влияние Сисмонди, но если последний мечтал о возвращении к старым формам быта, то Родбертус, наоборот, хорошо понимал, что возвращение к пережитым формам немислимо, что общество постоянно идет вперед. «Для меня, — писал он, — имеет значение социальной реакции, да и вообще реакции всякое учреждение, которое было да сплыло и тем не менее снова вводится в жизнь для будущих времен, хотя бы условие его существования было несовместимо с исторической ступенью жизни этой будущей эпохи». Его положительный идеал будущего сложился под влиянием системы Оуэна, но только он думал, что для осуществления нового общественного строя потребовалось бы еще пол-тысячелетия странствования человечества по пустыне, пока оно не вступит в «обетованную землю» освобождения от поземельной и капиталистической собственности. Относясь с сочувствием к пролетариату, Родбертус, однако, вовсе не помышлял о том, чтобы дать какой-нибудь лозунг рабочим классам. Движения, происходившие в их среде, его даже пугали, особенно позднее, и чем более грозный характер они принимали, тем более готов он был превыше всего ставить государство и от него одного ожидать спасения. Равным образом впоследствии, когда в Германии с развитием обрабатывающей промышленности обострились отношения между буржуазией и народом, Родбертус не ожидал ничего хорошего ни от победы среднего класса, ни от победы пролетариата и все настойчивее проводил ту мысль, что спасения нужно искать в третьем общественном классе, в землевладельцах, т. е. в том самом сословии, к которому он принадлежал сам. Некоторые критики Родбертуса даже высказывали мысль, будто основным источником социалистических выводов, которые он делал из трудовой теории ценности, было желание посеять раздор между рабочими и буржуазией, дабы сделать из первых орудие интересов землевладельческого класса в его борьбе с промышленными и торговыми капиталистами. Для истории экономических идей гораздо важнее то, что в теории Родбертуса мы встречаемся с положениями, которые впоследствии получили полное развитие у самых видных представителей немецкого социализма. Необходимо прибавить, что Родбертус занимался не только вопросами экономической теории и политики, но равным образом и вопросами экономической истории, хотя сам не принадлежал к исторической школе и не пользовался особенным сочувствием среди ее представителей. Между прочим, даже Рошер как-то всегда замалчивал научные заслуги Родбертуса, несмотря на то что исторические его исследования были направлены как раз на

¹ См. т. IV гл. XXV, где идет речь о кризисе и пауперизме.

экономические отношения античного мира. Наконец, следует еще отметить, что уже в самом начале своей деятельности Родбертус был хорошо знаком с французской и английской экономической и социалистической литературой. В этом отношении он, впрочем, не составлял исключения: наиболее видные немецкие ученые этой эпохи хорошо знали Англию и Францию, что, конечно, было их преимуществом в сравнении с экономистами тех стран, где знали, и даже хотели знать только свое.

В Германии же, и тоже в начале сороковых годов, вышло в свет и первое научное исследование французского социализма и коммунизма, до сих пор остающееся одним из основных сочинений для истории французских социальных учений той эпохи. Автором этого труда был в то время только что начинавший свою деятельность молодой ученый, впоследствии сделавшийся специалистом в различных областях государственного управления и прославившийся в ученом мире как замечательный систематизатор в этой науке. Это был Лоренц Штейн, автор вышедшей в 1842 г. книги «Социализм и коммунизм современной Франции». Окончив на родине юридическое образование и получив докторскую степень, Лоренц Штейн поехал в Париж для изучения новых общественных идей, которые тогда волновали умы. В Париже он познакомился с Консидераном и Луи Бланом и Кабе, которые сообщили немало драгоценных данных для его будущей книги. В Париже он познакомился также и с Луи Рейбо, автором незадолго перед тем появившейся книжки «Этюды о современных реформаторах, или Новейших социалистах, Сен-Симоне, Фурье и Оуэне» (1839 г.). Рейбо был единственным предшественником Штейна в избранном им предмете, но это был скорее простой излагатель, чем исследователь предмета. По собственным словам Штейна, заслуга Рейбо заключалась в том, что он первый соединил вместе в одной книге современных реформаторов и познакомил большую публику с их воззрениями в одном целом. Но главный недостаток представлений Рейбо, как совершенно верно замечает Штейн, заключался в том, что он не выходил за пределы самого социализма и потому дал предмету одностороннее освещение. «Рейбо, — говорит Штейн, — не приходит к мысли об обществе и его истории, а также к мысли о пролетариате, и поэтому видит в теориях Сен-Симона и Фурье лишь две новые утопии, занимающие известное место в истории утопических мировоззрений рядом с Томасом Мором, Кампанеллой и др. В этом заключается величайшая несправедливость, какую он делает относительно более глубокого содержания как своего времени, так и названных писателей». Значение труда Штейна состоит именно в том, что он дал более широкую постановку своему предмету. В 1848 г. в виде прибавления к первому своему сочинению он издал еще книжку «Социалистические и коммунистические движения со времени третьей Французской революции», а в 1850 г. — трехтомный труд под заглавием «История социального движения во Франции с 1789 г. до наших дней».

Штейн видел, что жизнь порождает новые формы, и хотел понять их научно в качестве хладнокровного наблюдателя. По его словам, новые социальные теории получают настоящее свое значение от той почвы, на которой они возникли. «Время чисто политических движений, — говорит он в первом своем сочинении, — прошло. Подготавливается новое движение, не менее серьезное и сильное. Как в конце прошлого столетия поднялось против государства одно сословие народа, так и теперь один класс народа думает о том, чтобы коренным образом преобразовать общество, и ближайшая революция теперь может быть только социальной». Впоследствии в новом своем труде Штейн мог уже сослаться на то, что его предсказание исполнилось. С гораздо меньшим правом он мог утверждать тогда же, будто социалистическое движение в Германии явилось результатом появления его первой книги. Несомненно, однако, что именно в этом труде он первый высказал ту мысль, что «ни одно сколько-нибудь глубокое движение европейского народа не принадлежит ему одному» и что «если его круг выходит далеко за границы отдельной нации, то это не простая случайность. Поэтому, — прибавляет он сам, — если социальное направление французской жизни верно и имеет историческое основание, то оно, хотя бы только в качестве отдаленного будущего, равным образом содержится и в нашей жизни». По мнению Штейна, это социальное направление коренится в данном состоянии общества, породившем пролетариат. Но пролетариат есть только один из классов общества, общество же есть нечто отличное от государства, и взаимные их отношения должны быть поняты научно. «На долю Германии, — говорит Штейн, — выпадает высокая задача примирить в своей науке все противоречия европейского мира». Он остановился лишь на одних французских социалистах, ибо для того, чтобы говорить об Оуэне, нужно было бы исследовать английские социальные отношения, как это им было сделано по отношению к французским, и он даже ожидал, что кто-нибудь исполнит и эту задачу. Научный результат исследований Штейна заключался в мысли, что социально-экономической подкладкой французского социализма и коммунизма являлась классовая борьба буржуазии и пролетариата. Поэтому Рошер обнаружил только свое непонимание, когда заявил, что книга Штейна действовала на немецкую публику, как баснословный рассказ из далеких стран. Через восемь лет после появления книги Штейн издал ее в совершенно переработанном виде, придав ей и более теоретический характер. Он занялся здесь установлением понятия общества, взятого главным образом в своей экономической основе «с зависимостью тех, которые ничего не имеют, от тех, которые имеют». Между обществом и государством, по теории Штейна, возможны разные отношения, и, между прочим, борьба. В народном представительстве он видел «орган, посредством которого общество (т. е. господствующий класс общества) господствует над государством». А так

как государственная власть должна содействовать интересу всех отдельных лиц без различия их положения, то Штейн и считал необходимым элементом государственного устройства такую власть, которая стояла бы выше противоположности частных, в том числе и классовых интересов. Такое значение он приписывал, с одной стороны, монархии, с другой — совокупности должностных лиц в государстве. Отношение монарха к господствующим общественным классам может быть различным, но нормальным Штейн считал такое поведение королевской власти, когда она «самодетельно, против воли и естественного стремления господствующего класса берется за возвышение низшего, социально и политически подчиненного класса и в этом направлении осуществляет вверенное ей государственное верховенство». С этой точки зрения Штейн подверг критике политику прежних монархических правительств Франции, поставив в то же время перед монархической властью в Германии служение социальной задаче.

Книга Лоренца Штейна выясняла самым немецким социалистам основную сущность всего движения. Дело в том, что социальные идеи уже давно возникали и распространялись в немецком обществе. Первоначально, как и в других странах, это были чисто теоретические, вполне абстрактные рассуждения, не имевшие в виду практического осуществления. Например, еще Фихте в 1800 г. в своем сочинении «Замкнутое торговое государство» изображал такое государство, которое заведовало бы всем производством и распределением материальных благ. Фихте исходил из идей естественного права. «В сущности, все люди имеют совершенно одинаковое право на все, и если какая-либо вещь становится моей, то лишь потому, что все другие люди отrekliсь от этой вещи. Поэтому все люди имеют одинаковое право на одинаково хорошую жизнь посредством участия в общем труде: например, прежде, чем кто-либо начнет наряжаться, у всех должна быть одинаково теплая и удобная одежда». Можно было бы привести и другие рассуждения в подобном роде, но они оставались в книгах своих авторов, не овладевая умами сколько-нибудь значительных общественных групп и не оказывая влияния на их поведение. Только в ту эпоху, о которой идет теперь речь, стал возникать в Германии социализм, как настоящее общественное направление, причем довольно рано в данном отношении уже обнаруживалось французское влияние. Мы видели, что воззрения сен-симонистов отразились на стремлениях Гейне и других представителей «Молодой Германии». Но этих писателей интересовала более моральная, нежели экономическая сторона сен-симонизма. Социалистические взгляды, и притом с революционной окраской, во второй половине сороковых годов проповедовали также некоторые западногерманские публицисты, среди которых особенно выдвинулись Гесс и Грюн, бывшие одновременно последователями «гуманизма» Фейербаха и «анар-

хии» Прудона, но стоявшие далеко позади Лоренца Штейна по своему чисто отвлеченному отношению к предмету. Особенно Гесс старался облекать экономические понятия в философскую фразеологию гегельянства, например, объявляя, что «материальная собственность есть ставшее определенной идеей для-себя-бытие (Für-sich-sein) духа». В 1845 г. Грюн побывал в Париже и написал книгу о социальном движении во Франции и Бельгии, в которой равным образом рассматривал вопрос совершенно абстрактно. Оба они относились свысока к либеральным стремлениям буржуазии, доказывая, что для масс отсюда ничего не выйдет, кроме, пожалуй, одного только зла. Это направление нашло в лице Маркса и его друга Энгельса весьма строгих критиков.

Гораздо более серьезное значение имели социальные стремления, которые стали проявляться в тайных обществах немецких эмигрантов, ставивших своей целью объединение, возрождение и преобразование Германии. Эти общества возникли в середине тридцатых годов, и первым из них был парижский «Bund der Geächteten»¹, в котором очень скоро произошло разделение между политическими и социальными революционерами. От него отделился в 1836 г. «Bund der Gerechten»², в числе членов которого, большей частью ремесленников, мы находим магдебургского портного Вильгельма Вейтлинга, издавшего в 1838 г. сочинение под заглавием «Человечество, как оно есть и каким должно быть». Это общество искало сближения с французским «Обществом времен года» и с представителями тогдашнего социализма и коммунизма. Неудача республиканской попытки 1839 г. заставила членов союза перенести свою организацию в Лондон, а Вейтлинг направился в Швейцарию для того, чтобы и в этой стране вести коммунистическую пропаганду. Здесь ему удалось основать новый союз, целью которого было оказывать воздействие на Францию и Германию. На этого ремесленника-коммуниста справедливо смотрят как на связующее звено (по крайней мере для Германии) между утопическим социализмом предыдущей эпохи и социализмом как проявлением стремлений пролетариата в эпоху, которая наступила впоследствии. Человек, убежденный в правоте своих воззрений, он все свои надежды возлагал на революцию, которую должен был произвести доведенный до отчаяния народ. Он даже придавал очень важное значение участию в этой революции так называемых подонков общества, способных только к разрушительной работе. В его социалистических мечтаниях было место и для грядущего великого человека, который явится во время революции, чтобы все свои силы употребить на водворение коммунизма. Это было нечто вроде того миллионера, которого каждый день поджидал Фурье, или вроде Икара в социально-философском романе Кабе. Вейтлинг называл его новым Мессией,

¹ «Союз отверженных» (нем.). — Прим. ред.

² «Союз справедливых» (нем.). — Прим. ред.

который придет для того, чтобы осуществить учение первого Мессии: и он не выпустит власти из своих рук, пока не исполнит своего великого дела, а когда оно будет совершено, весь мир признаёт его и назовет его вторым Мессией и более великим, чем был первый. Подобно современным ему французским социальным проповедникам, Вейтлинг готов был понимать первоначальное христианство как революционное движение угнетенных классов общества в коммунистическом направлении. Подобное же движение и сам он стремился возбудить среди современных рабочих классов: Вейтлинг действовал как пропагандист и организатор. Его сочинения (кроме названного выше еще «Евангелие бедного грешника» и «Гарантии гармонии и свободы») в свое время производили сильное впечатление. Между прочим, Маркс и Энгельс находили, что его деятельность не была безрезультатна, а Маркс под впечатлением сочинения Вейтлинга даже говорил, что немецкий пролетариат является теоретиком европейского пролетариата, как английский пролетариат — его экономистом, а французский — его политиком. Заметим, что главное сочинение Вейтлинга («Гарантии гармонии и свободы») вышло в свет в один год с книгой Лоренца Штейна.

Таковы были экономические учения и социальные течения в Германии в то время, когда Маркс, дошедший до воззрений, диаметрально противоположных политическому учению Гегеля, совершил новый шаг в своем развитии, обратившись в социалиста. Многие из того, что он стал высказывать в эту пору своей жизни, в той или другой форме уже существовало в тогдашней немецкой литературе. Одни и те же условия жизни в разных людях порождали сходные мысли, но кое-чем Маркс был прямо обязан своим предшественникам. Социальный вопрос на почву классовой борьбы был поставлен еще французскими писателями, из которых особенно следует отметить Луи Блана. Ту же самую точку зрения положил в основу своей книги и Лоренц Штейн. Благодаря этому новые социальные учения получали свою историческую основу. В то же время немецкие экономисты вводили в науку понятие об относительности экономических принципов, и экономические категории из логических превращались в исторические. Далее, идея закономерности исторического процесса была общим достоянием всей гегельянской школы, и если ее родоначальник вносил в понимание этого процесса крайний идеализм, то таковое понимание уже было разрушено старшими представителями левого гегельянства, стремившимися придать своей философии более реалистический характер. Маркс, одинаково хорошо овладевший философскими и социальными теориями двух соседних стран, занялся своего рода синтезом этих учений, сопровождая их своей критикой. Сначала эта критика, как мы видели, была направлена на немецкие философские теории, бывшие исходным пунктом мышления самого Маркса. Потом он сделал то же самое с французскими социальными учениями, от которых им также был

получен весьма сильный импульс к умственной деятельности. С английскими экономическими отношениями и социальными движениями он на первых порах ознакомился главным образом через Фридриха Энгельса, с которым сошелся во время написания своего «Святого семейства».

Энгельс, по происхождению сын фабриканта, был лишь двумя годами моложе Маркса. Очень молодым человеком он сошелся с левыми гегелянцами, откуда получил импульс к своей дальнейшей деятельности. С конца 1842 до осени 1844 г. он прожил в главном центре английской обрабатывающей промышленности, Манчестере, где изучал фабричное дело, быт рабочих и новые социальные идеи. В это время в Англии далеко еще не все понимали, что между пролетариатом и социализмом существует внутренняя связь, но Энгельс скоро уловил эту связь. Ему приходилось вступать в сношения и с чартистами, и с последователями Оуэна, и с вожаками немецкого «Союза праведников». Почти два года, проведенные в такой обстановке, дали Энгельсу возможность не только хорошо изучить социальный быт тогдашней Англии, но и прийти к некоторым общим положениям, напоминающим те взгляды, которые Марксом были вынесены из изучения Французской революции. Весьма естественно, что, встретившись осенью 1844 г. в Париже, они быстро сблизились на почве однородных философских и социальных воззрений, и с этого времени между ними установилась тесная дружба на всю жизнь. Энгельс работал еще в «*Deutsch-französische Jahrbücher*» Руге, где поместил статьи по критике политической экономии и о внутреннем состоянии в Англии; затем он принимал участие в написании «Святого семейства». В этом сочинении Маркс и Энгельс, между прочим, высказывали ту мысль, что социальные реформаторы Франции и Англии не понимали того значения, какое имеет самостоятельное развитие пролетариата. Наконец, в 1845 г. Энгельс издал свою знаменитую книгу «Положение рабочих классов в Англии». В предисловии к этой книге он говорил, что хочет положить конец всем спорам «за» и «против» социализма, изобразив настоящее положение пролетариата. Так как полного своего развития пролетариат достиг только в Англии, то Энгельс и взялся изобразить положение именно английских рабочих. Здесь он проводит ту мысль, что капиталистическое хозяйство, создавшее все бедствия пролетариата, включает в себе и зародыши его освобождения и что капитализмом обуславливается не только современное всемогущество буржуазии, но и будущий ее упадок. Основной задачей сочинения было показать, как крупная промышленность создает современный рабочий класс и как последний сам в силу законов исторической диалектики развивается, чтобы низвергнуть ту самую силу, которая его создала. Буржуазия и пролетариат находятся в тесном взаимоотношении, взаимно обуславливаются друг другом. Хотя пролетарий, по-видимому, совершенно свободен, но на самом деле он находится в положении раба. Правда, его

никто не продает, но он сам продает себя, хотя и не раз навсегда, а, так сказать, по частям — на сутки, на неделю, на целый год, и продает себя при этом не одному какому-нибудь человеку, а целому общественному классу. Изображая бедствия английских рабочих, Энгельс в этих бедствиях видит и надежду на спасение, так как она ведет к борьбе пролетариата за возможность для рабочих оставаться и чувствовать себя людьми. Если Маркс критиковал современных ему французских реформаторов, то Энгельс делал то же самое по отношению к английским, главным образом указывая на то, что чартизм и социализм в Англии слишком разбегены, и ни тот ни другой в отдельности не может сделаться действительным знаменем пролетариата. В заключении к своей книге он предсказывал близкую социальную революцию в Англии, в данном случае лишь повторяя то, что на этот счет говорили сами англичане, хотя бы, например, Карлейль.

Начав работать сообща, Маркс и Энгельс задумали всестороннюю критику всей послегегелевской философии и написали большое сочинение, которое, однако, в печати не появилось и для своих авторов имело лишь то значение, что дало им возможность лучше продумать свое социально-философское мировоззрение. Вместе с тем Маркс продолжал свои занятия теоретическими вопросами политической экономии. Живя еще в Париже, он довольно близко сошелся с Прудонем, к которому относился с большим почтением и которого сам посвящал в тайны гегельянской философии. До некоторой степени овладев диалектическим методом, Прудон и применил его, как известно, в своей «Системе экономических противоречий, или Философии нищеты», задумав в ней примирить в высшем синтезе воззрения экономистов и коммунистов. Прочитав это сочинение, Маркс нашел, однако, что Прудон не достиг своей цели и что, желая стать выше буржуазии и пролетариата, он, в сущности, остался позади этого разделения, являясь, так сказать, представителем мелкого мещанства. Книгу Прудона Маркс подверг поэтому весьма резкой критике в написанной по-французски работе под заглавием «Нищета философии. Ответ на философию нищеты Прудона» (1847 г.). Защищая против Прудона экономистов, которые гораздо лучше, нежели он, поняли внутреннее строение буржуазного общества, Маркс указывал, однако, что общие понятия, употребляемые экономистами, вовсе не вечные и естественные категории, а только категории исторические и общественные. «Экономические категории суть только теоретические выражения, отвлеченности общественных отношений. Социальные отношения тесно связаны с производительными силами. С приобретением новых производительных сил люди изменяют свои способы производства, а с изменением способов производства, т. е. приемов добывания средств к существованию, изменяют они и свои общественные отношения. Ручной жернов создает общество с феодальными господами, паровая мельница — с индустриальными капиталистами. Но те

же самые люди, которые образуют социальные отношения в соответствии с материальными способами производства, образуют также и принципы, и идеи, и категории соответственно своим общественным отношениям»¹. С этой точки зрения экономисты являются у Маркса научными выразителями интересов буржуазии, а социалисты и коммунисты — теоретиками пролетариата. Такое толкование совершенно устраняло мысль Прудона о том, что экономисты и социалисты рассматривали лишь разные стороны одного и того же процесса. Вместе с этим Маркс объяснял утопический социализм недостаточностью развития пролетариата как особого общественного класса, сознающего свои интересы. «Крупная промышленность сводит в одно место большое количество людей, совершенно друг с другом незнакомых. Конкуренция их — в их интересах, но желание держать на известной высоте рабочую плату, этот общий их интерес против их хозяев соединяет их в общей мысли о сопротивлении». Правда, и предприниматели соединяются между собой, и между двумя классами происходят стычки, в которых развиваются все элементы грядущей битвы. Коалиции приобретают политический характер, так как борьба одного класса против другого есть политическая борьба. Равным образом и Энгельс говорил в своей книге, что английские рабочие союзы, не будучи в состоянии изменить экономический закон, ставящий заработную плату в зависимость от отношения предложения к спросу на рынке труда, имеют тем не менее значение своего рода подготовительных школ в классовой борьбе. В сочинении против Прудона и Маркс развивает свою историческую теорию о смене в Западной Европе хозяйства феодального капиталистическим, которое само должно уступить место новой форме. Несмотря на важное значение полемики Маркса против Прудона в развитии «научного» социализма, «Нишета философии» в свое время не обратила на себя особенного внимания и нисколько не поколебала авторитета Прудона.

Маркс в это время проживал в Брюсселе; попытка прусского правительства добиться изгнания Маркса из бельгийской столицы окончилась полной неудачей. В 1847 г. Маркс и Энгельс принимали деятельное участие в «Немецкой брюссельской газете», где полемизировали с другими социалистическими направлениями и с чисто политическим радикализмом. Между прочим, они доказывали, что утверждение, будто единственными виновниками всякой реакции являются немецкие государи, столь же неосновательно, как и утверждение этих последних, будто все революцион-

¹ В своей теории экономического материализма Маркс и Энгельс распространили эту мысль о зависимости экономических идей от экономических отношений и на идеи неэкономического содержания, объявив, что все идеи, составляющие духовную культуру общества, суть только отражения в человеческом сознании данных экономических отношений. То же самое они сделали и со всякого рода учреждениями, подчинив их тому же принципу, т. е. поставив государство и право в исключительную зависимость от народного хозяйства как единственной основы общественного существования.

ные движения возбуждаются единственно подстрекательством демагогов. С другой стороны, они доказывали, что пролетариат в собственных своих интересах должен помогать буржуазии в ее борьбе с абсолютизмом и феодализмом. Они поэтому находили вредным воевать с либерализмом, пока последний не одержит победы над старым порядком. Одновременно с Марксом и Энгельсом в Брюсселе проживали многие другие немецкие эмигранты, как интеллигенты, так и рабочие. С одним из эмигрантов, Фердинандом Вольфом, Маркс и Энгельс основали в Брюсселе союз немецких рабочих, в котором Маркс читал лекции политической экономии, посвященные вопросу о заработной плате и капитале. Кроме того, он читал в «Международном демократическом обществе» о модной в то время свободной торговле, которую он отождествил со свободой капитала. За покровительственную систему стоит только нарождающаяся буржуазия, какой была буржуазия немецкая, сам же Маркс высказывался за свободную торговлю, потому что она стирает границы между отдельными национальностями и выдвигает на первый план противоположность между пролетариатом и буржуазией. В только что названном обществе, состоявшем из местных демократов и эмигрантов разных национальностей, Маркс был одним из вице-президентов. То братство народов, о котором много говорилось в их среде, и Марксу и Энгельсу казалось чистой фантазией ввиду того, что отдельные народы стояли на весьма различных ступенях социального развития. Общеввропейская республика объявлялась ими за чистый призрак, подобно ожиданиям, что вечный мир между народами будет результатом полного торжества свободной торговли¹. Если и существует общественный класс, который во всех национальностях имеет один общий интерес, так это — пролетариат. Буржуазия в каждой стране имеет свои особые интересы, а потому вовсе не может быть, на самом деле, расположена к братанию народов.

Играя видную роль в брюссельском «Международном демократическом обществе», Маркс и Энгельс, кроме того, поддерживали деятельные сношения с английскими чартистами и французскими социалистами. Еще живя в Манчестере, Энгельс сотрудничал в чартистских изданиях, у Маркса же было много знакомых в Париже. Точно так же они поддерживали связь и с немецким «Союзом праведников», состоявшим преимущественно из ремесленников и исповедовавшим идеи утопического коммунизма. Они вступили в это общество и образовали его отделение в Брюсселе. Летом 1847 г. в Лондоне состоялся съезд представителей союза, и на нем было решено, устранив из организации ее прежний заговорщический характер, превратить ее в общество для пропаганды, причем целью союза было объявлено «низвержение буржуазии, господство проле-

¹ Ср. выше, где говорится о Кобдене, проводившем именно такую мысль.

тариата, уничтожение старого гражданского общества, основанного на классовых противоположностях, и основание общества нового без классов и без частной собственности». В конце того же самого 1847 г. в Лондоне состоялся второй конгресс, который поставил своей задачей выработать основное учение союза и изложить его принципы в особом манифесте, окончательная редакция которого была поручена Марксу и Энгельсу. В промежуток между первым и вторым конгрессами к союзу обратился за поддержкой и денежной помощью Кабе, в то время готовившийся осуществить исход французских коммунистов в новую Икарию. Союз отнесся к самому Кабе с полным уважением и даже благодарил его за то, что он оказал громадную услугу пролетариату, отвращая рабочих от участия во всяких заговорах, но к плану Кабе отнесся несочувственно, так как считал всю его затею даже вредной. Икарийский коммунизм был объявлен неосуществимым, потому что для перехода к общению имуществ нужно время, в течение которого, с одной стороны, необходимо развитие демократии, с другой — постепенное превращение частной собственности в собственность общественную. Кабе нарочно приезжал в Лондон для того, чтобы убедить немецких коммунистов в основательности своего плана, но не достиг своей цели. То, что ему предсказывали, и случилось с его коммунистической попыткой.

Маркс и Энгельс, которые, собственно говоря, и были авторами проекта, рассматривавшегося на лондонском конгрессе, исполнили данные им поручения в знаменитом «Коммунистическом манифесте», вышедшем в свет в феврале 1848 г. на немецком языке и вскоре затем переведенном на языки английский, французский, датский и польский. В том же феврале отправилась в Америку первая партия икарийцев, и вспыхнула в Париже революция, в истории которой парижскому пролетариату пришлось играть такую видную роль. «Коммунистический манифест» заключал в себе целую программу. Появление его с энтузиазмом приветствовали небольшие группы людей, которым он мог быть понятен и которые были подготовлены к тому, чтобы разделять его идеи. Но революционное движение 1848 г. в рабочем классе совершалось не под знаменем этих идей. Когда вскоре затем наступила реакция, этот документ был совсем позабыт, и только в более близкое к нам время социальное движение в Германии, а отчасти и в других странах, приняло марксистский характер. В основу «Коммунистического манифеста» была положена историко-философская теория экономического развития, которую Маркс и Энгельс вырабатывали сообща в предшествующие годы. «История всех доныне существовавших обществ есть история борьбы классов... Господствующими идеями данного времени всегда были идеи господствующего класса. Говорят об идеях, которые создают революционное настроение во всем обществе, но этим выражают тот факт, что внутри старого общества образовались эле-

менты нового строя, что рядом с разрушением старого образа жизни идет разложение старых идей». Борьба классов всегда основывалась на их противоположности, которая в различные эпохи принимала различные виды. По мнению авторов «Комунистического манифеста», исторический процесс совершается в сторону уничтожения классовых противоположностей, и «Манифест» пророчит совершенное исчезновение тех форм общественного сознания, в которых оно до сих пор всегда вращалось. «С образом жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным положением меняются также их представления, воззрения, понятия, словом, все миросозерцание». Такова в общих чертах историко-философская теория, положенная в основу «Манифеста»¹. Практическая программа, изложенная Марксом и Энгельсом в рассматриваемом документе, стояла в тесной связи с пониманием переживавшегося Западной Европой момента, который сам обусловлен предыдущим моментом закономерного исторического процесса и, в свою очередь, подготавливает наступление нового момента. Авторы «Манифеста», хорошо знакомые с тем, что делалось в трех главных странах Западной Европы и сознательно стремившиеся отделаться от всяких иллюзий и утопий (что, по собственному сознанию, им не всегда, однако, удавалось), старались построить свою программу на изучении реальных отношений, рассматривавшихся ими под углом зрения борьбы между буржуазией и пролетариатом. Указав на то, как образовалось разделение общества на буржуазию и пролетариат, они высказывают ту мысль, что сам прогресс промышленности ставит на место разъединения рабочих посредством конкуренции объединение их посредством ассоциации. Буржуазия «производит прежде всего своих собственных могильщиков», коммунисты представляют из себя лишь самую решительную часть рабочих партий всех стран, которая только лучше других партий понимает условия, ход и общие результаты рабочего движения. Но у всех этих партий ближайшая цель общая: это — организация рабочего класса, свержение господства буржуазии и завоевание пролетариатом политической власти. «Манифест» перечисляет, какие мероприятия могли бы быть немедленно приняты в наиболее передовых странах, включая сюда экспроприацию поземельной собственности, высокий прогрессивно-подходящий налог, централизацию в руках государства кредита и перевозочных средств, увеличение числа государственных фабрик и орудий производства, введение одинаковой обязательности труда для всех, соединение земледельческого труда с фабричным, общественное и даровое воспитание всех детей и т. д. Выставив такую положительную программу, Маркс и Энгельс подвергли критике другие социальные теории эпохи, чтобы показать

¹ Впоследствии ту же самую мысль о чисто экономическом базисе общества и истории Маркс повторил в предисловии своего сочинения «Zur Kritik der politischen Oekonomie» (1859 г.). О дальнейшем развитии экономического материализма см. в гл. VI указанных выше «Этюдов».

или их непригодность для пролетариата, или их фантастичность. Вместе с тем они рассмотрели, в каком отношении находились коммунисты сороковых годов к различным оппозиционным партиям в отдельных странах. На Германию, говорят они, коммунисты обращают главное свое внимание потому, что она находится накануне буржуазной революции. Этот переворот совершится в ней при гораздо более подвинувшихся вперед условиях европейской цивилизации вообще и застанет пролетариат в гораздо более развитом состоянии, чем он был в Англии XVII и во Франции XVIII столетия. Пророча наступление буржуазной революции в Германии, Маркс и Энгельс ожидали, что она может послужить непосредственным прологом рабочей революции. Последнего, как известно, не случилось, и в позднейших своих взглядах на этот предмет Маркс старался найти для этого историческое объяснение. Оканчивается «Коммунистический манифест» следующими словами: «Пролетарии ничего не могут потерять в коммунистической революции, кроме цепей, приобретут же они целый мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Впоследствии авторы «Манифеста» признали, что пролетариат не был еще готов исполнить свою миссию в ту минуту, когда вспыхнула революция 1848 г.

XVII. Славянское возрождение, панславизм и мессианизм¹

Общий взгляд на состояние славянских народов в первой половине XIX в. — Влияние политических событий начала XIX в. на славянское возрождение. — Чешское возрождение. — Иллиризм. — Слабость русинского движения в Галиции. — Патриотические увлечения славянских ученых. — Панславизм. — Poleмика славян с немцами и мадьярами. — Отношение славян к австрийскому правительству. — Славяне и Россия. — Особое положение поляков в тридцатых и сороковых годах. — Попытка польского восстания в 1846 г. — Польский мессианизм. — Славяне и революционное движение 1848 г.

В то самое время, как в Англии, Франции и отчасти в западной Германии развивался капитализм, в восточных частях европейского материка еще господствовало феодальное хозяйство. Когда в тех странах уже давным-давно был поставлен — и притом поставлен в очень резкой форме — вопрос рабочий, здесь еще почти не поднимали крестьянского вопроса, и население деревень все еще оставалось в крепостной зависимости. Из всех стран Западной Европы наиболее отсталой в этом отношении была феодальная и крепостническая империя Габсбургов. Но в Австрии мы имеем дело еще с одним явлением, также не соответствовавшим тому, что происходило в более развитых странах. В то время как в Англии, Франции и даже Германии начинала обостряться классовая борьба и уже раздавался призыв, приглашавший пролетариев всех стран соединиться между собой, а однородные политические партии в разных государствах готовы были действовать заодно во имя общих принципов, в разноплеменной Австрии все более и более обострялась борьба национальная, и если возникала мысль о соединении разрозненных сил для осуществления общих стрем-

¹ Большой материал для истории славянского возрождения дает Гильфердинг в статьях, помещенных в «Собрании сочинений» (1868—1874). *Пытин и Спасович*. История славянских литератур, 1879 и 1881; *Перволюф*. Славянское движение в Австрии 1800—1848 гг. // Русская Речь, 1879; *Murko*. Deutsche Einflüsse auf die böhmische Romantik, 1897; *Кулаковский П.* Иллиризм. Исследование по истории хорватской литературы, 1894; *Головацкий Я.* О первом литературно-умственном движении в Галиции. Львов, 1863; *Будилович А.* Ян Коллар и западное славянофильство // Славянское Обозрение, 1894; *Wachsmuth*. Geschichte des Illyrismus, 1849; *Lewicki A.* Zarys historii polskiej aż do najnowszych czasów, 1897; *Barzykowski*. Historia powstania roku 1830—1831; *Knorr*. Die polnische Aufstände seit 1830, 1880; *Heltman*. Demokracja polska na emigracji; *Берг Н.* Записки о польских заговорах и восстаниях, 1873 (охватывает время от 1831 по 1862 г.; есть еще дополненное заграничное издание); *Попов Н.* История вольного города Кракова // Вестник Европы; *Спасович В.* Жизнь и политика маркиза Велепольского, 1882 (ср. польский труд Лисицкого, указанный выше); *Урсин*. Русские славянофилы и польские мессианисты; *Макушев*. Андрей Товянский. Его жизнь, учение и последователи // Русский Вестник, 1879; *Он же*. Учение А. Товянского, преимущественно социально-политическое // Славянский ежегодник, 1882.

лений, то происходило это не на почве классовых интересов или политических принципов, а на почве сознания этнографического родства. Это явление наблюдается именно среди славянского населения Австрии. В двадцатых годах XIX в. в разных углах монархии Габсбургов происходит так называемое славянское возрождение, которое идет *crescendo*¹ в следующие два десятилетия. В сороковых годах в Европе уже говорят об опасности, какую западной цивилизации грозит новое явление на политическом горизонте — панславизм.

В экономическом и культурном отношении славянские народы далеко стояли позади народов романских и германских Запада. Крепостничество или аналогичные отношения господствовали в сельском быту на всем протяжении славянской территории. В XVIII столетии лишь два народа — русские и поляки — пользовались политической самостоятельностью, но поляки ее утратили и подпали под власть более сильных соседей. Все западные и южные славяне входили в состав иноплеменных государств — Австрии и Турции, причем в последней подчинялись вдобавок варварской, нехристианской власти. Господствующие сословия в этих славянских странах были равным образом иноплеменные или состояли из потомков славян, принявших язык и всю культуру завоевателей, — немцев, мадьяр, итальянцев, турок. Иные славянские племена почти сплошь состояли из одного простонародья, не имели национальной интеллигенции, лишены были поэтому всякой высшей культуры и даже не имели литературного языка. Даже чехи, которые когда-то были одним из первых народов Европы в культурном отношении, в конце XVIII и начале XIX в. почти ничем не возвышались над самыми отсталыми племенами, никогда и раньше не стоявшими на сколько-нибудь высоком уровне развития. Если всем этим народам грозила, таким образом, или постепенная денационализация, или коснение на низших ступенях развития, бороться с такой судьбой можно было, лишь вызывая во всех слоях общества национальное самосознание, пробуждая к культурной жизни народные массы, как главную основу национальности, работая на поприще просвещения и создавая национальную литературу. В такой культурной работе именно и состояло славянское возрождение. В нем приняли участие разные славянские народы, преимущественно в Австрии, где, с одной стороны, славяне нуждались в таком возрождении, чего не было в России, и где, с другой стороны, внешние условия были все-таки лучшие, чем в Турции. Не забудем, однако, что и в Турции среди славян происходило движение, которое в начале XIX в., между прочим, привело к освобождению Сербии. На первых порах это славянское возрождение было делом ученых патриотов, искавших духовного содержания в родной старине и у единоплеменных современни-

¹ Буквально «возрастая» (*ит.*). — *Прим. ред.*

ков. Славянское возрождение тесно связано со славянской взаимностью, т. е. с обращением ученых и писателей одних народностей к культурному и литературному содержанию родственных племен. Если уже обращение к родной старине придавало этому движению романтический характер, сближавший славянский национализм первой половины XIX в. с аналогичным явлением у немцев в эпоху наибольшего развития «тевтонства» в начале этого же века, то сознание племенного единства всех славян вселяло в борцов за национальную идею известную бодрость духа: не погибнет маленький народ, раз он только часть великого целого, из которого он может черпать свои силы и которое не даст его в обиду! Вот на какой почве вырос политический призрак панславизма, когда в действительности это была лишь, так сказать, известная форма национального романтизма. Чисто романтический характер, какой принимали и Возрождение, и панславизм, особенно явствует из того, что, противопоставляя славянский мир западноевропейскому, славянские ученые и поэты, публицисты и мыслители страшно идеализировали этот мир и в прошедшем, и в будущем: они наделяли предков славянского племени всякими совершенствами и добродетелями, до которых Западу далеко, и предрекали возрождающимся славянам великое всемирно-историческое значение. Все, что немецкие философы от Фихте до Гегеля говорили о великом значении германского мира, представители «славизма» переносили на свое племя. С особой силой мечтания подобного рода развились в литературе двух народов, как раз в тех народах, которые не нуждались в чисто национальном возрождении, т. е. у русских и у поляков, у одних в виде славянофильства, у других — в так называемом мессианизме.

Романтический характер славянского возрождения мешал ему испытывать на себе воздействие более передовых культурных, социальных и политических идей той эпохи. Правда, на Западе было еще очень много романтики, но там и она соединялась то с политическим либерализмом, то с социальными стремлениями, а эти-то влияния времени как раз и миновали австрийских славян¹. Тут действовал, конечно, и гнет меттерниховского режима, отзывавшегося одинаково и на австрийских немцах; действовало и то, что социальный быт австрийского славянства не ставил еще тех вопросов, которые волновали англичан, французов и немцев, но главное было то, что сам вопрос был вопрос национального существования, вопрос языка и литературы, вопрос, далекий от политических и экономических отношений. Сам интерес к народности, — беря его в научном смысле, — был характера более этнографического, чем социологического. И старая история изучалась более в связи с филологией и фольклором, чем в связи с условиями хозяйственного и правового быта. Весьма долгое еще

¹ Но русских и поляков они не миновали. У нас вспомним западников той эпохи.

время славянская историография, зародившаяся в эту эпоху, сохраняла (да, пожалуй, и до сих пор еще сохраняет) этот филологический характер.

Из подвластных Австрии славян только одни поляки, лишь незадолго перед тем лишившиеся политической самостоятельности и с давних пор обладавшие значительно развитой литературой, сильно отражали на себе демократические движения эпохи вне своей родины и сами участвовали в этих движениях. Это были эмигранты, жившие преимущественно во Франции, в Бельгии, в Швейцарии, в Англии, т. е. на чужбине, оторванные от родины, а очень часто и совершенно лишенные чувства действительности.

При рассмотрении отдельных сторон вопроса нужно прежде всего обратить внимание на угнетенное и приниженное положение славян в Австрии в первые десятилетия XIX в.

Можно сказать, что вообще в австрийских землях, населенных славянами, на местных языках говорил лишь простой народ. После падения чешской независимости в начале Тридцатилетней войны и в Чехии, и в Моравии началось подавление славянского элемента. Когда-то значительно развитая чешская литература пришла в упадок, и на чешском языке издавались только Библия да разные иезуитские писания. В дворянстве и городах стал все более и более брать перевес немецкий элемент, благодаря иммиграции немцев и германизации самих высших сословий. Государственным языком сделался язык немецкий: его употребляли на сеймах, в судах, канцеляриях, школах. По-чешски говорило одно простонародье. То же самое наблюдалось и в тех внутренних австрийских землях, которые имеют славянское население, так как дворянство здесь было немецкое. В частях, доставшихся Австрии из достояния старой Польши, германизация, впрочем, не получила такого развития, и польский язык удержался в прежней силе, но зато русская часть населения, мещанство и крестьянство, была совсем почти лишена литературы. В Далмации, которую Австрия приобрела в конце XVIII в., потом на время потеряла и снова получила по Венскому конгрессу, славянское народонаселение со времен венецианского владычества управлялось итальянским чиновничеством и находилось в зависимости от итальянского же дворянства; да и города здесь были населены итальянцами. Австрия сохранила здесь господство этого элемента и даже еще более расширила его влияние. Когда-то здесь процветала славянская письменность, но в начале XIX в. вся литература ограничивалась молитвенниками да календарями; сами южнославянские ученые писали или по-латыни, или по-итальянски.

В землях «венгерской короны» с их значительным славянским населением языком церкви, сеймов и сеймиков, судов, канцелярий в старые времена был язык латинский, что казалось безобидным для всех разноплеменных «венгерцев», как в политическом отношении называли себя

и мадьяры, и немцы, и румыны, и разные славяне (словаки, сербы, хорваты, угорские русские), населявшие эти земли: это был, так сказать, язык нейтральный. Сословные интересы дворянства, которое одно по венгерской конституции пользовалось всякими правами, держа в крепостничестве крестьян и стесняя городское население, объединяли всех членов этого господствующего сословия без различия происхождения. Главным народом Венгрии были, однако, все-таки мадьяры, и им мало-помалу удалось в тридцатых и сороковых годах заменить нейтральную латынь общественной жизни своим языком. Мало того, у них сделалась очень популярной мысль о необходимости мадьяризации других народностей Венгрии. Хорваты и сербы пользовались еще особым, привилегированным положением, а потому усилия мадьяр направлялись на словаков, русских и румын. Дворянство этих народностей, видя в мадьярах главный оплот своих сословных привилегий, стало в этом предприятии на их сторону. Особенно неблагоприятным оказалось положение словаков. Принадлежа к одной этнографической группе с чехами и моравами, дав даже несколько видных деятелей чешской литературы (Коллар, Шафарик и др.), они, однако, предпочли развить свое собственное наречие, и вот мадьяры стали доказывать словакам, что все это праздные затеи, что им нужно слиться с мадьярами, что все славянские мечтания лишь на руку варварской России. Все, что только было в распоряжении мадьярских властей, пускалось в ход для подавления национальных стремлений словаков под предлогом их политической опасности. Во главе венгерского правительства с титулом палатина, т. е. наместника, находился брат императора эрцгерцог Иосиф, говоривший, что он в Венгрии знает только один народ — венгерский. Несогласных с таким взглядом патриотов власти всячески преследовали.

Итак, положение славян в Австрии было крайне незавидное. Несмотря на то что они составляли самый значительный элемент населения, над ними господствовали другие национальности. Но не следует забывать, что славяне и сами ослабляли себя внутренними раздорами. В то самое время, когда некоторые ученые мечтали, как мы это увидим, о создании одного общеславянского языка, в отдельных народностях все более и более обострялись внутренние несогласия по вопросу, какому наречию быть литературным языком. Хорваты и сербы были, в сущности, лишь двумя частями одного и того же народа, но одни были католиками и пользовались латинским алфавитом, другие — православными и употребляли славянскую азбуку, и этого было достаточно для сепаратических стремлений, конечно, вредно отзывавшихся и на духовной культуре, и на политическом положении всей народности. Проявлялся подобный же сепаратизм и у словаков по отношению к чехам. В Галиции жили рядом две национальности — польская и русинская, между которыми тоже существовал антагонизм. Понятно, что австрийское правительство, исполнявшее пра-

вило: «Divide et impera»¹, пользовалось этими племенными антипатиями для того, чтобы держать всех в одинаковом угнетении.

В двадцатых, тридцатых и сороковых годах, однако, повсеместно обнаруживается стремление австрийских славян выйти из такого печального положения. Французская революция и наполеоновские войны не прошли для австрийских славян бесследно. Французская революция вообще весьма много содействовала пробуждению национальных стремлений. В войнах, начавшихся еще в эпоху революции и продолжавшихся при Наполеоне, Австрия принимала деятельное участие. В 1799 г. в Чехии появилась армия Суворова по дороге в Италию и произвела своим «славянством» сильное впечатление на чехов. Вскоре восстают затем подвластные Турции сербы, и при помощи России добиваются образования полунезависимого княжества; это движение передается сербам, подвластным Габсбургам, пробуждая в то же время и другие православные славянские племена Австрии. Между тем Наполеон из словенских, хорватских и далматских земель, отнятых у Австрии, создает Иллирию, возбудив этим в их населении представление о единстве всех иллиров. Несмотря на все свое нерасположение к народной войне, австрийское правительство из чувства самосохранения во время борьбы с Наполеоном стало делать разные послабления своим славянским подданным. Например, цензура готова была смотреть сквозь пальцы, как чехи начали писать патриотические брошюры и сочинять патриотические песни, в которых прославлялся храбрый народ чешский, умевший в свое время колотить немцев. В эпоху падения Наполеона русские войска снова появились в Австрии, и чехи видели в стенах своей древней столицы русского императора. Роль, которую Россия играла в освобождении Европы, сильно льстила славянскому чувству ее австрийских единоплеменников. В самой России начинали проникаться идеей величия славянского мира, и не прочь были помечтать о славянской федерации под гегемонией русского царя. Славянские патриоты были полны надежд. В 1817 г. разнесся даже слух, вскоре оказавшийся неосновательным, будто правительство было намерено соединить Чехию, Моравию и Галицию в особое «Славянское королевство».

Культурное возрождение славян началось в Чехии. Первые признаки пробуждения умственной деятельности в чешском обществе относятся еще к царствованию Иосифа II, который своим «просветительным» режимом способствовал освобождению умственной деятельности от клерикальной опеки, а попытками германизации расшевелил дремавшее национальное чувство. В конце XVIII в. среди чехов явились отдельные лица, — большей частью священники, учителя, мещане, — которые стали интересоваться прошлым своего народа и работать в пользу сохранения

¹ «Разделяй и властвуй» (лат.). — Прим. ред.

своей национальности. Освободительное движение XVIII в. коснулось отчасти и Чехии. Гуситство, память о котором в народе стремилась истребить наступившая после 1620 г. реакция и которое в изображении иезуитских писателей было ересью и преступлением, в свете новых идей и на почве национального патриотизма начинало оцениваться совсем иначе, а именно как великая борьба за религиозную и национальную свободу. На такую точку зрения становились иногда даже чешские священники. Самым важным средством для сохранения родного языка патриоты считали просветительную деятельность среди народа, для которого они издавали популярные книжки и дешевые газеты. С другой стороны, они хлопотали и о том, чтобы привлечь на сторону национальной идеи онемеченное или полуонемеченное дворянство. Любопытно, однако, что первые ученые, которые стали пробуждать интерес к родной старине, писали еще больше по-немецки или по-латыни, чем по-чешски. Самое знаменитое сочинение родоначальника научного славяноведения Иосифа Добровского было написано по-латыни (*«Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris»*¹, 1822).

Наибольшей силы славянское возрождение в Чехии стало достигать лишь в двадцатых годах. Знаменитый чешский историк и политический деятель Палацкий впоследствии рассказывал, что, когда он приехал в Прагу (в 1823 г.), один лишь простой народ говорил по-чешски, а всякий, кто только хотел сколько-нибудь подняться над общим уровнем, говорил непременно по-немецки и относился с насмешкой или сожалением, если не с прямым презрением к людям, державшимся чешской речи. Главным органом национального возрождения сделался «Чешский музей», основанный в 1818 г. При нем возникли фонд для издания книг на чешском языке и особое повременное издание (*«Casopis českého museum»*)². Чешский язык, литература и история стали предметом ревностного изучения со стороны целого ряда ученых славистов. Начинает развиваться и изящная литература с характером национального патриотизма. Один из деятелей этого возрождения, Вацлав Ганка, в 1819 г. издал будто бы найденную им за два года перед тем в Кралевоудворе рукопись с весьма древними поэтическими произведениями на чешском языке. В настоящее время наиболее авторитетными учеными признается, что «Кралевоудворская рукопись», — равно как и «Зеленогорская рукопись», — представляют собой лишь «новейшие произведения древнечешской литературы», т. е. попросту подделки, но до начала пятидесятых годов никто не сомневался в их подлинности. Появление этого «памятника» было встречено энтузиазмом всех патриотов. Молодежь мало-помалу стала переходить на сторону нового движения, и поколение сороковых годов уже было настроено в чисто национальном духе. В 1832 г. «Чешская матица» (издательский фонд) насчитывала

¹ «Основы древнего наречия славянского языка» (лат.). — *Прим. ред.*

² «Журнал чешского Музеума» (чеш.). — *Прим. ред.*

лишь 15 членов, а через четырнадцать лет их было уже более 1600. Материальные средства для всех патриотических предприятий доставлялись чешским дворянством, у которого существовал свой местный патриотизм, хотя бы и чисто политического характера (существовала ведь среди габсбургских земель и «богемская корона»), так как их разговорным языком был все-таки немецкий. В Чехии существовал земский сейм, на котором было представлено только дворянство, и оно было непрочь поиграть в оппозицию на тему особой чешской конституции, но в сороковых годах в народе и это поддерживало надежды на торжество национального дела. Прага сделалась средоточием славянской науки. Здесь следили за тем, что делалось у других единоплеменных народов, обогащали чешскую литературу переводами с других языков; и в Прагу ехали учиться и знакомиться с тамошними деятелями славистики разные славянские ученые (из русских, например, Погодин, Срезневский, Бодянский, Григорович), пражские слависты вели переписку с патриотами других славянских стран. Между прочим, они сильно поддерживали так называемый иллиризм, заключавшийся в стремлении к литературному объединению юго-славян. Мицкевич, начиная в Collège de France (1840 г.) свои лекции по литературе и истории славянских народов, воздал должную дань чешским ученым, назвав их «патриархами славянской науки» и поставив им в особую заслугу их беспристрастие, позволяющее учиться у них одновременно и русским, и полякам, заклятым врагам между собой. В эти же десятилетия, можно сказать, была основана и чешская литература.

Несколько позднее, чем у чехов, именно в тридцатых годах, началось возрождение у австрийских юго-славян, среди которых именно возникло направление, получившее название иллиризма. Родоначальником этого культурного движения был хорват Людевит Гай, по-видимому, пользовавшийся поддержкой со стороны Меттерниха, так как последний сочувствовал антимадьярской стороне иллиризма. Гай выбрал для литературного объединения всех южных славян (кроме болгар) далматское наречие, разработанное в эпоху так называемой дубровницкой литературы и бывшее достаточно понятным для всех ветвей сербо-хорватского племени. Этому языку было дано книжное название иллирийского, причем представители юго-славянского движения были убеждены, будто иллиры греко-римской эпохи были славяне. Иллиризм пользовался большим сочувствием со стороны чехов, тем более что сам он во многом был только сколком с чешского возрождения. К нему отчасти примкнули и словенцы. Хотя сербы, среди которых тоже началось национальное возрождение, протестовали против распространения и на них имени иллиров, однако оживление хорватской литературы не могло не подействовать и на них¹.

¹ Основатель новой сербской литературы Вук Караджич начал свою литературную деятельность во втором десятилетии XIX в.

Неизмеримо меньше было сделано в том же направлении русинами в Галиции. Некоторое оживление произошло здесь еще при Иосифе II. В учрежденном им во Львове университете (1784 г.) преподавание было введено на русском языке (1787 г.), и между профессорами этого университета совсем не было поляков. Впрочем, галицкие ученые, не стоявшие ни в какой связи с тогдашней русской литературой, пытались воскресить в своих сочинениях церковно-славянский язык; да и направление их ученой деятельности было старое, схоластическое. Так дело продолжалось до 1806 г., когда преподавание на русском языке было отменено. Книг во весь этот период выходило очень мало, и были даже такие сплошные годы, когда не появлялось буквально ни одной книги. Австрийское правительство мало-помалу стало опасаться «рутенского» языка ввиду его родства с языком русским. Славянское возрождение отразилось, однако, и на галичанах. Среди львовской учащейся молодежи, особенно между воспитанниками духовной семинарии, возникло в двадцатых годах тайное общество, поставившее своей задачей возрождение русинской народности и борьбу с полонизмом. По отношению к австрийскому правительству русинские патриоты держали себя, впрочем, самым верноподданническим образом, и первым произведением, написанным на народном русинском языке, было одно стихотворение, воспевавшее австрийского цесаря. Тем не менее только что начавшееся движение было подавлено, отчасти по доносам местного духовенства, льнувшего к полякам и относившегося к невинным попыткам писать на народном языке или переводить на него Святое Писание как к какому-то бунту против установленных властей. Впрочем, и русины были не прочь доносить венскому правительству на поляков. Галицкое крестьянство находилось в полной власти у своих помещиков-поляков, и известный русинский патриот Яков Головацкий доказывал («Положение русинов в Галиции» в «*Slavische Jahrbücher*»¹ за 1846 г.), что Австрия вовсе не должна бояться какого-либо тяготения русинов к России, что с симпатией к ней относится скорее польская шляхта, раздражавшаяся малейшими попытками правительства смягчить печальную участь крепостного люда. Вследствие особенно бедственного положения русского населения Галиции и общей культурной ее отсталости, а также господства в ней другого славянского народа, поляков, русинское возрождение и заставило себя ждать до более позднего времени.

Поставив своей задачей возрождение угнетенных народностей, славянские ученые и писатели искали основ для лучшего будущего в историческом прошлом, а опоры для настоящего — в сознании принадлежности каждого отдельного славянского народа к одной великой семье, связанной общим происхождением, родственными языками и многими общими

¹ «Славянский ежегодник» (нем.). — Прим. ред.

чертами быта. Исследования в областях грамматики, фольклора, древней письменности, этнографии и истории составляют почти исключительно все содержание научной деятельности славянских ученых. В эти исследования, однако, невольно закрадывались патриотические увлечения, с одной стороны, национальной и вообще славянской стариной, а с другой — широкими горизонтами, которые открывались в будущем для духовно-объединенного славянства. Как бы там ни было, учились славянские ученые все-таки в немецкой школе, а она, несмотря на все свои достоинства, тоже немало грешила патриотическими увлечениями. Подобно тому, как немцы любили противопоставлять свой германский мир миру романскому, и даже, пожалуй, еще в гораздо большей, чем они, степени, славянские патриоты развивали мысль о противоположности славянского и германского миров с предпочтением своему родному как призванному к высшей культуре. Шафарик, сделавшийся в тридцатых годах самым сильным авторитетом в славяноведении, благодаря «Славянским древностям» (1837 г.) и «Славянскому народописанию» (1842 г.), особенно способствовал идеализации древнего славянства. Славяне под его пером, равно как в произведениях других славистов того времени, выходили каким-то воплощением всяких совершенств: будь они только посолідарнее между собой да не так падки на все чужеземное, они никогда не попадали бы под власть других народов и иностранных династий; только разные писатели могли изображать древних славян варварами, и лишь у других народов они переняли все дурное, например рабство. Шафарик не пощадил даже Карамзина за то, что он представил быт древних славян не в таком идеальном виде.

Другую сторону того же национального настроения составляло сознание, что за каждым отдельным славянским народом стоит целое славянство, которое не даст, когда соединится, своих членов в обиду ни немцу, ни мадьяру, ни турку. Интерес славянских деятелей ко всему славянскому, а не только своему народному, имел не один ученый характер, и идея о славянской взаимности не ограничивалась, по крайней мере у наиболее пламенных славянофилов, областью одной литературы. На почве национальных стремлений отдельных народов возникает в рассматриваемую эпоху так называемый панславизм. В своем развитии и в отдельных своих проявлениях это направление принимало весьма разнообразные формы, большей частью фантастические, и славянская мечта направлялась то на создание одного общеславянского языка, то на создание одного общеславянского царства.

Уже в конце XVIII и начале XIX в. чешские ученые особенно настойчиво стали указывать на то, что чешский язык есть лишь один из языков громадной славянской семьи, что народ, который на нем говорит, имеет братьев за пределами своей родины на великом пространстве земли — до границ Китая. Так, например, высказывался патриарх славистики Добровский. В 1806 г. он издал сборник «Славин», названный им «Посланием

из Чехии ко всем славянским народам, к славянским братьям». Находясь в сношениях с учеными других славянских народностей, он даже сделался как бы вождем всего движения. У чешских ученых и возникла мысль о создании одного общеславянского языка путем сочетания элементов, уже существующих в разных славянских наречиях. Чех Юнгман доказывал весьма усердно, что славянские языки скорее лишь диалекты одного общего языка и что нужно соединить братские народы посредством известного среднего наречия вроде диалекта Плутарха, соединившего в себе другие греческие диалекты. Вскоре, мечтал Юнгман, всех славян связала бы воедино и литература, а затем и политика. Он даже высказывал надежду, что австрийский император создаст такой язык для всех подвластных ему славян или, по крайней мере, для тех, которые употребляют латинский алфавит. Мысль об общеславянском языке поддерживал и ученый словенец Копитар; с течением времени, однако, по мере того как лучше знакомились с отдельными славянскими языками, все более переставали верить в возможность подобного слияния. Сам Юнгман в начале сороковых годов отказался от своей прежней мысли и стал думать, что общеславянским литературным языком может сделаться только один из существующих уже языков. Кое-кто начинал указывать на то, что такую роль суждено играть русскому языку, но другие (и их было большинство) проповедовали необходимость для образованных славян одновременного обладания разными славянскими языками. На самом деле общеславянским языком очень часто у австрийских славян был язык немецкий, по крайней мере в науке, так как на нем писали и Добровский, и Копитар, и Шафарик, и Палацкий.

Общий язык, как орган духовного общения славян, недолго занимал умы славянских ученых, да и странно было бы, чтобы эта мысль могла утвердиться — в эпоху возникновения и развития национальных литератур. Но и при разных языках можно было чувствовать свое племенное единство, а свои чувства общеславянского братства выражать на родных языках и стихами, и прозой. Панславизм действительно получал чисто литературное выражение и в поэзии, и в публицистике. Самым видным представителем такого панславизма в чешской литературе был венгерский словак Ян Коллар, самый крупный чешский поэт этой эпохи. Он вступил на писательское поприще в начале двадцатых годов, а главным его произведением был сборник стихотворений, из которого выросла потом его лирико-эпическая поэма «Дочь славы» («Slavy Dcera», 1824 г.), дополнявшаяся в новых изданиях. Это — изображение прошлых, настоящих и будущих судеб славянства, по замыслу нечто вроде «Божественной комедии» Данте. Между прочим, автор нисходит в подземную область ада, где видит мучения изменников и недругов славянства, и возносится в рай, где лицезрит славных мужей славянских и благожелателей славянства, а главное — саму Славу, родоначальницу славян. Поэма имела громадный успех у чехов,

словаков и южных славян и вызвала массу всяких подражаний. Другие поэты прославляли Коллара, пророча бессмертие его великому произведению. Коллар — настоящий поэт панславизма, «Дочь славы» — апофеоз славянства. «Если бы, — восклицает он в одном месте, — наши племена были разными металлами, я бы из всех вылил одну статую: Россия была бы ее голова, поляки — туловище, чехи — плечи и руки, сербы — ноги, а меньшие ветви, словенцев и хорватов, лужичан и словаков, я растопил бы в латы и оружие! Перед этим изваянием, восходящим за облака идвигающим землею, вся Европа могла бы встать на колени». А вот и совет Коллара славянским народам: «Устройте себе общину, названную одним именем, крепкую и единодушную, чтобы чужие негодяи и свои скупцы не разрушили ее новым ударом. Пусть будут у вас многие члены, но одна голова, выросшая, однако, из вашего же тела!» Это единение Коллар, прежде всего практически, представлял себе лишь в смысле литературной взаимности, о чем написал особую статью. Девизом каждого образованного славянина, по его мнению, должно быть такое изречение: «Я — славянин, и ничто славянское мне не чуждо». В будущем он пророчил славянству превосходство над дряхлеющими народами романского и германского корня.

Коллар развивал свою идею и в качестве публициста. Его брошюра «О литературной взаимности между различными племенами и наречиями славянского народа», вышедшая в свет в 1837 г. (между прочим, и в немецком переводе), впоследствии была переведена почти на все славянские языки. Основная идея брошюры — необходимость взаимности, которая кажется Коллару главным лекарством против всех зол, удручающих славянство. Нынешние славяне, сознавался сам Коллар, — «великаны в географиях и на картах и карлики в искусствах и литературе», а причина этого — в раздробленности и недостатке единства.

Подобные мысли высказывались и другими писателями, притом не в одной Чехии. В иллиризме также довольно сильно звучала панславистическая нота. Хорваты в сороковых годах питали сепаратистические замыслы по отношению к Венгрии в духе панславистических мечтаний, так как в остальном славянском мире видели опору для своих национальных стремлений. В 1833 г. Гай написал стихотворение: «Хорватия еще не погибла, пока мы живы», но он вместе с тем проводил и панславистические идеи, сравнивая свою родину, Иллирию, с головой великана, упирающегося ногами в Ледовитый океан и Китай, и говоря, что в жилах всеславянского колосса течет одна кровь. Эта нота заметно звучит и у других хорватских поэтов. Подражая Арндту, написавшему «Wo ist des Deutschen Vaterland?»¹, Кукулевич сочинил песню на тему «Где отечество славян?».

¹ «Что такое Отечество немца?» (нем.). — Прим. ред.

Слава везде, где господствует славянский язык, и отечество славянина всюду, где царствуют кроткие и мягкие нравы.

Постоянные ссылки на великую славянскую семью и на русский народ, как на старшего брата, на громадность славянского мира и на численность славянского племени должны были сильно раздражать австрийское правительство и господствовавшие в Австрии национальности. Хотя и по образу мыслей, и по главным своим интересам, и по внешним условиям, в какие в Австрии была поставлена литература, славянское возрождение и панславизм не заключали в себе ничего политически-оппозиционного, тем не менее правительство Меттерниха смотрело на все это очень косо.

Венские власти, сначала благоприятствовавшие иллиризму, как противовесу против мадьярских притязаний, скоро стали бояться этого движения и даже запретили самое имя иллиров. И мадьяры, первоначально относившиеся к хорватскому возрождению больше с шуточками, равным образом переменили тон, когда иллирийские депутаты на загребском сейме вместо латинского языка стали употреблять свое родное наречие. Иллиров принялись упрекать в сепаратизме, в русофильстве, в панславизме. Мадьяры даже готовы были объяснять все хорватское движение внешними влияниями, — то интригами австрийского правительства, выдвигавшего юго-славян против мадьяр, то подстрекательством чехов или подкупом со стороны России. Гай прямо прослыл у врагов славянства за агента русского правительства. Когда однажды один из мадьярских патриотов стал его упрекать за его пропаганду, он ответил, что не он создал славянское море, на котором мадьяры лишь простой остров, да еще прибавил, как бы волны славянского моря не затопили мадьярского острова, если мадьяры не будут осторожны. Подобные речи, понятно, не могли действовать на мадьяр успокоительно, и вот представители господствующей народности забили тревогу, стали обвинять славян в завоевательных замыслах против всей Европы, а себя выставить как единственную плотину, могущую задержать грозный разлив славянства по Западу. С обеих сторон раздражение росло с каждым годом. Дело доходило до серьезных стычек, а один раз (1845 г.) дошло и до кровопролития. В иллирийской поэзии зазвучала воинственная нота, призыв к славянам не дать «татарину»-мадьяру попирать ногами народ и его язык.

Немцы и мадьяры не могли оставаться равнодушными к национальным стремлениям славян. Уже в конце тридцатых годов между славянскими, главным образом чешскими, патриотами, с одной стороны, и немецкими и мадьярскими публицистами — с другой, началась значительная газетная и брошюрная полемика по поводу славянского возрождения и панславизма. По адресу славян было наговорено немало грубых и оскорбительных слов как народов низшей расы и культуры. Вместе с тем на славян сыпались обвинения в том, что они строят в высшей степени опасные

революционные планы в тайном сообществе с Россией против Австрии, даже против всей западной цивилизации. Призрак панславизма доводил опасения немецких и мадьярских публицистов до крайних размеров. Проповедовалось совокупное действие немцев и мадьяр против славян, за которыми стоит варварская Россия. Славянские публицисты, возражая немцам и мадьярам, доказывали, что никто не думает о политическом соединении славян, что оно было бы и нежелательно, и невозможно. На такой точке зрения стояли в начале сороковых годов Боцел («Die Westslaven und die böhmische Literatur», «Die Slaven und ihr Verhältniss zu Deutschland»¹ и др.), граф Тун («Ueber den gegenwärtigen Zustand der böhmischen Literatur»²), Иордан (лужичанин, предпринявший в 1848 г. для ознакомления Европы со славянством издание «Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und Geschichte»³) и многие другие. В самом деле, громадное большинство славянских деятелей при всем своем нерасположении к немецкой и мадьярской нации и к австрийскому чиновничеству вовсе не относилось враждебно к самой Австрии как государству и к габсбургской династии, объединявшей под своим скипетром разноплеменное население монархии. Мало того, славянские патриоты неоднократно заявляли о своей преданности Австрии и только хотели, чтобы правительство вступило на путь славянской политики.

Вообще весьма рано начались в литературе указания на то, что преобладающий этнографический состав Австрии — славянский. Например, в 1791 г. ученый немец Лингарт издал «Опыт истории Крайны и прочих земель южных славян Австрии», где высказывал мысль, что Австрия в некоторой мере, как и Россия, есть государство славянское и что Габсбургам нужно считаться с этим обстоятельством: несколько миллионов славян — немаловажный политический фактор. В том же 1791 г. во время посещения Леопольдом II Праги Добровский приветствовал его речью, в которой говорил о преданности чехов и других славянских народов австрийскому дому. «Мы, — сказал он между прочим, — вместе с другими славянскими племенами можем обеспечить Австрию против всех нападений ее врагов». Ученый словенец Копитар в начале XIX в., со своей стороны, часто напоминал, что Габсбурги должны опираться на славян, между прочим, для того, чтобы противодействовать России, которая пользуется большим влиянием среди, например, православных сербов. В анонимном сочинении одного хорвата давался Австрии также совет искать расположения у иллиров, могущих ей пригодиться против России. Еще один иллир, Федорович, издавший немецкий перевод французской книги Роберта о ту-

¹ «Западнославянская и богемская литература», «Славяне и их отношения с Германией» (нем.). — Прим. ред.

² «О текущем состоянии богемской литературы» (нем.). — Прим. ред.

³ «Ежегодник славянской истории, искусства и литературы» (нем.). — Прим. ред.

рецких славянах, рекомендовал Австрии превратиться в защитницу и руководительницу славянства, дабы избавить последнее от поглощения северным колоссом. Во время полемики с немецкими публицистами Воксел тоже доказывал, что развитие более свободной славянской литературы — в интересах Австрии, дабы было что противопоставить русскому деспотизму. По его словам, государственные люди Австрии должны были понять, что есть не один, а два славянских протектората — в Санкт-Петербурге и в Вене и что отталкивать от себя славян значит отдавать их в руки России. Многие указывали и на то, что именно габсбургской монархии суждено разрешить восточный вопрос, по существу своему вопрос югославянский, и что поэтому ей нужно поддерживать славян. Среди славян разных народностей вообще жило сознание, что для их совместной жизни трудно придумать какую-либо иную форму, чем Австрия. Венское правительство тем не менее относилось к славянам с крайней подозрительностью, что явствует, между прочим, из следующего факта. В начале сороковых годов были основаны кафедры славянских языков и литератур в русских университетах, в Берлине, в Бреславле, в Париже. Около того же времени стали читаться о славянах публичные лекции в Лондоне (граф Красинский), Лейпциге, Белграде. Ко всему этому вела не одна любознательность научного характера, но и политические соображения о важности славянства в европейском мире. И вот как раз в Австрии, где проживали родоначальники и корифеи новой науки и где было столько различных славянских племен, очень долго и не решались дозволить преподавание этой науки с университетской кафедры, несмотря на то что об этом хлопотали не только сами слависты, но даже и некоторые австрийские чиновники, находившие, что таким способом можно будет бороться против панславизма. Правительство согласилось на это лишь в 1848 г., незадолго до взрыва революции.

Из Австрии страх перед славянами перешел и в другие части Германского союза. Известный баденский либерал Геккер в местном ландтаге обращал внимание соотечественников на грозящую с востока опасность. В каждой славянской хижине Австрии ему мерещился портрет русского царя, и ему слышился голос каждого владельца этого портрета, что это — «наш отец, который нас всех соединит». Один немец, знавший, что слово «пан» по-славянски значит «господин», толковал само название панславизма в смысле стремления славян к господству над всеми европейскими народами. Заговорили о панславизме и во Франции, где о нем знали главным образом по представлениям польских эмигрантов. В 1847 г. упоминавшийся уже Робер, французский писатель по славянским делам, издал «*Les deux panslavismes*»¹, где различал два панславизма — славянский

¹ «Два панславизма» (фр.). — Прим. ред.

и московский, причем советовал представителям первого (полякам с южными и западными славянами) соединиться для сокрушения второго как вредной силы, грозящей гибелью европейской цивилизации.

Отношения панславистов к России отличались большой неопределенностью, если только не обращать внимания на громкие фразы, так часто встречавшиеся в тогдашней славянской публицистике. Если некоторые патриоты и возлагали на Россию какие-либо надежды, то этим свидетельствовали лишь о своем плохом знании русских внутренних и внешних отношений той эпохи. Вообще славянские представления о России складывались под влиянием того, что говорилось тогда о ней поляками и немцами, или сводились к ученым сведениям о ее древней истории, преимущественно домонгольского периода. Действительной и современной России славяне совсем не знали, и, в конце концов, их представления о ней были крайне смутны. Это обстоятельство и позволяло некоторым чешским патриотам, в особенности молодежи, действительно увлекаться перспективой присоединения всех славян к России. В своих письмах к графу Уварову Погодин около 1840 г. писал, что славяне в Австрии уверены, будто русское правительство втайне сочувствует их стремлениям и только по политическим расчетам до поры до времени не проявляет своих истинных чувств. Известно, что Погодин настаивал, чтобы Россия помогала материальными средствами просветительным предприятиям австрийских славян. Совет его не остался без исполнения, но, в общем, официальная Россия смотрела на славянское движение австрийскими глазами как на движение революционное. Убедить в этом русское правительство было тем легче, что, с одной стороны, «славизм» грозил неприкосновенности Турецкой империи, которую взялись солидарно охранять Россия и Австрия, а с другой — польская эмиграция тоже проповедовала «славизм», прямо враждебный России и вместе с тем революционно-демократический. Уже в 1841 г. Юнгман выражал сожаление, что русский император смотрит на славянское движение как на какую-то революцию. Русский посол в Вене, Медем, в 1842 г. писал в одной депеше, что австрийское правительство встревожено илиризмом, стремящимся к слиянию южных славян, как австрийских, так и турецких, и что в возбуждении этого стремления участвовали русские и польские выходцы. На этой депеше Николай I собственноручно написал, что Россия никогда не дозволит себе поддерживать революционную агитацию в дружественной державе. В сороковых годах направление русской политики вообще определялось помощью австрийскому правительству в разыскании корней и нитей заговоров, подготавливавшихся под личиной славизма французскими и польскими революционерами в пределах Османской империи.

Весьма сильно смущали славян и русско-польские отношения после 1830 г. Чешские патриоты в 1815 г. очень радовались соединению России

и Польши под одним скипетром, видя в этом как бы прообраз будущих славянских отношений. Симпатии большинства были не на стороне России, когда вспыхнуло и вскоре затем было подавлено польское восстание. В тридцатых и сороковых годах среди чешской молодежи сочувствие к полякам принимало иногда весьма значительные размеры. С другой стороны, однако, были и защитники России, видевшие в суровой репрессии печальную необходимость и в своем благодушном оптимизме высказывавшие мысль, что из подавления польского восстания тоже может получиться в будущем благо для славянства. Следует прибавить, что и среди поляков было немало людей, веривших в славянскую взаимность во вкусе чешских патриотов и даже бывших готовыми представлять себе всеславянское будущее под русской гегемонией. 1830 г. нанес удар этому направлению, хотя само по себе оно едва ли могло иметь сколько-нибудь прочное будущее в польском обществе. После подавления революции началась эмиграция за границу и стала развиваться эмигрантская литература. Если и в ней тоже пропагандировалась славянская идея, то уже главным образом в смысле объединения всех славян под духовным руководством Польши с ее двадцатипятимиллионным населением (в границах 1772 г.). Отражение именно такого взгляда мы и находим в упомянутой публикации Робера о двух панславизмах.

Условия существования польской национальности после 1830 г. были самые ненормальные. В польских землях Австрии, Пруссии и России господствовал суровый режим, бывший естественным результатом поражения поляков в 1831 г. Громадное количество инсургентов спаслось бегством за границу, куда стали выселяться и мирные жители, не принимавшие участия в восстании, но тяготившиеся дальнейшим пребыванием на родине. Все лучшие литературные силы польской нации находились в эмиграции. У поляков, остававшихся на месте, стал вырабатываться своего рода культурный консерватизм в виде чрезмерного преклонения перед национальными традициями, в поддержании которых общество видело залог спасения народности. Наоборот, эмиграция, представлявшая собой, так сказать, духовное правительство польского народа, все более и более отрывалась от родной почвы, предаваясь иногда своего рода мистическому романтизму. Эмигранты были рассеяны повсюду, но больше всего их было во Франции.

В Париже польские эмигранты создали особую организацию, но тотчас же возник раздор между аристократической и демократической партиями эмиграции. Демократы немедленно вступили в сношения с родственными элементами французского общества, образовавшими из себя особый французо-польский комитет; рядом с ним существовал еще комитет американо-польский. Демократический комитет (*komitet narodowy polski*), руководимый известным историком Лелевелем, начал издавать революци-

онные воззвания к разным европейским народам, между прочим, и к народу русскому, за что правительство выслало главных деятелей комитета из Парижа. Начался, кроме того, целый ряд заговоров с целью восстановления Польши, за которыми следовали попытки поднять снова народное восстание в Царстве Польском и в Галиции. Поляки стали принимать участие и в западноевропейских революционных попытках, надеясь, что в случае удачи от этого только выиграет свобода их родины. Эмигранты старались доказать всему европейскому миру, что Польша в прошлом всегда защищала Запад от варварских вторжений татар, турок и москалей. Польша погибла потому, что, когда на Западе освобожденная человеческая мысль объявила войну старому порядку, на защиту которого ополчился русский деспотизм, Польша, исполняя свою историческую миссию, вступила в борьбу и с этой силою, но была побеждена. Спасение Европы было отложено. Отсюда вытекал тот вывод, что дело спасения Польши есть дело не одной только Польши, но всего человечества. В 1836 г. эти мысли были, например, развиты в манифесте польского «Демократического общества», изданном по-польски, по-французски, по-немецки и по-английски. Весьма естественно, что в организации «Молодой Европы» «Молодая Польша» играла довольно видную роль. Сближаясь с иностранными демократами и революционерами, польская эмиграция поддерживала связи и с тайными кружками, которые были расбросаны по всем землям исторической Польши, хотя везде царило внешнее спокойствие. Одни из этих кружков более или менее подчинялись заграничной «централизации», другие считали себя вправе действовать на свой страх. Среди самих вождей движения одни находили нужным действовать осторожно, чтобы подготовить вполне обеспеченный успех, другие, наоборот, думали, что даже самые бесплодные революционные предприятия полезнее выжидательной политики. Последнее мнение одержало верх, и поляки сделали попытку нового восстания.

Около 1845 г. во всех частях польского мира — и в эмиграции, и в вольном городе Кракове, и во всех трех «заборах» — замечается уже общее оживление, и всюду уже поговаривают о приготовлениях к самому обширному восстанию, конечной целью которого ставилось освобождение всей Польши в границах 1772 г. Заговорщики действительно готовились к тому, чтобы поднять восстание на всей территории прежней Речи Посполитой, и для этого даже был назначен день — 21 февраля 1846 г. Центром восстания должен был сделаться вольный город Краков. Соседние державы уже давно смотрели на эту польскую республику как на очаг заговоров и мятежей. Они даже принимали против Кракова свои меры. Самая крутая из этих мер была принята в 1836 г., когда войска трех держав вступили в город, изгнали оттуда всех агитаторов и повстанцев и ушли лишь для того, чтобы оставить город под полицейским надзором Австрии. В 1846 г. вели-

кие державы, заметив, что готовится новое восстание, заставили краковский сенат призвать к себе на помощь австрийский отряд, стоявший недалеко от города. Но этому отряду пришлось отступить, так как он был слишком незначителен для того, чтобы занять город, и в Кракове было провозглашено временное правительство, которое стало призывать к восстанию все части прежней Речи Посполитой. В прусской и русской Польше восстание было подавлено и кончилось, как будто и не начавшись, но в Галиции дела приняли другой оборот. Здесь пришлось употребить уже особые усилия для подавления инсurreкционных отрядов, и австрийское правительство задумало опереться на угнетенных крепостных крестьян, пригласив их действовать против мятежников. Особенно ревностно об этом хлопотали перепуганные местные власти. Говорят, что крейс-капитаны и старосты округов Тарновского и Бохенского прямо объявили крестьянам, что за каждого живого предводителя восстания правительство выдаст пять гульденов, за мертвого — десять. Началась знаменитая «галицийская резня». Помещиков ловили, избивали до полусмерти, связывали и отправляли в город. Многие были убиты, а одного перепилили пополам пилой. Всех убитых насчитывалось до 800 семейств. Дома и хутора помещиков были во многих местах разграблены и даже сожжены. Одна крестьянская банда состояла, говорят, из пяти тысяч человек под начальством «короля хлопов» Шели. И долго после этого в селах не видно было ни панов, ни ксендзов, ни управляющих помещичьими имениями, ни представителей административной или судебной власти. Целую неделю продолжалось нечто вроде пиршества, и народ ходил в праздничных одеждах. Галицкие хлопы уже спрашивали своих соседей в Царстве Польском, скоро ли и они начнут свою расправу с панами. Мало того, крестьяне не хотели платить податей и даже стали требовать обещанной денежной награды, ссылаясь на прочитанную во всех церквах прокламацию, в которой правительство благодарило сельское население за то, что среди него не было найдено ни одного заговорщика. Дело кончилось, однако, тем, что расходившийся народ стали усмирять военной силой, а в некоторых деревнях для устрашения поставлены были виселицы.

Галицийские события 1846 г. произвели страшное впечатление на польскую эмиграцию. Дубецкий, живший в Брюсселе, грозил, что Вене оплатят за каждую каплю польской крови все славяне и что ссора поляков с русскими не помешает им действовать сообща для освобождения и соединения славянского мира. В Царстве Польском и Познани господствовало то же настроение. В открытом письме к Меттерниху (*Lettre d'un gentilhomme polonais au pr. de Mettemich*) маркиз Велепольский тоже грозил Австрии соединением всех славян под главенством России и мстью за пролитую славянскую кровь. В таком же духе высказывался еще граф Гуровский. В Познани поляки пили за всеславянское братство и за здоровье

императора Николая I. Впрочем, еще в 1838 г. один польский эмигрант Медынский в своем «Обзоре революций у славянских народов» пророчил также соединение всех славян, включая сюда и русский народ, на развалинах Габсбургской монархии. Тогда же поэт Уейский написал «*Z dymem pożarów*»¹, сделавшееся впоследствии революционным гимном поляков.

Между тем австрийское войско снова вступило в Краков, а затем подошли русские отряды; за ними пришли и пруссаки. В ноябре того же года вольный город перестал существовать, будучи включен в состав Австрийской империи.

В то самое время, как одна часть польской эмиграции устраивала заговоры и предпринимала восстания для восстановления Польши, в другой части развивалось мистическое учение националистического характера, известное под названием мессианизма. Несмотря на своеобразный характер этого направления, оно в некоторой мере было порождением той же почвы, на которой выросли славянское возрождение, панславизм и русское славянофильство. Одним из родоначальников польского мессианизма был весьма странный философ Гёне-Вронский, проживавший в Париже с 1808 г. Около 1830 г. он прославился как автор целого ряда сочинений, в которых провозглашался «мессианизм», новое учение, призванное переродить мир. Современное состояние человечества болезненно, и происходит это от общественной борьбы между консерваторами и либералами, из которых одни являются представителями добра, а другие — представителями правды. Из этого состояния человечество может быть извлечено только соединением и осуществлением добра и правды, исполнить же это должен мессианизм. Разные народы различным образом относятся к принципам добра и правды, но у одних евреев и поляков это отношение может быть выражено как ожидание и надежда, но тут и есть вера в пришествие Мессии. Это учение изложено было наиболее полно в «*Problème fondamentale de la politique modern*» (1829 г.) и особенно в «*Prodrome du messianisme, révélation des destinées de l'humanité*» (1831 г.)². Между появлением этих двух сочинений произошла польская революция. В начале сороковых годов Вронский издал еще (по-французски же) «Мессианическую метаполитику» и «Пролегомены к мессианизму», в которых придавал мессианическое значение и Наполеону I, как «божественному предтече будущего», и Священному союзу Александра I, как прообразу грядущей мессианической лиги. Совершение мессианической миссии суждено Франции, Германии и России, стоящей во главе славянских народов. Под покровительством России образуется братство Святого Духа, которое дает окончательное направление человечеству. Это будет славянская федера-

¹ «С дымом пожаров» (польск.). — *Прим. ред.*

² «Основная проблема современной политики» и «Продромальный мессианизм и открытие судьбы человечества» (фр.). — *Прим. ред.*

ция, но поддерживая идею панславизма, Россия должна уважать индивидуальность каждого славянского народа. Историческое призвание всех славянских народов — сохранение благ цивилизации, в особенности религиозной и политической свободы.

Любопытно, что Гёне-Вронский пророчил мессианическую роль России, но наиболее важное здесь — сама идея о провиденциальной миссии того или другого народа. Около 1830 г. среди поляков мысль об особом посланничестве Польши имела некоторое распространение; по крайней мере, отдельные деятели смотрели на свой народ, как на нацию, призванную служить особенным образом всему человечеству. Один из первых польских романтиков, Бродзинский, в 1831 г. в заседании варшавского «Общества любителей наук» прочитал речь о народности поляков, в которой говорил о реформаторской миссии Польши и о ее праве на предводительство в роде человеческом, а в «Послании к братьям-изгнанникам», сравнивая страдания польского народа с мучениями, которым был подвергнут был Христос, предсказывал будущее Польши, как водительницы всего человечества. Поэт Винцент Польш говорил то же самое в «Пророчестве польского священника» (1831 г.) и в песне «На годовщину 29 ноября 1830 г.» (1832 г.): Польша представляется у него Христом народов, «ее книга» — их евангелием. Другие польские поэты (Гарчинский, Красинский, Словацкий) обнаруживали склонность к подобной же идеализации своего отечества. Но самым видным представителем польского мессианизма сделался величайший поэт польского народа Мицкевич.

Мицкевич не ожидал и, по-видимому, не желал вспыхнувшей в 1830 г. революции, а когда она началась, в успех ее не верил. В восстании он не принимал ни малейшего участия, тем более что находился в это время за границей, откуда, однако, на родину потом не возвратился, пожелав разделить изгнание с борцами за национальную свободу. В его поэзии и в его натуре была весьма большая доля мистицизма. В своих «Книгах народа польского и польского пилигримства» (1833 г.), наполненных пророчествами, он дал на восемнадцати страницах, написанных библейским слогом, историю человечества «от начала света до замучения народа польского», объяснив в послесловии, что многое в этом произведении исходит из откровения Божия: ...«и предали на мучение народ польский, и положили его во гроб, и воскликнули короли: мы убили и похоронили свободу... но народ польский не умер. Тело его лежит во гробе, а душа его удалась с земли, т. е. из жизни публичной в бездну, т. е. жизнь домашнюю всех терпящих неволю на родине и на чужбине, чтобы видеть терпения их. И на третий день душа вернется в тело, и народ воскреснет и освободит все народы Европы из неволи. И прошло уже два дня: один день кончился первым взятием Варшавы, второй день кончился вторым взятием Варшавы, а третий день настанет и не кончится. И как по воскресении Христовом

прекратились кровавые жертвы, так по воскресении народа польского прекратятся в христианстве войны». В начале сороковых годов религиозно-мистическое настроение Мицкевича усилилось, и он сделался горячим последователем одного появившегося в это время в Париже польского пророка, по фамилии Товянский. Андрей Товянский, начавший свою литературную деятельность в Вильне около 1820 г., уже в конце двадцатых годов, по собственным его словам, почувствовал призвание сделаться реформатором человеческого рода. Нашлись люди, которые поверили в его миссии и стали его последователями. Он не только не принимал участия в восстании в 1830 г., но даже удерживал других, ссылаясь на то, что свыше ему дано было знать, что восстание постигнет неудача. В конце тридцатых годов Товянский переселился за границу, где стал пропагандировать свое участие среди поляков, серьезно называя себя посланником Бога к людям. В 1840 г., в самый день перенесения останков Наполеона в Дом инвалидов, Товянский приехал в Париж. На Мицкевича, который благоговел перед памятью императора, освобождавшего Польшу, как воображали его соотечественники, торжество это произвело сильное впечатление, и у него самого было тогда какое-то «видение». Товянский явился к поэту только через полгода и скоро совершенно овладел его воображением, разъяснив ему и его видение и даже истолковав ему аллегорический смысл его собственных стихов. Мицкевич оказался теперь пророком, предсказавшим пришествие нового Мессии, а этим Мессией был не кто иной, как Товянский: в него перешел дух Наполеона, и он довершит дело, начатое великим императором. Мицкевич во все это уверовал и стал свидетельствовать о божественном посланничестве Товянского. С Мицкевичем уверовали другие. Пронеслась молва, что Бог сжалился над Польшей и что явился небесный посланец, который принес радостную весть о скором восстановлении Польши и окончании печального изгнания. В октябре 1841 г. Мицкевич даже устроил в соборе Notre Dame de Paris¹ благодарственное молебствие Господу Богу за милости, излитые на поляков! Собралось много эмигрантов, и после богослужения Товянский возвестил им свою миссию. О пророке заговорил весь польский Париж. В конце 1841 г. Товянский обратился к своим соотечественникам с печатным воззванием, снова приглашая их на религиозную церемонию, но парижский архиепископ запретил духовенству давать свои церкви для такой кощунственной агитации. Сходки, на которых Товянский выступал проповедником, стали происходить в квартире Мицкевича. К товянщизне стали примыкать видные члены польской эмиграции, между прочим, крупный поэт Юлий Словацкий. Товянский, видя, какой успех его проповедь имеет среди поляков, задумал проповедовать свой мессианизм и французам. Дело окончилось, однако,

¹ «Собор Парижской Богоматери» (фр.). — Прим. ред.

высылкой Товянского из Парижа по приказанию префекта полиции, нашедшего, что он слишком мутит умы. Мицкевич и другие последователи нового пророка хлопотали о нем у министра внутренних дел и даже рекомендовали его благосклонному вниманию бельгийского короля, в столицу которого Товянский переехал на жительство. В Париже верующие в его божественную миссию сплотились в особое общество с правильной организацией. Мицкевич в нем был чем-то вроде наместника отсутствовавшего главы, но по временам он ездил к нему на свидания. На собраниях товянщиков произносились речи, исполнялись разные обрядности. В кружке стал развиваться культ Наполеона, «бывшего величайшим духом после Христа, полнейшего идеала духа», и Мицкевич даже считал возможным вступать в общение с духом Наполеона. Свои мессианические идеи он прямо излагал с кафедры Collège de France, издав потом свои лекции под заглавием «Официальная церковь и Мессия» (1845 г.). Поляки, оставшиеся правоверными католиками, всячески противодействовали новой «ереси», а правительство лишило Мицкевича профессорской кафедры.

Между тем Товянский продолжал искать новых adeptов и даже рассчитывал привлечь на свою сторону франкфуртского банкира Ротшильда, папу Григория XVI и самого императора Николая I. В прошении на имя русского государя он прямо говорил о всемирно-историческом призвании России в духе его мессианической идеи. «Все народы славянского племени, — говорилось здесь, — одарены божьим сокровищем простоты, и искра Христова, угасшая или затаившаяся на земле, хранится только у славян. Это — единственное племя на земле, характер которого составляет душевная теплота, эта искра Христова; проистекающее из этого характера его предназначение велико». Славяне должны выполнить свою миссию. «Пришло время, когда все славяне, слитые в одно чувство любви, какой еще не бывало ни в понятиях людей, ни в жизни, должны соединить свои усилия в одном великом и общем интересе для достижения цели, какую Бог назначает им отныне... Человечество в своем движении вперед встречало препятствия и уклонялось от пути, предназначенного Богом; от этого пути уклонился и Наполеон, носитель мысли Божьей, и был побежден, но воля Божья совершилась: идея союза религии с политикой созрела на земле. Миссия Наполеона не прекратилась с его смертью: дух его продолжает действовать на земле. Новое поприще открылось для Слова. Новое орудие Слова — император Николай». В 1845—1848 гг. Товянский жил в Швейцарии, где его время от времени навещали приверженцы его учения. В парижском кружке Мицкевича по-прежнему шла разработка мессианизма, центральным пунктом которого было восстановление Польши. Все движения и события, происходившие вокруг, оценивались главным образом по возможному отношению их к воскресению польского народа. Февральская революция окрылила надежды польской эмиграции, с большинством

которой товянщики были тогда в разладе. Мицкевич и его единомышленники тоже надеялись, что, наконец, наступает время восстановления. Но между ним и Товянским произошло охлаждение: Мицкевич все более и более убеждался в том, что спасение Польши выйдет из Франции, тогда как Товянский по-прежнему думал, что исполнение всех его пророчеств совершится при участии России¹.

Прибавим, что в воззрениях Товянского и Мицкевича во второй половине сороковых годов отчасти звучит и нота мистического социализма. В этом нельзя не видеть влияния Франции, где в сороковых годах социализм принимал и религиозно-мистический характер.

Сравнивая умственное движение, происходившее среди славян, с теми движениями, которые совершались в Англии, Франции и Германии, мы не можем не отметить их совершенно особенного характера. Мистицизм и романтизм были присущи некоторым проявлениям даже общего демократического движения, охватившего Западную Европу, и в этом отношении идеализация народности и мессианизм у славян находят свои аналогии в более передовых странах. Существенная разница заключалась в том, что у передовых народов романской и германской расы общее движение тридцатых и сороковых годов имело характер политико-социальный, тогда как у славян оно имело преимущественно характер культурно-национальный. Тем не менее славянские стремления сыграли свою роль в истории австрийской революции 1848 г. Чехи потребовали равноправности с немцами и слияния воедино Богемии, Моравии и Силезии. В Праге образовалось даже временное правительство и был собран всеславянский съезд. У юго-славян тоже произошло движение в пользу слияния Хорватии, Славонии и Далмации. Наконец, и венгерские сербы равным образом задумали образовать национальное правительство. Культурное возрождение австрийского славянства готовилось перейти к возрождению политическому. Революция 1848 г., которая у немцев, у итальянцев и у венгров получила резко выраженную национальную окраску, не могла не затронуть с той же стороны подвластных Австрии славян, в течение трех десятилетий ревностно занимавшихся возрождением своей народности.

¹ В одном письме к Мицкевичу он писал: «Благо человечества и в то же время благо России — в прогрессе во исполнение воли, данной в слове Божьем. На этом пути сила и счастье России, призванной к исполнению на земле слова Божьего... Я не призываю к братскому союзу с Австрией. На новом пути желаю усерднее и правдивее служить России».

Революция 1848 года

XVIII. Состояние Западной Европы накануне 1848 года¹

Начало нового исторического периода. — Швейцария в тридцатых и сороковых годах и Зондербунд. — Италия после 1830 г. — Мадзини. — Итальянское «воскресение». — Начало правления Пия IX. — События в Италии конца 1847 и начала 1848 г. — Зарождение политической оппозиции в Венгрии. — Кошут и Дзак. — Политическое брожение в Германии. — Политическая оппозиция в Бадене и Баварии. — Новая эра в Пруссии. — Личный характер Фридриха-Вильгельма IV. — Либеральные уступки в начале нового царствования и скорое наступление реакции. — Конституционное движение в Пруссии. — Патент 3 февраля 1847 г. — Оценка его в публицистике. — Соединенный ландтаг. — Отношение Англии к либеральным движениям на континенте

Исторический период, начавшийся после Июльской революции, замыкается Февральской революцией во Франции, бывшей сигналом для целого ряда потрясений почти во всей Западной Европе. Февральская революция и в самой Франции, и вне ее пределов отозвалась гораздо более серьезными движениями, нежели те, которые произошли после июльского переворота. По силе непосредственного действия даже революция 1789 г. не имела такого общеевропейского значения, какое выпало на долю февральского переворота. На самом деле, однако, уже крушению июльской монархии в конце февраля 1848 г. предшествовали в Западной Евро-

¹ Указания на историю Швейцарии см. выше. О Зондербунде: *Crétineau-Joly. Histoire du Sonderbund*, 1850; *Esseiva. Fribourg, la Suisse et le Sonderbund*, 1882; *Müller S. Der Kampf zwischen Recht und Gewalt in der schweizerischen Eidgenossenschaft*, 1863—1868. Все эти три сочинения написаны в духе католической партии. О союзной конституции 1848 г. см.: *Эдэмс (Adams) и Кеннингэм. Швейцария и ее учреждения*, 1893. Первая глава этой книги представляет собой исторический очерк швейцарского государственного устройства с древнейших времен. (Порусски по истории Швейцарии имеется еще сочинение Ван Мюйдена.) Сочинения по истории Италии в XIX в. указаны в т. IV (из них книга Сорена недавно переведена по-русски). История «воскресения» Италии в громадном труде *Tivaroni. Storia critica del Risorgimento*, 1891—1896. О Мадзини большая литература: кроме биографии *Nardi* (итал., 1872), *Mario* (итал., 1892) и др. *Cironi. Die nationale Presse in Italien und die Kunst der Rebellen*, 1863 (перевод с итал.); *Simom. Histoire des conspirations mazziniennes*, 1870; *Bouiller. Un roi et un conspirateur*, 1885; *Saffi. Il pensiero politico e sociale di Giuseppe Mazzini*, 1887; *Schack. J. Mazzini und die italienische Einheit*, 1891. Ср. русские статьи в «Вестнике Европы» за 1868 г. и в «Русской мысли» за 1882 г. О Пии IX: *Pougeois. Histoire de Pie IX, son pontificat et son siècle*, 1886; *Villefranche. Pie IX, sa vie, son histoire, son siècle*, 1889; *Pfleiderer. Pius IX*, 1878. Литература по истории Италии с 1848 г. будет указана ниже, равно как и литература по истории венгерского движения. Сочинения по истории Пруссии в XIX в. указаны в т. IV (книга *Treitschke* доведена до 1848 г.); *Natzmer. Unter den Hohenzollern. Aus der Zeit Fr. Wilh. IV*, 1888; *Ranke. Fr. Wilh. IV; Wager. Die Politik Friedr. Wilh. IV*, 1883; *Falkson. Liberale Bewegung in Königsberg (1840—1848)*, 1888; *Gervinus. Die preussische Verfassung und das Patent vom 3 Februar 1847*; *Bülow-Cummerow. Preussen im Januar 1847 und das Patent*, 1847; *Biedermann. Gesch. des ersten preusschen Reichstages*, 1847.

пе разные волнения и восстания, которые сильно тревожили тогдашние правительства и заставляли их придумывать и принимать новые меры для противодействия начинавшимся политическим, социальным и национальным движениям. В 1846 г. была сделана, как мы видели, попытка поднять общее восстание в разных частях исторической Польши. Так как восстание было направлено против трех держав, участвовавших в разделе Речи Посполитой, то Австрия, Пруссия и Россия стали только еще солидарнее действовать в своей общей политике. Одновременно с этим Австрию, Пруссию и Францию беспокоили события, разыгрывавшиеся в Швейцарии, где борьба между радикалами и консерваторами дошла в начале 1847 г. до междоусобной войны. Прежде чем заинтересованные державы успели вмешаться в эту внутреннюю распрю, война была окончена победой радикальной партии. В Италии в 1846—1847 гг. точно так же существовало очень сильное политическое брожение, одинаково беспокоившее и Меттерниха, и Гизо. На почве противодействия Итальянской революции Австрия и Франция направляли свою политику в одну и ту же сторону, и буржуазная монархия готова была действовать заодно с феодально-клерикальной империей. Опасения Меттерниха и Гизо имели свои основания. В январе 1848 г. в отдельных странах Италии вспыхнули восстания. Австрия, у которой были свои итальянские подданные, сильно боялась всяких движений на Апеннинском полуострове, а тут еще и Венгрия держала себя крайне беспокойно, и между венским правительством и венгерским сеймом начались уже резкие конфликты. В немецкой нации совершалось также весьма значительное политическое движение. В Пруссии в 1847 г. был собран так называемый соединенный земский сейм: это событие произвело очень сильное впечатление в разных частях Германии и повлекло за собой внутренние столкновения. В Юго-Западной Германии, которая всегда была очагом либеральной оппозиции, готовились важные события. В Бадене обострилась борьба между правительством и местным сеймом. В Баварии совсем незадолго до Февральской революции совершился внутренний переворот в либеральном смысле. Даже в Англии около того же времени усиливается чартизм, перед тем, по-видимому, совершенно побежденный. Наконец, и в Ирландии действовала революционная партия, стремившаяся к восстановлению национальной независимости. Если кроме этих политических движений принять еще в расчет напряженность социальных и национальных стремлений, характеризующую сороковые годы, то мы поймем, почему Февральская революция загла такой пожар во всей Западной Европе. Небольшие пожары уже начинались в разных местах.

В этой главе мы и рассмотрим большую часть только что перечисленных движений, предшествовавших Февральской революции и под ее влиянием принявших потом более широкие размеры. Реакция, которая

в разных странах в середине тридцатых годов, по-видимому, торжествовала полную победу, во второй половине следующего десятилетия уже не в состоянии была справиться с общественным движением; в некоторых местах даже сами правительства пошли на уступки, что, понятное дело, придавало движению новую силу, порождая новые надежды и увеличивая уверенность в скором их осуществлении. Самыми замечательными в этом отношении явлениями были реформы, предпринятые в Италии по инициативе нового папы Пия IX, и создание в Пруссии соединенного ландтага Фридрихом-Вильгельмом IV. Это все-таки были уступки со стороны правительств духу времени — уступки, которые совершенно не соответствовали общему реакционному направлению внутренней политики за весь предшествовавший период. Новые явления во внутренней жизни Италии и Германии стояли притом в некоторой связи с национальными стремлениями к политическому объединению, игравшими такую видную роль в революционную эпоху 1848—1849 гг.

Мы начнем этот обзор со Швейцарии, где в течение всех тридцатых и сороковых годов происходило весьма значительное демократическое движение. Вся история Швейцарии в этот период сводится к борьбе двух партий, из которых одна была консервативно-клерикальная и стояла за полную самостоятельность отдельных кантонов, а другая отличалась светским и радикальным характером, в то же время мечтая об усилении федеративного элемента. В самом начале тридцатых годов в одиннадцати кантонах был произведен пересмотр местных конституций в демократическом духе, и сейм в конце 1830 г. даже признал, что он не будет противодействовать изменениям в кантональных конституциях. Дело, однако, не обошлось кое-где без внутренних раздоров, и, например, в 1842 г. базельский кантон разделился надвое. Явилась даже мысль о пересмотре конституции всего союза. В 1815 г. Швейцария была сделана союзом независимых государств, тогда как прогрессивная партия, получившая название радикальной, стремилась превратить Швейцарию в союзное государство. В 1832 г. в Швейцарии образовались два частных союза, из которых один стоял за пересмотр общей конституции, другой был против этого. Достигнуть такого пересмотра не удалось, и дальнейшая политическая борьба велась главным образом в отдельных кантонах. В большей части кантонов взяли перевес демократы, которые прежде всего направили свою деятельность против католической церкви, поставив своей задачей подчинить ее государственному контролю, ввести свободу образования и привлечь монастыри к участию в благотворительности. Одновременно с этим, впрочем, и протестантское духовенство должно было лишиться своего прежнего положения в государстве. Духовенство обоих исповеданий стало тогда агитировать среди сельских жителей против либеральных кантональных правительств, и во многих местах произошли народные волнения. Напри-

мер, когда радикальное правительство кантона Ааргау взяло на себя заведение монастырскими имениями, вспыхнуло целое восстание, окончившееся, впрочем, победой правительства и конфискацией имущества местных монастырей (1841 г.). Наоборот, в Люцерне клерикальная партия, опираясь на сельское население, низвергла либеральное правительство и сама захватила власть в свои руки. То же самое несколько позднее (1844 г.) при помощи Люцерна произошло в кантоне Валэ после полного поражения радикалов. Протестантское духовенство не отставало от католического. В 1839 г. радикальное цюрихское правительство пригласило на кафедру богословия в незадолго перед тем основанном Цюрихском университете Давида Штрауса, автора «Жизни Иисуса». Пасторы возбудили против этого назначения сельских жителей, и хотя оно было отменено, тем не менее в Цюрихе произошел переворот, который низверг прежнее правительство. Главным оплотом консерватизма были семь католических кантонов: Швиц, Ури, Унтервальден, Люцерн, Цуг, Фрейбург и Валэ. Люцернцы задумали пригласить в Швейцарию для воспитания юношества иезуитов; тогда радикалы сделали попытку низвержения консервативного правительства в Люцерне, которая, однако, не удалась и участники которой потом жестоко поплатились за свое участие. Ожесточение обеих сторон начинало доходить до прямо террористических мер. Наконец, семь кантонов решили заключить между собой «отдельный союз» (Зондербунд), дабы соединенными силами защищаться от нападения извне и подавлять в самом зародыше всякие внутренние волнения. Это было осенью 1845 г. Но консервативные правительства существовали и в других кантонах. Чтобы иметь перевес на сейме, радикалы решились вырвать власть в этих кантонах из рук консерваторов, что им в Лозанне и Женеве и удалось сделать. В последнем из названных городов во главе правительства стал весьма способный и влиятельный радикал Фази (1846 г.). Точно так же произошло изменение в конституции Берна, где консерваторы равным образом потерпели поражение и власть перешла в руки радикалов. Несколько позднее то же самое случилось и в Сент-Галлене (1847 г.). После этого большинство голосов на сейме принадлежало радикальной партии, которая и добилась постановления об изгнании иезуитов и о расторжении Зондербунда. Семь кантонов, однако, не хотели уступать. С одной стороны, они рассчитывали на легкость защиты в горных проходах и не особенно верили в солидарность и энергию своих противников. С другой стороны, их поощряли к сопротивлению Австрия, Пруссия и Франция, видевшие в швейцарских радикалах врагов порядка, так как главным образом они защищали политических эмигрантов, искавших убежища на швейцарской территории. К тому же правительства названных государств боролись с демократическими движениями у себя и не хотели допускать вообще торжества радикализма у своих соседей. Были причины и более частного свойст-

ва, которые заставляли правительства не сочувствовать швейцарским демократам. В состав Швейцарии входил Невшатель, принадлежавший прусскому королю, как особое княжество, совершенно отделенное от других его владений. Положение этого кантона-княжества было несколько странное, и понятно, что прусскому королю управлять им было довольно трудно. В 1830 г. прусский король согласился заменить прежнюю сословную конституцию княжества новой, демократической, но это не предотвратило республиканского движения в Невшателе. В 1833 г. польские эмигранты, жившие в Швейцарии, предприняли даже поход на Невшатель, окончившийся, впрочем, неудачей. Весьма естественно, что прусский король был особенно затронут демократическим движением в Швейцарии. Ему не нужно было никаких доказательств в пользу необходимости вмешаться в швейцарские дела. Равным образом и у Гизо была чисто личная причина раздражения против швейцарских демократов. Он был убежденный кальвинист и очень любил старую Женеву, где проживал некоторое время в свои молодые годы, а радикальная партия хотела все изменить в этом городе. Кроме того, уже ранее стремился он к сближению с Австрией и Пруссией: швейцарские дела представляли удобный случай для совместного действия. Вмешательство Австрии, Пруссии, Франции в дела соседней республики грозило независимости последней. Швейцарцы не могли не знать, что уже раньше на конгрессах великих держав поднимался вопрос о таком же разделе Швейцарии, какому в XVIII столетии подверглась Польша. Зондербунд, бывший созданием клерикалов и противоречивший союзной конституции, представлял собой вообще большую опасность по своей связи с иностранными державами, которые уже давно были недовольны тем, что происходило на швейцарской территории. К Франции, Пруссии и Австрии присоединилась также и Россия. Таким образом, четыре великие державы были на стороне частного консервативного союза семи кантонов. Мало того, ввиду готовившегося в Швейцарии междоусобия Австрия прислала Зондербунду значительную денежную сумму и несколько тысяч ружей, а Франция прислала пушек.

Одна только Англия, делами которой в это время руководил Пальмерстон, не хотела торжества Зондербунда. Правда, Пальмерстон не был против того, чтобы великие державы взяли на себя посредничество между враждующими сторонами, но поставил со своей стороны два условия: во-первых, чтобы вмешательство великих держав никоим образом не привело к тому результату, какой имело вмешательство в дела вольного города Кракова, только что утратившего свою политическую независимость, а во-вторых, чтобы прежде всего было принято требование большинства швейцарского сейма об изгнании иезуитов. Вместе с этим он посоветовал швейцарскому правительству держать себя подальше от эмигрантов и не принимать услуг со стороны иностранных волонтеров, дабы не подавать

повода к вооруженному вмешательству соседних держав. Поставленное в известность о намерениях соседей, швейцарское правительство решило действовать быстро и энергично. Война с Зондербундом началась и окончилась в течение одного ноября 1847 г. Зондербунд потерпел решительное поражение и должен был согласиться на требования, которые ему были предъявлены победителями. Австрия, Франция и Пруссия не ожидали такого оборота дела. Курьер, посланный Гизо с депешами к Зондербунду, уже не застал в Швейцарии ни одного из вождей консервативно-клерикальной партии, так как все они бежали в Италию, куда курьер и повез депеши французского правительства. Для престижа великих держав, говоривших, что их вмешательство в швейцарские дела должно было совершиться во имя трактатов 1815 г., эта победа радикальной партии была страшным ударом. Всего три месяца отделяют Февральскую революцию от поражения Зондербунда. Конечно, революция, охватившая в 1848 г. все соседние с Швейцарией страны, только упрочивала положение победителей. В сентябре 1848 г. Швейцария получила новую конституцию, которая с некоторыми позднейшими добавлениями существует в этой стране и в настоящее время.

Одновременно с поражением в Швейцарии консервативная политика испытала неудачу и в Италии, где произошло несколько революционных движений в короткий промежуток времени между падением Зондербунда и крушением июльского трона.

После Венского конгресса в Италии два раза начиналась революция — в 1820 г. и в 1831 г. Оба раза она вызывала против себя самую жестокую репрессию, которой, однако, не удавалось остановить политическое брожение. Нигде не была до такой степени развита деятельность тайных обществ, как именно в Италии, а после неудачных попыток начала двадцатых и тридцатых годов тайные общества не только не исчезли, но даже усилили свою деятельность. В рассматриваемый период наиболее влиятельным агитатором был Джузеппе Мадзини. В двадцатых годах, еще совсем юношей, он был агентом тайного общества карбонариев и в 1830 г. попал в тюрьму, а затем был изгнан из Италии. Во время своего тюремного заключения он пришел к той мысли, что карбонаризм отжил свое время и что для освобождения и объединения Италии нужно действовать новыми средствами. Живя затем во Франции, Швейцарии и Англии, Мадзини только и думал о приведении в исполнение своей мысли, сделавшейся для него своего рода религией. Нужно заметить, что итальянские революционеры были большей частью верующие католики. Мадзини к католической церкви относился враждебно, но собственное его миросозерцание было строго религиозное. Это был какой-то мистический деизм, получивший, однако, политический характер. Мадзини считал, что свобода есть самый святой и самый дорогой дар, какой толь-

ко человек получает от Бога. Стремиться к свободе, бороться за нее — нравственный долг человека, исполнение Божьей воли. Политическим идеалом Мадзини была республика, хотя он готов был согласиться и на демократическую монархию, если бы последняя была установлена по народному желанию и предоставляла республиканцам возможность работать в пользу своего идеала. Далее, он хотел, чтобы границы отдельных государств совпадали с границами национальностей. Хотя в момент его выступления на политическое поприще многие патриоты не прочь были от превращения Италии в федерацию нескольких государств, Мадзини настойчиво требовал единой и нераздельной Италии. По его представлению, федеративный строй со временем должна была осуществить вся Европа, превратившись в своего рода соединенные штаты национальных республик. Эту идею он, между прочим, пропагандировал демократам разных национальностей, с которыми ему приходилось встречаться во время своих скитаний на чужбине. Уже в 1831 г. Мадзини основал тайное общество «Молодая Италия», в состав которого вошли многие прежние карбонарии и совершенно новые люди (между другими и Гарибальди). В том же самом году Мадзини обратился с открытым письмом к новому сардинскому королю Карлу-Альберту, приглашая его взять в свои руки дело либеральных реформ. Лично для Мадзини его агитаторская деятельность имела лишь то значение, что в 1833 г. он был заочно приговорен к смертной казни. Тогда же сделана была смелая, но безрассудная попытка итальянских эмигрантов вторгнуться из Швейцарии в Пьемонт, чтобы начать новое восстание. Мадзини, участвовавший в этом предприятии, успел спастись бегством за границу, но в 1834 г. ему было запрещено жить в Швейцарии, где он стал было издавать журнал «La jeune Suisse»¹. Основанная Мадзини «Молодая Италия» послужила образцом для других подобных же национальных организаций. «Молодая Европа», в состав которой вошли революционные партии разных народов, была задумана также Мадзини. Кроме упомянутой попытки нападения на Пьемонт нечто подобное было предпринято и по отношению к Неаполю, но и эта попытка потерпела поражение.

Мадзини был сторонником национального принципа в государственной жизни. В ту эпоху, когда он действовал, национальная идея в Италии все более и более получала признание со стороны либералов; в сороковых годах она стала все чаще и чаще получать литературное выражение. В эти именно годы вышло в свет несколько сочинений, получивших громкую известность. Их общая черта заключалась в соединении самого пламенного патриотизма и любви к свободе с глубокой верой в истинность учения римской церкви. Наиболее видным писателем на этом поприще был Джи-

¹ «Молодая Швейцария» (фр.). — Прим. ред.

оберти, издавший в 1843 г. громадный том под заглавием «О нравственном и гражданском первенстве итальянцев». Автор этого сочинения сам был священником, принимавшим участие в политическом движении и бежавшим в Париж. В своей книге он проводит ту мысль, что Бог поставил Италию в центре мира для того, чтобы Италия сделалась духовным вождем народов. Для выполнения этой своей провиденциальной миссии ей нужно освободиться от иноземного владычества, объединиться и ввести у себя либеральные реформы. Со времен Макиавелли политики привыкли смотреть на папство как на главную помеху для объединения Италии, но Джиоберти советовал как раз папству взять в руки великое дело национального объединения Италии, что возвысило бы и универсальное значение Святого престола. Джиоберти выступил и противником иезуитов, которые, по его мнению, исказили папство. Так как иезуиты напали на его книгу, то он вступил с ними в политику в другом большом сочинении «Современный иезуит», которое было переведено на разные языки. Главный труд Джиоберти показался столь опасным австрийскому правительству, что оно строжайшим образом запретило его в своих итальянских владениях. Нужно прибавить еще, что и Джиоберти обращал свои взоры на Пьемонт, ожидая, что это государство сделается мечом Италии в момент ее освобождения. Книга Джиоберти имела громадный успех в итальянском обществе и сильно содействовала распространению и укреплению в нем национальной идеи.

В том же направлении действовал еще граф Чезаре Бальбо, который под влиянием Джиоберти написал книгу «Надежды Италии». Он также рекомендовал введение конституции в отдельных итальянских государствах, которые, по его плану, должны были соединиться между собой под протекторатом католической церкви. Целью должна была быть независимость Италии от австрийцев. Наконец, в подобном же смысле высказывался и Азелио. Все они были выразителями того пробуждения национального чувства среди итальянцев, которое получило название «воскрешение» (Risorgimento). Правда, стремления, характеризующие итальянских патриотов, были не всегда достаточно определенны, но все сходились в том, что нужно избавиться от Австрии и сделать это собственными средствами. Клич «Долой немцев!» (*fuori i Tedeschi*) был уже ранее лозунгом патриотов, а теперь и стремление устроить свои дела национальными средствами нашло выражение в знаменитом изречении сардинского короля Карла-Альберта: «*Italia farà da se*» («Италия справится сама»). Сначала в середине сороковых годов к этому национальному движению примкнули и некоторые итальянские правительства.

Летом 1846 г. умер папа Григорий XVI, отличавшийся крайне реакционным направлением. В конклаве образовались две партии — австрийская и римская, из которых вторая пользовалась поддержкой Франции. Выбор

пал на кандидата второй партии — Мастаи-Ферретти, который и сделался папой под именем Пия IX. Одно то обстоятельство, что новый папа не был кандидатом Австрии, давало итальянцам повод радоваться и даже надеяться, что Пий IX возьмется за осуществление идеи Джиоберти, Бальбо и Азелио. Восторг, которым встречено было избрание Пия IX, действовал и на него самого: будучи от природы человеком мягким и добродушным, легко увлекавшимся и потому всегда подчинявшимся внешним влияниям, он сам вообразил, что ему было свыше назначено осуществить народные надежды, по крайней мере в Церковной области. Свое правление он начал с амнистии политическим узникам и эмигрантам, а затем последовал целый ряд реформ в либеральном духе: смягчены были строгости цензуры; дозволена была постройка железных дорог; учрежден был государственный совет, в который были допущены светские люди (призванные правительством нотабли из отдельных провинций), да и вообще мирянам открыт был доступ к высшим государственным должностям; в Риме были организованы новые муниципальные учреждения, а под конец даже была устроена гражданская гвардия. Мало того, Пий IX выразил намерение учредить итальянский таможенный союз, и даже думал о союзе политическом. Австрийское правительство весьма косо смотрело на начинания нового папы, и в этом отношении на стороне Австрии были и некоторые итальянские государи. В августе 1847 г. между Австрией и папой произошло даже столкновение. Венский конгресс давал австрийскому правительству право занять своим гарнизоном цитадель города Феррары. Меттерних истолковал это право распространительно и по отношению к самому городу. Пий IX самым решительным образом протестовал против этого нарушения итальянской независимости. Поэтому он сделался необычайно популярен во всей Италии. Возглас «*Evviva Pio nono*»¹ раздавался при всяком удобном случае; в Ломбардо-Венецианском королевстве, в Неаполе и в Модене он даже считался мятежным. Мадзини написал Пию IX письмо, приглашая его стать вождем национального движения. Римские демократы, из которых особенно выдвинулся демагог Чичероваккио, смотрели на папу с той же точки зрения. Даже часть духовенства была одушевлена идеей поставить церковь во главе освободительного движения. Один священник, по фамилии Вентура, в своих проповедях доказывал, что деспотизм имеет языческое происхождение, свобода же есть понятие христианское. Он грозил европейским монархам, если они не переменят своей политики, союзом церкви и демократии. В Риме началось настоящее политическое движение, и даже образовался политический клуб. Когда в конце ноября 1847 г. в папскую столицу пришло известие о победе швейцарских радикалов над Зондербундом, население Рима

¹ «Да здравствует Пий IX!» (итал.). — Прим. ред.

устроило манифестацию перед домом представителя Швейцарии, и в толпе раздавались крики: «Долой иезуитов!»

Из Церковной области движение распространилось и на другие части Италии. В мае 1847 г. в двух городах великого герцогства Тосканского, в Ливорно и в Пизе, произошли народные демонстрации в честь Пия IX с резким антииезуитским характером. Во Флоренции также происходило либеральное движение. Великий герцог Леопольд последовал примеру папы и сделал некоторые уступки своим подданным. В это же время к Тоскане было присоединено герцогство Луккское, принадлежавшее Карлу-Людовику Бурбонскому. В конце 1847 г. умерла герцогиня Пармская, Мария-Луиза, вдова Наполеона I, и преемником ее сделался герцог Луккский, который уступил свое прежнее владение, где его страшно не любили, великому герцогу Тосканскому. Эта маленькая перемена тоже казалась итальянским патриотам некоторым успехом, тем более что великий герцог Тосканский был в родстве с императорским австрийским домом. С новым герцогом Пармским Австрия поспешила заключить союз, как это сделала несколько ранее с герцогом Моденским.

Сардинский король Карл-Альберт, бывший в начале двадцатых годов надеждой итальянских либералов, но впоследствии правивший своей страной вполне абсолютно, в 1846 г. снова переменял фронт и примкнул к национальному движению. Прежде он очень боялся Австрии, которая, как подозревали, пользовалась тайными услугами сардинского министра полиции. Теперь Карл-Альберт решился не уступать Австрии. Англия, сильно поддерживавшая итальянское национальное движение, обещала ему свою поддержку и даже советовала вступить с Церковной областью и Тосканой в таможенный союз. И в Пьемонте начались антиавстрийские демонстрации, подобные происходившим в других частях Италии. В 1847 г. и Карл-Альберт задумал ввести в своем государстве некоторые либеральные реформы. Так как он всегда заботился о своей армии, которая в то время в случае войны могла быть доведена до 60 000 человек, то итальянские патриоты возлагали на него особенные надежды. Король был человек осторожный и потому часто действовал нерешительно, но его честолюбиво льстила мечта о соединении всех итальянских земель под его властью.

Ранее всего решительное движение против австрийцев началось в Ломбардо-Венецианском королевстве, т. е. в той части Италии, которая находилась непосредственно под австрийским управлением. Положение немецких чиновников и военных сделалось здесь совершенно невозможным. Уже в самых первых числах января 1848 г. в Милане и Падуе происходили стычки между народом, с одной стороны, и полицией и солдатами — с другой. 12 января началась настоящая революция в Палермо, откуда она распространилась на всю Сицилию. Фердинанд II отнял у этого острова последние следы былой автономии. Под влиянием того, что происходило

в других частях Италии, и, рассчитывая на помощь Англии, сицилийцы потребовали восстановления конституции 1812 г., и когда им в этом было отказано, то они и подняли знамя восстания против неаполитанского короля. Примеру Сицилии последовал Неаполь, потребовавший конституции. Фердинанд II, не полагаясь на войско, 29 января объявил своим подданным, что добровольно дает конституцию по образцу тогдашней французской хартии. Вслед за этим 8 февраля и король Сардинский объявил у себя введение конституции. Об этом в Пьемонте стали поговаривать еще в самом начале января, и вот, когда в Турин пришло известие о неаполитанской революции, муниципалитет сардинской столицы обратился к королю с просьбой даровать конституцию. Карл-Альберт поспешил удовлетворить это желание. Великий герцог Тосканский тоже дал своим подданным конституцию, составленную по образцу французской хартии. Подобного рода желание заявлялось в Церковной области, но Пий IX обратился к своим подданным с просьбой не предъявлять ему требований, противных святой церкви, которых он совершенно не мог бы исполнить.

Таково было настроение народа и положение дел в Италии в то самое время, когда в Париже произошла Февральская революция. Всего за два дня до этого события австрийское правительство, видя все более и более усиливавшееся народное движение среди своих итальянских подданных, ввело в Ломбардо-Венецианском королевстве осадное положение, дабы этим положить конец разным демонстрациям и попыткам восстания. Известие о перевороте во Франции произвело сильное впечатление во всей Италии, а когда произошла революция и в самой Вене, итальянские подданные Австрии уже прямо начали повсеместно восставать против прежнего правительства. Таким образом, и началась общая итальянская революция 1848 г.

Одна эта революция создала большие затруднения австрийскому правительству, но и другие народности монархии Габсбургов тоже пришли в движение. В местных австрийских сеймах, имевших, правда, чисто дворянский состав, в середине сороковых годов обнаруживалось оппозиционное настроение. Оно стало проявляться, например, в нижнеавстрийском сейме. Чешский сейм еще около сорокового года спорил с представителями центральной власти о своих взаимных отношениях и однажды (1842 г.) по этому поводу получил высочайший выговор. В 1847 году вожди сеймовой оппозиции решились даже войти в сношение с сеймами других провинций для совместного действия, но их желания не шли далее введения городского представительства в сейм и чешского языка в учебные заведения. Некоторое оживление политических стремлений среди чехов обнаружилось и в развитии политической прессы. В это время у них явился весьма талантливый публицист Гавличек-Боровский, живший некоторое время в России и проникшийся там славянофильскими стремлениями.

Отличаясь большим остроумием, за которое его сравнивали с Гейне и даже с Вольтером, он стал защищать в печати права чешской нации, обращаясь преимущественно к среднему классу и к народу. В 1846 г. он сделался редактором пражской официальной газеты, в которой стал особенно много распространяться об угнетении Ирландии Англией и о борьбе ирландцев за свободу; в сущности, Ирландия здесь должна была играть роль Чехии, и соотечественники Гавличка-Боровского очень хорошо читали между строк и понимали намеки талантливого публициста. Но самое значительное оппозиционное движение перед 1848 г. происходило в Венгрии.

В пестром составе австрийской монархии земли короны святого Стефана со своим разнообразным этнографическим составом занимали особое положение. В Венгрии лучше, чем где бы то ни было, сохранялись остатки автономии и старинные общественные и государственные порядки. Попытка Иосифа II реформировать Венгрию окончилась полной неудачей, и после его смерти старая конституция королевства святого Стефана была восстановлена¹. Император Франц даже торжественно обещал ее поддерживать, хотя и прекратил в 1812 г. созыв сейма. Венгерская конституция сильно напоминала конституцию польскую времен Речи Посполитой. Сейм состоял из депутатов дворянства, по два из каждого комитата², на которые распадалась Венгрия; кроме них в сейме было всего только два представителя от всех городов, да делегаты от хорватского сейма, тоже имевшего дворянский состав. В каждом комитате была своя конгрегация (сеймик), которая выбирала депутатов в сейм, снабжая их определенными инструкциями, и избирала также на разные административные и судебские должности в комитатах. Эти сеймики, имевшие большую силу, после 1812 г. сделались главными органами дворянской оппозиции: не раз, например, они отказывали правительству в налогах и в рекрутах. Император вынужден был идти на уступки, и с 1825 г. венгерский сейм стал снова созываться. В тридцатых и сороковых годах венгерские сеймы начали проявлять замечательную энергию в отстаивании прав королевства святого Стефана. Они стали требовать, чтобы император австрийский, как венгерский король, приезжал в Венгрию на более продолжительное пребывание, чтобы заседания сейма были перенесены из полунемецкого Пресбурга в Пешт, как главный мадьярский город, и чтобы государственным языком вместо латинского сделался мадьярский язык. В конце тридцатых и начале сороковых годов мадьяры добились введения своего языка в законодательство, администрацию, судопроизводство и преподавание. Если в этом австрий-

¹ Отметим здесь, кстати, только что вышедшую книгу: *Radò-Rothfeld. Die ungarische Verfassung geschichtlich dargestellt.*

² Комитат (от *лат.* *comitatus* — компания, группа; *венг.* *vármegye*) — историческая административно-территориальная единица Венгерского королевства, существовавшая с X в. по 1918 г. — *Прим. ред.*

ское правительство сделало им уступку, то тем самым нарушило национальные интересы немадьярских народностей Венгрии, тем более что, как уже мы видели, в это самое время происходило возрождение угнетенных славянских народностей. Мадыары тоже были охвачены в это время национальными стремлениями и мечтами о том, чтобы омадыарить все инородческие элементы королевства святого Стефана. Это вызвало оппозицию славян, которая была особенно сильна среди хорватов. Мадыары зашевелились и в Трансильвании и стали требовать присоединения этой области к Венгрии, к крайнему неудовольствию австрийского правительства, которое даже силой старалось подавить это стремление.

На желании полной мадыаризации Венгрии сходились все представители мадыарской национальности и потому действовали вполне единодушно как по отношению к правительству, так и по отношению к славянскому населению. Зато по вопросам внутреннего устройства самой Венгрии политические вожди мадыарской нации разделились на две партии, постоянно боровшиеся между собой на сеймах тридцатых и сороковых годов. Одна партия стояла за сохранение прежнего социального и политического строя, за дворянские привилегии, за помещичьи права над крестьянами, за прежнее положение комитатов в государстве. Эту партию в сейме поддерживала верхняя палата — «стол магнатов», поддерживали и комитатские сеймики. Другая партия, наоборот, была проникнута идеями западноевропейского либерализма и стремилась, с одной стороны, к отмене феодальных прав и привилегий, а с другой — к реформе представительства в интересах городского сословия, которое до тех пор было почти совсем исключено из пользования политическими правами. Впрочем, среди самих либералов одни думали о сохранении комитатской автономии, тогда как другие стремились к большей централизации управления. Но и либералы несколько не отличались от консерваторов по вопросу о том, как следует действовать с немадьярскими элементами населения.

В этой передовой партии особенно выдвинулись два деятеля: Кошут и Дзак. Первый из них, человек знатного происхождения, хотя и не особенно богатый, по профессии был адвокат и отличался замечательным красноречием. Сначала он добивался играть роль в администрации, но этому помешал его либерализм, бросавший тень на его благонадежность. В середине тридцатых годов он предпринял издание газеты, в которой старался знакомить своих читателей со всем тем, что делалось на сейме, и особенно на комитатских сеймиках. Газета имела громадный успех, но была запрещена. Тогда Кошут стал распространять свою газету в рукописном виде, рассылая ее по комитатам, где с нее снимались новые и новые копии. За такую деятельность в 1837 г. он был арестован с несколькими своими друзьями, а в 1839 г. приговорен судом к четырем годам тюрьмы как государственный изменник. В 1840 г. он, впрочем, был помилован

к великой радости мадьяр, которые даже поднесли ему национальный подарок в виде 10 000 гульденов, собранных по подписке. По своим политическим убеждениям Кошут был демократ, и в его программу входили широкие социальные и политические реформы. Свои идеи он проповедовал в газете «Pesti Hírlap»¹, а в 1847 г., несмотря на оппозицию правительства, был выбран в Пеште депутатом в венгерский сейм, в котором в следующем году ему пришлось играть такую видную роль. Кошут в эти годы сделался настоящим политическим вождем мадьярской нации. Другим предводителем либеральной оппозиции был Дзак, член венгерского сейма с 1832 г. Весьма быстро он занял в нем положение главы партии реформ, и ему даже удалось в 1839—1840 гг. сблизить с этой партией правительство. В начале сороковых годов он, однако, должен был отклонить новое избрание свое в сейм, так как сеймиковая инструкция требовала, чтобы он голосовал за сохранение дворянской привилегии не платить налогов, на что он никак не хотел согласиться. Он возвратился в сейм только в начале 1848 г.

Уже сейм 1847 г. обнаружил довольно оппозиционное настроение. Хотя император, открывший заседания сейма, старался быть как можно более любезным, произнесенная им тронная речь дала повод к оживленным прениям по вопросу о том, что должен был заключать в себе ответный адрес сейма, и дело окончилось тем, что решено было совсем на нее не отвечать. Либеральная партия как раз в это время вырабатывала свою программу, формулировать которую было поручено Дзаку. Сущность его взглядов сводилась к следующему: «Венгрия — страна свободная и независимая во всей своей системе законодательства и администрации. Она не подчинена никакой другой стране. Мы не хотим ставить интересы нашего отечества в противоречие с единством монархии и прочностью ее существования, но признаём противным праву и справедливости, чтобы интересы Венгрии были подчинены интересам какой бы то ни было другой страны... Мы никогда не согласимся, чтобы они были принесены в жертву единству правительственной системы... Для нас конституционная жизнь — сокровище, которым нам нельзя жертвовать не только в пользу какого-нибудь чуждого интереса, но даже ради самых больших материальных выгод». В этих словах выражалась мысль всей мадьярской нации. Поэтому отдельные сеймовые партии в 1847 г. вполне единодушно нападали на политику венского правительства, старавшегося подчинить своему влиянию внутренние дела венгерских комитатов. В 1848 г. политическая борьба в Венгрии приняла прямо революционный характер.

Немецкие земли монархии Габсбургов более или менее отражали на себе то, что совершалось в других частях Германии. В австрийской столице, которая в двадцатых годах славилась своими развлечениями и удоволь-

¹ «Пештский листок» (венг.). — Прим. ред.

ствиями, в особенности своей музыкой, за что была окрещена как «духовная Капуя» (die Capua der Geister¹), началось в тридцатых и сороковых годах некоторое пробуждение умов и распространение либеральных идей. В Вену привозилось громадное количество запрещенных книг из других частей Германии. Немудрено поэтому, что немецкая революция 1848 г. захватила в свой водоворот и австрийских немцев.

В некоторых германских государствах накануне 1848 г. тоже происходили события, которые указывали на приближение революционной бури. В 1845 г. в Лейпциге произошли серьезные уличные беспорядки против нелюбимого народом принца Иоганна, брата короля и наследника престола. Переход этих беспорядков в открытое восстание предотвратил только Роберт Блум, весьма в то время популярный публицист, пользовавшийся большим влиянием в городе и даже стяжавший себе известность в других городах Германии. В 1847 г. в Кургессене вступил на престол Фридрих-Вильгельм I, который задумал было произвести некоторые изменения в конституции. Это вызвало, однако, оппозицию со стороны сейма, объявившего, что курфюрст, будучи еще наследным принцем и соправителем своего отца, присягнул конституции и потому делать в ней перемены не имеет права. Курфюрсту пришлось отказаться от своего намерения, так как даже военные говорили, что и они присягали конституции, когда вступали на службу, а потому не могут идти против своего долга. Но особенно важные события происходили в Бадене, Баварии и Пруссии.

В тридцатых и сороковых годах под управлением великого герцога Леопольда (1830—1852 гг.) Баден был самой свободной страной во всей Германии. Баденский сейм славился своим либеральным направлением, и такие его деятели, как Роттек, Велькер, Дютлингер, Миттермайер, пользовались почетной известностью во всей Германии. Конечно, Баден вынужден был исполнять реакционные законы союзного сейма, но насколько это было возможно, применение их здесь смягчалось. В 1831 г. по инициативе сейма в Бадене была введена весьма значительная свобода печати, и хотя потом пришлось ее ограничить, все-таки таких стеснений, как в других местах Германии, здесь не было. Правда, в конце тридцатых годов реакция не миновала и этого великого герцогства, но она не сломила сеймовых вождей, отстаивавших свободу и добивавшихся даже в эти годы либеральных реформ. Особенно в начале сороковых годов здесь в качестве предводителей оппозиции выдвинулись Ицштейн, Мати, Геккерман и др., не считая прежних, например Велькера. В середине этого десятилетия правительство прямо было вынуждено ослабить реакцию. Результатом последней было только превращение части прежних либералов в радикалов, во главе которых стали Геккер и Струве. Таким образом, прежняя оппозиция рас-

¹ Это выражение принадлежит венскому поэту Грильпарцеру.

кололась на две партии, — событие, весьма важное в истории не одного только Бадена. Произошло это в конце 1846 г., а осенью 1847 г. радикальная партия уже организовала в Оффенбурге большое народное собрание, на котором заявлены были разные демократические требования, например, о народном представительстве при союзном сейме, о замене постоянного войска народным ополчением, об уничтожении всяких привилегий, о введении прогрессивного налога, о покровительстве труду против капитала и т. д. Правительство увидело в этом государственную измену и начало судебное преследование против радикалов. В свою очередь либералы тоже хлопотали о политических реформах. Зимой они съехались в Геппенгейме со своими единомышленниками из других частей Германии и пришли к тому заключению, что необходимо ввести народное представительство при союзном сейме или при таможенном союзе. В этом смысле в начале февраля 1848 г. даже сделано было Бассерманом предложение в баденской палате. Известие об этом произвело весьма сильное впечатление на Германию, и не успело оно еще остыть, как распространилась другая весть — о падении июльской монархии.

В Баварии тоже приходил конец царившей там реакции¹. Король Людвиг I был большой любитель женской красоты, и в конце 1846 г. его сердце было совершенно пленено испанскою танцовщицей Лолой Монте, обладавшей необыкновенно властным характером. Будучи протестанткой, она относилась с ненавистью к ультрамонтанам и сумела вооружить против них короля, который, по-видимому, и сам тяготился слишком большой зависимостью, в какую он попал по отношению к своим клерикальным министрам. В начале 1847 г. для церковных и школьных дел было основано новое министерство; тогда министр внутренних дел Абель, ранее ведавший все касавшееся исповеданий и народного просвещения, и другие министры, попробовав подействовать на короля запугиваниями разного рода, вышли в отставку. Клерикальная партия негодовала, тем более что король пригласил составить новое министерство — протестанта Маурера, который решил управлять страной в строгом соответствии с конституцией. Естественно, что клерикалы, крайне недовольные новым направлением политики, пустили в ход все, чтобы повернуть ее на старую дорогу. Они стали возбуждать народ против нового министра и против графини Ландсфельд, как стала называться «победительница Лойолы», Лола, даже против самого короля, сделавшегося совершенным рабом «новой Дюбарри». В конце 1847 г. Маурер должен был уступить место ставленнику Лолы князю Эттинген-Валлерштейну, министерство которого было прозвано «испанским». Новый министр оказался, однако, настоящим либералом. Он один раз уже был министром, еще в тридцатых годах, до Абеля, но тогда он

¹ О реакции в Баварии см. выше.

как-то не осмелился стать окончательно на сторону либералов, хотя не решался поддерживать и реакционную политику. Вступив вторично в управление, он дал печати большую свободу, которой прежде всего воспользовались клерикалы для своих целей. Новое правительство, однако, не нашло поддержки в либеральной партии, вожди которой, как и все порядочные люди в Баварии, были скандализированы поведением Лолы. Королевская фаворитка прямо выставляла напоказ свое значение: ездила в министерство внутренних дел, назначала на правительственные должности, раздавала приказания и т. п. Клерикальная партия и духовенство удвоили свои нападения на Лолу, начав распространять в народе слухи о незаконной связи между королем и графиней Ландсфельд, которая отстранила от двора всех истинных католиков. Особенно волновались мюнхенские студенты, как воспитанники клерикальных профессоров строго католического университета. Начались студенческие демонстрации, на которые король ответил временным закрытием университета, но это было только сигналом к началу новых беспорядков. В первых числах февраля 1848 г. в баварской столице вспыхнуло даже настоящее восстание, всего за несколько дней до знаменитых событий в Париже. Король испугался, велел снова открыть университет и согласился на высылку Лолы Монтес из Мюнхена.

В год, предшествовавший Февральской революции, совершилось важное событие и в Пруссии. 3 февраля 1847 г. монархия Гогенцоллернов получила конституцию, добровольно объявленную королем, когда подданные уже перестали ожидать исполнения когда-то данных на этот счет обещаний.

Мы уже видели, что Фридрих-Вильгельм III, забыв все свои прежние заявления о конституции, завещал своему преемнику сохранить и на будущие времена абсолютную королевскую власть и даже ограничил его право делать какие-либо изменения в прусском государственном устройстве без согласия всех принцев Гогенцоллернской фамилии. Когда в 1840 г. старый король, правивший Пруссией сорок три года, скончался, общественное мнение стало высказываться в пользу введения конституции. Первые шаги нового короля как будто соответствовали этому настроению, но либералам довольно скоро пришлось разочароваться в своих надеждах. Фридрих-Вильгельм IV оказался настоящим королем культурной, социальной и политической реакции. Тем больше должен был вызвать удивления и в Пруссии, и за ее пределами патент, дававший королевству новое государственное устройство: этот шаг Фридриха-Вильгельма IV действительно был большой неожиданностью.

Фридриху-Вильгельму IV при вступлении на престол было уже сорок пять лет. Будучи кронпринцем, он был известен как человек весьма талантливый и разносторонне образованный. Особенно славилась его красноречие и покровительство наукам. В самом деле, Фридрих-Вильгельм IV

обладал многими высокими качествами, отличался остроумием, любовью к духовным наслаждениям и деятельным темпераментом, но вместе с этим в нем была некоторая неустойчивость и даже какая-то раздвоенность, вносящая противоречия и последовательность в его поведение. Недаром однажды появилась карикатура, в которой король был представлен держащим в одной руке «*Ordre*», в другой — «*Contre-ordre*», тогда как на лбу у него самого было написано «*Desordre*»¹. Известно, что в конце своего царствования Фридрих-Вильгельм IV лишился рассудка, но и раньше уже замечалась какая-то излишняя торопливость в его речах и поступках. То, что было, так сказать, династической традицией Гогенцоллернов — интерес к солдатам и канцелярщине, — совершенно отсутствовало у Фридриха-Вильгельма IV. Он вообще имел мало склонности ко всему, что отдавало прозою жизни. Его больше интересовали искусства, поэзия, наука, потому что все это гораздо более соответствовало его нервной, впечатлительной натуре. В конце концов, он был большим фантазером, и его фантазии принимали мистический и романтический характер². Его очень занимали религиозные вопросы, но сухость протестантизма его не удовлетворяла; в нем было даже некоторое расположение к католицизму, и когда он познакомился с полукатолической англиканской церковью, то не прочь был заимствовать из нее кое-что и для своей монархии. Это настроение короля объясняет, между прочим, с одной стороны, предпринятое им окончание Кельнского собора, с другой — уступки, сделанные католической церкви. Понятно, что такой человек должен был быть большим поклонником романтики. Фридрих-Вильгельм IV действительно был представителем средневековых идеалов, между прочим, и в области политики. О королевском достоинстве он имел самое высокое понятие и был настоящим абсолютистом, в данном отношении отнюдь не отступая от династической традиции Гогенцоллернов. Вместе с тем он считал нужным поддерживать и средневековый сословный строй старой Пруссии. Новые конституционные и демократические идеи не только не пользовались его расположением, но даже находили в нем крайнего противника. Хотя одержимый беспокойной жаждой деятельности, он готов был многое изменить в Пруссии, но лишь под тем условием, чтобы его власть оставалась в полной неприкосновенности и чтобы никто не подумал, будто он делает какие-либо уступки либералам. Многие задачи, которые ставились тогдашней немецкой жизнью, были ему даже симпатичны, — например, национальное объединение Германии, — но вместе с этим он был далек от их практического осуществления, потому что нередко, стремясь в душе к известным целям, он не хотел средств, ведущих к этим целям, раз они казались ему зараженными

¹ «Порядок», «Отмена порядка», «Беспорядок» (нем.). — *Прим. ред.*

² Д.Ф. Штраус изобразил Фридриха-Вильгельма IV в лице Юлиана Отступника в сочинении «*Ein Romantiker auf dem Thron der Caesaren*», 1847.

хотя бы самым отдаленным сходством с либерализмом. Прусские либералы возлагали на него сначала большие надежды, потому что знали его только с одной стороны, как человека, относившегося к людям очень благосклонно, любившего красноречиво говорить о своих добрых чувствах и высоких стремлениях и живо интересовавшегося главными проявлениями духовной жизни нации. Первые шаги Фридриха-Вильгельма IV как короля, по-видимому, должны были оправдать эти ожидания.

Новый король начал свое царствование целым рядом милостей и облегчений. Была объявлена амнистия для всех, которые в предшествовавшее царствование были осуждены за оскорбление величества, государственную измену и другие политические преступления. Особая комиссия, которая должна была наблюдать за благонадежностью должностных лиц, была уничтожена. Многие лица, лишенные мест за свои убеждения, как, например, Арндт и братья Гримм, были снова призваны к деятельности. Но особенно много ожидали от Фридриха-Вильгельма IV по поводу облегчений, данных им печати. Как человек, сам интересовавшийся литературой и наукой, король не мог не понимать, до каких нелепостей доходила тогдашняя прусская цензура. Например, в Кёльне был запрещен перевод «Божественной комедии» Данте единственно на том основании, что божественные предметы не могут быть содержанием комедии, а в 1841 г. берлинская цензура, не разобрав, в чем дело, запретила перепечатать один из приказов Фридриха-Вильгельма III как произведение возмутительное и способное только породить общественное неудовольствие. Несмотря на представления Меттерниха, зорко следившего за тем, чтобы во всей Германии не было ничего похожего на свободу печати, Фридрих-Вильгельм IV нашел нужным издать распоряжения, значительно ослаблявшие прежние цензурные строгости. Декабрьский указ 1841 г. предписывал цензуре умерить свое рвение, и даже выражал мысль о необходимости предоставить печати известную свободу обсуждать политические вопросы. В октябре 1842 г. все книги более двадцати печатных листов были освобождены от предварительной цензуры. Наконец, в феврале 1843 г. в Берлине был учрежден высший цензурный комитет, который должен был контролировать действия цензоров, между прочим, и в тех случаях, когда они вызывали против себя неудовольствие писателей и издателей: для последних, таким образом, была создана особая инстанция, в которую можно было приносить жалобы на цензоров. В состав этого суда, кроме членов академии наук и университета, могли входить люди только с высшим образовательным цензом, установленным для занятия наиболее важных судебных и административных должностей. Все это были довольно значительные уступки сравнительно с прежним режимом, что и отозвалось на некотором оживлении политической печати в отдельных частях Пруссии. Например, лишь благодаря новым законам о печати могла некоторое время существо-

вать знаменитая «Рейнская газета», основанная в 1842 г. кельнскими либералами. Понятно, что подобные облегчения должны были поддерживать надежду на то, что новый король введет в Пруссии народное представительство. Многие ссылались на то, что, еще бывши кронпринцем, Фридрих-Вильгельм IV довольно часто говорил о необходимости расширить права земских чинов. Кое-какие заявления, сделанные им вскоре после восшествия на престол, были истолкованы также в смысле намерения короля осуществить конституционные обещания своего отца.

По старому обычаю, в 1840 г. Фридрих-Вильгельм IV созвал областной сейм в Кёнигсберге для того, чтобы принять присягу от чинов провинции Пруссии. По заведенному порядку он обратился к ним с вопросом, какие из прежних привилегий они желали бы видеть подтвержденными в его царствование. По предложению кенигсбергского купца Гейнриха, прусские земские чины большинством 39 голосов против пяти решили заявить, что они желали бы только введения конституции, обещанной покойным королем. На это заявление король отвечал, что его отец, оставив в стороне идею о так называемом народном представительстве, решился идти по пути, более соответствующему духу немецкой нации, и потому даровал всем частям своей монархии провинциальное представительство, и что сам он, принимавший участие в выработке этих учреждений, будет заботиться о дальнейшем их развитии. Эти слова возбудили надежды, особенно после того, когда король произнес очень красивую речь, исполненную самого доброго чувства по отношению к подданным. Велико было разочарование всех, когда вскоре затем появился кабинетский приказ, в котором прямо опровергалось распространившееся мнение, будто король при распусчении сейма сказал о своем согласии дать Пруссии конституцию в духе обещаний 1815 г. Красивую речь произнес Фридрих-Вильгельм IV и во время коронационных торжеств в Берлине, но и здесь он был далек от какого бы то ни было обещания в смысле конституционных надежд общества. Напротив, он говорил о необходимости простого, отеческого, чисто германского и христианского правления. «Я знаю, — сказал он между прочим, — что получил корону от всемогущего Бога, и что обязан отдать ему отчет за каждый час своего царствования. Я обращаюсь к тем, которые требуют от меня гарантий относительно будущего, но лучшего ручательства я дать не хочу, да и не может дать ни один человек на земле. Мое слово более веско, чем все уверения на пергамене». Это было уж совсем ясно. Притом скоро сделалось известно, что люди, которые ближайшим образом окружали короля, были большей частью завзятые консерваторы. Прошло немного времени, и все иллюзии должны были исчезнуть. Мало-помалу сам король начал раздражаться, когда, пользуясь некоторым расширением прав печати, прусские либералы стали выражать мысли, которые были не по сердцу королю. Одним из первых в пользу не-

обходимости ввести конституцию высказался Шен в брошюре под заглавием «Откуда и куда?» («Woher und wohin? Oder der preussische Landtag im Jahre 1840»). Но вскоре автору, бывшему обер-президентом провинции Пруссии, пришлось отказаться от своей должности. Затем (1841 г.) появилась брошюра кенигсбергского врача Якоби «Четыре вопроса с ответами на них жителя Восточной Пруссии», где доказывалось, что царствующий король связан обещанием своего предшественника. Якоби, привлеченный к суду, был приговорен к заключению в крепости, но апелляционный суд его оправдал. После этого начались настоящие гонения на печать, особенно когда короля стали раздражать насмешки над ним Гейне и других поэтов. Одновременно с этим по поводу оправдания Якоби и других аналогичных случаев стали преследовать судей, которые обнаруживали какую-нибудь независимость. Одной из хороших сторон прусского устройства была относительная независимость суда, как бы она по временам на практике ни нарушалась. В середине сороковых годов были изданы законы, которые подчиняли судей совершенно произвольному дисциплинарному суду и дозволяли перевод судей с одного места на другое по усмотрению начальства. Еще более усилилась реакция после того, как в 1844 г. на жизнь короля было сделано покушение радикальным бургомистром Чехом, который за свое преступление подвергся смертной казни. Но и недовольство на Фридриха-Вильгельма IV стало усиливаться после того, как он, пользуясь своим королевским правом, стал вводить в протестантскую церковь разные новые порядки, отчасти заимствованные им из Англии. Реакция, выразившаяся, между прочим, в запрещении «Рейнской газеты», распространилась и на университетское преподавание, особенно когда министром народного просвещения сделался Эйхгорн. Тогда многие ученые были лишены права преподавать, как признанные за неблагонадежных. Более всего преследовалось левое гегельянство в лице таких своих представителей, как, например, братья Бауеры. Для противодействия новому направлению философии в Берлин был призван Шеллинг. Романтизм, с которым боролась новая немецкая литература, был взят под высочайшее покровительство, и борьба против романтики в литературе приняла благодаря этому характер политической борьбы. Из Пруссии стали прямо высылать людей, чем-нибудь неприятных королю. Так выслан был поэт Гервег, были высланы баденские либеральные депутаты Ицштейн и Геккер.

Эта реакция не остановила, однако, конституционного движения. Сам король начинал недоумевать, почему сердца подданных все более и более от него отворачивались, и, наконец, пришел к мысли, что нужно так или иначе подрезать корни оппозиции. Он очень хорошо знал, что его подданные хотят конституции, так как ему об этом неоднократно напоминали петиции и постановления магистратов разных городов и некоторых провинциальных сеймов. Правда, король отвечал на них выражениями монаршей

не милости, и даже высказывалась угроза прекратить совсем созвание провинциальных сеймов, но, в конце концов, все это заставляло короля невольно задумываться. Еще в 1842 г. в провинциальных сеймах сделаны были кое-какие улучшения, и даже было организовано особое собрание вновь учрежденных постоянных комитетов провинциальных сеймов (*Vereinigte Ausschüsse*) для согласования мнений отдельных сеймов о разных вопросах. Эта уступка никого не удовлетворила, а между тем и на подобных съездах обнаруживалась некоторая оппозиция, несмотря на то что король объявил их настоящими представителями земских чинов и приобретенных прав, могущими быть лишь советниками короны, а не «представителями переменчивого общественного мнения и модных учений» (*Repräsentanten des Windes der Meinung und der Tageslehren*). Сами ближайшие советники короля сознавали необходимость что-нибудь предпринять, и в течение нескольких лет в самой глубокой тайне Фридрих-Вильгельм IV обсуждал с ними вопрос о государственном преобразовании, которое, удовлетворив желание нации, лишило бы оппозицию всякой почвы, но в то же время отнюдь не ограничивало бы королевского самодержавия, т. е. было бы лишь применением к жизни любезных сердцу короля принципов «германского и христианского правления». Одно обстоятельство совершенно частного свойства заставило Фридриха-Вильгельма IV поспешить с приведением в исполнение нового государственного плана.

Прусскому правительству понадобилось построить одну железнодорожную линию, которая должна была иметь важное стратегическое значение. Обыкновенных государственных средств на это не хватало, а потому оставалось прибегнуть к займу. Между тем еще Фридрих-Вильгельм III самым торжественным образом объявил, что Пруссия будет заключать государственные займы не иначе, как при содействии общегосударственного представительства. Вот это и заставило Фридриха-Вильгельма IV придумать свой соединенный ландтаг (*der vereinigte Landtag*). Обсуждение этого плана началось еще в 1845 г. Тогда же прусскому королю пришлось лично говорить о нем с Меттернихом, с которым он встретился во время своего путешествия на Рейн. Понятно, что Меттерних старался отклонить Фридриха-Вильгельма IV от такого шага. В комиссии, которой было отдано рассмотрение королевского плана, дело тоже затормозилось, и лишь в 1846 г. пришли к благополучному окончанию работ.

Королевский патент, устанавливавший центральное земское представительство, был помечен 8 февраля 1847 г. и подписан одним королем без министров, дабы имел вид чисто личного решения короля. В этом документе Фридрих-Вильгельм IV объявлял, что с самого вступления его на престол особой его заботой было содействовать развитию сословно-представительных учреждений монархии, насколько они совместимы с наследственными правами, достоинством и могуществом короны. С этой

целью, основываясь на указе о государственных долгах 1821 г. и на законе о провинциальных чинах 1823 г., король обещал во всех тех случаях, когда потребуются заключение новых займов или введение новых налогов, равно как увеличение налогов старых, созывать провинциальные чины монархии на соединенный сейм (*zu einem vereinigten Landtag*). Кроме того, он обещал созывать соединенный земский комитет (*den vereinigten ständischen Ausschus*). Соединенному сейму или заступающему его учреждению передавались следующие права: содействие в законодательстве, установленное законом 1823 г. по отношению к провинциальным чинам; таковое же содействие по закону 1820 г. касательно заключения и погашения государственных долгов; наконец, право петиции по внутренним и не только одним провинциальным вопросам. Дальше в патенте говорилось о том, что такой порядок при установлении новых и увеличении старых налогов соответствует существу германского государственного устройства и представляет собой особое доказательство королевского доверия к подданным. К этому патенту были приложены распоряжения, касавшиеся устройства соединенного ландтага и о других предметах, о которых шла речь в патенте. Соединенный ландтаг должен был состоять из собрания в одном месте восьми провинциальных ландтагов, причем место, продолжительность, день открытия и день закрытия такого соединенного ландтага должны были определяться особо в каждом отдельном случае. Совершеннолетние принцы королевского дома должны были заседать и голосовать в сословии князей, графов и господ (*Herren*); в состав этого сословия включались еще созывавшиеся на провинциальные ландтаги прежние имперские чины (князья и графы), силезские князья и господа и все, обладавшие личным или коллективным голосом учреждения, князья, графы и господа восьми провинциальных ландтагов. Уполномоченные рыцарства, городов и сельских общин восьми провинций монархии должны были появляться на соединенном ландтаге в том же количестве, как и в провинциальных ландтагах. В особых параграфах говорилось об участии соединенного ландтага в делах, касающихся государственного долга, который получал гарантию со стороны, соединенного ландтага. Впрочем, общий принцип, в силу которого король отказывался от произвольного введения и увеличения налогов во всей монархии и в отдельных провинциях, в сущности, допускал довольно значительное число исключений. Самым важным из них было заявление, по которому король оставлял за собой право в случае войны назначать чрезвычайные налоги без согласия соединенного ландтага, если бы было найдено неудобным созывать последний ввиду политических событий. Правда, к этому прибавлялось, что при первой возможности, самое позднее тотчас же по окончании войны, соединенному ландтагу будет сообщено о цели и расходовании полученных чрезвычайных налогов. Каждой сессии соединенного ландтага должен был предьявляться финан-

совый отчет, но установление бюджета, равно как решение вопроса о расходовании государственных доходов и возможных остатков, объявлялись исключительным правом короны. Особым параграфом участие соединенного сейма в законодательстве определялось как совещательный голос чинов (*ständischer Beirath*) при всех переменах в личных и имущественных правах и других вопросах, касающихся налогов. Равным образом требовалось подобного же рода обращение к соединенному ландтагу в случае каких-либо изменений самого сословного представительства. Соединенному же ландтагу предоставлялось право обращаться к королю с просьбами и жалобами по предметам, имевшим значение для всего государства или для нескольких провинций, причем просьбы и жалобы по предметам, касающимся одной какой-либо провинции, предоставлялось подавать лишь местным ландтагам. Что касается до совещаний в соединенном ландтаге, то для обсуждения правительственных предложений относительно долгов и налогов сословие господ должно было собираться вместе с другими условиями, во всех же других случаях оно должно было совещаться и голосовать отдельно. Все решения должны были приниматься по большинству голосов. Просьбы и жалобы лишь тогда могли доводиться до королевского сведения, когда в обоих местах, т. е. в палате господ и в собрании депутатов от рыцарей, городов и сельских общин получили бы по две трети голосов; в случае разногласия королю должно было представляться и мнение меньшинства. Руководить собранием и председательствовать должны были назначаемые королем маршалы. Соединенному ландтагу запрещалось входить в какие бы то ни было непосредственные сношения с окружными чинами (*Kreisständen*), общинами и другими корпорациями, и никому не позволялось давать депутатам какие-либо наказания. Равным образом соединенный ландтаг был лишен права принимать от кого бы то ни было просьбы и жалобы за исключением его собственных членов. Не разрешалось также одному и тому же соединенному ландтагу возобновлять раз уже отклоненные королем просьбы и жалобы, да и позднее возобновление просьб и жалоб допускалось лишь под условием новых к тому оснований. В заседаниях имели право участвовать и говорить министры и другие должностные лица, специально на то уполномоченные королем. Но в голосовании они могли участвовать лишь в том случае, когда сами были членами соединенного ландтага.

Обнародывая этот патент, Фридрих-Вильгельм IV рассчитывал на то, что он будет принят обществом благоприятно. На самом деле, вышло наоборот. Среди прусского дворянства одни, наиболее консервативные, готовы были видеть в соединенном ландтаге непростительную уступку либеральным требованиям, а другие, в общем довольные сохранением сословной привилегии дворянства, находили, что компетенция нового сейма была слишком незначительна. Некоторые при этом опасались, как бы

централизация провинциальных сеймов не была только началом их упразднения, тем более что общий сейм объявлялся учреждением, созвание которого ставилось в зависимость исключительно от королевской воли. Но более всего были недовольны либералы, которые высказывались против средневекового, чисто сословного характера соединенного ландтага и еще резче указывали на отсутствие периодичности собраний сейма. Патент 3 февраля 1847 г. сделался предметом обсуждения и в печати. Отзывы прессы были для него вообще неблагоприятны, особенно те, которые выходили в свет без прусской цензуры. Более всего заставила о себе говорить брошюра Генриха Симона под заглавием «Принять или отклонить?». На этот вопрос, поставленный именно о новой прусской конституции, автор отвечал отрицательно. С большой энергией и с сильной юридической диалектикой он доказывал, что распоряжение короля «отнимает у народа, которого даже не выслушали, его немногие сословные права и присваивает короне права, которых она никогда не имела». По мнению Симона, патент 3 февраля в лучшем случае был не что иное, как проект, принять же его или отклонить — этот вопрос имел бы право решить только сам народ. Автор подверг тщательному разбору права соединенного ландтага, чтобы доказать совершенную их призрачность при малейшем желании правительства. За эту брошюру Симон был предан суду по обвинению в оскорблении величества и в неуважении к законам, но дело не было доведено до конца благодаря мартовской революции 1848 г. В числе критиков нового государственного устройства был также и Гервинус, который уже ранее прославился своим протестом против уничтожения ганноверской конституции.

Соединенный ландтаг был открыт 17 апреля 1847 г.¹ лично королем, произнесшим длинную речь. Она заключала в себе заявление, что Пруссия будет управляться по-прежнему единой волей. «Считаю нужным, — говорил, между прочим, король, — торжественно объявить, что никакой силе на земле не удастся заменить естественное отношение между государем и народом, которое своею внутренней правдою делает нас столь сильными, отношением условным и конституционным, и что я ни теперь, ни когда-либо в будущем не соглашусь на то, чтобы между Господом Богом на небесах и этой страной стал исписанный лист бумаги, подобный второму провидению, чтобы управлять нами своими параграфами и заменить ими старую святую верность». Далее Фридрих-Вильгельм IV высказывал мнение, что внутренние отношения в Пруссии превосходны и что все дело портит дурная пресса, «позорящая немецкую верность и прусскую честь». Прусский народ — народ христианский, верный и доблестный, и он вовсе не хочет соправительства представителей. В соединении с ним власть су-

¹ В нем участвовали 72 представителя от господ, 231 рыцарь, 182 бюргера и 120 крестьян.

меет отстоять свои права против враждебного государству и церкви либерализма: «Я и дом мой хотим служить Господу». Король просил чины стоять на страже их собственных прав, по совести подавать добрые советы и выражать свои желания, но отнюдь не представлять мнения. Последнее противно немецкому духу и лишь повлекло бы за собой конфликты с короной, «которая должна править по закону Бога и по закону страны и по собственному свободному изволению, а не по воле того или другого большинства». Он, король, ни за что не созвал бы чинов своего государства, если бы у него было хотя малейшее подозрение, что они захотят разыгрывать роль так называемых народных представителей. На самом деле, Фридрих-Вильгельм IV ошибался, думая, что его политические принципы вполне разделялись собравшимися представителями сословий. Прием, оказанный этой речи, был весьма сдержанный, и вскоре обнаружилось в соединенном ландтаге существование оппозиции. Представителями сословий было решено составить в ответ на королевскую речь благодарственный адрес. Некоторые депутаты были так недовольны, что предлагали написать против новой конституции протест и разъехаться по домам, но их уговорили этого не делать. Составление адреса, бывшее, кстати сказать, делом совершенно необычным при старом сословном представительстве, дало также повод к выражениям политического недовольства. Проект адреса был выработан комиссией из двадцати членов, среди которых наиболее видную роль играл ее докладчик Бекерат. В проекте говорилось, что обещания покойного короля суть права, которые народ законным образом приобрел за свою верность в борьбе, и что собрание должно созываться периодически со всеми правами, которые должны принадлежать государственным чинам. Адрес вызвал прения, результатом которых было лишь некоторое смягчение выражений, но существо дела не было изменено, и в таком виде адрес был принят 484 голосами против 107.

Король ответил на адрес указанием на то, что соединенный ландтаг получил даже более, чем было обещано его отцом, что патент 3 февраля имеет окончательное значение, хотя в нем и могут быть сделаны изменения под условием согласования их с правами короны, и что он намерен созвать соединенный ландтаг снова не позже, как через четыре года. Несмотря на это заявление, некоторые члены сейма делали новые попытки требовать изменений в конституции. Фридрих-Вильгельм IV был этим крайне недоволен, но сдерживал себя, не желая доводить дела до полного разрыва. Правительство внесло в соединенный ландтаг несколько предложений, но они были отвергнуты, например, на том основании, что от собрания требовали участия в законодательстве, не признавая за ним прав государственных чинов. Когда король предписал выбрать членов долговой депутации, то из 496 присутствовавших депутатов двести пятнадцать отказались принять участие в этих выборах. Наконец, сейм был закрыт, при-

чем министр Бодельшвинг с большим неодобрением отозвался о его деятельности (июнь 1847 г.). Сеймовые комитеты начали свою работу в январе 1848 г. и были закрыты в начале марта 1848 г., когда в Берлине уже знали о Февральской революции. Теперь Фридрих-Вильгельм IV уже готов был на уступки: на периодичность собраний соединенного ландтага и на ограничение прав соединенных комиссий.

Созыв прусского соединенного ландтага в 1847 г. и борьба его с правительством оказали весьма сильное влияние на политическую жизнь не только Пруссии, но и вообще всей Германии. Прения, которые происходили в соединенном ландтаге, дали возможность наметиться нескольким политическим деятелям, на которых народ стал смотреть как на своих естественных вождей во время вспыхнувшей в марте 1848 г. революции. Но точно так же народу сделались известными и имена тех лиц, которые выступили в качестве непримиримых консерваторов. Между ними мы находим имена принца Прусского, будущего императора Вильгельма I, и Бисмарка Шёнгаузена, будущего первого канцлера Германской империи.

Одновременно с этим возрождением стремления к политической свободе мы наблюдаем в Германии усиление и национального сознания, которое в 1840 г. было затронуто опасностью войны с Францией, а в конце сороковых годов Шлезвиг-Гольштейнским вопросом. 20 января 1848 г. умер датский король Христиан VIII, а его сын и преемник через неделю обнародовал конституцию, которой были крайне недовольны немецкие герцогства, находившиеся под властью датского короля. В Германии с большим интересом следили за национальной борьбой, происходившей в Шлезвиге и Гольштейне, с каждым днем все более и более обострявшейся. В то самое время, как накануне 1848 г. уже почти повсеместно готовились внутренние потрясения, на страже существующих порядков стояли три абсолютные монархии, с которыми все более и более сближалась теперь и Франция. Рассорившись в 1846 г. с Англией из-за так называемых испанских браков, июльская монархия стала с особым усердием стремиться к союзу с Австрией, действуя с ней солидарно и в Италии, и в Швейцарии. Между тем в Англии с падением торийского министерства заведование иностранными делами досталось Пальмерстону (1846 г.). Совершенно теперь изолированная Англия стала действовать вполне самостоятельно в направлении, резко враждебном к континентальным державам. Пальмерстон прямо нашел теперь нужным оказывать поддержку итальянскому движению, которое так беспокоило Меттерниха и Гизо. 7 августа 1847 г. Австрия даже обратилась к великим державам с нотой, в которой спрашивалось, думают ли они сохранить в неприкосновенности трактаты 1815 г., которые, разделив Италию на независимые государства, тем самым сделали из нее простой «географический термин». На этот запрос австрийского правительства Пальмерстон отвечал, что, будучи вполне независимыми,

итальянские государства имеют полное право вводить у себя реформы, какие им угодно, и что иностранные правительства мешать им в этом никакого права не имеют. Английский министр даже советовал Меттерниху оказать свое влияние на неаполитанского короля, чтобы тот не противился реформам в своем государстве. Вскоре затем Пальмерстон, как было уже сказано, вошел в более близкие сношения с Сардинией, которой и обещал поддержку против Австрии. В Швейцарии, как это равным образом было уже отмечено, Пальмерстон противодействовал континентальным державам, поддерживавшим Зондербунд. В данном случае Англия отделилась от европейского концерта, думавшего и в Швейцарии защищать трактаты 1815 г. Чтобы выиграть время и дать возможность радикальной партии раздавить Зондербунд, Пальмерстон на проект Гизо ответил своим контрпроектом, который был отвергнут другими державами. Революция 1848 г. расстроила политическую комбинацию, бывшую результатом сближения Гизо с Меттернихом. Франция была отторгнута от союза с абсолютными монархиями, из которых две (Австрия и Пруссия) сами переживали тяжелое время. Это было на руку Пальмерстону. Вообще он был весьма доволен Февральской революцией и поспешил признать республику. Иначе отнесся к парижскому перевороту русский император. И у Англии, и у России были вполне развязаны руки для того, чтобы действовать в Европе каждой сообразно с ее традициями и интересами.

XIX. Министерство Гизо и Февральская революция¹

Общий взгляд на состояние Франции в сороковых годах. — Буржуазия, Гизо и Людовик-Филипп. — Система подкупов. — Бесплодность парламентских сессий. — Некоторые законодательные меры. — Вопрос о парламентской реформе. — Деятельность парламентской оппозиции. — Начало реформистских банкетов. — Открытие сессии 1848 г. — Новая победа министерства. — Настроение и поведение оппозиционных групп в начале 1848 г. — События 22–27 февраля. — Установление временного правительства

Систематический обзор царствования Людовика-Филиппа был доведен нами в своем месте до самого 1848 г. по отношению к внешней политике, и только до 1840 г. по отношению к политике внутренней. Мы видели, что к 1840 г. во Франции улеглись волнения, вызванные Июльской революцией, и прекратились попытки произвести новую революцию. Окончились тоже частые министерские кризисы. С образованием «министерства 29 октября» начался период полного единодушия короля, его министров и подавляющего большинства обеих палат. В эту-то эпоху и достигла наибольшего своего развития та система господства буржуазии, которая характеризует вообще июльскую монархию. Главным руководителем внутренней и внешней политики был теперь Гизо, более всего заботившийся

¹ Для истории монархии см. сочинения, указанные выше, а также: *Regnault E. Histoire de huit ans; Montalivet. Le Roi Louis-Philippe, 1851; Gerainville V. de. Histoire de Louis-Philippe, 1870–1876; Calmon. Histoire parlementaire des finances de la monarchie de juillet, 1898.* (См. также сочинения о Гизо, названные выше.) См. указанные выше корреспонденции Гейне о первых годах июльской монархии. Для начала сороковых годов (1840–1843) мы имеем такие же корреспонденции («Парламентский период мешанской монархии» в указанном там же переводе), но уже несколько иного рода. В 1847 г. уехал за границу А.И. Герцен, который тогда же стал писать корреспонденции в «Современник» (письма из Avenue Marigny), в которых дается интересная характеристика состояния и настроения Франции перед Февральской революцией. (В сочинениях Герцена немало материала и для истории 1848 и след. гг., о чем см. ниже.) Специально по истории революции 1848 г. и второй республики см.: *Stein L. Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, 1850.* Об этом сочинении говорится в тексте (см. выше), и к 1848 г. относится лишь третий том (*das Königthum, die Republik und die Souveränität der französischen Gesellschaft seit der Februarrevolution 1848*), один из самых научных трудов об этой эпохе. Кроме того, истории революции 1848 г. были написаны и некоторыми ее участниками, каковы *Lamartine (1859), Garnier-Pagès (1866–1873, есть русский перевод), Louis Blanc (1871)* и др. Прибавим мемуары Гизо, Одилона Барро, «Воспоминания» Токвиля, а также Прудона (*Confessions d'un révolutionnaire*), Caussidière и др., а в русской литературе Герцена («С того берега», «Былое и думы». Ч. V и «Посмертные статьи»). См. также: *Stern D. Histoire de la révolution de 1848; Robin Ch. Histoire de la révolution de 1848; De la Hodde. La naissance de la république, 1850.* Книга Вермореля «Деятели 1848 года» (русский пер. 1870) включает в себе характеристики четырнадцати деятелей этой эпохи. Наконец, отметим и отдельно изданные биографии некоторых деятелей: сочинения о Ламартине, указанные выше, о Луи Блане, Ch. Edmond и др.

о том, чтобы преобладание принадлежало буржуазии и чтобы не происходило никаких нарушений порядка. Между тем, хотя с 1840 по 1848 г. порядок действительно серьезным образом более не нарушался, и Гизо мог даже считать его надолго обеспеченным, как это и заявил в 1846 г., общественное движение во Франции именно в сороковых годах и получило особенно сильное развитие. Разбившись на разные направления, оно во всех своих проявлениях было одинаково враждебно системе Людовика-Филиппа, Гизо и обеих палат. Прежде всего, в общественном сознании все более и более выдвигался на первый план рабочий вопрос, в связи с которым получила широкое развитие социалистическая и коммунистическая литература¹. В то самое время, как образуется министерство Сульта—Гизо, бывшее самым прочным из всех министерств Людовика-Филиппа, выходят в свет наиболее важные сочинения Кабе, Луи Блана и Прудона. С другой стороны, около того же времени, с окончанием столько раз неудавшихся республиканских попыток, во Франции начинается и чисто политическое движение в пользу парламентской реформы, которое и привело непосредственно к взрыву 1848 г. Если знаменитые июньские дни 1848 г., когда произошло восстание парижского пролетариата, стоят в тесной связи с распространением в рабочей массе социалистических и коммунистических учений, то февральская катастрофа ближайшим образом связана именно с охватившей французское общество агитацией в пользу чисто политической реформы.

Король, министры, палаты, т. е. все конституционные власти были между собой солидарны, но они опирались лишь на незначительное меньшинство, составлявшее так называемую «легальную страну» (*pays legal*), т. е. на каких-нибудь 200—240 тыс. избирателей. Остальная нация или вовсе не могла служить поддержкою установившемуся режиму (например, косная крестьянская масса), или прямо стояла к нему во враждебных отношениях. Своекорыстная политика господствующего класса, заразившая и тех, которые находились во главе правления, конечно, не могла содействовать тому, чтобы эта система пользовалась каким-нибудь нравственным авторитетом. У июльской монархии не было старой исторической традиции, в иных случаях восполняющей недостаток уважения, а реакционное направление правительства было в полном противоречии с единственным принципом, на который могла, но как раз менее всего хотела ссылаться июльская монархия. Основным чувством, какое вызывал к себе упрочившийся режим у политически развитых элементов французской нации, было крайнее неуважение. Оно проявлялось по отношению и к королю, и к Гизо, и ко всей правительственной партии.

«Настоящим положением Франции, — писал в 1847 г. Герцен в одной из своих корреспонденций в “Современнике”, — все недовольны, кроме

¹ См. выше, гл. XIII и XIV.

записной буржуазии, да и та боится вперед заглядывать... Обвинение, чаще всего повторяемое и совершенно верное, состоит в том, что с некоторого времени материальные интересы подавили собой все другие, что идеи, слова, потрясавшие так недавно людей и массы, заставлявшие их покидать дом, семью, для того, чтобы взять оружие и идти на защиту своей святыни и на ниспровержение враждебных кумиров, потеряли свою магнетическую силу и повторяются только по привычке... Вместо “благородных” идей и “возвышенных” целей рычаг, приводящий все в движение, — деньги». В конце 1847 г. Герцен уехал из Парижа, не будучи в состоянии «сладить с безобразным нравственным падением, которое его окружало»: «смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике, смерть на трибуне; ходячий мертвец Гизо, с одной стороны, лепет седой оппозиции, с другой»¹. «До 1840 г., — писал он уже после февральского переворота, — у правительства был еще стыд, если не стыд, то осторожность; оно боялось прибегать ко всем средствам, оно не было совершенно уверено в полном безграничном сочувствии буржуазии. Оно убедилось, наконец, что маска не нужна; действовавшая часть народа, т. е. та часть, которая имела гражданские права, была достаточно развращена для того, чтобы действовать заодно с правительством... Не могу вам выразить тяжелого, болезненного чувства, которое овладело мною, когда я несколько присмотрелся к миру, окружавшему меня... Видимый² Париж представлял край нравственного растрепанности, душевной усталости, пустоты, мягкости; в обществе царило совершенное безучастие ко всему выходящему из маленького круга пошлых ежедневных вопросов... Одна господствующая страсть поглощала все мысли и досуги среднего состояния — стяжание, нажива, ажиотаж... Издание журнала, выбор депутата, голос в камере, все это было торговым оборотом, едва прикрытым условными фразами. Сила банкиров во всех делах была чрезвычайная; министерство боялось больше всех зол распада с капиталистами... Прибавьте к страсти стяжания страсть власти, жажду мести, которой заражены все политические люди, к какой бы партии они ни принадлежали³... При таком нравственном падении буржуазии, при невежестве крестьян, при подозрительной чистоте оппозиции и либеральной партии, при страшных средствах административной централизации министры Людовика-Филиппа могли смело поступать, как хотели, храня наружный вид законности... Все влияние на Европу было утрачено из-за мелких династических интересов; все интересы народа были пожертвованы для того, чтобы простили испанские браки и революционное начало июльского трона. Франция не могла держаться даже на той высоте, на которой была за десять лет; она делалась второстепенным государством.

¹ Писано в декабре 1847 г.

² То есть доступный иностранцу.

³ О том же говорит Токвиль, см. выше.

Правительства переставали ее бояться, народы начинали ненавидеть. Узкая, эгоистическая мещанская политика, ставившая мир выше всего и невозможную теорию *de la non intervention*¹ ключом свода, не мешала Гизо запятнать Францию своим вмешательством в дела Португалии и в дела Швейцарии».

Нужно, однако, заметить, что настоящее зерно буржуазии составляли банкиры, биржевые и железнодорожные воротилы, владельцы каменноугольных копей и мест добывания разных руд; им вместе с наиболее крупными землевладельцами и принадлежало большинство в палате. Оппозиционное меньшинство представляло собой промышленную буржуазию.

В сороковых годах господствующий класс более всего страшила перспектива социальной революции. Давая характеристику его настроения, Гейне писал в одной из своих газетных корреспонденций 1842 г., что буржуазия «не боится собственно республики, но она чувствует инстинктивный страх перед коммунизмом. Да, — продолжает он, — французскую буржуазию не напугала бы республика прежнего сорта; ее не испугал бы даже маленький робеспьеризм; она легко примирилась бы с этой формой правления и спокойно стояла бы на часах у Тюильри и охраняла бы его, не обращая внимания на то, что, вместо Людовика-Филиппа, в нем заседал бы какой-нибудь комитет общественного спасения. Ибо буржуазия желает прежде всего порядка и защиты существующего права собственности — желание, которому республика может удовлетворять точно так же, как монархия. Но эти лавочники инстинктивно чувствуют, что в настоящее время республика не могла бы уже быть представительницей принципов 1790-х годов, но что она сделалась бы только формой, в которой получило бы силу новое неслыханное господство пролетариата со всеми догматами общения имуществ. Эти лавочники — консерваторы вследствие внешней необходимости, а не внутреннего побуждения, и боязнь служит здесь поддержкой всех вещей». Гейне совершенно верно писал, что именно «этой боязни Людовик-Филипп обязан своими преданнейшими приверженцами, надежнейшими опорами своего трона. Чем сильнее дрожат опоры, — прибавляет он, — тем меньше шатается трон, и королю решительно нечего бояться именно потому, что боязнь служит для него ручательством безопасности. Гизо также держится вследствие страха... несмотря на то, что господствующая партия буржуазии, для которой он столько сделал и делает, совсем не любит его». Действительно, Гизо совсем не пользовался популярностью среди самой буржуазии, и это даже была одна из причин того, что за него особенно крепко держался Людовик-Филипп, любивший быть популярнее своих министров. Гизо отличался сухим, жестким и надменным нравом; противники его даже упрекали в том, что он как бы на-

¹ Невмешательство (фр.). — Прим. ред.

рочно гонялся за непопулярностью. Все его поведение показывает, что он бравировал ей с величайшим упрямством, противодействуя всем новым требованиям французского общества. Строгому кальвинисту и прямолинейному доктринеру, каким был Гизо, совершенно были непонятны ни характер французского народа, живой и подвижной, ни новые общественные стремления, в которые вносилось столько страсти. Мало-помалу Гизо вообразил, что в его системе заключается все спасение Франции, и что система эта совершенно без него немыслима. В последнем ему удалось убедить поддерживавшее его большинство палат, хотя он обращался и к другим средствам, чтобы привязать к себе это большинство: недаром его обвиняли в том, что он, подобно Вальполю, прибегал к подкупам. Людовик-Филипп тоже считал Гизо необходимым потому, что, в сущности, заставлял этого непреклонного и высокомерного человека исполнять то, что входило в его собственные планы. Раз достигнув власти, Гизо держался за нее необыкновенно крепко. Еще в начале 1840 г., сравнивая Тьера и Гизо, Гейне очень остроумно заметил, что первый из них весьма расторопно и ловко умеет взлезать на мачту власти, но еще искуснее и грациознее умеет с нее спускаться, вызывая аплодисменты зрителей, тогда как Гизо в этом отношении далеко остается позади Тьера. «Господин Гизо не так искусно взлезает на гладкую мачту. Он взбирается на нее неловко и с большим трудом, но, раз взобравшись, крепко цепляется за верхушку своею сильною лапой. На вершине власти он будет всегда держаться дольше своего ловкого соперника. Я готов даже сказать, — прибавляет Гейне, — что он не сумеет сам слезть оттуда и что для того, чтобы помочь ему, нужно будет сильно пошатнуть мачту». Эти слова немецкого поэта были по отношению к Гизо настоящим пророчеством. «Теперь, — писал он еще в 1843 г., — Гизо — верный слуга господствующей буржуазии и, нося в душе непоколебимость герцога Альбы, будет защищать буржуазию до последней минуты с неумолимой последовательностью». Впоследствии сам Гизо в своих мемуарах объяснял и вместе с тем старался оправдать свою политику. По его словам, с 1840 по 1848 г. Франция жила под влиянием некоторых идей, «которые под разными наименованиями возводились в основной догмат республиканцами, демократами, социалистами, коммунистами, позитивистами, политическими партиями, философскими группами, тайными обществами, отдельными писателями, всеми противниками установленного правительства, наперерыв распространявшими их в обществе. Против этих-то неприязненных нам сил, — говорит Гизо, — мы и должны были защищать в 1840 г. общество и правительство, несмотря на существование и упрочение внешнего порядка». Он прибавляет к этому, что в этой борьбе он не сходил с почвы законности, хотя и не умалчивает, что часто прибегал к репрессии. Действительно, в министерство Гизо и палаты принимали репрессивные меры, и правительство часто возбуждало судебные преследо-

вания по делам печати, — оканчивавшиеся, впрочем, в большинстве случаев тем, что присяжные оправдывали подсудимых.

Людовик-Филипп вполне оценил качества своего министра, хотя ему и не нравилось, что министр говорил с ним не иначе, как наставительным тоном. В 1846 г. он писал своему зятю, бельгийскому королю Леопольду, что трудно найти было бы другого такого человека, как Гизо. Другие политические деятели смелы и храбры, пока находятся в оппозиции, а чуть только попадают в министерство, как тотчас же предоставляют королю выпутываться самому. Для Людовика-Филиппа это был действительно драгоценный человек.

Король видимо старел и делался все более и более упрямым. Задачей своей политики он поставил охранение существующего порядка, и не хотел идти ни на какие уступки. Под конец он даже прямо заявлял что, пока он жив, никаких перемен не будет. Одной из постоянных его забот было упрочить на французском престоле свою династию. Но в 1842 г. его постигло большое горе: его старший сын, герцог Орлеанский, сумевший приобрести себе некоторую популярность, умер от несчастного случая, бывшего с ним неподалеку от Парижа во время одной из поездок его в Нельи: лошади чего-то испугались и понесли, герцог выпрыгнул из экипажа, но при этом расшибся насмерть.

После него осталось двое сыновей, из которых старшему, графу Парижскому, было только четыре года, и поэтому пришлось назначать регентство на случай вступления на престол малолетнего короля. Для июльской монархии это было большим ударом. Между тем в своей собственной семье Людовик-Филипп не встречал одобрения своей политике, хотя ему и не всегда решались высказывать это. Сама королева начала, наконец, говорить ему, что нужно сделать уступку общественному мнению и распроститься с непопулярным министром. Но Людовик-Филипп все более и более утверждался в той мысли, что министерство Гизо должно и впредь управлять Францией. Один из сыновей короля, принц Жуанвильский, написал своему брату, герцогу Немурскому, в ноябре 1847 г. письмо, наполненное тревожными предчувствиями. «Я начинаю сильно беспокоиться, — читаем мы в этом письме, — ибо нас ведут к революции... Общество, конечно, обратит внимание на то, что, по моему мнению, в высшей степени опасно для правительства, именно на влияние, оказываемое на все дела нашим отцом. Мудрено, чтобы палата во время своих прений не коснулась ненормального положения дел, уничтожившего конституционную фикцию и возложившего на короля ответственность по всем рассматриваемым вопросам. Министров больше нет; ответственность их доведена до нуля; король достиг такого возраста, когда человек не хочет выслушивать никаких замечаний: он привык управлять и любить показывать, что управляет он». Письмо это содержало в себе критику и внешней политики.

Франция должна была в угоду Австрии «исполнять роль жандарма в Швейцарии и душителя в Италии собственных же своих принципов и своих естественных союзников». Герцог Немурский, которому было адресовано это письмо, был назначен регентом на случай кончины короля, но был весьма непопулярен. Зато принц Жуанвильский и, немного его старший, герцог Омальский, разделявший опасения своего брата, пользовались любовью и уважением, особенно в армии и на флоте. Подозревая настоящие взгляды принцев, старый король стал даже бояться, как бы их салоны не сделались очагами оппозиции, и удалил их обоих в Африку, назначив герцога Омальского генерал-губернатором Алжира. В конце концов, Людовик-Филипп стал обнаруживать даже еще большее упорство, чем его министр. По крайней мере, Гизо рассказывает, что в конце 1847 г. он заговорил было с королем о том, что, быть может, он вынужден будет переменить кабинет и что сделать это было бы гораздо лучше из предосторожности, нежели будучи вынужденным к тому необходимостью. Людовик-Филипп отвечал на это самым решительным образом, что не пойдет ни на какие уступки, пока его министерство имеет за себя большинство народного представительства.

И король, и министр старались соблюдать внешние формы конституции. Гизо все время имел на своей стороне парламентское большинство: выборы 1842 и 1846 гг. посылали в палату сторонников министерства. Но это большинство было на самом деле искусственным. Подкупались избиратели, подкупались и депутаты. Правительство раздавало места, пенсии, концессии, подряды и т. д. до казенных табачных лавочек включительно, а затем и сами депутаты давали охотно избирателям обещания насчет разных местных благополучий (дорог, казарм, школ и т. п.). Все это делалось открыто, и сам Гизо, например, говорил своим избирателям, что, если он им за свое избрание обещает дорогу или мост, церковь или школу, то это вовсе не значит, что он их хочет подкупить. Гизо даже утверждал, что «злоупотребление влиянием», как он предлагал называть случаи, у других слышавшие за подкупы, «присуще некоторым образом всем свободным странам». В избрании депутата, удобного властям, а потому и могущего доставить выгоды своим избирателям, он видел «обмен услуг между избирателем и депутатом», «своего рода патронат, которому следует скорее радоваться, чем жаловаться на него». Дело дошло до того, что чуть не половина всего числа депутатов занимала разные должности на государственной службе; понятно, что такие депутаты-чиновники не могли быть независимыми от правительства. Наконец, о системе подкупов громко заговорили как о всеобщем зле. Между прочим, Ламартин на одном банкете в 1847 г., устроенном в его честь по поводу выхода в свет «Истории жирондистов», прямо обвинял королевскую власть в том, что она стремится «превратить нацию граждан в толпу барышников», и пророчил гибель

этой власти. «И после того, — сказал он, — как мы имели революцию свободы и контрреволюцию славы, мы переживем еще революцию общественной совести и революцию презрения». Нечистые дела стали делаться предметом судебного разбирательства. На свет божий начали всплывать скандальные факты казнокрадства, продажности, бесчестных сделок. Одно за другим открывались злоупотребления в разных военных учреждениях, в арсеналах, магазинах, интендантстве. В 1847 г. на скамью подсудимых попали и были признаны виновными в мошенничестве два члена палаты пэров, бывшие министры (Кюбьер и Тест). Талантливый журналист Эмиль де Жирарден ежедневно печатал в своей газете («La Presse»¹), что министр внутренних дел Дюшатель принял участие в сделке, по которой основатель одного театра за разрешение заплатил сто тысяч франков, которые пошли на субсидию новой министерской газете, издававшейся Гранье де Кассаньяком. Система подкупов распространялась и на печать, которая должна была поддерживать министерство. Так как правительство не привлекло Жирардена к суду за клевету, никто не сомневался, что он говорит правду. Вскоре тот же журналист печатно заявил, что ему известен случай обещания правительством одному лицу звания пэра за 80 тыс. франков. В палате депутатов, членом которой был Жирарден, и в палате пэров, суду которой он был предан, между ним и Гизо с Дюшателем произошли неприличные сцены взаимного обвинения в непорядочности и лжи, и хотя оппозиция требовала назначить следствие по этому делу, правительственное большинство объявило, что оно вполне удовлетворено объяснениями министерства.

Такое народное представительство, каким были французские палаты сороковых годов, не могло стоять на высоте своей законодательной задачи. Мы уже видели, что и в первое десятилетие июльской монархии в законодательной деятельности палат господствовал застой, составлявший такой контраст с оживлением законодательной деятельности английского парламента. Читая историков июльской монархии, следивших за работами отдельных сессий палат, мы постоянно встречаемся с отметками, что такая-то сессия была бесплодна или очень незначительна по своим результатам. Время уходило главным образом на парламентские турниры, на борьбу партий, для которой обильную пищу доставляла внешняя политика. Впрочем, конечно, и внутренняя политика министерства также давала оппозиции постоянные поводы для критики; только критика эта равным образом не давала никаких ощутительных результатов, так как Гизо отнюдь не думал изменять свою систему. Тем не менее следует упомянуть здесь о некоторых законах, изданных в 1840—1848 гг. В сороковых годах во Франции было предпринято немало общественных работ, которые, неза-

¹ «Печать» (фр.). — Прим. ред.

висимо от своей важности, интересовали буржуазию и потому, что многим давали случай пристроиться к выгодному делу. Таковы были, например, укрепления Парижа, предпринятые еще в предыдущий период. Далее, в эту эпоху во Франции происходила усиленная постройка железных дорог, равным образом сильно привлекавшая к себе внимание палаты. Существовала мысль о необходимости взять это дело на себя государству, но палаты были против этого, и постройка железных дорог велась акционерными компаниями, которым предоставлялось право заключать займы с гарантией государства. Особенно важен был закон 1842 г., который привлекал к расходам по постройке железных дорог заинтересованные этим общины и департаменты, а также частью и государственную казну. Это было весьма выгодно для акционерных компаний, и от 1842 по 1848 г. было построено громадное количество железнодорожных линий. Риск предприятий подобного рода брало на себя государство, барыши шли в карман акционеров, а называлось это «поощрением духа предприимчивости и содействием промышленности». Те же самые лица, которые в качестве законодателей решали вопрос о железных дорогах в палате, были вместе с тем и акционерами железнодорожных компаний. Другим видом легкой наживы были государственные займы. Июльская монархия вела свои финансовые дела с постоянными дефицитами, требовавшими частых займов, а это выдвигало на первый план банкиров и биржевиков: как правительство, так и депутаты очень хорошо знали, какими путями можно было извлекать выгоды из разных денежных операций на счет мелких капиталистов, обращавших свои сбережения в процентные бумаги. Сами дефициты были результатом того, что в последние годы царствования Людовика-Филиппа государство несло чрезвычайных расходов вдвое больше, чем при Наполеоне. Менее всего было сделано в фабричном законодательстве, так как в этой области все сводится к закону 1841 г. о детском труде, рассмотренному нами в другом месте. Если в каком-либо отношении министерство Гизо и принимало на себя инициативу особенно важных законов, то это касается области народного просвещения. Как бывший профессор, который и после своего падения в 1848 г. вернулся к научным занятиям, Гизо еще в тридцатых годах положил начало целой системе первоначального образования во Франции. В сороковых годах во Франции много волновались по поводу системы среднего образования. В другом месте мы уже говорили, что в эпоху июльской монархии духовенство во Франции добивалось свободы преподавания для того, чтобы забрать в свои руки средние школы. Гизо по этому вопросу пришлось столкнуться с клерикальной партией, руководимой иезуитами, против которой в это время боролись в литературе и такие люди, как Мишле и Кине. Правительство не хотело допустить, чтобы иезуитский орден, существовавший во Франции против всяких законов, захватил в свои руки среднее образование, а у Гизо, как

кальвиниста, было и чисто протестантское нерасположение к духовным конгрегациям; так как, однако, он все-таки боялся прийти в слишком резкое столкновение с католической церковью, то готов был оказывать некоторую снисходительность к духовенству, за что подвергался нападению со стороны оппозиции. Так как раздражение против иезуитов было особенно сильно, то Гизо вступил в переговоры с папой по вопросу об уничтожении ордена иезуитов во Франции, причем папе давалось понять, что это будет необходимо для спасения во Франции других религиозных конгрегаций. Григорий XVI уступил и согласился на то, чтобы французские иезуиты сами закрыли свои учреждения и удалились из страны (1845 г.). Замечательно, однако, что и в этом вопросе Гизо старался охранять консервативные интересы, например, всячески смягчая меры, вызывавшиеся этой своеобразной борьбой церкви и государства. Особенного влияния на ход событий во Франции эта борьба, впрочем, не имела. Она заслуживает быть отмеченной только как один из эпизодов общего столкновения клерикальной партии со светским обществом, характеризующего эти годы и в других западноевропейских странах.

В свое министерство Гизо пришлось выдержать вообще немало сильных парламентских бурь со стороны оппозиции, руководимой такими парламентскими бойцами, как Тьер, Одилон Барро и др. Независимая печать тоже доставляла Гизо немало неприятностей, и министерство пользовалось всяким случаем, когда представлялась возможность привлекать газеты к суду. Поводы к этому представлялись, между прочим, благодаря тому, что оппозиционные газеты задевали самого короля, влияние которого на политику министерства всеми хорошо чувствовалось и сознавалось. Правительство как бы совсем не обращало внимания на то, что чем больше возбуждало оно судебных преследований против печати, тем чаще присяжные выносили оправдательные приговоры подсудимым. Неудачными преследованиями министерство себя дискредитировало, а газеты делались только смелее. Сам Людовик-Филипп прямо подвергался нападениям. В 1841 г. одна легитимистская газета опубликовала весьма неудобные для короля письма, написанные им во времена эмиграции; затем и другая газета напечатала письма Людовика-Филиппа, написанные им уже после 1830 г., в которых король раскрывал свою антиреволюционную политику. До сих пор не решено, были ли эти последние письма подлинными или подложными, но в обществе им поверили, и правительство сочло нужным подвергнуть газету, их напечатавшую, судебному преследованию, обвинив ее в оскорблении величества. Во время процесса адвокат, защищавший газету, доказывал подлинность писем, ссылаясь на то, что их содержание соответствует мнениям Людовика-Филиппа, и проводил еще ту мысль, что редакция действовала вполне добросовестно, а потому личности короля никакого оскорбления нанесено не было. Голоса присяжных разделились

пополам, и газета была оправдана. Это, однако, не прекратило газетной полемики по поводу обнародованных писем, и сам Гизо вынужден был о них говорить с трибуны ввиду петиции 5000 парижских граждан, внесенной в палату. К тому же 1841 г. относится другой инцидент. Газета «National» напечатала статью, в которой нападала на Тьера и Гизо, дерущихся за раздел добычи и готовых продать друг друга. Но, прибавлялось в статье, настоящие виновники не они: «Главный виновник? О, мы знаем хорошо, кто он и где он! Франция также знает его, а потомство громко провозгласит его имя!» Газета была предана суду, и прокурор доказывал, что в статье речь шла о короле и что, таким образом, ему было нанесено оскорбление. Присяжные оправдали «National», и на другой день газета прямо объявила, что она действительно имела в виду короля и что отрицать это было бы оскорбительно для здравого смысла и ума присяжных. Тогда министерство начало против газеты новый процесс, который окончился опять ее оправданием. Эти случаи могут служить примером того, как неудачны были иногда попытки министерства заставить молчать оппозиционную прессу. Особенно много вредила правительству газета Эмиля де Жирардена, «La Presse», сначала державшаяся политики Гизо, но в конце перешедшая на сторону его ярых врагов. Де Жирардену, как мы видели, тоже приходилось подвергаться преследованию и его оправдывали. Это, впрочем, дает меру и той свободы, какой пользовалась во Франции печать в сороковых годах¹.

Главным политическим вопросом за весь этот период была политическая реформа, которая распадалась на две части. С одной стороны, оппозиция требовала исключения из палаты или, по крайней мере, сокращения числа депутатов, которые в то же время занимали разные места на государственной службе. Это была парламентская реформа в собственном смысле, и с 1830 по 1847 г. предложения в указанном смысле вносились в палату восемнадцать раз. С другой стороны, в сороковых годах трижды вносилось предложение об избирательной реформе, т. е. о расширении избирательного права. В 1830 г. число избирателей определялось в 200 000, в 1847 г. оно доходило уже до 241 000, благодаря развитию благосостояния в средних классах общества. Между тем общественное мнение еще в первые годы после Июльской революции требовало понижения ценза и замены его в некоторых случаях известным общественным положением, предполагающим известное умственное развитие (так называемые *sapacités*, например, профессора, врачи, адвокаты, нотариусы и другие представители либеральных профессий). Вопрос о положении чиновников в палате и вопрос о расширении избирательного права то ставились отдельно, то

¹ За все это время действовал во Франции закон 1835 г., который был издан после лионского и парижского восстаний и покушений Фиески. Он не вводил цензуры и предварительного разрешения и оставлял суд присяжных, но умножал число преступлений и проступков и усиливал налагаемые за них наказания.

соединялись между собой, да и относительно избирательного права и в обществе, и в печати существовали разные мнения, как это, впрочем, было и в Англии в эпоху борьбы за парламентскую реформу. Демократическая партия ставила вопрос вполне последовательно в смысле введения во Франции всеобщего избирательного права. Это особенно пугало господствующую буржуазию, и она не хотела делать никаких уступок, боясь, что всякая уступка будет только первым шагом к введению всеобщей подачи голосов. Впрочем, нужно заметить, что в самой палате даже представители радикальной партии не шли дальше понижения ценза до 50 франков. Любопытно, что за всеобщую подачу голосов стояли легитимисты, надеявшиеся, конечно, что громадное большинство сельских избирателей будет подавать голоса по указанию духовенства и крупных землевладельцев. Сделавшаяся слишком очевидной система подкупов представляла, конечно, весьма сильный аргумент (как это было и в Англии) в пользу реформы выборов. При высоком избирательном цензе бывали случаи, что целый избирательный округ представлялся какими-нибудь 150–200 избирателями, — весьма удобная почва для подкупа самих избирателей и продажности выбранного ими депутата. О расширении избирательного права в палаты поступали не раз петиции из разных местностей Франции, но впервые вопрос об этом был поставлен на очередь лишь в 1840 г.

Первым, кто выступил с предложением реформы выборов в начале сессии, открывшейся в самом конце 1839 г., был Одилон Барро, который в данном случае явился только выразителем движения, зарождавшегося в самом обществе, так как в 1839 г. сильно умножилось число петиций и стали образовываться особые комитеты для пропаганды и организации избирательной реформы. К началу 1840 г. относятся и первые банкеты, специально устраивавшиеся в виде манифестаций в пользу реформы. Одновременно депутат Гогье, уже раньше говоривший о необходимости воспрепятствовать наполнению палаты чиновниками, поставил на очередь и этот последний вопрос. Все подобные предложения отвергались большинством палаты, хотя и неособенно значительным. В 1842 г. против реформы подано было 198 голосов, за реформу — 190. Не вполне полагаясь и по другим причинам на палату, в которой оппозиция имела такую силу, Гизо распустил ее, но и новая палата не дала министерству такого большинства, какого оно хотело бы. Только выборы 1846 г. доставили ему решительное большинство; например, при вотировании адреса в начале сессии 1847 г. министерство одержало блестящую победу, имея на своей стороне 248 голосов против 84¹. И в этой палате возобновлялся вопрос о реформе, но был отвергнут по требованию Гизо. Предложение было сделано Дювержье де Горанном, опубликовавшим предварительно брошюру,

¹ В мае 1847 г. Гизо, как было сказано выше, сделался и по имени главой кабинета.

в которой он указывал на то, что нужно спасти представительное правление от угрожающей его существованию системы подкупов. План его отличался умеренностью, и автор сам отмечал это обстоятельство: ценз предполагалось понизить до ста франков, дать право избрания представителям либеральных профессий (*saracités*), которые могли быть присяжными, а если бы число избирателей в данном округе не доходило до цифры 400, то она должна была бы пополняться лицами, платящими и меньше ста франков прямых налогов (из тех, которые платят наибольший налог). Гизо лично опровергал необходимость реформы, пуская в ход весьма сомнительные аргументы вроде неизбежности «злоупотребления влиянием». Он ссылаясь и на то, что вследствие роста налогов и накопления богатств число избирателей возрастет само собой. «Да и к чему, — спрашивал он, — хлопотать об увеличении этого числа? В чем цель законодателя, когда он издает избирательный закон, чего он хочет достигнуть? Только того, чтобы все интересы были представлены и поставлены под надежную защиту. Между тем, — продолжал он, — со времени уничтожения привилегированных классов, никаких отдельных интересов в обществе не существует: у двухсот тысяч избирателей те же интересы, что и у всех других граждан». Поэтому он и не видел никакой необходимости в расширении избирательного права, и «как ни старался» он, по собственным его словам, «понять предложение Дювержье де Горанна», оно представлялось ему «не более как махинацией» партий и пустой фантазией. Министр внутренних дел, Дюжатель, тоже принимавший деятельное участие в прениях, говорил, что реформистам нечего ссылаться на пример Англии 1832 г.: «Где те тысячи петиций, которые привозились на телегах в английский парламент?» Во Франции нет ничего подобного. Здесь реформы требует лишь кучка людей, а нация совсем равнодушна к проекту, который «не более как спекуляция честолюбцев, желающих сделаться министрами». Ввиду последнего аргумента министры заявили, что в случае враждебного им вотума они сочтут своей обязанностью выйти в отставку. Палата большинством 252 голосов против 154 отвергла рассмотрение предложения. Такую же судьбу испытало и предложение Ремюза о депутатах-чиновниках: оно было отвергнуто 219 голосами против 170. Видя, что обыкновенным путем реформы не добьешься, оппозиционные депутаты решились действовать на общественное мнение путем политических банкетов. Это было средство, практиковавшееся и раньше; в царствование Людовика-Филиппа к нему прибегали довольно часто разные партии, но теперь оно получило новое значение. Дюжатель спрашивал, где же тысячи петиций о реформе, которые привозились в английский парламент, и вот оппозиция решилась обратиться к банкетам, дабы показать, что страна действительно желает реформы. Первый такой банкет был дан в Париже 9 июля 1847 г., и примеру столицы скоро последовала провинция.

В этой агитации приняли участие разные фракции тогдашней оппозиции, хотя и не все. Именно легитимисты, желавшие гибели июльскому трону, отнюдь не думали поддерживать реформу, которая, по господствовавшему тогда мнению, имела бы своим результатом упрочение существующего порядка вещей. Инициатива агитации принадлежала так называемой династической левой, руководимой Одилоном Барро¹, а она прямо заявляла, что ею защищается «реформа во избежание революции». Этот лозунг не нравился, с другой стороны, и крайним республиканцам, органом которых была газета с социалистическим оттенком «La Réforme»², и они даже упрекали чисто политических радикалов, державшихся идей «National», в том, что те идут заодно с династической левой. Но если партия Одилона Барро стояла за «реформу во избежание революции» и думала именно преобразованиями предупредить переворот, то республиканцы, наоборот, в агитации во имя реформы видели удобное средство для того, чтобы вызвать переворот. И вот даже те из них, которые первоначально не хотели принимать участия в банкетах, впоследствии, когда увидели, что агитация вызывает в народе сильное брожение, решили, что и им нужно присоединиться к политической левой. Присоединились к кампании и многие члены левого центра, руководимого Тьером. Последний лично отказался принять участие в движении. По-видимому, ему желательны были результаты всего этого похода на правительство, но он не хотел ни рисковать, ни брать на себя ответственность. Так объясняет дело, например, Токвиль, который тоже держался в стороне. В своих мемуарах он объясняет свое собственное поведение тем, что в первый раз после восемнадцатилетнего перерыва оппозиция обращалась непосредственно к народу, но он сначала не думал, чтобы народ поднялся, а в таком случае оппозиция, потерпев неудачу, только укрепила бы правительственную партию; потом же, когда его мнение на этот счет стало изменяться, он воздерживался от участия в агитации, находя, что совершенно нельзя было предвидеть, чем бы все это кончилось. Мало-помалу он стал ясно понимать, что дело шло к катастрофе, и только удивлялся каким образом и та часть оппозиции, которая вовсе не хотела революции, и само правительство могли относиться так спокойно к тому, что происходило в стране. Он даже предупреждал некоторых своих друзей об опасности положения, но они смотрели на него как на алармиста. Ну, что же, возражали ему, если правительство будет упорствовать, то, конечно, возможна будет и уличная борьба, — не предвидеть ее было бы невозможно, — но правительство скорее должно было бы ее желать, чем ее бояться, потому что оно знает хорошо, что побе-

¹ В своей знаменитой «Истории цивилизации в Европе» Гизо уже ранее проводил ту мысль (страшно неверную), будто с падением феодальных привилегий и сословного строя история знает только две силы: правительство и народ.

² «Реформа» (фр.). — *Прим. ред.*

да будет на его стороне. 29 января 1848 г. Токвиль произнес даже речь в палате депутатов на ту тему, что палата располагается почивать на вулкане. «Вспомните, — говорил он, между прочим, — вспомните старую монархию. Ведь она была покрепче вас, покрепче своим происхождением: она имела лучшую, чем вы, опору в вековых обычаях, в старых нравах, в вековых верованиях. Да, она была покрепче вас, и, однако, она рассыпалась в прах. А почему это произошло? ...Потому, что управлявший тогда класс, вследствие своего легкомыслия, своего эгоизма, своих пороков сделался неспособным и недостойным управлять... А вы разве не чувствуете — как бы точнее выразиться? — не чувствуете в воздухе какого-то дуновения революции?... И в такие-то времена вы остаетесь спокойными, видя полное падение политических нравов, ибо слово это соответствует вещи!.. Я глубоко и бесповоротно убежден в том, что политическая нравственность падает и что это падение политических нравов приведет вас в скором времени, — даже в очень, быть может, близком времени, — к новым переворотам... Разве вы можете знать, что будет делаться во Франции через год, через месяц, быть может, через один день? Вы ведь не знаете этого, но что вам должно быть известно, так это то, что грозовая туча уже на горизонте, что она надвигается на вас». Приводя эту речь в своих посмертных «Воспоминаниях», Токвиль прибавляет, что «эти мрачные предсказания были встречены большинством с насмешливым хохотом» и что «если оппозиция сильно аплодировала, то не по убеждению, а просто из партийности». Никто, продолжает он, не верил в возможность переворота. «Уже сколько лет большинство чуть не каждый день твердило, что оппозиция подвергает общество опасности, а оппозиция постоянно повторяла, что министры губят монархию. Обе стороны, — замечает еще Токвиль, — столько раз утверждали это, сами тому не особенно веря, что наконец сами совсем перестали верить в ту самую минуту, когда события оправдали и тех и других». Даже друзья Токвиля говорили ему, что он хватил через край и пустился в риторику. Сам Токвиль признается, что он «не ожидал такой революции, какую пришлось видеть, да и кто, — спрашивает он, — мог ее ожидать? Я, — замечает он, — видел яснее, чем кто-либо другой, общие причины, которые подготовляли событие, но я еще не видел обстоятельств, которые должны были его ускорить» (*les accidents qui allaient le précipiter*).

Эти заявления такого тонкого наблюдателя, каким был Токвиль, весьма характерны: начиная агитацию за реформу, оппозиция вовсе не думала, чтобы могло дело кончиться революцией. То обстоятельство, что республиканцы сначала держались в стороне, не менее характерно. Еще за пять месяцев до революции Герцен писал, что во Франции многие знали, чем они недовольны, но почти никто не знал, чем и как исправить положение, «ни даже социалисты, — прибавляет он, — люди дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем». Если кто и начинал, однако, тревожиться вви-

ду разыгрывавшихся событий, так это были вожди радикальной партии, лучше знавшие настроение народа, но совсем не приготовившиеся к тому, чтобы встретить грядущие события. Революция и их застала врасплох.

В последние месяцы, непосредственно предшествовавшие революции 1848 г., особенно выдвинулись Ламартин и Ледрю-Роллен. Первый из них, когда-то (до 1843 г.) сторонник Гизо, обратил на себя внимание общества своей «Историей жирондистов», а потом смелой речью на одном из банкетов (в Маконе 17 июля 1847 г.), пророчески предсказывавшей Франции «революцию презрения». Другой, Ледрю-Роллен, член палаты депутатов с 1841 г., еще в своей первой речи перед избирателями объявил себя республиканцем и говорил, что намерен искать опоры не в палатах, а в народе, и только в народе. За эту речь он и издатель газеты, ее напечатавшей, тогда же подверглись уголовному преследованию, но присяжные признали вину не в произнесении этой речи, а лишь в ее обнародовании, и Ледрю-Роллен был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения и к уплате 4 тыс. франков штрафа. Этот приговор пошел, однако, в кассационный суд, который его отменил, а новый состав присяжных оправдал подсудимого. Попад в палату, Ледрю-Роллен сделался одним из наиболее видных деятелей демократической партии; он нападал не только на правительство, но и на династическую левую, требуя при каждом удобном случае проведения демократических принципов. Не будучи социалистом и даже прямо высказываясь против социализма, он стоял тем не менее за самое широкое осуществление демократических начал и для пропаганды их принял участие в основании радикального органа «La Réforme» (1843 г.). Так как в этой газете стал работать Луи-Блан, выступивший в ней со своей социалистической программой, то многие социалисты видели в Ледрю-Роллене своего единомышленника. Когда началась кампания банкетов, он сначала сторонился от этого движения.

Первый банкет (в Шато-Руж в Париже) состоялся 9 июля, и за ним последовал целый ряд банкетов в других городах (например, в Маконе 17 июля), и лишь через четыре месяца (7 ноября в Лилле) Ледрю-Роллен примкнул к этой агитации. При первой же встрече между Одилоном Барро и Ледрю-Ролленом произошла размолвка, и сторонники последнего стали устраивать свои особые банкеты. Ледрю-Роллен объехал несколько городов и везде говорил речи. В Шалоне 18 декабря 1847 г. он провозгласил тост в честь Конвента, «спасшего Францию от ига королей». Сначала министерство давало полную свободу этой агитации, только осыпая сарказмами их описания в своих газетах и даже противопоставляя династической оппозиции радикальную партию, как более заботящуюся о реальных интересах народа. Некоторые консерваторы встревожились и советовали Гизо своевременной уступкой предотвратить возможность другой революции, более радикальной, но Гизо не хотел ничего слышать об уступках.

Только перед собранием палат в конце 1847 г. он сам заговорил об этом предмете с королем, но и от него получил заявление, что никаких уступок сделано не будет.

Последняя законодательная сессия палат июльской монархии открылась 28 декабря 1847 г., за два месяца до катастрофы. В своей тронной речи Людовик-Филипп заявил, между прочим, о существовании во Франции «агитации, возбуждаемой враждебными или слепыми страстями», а затем довольно ясно дал понять, что никаких перемен не будет. Министерские газеты комментировали речь короля в том же смысле. Прения по поводу адреса в ответ на тронную речь отличались большой страстностью. В палате пэров даже высказано было одним членом желание, чтобы министры поскорее перешли со своей скамьи на скамью подсудимых. В палате депутатов, где снова был поднят вопрос о подкупах по поводу некоторых частных случаев, прения об адресе продолжались чуть не целый месяц (с 17 января по 12 февраля); и в этот период произнесено было немало замечательных речей, бывших как бы рядом обвинительных актов против министерства Гизо и всей правительственной системы. Говорили Токвиль, Тьер, Ламартин, Одилон Барро, Дювержье де Горанн и др., разбирали и внутреннюю и внешнюю политику Гизо, защищали банкетную агитацию, нападали на оскорбительное выражение тронной речи. При вотировании адреса, однако, министерство одержало победу. Во многих речах говорилось, что оппозиция более не намерена жаловаться большинству на министерство, а думает жаловаться на большинство стране, стоящей вне и выше палаты. Банкетная агитация казалась теперь оппозиции более чем необходимой. Во время прений по поводу адреса депутаты оппозиции не раз отстаивали право собраний, но министерство на этот раз решительно заявило, что такого права во Франции не существует. 19 января 1848 г. задумали было устроить банкет избиратели 12-го округа Парижа, но префект полиции его запретил. Правительство решилось положить конец агитации. Когда 12 февраля Гизо одержал победу в палате депутатов над оппозицией, более ста депутатов составили протест, который 14 февраля был напечатан во всех оппозиционных газетах.

В Париже возбуждение росло, но оппозиционные депутаты старались успокоить народ, в то же время заявляя о необходимости устроить грандиозную манифестацию, спокойствие которой должно было, как было сказано в одной газете, внушить ужас правительству: «Нет, вы не увидите ни смут, ни беспорядков, ни кровавых столкновений; парижскому населению не нужны битвы; оно знает, что ему достаточно показаться, чтобы одержать над вами победу». Такой манифестацией должен был быть банкет, в необходимости которого были теперь согласны и члены династической левой, и радикалы. Сначала, когда открылись палаты, династическая левая находила продолжение агитации излишним, быть может, и потому, что

увидала, что банкеты начали хватать далее той цели, какая им прежде ставилась, но теперь, когда министерство стало оспаривать право собраний, отступать династическая левая уже не хотела, особенно ввиду положения, занятого радикалами. Вообще прения по поводу адреса сильно разгорячили страсти, и конституционная оппозиция стала все более и более подпадать под влияние радикалов. 10 февраля комитет, устраивавший банкет, заявил, что банкет состоится 22-го числа и что «манифестация в пользу права и против произвола не достигнет цели, если не будет происходить мирно и в полном порядке».

Правительство отнеслось с высокомерием к этой «буре в стакане воды», как выразился Людовик-Филипп, и маршал Бюжо обещал «дать хороший урок» либералам. Министерские газеты писали, что все меры приняты для подавления малейших беспорядков. Самоуверенный тон правительственной прессы вселял и в членов династической оппозиции убеждение в том, что никакой опасности нет, а потому, как признавался потом Одилон Барро, все и «относились с меньшей тревогой к агитации, которую должны были возбудить в ответ на вызов правительства». Это признание очень характерно: оно объясняет и дальнейший образ действий оппозиционных депутатов. Под конец они пошли сами на уступки, испугавшись возможности смут. Даже радикалы думали, что восстание окончилось бы только поражением. Наоборот, руководители тайных обществ усиливали свою деятельность в парижском населении.

Только перед самой катастрофой династическая левая ясно увидала, что дело может кончиться не так, как она того желала бы. Между некоторыми представителями оппозиционной и министерской партий произошло совещание, на котором было постановлено обеим сторонам отказаться от своих планов, предоставив решение вопроса о праве собраний суду. Составлена была даже программа поведения обеих сторон во время банкета — что говорить комиссару полиции, который явится протестовать против банкета, что отвечать Одилону Барро, который предложит собранию спокойно разойтись, уступая силе, и как будет оппозиция успокаивать публику и газеты указанием на то, что она добилась своего — передачи спорного вопроса на авторитетное решение суда. К сожалению, в истории этого соглашения до сих пор многое еще остается неясным, но как бы то ни было, соглашение состоялось, и оппозиционные газеты напечатали целое воззвание к публике с приглашением вести себя мирно во время готовившейся манифестации. Между тем министерство узнало через полицию, что провожать на место собрания оппозиционных депутатов будет толпа в 100 тыс. человек. Этого было довольно для министерства, чтобы отказаться от данного им согласия разыграть комедию с диалогом полицейского комиссара и Одилонна Барро: депутаты могли исполнить свое обещание разойтись, но стотысячная толпа представляла собою уже нечто иное, чем депутаты. Предлогом

для взятия назад согласия было обнародование газетами воззвания к публике о готовящейся манифестации. Министерству возражали, что манифестация все равно состоялась бы, как это было хорошо известно ему самому, что воззвание имело своей целью обеспечить порядок и т. д., но все это оказалось тщетным. Префект полиции формальным приказом запретил устройство объявленного банкета, а главный начальник парижской национальной гвардии напомнил национальным гвардейцам существование закона, который не позволял им собираться вместе без приказа начальства. На улицах Парижа было расклеено объявление, гласившее, что правительство прибегнет к военной силе против всяких народных соборий на площадях и улицах столицы. Ввиду такого оборота дел оппозиционные депутаты и журналисты стали собираться на совещания, не зная, что предпринять. На одном из таких собраний Ламартин говорил, что оппозиции нужно выбрать одно из двух — или стыд, или опасность: быть может, лучше взять на себя стыд за попорченную свободу, чем пролить хоть одну каплю народной крови, но ведь этим стыдом покроется вся страна. «Желаем ли мы возмущения? — спрашивал он далее. — Нет! Революции? Нет! Да избавит от нее нас Бог на долгие времена». Депутаты должны только выполнить долг граждан путем законного сопротивления произвольным и незаконным действиям, «защищать сначала голосом, а затем грудью учреждения и будущность народа». О том, стоит ли хоть капли крови какое-либо министерство, какая-либо административная система, спрашивал и Одилон Барро в своей речи, произнесенной в палате накануне переворота. Вечером у него было многочисленное собрание депутатов, журналистов, членов банкетного комитета. Громадным большинством собравшихся было решено не участвовать в банкете. К этому решению присоединился и главный редактор «National» Марраст, который сначала убеждал депутатов явиться на банкет: сами же они с журналистами создали народ, а теперь отказываются явиться, боясь междоусобия, которое, наоборот, как раз и могло бы быть предотвращено только присутствием депутатов. Без этого последнего условия и он, и организаторы банкета находили манифестацию лишеной всякого политического значения. Из записавшихся на банкет заявило намерение прийти семь-восемь человек, в их числе Ламартин, который сказал, что он пошел бы «и один в сопровождении своей тени». Принятое на собрании у Одилона Барро решение было тотчас же обнародовано оппозиционными газетами, которые обратились вместе с тем к населению Парижа с убедительной просьбой отказаться от каких бы то ни было демонстраций ввиду положения, занятого правительством, и неизбежности столкновения с военной силой. Возлагая ответственность за все могущее произойти на правительство, оппозиция вместе с тем брала на себя обязательство добиваться всеми легальными путями осуществления права собраний и вместе с тем обещала привлечь министерство к суду.

Это заявление было принято крайне несочувственно и национальной гвардией, и избирательным комитетом парижского округа, и учащейся молодежью, тоже собиравшимися для обсуждения вопроса, как следует себя вести. В редакции «Реформы» очень многие из деятелей республиканской партии настаивали на необходимости немедленно восстать, но против этого высказывались Ледрю-Роллен, Луи Блан и Флокон, находившие, что шансы борьбы слишком не равны. Их мнение взяло верх, и скоро министерство внутренних дел узнало, что даже эта газета отказывается от банкета. Это окончательно успокоило правительство. Министр внутренних дел уже подписал было приказ об аресте двадцати двух вождей республиканской партии, но теперь эта мера казалась ему излишней. Решили даже отменить, с согласия короля, и предполагавшееся на другой день размещение военных сил в разных частях города. Людовик-Филипп ликовал и свою радость выразил особенно в следующих словах, сказанных одному из министров: «Вы знаете, что они отказались от банкета. Хотя и поздно несколько, они все-таки увидели опасность затеянной ими игры». Другому министру он сказал: «А вы вчера еще пророчили о вулкане! Хорош вулкан! Ведь я говорил вам, что все это разлетится в прах». Рассказывают даже, будто он заметил еще, что «куда-де им идти, когда у них нет герцога Орлеанского, — вот они и отступают».

Многие из тех, которые были недовольны отступлением оппозиционных депутатов и журналистов, деятельно стали готовиться к восстанию, рассеявшись по предместьям, среди рабочего населения, уже сильно волновавшегося. Замечательно, что наиболее видные деятели республиканской партии были против малейшей попытки восстания: они, как и либералы перед Июльской революцией, не верили в возможность переворота и опасались, что подавление восстания будет равносильно разгрому всей республиканской партии. Некоторые из них даже не допускали мысли, чтобы республика могла быть прочной в виду крайней малочисленности ее приверженцев. В «Реформе» появилась даже статья Флокона, убеждавшая народ остерегаться безрассудных увлечений, дабы не дать правительству одержать над ним кровавую победу. Некоторые тайные общества думали то же самое. Прудон, сам республиканец, мечтавший о республике еще на школьной скамье, «содрогался, — по собственным его словам, — от ужаса, видя приближение республики. Я, — поясняет он эти слова, — дрожал при мысли, что нет никого ни вокруг, ни выше меня, кто верил бы в наступление республики, в наступление столь быстрое и внезапное. Навдвигались крупные события, исполнялась воля судьбы; социальная революция была неизбежна, и никого не было — ни одной души, которая понимала бы смысл грядущего». И Прудон прибавлял, что прежде чем народилась республика, он уже готов был носить по ней траур.

Таким образом, революция застала французское общество врасплох. И если можно сказать, что накануне переворота никто, собственно говоря,

его не предвидел, то и на другой день никто, наверное, не мог сказать, что из всего этого выйдет. 22 февраля, в день, назначенный для банкета, в местах, прилегающих к площади Madeleine¹, где он должен был происходить, еще с утра начали собираться толпы народа, которые двигались туда со всех концов Парижа. Кричали: «Да здравствует реформа! Долой министров! Долой Гизо!», а затем началось то, что обыкновенно бывало в Париже в подобных случаях, — грабили оружейные магазины, пробовали строить баррикады, и в разных пунктах города начинались стычки с военными отрядами. Между тем в палате Одилон Барро, Дювержье де Горанн и Гарнье Пажес внесли обвинительный акт против министров, извративших принципы конституции и предавших честь Франции. Но президент палаты поспешил закрыть заседание. Около пяти часов дня правительство решило созвать национальную гвардию, которая в тридцатых годах постоянно принимала участие в подавлении беспорядков, но теперь национальная гвардия относилась к правительству, по меньшей мере, равнодушно. Поэтому сбор национальных гвардейцев шел вяло, да и среди собравшихся оказалось немало сторонников реформы. К вечеру, по-видимому, в Париже все успокоилось, и правительство могло думать, что ничего серьезного не произойдет, тем более что погода не благоприятствовала восстанию: было холодно и сыро, шел непрерывный дождь. На другой день, однако, опять начались попытки постройки баррикад, а в разных отрядах национальной гвардии кричали о необходимости переменить министерство и дать реформу. Один отряд национальной гвардии явился даже перед палатой, в которую он с собой принес петицию о реформе и отставке министров. Около того же времени Гизо, бледный и взволнованный, объявил в палате, что король поручил Моле составить новое министерство. Дело в том, что Людовик-Филипп, узнав о поведении национальной гвардии, совершенно растерялся: национальная гвардия состояла из той же самой буржуазии, которая образовала собою *paix légal*, и вот эта сила теперь его оставляла. Сначала он утешал себя мыслью, что у восставших нет лица, которым они могли бы его заменить, но ему возразили, что если у них нет никого, то это еще не значит, чтобы у них не было чего-нибудь вроде, например, республики. Поспешили призвать Гизо, и отставка министерства состоялась. Приглашенный Людовиком-Филиппом, Моле услышал от него, что, собственно говоря, менять свою систему он вовсе не желает, а готов лишь сделать маленькие уступки, дабы зажать рот крикунам. Моле убеждал короля призвать Тьера и Одилона Барро, но Людовик-Филипп и слышать об этом не хотел. Известие об отставке Гизо быстро распространилось по всему городу, и начавшаяся борьба прекратилась, хотя построенные уже баррикады продолжали охраняться инсургентами. Между тем

¹ Площадь Мадлен (фр.). — Прим. ред.

Моле приискивал себе будущих товарищей, для чего обращался за содействием и к Тьеру, но депутаты, собравшиеся у Одилона Барро, находили, что в данный момент возможно было только министерство из членов левой. Вечером во многих частях города зажглась иллюминация, и на главных улицах устроилось настоящее гулянье с радостными криками и песнями. Народ сознавал свою победу, и многие республиканцы считали свое дело потерянным, так как лозунгом восстания была реформа выборов, а она была гарантирована отставкой Гизо. Но народное ликование было непродолжительно. В одном месте, именно перед зданием министерства иностранных дел, где около восьми часов вечера собралась густая толпа народа, неизвестно кем был сделан выстрел, на который караул ответил залпом из пятидесяти ружей. На месте оказалось много раненых и убитых. Это сделалось сигналом к общему восстанию. Немедленно образовалась процессия с трупами убитых, которыми нагрозили проезжавший мимо дилижанс. Шествие с криками «мщение» двигалось по разным улицам города далеко за полночь. Между прочим, эта процессия останавливалась перед редакциями «National» и «Реформы», где на этот раз решено было действовать заодно с народом. Весьма быстро весь город был охвачен восстанием. Почти во всех церквях ударили в набат, везде воздвигались новые баррикады.

Моле отказался образовать министерство, и в ночь на 24-е число Людовик-Филипп потребовал к себе Тьера и предложил ему немедленно составить новое министерство. Тьер посоветовал королю присоединить к его имени еще имя Одилона Барро, на что немедленно же получил согласие. Это обозначало, что правительство шло на уступки, но каково было удивление Тьера, когда он узнал, что за несколько часов перед этим во главе военных сил столицы был поставлен маршал Бюжо, имя которого было крайне непопулярно в населении. Всю ночь население Парижа строило баррикады и готовилось к борьбе. Готовился к ней и Бюжо. Но еще утром 24 февраля мало кто думал о возможности низвержения монархии. Обе республиканские газеты — «National» и «La Réforme» — требовали от правительства только значительных уступок. Известие о назначении Бюжо главнокомандующим лишь ожесточило народную массу, и весть о том, что образовалось министерство Тьера-Барро, уже не производила особого впечатления. Борьба продолжалась, и национальная гвардия все более и более переходила на сторону народа. Людовик-Филипп, который еще ночью ни за что не хотел согласиться на распускание палаты, утром, наконец, уступил требованиям Тьера и Одилона Барро. Вместе с этим по их же настоянию был отдан приказ войскам прекратить огонь. Однако власти до такой степени растерялись, что своевременно не было дано знать всем отрядам войска о прекращении военных действий. Кровавые столкновения продолжались в разных частях города. Утром между десятью и одиннадца-

тью часами восставшие овладели Пале-Роялем, где когда-то жил Людовик-Филипп, будучи еще герцогом Орлеанским. Королевское семейство в это время садилось за завтрак, когда прибежали некоторые депутаты предупредить короля, что и Тюильри грозит опасность быть взятым восставшими. Гизо еще ночью спасся бегством, переодетый, как говорят, в женское платье. Теперь Людовику-Филиппу говорили о необходимости спасти королевское семейство. Людовик-Филипп попробовал было явиться лично с двумя своими сыновьями перед рядами линейных войск и национальной гвардии. Со стороны солдат встреча была холодная, а из рядов национальной гвардии слышны были крики: «Да здравствует реформа!», а это были отряды, которые должны были защищать Тюильри от нападения. Во дворце, куда вернулся король после этой неудачной попытки, его ждало новое огорчение: Тьер прямо заявил ему, что чувствует себя совершенно бессильным ввиду совершающихся событий и что разве только Одилон Барро настолько популярен, чтобы остановить движение. Около полудня, когда битва на улицах Парижа все еще продолжалась, к королю без доклада ворвался Эмиль де Жирарден с готовой уже прокламацией к народу, объявлявшей об отречении короля от престола, о регентстве герцогини Орлеанской, о роспуске палаты и о всеобщей амнистии. Людовик-Филипп стал было возражать, но Жирарден начал говорить так настойчиво о необходимости отречения, а среди окружавших столь многие его поддерживали, что Людовик-Филипп наконец уступил. «Акт отречения» был собственноручно написан Людовиком-Филиппом, передававшим теперь корону, «носить которую он был призван голосом народа», своему малолетнему внуку, графу Парижскому. После этого оставалось только поспешно бежать через Тюильрийский сад на площадь Согласия, куда с большим трудом привели два извозчичьих экипажа. Бегство было так поспешно, что Людовик-Филипп не принял никаких мер для того, чтобы обеспечить передачу короны своему внуку. Свидетели этой сцены различным образом передают слова, сказанные Людовиком-Филиппом по вопросу о регентстве. Герцогиня Орлеанская хотела последовать за своим свекром и его семейством, но король ей сказал, чтобы она осталась. Не присоединился к беглецам и герцог Немурский, который в эту решительную минуту взял на себя главную команду над войском.

В весьма скором времени предстояло выступить на сцену и герцогине Орлеанской. Одилон Барро звал ее в городскую ратушу, где он предполагал провозгласить ее регентшей, а герцог Немурский убеждал ее немедленно отправиться в палату депутатов. Решиться на что-нибудь было необходимо, тем более что инсургенты уже овладевали Тюильрийским садом. Наконец, герцогиня, взяв за руки своих маленьких сыновей, пешком направилась в палату депутатов, где, как ей говорили, находился и Одилон Барро. За ней последовал туда и герцог Немурский. Но в это самое время

произошли другие события, которые сделали невозможным сохранение во Франции монархии.

Герцогиня Орлеанская не успела еще достигнуть палаты депутатов, когда народная толпа овладела Тюильрийским дворцом, в котором произошла настоящая разгром. Многие инсургенты уже кричали при этом «Да здравствует республика!». В других частях Парижа происходили подобные же сцены. Еще одна толпа овладела ратушей, которая с давних времен считалась главным пунктом парижских революций. Полицейская префектура была также в руках восставшего народа. Часть толпы, овладевшей Тюильрийским дворцом, понесла с триумфом королевский трон на площадь Бастилии, где он и был сожжен у подножия июльской колонны. Другая часть, как мы сейчас увидим, совершила вторжение в палату депутатов как раз в тот момент, когда там решался вопрос о регентстве герцогини Орлеанской. Кроме того, важные по своим результатам события происходили и в редакциях обоих органов республиканской оппозиции. Вот как передает, что там делалось, Герцен, правда, не бывший очевидцем, но довольно верно схвативший сущность дела: «Бюро *Réforme* и *National* кипели охотниками царствовать. По мере того как народ побеждал, они росли в предприимчивости. У них тем больше было досуга обдумать и приготовить план, как завладеть движением, чем меньше они участвовали в том, что происходило на площади. Они, отойдя в сторону, предложили себе вопрос, на который не только никто не отвечал, но который еще не был поставлен: что же теперь? *Réforme* хотела провозгласить республику; *National* довольствовался регентством; он во имя регентства отправил уже Гарнье-Пажеса в ратушу, но обойденный обстоятельствами Марраст тотчас согласился на республику и составил свой лист временного правительства. Лист этот он отправил в *Réforme* для взаимного соглашения, *Réforme* восстала против имени Одилона Барро, который не отличался храбростью в деле банкета 12-го округа; его вычеркнули и потом согласились в главных лицах. *Réforme* ввела трех своих: Ледрю-Роллена, Флокона и Луи Блана. Кандидатами «*National*» были Дюпон, Араго, Мари, Гарнье-Пажес, Одилон Барро, Марраст. Составленный таким образом список был сообщен толпе, находившейся поблизости, и принят ею громкими знаками одобрения. В сопровождении своих друзей и случайно находившихся здесь лиц Араго направился в палату депутатов, чтобы объявить ей волю народу. Герцогиня Орлеанская пришла туда же лишь немного ранее его появления.

В палате депутатов царил величайшее смущение. На одну минуту забежал туда Тьер, чтобы сказать свою исторически знаменитую фразу: «Волна растет, растет, растет; все погигло!» «Вы министр?» — спросили его, еще не зная об отречении Людовика-Филиппа, но Тьер отрицательно покачал головой, оставил палату и более не появлялся на сцену во все эти дни. Затем произошло появление в палате герцогини Орлеанской с обои-

ми сыновьями и в сопровождении герцога Немурского. Сторонники династической оппозиции, среди которых наиболее видную роль продолжал играть Одилон Барро, думали увлечь палату, чтобы провозгласить графа Парижского королем, а его мать — регентшей, но в это же самое время в палате уже произносились слова: «временное правительство».

Среди крайнего беспорядка одни говорили за регентство, другие за образование временного правительства, но в то же время Ларош-Жаклен потребовал обращения к народу, говоря, что палата депутатов не существует более как палата, что теперь она ничто. Еще больший беспорядок начался, когда в палату ворвалась толпа, незадолго перед тем взявшая Тюильри. На трибуну стали взбегать люди, вовсе не входившие в состав палаты, и нельзя было разобрать, что они говорили. Только с большим трудом Ледрю-Роллену удалось, наконец, произнести речь, в которой он протестовал против регентства и требовал установления временного правительства, назначенного, однако, не палатой, а народом. Его речь прерывалась постоянными аплодисментами. За ним говорил Ламартин, который тоже предлагал учредить временное правительство, но во время его речи в палату ворвалась новая толпа народа с криками: «Долой палату! Долой подкупленных депутатов!» Началось всеобщее смятение. Герцогиня Орлеанская спаслась бегством с большим трудом, растеряв по дороге своих детей. Герцог Немурский тоже бежал. Между тем происходит провозглашение членов временного правительства. Сначала наскоро присутствующими депутатами, национальными гвардейцами, студентами и т. д. написаны были на билетиках имена кандидатов, а на основании их Ламартин по своему усмотрению составил список, не включив в него, например, Луи Блана за его социалистический образ мыслей. Многие стали протестовать, но Ламартин объявил, что заседание временного правительства переносится в ратушу. Уже после его удаления Ледрю-Роллен прочитал окончательный список, на котором стояли имена Дюпона, Араго, Ламартина, Ледрю-Роллена, Гарнье-Пажеса, Мари и Кремье¹. «Почему именно этим людям в руки попала судьба народа?» — спрашивал Герцен в одном из своих писем и совершенно верно ответил на этот вопрос в следующих словах: «Они заняли место потому, что нашлись люди довольно смелые, чтобы выбирать не на баррикадах, а в бюро журнала, чтобы провозглашать их имена не на месте битвы, а в побитой камере. Народу не дали опомниться, временное

¹ Этот список несколько раз менялся, будучи составлен сначала в редакциях республиканских газет и с некоторыми изменениями принят после палаты еще в ратуше. Токвиль рассказывает, что, когда предложили Ламартину прочитать этот список народу с подъезда ратуши, он отказался это сделать, так как в списке стояло и его имя. Тогда обратились с тем же предложением к Кремье, но он, увидев, что в данном ему списке он не был назван, принял это за насмешку и тоже не захотел прочесть этот список народу, потому что его имени здесь не было.

правительство явилось перед ним совсем не кандидатами, а готовым правительством».

Первой мыслью Ламартина и Ледрю-Роллена было спешить в ратушу, дабы не дать времени захватить ее какому-нибудь другому временному правительству. Ратуша в эту минуту была уже в руках участников движения. Здесь тоже собирались избрать правительство, как вдруг пришло известие, что это уже сделано в палате и что выбранное там правительство, сопровождаемое толпами народа, само идет в ратушу. «Никто, — замечает по этому поводу Герцен, — не спросил, кем выбрано, когда, по какому праву. Все торопились узнать имена новых господ. Из этого ясно, — прибавляет он, — что демократическая партия была незрела, что у нее не было ничего готового, что народ вообще до такой степени привык быть управляемым другими, что сейчас удовлетворился правителями, взятыми в рядах парламентской и журнальной оппозиции». Перед ратушей столпилась такая масса рабочих, что новые правители Франции едва были в состоянии проникнуть в здание, да и в самом здании везде был народ; найти свободную комнату для заседания долго не удавалось. Здесь временному правительству пришлось включить в свой состав новых членов, назначенных редакциями «National» и «Реформы». Это были Марраст и Флокон в качестве представителей обеих газет, Паньер, издатель республиканских публикаций, Луи Блан и один рабочий, по имени Альберт. Еще ранее приход временного правительства в ратушу место сенского префекта занял Гарнье-Пажес с титулом парижского мэра. Не зная еще, будет ли регентство или республика, он уже раздавал места по назначению Марраста. Совершенно таким же образом префектура полиции по поручению редакции «Реформы» была занята Коссидьером, которого потом временное правительство утвердило в должности не особенно охотно. Это был один из наиболее деятельных членов тайных обществ, старый заговорщик, который прямо с баррикад с ружьем на плече пришел в префектуру и объявил, что назначается именем французского народа на пост префекта полиции.

Первым делом временного правительства было составление прокламации к народу, провозглашавшей республику. Любопытно, что некоторые из членов этого правительства (Дюпон, Араго, Мари, Гарнье-Пажес), ранее исповедовавшие республиканские воззрения, теперь не обнаруживали особой склонности к провозглашению республики и даже не все подписались под прокламацией. Энергичнее других безусловного провозглашения республики требовал Ледрю-Роллен, но Ламартин настоял на том, чтобы окончательное решение вопроса было предоставлено нации. Затем были распределены министерские портфели, причем некоторые из них взяли сами члены временного правительства: Ламартин взял министерство иностранных дел, Ледрю-Роллен — министерство внутренних дел. Хотя комната, в которой происходило заседание временного правительства, ох-

ранялась караулом, в нее беспрестанно врывались целые кучки посторонних людей с теми или другими советами или требованиями. В ратуше и около нее народ продолжал толпиться, и не раз среди него раздавались речи, в которых подвергались сомнению законность только что образовавшегося правительства, его расположение к народу, его революционное настроение. В эти трудные часы особое присутствие духа, большую смелость и находчивость проявил Ламартин, который выходил несколько раз успокаивать народ¹. Между прочим, ему принадлежала мысль немедленно образовать из наиболее энергичных инсургентов особое революционное войско под названием подвижной гвардии (*garde mobile*). Пока все это происходило в ратуше, баррикады охранялись вооруженными людьми, так как по городу ходили самые тревожные слухи. Говорили, например, что отступившие войска готовятся к ночному нападению, что форты, окружающие Париж, будут бомбардировать город, что в разных местах посредством поджогов будет произведен пожар. Для того чтобы предупредить все эти ужасы, народ бросался на казармы, выгонял оттуда солдат, отнимал у них оружие. Солдаты, не получавшие никаких распоряжений, не оказывали сопротивления, но крайне раздражались, — впоследствии им представился случай выместить свою злобу на народе. Все это, однако, не помешало парижанам закончить бурный день 24 февраля импровизированной иллюминацией.

Волнение не улеглось и в следующее дни. Утром 25 февраля к *Hôtel de ville*, где заседало временное правительство, снова стекались толпы народа, в которых преобладали рабочие, но были также и люди сомнительных профессий, каких бывает много в больших городах. На дворы и в залы ратуши были принесены с баррикад и из госпиталей трупы убитых во время восстания. Временному правительству одно за другим предъявлялись разные требования, на которые оно вынуждено было отвечать, по возможности, не раздражая и без того уже разгоряченные страсти. С опасностью для своей жизни отстоял Ламартин для новой республики трехцветное знамя, вместо красного знамени, которого весьма энергично требовал народ². К вечеру стало замечаться некоторое успокоение, когда перестали бояться парижских фортов, один за другим признавших временное правительство. 26 февраля с утра ратуша уже находилась под охраной национальных гвардейцев, студентов и воспитанников военных школ. В этот день, между

¹ «Чего вы хотите?» — закричал он толпе, врывавшейся в заседание. «Твоей головы!» — было ему ответом. «Дай Бог, — возразил он, — чтобы у каждого из вас была такая голова: вы были бы умнее». Эти слова были встречены смехом и громким одобрением толпы.

² Ламартин обратился к толпе с такими словами: «Ваше красное знамя гуляло только по Марсову полю, где его влачили по крови народа, тогда как трехцветное знамя с именем, славою и свободою отечества обошло кругом весь свет». Противники трехцветного знамени потом указывали на то, что оно же было и знамя Наполеона, обидное для всей Европы, и знамя, осенявшее семнадцать лет «лавочку Людовика-Филиппа».

прочим, временное правительство объявило отмену смертной казни за политические преступления. Наконец, 27-го числа совершилось торжественное провозглашение республики на площади Бастилии, хотя в этот же день было еще одно народное нападение на ратушу.

Страна, привыкшая повиноваться Парижу, поспешила признать временное правительство. Людовик-Филипп и члены его семейства разными дорогами спаслись за границу. Когда находившиеся вне Франции сыновья короля, которые стояли во главе флота и армии, узнали, что страна признала республику, то они также уехали в Англию, сложив с себя команду.

XX. Начало Второй республики и июньские дни¹

Общий взгляд на 1848 год. — Временное правительство и его партийные отношения. — Социализм и Луи Блан. — «Право на труд» и национальные мастерские. — Выборы в учредительное собрание и его характер. — Восстание 15 мая. — Выбор Людовика Наполеона в депутаты. — Июньские дни. — Отзывы некоторых современников о значении июньских событий. — Начало реакции во Франции

24 февраля 1848 г. во Франции была объявлена республика, которой было суждено существование недолговечное, но крайне бурное. За подавлением двух социалистических попыток (в мае, и особенно в июне) началась реакция, которая завершилась через три года повторением 18 брюмера, а еще через год восстановлением империи. Будущий император французов уже в конце 1848 г. был всенародно избран президентом республики. Как и после Июльской революции, в 1848 г. равным образом среди людей, очутившихся во главе правления, образовалось два мнения насчет внешней политики Франции: одни хотели нести революцию в Бельгию и Германию, другие, наоборот, стояли за то, чтобы Франция осталась в стороне от революционных движений за границей. В 1849 г. Франция даже совершила насильственную реставрацию папской власти в Церковной области, тоже превратившейся было в республику.

Опять, как и в 1830 г., сплетались между собой вопросы внутренней и внешней политики, но теперь они были гораздо сложнее, благодаря социальным и национальным стремлениям, которые еще не давали себя чувствовать за два десятилетия перед тем. Июльская революция, как мы видели, вызвала в Западной Европе ряд потрясений, но они не могут идти в сравнение с теми, которые были вызваны Февральской революцией. Вся Центральная Европа была захвачена революцией, сначала повсюду победоносной, потом везде подавленной. Менее чем через месяц после февральского переворота произошли революции в обеих великих абсолютных монархиях Запада, в Австрии и в Пруссии. Движение распространилось на всю Германию и Италию, и в обеих нациях были совершены попытки объединения. По примеру Франции провозносили себя республиками неко-

¹ См. общие сочинения по истории революции 1848 г., указанные в предыдущей главе, а кроме того: *Pierre*. Histoire de la république de 1848, (1873–1874); *De la Gorce*. Histoire de la deuxième république française, 1887 (обе эти книги написаны в консервативном направлении); *Spuller*. Histoire parlementaire de la deuxième république, 1891; *Thomas E.* Histoire des ateliers nationaux, 1848; *Marx K.* Die Klassenkämpfe in Frankreich von 1848 bis 1850 (статьи его из «Neue Rheinische Zeitung», написанные в 1850 г. и перепечатанные отдельной книжкой в 1895 г.).

торые второстепенные государства (Церковная область, Тоскана, Венецианская область, Венгрия). Образовались республиканские партии и там, где дело не доходило до провозглашения республики: в немецком франкфуртском парламенте целая треть представителей состояла из республиканцев. Как и во второй половине девяностых годов XVIII в., республиканская идея делала завоевания. Не в одной Франции в то же время поднималась и социальная демократия. В Англии в 1848 г. чартисты снова сделали попытку добиться своего посредством массовых демонстраций. Немецкие рабочие тоже пришли в движение, стали основывать союзы, собираться на съезды, предпринимать восстания, а среди республиканцев франкфуртского парламента были уже и социалисты.

Для дальнейшего хода событий во всей Европе было весьма важно, какой политики станет держаться республика во Франции, той ли, которую проводил конвент, начавший революционную пропаганду, или той, которая возобладала после Июльской революции. В 1848 г. революционеры во всех странах, в Италии и в Германии, в Ирландии и в Польше, возлагали большие надежды на Францию. В ней самой революционная партия требовала, чтобы правительство оказало помощь другим народам, борющимся за свободу. Как и после Июльской революции, в Париже особенно была популярна идея восстановления Польши.

Еще ранее, чем во Франции был совершен государственный переворот, подготовивший восстановление империи, европейская революция была уже побеждена. Реставрация началась еще в 1848 г. (в Австрии и Пруссии), и хотя в следующем году движение все еще продолжалось, тем не менее 1849 г. видел уже и конец бури, охватившей всю Западную Европу.

Общий характер Февральской революции был довольно удачно определен Жюлем Симоном в следующих словах: «Агитация велась либералами в пользу республики, которой они боялись, а затем сами республиканцы провозгласили всеобщую подачу голосов в пользу социализма, к которому они относились с ужасом». Результатами переворота действительно прежде всего воспользовалась республиканская партия, из которой и были взяты члены временного правительства. Но в эту эпоху сами республиканцы делились на две фракции, из которых одна стремилась исключительно к политическому переустройству Франции, а другая думала и о переустройстве социальном. Эта двойственность проявилась и во временном правительстве, члены которого были прежде всего названы в редакциях «National» и «Реформы», двух республиканских газет, представлявших собой два разных политических воззрения. С самого начала вследствие этого во временном правительстве стали происходить несогласия, отражавшиеся, конечно, на общем ходе дел, не говоря уже о том, что люди обеих категорий одинаково были застигнуты врасплох и совсем не были приготовлены к тому, чтобы управлять страной среди необычных обстоятельств. Таким образом, вре-

менное правительство представляло собой две республики, и какая-нибудь из них должна была победить. Это различие скоро сделалось общеизвестным и, например, в апреле Леру писал к Кабе: «Будущее грозит опасностями, потому что теперь стоят одна против другой две республики». Большинство парижского населения, оставшееся вооруженным после 24 февраля, стояло на стороне республики социальной. Уже ранее, как мы видели, наблюдательные люди предсказывали, что следующая революция во Франции неизбежно будет иметь характер социальный. Так оно и случилось. Социалистическая и коммунистическая идеи были уже прежде распространены в парижском пролетариате, а когда совершилась революция, в городе образовалось несколько политических клубов, основателями которых являлись большей частью члены тайных обществ, привлекавшие на свои заседания рабочих. Правда, каждый из этих клубов действовал вполне самостоятельно, и вожаки их даже ссорились между собой. Например, это случилось с Барбесом и Бланки, старыми заговорщиками, зачинщиками неудачного республиканского восстания 1839 г., благодаря революции выпущенными из тюрьмы. Но проповедовалось в этих клубах одно и то же — необходимость общественного переустройства. Кроме того, и уличная жизнь Парижа совершенно переродилась: появились народные ораторы, произносившие речи под открытым небом; целая армия мальчиков продавала всевозможные листки. Так как регулярное войско совсем исчезло, а полицейская служба была организована бывшим заговорщиком Коссидьером, то парижский пролетариат очутился настоящим господином положения. Зато во временном правительстве его стремления были представлены слабо. Большинство членов временного правительства было против социалистических стремлений и, в свою очередь, могло рассчитывать на поддержку не только радикальных элементов буржуазии, но и всех нереспубликанских элементов общества. Последние подчинились республике, но в глубине души ее боялись и даже ее ненавидели. Как и в 1792 г., республиканский переворот 1848 г. был делом главным образом только одной части парижского населения. В провинциях крупные землевладельцы, большей частью дворяне, затем буржуазия, наконец, крестьянская масса, не чувствовали особого расположения к новому образу правления, равным образом неблагоприятно относилось к республике и духовенство. Одним словом, как и в девяностых годах XVIII в., республиканской партии, очутившейся у власти, предстояла в высшей степени трудная задача основать республику в стране с монархическим прошлым, в нации, громадное большинство которой относилось к этой государственной форме по меньшей мере с недоверием. Для выполнения такой задачи нужна была в правительстве прежде всего солидарность, а ее-то именно и не было. Понятно, что нужен был также ясный план, который приводился бы в исполнение последовательно и целесообразно. Но и его не было.

Двумя наиболее видными и влиятельными членами временного правительства были Ламартин и Ледрю-Роллен. Первый из них — более поэт, чем политик — выступил решительным противником каких бы то ни было стремлений социального характера. В нем было много сентиментальной благожелательности и к народу, но он думал, что с провозглашением республики революция достигла своей цели и что далее ей делать больше нечего. Мало того, он стал напрягать все свои усилия к тому, чтобы прекратить революцию и вообще остановить движение. Само провозглашение республики он допустил только условно. Взяв на себя министерство иностранных дел, он с первых же дней старался успокоить Европу официальным заявлением, в котором обещал, что новая французская республика будет вести миролюбивую политику. Кажется, он сильно опасался, как бы война в случае успеха не создала военной диктатуры. С другим, более решительным характером выступает Ледрю-Роллен. С самого начала он особенно настаивал на том, чтобы республика была провозглашена безусловно. Взяв на себя министерство внутренних дел, он хотел пользоваться им не для обуздания революции, а для того, чтобы предупредить реакцию и сделать контрреволюцию невозможной. Он не прочь был также перенести революцию в Бельгию и Германию. В то время как Ламартин был выставлен редакцией одной «National», имя Ледрю-Роллена значилось в списках обеих редакций, и нужно прибавить, что это было единственное такое имя. Являясь в сравнении с Ламартином более последовательным демократом и республиканцем, Ледрю-Роллен довольно близко стоял к социалистической партии, хотя сам вовсе не был социалистом. Правда, он не раз делал заявления в смысле необходимости удовлетворения социальным требованиям, но когда ему пришлось выбирать между двумя республиками, он стал не на сторону социалистов. Большинство временного правительства относилось к нему недружелюбно. Его стали обвинять в якобинских замашках, в деспотизме. Точно так же он был весьма непопулярен среди буржуазии, боявшейся его республиканизма. Тем сильнее зато была его популярность в рабочем населении Парижа. Далее, в самом правительстве были и другие лица, которые участвовали в провозглашении республики с некоторой неохотой, и они, конечно, должны были скорее тормозить движение, чем давать ему соответственное направление. Наконец, не всегда даже наиболее убежденные понимали, чего должна была требовать республика. Марраст, захвативший должность парижского мэра, четыре дня спустя, принимая депутацию представителей периодической прессы, обратился к ней с такими словами: «При свободе прессы невозможно управлять страной». Эти слова в устах республиканского журналиста, подвергавшегося при июльской монархии неоднократным преследованиям, показывают, чего можно было ожидать от него как члена временного правительства. Парижская мэрия превратилась под его управ-

лением¹ в центр разного рода интриг и конспираций, имевших своей целью противодействовать более радикальным членам временного правительства.

Этому правительству, конечно, нужны были помощники, которые приводили бы в исполнение его постановления. Между тем весь служебный персонал оставался прежний, и, разумеется, от людей, которые служили июльской монархии, нельзя было ожидать верной службы республике. Мало того, временное правительство не думало отказываться и от тех приемов управления, которые были в ходу при Людовике-Филиппе. Между прочим, в министерстве иностранных дел Ламартин доверял самые важные дипломатические тайны лицам, которые накануне служили реакционной политике Гизо. Нечто худшее делалось в министерстве внутренних дел. Многочисленные шпионы прежнего правительства предложили свои услуги новому, как говорят, ссылаясь на то, что 24 февраля лишило их обычного заработка. Правительство приняло их всех на службу вместе с новыми добровольцами той же самой профессии. Сразу в Париже образовались три тайные полиции, шпионившие одна за другой. Кроме министра внутренних дел тайных агентов имел Марраст, следивший одновременно за поведением Ледрю-Роллена, Луи Блана и Коссидьера, радикализм которых внушал ему опасения. Равным образом и Коссидьер, из заговорщика попавший в префекты полиции, хорошо знакомый с разного рода тайными махинациями, устроил свою особую тайную полицию, которая извещала его чуть не о каждом слове, произнесенном Маррастом. На это, конечно, тратились немалые суммы денег, и в охотниках их получать недостатка не было. Разумеется, подобного рода факты свидетельствуют и о том, как мало друг другу доверяли люди, взявшиеся управлять Францией. Правда, это было только временное правительство, и оно должно было сравнительно в скором времени уступить место правильно организованным властям, но от него все-таки зависело, какое направление дать дальнейшему течению дел и, между прочим, самой организации государственных властей.

Затруднительность положения временного правительства усугублялась тем, что население Парижа было донельзя взволновано революцией и постоянно оказывало давление на правительство. Как и в эпоху Великой революции, Париж диктовал свою волю людям, стоявшим у власти, бурно предъявляя им те или другие требования, которые часто и при всем желании правительства не могли быть удовлетворены.

Самыми популярными среди рабочих классов членами временного правительства были Луи Блан и Альбер. Последний сам принадлежал к рабочему классу и уже ранее был известен среди народа как агитатор. Он принимал живое участие в разных движениях сороковых годов и очень

¹ В должности мэра он сменил Гарнье-Пажеса, сделавшегося министром финансов.

близко стоял к Луи Блану, когда вспыхнула революция. Но особенно большим влиянием пользовался в рабочем классе сам Луи Блан. Его известность началась с того времени, когда он издал свою «Организацию труда». Сочинение это, как мы видели в своем месте, выдержало несколько изданий, и даже делались попытки применения на практике его принципов. Нужно, однако, заметить, что в новых изданиях «Организация труда» подвергалась переделкам, которые указывают на то, что автор сам недостаточно твердо держался если не своих принципов, то, по крайней мере, рекомендовавшихся им способов осуществления нового общественного строя. Можно даже сказать, что план новой социальной организации им самим не был еще окончательно установлен. Во всяком случае, ничто не указывает на то, чтобы Луи Блан думал о скором осуществлении своих принципов. Февральская революция застала его, как и многих других, врасплох; к тому же он отличался лично характером весьма мягким и уступчивым, несмотря на весь свой теоретический якобинизм. Положение Луи Блана во временном правительстве было совершенно особенное. Товарищи относились к нему очень недружелюбно и всячески противодействовали его проектам, не доверяя ему и боясь его влияния на массу, а сам он, наоборот, старался всячески ладить со своими товарищами и изыскивать средства к успокоению народа, хотя именно эти самые средства и казались опасными его товарищам. Если бы на его месте был другой человек, то он мог бы при малейшем желании низвергнуть временное правительство и захватить в свои руки диктатуру от имени революционного пролетариата. Луи Блан не только не шел навстречу такой возможности, но, наоборот, всеми силами старался поддерживать авторитет временного правительства.

Уже 25 февраля вооруженная толпа требовала «права на труд», а на другой день в самом правительстве зашла речь о национальных мастерских, которые и решено было учредить. Но эти национальные мастерские не имели ничего общего с социальными мастерскими, проектированными Луи Бланом, хотя ему же потом и была поставлена в вину вся эта неудачная затея. Настоящим их инициатором был член временного правительства и министр общественных работ Мари, у которого были свои расчеты. С одной стороны, он надеялся, что национальные мастерские на опыте докажут рабочим свою непрактичность и тем подорвут опасное влияние Луи Блана, а с другой — он надеялся, выдавая казенные деньги на содержание некоторой части рабочих, привлечь ее на свою сторону и, создав из нее вооруженную силу, тем самым сделать неопасной другую часть пролетариата. Между тем 28 февраля парижскими рабочими была устроена новая демонстрация. К ратуше двинулись толпы народа со знаменами, на которых красовался девиз: «Уничтожение эксплуатации человека человеком». Манифестанты потребовали от временного правительства учреждения особого министерства прогресса, долженствовавшего подготовить обе-

шанную организацию труда. Это требование поддерживал перед своими товарищами и Луи Блан, говоривший, что министерство прогресса было бы администрацией, которая посредством распространения просвещения предотвращала бы народные насилия. Все члены временного правительства, кроме одного Альбера, восстали против такого плана. Тогда Луи Блан и Альбер объявили, что они подадут в отставку, если не будет дано согласия на учреждение нового министерства. Остальные члены временного правительства хорошо понимали, что отставка Луи Блана и Альбера была бы сигналом к революции, которую они не в состоянии были бы подавить. И вот они пошли на уступку, предложив, вместо министерства прогресса, учредить особую комиссию для разработки вопросов, относящихся к труду и как к материальному, так и к нравственному положению рабочих. Луи Блан должен был сделаться председателем этой комиссии. Сначала он отказался от этой чести, говоря, что без власти и без денег он ничего не мог бы сделать и только обманул бы доверие народа. «Мне поручают, — сказал он, — прочитать перед голодными людьми курс о голоде, но моя совесть не позволяет мне взять на себя такую роль». Тогда Луи Блана стали просить, чтобы он не ставил временное правительство в затруднительное положение, и даже обещали ему разделить с ним ответственность, и Луи Блан позволил себя упросить. Он принял на себя председательство, Альбер был сделан товарищем председателя; местопребыванием комиссии был назначен Люксембургский дворец. В этом смысле немедленно был составлен и опубликован декрет, гласивший, между прочим, следующее: «Признавая, что революция, совершенная народом, должна быть сделана и для него, что пора уже положить предел долгим и несправедливым страданиям рабочих, что рабочий вопрос есть вопрос величайшей важности, что не существует предмета, который был бы настолько достоин заботливости республиканского правительства... временное правительство республики учреждает постоянную правительственную комиссию для рабочих со специальным назначением заниматься участием рабочего класса». Этим декретом временное правительство торжественно признавало социальный характер революции, но в то же время, так сказать, устраняло из своего состава единственных людей, которые представляли в нем как раз эту самую социальную идею. Вместо министерства Луи-Блану дали, как он сам впоследствии выражался, председательство в ученой комиссии, у которой не было никакого авторитета и никаких материальных средств. Быть может, как думают некоторые, Луи Блан пошел на такой компромисс потому, что сам опасался действительной власти и ответственности, с нею соединенной, не имея практически и в подробностях разработанного плана социальной реорганизации. По крайней мере, он без малейшей попытки протестовать уступил Мари все предприятие с национальными мастерскими. Да и впоследствии, когда диктатура сама давалась ему в руки, он

перед ней отступил, несмотря на раздававшиеся обвинения в измене. В Люксембургском дворце Луи Блан и Альбер созвали уполномоченных от рабочих из разных мастерских, дабы выслушать, в чем заключались их желания. На основании выраженных ими требований был составлен декрет, сокращавший рабочий день с одиннадцати на десять часов в Париже и с двенадцати до одиннадцати в провинции. Но этот декрет остался мертвой буквой, так как хозяева промышленных заведений вовсе не обнаруживали намерения ему подчиниться. Комиссия, приглашавшая в свои заседания и ученых экономистов, выработала еще несколько практических мер, оставшихся точно так же без осуществления. Занятые в этой комиссии, Луи Блан и Альбер совсем были устранены от того, что делалось в ратуше. Между тем рабочие возлагали большие надежды на комиссию. Народ верил, что она осуществит обещание, данное ему декретом 25 февраля в ответ на требование «права на труд»: правительство французской республики обязалось в этом ответе обеспечить существование рабочим трудом и доставить работу всем гражданам.

«Таким образом, — писал впоследствии Маркс в “Новой Рейнской газете”, — представители рабочего класса были устранены из временного правительства, и буржуазная часть его захватила исключительно в свои руки действительную власть и бразды правления, а рядом с министерствами финансов, торговли и общественных работ, рядом с банком и биржей возникла социалистическая синагога, первосвященники которой, Луи Блан и Альбер, имели своей задачей открыть обетованную землю, провозгласить новое евангелие и занять парижский пролетариат... В то время, как в Люксембурге отыскивали философский камень, в ратуше чеканили монету, имевшую настоящий курс».

За манифестацией 28 февраля, приведшей к учреждению люксембургской комиссии, последовала другая. 16 марта перед ратушей произошла буржуазная демонстрация так называемых «мохнатых шапок». Дело в том, что правительство решило упразднить гренадерскую роту национальной гвардии, состоявшую из буржуазии и носившую особый головной убор. Под предлогом просьбы сохранения мохнатых шапок национальная гвардия устроила свою демонстрацию, имевшую чисто реакционный характер. В толпе раздавались крики, враждебные социализму, и многие даже требовали смерти Ледрю-Роллена. Узнав об этом происшествии, рабочие страшно взволновались и на другой день, 17 марта, имея во главе свои клубы, снова двинулись к ратуше, чтобы не дать буржуазии восторжествовать над временным правительством, а главное, чтобы принудить его к более решительному образу действий и в случае надобности даже произвести перемены в его составе. Одним из главных требований манифестантов (их было около 150 тыс.) была отсрочка выборов в учредительное собрание, назначенных на 9 апреля, так как республиканцы хотели иметь время, чтобы

подготовить народ к этим выборам. Другими словами, это значило, что правительство приглашалось взять в свои руки диктатуру. Луи Блан старался помешать этой манифестации, и когда она тем не менее состоялась, то он своими речами всячески успокаивал народ. Вожди клубов разделились, и в то время, как Бланки хотел довести дело до конца, Барбес и Кабе помогли Луи Блану уговаривать толпу. По всеобщим отзывам, манифестация 17 марта отличалась необыкновенным порядком, спокойствием и сдержанностью; на следующий день само временное правительство благодарило народ за устроенную им величественную манифестацию. «Ламартин и Ледрю-Роллен, — писал впоследствии Прудон, — имели полное основание назвать 17 марта прекрасным днем: они не желали диктатуры, а в этот день Франция, может быть, была спасена от диктаторов», и к этим словам Прудон прибавляет упрек по адресу Луи Блана. Последний потом оправдывался тем, что из диктатуры все равно ничего хорошего не вышло бы, а между тем сама разнохарактерность составных элементов в правительстве, по его словам, была необходима для сохранения равновесия между различными элементами общества. Теоретик социальной реформы и литературный поклонник якобинизма отступал на практике от осуществления идей, распространению которых среди парижской демократии сам же содействовал своими сочинениями. Практическим результатом 17 марта была отсрочка выборов на две недели — срок слишком короткий для того, чтобы можно было укрепить в умах избирателей республиканскую идею, и наоборот, оказавшийся совершенно достаточным для того, чтобы враги республики успели оправиться от душевного потрясения, испытанного ими под влиянием внезапного крушения июльской монархии.

Через месяц, 16 апреля, произошла новая народная манифестация, имевшая своей целью еще раз напомнить временному правительству, что главная его задача заключалась в изыскании средств улучшить быт пролетариата. Но теперь временное правительство заранее приготовилось к возможности повторения такого движения, какое произошло 17 марта. Оно решило во что бы то ни стало организовать вооруженную силу для противодействия. По предложению Араго, в Париж введено было несколько полков, а Марраст, со своей стороны, всячески располагал в свою пользу национальную гвардию, распространяя в ней мысль о том, что она должна «защищать семью и собственность» против коммунистов. В то же время Ламартин занялся организацией подвижной гвардии из всякого сброда, которого вообще бывает много в больших городах, а Мари действовал среди рабочих, занятых в национальных мастерских. Собственно говоря, никаких мастерских в настоящем смысле этого слова не было устроено. Мари стал принимать безработных на земляные работы, платя всем по два франка в день, хотя под рукой распространялся слух, что это как раз и было то, о чем хлопотал Луи Блан. Так как Февральская революция повлекла за со-

бой промышленно-торговый кризис, то безработных было очень много, и пришлось давать занятия такому громадному числу нуждающихся, что в общей сложности на это предприятие было затрачено около 7 млн франков. В апреле таких рабочих были уже десятки тысяч, и Мари записал их 60 000 в национальные гвардейцы, не жалея денег на то, чтобы организовать из них верную правительству вооруженную силу. Рабочие смотрели на подвижную гвардию как на плоть от плоти своей, но на самом деле это были люди, у которых не было никакого классового чувства; это были настоящие наемники. С другой стороны, буржуазия воображала, что рабочие, нанятые и организованные Мари, будут послушным орудием в их руках, но на самом деле Мари создавал армию для восстания пролетариев. Манифестация 16 апреля страшно напугала Ледрю-Роллена, все еще продолжавшего пользоваться большим влиянием в народе. Он приказал генералу Шангарнье организовать защиту ратуши, и когда уполномоченные манифестантов явились на площадь перед ратушей, то нашли все это место занятым национальными гвардейцами, которые встретили процессию корпорации клубов криками: «Долой коммунистов!» Манифестантам пришлось отступить, ровно ничего не добившись. Вечером национальная гвардия торжествовала свою победу. Отдельные ее отряды ходили по улицам Парижа, крича: «Долой коммунистов! Смерть Бланки! Смерть Кабе!» Одна толпа ворвалась даже в квартиру Кабе, но не нашедши его там, ограничилась разгромом квартиры. Ночью национальная гвардия потребовала у министра юстиции, чтобы в Париж было введено войско, и министр обещал исполнить это «желание народа». 20 апреля временное правительство устроило парадный смотр национальной гвардии, на который было приглашено и несколько линейных полков. Собственно говоря, ничего угрожающего манифестация 16 апреля не имела. По крайней мере, рабочие ничего не прибавляли к прежним заявлениям о том, что революция должна была положить конец эксплуатации человека человеком путем организации труда и что народ готов оказывать временному правительству всякую помощь в борьбе с реакционерами, и манифестация 16 апреля могла бы окончиться так же спокойно, как и манифестация 17 марта. Победа буржуазии тотчас же выразилась в том, что на другой уже день в префектуру полиции начало поступать такое количество доносов, что, по словам Кассидьера, можно было бы подумать, будто одна половина парижского населения хочет засадить в тюрьму другую половину.

Через несколько дней после этого были совершены выборы в учредительное собрание. Они происходили, с одной стороны, под влиянием страха перед пролетариатом, которому приписывали намерение произвести раздел собственности, а с другой — под влиянием реакции, бывшей результатом события 16 апреля. Эти выборы сильно озабочивали Ледрю-Роллена. Уже в самом начале республики он послал в департаменты особых

комиссаров, которые должны были заняться на местах устройством нового порядка. Охотников ехать в провинцию нашлось громадное количество, но все это были парижане, совершенно чуждые местной жизни и зараженные самыми централистическими взглядами. В этом отношении Ледрю-Роллен был верным последователем принципов якобинизма и традиций национального Конвента. Когда эти правительственные комиссары разъехались по местам назначения, Ледрю-Роллен стал обращаться к ним с циркулярами, которые в свое время наделали немало шума, хотя в печать они попали лишь благодаря нескромности врагов республики. Между прочим, Ледрю-Роллен просил комиссаров постараться, чтобы в учредительное собрание были выбраны люди, преданные народу. По его словам, правительство должно было просвещать нацию для уничтожения интриг контрреволюции. Ему казалось, что если кто и боится республики, то лишь вследствие непонимания: народу нужно разъяснить, что она такое, и он ее полюбит. Это должно было быть единственным способом влияния на выборы: устрашения и жестокости возбуждают волнения, а подкуп унижает и губит власть, которая к нему прибегает. Сами комиссары действовали в провинциях весьма различно, и далеко не все стояли на высоте своего призвания. С другой стороны, на громадное большинство избирателей весьма неблагоприятно подействовало объявленное временным правительством увеличение налогов. Правительство поторопилось отменить наиболее непопулярные налоги, но, не имея денежных средств и потерпев неудачу с заключением займа, решилось прибегнуть к чрезвычайной мере. Незадолго перед тем один английский министр, далеко не отличавшийся прогрессивными стремлениями, провел на своей родине закон о подоходном налоге, который прежде всего падал на избыток богатых. Временное правительство французской республики выбрало другой путь, прибавив 45% к существовавшим уже прямым налогам. Для массы плательщиков, в особенности для крестьян, это распоряжение создавало очень неблагоприятное представление о республике. И это обстоятельство тоже оказало свое влияние на исход выборов.

По распоряжению временного правительства, право участвовать в выборах получал каждый француз, достигший гражданского совершеннолетия, депутаты же должны были иметь не менее двадцати пяти лет. Общее их число было определено в 900, и каждый депутат должен был получать суточных денег 25 франков. Избирательная агитация отличалась необыкновенной живостью, так как все партии и отдельные политические люди выбивались из всех сил, чтобы доставить торжество своим идеям. Особое значение, конечно, получили выборы в Париже, который имел право на тридцать четыре представителя. В столице государства и за немногими исключениями в департаментах выборы совершались в полном порядке. Лишь в немногих случаях произошли волнения. Особенно серьезные раз-

меры приняло нарушение порядка в Руане, где недовольная результатами выборов социальная демократия восстала, но была жестоко усмирена. В учредительное собрание страна послала весьма сильное большинство, враждебное каким бы то ни было социальным переменам. В самом Париже большинство голосов было на стороне Ламартина (260 000), Араго, Гарнье-Пажеса, Марраста, Мари, и т. п., тогда как Ледрю-Роллен, Луи Блан и Альбер прошли в меньшинстве; к числу лиц, получивших наименьшее количество голосов, принадлежал также Ламенне. В общем, социалистам в учредительном собрании принадлежало лишь несколько мест. Остальные депутаты, сходявшиеся между собой на почве противодействия социальной республике, разделялись на монархистов и республиканцев. Преобладание принадлежало последним, вследствие чего монархисты (легитимисты и орлеанисты), выбранные под влиянием духовенства и крупных землевладельцев и составлявшие все-таки весьма сильное меньшинство, были вынуждены подчиниться республике, требуя только, чтобы она держалась строго консервативной политики. Понятно, что такой результат выборов был следствием того, что главную массу избирателей составляли крестьяне и мелкая буржуазия, а они сплотились вокруг крупной буржуазии и даже землевладельческого дворянства, которое в эпоху существования ценза почти совсем не имело избирателей¹. В собрании было и большое число ревностных католиков и, в частности, священников. Такое собрание отнюдь не соответствовало мечтам парижского пролетариата о социальной республике.

Национальное собрание открыло свои заседания 4 мая с торжественной церемонией, для которой было снова введено в Париж несколько отрядов войска, парадировавшего во время церемонии. Временное правительство предписало депутатам явиться в костюмах членов Конвента, но это требование исполнил один Коссидьер. Собрание провозгласило республику с девизом: «Свобода, равенство, братство!» и, выслушав отчеты членов временного правительства, выбрало (10 мая) исполнительную комиссию из пяти членов (Араго, Гарнье-Пажес, Мари, Ламартин, Ледрю-Роллен), которая сама распределила министерские портфели (причем военное министерство досталось Каваньяку). Луи Блан и Альбер оказались исключенными из состава нового правительства. Луи Блан предложил было учредить министерство прогресса, но оно было отвергнуто, а новый министр общественных работ, Трепа, прямо заявил, что труд должен быть возвращен к прежним условиям своего существования.

Парижский пролетариат не мог быть доволен подобным результатом: в мае и июне им были сделаны поэтому попытки снова занять то положение, которое он уже занимал после февральского переворота. К его вождям присоединились еще иностранные эмигранты, особенно поляки, тре-

¹ В «Воспоминаниях» Токвиля очень рельефно описано, как все классы во время выборов слились в одном чувстве страха перед социальным характером революции.

бовавшие, чтобы Франция заступилась за угнетенные национальности. Уже 13 мая толпа в пять-шесть тысяч человек с криками: «Да здравствует Польша!» отправилась к национальному собранию и через особую депутацию представила ему адрес с просьбой заступиться за польскую нацию. 15 мая демонстрация повторилась, и на этот раз она приняла характер настоящего восстания. Народ снова должен был сделать манифестацию в пользу поляков, но правительство через своих шпионов узнало, что вожди движения имели другую цель — низвергнуть правительство и разогнать национальное собрание. Поэтому с его стороны приняты были меры. Утром 15 мая члены демократических клубов, имея во главе Бланки, Распайля и других агитаторов, собрались на площади Бастилии и оттуда с громадной толпой народа двинулись к национальному собранию. Народ, не встретив на пути серьезного сопротивления, ворвался в заседание и произвел страшный беспорядок. Национальное собрание было объявлено распущенным; овладевшие его залом члены демократических клубов приступили даже к избранию нового правительства. В число членов были предложены Луи Блан и Альбер, хотя первый из них еще раньше старался удержать народ от демонстрации. Остальными кандидатами были Бланки, Распайль, Коссидьер, Кабе, Леру, Консидеран. Когда, однако, пришло известие о приближении национальной гвардии и подвижной гвардии, инсургенты оставили национальное собрание и пошли к ратуше, которой и овладели почти без всякого сопротивления под начальством Барбеса и Альбера. Здесь Барбес и Альбер образовали новое правительство, в состав которого должны были войти некоторые из намеченных ранее лиц и, кроме того, Ледрю-Роллен, вовсе не думавший становиться на сторону восставших. Между тем под защитой военной силы члены национального собрания возвратились на свои места. Среди них были два члена исполнительной комиссии, Ламартин и Ледрю-Роллен, решившие не допустить образования нового правительства. Они стали во главе национальной и подвижной гвардии и двинулись на ратушу, которой вскоре и завладели. Точно так же были отняты у восставших и другие места, занятые ими, между прочим, министерство внутренних дел, откуда овладевший им Собрье приступил было к извещению провинций о совершившемся перевороте. Были приняты меры и против Коссидьера, которого подозревали в соучастии с восставшими. В тот же день были арестованы и некоторые вожди инсургентов; другие были переловлены в следующие дни и все посажены в Венсенский замок. Парижский пролетариат вследствие этого лишился наиболее энергичных своих вождей. Правительство теперь постановило увеличить численность военных сил в столице. 21 мая оно устроило для народа великолепное зрелище с военным парадом, так называемый праздник согласия, ухлопав на это целый миллион франков. День прошел совершенно спокойно, но результатом его было новое увеличение вооруженной силы в Париже.

Нельзя сказать, чтобы между национальным собранием и исполнительной комиссией существовало полное согласие. Был даже момент, когда можно было ожидать отставки исполнительной комиссии. Повод к одному из столкновений был следующий. В первых числах июня, во время дополнительных выборов, в числе новых представителей народа оказался избранным в Париже и трех департаментах Людовик-Бонапарт. Посаженный за свое второе покушение в крепость, он сумел оттуда бежать (1846 г.), а немедленно после Февральской революции решил поселиться в Париже. Временное правительство, однако, намекнуло ему тогда, что ему лучше было бы уехать, и он повиновался. Избрание его в четырех округах уже само по себе кое-что значило, но когда на парижских бульварах стали по временам раздаваться крики: «Да здравствует Наполеон! Да здравствует император!», исполнительная комиссия постановила применить к принцу, как к претенденту на престол, законы 1816 и 1832 гг. об изгнании всех членов фамилии Наполеона. Но национальное собрание высказалось против этого, увлеченное отчасти Луи Бланом, который говорил, что применение такого закона было бы недостойно республики и что восстановление империи совершенно невозможно. Ламартин даже поставил вопрос об отставке, но не был поддержан товарищами. Равным образом национальное собрание и исполнительная комиссия не могли сойтись между собою по вопросу о национальных мастерских. Если не по существу дела, то по самому названию своему национальные мастерские являлись как бы воплощением социалистических стремлений пролетариата. Весьма естественно, что буржуазия относилась к ним крайне недружелюбно. Мелкая буржуазия, переживавшая тяжелый кризис, прямо даже с ненавистью смотрела на это учреждение: она разорялась, а государство за какую-то никому не нужную работу платило деньги бог знает кому. С этой точки зрения смотрела она и на социализм, и на люксембургскую комиссию, и на рабочие манифестации. Впоследствии ту же ненависть к пролетариату и социализму проявили и крестьяне, которые сначала были раздражены «сорока пятью сантимами», а затем прослышали о существовании опасных *partageux*¹, думающих отнять у них землю для всеобщего раздела. И национальное собрание весьма косо смотрело на национальные мастерские, находя их дорогостоящими, совершенно ненужными, а сверх того и опасными, так как многие работники этих мастерских приняли участие в восстании 15 мая. В среде национального собрания возникло даже подозрение, будто исполнительная комиссия держится за национальные мастерские лишь ради того, чтобы иметь в своем распоряжении стотысячную революционную армию рабочих, которую можно было бы пустить в ход против самого национального собрания. На самом деле, такое мнение

¹ Приверженец общности имущества, передела (фр.). — Прим. ред.

было совершенно неосновательно. Исполнительная комиссия сама начала подумывать об уничтожении национальных мастерских, хотя и понимала, что такое предприятие было бы в высшей степени трудным и даже опасным. Ее пугал громадный рост количества рабочих, потому что в Париж стало стекаться множество народа из провинций ради получения раздававшейся правительством поденной платы: в начале июня число рабочих, занятых в национальных мастерских, определялось в 117 000, и были все основания ожидать нового прилива рабочих. Большие суммы денег, поглощавшиеся этим предприятием, тоже заставляли исполнительную комиссию задуматься над тем, что же будет дальше. В сущности, и национальное собрание, и исполнительная комиссия были одинаково против национальных мастерских, но исполнительная комиссия только хотела соблюдать известную осторожность или, по крайней мере, выгородить себя, свалив ответственность за все неприятные для пролетариата меры на национальное собрание. Наиболее нетерпеливые депутаты, наоборот, хотели поскорее положить конец неприятному для них положению дел, хотя бы при этом пришлось подвергнуться опасности нового восстания.

С 15 мая начался ряд мер, направленных против национальных мастерских. Уже в этот день было предписано предложить всем холостым рабочим от 18 до 25 лет поступить в солдаты или уйти. Затем было сделано распоряжение удалить всех рабочих, не живших перед тем в Париже по крайней мере в течение шести месяцев, или таких, которые отказывались от предлагавшейся им частной работы, работа же в мастерских, оплачивавшаяся поденно, должна была оплачиваться издельно. Наконец, решено было отправить часть рабочих в отдаленные провинции, где они должны были быть заняты земляными работами. Директора национальных мастерских, Эмиля Тома, не соглашавшегося на эти меры, министр общественных работ Трел лишил должности и насильственно выслал из Парижа. Это вызвало волнение рабочих, и сам Трела, старавшийся их успокоить, потребовал у национального собрания нового кредита в 3 млн франков для национальных мастерских (20 июня). Волнение усиливалось еще тем обстоятельством, что многие рабочие, отправленные в провинцию, возвращались в Париж и доказывали, что никаких работ там они не нашли, что их обманули, что с ними дурно обращались. Декрет, предписывавший удалить или записать в солдаты всех холостых рабочих, появившийся 21 июня в «Монитёр», еще более раздражил рабочих.

Не лучше шли дела люксембургской комиссии. При открытии национального собрания Луи Блан настаивал на том, чтобы эту бесцельную комиссию преобразовали в министерство труда и прогресса, предсказывая возможность новой революции. «Ведь говорили, — сказал он при этом, — ведь говорили перед Февральской революцией, что нужно беречься революции презрения, мы же должны устранить — и этого достигнуть можно —

революцию голода». Когда его предложение не было принято, ему оставалось только уйти, а после его ухода и комиссия прекратила свое существование. Несколько рабочих ассоциаций, основанных на деньгах, которые Луи Блан успел выхлопотать у правительства во время своего председательства в виде ссуд, были единственным практическим результатом деятельности этого «рабочего парламента». Комиссия не оправдала возлагавшихся на нее надежд, и это тоже внесло немало озлобления в пролетариат.

С каждым днем национальное собрание и исполнительная комиссия принимали все более и более вызывающее положение. Борьба казалась неизбежной, и чтобы выйти из тягостного ожидания, правительство даже желало, чтобы на него как можно скорее было сделано нападение. Победа 15 мая вселяла правительству уверенность в своих силах. Народные вожди сидели в тюрьме. В Париже и его окрестностях в распоряжении властей было около тридцати тысяч линейного войска, не считая тысяч двадцати подвижной гвардии. Генерал Каваньяк, незадолго перед тем прибывший в Париж из Алжира, чтобы принять военное министерство и вместе с тем главное начальство над войсками, выработал план уличной войны против пролетариата, открыто теперь обвинявшегося в стремлении к поджигательству, грабежам и безначалии.

Между тем, прежде чем обратиться к восстанию, рабочие делали разные попытки прийти к какому-либо соглашению. При известии о том, что в собрании требуют закрытия национальных мастерских, они обращались к начальству с просьбой дать им настоящую работу, которой они сами желают, и ставили при этом вопрос, чем же будут кормиться сто тысяч человек с их женами и детьми, если национальные мастерские будут закрыты. 22 июня они толпой ходили к Люксембургскому дворцу спрашивать, что значит объявление о насильственной вербовке рабочих в армию, но Мари дал такой резкий ответ, что только раздражил толпу. Вечером произошла большая народная сходка на площади Пантеона, и здесь было решено на другой день восстать против правительства и собрания за нарушение обещания, данного Февральской революцией. В течение ночи восстание было уже вполне организовано. Рано утром 23 июня в разных частях города вырастали одна за другой баррикады, вырастали совершенно беспрепятственно, так как план Каваньяка, под начальство которого была отдана и национальная гвардия, заключался в том, чтобы избегать стычек с мелкими отрядами, а действовать большими массами. Главным пунктом восставших была соседняя с Люксембургским дворцом площадь Пантеона, что заставило исполнительную комиссию перенести свое местопребывание во дворец национального собрания, откуда легко было удалиться из Парижа с войском и национальной гвардией в случае победы инсургентов. Правда, Араго и Ламартин делали попытки уговаривать народ, но эти попытки были безуспешны. «Мы не дурные граждане, — отвечали Ламартину, — мы

просто несчастные рабочие. Мы требуем, чтобы вы обратили внимание на нашу бедность. Подумайте о нас, управляйте нами, и мы будем вам помогать. Мы хотим жить для республики и умереть за нее». Рабочие требовали распускания собрания и восстановления национальных мастерских. Несмотря на разгоревшиеся страсти, народ не совершал грабежей, и когда, например, один пьяный рабочий посоветовал произвести пожар, то был арестован своими же товарищами. На знаменах инсургентов рядом с надписью: «Хлеба и работы!» была и другая: «Смерть ворам!»

Уличный бой начался 23 июня и окончился только на четвертый день, 26-го числа. Национальное собрание в первый же день объявило себя непрерывным и заседало по крайней мере *pro forma*¹, всю ночь; на другой день оно громадным большинством объявило Париж в осадном положении и поручило всю исполнительную власть Каваньяку. Все классы общества, не принимавшие участия в восстании, с радостью приветствовали эти меры национального собрания, радовались даже осадному положению, которое так ненавидели при Людовике-Филиппе, радовались и назначению военной диктатуры. Каваньяк действительно был прежде всего солдат. Когда временное правительство пригласило его на пост министра, он отвечал ему письмом, в котором говорил, что прежде всего он должен знать, как намерено правительство относиться к армии, и прибавил, что никогда не согласится хотя бы на малейшее унижение армии. Письмо это сильно оскорбило своим тоном временное правительство, и Каваньяку было послано предписание остаться в Африке. Однако исполнительная комиссия, чувствовавшая потребность в армии и в руке, которая умела бы энергично управлять военной силой, обратилась опять к Каваньяку, и на этот раз он принял предложение. Теперь ему было поручено подавить восстание. На свою задачу он тоже смотрел исключительно с военной точки зрения: ему хотелось прежде всего «защитить честь знамени», одержав блестящую победу, а для этого требовалось дать разыграться восстанию и потом нанести ему решительный удар. Он ссылался прямо на июльский опыт 1830 г. и февральский опыт 1848 г., когда ему говорили о необходимости мешать постройке баррикад. «Пусть национальная гвардия ведет атаку против баррикад, — говорил он, — потому что это ее дело. Не для того же я здесь, чтобы защищать парижан и национальную гвардию! Пускай она сама защищает и свой город, и свои лавки. Если ее разобьют, я лучше отступлю на равнину Сен-Дени и уже там дам восстанию настоящую битву». Такой человек был беспощаден, тем более что громадное большинство национального собрания ему сочувствовало и не давало говорить своим товарищам, делавшим попытки взывать к чувствам сострадания и великодушия. Линейные полки, среди которых воскресло

¹ Ради формы, ради видимости (*лат.*). — *Прим. ред.*

озлобление за февральские дни, национальная гвардия, раздраженная требованиями рабочих, подвижная гвардия, состоявшая из всякого сброда, — соперничали между собой в жестокости. Восставшие тоже дошли до крайней степени ожесточения.

Несколько раз обе стороны вступали между собой в переговоры. В качестве посредника выступил 25 июня архиепископ Парижский Аффр. С двумя своими викариями он отправился на площадь Бастилии, где возвышалась громадная баррикада, защищавшая вход в сильно укрепленное Сент-Антуанское предместье. Защитники баррикады приняли архиепископа со знаками уважения и пропустили его за первую баррикаду, но в это время почему-то снова началась перестрелка, и одна пуля (по-видимому, солдатская) попала в Аффра, — к непритворному огорчению защитников баррикады. Тяжело раненного архиепископа большая толпа провожала до его жилища, где через день он и скончался¹. Особенно упорно защищались инсургенты в кварталах с рабочим населением. Предместьем Тамплъ генерал Ламорисьяр овладел лишь после кровопролитного боя. Было сожжено множество домов, чтобы вытеснить из них восставших; в других домах пробивались стены, и в бреши врывались, убивая всех встречаемых, освирепелые солдаты. Сент-Антуанское предместье, на одной главной улице которого было около семидесяти громадных баррикад, сдалось только после страшной канонады. С обеих сторон были совершены жестокости (между прочим, расстреливание пленных), но месть победителей превосходила всякие вероятия. Парижская национальная гвардия, подкрепленная национальной гвардией из соседних местностей, расстреливала и мирных жителей, раз последние внушали подозрение. От ярости национал-гардов едва спаслись, например, Ледрю-Роллен и Луи Блан. Многие лишь с опасностью для жизни отбивали у национальной гвардии пленников, которых она хотела расстреливать. Мобили (подвижная гвардия, в которой было очень много молодежи лет 16—18) хвастались потом своими убийствами. Террор не прекращался еще несколько дней после подавления восстания, тем более что к разного рода жестокостям подстрекали своими зажигательными статьями многие газеты. «Горе тому, — писал Луи Блан, — кто осмелился бы высказать слово милосердия, оплакивать заблуждения инсургентов, напомнить, что многие из них вовлечены в восстание голодом: это значило бы явиться их сообщником. Даже родителям и друзьям убитых инсургентов запрещено было оплакивать их смерть».

В числе свидетелей этой бойни находился и А. И. Герцен. Уже ранее он предвидел печальную развязку. «Пятнадцатое мая, — писал он в первых числах июня 1848 г., — сняло с моих глаз повязку. Даже места сомнению не осталось: революция побеждена, вслед за ней будет побеждена и респуб-

¹ И в феврале, и в июне 1848 г. инсургенты не проявляли неуважения к религии, каким отличались восстания тридцатых годов. Напротив, масса была настроена религиозно.

лика». «Республика ранена насмерть, ей остается только умереть», — сказал он в этот день одному знакомому республиканцу. Ему пришлось своими глазами видеть разные ужасы, и столько раз возвращался он к этому событию в своих сочинениях, каждый раз с чувством страстного негодования на поведение политических людей Франции и буржуазии¹. «После бойни, — рассказывает он, — наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены; редко, редко где-нибудь встречался экипаж; надменная национальная гвардия со свирепой и тупой злобой на лице берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили (подвижной гвардии) ходили по бульварам, распевая: «*Mourir pour la patrie*»²; мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братьев, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтобы приветствовать победителей... А дома предместья св. Антония еще дымились; стены, разбитые ядрами, обваливались; раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны; сломанная мебель тлела; куски разбитых зеркал мерцали... Местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... По бульварам стояли палатки; лошади глодали береженные деревья Елисейских полей; на *Place de la Concorde*³ везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюильрийском саду солдаты у решетки варили суп». В поражении парижского пролетариата Герцен видел поражение дела свободы и других народов.

Об июньских днях высказался и Маркс в «Новой Рейнской газете», которую он издавал в Лондоне в 1850 г., применив к рассмотрению событий 1848 г. свою теорию классово́й борьбы. Главная его мысль была та, что кроме Парижа пролетариат существовал лишь в нескольких разобщенных между собой промышленных пунктах и что вследствие этого он совершенно утопал среди подавляющего большинства крестьянства и мелкой буржуазии, ставших к нему вдобавок во враждебные отношения. 24 февраля пролетариат победил вместе с буржуазией, но она не хотела допустить победы пролетариата над нею: «настоящим местом рождения буржуазной республики была не февральская победа, а июньское поражение». Июньское восстание было «первой битвой между обоими классами, на которые распалось современное общество. Это была борьба за сохранение или уничтожение буржуазного порядка». Но к этому восстанию «буржуазия вынудила парижский пролетариат. Уже в этом заключался его смертный приговор. Непосредственная потребность пролетариата отнюдь не заставляла его насильственно низвергать буржуазию, да он и не дорос еще до этой задачи». Оценивая историческое значение июньских дней, Маркс указывал еще, что победа французской буржуазии имела своим результа-

¹ См. «Письма из Франции и Италии» (письмо V), «С того берега» (гл. II) и др.

² «Умирать за родину» (фр.). — Прим. ред.

³ Площадь Согласия (фр.). — Прим. ред.

том в других странах союз буржуазии с феодальной монархией против народа, хотя первой жертвой такого союза была сама же буржуазия. Вместе с тем европейские правительства увидели, что Франция будет теперь держаться мирной политики в своих отношениях к соседям, а потому и сосредоточили все силы на борьбе с внутренним врагом.

Оба писателя, о которых шла сейчас речь, принадлежали к одному и тому же лагерю (хотя лично, как известно, и не ладили между собой) — к лагерю побежденных. Приведем теперь мнение об июньских днях, высказанное Токвилем, который, как было сказано в своем месте, при всей своей политической проницательности очень мало понимал сущность социального вопроса, игравшего первенствующую роль в революции 1848 г.

Рассказывая в своих «Воспоминаниях» о революции 1848 г., Токвиль отмечает, что на другой день после 24 февраля его поразили два обстоятельства: чисто народный характер совершившейся революции и благодушное настроение народа после этого переворота. «Февральская революция, — говорит он, — произошла совершенно как бы помимо буржуазии и против нее»; это обстоятельство он называет фактом вполне небывалым в истории Франции («rien n'était plus nouveau dans nos annals»¹). С другой стороны, «на этот раз, — продолжает он, — дело шло не об одном торжестве известной партии, а стремились основать новую общественную науку или философию — я готов был бы даже сказать, религию — которую могли бы усвоить и которой могли бы следовать все люди. Это была действительно новая часть давно знакомой картины» парижских революций. Указав на то, как это встревожило другие общественные классы, ожидавшие неслыханных насилий, Токвиль прибавляет, что он не разделял этих опасений, но уже предвидел в ближайшем будущем ряд неожиданностей — *des perturbations étranges, des crises singulières*². «Я никогда не верил, — говорит он, — в ограбление богатых; я слишком хорошо был знаком с парижским простонародьем, чтобы не знать, что первые его движения в дни революции обыкновенно великодушны». Токвиль особенно настаивает на этом мирном настроении парижского населения. Революция приняла социалистический характер, но это уже следовало предвидеть ранее³. А между тем все классы общества были напуганы, и в провинциях только и ожидали известия о том, что Парижем овладели вооруженные социалисты. Когда Токвиль после избрания своего в Нормандии вернулся в Париж, он нашел уже вид города зловещим: буржуазия была удручена, но в своем отчаянии она приходила к решению о необходимости дать битву вооруженному пролетариату. Токвиль, который говорит, что у него, как и у большинства собрания, не было ни «монархической веры», ни сожаления или привя-

¹ Ничего более необычного не случилось в нашей истории (фр.). — *Прим. ред.*

² Странные изменения, загадочные перемены (фр.). — *Прим. ред.*

³ Токвиль действительно предвидел, см. выше.

занности к какому-либо государю, сам признаётся, что был на стороне буржуазии: его желанием было — «защитить старые устои общества от новаторов при помощи новой силы, которую республиканский принцип мог сообщить правительству, дать восторжествовать очевидной воле французского народа над страстями и стремлениями парижских рабочих и таким образом позволить демократии победить демагогию». То, чего ожидал Токвиль, и случилось, и вот как он определяет значение июньских дней: «Июньское восстание было самым большим и самым необыкновенным, какое только известно в нашей истории и, быть может, вообще в истории. Это было самое большое восстание, ибо в нем в течение четырех дней участвовало более ста тысяч человек, самое необыкновенное, потому что восставшие сражались без боевого лозунга, без вождей, без знамен и тем не менее сражались с удивительным единодушием и с военной опытностью, изумлявшей самых старых офицеров. Что еще отличало его от всех подобного рода событий нашей истории за последние шестьдесят лет, так это то, что целью его была не перемена формы правления, но изменение самого устройства общества... Нужно заметить еще, что это грандиозное восстание не было делом кучки заговорщиков, но восстанием одной части населения против другой». Неудача восстания, по словам Токвиля, «не потушила во Франции революционного пламени, не положила конца, по крайней мере, на время тому, что можно назвать особенностью Февральской революции... Социалистические теории еще продолжали проникать в народ,... но сама социалистическая партия была сокрушена и обречена на бессилие». Однако он усматривал и нечто другое в этой «победе французской нации над парижскими рабочими»: удар был нанесен и политическим радикалам. «Я, — замечает Токвиль, — я, который терпеть не мог монтаньяров и не особенно дорожил республикой, но боготворил свободу, тотчас же вслед за июньскими днями стал ощущать большое опасение за нее. Я тогда же увидел, что после июньского боя настроение нации некоторым образом переменится. Любовь к независимости должна была уступить место боязни и даже, быть может, отвращению к свободным учреждениям... В самом деле, это отступление началось с 27 июня, сначала весьма медленное и как бы едва заметное для простого взгляда, затем быстрое, потом бурное и непреодолимое. И где оно остановится? — спрашивал Токвиль, когда в 1850 г. записывал свои воспоминания об июньских днях. — Я думаю, что нам трудно будет не покатиться далее точки, которую мы занимали уже раньше февраля, и я предвижу, что мы все, социалисты, монтаньяры, либеральные республиканцы, одинаково лишимся всякого кредита, пока не отойдут в прошлое и не побледнеют особые воспоминания о революции 1848 г., и общий дух времени не возьмет своего». Это предсказание Токвиля исполнилось в очень непродолжительном времени.

За июньскими днями, действительно, наступила страшная реакция. По окончании борьбы начались настоящие облавы против инсургентов, которых было взято в плен от 12 до 14 тыс. человек. Уже на другой день после подавления восстания национальное собрание решило сослать всех без суда во французские колонии, а зачинщиков и предводителей подвергнуть военному суду. 28 июня Каваньяк получил от собрания благодарность и продление своих полномочий в качестве «главы исполнительной власти и президента кабинета». Национальные мастерские были уничтожены. Были закрыты вместе с тем многие клубы и запрещен целый ряд газет (между прочим «Пресса» Жирардена, «Представитель народа» Прудона и др.). Против преступлений печати был издан строгий закон и для газет восстановлены были залогов. Кроме того, полиция получила новые полномочия. Наконец, осадное положение не только не было снято, но даже продолжено на неопределенное время. Одним словом, то, что считалось совершенно невозможным при монархии, низвергнутой всего лишь за четыре месяца перед тем, теперь вводилось республикой при общем одобрении громадного большинства нации. Эти меры считались необходимыми и впредь, так как внутренняя борьба могла возобновиться.

Еще 26 июня национальное собрание назначило особую комиссию (под председательством Одилона Барро) для следствия над майским и июньским восстаниями. Результаты ее работ в августе были представлены собранию в докладе, автором которого был Бошар. Докладчик считал виновными во всем Ледрю-Роллена, но особенно Луи Блана, люксембургскую комиссию и национальные мастерские, социалистическую прессу и клубы. Ледрю-Роллену удалось оправдать себя, но Луи Блан предупредил арест, которому его хотели подвергнуть, бегством в Лондон¹.

В сентябре национальное собрание начало обсуждение проекта новой конституции и окончило его 4 ноября, а 12-го числа того же месяца конституция была торжественно провозглашена на площади Согласия. 10 декабря происходили выборы президента республики, которые должны были происходить всенародным голосованием. Подано было всего 7 300 000 голосов; из них 5 430 000 досталось Людовiku-Наполеону Бонапарту, 1 448 000 — Каваньяку, 370 000 — Ледрю-Роллену; Ламартин получил только 17 900 голосов. Результат народного избрания был торжественно объявлен в национальном собрании 20 декабря. Исполнительная власть перешла из рук Каваньяка в руки принца Бонапарта.

¹ Он подлежал суду за участие в восстании 15 мая, хотя на самом деле его участие было чисто пассивное.

XXI. Немецкая революция 1848 года и франкфуртский парламент¹

Мартовская революция в Германии. — Движения в средних и малых государствах. — Гейдельбергский съезд. — Перевороты в Вене и Берлине. — «Фор-парламент». — Баденское восстание республиканцев. — Первые признаки реакционного настроения. — Начало франкфуртского парламента. — Германская имперская конституция 1849 г.

За февральской революцией во Франции последовала мартовская революция в Германии. Известие о крушении июльской монархии произвело в Германии одинаково сильное впечатление и на правительства, и на нацию. Немецкие государи прежде всего стали опасаться, что новая французская республика возобновит завоевательную политику первой революции, а потому на первых же порах между Пруссией и Австрией начались переговоры о том, как бы обезопасить Германию от нового французского вторжения. Официозная печать старалась представить парижский переворот и самому народу как нечто опасное для национальной независимости немцев: напоминали унижение, в каком находилась Германия в начале века; предостерегали от французского честолюбия, прикрывающегося громкими фразами о счастье всех народов. Некоторая часть немецкого общества сама готова была смотреть такими глазами на события, но большинство взглянуло на дело совершенно иначе, и правительства, в конце концов, оказались вынужденными пойти на уступки, чтобы не дать разы-

¹ Кроме сочинений, названных выше: *Shepp*. Комедия всемирной истории, 1898; *Zwiedinek-Südenhorst*. Deutsche Geschichte von Auflösung des alten und Errichtung des neuen Kaiserreichs, 1847; *Kottenkamp*. Deutschland in seiner Erhebung und in seiner Entwicklung, 1848 и след.; *Bauer B.* Die bürgerliche Revolution, 1849; *Stein S.* Geschichte des deutschen Volkes (1848—1849), 1850—1861; *Haym*. Die deutsche Nationalversammlung, 1848—1850; *Taillandier*. Étude sur la révolution en Allemagne, 1853; *Jürgens*. Zur Geschichte des deutschen Verfassungswerkes, 1850—1857; *Bernstein*. Revolutions- und Reaktionsgeschichte, 1882; *Vogel*. Studien zur Geschichte des Frankf. Parl., 1881; *Bloss*. Die deutsche Revolution. Geschichte der deutschen Bewegung von 1848 und 1849 (1892). См. также книгу Fr. Mering'a, указанную выше. *Häusser*. Denkwürdigkeit zur Geschichte der badischen Revolution, 1858; *Weber*. Rückblicke auf die badische Revolution (в «Geschichtsbildern», 1886); *Vieland*. Sociale Geschichte der Revolution in Oesterreich, 1850; *Wolf G.* Aus der Revolutionszeit in Oesterreich-Ungarn (1848—1849), 1885; *Helfert*. Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener Octoberaufstandes, 1869—1885; *Zencker*. Die Wiener Revolution 1848 in ihren socialen Voraussetzungen und Beziehungen, 1897; *Wolff*. Berliner Revolutions chronik, 1849—1854; *Stahr*. Preussische Revolution, 1851; *Angerstein*. Die Berliner Märzereignisse, 1864. Сюда же относится целый ряд биографий и сочинений по истории отдельных эпизодов: *Gagern*. Das Leben des Generals von Gagern, 1856—1857; *Berger*. Fürst Felix Schwarzenberg, 1853; *Blum*. Robert Blum, 1879; *Notter*. Uhland, 1863; *Staroste*. Tagebuch über die Ereignisse in der Pfalz und Baden im 1849, 1852; *Springer A.* Fr.-Ch. Dahlmann. 1870—1872; *Freitag G.* Karl Mathy. Geschichte seines Lebens, 1872. См. также: *Градовский А.Д.* Германская конституция, 1876.

гаться революционному движению в самой Германии. Весьма скоро они убедились, что пример Франции не мог пройти бесследно для их подданных. Мы уже видели, что в 1847 г. и в первые два месяца 1848 г. в Германии происходило значительное политическое движение — преимущественно среди либеральной буржуазии. В народных массах тоже господствовало большое недовольство. Крестьяне были обременены разного рода феодальными повинностями и оброками. Среди городских рабочих уже распространялись социалистические и коммунистические учения. Общее экономическое состояние последних лет было крайне неблагоприятно. Два года неурожая вызвали большую дороговизну, а местами — страшную нищету, сопровождавшуюся эпидемией голодного тифа. Промышленность и торговля тоже переживали тяжелый кризис, равным образом отражавшийся весьма неблагоприятно на материальном положении народных масс. Весьма естественно, что там и сям происходили народные волнения и беспорядки, которые подавлялись вооруженной силой.

Политические движения, которые совершались в разных местах Германии в марте 1848 г., имели довольно однородный характер, напоминая в этом отношении то, что происходило в сентябре 1830 г. вслед за Июльской революцией. Народ предъявлял свои требования, везде приблизительно одинаковые, а государи спешили давать на них свое согласие. Сравнительно с 1830 г. в этом общем движении было, впрочем, и нечто новое. Во-первых, в 1830 г. движения, происходившие в отдельных немецких государствах, имели чисто местный характер, тогда как теперь на первый план выдвинулась идея политического переустройства всей Германии как одного целого. Во-вторых, тогда революция не коснулась ни Австрии, ни Пруссии, ограничившись лишь средними и мелкими государствами, а на этот раз именно в Австрии и Пруссии происходили наиболее бурные события.

Движение началось в Юго-Западной Германии, которая и ранее отличалась большим развитием либерализма. В первых же числах марта здесь произошли значительные народные волнения под руководством либеральной буржуазии. На местные правительства посыпались адреса и петиции, в которых излагались «требования народа». В громадном большинстве случаев эти требования сводились к свободе печати, к гласности и устности судопроизводства, к суду присяжных, к вооружению народа, религиозной свободе, праву собраний и ассоциаций и всеобщей подаче голосов. Замечательно, что вопросы материального быта, которые должны были особенно сильно интересовать настоящий народ, совершенно отсутствовали в большей части этих адресов и петиций. Действительной руководительницей движения выступила буржуазия, для которой эти вопросы не имели первостепенного значения. Кроме того, в этих адресах и петициях выражалось желание, чтобы Германия получила общее народное представительство.

Сигнал к движению был подан из Бадена. Еще 27 февраля в Маннгейме состоялось большое собрание под председательством Ицштейна. Настроение участников было довольно революционным, и решено было послать во вторую палату петицию с требованием вооружения народа, свободы печати, суда присяжных и общегерманского парламента. На эту петицию правительство отвечало одними обещаниями, но первого марта в Карлсруэ произошло народное волнение, во время которого даже раздавались крики: «Да здравствует республика». Правительство поспешило уступить. Великий герцог дал отставку реакционному министерству и сделал министром одного из вождей либералов, Карла Мати. Под влиянием второй петиции баденская палата сделала постановления в духе оффенбургского собрания 1847 г., в числе которых было уничтожение всяких привилегий и покровительство труду против капитала. 5 марта правительство объявило, что изготавит законопроекты в смысле этих постановлений палаты. Примеру Бадена последовал Вюртемберг. Здесь 2 марта состоялось большое собрание граждан, на котором была принята составленная оппозиционным депутатом Рёмером петиция с известными требованиями народа. Вместе с другими петициями из разных других мест королевства она была представлена королю. Последний сначала думал было сопротивляться, но вынужден был уступить. Прежнее министерство получило отставку, и составлено было новое из людей, пользовавшихся общественным доверием; в их числе был Рёмер. И в Бадене, и в Вюртемберге одновременно с этим сильно волновались крестьяне, что заставило местное дворянство также пойти на уступки из опасения, чтобы крестьяне не стали на сторону социальной революции. Во многих местностях крестьяне соединялись в целые отряды, нападали на замки и истребляли феодальные документы и хозяйственные книги. Для умирения крестьян посылались даже военные команды. Скоро, однако, крестьянская масса успокоилась, когда сделалось известным, что сами дворяне стали делать предложения о выкупе феодальных повинностей.

В Баварии, где незадолго перед тем еще происходили беспорядки, вызванные скандалом с Лолой Монтес, известие о парижском перевороте вызвало тоже целый ряд народных демонстраций. Первый адрес на имя короля с изложением народных требований был составлен в Нюрнберге, а его примеру последовали Мюнхен и другие города. Так как король не обнаруживал склонности к уступкам, то 2 марта в Мюнхене возобновились беспорядки, во время которых народ требовал отставки «министерства Лолы». Дом одного из наиболее непопулярных министров, Беркса, подвергся разгрому, а к вечеру были даже построены баррикады. Через день распространилось известие, что король намерен привести мюнхенцев к покорности посредством военной силы. Тогда все жители столицы, которые были способны носить оружие, вооружились, разграбив предвари-

тельно цейхгауз. Дело до вооруженного столкновения, однако, не дошло, так как офицеры всячески избегали стычки. Возбуждение не прекращалось и в следующие дни; тогда король ясно увидел, что ему нужно сделать уступку. Волнение не улеглось даже после того, как король заменил ненавистного Беркса вождем либеральной партии Тоном-Дитмаром. По-видимому, большую роль в этих событиях играла церковная партия, ненавидевшая короля и желавшая довести его до необходимости отречься от престола. Один раз в городе распространился слух, что Лола вернулась в Мюнхен, и в городе произошло новое народное волнение. Сам Людвиг I убедился, наконец, что при явной враждебности иезуитов и ненадежности либералов ему не остается ничего более, как отречься от престола в пользу своего сына Максимилиана II (20 марта). Новое министерство, в состав которого вошло несколько либеральных членов, поспешило издать распоряжение о свободе печати, гласности судопроизводства, ответственности министров, выкупе феодальных повинностей и т. п. В Гессен-Дармштадте происходили такие же события, как и везде. Дело началось с Майнца, где впервые был составлен адрес с известными «требованиями народа», а за ним и другие города составили свои петиции. 2 марта при громадном стечении народа майнцкий адрес был препровожден в Дармштадтскую палату, и великий герцог поспешил сделать министром одного либерального депутата, Генриха фон Гагерна, стоявшего раньше во главе оппозиционной партии. Кроме того, великий герцог назначил своим соправителем наследного принца. В Гессен-Касселе общественное неудовольствие направилось главным образом против курфюрста Фридриха-Вильгельма I, который вступил на престол только в 1847 г., но успел уже вполне обнаружить свои реакционные стремления. Центром оппозиции сделался Ганау, где произошла большая вооруженная сходка народа, грозившая пустить в ход физическую силу, если курфюрст не согласится на «требования народа». Курфюрст хотел подавить это движение войсками, среди которых, однако, не было особого расположения проливать кровь граждан. С другой стороны, окрестные жители спешили на помощь к восставшим. В столице государства, Касселе, тоже составлялись депутации к курфюрсту для предъявления ему народных требований. Громадные толпы народа окружили курфюршеский дворец, и на улицах уже начинали строить баррикады. Фридрих-Вильгельм I вынужден был уступить и сделать своими министрами людей, только что стоявших во главе народного движения. В числе гессен-кассельских «мартовских министров» был, например, ганауский бюргермейстер Эбергард. Сильное движение происходило и в Нассау. Восстание началось здесь 1 марта. Герцог был в отсутствии, когда висбаденцы, под предводительством адвоката Гергенбана, предъявили правительству все те же, что и в других местах, требования, успев при этом овладеть цейхгаузом и вооружиться на случай борьбы. Известие об этом быстро распро-

странилось по всему герцогству, и в следующие дни в Висбаден потянулись толпы вооруженных крестьян. 4 марта в городе было уже около 30 000 готовых к битве людей. Офицеры и солдаты не скрывали своего нежелания драться с народом. Герцог, вернувшийся домой, согласился на все требования. Зачинщик восстания Гергенбан был даже сделан министром. Крестьяне были удовлетворены отменой феодальных повинностей и скоро успокоились. Общее движение не миновало и Саксонию. Главным центром саксонской оппозиции был Лейпциг, где при первом известии о парижском перевороте был составлен адрес королю о необходимости реформ. Ответ короля пришел вечером 2 марта, и перед ратушей собралась громадная толпа народа, чтобы узнать содержание этого ответа. Она была очень возбуждена и пела «Марсельезу». Когда сделалось известным, что король ответил на адрес полным отказом, народ пришел в страшное возбуждение и произвел беспорядки. Лейпцигцы решились силой настаивать на своих требованиях и даже, в случае надобности, массой двинуться на Дрезден. Адресы были посланы королю еще из шести городов, но и они были также отвергнуты. Тогда возбуждение распространилось по всей стране. В самом Дрездене начались уличные беспорядки. Лишь после этого король дал отставку реакционному министерству и назначил новых министров из либералов, которые и приняли в свою программу все те же знаменитые «требования народа». Но и это не остановило все-таки народных волнений в Саксонии: в одних местах бунтовали голодные рабочие, в других — крестьяне, недовольные чрезмерными поборами. В Ганновере «народные требования» были предъявлены королю 6 марта, но Эрнст-Август, бывший абсолютистом до мозга костей, отклонил их самым резким образом. Тогда в разных городах королевства начались волнения и беспорядки. В самой столице несколько тысяч граждан окружили королевский дворец и послали к королю депутацию, получившую снова отрицательный ответ. Толпа пришла тогда в раздражение и перебила стекла в домах министров и полицейских чиновников. Войско, присланное усмирить толпу, было встречено свистками и враждебными криками, но и здесь офицеры и солдаты не обнаруживали охоты сражаться против граждан. В конце концов, Эрнст-Август тоже вынужден был дать отставку прежним министрам и образовать новое министерство, во главе которого был поставлен либерал Штюфе. В более мелких немецких государствах революция шла тем же путем. Во многих местах в движении принимали весьма деятельное участие крестьяне, громадными толпами приходившие в города и присоединявшиеся к бюргерам и рабочим. К середине марта в средних и мелких государствах власть повсеместно принадлежала либеральной буржуазии в лице «мартовских министров», которым испуганные государи вынуждены были передать управление. Кроме буржуазии, в этом революционном движении участвовали крестьяне и рабочие. Крестьяне, впрочем, весьма

соро впали в прежнее равнодушие и бездеятельность, как только пали ненавистные феодальные права. Но рабочие продолжали принимать участие и в дальнейшем ходе событий, идя под знаменем либеральной буржуазной программы. Лишь в весьма редких случаях они пользовались мартовскими днями для предъявления требований, касавшихся специально рабочих интересов. Например, гамбургские портные потребовали двенадцатичасового рабочего дня, свободного воскресенья и двух марок рабочей платы.

В числе «требований народа» видное место в 1848 г. принадлежит союзнанию общегерманского парламента. Либеральная буржуазия, победившая в первой половине марта в средних и мелких государствах, задумала взять в свои руки и политическое переустройство всей Германии. Союзный сейм, сначала совершенно растерявшийся, сделал вид, как будто и сам намерен был овладеть движением. Он объявил 8 марта, что каждое немецкое государство вольно уничтожить у себя цензуру и ввести свободу печати, когда в Бадене и Вюртемберге это уже было совершившимся фактом. Через несколько дней сейм провозгласил, что гербом и цветами Германского союза будут древненемецкий имперский орел и соединение черного, красного и золотого цветов: в эпоху реакции черно-красно-золотое знамя было своего рода мятежным символом, теперь же оно должно было служить официальной эмблемой союза. Перевороты в отдельных государствах отразились и на самом составе союзного сейма: меняя реакционных министров на либеральных, правительства вместе с тем на место прежних своих уполномоченных посылали новых. Например, одновременно с назначением Мати баденским министром Велькер был сделан баденским послом в союзном сейме. Но это мертворожденное учреждение было неспособно возродить Германию к новой жизни. Дать Германии новую конституцию, по мысли передовых политических деятелей, должно было особое учредительное собрание, избранное всеобщей подачей голосов. Добиться созыва такого собрания именно и взяли на себя мартовские победители Юго-Западной Германии еще в то время, когда движение сделало только первые свои успехи и совсем не было известно, примкнут ли к революции австрийцы и пруссаки, без которых, конечно, такой важный вопрос решать не приходилось.

Инициатива созыва парламента вышла из Бадена. Еще в 1832 г. Велькер здесь сделал предложение в этом смысле, но тогда эта идея не могла встретить поддержки со стороны нации. В 1847 и начале 1848 г. баденские политические деятели собирались на съезды, на которых тоже заходила речь о необходимости народного представительства при союзном сейме или при таможенном союзе; то же самое было предложено всего за две-три недели до Февральской революции в самой баденской палате. 5 марта в Гейдельберге произошел новый съезд баденских политических деятелей и представителей либеральной буржуазии из других частей Германии. Это

были большей частью те же самые люди, которые съезжались в Геппенгейм незадолго до Февральской революции. Всех членов съезда было пятьдесят один, в числе их баденцев — двадцать (Бассерман, Мати, Гервинус, Велькер, Гейсер и др.), вюртембергцев — девять (между ними Рёмер) и т. д.; менее всего приехало из Пруссии (двое) и из Австрии (один). Собрались, собственно говоря, наиболее видные и влиятельные депутаты представительных палат Юго-Западной Германии, и среди них были все главные деятели местных мартовских революций, сделавшиеся тогда министрами (Мати, Рёмер, Гагерн и др.). Подавляющее большинство членов съезда состояло из либералов, но было на нем и несколько баденских радикалов (Струве, Геккер, Брентано, Ицштейн). От последних вышло даже предложение провозгласить республику, но оно было отклонено монархическим большинством съезда. Главным решением, принятым в Гейдельберге, было «создать национальное представительство, выбранное во всех немецких землях по числу жителей»... «для устранения ближайших внутренних и внешних опасностей, угрожающих отечеству, и для развития силы и процветания немецкой национальной жизни». Для приведения в исполнение этого решения был выбран особый комитет, в состав которого вошли Гагерн, Велькер, Ицштейн, Рёмер и еще трое депутатов; двое из членов этого комитета были мартовские министры. Вместе с этим 11 марта было постановлено созвать в конце месяца во Франкфурте-на-Майне уполномоченных от земских чинов отдельных государств для образования «предварительного парламента» (Vorparlament), который окончательно организовал бы национальное представительство. Эти решения были приняты с восторгом во всей Германии. Со своей стороны и союзный сейм поспешил заявить о необходимости пересмотра союзной конституции. Конкурируя с гейдельбергским съездом, он обратился к правительствам с приглашением прислать во Франкфурт особых уполномоченных для пересмотра конституции. Правительства поспешили исполнить это желание союзного сейма, но хотя в числе посланных ими уполномоченных были весьма популярные в то время деятели (например, Бассерман, Гагерн, Гервинус и т. п.), эта мера не имела никакого реального значения. Немецкая нация пошла не за союзным сеймом, а за гейдельбергским съездом.

В таком положении были дела в Германии, когда в середине марта вспыхнули революции в столицах обеих великих немецких держав, в Вене и в Берлине. Монархии Габсбургов в 1848—1849 гг. предстояло пережить очень бурное время. Еще прежде чем поднялись немецкие подданные Австрии, уже начались революционные движения среди мадьяр и славян, а несколько дней спустя вспыхнуло восстание и в итальянских владениях монархии. Ход и судьбу революций в Венгрии, у славян и в Ломбардо-Венецианском королевстве мы рассмотрим в следующей главе, чтобы сосредоточить все свое внимание лишь на немецкой революции.

Брожение в Вене началось при первых же известиях о том, что делается во Франции и в Западной Германии. Как и в других местах Германии, и в Вене стали составляться адреса с требованием «переменить систему». Правительство, напуганное событиями в Париже и в столицах средних и мелких государств, совершенно растерялось. Меттерних, привыкший к покорности венского населения и убежденный, что его система — лучшее средство против революций, и слышать не хотел ни о каких уступках, но брат императора Франц-Карл и его жена эрцгерцогиня Софья, которые давно уже тяготились всемогуществом Меттерниха, советовали пойти на уступки. Слабый Фердинанд I колебался и не знал, что предпринять. Под адресами о перемене системы были подписи высших чиновников, богатых фабрикантов и купцов, и это производило впечатление на двор. В ресторанах и кофейнях громко читались и обсуждались газетные известия об успехах революции, и никто не обращал внимания на шпионов тогдашнего начальника полиции Седльницкого. Сильно волновалась и студенческая молодежь, которая потом играла такую видную роль в венской революции. За адресами австрийского промышленного союза и именитого венского бюргерства последовал адрес, составленный на сходке венских студентов в университете и отнесенный императору двумя профессорами. Этот студенческий адрес заключал в себе известные народные требования. Все это происходило 11 и 12 марта. 13-го числа открылись заседания нижеавстрийского земского сейма, и перед местом их собрания столпилась большая публика, состоявшая почти исключительно из прилично одетых людей: хотя венский пролетариат предместья тоже волновался, но он выступил только позднее. Студенты тоже собрались в актовом зале университета, чтобы узнать, какой ответ последовал на их адрес. Затем и они двинулись к месту заседания сейма. Здесь произошло настоящее народное собрание с политическим характером, после того как к толпе обратился с зажигательной речью один демократически настроенный молодой доктор по фамилии Фишгоф. От имени народа он обратился потом к земским чинам с требованием, чтобы они передали народные желания императору. Потом один студент громко прочитал перед собравшимися страстную речь, которую незадолго перед тем Кошут произнес в венгерском сейме. В ответ послышались крики: «Долой Меттерниха! Долой иезуитов!» Между тем земские чины объявили народу, что будут просить императора об обнародовании государственного бюджета и о созыве сословного комитета из всех провинций. «Только-то! — закричали в толпе. — К черту чины! Конституция! Да здравствует конституционный австрийский император!» Когда часть толпы ворвалась в само здание, где заседали чины, сеймовый маршал, сказав, что ничего более не остается, как передать императору требования народа, отправился в сопровождении студенческого отряда во дворец. Между тем на улицах собиралось войско, состоявшее из конницы,

пехоты и артиллерии. Командовавший им эрцгерцог Альбрехт направил его ко дворцу чинов, бывшему в руках толпы. Из окон дворца в солдат полетели обломки мебели, в ответ на что со стороны солдат грянул в окна ружейный залп. Из окон продолжали бросать разные предметы, и какой-то обломок попал в плечо эрцгерцога. Послышались два новых залпа, и когда пороховой дым рассеялся, на месте оказались убитыми пять человек. Толпа обратилась в бегство, взывая о мщении и пытаясь строить баррикады против преследовавшей ее кавалерии. После полудня неподалеку от Гофбурга собралось множество вооруженных бюргеров, которые послали к императору депутацию с просьбой отозвать войска. Одновременно с этим явилась во дворец депутация от земских чинов, а также прибыл и ректор университета, посланный студентами с требованием раздать им оружие. На улицах продолжались выстрелы, но вообще убито и ранено было лишь человек пять-десять, не больше. Во время этой борьбы значительная толпа тоже направилась к императорскому дворцу, охранявшемуся четырьмя тысячами солдат и несколькими пушками. Эрцгерцог Максимилиан дал приказ прогнать эту толпу картечью, но не встретил повиновения со стороны солдат. Сам Фердинанд I заперся в одной комнате, оставив при себе лишь слугу, и не велел никого к себе пускать. «Видите, я не приказываю стрелять», — говорил он этому слуге. В залах, где собрались придворные, члены государственного совета, офицеры и члены депутатий, царствовал настоящий хаос. Туда и приехал Меттерних. Увидев одного из депутатов от именитого бюргерства, он стал стыдить его, что бюргеры в союзе с военными не могут справиться с простым уличным буйством. «Ваше сиятельство, — отвечал тот словами герцога Лианкура Людовику XVI после взятия Бастилии, — это не уличное буйство, это — революция». «Неправда, — возразил Меттерних, — это только жида, поляки, итальянцы и швейцарцы подстрекают народ». Депутат показал канцлеру на подписи, стоявшие под петицией, и заметил, что бюргеры не могут действовать заодно с войском, раз оно стреляет в народ. Эрцгерцоги Альбрехт и Максимилиан объявили, что и в бюргеров будут стрелять, если они не захотят быть на стороне войска. После такого заявления депутатам ничего не оставалось делать, как оставить залу. Так как, однако, явились другие депутатии, которые настоятельно требовали отставки Меттерниха, то при дворе решено было пожертвовать канцлером. Все депутатии были созваны тогда в одну залу. К ним вышел сам Меттерних. «Вы заявили, — сказал он, — что только моя отставка может восстановить спокойствие; я с радостью исполняю ваше желание». «Ваше сиятельство, — ответил ему один депутат, — мы ничего против вас лично не имеем, но все имеем против вашей системы. Благодарим вас за вашу отставку. Да здравствует император Фердинанд!»

Так произошло падение знаменитого австрийского канцлера, в течение тридцати с лишком лет бывшего одним из главных деятелей общев-

ропейской реакции. Немедленно же он оставил дворец и город и через Прагу уехал в Лондон, куда бежал за две недели перед тем и Гизо. Вилла Меттерниха была разгромлена народом.

После удаления Меттерниха во дворце согласились раздать оружие студентам и бюргерам. Вечером вся Вена была иллюминирована по случаю отставки ненавистного министра. Ночью студенты организовались в знаменитый «академический легион», получивший такое важное значение в дальнейшем ходе венской революции. Вооружилась также и буржуазия. Она считала нужным это сделать не только для того, чтобы защищать свободу, но и для того, чтобы поддерживать порядок, которому грозило выступление городской черни. Когда в предместьях Вены распространилась весть об уличной борьбе, целые толпы народа бросились оттуда во внутренний город, но перед ними заперли ворота. Тогда народ рассеялся по улицам предместий и произвел целый ряд разных бесчинств — поджигал фабричные здания, портил машины, ломал уличные фонари и зажигал газ, выходявший из сломанных трубок, громил городские таможни и т. п. С валов внутреннего города в бесчинствующие толпы стреляли даже из пушек. Правительство поручило усмирение рабочих бюргерской гвардии. «Академический легион» не принимал участия в этом деле, и отсюда возникли хорошие отношения между студентами и пролетариатом.

Мало-помалу при дворе пришли в себя. 14 марта около 3 часов дня появилась прокламация, объявлявшая, что «император повелел для восстановления порядка передать все необходимые полномочия и подчинить все гражданские и военные власти фельдмаршалу князю Виндишгрецу». Это известие вызвало крайнее раздражение в населении Вены, и в ночь на 15 марта на улицах был расклеен плакат, из которого жители столицы узнали, что их город объявлен в военном положении. Однако на продолжение борьбы двор не решился. В тот же день появилась императорская прокламация, обещавшая подданным свободу печати, учреждение национальной гвардии на основании известного имущественного и образовательного ценза (*aus den Grundlagen des Besitzes und der Intelligenz*) со свободным выбором офицеров и созыв депутатов от всех провинциальных чинов с усиленным представительством сословия граждан для соглашения с императором относительно задуманной им «конституции отечества». Успеху революции много содействовало появление в этот день в Вене венгерской депутации с Кошутом во главе, которая тоже приехала со своими требованиями к императору. 17 марта состоялось торжественное погребение «павших за отечество 13 и 14 марта»; в процессии участвовала гражданская гвардия и масса народа, которую определяли тысяч в тридцать. Известие о венском перевороте быстро распространилось по всей Австрии и вызвало восстание в Милане, за которым последовало восстание Ломбардии.

Наконец, дошла очередь и до Пруссии. Еще раньше, чем произошла Берлинская революция, в некоторых частях монархии Гогенцоллернов уже обнаруживались признаки революционного настроения. Прежде всего отложился от Пруссии Невшатель. Затем начались демонстрации в прирейнских провинциях. В Кёльне происходили народные сходки, на которых играли и пели «Марсельезу»: в этом городе отдельно от бюргерства уже выступал со своими требованиями и пролетариат, так как среди него уже достаточно были распространены социалистические идеи; в народных массах рассуждали о монархии или республике и даже раздавались голоса за присоединение к Франции. В самом Берлине возбуждение росло с каждым днем, и особенно волновались рабочие, на которых произвело сильное впечатление известие о том, что в состав временного правительства в Париже вошел простой рабочий и что это правительство обещало рабочим улучшение их быта. Правительство держало наготове войска, но официально заявляло, что «в Пруссии король, войско и народ остаются верными себе из рода в род», как было сказано королем в тронной речи при роспуске комитета земских чинов. Но в тот же самый день (6 марта), когда сказаны были эти слова, произошла в Тиргартене первая народная сходка. И здесь начинал выступать на сцену пролетариат. Недаром уже вечером 6 марта один прусский граф в разговоре с принцем Прусским (будущим императором Вильгельмом I) доказывал необходимость вооружения бюргеров для поддержания внутренней «безопасности». 7 марта состоялось новое народное собрание в Тиргартене, сделавшемся на все время революции главным местом сходок. Здесь уже был принят адрес к королю и была выбрана для представления его особая депутация. Но в принятии депутации было отказано. Тем не менее это собрание произвело впечатление на Фридриха-Вильгельма IV, и прокламацией 8 марта он обещал реформу законов о печати с уничтожением цензуры и «гарантиями против злоупотреблений свободой». Сходки продолжались и в следующие дни. В городской ратуше тоже происходили важные совещания. Большинство «отцов города» было, однако, настроено очень умеренно. 7 марта 18 голосами против 9 было отвергнуто предложение просить короля о созыве соединенного ландтага. В следующие дни гласные были озабочены вопросом о том, что делать с массой бедняков, не находивших себе работы. Одна петиция, представленная в городской совет, просила назначить особую комиссию, которая занялась бы благосостоянием рабочих, и собрать путем общей подписки деньги, необходимые для организации общественных работ. В городе распространялись тревожные слухи; на улицах и площадях постоянно толпился народ; взад и вперед двигались военные отряды, которые занимали караулы у дворца, арсенала и т. п. Громко говорили, что принц Прусский горит нетерпением подавить народное движение.

Борьба народа с правительством действительно была неминуема, но предстояла и борьба между буржуазией и пролетариатом. На народной сходке 13 марта был принят новый адрес королю, в котором говорилось, что народ находится в угнетении у капиталистов и ростовщиков, и предлагалось учредить особое министерство труда, «дабы предохранить государство от опасности, обеспечить достояние всех от разорения и улучшить судьбу рабочих». Когда толпа, бывшая на сходке, возвращалась в город, у бранденбургских ворот у нее произошла стычка с войском, у дворца же толпу приняли в штыки. Новый адрес и первое столкновение народа с войском берлинские газеты комментировали самым враждебным для народа образом. «Vossische Zeitung»¹ называла адрес «чисто коммунистическим», рассчитанным лишь на «произведение смуты в рабочем классе», и хвалила поведение полиции, которая убедилась-де, что на сходке вовсе не была выражена настоящая воля благонамеренных граждан, так как состояла эта сходка лишь из разного сброда. 14 марта король принял депутацию городской думы. Он сказал ей, что нельзя ожидать, чтобы в Берлине температура оставалась ниже точки замерзания, когда вокруг во всем мире все кипит, выразил радость, что, однако, порядок более не нарушается, и обещал позаботиться о постепенном развитии существующих учреждений: на 27 апреля он созовет соединенный ландтаг, и тогда все будет решено. В тот же день вечером появился королевский патент, в котором говорилось о созыве соединенного ландтага, «дабы защитить страну свободными учреждениями от опасностей революции и анархии». Одновременно с тем на углах улиц были расклеены плакаты, запрещавшие под страхом строгих наказаний всякие скопища и сходки. При встречах на улицах народ и войско обнаруживали крайнее раздражение друг против друга. Пришедшее вечером известие о победе народа в Вене только усилило брожение, и 15 марта уличные беспорядки приняли еще бóльшие размеры; войско стреляло, были убитые и раненые. На другой день происходило то же самое. Бюргеры и студенты предлагали властям свои услуги для восстановления порядка, но их предложения были отвергнуты. 17-го числа внешний порядок не был нарушен, но брожение в народе было очень сильное. Приходили новые известия из Вены; узнали о приезде депутации из Кёльна; говорили даже, что кельнская депутация будет грозить отложением рейнских провинций и присоединением их к Франции, если король не согласится принять требования народа. В разных местах происходили бюргерские собрания, на которых было решено устроить «мирную демонстрацию желаний народа»: она должна была состоять в процессии к королевскому дворцу в полном порядке и в передаче королю адреса с изложением жела-

¹ Старейшая берлинская газета, основана в 1704 г., названа по имени издателя Фосса. — *Прим. ред.*

ний народа, каковыми были названы свобода печати, скорейший созыв соединенного ландтага, отзывание войска и вооружение граждан.

18 марта в десять часов утра Фридрих-Вильгельм IV милостиво принял рейнскую депутацию. Король объявил ей, что «желания рейнландцев, — его собственные желания». За этой депутацией пришла другая, задуманная накануне, и ей тоже король сказал, что удовлетворит все желания народа. Дело в том, что в ночь с 17 на 18 марта под влиянием, с одной стороны, усиливавшегося возбуждения в столице, с другой — известий из других мест при дворе, нашли нужным быть поговорчивее. Обещания короля были подтверждены в тот же день двумя патентами о скором созыве соединенного ландтага и об уничтожении цензуры; в первом из этих патентов говорилось, что новый вид, какой принимает Германский союз, делает необходимым введение конституций во всех немецких землях. Радость населения была неопишущая. Перед дворцом собирались толпы народа и восторженно приветствовали короля, выходившего на балкон и приветливо махавшего народу платком. Только среди пролетариата не было заметно одушевления. Рассказывают, что Савиньи, в то время министр юстиции, стал объяснять одному рабочему, который смотрел несколько свирепо, что королем, собственно, дано гораздо больше, нежели у него требовали, но получил такой ответ: «Ничего ты, старичок, не понимаешь; ничего нам не дали». Едва король удалился с балкона, как на площади перед дворцом опять начался шум. Толпа потребовала, чтобы удалили отряд войска, стоявший на карауле у дворца. В это время вдруг на площади появляется эскадрон драгун и с саблями наголо нападает на толпу, а из внутреннего двора замка выступает отряд пехоты и штыками разгоняет собравшихся. Раздаются два ружейных выстрела, и начинается побоище. С криками: «Измена! К оружию! Мшение!» разбегается народ с дворцовой площади и поднимает чуть не все население города. На улицах воздвигаются баррикады или вырываются глубокие рвы, чтобы мешать движению конницы; с крыш снимают черепицу, чтобы бросать ее вниз на проходящие войска; оружейные лавки берутся приступом, и каждый вооружается чем может; на колокольнях бьют в набат, и на этот призыв в Берлин спешат окрестные жители. Люди, посланные из дворца успокоить население столицы, объяснить ему, что тут вышло какое-то недоразумение, уже не могли ничего поделать. Началась упорная борьба, в которой самое деятельное участие приняли рабочие; с одной только фабрики, например, явилось около тысячи человек на баррикады. Студенты, незадолго перед тем предлагавшие свои услуги для восстановления порядка, тоже в большом количестве дрались на баррикадах. Женщины и девушки приносили бойцам есть и пить, дети лили пули. Борьба продолжалась тринадцать часов и кончилась лишь около 6 часов утра 19 марта. Народ овладел всеми городскими воротами и оттеснил утомленные войска к центру города. Фридрих-Виль-

гельм IV, которому дело было представлено так, будто в восстании участвует только одна пьяная сволочь, подстрекаемая приезжими бунтовщиками, сначала и слышать не хотел о том, чтобы отозвать войска, но наконец увидел, что дальнейшее продолжение борьбы может окончиться катастрофой вроде парижской.

В 7 часов утра появилась королевская прокламация «К моим любезным берлинцам», в которой Фридрих-Вильгельм IV обещал отозвать войска, если народ оставит баррикады. Но ответом на эту прокламацию были новые выстрелы с баррикад. Между тем во дворец стали прибывать депутаты граждан, которые сообщали, что все население жаждет продолжения борьбы и что ближайшей целью восставших является сам королевский замок. После этого Фридрих-Вильгельм IV приказал войскам удалиться из Берлина, несмотря на то что принц Прусский настаивал, чтобы этого не делали. Одновременно было оповещено, что король думает назначить новое министерство в духе народных требований. Немедленно затем началось выступление войск, а к королевскому замку двинулась громадная толпа народа, которая принесла во двор замка и трупы убитых. Толпа шумно потребовала, чтобы к ней вышел король, и когда, наконец, он вместе с королевой появился во внутренней галерее, его заставили обнажить голову и выслушать пение церковной песни: «Иисус — мое прибежище». Затем у короля потребовали вооружения граждан, на что он тоже должен был согласиться, и в тот же день на караул у дворца стал первый отряд гражданской стражи. Вечером город был блестяще иллюминирован. В этот и следующие дни король старался всячески заискивать у своих «любезных берлинцев». Так как в народе в эти дни обнаружилось сильное возбуждение против принца Прусского (народные ораторы требовали даже его устранения от престолонаследия, а его дворец был спасен от разгрома только сделанной на нем надписью «национальная собственность»), то Фридрих-Вильгельм IV поспешил отправить его в Англию, якобы с дипломатическим поручением. Отъезд принца из Берлина был настоящим бегством, и принц оставался в Лондоне, пока не прошла революционная буря. 20 марта Фридрих-Вильгельм IV обнародовал всеобщую амнистию, и из тюрем были выпущены политические узники. В числе последних были и поляки, арестованные в 1846 г. (Мирославский, Либельт и др.). Их даже с триумфом возили по улицам Берлина, и Мирославский с черно-красно-золотым знаменем в руках обращался к народу с речью. Вместе с тем король говорил, что он вполне разделяет желания народа и отдает себя под его охрану. Как внешний знак своего присоединения к национальному движению, он принял черно-красно-золотую кокарду и велел употреблять ее в войсках. Наконец, 21 марта была обнародована следующая прокламация: «К немецкой нации! С сегодняшнего дня начинается для вас новая славная история. Вы опять сделали единой и великой нацией, свобод-

ной и могущественной в сердце Европы. Прусский Фридрих-Вильгельм IV, уповая на ваше геройское содействие и ваше духовное возрождение, стал во главе общего отечества для спасения Германии. Вы еще сегодня увидите его со старыми почтенными цветами немецкой нации в вашей среде! Да будет благословение над конституционным государем, вождем всего немецкого народа, новым королем свободной возрожденной нации!» Эта прокламация, составленная новыми либеральными министрами, была принята с большим восторгом, и король верхом на лошади мог, среди восторженных криков народа, проехать по некоторым улицам города. Увлеченный своей страстью к ораторству, он обратился к народу с речью, в которой говорил, что это вовсе не узурпация с его стороны, если он объявляет себя призванным спасти немецкие свободу и единство. «Клянусь перед Богом, — воскликнул он, — что я не хочу низвергать государей с их тронов, но хочу только защитить единство и свободу Германии немецкой верностью на основах истинно-германского конституционного устройства». Короля сопровождали вооруженные студенты, и приветствовала гражданская стража. К последней он тоже обратился с несколькими словами, прося ее верить, что у него нет слов для выражения своей благодарности. И здесь один рабочий крикнул: «Не верьте ему», но был тотчас же арестован. С красивою речью обратился король и к студентам, уверяя их, что он желает только свободы и единства Германии и что, стремясь к порядку, он далек от какой бы то ни было узурпации. Городским представителям он сказал, что сила его не в его храбром войске и не в полной казне, а в сердцах и верности его народа. В тот же день появилась новая королевская прокламация, озаглавленная: «К моему народу и к немецкой нации». В ней объявлялось, что Пруссия берется за спасение и успокоение Германии путем предложения всем государям и чинам Германии устроить одно общее собрание. Будущее единство Германии должно было быть, по этой прокламации, основано на следующих принципах: «повсеместное введение истинных конституционных учреждений, с ответственностью министров, гласное и устное уголовное судопроизводство с участием присяжных, политическая и гражданская равноправность для всех вероисповеданий и истинно-народное свободное управление». 22 марта был обнародован новый избирательный закон, который правительство должно было предложить сейму. Вместе с этим было обещано представить сейму законопроекты о гарантиях личной свободы, о праве собраний и ассоциаций, об организации национальной гвардии и свободном выборе ее офицеров, об ответственности министров, о введении суда присяжных в уголовных делах, не исключая политических и преступлений печати, о независимости судейского сословия, об уничтожении патримониальной юстиции и вотчинной полиции. В заключение говорилось, что армии будет приказано принести присягу новой конституции. В этот же день состоялось погребение

ние убитых во время уличной борьбы, большей частью рабочих. Процессия, в которой участвовала масса народа, прошла мимо королевского замка, и Фридрих-Вильгельм IV все время стоял на балконе с непокрытой головой. Убитых прославляли в надгробных речах и в газетных статьях — в тех же самых органах, которые незадолго перед тем совершенно иначе относились к народу. Громадное большинство газет выражало полное удовольствие по поводу всего случившегося и смотрело на будущее самым радужным образом. Только одна «*Zeitungshalle*»¹, издававшаяся Юлиусом, напечатала статью, которая произвела крайнее раздражение среди берлинских бюргеров. 24 марта хоронили убитых солдат, и на их могиле собралось немало бюргеров, кричавших армии виваты. Объясняя, каким образом последнее могло случиться, редактор «*Zeitungshalle*» писал следующее: «Дело в том, что у нас совершенно так же, как во Франции, как в Англии, произошел разрыв между классом бюргеров и классом рабочих. Борьба ведется не между королевской властью и республикой, а между имущими и теми, которые стремятся что-либо получить посредством своей работы. Наши бюргеры хорошо это понимают, и вот поэтому-то уже теперь, в первые дни после нашей славной революции они уже начинают из всех сил пятиться назад». Вместе с этим Юлиус находил, что вместо созвания соединенного ландтага король должен был бы октроировать² избирательный закон в смысле всеобщей подачи голосов, назначить на основании этого закона выборы и учредить «министерство для исследования и упорядочения отношений труда». На эту статью обрушились другие органы печати, объявившие, что у рабочих и у бюргеров одни и те же интересы и что Юлиус дурно воспользовался свободой печати в своей смутьянской статье. Между тем объяснение Юлиуса было совершенно верно. 27 марта уже подписывалась и собрала 14 тыс. подписей «добрых граждан» петиция о возвращении в Берлин войска. Того же требовали гражданская гвардия (по крайней мере ее вожди) и городской совет. Буржуазия обнаруживала самым явным образом намерение не допускать рабочих ни в гражданскую гвардию, ни к обсуждению политических вопросов в публичных собраниях. Ее испугало то, что уже 26 марта состоялось одно большое собрание рабочих, на котором были заявлены требования о министерстве труда, составленном из рабочих и работодателей, о десятичасовом рабочем дне, о сокращении машин и т. п. Настроение рабочих тревожило также полицию и городское управление. Первая выпроваживала из Берлина пришедших пролетариев, второе задумало устроить общественные работы.

Берлинская революция отразилась и в других местах Пруссии. Между прочим, взволновались и крестьяне, так что правительство в апреле вынуждено было снова приняться за вопрос об окончательной ликвида-

¹ «Газетный зал» (нем.). — *Прим. ред.*

² То есть пожаловать (октроуе, фр.). — *Прим. ред.*

ции старых крепостнических отношений. Сельское население было уверено, что новое народное представительство совершенно и безвозмездно отменит все крестьянские повинности.

Последняя «мартовская» революция совершилась в Шлезвиг-Гольштейне, где уже раньше началось сильное брожение против нового датского короля. Еще 18 марта немецкая партия сейма обоих герцогств потребовала у Христиана VIII общей для них национальной конституции, но в этом депутации было отказано. Берлинский переворот и заявление Фридриха-Вильгельма IV, что он станет во главе германской нации, вызвали в обоих герцогствах большую радость. 23 марта в Киле вспыхнуло восстание, на сторону которого перешло и войско. Вся страна последовала примеру Киля и признала немедленно образовавшееся временное правительство.

Итак, в первые три недели марта 1848 г. революция обошла все столицы тогдашней Германии. Сам союз уже не мог существовать в своем прежнем виде. Это было признано не только гейдельбергским съездом и союзным сеймом, но и прусским королем, который объявил (в прокламации 22 марта), что отныне Пруссия принадлежит Германии и что сама Германия должна была получить новое устройство. Между тем исполнительным комитетом гейдельбергского съезда были разосланы приглашения к наиболее видным из бывших или настоящих членов палат и земских чинов и разным другим лицам, занимавшим общественные должности, приехать во Франкфурт-на-Майне для образования из себя «форпарламента». Одновременно Гагерн и граф Лербах объезжали отдельных государей для переговоров о новом федеральном устройстве Германии с общим народным представительством. Повсеместный успех революции делал немецких государей весьма сговорчивыми. 31 марта во франкфуртской церкви Святого Павла произошло первое собрание «форпарламента». Всех съехалось 511 человек, в числе которых из Пруссии были 141 член, из Австрии — только двое. Собрание выбрало своим председателем знаменитого гейдельбергского профессора уголовного права Миттермайера, товарищами председателя — Блума, Ицштейна, Дальмана и Иордана. Вообще в составе «форпарламента» было значительное число профессоров. Юридическое значение этого собрания страдало большой неопределенностью. Собственно говоря, съехавшихся в Франкфурт людей никто не выбирал, так что они не могли считаться представителями народа, они не были и уполномоченными от правительств тех земель, из которых явились заседать в предварительном парламенте для подготовки уже настоящего парламента. Тем не менее оно пользовалось громадным нравственным авторитетом и было единственной силой, которую уважали и которой слушались в Германии. На доверенных, посланных отдельными правительствами в союзный сейм для выработки проекта нового устройства, никто даже не обращал ни малейшего

внимания, и вся их работа, конченная в последних числах апреля, пропала даром. Свою задачу «форпарламент» исполнил очень быстро, в первых же числах апреля. Было решено: к 1 мая созвать во Франкфурте единое (einzig und allein) для всей Германии национальное собрание, избранное всеобщей подачей голосов без всяких ограничений каким-либо имущественным цензом или принадлежностью к какому-либо вероисповеданию; на каждые 50 тыс. жителей должен был приходиться один депутат. Этому национальному собранию и предстояло дать Германии новое государственное устройство. Приведением в исполнение этих постановлений в промежуток времени между концом «форпарламента» и началом национального собрания должен был заведовать особый «комитет пятидесяти» (Fünfzigerausschuss), к которому фактически перешла в это время вся власть союзного сейма. Наиболее дальновидные члены «форпарламента» доказывали необходимость не расходиться до собрания настоящего представительства, но громадное большинство уклонилось от этой меры.

Франкфуртский парламент собрался через полтора месяца после окончания заседаний «форпарламента». Но еще раньше в Западной Германии произошли новые события, оказавшие большое влияние на дальнейший ход немецкой революции.

Еще в середине марта в Бадене (в Оффенбурге) и в Вюртемберге (в Гёппингене) состоялись большие политические сходки, после которых организовалась здесь большая республиканская партия. На первом из этих собраний предлагалось даже немедленно провозгласить республику. Уже в «форпарламенте» вожди этой партии (Струве и др.) потребовали превращения Германии в федеративную республику по североамериканскому образцу. Программа партии была демократическая, радикальная, и ею даже слегка затрагивался социальный вопрос. По крайней мере, демократы выражали намерение «устранить бедственное состояние рабочих классов и среднего сословия» и «уладить дурные отношения между капиталом и трудом». Но республиканская группа была слишком незначительна числом, чтобы быть в состоянии провести на практике свои идеи. Недовольные поведением подавляющего большинства «форпарламента», которое не обнаруживало достаточной решительности и даже проявляло боязнь перед новой революцией с чисто демократическим характером, наиболее энергичные республиканские члены собрания тотчас же по закрытии «форпарламента» собрались в одной гостинице и постановили, ввиду того что решения «форпарламента» могут испортить все дело, призвать народ к оружию. Они думали, что население разделяет их политические идеи и революционное настроение. Наскоро Геккер и Струве организовали в Баденском оберланде вольные отряды, которые должны были начать республиканское восстание. На помощь к ним были призваны из Франции и Швейцарии жившие там немцы, в это время большей частью не имев-

шие работы. К восстанию готовы были примкнуть несколько французов и поляков. Предприятие не встретило, однако, ни малейшей поддержки в той местности, через которую должны были проходить инсургенты. Вожди ожидали перехода на их сторону союзных войск, посланных подавить восстание, но и этого не случилось. При Кандерне и Доссенбахе инсургенты потерпели такие поражения, что должны были признать себя побежденными. В числе предводителей этого странного восстания был и знаменитый поэт Гервег. Маркс и Энгельс, жившие тогда в Париже, были против этого предприятия и отсоветовали многим из немецких эмигрантов возвращаться в Германию таким путем. Они находили всю эту затею своего рода «игрой в революцию» и говорили, что насильно ввозить революцию из-за границы значит только подставлять ножку серьезному движению. Между пленными инсургентами оказалось несколько десятков французов, что дало повод многим немецким патриотам говорить чуть не об «иностранном вмешательстве», к которому прибегли баденские демократы. С другой стороны, для правительств это было удобным предложением держать войска наготове. Впрочем, для усиления реакционного настроения в известной части нации была и другая причина. В больших городах, где скучены были массы рабочего люда без работы и без хлеба, происходило значительное демократическое движение с социальным характером. Это не было политическим движением с ясно сознанной целью и сколько-нибудь правильной организацией, но оно тем не менее пугало немецкую буржуазию и тот общественный класс, который получил название «Spiesbürgerthum» (ремесленники, лавочники и т. п.). Добившись «свободы», бюргерство всех степеней начало бояться «анархии» и стало везде на страже «порядка». Гражданская гвардия сделалась своего рода полицией безопасности. На солдат, в которых незадолго еще видели орудия деспотизма, стали смотреть как на необходимых союзников. Мы видели, как скоро после победы народа это настроение обнаружилось в Берлине. В этом городе в 20-х числах апреля была задумана большая мирная демонстрация, в которой должны были принять участие рабочие; целью ее было поддержать требование прямых выборов. Гражданская стража усмотрела в этом бунт, и были приняты меры, чтобы помешать этой демонстрации, которая так и не состоялась. Многие демократы прямо высказывались в том смысле, что народ еще «не созрел» для прямых выборов, хотя последние были приняты при избрании депутатов во франкфуртский парламент. Устроенные около Берлина земляные работы, которыми правительство заняло часть рабочих, тоже многим не понравились, так как в этом они видели поощрение лени и тунеядства на казенный счет. В Вене также были устроены земляные работы, чтобы занять праздные руки и отвлечь рабочих от непрекращавшегося брожения. В австрийской столице все это время господствовало народное возбуждение. Настоящей властью в городе был центральный

комитет национальной гвардии и «академического легиона». Хотя этот комитет был настроен демократически, сама национальная гвардия относилась к пролетариату крайне недоверчиво и старалась устранить его от участия в событиях. Зато между студентами и рабочими установились наилучшие отношения, и стоило только «академическому легиону» кликнуть клич, как на его сторону становились массы пролетариев; студенты сделались настоящими вождями рабочих. Правительство, поддерживаемое национальной гвардией, задумало поэтому упразднить центральный комитет. Как и в Пруссии, в это время здесь стоял на очереди вопрос о выборах в будущее национальное представительство. Центральный комитет решил добиваться демократического закона о выборах как раз в тот момент, когда был поставлен вопрос о самом существовании комитета. 15 мая в Вене произошло новое восстание: за «академическим легионом» двинулись вооруженные рабочие, и правительство должно было снова уступить. Но в буржуазии уже распространялось мнение, что народ не созрел для прочных выборов. Когда Фердинанд I 17 мая бежал в Инсбрук, венская буржуазия пришла в большое беспокойство, опасаясь провозглашения республики, и стала сближаться с министрами и аристократией. Особенно были недовольны «диктатурой студентов», грозившей, как говорилось, «еще большим одичанием рабочих». Всему этому опять было решено положить конец. 26 мая «академический легион», который приказано было распустить, снова поднял рабочее население предместий. Это третье восстание венцев было самое грозное. На улицах были воздвигнуты баррикады, войска должны были удалиться из города, и для поддержания порядка был учрежден особый комитет общественной безопасности (Sicherheits-Ausschuss) из бюргеров, представителей национальной гвардии и студентов. Весьма скоро он получил значение настоящего центрального правительства, менее всего, однако, думая сам о том, чтобы захватить власть в свои руки. Боязнь социальной революции все более и более распространялась и в австрийской столице, хотя, одержав 26 мая победу, венские рабочие со своей стороны не предъявили никаких требований и даже не думали добиваться, чтобы в числе членов нового комитета были представители и с их стороны.

Страх перед возможностью социальной революции оказал свое влияние и на деятельность франкфуртского парламента, собравшегося 18 мая. Состав этого собрания оказался весьма пестрый по общественному положению¹ и по политическим мнениям депутатов. Во всяком случае, здесь были собраны наиболее выдающиеся представители умственной и общественной деятельности во всей Германии. Демократы воображали, что франкфуртский парламент захватит в свои руки власть подобно «долгому

¹ Около 125 чиновников, по сотне из сословий ученого, судейского и адвокатского, около 75 землевладельцев, фабрикантов и купцов; остальные из духовных, врачей, писателей.

парламенту» в Англии или национальному Конвенту во Франции, но такое представление обнаруживало лишь полное непонимание положения вещей. В собрании, состоявшем из 586 членов, образовались следующие партии: правая, выдававшая себя за конституционно-аристократическую партию, но, в сущности, стоявшая за абсолютизм; центр, распадавшийся на конституционно-либеральную и демократическую фракции; левая, представлявшая собой более решительных демократов, а к ним примыкала еще немногочисленная крайняя левая, состоявшая из республиканцев, из которых многие выступали с более или менее ясно выраженным социалистическим оттенком. Впрочем, в составе и взаимных отношениях партий происходили перемены¹. Во главе левой стоял Роберт Блум; председателем был выбран Генрих Гагерн, который и объявил, что цель собрания создать германскую конституцию. «Право на это, — сказал он в своей вступительной речи, — заключается в верховенстве народа». На деле, однако, собрание вовсе не думало о том, чтобы стать действительным воплощением суверенитета нации. Парламент не создал зависимой от него вооруженной силы, на которую мог бы опереться. Старые правительства продолжали сохранять свою власть, и рядом с ними парламент скорее походил на ученый съезд, теоретически вырабатывавший конституцию. Правда, одной из первых забот собрания было установить временную центральную власть, которая была бы притом властью сильной, и на этот счет было сделано несколько предложений. Левая настаивала, чтобы парламент из своей среды назначил исполнительную власть, а крайняя левая даже имела в виду нечто вроде комитета общественного спасения времен национального Конвента, но громадное большинство и слышать не хотело о чем-либо подобном. Дело кончилось тем, что исполнительную власть решено быловерить так называемому «блюстителю империи» (*Reichsverweser*), который, будучи безответствен, управлял бы посредством ответственного министерства. 29 июня на этот пост был избран 436 голосами из 548 австрийский эрцгерцог Иоанн, сын императора Леопольда II. Ему в это время было уже 66 лет. До 1848 г. он жил вдали от двора, в полном уединении, частным человеком, и пользовался большой популярностью за свой мягкий характер и благородный образ мысли. Это тот самый эрцгерцог, который прославился патриотическим тостом при закладке башен кельнского собора². Когда двор в мае покинул Вену, Иоанн был оставлен в столице в качестве наместника, как лицо, пользовавшееся доверием народа. Он принял предложенное ему франкфуртским парламентом звание

¹ Правая делилась еще на протестантскую и католическую. Многие из видных политических деятелей предыдущего периода (Дальман, Я. Гримм, Велькер, Бассерман, Мати) принадлежали к правому центру, самой сильной и влиятельной партии. В левой видную роль играли Карл Фохт и Руге.

² Эрцгерцог жил в уединении после своей женитьбы на одной бедной девушке.

и 6 июня торжественно въехал во Франкфурт, и через несколько дней после этого (12 июня) старый союзный сейм сложил свои полномочия. «Блюститель империи» назначил и первое имперское министерство, первенствующим членом которого сделался австрийский депутат Шмерлинг. Но у этого центрального правительства, хотя оно и было признано отдельными правительствами, не было ни подчиненных органов, ни казны, ни армии. Правда, имперское министерство потребовало, чтобы 6 августа союзное войско принесло присягу «блюстителю империи», но это требование осталось без исполнения. Около этого времени на празднике отстройки кельнского собора произошла встреча между Фридрихом-Вильгельмом IV и эрцгерцогом Иоанном. Она была весьма дружелюбная, но король все-таки сказал Гагерну: «Не забывайте, что в Германии еще есть государи и что один из них — я».

Главным делом франкфуртского парламента была выработка конституции для всей Германии. Одним из наиболее важных вопросов был состав будущей империи. Австрия и Пруссия не были исключительно германскими государствами, и их положение в будущей Германии могло быть весьма различным. Приглашение прислать депутатов во франкфуртский парламент было распространено и на те немецкие провинции Австрии и Пруссии, которые не входили в состав союза, но чехи отказались прислать депутатов. Дело страшно усложнилось и запуталось, когда в самом парламенте пришлось решать вопрос о будущем составе Германии. На почве этого вопроса началось соперничество между Австрией и Пруссией, которому суждено было играть такую роль в истории объединения Германии. Франкфуртскому парламенту, конечно, прежде всего нужно было считаться с обеими великими державами, а они менее всего были расположены подчиняться решениям новой центральной власти, особенно после того, как осенью 1848 г. и в Вене и в Берлине, как мы увидим, началась реставрация «домартовских порядков». Оба государства явно обнаруживали, что будут вести свою собственную политику. Это прежде всего парламент мог увидеть из следующего. Еще «форпарламент», к которому обратились жители Шлезвига с жалобой на Данию, вместе с союзным сеймом поручил Пруссии от имени Германии произвести над Данией экзекуцию. Прусские войска вступили в герцогства, но Дания благодаря своему флоту стала наносить большой вред немецкой торговле. Когда сделалось ясным, что сторону Дании примет Швеция, и в дело вмешались великие державы, Пруссия поспешила заключить с Данией перемирие до 1 апреля 1849 г. на условиях, весьма выгодных для датского правительства. Это случилось в последних числах августа, а в начале сентября об этом узнал франкфуртский парламент, который, конечно, был крайне недоволен, что Пруссия в данном случае действовала вполне самостоятельно, не спросившись новой центральной власти. Положение самого парламента было, однако,

крайне затруднительным. Не принять перемирия значило бы разорвать с Пруссией, принять перемирие значило возбудить против себя население Франкфурта, находившееся под влиянием радикальной партии. Сначала собрание оттягивало дело, но потом должно было так или иначе высказаться. После бурных прений 14–16 сентября решено было весьма незначительным большинством принять перемирие. Тогда во Франкфурте вспыхнуло восстание, которое было возбуждено некоторыми радикальными депутатами с целью провозглашения республики и распускания парламента. Восстание началось 17 сентября, и на другой день толпы народа хотели ворваться в церковь Святого Павла, где заседал парламент. Во время этой смуты были даже убиты два депутата правой (князь Лихновский и генерал Ауерсвальд). Имперское министерство поспешило вызвать на помощь против народа австрийские и прусские войска, которые защитили парламент и подавили восстание. Со стороны Австрии тоже обнаруживалось по отношению к парламенту не такое отношение, какого он должен был желать. Всегдашним стремлением австрийского правительства было создать из всех габсбургских земель единую империю на началах строгой централизации, тогда как франкфуртский парламент принял за общий принцип, что в случае соединения немецких и ненемецких земель под одной и той же верховной властью, они должны находиться между собой лишь в отношении личной унии. Для Австрии это значило или отказаться от своей централистической политики, или совсем выйти из состава Германии. Сначала венское правительство обратилось к парламенту с просьбой оставить решение вопроса о будущем отношении Австрии к Германии до того времени, когда сама Австрия устроит свои внутренние дела. Тогда в парламенте и в нации образовалось две партии: великогерманская (Grossdeutsche), желавшая единой Германии с Австрией, и малогерманская (Kleindeutsche), которая, наоборот, думала устроить будущую Германию без Австрии. В сущности, за этим расколом скрывался вопрос о том, кому будет принадлежать гегемония в объединенной Германии — Австрии или же Пруссии. На стороне великой Германии были правая и республиканцы, на стороне малой Германии — оба центра, составлявшие большинство. Можно даже сказать, что малогерманская идея делала все большие и большие успехи. Австрия, однако, вовсе не думала о выходе из союза, и весьма естественно, что дело объединения Германии, над которым работал франкфуртский парламент, с этой стороны встретило сильную помеху, тем более что и Пруссия, как мы увидим, вовсе не желала поддерживать стремлений малогерманской партии.

К обсуждению имперской конституции франкфуртский парламент приступил к середине октября, когда и в Австрии и в Пруссии уже началась внутренняя реакция, которая, конечно, не сулила ничего хорошего и имперской конституции. Мы еще рассмотрим те события, которые про-

исходили в Германии во время выработки имперской конституции франкфуртским парламентом. Несмотря на все увеличивавшиеся затруднения и пестрый состав собрания, в котором рядом с республиканцами заседали феодалы и клерикалы и в котором было немало партикуляристов, в нем все-таки образовалось большинство, вынесшее на своих плечах весьма тщательно разработанную «конституцию Германской империи» (*Verfassung des deutschen Reiches*). Она была окончательно принята парламентом в конце марта 1849 г., но осталась простым памятником того, какое государственное устройство хотел этот парламент дать своему отечеству. С этой точки зрения она заслуживает особого внимания.

Германская имперская конституция 1849 г. заключалась в 197 параграфах, распределенных между семью отделами. В первом отделе говорилось о составе империи, во втором — об имперской власти, в третьем — о верховном главе империи, в четвертом — о рейхстаге, в пятом — об имперском суде, в шестом — об основных правах немецкого народа, в седьмом — об охране конституции. Мы начнем рассмотрение конституции с основных прав немецкого народа, на которых и остановимся несколько подробнее. Эти права, по буквальному выражению § 130, должны были «служить нормой для конституции отдельных германских государств, и никакая конституция или законодательство отдельного германского государства не могла отменить или ограничить эти права». Первой статьей этого отдела признавалась равноправность всех жителей Германии на всем ее протяжении без всякого различия в зависимости от принадлежности к тому или другому государству; между прочим, одним из §§¹ этой статьи запрещалось наказание гражданской смертью с распространением этого запрещения на все прежние приговоры подобного рода. «Перед законом, — гласила ст. 2, — нет различия сословий. Дворянство, как сословие, отменяется. Сословные привилегии уничтожаются. Немцы равны перед законом. Все титулы, поскольку они не соединены с какой-либо должностью, отменяются и не должны быть восстанавливаемы. Общественные должности одинаково доступны для всех способных их занимать. Воинская повинность для всех одинакова, и замещение при ней возбраняется». Третья статья устанавливала неприкосновенность свободы личности. Арест за исключением случая захвата на месте преступления мог совершаться только в силу судебного и притом мотивированного приказа с разрешением освобождения от ареста под условием залога или поручительства по определению суда. Смертная казнь за изъятием случаев, предусмотренных военным или морским правом, равно как клеймение преступников и телесные наказания отменялась. Этой же статьей жилище объявлялось неприкосновенным. Впрочем, домашние обыски допускались в силу судебного мотиви-

¹ Здесь и далее параграфов. — *Прим. ред.*

рованного приказа при преследовании преступника по свежим следам, и в особых случаях, когда закон в виде исключения уполномочивает к тому определенных должностных лиц и без судейского приказа. Тут же признавалась неприкосновенность тайны писем. «Каждый немец, — гласила ст. 4, — имеет право свободно выражать свои мнения устно, письменно, в печати и посредством изображений. Свобода печати ни при каких обстоятельствах и никоим образом не должна быть ограничиваема, отсрочиваема или отменяема посредством таких мероприятий, каковы цензура, концессии, залоги, стеснение типографий или книжной торговли, запрещение почтовой пересылки и другие помехи свободного обращения. По проступкам печати, преследования за которые будут начинать власти, должен действовать суд присяжных». «Каждый немец, — читаем мы далее в ст. 5, — имеет полную свободу веры и совести. Никто не обязывается высказывать свое религиозное убеждение. Ничто не ограничивает немца в совместном с другими домашнем или публичном отправлении обязанностей своей религии. Пользование гражданскими или политическими правами отнюдь не обуславливается и не ограничивается вероисповеданием. Каждое религиозное общество устраивается и управляется самостоятельно, оставаясь, однако, подчиненным общим государственным законам. Ни одно религиозное общество не пользуется какими-либо привилегиями в сравнении с другими со стороны государства, а потому впредь не будет никакой государственной церкви. Могут образовываться новые религиозные общества, не нуждаясь в признании их исповедания со стороны государства. Никто не должен быть принуждаем к какому-либо церковному действию или празднованию». Той же статьей устанавливалась закономерность одного гражданского брака с устранением прежних препятствий к заключению браков, вытекавших из разницы вероисповедания. «Наука и ее учения свободны, — гласила ст. 6. — Обучение и воспитание находится под верховным надзором государства и за исключением преподавания религии изъимается из наблюдения духовенства. Основывать учебные и воспитательные заведения, руководить ими и преподавать в них может свободно каждый немец, раз он докажет свою способность в соответственном государственном учреждении». Этой же статьей объявлялось, что родители и их заместители не имеют права оставлять детей без первоначального образования и что образование в народных и низших ремесленных школах должно быть даровое, во всех же других учебных заведениях оно должно быть безвозмездным для всех неимущих. Статьей 7-й всем немцам предоставлялось право обращаться с письменными просьбами и жалобами к властям, к представительным учреждениям и к рейхстагу, причем этим правом могли пользоваться как отдельные лица, так и корпорации и союзы. Для возбуждения судебного преследования против должностных лиц по поводу действий, совершенных ими в качестве таковых,

не требовалось предварительного разрешения начальства. «Немцы, — говорилось в ст. 8, — имеют право собираться мирно и без оружия: особого разрешения на это не требуется. Народные собрания под открытым небом в случае опасности для общественного порядка и спокойствия могут быть запрещаемы. Немцы имеют право составлять союзы: это право не должно быть стесняемо какими-либо особыми мероприятиями». Статья 9 была посвящена вопросам, касающимся собственности вообще, и в частности старым феодальным правам. Она уничтожала все отношения крепостничества и зависимости без вознаграждения и отменяла патримониальную юстицию и вотчинную полицию со всеми основанными на них повинностями. Что касается до оброков и повинностей поземельного характера, то они должны были подлежать выкупу на основании законов, особых для каждого государства, с запрещением впредь обременять поземельные участки какими бы то ни было не подлежащими выкупу оброками и повинностями. В эту же статью были включены §§ об уничтожении всяких ленных отношений, об отмене конфискации, как уголовного наказания, и о запрещении неравномерности обложения отдельных сословий и имуществ, как государственными, так и общинными податями. Целым рядом §§, составляющих содержание ст. 10, были установлены новые начала для отправления правосудия. Этой статьей отменялись патримониальные суды, кабинетская и министерская юстиция, всякие исключительные суды и судебные привилегии каких бы то ни было лиц и имуществ. Особым параграфом обеспечивались самостоятельность и независимость суда. Ни один судья не должен был без судебного приговора быть удаляем с должности или быть лишаем своего содержания, равно как без собственного согласия переводиться на другое место и т. п. Суд должен был быть гласным и устным. В уголовных делах вводился обвинительный процесс и вместе с этим устанавливался суд присяжных для более важных уголовных дел и для всех политических преступлений. Та же статья отделяла юстицию от администрации и потому уничтожала как административную юстицию, так и уголовную юрисдикцию полиции. Основными принципами общинного устройства Германии признавались избрание в общинах властей, самостоятельное управление общинными делами с включением местной полиции и гласное ведение всех общинных дел. Очень короткая, но очень важная ст. 12 заключала в себе следующие постановления: «Каждое немецкое государство должно иметь конституцию с народным представительством. Министры ответственны пред народным представительством. Народное представительство имеет решающий голос в вопросах законодательства, налогов и государственного бюджета. Равным образом оно имеет — и притом, где существуют две палаты, каждая палата за себя — право законодательной инициативы, обращения к государю и обвинения министров. Заседания ландтагов по общему правилу публичны». Тринадцать

той статьей обеспечивалось за всеми ненемецкими племенами Германии их национальное развитие, именно в смысле равноправности их языков в церковной жизни, в преподавании, во внутреннем управлении и в суде. Наконец, четырнадцатая статья объявляла каждого гражданина Германской империи, находящегося за границей, под покровительством и защитой всей империи.

По конституции 1849 г. в Германии утверждалась общая имперская власть (*Reichsgewalt*), которая одна должна была выступать в международных отношениях империи, ведать дела войны и мира, распоряжаться армией и флотом, иметь высший надзор за путями сообщения, почтой и телеграфами, издавать законы, касающиеся промышленности и торговли, устанавливать вес и меры. Той же имперской власти предоставлялось охранять все права, равно как внутренние безопасность и порядок, и издавать в интересах целого законы, которые должны были идти впереди законов отдельных государств. Во главе империи ставился один из царствующих немецких государей с титулом «императора немцев» (*Kaiser der Deutschen*), причем этот император объявлялся наследственным и безответственным. Ему принадлежало представительство Германии извне, право созывать и закрывать рейхстаг и распускать палату народных представителей и пользоваться в конституционных пределах правительственной властью. Его министры должны были быть ответственными. Рейхстаг должен был состоять из двух палат — палаты представителей государств (*Staatenhaus*) и палаты представителей народа (*Volkshaus*). Первую из них предполагалось составить из членов, которые назначались бы наполовину правительствами, наполовину народными представительствами и обновлялись бы через каждые шесть лет в два срока. Другую палату должны были составлять депутаты немецкого народа (*Abgeordneten des deutschen Volkes*), которым полагалось вознаграждение, но которые не могли быть связаны никакими инструкциями. Обеим палатам было предоставлено право предлагать законы, подавать адреса и вчинять преследование министров. Законную силу получают лишь решения, принятые обеими палатами; за центральным правительством было признано лишь отсрочивающее veto¹. Заседания рейхстага должны были быть ежегодными, притом публичными. В случае роспуска «народной палаты» рейхстаг должен был быть созван снова в трехмесячный период. Депутаты пользовались гарантиями личной неприкосновенности и должны были слагать свое звание в случае принятия какой-либо должности. Рядом с имперским сеймом учреждался имперский суд (*Reichsgericht*) для разбора споров отдельных государств между собой и с имперской властью, споров между отдельными правительствами и местными народными представительствами или между

¹ Запрещаю (*лат.*). — *Прим. ред.*

обеими палатами и для разбора жалоб граждан на нарушение их прав и т. д. Этому же суду подлежали как имперские, так и другие министры по делам, за которые они должны были отвечать. Отдельные государства не могли иметь конституций или законов, которые находились бы в противоречии с имперскими. Изменения в этих конституциях могли совершаться лишь с согласия имперской власти. В случае войны или восстания имперское министерство или министерство отдельного государства могло с согласия соответственного представительства отменять в течение двух недель основные права.

Конституция Германской империи была дополнена особым избирательным законом 12 апреля, состоявшим из 17 параграфов. По этому закону в принципе признавалось избирательное право за каждым незапятнанным немцем, достигшим 25-летнего возраста. Исключения из общего правила должны были составлять лица, которые находились под опекой или попечительством или над имуществом которых судебным порядком установлено было конкурсное управление, равно как лица, жившие общественной или общинной благотворительностью. Право быть избранным признавалось за каждым немцем, имеющим право избирать, достигшим 25-летнего возраста и по крайней мере в течение трех лет принадлежавшим к одному из немецких государств. Право быть избираемым в представительную палату не утрачивалось вследствие наказания за политическое преступление. Кроме того, для занятия места в представительной палате должностные лица, будучи в нее избранными, не нуждались в чем-либо разрешении. Избирательные округа определялись в 100 000 душ, но если бы в отдельном государстве при образовании избирательных округов оказался остаток, превышающий 50 000 душ, он должен был бы составлять особый избирательный округ. Каждое мелкое государство с населением по крайней мере в 50 000 душ должно было составлять особый избирательный округ (в том числе г. Любек), государства же с меньшим населением приписывались к более крупным государствам. Выборы должны были быть публичными, и избирательным правом каждый должен был пользоваться лично посредством неподписанного бюллетеня. Наконец, выборы должны были быть прямыми и совершаться в один и тот же день на всем пространстве Германской империи.

XXII. Падение немецкой революции и конец франкфуртского парламента

Конституционная борьба в великих немецких державах. — Общий взгляд на ход революции в Австрии. — Конец австрийской революции. — Национальное собрание в Пруссии. — Подавление прусской революции. — Вопрос об Австрии во франкфуртском парламенте. — Избрание германского императора. — Восстания в Германии весной 1849 г. — Баденская революция. — Конец франкфуртского парламента. — Восстановление союзного сейма. — Причины неудачи немецкой революции. — Немецкий социализм и рабочее движение в Германии в 1848—1849 гг. — Шлезвиг-гольштейнский вопрос

Исход немецкой революции должен был зависеть, между прочим, — и притом в весьма значительной мере, — от того, какое направление приняли дела в Австрии и Пруссии. Одновременно с вопросом об общегерманской конституции решался вопрос о конституции в монархиях Габсбургов и Гогенцоллернов, для чего и здесь были созваны учредительные собрания. Можно сказать, что это был период учредительных собраний в главнейших странах Западной Европы¹. Непосредственным следствием Мартовской революции в Вене и Берлине были обещания и Фердинанда I, и Фридриха-Вильгельма IV дать своим подданным конституцию. В Австрии такое обещание было дано 15 марта, в Пруссии — 18 марта, и в обоих же случаях вопрос о конституции должны были решать специально созванные собрания. Искреннего желания исполнить взятые на себя обязательства не было, однако, ни у австрийского, ни у прусского правительства. Венское «мартовское министерство» (граф Коловрат, граф Фикельман, Пиллерсдорф, барон Кюбек, граф Таафе) убедило императора дать своей собственной властью обещанную конституцию, чтобы обойтись без учредительного собрания. Эта конституция, обнародованная 25 апреля для всех частей Австрии, кроме Венгрии и Ломбардо-Венецианского королевства, была составлена по бельгийскому образцу, т. е. отличалась весьма большим либерализмом, но не обращала никакого внимания на права отдельных национальностей. Вскоре затем был выработан избирательный закон, совершенно исключавший из пользования политическими правами весь рабочий класс. Тогда-то и произошло восстание 15 мая, о котором уже было сказано выше. Император пошел на новые уступки, согласившись на то, чтобы была созвана одна палата (по конституции 25 апреля

¹ Французское учредительное собрание открылось 4 мая, франкфуртский парламент — 18 мая, прусское и австрийское собрания — 2 мая и 10 июля.

полагались две палаты), избранная притом всеобщей подачей голосов. 17 мая Фердинанд I бежал в Инсбрук, но столица осталась ему верна и после этого. Через несколько дней, как мы это также уже видели, в Вене вспыхнуло новое восстание, которое отдало столицу Австрии во власть революционного правительства (26 мая). Между тем в Берлине в силу королевского обещания, данного 18 марта, был созван соединенный ландтаг, который открыл свои заседания 2 апреля. Его специальной целью было выработать избирательный закон, на основании которого было бы выбрано национальное собрание для создания совместно с королем будущей конституции. Новый закон предоставлял активное право каждому прусскому подданному, достигшему 24-летнего возраста, с некоторыми, впрочем, ограничениями, но устанавливал двухстепенную систему выборов, стоявшую в полном противоречии с тем, как было произведено избрание членов франкфуртского парламента. Берлинское национальное собрание открыло свои заседания 22 мая и немедленно приступило к выработке конституции. Через полтора месяца (10 июля) собрались на подобное же собрание и народные представители в Вене, чтобы дать разнородной монархии Габсбургов общую конституцию, а 22 июля последовало и торжественное открытие этого государственного сейма. Но ни тому, ни другому собранию не довелось исполнить свою задачу. И в Вене и в Берлине продолжались народные волнения, поддерживаемые радикальной партией. В начале октября в австрийской столице вспыхнуло новое восстание, заставившее императора снова бежать (на этот раз в Ольмюц), но в самом конце того же месяца Вена была усмирена верными императору войсками. Падение Вены было ударом и для собранного в ней сейма, и Австрия осталась без конституции. В прусской столице тоже происходило сильное брожение. Франкфуртские сентябрьские события и октябрьская Венская революция нашли отголоски и в Берлине, но падение Вены дало возможность и прусскому правительству выступить на путь реакции. Хотя Берлин был тоже усмирён и национальное собрание распущено, но Фридрих-Вильгельм IV все-таки октроировал своим подданным конституцию. Подавление революции в Вене и Берлине в октябре и ноябре 1848 г. было дурным предзнаменованием и для франкфуртского парламента.

Немецкую революцию 1848 г. страшно осложняли революционные движения, которые происходили у других народов; в частности, исход революции в Австрии зависел от событий, совершавшихся в ее ненемецких областях. Мы будем еще рассматривать эти события отдельно, а здесь остановимся на них лишь настолько, насколько это нужно для понимания общей истории Австрии в 1848 г.

В то самое время, когда в Вене собирался государственный сейм для выработки конституции, в Ломбардии, в Чехии и в Венгрии происходили свои собственные революции. Правительство, которое оказалось совер-

шенно бессильным в столице, имело, однако, на своей стороне войска, с которыми и начало подавлять революцию у своих ненемецких подданных. В Италии Австрия имела большую армию под начальством Радецкого, все же остальные императорские войска находились под главной командой князя Виндишгреца. Обоим генералам была дана самая широкая власть, и оба они проявили несокрушимую энергию. Значительную помощь оказали австрийскому правительству в деле усмирения революции и славяне, которые давно ненавидели немцев и мадьяр и, естественно, опасались победы их национальных стремлений. Труднее всего оказалось управиться с венгерской революцией, которая, впрочем, и разыгралась несколько позже. Ранее всего был нанесен удар чешскому движению, принявшему панславистический характер. В июне Виндишгрец бомбардировал Прагу и тем подавил тамошнее восстание. В следующем месяце и Радецкий отвоевал Ломбардию, которая возмутилась против Австрии и на помощь к которой пришла Сардиния. После этого австрийское правительство, почувствовав себя снова сильным, заговорило другим языком и с мадьярскими революционерами, которым до тех пор вынуждено было делать уступки, тем более что революционное движение, проявившееся у южных славян, направилось главным образом против мадьяр. На Венгрию был двинут хорватский бан¹ Елачич с большой армией. При таких-то обстоятельствах и пришлось действовать венскому учредительному собранию. В этом сейме не замедлила обнаружиться рознь между немецкими и славянскими депутатами. Но национальный антагонизм был только выгоден правительству, которому приходилось после усмирения чехов и итальянцев вести борьбу с мятежной столицей и с Венгрией, решившейся отстаивать свою независимость. Имея общих врагов, правительство и славяне стали все более и более сближаться между собой. В свою очередь сблизились между собой немцы и мадьяры, которые ранее в качестве двух господствующих национальностей находились между собой в постоянном соперничестве. Таким образом, взаимные отношения немцев, мадьяр и славян в Австрии играли весьма видную роль в истории и общегерманской революции. Для успеха дела франкфуртского парламента было необходимо обессиление Австрии, а потому весьма естественно, что венгерское восстание пользовалось большим сочувствием среди немцев. Наоборот, славяне, которые сделались главным орудием австрийской реакции, возбуждали к себе среди немцев страшную ненависть.

Национальный антагонизм между немцами и славянами проявился в самом же начале венского парламента 1848 г. В этом собрании, члены которого сошлись вместе в первый раз 10 июля в императорском манеже, были представители восьми национальностей: немцы, чехи, сербо-хорва-

¹ То есть губернатор. — *Прим. ред.*

ты (из Далмации), словенцы, поляки, русины (из Галиции), итальянцы (из Истрии) и валахи (из Буковины). Немцы были в меньшинстве, и это производило крайне неприятное впечатление на венцев. Националистические и радикальные газеты били тревогу по поводу этого «варварского нашествия», а некоторые в знак траура вышли даже с черными каемками. Жители Вены стали даже подвергать оскорблениям чешских депутатов, которые, благодаря своему умственному превосходству над остальными ненемецкими депутатами, играли наиболее видную роль. Объявить немецкий язык официальным для этого собрания не решились, и потому пришлось прибегать к переводчикам. Весьма естественно, что собрание разделилось на национальные группы. В общем, славяне составили правую, левая состояла преимущественно из немцев, часть которых (австрийские консерваторы и тирольцы) образовала из себя центр. Заседания сейма были открыты 22 июля; так как император находился тогда еще в Инсбруке среди «верных тирольцев», то на его место заступил эрцгерцог Иоанн (будущий германский Reichsverweser). Тронная речь, прочитанная собранию, начиналась с приветствия депутатам, «призванным совершить дело возрождения отечества». Это дело понималось в смысле упрочения приобретенной свободы на будущие времена посредством открытого и независимого содействия рейхстага правительству. «Все национальности австрийской монархии, — говорилось далее, — одинаково близки сердцу его величества, и все интересы должны иметь прочное основание в свободном и братском союзе этих национальностей, в полной их равноправности, равно как в тесном соединении с Германией. Сердце его величества наполняется скорбью, что не сразу может осуществиться полнота всех благодеяний, которые доставляют народам свободные учреждения при мудром пользовании ими». Далее в этой речи высказывалась надежда на возможность миролюбивого разрешения затруднений, возникших в землях венгерской короны. Что касается до войны в Италии, то она, сказано было в речи, «отнюдь не направлена против свободы итальянских народов (der italienischen Völker), так как единственная ее цель при полном признании национальности поддержать честь австрийского оружия против итальянских держав и обеспечить наиболее важные интересы государства». Указав на то, что внешние отношения Австрии остаются по-прежнему хорошими, тронная речь отмечала печальное положение государственных финансов, требовавшее чрезвычайных мероприятий, о которых министерство должно было сделать нужные предложения. «В созвании народных представителей, — гласил конец речи, — для совещания об общих интересах заключается вернейшая основа духовного и материального развития Австрии. Его величество передает вам поэтому, и с вами всей нации, свой императорский привет и уверение своего сердечного благоволения». За этим следовало объявление учредительного государственного сейма (der konstituierende Reichstag) открытым.

Австрийская аристократия или уклонилась от выборов, или не получила на них достаточного количества голосов. Среди 383 депутатов было даже около сотни сельских жителей. Один такой депутат предложил уничтожить все помещичьи права, и после долгих прений собрание приняло отмену всех старых феодальных прав и привилегий. Для Австрии в этом, собственно говоря, и заключалось главное приобретение революции 1848 г. Вместе с тем собрание назначило комитет, который должен был выработать конституцию.

По просьбе учредительного собрания император 12 августа возвратился в Вену. Но в столице Австрии продолжались прежние волнения. Роспуск комитета общественной безопасности, в мае, вызвал новые беспорядки. Собрание объявило себя непрерывным, но не в состоянии было поддерживать порядок даже в собственной среде. Когда в Вену приехала венгерская депутация просить защиты у австрийского государственного сейма, то не была им даже принята по настоянию славянского большинства, относившегося враждебно к венгерской революции. Зато венские демократы устроили мадьярским депутатам восторженную встречу и обещали поддерживать их дело. Вскоре после этого власть в Венгрии перешла в руки комитета обороны под председательством Кошута, а вслед затем последовал окончательный разрыв между австрийским правительством и мадьярами. Часть войск, находившихся в Вене, должна была двинуться усмирять венгерскую революцию. Приказ об этом сделался сигналом к октябрьскому возмущению австрийской столицы. Уже в первой половине сентября в Вене было большое волнение среди рабочих по поводу уменьшения платы за участие в общественных работах, но вызванная этим демонстрация была подавлена гражданской стражей. Теперь значительная часть национальной гвардии, «академический легион» и демократические клубы, поддержанные рабочими, сами поднялись, чтобы помешать выступлению из города солдат, которых правительство посылало в Венгрию. Один немецкий полк сам отказал в повиновении, и против него по приказанию военного министра Латура был двинут другой полк, состоявший из славян. Рабочие приняли сторону непокорных солдат. Народ разрушил мост, по которому войска должны были выходить из Вены. На многих улицах были построены баррикады. Толпа ворвалась в дом, где находился министр Латур; министр был избит до смерти и затем повешен на фонаре (6 октября). Император в тот же день бежал из Вены. Из Ольмюца, куда он на этот раз удалился, всего более доверяя славянам, он обратился ко всем своим народам с воззванием, приглашавшим их бороться с революцией. Национальное собрание, сделавшее было попытку выступить в качестве примирителя между правительством и населением столицы, потеряло всякое значение. Правая, руководимая чехами, тоже оставила город и из Праги протестовала против своих товарищей, продолжавших заседать в сейме.

Но против Вены, снова очутившейся во власти революционеров, были теперь направлены три армии. С востока к столице двинулся Елачич с хорватами, с севера — Виндишгрец, третьей армией командовал Ауерсперг. Вена решила защищаться под начальством польского генерала Бема. Магьяры обещали свою помощь восставшему городу. Франкфуртский парламент не мог оставаться равнодушным к судьбе Вены. Двое депутатов правой (Велькер и Мосле) предложили Фердинанду I посредничество, но не имели успеха. Два депутата левой (Блум и Фребель) поехали сами в Вену, чтобы поддержать в ней демократическое движение. Магьяры, однако, опоздали вовремя прийти на помощь, и 30 октября Вена сдалась Виндишгрецу. Победитель начал немедленно суровую расправу с инсургентами. В Вене было объявлено осадное положение, и вожди восстания были приговорены военным судом к расстрелянию; в числе казненных был и Блум, которого не спасло звание члена франкфуртского парламента. Протест последнего и заявление имперского министра австрийца Шмерлинга, что он не одобряет поведения Виндиншгреца, не имели никакого реального значения.

Еще за неделю до падения Вены (23 октября) Фердинанд I объявил отсрочку заседаний государственного сейма и перенесение их в моравский городок Кромержиж (Кремзир). Вскоре по решению семейного совета Габсбургов, в котором участвовали министры, назначенные после падения Вены (Шварценберг и др.), а также Виндишгрец и Елачич, император отрекся от престола в пользу своего племянника, 18-летнего Франца-Иосифа, о чем собравшийся в Кромержиже сейм совершенно неожиданно узнал 2 декабря. Объявляя о вступлении своем на престол, новый император высказывал надежду «на возрождение Австрии на основах равноправности всех ее национальностей, равенства всех граждан перед законом и участия народных представителей в законодательстве», но вместе с тем всем подданным Австрии давалось знать, что правительство «сохранит незатемненным блеск короны и не допустит нарушения единства монархии». Этим самым новое правительство выражало ясно свое намерение поддерживать централистическую политику, хотя бы и с допущением некоторых областных особенностей, тогда как в кромержижском собрании преобладали, наоборот, федералистические стремления, главными представителями которых выступали, конечно, славяне. Собрание даже выработало проект конституции в этом смысле, но министерство поспешило его распустить, и 4 марта 1849 г. Австрия получила октроированную конституцию, общую для всей монархии, не исключая и земель короля святого Стефана, но с расчленением Венгрии на более мелкие провинции со своими ландтагами, которые должны были быть и в других землях, впрочем, повсюду исключительно для рассмотрения местных хозяйственных нужд и польз. Эта конституция была составлена по всем правилам пред-

ставительного правления, но на самом деле серьезно ее и не думали вводить в действие. Напротив, ждали только удобного времени, чтобы ее отменить. Такой момент наступил, впрочем, не сразу. Лишь в последний день 1851 г. появился императорский указ, который отменял конституцию 4 марта 1849 г. как несовместимую с основами устройства всей монархии и в отдельных случаях не всегда удобную для применения.

Таким образом, революция была побеждена в Австрии. Одновременно совершилось и падение ее в Пруссии. Берлинское национальное собрание открыло свои заседания 22 мая. В нем принимало участие около 400 членов, большей частью второстепенного достоинства, так как наиболее видные политические деятели находились во Франкфурте. В составе его преобладали люди либеральных профессий: преподаватели и духовные (около 80), чиновники (около 150) и т. п.; крупное землевладение, промышленность и торговля представлены были весьма слабо; ремесленников и крестьян было зато около сотни. Что касается до разделения на партии, то собрание распалось на следующие группы, которые впоследствии имели значение главных политических партий Пруссии. Правую составляла консервативная и партикуляристская партия, получившая название феодальной, или партии «Крестовой газеты»; она отстаивала старые социальные порядки и полную независимость Пруссии. Наоборот, левая, высланная преимущественно прирейнскими провинциями и городами, проявляла демократические и радикальные стремления и желала объединения Германии. Подобно левой франкфуртского парламента, с которой она вошла в сношения, она стояла на точке зрения народного верховенства. Середину между этими двумя партиями занимала партия центра, которая, разделившись на две (а потом на три) фракции, стремилась, так сказать, сглаживать и примирять противоположные принципы правой и левой. Созывая национальное собрание, Фридрих-Вильгельм IV предполагал, что новая прусская конституция будет выработана по взаимному соглашению правительства и народных представителей. Поэтому собранию был предложен проект новой конституции. Но большинство депутатов взглянуло на свою задачу иначе и, отложив в сторону правительственный проект, назначило свою комиссию, которая должна была приготовить свой собственный проект. Это, конечно, очень не нравилось Фридриху-Вильгельму IV. Кроме того, на первых же порах в собрании было сделано предложение объявить себя суверенным и, признав совершившуюся революцию, выразить уважение к памяти бойцов 18 и 19 марта, «хорошо послуживших отечеству». Народное волнение в Берлине не улеглось. На другой же день после открытия собрания недовольные правительственным проектом конституции вывесили над зданием университета черный флаг, а ночью сожгли проект конституции перед дворцом наследного принца. В последних числах мая были уличные беспорядки, которые потребовали вмеша-

тельства гражданской стражи. В середине июня, когда собрание отказалось признать мартовские события за революцию, в Берлине вспыхнуло новое возмущение, сопровождавшееся постройкой баррикад и разграблением арсенала. В самом собрании все более и более начинала получать значение левая, которую поддерживала наиболее деятельная часть берлинского населения. С каждым днем между тем усиливались конфликты между правительством и собранием. Двор и военная партия со своей стороны выказывали неудовольствие на все совершавшиеся перемены и старались всячески противодействовать собранию. Однажды (31 июля) между гражданской стражей и войском произошло столкновение, окончившееся кровопролитием. Это возбудило против армии и собрание, и народ. В сентябре левая добилась даже постановления собрания, в силу которого сейм ставил себя под охрану народа. На самом деле вооруженные толпы народа стали собираться вокруг здания собрания и начали разными способами оказывать свое влияние на голосование. За весь этот период король несколько раз переменял министров. Между тем конституционная комиссия, находившаяся под председательством Вальдека, выработала свой проект, и обсуждение его в полном собрании началось 12 октября, когда в Вене только что произошло известное восстание, передавшее город в руки революционеров. Конституционный проект («хартия Вальдека») был составлен в таком духе, что Фридрих-Вильгельм IV был крайне обижен. Например, из королевского титула были выброшены слова «милостью Божьей». Но именно обсуждение конституции вызвало страстную борьбу между партиями берлинского парламента. Особенно негодовала правая на уничтожение дворянства и запрещение употреблять дворянские титулы. Когда в Берлин пришло известие о падении Вены, Вальдек сделал предложение, чтобы министерство употребило все находящиеся в распоряжении государства средства и силы для охраны народной свободы, которой угрожала опасность. Во время прений народные толпы окружали здание собрания, и даже произошла стычка между ними и гражданской стражей, вызванной для охраны собрания (31 октября).

Но подавление венской революции вооруженной силой показало Фридриху-Вильгельму IV, каким путем и он мог восстановить свою пошатнувшуюся власть. После события 31 октября он образовал новое министерство, главой которого был назначен граф Бранденбург. Первым делом этого министерства было издание королевского послания, отсрочивавшего заседания народных представителей до 27 ноября, после чего они должны были заседать уже не в Берлине, а в маленьком городке Бранденбург. При первом известии о назначении нового министерства собрание обратилось к королю с адресом, в котором просило переменить это решение. С большим трудом удалось депутации добиться приема. Фридрих-Вильгельм IV, прочитавши адрес, хотел удалиться из залы без всякого ответа, но тогда

один из депутатов, именно Якоби, автор наделавшей когда-то много шума брошюры «Четыре вопроса», подошел к королю и вскричал: «Несчастье королей в том, что они не хотят слушать правды». Настоящим ответом короля и было перенесение заседаний в Бранденбург (9 ноября). В следующие дни была распущена гражданская стража, Берлин был объявлен на военном положении, запрещены были всякие собрания более двадцати человек и т. п. Однако собрание, из которого немедленно удалась большая часть правой, постановило продолжать свои собрания; при этом оно протестовало против права короны отсрочивать, переносить в другое место и распускать собрание и даже приняло (10 ноября) прокламацию к прусскому народу, в которой приглашало его крепко держаться завоеванной свободы, ни на одно мгновение, впрочем, не оставляя законной почвы. Но в тот же самый день генерал Врангель со значительным отрядом занял здание, в котором происходили заседания. В следующие дни около 230 депутатов, поклявшись, что подчинятся только вооруженной силе, делали попытки собираться то в одном месте, то в другом, но им постоянно мешали. В последний раз они собрались 15-го числа и на этот раз объявили, что правительство не имеет права собирать налоги, пока национальное собрание опять не будет заседать в Берлине. Большого действия это постановление не оказало, хотя и были в разных местах случаи отказа уплачивать налоги. Так как все эти мероприятия прусского правительства были поддержаны значительной военной силой, введенной в Берлин, то не встретили никакого сопротивления в столице. В назначенный день в Бранденбурге национальное собрание снова открыло свои заседания, но так как сюда явилось очень мало членов, а многие явились лишь для того, чтобы снова протестовать, то правительство решило совсем распустить собрание (5 декабря). Впрочем, на другой же день после этого король своей властью октроировал Пруссии конституцию, которая была как бы списана с проекта национального собрания. Для пересмотра этой конституции в Берлине, по-прежнему остававшемся в осадном положении, было в начале 1849 г. создано новое национальное собрание, которое, однако, король скоро распустил, когда прения приняли слишком бурный характер и народные представители пришли в новый конфликт с исполнительной властью. Фридрих-Вильгельм IV затем еще раз созвал национальное собрание, издав предварительно избирательный закон, совсем уже не демократического характера: те, которые платили более налогов, оказывали и большее влияние на выборы. Новая палата, избранная на основании этого закона и собравшаяся в августе 1849 г., была весьма сговорчива. 31 января 1850 г. королевское послание объявило пересмотр конституции 5 декабря 1848 г. оконченным, и новое государственное устройство вошло в силу. Таким образом, политическая реакция в Пруссии не зашла так далеко, как в Австрии: Пруссия все-таки получила конституцию.

Победа реакции в Австрии и Пруссии осенью 1848 г. отразилась и на делах франкфуртского парламента в то самое время, как в последнем ставился вопрос о том, кто будет первенствовать в будущей Германии — Австрия или Пруссия. Суровая репрессия в Вене, и особенно казнь Блума сильно повредили Австрии во франкфуртском парламенте. Последний вздумал было выступить посредником между прусским правительством и берлинским собранием в начале ноября, но это вмешательство окончилось совершенной неудачей. После своей победы над революцией и Фридрих-Вильгельм IV уже не обнаруживал прежнего своего расположения к германскому единству. Когда Гагерн приехал в Берлин, чтобы переговорить с ним о возможности исключения Австрии из союза, то получил в ответ, что Германия без Австрии совершенно немыслима. Наконец, после того как Австрия получила октроированную конституцию, она, пользуясь поддержкой России и рассчитывая на соперничество средних немецких государств, стала уже прямо, резко и решительно высказываться против федеративного устройства Германии.

С осени 1848 г. во франкфуртском парламенте шла борьба между великогерманской и малогерманской партиями, разделившимися между собой по вопросу об Австрии. Без определения ее отношения к Германии трудно было закончить выработку конституции. Нужно было решить вопрос о том, кто будет поставлен во главе союза: именно в случае вступления Австрии в союз немыслимо было сделать его главою одно лицо ввиду соперничества между Австрией и Пруссией, а потому пришлось бы, например, устроить директорию из трех лиц, в противном же случае намечался единый глава союза, которым мог бы быть только самый сильный немецкий государь, т. е. король прусский. Гагерн, сменивший Шмерлинга в имперском министерстве в конце 1848 г., стоял во главе малогерманской партии, но Шмерлингу удалось организовать против его проектов оппозицию из самых разнообразных элементов, по всем другим вопросам резко расходившихся между собой. Хотя австрийский вопрос оставался нерешенным, в январе 1849 г. большинством собрания был принят параграф конституции, по которому главой империи должен был сделаться один из немецких государей с титулом германского императора. В начале февраля конституция была готова, и немецкие правительства должны были высказать о ней свои мнения. Средние и мелкие государства, за исключением королевств, заявили, что подчинятся решению национального собрания, но все зависело, конечно, от Австрии и Пруссии. Прусское правительство около этого времени обратилось к другим немецким правительствам с нотой, довольно благоприятной для малогерманской программы Гагерна. Но оно порицало притязания франкфуртского парламента на верховную власть и не считало нужным устанавливать новую должность императора, хотя и советовало дать удовлетворение желанию нации объединиться более

тесным образом; для этого лучше всего было бы, сохранив старый союз с его прежними отношениями к Австрии, Дании и Нидерландам¹, допустить в нем образование более тесного союза. Австрия самым решительным образом высказалась против этого плана. Обнародованная в марте австрийская конституция, составленная в централистическом духе, явно указывала на то, что австрийское правительство и знать ничего не хотело о германской конституции: положение в Австрии немецких земель по новой конституции ничем не должно было отличаться от положения провинций ненемецких. Мало того, Австрия потребовала включения всех ее владений в состав Германского союза, во главе которого стояла бы семичленная директория под австрийским председательством и в котором была бы лишь палата представителей отдельных государств, но без палаты народных представителей. После длинных и бурных прений была в конце марта принята уже известная нам германская конституция, и вместе с тем 28 марта прусский король был выбран в германские императоры. В подаче голосов приняли участие 290 депутатов, но почти столько же (248) воздержались от подачи голосов. Несколько депутатов протестовало против присвоенного собранием права на окончательное утверждение конституции и распоряжение короной. Как раз в это время в Берлине заседало второе национальное собрание, в котором левая резко порицала произвольный роспуск первого собрания и не хотела признавать значения за октроированной конституцией. 3 апреля Фридрих-Вильгельм IV принял депутацию от франкфуртского парламента, приехавшую в Берлин предложить ему звание наследственного германского императора. Ответ короля был весьма любезный. «В решении германского национального собрания, — сказал он, — я признаю голос представителей немецкого народа. Национальное собрание оказало мне честь, остановившись на мне, когда потребовалось основать единство и могущество Германии. Я высоко ценю его доверие, и передайте ему мою за это доверие благодарность. Я готовь на деле доказать, что не ошиблись те люди, которые возложили свои надежды на мою верность, на мою любовь к общему германскому отечеству». Но, говорил далее Фридрих-Вильгельм IV, он не может «без свободного соглашения коронованных глав князей и вольных городов Германии принять решение, которое должно иметь столь важные последствия для них самих и для управляемых ими германских племен». А потому в заключение король объявил, что вопрос должен быть решен другими правительствами. Впрочем, этот ответ все еще оставлял некоторую надежду. Скоро стало ясным, что предложенная Фридриху-Вильгельму IV корона будет им отвергнута окончательно. Нерешительный и изменчивый нрав Фридриха-Вильгельма IV был уже давно известен, а тут, с одной стороны, им уже ранее дела-

¹ С двумя последними по Люксембургу и Гольштейну.

лись заявления о том, что он не пойдет против Австрии, и он опасался, что последняя объявит ему войну, а с другой — предлагавшаяся ему корона имела революционное происхождение, и император Николай I, которого он всегда слушался, предостерегал его против уступок революции. С самого начала революции русский государь заявил, что на всякое преобразование Германии без участия Австрии он будет смотреть как на нарушение трактатов 1815 г. Объявляя мотив своего отказа близким людям, король говорил, что вовсе не хочет есть «такого блюда, которое приготовлено из грязи и глины», и что предлагаемая ему корона — скорее «железный ошейник, который превратит его из правителя шестнадцати миллионов людей в раба революции». Не получив никакого окончательного решения, франкфуртская депутация с крайне тяжелым чувством оставила Берлин, заявив при этом прусскому министерству, что с принятием короны, безусловно, связано и признание германской конституции. Между тем и сама конституция не нравилась Фридриху-Вильгельму IV. Его романтическому настроению и средневековым идеалам совершенно не соответствовала конституция, написанная под влиянием принципов 1789 г. В частности, он не мог примириться с отсрочивающим veto, бывшим уступкой, которую собрание сделало республиканской партии, и с избирательным законом, составленным в самом демократическом духе. В конце концов, Фридрих-Вильгельм IV не прочь был, впрочем, получить императорскую корону, если бы ему ее поднесли немецкие государи и вольные города. С этой целью прусское правительство обратилось к ним с нотой, в которой говорилось, что король ввиду того положения, какое в Германии принадлежит Пруссии, готов стать во главе союзного государства, если на то согласятся государи и вольные города, и что в случае их согласия форма этого союзного государства (а также и его состав) будет зависеть от самих союзников. Другими словами, Пруссия объявляла, что не признаёт обязательности франкфуртской конституции.

Со своей стороны, франкфуртский парламент решил твердо держаться принятой им конституции. Мелкие немецкие государства признали конституцию и выразили желание, чтобы прусский король принял императорскую корону. Вюртембергский король, сначала не соглашавшийся подчиниться решению франкфуртского парламента, вынужден был это сделать после продолжительной борьбы со своими палатами, но короли Баварский, Саксонский и Ганноверский самым категорическим образом высказались и против конституции, и против прусского императорства. Они даже отсрочили заседания своих ландтагов, которые стали бы требовать признания постановлений франкфуртского парламента. Одновременно с этим и нижняя палата берлинского национального собрания решилась обратиться к Фридриху-Вильгельму IV с адресом, содержащим просьбу принять имперскую конституцию и императорскую корону. Так

как вместе с тем в палате заговорили еще о необходимости прекратить в Берлине осадное положение, объявленное в ноябре, то правительство и распустило тогда нижнюю палату. Теперь в Берлине более не колебались. Когда от саксонского короля пришла просьба оказать военную помощь ввиду начинавшихся в его государстве волнений, ему было обещано помочь и напридачу дан совет не принимать имперской конституции. Нижняя прусская палата была распущена 25 апреля, а 28-го числа состоялся окончательный отказ Фридриха-Вильгельма IV от предложенной ему короны. В прокламации прусского правительства по этому случаю подвергалась резкой критике и сама имперская конституция, которая называлась просто «средством к тому, чтобы постепенно и якобы законным образом устранить высшую власть и ввести республику».

Дело приняло такой характер, что за конституцию, принятую франкфуртским парламентом, становились представительные палаты отдельных государств и представлявшая ими нация, а против нее правительства наиболее крупных государств: Австрии, Пруссии, Баварии, Саксонии и Ганновера. Еще ранее прусского отказа значительная часть австрийских депутатов по требованию своего правительства покинула Франкфурт, но затем и другие депутаты стали слагать с себя полномочия. Это только усиливало значение левой. Ввиду возможных опасностей и уменьшения числа членов было постановлено предоставить председателю собрания право созывать его во всякое время и во всяком месте и для законности решений объявить достаточным присутствие полутора части членов. Затем 4 мая парламент постановил обратиться к правительствам, законодательным собраниям и общинам отдельных государств, ко всему немецкому народу с требованием принять и привести в действие имперскую конституцию. Первый рейхстаг при этом должен был собраться в августе. На случай отказа Пруссии прислать в него своих представителей главой империи с титулом имперского наместника (Reichsstatthalter) объявлялся правитель самого значительного государства, которое пришлет своих представителей. Это постановление было принято всего большинством двух голосов и практически имело только два результата: с одной стороны, удаление из парламента все большего и большего количества членов, с другой — целый ряд восстаний во многих местах Германии в защиту имперской конституции.

Это были последние вспышки революции. В большей части немецких земель в 1848 г. пали феодальные порядки и сельская масса успокоилась; рабочие, которые надеялись добиться улучшения своего быта, успели разочароваться; буржуазия, напуганная социальной революцией, хлопотала главным образом о порядке. Одна только радикально-демократическая и республиканская партия еще продолжала стремиться к организации немецкой демократии. Хотя ее представители в парламенте далеко не были

поклонниками имперской конституции и яростно боролись с конституционной партией, тем не менее решили воспользоваться конституцией, как знаменем и своего рода законной почвой для того, чтобы вызвать демократическое восстание. И демократам это удалось. Восстания вспыхнули в Ганновере, в прирейнских частях Баварии и Пруссии, в Вюртемберге, в Саксонии, в Бадене, в Гессен-Дармштадте (май — июнь). В этих восстаниях приняли участие все местные радикальные, демократические, республиканские и социалистические элементы, а к ним примкнули и такие люди, которые действительно думали защищать только имперскую конституцию. Для большинства восставших, состоявших из радикальной части буржуазии и пошедших за нею рабочих, дело было, однако, вовсе не в этой конституции. Ранее всего началась эта «майская революция» в Саксонии. Здесь велась сильная агитация за принятие правительством конституции. За нее стояла гражданская стража; на ее стороне было городское общественное управление; поддерживать ее постановил и дрезденский рабочий союз, «хотя, — как было сказано в его объявлении, — для материального благосостояния народа в будущем остается еще очень много сделать». Когда король ответил отказом на требование присоединиться к имперской конституции, в Дрездене вспыхнуло восстание. 3 мая народная толпа сделала нападение на арсенал, но была встречена ружейными выстрелами. Это было сигналом к постройке баррикад и к уличной борьбе с войсками. На следующий день благодаря, между прочим, подкреплениям, которые восставшие получили из других мест со стороны рабочих, город попал совершенно в руки революционеров. Король с министрами и двором удалился в крепость Кенигштейн, и в Дрездене образовалось временное правительство с адвокатом и депутатом сейма Тширнером во главе; он принадлежал к партии радикальных демократов. Население города решилось защищаться, и этим делом руководил Бакунин, действовавший как диктатор и самыми террористическими средствами. Саксонское правительство обратилось за помощью в Берлин, и уже 6 мая прусские войска начали борьбу с инсургентами. Три дня последние вели ожесточенную битву, крепко держась за своими укреплениями, и в то же время в нескольких местах город горел. Только 9 мая кончилась эта битва победой прусских войск, и новые толпы вооруженного народа, находившиеся на пути в Дрезден, должны были возвратиться домой. Тширнеру удалось спастись бегством, Бакунин¹ и еще один член временного правительства были взяты в плен. Дрезден был объявлен в осадном положении. За исключением Бреславля, где тоже произошло, быстро, впрочем, подавленное, вос-

¹ Бакунин был приговорен к смертной казни, которая была ему заменена пожизненным заключением, но потом он был выдан Австрии, потребовавшей его за участие в пражском восстании, но выдавшей его России. В шестидесятых годах он бежал из Сибири и потом играл первенствующую роль в анархистском движении.

стание, и некоторых местностей Вестфалии северная Германия оставалась вообще более спокойной.

Гораздо большее возбуждение царило в прирейнских землях, где среди буржуазии была особенно популярна имперская конституция. Значительные восстания с баррикадами и настоящими военными схватками происходили в Эльберфельде и Дюссельдорфе, и после их умирения в области, где находились эти города, было введено осадное положение. Но особенно сильное развитие получила майская революция в Южной Германии. В прирейнском Пфальце, принадлежавшем Баварии, дело дошло до учреждения временного правительства и образования народного ополчения, в которое стали со всех сторон стекаться волонтеры. На сторону инсургентов стали даже переходить солдаты. Франкфуртское центральное правительство отправило туда в качестве своего комиссара одного члена левой (Эйзенштюка), но он, вместо того чтобы удерживать движение в законных границах, как это ему было поручено, стал действовать в интересах своей партии и даже добился возвращения назад прусского войска, которое вызвано было имперским правительством из Майнца для поддержания порядка в Пфальце. Одновременно с этим началось движение и в соседнем Бадене. Это великое герцогство, бывшее и раньше центром немецкого либерализма, в 1848 г. было особенно настроено революционно. Нигде республиканизм не имел такого большого количества приверженцев, как здесь. Республиканцам даже удалось расположить в пользу своих идей часть войска. 11 мая в Раштате произошло военное восстание, и эта важная крепость попала в руки инсургентов. На другой день после этого делегаты разных народных обществ собрались на конгресс, на котором решили требовать у правительства роспуска палаты и созыва учредительного собрания, которое было бы избрано всеобщей подачей голосов. Правительство отвечало уклончиво, а само обратилось во Франкфурт с требованием военной помощи, на что имперское правительство отвечало, что в его распоряжении нет в данную минуту никаких военных сил. Между тем 13 мая было создано в Оффенбурге большое народное собрание, в котором участвовало около 35 тыс. человек. Это собрание было еще задолго задумано Амандом Гёггом, главным организатором всего движения. Собственно говоря, этому деятелю были обязаны своим происхождением и демократические народные союзы, соединявшиеся под управлением одного общего земского комитета (Landes-Ausschuss), который стал пользоваться бóльшим значением в населении, чем законное правительство. Еще в первых числах мая по соглашению с крайней левой франкфуртского парламента Гёгг остановился на мысли собрать в Оффенбурге большую сходку и на ней провозгласить республику. От последней мысли он, впрочем, отказался. Оффенбургскому собранию была предложена целая программа, выработанная земским комитетом народных обществ с Гёггом во главе. Главными пунктами этой программы, которую нельзя не

признать самой широкой, какая только была формулирована в эпоху немецкой революции 1848 г., были введение имперской конституции в том виде, какой она получила по устранении событиями вопроса о главе империи, созвание учредительного ландтага, который сосредоточил бы в себе « всю полноту прав и власти » (die gesammte Rechts- und Machtvollkommenheit) баденского народа, самостоятельность общин, суд присяжных, вооружение народа и т. п., а рядом со всем этим установление прогрессивного налога, безвозмездное уничтожение поземельных повинностей крестьян, учреждение национального банка для защиты промышленности, торговли и земледелия от крупных капиталистов, образование большого земского пенсионного фонда для оказания помощи каждому гражданину, сделавшемуся неспособным к работе. Народное собрание приняло эту программу и выбрало новый комитет, объявивший себя непрерывным. Ему удалось, благодаря энергии Гёгга, добиться признания со стороны гарнизона крепости Раштата. Революция быстро распространилась по всей стране. В самом Карлсруэ произошло возмущение солдат, и великий герцог ночью должен был покинуть свою столицу. В других городах гарнизоны тоже перешли на сторону восстания. Городской совет Карлсруэ известил земский комитет, переехавший из Оффенбурга в Раштат, что не станет оказывать сопротивления его переселению в столицу, если только он примет меры к поддержанию порядка. 14 мая комитет совершил торжественный въезд в Карлсруэ и здесь пополнил свой состав новыми лицами, приняв в свои руки правительственную власть. С Пфальцем, отложившимся от Баварии, новым правительством был заключен союз и были приняты меры, чтобы распространить восстание на соседние страны — Гессен-Дармштадт, Нассау, Вюртемберг. В этих землях тоже происходили волнения, собирались народные сходки, совершались стычки с войсками, но такого успеха, как в Бадене и Пфальце, революционеры здесь не имели. Таким образом, баденская революция получила чисто местное значение. В Баден, впрочем, со всех концов Германии стекались демократы и добровольцы. Между тем в Карлсруэ образовалось новое временное правительство, а 10 июня собралось учредительное собрание, которое вручило диктаторскую власть комитету из трех лиц (Брентано, Гёгг и Вернер) и объявило Баден республикой. Великий герцог баденский и король баварский обратились за помощью к Пруссии. Последняя немедленно двинула свои войска против революционной армии, во главе которой баденское и пфальцское временные правительства поставили тогда Мерославского. В середине июня пруссаки вступили в Пфальц и вскоре в союзе с имперскими войсками овладели и всем Баденом. Война окончилась взятием Раштата (23 июля). Великий герцог возвратился в свою столицу, и главные участники восстания, какие только попались в руки старого правительства, были казнены. Но многим удалось спастись бегством за границу.

Теперь очередь была за франкфуртским парламентом. Когда Пруссия послала свои войска усмирять саксонскую столицу, парламент протестовал против такого «нарушения имперского мира», на что Пруссия ответила отозванием своих депутатов. Вслед за этим начались раздоры в самом имперском правительстве. «Блюститель империи» не хотел подчиниться решению собрания насчет приведения конституции в действие, что повлекло за собой сначала перемену министерства, а потом решение парламента заменить «блюстителя империи» имперским наместником (*Reichstatthalter*) по возможности из царствующих государей (имелся в виду Эрнст Кобургский). Это повлекло за собой выход из парламента целой группы членов с Гагерном во главе (20 мая). Большинство теперь было на стороне левой и крайней левой, но зато пришлось понизить до ста число депутатов, при котором решения парламента считались бы законными. 30 мая собрание 71 голосом против 64 решило перенести свои заседания в Штутгарт, где 6 июня и состоялось первое заседание этого парламента — охвостья (*Rumpfparlament*), как он был назван по аналогии с «долгим парламентом». Здесь решено было избрать из среды членов парламента имперское регентство (Генрих Симон, Карл Фохт, Каво, Шюлер и Бехер), и была издана прокламация, приглашавшая нацию к борьбе с абсолютизмом. Вюртембергский министр Рёмер, сам вышедший из состава парламента лишь 13 июня, потребовал 18 числа, опираясь на вюртембергские палаты, низложения регентства и прекращения заседаний. Когда в тот же день депутаты в торжественной процессии отправились тем не менее в залу заседаний, доступ в нее им был прегражден военным отрядом. Это и было концом франкфуртского парламента.

Оставалось решить, чем же будет Германия после подавления революции. Пруссия выступила с предложением создать союзное государство под главенством ее государя, с тем чтобы это государство заключило затем особый союз с Австрией. В конце мая с Пруссией вступили в союз Саксония и Ганновер, но все попытки привлечь на сторону этого союза Баварию и Вюртемберг окончились неудачей. У прусского правительства был свой план преобразования Германии в союзное государство с народным представительством, и он даже был одобрен частью членов франкфуртского парламента, собравшихся в конце июня в Готе. К прусскому проекту примкнуло 17 государств. Между тем Австрия окончательно справилась с итальянской и венгерской революциями, что было крайне невыгодно для прусских планов. Одним из результатов этого было отпадение от прусского союза саксонского и ганноверского королей, которые, лишь скрепя сердце, готовы были подчиниться прусской гегемонии. Тогда Пруссия попробовала устроить союз с мелкими государствами (*Deutsche Union*) и с этой целью даже выработала проект союзной конституции, который и был принят особым парламентом, собранным в Эрфурте (в марте 1850 г.).

Королевства выступили тогда с другим проектом, в котором давалось место и Австрии. Последняя согласилась принять это предложение, но Пруссия не захотела дать на него своего согласия. Тогда австрийское правительство обратилось ко всем германским правительствам с приглашением прислать своих уполномоченных во Франкфурт для восстановления прежнего союзного сейма, а прусское правительство ответило на это созывом в Берлин на конгресс всех государств, находившихся с ней в союзе. Из этой борьбы победительницей вышла Австрия. На ее сторону стали переходить один за другим прусские союзники, и, наконец, сам Фридрих-Вильгельм IV, опасаясь столкновения с Австрией, которая потребовала, чтобы он расторг свой союз, объявил уничтожение союзной конституции (ноябрь 1850 г.). Но и Австрии не удалось провести свой план относительно включения в состав Германской империи всех своих владений, так как против этого были наиболее влиятельные немецкие государи. После всего этого оставалось только одно — восстановить старый союзный сейм. Это было признаком полного торжества реакции. Немецкая революция 1848 г. окончилась, таким образом, полной неудачей.

Причины этой неудачи не раз обсуждались в исторической и политической литературе. Немецкая революция 1848 г. была явлением очень сложным. На ее ход и судьбу не без влияния остались события, происходившие вне Германии, как революции, происходившие в других странах, так и шаги, которые делало русское правительство, чтобы удержать Пруссию от заигрывания с революцией и помочь Австрии выпутаться из своего печального положения. Соперничество между Австрией и Пруссией, а равным образом и желание других государей отстоять свою независимость и существование веками вьезшегося в жизнь нации партикуляризма были главными причинами неудачи германского единства. Вопрос о взаимных отношениях центральной и территориальных властей в Германии был всегда больным местом ее истории: вспомним хотя бы эпохи Реформации, Вестфальского мира и Венского конгресса. И прежние попытки бóльшего объединения Германии в политическом отношении разбивались все о те же самые препятствия. Движение 1848 г. было, кроме того, направлено на завоевание свободы. В исторической и политической литературе довольно часто уже высказывалось мнение, что шедшее в 1848 г. из Франции революционное движение нашло немцев еще недостаточно созревшими для политической свободы. Но это общее объяснение может быть понято в двояком смысле. Именно одни думают, что в 1848 г. немцы не были достаточно духовно развиты, чтобы всецело и глубоко проникнуться новыми идеями. Наоборот, другие утверждают, что в Германии 1848 г. социально-экономическое разделение нации на классы не ушло еще настолько далеко вперед, чтобы классовые противоположности могли проявиться вполне резко и отразиться совершенно ясно в классовом сознании

народной массы¹. В движении участвовали и буржуазия, и городские рабочие, и крестьяне, но настоящей его руководительницей была одна буржуазия. В ней уже было развито сознание классовых интересов, и она уже начинала побаиваться пролетариата и социализма. Крестьяне выступили с весьма определенными требованиями, касавшимися главным образом феодальных тягостей, которые лежали еще на сельских жителях. Если в некоторых местах под влиянием крестьянских бунтов сами дворяне пошли на уступки, то и буржуазия, конечно, должна была хлопотать об удовлетворении крестьянских требований. Во-первых, уничтожение феодальных порядков входило в число пунктов либеральной программы вообще: оно требовалось и идеей свободы, и необходимостью нанести удар реакционному дворянству. Во-вторых, от уничтожения феодальных прав буржуазия ничего не теряла; наоборот, скорее даже выигрывала, приобретая союзников в той борьбе, которую вела с представителями старого порядка. В-третьих, соединение крестьян с городскими рабочими грозило опасностью социальной революции, избежать которой было одним из самых твердых намерений немецкой буржуазии. После того как крестьяне добились своего, в их среде вполне восстановились спокойствие и порядок, и даже развилась своего рода ненависть к «городским людям» (Stadtleute), продолжавшим волноваться и бунтовать. Впоследствии для реакции крестьянская масса была поэтому весьма прочной опорой. Но реакционное настроение возникло и среди самой буржуазии. Совершив при помощи народа революцию, она хотела эту революцию заключить в известные границы, не дать ей зайти далее того, что соответствовало буржуазным «требованиям народа». Почти все «мартовские министры», из гонимых превратившиеся на время в господ положения, всячески подавляли те стремления, которые заходили, по их мнению, слишком далеко. В начале движения немецкие рабочие шли под предводительством буржуазии. Как мы видели, лишь в немногих случаях они предъявляли свои собственные требования. Гражданская свобода, которую отстаивала буржуазия, конечно, была нужна и рабочему классу, но когда последний стал обнаруживать стремления, не соответствовавшие понятиям буржуазии и противоречившие ее интересам, боязнь социальной революции заставила буржуазию искать союза с теми самыми властями, над которыми она только что одержала победу. Мало-помалу пролетариат, со своей стороны, разочаровался и не обнаруживал более охоты вступать в борьбу. «Движение, — говорит Блос в своей “Истории немецкой революции”, — пало главным образом вследствие противоречий, заключавшихся в классовых интересах. Побежденная демократия не могла этого понять; она была того мнения, что все погибло от противодействия государей. Она не вынесла в этом отношении

¹ Такова точка зрения Блоса и Меринга, сочинения которых названы выше, а также и других писателей того же направления.

никакого поучения для себя из урока Франции, где случилось то же самое, что и в Германии. Во Франции классовые противоположности были только уже гораздо резче выражены». Но и те историки, которые объясняют неудачу немецкой революции 1848 г. тогдашним взаимоотношением социальных классов, соглашались с тем, что и в области понимания политических задач не все обстояло благополучно. «Немцы, — говорит только что цитированный автор, — воображали, что действительно сделались свободными, а о том не думали, что самая трудная задача как раз не была еще разрешена, именно — как дать только что завоеванной свободе прочную основу и соответственную обстоятельствам форму... Все национальные свойства тогдашних немцев с их недостатком политического воспитания (*der damals noch wenig politisch geschulten Deutschen*) выступили наружу. Дорогое время тратилось на спевки; везде раздавались знаменитые песни: «Германия, Германия выше всего!» и «Где отечество немца?», и тысячи поэтов и пивных ораторов прославляли свободу до тошноты. Немало и выпивали, как это и понятно в такие времена. В большом количестве явились на сцену разные взбалмошные головы, которые из революции сделали своего конька. Были, например, люди, которым уничтожение обычая снимать шляпу в знак приветствия казалось более важным, чем вопрос о конституции». В других местах своей книги Блос постоянно отмечает недостаток политического воспитания у тогдашних немцев, не исключая самих вождей движения. Вся его книга является весьма строгой критикой деятельности как отдельных лиц, так и политических собраний той эпохи¹. Он приводит на этот счет и показания более наблюдательных современников. «Представим себе, — писал в своем дневнике Варнгаген фон Энзе, — что во Франции произошло восстановление королевской власти, разве в Германии не возьмут назад сделанных уступок, не начнут преследовать и наказывать вождей движения? Мы живем чужим счастьем, посторонними воздействиями».

Немецкая революция 1848 г. была не только национальной и политической, но и социальной. Республиканская партия, которая во Франции резко разделилась на политических радикалов и социалистов, вступивших между собой в борьбу, в Германии тоже заключала в себе эти два оттенка, но здесь, имея еще против себя монархические правительства, социалисты шли заодно с демократами. До 1848 г. немецкий социализм развивался преимущественно вне Германии. Не забудем, что «Коммунистический ма-

¹ Нужно, однако, заметить, что иногда эта критика руководствуется чисто условными принципами, и в вину деятелям 1848 г. ставится, в сущности, что они не разделяли историко-философской точки зрения автора. Более или менее прав он лишь тогда, когда показывает, что эти деятели не всегда понимали условия, среди которых им пришлось действовать, и потому строили несбыточные планы, то увлекаясь примерами Великой французской революции, то подражая современным французам.

нифест» вышел из среды немецких эмигрантов как раз в феврале 1848 г. Когда в Германии вспыхнула Мартовская революция, политические изгнанники и массы немецких рабочих устремились на родину, чтобы принять участие в событиях и направить их в пользу осуществления своих идей. Революция 1848 г. была по преимуществу революцией городской, и первые ее победы объясняются выступлением рабочего класса. Мы сейчас только говорили, что это выступление пролетариата напугало буржуазию. По мере того, однако, как последняя все сильнее и сильнее начинала обнаруживать свое реакционное настроение, все более, наоборот, развивалось революционное настроение пролетариата, который, не имея еще во всем своем составе собственного знамени, шел под знаменем самой буржуазии. В это время в Германии возникли разные общества рабочих, вступившие между собой в союз и начавшие устраивать общие съезды. Рядом с этим шло движение и среди мелкой буржуазии, преимущественно среди ремесленников, которые тоже организовывались и собирались, но главным образом для воскрешения старых цехов. На этой почве между пролетариатом и мелкой буржуазией, конечно, не могло образоваться такого прочного союза, какой представляет собой английский чартизм или французская социальная демократия. Германский *Spiessbürgerthum*¹ стремился стать во главе рабочего движения, желая, однако, чтобы последнее следовало его программе, и не одобряя собственных стремлений пролетариата. Первый конгресс, на котором встретились представители демократических и рабочих обществ, происходил в середине июня 1848 г. во Франкфурте-на-Майне. На нем было постановлено, что наиболее подходящим для Германии государственным устройством является демократическая республика, и была создана целая организация для пропаганды этой идеи, охватившая демократические, рабочие и гимнастические общества (так называемые турнфрейны, которые вообще играли значительную роль в революции как готовые организации). Органами этого союза сделались «*Abendzeitung*»² в Маннгейме, «*Neue Kölnische Zeitung*»³ в Кёльне и «*Zeitungshalle*» в Берлине. В числе членов этого союза были и члены коммунистического союза. Между прочим, окружной комитет этой организации в Кёльне более чем наполовину состоял из «коммунистов», и одним из таких членов был Маркс. Приглашенный через Флокена временным французским правительством возвратиться в Париж, он стал во главе немецкого социалистического движения в этом городе, а потом, когда революция победила и в Германии, переселился в Кёльн. Уже ранее, стоя на той точке зрения, что одними восстаниями ничего не достигнешь, он был против таких предприятий, каким было вооруженное вторжение в Германию не-

¹ Городской обыватель, мещанин (нем.). — Прим. ред.

² «Вечерняя газета» (нем.). — Прим. ред.

³ «Новое Кёльнское время» (нем.). — Прим. ред.

мецких рабочих под предводительством Гервега, и ратовал лишь за широкую пропаганду своих идей и организацию общественных сил. С этой целью он и основал в Кёльне «Новую Рейнскую газету» и принял участие в республиканском союзе.

Второй конгресс собрался в октябре 1848 г. в Берлине, но он только обнаружил непрочность всей организации. От него откололись многие члены, узнав из речи председателя (Криге), что целью организации является основание демократическо-социальной республики. Но тот же председатель заявил, что «главной опорой союза должны быть бюргеры» и что «к пролетариату не следует обращаться: он, — пояснил Криге свою мысль, — слишком груб и необразован, чтобы понять наши стремления». Зажигательные речи, произносившиеся на этом конгрессе, только дали лишний материал для усиливавшейся реакции. Любопытно, что в этой организации появились партикуляристические стремления и среди демократии. Юго-западные немцы были недовольны тем, что местом центрального комитета союза был назначен Берлин, и воздержались поэтому от деятельного участия в организации.

Настоящими центрами чисто рабочего движения сделались Берлин и Кёльн. Однако современные историки немецкой социал-демократии не устают повторять в своих трудах, что тогдашние немецкие рабочие вообще были слишком политически незрелы и еще очень плохо понимали свои классовые интересы. Правда, они пережили стадию бесцельных голодных бунтов, хотя местами еще и происходили разгромы машин, пережили также и стадию утопического социализма, на что указывает неуспех Вейтлинга, приехавшего в Берлин издавать газету, но не встретившего сочувствия своим идеям, и уже стояли на точке зрения французских социалистов, требуя «организации труда», «права на труд», «министерства труда» и т. п., но идеи «Коммунистического манифеста» были им еще непонятны. Однако берлинские рабочие получили в это время довольно прочную организацию, одним из вождей которой сделался Борн, живший раньше в Брюсселе и Париже и вполне примкнувший к «Коммунистическому манифесту». 18 июня в Берлине был уже созван небольшой съезд ремесленных и рабочих союзов, из среды которого вышло воззвание «ко всем рабочим, ремесленным и образовательным обществам в Германии, к немецким союзам в Швейцарии, Париже, Брюсселе и Лондоне» с приглашением прислать представителей «от работающих классов из всех городов и фабричных или земледельческих округов» для обсуждения вопроса о государственных гарантиях труда, государственной помощи рабочим ассоциациям, равно как безработным или неспособным к труду рабочим, о государственном регулировании рабочего времени, реформе податной системы в интересах рабочего класса (прогрессивный подоходный налог и отмена всех косвенных налогов, падающих на жизненные припасы), об уничтожении феодальных

оброков и повинностей, безвозмездном народном образовании и учреждении в отдельных государствах министерств труда по свободному избранию трудящихся классов. 23 августа в Берлине действительно собрался рабочий конгресс из сорока представителей рабочих обществ Берлина, Бреславля, Гамбурга¹, Лейпцига, Кёнигсберга, Мюнхена и других больших городов. Конгресс заседал десять дней и выработал в пределах своей программы целый ряд постановлений, которые и просил франкфуртский парламент включить в число «основных прав» немецкого народа. К этому была присоединена еще просьба созвать на государственный счет во Франкфурте рабочий парламент, который имел бы совещательный голос при народнохозяйственном комитете франкфуртского собрания. Наконец, конгресс написал еще устав для общегерманской рабочей организации, которая должна была носить название «Братское общение рабочих» (*Arbeiterverbrüderung*) и состоять из местных, окружных и центрального комитетов. Эта организация быстро распространилась по разным местностям, и скоро в Альтенбурге, Лейпциге, Гамбурге, Гейдельберге и Нюрнберге состоялись окружные конгрессы. Когда в Берлине произошел ноябрьский государственный переворот, местный окружной комитет сделал национальному собранию представление о необходимости ответить на него не речами, а делами. Центральный комитет, заседавший в Лейпциге, тоже обратился к окружным и местным комитетам с приглашением позаботиться о вооружении рабочих. «Братское общение рабочих» имело свой печатный орган, в котором на понятном языке говорилось о богатых и бедных, о капитале и труде и т. п. Организация поддерживала также стачки, которых в 1848 г. было особенно много. Последние также немало раздражали буржуазию.

Другим центром рабочего движения сделался Кёльн, где выступили главные деятели прежней коммунистической партии. Здесь Маркс и Энгельс 1 июня 1848 г. выпустили первый номер «*Neue Rheinische Zeitung*», назвавшейся «органом демократии» и с самого начала заявившей, что задачей ее будет служение интересам пролетариата. Поэтому газета Маркса и Энгельса не примкнула ни к одной из фракций левой франкфуртского парламента. Наоборот, редакторы прямо говорили, что при своем пестром составе немецкая демократическая партия особенно вызывает осторожное к себе отношение, что их идеал вовсе не черно-красно-золотая республика и что как раз лишь в такой республике начнется их настоящая оппозиция. Июньские дни в Париже дали возможность «Новой Рейнской газете» вполне развернуть свое знамя в страстной статье, написанной в защиту побежденных против нападок на них, между прочим, и со стороны либеральной и радикальной буржуазии. Газета сразу отшатнула от себя

¹ Перед этим в Гамбурге собирался ремесленный съезд строго цехового направления.

своих акционеров, но приобрела большое влияние и сочувствие в массах, несмотря на крайне резкое отношение к политической неадаптивности и оптимистическим увлечениям вообще всех немцев. Главные статьи газеты содержали в себе критику программ отдельных политических партий. В этих статьях предсказывалось, что реакция в духе крупной буржуазии пойдет лишь на пользу феодальной партии, но в то же время обращалось внимание и на фантастичность плана крайней левой создать федерацию из конституционных монархий, княжеств и вольных городов с республиканским правлением во главе. «Германское единство и германская конституция, — говорила „Neue Rheinische Zeitung“ — не могут быть декретированы. Дело не в осуществлении того или другого мнения, той или другой идеи, а в самом ходе развития. Национальное собрание может лишь делать ближайшим образом практически возможные шаги». Руководители газеты не тешили себя иллюзиями. Тонко понимая и всю сложность тогдашних международных отношений, они весьма многое предсказали наперед, особенно после парижского поражения пролетариата в июне 1848 г. Когда в октябре пала Вена, они писали: «В Вене только что был второй акт драмы, первый акт которой разыгран был в Париже под названием июньских дней. В Париже мобили, в Вене хорваты, в обоих городах ладзарони¹, вооруженный и купленный деньгами пролетариат-отребье (*Lumpenproletariat*) против пролетариата работающего и мыслящего. Скоро в Берлине увидим третий акт». Если бы июньские дни имели иной исход и если бы возможным стало вступление Англии во власть чартистов, то лишь в этом случае возможен был бы, по мнению газеты, успех социальной революции.

Кельнские демократические общества соединились под руководством общего комитета, который в середине августа 1848 г. собрал съезд других демократических союзов прирейнской Пруссии и Вестфалии. В Кельне и соседних местностях происходили большие народные сходки (одна высказалась прямо за красную республику) и возникали волнения, хотя вожди социальной демократии отговаривали рабочих от участия в бесцельных вспышках, которые только обессиливают народ перед действительно критическими моментами. Предсказания «Новой Рейнской газеты» исполнились и в этом отношении. Когда в ноябре в Берлине произошел государственный переворот, кельнские жители, ранее даже строившие баррикады и тем вызывавшие вмешательство войска, не оказали никакого сопротивления. За поддержку, которую рейнский окружной комитет (Маркс и др.) хотел оказать берлинскому национальному собранию, когда оно сделало постановление об отказе в уплате налогов, комитет был привлечен к суду по обвинению в подстрекательстве к вооруженному сопротивлению властям. В феврале 1849 г. происходил их процесс перед кельн-

¹ Лаццарони (*ит. lazzarone*) — представители деклассированного люмпен-пролетариата в Южной Италии. — *Прим. ред.*

скими присяжными, которые оправдали, впрочем, обвиняемых. В апреле Маркс и его ближайшие товарищи вышли, однако, из демократического комитета, так как объединенные им общества заключали в себе слишком разнородные элементы, и это только тормозило общую деятельность. Одновременно с этим кельнский рабочий союз отделился от прирейнских демократических союзов и созвал на 6 мая на провинциальный конгресс все рабочие и иные союзы, принимающие принципы социальной демократии. На этом съезде должен был решиться вопрос об организации прирейнских и вестфальских рабочих союзов и о посылке депутатов на общий конгресс всех рабочих союзов Германии, который созывало в Лейпциге в июле «Братское общение рабочих». Но именно в это самое время произошла «майская революция», задевшая и прирейнскую область. За подавлением восстаний в Эльберфельде и Дюссельдорфе прусское правительство решило положить конец изданию «Новой Рейнской газеты» высылкой из Кёльна ее редакторов. В последнем номере газеты, прощаясь с читателями, они предостерегали местных рабочих от каких бы то ни было беспорядков в Кёльне. «Благодаря военному значению Кёльна, — было сказано в этой статье, — вы прямо себя только погубили бы. Вы видели в Эльберфельде, как буржуазия посылает рабочих в огонь, а затем выдает их самым позорным образом. Осадное положение в Кёльне деморализировало бы всю Рейнскую провинцию, а осадное положение было бы необходимым следствием всякого восстания с вашей стороны в данный момент» (19 мая). После этого Маркс уехал в Париж, а Энгельс в это время участвовал в баденско-пфальцском восстании.

К этому обзору истории немецкой революции остается еще прибавить, что и в шлезвиг-гольштейнском вопросе Германия потерпела неудачу. Мы видели уже, что в обоих герцогствах, соединенных с Данией, произошла своя местная революция. К немецкому населению герцогств, начавшему под предводительством революционного правительства войну с Данией, скоро явились на помощь добровольцы из Германии. Шлезвиг-гольштейнский вопрос занимал очень и франкфуртский парламент. Пруссия, как было сказано, также послала свои войска на помощь восставшим, но вынуждена была заключить перемирие с Данией. В марте 1849 г. истек срок этого перемирия, и война возобновилась. На этот раз в герцогства вступили имперские войска, состоявшие из контингентов разных немецких государств. Они стали одерживать победу за победой, и только прусские войска действовали очень вяло. Так как весной 1849 г. в Германии снова начались народные восстания, Пруссия ничего так не хотела, как поскорее окончить войну, и ждала лишь окончания дипломатических переговоров. В мае и июне военные действия даже совсем почти прекратились, что дало возможность датчанам оправиться от прежних поражений и в начале июля нанести имперскому войску страшное поражение. Прус-

сия и тут не вышла из своего положения и даже заключила с Данией новое перемирие, опять ни с кем не сговорившись. Конечным результатом было возвращение обоих герцогств датскому королю, причем впоследствии сами Австрия и Пруссия грозили силой сломить сопротивление герцогств и тем заставили их примириться со своей участью (январь 1851 г.).

XXIII. Славянская, венгерская и итальянская революции¹

Положение Австрии в 1848—1849 гг. — Положение поляков в 1848—1849 гг. — Революционные движения у австрийских славян. — Пражский съезд. — Венгерская революция. — Взаимные отношения мадьяр и славян. — Отношение немецкой революции к венгерской и славянской. — Революция в разных местах Италии. — Итальянская политическая партия в 1848 и 1849 гг. — Австрийское и французское вмешательство в итальянские дела. — Сардинское королевство. — Второстепенные движения 1848 г.

Ни одно государство Западной Европы не переживало в 1848—1849 гг. такого опасного кризиса, как Австрия. Разнородные национальности, из которых составила монархия Габсбургов, выступили со своими противоположными стремлениями, и если бы стремления эти осуществились, Австрия должна была бы быть вычеркнута с карты Европы. Немецкое население монархии примкнуло к общегерманской революции, тесно связанной с идеей политического объединения Германии; итальянские провинции Австрии тоже были в восстании и стремились слиться воедино с другими частями Италии, где равным образом совершалось объединительное движение; Венгрия отложила от династии Габсбургов и готовилась стать самостоятельным государством. Вместе с другими народностями монархии пришли в движение и славяне, начавшие требовать и для себя восстановления национальных прав. Но именно благодаря национальной розни своего населения монархия Габсбургов и спаслась от распада. Австрийские славяне, угнетавшиеся до того времени немцами и мадьярами, выступили врагами их национальных стремлений и оказали династии поддержку в борьбе с ними. Правда, наиболее развитые элементы славянства мечтали при этом об образовании федерации равноправных народностей, но, в сущности, сыграли только на руку централистической политике венского правительства. Когда последнее справилось с национальными революциями, оно возвратилось к старым своим традициям,

¹ По истории венгерской революции см.: *Iranyi et Chassin. Histoire politique de la révolution de Hongrie, 1859; Horwath. Fünf-und-zwanzig Jahre aus der Geschichte Ungarns (1823—1848), 1866; Balleydier. Histoire des révolutions de l'empire d'Autriche.* См. также сочинения по истории Австрии Springer'a, Krones'a, Léger'a, Helfert'a, Asseline и др. Для истории австрийских славян в эту эпоху главные труды указаны выше. Итальянская революция: *Ferrari. Deux ans de révolution en Italie (1848—1849), 1857; De Crozals. L'unité italienne, 1898; Cantu. Della indipendenza italiana (т. III.); Costa de Beauregard. Dernières années du roi Charles-Albert, 1890.* О Кавуре см. соч. Bonghi (1861), Edw. Dicey (1861), Massori (1873), Ch. de Mazade (1877), статью Добролюбова («Сочинения»), о Гарибальди — Delvau (1867), Balbiani (1872), Bent (1881), Guerzoni (1882), Mario (1884) и др., о Манине — H. Martin.

и славяне, спасшие династию, снова были отданы в порабощение господствующим национальностям. С другой стороны, немецкая и венгерская революции были политическими движениями, направленными к установлению конституционной свободы, а большая часть славян пошла под знаменем австрийского абсолютизма. Таким образом, в 1848—1849 гг. австрийским славянам пришлось сыграть в истории Западной Европы чисто реакционную роль. Наиболее развитые в политическом отношении славянские народы Австрии, поляки и чехи, с самого же начала потерпели поражение, и главное значение в подавлении революции получили южные славяне.

За два года до начала бурной революционной эпохи 1848—1849 гг. поляки сделали попытку восстания, которая была подавлена в самом же начале. Им трудно было оправиться от поражения 1846 г., и этим отчасти объясняется слабость польского движения в 1848 г. Менее всего могло рассчитывать на успех какое-либо движение в русской Польше. Галиция была сильнее затронута общей бурей, но в ней движение было подавлено необыкновенно быстро. С одной стороны, польская шляхта этой области сдерживалась страхом перед Россией и недоверием к крестьянам, которые еще так недавно показали, что если они и начнут восстание, то не против «цесаря», а против панов. С другой стороны, австрийский губернатор Стадион понял, какую выгоду правительство может извлечь из антагонизма между поляками и русинами, и стал покровительствовать последним, насколько это было нужно для целей австрийской политики. Окончательным уничтожением барщины он привязал крестьянское население к монархии. Вот почему галицийское движение 1848 г. было так незначительно. Прежде всего, Львов потребовал у австрийского правительства удаления дурных чиновников, уничтожения тайной полиции, назначения поляков на административные должности и расквартирования польских полков в самой Галиции — и только. Затем уже только возвратившиеся эмигранты пошли и дальше, организовав в Кракове революционный комитет с характером временного правительства, а 26 апреля 1848 г. здесь вспыхнуло и восстание. Австрийские войска бомбардировали город, и тем дело кончилось. Более серьезное значение имело восстание в прусской части Польши. Берлинская революция не могла не отозваться на Познани. Объявив себя 21 марта как бы покровителем немецкой национальности, Фридрих-Вильгельм IV предоставил провинциям, не входившим в состав Германского союза, свободу присоединиться к нему или остаться вне союза. Это значило, что прусский король признавал за ними право на национальное существование. Мы уже видели, что мартовская революция освободила из заключения вождей польского восстания 1846 г. и что берлинское население сделало им даже овацию. «Форпарламент» высказался даже прямо за восстановление Польши. Все это должно было возбудить в поляках на-

дежды на возможность достижения своих национальных целей. Между тем познанские немцы вовсе не хотели отделяться от Германии и были против каких бы то ни было польских планов, опасаясь войны с Россией. Между обоими национальностями в Познани началась поэтому борьба, принявшая крайне ожесточенный характер: и поляки и немцы стали прибегать к убийствам и к поджогам. Прусское правительство вздумало выступить посредником, но потерпело неудачу. 22 апреля западная и притом большая часть великого герцогства была принята в состав Германского союза, хотя в ней были целые округа с преобладанием польского населения. Тогда в Познани вспыхнуло настоящее восстание. Прусское правительство с самого начала решило подавить его силой. 30 апреля Мерославский, незадолго перед тем выпущенный из берлинской тюрьмы, разбил пруссаков при Милославе. Но в Познань были посланы более значительные силы, и в начале мая восстание было вполне подавлено после нескольких кровопролитных битв. Не смея восстать в Царстве Польском, побитые в Галиции и Познани еще весной 1848 г., польские революционеры были обречены сражаться в рядах революционеров других национальностей в надежде, что успех западноевропейской демократии приведет к восстановлению Польши. Действительно, демократические партии повсеместно симпатизировали полякам и очень часто в число пунктов своих программ включали восстановление Польши. Этого требовали не только французские, но и немецкие демократы, а среди последних и социалисты. Маркс в своей «*Neue Rheinische Zeitung*» тоже проповедовал восстановление Польши.

Чешская революция 1848 г. тоже была подавлена очень скоро. В Праге первые манифестации начались еще 11 марта, когда на одном собрании чешских патриотов было решено требовать у правительства административного объединения Богемии, Моравии и Силезии, улучшения быта крестьян и развития народного образования.

Когда в Вене произошла мартовская революция, то и Прага пришла в сильное волнение. Немедленно была выработана новая петиция к правительству, требовавшая восстановления «королевства святого Вячеслава» с центральным сеймом в Праге и ответственным министерством, причем чешская национальность должна была пользоваться равноправностью с немецкой. Венское правительство приняло эту петицию довольно благосклонно и надавало обещаний (8 апреля). Богемские немцы были недовольны такими требованиями чехов, да и вообще все немцы не были расположены делать славянам какие бы то ни было уступки. Комитет, избранный «форпарламентом», пригласил принять участие в своих заседаниях и знаменитого чешского историка Франца Палацкого, но тот наотрез отказался. В своем ответе он говорил, что понимает и высоко ценит стремление немцев заменить федерацией народов федерацию князей и создать

единство и величие своей родины, но что именно поэтому он и не может принять участия в собрании. «Я, — писал он далее, — не немец или, по крайней мере, не считаю себя немцем. Я — чех, славянин по происхождению, и все мои силы принадлежат моему народу. Конечно, это небольшой народ, но он с самого своего начала имеет собственную историческую индивидуальность; его государи вступили в круг германских государей, но сам он никогда не причислял себя к немцам». Этим было совершенно ясно определено отношение чехов к немецкому национальному движению. Мало того, Палацкий в своем письме указывал на то, что дело, задуманное во Франкфурте, грозит существованию Австрии, как самостоятельного государства, а оно, заявлял Палацкий, «имеет важное значение не только для моего народа, но и для всей Европы и целого человечества». Таким образом, вождь самого значительного племени австрийских славян прямо высказывался за необходимость существования Австрии, и этим еще более вооружал против чехов ту часть немецких патриотов, которые в Австрии видели главную помеху для национального единства. Австрийское правительство предписало, однако, и в Богемии произвести выборы во франкфуртский парламент, но чехи отказались принять в них участие. Обнародование австрийской конституции 25 апреля, составленной в чисто централистическом духе, еще более раздражило чехов. После бегства императора в Инсбрук они прямо отказали в повиновении венскому министерству, попавшему в руки революционеров, и учредили при графе Туне, императорском наместнике, особый комитет, бывший своего рода временным правительством; в его состав вошли Палацкий, Ригер и др. Это правительство созвало — в виде противовеса франкфуртскому парламенту — большой славянский съезд в Праге.

Между тем движение охватило и южных славян Австрии, у которых оно направилось против мадьяр. Загребский сейм выработал целую программу национальной независимости для Хорватии, Славонии и Далмации с Военной Границей. Ведению центрального правительства предоставлялись армия, финансы и иностранные дела, но в стране должны были существовать одни хорватские войска. В марте в Вену прибыла хорватская депутация, которую правительство приняло благосклонно. Баном (губернатором) хорватским был назначен весьма популярный среди своих соотечественников Елачич, отличавшийся горячей ненавистью к мадьярам. Затем произошло движение и среди австрийских сербов. В середине мая они устроили собрание в Карловце, на котором вотировали восстановление патриаршества и воеводства, образование из сербов самостоятельной нации и соединение ее с хорватами. Венгерское правительство задумало подавить это движение силою и сменило Елачича, но он не повиновался.

Таково было положение дел среди австрийских славян, когда в Праге состоялся под председательством Палацкого славянский съезд (2 июня).

Съезд этот разделился на три секции. Первую составляли чехи, моравы и словаки, которые и были более всего представлены, именно 237 членами; вторую секцию с 41 членом составляли поляки и русины; третью с 42 членами — хорваты и сербы. Главными вопросами, подлежавшими обсуждению, были взаимные отношения австрийских славян, их отношение к немцам и мадьярам и к славянам турецким (в частности, отношение к франкфуртскому парламенту), условия образования из Австрии федерации и т. п. В числе членов конгресса были посторонние Австрии революционеры: поляк Либельт, участник восстания 1846 г., только что освобожденный из берлинской тюрьмы, и Бакунин, уже тогда пользовавшийся большой известностью в революционных кругах. Главным затруднением членов съезда было разнообразие наречий, заставившее Бакунина предложить сочленам говорить на общеславянском языке — так он назвал язык немецкий. В числе задуманных конгрессом действий было составление манифеста к народам Европы, в котором славяне должны были заявить свои законные желания и снять с себя обвинения, распространявшиеся немцами и мадьярами. Но съезду не было суждено довести свои занятия до конца. Немецкие бюргеры Праги для поддержания порядка и спокойствия образовали особый комитет, что сильно вооружило местное студенчество, организовавшее по примеру Вены свой «академический легион». Состоя преимущественно из чехов, он был настроен крайне враждебно против немцев вообще. 12 июня состоялась в Праге большая, но совершенно мирная демонстрация национального характера, кончившаяся стычкой с войсками и кровопролитием. Главным начальником австрийских войск в Праге был князь Виндишгрец, родом чех, но аристократ до конца ногтей, говоривший, что «человек начинается только с барона». Во время возникших беспорядков его жена была убита, и это его страшно ожесточило. Когда на улицах Праги началась борьба чешских горожан, студентов и рабочих с войсками (немецкое население в восстании не приняло участия) и были даже построены баррикады, Виндишгрец подверг Прагу бомбардированию, продолжавшемуся три дня. После геройской, но безуспешной защиты город сдался (17 июня). Результатом этого было совершенное подавление чешской революции. В Праге было объявлено осадное положение, славянский съезд закрыт, обещанный чехам учредительный сейм не быть созван. Впрочем, Виндишгрец обошелся с чешскими инсургентами довольно милостиво, не так, как обошелся несколько времени спустя, когда ему же пришлось подавлять революцию в Вене. Интересно, что франкфуртский парламент вотировал Виндишгрецу благодарность за бомбардирование Праги.

Это не испортило, однако, хороших отношений между чехами и правительством. Национальная ненависть к немцам заставляла чехов держаться за Габсбургов в надежде обратить их к славянской политике. Правительство,

действительно, поняло, что, поддерживая чехов против немцев, а хорватов и сербов против мадьяр, оно легче всего справится с революцией. Вслед за тем, как демократические элементы чешской столицы потерпели поражение, чешская аристократия сблизилась с двором.

Вскоре после этого произошли выборы в венское учредительное собрание, в которое и немцы, и чехи выслали наиболее непримиримых представителей своих национальностей. В этом собрании немцы являлись сторонниками франкфуртского парламента и союзниками мадьяр, тогда как чехи выступили защитниками Австрии, хотя и под условием самой широкой автономии для Богемии. Они образовали в этом собрании правую под предводительством Палацкого и Ригера. Палацкий же и посоветовал правительству перенесение заседаний государственного сейма в Кромержиж. Отрекшийся от престола Фердинанд I переселился на жительство в Прагу. Правда, вожди славянского движения мечтали о федерации, и Палацкий даже выработал целый проект конституции в этом смысле. Для общих интересов империи должно было существовать лишь четыре министерства: военное, морское, финансов и внутренних дел. Для каждой национальности (немцы, чехи, поляки, итальянцы, юго-славяне, мадьяры и валахи) в Вене должна была существовать особая государственная канцелярия, но каждая провинция должна была иметь полную автономию. Центральный сейм должен был состоять из делегатов от сеймов национальных. Правительство решило иначе, и 4 марта 1849 г. Австрия получила централистическую конституцию. Славянская революция превратилась в славянскую реакцию.

В другой половине империи произошло то же самое. Славянская революция вступила в союз с австрийской реакцией против венгерского восстания.

При тех натянутых отношениях, которые существовали между правительством и нацией еще перед 1848 г. в Венгрии, революция не могла миновать и этой страны. Еще 3 марта 1848 г. Кошуту удалось провести в нижней палате сейма адрес правительству об установлении ответственного министерства, а когда в Пресбурге сделалась известной Мартовская революция в Вене, адрес этот был послан в Вену, где правительство его приняло, обещав мадьярам удовлетворить их желания. Сейм между тем делал постановление за постановлением в духе революционных требований (присоединение Трансильвании к Венгрии, ежегодные сеймы, уничтожение дворянских привилегий и феодальных прав, равенство вероисповеданий, свобода печати, суд присяжных и т. д.). Одновременно в Пеште происходило сильное народное брожение. В середине марта несколько молодых людей (Петефи, Йокай и др.), захватив одну типографию, напечатали в ней знаменитую программу 15 марта, в которой сверх сеймовых требований поставили перенесение сейма и министерства в Пешт, образо-

вание национальной гвардии и освобождение политических узников. Фердинанд I согласился на все желания сейма. В марте же под председательством графа Баттиани образовалось новое венгерское министерство, в состав которого вошли и Кошут с Дзаком. Правительство согласилось и на перенесение всех центральных учреждений Венгрии в Пешт, и 26 июня министерство переселилось в новую столицу, в которой 2 июля собралось венгерское учредительное собрание, избранное по новому закону, только что вотиrowанному сеймом. После этого Венгрия стала чувствовать себя совершенно самостоятельным государством. Была организована национальная армия, и офицерам было запрещено повиноваться приказаниям из Вены; были введены в употребление венгерские кредитные билеты; был заключен венгерский государственный заем. Наконец, пештское правительство даже послало за границу своих дипломатических агентов и при этом заявило, что Австрия может, как хочет, решать свои дела с Германией. Одним словом, мадьяры, пользуясь затруднительным положением династии, вполне осуществили свою национальную идею. Но с самого же начала они встретили оппозицию со стороны славянских элементов, которые тоже стремились к осуществлению своих национальных прав. К славянам присоединились еще и трансильванские румыны, которые были равным образом недовольны мадьярским и немецким гнетом. На большом народном собрании они протестовали против намерения соединить Трансильванию с Венгрией, но тем не менее местные провинциальные чины провозгласили эту унию (30 мая). На эти-то недовольные элементы и могло опереться австрийское правительство в своей борьбе с Венгрией.

Первыми восстали против мадьяр сербы под начальством Стратимировича при помощи граничар и добровольцев из Сербии. Между тем в Вене была устроена конференция мадьярских и хорватских уполномоченных, которая не привела ни к чему. После подавления чешского восстания и обратного завоевания Ломбардии Фердинанд I заговорил с мадьярами другим языком. Он объявил, что сделанные им уступки получают силу лишь после одобрения их другими землями монархии и отказался утвердить вотиrowанные пештским сеймом законы о национальном войске и государственном займе. Вместе с этим он приказал остановить начатые венгерским министерством военные действия против сербов. Первоначально император не одобрял поведения Елачича и даже отставил его от должности хорватского бана, но когда тот, вызванный в Инсбрук, объяснил, что все его движения клонятся к благу династии, ему была возвращена его должность. Елачич даже на деле доказал свои верноподданнические чувства, обратившись с воззванием к южным славянам, находившимся в австрийской армии в Италии, и убеждая их защищать права императора на Ломбардию.

По соглашению с правительством и с реакционной партией Елачич поднял восстание против «азиатской орды» и 9 сентября во главе большо-

го хорватского войска перешел через Драву. Магьяры отправили депутацию к венскому национальному собранию с просьбой о помощи, но, как уже было сказано выше, славянское большинство этого собрания не допустило даже, чтобы депутация была принята. Наместник (палатин) Венгрии эрцгерцог Стефан оставил Пешт, а затем и саму страну после неудачной попытки добиться свидания с Елачичем; Баттиани также сложил с себя власть. Между тем к сербам и хорватам присоединились еще румыны и словаки. Тогда венгерский сейм учредил под председательством Кошута комитет национальной обороны в то самое время, как император назначил своим комиссаром и главнокомандующим в Венгрии графа Ламберта (25 марта). На другой же день по прибытии в столицу Венгрии Ламберт был умерщвлен разъяренной толпой. Ответом на это было объявление Елачича полномочным комиссаром императора и главным начальником всех военных сил в Венгрии. Все королевство объявлялось в военном положении, а венгерский сейм — распущенным (3 октября).

Между династией и мадьярами началась война. На сторону Венгрии стало население и австрийской столицы. Мы видели, что в октябре венцы возмутились, чтобы помешать австрийским войскам идти на помощь Елачичу, и что, со своей стороны, мадьяры оказали, хотя и запоздалую, помощь Вене. Елачич на время должен был заняться подавлением восстания в австрийской столице. После победы над венской революцией война против Венгрии возобновилась с удвоенной силой. Кошут и другие вожди восстания были объявлены государственными изменниками, и усмирение Венгрии было поручено Виндишгрецу. Со своей стороны, после отречения Фердинанда I мадьяры не хотели признавать своим государем Франца-Иосифа. В начале января комитет национальной обороны был вынужден оставить Пешт и удалиться в Дебречин. Виндишгрец, в декабре занявший Пресбург, вступил в Пешт и начал в нем суровую расправу. Но эти успехи Австрии были непродолжительны, и ранней весной 1849 г. счастье стало снова переходить на сторону Венгрии.

В числе защитников венгерской независимости было много поляков. Сначала главнокомандующим был назначен поляк Дембинский, ветеран наполеоновской армии, но к нему с завистью относились мадьярские генералы, особенно Гёргей, который потом и сделался сам главнокомандующим. Другим выдающимся поляком на службе Венгрии был Бем, незадолго перед тем организовавший защиту Вены. Гёргею и Бему удалось одержать победы и перейти в наступление. Тогда Виндишгрец был смещен.

14 апреля 1849 г., упоенный победами своего войска, венгерский сейм в Дебречине провозгласил низложение австрийского дома и полную независимость Венгрии, назначив временное правительство под председательством Кошута. К несчастью венгерцев, Гёргей отнесся к этому неприязненно, завидуя положению, которое занял в Венгрии Кошут. В тот же самый

день, как Гёргей снова взял у австрийцев Пешт, на личном свидании императора Николая I с Францем-Иосифом в Варшаве (21 мая) было решено, что умирение Венгрии будет поручено русским войскам. В июне русская армия под начальством Паскевича вступила в Венгрию. 13 августа Гёргей, которому Кошут только что передал диктатуру, капитулировал при Вилагоше. «Венгрия у ног вашего величества», — писал Паскевич Николаю I. Кошут и некоторые другие вожди восстания бежали в Турцию. В Венгрии началась самая жестокая репрессия. Первый президент первого венгерского министерства был расстрелян в Пеште; расстреляны и даже повешены были и некоторые генералы; масса народа была посажена в крепости и тюрьмы. Австрия и Россия даже потребовали у Турции выдачи беглецов, но султан отказал. С этого времени и ведет свое начало симпатия мадьяр к туркам.

В 1848 г. и немцы, и славяне, и мадьяры, и итальянцы стремились к национальной независимости, ссылаясь на один и тот же принцип. Но немцы и мадьяры слишком привыкли господствовать над славянами, чтобы охотно признать за ними равноправность. Притом и тех и других пугал призрак панславизма, за которым они видели господство России. Враждебное отношение самих славян к немецкой и мадьярской революциям, от успеха которых они для себя ничего хорошего не ожидали, и помощь, оказанная ими династии Габсбургов в борьбе с мятежными немецкими и мадьярскими подданными, только укрепили и немцев, и мадьяр в их ненависти к славянству. Подавление венгерской революции русскими войсками оправдывало и опасения их насчет того, что за австрийскими славянами стояла Россия со своими опасными для европейской свободы замыслами. Ни немцы, ни мадьяры не хотели признать, что славяне имели такое же право на национальную независимость и что они добивались тех же самых политических прав, ради завоевания которых они восстали сами. Австрийские немцы, которые часто были партикуляристами по отношению к Германии, в монархии Габсбургов являлись, наоборот, яркими централистами, и славяне, поддержав Габсбургов, которые были тоже централистами по традиции, тем самым содействовали только торжеству своих врагов. Венгрия, не хотевшая, подобно славянам, подчиниться централизму, не допускала, однако, федералистической идеи, за которую были славяне, так как для мадьяр это значило значительно сузить пределы своего национального королевства; поэтому она стояла за дуализм, который даже был фактически осуществлен, когда представители одной половины монархии заседали в Вене, потом в Кромержиже, а представители другой — в Пеште, потом в Дебречине. После подавления революции в Австрии наступила эпоха централизма, пока в 1867 г. не установилась система дуализма, выгодная для немцев и для мадьяр, но невыгодная для славян. Австрийские славяне жестоко поплатились тогда за свою реакционную роль в 1848—1849 гг.

Венгерская революция пользовалась большим сочувствием немецкой демократии, но скорее только потому, что создавала затруднение главному врагу — австрийскому абсолютизму. Демократы 1848 г. стояли за братство народов, а между тем и мадьяры были проникнуты сильным национальным эгоизмом. В венгерском сейме партия, защищавшая общие с немецкой демократией принципы, составляла самое незначительное меньшинство, и сам Кошут готов был видеть в людях этой партии бунтовщиков. В сущности, венгерская армия, отстаивая национальную независимость, сражалась скорее за интересы мадьярской аристократии и буржуазии, чем за свободу и благосостояние всего народа. В национальном отношении мадьяры не хотели признать прав за славянами короны святого Стефана. При известных обстоятельствах они сами не прочь были бы сыграть по отношению к другим народам ту роль, какую славяне сыграли по отношению к ним. Чуть не до конца поддерживая фикцию, будто война ведется ими не против «короля», а против придворной камарильи, захватившей в свои руки власть, они еще в июле 1848 г. говорили о необходимости помочь Австрии людьми и деньгами в Италии в то самое время, когда организовали свою революционную армию. Баттиани и Дзак требовали этого прямо, и Кошут не решился идти против. Сделали лишь тонкое различие между Италией, против которой помогать не хотели, и Сардинским королем, против которого, наоборот, считали нужным помочь Австрии.

Реакционная роль австрийского славянства в событиях 1848—1849 гг. давала пищу для враждебного отношения к панславизму в Германии не с одной националистической точки зрения. «Новая Рейнская газета» весьма определенно высказывала свой взгляд на этот счет. Правда, Маркс очень верно понимал, что панславизм, которого так боялись в Европе, был не чем иным, как фантазией, рожденной в головах нескольких идеологов, — он называл политическим романтизмом и сентиментализмом и демократический панславизм, проповедовавшийся Бакуниным на пражском съезде, — но он отмечал постоянно и настаивал на этом, что исторически австрийские славяне должны были выступить в качестве контрреволюционеров и врагов демократии в новом смысле. И газета поэтому призывала к «непримиримой борьбе на жизнь и смерть со славянством, изменяющим революции», к «истребительной войне и беспощадному терроризму — не в интересе Германии, а в интересе человечества». То же самое настроение по отношению к славянству стало господствовать и у немецкой либеральной буржуазии.

Переходим теперь к итальянским событиям 1848—1849 гг.

В Италии революция началась еще раньше февральского переворота, бывшего сигналом для немецкой, славянской и венгерской революций. Итальянская революция с самого начала получила характер, враждебный Австрии. В одной части Италии Австрия властвовала непосредствен-

но, и революция поставила на своем знамени освобождение этой части от немецкого ига, а в других ее частях монархия Габсбургов была главной поддержкой реакционных правительств, и девизом революции сделалось вообще изгнание Австрии из Италии. Между тем венское правительство при первом же взрыве революционного движения решило отстаивать свое положение на Апеннинском полуострове. Другие народности монархии оказывали в этом отношении Австрии свое содействие. Магьяры не прочь помочь были и деньгами, и людьми. Елачич призывал хорватов к верности императору в Италии. Творцы австрийской федералистической конституции считали в составе монархии и итальянцев.

Сначала Австрия вынуждена была покинуть занятую ею позицию. Когда известие о мартовской революции в Вене достигло до Ломбардии, вспыхнула революция и в Милане. Австрийский главнокомандующий Радецкий, опасаясь быть отрезанным от Австрии, отступил (22 марта) в четырехугольник крепостей (Пескьера, Верона, Леньяно и Мантуя) между Ломбардией и Венецианской областью, где тоже вспыхнуло восстание. Ломбардцы учредили временное правительство и начали собирать войско. Временное правительство было учреждено и в Венеции, где во главе его стал адвокат Манин, провозглашавший восстановление «республики святого Марка». Пармский и моденский герцоги, бывшие в союзе с Австрией, были вынуждены покинуть свои резиденции. Движение передалось и в другие части Италии. Король Сардинский Карл-Альберт двинул свою армию в Ломбардию без всякого формального объявления войны Австрии и занял Милан. К сардинской армии примкнули войска других итальянских государств. Пример был подан великим герцогом Тосканским. Папа издал 30 марта воззвание «к народам Италии», поощрявшее их к войне за освобождение, и начальник его армии двинулся тоже на помощь к Карлу-Альберту, хотя потом Пий IX и уверял, что был не так понят своим главнокомандующим. В Неаполе произошло народное движение, и король, дав отставку министерству, которое обвинялось в сочувствии Австрии, обнародовал воззвание к своим подданным о борьбе за свободу и славу Италии. Неаполитанским войском командовал ветеран революции 1820 г. Гуильельмо Пепе. Это присоединение трех государей к Карлу-Альберту вовсе не было делом порыва их патриотических чувств, а было вынуждено общественным движением. В сущности, все они относились к национальным стремлениям подозрительно, да и друг другу плохо доверяли. В данном случае в Италии происходило то же самое, что и в Германии, где тоже лишь страх перед революцией заставлял государей делаться поборниками национального единства. В этом заключалась одна из причин неудачи итальянского движения 1848—1849 гг. В Италии даже не образовалось ничего подобного франкфуртскому парламенту, т. е. никакого политического центра, который хоть сколько-нибудь объединял бы движения отдельных частей нации.

Первым, и притом очень скоро, отстал от национального движения Пий IX. Его министры убеждали его прямо дать разрешение своим подданным участвовать в войне с Австрией, говоря, что отказ от войны вызовет восстание в его владениях, но папа, испуганный демократическим движением и недовольством правоверных католиков, в аллокуции¹ 29 апреля объявил, что не может принимать участия в войне, будучи наместником на земле Верховного Миротворца. В Риме действительно вспыхнуло восстание, заставившее Пия IX учредить чисто светское министерство под главенством либерального графа Мамияни, участвовавшего в восстании 1831 г. и до 1848 г. жившего во Франции в изгнании. Новое правительство не отказалось от участия в войне, но сам папа нанес сильный удар своей популярности в Италии: для веры в то, что Святой престол объединит Италию, бывшей столь распространенной до того времени, уже не могло быть более места. Зато аллокуция Пия IX очень обрадовала неаполитанского короля. Скоро и ему представился случай отступить от общего итальянского дела. Сицилия, еще ранее этого потребовавшая у Фердинанда II конституции, не желая подчиниться общей для всего королевства конституции, отложила от Неаполя, и 13 апреля парламент объявил низложение Фердинанда II и призвание на престол в будущем, когда окончится пересмотр конституции, одного из итальянских принцев. Для усмирения мятежных подданных королю понадобились войска, и это было хорошим предложением для того, чтобы отступить от итальянского дела. Затем и в самом Неаполе произошел переворот. 15 мая собрались неаполитанские палаты, но в тот же день были распущены королем, нашедшим, что они превышают свою власть. Неаполитанские демократы подняли восстание и стали строить баррикады, но оно было подавлено швейцарской гвардией и ладзарони. Новое реакционное министерство отозвало назад армию Пепе и флот, посланный на помощь Венеции. В Неаполе началась реакция. Сицилийцы избрали было в короли второго сына Карла-Альберта, но Карл-Альберт отклонил избрание, потому что в это время (июль) и его дела пошли плохо.

Дело в том, что Австрия представила свое дело в Италии как дело, задевающее всю Германию. В Тироле образовались немецкие отряды и через Фриуль двинулись в Италию. Радецкий перешел тогда в наступление (июнь) и после ряда успехов разбил Карла-Альберта при Кустоцце (25 июля). Ломбардия была вновь во власти Австрии, и одна только Венеция еще кое-как держалась.

Таким образом, еще весной и летом 1848 г. были подавлены и неаполитанская, и ломбардская революции. С сицилийской революцией дело было труднее. Фердинанд II отправил в Сицилию неаполитанскую армию,

¹ Речь, обращение в торжественных случаях. — *Прим. ред.*

которая бомбардировала в октябре Мессину и другие города, откуда Фердинанд II получил свое прозвище «Бомба» (*il re Bomba*). При посредстве Франции и Англии сицилийцам удалось заключить перемирие, но так как переговоры ни к чему не привели, то весной следующего года война в Сицилии возобновилась. К инсургентам явился на помощь Мерославский с иностранным легионом, но потерпел поражение. 14 мая неаполитанское войско заняло столицу Сицилии, Палермо, и на острове водворился абсолютизм. Около того же времени неограниченное правление было восстановлено и в самом Неаполе.

Ранее всего, следовательно, отстала от национального движения и испытала на себе реакцию Южная Италия. В средней и северной неудача «меча Италии», как звали Карла-Альберта, не остановила еще движения. Кроме партии, которая думала достигнуть объединения Италии путем федерации отдельных государей, здесь образовалась еще республиканская партия, стремившаяся решить вопрос о будущем устройстве Италии созывом общего парламента. Во главе этой партии стоял Мадзини, главным полем действия была Средняя Италия, где в конце 1848 и начале 1849 г. республиканцы имели значительный успех. Сторонники этой партии вербовались в больших городах на всем пространстве Италии, и они рассчитывали на помощь со стороны французских республиканцев. Эта надежда оказалась, однако, обманчивой, а между тем и в самой Италии республиканская партия встретила сильную оппозицию со стороны партии конституционных монархистов, опиравшихся на Сардинию, которая, хотя и потерпела от Австрии поражение летом 1848 г., еще не отказывалась от роли объединительницы Италии. Помимо отпадения от общего дела Южной Италии, где победа осталась за абсолютистами, этот раскол между конституционными монархистами и республиканцами сильно вредил национальному делу. Австрия, управившаяся постепенно с революциями в других своих землях, могла напрячь все свои силы на Италию, а последняя в это время как раз была разъединена. Неаполитанское правительство поддерживало реакцию и в этом отношении помогало Австрии. Средняя Италия, в которой установились республики, и Северная, присоединившаяся к Пьемонту, действовали несолидарно. В довершение всех бед Италии Франция, в которой тоже началась реакция, прямо выступила в роли усмирительницы национального движения на полуострове.

Республики были введены в Риме, в Тоскане и в Венеции. После назначения Пием IX на министерский пост либерала Мамияни (4 мая 1848 г.) в Риме народные волнения, вызванные отказом папы от участия в общем итальянском деле, не прекращались. Сам Пий IX решительно стал на сторону реакции, так что в начале июня между ним и новым министерством произошел разлад. Ввиду открытия созданных в это время палат министерство приготовило для папы речь, в которой, между прочим, говори-

лось, что национальные различия созданы самим Богом, дабы каждое из них жило своей жизнью и что такое же право на народность даровано Богом и Италии, но Пий IX отказался включить это место в свою речь. Палаты выразили желание, чтобы папа отделил свою власть, как государя, от власти своей, как главы церкви, и установил министерство, ответственное перед народным представительством, но и на это требование он тоже отвечал отказом. Затем Пий IX образовал новое министерство, поставив во главе его Росси, который, не будучи сторонником власти духовенства, в то же время был врагом демократии. 15 ноября Росси был убит кинжалом на лестнице в здании палат, а вслед за этим уличная толпа, собравшаяся перед Квириналом, заставила папу назначить радикальное министерство (Мамиани, Галлетти, Стербини). Швейцарская гвардия папы была выслана из Рима, где организовалась тогда для поддержания порядка гражданская стража. Фактически власть перешла в руки демократического клуба, вследствие чего Пий IX бежал в Гаэту под покровительство неаполитанского короля (24 ноября). В Риме было учреждено временное правительство и были произведены выборы в учредительное собрание, несмотря на угрозу отлучения от церкви, объявленную папой. В первом же заседании своем 9 февраля 1849 г. это собрание объявило светскую власть папы в Риме отмененной и провозгласило римскую республику. Во главе новой республики было поставлено временное правительство из трех лиц под председательством Мадзини. Вместе с этим, Джузеппе Гарибальди¹, принимавший в 1848 г. участие в войне против Австрии, организовал из добровольцев народное ополчение. Из римской республики, куда стали стекаться демократы из других частей Италии, решено было сделать главный оплот для объединения Италии на началах демократической республики.

Республика на время установилась и в Тоскане. В начале 1849 г. и здесь под давлением демократов было создано учредительное собрание, но вслед за тем произошло народное восстание, принудившее великого герцога бежать в Гаэту. Во главе временного правительства (триумvirата) стал (19 февраля) радикальный адвокат и писатель Гверацци, который в 1848 г. был призван великим герцогом на пост первого министра (тоже вследствие возмущения). Главной квартирой тосканской республиканской партии был Ливорно, где волнения происходили еще в 1848 г. Во Флоренции преобладание получили умеренные либералы, которые в апреле же 1849 г. произвели переворот и образовали новое правительство, обратившееся к великому герцогу с приглашением приехать в свою столицу.

Между тем после римского и тосканского переворотов и Карл-Альберт возобновил войну с Австрией. На него уже давно возлагались надежды итальянских патриотов, и в 1848 г. он взялся их оправдать, обнародовав либе-

¹ О нем подробнее см. в главе об объединении Италии.

ральную конституцию и сделав вторжение в Ломбардию. Но уже тогда он стал с неудовольствием замечать, что часть итальянцев стремится к республике; он даже стал подумывать, что, быть может, лучше будет добиться уступок от самой Австрии, в то время находившейся в крайне опасном положении, и рассчитывать на помощь английской дипломатии. Недоверие, возникшее в его душе против итальянской революции, сильно мешало энергии его действий. После поражения при Кустоцце в конце июля 1848 г. и вступления австрийцев в Милан (6 августа) Карл-Альберт заключил с Австрий перемирие (9 августа). Ломбардия, которая за два месяца перед тем присоединилась к Пьемонту в силу народного голосования, вернулась к Австрии. Венеция, тоже в начале июля решившая присоединиться к Пьемонту, восстановила у себя республику (13 августа). Таким образом, в начале 1849 г. в Италии республиканское правительство существовало в трех государствах, когда Карл-Альберт снова сделал попытку монархического объединения Италии. Постоянно оскорбляемый за свою неудачу республиканцами, видя их успехи в Средней Италии, подстрекаемый радикальной частью своих подданных, которые в феврале 1849 г. свергли умеренно-либеральное министерство Джиоберти, он вместе с тем снова начал надеяться на то, что Австрия, занятая домашними делами, вынуждена будет уступить. Под предлогом неисполнения условий перемирия Карл-Альберт в марте двинул свою армию в Ломбардию. Война продолжалась всего четыре дня. При Новаре 24 марта Радецкий разбил сардинскую армию, и враждебные действия должны были прекратиться. Карл-Альберт отрекся тогда от престола в пользу своего сына Виктора-Эммануила и бежал в Португалию, где и умер летом того же года. Новый король заключил с Радецким перемирие. Сардинская палата не хотела его утвердить, а в Генуе даже вспыхнуло восстание. Палата была распущена, восстание же подавлено военной силой.

После вторичного поражения Сардинии центром итальянской революции остался Рим, да Венеция еще продолжала держаться против австрийцев, тогда как в Тоскане уже в апреле была подготовлена реставрация великого герцога. Но и дни римской и венецианской республик были сочтены. Пий IX обратился за помощью против мятежных подданных к католическим державам, как защитницам его светской власти. С юга в Церковную область вступила неаполитанская армия, но она была отражена республиканским войском. Испания ограничилась присылкой двух военных кораблей. Главная задача умирения выпала на долю Австрии и Франции.

Вмешательство Австрии и Франции в 1849 г. в итальянские дела с целью подавления революции было возвращением к той политике, в которой незадолго до революции 1848 г. согласились между собой Меттерних и Гизо, низвергнутые этой революцией. Мы еще остановимся на общем значении этого факта после. Что Австрия, справившаяся с революцией среди немецких и славянских подданных, должна была выступить в роли умирительни-

цы итальянской революции, это было вполне понятно, но вопрос о том, каким образом французская республика нашла нужным подавить республиканское движение в Италии, требует более подробного объяснения.

По отношению к Римской республике австрийцы ограничились лишь занятием одной северной части Церковной области, т. е. так называемой Романьи. Им пришлось еще завоевывать Тоскану, Парму с Моденой и Венецию. Покорение Тосканы совершилось, когда австрийские войска заняли Ливорно, главный пункт местного республиканского движения. Парма и Модена, присоединившиеся было к Сардинскому королевству, были скоро возвращены своим владетелям. В конце августа сдалась Австрия и Венеция. Таким образом, Австрия возвратила свои итальянские владения и заняла прежнее положение в других частях Италии. В Ломбардо-Венецианском королевстве было введено осадное положение, снятое только в 1851 г. Австрийские войска оставались в Тоскане и Романье до 1859 г., причем великий герцог Тосканский в угоду венскому правительству отменил в 1852 г. конституцию 1848 г. и уничтожил свободу печати. В Парме и Модене был также восстановлен абсолютизм, и оба герцогства должны были заключить с Австрией таможенный союз.

Восстановлением папской власти в самом Риме занялась Франция. В апреле 1849 г. в Чивитта-Веккии высадился небольшой отряд французов, которые заявляли, что пришли в качестве доброжелателей, дабы предохранить страну от занятия австрийцами и неаполитанцами и от клерикальной реакции. Римские республиканцы отвергли их услуги. Сначала французы не имели военного успеха, и Гарибальди удалось прогнать также и неаполитанцев. В конце концов, однако, Рим после упорного сопротивления был взят французами, оставившими в нем свой гарнизон (3 июля 1849 г.). Папская власть была восстановлена, но лишь в апреле 1850 г. Пий IX решился вернуться в свою столицу.

Итальянская революция была подавлена. Многие ее вожди поплатились за свое участие в ней жизнью или тюремным заключением, другим удалось бежать. В числе последних были Мадзини и Гарибальди.

Одно только Сардинское королевство избежало абсолютистической реакции. Хотя Австрия и предлагала новому королю заключить мир на более выгодных условиях, если он уничтожит конституцию 1848 г., он на это не согласился и не отказался от трехцветного знамени, принятого итальянской революцией. В его владениях даже находили приют политические выходцы из других частей Италии. Сардинский «Конституционный статут» 1848 г. представлял собой конституцию октроированную, не признававшую ни народовластия, ни пересмотра народным представительством. В нем была даже такая статья, как объявление католицизма государственной религией, чем нарушался принцип свободы вероисповеданий. О правах личности сардинская конституция тоже ничего не говорила. Но ею все-таки вводилось

народное представительство с двухпалатной системой, избирательным цензом, который был меньше французского в эпоху парламентарной монархии, и с ответственным перед палатами министерством¹. Виктор-Эммануил стал держаться этой конституции и назначал министров сообразно с волей парламентского большинства. Свобода печати также не была уничтожена в Пьемонте. В следующем периоде Пьемонту, сохранившему конституцию, пришлось выступить в роли объединителя Италии.

Мы рассмотрели все главные движения, из которых сложилась революция 1848 г. Для полноты нам остается отметить второстепенные движения.

Мы еще увидим в своем месте, что в Англии февральская революция оживила надежды чартистов, но что новое усиление чартизма было кратковременно. В Ирландии при известии о февральской революции началась революционная агитация, и даже был послан временному французскому правительству адрес с просьбой о вмешательстве. Английское правительство арестовало вождей «Молодой Ирландии» и ввело репрессивные меры. Сделанная ирландцами попытка восстания была подавлена в самом начале². В Бельгии, Голландии и Дании дело ограничилось мирными политическими реформами. В Бельгии либеральное министерство в 1848 г. добилось понижения избирательного ценза и запрещения чиновникам выбирать в палату. В Голландии еще с 1844 г. либералы требовали пересмотра конституции, и под влиянием революционного движения, охватившего Европу, король (Вильгельм II) уступил и созвал учредительные Генеральные штаты с двойным количеством депутатов, которые и выработали новую конституцию. По нидерландскому основному закону 1848 г., право назначать членов верхней палаты перешло от короля к провинциальным штатам, а нижняя стала избираться прямым путем с понижением избирательного ценза; ее права были расширены; министры объявлены ответственными. Были произведены либеральные реформы и в устройстве провинций и общин. В Дании основания для новой конституции были обнародованы в июле 1848 г. В том же 1848 г., как было сказано в своем месте, получила новую конституцию и Швейцария. Невшателльский кантон расторг свои связи с Пруссией. Государства Пиренейского и Скандинавского полуостровов одни из всех стран Западной Европы не были прямо затронуты революционным движением 1848 г.³

¹ Сардинская конституция превратилась потом в конституцию итальянскую и действует до сих пор. О ней будет подробнее сказано в т. VI настоящего труда.

² Юбилейные сочинения, вышедшие в свет в 1898 г.: *Abrien*. Who fears to speak of 98? *O'Connor M.* Ireland 1798–1898; *Palliser*. The Irish rebellion of 1798.

³ В дополнение к литературе, указанной выше, отметим самые новые сочинения по истории революции 1848 г., вышедшие в свет по случаю пятидесятой годовщины этого события в 1898 г.: *Bach*. Geschichte der Wiener Revolution; *Blum H.* Die deutsche Revolution; *Kravani*. Der Vormärz und Oktoberrevolution 1848; *Liebknecht*. Zum Jubeljahr der Märzrevolution. Во французской литературе пока не появилось ни одного сколько-нибудь заметного сочинения по этому поводу.

XXIV. Французская конституция 1848 года и декабрьский переворот¹

Международные отношения в Западной Европе в 1848–1849 гг. — Внешняя политика Франции. — Конституция 4 ноября 1848 г. и вопрос об организации исполнительной власти. — Причины избрания принца Бонапарта. — Прошлое и личный характер принца-президента. — Установление нового режима. — Мнение Токвиля о тогдашнем положении. — Взаимные отношения президента и национального собрания и политические партии 1849–1851 гг. — Реакционные меры этой эпохи. — Конфликты президента с собранием. — Coup d'Etat² 2 декабря 1851 г. — Конституция 14 января 1852 г. — Восстановление империи во Франции. — Два труда по истории Французской революции

Революция 1848 г. произвела целый переворот в международном положении Европы. Франция была отторгнута от союза с Австрией, и могло показаться, что новая республика снова начнет революционную пропаганду. Австрийское и прусское правительства временно должны были подчиниться требованиям революции. Задуманное революционерами объединение Германии и Италии поставило два новых вопроса для международной политики европейских правительств и вызвало две войны, из которых одна велась Германией против Дании, другая — Сардинией против Австрии. В конце, когда стала побеждать реакция, произошло, с одной стороны, вооруженное вмешательство России в венгерскую революцию, с другой — Австрии и Франции в итальянские дела. Во время этого кризиса у дипломатии было много работы. Исход кризиса зависел от того, какое положение заняли в нем Россия и Англия, внутреннее спокойствие которых составляло их силу и было выгодно для их иностранной политики, и Франция, которая могла стать и на сторону революции, и на сторону реакции.

Русская и английская политика в 1848–1849 гг. была диаметрально противоположной. Император Николай I выступил безусловным противником всего, что совершалось тогда на Западе, Пальмерстон, наоборот, относился ко многому с большим сочувствием. Но были пункты, по которым оба правительства сходились. Объединение Германии было встречено

¹ Для международных отношений, о которых говорится в начале главы, см. II том соч. Debidour'a, названного выше. Литература по истории второй республики указана выше, а о декабрьском перевороте см.: Duprat P. Les tables de proscription de Louis Bonaparte, 1853; Тено. Париж и провинция в 1851 году; Гюго В. История одного преступления; Прудон. Наполеон III и конституции XIX века; Анонимное сочинение Der Staatsstreich vom 2 Dez. 1851 und seine Rückwirkung auf Europa, 1870; Marx K. Der 18 Brumaire des Louis Bonaparte, 1885 (перепечатка современного события брошюры; ср. выше); Thirria. Napoléon III avant l'empire, 1895. См. также сочинения по истории второй империи, названные ниже, в главе XXVI.

² Государственный переворот (фр.). — Прим. ред.

враждебно и Россией, и Англией; они даже не захотели признать франкфуртского имперского правительства, Россия — потому, что была вообще противницей всякой революции, Англия — вследствие своего нерасположения к таможенному союзу, вредившему ее коммерческим интересам. В шлезвиг-гольштейнском вопросе обе державы были тоже не на стороне Германии, и опять-таки русский император являлся защитником *status quo*, нарушенного революцией, английский министр — охранителем интересов Великобритании как морской державы, потому что отторжение герцогств от Дании повело бы к образованию немецкого военного флота. Таким образом, германское национальное движение встретило враждебное к себе отношение со стороны России и Англии. Прибавим, что и Франция ему не благоприятствовала. Если бы в Париже победила демократия, она протянула бы руку немецким демократам, но лишь под условием превращения самой Германии в демократическую республику.

Русский император с тем большим неудовольствием должен был отнестись к революции 1848 г., что со своей стороны вожди и сторонники политических движений этого года требовали восстановления Польши и проповедовали необходимость войны с Россией. Он сразу стал на сторону Австрии, которая из всех держав наиболее была заинтересована в сохранении в неприкосновенности трактатов 1815 г. и в Германии, и в Италии. Уже летом 1848 г. Нессельроде¹ обратился к другим дворам с циркулярной нотой, в которой высказывалось неодобрение русского правительства материальному единству Германии, задуманному демократией и грозящему войной с соседними государствами. В своем месте уже было указано, что в числе причин, заставивших Фридриха-Вильгельма IV отказаться от германской императорской короны, было и воздействие со стороны петербургского двора. В свою очередь, Австрия тоже подчинялась русскому влиянию. Отречение Фердинанда I от престола в пользу нового государя, не связанного никакими обещаниями и обязательствами, произошло с согласия и даже по совету Николая I. Австрийское правительство само стояло за союз с Россией, и помощь, оказанная Францу-Иосифу против Венгрии, была вознаграждением за такую политику. И в Германии, и в Италии Австрия мешала национальному объединению, пользуясь сочувствием и поддержкой России. В союзе же с Россией в 1850 г. Австрии, как мы еще увидим, удалось унижить Пруссию и заставить ее снова подчинить свою политику видам венского двора. Священный союз был восстановлен.

Иначе вело себя английское правительство. Еще до начала кризиса 1848 г. Пальмерстон поддерживал против консервативных держав либеральные движения на материке. После падения июльской монархии Англия поспешила признать во Франции республику. В итальянских делах она

¹ Нессельроде Карл (Карл-Роберт) Васильевич (1780—1862). Министр иностранных дел Российской империи с 1816 по 1856 г. — *Прим. ред.*

охотно брала на себя посредничество, всячески отстаивая национальное дело от Австрии. Ту же роль брал на себя Пальмерстон и по отношению к Неаполю с Сицилией, настояв на перемирии между ними в 1848 г. Отказ султана на требование Австрии и России выдать бежавших в Турцию мадьярских инсургентов состоялся прямо по совету английского правительства. Англия же протестовала по поводу жестокостей неаполитанского правительства против побежденных либералов. Когда началось бегство повсюду побитых вождей и главных участников революций, опять-таки в Англии они нашли спокойное и безопасное убежище.

Перед Францией в 1848 г. снова стояла дилемма — или поддерживать европейскую революцию, или стать на сторону реакции. Революционная партия требовала, чтобы республика оказала поддержку свободе других народов, часть немецких и итальянских патриотов действовала в расчете на содействие французских республиканцев, хотя более умеренные элементы и в Германии и в Италии были против вмешательства Франции в их внутренние дела. И здесь и там часть нации, и особенно государи, боялись победы демократических партий с их республиканскими стремлениями. С другой стороны, везде боялись завоевательных предприятий Франции. В 1848 г. еще не успели забыть в Германии опасности войны с Францией, грозившей в 1840 г. Этим мотивом даже пользовались немецкие правительства, чтобы не дать своим подданным увлечься обещаниями французских демократов. Немецкие патриоты при этом не забывали еще, что часть «общего отечества», Эльзас и Лотарингия, находилась под властью Франции: в этом отношении Франция была таким же врагом Германии, как и Дания, удерживавшая под своей властью Шлезвиг и Гольштейн. Сардинский король, державшийся того принципа, что Италия *farà da se*, боялся в случае французского вмешательства потерять Савойю и Ниццу. Таким образом, по ту сторону и Рейна, и Альп французского вмешательства не желали. Однако Франция все-таки вмешалась в итальянские дела, но только для доставления торжества Австрии. Интересно, что окончательным подавлением революции, и притом почти одновременно, Австрия была обязана России и Франции. Уничтожение республики в Риме французами указывало на то, что в самой Франции возобладало реакционное направление.

Какова же была вообще внешняя политика Франции в эту бурную эпоху?

Временное правительство, образовавшееся в Париже после Февральской революции, с самого начала стало на точку зрения совершенно миролюбивой политики, хотя некоторые его члены и увлекались идеей революционной пропаганды. Если бы Франция начала тогда войну, последняя могла бы только вестись против трактатов 1816 г., и прямыми ее целями были бы Бельгия, левый берег Рейна и Савойя, что подняло бы против

Франции и Англию, и Германию, и Сардинию. Новые правители Франции, очутившись у власти, плохо знали дипломатические отношения эпохи, но не могли не знать, что французская армия была неважная, да и то лучшая часть ее находилась в Алжире. К этому присоединилось, с одной стороны, то соображение, что временное правительство не имеет полномочий для начала такого важного дела, как война, с другой — общее желание временного правительства не дать революции дальнейшего развития. Этим и объясняется декларация Ламартина от 5 марта 1848 г., которая должна была успокоить другие правительства насчет намерений республики. В этом документе говорилось, что провозглашение республики вовсе не имеет агрессивного значения для других форм правления, что война не составляет принципа французской республики, что Франция не будет вести у соседей зажигательной пропаганды, но ограничится чисто нравственным на них влиянием в интересах мира и порядка. Отрицая правомерность трактатов 1815 г., временное правительство тем не менее признавало созданные ими границы за основу и отправной пункт в своих отношениях к другим нациям. «Республика взялась бы за оружие лишь в том случае, если бы враждебное вмешательство стало на пути таких наций, как Италия и Швейцария, во время задуманных ими внутренних преобразований». Этим манифестом временное правительство объявляло, что Франция отказывается от войны и революционной пропаганды. Совершенно иначе думала парижская демократия, которая продолжала делать воинственные демонстрации и, между прочим, особенно громко требовала восстановления Польши. Июньские дни, бывшие полным поражением социальной демократии и началом внутренней реакции, решили вопрос и о будущей внешней политике Франции. Такие представители демократических стремлений, как Герцен или Маркс, прямо говорили, что поражение парижского пролетариата наносило удар революции и в других странах. Каваньяк даже прямо стремился к солидарному действию с другими державами. Будучи одним из кандидатов в президенты, уже он старался расположить в свою пользу клерикалов и католиков; он тогда еще предлагал убежище Пию IX во Франции и даже делал вид, что готовится на этот случай дать ему военную охрану. В президенты был выбран принц Людовик-Наполеон, благодаря именно союзу клерикалов и монархистов, и после этого совершенно нельзя было ожидать, чтобы Франция оказала помощь итальянской революции. Мало того, президент французской республики только о том и думал, чтобы восстановить в Риме власть Пия IX и чтобы ни в каком случае эта честь не досталась Австрии.

Теперь нам остается перейти к внутренней истории Франции, уже раньше доведенной до установления новой конституции и президентских выборов.

Рассмотрим прежде всего ту конституцию, которую 4 ноября 1848 г. национальное собрание дало Франции. Во вступлении к этой конститу-

ции говорилось, что, устраиваясь в качестве республики, этой «окончательной формы правления», Франция ставит своей целью шествовать более свободным образом по пути прогресса и цивилизации; что французская республика, демократическая, единая и нераздельная, признаёт права и обязанности, существовавшие раньше положительных законов и более их важные; что своим принципом она принимает свободу, равенство и братство; что между гражданами и республикой существуют взаимные обязанности; что граждане должны любить отечество, служить республике, защищать ее, не щадя своей жизни и т. п. и что республика должна оказывать покровительство гражданам, доставлять им необходимое образование, помогать нуждающимся доставлением работы и даже средств к существованию тем из них, которые не в состоянии работать. Вместе с этим объявлялось, что французская республика уважает иностранные национальности и никогда не предпримет войны с завоевательной целью, равно как никогда не употребит своих сил против свободы какого-либо народа. Сама конституция состояла из 116 статей, распределенных между двенадцатью главами. Верховная власть признавалась за всей совокупностью французских граждан (ст. 1). Затем шли статьи о правах граждан, обеспеченных конституцией. В сущности, нового здесь почти ничего не было за исключением совершенной отмены смертной казни за политические преступления (ст. 5) и обещания содействовать развитию труда посредством дарового начального образования и образования профессионального, а также путем установления равенства отношений между патроном и рабочим и организации учреждений сберегательных и кредитных, добровольных ассоциаций и государственных «общественных работ», которые могли бы занять незанятых рабочих¹ (ст. 13). В проекте конституции, составленном до июньских дней, находилось еще «право на труд», которое было потом вычеркнуто.

Во главе статей о государственных властях поставлены были два принципа: «все общественные власти, каковы бы они ни были, проистекают от народа» (ст. 18) и «разделение властей есть первое условие свободного правления» (ст. 19). Суверенный народ делегировал всю полноту своей законодательной власти единственному национальному собранию, а всю полноту власти исполнительной — «гражданину, который получит титул президента республики» (ст. 43). Таким образом, конституция 1848 г. ставила друг против друга законодательную диктатуру национального собрания и исполнительную диктатуру президента республики. Национальное собрание должно было состоять из 750 (и 900 в случае пересмотра конституции) «представителей народа» (ст. 21 и 22), выбранных всеобщей, прямой и тайной подачей голосов (ст. 24) на три года (ст. 31), причем избирателями могли быть без каких бы то ни было условий ценза «все французы,

¹ Ср. т. III, где говорится об аналогичных обещаниях жирондистской и якобинской конституции 1793 г.

достигшие двадцати одного года и пользующиеся гражданскими и политическими правами» (ст. 25), а выбираться — граждане, достигшие двадцатипятилетнего возраста (ст. 26); представителям назначалось вознаграждение, от которого они не имели права отказываться (ст. 38). В комиссии, изготовлявшей проект конституции, несколько голосов (между прочим, голоса Од. Барро и Токвиля) высказалось за двухпалатную систему, но большинство или следовало традициям первой революции и стояло на той точке зрения, что «единый народ не нуждается в двух представительствах», или же доказывало, что ввиду европейских усложнений и внутренней партийной борьбы необходима диктатура, которая может быть отдана лишь единому собранию. Вопрос был решен в последнем смысле, и единое собрание было объявлено (ст. 32) заседающим непрерывно (*permanente*) за исключением, конечно, временных отсрочек заседаний.

Комиссия, вырабатывавшая конституцию 1848 г., рассматривала разные способы организации исполнительной власти. Последняя могла быть или коллегиальной, как это было, например, в конституции III года, или, наоборот, единоличной. Комиссия высказалась за единоличного президента республики, но этим вопрос еще не решался. Выбор президента можно было предоставить или самому национальному собранию, или по североамериканскому образцу особым избирательным коллегиям (за что был Токвиль), или же всенародному голосованию. После долгих прений вопрос был решен в последнем смысле, главным образом благодаря красноречивой защите этого принципа Ламартином. Он указывал на то, что «энергические эпохи требуют энергической власти» и что президент, избранный собранием, был бы лишь ни к чему не нужной пружинкой в механизме конституции, тогда как президент, выбранный всем народом, мог бы иметь самостоятельное значение. Уже тогда некоторые предусмотрительные люди обращали внимание на то, что такой президент мог бы быть весьма опасен для собрания, и даже прямо говорили о возможности повторения государственного переворота 18 брюмера. Ламартин и против этого возражал более красноречиво, чем основательно: «Чтобы дойти до 18 брюмера, мы должны были бы иметь позади себя длинную эпоху террора, а впереди — победы при Маренго и Аустерлице». Ни сам Ламартин, ни собрание, увлеченное его доводами, не понимали, что роль длинной эпохи террора сыграет в их дни «красный призрак» социальной революции, и не предвидели, что новое 18 брюмера постарается оправдать себя и новыми победами французского оружия над внешними врагами. По конституции 1848 г. президент республики, которому французский народ делегировал всю исполнительную власть, должен был выбираться прямой подачей голосов всех избирателей французских департаментов и Алжира (ст. 46), т. е. он один должен был иметь за себя столько же голосов, сколько все 750 членов национального собрания, что создавало для президента страшное пре-

обладание над народным представительством. Правда, конституция старалась ослабить общее значение этого факта разного рода ограничениями. Президент выбирался на четыре года и не мог подвергаться переизбранию в течение четырех лет, и во весь этот восьмилетний срок не имели права быть ни вице-президентом, ни президентом никакой его родственник до шестой степени родства включительно (ст. 45). Он распоряжался вооруженной силою, но не имел права лично ею командовать (ст. 50). Акты президента республики, за исключением тех, которыми он назначал или сменил министров, должны были быть скрепляемы одним из министров, бравшим на себя тем самым ответственность за каждый подобный акт (ст. 67). Рядом с ответственностью министров и вообще всех органов власти ответственность за все действия правительства и администрации распространялась и на президента республики. Однако все акты ответственного президента нуждались в подписи министров, что лишало президента всякой свободы действий. «Всякая мера, — гласила далее конституция, — посредством которой президент республики распускает национальное собрание, отсрочивает его заседания или препятствует в отправлении его обязанностей, есть государственная измена. Одним этим поступком президент отрешается от должности; граждане обязываются отказывать ему в повиновении; исполнительная власть по полному праву переходит к национальному собранию. Судьи верховного суда под страхом наказания немедленно собираются и созывают присяжных в место, которое сами назначают, чтобы судить президента и его сообщников; они сами назначают и тех членов судейского сословия, которые должны исполнять обязанности публичного обвинения» (ст. 68). переворот 2 декабря доказал, что таких гарантий было слишком недостаточно для того, чтобы сделать невозможной узурпацию власти со стороны всенародного избранника, каким по конституции 1848 г. был президент республики.

В учредительном собрании эта конституция была принята подавляющим большинством 739 голосов против 30. Через месяц с небольшим, 10 декабря, происходили выборы президента республики, и мы уже говорили, что в президенты был выбран принц Людовик-Наполеон Бонапарт.

И конституция 1848 г., и президентский выбор должны быть поняты и оценены и с точки зрения классовых отношений тогдашнего французского общества. Конституция 1848 г. была делом крупной буржуазии. Устранив «право на труд», под знаменем которого шел пролетариат, учредительное собрание самым решительным образом высказалось и против прогрессивного налога, введение которого было бы выгодно мелкой буржуазии. Но как раз этим же самым классам общества — с крестьянами на придачу — конституция посредством всеобщей подачи голосов передавала всю политическую власть, лишив тем самым политической гарантии социальное господство буржуазии. Авторы конституции как бы предполагали

ли, что демократия, удовлетворившись политической эмансипацией, не станет добиваться эмансипации социальной, и что буржуазия для обеспечения социальной реставрации не обратится и к реставрации политической¹. Президентским кандидатом буржуазии был Каваньяк, который еще в октябре призвал на министерские посты двух бывших министров Людовика-Филиппа, но выборы доставили победу принцу Бонапарту. На нем сошлись все те классы общества, которые не могли быть довольны «республикой богатых». Таковы были прежде всего крестьяне, недовольные республикой за увеличение налогов, враждебно настроенные по отношению к пролетариату, руководимые монархистами и клерикалами, а также прельщенные громким именем; французская политическая реакция, как и немецкая, опиралась на крестьянскую массу. Для пролетариата имя принца Бонапарта было лозунгом против ненавистного Каваньяка. Мелкая буржуазия подавала голоса тоже против последнего. В самой крупной буржуазии сторонники монархической реставрации были за Бонапарта. В их числе были Тьер, Моле, Монталамбер, даже Одилон Барро. В армии одно имя этого кандидата возбуждало дорогие воспоминания славы. Вообще на нового президента возлагались самые разнообразные надежды, и одновременно с воспоминаниями 1793 г. во Франции воскресали и воспоминания о Наполеоне I. Сам президент долгое время оставался загадкой, и многие считали его не таким, каким он оказался на самом деле.

Принц Людовик-Наполеон Бонапарт начал свою карьеру в рядах итальянских революционеров 1831 г. В 1836 и 1840 гг. он обратил на себя всеобщее внимание своими безумными выходками в Страсбурге и Булони. За второе покушение он был приговорен к пожизненному заключению. Около шести лет он провел в заточении, но в 1846 г. ему удалось бежать. Живя после этого в Лондоне, он написал «Наполеоновские идеи», так сказать, бывшие его политическим исповеданием веры. Здесь перемешивались наполеоновские традиции с принципами 1789 г., английские политические взгляды с отголосками социальных идей середины XIX в., приняв вместе с тем чисто романтический облик. В 1848 г. принц возвратился во Францию и попал в число членов учредительного собрания. Республиканская партия смотрела на него как на человека весьма ограниченного, но когда его кандидатура стала приобретать успех, против нее были приняты меры, и в памфлетах и карикатурах республиканцев принц выставлялся совершенным ничтожеством, достойным лишь насмешки и презрительного сожаления. На самом деле республиканцы ошибались, как ошибались и те из его сторонников, которые думали только о том, чтобы сделать из него слепое орудие своих планов. Людовик-Наполеон в эту пору отличался большой простотой и даже скромностью в обхождении, любезным и по-

¹ Это было указано еще Марксом в 1850 г.

кладистым характером, но вместе с тем большой сдержанностью и неразговорчивостью, вполне гармонизовавшими с неподвижностью черт его лица и какой-то неопределенностью выражения его тусклых глаз. По натуре это был мечтатель, вечно носившийся с разными химерическими планами, которые он привык создавать вдали от всякого соприкосновения с действительностью и общения с людьми: до 1848 г. у него не было никакого практического дела, и около шести лет он провел в уединении тюремного заключения. Хотя он и чувствовал влечение к теоретическому изложению своих идей, он менее всего мог бы назваться мыслителем вследствие нескладности и туманности своего ума. Его поведение тоже давало повод к неблагоприятной оценке его личного характера. Он был очень привязан к удовольствиям и был не особенно разборчив в выборе способов удовлетворения своих инстинктов, — даже, по-видимому, готов был жертвовать им другими своими стремлениями. В практической жизни он проявлял нередко большую нерешительность и часто поражал других своими колебаниями. Но когда ему нужно было действовать, у него находились и ясно сознанная цель, и верно рассчитанные средства, и холодная отвага; вообще у него был какой-то фатализм, какая-то вера в свою судьбу и свое предназначение. Из идей своего времени он воспринял какое-то преклонение перед народом, но народом, взятым совершенно абстрактно, и к политическим собраниям у него было своего рода отвращение. Он не любил и окружать себя людьми сколько-нибудь выдающегося характера и ума. Обмен мыслей вообще его тяготил, и ему нравились лишь люди, которые верили в его звезду. Вот почему около него тотчас же стали группироваться люди легкой наживы и без всяких принципов, разные проходимцы и авантюристы, которым он оказывал всякое покровительство¹. Они из президента действительно умели извлекать личные выгоды, но люди, которые его поддерживали, надеясь сделать его своим орудием в достижении тех или других политических планов, оказывались обойденными. Конечно, к управлению государством, для чего он был призван всенародным голосованием, он был подготовлен очень мало. Токвиль, который был при нем одно время министром иностранных дел, удивлялся его малому знакомству с тем, что делалось в Европе, и вместо фактов находил в его уме фантазии. Одним из его планов было войти в соглашение с какой-либо из великих немецких держав, чтобы при ее помощи изменить границы, навязанные Франции в 1815 г. Нужно прибавить, что в своей внешней политике он, по примеру временного правительства, вынужден был прибегать к содействию дипломатов старой школы. «Большая часть наших заграничных агентов, — говорит Токвиль, — креатуры монархии, в глубине души страстно ненавидели правительство, которому служили,

¹ Эта характеристика написана на основании «Воспоминаний Токвиля», который очень резко аттестует и ближайших сторонников Людовика-Наполеона.

и от имени демократической и республиканской Франции втайне работали в пользу реставрации старых аристократий и всех абсолютных монархий Европы», в то самое время как «другие, выдвинутые Февральской революцией из неизвестности, в какой остались бы навсегда, поддерживали под рукой демагогические партии, с которыми боролось само французское правительство».

20 декабря 1848 г. Людовик-Наполеон принес установленную присягу и в особой речи, произнесенной в национальном собрании, дал обещание, «как честный человек, исполнить свои обязанности». Министерство, составленное президентом, заключало в себе людей разных оттенков от легитимистов и клерикалов (Фаллу) до представителей прежней династической левой (Одилон Барро), но все это были в то же время и представители консервативного большинства собрания. Посты начальника парижского гарнизона и национальной гвардии были соединены в одних руках (генерала Шангарнье), а полицейским префектом, чего ранее не делалось, был назначен военный. Президент переехал на жительство в Елисейский дворец, где он устроил настоящий монархический двор и в котором его величали не господином президентом, а принцем. В Париж съехались члены фамилии Бонапартов и их многочисленные родственники. Все они требовали себе мест и наград, хотя на первых порах и довольствовались еще малым. Например, дядя принца, бывший вестфальский король Иероним, был сделан начальником дома инвалидов с весьма, впрочем, хорошим жалованьем.

Между началом президентства Людовика-Наполеона и государственным переворотом, им совершенным, прошло три года, бывших постепенным усилением реакции. Весь этот период был наполнен борьбой между президентом и народным представительством, и многие уже с самого начала предвидели возможность государственного переворота. И настроение нации, и общее положение дел, и характер конституции, не говоря уже о личности самого президента, все подготавливало этот переворот. «Нация, — говорит Токвиль, — выбрала Людовика-Наполеона с правом дерзать на все» (*pour tout oser*). Сам Токвиль признается, что во время выработки конституции 1848 г. он более стремился к тому, чтобы «поскорее поставить во главе республики сильного главу (*un chef puissant*), чем выработать совершенную республиканскую конституцию. Не нужно забывать, — прибавляет он, — что социализм стучался тогда в нашу дверь и что мы приближались к июньским дням»¹. Токвиль, который сам принимал участие в конституционном комитете и был потом министром, отлично понимал опасность всенародного избрания президента в такой стране, как Франция с ее монархическими традициями и с ее централизацией. «Мы, — говорит он, — только что выходили из монархии, и даже сами привычки

¹ См. выше, где говорится об отношении Токвиля к июньским дням.

республиканцев были монархические. Мы, — замечает он еще, — сохранили дух монархии, утратив к ней вкус. При таких условиях чем мог сделаться президент, избранный народом, как не претендентом на корону?» Теоретически Токвиля весьма интересовал вопрос, на чьей стороне будет победа в такой республике, какую устанавливали во Франции, и он переходил от одного решения этого вопроса к другому; но он не сомневался в том, что между законодательной и исполнительной властями произойдет борьба и что результатом ее будет гибель республики. Сам он, однако, говорил за выбор президента народом и потом раскаивался в этом¹. Впрочем, и впоследствии Токвиль еще считал все-таки возможным поддержать во Франции существование республики, которую, как он думал, и нечем было бы заменить. Легитимная династия была глубоко антипатична громадному большинству французов, ненавидевших старый порядок с его старыми привилегированными классами, вернуться же к Орлеанской фамилии после опыта, только что сделанного с нею, было немыслимо. Это значило бы немедленно снова поставить в оппозицию высшие классы и духовенство и вместе с тем, как это уже было, оттолкнуть и народ, оставив заботы и выгоды правления средним классам, доказавшим уже свою неспособность хорошо управлять Францией. «Людовик-Наполеон, — продолжает Токвиль, — был один готов занять место республики, потому что власть уже была в его руках. Но что могло выйти из его успеха, как не монархия-ублюдок (*une monarchie batarde*), презираемая образованными классами, враждебная свободе и управляемая интригами, авантюристами и лакеями». Токвиль думал, однако, что поддерживать республику будет трудно, так как «люди, которые ее любили, были в большинстве случаев неспособны или недостойны ею управлять, а те, которые были в состоянии руководить ею, относились к ней с отвращением». Скоро, впрочем, он убедился, что именно в перспективе была эта самая «*monarchie batarde*». Он поставил своей задачей бороться с нею, но — таковы были противоречия этой эпохи — искал союза с консерваторами и даже с легитимистами, думая вместе с тем, что «единственным средством спасти свободу после столь бурной революции было ограничить эту свободу», т. е. предпринял попытку «спасти республику при помощи партий, которые ее не любили». Средство, конечно, было плохое, но Токвиль не доверял французским республиканцам и находил, что «тех, которые были достойны носить это имя», было между ними слишком немного. В конце концов, Токвиль оставил министерство, когда убедился, что с помощью консерваторов республики не учредишь и что принц-президент просто готовил себя в наследники этой республики.

После избрания президента учредительное собрание продолжало сохранять власть еще в течение пяти месяцев следующего 1849 г. Оно окон-

¹ «Я сожалел, что сказал так... Это голосование и его влияние — самые плохие из моих воспоминаний о том времени».

чило свои заседания лишь 26 мая, а 28 мая вступило в отправление своих обязанностей национальное собрание, выбранное на основании конституции 1848 г. В учредительном собрании уже существовало весьма сильное меньшинство, которое было избрано под влиянием крупных землевладельцев и духовенства, в новом собрании эта партия, усиленная голосами и роялистической буржуазии, уже составляла большинство двух третей (около 500 из 750). Большинство учредительного собрания потерпело на майских выборах 1849 г. решительное поражение, так как было представлено в законодательном собрании лишь какими-нибудь семьюдесятью голосами. Среднюю по численности своей партию (около 180 голосов) составляли монтаньяры, заимствовавшие свое название из воспоминаний первой революции, у своих же противников слывшие под названием «красных». Подобно тому, как монархическое большинство образовалось из союза клерикалов и легитимистов с орлеанистами (с Тьером во главе), и монтаньяры включили в свой состав радикалов и социалистов. Так как после июньских дней 1848 г. в нации господствовало реакционное настроение, то все усилия большинства были направлены на борьбу с монтаньярами. Среди самих монархистов стала даже формироваться бонапартистская партия, которая главной своей целью поставила противодействие «красным». Страх перед монтаньярами сделался господствующим настроением большинства французского общества. Дополнительные выборы 1850 г. усилили монтаньяров в собрании, и это только еще больше напугало консервативные элементы общества. Против монтаньяров действовало также и правительство с президентом во главе. Пока заседало учредительное собрание, президент был не в ладах с народным представительством. Оно, например, крайне неодобрительно отнеслось к римской экспедиции, конечной целью которой было восстановление власти папы. Ледрю-Роллен даже требовал отдачи под суд президента республики и министров за нарушение конституции, обещавшей не употреблять французского оружия для угнетения других народов, но дело окончилось только порицанием итальянской политики правительства. Правительство, со своей стороны, всячески поддерживало неблагоприятное отношение народа к учредительному собранию и содействовало агитации, требовавшей, чтобы оно сделало постановление о своем роспуске и об избрании законодательного собрания. В этом последнем реакционное большинство сначала действовало в полном согласии с президентом и министерством, главным образом имея против себя одного врага — «красную республику». Результатом этого согласия был целый ряд реакционных мер. Но президент начинал уже вести и свою собственную политику. По мере того как совокупными действиями правительства и собрания «красным» наносился один удар за другим, среди самого большинства все более и более обострялся раскол между партией президента и возникшей против него монархической оппозицией. Тео-

ретические недостатки конституции, к числу которых относилась неясность разграничения сфер законодательной и исполнительной властей, лишь облегчали возникновение конфликтов между президентом и собранием и несогласий между обеими консервативными партиями.

В эту эпоху постоянно усиливавшейся реакции вся сила демократической оппозиции сосредоточивалась в «партии Горы»¹. В состав ее входили Ледрю-Роллен, кандидат в президенты «чистых» демократов; Распайль, кандидат социалистов, сидевший, впрочем, в тюрьме; Феликс Пиа, один из наиболее основательных критиков проекта о всенародном избрании президента, требовавший социальных реформ, права на труд, введения прогрессивного налога и т. п. Из прежних вождей движения многих уже не было на сцене. 2 апреля 1849 г. состоялся приговор суда, заседавшего в Бурже под охраной вооруженной силы, по делу о восстании 15 мая. К ответственности были привлечены Луи Блан, Коссидьер, Альберт, Барбес, Распайль и др. Первые двое спаслись бегством в Англии, другие были приговорены к тюремному заключению или ссылке. В начале 1849 г. демократы еще надеялись добиться своего путем нового восстания. Уже 29 января 1849 г. была в Париже небольшая народная вспышка, подавленная правительством. В самом начале законодательного собрания монтаньяры сделали нападение на правительство по поводу римской экспедиции. 11 июня Ледрю-Роллен от имени своей партии внес предложение о предании суду президента республики и министров за нарушение конституции бомбардированием Рима французскими войсками, но законодательное собрание 12 июня отвергло это предложение. В конце своей страстной речи по этому поводу Ледрю-Роллен сказал даже, что, в крайнем случае, он вместе со своей партией будет защищать конституцию с оружием в руках, и когда председатель собрания призвал его к порядку, он сослался на статью конституции, в которой последняя отдавалась под защиту патриотизма всех французов. 13 июня в радикальных газетах появилось воззвание, объявлявшее президента, его министров и часть национального собрания вне конституции и приглашавшая национальную гвардию, народ и войско на защиту этой конституции. Следствием этого воззвания была большая народная демонстрация, во время которой Ледрю-Роллен и некоторые члены его партии собрались для того, чтобы организовать революционное правительство, надеясь на успех восстания. Но оно немедленно было подавлено войском (равно как и возмущение, вспыхнувшее в Лионе, где тоже верили в успех нового парижского восстания). На этот раз поражение потерпела мелкая буржуазия, истинным вождем которой был Ледрю-Рол-

¹ Название мелкобуржуазной партии «монтаньяры» (montagnards) происходило от французского слова *montagne* — «гора». «Партией Горы» назывались их предшественники — революционно-демократическая группа депутатов в Конвенте во время Великой французской революции 1789—1794 гг., занимавшая верхние скамьи в зале заседаний. — *Прим. ред.*

лен. Главные виновники этой революционной попытки — Ледрю-Роллен, Феликс Пиа, Виктор Консидеран — спаслись бегством за границу, другие поплатились тюрьмой и ссылкой. С этого момента внутреннее спокойствие во Франции более не нарушалось: это была последняя вспышка революции. Правительству и собранию она только дала повод принять ряд мер против печати и публичных собраний. Во внешней политике реакционное направление французского правительства стало выступать теперь еще более открыто. Французским радикалам оставалось после этого действовать только на выборах да прибегать к прежнему средству тайных обществ.

«Партия Горы» опиралась преимущественно на мелкую буржуазию и имела против себя все консервативные силы нации. Ее вожди, пропитанные воспоминаниями 1793 г., плохо понимали положение вещей в современном им обществе. Глава ее, Ледрю-Роллен, оттолкнул от себя пролетариат в июне 1848 г., и та часть пролетариата, которая сознала свои классовые интересы, на президентских выборах подавала голоса не за него, а за Распайя. Вообще монтаньяры жили больше традициями первой революции и стремились нередко рабски копировать деятелей Конвента. Эту черту монтаньяров 1848—1851 гг. отмечали в свое время все беспристрастные наблюдатели. Например, у Герцена на этот счет в его суждениях о тогдашних французских делах есть превосходные места. То же самое говорит и Маркс в своих «*Klassenkämpfe in Frankreich von 1848 bis 1850*»¹. «Людовик-Наполеон, — говорит он в одном месте, — со своей императорской шляпой и своим орлом² пародировал Наполеона I не хуже, чем Гора 1849 г. пародировала своими фразами, взятыми напрокат из 1793 г., и своими демагогическими позами старую Горю». Суеверное отношение к традициям 1793 г. (*der traditionnelle Aberglauben an 1793*) он ставит на одну доску с традиционным культом Наполеона. Но и «Гора», и Людовик-Наполеон были «лишь безжизненными карикатурами (*Zerrbilder*) великих действительностей, названия которых они носили». С этими указаниями двух социалистов вполне сходится и характеристика монтаньяров, сделанная Токвилем, который как раз в эту пору был одним из министров президента. Это копирование началось еще с первого периода второй республики, когда временное правительство предписало членам учредительного собрания надеть костюмы членов Конвента. Указывая на подобные подражания, и Токвиль, подобно Марксу, замечает, что монтаньяры гораздо менее соответствовали истинному духу революции, чем социалисты³. Оба писателя

¹ «Заметки о классовой борьбе во Франции с 1848 по 1850 год» (нем.). — *Прим. ред.*

² Намек на *mise en scène* (т. е. постановку. — *Прим. ред.*) одного из покушений принца Бонапарта.

³ В этом отношении его взгляд вполне совпадает со взглядом Маркса. Слова Токвиля: «*Kes socialistes... répondaient plus exactement au vrai caractère de la révolution*» («Социалисты намного лучше соответствовали истинному характеру революции» (*фр.*). — *Прим. ред.*). Слова Маркса (по поводу заимствования имени монтаньяров): «*Die Revolution war erst bei sich selbst*

столь различных направлений согласны в том, что поражение демократии было результатом отказа монтаньяров служить делу пролетариата. «Июнь 1849 г., — говорит Маркс, — был возмездием за июнь 1848 г.». «В 1848 г., — говорит Токвиль, — выступила армия без вождей, в 1849 г. — вожди без армии».

Постоянные ссылки монтаньяров на эпоху террора и их фразеология, заимствованная опять-таки из времен Конвента, только усиливали реакционное настроение большинства. В 1849—1851 гг. целый ряд репрессивных и ретроградных мер отразил на себе это настроение. Даже такой человек, как Токвиль, находил «мудрым и необходимым делать в этом отношении большие уступки страхам и законным требованиям нации». Реакционные меры оправдывались правом общества на самозащиту, и депутаты, которые издавали законы, стеснявшие свободу, сваливали всю вину на людей, злоупотреблявших этой свободой. Деятели, ранее стоявшие в оппозиции к июльской монархии, теперь заходили гораздо далее того, что позволяло себе правительство Людовика-Филиппа. Одилон Барро однажды даже воскликнул: «Нас губит законность!» (*la légalité nous tue*). Не говоря уже о прежних реакционерах, бывшие оппозиционные элементы поставили своей задачей охрану консервативных интересов общества, лозунгом которых выставлялись «собственность, семья, религия и порядок». Вслед за 13 июня издаются законы против печати (введение газетного залога и право запрещать розничную продажу газет) и публичных собраний, а также закон, дававший правительству большие полномочия относительно введения осадного положения. В 1850 г. собрание принимает закон о народном образовании, бывший всецело созданием клерикалов. Мысль об обязательном и безвозмездном обучении была отвергнута, и светские преподаватели, как распространители учений революции и социализма, были взяты под подозрение; в высший учебный совет введены были представители духовенства, и префекты получили право (временное, правда) отставлять от должности всех учителей народных школ с вредным образом мыслей. Удерживая право государства контролировать все учебные заведения, закон во имя «свободы обучения» отменял монополию «университета», но что эта отмена рассчитана была в пользу церкви, это явствует из постановления, по которому уже одна принадлежность к духовенству без государственного экзамена и удостоверения в способности давала право на преподавание. Правом открывать средние и низшие школы воспользовались главным образом разные религиозные корпорации, а женское образование даже целиком попало в руки монахинь. Автором этого закона был клерикал Фаллу, 1849 г. занимавший пост министра народного просвещения, но в со-

angelangt sobald sie ihren eigenen originellen Namen gewonnen hatte, und das konnte sie nur, sobald die moderne revolutionäre Klasse, das industrielle Proletariat, herrschend in ihren Vordergrund trat» («Революция стала самой собой лишь тогда, когда завоевала свое собственное, оригинальное имя, а это сделалось возможным лишь тогда, когда на первый план ее властно выступил новый революционный класс — промышленный пролетариат» (нем.). — *Прим. ред.*).

брании в числе его защитников выступил и Тьер. Таким образом, в деле народного просвещения клерикалам удалось достигнуть того, к чему они тщетно стремились в эпоху конституционной монархии. В 1850 г. должны были произойти выборы на места, сделавшиеся вакантными по случаю осуждения на тюремное заключение или ссылку нескольких депутатов за участие их в восстании 13 июня 1849 г. Выборы были благоприятны для радикалов, особенно в Париже. Это встревожило партию порядка. Правительство, не довольствуясь законом, дававшим ему право закрывать и запрещать все собрания и общества, кроме избирательных собраний, потребовало распространения этого права и на последние. Вместе с этим оно предложило издать закон, который еще более стеснял печать, между прочим, делая газеты более дорогими восстановлением штемпельной пошлины. Собрание одобрило эти проекты, а второй из них даже дополнило еще параграфами, предложенными двумя клерикальными депутатами: один вменял в обязанность авторам статей религиозного, философского или политического содержания подписывать свои фамилии под угрозой штрафа в 500—1000 франков за появление статей без подписи и шестимесячного сверх того заключения в случае ненастоящей подписи, другим же дополнением устанавливался налог на газетный фельетон, в котором печатались неприятные для партии порядка романы. Но важнее еще было то, что из среды самого собрания вышел проект ограничить всеобщую подачу голосов. Партия порядка испугалась, что в конце концов это право приведет к торжеству «красных» без всяких восстаний и революций. Главным образом нужно было затруднить пользование этим правом для фабричных рабочих, ремесленных подмастерьев и поденщиков, которых ссорившееся у Тьера с языка слово обозначило во время прений как «низкую чернь». Прямо отменить всеобщую подачу голосов было невозможно, но можно было создать разные ограничения. Закон 31 мая 1850 г. повышал с шести месяцев до трех лет срок жительства в одном месте для пользования избирательным правом и лишал голоса лиц, осужденных за участие в тайных обществах, мятежах и оскорблении властей. Этот закон, результатом которого должно было быть значительное уменьшение числа избирателей, коснулся не только городских рабочих, но и части сельского населения. Только при таком настроении французской нации сделалась возможной и римская экспедиция, подавление республиканского движения в Италии войсками республиканской Франции. Одновременно с этим французское правительство делало все от него зависящее, чтобы помешать успеху баденских республиканцев. В обоих случаях к делу приложил свою руку и Токвиль, хотя в то же время он уже понимал, куда клонилась политика президента.

После того как «красная республика» была побеждена, раздор начался между самими победителями. Консервативное большинство распалось на союз монархических партий и партию президента. При голосованиях по вопросам, которые разделяли обе партии, большинство составлялось слу-

чайное, смотря по тому, на чью сторону становились республиканцы. Были случаи соединения последних и с монархистами, и с партией президента, а кроме того, были случаи и разделения самого монархического союза на легитимистов и орлеанистов. Это давало возможность Людовику-Наполеону назначать в министры людей, лично ему преданных и исполнявших только его волю. Страшная административная централизация, созданная Наполеоном I, ставила в полную зависимость от президента и его министров все местные власти, начиная с префектов и кончая сельской полицией. Конституция 1849 г. вверила военную силу государства президенту республики и его военному министру, и Людовик-Наполеон пользовался этим своим положением, чтобы создать себе в армии приверженцев. Ни Реставрация, ни июльская монархия не отличались милитаризмом, и армия, как при Бурбонах, так и при Людовике-Филиппе, не играла большой роли. Принц-президент, наследник великого военного имени, сознательно стал выдвигать на первый план армию, в которой и все консервативные элементы нации видели главную силу, только и поддерживающую внутренний порядок. Президент любил устраивать смотры солдатам и с этой целью предпринимал даже поездки по провинциям. Все более и более начинало входить в обычай приветствовать его криками: «Да здравствует Наполеон!» Иногда ему приходилось даже слышать возглас: «Да здравствует император!» Осенью 1850 г. военный министр отставил от должности генерала, давшего приказ солдатам молчать во время одного смотра, на котором присутствовал президент. В начале января 1851 г. Людовик-Наполеон отрешил от должности генерала Шангарнье, главнокомандующего армией и парижской национальной гвардией, за то, что он принял сторону укаazanного генерала. Шангарнье пользовался большим доверием у монархистов, и они, получив поддержку республиканцев, выразили недоверие министерству весьма значительным большинством голосов.

Главными пунктами столкновения президента с собранием сделались конституционные вопросы. Конституция 1848 г. не допускала переизбрания президента республики на новый срок. Между тем Людовику-Наполеону хотелось продлить свою власть, и вот началась агитация в пользу пересмотра конституции, которую успешно вели президентская партия и администрация. В законодательное собрание посылались адреса с просьбами о пересмотре, и собрано было более миллиона подписей. В самом собрании были приверженцы пересмотра, а потому была назначена для обсуждения этого вопроса особая парламентская комиссия, высказавшаяся в пользу предложения большинством (девять голосов против шести). Докладчиком ее по этому вопросу был Токвиль, видевший в пересмотре единственно возможный путь, чтобы избежать одной из неминуемых бед — анархии или узурпации, но «если бы собрание отвергло пересмотр, — говорил он, — нужно всеми силами поддерживать существующую консти-

туцию». Хотя в собрании в пользу проекта и состоялось большинство (446 против 278), но не такое, какого в подобных случаях требовала конституция (три четверти голосов). Против пересмотра подавали голоса демократы и ревностные монархисты обеих фракций. Вскоре после этого решения настало время парламентских вакансий, и этим временем воспользовалась президентская партия, чтобы усилить агитацию в стране, особенно же чтобы расположить в пользу пересмотра генеральные советы. Дело велось так ловко, что почти все генеральные советы высказались за пересмотр. Срок полномочий президента истек в мае 1852 г., и очень многие боялись, что новые президентские выборы послужат только поводом для новых смут, правительство же Людовика-Наполеона уже доказало свою способность справляться с крамолой. Притом оппозиционные партии не имели в данную минуту никаких определенных программ, которые могли бы противопоставить программе партии президента. Среди легитимистов и орлеанистов возникла была мысль о слиянии (фузионисты), но если бы даже последнее и удалось, думать о реставрации было еще слишком смело, республиканская же партия была в полном разгроме. Правда, в разных местах стали возникать тайные общества, которые пробовали организовываться, но их было сравнительно мало, весьма часто они расходились между собой в самых существенных пунктах своих программ, а иногда слишком уже они копировали старый карбонаризм своими эмблемами, обрядами и паролями. Результатами их тайной агитации и сношений с заграничными революционерами разных национальностей, нашедших убежище в Англии и Швейцарии, было то, что в нации об их деятельности стали распространяться самые преувеличенные слухи, по видимому, нарочно поддерживавшиеся бонапартистами. Говорили, например, что эти общества запасаются оружием и заранее организуют революционные суды и составляют списки их будущих жертв, чтобы сделать нападение на существующий порядок при президентских выборах. Сам Людовик-Наполеон официально говорил об обширном демагогическом заговоре, будто бы охватывавшем Францию и всю Европу. Этим самым он рекомендовал себя в спасители «собственности, семьи, религии и порядка». Кандидаты оппозиционных партий (принц Жуанвильский со стороны орлеанистов и Карно со стороны республиканцев) на успех не имели ни малейших шансов. Притом могло случиться и так, что сама нация вторичным выбором Людовика-Наполеона нарушила бы статью конституции, которую собрание не хотело отменить, и на такой исход принц имел все основания рассчитывать. Ему только нужно было подготовить для этого вполне надежную почву, и вот он задумал потребовать у законодательного собрания отмены закона 31 мая о выборах. Этот закон был весьма непопулярен в массах, и начать агитацию против него значило сильно содействовать подъему своей собственной популярности. Впрочем, если бы

закон и был приведен в исполнение, около трех миллионов граждан было бы исключено из права пользоваться избирательным голосом: защищая их интересы, можно было громадное их большинство привлечь на свою сторону.

Осенью 1851 г. национальное собрание открыло снова свои заседания лишь 4 ноября. Президент обратился к нему с посланием, в котором представлял Францию накануне страшных потрясений и как раз в то самое время, когда единственный спасительный принцип, способный оказать сопротивление общественной опасности, потерпел ущерб от закона 31 мая. Президент требовал, чтобы вопрос об отмене этого закона был подвергнут немедленному обсуждению. Консервативное большинство, видевшее в новом законе якорь спасения против «красной республики» и думавшее, что Людовик-Наполеон хочет осуществить свои честолюбивые замыслы при помощи демократов и социалистов, сначала не признало за предложением правительства неотложности, а потом (13 ноября) и сам проект был отвергнут незначительным, правда, большинством голосов. Вслед за этим произошел новый конфликт. Перед самым открытием осенней сессии собрания президент образовал министерство исключительно из своих креатур, отдав пост военного министра генералу Сент-Арно. Новый военный министр первым делом обратился к командирам отдельных частей с циркуляром, требовавшим от них безусловного повиновения правительству. Вместе с тем он предписал снять со стен в казармах декрет учредительного собрания, дававший право председателю собрания призывать в свое распоряжение войска. В законодательном собрании это вызвало бурю со стороны монархистов, которые потребовали, чтобы собрание самым категорическим образом утвердило свое право распоряжаться военной силой. Монтаньяры, поддерживавшие правительство в вопросе о всеобщей подаче голосов, не хотели быть на стороне монархистов по вопросу о военной силе, опасаясь государственного переворота в монархическом духе или по крайней мере не сочувствуя тому, чтобы «закон 31 мая получил еще и оружие». По этому вопросу они голосовали с бонапартистами и провалили своим содействием предложение о праве собрания пользоваться военной защитой (17 ноября). Через какие-либо две недели Людовик-Наполеон совершил государственный переворот.

Политический кризис, приведшей к *coup d'état* 2 декабря 1851 г., был вызван исключительно притязаниями принца-президента, а не какими-либо внутренними усложнениями в жизни страны, а с другой стороны, при тогдашнем настроении большинства нации Людовик-Наполеон, несомненно, добился бы своего, и не прибегая к насилию над законодательным собранием. Если одни из членов собрания после вотума 17 ноября, предчувствуя государственный переворот, всю свою надежду возлагали на параграфы конституции об ответственности президента и министров, то

другие для того, чтобы предотвратить какой-нибудь решительный шаг со стороны Людовика-Наполеона, сами уже готовились снова поставить на очередь вопрос о пересмотре конституции, чтобы тем самым создать возможность для удовлетворения совершенно легальным путем честолюбия принца. От самого претендента на власть зависело теперь или дожидаться спокойно того момента, когда эта власть будет вручена ему самой нацией, или ускорить естественное наступление этого момента своим вмешательством. Людовик-Наполеон предпочел пойти по этому последнему пути — повторить 18 брюмера своего дяди. И день для этого был выбран знаменательный в истории Бонапартов — годовщина коронации Наполеона I и Аустерлицкой битвы.

Главными деятелями переворота 2 декабря были корыстолюбивые и честолюбивые люди, связавшие свою судьбу с интересами претендента ради достижения личных целей путем захвата власти. В министерстве, назначенном в конце октября, самым преданным Людовику-Наполеону агентом был военный министр Сент-Арно, человек с сомнительным прошлым: когда-то он назывался Леруа, был изгнан из военной службы и вновь вступил в армию, только переменив свою фамилию. В войске он пользовался популярностью, а национальную гвардию он обессилил, заранее сделав несколько перемен в составе ее начальствующих лиц. И в будущем правительстве ему предназначалось место военного министра. Министерство внутренних дел было предназначено для второго главного помощника переворота, Морни, считавшегося побочным братом принца. В числе заговорщиков был и префект полиции Мопа, содействие которого было особенно важно. В замысел был посвящен и начальник первой дивизии, генерал Маньян. Наконец, нужно назвать еще бывшего унтер-офицера Персиньи, который еще в Страсбурге и Булони оказывал свою помощь претенденту. Все приготовления к перевороту были сделаны весьма искусно, но хотя при этом соблюдалась величайшая тайна, кое-что сделалось известным, и в иностранных газетах прямо писали о предстоящем перевороте. В Париже тоже говорили о *coup d'état*, но в это время ходило столько разных слухов, что на этот слух не обратили должного внимания.

В ночь с 1 на 2 декабря после бала во дворце президента республики Мопа, собравший в префектуре полиции около тысячи городских по случаю якобы открытого им заговора «красных», пригласил затем к себе более сорока полицейских комиссаров, устроив так, чтобы они не могли друг с другом переговариваться. Затем им было объявлено, будто уже совершился государственный переворот, о котором ходили слухи, и что теперь остается лишь арестовать людей, не желающих признать новое правительство. Этими людьми, конечно, были наиболее видные и влиятельные члены законодательного собрания (генералы Шангарнье, Ламорисьер, Каваньяк, Бедо, политические деятели Тьер, Лагранж, Виктор Гюго, Баз и др.),

члены тайных обществ и кое-кто из народа, кого считали поопаснее. За всеми такими лицами уже ранее был устроен тайный полицейский надзор, который должен был облегчить аресты. Почти все были захвачены врасплох, еще во время сна (в 6 часов утра), и лишь немногие (Ламорисьер, Бедо и Баз) сделали попытку сопротивляться. Одновременно самые важные в военном отношении места Парижа были заняты отрядами солдат в виду возможности со стороны жителей восстания. Ночью же были отпечатаны прокламации, из которых население и армия должны были узнать обо всем происшедшем. Эти прокламации были расклеены на стенах домов, чтобы к утру все было готово. От имени французского народа президент республики распускал законодательное собрание и уничтожал государственный совет, восстанавливал статью конституции о всеобщей подаче голосов и призывал народ к новым выборам, но в то же время Париж и десять ближайших департаментов объявлялись в осадном положении. Это нарушение конституции оправдывалось особым воззванием к народу, в котором законодательное собрание представлялось скопищем заговорщиков, готовящих междоусобную войну: и сам народ призывался быть судьей между этим собранием и избранником шести миллионов голосов. Против людей, погубивших две монархии и хотевших связать руки этому народному избраннику, чтобы низвергнуть и республику, президент поэтому апеллировал к народу, как к единственному государю, существующему во Франции. Если народ сам хочет, чтобы продолжалась внутренняя смута, пусть выбирает другого президента, но если народ желает выйти из печального положения и доверяет своему избраннику, то пусть же дает ему и средства исполнить ту задачу, которую он ему поставил, вручая власть. Конституция 1848 г. признавалась негодной, и были намечены необходимые в ней перемены, все в духе консульской конституции VIII года. Последняя уже однажды «дала Франции спокойствие и порядок», и французский народ приглашался ответить своим «да» или «нет» на предложенные изменения. Президент обещал при этом созвать новое национальное собрание и сложить перед ним свою власть в том случае, если бы народ ответил отрицательно на его предложения. Особая, в высшей степени льстивая прокламация была составлена для армии и прочитана утром 2 декабря во всех казармах. В ней, между прочим, говорилось солдатам о том, как тесно с ними связано имя Наполеона, написанное в их сердцах. «Ваша история есть и моя история, — заявлял Людовик-Наполеон. — У нас одно общее прошедшее, слава и несчастье. В будущем общими будут и наши заботы о спокойствии и величии Франции».

Когда Париж проснулся 2 декабря, он с изумлением узнал, что конституции уже более не существует и что власть находится в руках наследника имени Наполеона. Дворец национального собрания с раннего утра был окружен солдатами; хотя многим депутатам, а в их числе и президенту со-

брания, туда удалось проникнуть, их скоро заставили силою покинуть залу заседаний. Другая часть депутатов, собравшаяся предварительно у одного из вице-президентов, подошла к дворцу, но была встречена штыками наперевес; многие при этом получили легкие раны и подверглись другим насилиям. И те, и другие депутаты сошлись тогда в мэрии 10-го округа, и туда же пришли депутаты, собравшиеся в квартире Одилона Барро, где была составлена прокламация, объявлявшая президента республики виновным в государственной измене и потому лишенным должности. В мэрии 10-го округа эта прокламация получила окончательную редакцию, и вместе с тем состоялось постановление, призывавшее национальную гвардию 10-го округа и парижский гарнизон в распоряжение национального собрания. Перед мэрией собралась толпа народа, но скоро явились полиция и солдаты, которые арестовали всех депутатов; последние были потом развезены по разным тюрьмам и фортам Парижа. Другой отряд солдат разогнал членов высшего суда в тот самый момент, когда он приступил к составлению прокламации о государственной измене президента республики. Члены государственного совета нашли тоже место своих собраний занятым солдатами и вынуждены были сойтись в другом месте, чтобы составить и свой протест. Везде, откуда только можно было ждать сопротивления или протеста, стояли отряды солдат. Между прочим, заняты были и типографии, где печатались оппозиционные газеты.

Республиканцы все-таки решились сопротивляться. Избежавшие ареста депутаты из партии монтаньяров в союзе с вождями тайных обществ стали организовывать восстание в Сент-Антуанском предместье и прилегающих кварталах, но бороться с 80 тысячами солдат было трудно. В ночь с 2 на 3 декабря были устроены во многих местах баррикады, и утром началась уличная борьба, во время которой на одной баррикаде был убит депутат Боден.

Новое правительство ответило на попытку восстания прокламацией, в которой обвиняло инсургентов в стремлении к убийствам, грабежам и поджогам и грозило расстреливать всякого, взятого на баррикадах или с оружием в руках. Солдаты, которым щедро раздавались деньги и вино, дрались с ожесточением и 4 декабря одержали наконец победу. Одна из последних вспышек восстания произошла под предводительством Виктора Гюго. Одновременно с войском действовала и полиция, которая все эти дни очень энергично занималась арестами. Восстание и потому не могло иметь успеха, что собственно народ остался равнодушен к перевороту и почти не принял участия в борьбе, которую вела преимущественно буржуазия и интеллигенция. Только в департаментах кое-где были сделаны попытки восстания, но они были скоро усмирены. Правительство всюду распространяло убеждение, что ведет борьбу против социалистов и что они только пользуются предлогом защиты конституции, чтобы путем

убийств, поджогов и грабежей начать низвержение собственности, семьи, религии и общественного порядка. Новая власть не останавливалась ни перед какими средствами для того, чтобы сломить всякое сопротивление. Для устрашения военные отряды даже прошли в Париже по большим бульварам и стреляли в безоружных прохожих и зрителей. По случаю декабрьского переворота было арестовано более 26 тыс. человек, из которых потом около 10 тыс. было сослано в Алжир, около 8 тыс. — посажено в тюрьму, более 5 тыс. — отдано под надзор полиции и т. п., а меньшие партии сосланы в Кайенну или высланы из пределов Франции. Выслались на границу (часто с жандармами) депутаты, арестованные 2 декабря и в следующие дни. Между ними были самые видные политические деятели разных партий: Тьер, Эмиль де Жирарден, Дювержье де Горанн, Шарнгарнье, Каваньяк и др. В числе изгнанников был и Виктор Гюго, сделавшийся одним из самых заклятых врагов узурпатора. В своем «Napoléon le Petit»¹ он заклеил виновника 2 декабря как самого гнусного тирана, разбойника и врага человеческого рода, назвав соучастниками в его преступлении всех, которые признали его власть, — и судей, и чиновников, и сам народ; против него же направил он свои знаменитые «Chatiments»²; позднее (в конце семидесятых годов) он рассказал события этих дней в своей «Истории одного преступления». Когда для изгнанников 1852 г. была объявлена амнистия, Виктор Гюго не пожелал воспользоваться ей и вернулся на родину из изгнания лишь в 1870 г.

Расстреливая, сажая в тюрьмы и ссылая или изгоняя противников, правительство 2 декабря всячески ласкало и награждало солдат. Другой общественной силой, у которой, видимо, заискивало правительство, было духовенство. Народным голосованием 20 и 21 декабря французская нация приняла предложения президента 7,5 млн утвердительных ответов против 647 тыс. отрицательных. Когда Людовику-Наполеону были поднесены результаты народного голосования, к нему немедленно явился со своими поздравлениями дипломатический корпус (31 декабря), а на другой день, бывший первым днем нового, 1852 г., в церкви Парижской Богоматери духовенство отслужило благодарственный молебен, на котором уже молилось за Наполеона (*Domine, salvum fac Napoleonem*). Папа, со своей стороны, написал начальнику французского отряда в Риме письмо, призывая в нем благословение Божье на виновника радостного события 2 декабря. Около этого же времени Людовик-Наполеон переселился на жительство во дворец французских королей.

14 января 1852 г. появилась новая конституция, которая была «дана в силу полномочий, врученных французским народом Людовику-Наполеону Бонапарту всенародным голосованием 20 и 21 декабря». Эта кон-

¹ «Мелкий Наполеон» (фр.). — *Прим. ред.*

² Сборник стихотворений «Возмездие». — *Прим. ред.*

ституция, лишь основания которой были утверждены народом, была измененным произведением конституции VIII года с последующими ее дополнениями. Именно она должна была сочетать принцип народовластия с учреждениями единоличного правления. Первая же статья этой конституции «признавала, утверждала и обеспечивала великие принципы, провозглашенные в 1789 г. и составляющие основу публичного права французов». Известно, что в числе принципов 1789 г. одно из первых мест принадлежит заявлению о том, что один народ должен пользоваться верховной властью. Этим принципом народного верховенства конституция 1852 г. воспользовалась лишь для того, чтобы на широкой основе всенародного избрания основать единоличную власть президента республики. Народ вверял правление президенту (ст. 2), а президент должен был править при посредстве министров, государственного совета, сената и законодательного корпуса (ст. 3). В этих последних названиях мы даже прямо видим подражание так называемым конституциям империи. Вопреки конституционному принципу неотвеченности главы государства и, наоборот, ответственности министров, конституция 1852 г. признавала ответственность президента республики перед народом (ст. 5), министры же объявлялись зависящими исключительно от главы государства (ст. 13). Правда, и североамериканская конституция признает ответственность президента и зависимость министров исключительно от него одного (а не от парламентского большинства), но в Америке осуществление этого принципа обеспечивается правом палаты депутатов возбуждать против президента обвинение и правом сената судить президента, тогда как ответственность президента республики по французской конституции 1852 г. заключалась в праве президента апеллировать к народу (ст. 5), т. е. обращаться к нему за плебисцитами, результаты которых, как показывал опыт, заранее всегда можно было предвидеть. При такой системе, конечно, не могло быть и речи о так называемом парламентарном министерстве в смысле солидарного кабинета, зависящего от большинства народных представителей. Министры не только объявлялись подчиненными лишь главе государства, но и не могущими находиться в солидарных отношениях между собой: Il n'y a point de solidarité entre eux, прямо гласит ст. 13 конституции. Понятно, что такие министры могли быть только слепыми орудиями президентской воли, тем более что от них (наравне, впрочем, с государственным советом, законодательным корпусом и сенатом, а также со всеми военными, судьями и чиновниками) требовалась присяга в «повиновении конституции и верности президенту» (ст. 14). Президент республики как глава государства начальствовал над сухопутными и морскими силами, объявлял войну, заключал мирные, союзные и торговые договоры, назначал на все должности, издавал регламенты и декреты, необходимые для исполнения законов (ст. 6). Правосудие отправлялось от его име-

ни (ст. 7). Ему одному принадлежала инициатива законов (ст. 8). Он имел право объявлять осадное положение в одном или нескольких департаментах (ст. 12). Что касается до конституционных учреждений, то положение их вполне было подчиненное. Члены государственного совета назначались и сменялись президентом (ст. 48). Под его руководством государственный совет должен был изготовлять законопроекты, административные регламенты и разрешать трудности, возникающие в области управления (ст. 50), а также защищать от имени правительства законопроекты в сенате и законодательном корпусе (ст. 51). Законодательный корпус должен был состоять из депутатов, избранных всеобщей подачей голосов, причем они выбирались на шесть лет (ст. 38) и не получали никакого жалованья. Президент и вице-президенты законодательного корпуса с жалованьем назначались президентом республики (ст. 43). Хотя заседания законодательного корпуса были объявлены публичными (ст. 41), обнародованию подлежали лишь официальные протоколы (ст. 42). Это учреждение было лишено законодательной инициативы; оно только вотирует законы и налоги (ст. 39), но не могло делать никаких поправок в законопроектах (ст. 40). Министры не могли быть членами законодательного корпуса. Таковы были права народного представительства по конституции 1852 г. Если мы примем еще в расчет, что была введена система официальных кандидатур и административного давления на выборах, то увидим, что это представительство было чисто призрачным. Наконец, конституцией 1852 г. устанавливался еще сенат, и он должен был состоять, во-первых, из кардиналов, маршалов и адмиралов и, во-вторых, из граждан, назначенных пожизненно президентом республики (ст. 20, 21). Хотя в принципе сенаторам не полагалось жалованья, однако президенту республики дозволялось назначать сенаторам «личные дотации» до 30 000 франков в год (ст. 22). Сенат объявлялся «стражем основного договора и общественных вольностей» (ст. 25), а именно ему предоставлялось право противиться обнародованию законов, наносящих ущерб конституции, религии, морали, индивидуальной свободе, гражданскому равенству, неприкосновенности собственности, несменяемости судей или защите территории (ст. 26). На самом деле эти права сената остались такой же мертвой буквой, какой были аналогичные права сената времен первой империи. Далее, сенату давалось право посредством так называемых сенатус-консультов делать постановления по всем вопросам, которые не были предусмотрены конституцией, но решение которых необходимо для ее действия, или же которые являлись более или менее спорными (ст. 27). Сенат мог делать предложения относительно перемен в конституции, и если предложение принималось исполнительной властью, оно в качестве сенатус-консульта входило в силу (ст. 31). Наконец, в случае роспуска законодательного корпуса, право на который принадлежало президенту республики (ст. 46), до созыва нового законода-

тельного корпуса сенат, по предложению президента республики, имел право принимать чрезвычайные меры, необходимые для правительственной деятельности (ст. 33). Другими словами, все эти статьи делали и из сената простое орудие власти президента республики. В самом деле, одним из первых применений права сената издавать сенатус-консульты было возведение органическим сенатус-консультom 7 ноября 1852 г. принца Людовика-Наполеона Бонапарта в императоры французов под именем Наполеона III.

Конституция 1852 г. вверяла президенту власть на десять лет, но не прошло, как мы только что видели, и полного года со дня введения конституции, как Людовик-Наполеон сделался императором французов. Весь 1852 г. прошел в подготовке этой перемены. 29 февраля происходили выборы в законодательный корпус, число членов которого было сокращено до 261 (по одному депутату на 35 тыс. жителей). Были выставлены официальные кандидатуры, и администрация поддерживала их самым энергичным образом, так что почти все места (за исключением каких-нибудь 5—6) достались бонапартистам. Избирательные собрания были крайне стеснены. Правительство деятельно «очищало» служебный персонал от неприятных людей и все более и более располагало в свою пользу армию и духовенство. 2 декабря была введена цензура, которая была, правда, скоро отменена, но только для того, чтобы облечь правительство правом давать и брать назад разрешения на издание любой газеты; вместе с тем залог и штемпельная пошлина были повышены. Летом Людовик-Наполеон предпринял путешествие по Франции, бывшее для него целым рядом триумфов, и в Бордо он сам провозгласил: «империя, это — мир» (*l'empire, e'est la paix*). Искусственно поддерживаемая чиновниками агитация вызвала подачу адресов о скорейшем восстановлении империи. После возвращения в Париж Людовик-Наполеон обратился к сенату с проектом в этом же смысле, ссылаясь на общее желание народа. 7 ноября сенат постановил, а 21-го числа того же года народ 7824 189 голосами против 250 145 утвердил восстановление империи (причем было подано 63 326 пустых бюллетеней). Наконец, в годовщину государственного переворота произошло торжественное провозглашение «Наполеона III, милостью Божьей и волею народа императором французов». Новая французская империя по мысли ее основателя была цезаристической организацией демократии.

Случилось то, что предсказывал для демократии своей родины Токвиль еще в то время, когда во Франции едва ли кто думал о возможности таких переворотов, как 24 февраля и 2 декабря. Вопрос о том, почему Франция, которая совершила столько революций и пролила столько крови с целью добиться политической свободы, опять подпала под иго цезаризма, конечно, должен был заставить глубоко задуматься всех мыслящих людей. На этот вопрос взялись ответить два выдающихся историка, Кинэ

и Токвиль, указавшие в своих трудах «La Révolution» и «L'ancien régime et la Révolution»¹ на то, что все предыдущее политическое развитие Франции совершилось в направлении, неблагоприятном для политической свободы, и что принцип равенства играл в политических движениях Франции гораздо более важную роль, чем принцип свободы. В данном случае Токвилю приходилось только развивать в применении к истории своей родины главные идеи, выраженные им в сочинении об американской демократии. После своей неудачи как политического деятеля в 1848 и 1849 гг. он снова вернулся к более сродным его уму и характеру научным занятиям и написал одно из самых важных сочинений по истории Французской революции, проливающее свет и на историю Франции в первой половине XIX в.

¹ Соответственно «Революция» и «Бывший революционный режим» (фр.). — Прим. ред.

Пятидесятые и шестидесятые
годы

XXV. Общая реакция пятидесятих годов¹

Характер пятидесятих и шестидесятих годов сравнительно с тридцатыми и сороковыми. — Союз консервативных сил. — Роль Франции, Австрии и России. — Восстановление союзного сейма и реакция в Германии. — Прусская реакция. — Политическая теория Штала. — Австрийская реакция. — Реакция в Италии. — Эмиграция. — Реакционная роль папства. — Усиление клерикализма. — Конец острого периода реакции

Революционные движения 1848 и 1849 гг. были подготовлены всем общественным развитием со времен Июльской революции и даже предшествовавшего ей десятилетия. Следующий период западноевропейской истории, охватывающий пятидесятые и шестидесятые годы до 1870—1871 гг., когда произошло падение второй империи и завершилось объединение Италии и Германии, в сравнении с периодом предыдущим, является эпохой реакции, гораздо более бедной историческим значением сравнительно с предыдущим двадцатилетием. Эпоха второй империи, провозгласившей себя равносильной миру, была снова временем постоянных войн, как и первой империи. Времена Реставрации и июльской монархии отличались большим миролюбием в международных отношениях Западной Европы, но после перехода власти к Наполеону III снова наступает время кровавых международных столкновений, вызванных, между прочим (но только между прочим), вопросом о национальностях, который был поставлен рево-

¹ Для международной политики см. книгу Debidour'a, указывавшуюся раньше. *Rothan. L'Europe et l'avenement du second empire.* Для реакции в Германии: *Stirner. Geschichte der Reaction, 1852; Becker B. Die Reaction in Deutschland gegen die Revolution von 1848 beleuchtet in socialer, nationaler und statistischer Beziehung, 1873; Назимов А. Реакция в Пруссии (1848—1858), 1886; Fischer J. Preussen am Abschluss der ersten Hälfte des XIX Jahrhunderts, 1878; анонимная статья Preussen seit Abschluss des Staatsgrundgesetzes bis zur Einsetzung der Regenschaft (в «Unsere Zeit», Jahrbuch zum Conversations-Lexicon, 1862); Lasker E. Zur Verfassungsgeschichte Preussens, 1874; Bethmann-Hollweg. Die Reactivierung der preussischen Provinziallandtage, 1851; Gräfe. Der Verfassungskampf in Kurhessen, 1851; Pfaff. Das Trauerspiel in Kurhessen, 1851; Müller Fr. Kassel seit siebzig Jahren, 1876—1879; Bernstein. Revolutions- und Reactionsgeschichte, 1882; Helfert. Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener Oktoberaufstandes, 1869—1885; Rogge. Oesterreich von Vilagos bis zur Gegenwart, 1872—1873. По вопросу о влиянии австрийской реакции на судьбу славян — сочинения Гильфердинга (см. выше). Для реакции в Италии см. указания выше и ниже в главе об объединении Италии. О церковных делах: *Baur Ch. Kirchengeschichte des XIX Jahrhunderts, 1877; Nielsen.* История папства в XIX в., 1880; *Nippold.* Handbuch der neuesten Kirchengeschichte, 1883—1892; *Brück.* Geschichte der katholischen Kirche im XIX Jahrhundert, 1887—1896; *Schmid H.* Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland von der Mitte des XVIII Jahrhunderts bis in die Gegenwart, 1872—1874; *Debidour.* Hist. des rapports de l'église et de l'état en France au XIX s., 1898. Ср. также сочинения о папе Пии XIX, указанные выше. Отметим еще «С того берега» Герцена, превосходно рисующее настроение после неудачи, которая постигла революцию 1848 г.*

лющей 1848 г. В 1853—1856 гг. происходит Крымская война, в 1859 г. — итальянская; в 1863 г. европейской войной грозит вопрос польский; в 1864 г. Австрия и Пруссия ведут войну с Данией, а в 1866 г. вступают в вооруженную борьбу и между собой; наконец, в 1870 г. начинается Франко-прусская война, за окончанием которой в 1871 г. следует современный период «вооруженного мира». В начале нового периода войн знаменитый Бокль писал свою «Историю цивилизации в Англии», обширное историко-философское сочинение, в котором он, между прочим, говорил о благотворном влиянии просвещения на характер международных отношений. Именно он ссылаясь на то, что после 1814—1815 гг. Европа пользовалась благами мира и что если в ней еще происходит война, то лишь между самыми отсталыми государствами (Турцией и Россией). Действительность опровергла выводы историка, а в 1870 г. война произошла как раз между двумя наиболее просвещенными нациями европейского материка. Но по отношению к внутреннему развитию два десятилетия, предшествовавших революции 1848 г., были гораздо более живым временем, чем два десятилетия, следовавшие за подавлением этой революции. О пятидесятых годах и говорить нечего: это было время самой мрачной реакции, какой, пожалуй, не было даже после 1830 г. Некоторое оживление начинается лишь в самом конце этого реакционного десятилетия. О шестидесятых годах на западе Европы нельзя судить по тому, что делалось тогда у нас в России, в эту эпоху нашего возрождения и великих реформ. Конечно, в сравнении с пятидесятыми годами и на Западе шестидесятые годы были временем более живым, но их идейное содержание было менее оригинально и не так богато, как идейное содержание сороковых годов. Неудача движения 1848 г. нанесла сильный удар всему духовному и общественному развитию Западной Европы, достигшему наивысшей своей точки в сороковых годах. Пышные надежды сменились горькими разочарованиями, и внешние условия сделались менее благоприятными. Как после неудачи Великой революции конца XVIII в. не сразу была возобновлена прерванная реакцией нить развития, так и после революции середины XIX в. не сразу могло вернуть себе силу то общественное движение, которое делает столь содержательной историю тридцатых и сороковых годов. Ввиду этого и нам приходится посвятить временам второй империи гораздо меньше места, чем временам июльской монархии; особенно мало придется говорить о первой половине этого периода.

Революция была побеждена в середине 1849 г. окончательно. Последними ее вспышками были республиканские восстания в Германии, подавленные в мае и июне, республиканская попытка в Париже 13 июня, римская республика, которой конец был положен в июле, и венгерская революция, побежденная в августе. Победа была на стороне консервативных сил. Прежде всего это были государи, которые не хотели утратить своей прежней

власти и выступили одновременно и против политического движения, принявшего республиканский характер, и против национального объединения Германии и Италии. Немецкая и итальянская нации были возвращены к прежнему своему положению раздробленности и бессилия, и одновременно с этим произошла реакция против представительного образа правления, завершившаяся восстановлением во Франции наполеоновского самовластия. Это представительное правление в эпоху Реставрации и июльской монархии было достоянием лишь самой зажиточной части нации, но движение 1848 г. отличалось резко выраженным демократическим характером, что бросило в ряды реакции и большую часть имущих классов, особенно после того, как стало совершенно ясно, что за политическим радикализмом, отстаивавшим права народной массы на участие в государственной власти, уже выступала социальная демократия, требовавшая переделки самого экономического строя общества. «Красный призрак» и сделался тем фактором, который позволил совершиться политической реакции, в свою очередь повлекшей за собой и падение национальных стремлений. Наиболее сильным и строгим преследованиям в эту эпоху подвергся социализм, который встретил одинаковый отпор и со стороны правительств, и со стороны имущих классов общества. На этой почве представители абсолютизма готовы были идти на уступки умеренному либерализму, когда этим можно было купить содействие либералов против демократии, и сами либералы не прочь были поступаться своими принципами в пользу сильной власти, если последняя обеспечивала порядок. Реакция, наступившая после 1830 г., имела преимущественно правительственный характер, и наоборот, революция 1830 г. знаменовала собой прекращение общественной реакции, которой характеризуется период Реставрации. Теперь снова реакция овладела обществом. Социальная демократия грозила «собственности, порядку и религии», и этим определялась политика консервативных интересов. Порядок нужен был для охраны угрожаемой собственности, религия — для упрочения порядка, совершенно так же, как это было в эпоху реакции, вызванной Великой французской революцией и ее непосредственными следствиями.

Яснее всего наблюдается это направление во Франции, где на сторону порядка, представителем которого сделался Наполеон III, перешли многие люди, считавшие раньше парламентскую систему истинной основой гражданской свободы, и где сам этот порядок стал искать опоры не только в штыках преданной армии, но и в католическом духовенстве, которому правительство делало всевозможные уступки. До 2 декабря 1851 г. положение дел во Франции считалось все-таки непрочным, и это вызывало опасения у всех защитников консервативных интересов за границей. Когда там узнали о государственном перевороте, везде вздохнули легче. Недаром представители иностранных дворов в Париже поспешили поздравить но-

вого владыку Франции и выразить ему чувства признательности и даже удивления. Недаром радовался и папа — и посылал благословение новому защитнику религии. Только принятие Людовиком-Наполеоном императорского титула и имени Наполеона III неприятно задело иностранные дворы. Это было нарушением договоров 1815 г., навеки устранявших династию Бонапартов от занятия французского престола, а Наполеон называл себя вдобавок Третьим, тем самым признав законность прав Наполеона II, никогда не царствовавшего и не бывшего признанным другими державами. С другой стороны, законные монархи были оскорблены, что такой выскочка, каким был новый французский повелитель, присваивал себе высший монархический титул. Император Николай I, одоббивший государственный переворот, уже наперед высказался против того, чтобы принц-президент стал называться императором, но когда и ему по примеру других государей пришлось признать совершившийся факт, то он обратился к Наполеону III не как к «дорогому брату» (обычное обращение в личной переписке государей), а как к «доброму другу». Император-выскочка должен был знать свое место среди старых монархий, и ни один княжеский род не согласился на то, чтобы выдать какую-либо из своих принцесс за него замуж и ему пришлось взять себе в жены испанскую дворянку Евгению Монтихо (1853 г.). Но иностранные дворы все-таки не решились не признать Наполеона III, так как он был представителем порядка и дал обещание, что поставит задачей своей иностранной политики охрану мира. В глазах реакционеров и консерваторов всех стран Наполеон III сделался настоящим «спасителем общества», его империя — оплотом против демагогических замыслов.

Из всех правительств, которые приветствовали государственный переворот 2 декабря, более всего ликовало правительство австрийское. Руководителем политики венского двора с ноября 1848 г. был князь Шварценберг, который сделался настоящим министром реакции. В то время нельзя было еще предугадать, что внешняя политика Наполеона III примет по отношению к Австрии революционный характер, и Шварценберг видел в Наполеоне III только искусного и сильного деятеля реакции. Вот почему он самым явным образом выражал свое сочувствие новому французскому правительству. Он находил, что у обоих правительств враг один и тот же — революция, т. е. он повторял то же, что говорили уже Меттерних и Гизо. Австрия поэтому была на стороне Наполеона III, и поэтому готова была допустить ему делать все, что ему было угодно «внутри границ Франции». Менее нежели на расстоянии месяца после французского государственно-го переворота, и в Австрии была отменена конституция 4 марта 1849 г. императорским указом 31 декабря 1851 г. В монархии Габсбургов, таким образом, формально был восстановлен прежний абсолютизм. Вскоре после смерти Шварценберга (1852 г.) главным руководителем реакционной

политики сделался Бах, когда-то демократ и революционер, превратившийся в клерикала и абсолютиста. Внутри Австрии все должно было вернуться к тому положению, в каком было до революции, но, кроме того, благодаря своему положению в Германии и Италии, Австрия имела возможность сильно содействовать реакции и в других немецких и итальянских государствах. Традиции Священного союза снова утверждались австрийской политикой начала пятидесятих годов.

Успехи Австрии в эту эпоху объясняются и сильной поддержкой, какую ей оказывала Россия. Лишь при помощи императора Николая I справилась Австрия с венгерской революцией. Испуганному воображению Западной Европы могло казаться, что в данном случае русский император действовал в духе панславизма, как бы заступившись за славян, угнетаемых мадьярами, но на самом деле это была помощь в духе принципов Священного союза, не имевших ничего общего с какой бы то ни было национальной политикой. Русское правительство отнеслось враждебно и к объединению Германии опять-таки потому, что оно было делом революции; и в данном также случае Австрии очень пригодилась помощь петербургского двора. Мы видели, что в числе причин, заставивших прусского короля отказаться от императорской короны, было прямое давление на него со стороны Николая I. Шварценберг действовал весьма искусно, чтобы выбить Пруссию из той позиции, которую она заняла в 1848—1849 гг. Хотя и в этом государстве царствовала реакция, но оно все-таки не покидало мысли о том, чтобы сплотить под своей гегемонией хотя бы только часть Германии. Австрийское правительство пустило в ход все средства, чтобы поселить недоверие к Пруссии не только у немецких государей, но и в самой нации. Шварценберг прямо стоял на том, что «Пруссию нужно унижить, а потом и уничтожить». В роли третейского судьи между Австрией и Пруссией выступил русский император. Но русская политика в этом конфликте двух великих немецких держав была на стороне Австрии, отстаивавшей трактаты 1815 г. Притом Николай I не мог простить Фридриху-Вильгельму IV введения в Пруссии «демократической конституции». Распря эта чуть не довела до войны, но нескрываемое сочувствие России к Австрии заставило Фридриха-Вильгельма IV стать на сторону партии, желавшей мира. Шварценбергу этим удалось добиться действительного унижения Пруссии. Прусский министр иностранных дел Мантейфель должен был просить у австрийского министра позволения приехать к нему для личных переговоров, и в ноябре 1850 г. в Ольмюце состоялось между ними свидание, на котором Пруссия подчинилась всем требованиям Австрии, т. е. отказалась от всякой самостоятельной политики, уничтожила свой отдельный союз с некоторыми немецкими государствами и безусловно признала восстановление старого союзного сейма. Это было результатом прямого воздействия русской политики. За месяц перед тем в Варшаву

по приглашению Николая I приезжали Франц-Иосиф и принц Прусский, и здесь русский государь столь решительно выразил свою волю, что Пруссии пришлось смириться.

Этим конфликтом между двумя великими немецкими державами думал воспользоваться в своих видах Людовик-Наполеон, тогда еще президент республики. В это время он носился с мыслью о возвращении Франции рейнской границы и даже зондировал на этот счет мнения России и Австрии. Ему казалось теперь удобным войти в соглашение с Пруссией и, поддерживая ее притязания, втравить ее в войну с Австрией и Россией, чтобы расстроить этим восстановление Священного союза и воспользоваться войной в целях приведения в исполнение своего замысла, явившись в надлежащий момент посредником. Само прусское правительство в конце 1849 г. просило президента французской республики прислать в Берлин послом личного его друга Персиньи. Серьезного намерения сблизиться с Францией тут, однако, не было; был только расчет напугать Австрию и Россию возможностью такого сближения. На самом деле, никаким обещаниям Персиньи, действительно приехавшего в Берлин в начале 1850 г., не доверяли, зная, что личная политика президента не пользовалась сочувствием национального собрания и министерства. Шварценберг сумел рассорить Пруссию и с Францией. Фридриху-Вильгельму IV Австрия, в согласии с Россией, внушила мысль восстановить свою власть в швейцарском кантоне Невшателе, что удобнее всего было бы совершить путем военной экзекуции против Швейцарии, давшей у себя убежище революционерам. Прусское правительство сделало в этом смысле предложение в Вене и Париже, но Австрия, зная, что Людовик-Наполеон, сам пользовавшийся правом убежища, не пойдет на такое вмешательство, отеклась перед ним от всякой солидарности с Пруссией в этом деле. Персиньи надменно заявил прусским министрам, что с его принцем нельзя обращаться, как с Людовиком-Филиппом, и что если хотят сделать нападение на Швейцарию, то Франция может ответить движением на Рейн. Этим инцидентом взаимные отношения Пруссии и Франции были испорчены, и берлинское правительство было после этого совершенно изолировано.

Успехи австрийской политики до такой степени вскружили голову Шварценбергу, что он задумал осуществить мысль о включении всех австрийских земель в состав восстановленного Германского союза. Но этот план, исполнение которого страшно усилило бы Австрию, встретил противодействие со стороны Англии, Франции и России. 5 марта 1851 г. французское правительство протестовало особой нотой ко всем державам, подписавшим трактаты 1815 г., против такого нарушения политического равновесия Европы. Николай I в мае того же 1851 г. имел свидание в Варшаве с Фридрихом-Вильгельмом IV и обещал ему свою поддержку против Австрии, а в июле сам посетил в Ольмюце Франца-Иосифа и тоном своих

речей заставил Шварценберга отказаться от указанного плана. Австрийский министр был сильно оскорблен тем, что русский император обращался с Австрией как с вассальным государством, и говорил, что венский двор когда-нибудь «поразит мир своей неблагодарностью». Вскоре после этого и Пруссия, которая раньше думала включить в состав Германского союза свои восточные провинции, заявила отказ от этого намерения, и этим отняла у Австрии последний предлог настаивать на своем плане. В Берлине скоро забыли унижение, которому она подверглась, благодаря русской политике 1850 г. Мало того, в Пруссии стали смотреть на Россию как на единственную прочную опору консервативных интересов, и в столице Пруссии образовалась большая и влиятельная партия, чуть не обоготворявшая Николая I. Особенно ярко это настроение проявилось в 1852 г. во время посещения русским императором прусского короля. Русский посланник в Берлине занял первенствующее положение и смотрел на Пруссию почти как на вассальное государство. В 1851 г. положение дел в Германии возвратилось к порядку, созданному Венским конгрессом. В Вену даже возвратился Меттерних, который и из своего изгнания не переставал, впрочем, давать советы австрийскому правительству; теперь он опять сделался, хотя и неофициальным, руководителем австрийской политики и оставался им до самой своей смерти (1859 г.).

Реакция в Германии выразилась не только в восстановлении старого устройства с союзным сеймом во главе, но и в уничтожении в отдельных государствах большей части результатов революции 1848 г. Это была третья реакция, которую переживала Германия в XIX в., и если этой реакции не удалось зайти так далеко, как заходила реакция после падения Наполеона I, то во многих отношениях она была суровее реакции после Июльской революции. Движение начала тридцатых годов имело характер почти исключительно политический, совсем даже не отразившись на общественном строе, тогда как революция 1848 г. наносила страшный удар всем словесным привилегиям. Буржуазная реакция против демократической стороны движения 1848 г. только расчищала почву для реакции чисто феодального характера, которая происходила в пятидесятых годах. Дворянство выступило как главная общественная сила этой эпохи, со своими притязаниями вернуть, что только было можно, из «домартовских порядков». В союзе с правительствами и духовенством оно везде восстанавливало старину. Если правительства не оказывали надлежащего содействия, феодальная партия обращалась к союзному сейму, а последний, поддерживаемый Австрией, в большинстве случаев становился на сторону реакции.

Одновременно с вопросом о будущем устройстве Германии, разделившем немецкие правительства на два враждебных лагеря, и сами эти правительства, и общественное мнение были озабочены еще борьбой из-за конституции в Гессен-Касселе и шлезвиг-гольштейнским делом.

В Гессен-Касселе снова сделался министром абсолютист Гассенпflug, который вступил в борьбу с местным ландтагом. После распушения двух ландтагов (в июне и сентябре 1850 г.) он предписал собирать налоги, не утвержденные сеймом, но чиновники отказались исполнять это предписание. Тогда в курфюршестве было введено осадное положение, несмотря на полное спокойствие населения, и курфюрст выехал из своей столицы в один из провинциальных городов, откуда Гассенпflug обратился к союзному сейму с просьбой о помощи (сентябрь). Союзный сейм в это время еще не был признан всеми немецкими государствами. Желая иметь на своей стороне Гессен-Кассель, он высказался в пользу курфюршеского правительства, основываясь на реакционных постановлениях начала тридцатых годов, хотя они и были отменены в 1848 г. Тогда Гассенпflug для приведения в исполнение решения союзного сейма назначил генерала Карла Гайнау военным диктатором, на что высшие и низшие офицеры ответили, однако, массовыми отставками, так как не «имели возможности согласовать обязанность подчиняться приказаниям начальства с присягою охранять конституцию» (октябрь). Гассенпflug обратился к другим немецким правительствам, и государи Австрии, Баварии и Вюртемберга на личном свидании постановили занять Гессен-Кассель своими войсками. В то время Пруссия, стремившаяся основать союзное государство, не признавала еще союзного сейма и двинула в Гессен-Кассель свои войска (ноябрь). Фридрих-Вильгельм IV, конечно, вовсе не думал серьезно защищать конституцию Кургессена; боясь междоусобной войны, а также усмотрев в сопротивлении гессенцев революцию, он вскоре предоставил курфюршество его судьбе, отозвав свои войска. В Ольмюце прусское правительство даже прямо обязалось не препятствовать союзной экзекуции в курфюршестве. Мало того, один прусский отряд должен был после этого действовать сообща с союзными войсками для поддержания порядка (ноябрь). В декабре 1850 г. австрийские и баварские (Straßbayern) войска восстановили в Гессен-Касселе власть курфюрста. За этим последовало (также решенное в Ольмюце) подавление последних признаков революции в виде шлезвиг-гольштейнского восстания против Дании. В начале января 1851 г. Австрия и Пруссия, действуя в данном случае от имени Германского союза и грозя в случае неповиновения союзной экзекуцией, потребовали, чтобы шлезвиг-гольштейнский сейм прекратил войну против Дании. Оба герцогства вынуждены были смириться, илондонский трактат 1852 г. утвердил неразрывность всех владений датского короля.

Инициатива всех реакционных мер в Германии принадлежала Австрии, политике которой должна была подчиниться и Пруссия. Средние и мелкие немецкие государства следовали общему реакционному направлению. Почти везде правительства отменяют уступки, вынужденные у них

в 1848 г., восстанавливают административный произвол, поощряют дворянство в его стремлении восстановить прежние привилегии, содействуют духовенству в его попытках вернуть былую власть над светским обществом. Саксония и Ганновер, Мекленбург и Липпе-Детмольд, Гессен-Кассель и Гессен-Дармштадт были государствами, в которых реакция отличалась особой силой. В Саксонии полное восстановление «домартовских» порядков произошло, главным образом, при новом короле Иоанне (1854–1873 гг.), благодаря деятельности реакционного министра Бейста, который ввел даже в употребление особую «черную книгу» для занесения в нее всех лиц с неблагонамеренным образом мыслей. В Ганновере дворянство в 1851 г. добилось от союзного сейма постановления, запрещавшего вводить какие-либо изменения в составе земских чинов, и это делало невозможным обещанное в 1848 г. их преобразование, а новый король, слепой Георг V (1851–1866 гг.), крайний реакционер, только поддерживал все домогательства дворянства. Он даже предложил изменить конституцию в дворянском духе, но дворянство вообще и слышать не хотело ни о какой конституции (1851 г.). И вот оно еще раз обратилось к союзному сейму, к которому прибегло и правительство, желая свалить на высшую силу вину за неисполнение своих обещаний 1848 г. (1854 г.). Союзный сейм не заставил долго просить себя и потребовал, чтобы король не вводил в конституцию ничего, что было бы несогласно с принципами союзного сейма или противоречило бы правам дворянства. Этого только и ждало ганноверское правительство, чтобы отменить конституцию 1848 г. и ввести вновь государственный закон 1840 г. В Мекленбурге дворянство тоже протестовало против всех нововведений. Великий герцог Фридрих-Франц II отдал это дело на рассмотрение третейского суда, в состав которого вошли государственные люди Пруссии, Ганновера и Саксонии, и этот суд решил вопрос в пользу реакции (1850 г.). Новая конституция была отменена, а старый сословный сейм поставил своей задачей восстановление помещичьей власти и даже издал закон, дававший дворянам право подвергать земледельческих рабочих телесным наказаниям. В Липпе-Детмольде министр Фишер всячески стеснял действия земских чинов, жалуясь в союзный сейм на то, что они ведут себя мятежным образом. В Гессен-Касселе союзный сейм признал конституцию 1831 г. не соответствующей основным законам Германского союза и предложил курфюрсту совместно с земскими чинами выработать новую (1852 г.). Гассенпflug, опираясь на военное положение, продолжавшее тяготеть над страной, составил проект конституции, в сущности, отменявший даже те права, которые и до 1831 г. были у земских чинов против самовластия правительства. Так как сейм не хотел принять этой конституции, то Гассенпflug продолжал править курфюршеством с неограниченной властью. В Гессен-Дармштадте министру Дальвигу удалось путем нового закона о выборах достигнуть того, что

местное народное представительство утратило даже тень независимости. Во всех случаях подобного рода реакционеры обыкновенно имели на своей стороне союзный сейм, сделавшийся своего рода судьей между спорящими партиями в отдельных государствах. В 1851 г. он отменил утвержденные франкфуртским парламентом «основные права» и потребовал, чтобы отдельные правительства приводили государственные учреждения, введенные в 1848 г., в соответствие с законами Германского союза. В 1854 г. он издал нормальный закон о печати, к которому отдельные правительства должны были приноравливать местные законы. Кроме того, союзный сейм издал закон и против обществ и собраний. Даже в таких государствах, где отношения между правителями и подданными оставались сравнительно сносными и где сами государи противились крайностям реакции (Баден, Вюртемберг, Бавария), всякий либерализм был в опале, и все, что напоминало собой демократические стремления, подвергалось пресечению. Лишь в очень немногих землях (главным образом в Саксен-Веймаре и Кобург-Готе) не было принимаемо репрессивных мер против свободного выражения политических мнений, конечно, в пределах известной умеренности.

Особенно важна была реакция в Пруссии и Австрии.

В пятидесятых годах Пруссия пережила худшие дни своей истории. Унизившись перед Австрией и совершенно подчинившись влиянию России, Фридрих-Вильгельм IV должен был совершенно отказаться от своих планов в Германии. Роль Пруссии как великой державы сильно пострадала, и когда восточные дела в первой половине пятидесятых годов возбудили большую европейскую войну, берлинское правительство не проявило никакой самостоятельной политики. Участие Пруссии на Парижском конгрессе, окончившем Крымскую войну, тоже было незначительным. И ее поведение в самой Германии тоже не могло содействовать ее престижу среди немецких патриотов, возлагавших на нее такие надежды в 1848 г. Все это отзывалось на настроении Фридриха-Вильгельма IV, да и пережитые им волнения сделали его крайне подозрительным по отношению ко всему, что сколько-нибудь грозило новой революцией. Этим пользовались в своих реакционных целях люди, окружавшие нервного короля, и запугивали его всякими страхами. Особенно поддался он своему мрачному настроению после смерти Николая I и Парижского конгресса, ослабившего Россию, так как в обоих этих событиях он видел падение твердыни, задерживавшей победу революций. Осенью 1857 г. стали замечаться первые признаки душевной болезни короля, которая затем стала все более и более усиливаться. Через год ему пришлось сложить с себя власть, назначив регентом своего брата принца Вильгельма Прусского (7 октября 1858 г.), который и наследовал ему после его смерти (2 января 1861 г.).

Фридрих-Вильгельм IV не отменил утвержденную им 31 января 1850 г. конституцию. Вместе с избирательным законом 30 мая 1849 г. и с королев-

ским распоряжением 12 октября 1854 г. о верхней палате эта конституция до сих пор остается основным законом монархии. В сравнении с конституцией 5 декабря и избирательным законом 6 декабря 1848 г. новое государственное устройство Пруссии было менее либеральным. Оно являлось результатом сближения правительства с более консервативными элементами общества. Второй избирательный закон, во-первых, устанавливал открытое голосование, — чем доставлял возможность имущим классам оказывать влияние на подачу голосов зависящими от них людьми, — во-вторых, делил всех избирателей на три разряда по уплачиваемым ими налогам, причем каждый разряд, далеко не одинаковый по своему численному составу, был тем не менее представлен равным числом депутатов. На собрании в Кётене (11 июня) демократическая партия постановила воздержаться от выборов, благодаря чему и отсутствовала в собрании, занявшемся пересмотром конституции. Как это обстоятельство, так и то, что в собрании было около двухсот чиновников, и наконец, и реакционное настроение представителей крупной буржуазии и объясняет нам сговорчивость собрания, утвердившего правительственный проект. Конституция 1850 г. сохраняла за королевской властью первенствующее и решающее значение в государстве. Король один распоряжается всей исполнительной властью, и министры подчинены только ему одному. Законодательной властью он пользуется совместно с двумя палатами, и для издания всякого закона требуется согласие обеих палат и короля. Выборы в палату депутатов трехразрядные и вместе с тем двухстепенные. Состав верхней палаты установился позднее (1854 г.). Палата господ состоит из наследственных и пожизненных членов (принцы королевского дома, наиболее аристократические роды и т. д., а также представители некоторых корпораций, например, университетов). Обе палаты имеют право законодательной инициативы и могут принимать петиции и обращаться к королю с адресами. Члены палаты не отвечают за поданные голоса или произнесенные речи. Конституция 1850 г. включает в себе и изложение основных прав, но на практике впоследствии не все, что было тут обещано, действительно соблюдалось. Этими основными правами вводились равенство перед законом, личная неприкосновенность, суд присяжных, свобода совести, науки и преподавания («наука и ее преподавание свободны»), ограниченная свобода печати, обществ и собраний, причем сословные привилегии объявлялись уничтоженными, а введение цензуры прямо запрещалось. Уже из этого краткого изложения прусской конституции 1850 г. явствует, что на ней все-таки сказались влияние принципов 1848 г., но в то же время при пересмотре конституции сказались и влияние бюрократических стремлений. Дело в том, что истолкование законов в Пруссии было предоставлено министрам, администрация не была поставлена под контроль суда и новое устройство государственных властей было соединено со старой бюрократ-

тической системой управления. Еще в начале XIX в., когда Пруссия при Штейне и Гарденберге вступила на путь внутренних преобразований, был уже самой жизнью поставлен вопрос о необходимости введения в Пруссии местного самоуправления, и Штейн считал его даже важнее общегосударственного представительства, тогда как Гарденберг стоял на противоположной точке зрения и думал сочетать политическую свободу с бюрократической централизацией. Впрочем, и французские либералы эпохи Реставрации и июльской монархии стояли тоже за введенную Наполеоном I централизацию, при помощи которой надеялись властно проводить в жизнь свои политические принципы. Прусские либералы разделяли подобный же взгляд, который, конечно, поддерживался и бюрократией. Хотя законом 11 марта 1850 г. и было положено начало введения в Пруссии самоуправления, но в мае 1851 г. задуманная организация по предложению верхней палаты была отменена тремя министерскими распоряжениями, и в существе дела была восстановлена старая бюрократическая система.

Как бы то ни было, однако Пруссия получила все-таки конституцию, и 6 февраля 1850 г. Фридрих-Вильгельм IV принес в сейме торжественную присягу в том, что будет исполнять эту конституцию. Своей клятве он остался верен по крайней мере в том, что не отменил действия конституции. Если тем не менее и в конституционной Пруссии наступила реакция, то одна из причин этого была и в составе национального представительства. Мы только что видели, что демократическая партия сама устранилась от парламентской деятельности и положением овладела партия консервативно-конституционная, в соглашении с которой правительство и издало конституцию. Это был союз антидемократических общественных классов, и он не только шел на уступки правительству, но даже старался выставять на вид свою лояльность, дабы тем самым на деле опровергать обвинения, возводившиеся на конституционную систему крайними ретроградами. Этот консервативно-конституционный союз объединял промышленную буржуазию с чиновничеством и дворянством. Буржуазия, стоявшая во главе революционного движения 1848 г., но отшатнувшаяся от него, когда оно приняло социальный характер, стала искать сближения с властью, издание же королем избирательного закона, составленного в интересах имущих классов, было шагом, который был сделан самим правительством для привлечения буржуазии на свою сторону. Заискивая у буржуазии, правительство из ее рядов назначало и на разные влиятельные должности. Чиновничество было сначала очень недовольно уступками, сделанными революции, и всячески им противодействовало, пока в министерство Мантейфеля, бюрократа до мозга костей, само не сложилось в сильную правительственную партию, и эта партия не поставила своей задачей содействовать всеми мерами расширению королевской прерогативы. Благодаря поддержке администрации чиновники стали выбираться в палату все

в большем и большем количестве, и палата 1855 г. получила даже название «палаты ландратов» (Laudrats-Kammer). Третью группу рядом с буржуазией и бюрократией составляли феодалы, которые еще в 1848 г. основали свою газету, знаменитую «Neue Preussische (Kreuz)-Zeitung», откуда их позднейшее название партии «Крестовой газеты». Сначала, в разгар революционного движения эта партия не играла никакой роли, но когда началась реакция, она выступила уже как «маленькая, но могущественная партия»¹, которая была теперь не против ограничения королевской власти, лишь бы оно шло на пользу сословным интересам. Ища поддержки при дворе и в ортодоксальной части лютеранского духовенства, феодальная партия стремилась привлечь на свою сторону и бюргеров, владевших рыцарскими поместьями², и зажиточных крестьян, боявшихся восстания земледельческого пролетариата, и ремесленников, враждебных принципу свободы промышленности, и т. д. Разнородные элементы, на которые опиралось прусское «юнкерство», объединялись им в разбросанные по всей стране «Preussenvereine»³ с центральным органом, носившим название «Союз верности» (Treubund). Эта группа получила большую силу. В 1856 г. всемогущий президент полиции Гинкельдей, нередко конфисковывавший номера «Крестовой газеты», закрыл один аристократический игорный дом, за что был вызван на дуэль и убит молодым дворянином Гансом фон Рохов. Юнкерская партия в заседании палаты прославляла «благородного Ганса фон Рохов», и последний был помилован королем.

Таковы были партии, которые стали господствовать в прусской палате, представляя собой едва третью часть населения. Издавая новый избирательный закон, король нарушал конституцию, но буржуазия не только не протестовала против этого нарушения, а прямо санкционировала выгодное для себя распоряжение, хотя тем самым создавала прецедент, которым правительство легко могло воспользоваться против самой же буржуазии. Она думала, что сделалась госпожой положения, и вот, чтобы консолидировать власть в своих руках как против представителей домартовских порядков, так и против социальной демократии, она всячески усиливала правительственную власть, в которой видела лишь свой орган. Конституция 1850 г. оставляла в силе все прежние правительственные установления впредь до издания органических законов, и, кроме того, был принят целый ряд временных или переходных мер, снабжавших бюрократию новыми полномочиями (расширение власти начальников над подчиненными, предоставление одной прокуратуре права преследовать чиновников за должностные преступления и т. п.). Буржуазия не была даже и против того, чтобы администрация воздействовала на выборы. Буржуазия была убеж-

¹ Die kleine, aber mächtige Partei, 1885.

² О бюргерах, владевших рыцарскими поместьями, см. т. IV.

³ «Прусские клубы» (нем.). — Прим. ред.

дена, что, подчинив себе центральное правительство, она будет иметь и выборы, какие ей были нужны. Но всем этим она лишь создавала почву для торжества принципов абсолютизма, хотя бы и под покровом конституционной легальности, и благоприятствовала стремлениям феодальной партии. Последняя ранее всего отделилась от союза с буржуазией, недовольная законами, которые задевали ее сословные интересы. Несколько дольше держался союз буржуазии с бюрократией, благодаря которому и были возможны либеральные реформы, раздражившие юнкерство, но мало-помалу чиновничество было возвращено центральным правительством к прежнему безусловному повиновению. Мало того, вследствие сочувствия двора притязаниям феодальной партии бюрократия, которую прусские либералы вооружили разными полномочиями, очутилась в конце концов не на стороне буржуазии, и последняя, оставшись одна, оказалась совершенно бессильной сопротивляться абсолютистической и феодальной реакции.

При таком составе представительства было весьма естественно то реакционное законодательство, которое характеризует действие прусских палат в пятидесятых годах. Между прочим, в 1851 г. был нанесен удар независимости судей путем разрешения переводить их без их желания с одного места на другое или даже прямо отстранять от должности. В том же году был издан закон о печати, который подчинял ее полицейскому надзору, довольно близкому к цензуре. В 1852 г. была усилена дисциплинарная власть начальников над подчиненными. В 1852 г. преступления по делам печати были изъяты из компетенции суда присяжных. В 1856 г. была восстановлена вотчинная полиция. Эта реакция отразилась и вообще на всем законодательстве о крестьянах¹. Многие реакционные меры, впрочем, не удалось осуществить. К их числу нужно отнести попытку восстановления цеховой организации, отмененной в Пруссии еще в начале XIX в.

В эту эпоху прусское правительство было вооружено и строгим законом об осадном положении, который давал военным властям и военным судам самые широкие полномочия. Пользуясь правом толкования законов, министры всеми мерами поддерживали реакцию. Правительство, кроме того, пускало в ход разные безнравственные способы воздействия на бюрократию и на общество, подкупая или застрашивая должностных лиц, поощряя доносы и шпионство, подвергая либералов преследованиям и, наоборот, добиваясь помилования для благонамеренных людей, приговаривавшихся к наказаниям за клевету и т. п. Партия «Крестовой газеты» даже подвергла самого наследника престола надзору некоего Линденберга. Полиция иногда прямо сочиняла разные поводы для процессов с политическим характером. О знаменитом процессе коммунистов в Кёльне мы

¹ Об этом см. ниже, в главе (XXX) о крестьянских реформах.

будем еще говорить в другой связи. Крайняя реакционная партия стремилась к тому, чтобы даже умеренных выставить врагами существующего порядка. Когда в мае 1850 г. один душевнобольной отставной унтер-офицер выстрелил в короля и легко ранил его в руку, реакционеры стали доказывать, что это покушение было результатом развращающего влияния либеральной прессы, хотя на следствии было обнаружено, что у преступника не было ни политического мотива, ни сообщников¹.

Настоящим выразителем идей прусской реакции пятидесятих годов и духовным вождем феодальной партии сделался Фридрих-Юлий Шталь (1802—1861 гг.), достойный преемник Галлера и Мюллера. Еврей по происхождению, Шталь, будучи еще молодым человеком, перешел в христианство и, посвятив себя научным занятиям, предан был изучению философии. Мало-помалу он отделался от гегельянства, к которому примкнул в начале своих занятий, и даже стал в самое враждебное отношение к этой философии как к истине чисто рационалистической. Сначала он профессорствовал в Баварии, но в начале сороковых годов был вызван в Берлинский университет, где и сделался одним из главных столпов консерватизма. В 1830 и 1836—1837 гг. он издал «Историю философии права» и «Философию права с исторической точки зрения», в которых подверг критике рационализм, как антирелигиозную основу всякой революции. После Мартовской революции он стал сотрудничать в «Крестовой газете», которая впоследствии перешла в его руки как главного редактора. Его влияние на феодальную партию было весьма значительно; попав в палату господ в качестве пожизненного члена, он сделался настоящим руководителем общественной реакции. В своем сочинении о современных партиях («Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche»), вышедшем в свет уже после его смерти, он сам говорит, что до 1848 г. «со своими воззрениями на необходимость сословно-конституционной монархии для Пруссии» он «стоял довольно изолированно», так как в то время «большинство противников либеральной системы принадлежало либо к абсолютистам, либо к феодалам», но что после 1848 г. его «воззрение в существенных чертах перешло в программу правой прусского парламента». Отличаясь большой проницательностью, Шталь увидел, что старый прусский абсолютизм вовсе не был уничтожен представительной системой, а только ею прикрыт и отдан в услужение либерализму. Вся задача реакционной политики с этой точки зрения заключалась лишь в том, чтобы заставить абсолютизм служить консервативным силам и чтобы, опираясь на конституцию, вести борьбу против самого конституционализма. Шталь не так страшился отдельные лица или партии, как сам дух новых учреждений. В названном сочинении

¹ Литература по истории преследований: *Ladendorff*. Sechs Jahre Gefangenschaft, 1882; *Poschinger*. Lothar Buchers Leben, 1890—1891; *Marx K.* Enthüllungen über den Kommunistenprocess zu Köln и др.

о партиях он сам говорил, что основа всей церковной, политической и социальной борьбы заключается в вопросе, кто должен определять нравственный порядок на земле — божественная или человеческая воля. Со времени Французской революции политически мир распался на два враждебных стана: это — сторонники легитимности и сторонники революции. Революция как всемирно-историческое понятие не есть синоним бунта, а есть целая система. Восстания, низвержения царствующих домов, превращения монархий в республики и т. д. еще не составляют сами по себе революций, и наоборот, революции могут совершаться мирными путями и даже при содействии самих государей. Революция заключается в извращении нормального отношения между властью и подданными: когда власть и закон вместо того, чтобы стоять над людьми, постоянно и притом принципиально становятся под начало людей, тогда и происходит революция. Впервые революционный принцип был провозглашен в 1789 г., и отсюда ведут начало все революционные партии, дочери общей матери, как бы они ни ссорились между собой, — все эти либералы, демократы, социалисты и коммунисты. Этим революционным партиям Шталь противопоставлял, как нечто образующее одно органическое целое, невзирая на частные несогласия, разные партии, защищающие принцип легитимности. Все они признают именно некоторое начало, которое стоит выше воли людей и целей правителей, как нечто безусловно обязательное и для подданных, и для государей. Такими партиями он считает английских тори и французских легитимистов, а в Германии последователей Галлера. Вообще «ходячему понятию о свободе» Шталь противопоставлял идею «нравственного порядка» общественной жизни, корнящегося в божественной воле. С этой точки зрения в своих историко-философских сочинениях он опровергал систему естественного права во всех ее школах и направлениях как порождение зловредного рационализма, провозгласившего, что все государственные учреждения держатся волей людей и имеют единственной своей целью охрану их свободы. Эта философия породила и ложную теорию народовластия. Однако из того, что индивидуальная свобода не может терпеть над собой никакой неограниченной власти, хотя бы то была власть целого народа, и что, с другой стороны, народовластие не желает считаться с ограничениями, налагаемыми на него свободой отдельной личности, и возникает борьба между либерализмом, как защитой индивидуальной свободы, и демократизмом, как проповедью народовластия. Либерализм сделался знаменем буржуазии, но либеральная партия, стремясь дать преобладание средним классам, становится в противоречие со своим собственным революционным принципом, поступая так если не на самом деле, то по крайней мере, по всей видимости, в силу чисто своекорыстных соображений. Убедившись в том, что всеобщее избирательное право, вытекающее из разложения сословий и корпораций на ничем между собой не

связанные личности, ведет лишь к торжеству радикализма, либералы, не осмеливаясь вернуться к сословности как началу реакционному, обратились к принципу имущественного ценза. С другой стороны, чувствуя необходимость защиты против низших слоев общества, либералы начали даже усиливать королевскую prerogative, в то же время, однако, обставляя ее такими условиями, при которых правительство может воспользоваться своими правами исключительно в интересах партии, господствующей в парламенте. Будучи довольна конституцией, составленной ею же самой, либеральная партия готова видеть измену в каждой попытке переделать эту конституцию, так сказать, обоготворяя тем самым лист бумаги, на котором написана воля людей. Критика либеральной политической теории приводит Шталь к той мысли, что в науке должен быть произведен полный поворот (*die Wissenschaft muss umkehren*). Этой теории он противопоставляет идею ненарушимости существующего порядка, как основанного на установленной Богом закономерности, ненарушимости его одинаково и со стороны народов, и со стороны государей. Всякие насильственные перевороты запрещаются Святым Писанием, которое, однако, не говорит, что их никогда не будет. Иногда перевороты совершаются, так сказать, стихийно. В таких случаях сама природа общежития мстит за попрание своих законов, и здесь нет места для человеческого суда: орудия переворота дадут отчет в своих действиях только Богу. Но и новый порядок должен пользоваться божественной санкцией, раз он попушением Божиим существует. Вводить революционные конституции, конечно, грех, но жить под ними не составляет никакого греха. И государи не имеют права нарушать конституции революционного происхождения, тем более что сама христианская религия относится совершенно безразлично к тем или другим формам правления. Лишь в редких случаях, когда государству грозит внешняя опасность или внутренняя анархия, монарх, по Шталю, имеет право устранить известную конституцию, но отнюдь не на основании принципа, будто присяга, данная конституции революционного происхождения, ни к чему не обязывает. Проповедуя обязательность и даже полную разумность и нравственность всякого существующего порядка вообще, пока этот порядок самим фактом своего существования доказывает свою истинность и справедливость, Шталь на самом деле явился защитником только одного весьма определенного порядка, а именно прусской сословно-бюрократической системы. Его политический идеал, который он готов был выдавать за первообраз человеческих общежитий, — сословно-представительная монархия. В защиту этого своего принципа он пускает в ход всевозможные философские и исторические соображения. Особенно все легитимное и исторически сложившееся пользовалось его сочувствием, как существующее в силу божественного соизволения. Высоко ставя монархическое начало, Шталь доказывал справедливость и привилегиро-

ванного положения феодального дворянства. Целым рядом рассуждений о народе, его разделении на классы и представительстве его интересов он приходит к тому выводу, что в представительстве пролетариат должен быть устранен буржуазией, а буржуазия — родовым дворянством. Исходя из идеи ненарушимости существующих прав, он даже допускал консервативное сопротивление легитимному правительству в тех случаях, когда оно либеральными реформами нарушает существующий порядок и органическое развитие общегития. Но эта оппозиция для осуществления своих целей, по словам Штала, вовсе и не нуждается в насильственных средствах, так как имеет для этого мирные пути в той «формальной легальности», которая создается революционными конституциями. Шталь давал и практические советы, как это делать, изменяя смысл конституции путем искусной интерпретации отдельных ее статей или законодательного их изменения. В конституции, кроме того, были обещания относительно будущих законов, которых не успели вовремя выработать. Таков был, например, закон о министерской ответственности; либералы были удовлетворены обещанием, что закон будет выработан, и само правительство считало себя связанным подобными обещаниями. Шталь и тут явился с учением, оправдывавшим неисполнение данных обещаний: пока они еще не сделались законами, они не могут связывать кого-либо в его деятельности, но они необязательны и для законодателя, потому что, будучи верховной властью в государстве, он не может быть связан какой-нибудь высшей властью и считаться простым исполнителем ее поручений.

Австрийская реакция была еще решительнее прусской. Здесь рядом с подавлением всех политических и социальных стремлений 1848 г. было соединено подавление и национальных стремлений, грозивших строгому единству монархии. Уже октроированная 4 марта 1849 г. конституция, составленная в духе умеренного либерализма, совершенно умалчивала об исторических правах отдельных провинций и о равноправности национальностей, а потом и сама эта конституция была отменена, как последняя уступка, сделанная революции. Централистическая политика правительства и бюрократии в пятидесятых годах отличалась крайним германизаторством. В этом отношении испытали на себе беспощадную систему онемечения не только мадьяры, по отношению к которым это могло быть наказанием за их мятежный дух, но и славяне, напротив, помогавшие правительству одолеть, между прочим, и восставших против него немцев. У мадьяр были отняты самые остатки их былой автономии. В землях короны святого Стефана немецкий язык сделался языком администрации, судов и школы; онемечивались одинаково с мадьярами и славяне. Если от Венгрии и были теперь совершенно отделены некоторые славянские земли (Хорватия, Славония и т. д.), то это не помешало и здесь ввести систему германизации. В Чехии и Галиции делалось то же самое. Добиваясь прежде

всего возвращения прежнего господства в Германии, австрийское правительство старалось расположить в свою пользу немцев, усиленно преследуя малейшие проявления «панславизма». На чешском языке в Праге не было дозволено издавать газеты. Гавличек, который был привлечен к суду за оскорбление правительства в своих сатирических сочинениях, но был оправдан, тем не менее подвергся административной ссылке.

Особенную черту реакции пятидесятих годов в немецких государствах, именно восстановление дворянских привилегий и помещичьих прав, мы рассмотрим особо, в главе о крестьянских реформах.

Реакции подверглась и Италия. В Ломбардо-Венецианском королевстве был восстановлен старый австрийский режим. Реставрация прежних порядков была поддержана Австрией в Тоскане, Парме и Модене, а также в части Церковной области. Пий IX, опираясь на сочувствие Австрии, отверг преобразования, сделать которые ему предложило французское правительство, и возвратился к порядкам, господствовавшим при его предшественнике, Григории XVI. Но нигде реакция не доходила до таких крайних проявлений, как в Неаполе и на Сицилии. Фердинанд II после подавления революции дал полную волю своему жестокому и мстительному нраву. Начались казни, аресты, конфискации имуществ. Число осужденных за политические преступления определяли цифрой 22 000. Когда путешествовавший по Италии английский государственный деятель Гладстон ознакомился со всеми подробностями неаполитанской реакции, то, возмущенный ими до глубины души, протестовал против такого режима в письмах к министру лорду Абердину. Обнародование описания жестокостей неаполитанского правительства произвело сильное впечатление на общественное мнение Европы. Под влиянием этих разоблачений английское и французское правительства сделали даже Фердинанду II представление о необходимости ради спокойствия Европы ввести в Неаполе конституцию и другие реформы и положить конец жестокостям над политическими преступниками. Фердинанд II отверг это представление, и тогда оба правительства отозвали из Неаполя своих представителей (1856 г.). Во всем королевстве было такое сильное неудовольствие против Фердинанда II, что стали составляться вооруженные банды и вспыхивать бунты. Это обстоятельство, равно как покушение на жизнь Фердинанда II, сделанное одним солдатом на смотре, еще более усилило злобное настроение «короля Бомбы». Он даже стал бояться жить в Неаполе и переселился в соседнюю Камерту, доступ в которую был крайне затруднен. Своей реакционной политики Фердинанд II держался до самой своей смерти в 1859 г.: уже на смертном одре он приказал очистить часть тюрем высылкой заключенных в Америку для того, чтобы приготовить места для новых узников.

При таком общем настроении правительств и правящих общественных классов политическая жизнь должна была везде заглухнуть. Представитель-

ные учреждения в большей части государств состояли из людей, послушно подчинявшихся правительственным указаниям. Политическая печать была стеснена до крайности, и политические общества или собрания сделались невозможными. К людям, которые в 1848—1849 гг. проявили особенную ревность к новым стремлениям, вообще относились с подозрением, и большинство из них было поставлено в самые неблагоприятные условия жизни. Менее скомпрометированные были стесняемы в своей деятельности, других подвергали разным взысканиям и наказаниям от тюремного заключения до смертной казни. Спасшиеся бегством вожди движения жили в изгнании, ища убежища в Англии, Бельгии или Швейцарии, но в двух последних странах далеко не все изгнанники пользовались правом убежища. Некоторые уезжали даже в Америку. Революционная эмиграция по своему национальному составу была весьма разнообразная: в ней были и французы (например, Луи Блан, Ледрю-Роллен, Виктор-Гюго и т. п.), и немцы (Карл Маркс и др.), и итальянцы (Мадзини, Гарибальди), и мадьяры (Кошут), и поляки (Мерославский и др.). К этой международной эмиграции примкнули и некоторые русские, пережившие на Западе революционную бурю 1848—1849 гг. (Герцен, в шестидесятых годах Бакунин). О настроении, господствовавшем в эмиграции, лучше всего можно судить по тому, что рассказывает о ней Герцен в своих воспоминаниях. В конце пятидесятых годов некоторые правительства объявили амнистию с разрешением изгнанникам вернуться на родину под условием признания существующих властей. Наиболее непримиримые не захотели, однако, воспользоваться таким разрешением. Пятидесятые годы вообще были крайне неблагоприятны для каких бы то ни было политических предприятий, и вообще эмиграция была обречена на вынужденное бездействие.

Политическая и социальная (буржуазная или феодальная) реакция пятидесятых годов приняла еще повсеместно резкую клерикальную окраску, одинаково и в католических, и в протестантских странах. Конечно, резче всего реакционное направление проявилось в католицизме. Под влиянием общественных движений двадцатых, тридцатых и сороковых годов в самом католицизме проявились свои либеральные¹, демократические и даже социалистические течения. С другой стороны, революция 1848 г. приняла принципы свободы совести и невмешательства духовной власти в светские дела, даже принцип свободы церкви от государственной опеки. После подавления революции католицизм выступает исключительно в качестве силы реакционной, и как правительства, так и правящие классы обращаются к церкви как к главной опоре консервативных интересов. В этом отношении повторяется то, что было после 1814 г.

Католицизм в пятидесятых годах объявил настоящую войну всему духу новейшего времени и держался этого направления самым упорным обра-

¹ *Leroy-Beaulieu*. Les catholiques libéraux de 1830 à nos jours, 1885.

зом до смерти Пия IX. Этот папа, возбуждавший либеральные надежды в годы, непосредственно предшествовавшие революции, сделался после 1848 г. отчаянным реакционером. Восстановив свою светскую власть в Риме, он занялся и восстановлением духовного владычества церкви над светским обществом. Хотя все его начинания находились в полном противоречии со всем историческим движением XIX в., тем не менее на первых порах, — именно когда особенно была сильна реакция, вызванная революцией, — реставрация католицизма, задуманная папой, находила для себя благоприятную почву в настроении правительств и правящих классов.

В конце декабря 1849 г. Пий IX обратился к епископам Италии с энцикликой «*Nostris et nobiscum*»¹, в которой повторялись средневековые определения папской власти и сама эта власть представлялась как спасительница от всяких революций. Энциклика указывала на то, что ослабление авторитета епископов и усиливающееся пренебрежение к постановлениям церкви повлекли за собой и уменьшение повиновения подданных светской власти и тем дали возможность врагам Бога и человечества легче бунтовать народы. Социализм и коммунизм подверглись специальному осуждению папы, который объявил их порождением секуляризации и распродажи церковных имуществ, ослабивших в людях уважение к собственности. Этой энцикликой Пий IX только открывал целый ряд новых заявлений, имевших своей целью вернуть папству и церкви былую власть над миром. В 1850 г. для распространения своих взглядов он основал особый орган «*Civiltà cattolica*». Затем Пий IX задумал показать миру, что за ним все-таки еще остается высшая власть в церкви и что установление новых догматов еще не кончилось. В числе религиозных мнений, принимать или не принимать которые церковь предоставляла верующим свободу, было учение о непорочном зачатии Богородицы; например, еще в Средние века доминиканцы его не принимали, а францисканцы, наоборот, признавали. Пий IX задумал утвердить это учение как догмат, в который обязаны верить все чада римской церкви. Обратившись по этому вопросу к епископам и получив от них большей частью утвердительные ответы, он личной своей властью торжественно провозгласил новый догмат (1854 г.). Сделав главной задачей папства борьбу с заблуждениями века, Пий IX созвал даже особую конгрегацию, которая должна была выработать общее учение о положении церкви в наше время и составить подробный перечень всех заблуждений, господствующих в обществе. Ровно через десять лет после провозглашения нового догмата, когда светской власти папы опять грозила революция, заставившая Пия IX выпустить новые послания в защиту прав папства, появились знаменитые энциклики «*Quanta cura*»² и «Список

¹ «О церкви в Папской области» (лат.). — Прим. ред.

² «Осуждение текущих ошибок» (лат.). — Прим. ред.

(Syllabus) современных заблуждений» (1864 г.). Названная энциклика стремилась вернуть общество к средневековому мирозерцанию, к тем временам, когда протестантизм, янсенизм, вольтерьянство и социализм еще не потрясли веры и в жизни общества не было и следа еретических начал. Основным заблуждением «нашего печальнейшего времени» Пий IX считает натурализм, как он называет стремление основывать общественные порядки на естественных началах, а не на религии¹. Из этого заблуждения вытекает другое, заключающееся в том, что общество должно предоставлять гражданам по своему произволу исповедовать ту или другую веру и беспрепятственно и открыто высказывать свои мнения. Изгнание религии из гражданского общества влечет за собой утрату людьми всякого представления о справедливости и ставит на место высшего закона волю народа, которая дает силу права самым вопиющим нарушениям справедливости. Враги Бога и человечества устраняют религию и из семьи, узаконивая гражданский брак, и из воспитания юношества, устанавливая светское преподавание. Касаясь вопроса об отношении церкви и государства, энциклика осуждает учение, подчиняющее духовную власть светской или ставящее религиозные распоряжения первой под контроль второй. Все заблуждения «Syllabus» перечисляет в восьмидесяти положениях, классифицируя их на десять рубрик. В сущности, это — перечень всех приобретений, сделанных человеческой личностью, светским обществом и государством в главнейшие культурные эпохи Нового времени; к врагам церкви в этом перечне причисляются даже последователи галликаннизма и либеральные католики, стоящие на точке зрения простой веротерпимости. Энциклика и «Силлабус» были настоящим вызовом со стороны реакционного католицизма всей современной цивилизации. В числе осужденных «Силлабусом» положений было прямо сформулировано и такое: «папа может и должен примириться и вступить в миролюбивое соглашение с прогрессом, либерализмом и современной цивилизацией». Крайние реакционеры были в восторге от этих документов и старались истолковать их во всей строгости основных принципов средневекового католицизма. Одним из наиболее авторитетных комментаторов энциклики и «Силлабуса» был австрийский иезуит Шрадер, который сам участвовал в конгрегации, вырабатывавшей «Силлабус», и потом (1865 г.) издал целую книгу «Der Papst und die modernen Ideen»². Вообще иезуиты сильно поддерживали Пия IX и, пользуясь сами благосклонностью с его стороны, оказывали на него большое влияние. Либеральные католики, наоборот, были очень недовольны таким шагом папы и в своих толкованиях на энциклику и «Силлабус» старались смягчить их значение, доказывая, что папа имел целью только осудить революцию и злоупотребления свободой, отнюдь не все

¹ Ср. с учением Штала, изложенным выше.

² «Папа и современные идеи» (нем.). — Прим. ред.

современное общество, хотя бы оно и не соответствовало его идеалу. Но Пий IX не остановился и на этом объявлении войны всей современной цивилизации, задумав ввести еще один новый догмат — о непогрешимости папы¹.

Энциклика и «Силлабус» относятся уже к тому времени, когда общая реакция значительно ослабела, и их содержание только раздражило против папы отдельные правительства, сделавшие даже попытку помешать обнародованию этих документов. Пятидесятые годы были бы временем более благоприятным для появления энциклики и «Силлабуса». Общественная реакция после 1848 г. получила характер восстановления правоверной религиозности в том самом обществе, которое раньше относилось к церкви индифферентно или даже неприязненно. Особенно замечателен этот поворот к религиозности во французской буржуазии с ее старыми вольтерьянскими традициями, хотя подобный факт уже ранее встречается в истории Франции, именно в эпоху заключения Наполеоном I конкордата с папой. Настоящий характер этого возвращения на путь истины уже тогда был отмечен словами одного защитника конкордата, назвавшего духовенство «священной жандармерией». В сущности, то же самое было и после 1848 г.: недаром знаменитый французский клерикал Вейльо в своей газете «L'Univers»² говорил, что Тьеру желательно было бы, вследствие очевидной непригодности настоящих жандармов, искать опоры для своей партии сытых и довольных революционеров — у жандармов в рясе. На самом деле так и было. Понятно, что если во Франции стало господствовать в правящих классах такое настроение, еще больше должно оно было проявиться в таких странах, как Австрия. Внешняя религиозность сделалась даже своего рода признаком принадлежности к обществу «порядочных людей». Церковь всячески поощряла такое направление, наоборот, преследуя разные проявления религиозности, которые сколько-нибудь были заражены духом либерализма. Рядом с церковными обществами, возникшими в предыдущий период, стали образовываться теперь новые общества, ставившие своей целью внушать простому народу большее уважение к церкви (Piusverein в Германии) или распространять католицизм в протестантских землях (Bonifaciusverein) и т. п. Как это бывало и раньше, католическая реакция прямо поставила своей задачей наступательную борьбу против протестантизма. Пользуясь духом времени, католическому духовенству удалось даже добиться очень важных уступок от протестантских государей. Нечего говорить, что в католических странах папе и епископам добиться уступок со стороны светской власти было уже и совсем легко.

Одну из самых блистательных побед своих одержала католическая церковь в Австрии. Несмотря на общий реакционный характер своей внут-

¹ См. ниже, в главе (XXVII) об объединении Италии.

² «Мир» (фр.). — Прим. ред.

ренней политики с самого начала XIX в., австрийское правительство сохранило в церковных порядках монархии многие следы «иосифинизма», т. е. реформ Иосифа II в духе просвещенного абсолютизма. После революции 1848 г. оно решилось отменить многие из этих церковных порядков в пользу папства и духовенства как лучших союзников в борьбе с революцией. Уже в 1849 г. австрийские епископы, собравшись в Вене, объявили, что национальные стремления имеют языческий характер, так как различие языков есть следствие греха и падения человека. Это вполне гармонировало с централистическими намерениями правительства. В 1855 г. после долгих переговоров Австрия заключила со Святым престолом конкордат, которым устранялись из взаимных отношений церкви и государства последние признаки «иосифинизма». Австрийское правительство согласилось признать, что церковь получает свои права не вследствие уступок со стороны светской власти, а в силу своего божественного происхождения и на основании канонического права. Поэтому отныне папа имел право обнародования в Австрии всех своих распоряжений без какого бы то ни было правительственного контроля. Если духовные лица и были объявлены подсудными светским уголовным судам, то лишь с оговоркой, что папа в данном случае делает уступку только в виду обстоятельств времени. Преподавание как в казенных, так и в частных учебных заведениях было поставлено под надзор епископов. Государство обязывалось не допускать распространения сочинений, запрещенных епископами. Вместе с этим правительство должно было приводить в исполнение приговоры епископов над непослушными духовными лицами, например, подвергать их тюремному заключению и т. п. Для надзора за исполнением конкордата в Вене был даже учрежден особый духовный совет, в котором председательство было отдано папскому нунцию, а епископы могли сноситься с Римом непосредственно. Таким образом, под влиянием реакции пятидесятых годов Австрия отказалась от всего церковного законодательства восьмидесятых годов прошлого века, т. е. попятилась назад на целые три четверти столетия. В подобном же духе папство стремилось заключать конкордаты и с другими государствами. Испанский конкордат 1851 г. формально воспрещал в стране всякую иную религию, кроме католической, и отдавал в руки духовенства народное образование и надзор за изданием, ввозом и обращением вредных книг. Непроданные имущества духовенства должны были остаться неприкосновенными. Папа согласился только на упразднение духовных судов.

Римская курия хлопотала даже о том, чтобы создать привилегированное положение для католической церкви в протестантских странах, в которых у нее существовала своя паства. В 1851 г. папа самовластно сделал архиепископом майнцским Кеттлера, который прямо стал грозить, что в случае сопротивления его требованиям он будет освобождать жителей от

присяги, принесенной ими государю. В существеннейших статьях своих австрийский конкордат был введен в Вюртемберге несмотря на то, что большинство населения королевства — протестантское. Гессен-Дармштадтское правительство заключило подобный же договор с архиепископом Майнцским. В Бадене между католической церковью и правительством произошла борьба, окончившаяся победой церкви. Здесь в 1852 г. умер великий герцог, и правительство потребовало, чтобы католическое духовенство отравило по нему заупокойную службу, как это делалось и прежде, но архиепископ Фрейбургский запретил подведомственным ему священникам служить при этом мессу и подверг наказанию священников, исполнивших требование правительства. С обеих сторон по этому поводу началась ожесточенная борьба, доставившая, однако, так много хлопот светской власти, что она вступила в переговоры с папством и вынуждена была отменить все свои распоряжения, принятые в эпоху конфликта. Даже прусское правительство, отстаивавшее в предыдущем периоде светское законодательство от притязаний католического духовенства, сделало теперь большие уступки епископам, значительно расширив их власть над низшим духовенством и духовными семинариями. Пию IX удалось выхлопотать себе право учреждать епархии и приходы даже в Англии и Нидерландах (1850 и 1853 гг.).

Во Франции, где продолжал действовать наполеоновский конкордат, ограждавший права государства, правительственная реакция тоже весьма благоприятствовала католицизму. Всеобщая подача голосов при невежестве сельского населения была очень выгодна для клерикалов. Еще до переворота 2 декабря духовенство успело добиться важных для себя уступок в деле народного образования. В значительной мере обязанный своим избранием в президенты содействию духовенства, Людовик-Наполеон, сделавшийся императором, продолжал поддерживать это сословие, которое, со своей стороны, постоянно убеждало свою паству голосовать во время выборов за правительственных кандидатов. Императрица Евгения была известна своей особой приверженностью к церкви, и благодаря ее влиянию клерикальная партия могла добиваться очень многого от тогдашнего французского правительства. За свою преданность интересам церкви Евгения получила от папы освященную золотую розу, а главный вождь французских ультрамонтанов, Вейльо, в своей газете «L'Univers» выступил рьяным сторонником императора. Иезуитское влияние настолько возросло при тюильрийском дворе, что стало даже вызывать оппозицию со стороны многих клерикалов, не доходивших в своем усердии до проповеди абсолютизма церковной иерархии.

Из всех католических стран только одна Сардиния сильно отстаивала себя от притязаний клерикальной реакции. Она держалась принципа «свободной церкви в свободном государстве», бывшего лозунгом либерального католицизма.

Реакция с клерикальным характером задела и протестантские страны. Еще до революции 1848 г. среди протестантских теологов возникло направление, крайне враждебное новым философским и научным направлениям в богословии. Немецкие правительства уже тогда благоприятствовали этому ортодоксальному направлению и стремились реформировать в духе строгого правоверия теологические факультеты во всей Германии. В сущности, однако, это ретроградное движение в протестантизме было лишь отголоском того, что делалось в католицизме. Крайние представители ортодоксального духовенства даже готовы были в силу чисто клерикального принципа становиться на сторону католической иерархии, когда происходили столкновения между последней и государственной властью, и тем давали повод католикам говорить, что, лишь благодаря союзу с папством, протестантское духовенство не растеряло всей своей паствы. После 1848 г. протестантское духовенство уже прямо начало подражать католическому клиру своим вмешательством в светские дела. Придворные пасторы стали играть при протестантских государях ту же роль внушителей реакционной политики, какая давно упрочилась за католическими придворными духовниками. И протестантское духовенство принялось тоже защищать свободу церкви, понимая эту свободу в католическом смысле порабощения государства. С другой стороны, в Пруссии еще Фридрих-Вильгельм III сделал попытку учреждения государственной «евангелической» церкви путем слияния в одно исповедание кальвинизма и лютеранства (1817 г.), но это намерение встретило оппозицию со стороны строгих лютеран, которые за это стали подвергаться преследованиям. Романтически настроенный Фридрих-Вильгельм IV задумал потом «англиканизировать» эту официальную церковь. Для завершения дела унии протестантских церквей, против которой восставали не одни строгие лютеране, не желавшие поступиться ничем из своих учений и порядков, но и более либеральные протестанты, защищавшие большую свободу религиозной жизни, в сороковых годах созывались синоды, которые, однако, ни к чему не привели. Собравшаяся в Берлине в 1848 г. высшая консистория в 1850 г. превратилась в высший церковный совет (Oberkirchenrath), который и стал от имени короля и по соглашению с министром духовных дел управлять прусской церковью, несмотря на то, что государственный закон обеспечивал за всеми исповеданиями право самостоятельно вести свои внутренние дела. Далее, в этом церковном совете образовались по королевскому декрету 1852 г. лютеранская и реформатская фракции, которые продолжали между собой борьбу, хотя во всех случаях, где нужно было поддерживать влияние и власть духовенства, все члены совета действовали солидарно. Самые ярые клерикалы были, впрочем, лютеранами. В 1859 г. вождь феодальной партии Шталь выпустил в свет сочинение «О лютеранской церкви и унии», где в согласии с общими принципами своей теории доказывал,

что лютеранская церковь основана, подобно католической, на иерархическом принципе, тогда как реформатское вероисповедание отличается демократизмом и духом неповиновения властям предрешающим. Министры духовных дел были тоже сторонниками ортодоксальной нетерпимости. Вообще при назначении на разные должности, — не только на пасторские и преподавательские места, но и на места административные и судебные, — прежде всего обращалось внимание на религиозные воззрения аспирантов. Пасторы, сколько-нибудь повинные в «либерализме», подвергались взысканиям или увольнению. Рядом с фанатизмом развивались лицемерие и ханжество, существование которых было потом официально засвидетельствовано самим правительством. Если своей церковной политикой Фридрих-Вильгельм IV стремился сделать из прусской евангелической церкви нечто такое, что могло бы напоминать собой русское православие или французский католицизм и в смысле строгого единства, и в смысле полного соответствия с целями государственной власти, то более мелкие протестантские государи, за весьма немногими исключениями (Саксен-Веймар, Кобург-Гота, Ольденбург), в свою очередь, брали пример с Пруссии и тоже стремились подкрепить политическую реакцию реакцией церковной. Понятно, что эта церковная реакция в протестантских странах не могла не отразиться и на школьном деле. Прусский школьный закон 1854 г. придал всем низшим училищам чисто вероисповедный характер, разбив в ущерб другим предметам религиозное обучение и подчинив учителей надзору духовенства.

Острый период этой общей реакции кончается в 1859 г. Несколько крупных фактов отмечает наступление совершенно иных времен. В конце 1858 г. Пруссия получает нового правителя в лице принца-регента, который заступил место душевнобольного Фридриха-Вильгельма IV. Для Пруссии и для всей Германии это было наступлением «новой эры» (*die neue Aera*). В том же 1858 г. Франция и Сардиния заключили между собой союз против Австрии, результатом которого была итальянская война 1859 г. и последовавшее затем начало объединения Италии. Австрийское правительство, потерпевшее поражение в этой войне, пришло, наконец, к мысли о необходимости внутренних реформ, и в монархии Габсбургов тоже начинается своя новая эра. Сам Наполеон III вынужден был несколько изменить свою внутреннюю политику. До 1859 г. французский император действовал в самом полном согласии с духовенством, но вступление его в союз с Сардинией, находившейся в оппозиции церкви, и образование Итальянского королевства, в состав которого вошла часть папских владений, нарушили прежние хорошие отношения между Наполеоном III и католиками, и ему пришлось волей-неволей искать поддержки в либералах. Свое отступление от прежней политики он начал с общей амнистии, дозволившей всем политическим изгнанникам и ссыльным возвратиться на

родину, а затем стал делать и некоторые другие уступки либерализму. Таким образом, повсеместно для либерализма наступили лучшие времена, и прерванное историческое движение возобновляется. Конституционные стремления, игравшие такую роль в 1848 г., получают известное удовлетворение. Одновременно удовлетворяются и национальные стремления: происходит сначала объединение Италии, потом освобождение Венгрии, наконец, и объединение Германии, т. е. исполняются задачи, поставленные 1848 г., хотя и не в том виде и не такими способами, как это было задумано в 1848 г. Новая революция шла теперь не снизу, а сверху, т. е. была делом правительства, а не народов. Правда, решая политические и национальные задачи, поставленные народными движениями 1848 г., правительства должны были искать опоры в общественных силах и отказываться от прежней реакционной политики, но отказ этот далеко не был полным, да и опоры искали они не в демократии, а в средних классах, представлявшихся умеренно-либеральными партиями. Но возрождение после 1859 г. политической жизни на западе Европы привело в движение и демократические партии, побитые в 1848—1849 гг. За возрождением политического и национального движения последовало и возрождение движения социального. Шестидесятые годы были временем возникновения социалистического «Международного общества рабочих» и организации германской социально-демократической партии, снова выдвинувших на сцену социальный вопрос. Впрочем, и в политическом, и в национальном, и в социальном движении шестидесятых годов мы не обнаруживаем никаких новых идейных начал сравнительно с 1848 г. Эти годы были временем практического осуществления общественных формул, выработанных раньше, а не творчества новых начал, и притом во многих отношениях выполнение не соответствовало первоначальному замыслу. Десятилетие реакции оставило еще весьма многое в наследие следующему периоду в жизни Западной Европы.

XXVI. Господство Наполеона III в Европе и во Франции¹

Международные отношения в эпоху второй империи. — Восточная война. — Торжество Наполеона III. — Общий характер его внешней политики. — Наполеон III и Италия. — Наполеон III и немецкие дела. — Внеевропейские предприятия Наполеона III. — Влияние его внешней политики на внутренние дела Франции. — Внешний блеск царствования Наполеона III. — Экономическая политика второй империи. — Правительственный гнет. — Положение печати. — Законодательный корпус. — Ссора с духовенством. — Изменения конституции в шестидесятих годах. — Возникновение оппозиции. — Последние годы империи. — Конец Наполеона III

Эпоха второй французской империи — особенно во второй половине пятидесятых и в первой половине шестидесятых годов, была временем политического преобладания Франции в Европе. Россия, игравшая первенствующую роль при Николае I, после своего поражения в Восточной войне 1853—1856 гг. занялась в новое царствование внутренними реформами и стала держаться политики вполне миролюбивой. Австрия, обессиленная событиями 1848—1849 гг. и окончательно приведенная в расстройство реакцией пятидесятых годов, тоже не могла выступать с самостоятельной активной политикой. Вынужденная, однако, обороняться от нападений со стороны Сардинии и Пруссии, своих соперниц в Италии и Германии, она вела в этот период войны, крайне для себя неудачные. Но и Сардиния, и Пруссия могли перейти в наступление не сразу: оба эти государства, пы-

¹ Литература по истории второй империи весьма обширна. Кроме вышедших еще в шестидесятых годах сочинениях Girard'a (1861), Mullois (1864), Morel'я (1869) и др., см.: *Taxile-Delord. Histoire du second Empire*, 1870; *De la Gorce. Histoire du second Empire*, 1894 и след.; *Bulle. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und Koenigreiches Italien*, 1890 (в «Allgemeine Weltgeschichte» Онкена); *Treitschke. Frankreichs Staatsleben und der Bonapartismus* (в «Собрании исторических и политических статей»); *Sybel. Napoleon III*, 1873; *Gottschal. Napoleon III*, 1884; *Jerrold. Life of Napoleon III*, 1874—1882; *Hamel. Histoire illustrée du second Empire*, 1873; *Giraudeau. Napoléon III intime*, 1895. По истории внешней политики в эту эпоху, кроме общих сочинений о XIX веке (Ч. 2. Т. XV «Всеобщей истории» Г. Вебера, т. III «Истории Европы XIX века» Файфа, «Истории нашего времени» Торсое, «Политической истории современной Европы» Сеньюбоса, «Histoire diplomatique de l'Europe» par Debidour и т. п.), специальные сочинения о Крымской войне (Kinglake, Jasmund'a, Geffken'a, Rüstow'a, Rousset, Kunz'a, Богдановича и др.), равно как о войнах итальянской, австро-прусской и франко-прусской, названных в следующих главах, и общие истории Италии и Германии (с Австрией и Пруссией) в эту эпоху. Кроме того, см.: *Simson. Beziehungen Napoleon's III zu Preussen und Deutschland*, 1882; *Poujade. La diplomatie du second empire et celle du 4 septembre 1870*; *Sorel A. Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande*; *Даневский В. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи*, 1882. Для внутренних отношений: *De Nervo. Les finances de la France (1852—1860)*, 1861; *Tenot E. Les suspects en 1859, 1869*.

тавшие в 1848—1849 гг. вести самостоятельную активную политику, потерпели, как известно, поражение и должны были еще собраться с силами. Таково было положение дел на континенте, и оно было как нельзя более выгодным для Франции. В самом начале царствования Наполеона III опасными для него соперницами были только Англия и Россия, но обе эти две державы сами находились между собой в антагонизме.

Вполне подчинив Австрию и Пруссию своему влиянию, Николай I задумал в соглашении с одной Англией решить восточный вопрос, совершенно устранив Францию от всякого участия в этом деле. Подобный план уже не был совершенной новостью: и раньше Россия искала сближения с Англией, которое необходимо являлось направленным против Франции. Но Англия, продолжая стоять на своей традиционной точке зрения сохранения целостности Турецкой империи, не обнаруживала ни малейшей склонности вступить в соглашение с Россией относительно наследства после «больного человека», как назвал русский император Турцию, и даже стала прилагать все свои старания к тому, чтобы посеять ссору между Турцией и Россией. Около этого времени между православными и католиками в Палестине возгорелся спор из-за святых мест, а так как православные находились под покровительством России, то она и вступилась в это дело. Как того Англия и желала, дело скоро дошло до враждебного столкновения между русским и турецким правительствами. Для того чтобы оказать давление на султана, русские войска без объявления войны заняли дунайские княжества, но султан обратился тогда к Англии и Франции, флоты которых вошли в проливы. Россия протестовала против этого нарушения международной конвенции 1841 г., объявившей Босфор и Дарданеллы закрытыми для военных судов всех наций, но Англия отвечала указанием на то, что после вступления русских в дунайские княжества Турция уже не может считаться состоящей на мирном положении. Затем осенью 1853 г. султан объявил войну России. Война началась блестящим успехом для русских (сражение при Синопе), но за Турцию заступились тогда обе великие западные державы.

Вопрос о святых местах задевал и французское правительство. Подобно тому как православные находились в Палестине под покровительством России, католики издавна пользовались протекторатом Франции, хотя со времен революции она и неособенно ревностно исполняла свою обязанность защищать католицизм в Святой земле. Людовик-Наполеон, сделавшись президентом республики, в этом вопросе увидел превосходный повод показать свою ревность к католицизму и к национальному престижу Франции на Востоке и поднял вопрос о правах Франции перед турецким правительством (1850 г.). В Константинополе началось тогда соперничество французских и русских дипломатов, которое все более и более обостряло взаимные отношения обоих правительств. Русский император проник-

ся крайним нерасположением к Наполеону III, ставшему на его дороге в Турции и притом слишком часто повторявшему об униительности для Франции трактатов 1815 г. Со своей стороны, Наполеон III не мог простить русскому императору, отказавшемуся назвать его своим братом и даже одно время склонявшему Австрию и Пруссию не признавать его императором. Обиженный и поведением других дворов, он искал случая показать им, что новый государь Франции умеет за себя постоять. Как раз в это время Англия, собираясь помешать России на Востоке, нуждалась в союзнике. Поэтому она чуть не первая¹ признала Наполеона III императором и стала показывать, что отнюдь не смотрит на него как на выскочку, на которого нельзя полагаться. Весьма естественно, что Наполеон III, которому нужна была война и для того, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних дел и вернуть его к традициям национальной славы, ухватился за идею о защите Турции от России в союзе с Англией. Весной 1854 г. обе западные державы тоже объявили войну Николаю I. В этой войне Россия оказалась совершенно изолированной. Все старания Николая I устроить другую коалицию окончились неудачей. Австрия и Пруссия воздержались от войны, хотя втянуть их в это международное столкновение пытались обе стороны. Австрия, «поражая мир своей неблагодарностью», скорее даже готова была соединиться с Англией и Францией, чем с Россией, и по отношению к ней прямо заняла угрожающее положение. В Пруссии тоже была сильная партия, воспрепятствовавшая Фридриху-Вильгельму IV стать на сторону России; она даже советовала ему присоединиться к союзникам, но он объявил, что никогда не начнет войны против России. Это заставило и Австрию воздержаться от участия в войне и помешало исполнению плана Наполеона III послать свои войска через Германию в Австрию и в дунайские княжества для нападения оттуда на Россию. Но Австрия все-таки заняла эти княжества, откуда русский император должен был вывести свои войска, чтобы лишить венский двор всякого предлога к войне. Когда союзники осадили Севастополь и война приняла для России крайне неблагоприятный оборот, к Англии и Франции присоединилась еще Сардиния, и Австрия заключила с ними оборонительный союз и начала настаивать на том, чтобы и весь Германский союз готовился к войне. Наполеон III, кроме того, мечтал поднять восстания в Польше, в Финляндии, на Кавказе и даже втянуть в войну Швецию. Смерть Николая I и падение Севастополя повлекли за собой окончание войны. 25 февраля 1856 г. в Париже под председательством одного из французских уполномоченных (французского министра иностранных дел Валуевского) открылся конгресс, в котором приняли участие представители Франции, Англии, России, Турции, Австрии и Сардинии, а потом, по особому приглашению, и Пруссии. Выбор места для конгресса

¹ Первым признал его король Неаполитанский, к крайнему раздражению других дворов.

и председательство на нем представителя Франции были естественным следствием первенствующей и руководящей роли, какую Франция играла во все время войны. 30 марта 1856 г. был подписан мирный договор, обеспечивавший целостность и полную внутреннюю независимость Турции, объявлявший Черное море нейтральным без права кому бы то ни было держать на нем военный флот, а также свободу плавания по Дунаю и устанавливавший автономию дунайских княжеств, причем Молдавия получила часть русской Бессарабии. Это было для Наполеона III эпохой величайшего торжества. Французская империя, будущность которой, казалось, еще упрочивалась рождением у Наполеона III сына как раз во время Парижского конгресса, сделалась первенствующей державой во всей Европе. Другие государи стали искать сближения с Наполеоном III и его расположения. В Париж начали ездить один за другим разные монархи, совсем забыв, как недавно еще относились они к новому французскому государю. Успех внешней политики Наполеона III упрочивал его положение и в самой Франции, так как военные и дипломатические победы, политическое преобладание в Европе, посещения Парижа коронованными особами и т. п. льстили национальному самолюбию французов.

Внешняя политика вообще сделалась любимым делом Наполеона III. С молодых лет склонный к мечтательности, он и на императорском престоле постоянно создавал в своем воображении новые и новые политические планы. Другая его беда заключалась в том, что он постоянно подчинялся чужим влияниям, а эти влияния были часто диаметрально противоположными. В то самое время, как вполне опутанная клерикалами императрица действовала на своего супруга в интересах политики консервативной, вполне притом соответствовавшей тому, что делалось правительством внутри самой Франции, другие близкие к нему люди, напротив, толкали его на совершенно революционный путь разрушения старой международной системы в пользу новых политических комбинаций, хотя бы это и шло вразрез с внутренней реакцией. Император часто не знал, на что решиться, и потому его поступки отличались крайней непоследовательностью. Случалось даже, что он прибегал к тайным агентам, которым давал поручения, остававшиеся неизвестными его собственным министрам и совершенно не соответствовавшие общему направлению его политики. Отсюда все противоречия и неожиданности внешней политики Наполеона III, ставившие совершенно в тупик дипломатов и заставлявшие всех постоянно предполагать у него существование необыкновенно коварных замыслов и самых хитрых планов. Ему самому притом нравилось держать Европу в вечной тревоге, заставляя постоянно ожидать, что-то скажет или сделает Франция, и, таким образом, разыгрывать роль вершителя судеб Европы. Новогодние приемы дипломатического корпуса обыкновенно сопровождались речами, в которых «тюильрийский сфинкс» знакомил

Европу со своими намерениями, хотя и тут он часто прибегал к намекам, требовавшим еще разгадки. Не завися в своей внешней политике от народного представительства и мало обращая внимания на общественное мнение страны, имея прямое право вступать в союзы, объявлять войны, заключать мирные договоры единственно своей собственной властью, стоя, наконец, во главе преданной армии, которая стала считаться лучшей армией во всей Европе, Наполеон III мог руководствоваться в своих отношениях к иностранцам чисто личными соображениями. Тревожные опасения других государств он успокаивал постоянными уверениями в бескорыстии своих стремлений, говоря, что пользуется силами Франции лишь ради исполнения цивилизаторской миссии на благо человечества, для торжества свободы и мирного преуспевания народов. И это также льстило честолюбию французов, многие из которых вполне серьезно считали себя призванными устраивать судьбы других наций. Успех Парижского конгресса внушил Наполеону III мысль о созвании нового конгресса, который переделал бы границы, созданные трактатами 1815 г., этим вечным позором Франции. В нем эти трактаты нашли наиболее страстного противника. Политическому равновесию Европы, основанному на братском союзе легитимных государей, в своих мечтах он противопоставлял гармоническое сочетание свободных и независимых национальностей. «С 1856 г., — говорит один историк (Дебидур), — желание доставить торжество принципу национальностей сделалось у Наполеона III настоящей мономанией». Но это была у него чисто абстрактная идея: сам ее носитель слишком мало знал этнографию и историю, чтобы идея эта могла получить в его уме сколько-нибудь реальный облик, не говоря уже о том, что его династические интересы и выгоды текущей минуты нередко заставляли его поступать совсем не так, как того требовал «принцип национальностей». Он мечтал, например, о том, чтобы соединить все «латинские расы» (Италию, Испанию, Португалию) под гегемонией Франции, предоставив подобным же образом устроиться германским и славянским «расам», но Францию будущего он представлял себе не иначе, как в ее «естественных границах» — с Бельгией до Рейна и до Альп, что едва ли соответствовало принципу национальностей. Таким образом, политика национальностей совсем не исключала в его уме политики приращения территории. Наиболее реальной частью этой политики национальностей были только итальянские планы Наполеона III. В молодости он принимал участие в заговоре для освобождения Италии; далее, у него была итальянская родня, некоторые члены которой сами принимали деятельное участие в революции 1848—1849 гг., а его двоюродный брат принц Наполеон (сын бывшего вестфальского короля), женившийся (в 1859 г.) на дочери короля Сардинского, даже особенно настойчиво требовал освобождения Италии. Сверх всего этого, своей римской политикой Наполеон III вооружил против себя

итальянских патриотов, и вот люди, когда-то бывшие его друзьями, стали смотреть на него как на предателя, изменившего данной раньше клятве и потому достойного смерти. Из разных покушений на жизнь Наполеона III¹ ни одно не произвело на него такого сильного впечатления, как покушение (в январе 1858 г.) графа Орсини, итальянского патриота, сражавшегося раньше за республику и бывшего членом учредительного собрания в Риме, попавшего затем в мантуанскую тюрьму, но удачно оттуда бежавшего. Схваченный полицией после того, как им брошены были в императора бомбы, он прямо на допросе заявил, что хотел убить Наполеона III, который должен был бы быть освободителем Италии, а сделался главным препятствием к ее освобождению. Из тюрьмы Орсини обратился к Наполеону III с письмом, в котором умолял его освободить Италию. Адвокат Орсини прочитал это письмо перед присяжными, и Наполеон III позволил его напечатать. Потом в одной туринской газете появилось второе письмо Орсини, которое он будто бы написал к императору за два дня до своей казни. Боясь новых покушений на свою жизнь, Наполеон III и решился взять в свои руки итальянский вопрос.

Первым крупным делом Наполеона III после Парижского конгресса² было заключение в 1858 г. тайного союза с Сардинией, за которым в 1859 г. последовала война с Австрией. Чтобы примирить свой принцип национальностей со светской властью папы, за которую горой стояли императрица, клерикалы и крупная буржуазия, Наполеон III думал превратить Италию в федерацию, независимую от Австрии и связанную с Францией тесными узами благодарности, но в конце концов ему пришлось признать образование Итальянского королевства, получив за это в награду от Виктора-Эммануила Савойю и Ниццу. Правда, эта уступка сопровождалась условием, чтобы была спрошена посредством народного голосования воля жителей, но голосование совершилось в пользу Франции. Вмешательство в итальянские дела было во Франции очень популярно среди либералов и республиканцев, которые были только недовольны тем, что Наполеон III продолжал поддерживать светскую власть папы. Во время этой войны император, для того чтобы повредить Австрии, думал снова поднять революцию в Венгрии, и даже вступил по этому поводу в личные переговоры с Кошутом. В качестве покровителя угнетенных национальностей Наполеон III в 1863 г. заступился и за поляков, поднявших новое восстание против России. И в этом случае на его стороне было сочувствие общественного мнения во всей Западной Европе, и к вмешательству в польские дела, предпринятому Наполеоном III, присоединились Англия и Австрия.

¹ Первые два покушения на его жизнь (в 1855 г.) были тоже делом итальянцев (Пьянори и Белламаре).

² В 1857 г. по соглашению между Францией и Россией из Молдавии и Валахии возникла единая «румынская национальность».

В союзе с ними он думал даже начать войну за Польшу, но, не встретив расположения к этому с их стороны, ограничился одними дипломатическими действиями. Он пригласил было державы на новый конгресс для пересмотра трактатов 1815 г. и для решения вопросов римского, польского и шлезвиг-гольштейнского, но другие государства отказались от этого предложения.

Свой принцип национальностей Наполеон III думал применить и к шлезвиг-гольштейнскому вопросу, снова ставшему на очередь вследствие прекращения датской династии; именно он предлагал присоединить к Германии немецкие части герцогств. Когда Австрия и Пруссия, завоевавшие в 1864 г. оба герцогства, потом поделили их между собой, Наполеон III протестовал против этого во имя опять-таки принципа национальностей и права жителей посредством плебисцита решать свою судьбу. Между тем в Германии снова подготавливалось выступление на сцену вопроса об объединении. Вражда Наполеона III к Австрии заставляла его действовать заодно с ее врагами не только в Италии, но и в Германии. Еще до начала итальянской войны, ввиду задуманной борьбы с Австрией император, не желая иметь против себя всего Германского союза, — который без Пруссии не пошел бы воевать с Францией, — всеми способами старался склонить на свою сторону прусского короля, льстя его честолюбию заманчивыми обещаниями насчет преобладания в германском мире, если только Пруссия будет действовать в союзе с Францией. В Берлине довольно рано поняли, какую выгоду можно извлечь отсюда, и вот, когда наступило время, Пруссия, готовясь к войне с Австрией, добилась у Наполеона III разрешения для Италии вступить в союз с нею против Австрии (1865 г.). Давая свое согласие на эту комбинацию, он думал довершить объединение Италии присоединением Венеции во вред Австрии и усилить Пруссию увеличением и улучшением ее границ и образованием из Северной Германии особого прусского союза, но вместе с тем он мечтал в надлежащий момент явиться посредником и в награду получить, быть может, Бельгию. В своих мыслях Наполеон расчленил Германию на Австрию, Пруссию с Северо-Германским союзом, Южную Германию, не зависящую ни от Австрии, ни от Пруссии, и левый берег Рейна, где получили бы вознаграждение те государи, у которых были бы отняты земли в пользу Пруссии по другую сторону этой реки. Наполеон III так был уверен в успехе этого плана, что стал поддерживать Пруссию, несмотря на то что даже бонапартистское большинство палаты аплодировало речи, произнесенной Тьером против Пруссии и ее стремлений к объединению Германии. Союз Италии и Пруссии заключал в себе взаимные обязательства относительно поддержки прусского плана преобразования Германского союза и присоединения Венеции к Италии. Так как, однако, дело сразу до войны не дошло, а сам Наполеон III снова стал колебаться, то у него опять явилась мысль о европейском

конгрессе, который на этот раз не состоялся только вследствие упорства Австрии (1866 г.). Когда вспыхнула, наконец, война, Пруссия, обеспеченная нейтралитетом Франции, имела полную возможность двинуть все свои военные силы на Австрию и на те немецкие государства, которые вступили в союз с последней. Известно, что Пруссия необычайно быстро нанесла Австрии решительное поражение, тогда как Италия, наоборот, сама потерпела неудачу. Австрийское правительство обратилось тогда к посредничеству Наполеона III, уступив ему Венецианскую область, лишь бы он помог Австрии заключить мир с Италией. Французский император снова явился в роли вершителя судеб Европы. Он некоторое время колебался, что ему делать. Одни советовали ему вступить за Австрию, другие — держаться нейтралитета. Наконец, Наполеон III потребовал от Италии, чтобы она заключила перемирие с Австрией, и предложил Пруссии условия мира. В общем, они были приняты, но это уже не был первоначальный план Наполеона III, и Франция при этом не получила никакого территориального приращения. Император мечтал сначала получить владения Баварии и Гессена на левом берегу Рейна, но прусское правительство отказало ему в этом, и даже обнародовало весь этот проект, чтобы заставить Баварию и Гессен заключить с ней тайные союзы против Франции. Но Пруссия все-таки еще продолжала лелеять мечты Наполеона III о приобретении Бельгии и Люксембурга. Когда, однако, в 1867 г. французский император вступил с голландским королем, как государем Люксембурга, в переговоры об уступке этого великого герцогства за деньги и сделка на этот счет была уже вполне готова, Пруссия объявила голландскому королю, что уступка Люксембурга Франции может быть поводом к войне. Продажа не состоялась, и Наполеон III должен был отказаться от своих планов.

Своими успехами в шестидесятых годах Пруссия была обязана новому государственному человеку, сменившему Наполеона III в качестве вершителя судеб Европы. Это был Отто фон Бисмарк, который первый нанес решительный удар престижу Наполеона III в Европе¹. Отношение императора к Пруссии, побившей Австрию, увеличившей свои владения присоединением одной части северогерманских государств, ставшей во главе союза с другой их частью и вдобавок воспротивившейся его планам об увеличении территории, совершенно после этого изменилось. Франция стала теперь искать союзников против Пруссии и с этой целью вступила в переговоры с Австрией и Италией, которые привели лишь к тому, что Наполеон III, Франц-Иосиф и Виктор-Эммануил обязались не заключать никаких союзов, предварительно не сообщив о том друг другу (1869 г.). Без союзников Наполеон III не решался нападать на Пруссию, но последняя сумела в 1870 г. вызвать войну, бывшую настоящим поражением Франции

¹ Впоследствии Бисмарк остроумно назвал Наполеона III «непризнанной, но крупной бездарностью».

и положившую конец владычеству Наполеона III, но вместе с тем повлекшую за собой окончательное объединение Италии и Германии.

В следующих главах мы остановимся подробнее на ходе объединения Италии и Германии. Принцип национальностей, который Наполеон III хотел ввести в международную жизнь Европы, вполне соответствовал стремлениям, проявившимся в обеих этих странах в 1848 г. Выступив против Австрии, которая была главной противницей национальных движений в Италии и Германии, Наполеон III явился союзником Сардинии и Пруссии, которые стали во главе итальянского и германского объединения. Французский император допускал, однако, это объединение двух соседних с Францией наций лишь до известных пределов, далее которых они не должны были идти, и, кроме того, под условием вознаграждения Франции. В обеих нациях на него стали смотреть поэтому как на главную помеху окончательного объединения, и это создало ему и там и здесь массу врагов. Присоединение Савойи и Ниццы было единственным приобретением, удавшимся Наполеону III, но зато война 1870 г. лишила Францию Эльзаса и Лотарингии.

В промежутки между войнами в Европе Наполеон III занимал внимание цивилизованного мира внеевропейскими предприятиями. В 1860 г. в Сирии произошел взрыв мусульманского фанатизма, и Франция для защиты христиан от резни послала туда свое войско, которое и произвело оккупацию этой провинции. Но особенно характерна для политики Наполеона III мексиканская экспедиция. Ни в чем так рельефно не проявился мечтательный характер его политики, на практике делавшей его простым авантюристом, как именно в этом его предприятии. Стремясь к объединению латинских рас, он обратил свои взоры и на Америку. Он воспользовался дурным состоянием финансов в Мексике, от которого страдали европейские кредиторы, чтобы при содействии Англии и Испании вмешаться в мексиканские дела (1862 г.). Когда, однако, правительства обеих названных стран увидели, что Наполеон III затевает что-то большее, они предоставили ему свободу действовать одному. Он послал тогда в Мексику целую армию с целью ее завоевания и образования из нее вассального государства под властью австрийского эрцгерцога Максимилиана. Война между Югом и Севером в Северо-Американских Штатах благоприятствовала Наполеону III, и он даже думал при содействии других европейских государств разбить Штаты на два независимых друг от друга союза. Когда Север одолел южан, то вашингтонское правительство объявило, что в Мексике оно признаёт только власть прежнего президента Хуареса, который еще держался с республиканцами на севере страны. Вместе с тем вашингтонское правительство выразило Наполеону III свое желание, чтобы он отозвал свои войска обратно (1865 г.). Наполеон III, обязавшийся перед «императором» Максимилианом содержать в Мексике для его защиты значительное вой-

ско, объявил ему, что переменившиеся обстоятельства заставляют его удалить оккупационную армию (1866 г.). Хлопоты жены Максимилиана, приехавшей в Европу просить за своего мужа, оставляемого на произвол судьбы, лишь на короткое время отсрочили отозвание французских войск (1867 г.). Наполеон III старался убедить Максимилиана отречься от престола, но тот остался в Мексике и вскоре после отправки оттуда последнего французского отряда был взят в плен Хуаресом. Максимилиан никогда не хотел признавать офицеров и солдат Хуареса за воюющую сторону и даже издал декрет, предписывавший расстреливать их как разбойников. Взятый сам в плен, он был приговорен к расстрелу. Такой позорный исход мексиканской экспедиции тоже немало содействовал потере Наполеоном III его престижа. Таким образом, временем наибольшего могущества Наполеона III было десятилетие между Парижским конгрессом и Австро-прусской войной, одновременно с которой политика Наполеона III потерпела поражение и в Америке (1856–1866 гг.).

Внешняя политика, игравшая главную роль в царствование Наполеона III, оказывала громадное влияние и на направление внутренней политики. Каждый дипломатический и военный успех упрочивал положение императора во Франции и укреплял систему управления, введенную им после переворота 2 декабря, и наоборот, каждая неудача колебала его власть и наносила удар установленным им порядкам. С другой стороны, в этой внешней политике важное значение принадлежало отношениям к папству, которые совершенно изменились после того, как Наполеон III оказал содействие Сардинии на Апеннинском полуострове. В зависимости от этого его царствование может быть разделено на три периода. Первый охватывает собой пятидесятые годы, период наибольшей реакции и вместе с тем начала политического преобладания Франции в Европе. Это преобладание продолжается и во втором периоде, но реакция в самой Франции уже несколько смягчается благодаря тому, что клерикальная партия становится к императору после 1859 г. в неприязненные отношения, и Наполеон III этим был вынужден сделать некоторые уступки либерализму. Наконец, Австро-прусская война и исход мексиканской экспедиции заставили Наполеона III еще более отступить от своей прежней системы в либеральном направлении. Впрочем, все уступки, которые были сделаны императором во втором и третьем периодах, мало изменяли существо системы¹.

Подобно своему дяде, Наполеон III старался утешать нацию, лишенную свободы, внешним блеском и славой своего царствования. Париж сделался в его время как бы столицей всей Европы, которую стали один за другим посещать европейские монархи (короли Бельгийский и Португаль-

¹ Заметим еще, что Наполеон III выступал и в качестве писателя. В 1865–1866 гг. он напечатал «Историю Юлия Цезаря», в которой под видом восхваления этого государственно-го человека древности, в сущности, лишь оправдывал самого себя.

ский, английская королева, короли Сардинский, Вюртембергский и Баварский, великий герцог Тосканский и др. в пятидесятых годах, русский император и прусский король в шестидесятых годах и т. д.). Две всемирные выставки, устроенные Наполеоном III в Париже в 1855 и 1867 гг., тоже много содействовали блеску его царствования. Французский двор сделался самым роскошным и веселым во всей Европе, как то было и во времена Наполеона I. Этот двор задавал тон обществу и по части беззаботного наслаждения удовольствиями, и по части легкости нравов. Вторая империя имела для Франции прямо растлевающее значение: общественная нравственность вообще сильно понизилась в эту эпоху. Желая доставить заработки пролетариату и вместе с тем распланировать Париж так, чтобы, уничтожив старые узкие улицы и проложив новые, широкие, сделать в нем невозможной баррикадную борьбу, Наполеон III предпринял перестройку своей столицы, сделавшую этот город самым красивым и блестящим во всей Европе. Словом, Париж превратился в центр веселой светской жизни, тонких художественных наслаждений, хорошего вкуса и моды. Императрица Евгения сделалась настоящей законодательницей моды, а перестройка Парижа прославила имя главного своего руководителя барона Османа (собственно Hausmann'a). Газеты взапуски раздували значение этого внешнего великолепия второй империи.

Кроме блеска и веселой жизни, которые могли бы заставить забыть потерю свободы, Наполеон III заботился и о том, чтобы влиятельные классы общества могли и обогащаться, как во времена Людовика-Филиппа. Грандиозная перестройка Парижа, проведение новых железных дорог, учреждение всевозможных акционерных обществ (между прочим, кредитных), разные поставки для обмундирования, вооружения и прокормления армии, государственные займы, бывшие результатом широких внешних и внутренних предприятий, — все это создавало массу случаев нажиться множеству лиц, отдавшихся с увлечением погоне за материальным благосостоянием. В обществе в эту эпоху до крайности развилась страсть к денежным спекуляциям. Государственные займы, заключавшиеся правительством Наполеона III, имели обыкновенно большой успех в нации, и панегиристы империи каждый раз комментировали успех подписки как одобрение нацией политики императора. Финансисты сделались снова большой силой, и биржа своей игрой на повышение и понижение отражала на себе все перипетии внешней политики правительства. Хотя Наполеон III и выставлял себя защитником рабочих, и даже написал в старые времена брошюру об искоренении пауперизма, на самом деле все его меры, касавшиеся пролетариата, вызывались только боязнью новых восстаний, а не действительным желанием социальных реформ. Экономическая политика Наполеона III имела чисто буржуазный характер. Во Франции среди экономистов и ранее была популярна идея невмешательства, а круше-

ние социализма в 1848 г. лишь еще более утвердило их в верности принципа «laisser passer, laisser faire». Главным авторитетом в области политической экономии сделался теперь Баста, автор «Политических гармоний», доведший принципы манчестерской школы до самого крайнего выражения. Настоящим руководителем экономической политики второй империи сделался Мишель Шевалье, стоявший на точке зрения свободы торговли в то самое время, как Шарль Дюнуайе проповедовал свободу промышленности. Англия лишь незадолго перед тем перешла к системе свободы торговли, и ее пример сильно импонировал континентальным правительствам. Наполеон III тоже сильно хлопотал об увеличении сбыта за границу произведений французской промышленности. Отступив в этом отношении от традиций первой империи, он прямо действовал в духе свободной торговли, понижая или совсем отменяя таможенные пошлины и заключая торговые трактаты с другими странами, облегчавшими коммерческие сношения. С Англией в 1860 г. он заключил торговый договор на новых началах, не спросив мнения законодательного корпуса. В общем, вся политика Наполеона III стоила нации очень дорого, но для буржуазии она доставляла большие выгоды. Мелкие капиталисты, помещавшие свои сбережения в государственных бумагах, были тоже благоприятствуемы такой системой.

Стараясь расположить к себе своих подданных политикой национальной славы и национального богатства, Наполеон III в то же время продолжал действовать на них и путем устрашения. В пятидесятых годах во Франции воскресла вся деспотическая система Наполеона I. Агенты правительства пользовались самой широкой властью и ничем не стеснялись в ее проявлении: аресты, обыски, полицейский надзор, шпионство и провокаторство были главными средствами этой системы. Покушение Орсини на жизнь Наполеона III, хотя и произведенное итальянцем и по поводу итальянских дел, дало предлог правительству еще более обострить систему, введенную после 2 декабря. Наполеон III разделил Францию на пять округов с маршалом во главе каждого и соединил в руках одного из участников 2 декабря, Эспинаса, министерства военное и полиции. Вся Франция была подвергнута усиленной охране, стеснявшей даже передвижения внутри страны, не говоря уже о заграничных сообщениях. На таможах стали обыскивать путешественников, не везут ли они чего-либо печатного против императора. В законодательном корпусе был проведен «закон об общественной безопасности», дававший правительству право без всякого суда сажать в тюрьму, ссылать и изгонять из государства всех, кто только раньше подвергался осуждению по политическим причинам, а также и тех, кто впоследствии будет осужден. Приведение этого закона в действие началось с того, что правительство предписало всем префектам применить его к известному количеству (20—40) лиц в каждом департаменте, причем сам выбор лиц

был предоставлен усмотрению префектов. Целью правительства было утратить общество и отделаться от наиболее неприятных республиканцев. Лишь постепенно эта система стала заменяться менее устрашающими мерами, которые, однако, вообще не прекращались до самого конца империи. Чтобы иметь повод бесконтрольно распоряжаться гражданами, полиция даже сочинила в 1864 г. новое покушение на жизнь Наполеона III, за которое несколько человек ответило тюремным заключением или ссылкой.

Совсем, как и во времена первой империи, печать была сильно стеснена правительством Наполеона III. В 1852 г. залогов, которые вносились издателями, были повышены до 50 тыс. франков, но сверх того на издание газеты требовалось разрешение правительства, которое утверждало и редакторов. Процессы по делам печати из ведения суда присяжных были переведены в ведение суда исправительной полиции, и отчеты об этих процессах не могли печататься в газетах; запрещалось печатать и прения в законодательном корпусе. Администрация могла давать газетам предостережения и даже прямо их закрывать. Одна провинциальная газета подверглась предостережению за то, что в известии о восторге, с каким была принята одна речь императора, указала на источник этого известия в такой форме: «по словам агентства Гаваса», что было истолковано в смысле сомнения в достоверности известия. В эту эпоху расплодилось во Франции множество газет и брошюр, издатели и авторы которых получали внушения и деньги от правительства, дабы влиять на общество в благоприятном для империи смысле. Научная деятельность тоже была крайне стеснена, и в ведомстве народного просвещения царил реакция.

В пятидесятых годах политическая жизнь во Франции совершенно поэтому прекратилась. На сцене действовали только армия, чиновничество, духовенство и официальная пресса. Военные заняли при Наполеоне III привилегированное положение, и он охотно давал преданным генералам важные государственные должности. Национальная гвардия в 1852 г. была распущена ввиду предположенного преобразования, но это преобразование так и осталось одним предположением. Политических собраний уже не существовало в последние времена второй республики, и были даже запрещены избирательные собрания под тем предлогом, что они нарушают свободу избирателей. Последнее соображение, однако, не мешало правительству широко пользоваться системой официальных кандидатур, но уже на основании того принципа, что правительство обязано просвещать граждан. Сверх того, правительство и его агенты в департаментах, — между прочим, руководившие выборами мэры, — прибегали к очень разнообразным способам, чтобы в законодательный корпус попадали лишь сторонники существующей системы. Избирательные округа распределялись самым произвольным образом, и даже составлялись из городских и сель-

ских участков; официальные кандидаты усиленно рекомендовались населению, а их соперники объявлялись чуть не бунтовщиками; счет голосов часто производился без всякого контроля, и результаты прямо подтасовывались. Немудрено, что состав законодательного корпуса был самый послушный. Сессии корпуса были непродолжительны — всего три месяца в году, а права его весьма ограниченные. У него не было законодательной инициативы; бюджет он вотирует не по отдельным статьям, а по министерствам; публичность прений могла быть всегда уничтожена требованием хотя бы пяти депутатов; газеты имели право печатать лишь сокращенный официальный отчет о прениях. В первые годы империи в законодательном корпусе не было ни одного республиканца, а затем в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов их была только знаменитая «пятерка» (*les cinq*) представителей Парижа и Лиона, допущенных под условием принесения особой присяги в верности императору. Только амнистия, вернувшая ссыльных и опальных в 1857 г., и ослабление реакции после 1859 г. дали возможность несколько усилиться республиканской оппозиции. Немного свободнее действовали орлеанисты, среди которых в шестидесятых годах опять играл первенствующую роль Тьер¹.

Только в шестидесятых годах, как было уже сказано, Наполеон III стал отчасти ослаблять этот деспотический режим одновременно с ослаблением реакции и в других государствах. Ссора правительства с духовенством, вызванная итальянской войной, обострилась, когда правительство запретило обнародование папского «Силлабуса» за его несоответствие с принципами, на которых основана французская конституция, а на протест епископов ответило резким осуждением его в государственном совете. Сам Наполеон III, открывая сессию законодательного корпуса в 1865 г., заявил, что будет охранять права светской власти. Духовенство даже сделало нападение на министра народного просвещения Дюрюи, который, по представлению клерикальной партии, отравлял школьное преподавание духом материализма; в этом смысле оно даже подавало жалобы в сенат.

С 1860 по 1870 г. в конституции 1852 г. было сделано несколько изменений. В 1860 г. Наполеон III выразил желание «дать великим учреждениям государства более непосредственное участие в общей политике». Декретом 24 ноября этого года, за которым последовало несколько сенатус-консультов, он внес в конституцию кое-какие изменения, которые приближали ее к обычаям парламентарного правления. Сенату и законодательному корпусу предоставлено было право ежегодно при открытии сессии вотировать адрес в ответ на императорскую речь; но адрес должен был обсуждаться в присутствии правительственных комиссаров, от которых обе стороны заранее могли бы получать необходимые объяснения относительно внутрен-

¹ Гизо после 1848 г. совсем покинул политическую деятельность.

ней и внешней политики правительства. Далее, разрешалось публиковать в газетах стенографические отчеты о прениях, происходивших в сенате и законодательном корпусе.

Кроме того, учреждались особые министры без портфелей, обязанностью которых было поддерживать в обеих палатах правительственные законопроекты. Наконец, бюджет каждого министерства стал разделяться на отдельные статьи (*section*), и законодательный корпус мог отвергнуть одну какую-либо статью, тогда как раньше он должен был принимать или отвергать весь бюджет целиком (*en bloc*). Декрет 19 января 1867 г. прямо расширял компетенцию сената и законодательного корпуса, предоставив им право интерpellации, т. е. право предлагать правительству запросы по разным предметам внутренней и внешней политики и даже высказывать свои мнения по данным объяснениям. Особенно же важные изменения были введены в конституцию сенатус-консультами 8 ноября 1869 г. и 20 апреля 1870 г. Это была, в сущности, новая конституция, которая была утверждена плебисцитом 8 мая 1870 г. (7 350 142 утвердительных голоса против 1 538 825 голосов отрицательных при 112 975 пустых бюллетенях) и затем развита в сенатус-консульте 21 мая. Сущность всех нововведений сводилась к тому, что у сената отнималась учредительная власть, которая ему принадлежала при первой империи. Законодательный корпус получал право законодательной инициативы и избрания членов своего бюро, причем уничтожены были некоторые ограничения в праве интерpellировать правительство. Министры делались ответственными и составляли из себя совет под председательством императора, хотя этот совет и не был настоящим парламентским министерством, зависящим от большинства народных представителей. Трибуна, которая была устранена из обеих палат конституцией 1852 г., была теперь восстановлена. Однако из нового плебисцита Наполеон III думал извлечь только усиление своей власти, рассматривая себя, подобно Наполеону I, «единственным истинным представителем народа». Одновременно с этим и печать стала получать некоторое облегчение прежнего режима, что дало возможность газетам свободнее, хотя и с большой осторожностью, часто лишь одними намеками обсуждать правительственную политику. Допущены были даже под известными ограничениями и собрания (1868 г.).

Первые же уступки Наполеона III дали возможность свободнее выступить недовольным империей республиканцам, орлеанистам и легитимистам, вступившим между собой в союз и образовавшим так называемую либеральную оппозицию. На выборах 1863 г. Париж высказался исключительно за оппозиционных депутатов. В законодательном корпусе их было теперь уже 35, хотя подавляющее большинство (249) все-таки принадлежало правительству. В 1863 г. впервые после очень долгого молчания оппозиция стала критиковать внешнюю и внутреннюю политику правительства, напа-

дать на мексиканскую экспедицию, на расточительность, на стеснения свободы. Тьер, который при республике сам содействовал реакции, заговорил о существовании некоторых «*libertés nécessaires*»¹, попираемых правительством. Некоторое оживление либерализма заразило и кое-кого из представителей бонапартистского большинства, которые жаловались на своеволие министров и стали добиваться для законодательного корпуса большего влияния. Они даже составили небольшую «третью партию» (*tiers parti*) и в следующих годах начали агитировать в пользу ответственного министерства, подчинения печати суду и отмены закона, запрещавшего собрания. Раскол в бонапартистской партии касался и внешней политики. В то время как реакционеры, имея во главе императрицу и всесильного министра Руэра, стояли за то, чтобы Франция выступила против Пруссии и Италии, «третья партия» стояла за сохранение мира. Ее вождем сделался Оливье, бывший республиканский депутат, перешедший на сторону Наполеона III. Сам император, сделавший этой партии в начале 1867 г. уступку, долго не решался, однако, вполне соединиться с нею. Наступил период колебаний, которые поддерживались личным соперничеством Руэра и Оливье. Первый из них, достигший такого значения, что его даже прозвали «вице-императором», был поборником абсолютизма и реакции. За ним стояла большая партия, которая была за сохранение старой системы сильной власти и воинственной политики. План этой партии состоял в том, чтобы разгромить Пруссию в отместку за 1866 г. и, опираясь на военный успех, снова вернуть прежние порядки внутри страны. Она, конечно, с крайним неудовольствием смотрела на усиление оппозиции. Действительно, пользуясь смягчением законодательства о печати, сходках и т. п., республиканцы начали резко нападать на империю. Особенно враждебное положение заняла по отношению к правительству газета Рошфора «*Lanterne*»², зло и остроумно бичевавшая своими насмешками существующий режим. Затем много шума наделала подписка, объявленная несколькими газетами на памятник депутату Бодену, убитому на баррикадах в 1851 г. Эта подписка сделалась предметом политического процесса, во время которого адвокат Гамбетта произнес речь, порицавшую государственный переворот. 2 декабря 1868 г. республиканцами были предприняты даже кое-какие манифестации. Все это были довольно грозные для Наполеона III признаки, но он не мог уже следовать политике Руэра. Выборы в законодательный корпус 1869 г. дали большинство «третьей партии» и либеральной оппозиции. У Наполеона III потребовали реформ, и после некоторого колебания он дал отставку Руэру и согласился на вышеупомянутое изменение конституции. Наступил кратковременный период так называемой либеральной империи. Открывая сессию законодательного корпуса 29 ноября 1869 г., Наполеон III определил свою будущую

¹ Необходимые свободы (фр.). — Прим. ред.

² «Фонарь» (фр.). — Прим. ред.

политику следующими словами: «Франция желает свободы и порядка. За порядок отвечаю я, вы же помогайте мне охранять свободу. Дабы выполнить эту задачу, станем держаться одинаково далеко и от реакционных стремлений, и от революционных учений. Между людьми, противящимися всяким переменам, и людьми, стремящимися к ниспровержению всего, можно занять похвальную середину». Вскоре после этого Наполеон III поручил Оливье составить однородное министерство, которое пользовалось бы доверием большинства законодательного корпуса, и 2 января 1870 г. Оливье вступил во власть.

В законодательном корпусе 1869—1870 гг. у республиканской оппозиции, которую Наполеону III не удалось примирить с собой никакими уступками, было лишь 40 голосов. «Непримиримые» были все настроены более или менее в духе традиций 1793 и 1848 гг. Уже на выборах 1869 г. эта оппозиция выступила с явной республиканской программой Гамбетты, получившей название Бельвильской, — с программой, составленной в духе политических требований радикализма, но только глухо упоминавшей о социальном вопросе, решение которого должно было дать новое государственное устройство. В начале 1870 г. республиканцы устроили даже грандиозную демонстрацию, которая могла бы при иных условиях перейти в восстание. Повод был такой: двоюродный брат императора (сын Луциана), принц Петр Бонапарт, отличавшийся необузданным характером, раздраженный против нескольких журналистов вследствие нападок на него и его родню, убил сотрудника газеты Рошфора «Марсельеза», Виктора Нуара, выстрелив в него из пистолета, когда тот пришел к принцу для личных объяснений. Похороны убитого собрали на улицу стотысячную толпу народа, и для предотвращения беспорядков явились полиция и войска. Рошфор был предан суду и приговорен к тюремному заключению и большому штрафу за преступную агитацию, а принц Бонапарт, наоборот, был оправдан чрезвычайным судом в Туре. Такой исход дела вызвал новый взрыв негодования в республиканской партии.

Тогда Наполеон III по совету Руэра прибег к старому бонапартовскому средству обращения к народу, бывшему весьма удобным, когда нужно было найти опору против политических партий. Таково было происхождение знаменитого «плебисцита» 1870 г. Французскому народу было предложено ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряет ли он либеральные реформы, предпринятые императором с 1860 г. при содействии высших государственных установлений, и желает ли он утвердить сенатус-консульт 20 апреля 1870 г., вводивший новую конституцию. По официальному толкованию вопроса, дать утвердительный ответ значило выразить желание сохранить императора и вместе с этим облегчить переход короны к его сыну. Правительство предписало своим агентам развить самую лихорадочную деятельность, чтобы получить как можно более утвердительных голосов, и администрация всеми силами старалась внушить народу ту мысль, что утвердительный

ответ только упрочит во Франции и внутреннюю свободу, и внешний мир. Либералы стояли также за утвердительный ответ, но республиканцы объявили себя против предложения, указав на то, что плебисцит, устроенный правительством, в сущности, был не чем иным, как давлением на волю народа. Мы уже упомянули, какое подавляющее большинство голосов было подано за императора. Но и полтора миллиона «нет» кое-что значили, тем более что во многих больших городах большинство оказывалось часто отрицательным и что около 50 тыс. несогласных нашлось в армии и флоте.

Плебисцит, семью с лишком миллионами голосов снова утверждавший Наполеона III и его династию на престоле, состоялся 8 мая 1870 г., но не прошло и четырех месяцев после этого, как империи во Франции более не существовало. В последние годы Наполеон III очень хворал, так что одно время даже опасались за его жизнь. Он начинал все более и более чувствовать усталость, и даже сам сравнивал себя с утомленным путешественником, который понемногу облегчает свою ношу. Вместе с этим он все чаще и чаще начинал впадать в молчаливую задумчивость, сидя с полузакрытыми глазами и не обращая внимания на то, что делалось вокруг. И прежде склонный к колебаниям, всегда доступный личным влияниям и принимавший потому противоречивые и неожиданные решения, он больше, чем когда бы то ни было, не был теперь полным господином своих действий. Придворные интриги, в которых была замешана императрица и которые стояли в известной связи с отношениями к папству (по поводу ватиканского собора и французского отряда в Риме), внесли свою долю в путаницу французской политики 1870 г. Министр иностранных дел, Дарю, сторонник мира и противник папских притязаний, был заменен Грамоном, который, наоборот, был настроен самым воинственным образом. Несмотря на миролюбивое расположение самого императора, который, вдобавок, был болен, Грамон воспользовался первым предложением, чтобы довести дело до войны с Пруссией. Объявление войны состоялось 17 июля, и через шесть недель Наполеон III был уже в плену (2 сентября), а в Париже народ провозгласил республику (4 сентября). Война была начата легкомысленно, без союзников, без знания сил противника, без надлежащей подготовки, с армией и интендантством, оказавшимися ниже своей задачи, но в воинственном задоре была виновата и та часть французского народа, которая стремилась к новым завоеваниям, мечтала о рейнской границе и кричала на улицах Парижа: «В Берлин, в Берлин!» Седанская катастрофа 2 сентября в глазах современников сделалась возмездием за 2 декабря¹.

Наполеон III кончил свои дни в изгнании в 1873 г. (в Чизльгёрсте в Англии), его сын — в английской экспедиции против зулусов, в которой он участвовал в качестве волонтера (1879 г.).

¹ История войны 1870—1871 гг. будет рассказана в VI томе настоящего труда, где более подробно будет изложена и внутренняя история Франции в конце шестидесятых годов.

XXVII. Объединение Италии¹

Два направления в итальянском объединительном движении. — Мадзини и Гарибальди. — Пьемонт и роль Кавура. — Союз Сардинии с Наполеоном III. — Образование итальянского королевства. — Итальянские политические партии. — Римский вопрос. — Присоединение Венеции. — Ватиканский собор. — Присоединение Рима. — Результаты объединения

В истории объединения Италии следует различать два течения. Одно было народное, ясно ставившее целью единую Италию и полагавшееся исключительно на свои собственные силы, т. е. не искавшее помощи у соседних наций, другое — правительственное, «собиравшее» Италию воедино по частям, притом не особенно доверявшее народным движениям и действовавшее в союзе и под покровительством более могущественных держав. Первое движение было создано «Молодой Италией» Мадзини, во главе второго стал Пьемонт. Дорогу к единству Италии проложило первое течение, но воспользовалось этой дорогой для достижения своих целей второе. Во внутренней жизни нации одно было связано с осуществлением демократической программы, другое же приняло характер буржуазный. Пользуясь услугами первого, второе прибегало, однако, к помощи иностранных сил не только для того, чтобы выбить Австрию из ее позиции, но и для того, чтобы обессилить итальянскую демократию. Эта противоположность двух направлений с особенной силой проявилась в 1859—1861 гг., но начало свое она ведет с более раннего времени.

Первым с проповедью единой и нераздельной Италии в республиканской форме выступил еще в тридцатых годах Мадзини, который потом в 1848—1849 гг. и думал добиться осуществления своей идеи. Мы видели, какую видную роль играл он в тогдашнем революционном движении. Республиканская партия на время овладела Средней Италией, но у нее были приверженцы и в Северной Италии; не говоря уже о Венеции, кото-

¹ Кроме сочинений, указанных выше, см.: *Zeller*. Pie IX et Victor Emmanuel; *Bulle*. Geschichte des Zweiten Kaiserreiches und Königreiches Italien, 1890; *Bianchi*. Storia della monarchia piemontese; *Ego же*. Storia documentata della diplomazia europea in Italia (доведена до 1861 г.); *Rattazzi (M-me)*. Rattazzi et son temps; *Rustow*. Der italienische Krieg von 1860; *Ollivier*. L'église et l'état au concile du Vatican; *Friedrich*. Geschichte des vatikanischen Konzils; *Frommann*. Geschichte und Kritik des vatikanischen Konzils; *Cecconi*. Storia del Concilio vaticano. В русской литературе обращают на себя внимание статьи Н. А. Добролюбова, помещавшиеся в «Современнике» за 1860 и 1861 гг. и вошедшие в собрание его сочинений: «Непостижимая странность» (из неаполитанской истории) и особенно «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура», а также появившаяся в собрании сочинений статья «Отец Александр Гавацци и его проповеди» (Гавацци был священник-патриот, пользовавшийся церковной кафедрой для проповеди единства Италии). В дополнение к литературе о Кавуре, указанной выше, см. статью О. П. Орловой «Гр. Е. Кавур по его письмам и современным запискам» («Русская мысль». 1898).

рая превратилась в республику, демократическое движение происходило и в Милане, восстанием которого думали воспользоваться республиканцы, и даже в Турине в 1848 г. было весьма заметно крайнее народное недовольство, которое и заставило Карла-Альберта вторично выступить против Австрии. Но это выступление уже тогда должно было сопровождаться и подавлением республиканского движения в Италии. Для новых министров сардинского короля, Джоверти и Ратацци, вопрос заключался прямо в спасении сардинской монархии, которой грозила народная революция. Их план заключался в том, чтобы восстановить конституционную монархию в Тоскане и в Церковной области, бывших тогда в руках республиканцев, и в союзе с великим герцогом и папою ударять на Австрию, и этот политический план встретил полное одобрение со стороны французского правительства. Эта комбинация не удалась, и Джоверти должен был выйти в отставку, одинаково заподозренный в предательстве и революционерами, и реакцией. Но его план в существенных чертах был тот же самый, который стал приводиться в исполнение десятью годами позднее: подавление республиканского движения и война против Австрии при сочувствии со стороны Франции — с целью спасения савойской династии, которой предназначалась первенствующая роль в будущей федерации итальянских государей. У пьемонтских патриотов еще не было мысли об устранении всех других итальянских государей для образования на полуострове единого королевства. Выступая в 1849 г. против Австрии, Карл-Альберт знал, что римские и тосканские республиканцы ему не помогут, и действительно, они совсем не так, как сардинское правительство, понимали национальное дело Италии. После поражения римской республики Мадзини пришлось бежать в Швейцарию, откуда его, однако, просили удалиться; он переехал в Англию и здесь продолжал свою деятельность агитатора, чтобы во имя «Бога и народа» («Dio e popolo») добиться единой Италии. Эта агитация энергично велась и в Италии. В 1853 г. приверженцы Мадзини сделали попытку восстания в Милане, но она была подавлена весьма сурово. В Генуе образовалось, по мысли Мадзини, тайное общество, и как в этом городе, так и в других были сделаны новые революционные попытки (1857 г.).

Другим видным деятелем демократической партии, игравшим большую роль в объединении Италии, был Джузеппе Гарибальди. В молодых годах он служил в сардинском флоте, но участие в одном заговоре заставило его в 1834 г. покинуть родину. Тогда началась его скитальческая, полная приключений жизнь, сначала — в течение очень короткого времени — в Старом Свете (во Франции и Тунисе), потом в Южной Америке, где он принимал участие в войнах тамошних республик, храбро сражаясь и на суше, и на море. Здесь из него выработался замечательный военный вождь, и в 1848 г. он явился в Милан, как только в нем прои-

зошло восстание против Австрии, и предложил свои услуги комитету обороны. Во главе отряда добровольцев Гарибальди принимал затем участие в первом походе Карла-Альберта против Австрии. В 1849 г. он в чине генерала республиканской армии сражался за свободу Рима. Перед самой сдачей города французам он собрал на площади храма Святого Петра отряд своих добровольцев и предложил им продолжать борьбу в другом месте. «Я, — говорил он, — могу предложить тем из вас, которые готовы пойти за мной, одни лишения — голод и жажду, зной и холод, да одни тревоги солдатской жизни — постоянные походы днем и ночью, без запасов и без пороха, бой штыками, но кто любит славу, тот пусть идет за мной!» На другой день Гарибальди выступил из Рима с четырьмя тысячами человек пехоты и восьмью сотнями конницы. В отряде находились жена генерала, его сыновья, некоторые видные деятели римской революции, между прочим, Чичероваккио. Целью предприятия было возбудить новое восстание в Тоскане, а оттуда идти или в Пьемонт, или в Венецию. Начался удивительный поход этого отряда, преследуемого одновременно французами и австрийцами и, так сказать, таявшего от частых дезертирств. Путь в Тоскану был закрыт, и пришлось переправляться через Апеннины, чтобы спуститься в Романью, где, однако, инсургентов тоже ожидали австрийские отряды. Весь вопрос теперь для Гарибальди и его сподвижников заключался в том, чтобы не попасть в плен. Их спасла близость республики Сан-Марино, где они нашли временный приют, хотя австрийский генерал, шедший по пятам храбрецов, грозил расстреливать всех, кто будет доставлять Гарибальди и его «разбойничьей шайке» съестные припасы и воду. С большим трудом с остатками своего отряда добрался Гарибальди до Адриатического моря и на тринадцати рыбацких барках направился в Венецию, которая еще держалась против австрийцев. Но тут беглецы встретились с австрийскими военными кораблями, и часть барок была ими захвачена. Всех, кого австрийцы взяли в плен во время бегства, они расстреляли (между прочим, Чичероваккио). Гарибальди, однако, спасся, потеряв на дороге свою жену, которая была беременна и которую пришлось нести на руках; преданная женщина не выдержала трудностей похода и скончалась. Население везде по дороге оказывало Гарибальди всякое содействие. Из Равенны через Тоскану и Пьемонт он добрался до берега Средиземного моря и отплыл опять в Америку, чтобы позднее опять вернуться на родину и через десять лет стать во главе новой народной революции. Своими подвигами в войне за освобождение и объединение Италии он покрыл свое имя неувядаемой славой настоящего народного героя. Человек замечательно скромный, простой и добрый, необыкновенно бескорыстный, искренний и чистый, беззаветно преданный родине и народу, храбрый до самозабвения и в то же время в высшей степени искусный в ведении народной вой-

ны, он был боготворим своими добровольцами, почитаем народом как святой, и стяжал любовь, удивление и убежище всего просвещенного мира¹.

Гарибальди, так сказать, явился соединительным звеном между обоими направлениями итальянского объединения. Поражение республиканской партии в 1849 г. заставило некоторых ее приверженцев перейти на сторону савойской династии. Особенно в этом отношении было важно обращение к ней бывшего диктатора Венеции Манина. Этот итальянский патриот после падения Венеции бежал в Париж, где скромно жил уроками итальянского языка, отказываясь от всякой денежной помощи до самой своей смерти (1857 г.). В Париже он стал писать статьи и брошюры, в которых высказывал мысль о необходимости союза с савойским домом. В 1855 г. в газете «*Siècle*»² он обратился к сардинскому королю с такими словами: «Создайте единую и независимую Италию, и в таком случае я и все республиканцы будем на вашей стороне». Манину удалось даже создать особое «Итальянское национальное общество», которое существовало в Пьемонте совершенно гласно и имело тайных членов в других частях Италии, большей частью среди либеральной буржуазии. Это общество стояло за совершенно мирный образ действий и не одобряло восстаний. Мадзини относился к нему неприязненно, и, в свою очередь, оно постоянно враждовало с его «Союзом действия». Один из друзей Манина, положивший вместе с ним начало названной организации, Паллавичино, писал Мадзини, что сто тысяч воинов, на которых он рассчитывает, — одна фантазия и что для победы над австрийским войском нужна действительная, а не призрачная армия, какая у Пьемонта и есть на самом деле. Деятельную роль играл в обществе еще и сицилиец Лафарина. Через него велись переговоры с сардинским государственным человеком Кавуром. К этому же обществу примкнул и Гарибальди, вернувшись из Америки и поселившись на островке Капрере. Для Пьемонта это было весьма благоприятным обстоятельством.

В глазах итальянских патриотов Пьемонт был важен не только тем, что в нем царствовала национальная династия, что он считался естественным врагом Австрии и что у него была хорошая армия, но и тем, что лишь он один не поддался после 1849 г. общей реакции. В то самое время, как в остальных частях Италии царила абсолютистическая и клерикальная реакция, здесь действовала конституция и против господства духовенства принимались меры. Король-джентльмен (*il re galantuomo*) Виктор-Эммануил старался сохранять за собой репутацию либерального конституционного

¹ Одни из лучших страниц, написанных о Гарибальди, принадлежат Герцену, который находился с ним лично в дружеских отношениях. Между прочим, Герцен рассказывает любопытные подробности о приеме Гарибальди в Англии в 1864 г. (см. ниже в гл. XXIX).

² «Век» (фр.). — *Прим. ред.*

монарха, назначающего министрами лишь людей, угодных большинству палаты, и ему тем легче было выдерживать эту роль, что в его распоряжении всегда было послушное большинство. Социальное и политическое состояние сардинской монархии, за исключением Генуи и ее округа, бывшей еще за полвека перед тем республикой и пользовавшейся значительным благосостоянием, было довольно отсталым, и королю-джентльмену не стоило больших хлопот иметь на своей стороне постоянное большинство. Когда большинства не было, король распускал палату и назначал новые выборы, как это и было сделано им в первый же год царствования, когда палата отказалась утвердить мирный договор с Австрией. Правда, среди народных представителей были и сторонники клерикально-абсолютистического режима, господствовавшего в других частях Италии, и республиканцы, разделявшие идеи Мадзини, но они составляли незначительное меньшинство; громадное большинство, хотя оно и делилось само на консерваторов и либералов, стояло и за конституцию, и за династию. Виктор-Эммануил вообще стремился следовать формам английского парламентаризма, хотя под ними и проводил свою чисто личную политику. В первую половину его царствования ему притом много помогал «царствовать, не управляя», его министр граф Камилло Бенцо Кавур. Антиклерикальный характер сардинской политики выразился еще до вступления во власть этого государственного человека. Не обращая внимания на сардинскую конституцию, Пий IX хотел сохранить в королевстве старые церковные суды (*foro ecclesiastico*), и Виктору-Эммануилу не удалось заключить с курией конкордата, выгодного для государства. Тогда министр Сиккарди провел в парламенте законы («сиккардиевские»), отменявшие духовную юрисдикцию (1850 г.). Во время прений по этому вопросу впервые и обратил на себя внимание Кавур. Папа протестовал, а затем и архиепископ Туринский стал возбуждать народ против правительства, но за это он был приговорен судом к заключению в тюрьме. Духовенство, со своей стороны, отказало в причастии умиравшему министру торговли Санта-Розе, а потом не хотело его хоронить, но народ устроил в честь его торжественные похороны. Вскоре после этого заведование делами и принял в свои руки Кавур. В 1850—1851 гг. он был министром торговли и земледелия (потом и финансов), а после кратковременной отставки занимал с 1852 по 1859 г. пост первого министра, вернувшийся к нему снова после нового полугодового перерыва в январе 1860 г., но уже за полтора года до своей смерти.

В международных отношениях в эпоху второй империи кроме самой Франции наиболее деятельную политику вели Сардиния и Пруссия, и рядом с именем Наполеона III, как устроителя судьбы народов и государств, назывались в эту эпоху только имена сардинского (потом итальянского) министра Кавура до начала шестидесятых годов и прусского (впоследствии германского) государственного деятеля Бисмарка с начала шестидеся-

тых годов. Между обоими министрами притом было много общего. По своему характеру оба они были люди необычайно властные и стремились все подчинить своей воле; оба старались пользоваться народным представительством в видах своей личной политики; оба были врагами демократии и революции, хотя и вынуждены были содействовать своей политикой революции в чужих владениях; оба они выступили в роли сторонников национального объединения и притом оба не столько в качестве патриотов единого целого, сколько в особых интересах отдельных частей этого целого, т. е. Пьемонта в Италии и Пруссии в Германии, оба — как слуги своих династий; оба они вместе с тем проявили большое политическое искусство во внутренних делах и особенную ловкость в своей дипломатии. И Кавур, и Бисмарк имели, наконец, и аналогичную задачу — выбить Австрию из Италии и Германии, сломить партикуляризм отдельных итальянских и немецких земель даже с устранением со своего пути царствовавших там династий и, таким образом, создать национальное единство. Исполнить эту задачу одинаково и Сардинии, и Пруссии помог Наполеон III, которого одинаково же сумели обойти и Кавур, и Бисмарк.

Кавур не был вполне итальянцем. По его же словам, в его жилах текло «немножко савойской крови», да и говорил он преимущественно по-французски или на пьемонтском наречии. В год рождения Кавура (1810 г.) его родина, Пьемонт, была еще французской провинцией, и воспитание он получил тоже чисто французское. Отец его, аристократ по происхождению и убеждению, занимал в Турине важную должность, отличался реакционным направлением и приумножал свое состояние разными спекуляциями. Сначала он пристроил своего сына при дворе в качестве пажа, потом потребовал, чтобы он вступил в военную службу, но молодой человек не ужился ни там ни здесь. Двадцати двух лет он был свободен и начал вести жизнь богатого человека с научными и литературными вкусами. Уже в эту пору Кавур выказывал взгляды, шедшие вразрез с семейными традициями и правительственным режимом; но начавшееся в Италии после Июльской революции политическое движение его совершенно не затронуло. Обладая хорошим состоянием, он прожил несколько лет за границей, в Англии и во Франции, вращаясь в политических и литературных кругах. В первой из этих стран он сделался поклонником тамошней конституции, в другой — врагом коммунизма, и в обеих проникся уважением к либеральной экономической доктрине. В одном из французских журналов он выступил в то время с публицистическими статьями на разные современные темы. Одна его статья была «О коммунистических идеях и способах бороться с их распространением»: в ней автор высказывал о новых социальных идеях тот общий приговор, что они суть лишь порождения зависти и невежества и что лучшее средство им противодействовать заключается в распространении здравых истин политической экономии.

Когда перед 1848 г. в Италии несколько оживилась общественная жизнь, Кавур принял в ней участие в роли одного из редакторов либеральной газеты, которой дал название «Risorgimento», как принято было называть тогдашнее возрождение Италии. Эта газета провозглашала независимость Италии, основанную на солидарности итальянских государей между собой и со своими подданными и соединенную с внутренними реформами. Около того же времени Кавур и несколько его единомышленников обратились к неаполитанскому королю с письмом, в котором просили его дать конституцию своему государству; а у себя на родине он тоже возбудил в собрании журналистов вопрос о необходимости введения конституции. Это было в самом начале 1848 г., когда уже были налицо все признаки начинавшейся революции. Кавур, пропагандировавший в своем органе английскую конституцию, указывал на то, что нужно действовать, пока не будет поздно, т. е. пока доведенный до последней крайности народ не произведет сам низвержения властей. Затем вместе со своими друзьями Кавур написал петицию Карлу-Альберту о даровании конституции, о чем хлопотал перед сардинским правительством и английский посланник. Карл-Альберт, как известно, тогда же исполнил это требование. Вскоре после этого Кавур стал писать и о необходимости объявления войны Австрии. Но на действия демократической партии, которая в 1848 г. начала поднимать народные восстания, он нападал в своей газете с такою страстностью, что вскоре сделался одним из самых непопулярных людей в глазах тогдашних патриотов. В палате депутатов, в которую он был выбран, он высказывался в том же смысле, чем вызывал против себя шумные выражения неудовольствия. Кавура пугало народное движение, и вместе с тем он не доверял народным силам. Он думал, что борьба с Австрией должна была вестись армиями итальянских государей, причем вопреки господствовавшему мнению, что Италия справится сама («Italia farà da se»), он настаивал на том, чтобы искать покровительства итальянскому делу у Англии, которая тогда действительно относилась благосклонно к итальянскому национальному движению. В палате Кавуру даже очень часто свистали в ответ на его речи, шедшие вразрез с тогдашним настроением патриотов. Ставилось тогда ему в вину и то, что он находился в довольно близких отношениях с клерикалами. В самой первой сардинской палате вообще преобладали демократы, и Кавур поэтому занимал в ней место среди крайней правой. Мало-помалу, однако, именно с 1850 г. он начал отставать от этой партии и даже особенно прославился своими антиклерикальными речами во время прений по поводу «сиккардиевских законов». В этом же году он вступил в министерство д'Азельо. Соглашаясь на предложение д'Азельо сделать Кавура министром, Виктор-Эммануил предсказывал, что он всех ссадит с занимаемых ими мест. Так и случилось. С 1852 г. Кавур начал играть в министерстве первую роль, забрав в свои руки все важнейшие дела

государства, особенно финансы и дипломатию, причем совсем разошелся с правой и стал все более и более сближаться с левой монархического и конституционного большинства.

Главной заботой Кавура с 1852 по 1859 г. было подготовить Сардинию к борьбе с Австрией. Для этого нужны были армия, денежные средства и союзники. Помощником Кавура в реорганизации и усилении войска явился генерал Ламормора. Будучи очень искусным финансистом, Кавур ввел в государственном хозяйстве важные улучшения, но особенно он старался об общем поднятии национального богатства. Вполне разделяя принципы манчестерской школы и опираясь на пример Англии, перешедшей к свободной торговле, он ввел эту систему и в Сардинии, в то же время всячески поощряя развитие обрабатывающей промышленности, строя железные дороги или помогая в этом деле акционерным компаниям, расширил генуэзский торговый порт и т. д. Правда, от всего этого выгоды доставались главным образом буржуазии и акционерным компаниям, а государственный долг Сардинии страшно возрос, так как было сделано займов на 400 слишком миллионов франков¹. Для увеличения государственных средств Кавур обложил церковные имущества и секуляризировал около 330 монастырей (из 600), чем вызвал протест со стороны папы. Наконец, он все это время хлопотал о том, чтобы иметь союзников для предстоявшей войны с Австрией.

Сначала, в конце сороковых годов, Кавур думал только об Англии. Во Франции была демократическая республика, и происходили народные движения, поэтому оттуда скорее могла бы прийти помощь итальянским революционерам, чем савойской династии. Государственный переворот 2 декабря успокоил Кавура насчет Франции, и чтобы привлечь на свою сторону нового повелителя французов, Кавур добился издания закона, налагавшего кары за оскорбления иностранных правительств путем печати. Нужно заметить, что Наполеон III был очень щепетилен в этом отношении, и ему немало огорчений доставляло то, что, например, английское правительство не обуздывало враждебной ему прессы. В Пьемонте тоже на него стали нападать за 2 декабря, и понятно, что он должен был быть весьма благодарен министру, защитившему его от итальянских демократов. В 1852 г. Кавур, воспользовавшись временной отставкой, съездил в Париж и имел аудиенцию у императора, с которым вел политическую беседу. Когда началась Крымская война, Кавур решил извлечь из нее выгоду для Сардинии и вступил в переговоры с Англией и Францией о союзе, взяв на себя в начале 1855 г. министерство иностранных дел. (Вообще, он довольно самовластно распоряжался министерскими портфелями и все более и более подбирал себе вполне послушных людей. Недаром одна сатирическая га-

¹ В 1847 г. Сардиния была должна только 100 млн, после 1848—1849 гг. — около 300 млн, к 1859 г. — более 700 млн.

зетка, бывшая, впрочем, вполне очарованной Кавуром, поместила однажды карикатуру, на которой он был изображен пишущим обеими руками и обеими ногами, тогда как другие министры тут же под столом покоятся сном праведников; подписано было: «Кавур делает все, а прочие — остальное».) Дипломатический план Кавура состоял в том, чтобы парализовать политическое влияние Австрии в Италии влиянием французским, опираясь на давнишнее соперничество обеих великих держав, и при помощи одной из них отнять у другой Ломбардо-Венецианское королевство для присоединения его к Пьемонту. Критикуя впоследствии этот план, Мадзини писал, что Кавур не имел настолько высокого ума и сердца, чтобы подняться до идеи национального единства, и что потому он приковал себя к одному интересу — к чисто династическому интересу савойского дома, для которого захотел создать королевство Северной Италии, оставив другие части полуострова во власти папы и прочих государей. «Разумеется, — говорил далее Мадзини, — одному Пьемонту это было не под силу, и вот поэтому-то Кавур, отвергая союз с народом, и стал искать сближения с Бонапартом и против Австрии, и против народной революции». Война Англии и Франции с Россией дала Кавуру случай оказать услугу союзным державам посылкою в Крым сардинского отряда.

Не следует думать, чтобы эта экспедиция была всецело обязана своим происхождением самому Кавуру. Англия и Франция в 1854 г. сильно добивались иметь на своей стороне Австрию. Думая заставить ее сдаться на предложение вступить с ними в союз, оба правительства стали открыто искать союза с Пьемонтом, к которому Австрия относилась с нескрываемой ненавистью и с которым в 1853 г. даже разорвала дипломатические сношения. Мера удалась, и Австрия хотя и не приняла участия в войне, но стала на сторону Англии и Франции, чтобы помешать слишком тесному сближению их с Пьемонтом. Такое поведение Австрии, однако, мало удовлетворяло Наполеона III, и он настойчивее стал звать Виктора-Эммануила в свой союз. Есть даже известие, что Наполеон III прямо вынудил у Сардинии этот союз. Так как Австрия отказывалась от участия в общих действиях, ссылаясь на угрожающие положения своей итальянской соседки, то Наполеон III потребовал у Виктора-Эммануила, чтобы тот или разоружился, или позволил Австрии поставить гарнизон в Александрии или же послал тридцатитысячное войско в Крым¹. Восточный вопрос совсем Сардинии не касался, с Россией у нее никаких серьезных счетов не было, но в предприятии была выгодная сторона — участвовать в общем конгрессе по окончании войны, заявить там свои притязания, иметь при этом на своей стороне Англию и Францию и даже, быть может, не встретить противодействия со стороны России, которая должна же захотеть

¹ Достоверность этого известия защищает Кошут, но оно признается далеко не всеми.

отомстить Австрии за ее неблагодарность. Англия предложила взять войска Виктора-Эммануила на свое содержание в качестве вспомогательного корпуса, но Кавур хотел вступить в союз на равных правах и снарядил 15-тысячное войско на счет самой Сардинии. В том же самом 1855 г. Виктор-Эммануил побывал в Париже и в Лондоне в сопровождении своего министра. В следующем году Сардиния, представленная самим Кавуром, участвовала в Парижском конгрессе несмотря на Австрию, которая сначала этого не хотела допустить. Кавур воспользовался конгрессом, чтобы поднять итальянский вопрос. Все дело, однако, ограничилось лишь заявлениями, рассматривать которые дипломаты, не имевшие полномочий от своих правительств, отказались, да представлением Наполеону III докладной записки. Желания, высказанные Кавуром, заключались в том, чтобы австрийское влияние было ослаблено, чтобы были выведены австрийские войска из Церковной области, чтобы в этой последней были введены реформы и чтобы было прекращено несогласие, царствующее между отдельными итальянскими государями.

Итальянские патриоты были крайне недовольны таким жалким результатом. Они говорили, что не Кавур первый открыл глаза Европы на бедствия Италии, — как это ставилось ему в заслугу общественным мнением других стран, — и что задача национальной политики не в том, чтобы австрийское влияние заменить французским. Они даже утверждали, будто и само возбуждение итальянского вопроса на конгрессе было делом самого Наполеона III, нуждавшегося в предлоге для вмешательства в итальянские дела, а вовсе не Кавура. Как бы там ни было, после 1856 г. Сардиния действительно, находилась как бы под французским протекторатом, и ее правительство после этого в течение целых десяти лет должно было во многих случаях считаться с желаниями Наполеона III.

После Парижского конгресса в Италии усилилось революционное брожение, которое одинаково беспокоило и Наполеона III¹, и Кавура. Часть итальянских патриотов стояла на стороне Мадзини, другая устроила «Национальное общество», которое через Лафарину вошло в сношения с Кавуром. Последний одобрил основные идеи этой организации и однажды на тайном свидании с Лафариной сказал ему: «Делайте, что можете, но знайте, что перед всем светом я отрекись от вас, как отрекся Петр от Спасителя». Летом 1858 г. между Наполеоном III и Кавуром произошло знаменитое тайное свидание в Пломбьере: здесь и была решена война против Австрии, причем Сардиния должна была получить от Австрии Ломбардо-Венецианское королевство, а Франция от Сардинии — Савойю и Ниццу. Даже французским министрам осталось неизвестным это соглашение, но Наполеон III все-таки обеспечил себя нейтралитетом со сторо-

¹ Вспомним покушение Орсини, о чем выше.

ны Пруссии и России. Горячим приверженцем этого союза, как мы видели, был принц Наполеон, мечтавший даже о возложении на свою голову тосканской короны.

1 января 1859 г., принимая поздравления дипломатического корпуса, Наполеон III сказал австрийскому посланнику: «Я сожалею, что наши отношения с вашим правительством не так хороши, как прежде. Прошу вас передать императору, что личные мои к нему чувства не изменились». По соглашению с Наполеоном III и Виктор-Эммануил вскоре произнес в палате тронную речь о том, что горизонт заволакивается тучами, но что Сардиния исполнит свой патриотический долг, раз со всех концов поработанной Италии раздаются стоны и вопли народа (10 января). В том же январе 1859 г. в Турин приехал принц Наполеон и вступил в брак с принцессой Клотильдой, дочерью Виктора-Эммануила. Появившаяся около этого же времени брошюра «Наполеон III и Италия» предлагала превращение Италии в союз под почетным председательством папы, но под действительной гегемонией сардинского короля. Союзникам оставалось только вызвать Австрию на объявление войны, чтобы не первым на нее напасть, так как в противном случае она имела бы право призвать к себе на помощь Германский союз. Благодаря своей дипломатической изворотливости, Кавур достиг и этого.

Война с Австрией была необычайно популярна среди всех передовых партий в разных странах Европы. В Италии даже республиканцы на этот раз выражали свое удовольствие, и со стороны Мадзини и его приверженцев не было оказано противодействия, тем более что все политические преступники получили безусловную амнистию; в движении принял самое деятельное участие и Гарибальди. Палата депутатов вручила Виктору-Эммануилу диктатуру. Наполеон III, объявивший, что цель его — освобождение Италии до Адриатического моря, лично явился в Италию. Война была объявлена Австрией 30 апреля, а уже в начале июня поражение австрийцев при Мадженте (4-го числа) доставило союзникам Ломбардию; через несколько дней оба государя вступили в Милан. Упоенный победой, французский император обратился к итальянцам с приглашением соединиться под знаменами Виктора-Эммануила, чтобы быть пока солдатами, а потом сделаться «свободными гражданами великой страны». 24 июня произошла новая битва, одна из кровопролитнейших битв в Новейшей истории — при Сольферино, после которой австрийцы снова отступили. Война началась, таким образом, с величайшим блеском для французского оружия, но вместо того чтобы продолжать борьбу, Наполеон III совершенно неожиданно заключил мир. Ряды его армии сильно поредели от битв и болезней и были крайне утомлены большими переходами и страшным зноем, да и на самого императора произвели отталкивающее впечатление поля битв, покрытые трупами и ранеными. Вместе с этим он видел, что начавшееся в Италии на-

родное движение не успокоится на одном присоединении к Пьемонту лишь Северной Италии, но что может угрожать опасность и светской власти папы. Встревожили, наконец, его и известия из Германии, где Пруссия готовилась к вооруженному посредничеству и легко могла двинуть армию на Рейн. 11 июля между Наполеоном III и Францем-Иосифом состоялось личное свидание в Виллафранке, на котором были приняты следующие прелиминарные условия мира: Италия превратится в конфедерацию под почетным председательством папы с условием включения в нее Венецианской области, остающейся, однако, под верховной властью Австрии, и с условием введения реформ во владениях папы, а также полной амнистии лицам, показавшим неблагонадежность в последних событиях; вместе с этим австрийский император уступал французскому императору Ломбардию, за исключением двух крепостей (Пескьеры и Мантуи); изгнанные незадолго перед тем из своих владений великий герцог Тосканский и герцог Моденский должны были вернуться в свои владения.

Европа была поражена неожиданностью, Италия негодовала: Наполеон III не исполнил своего обещания и снова отдавал Австрии всю Италию. Хотя он и посоветовал итальянским государям ввести у себя реформы, но после Виллафранки они надеялись более на Австрию. Народ в Италии смотрел на Наполеона III и на французских солдат как на изменников и предателей. Правда, Ломбардия была уступлена Наполеоном III Виктору-Эммануилу, но в это время уже и в других частях Италии обнаружилось могущественное движение, поставившее своею целью присоединение к Пьемонту. Органы передовой партии («Italia del popolo», лондонский «Pensiero ed azione»¹ и др.) гораздо раньше предостерегали своих соотечественников от союза с Наполеоном III, указывая на то, что он вовсе не желает единой Италии; они даже предсказывали, что император помирится с Австрией и бросит Пьемонт на произвол судьбы. Кавур через день после заключения мира вышел в отставку и начал действовать в качестве частного лица в союзе с монархическими сторонниками объединения Италии. На этот раз он уже пошел далее и примкнул к объединительному движению, совершавшемуся в значительной части нации. Когда он снова вернулся к власти (январь 1860 г.), Средняя Италия была уже фактически во власти Виктора-Эммануила, и Кавуру удалось уговорить Наполеона III согласиться на расширение территории Сардинии за уступку Франции Савойи и Ниццы.

Дело в том, что, начиная войну с Австрией, Виктор-Эммануил обратился с воззванием ко всей итальянской нации, призывая ее к оружию. В Тоскане, Модене, Парме и в части Церковной области (Романье) по соглашению с туринским правительством после удаления австрийских войск, стоявших

¹ «Итальянский народ»; «Мысль и действие» (ит.). — Прим. ред.

в этих землях, вспыхнули народные восстания, образовались временные правительства и состоялись постановления собраний депутатов в Тоскане и Романье и всенародные — в Парме и Модене о присоединении к королевству Сардиния (август—сентябрь 1859 г.). Несколько месяцев эти провинции находились в неопределенном положении, и их судьбу, по мысли Наполеона III, должен был решить международный конгресс, который, однако, не состоялся вследствие отказа папы прислать своего делегата. Положение Виктора-Эммануила, не желавшего идти против Наполеона III, но в то же время вызвавшего против себя страшное раздражение среди республиканцев, было крайне затруднительным. В самом Пьемонте демократы основали «Союз вооруженной нации», поставивший своей целью поднять во всей Италии революцию для достижения единства. Часть монархистов была тоже за продолжение войны. Король тогда и призвал снова к власти Кавура, который убедил Наполеона III не противиться желанию Средней Италии. Для санкции присоединений была принята система всенародных голосований, которые произошли в марте 1860 г. За присоединение было подано подавляющее большинство голосов. Парма, Модена и Романья, успевшие уже соединиться в королевские провинции Эмилии, дали более 425 тысяч утвердительных голосов против семи с небольшим сотен отрицательных, а в Тоскане утвердительных голосов было более 365 тысяч против 15 тысяч отрицательных. Савойя и графство Ницца должны были быть равным образом присоединены к Франции (а не уступлены ей) в силу всенародного голосования, которое дало большинство 130 тысяч против 2 тысяч в Савойе и 25 тысяч против полутора сотни в Ницце (апрель). Наполеону III Савойя и Ницца были нужны в эту минуту, чтобы поднять свою популярность ввиду начавшейся клерикальной оппозиции. Но Кавур уступкой Савойи и Ниццы разъединил интересы Франции и Англии, которая была этим очень недовольна. «Теперь вы — наши сообщники», — сказал Кавур французскому посланнику после заключения договора. Понятно, что эта уступка части итальянской территории страшно вооружила против Кавура общественное мнение страны. Тем не менее палата одобрила его подавляющим большинством.

Таким образом, в начале 1860 г. вся Северная и большая часть Средней Италии, за исключением Венеции и Рима с их областями, находились под властью Виктора-Эммануила. 1860 г. принес ему, кроме того, и Южную Италию, где вспыхнула народная революция, руководимая республиканцами и выдвинувшая на первое место Гарибальди.

В 1859 г. умер «король Бомба». Его молодой сын, Франциск II, пошел по стопам отца. После виллафранкского мира французский посланник, поддерживаемый посланником русским, склонял нового короля вступить в союз с Пьемонтом, как того желал и Виктор-Эммануил, советовавший вместе с тем Франциску II дать своим подданным конституцию, но Фран-

циск II слушался более внушений Австрии. Между тем общее национальное движение охватило и его владения. Волнением умов в Сицилии и Неаполе воспользовалась республиканская партия, и Гарибальди предпринял не более не менее, как завоевание всей Южной Италии.

В 1859 г. Гарибальди принимал участие в военных действиях Сардинии, но оставил службу, когда увидел, что Виктор-Эммануил идет совсем не туда, куда направлены были его собственные помыслы. Он крайне был недоволен тем, что сардинское правительство помешало ему вторгнуться из Тосканы в Церковную область, и был особенно огорчен уступкой Ниццы, его родины. Он вышел тогда же и из состава «Национального общества», в котором числился почетным председателем, опять-таки будучи недоволен миролюбием и этого союза. Виктор-Эммануил и Кавур удовлетворялись частью Италии, оставив Венецию в руках австрийцев, не тронув папу в Риме, задумав даже союз с Неаполем, Гарибальди же стоял за мадзиниевскую единую Италию. Когда он еще только собирался в свой поход, Кавур ожидал, что он будет действовать в пользу Пьемонта, и не мешал его предпрятию, но Гарибальди скоро совсем подчинился видам республиканской партии и своими необычайно быстрыми успехами привел в крайнее смущение Наполеона III, Виктора-Эммануила, Кавура и всю либеральную партию, которые всячески и стали, конечно, противодействовать осуществлению мадзиниевской идеи. Наполеон III был против лишения папы светской власти, Виктор-Эммануил и Кавур — против республиканского характера движения, и представители либеральной партии стали склонять Гарибальди к перемене политики.

В апреле 1860 г. началось революционное движение в Сицилии, и демократический комитет в Генуе решил немедленно оказать ему помощь, поставив во главе экспедиции Гарибальди. Сардинское правительство не мешало, хотя официально и отреклось от всякого сообщничества с предпрятием Гарибальди. Во главе тысячного отряда добровольцев («тысяча Марсалы»), отличительным признаком которых были красные рубашки (гарибальдийки), Гарибальди высадился в Сицилии и при помощи народного восстания очень скоро овладел всем островом (май—июль). Молодой король пошел на уступки, объявил конституцию, принял трехцветное знамя и т. п. Французское правительство начало настаивать в Турине, чтобы Виктор-Эммануил остановил Гарибальди. Король написал народному вождю письмо с предложением оставить намерение идти на Неаполь, но получил в ответ, что народ призывает его и что он не может оставить начатого дела. В августе гарибальдийцы частями переправились на материк через Мессинский пролив, не встретив серьезного сопротивления; напротив того, неаполитанские солдаты даже перебежали на сторону Гарибальди. Победитель мог заранее назначить день своего вступления в столицу. 6 сентября Франциск II бежал из Неаполя в то самое время, как в город

уже вступали первые отряды гарибальдийцев. На другой день запросто, по железной дороге, прибыл в Неаполь и сам Гарибальди. Население города с энтузиазмом приняло освободителей. Флот отказался следовать за королем в Гаэту и тоже перешел на сторону революции. Некоторое время в руках Гарибальди не было лишь Гаэты и Капуи, но и они были впоследствии неаполитанским королем потеряны. Овладев Южной Италией, Гарибальди решил завоевать и Церковную область, но здесь уже встретился с серьезным препятствием. Наполеон III не мог допустить уничтожения светской власти папы, Кавур боялся, что революционное движение может охватить и уже присоединенные части Италии. С согласия Наполеона III, которому было указано на необходимость остановить поток, угрожающий монархическим правительствам, Кавур через папские владения (Умбрию и Марки) двинул к неаполитанской границе пьемонтскую армию. Папское войско потерпело поражение при Кастельфидардо (18 сентября), а через несколько дней была взята Анкона, после чего пьемонтская армия двинулась к неаполитанской границе.

В это время высшая власть в бывшем королевстве Обеих Сицилий принадлежала Гарибальди, который принял титул диктатора. Хотя он и заявлял, что действует ради итальянского единства под властью Виктора-Эммануила, но не спешил с присоединением обеих частей неаполитанской монархии к Пьемонту. Он ставил своей целью взять Рим и лишь тогда хотел уже решать судьбу освобожденных областей. К Кавуру он относился с нескрываемым недоверием, а окружавшие его лица не очень-то доверяли и самому Виктору-Эммануилу. Посылая пьемонтские войска в неаполитанское королевство, Кавур оправдывал этот шаг перед Европой тем, что, бросив страну на произвол судьбы, Франциск II тем самым отказался от короны и что без вмешательства Виктора-Эммануила Италии грозила бы анархия; а к «народам Южной Италии» была составлена прокламация, в которой говорилось, что Виктор-Эммануил повинуетея лишь голосу народа, призывающего его со всех сторон. «Вся Италия, — сказано было в прокламации, — испугалась, как бы под авторитетом одного популярного и славного имени не утвердилась партия, которой ничего не стоит пожертвовать близостью национального торжества мечтам своего честолюбивого фанатизма»; дальше в прокламации эта партия была названа разноплеменным и разноязычным сбродом, собранием космополитических сект и т. п., которые представляют собой самый худший вид иностранного вмешательства и составляют планы или реакции, или всеобщей демагогии. Король провозглашал поэтому «Италию итальянцев» и «примирение прогресса народов с неприкосновенностью монархий», которое будет для Италии «концом эпохи революции». В этой прокламации осуждалась самым резким образом вся деятельность ближайших друзей и сотрудников Гарибальди. Этим, конечно, воспользовались Мадзини и его

приверженцы, чтобы, опираясь и на нерасположение диктатора к Кавуру, еще сильнее начать настаивать перед ним на необходимости не присоединять Неаполь и Сицилию к Пьемонту. Но на Гарибальди действовали одновременно и представители савойской партии, члены бывшего «Национального общества», подогревавшие давнишнее расположение Гарибальди к Виктору-Эммануилу, в котором он видел орудие Божьего промысла для освобождения Италии. Большая народная манифестация в Неаполе, во время которой жители города ходили по улицам с бумажками на шляпах, имевшими на себе слово «si» («да»), склонила Гарибальди окончательно в пользу присоединения. 21 октября в Неаполе и Сицилии происходил плебисцит, который дал более 1,3 млн голосов в Неаполе и 430 тысяч в Сицилии за присоединение к Пьемонту против 10 тысяч с небольшим в одной стране и только 667 голосов в другой. В ноябре происходило голосование в папских Марки и Умбрии, которые тоже присоединились к Пьемонту. Гарибальди сложил с себя звание диктатора и передал власть в руки Виктора-Эммануила, которого и сопровождал при его торжественном въезде в Неаполь (7 ноября). В январе 1861 г. происходили в старых и новых владениях Виктора-Эммануила выборы, и парламент, громадное большинство членов которого состояло из сторонников политики Кавура, провозгласил Виктора-Эммануила «милостью Божьей и по воле народа королем Италии» (17 марта). Австрия, папа и монархи, лишенные своих владений, протестовали, но их протест остался без всякого действия. Наполеон III был «сообщником» (complice) Кавура, и нельзя же было послать французов драться против своих недавних союзников, как этого требовали клерикальная партия и вся католическая паства. Впрочем, некоторое время французский отряд все-таки помогал Франциску II держаться в Гаэте.

Кавур, действовавший всегда не иначе как с разрешения Наполеона III, был вполне доволен достигнутыми результатами и отказался от Венеции и Рима, хотя и пытался убедить Пия IX, что светская власть несовместима с главенством в католической церкви. Он вообще стоял на точке зрения «свободной церкви в свободном государстве», а курия этой точки зрения не разделяла. Между тем крайние патриоты (italianissimi) не хотели удовольствоваться Италией без Рима и Венеции. Мадзини снова начал агитацию против Виктора-Эммануила и Кавура, да и сам Гарибальди стоял за продолжение начатого дела. Он негодовал на Кавура и за то, что тот распустил созданную им армию добровольцев и всячески стеснял его товарищей по оружию. В апреле 1860 г. он дал волю своему негодованию в парламенте, где сделал предложение о необходимости призвать к оружию весь итальянский народ. Кавур, хлопотавший лишь о том, чтобы остановить всякое дальнейшее движение в нации, и пускавший в ход для этого все, что было в его власти, старался смягчить недовольного патриота и просил у него примирения, но от своей политики не отступал. Гарибальди удалил-

ся тогда на свою Капреру, где и стал снова жить частным человеком. Вскоре и Кавур сошел со сцены, скончавшись в июне 1861 г.

Сардинская конституция была распространена на все новое королевство, столицей которого временно объявлена была Флоренция (1864 г.). После смерти Кавура продолжателем его политики сделался сам Виктор-Эммануил. Будучи лично ревностным католиком (каким был и его министр), он старался смягчить отношения Италии к папе, который, наоборот, не хотел его признавать как узурпатора. Среди самих итальянцев произошло по римскому вопросу разделение на партии, да и вообще новые отношения произвели новую группировку политических партий в стране и в парламенте. Фанатики католицизма, бывшие в то же время и сторонниками абсолютизма, кричали громко об ограблении папы; впрочем, в палате они почти не имели представителей, так как папа запретил верным выбирать и выбираться (*ne elettori, ne eletti*) в парламент. Благодаря тому что конституция была основана на избирательном цензе, демократическая партия тоже не могла иметь значительного представительства. Подавляющее большинство парламента было конституционное, хотя и распадалось на две фракции (правую и левый центр), попеременно находившиеся у власти. В группировке партий замечался некоторый партикуляризм, и большинство депутатов из боязни партикуляризма не решилось согласиться на сделанное некоторыми депутатами предложение ввести провинциальное самоуправление. Напротив того, в Италии возобладала французская система административной централизации с назначенными префектами и мэрами и с искусственным областным делением. В церковных делах наиболее влиятельная и чаще бывшая у власти партия (правая) держалась, наоборот, системы, далекой от французской, и «хотела свободной церкви в свободном государстве», но Пий IX не шел ни на какие соглашения с итальянским правительством (знаменитое «*non possumus*»¹, которым папа отвечал на все предложения Виктора-Эммануила). Лишь после неудачи, постигшей короля в попытке заключить с папой договор относительно замещения епископских кафедр и других вопросов, правительство упразднило монастыри и конфисковало их имения, приняв содержание духовенства на счет государства и сильно сократив число духовных училищ. Бывшие духовные имения стали распродаваться — мера, которой правительство думало отчасти поправить расстроенные финансы страны. Дело в том, что объединение Италии обошлось казне недешево: война 1859 г. и необходимость содержать большие армию и флот, с одной стороны, принятие на себя долга упраздненных монархий — с другой, привели государственное хозяйство в полное расстройство, и для покрытия дефицитов правительству приходилось прибегать к новым займам.

¹ «Не можем» (лат.). — Прим. ред.

Главной задачей всех министерств с 1861 г. было выпутываться из финансовых затруднений, не ослабляя военной силы Италии, и принаравливаясь к изменчивым течениям внешней политики. Так как между правой и левым центром разница была не особенно большая, то перемена министерств политического значения для страны не имела, тем более что у власти становились большей частью одни и те же люди, а за ними была «неизменная мысль» в лице короля. В заботах о наполнении казны создавались новые налоги, и в 1868 г. даже был восстановлен отмененный в 1859 г. вследствие крайней своей обременительности и непопулярности в населении налог на помол, создавший дороговизну хлеба. С другой стороны, для народного благосостояния ничего серьезного не предпринималось. Народ, доведенный до обнищания прежним режимом, не получил облегчения от объединенной Италии. Поэтому он продолжал волноваться и, смотря по обстоятельствам, становился на сторону той или другой из враждебных правительству партий. В Южной Италии необычайно развилось разбойничество (каморра в Неаполе, мафия в Сицилии), которое попало под влияние партии абсолютистов и терроризировало население, в особенности приверженцев нового королевства. Эта своеобразная народная оппозиция нередко находила сочувствие и поддержку у мирных жителей, что затрудняло борьбу с нею правительства: иногда между его врагами, имевшими природную защиту в горах своей родины, и присланными для их поимки солдатами происходили настоящие битвы. Неудовольствием других народных элементов пользовалась республиканская партия. В это время в Италии еще не было ясного сознания социального вопроса, и демократия жила старыми принципами Мадзини. На первом плане для нее стояло окончательное объединение Италии, и прежде всего обращение Рима в столицу королевства.

Для итальянского правительства это был самый трудный вопрос внутренней и внешней политики в течение всего первого десятилетия существования единого королевства. Общественное мнение страны было за присоединение Рима, а радикальная партия не отказывалась от мысли добыть Рим таким же образом, как она это сделала в 1860 г. с Сицилией и Неаполем, и с этой стороны итальянскому правительству приходилось считаться с римским вопросом в своей внутренней политике, тогда как иностранные государства с Францией во главе и католики всего мира были против занятия Рима, и Наполеон III продолжал там держать свой гарнизон. Кавур до конца своей жизни хитрил и с итальянцами, и с Европой, оставив вопрос о Риме открытым. Открытым считал его и Гарибальди, удалившись на время в частную жизнь. Партия действия готовилась к новому предприятию, и даже стала подумывать о присоединении к Италии и южного Тироля и всех тех земель по ту сторону Адриатического моря, где население говорит по-итальянски. Для большего успеха она вступила в союз с венгерски-

ми выходцами, увлекши даже Кошута. Летом 1862 г. Гарибальди оставил свое капрерское уединение и во главе отряда добровольцев появился снова в Сицилии, чтобы начать завоевательный поход на Рим. Узнав об этом, Наполеон III послал в Рим свежие войска для подкрепления французского гарнизона в Вечном городе. Он даже грозил занять Неаполь, если итальянское правительство не подавит этой революции. Виктор-Эммануил, поддерживаемый парламентом, в начале августа обратился к своим подданным с прокламацией, в которой объявлял всякое воззвание, исходящее не от короля, за призыв к мятежу и междоусобию, за который закон грозит строгим наказанием. При Аспромонте между отрядом Гарибальди и отрядом королевской армии началась перестрелка, вопреки приказаниям обоих начальников. Гарибальди поскакал к своим солдатам, чтобы велеть прекратить стрельбу, и в это время был ранен в ногу. Битва прекратилась, но раненый очутился в плену. Виктор-Эммануил даровал, однако, своему пленнику амнистию; да и делать ему более ничего не оставалось ввиду громадной популярности Гарибальди в Италии и сильного сочувствия, которое проявилось к нему во всей Европе по поводу его раны и плена. В сентябре 1864 г. Франция и Италия заключили между собой конвенцию, по которой Италия делала своей столицей Флоренцию, а Франция обязывалась вывести свои войска из Рима под условием, чтобы итальянское правительство охраняло светскую власть папы и чтобы сам папа организовал армию, достаточную для самозащиты, но безопасную для Италии. Папа, крайне недовольный этим соглашением, состоявшимся без его участия, ответил на него знаменитыми энцикликой «Quanta cura» и «Силлабусом», вызвавшими неудовольствие католических государей, но встреченными восторгом со стороны клерикалов.

Сентябрьская конвенция решала вопрос о Риме, по крайней мере на время, в смысле, неблагоприятном для итальянских притязаний, и Виктор-Эммануил задумал тогда утешить своих подданных видами на Венецию. Через несколько дней после этого он образовал новое министерство, во главе которого был поставлен генерал Ламармора, известный всем своей «пруссоманией». Пруссия в это время искала союзников против Австрии, и Бисмарк в октябре посетил Наполеона III в Биаррице, где и хлопотал разрешение для Италии вступить в союз с Пруссией.

Через год он еще раз съездил в Биарриц и вступил с Наполеоном III в новые переговоры, во время которых, по-видимому, состоялось соглашение о присоединении к Италии Венецианской области. В 1866 г. вспыхнула Австро-прусская война. Италия была в союзе с Пруссией и имела обещание со стороны Наполеона III не противиться приобретению ею Венеции. Пруссия помогла Италии даже деньгами. В этой новой войне с Австрией опять принял участие и Гарибальди, который поставил своей целью вторжение в Тироль, чтобы обойти австрийскую армию. С самого начала,

однако, итальянское войско потерпело поражение при Кустоцце (24 июня) и должно было отступить в то самое время, как Пруссия, одержав над Австрией несколько побед, нанесла ей окончательное поражение при Сadowой (3 июля). На другой же день после этого Франц-Иосиф телеграфировал Наполеону III, что уступает ему Венецианскую область для передачи ее Италии и просит его вмешательства для заключения мира с Италией и перемирия с Пруссией. Французский император тотчас же предложил Пруссии и Италии свое посредничество, но ни Бисмарк, ни Виктор-Эммануил не были расположены прекратить войну. Итальянское правительство охотно приняло бы Венецию, если бы Пруссия была побита, Бисмарк же подбивал его не мириться. Притом Виктору-Эммануилу хотелось восстановить «честь знамени» после поражения при Кустоцце, а для этого Венецию нужно было завоевать. Мало того, в Италии уже мечтали и о дальнейших завоеваниях. Наполеон III, который в это время сильно хворал и далек был от какой бы то ни было решительной политики, находясь под противоположными влияниями сторонников Австрии и сторонников Пруссии и Италии, бездействовал, и война продолжалась. Итальянцы снова вступили в Венецианскую область и имели там несколько успешных действий, но зато их флот почти совсем был уничтожен австрийцами при Лиссе (20 июля). Когда через несколько дней после этого Австрия и Пруссия заключили между собой мир, — причем Пруссия сделала это совершенно без ведома Италии, — правительство Виктора-Эммануила протестовало против такого поведения своей союзницы, но Бисмарк ответил, что он обещал Италии только помочь приобрести Венецию и что теперь обладание ею за Виктором-Эммануилом обеспечено. Итальянцы, успевшие занять Южный Тироль и Фриуль, хотели мириться лишь на условии присоединения и этих областей, но и Пруссия и Франция этому воспротивились. В августе Италия заключила с Австрией перемирие, 3 октября — мир (в Вене), по которому венское правительство признало существование Итальянского королевства. По бывшим уже примерам и для удовлетворения самолюбия итальянцев, не хотевших получить Венецию в виде французской подачки, в этой области было устроено народное голосование. Утвердительных голосов при этом было получено около 650 тыс., отрицательных не полные семь десятков.

В том же 1866 г. Наполеон III, исполняя обязательство, принятое на себя за два года перед тем, вывел из Рима французский гарнизон. В тронной речи при открытии парламентской сессии в конце года Виктор-Эммануил торжественно констатировал тот факт, что впервые после стольких столетий в Италии нет более иноземной вооруженной силы. Но Рим все-таки оставался за папой, и скоро французские войска опять появились в папских владениях. Осенью 1867 г. Гарибальди сделал третью свою попытку завоевания Рима, вторгшись в Церковную область со своими до-

бровольцами. Итальянское правительство просило у Наполеона III дозволения защитить папу своими собственными войсками, но император отправил на помощь папской армии свои собственные войска, и Виктору-Эммануилу, тоже пославшему в папские владения военную силу, пришлось удовольствоваться положением вооруженного нейтралитета. 3 ноября между гарибальдийцами и соединенными папско-французскими войсками произошла битва при Ментане, в которой Гарибальди потерпел страшное поражение и был взят в плен. Его некоторое время продержали в крепости, а потом интернировали на Капреру. Французский генерал послал в Париж телеграмму о том, что «ружья Шасспо делали чудеса». В законодательном корпусе, в котором даже оппозиция с Тьером во главе была за сохранение светской власти папы, министр Руэр объявил «от имени французского правительства, что Италия не завладеет Римом. Никогда, — воскликнул он, — никогда и никогда Франция не потерпит такого насилия над ее честью и над католицизмом!» В ответ на эту речь депутаты тоже кричали: «Никогда, никогда!» Французский гарнизон остался в Чивитта-Веккии охранять папские владения. Такое решение Наполеона III впоследствии сильно мешало ему в его стремлении заключить союз с Италией против Пруссии. Напротив, в Италии стали теперь более полагаться на Пруссию, и даже Мадзини, который в союзе Италии с Наполеоном III всегда видел опасность для политической свободы и национального единства своей родины, написал Бисмарку письмо, предлагая ему союз с итальянской «партией действия» против общего врага. «Если бы, — писал он, — прусское правительство дало нам миллион франков и две тысячи игольчатых ружей, моя честь была бы порукой в том, что эти средства пошли бы лишь на то, чтобы не допустить Италию до заключения союза с Францией и низвергнуть всякое правительство, которое решилось бы на такой шаг».

В то самое время, как на светскую власть папства уже около двадцати лет делались постоянные покушения и держалась она исключительно военной поддержкой Франции, Пий IX продолжал идти в своей общецерковной политике по той дороге, на которую вступил после революции 1849 г. За догматом о непорочном зачатии, за энцикликой «*Quanta siga*» и «*Силлабусом*» последовали юбилей апостола Петра (1867 г.) и собственный юбилей папы (1869 г.), отпразднованные с большой торжественностью и бывшие, так сказать, смотром боевых сил католицизма. Реакция сплотила силы католического мира у святого престола, а «ограбление» папы и покушения на его светскую власть только еще более ожесточили католический фанатизм. Великие соборы XV и XVI вв. оставили неразрешенным вопрос, принадлежит ли непогрешимость Вселенской церкви собору или папе. Пий IX пришел к мысли о созвании нового Вселенского собора для установления догмата папской непогрешимости. Большинство

кардиналов и епископов Франции и Германии отговаривали Пия IX от созыва собора, но папа, руководимый иезуитами, поддержал эту мысль, и летом 1869 г. разослал приглашения на собор, не исключив при этом православного и протестантского духовенства. Конечно, и православные, и протестанты на собор не поехали. Заседания открылись в Ватикане 8 декабря 1869 г. Съехалось со всего мира более семисот высших духовных лиц, в числе которых папа располагал солидным большинством, состоявшим из итальянцев, испанцев, из титулярных епископов без епархий (так называемых епископов *in partibus infidelium*¹) и разных «папских нахлебников» (духовных лиц, получавших содержание от папы). Во главе ультрамонтанской партии стоял хитрый кардинал Антонелли, главный советник папы по всем политическим вопросам с довольно давнего времени. Оппозицию составляли епископы Франции, Германии и Венгрии. Французский богослов Маре в сентябре 1869 г. издал против папских притязаний книгу «Собор и религиозные интересы», а мюнхенский профессор Дёллинггер еще раньше (в марте) под псевдонимом Янус писал оппозиционные статьи в «Аугсбургской газете» и напечатал их потом отдельной книгой под заглавием «Папа и собор». Хорватский патриот епископ Штросмайер в самом начале собора протестовал против установленного папой порядка совещаний, лишавшего членов собора инициативы и стеснявшего свободу прений. Сам догмат папской непогрешимости встретил на соборе оппозицию. Правда, одни находили этот догмат только несвоевременным (инопортунисты), не восставая против него по существу, но другие выступили против него как против нарушения преданий церкви: Дёллинггер назвал его духовной революцией. Пий IX был очень обижен ссылкой на предания и заявил, что «предание — это он». Заседания были шумные и бурные: Штросмайер, например, однажды стал протестовать против возложения на протестантов вины за всякое безбожие, какое только существует в мире, и отцы собора стали тогда ему кричать, топтать на него ногами и т. п. Заседания происходили при закрытых дверях, и все, что совершалось, должно было сохраняться в тайне, но в иностранных газетах появлялись подробные отчеты. Видя, что единогласия не будет, папа объявил достаточным, если за его предложение будет большинство. 13 июля 1870 г. догмат о непогрешимости был принят громадным большинством, но несогласные (около 120 человек) покинули Рим, не желая давать отрицательного ответа в публичном заседании, и в этом публичном заседании собора было подано только два голоса против 535 голосов. Конституция «*Pastor aeternus*»², прочитанная папой в этом заседании (18 июля), гласила, что когда папа с кафедры (*ex cathedra*), т. е. исполняя свои обязанности пастыря и наставника всех христиан, устанавливает учения о вере и нравственности, то ему

¹ В странах неверных (*лат.*). — Прим. ред.

² «Вечный пастырь» (*лат.*). — Прим. ред.

принадлежит непогрешимость, обещанная церкви Самим Спасителем, и что такие определения папы неизменяемы сами по себе, а не в силу одобрения их церковью, — кто же этому осмелится противиться, да будет проклят. На другой день после торжественного провозглашения нового догмата совершилось объявление войны Наполеоном III Пруссии. Заседания собора были отложены до ноября; прежде чем окончился этот срок, светской власти папы уже более не существовало.

Французский гарнизон должен был оставить Чивитта-Веккию, чтобы спешить на помощь своему отечеству, которому с самого же начала войны грозила большая опасность от Пруссии. Вскоре произошло и падение империи. Итальянское правительство немедленно объявило о прекращении сентябрьской конвенции 1864 г. и отправило обсервационный корпус¹ к папской границе, в то время как бывший сподвижник Гарибальди, Биксио, вступил в Чивитта-Веккию. Виктор-Эммануил предложил Пию IX признать за ним полную власть в церковных делах, оставив за ним почести монарха и обладание частью Рима на правом берегу Тибра с Ватиканом, но Пий IX упорствовал. После отказа папы итальянские войска заняли всю Папскую область, куда стали стекаться также римские изгнанники и многочисленные добровольцы. Достаточно было трехчасовой канонады, чтобы заставить Рим сдаться (20 сентября). Через две недели (3 октября) происходило всенародное голосование. За присоединение к Италии было подано 130 тыс. голосов, против — тысячи полторы, но была масса воздержавшихся от участия в голосовании. На присоединение Рима к Италии папа ответил отлучением Виктора-Эммануила от церкви. Гарибальди уехал во Францию, где стал во главе добровольцев, желая послужить новой республике, провозглашенной в этой стране.

Объединение Италии совершилось, но впоследствии возникла партия («Italia irredenta»²), которая требовала распространения итальянского господства на все соседние области, где господствует итальянский язык, но владеют иностранцы. Царство свободы и демократии, о котором мечтали Мадзини и Гарибальди, тоже далеко не было осуществлено новым королевством. На двадцатисемимиллионное население Италии, благодаря существованию ценза, приходилось лишь около 600 тыс. избирателей. Только реформа 1882 г. подняла число избирателей до 2 млн, хотя фактически голосуют едва 50%. Направление внутренней и внешней политики стало зависеть главным образом от буржуазии, на которую преимущественно и стало опираться правительство в своей борьбе с клерикалами и республиканцами. Для улучшения быта народной массы ничего сделано не было. Напротив, великодержавная политика итальянского правительства

¹ Наблюдательный, служащий для обсервации (*лат.* observation), т. е. наблюдения. — *Прим. ред.*

² «Италия разобщенная» (*ит.*). — *Прим. ред.*

легла тяжелым бременем на народ. Недовольство рабочих классов повлекло за собой в позднейшее время социалистическую агитацию, которой Италия оставалась чужда в эпоху своих объединительных стремлений.

XXVIII. Объединение Германии¹

Общий взгляд на объединение Германии. — Оживление национального и либерального движения в Германии после 1859 г. — Антагонизм Австрии и Пруссии в начале шестидесятых годов. — «Новая эра» в Пруссии. — Вильгельм I и Бисмарк. — Конституционная борьба в Пруссии. — Переход Австрии к конституционной жизни и внутренние колебания. — Шлезвиг-гольштейнский вопрос и Австро-прусская война. — Пруссия и Северогерманский союз. — Возникновение Австро-Венгрии. — Взаимные отношения Франции и Пруссии в 1867—1869 гг. — Франко-германская война и основание Германской империи

Параллельно с объединением Италии и в известной связи с нею шло и объединение Германии. Итальянская война 1859 г., приведшая к образованию Итальянского королевства, произвела сильное впечатление на немцев и в значительной мере содействовала оживлению политической жизни в Германии. Роль, которую на Апеннинском полуострове сыграл Пьемонт, здесь в шестидесятых годах взяла на себя Пруссия. В 1866 г. оба государства в союзе между собой вели войну с Австрией, которая дала Италии Венецианскую область, а для Пруссии окончилась увеличением территории за счет нескольких более мелких немецких государств и обра-

¹ Кроме сочинений, указанных выше, см.: *Jastrow F.* Geschichte des deutschen Einheitstraumes, 1891; *Lévy-Bruhl.* L'Allemagne depuis Leibnitz, 1890; *Sybel.* Die Begründung des deutschen Reiches durch Wilhelm I, 1893 и след.; *Oncken.* Zeitalter des Kaisers Wilhelms I, 1890—1892. Сочинения по частным вопросам: *Völdendorff.* Deutsche Verfassungen und Verfassungsentwürfe. Annalen des deutschen Reiches, 1890; *Mammoth.* Die Entwicklung der österreichisch-deutschen Handelsbeziehungen, 1887; Der Nationalverein, seine Entstehung und seine bisherige Wirksamkeit, 1860; *Stahl Fr. J.* Die gegenwärtige Parteien in Staat und Kirche; *Baumgarten.* Der deutsche Liberalismus, 1876; *Parisius.* Deutschlands politische Parteien, 1878; *Von Rönne.* Staatsrecht der preussischen Monarchie (4-е изд. 1881); *Rothan.* La Prusse et son roi pendant la guerre de Crimée, 1888; *Wehrenpfenig.* Geschichte der deutschen Politik unter dem Einfluss des italienischen Kriegs, 1860; Der Gang der preussischen Politik in der schleswig-holsteinischen Angelegenheit von 1863—1865, 1865; *Hahn L.* Zwei Jahre preussisch-deutscher Politik, 1868; *Rothan.* Les origines de la guerre de 1870. La politique française en 1866, 1879; *Vilbort.* L'oeuvre de M. de Bismarck (1863—1866). Sadowa et la campagne des sept jours, 1869; *Simson.* Beziehungen Napoleons III zu Preussen und Deutschland; *Blanckenburg.* Der deutsche Krieg von 1866, 1868; *Hahn.* Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich. Die deutsche Politik 1867—1871, 1871; *Binding.* Die Gründung des Norddeutschen Bundes, 1888; *Friedjung.* Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland (1859—1866), 1897; *Rothan.* L'affaire du Luxembourg, 1883; *Его же.* La France et sa politique extérieure en 1867, 1887; *Sorel.* Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande; *Rothan.* L'Allemagne et l'Italie, 1884; *Chuquet.* La guerre de 1870—1871, 1895. О Вильгельме I и Бисмарке: биографии Вильгельма I *Schneider'a*, *Meding'a*, *Hahn'a*, *Müller'a*, *Forbes'a*, *Scherenberg'a*, *E. Simon'a* (франц. 1886); *Bamberger.* M. de Bismarck, 1868; *Hesekiel.* Das Buch vom Fürsten Bismarck, 1873; *Hahn L.* Fürst Bismarck, 1878—1890; *Thudichum.* Bismarcks parlamentarische Kämpfe und Siege, 1890; Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Fürsten Bismarck, 1890; *Simon.* Histoire du prince de Bismarck, 1887; *Утин Е.И.* Вильгельм I и Бисмарк, 1892; *Михайловский Н.Е.* Граф Бисмарк (Сочинения. Т. VI по изд. 1897 г.).

зованием под ее гегемонией Северогерманского союза. Австрия была выброшена и из Италии, и из Германии. Дальнейшему объединению обеих наций начала теперь препятствовать Франция, которая не хотела допустить, чтобы Италия овладела Римом, и стала в крайне враждебное отношение к усилению Пруссии. Разгром Франции в 1870—1871 гг. доставил Италии Рим и сделал возможным образование Германской империи. Есть даже нечто общее в истории обоих объединений. И в Италии, и в Германии это дело было совершено государствами, которые в эпоху реакции пятидесятых годов сохранили у себя конституционные учреждения, хотя применение их далеко не отличалось в обоих же государствах верностью духу этих учреждений. И в Пьемонте, и в Пруссии во главе правления стояли государственные люди, Кавур и Бисмарк, которые в своей деятельности исходили из одних и тех же принципов и пользовались одинаковыми средствами. И здесь и там передовые партии представляли себе дело объединения совсем не так, как оно велось стоявшими у власти государственными людьми, и заняли по отношению к их политике оппозиционное положение, но в обоих случаях потерпели неудачу. Главная разница заключалась в том, что оппозиционная партия в Италии явно стремилась к республике, тогда как в Германии республиканская партия сошла со сцены еще в 1849 г. и более не возрождалась. Зато, с другой стороны, история объединения Германии сопровождалась социальным движением, которое выразилось образованием самостоятельной рабочей партии, чего совершенно не было в Италии в эпоху ее объединения¹. В способах объединения тоже проявилось некоторое различие. В Италии, как мы видели, был принят принцип всенародного голосования, решавшего вопрос о присоединении отдельных территорий к Итальянскому королевству, но Пруссия расширяла свои пределы включением в них новых земель, не спрашивая на то согласия населения, т. е. по одному праву завоевания. Наконец, германское объединение не было таким полным, как итальянское. Во-первых, за пределами объединенной Италии осталась сравнительно весьма незначительная часть итальянского племени, тогда как объединение Германии совершилось в смысле стремлений малогерманской партии и в состав новой империи не вошли австрийские немцы. Во-вторых, объединение Италии сопровождалось устранением местных династий в пользу одной династии, Савойской, и Италия превратилась в единое королевство, в Германии же такое устранение местных династий произошло лишь отчасти (в 1866 г.), и новая империя в 1871 г. составила из себя своеобразную форму союза нескольких государств. Германия никогда не была, как то случилось с Италией, простым «географическим

¹ В настоящей главе мы упоминаем лишь вскользь об этом социальном движении и образовании рабочей партии, откладывая более подробное рассмотрение этого предмета до гл. XXXI.

понятием»¹, всегда оставаясь в той или другой форме политической федерацией — и во времена средневековой Священной Римской империи немецкой нации, и в эпоху даже рейнского союза, и в период существования в 1815—1866 гг. Германского союза. Этот федеративный строй она сохранила и в эпоху новой империи, которой предшествовало кратковременное существование Северогерманского союза (1866—1871). Соперничество обеих великих немецких держав, начавшееся еще во второй половине XVIII в., и стремление других, более значительных немецких государств к независимости были главными факторами, о которые разбились объединительные стремления немецких патриотов и в 1813—1815 гг., и в эпоху революционной бури 1848—1849 гг. Положение, занятое Пруссией в Германии, делало невозможным объединение Германии с Австрией, тем более что большая часть населения монархии Габсбургов и не принадлежала к немецкому племени. С другой стороны, в Италии устранению подлежали династии, на которые нация смотрела как на чуждые ей, как на иноземные, держащиеся лишь иностранной поддержкой, и устранение это совершалось в пользу династии, имевшей вполне национальный характер, между тем как в Германии все династии были одинаково национальны и во многих случаях, особенно в Юго-Западной Германии, само население было против поглощения мелких государств одним крупным, так как не ожидало для себя ничего хорошего от этого. В Италии конституционный Пьемонт в глазах населения других тамошних государств имел великое преимущество благодаря своим свободным учреждениям, Пруссия же приступила к объединению Германии как раз в такое время, когда в ней самой конституция попиралась правительством и в смысле развития свободных учреждений некоторые другие немецкие государства стояли выше Пруссии. Образовав из Италии единое государство, Пьемонт, так сказать, растворился в нем: единая Италия отнюдь не является даже замаскированной гегемонией Пьемонта над Ломбардией, Венецией, Тосканой, бывшей Папской областью, Неаполем и Сицилией. Другой характер получило немецкое объединение. Пруссия не перешла в Германию, как это обещал в 1848 г. Фридрих-Вильгельм IV, но стала господствовать над Германией. Не такого объединения желали лучшие из немецких патриотов предыдущего периода. Впрочем, как было уже сказано в своем месте, и объединение Италии во многом не оправдало тех надежд, которые на него возлагали люди, наиболее бескорыстно работавшие в пользу этого национального дела.

Переходим теперь к фактам. Мы уже знаем, в каком положении находилась Германия в пятидесятых годах: это была эпоха реакции и застоя. В 1859 г. вспыхнула война за освобождение Италии, и это событие тотчас

¹ Выражение Меттерниха об Италии.

же нашло отголосок и в Германии. Австрия была очень заинтересована в том, чтобы в этой войне принял участие на ее стороне весь Германский союз. Ее официозы («Augsburger Allgemeine Zeitung»¹) доказывали, что владычество Австрии в Италии составляет общий интерес всех немцев, так как Австрия защищает Рейн от иноземного вторжения, держа свою армию на По. Эта австрийская пропаганда играла главным образом на струнке боязни завоевательных планов Наполеона III, но и французское правительство стало агитировать в свою пользу среди немцев. К этому времени относится сближение с Наполеоном III известного натуралиста Карла Фохта, который играл раньше роль в революции 1848 г. и даже входил в состав имперского регентства 1849 г. Карл Фохт, владевший бойким публицистическим пером, выступил с защитой политики Наполеона III, которого он изображал как освободителя народов. Газетная полемика, вызванная событиями 1859 г., оживила и успевший уже заглухнуть антагонизм великонемецкой и малонемецкой партий. Одни стали на сторону Австрии, другие — на сторону Франции, видя в современных итальянских событиях указание на то, как должно совершиться и объединение Германии. Австрия сулила своим приверженцам немецкую гегемонию над всей Средней Европой, включая сюда Бельгию, Голландию, Эльзас-Лотарингию, Венгрию и славяно-румынские земли по Дунаю, для охраны интересов германской нации от романского союза на западе и от славянской империи на востоке. Но по этой программе, в сущности, сама Германия должна была оставаться по-прежнему разьединенной. Австрийские стремления пользовались большим сочувствием во многих частях Германии и у некоторых отдельных мыслителей и деятелей. За Австрию стояли, например, баварские ультрамонтаны, вюртембергские партикуляристы, франкфуртские биржевики-евреи и т. п., а также многие историки и публицисты. Обе партии употребляли все силы, чтобы иметь на своей стороне общественное мнение нации, которая была очень встревожена слухами о намерении Наполеона III овладеть левым берегом Рейна и чувствовала свою полную беспомощность при существующем государственном устройстве. В полемику между великими и малыми немцами вмешались и представители социальной мысли. Энгельс издал анонимную брошюру «По и Рейн», в которой опровергал австрийскую теорию о необходимости защищать Рейн на По, доказывая несостоятельность этой мысли и безнравственность подавления чужой национальности. Но он выступил и против своекорыстной политики Наполеона III, которого он отнюдь не мог признать освободителем народов. В том же смысле высказался и Маркс (в «New York Tribune»²). Оба они, однако, не затрагивали вопроса о том, в какое отношение должно было стать национальное движение в Германии к немецким государям.

¹ «Всеобщая газета» (нем.). — Прим. ред.

² «Трибуна Нью-Йорка» (англ.). — Прим. ред.

Энгельс напечатал свою брошюру в Германии при посредстве Лассаля, который тогда тоже издал брошюру об итальянской войне, указав в ней на Пруссию как на будущую объединительницу Германии¹. Все они предостерегали немецкий народ от войны с Францией как от величайшего бедствия для европейской демократии. Впрочем, Лассаль советовал во имя принципа национальности послать немецкие войска на Данию, чтобы отнять у нее Шлезвиг-Гольштейн, и в этом случае он находил возможным для германской демократии идти под знаменем Пруссии.

Попытки Австрии увлечь в войну с Францией Пруссию и весь союз не встретили сочувствия в Берлине, хотя Пруссия, на всякий случай, и вооружилась. Управлявший ею в это время принц-регент ставил условием своего вмешательства передачу ему одному главного начальства над всей армией Германского союза, но Франц-Иосиф предпочел потерять Ломбардию, чем дать свое согласие на такое усиление Пруссии. Но зато в своем манифесте по поводу заключения бывшего столь унижительным для Австрии мира он жаловался на то, что его оставили ближайшие и самые естественные его союзники. Это только подлило масла в огонь полемики между двумя партиями, защищавшими в печати интересы Австрии и Пруссии. Поражение Австрии в войне с Италией и Францией обнаружило ее бессилие и несовместимость ее интересов с интересами Германии, и это высказывалось в целом ряде брошюр и газетных статей, выходивших из-под пера сторонников малонемецкой партии. Общественное движение выразилось в это время и в многочисленных народных собраниях, созывавшихся вождями обеих партий или сопровождавших столь обычные в Германии певческие, гимнастические или охотничьи праздники. Особенно сильным национальным характером отличалось празднование осенью 1859 г. юбилея Шиллера. На ученых съездах тоже проявлялось это национальное движение. Одновременно в отдельных государствах Германии также оживилась политическая жизнь, и снова началась борьба между либералами и абсолютистами. В общем, либералы были сторонниками национального единства, тогда как партикуляристы склонялись на сторону абсолютизма.

В сентябре 1859 г. во Франкфурте-на-Майне, после нескольких предварительных съездов, либеральные сторонники объединения Германии под предводительством Пруссии образовали большое политическое общество по образцу итальянского союза и назвали его «Немецкий национальный союз». Своей целью общество поставило всеми законными способами содействовать распространению и утверждению в народном сознании стремлений только что образовавшейся национальной партии, которая провозгласила «идею единой Германии с крепкими извне и свободными внутри учреждениями». Франкфуртское правительство взглянуло на этот

¹ См. ниже в гл. XXXI.

союз недоброжелательно, и он перенес свой центральный орган в Кобург, так как тамошний герцог, наоборот, отнесся к нему с большой благосклонностью. В начале сентября 1860 г. здесь произошло первое общее собрание членов общества, на котором была принята такая резолюция: немецкий народ твердо держится конституции 1849 г., и «Немецкий национальный союз» желает всеми законными путями добиваться образования центральной власти и германского парламента, надеясь, что каждое германское племя пойдет на всякие жертвы ради величия и единства Германии. «Если, — сказано было далее в этом постановлении, — прусское правительство прочно проникнется интересами Германии и сделает необходимые шаги для восстановления могущества и единства Германии, немецкий народ, конечно, с доверием передаст центральную власть главе самого крупного чисто немецкого (rein-deutschen) государства. Национальный союз не уступает ни одной части германской союзной территории. Он признаёт немецкие провинции Австрии, как естественные составные части отечества, и будет с радостью приветствовать момент, когда сделается возможным присоединение (Anschluss) этих провинций к объединенной Германии... Но и в том случае, если бы сила обстоятельств и непреодолимые препятствия не позволили одновременно присоединить немецкие части Австрии к германскому союзному государству, Национальный союз в этом не увидит для себя помехи (wird sich hierdurch nicht hindern lassen) к тому, чтобы добиваться объединения остальной Германии». Число членов «Немецкого национального союза» быстро достигло цифры 20 000, но многие немецкие правительства отнеслись к нему враждебно. В обоих Гессенах и в Мекленбурге он был запрещен, в Саксонии и Ганновере на него начали настоящее гонение. Прусский принц-регент, которому был подан адрес в смысле стремлений «Немецкого национального союза», отклонил его как несвоевременный. За свое покровительство союзу герцог Кобургский подвергся порицанию со стороны других немецких государей, собравшихся на один съезд¹. В Южной Германии, где всегда относились к Пруссии с большой подозрительностью, «Немецкий национальный союз» притом не встретил сочувствия и со стороны населения. С ним здесь даже начали конкурировать другие подобные союзы, которые стали возникать с поощрения баварского и австрийского правительств тоже с задачей пропагандировать идею национального единства. В 1862 г. они даже объединились в один большой «Союз реформы». В том же году на общем собрании «Немецкого национального союза», провозгласившего за год перед тем, что Пруссия нужна Германии и что следует направить прусское правительство на путь истинный, прямой целью его действия была объявлена конституция 1849 г. В таком же смысле около того же времени выска-

¹ В Бадене, о чем см. ниже.

зался и съезд либеральных депутатов отдельных ландтагов. Либеральное движение этих годов получило пищу еще и в возобновлении Кургессенского конституционного вопроса. В своем месте было сказано, что в 1850 г. в Гессель-Касселе произошло упразднение конституции 1831 г. Это дело тогда же было отдано на рассмотрение союзного сейма и находилось без всякого почти движения до 1859 г., когда снова стало на очередь, сделавшись предметом большого общественного внимания. Тянулось оно до осени 1862 г., пока курфюрст не оказался вынужденным со стороны других государей восстановить конституцию 1831 г.

Опасность со стороны Франции и национальное возбуждение в Германии привели в движение и немецкие правительства. Вопрос о внутреннем устройстве Германии не мог быть окончательно решен восстановлением прежнего союзного сейма, тем более что жизнь продолжала ставить новые задачи. В пятидесятых годах предметом пререканий и переговоров между немецкими государями был таможенный союз. Когда Пруссия подверглась известному политическому унижению после своей попытки устроить тесный политический союз, то и таможенному союзу, основанному ею, стала грозить опасность распада, то государи, находившиеся в этом союзе, вступили в переговоры с Австрией, от которой хотели добиться больших для себя выгод. Однако они не получили от нее того, чего желали. Дело дошло до упразднения прежнего союза (1852 г.), но Пруссия тем временем, сделав кое-какие уступки государствам, ранее не входившим в состав таможенного союза (Мекленбург, Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург и вольные ганзейские города), заключила с ними новый союз, а затем к этому соглашению примкнули и все члены прежнего. Таким образом, в 1853 г. в торговом отношении вся Германия, за исключением одной Австрии, была объединена под предводительством Пруссии. Итальянская война 1859 г. выдвинула снова вопрос о военной организации Германии, который Пруссия и подняла опять, как это делала и раньше, в союзном сейме. Но предложение принца-регента разделить имперское войско на австрийскую и прусскую команды встретило сильную оппозицию со стороны Австрии и других союзных государств. Вообще последние относились к Пруссии с большим недоверием и всячески мешали осуществлению ее планов. В ноябре 1859 г. съехались в Вюрцбурге — и съезжались потом в 1860 г. — министры более крупных после Австрии и Пруссии государств для выработки плана реформ во внутреннем устройстве Германии, но это послужило лишь началом для целого ряда бесплодных переговоров, в которых приняли участие и обе соперничавшие державы: где Австрия говорила да, Пруссия отвечала решительным нет, и наоборот. Впрочем, планы государств средней величины были более благоприятны для Австрии, хотя и отличались дуалистическим характером. Поэтому эти планы были сочувственно приняты великонемецким «Союзом реформы», но по той же

причине они были отвергнуты «Немецким национальным союзом» и собранием либеральных депутатов 1862 г. Кроме министров съезжались по тому же вопросу о преобразованиях в устройстве Германии и некоторые ее государи. Как раз в это время Наполеон III, «возвратив Франции ее естественную границу в Альпах», возбудил в Германии особенно сильное опасение относительно другой «естественной границы» Франции на Рейне. Его предложение исправить рейнскую границу с некоторым вознаграждением Пруссии не встретило, однако, сочувствия в Берлине. На выраженное французским императором желание лично свидеться с принцем-регентом последний отвечал согласием лишь под условием, чтобы неизбежной основой всех переговоров была признана неприкосновенность германской территории, и этот ответ был им доведен до сведения других немецких государей. Свидание происходило в июне 1860 г. в Бадене, куда приехали также и наиболее значительные немецкие государи. С Наполеоном III здесь произошел только обмен вежливостей и любезностей, но и переговоры немецких государей между собой ни к чему не привели. Еще раз только обнаружилось крайне враждебное отношение их к «Немецкому национальному союзу». Баварский король даже настаивал на необходимости начать общее преследование союза. Последовавшие затем съезд (в Теплице) между принцем-регентом и Францем-Иосифом и свидание обоих с русским императором (в Варшаве) тоже не имели никаких реальных результатов. Немецкие государи только убедились, что Пруссия не пожертвует ни одной пядью немецкой земли, а Франц-Иосиф стал надеяться, что в случае нового нападения Наполеона III на Австрию Пруссия не оставит ее без своей помощи.

Впрочем, Пруссии не удалось преодолеть недоверие к ней немецких государей. Лишь очень немногие правители, преимущественно ее мелкие соседи в Северной Германии, а в Южной один Баден, стояли на ее стороне, остальные же были за Австрию. Когда монархия Габсбургов, как мы увидим, получила конституцию (1861 г.) и стала управляться либеральным немецким министерством, а в Пруссии, наоборот, правительство начало нарушать конституцию, часть немецких либералов перенесла свои упования на Австрию. В истории этих лет был даже момент, когда Австрия особенно выдвинулась вперед. На свидании с прусским королем в Гаштейне в августе 1863 г. Франц-Иосиф заявил ему о своем намерении созвать во Франкфурте-на-Майне немецких государей для совещания о новом союзном устройстве с пятичленной директорией, парламентом из делегатов от отдельных палат и периодическими съездами государей, но прусский король отклонил это предложение, когда ему было прислано официальное приглашение на конгресс. Последний тем не менее состоялся (17 августа — 1 сентября), и во всех городах Южной Германии, через которые Франц-Иосиф проезжал во Франкфурт, ему устраивались восторженные

встречи. На конгрессе великий герцог Мекленбург-Шверинский сделал предложение пригласить прусского короля от имени всех государей приехать во Франкфурт, но король Вильгельм I по требованию Бисмарка еще раз отклонил приглашение. Проект Австрии с некоторыми изменениями был принят 24 государями, но шестеро высказались против. Тогда решение большинства было сообщено Пруссии, которая ответила своим контрпроектом; одним из главных пунктов прусского плана была замена собрания делегатов от ландтагов парламентом из депутатов, выбранных непосредственным образом. Общественное мнение в Германии разделилось, и когда на новом собрании депутатов разных ландтагов, на котором снова говорилось о конституции 1849 г., тем не менее решено было не отклонять австрийского предложения, лишь бы только были созданы свободные представители нации, то «Немецкий национальный союз» высказался против проекта, тогда как «Союз реформы», наоборот, за проект. Австрийское правительство уже подумывало о том, чтобы другие союзные государства ответили Пруссии тождественными нотами с указанием на то, что они сумеют образовать союз и без Пруссии, но министры других немецких государств, собравшиеся по приглашению австрийского правительства на конференцию в Нюрнберге, уполномочив Австрию ответить Пруссии за всех, объявили, что и слышать не хотят о каком-либо союзе без Пруссии: остальные королевства и другие более крупные княжества видели в дуализме и соперничестве Австрии и Пруссии спасение своей самостоятельности. Дело кончилось отвержением прусского предложения, но и австрийское не могло без Пруссии быть приведено в исполнение. Около этого времени кончался срок таможенного союза, и этим Австрия воспользовалась снова, чтобы расстроить это прусское создание, но в конце концов в 1865 г. прежний союз опять был возобновлен.

Между тем внутри обеих соперничавших держав тоже совершались важные события и происходили крупные перемены.

В Пруссии, как было уже указано в другом месте, в эпоху оживления национальных и либеральных стремлений начал царствовать новый государь. Душевная болезнь, постигшая бездетного Фридриха-Вильгельма IV (1857 г.), заставила его передать правление своему брату Вильгельму, сначала со званием заместителя (Stellvertreter), потом — регента. 26 октября 1858 г. новый правитель Пруссии принес присягу в верности конституции. Это заместительство и регентство продолжались около трех лет, и когда 2 января 1861 г. больной король скончался, принц-регент сделался королем с именем Вильгельма I. Эта перемена правителя была для Пруссии началом важных изменений во внутренней политике государства, позволивших говорить о «новой эре» (*die neue Aera*). Новому государю Пруссии суждено было сделаться объединителем Германии и первым германским императором.

Вильгельму I в момент вступления во власть было уже шестьдесят лет. Его прошлое не особенно располагало к нему общественное мнение в Пруссии и Германии, но начало его правления оживило надежды патриотов. С самого раннего возраста его воспитывали исключительно для военной службы, и он долгое время интересовался одним военным делом. Выросший в абсолютистических традициях династии Гогенцоллернов, он в эпоху оживления в Пруссии конституционных стремлений в сороковых годах высказывался сначала в смысле необходимости сохранения в силе завещания Фридриха-Вильгельма III, хотя и подчинился решению своего брата совершить в Пруссии государственную перемену. Он сам принимал участие в совещаниях, приведших к образованию соединенного ландтага, и когда дело было решено, сказал, что теперь возникает новая Пруссия, что с обнародованием нового закона прежняя Пруссия сойдет в могилу, лишь бы только новая сохранила силу и славу старой. В 1848 г. народная молва возложила на принца Прусского ответственность за берлинское кровопролитие 18—19 марта, и Фридрих-Вильгельм IV нашел нужным отправить своего брата в Англию. Впрочем, в начале июня он возвратился в Берлин и занял в национальном собрании свое место в качестве депутата, выбранного в Вирцицком округе. При этом он торжественно заявил, что будет верой и правдой служить конституционной монархии, которую решил дать своим подданным король. В характере Вильгельма I была верность данному слову, и он даже по-своему оставался верным конституции, которой присягнул в 1858 г. Еще одна черта, которую проявил Вильгельм I задолго до вступления во власть, заключалась в большом прусском патриотизме. Он был крайне недоволен политикой Фридриха-Вильгельма IV, приведшей к унижению Пруссии, и настаивал на том, чтобы не делать Австрии никаких уступок, хотя бы это стоило Пруссии войны, которой так не хотел его брат. В 1854 г. он также принадлежал к придворной и правительственной партии, желавшей, чтобы Пруссия примкнула к союзу западных держав против России. Весьма естественно, что он прослыл главой «военной партии». С прусскими реакционерами, составлявшими партию «Крестовой газеты», он, впрочем, не ладил, находя внешнюю политику, которую она внушала королю, слабой и недостойной чести Пруссии, порицая и стремления этой партии во внутренней политике. Он был, конечно, весьма далек от всякого либерализма, но и ему система крайней реакции, установившаяся в Пруссии в пятидесятых годах, казалась чрезмерной. В сравнении со своим братом, отличавшимся романтическим фантазерством и болезненным непостоянством, это был человек, наоборот, весьма положительный и определенный, и люди, которые могли нравиться Фридриху-Вильгельму IV, напротив, не пользовались его сочувствием. Устарелые идеи брата и столь же устарелые идеи феодальной партии не имели силы над его умом, которому было более доступно понимание современ-

ных отношений, как бы лично он ни оценивал разные стороны этих отношений. У партии «Крестовой газеты» будущий король Пруссии был поэтому в сильном подозрении, и она даже прямо за ним шпионила. Вступив в управление государством, Вильгельм I порвал с крайними реакционерами, еще более не взлюбившими его за это. Вдохновителям прежней политики, конечно, не могло понравиться заявление принца-регента, что он не будет поощрять лицемерия и ханжества, не станет стеснять развития науки и образования и, охраняя права католической церкви, не допустит, чтобы она нарушала чужие права.

В первые же дни своего регентства Вильгельм I дал отставку старым министрам, назначив на их место новых, среди которых были даже умеренные либералы. Это произвело очень хорошее впечатление на общество после столь продолжительной реакции. Выборы осени 1858 г., которые были произведены на этот раз без административного давления на избирателей, дали министерству сочувственное большинство, состоявшее из умеренных либералов, а феодальная партия потерпела полное поражение. Эта перемена оказала свое действие и на другие немецкие государства. В Баварии реакционный министр фон-дер-Пфортен, бывший в ссоре с палатами, помышлял было о государственном перевороте, но в виду «новой эры» в Пруссии предпочел уйти со своего поста. Нужно, впрочем, прибавить, что принц-регент пользовался, с другой стороны, всяким случаем для предостережения общества от чрезмерных ожиданий. Присягая на верность конституцию, он сказал, что «все обещанное будет исполнено, но чего не было обещано, то не будет и допущено». В своей речи новым министрам он также заявил, что о разрыве с прошлым и речи быть не должно и что благо короны и страны может заключаться лишь в здоровой, сильной и консервативной политике. Вильгельм I, понимавший притом конституцию, не как договор между королем и народом, а как статут, регулирующий ведение государственных дел, думал, что за палатой должна сохраниться роль простого совещательного учреждения, на какую фактически низвела ее реакция пятидесятых годов. Особенно он не считал возможным выпустить из своих рук исключительное право безусловно распоряжаться войском и дипломатией; известно, что как раз из-за армии у него и начался конфликт с народным представительством. Прусские либералы, которые начали разочаровываться в «новой эре» еще во время регентства Вильгельма I, еще более неприятно были поражены его заявлениями по поводу вступления на престол. В воззвании к народу после кончины брата он повторил библейские слова, приведенные им в речи 1847 г.: «Я и дом мой будем служить Господу». 18 октября 1861 г. в Кёнигсберге совершилось коронование Вильгельма I, которое он восстановил, вместо прежнего принесения верноподданнической присяги (*Huldigung*). При этом он заявил призванным на это торжество обеим палатам ландтага, что

«прусские короли получают корону от Бога». Взяв во время церемонии корону с алтаря, он как «первый король, вступивший на престол после введения новых учреждений», поэтому еще раз счел нужным провозгласить, что «корона не может быть дана никем, кроме Бога», и что он, король, «получил ее из рук Господа».

Поводом к упомянутому столкновению между Вильгельмом I и народным представительством послужила задуманная им реформа прусской военной системы. По династическим традициям, равно как по воспитанию и прежней деятельности Вильгельм I был одним из типичных представителей прусского милитаризма. Ставя выше всего величие Пруссии, он хотел, чтобы она была сильна и славна своим войском. Он не мог забыть унижения своего отечества в 1850 г., понимал, что рано или поздно дело не обойдется без войны с Австрией, и, наконец, не мог без тревоги смотреть на замыслы Наполеона III. Уже в своем обращении к новым министрам осенью 1858 г. он указывал на то, что армия создала величие Пруссии и что пренебрежение армией привело и государство к катастрофе, но что, наоборот, реорганизация армии имела следствием победы во время войны за освобождение, и выводил отсюда необходимость и теперь сделать военные преобразования, требуемые опытом сорока лет. Действовавшая в Пруссии военная организация, основанная на принципе всеобщей воинской повинности и трехлетней службы в армии, была создана в 1814–1820 гг., но с течением времени в ней произошли некоторые изменения. В начале действия этой системы Пруссия имела население в 11 миллионов, из которых ежегодно бралось в военную службу около сорока одной тысячи человек; к шестидесятым годам население увеличилось более чем в полтора раза (до 18 миллионов), но цифра призывных оставалась та же самая, вместо того, чтобы подняться до шестидесяти пяти тысяч человек, и это нарушало основной принцип всей организации. Трехлетняя служба даже сокращалась до двух (1833 г.) и двух с половиной лет (1852 г.), хотя потом (1856 г.) и вернулись к прежнему сроку. Еще в 1849 и 1857 гг. принц в особых мемуарах настаивал на необходимости изменений в существующих порядках. Мобилизация прусской армии и ландвера, произведенная во время итальянской войны, подобно мобилизациям 1849 и 1850 гг. обнаружила, что половина ландвера состояла из людей, обзаведшихся своим семейством, тогда как масса холостых молодых людей совсем не служила в войске. Принц-регент провел тогда реформу, состоявшую в том, что ежегодный призыв был определен в 63 тыс. человек, состав армии был соответственно этому увеличен 39 пехотными и 10 кавалерийскими полками, при этом несколько удлинялся срок службы в запасе, но зато сокращался срок пребывания в ландвере. В 1859 г. правительство воспользовалось мобилизацией ландвера, чтобы образовать эти новые полки. Но такая реформа увеличивала военный бюджет Пруссии на 9,3 млн талеров, а потому нужно было

просить у палаты новых денежных средств. Военный министр фон Бонин не считал себя пригодным для парламентской борьбы, которой нельзя было не предвидеть, и уступил свое место одному из инициаторов новой военной реформы, генералу фон Роону. Общественное мнение отнеслось к преобразованию армии несочувственно: предвиделось увеличение налогов на 25 %; само увеличение состава армии казалось странным, раз правительство всем прежним своим поведением доказывало, что оно только умеет отступать в решительные моменты; говорили, что армию хотят увеличить лишь для того, чтобы легче держать страну в повиновении и чтобы создать новые офицерские места для «юнкерства». В феврале 1860 г. проект реформы и установления новых налогов был предложен на утверждение ландтага. Палата депутатов отнеслась к реформе с явным несочувствием и настаивала на двухлетнем сроке службы, а палата господ была недовольна намерением правительства увеличить поземельный налог, чтобы создать новые денежные средства, которых требовала реформа. Дело кончилось, однако, компромиссом: ландтаг согласился дать требуемые деньги лишь на один год для временного (*einstweiligen*) содержания армии в том виде, какой ей дало правительство, которое, со своей стороны, было убеждено в том, что конституция не отменила закона 1814 г. о военной организации. Обе стороны поняли, впрочем, по-своему эту сделку: правительство приняло ее в смысле окончательного утверждения реформы, а оппозиция, напротив, крепко держалась за слово «*einstweilig*», указывавшее на ее временный характер. Сессии 1861 г. правительство уже и не представляло военного законопроекта, но включило в бюджет 8 млн талеров; тогда большинство, сократив несколько эту цифру, снова вотиловало ее лишь на год. Вскоре затем образовалась в Пруссии новая политическая партия, получившая название «немецкой партии прогресса» (*Fortschrittspartei*), и в следующих 1862—1866 гг. вступила в борьбу с правительством.

Основателями этой партии были Вирхов, Шульце-Делич, Говербек, Моммзен, Филиппс и др. Программа партии, составленная в июне 1861 г., провозглашала верность королю и преданность конституции, установление в Германии центральной власти в руках Пруссии и введение общего парламента, последовательное осуществление в самой Пруссии принципов правового государства (*Rechtsstaat*), т. е. действительную независимость судей, возможность привлекать чиновников к суду, суд присяжных для преступлений политических и по делам печати, закон об ответственности министров, общинное, окружное и провинциальное самоуправление, отделение церкви от государства и равноправность всех вероисповеданий, освобождение начального образования от духовенства и т. п. По вопросу о военной реформе прогрессистская партия высказалась в смысле сокращения военного бюджета, сохранения прежнего ландвера и двухго-

личной службы в армии. В программу партии входил еще и пересмотр промышленного законодательства в либеральном направлении, и, наконец, она требовала полной реформы палаты господ, противящейся всякому прогрессу. Выборы 6 декабря 1861 г. дали решительное большинство (около ста шестидесяти мест) прогрессистам, и консерваторы явились в палату в самом незначительном количестве (около двадцати пяти). На сторону прогрессистов стал левый центр, и прежняя умеренно-либеральная партия осталась в меньшинстве. В сессии 1862 г. по вопросу о военной организации и началась настоящая борьба. На одной стороне были король, министры, палата господ, на другой — большинство палаты депутатов, и конфликт продолжался четыре года. Вильгельм I крепко держался за фактически уже выполненную реорганизацию армии, считая ее крайне необходимой для государства и лишь за собой признавая право решать вопросы, касающиеся внешней безопасности страны. Он, скорее, готов был бы отречься от престола, чем поступиться этим правом, и негодовал на народных представителей, которые, по его мнению, только мешали ему в отправлении его должности верховного вождя вооруженной силы Пруссии. Со своей стороны, палата депутатов находила, что если бы она всегда была обязана давать деньги по требованию короля, то право утверждения налогов, признанное за ней конституцией, превратилось бы в ничто. Сторонники королевской власти нарочно подчеркивали принципиальную сторону конфликта из-за этого совершенно частного, по-видимому, вопроса и стали обвинять оппозицию в том, что она стремится отнять государственную власть у короля, дабы перенести ее на палату депутатов. Прогрессисты, со своей стороны, оправдывались, доказывая, что они отнюдь не покушаются на конституционные права короны, а хотят только знать, должно ли праву представительства, тоже имеющему конституционную санкцию, вообще принадлежать какое-либо значение рядом с огромными полномочиями правительства. Обе стороны одинаково ссылались на то, что они охраняют конституцию: король охранял конституционный порядок от превращения в парламентский, оппозиция охраняла конституцию от абсолютизма, так что спор осложнялся взаимным недоразумением. Однако если правительство готово было поставить вопрос ребром, то прогрессисты, наоборот, избегали этого, и потому их оппозиция часто страдала внутренними противоречиями. Отколовшись от прежней либеральной партии и даже признав себя демократами, прогрессисты, на самом деле, были очень далеки от действительно демократической политики. Они отказались, например, от внесения в свою программу всеобщего избирательного права, ни единым словом не упоминали в ней ни о свободе печати, ни о праве собраний. Экономическая программа партии заключалась прямо в шаблонном буржуазном либерализме. В национальном вопросе прогрессисты стояли за объединение Германии под гегемонией Пруссии

и потому не могли не понимать, что без реформы армии дело обойтись не могло, но как раз этой самой реформе они и пытались помешать своей оппозицией.

В палате 1862 г. прогрессистское большинство постановило рассматривать и вотировать бюджет по специальным статьям расхода, а не в общих суммах, как это практиковалось раньше. Министерство «новой эры» увидело в этом требовании вотум недоверия и вышло в отставку, хотя многие из его членов вошли потом в состав нового министерства, образованного королем на этот раз уже, главным образом, из бюрократов и феодалов; фон Роон сохранил свой пост и в новом министерстве. Одновременно палата была распущена (11 марта). Выборы теперь должны были происходить под административным давлением ввиду характера, приписанного правительством оппозиции, но прогрессисты опять явились в палату в огромном большинстве (около 250), перетянув на свою сторону часть прежних либералов и в руках консерваторов оставив едва какую-нибудь дюжину мест. Новое министерство пошло было на разные уступки, но палата, желая, так сказать, подтвердить свое право вотировать налоги, отказала в тех деньгах, которые давала в предыдущие годы на содержание новых полков, хотя большая часть требовавшейся правительством суммы была уже истрачена (28 сентября). Многие находили подобный образ действий прогрессистской партии непоследовательным, так как без реорганизации армии и прусское объединение Германии было бы немыслимо, а другие указывали, что оппозиция прогрессистов не была достаточно смела и решительна¹, но сочувствие подавляющего большинства общества было на стороне прогрессистов. На отказ палаты утвердить военный бюджет король ответил образованием боевого министерства с Бисмарком во главе. К этому назначению общественное мнение прямо отнеслось, как к своего рода государственному перевороту.

При таких обстоятельствах в конце сентября 1862 г. вступил во власть человек, которому суждено было играть такую видную роль в истории Пруссии, Германии и всей Европы в шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годах истекающего столетия. Оттон фон Бисмарк-Шенгаузен (впоследствии граф, князь и герцог) происходил из старинного бранденбургского дворянского рода. Получив в геттингенском и берлинском университетах юридическое образование и прослушав курс агрономии, он поступил сначала на государственную службу, пробыл потом некоторое время в качестве вольноопределяющегося в армии, но скоро оставил и военную службу, чтобы поселиться в деревне и вести жизнь помещика, лично занимающегося хозяйством. Состоя членом областного сейма прусской Саксонии, он был им послан на первый соединенный ландтаг 1847 г. Затем

¹ См. ниже, в главе XXXI о критике Лассалья.

ему пришлось участвовать также во втором соединенном ландтаге и во второй палате прусского сейма 1849 г. Во всех этих собраниях он примыкал к ультраконсервативной партии и с большой смелостью защищал принцип абсолютизма. В одной из своих речей он договорился до того, что выразил желание стереть с лица земли большие города, как очаги демократии и конституционализма. С самого же образования партии «Крестовой газеты» он сделался горячим ее сторонником и по всем вопросам высказывался в самом реакционном смысле. Многие наиболее пикантные статьи были написаны в ней Бисмарком. Между прочим, в 1849 г. в палате он оспаривал предложение Родбертуса просить короля о принятии германской императорской короны. «Мой отчий дом — Пруссия», — говорил он и доказывал, что и «народ не имеет никакого интереса потопить прусскую монархию в южногерманской безалаберности». В следующем году он ратовал в палате за ольмюцскую политику. «Единственное разумное основание в политике великой державы, — сказал он, между прочим, тогда в палате, — это — государственный эгоизм, а не романтизм, и какой бы то ни было стране не следует воевать за дела, не касающиеся ее интересов». Фридриху-Вильгельму IV понравилась преданность Бисмарка, и в 1851 г. он назначил его представителем Пруссии во франкфуртском союзном сейме. Любопытно, однако, что сначала Бисмарк своим непринужденным обращением производил на Фридриха-Вильгельма IV крайне неприятное впечатление, и король даже выразился о нем как о «красном реакционере», который «пахнет кровью». Первоначально Бисмарк был сторонником теснейшего единения с Австрией, но когда Шварценберг стал стремиться к тому, чтобы «унизить Пруссию, а потом ее и уничтожить», он совершенно изменил свой прежний взгляд и возненавидел Австрию. Во Франкфурте он выработал целую программу, в которой на основании истории Германского союза доказывал невозможность пребывания в нем обеих великих держав без ущерба для интересов Пруссии. Так как, говорилося в мемуаре Бисмарка, Австрия и ее союзницы, конечно, не придадут своей политике относительно Пруссии другого направления, то Пруссия никак не должна держать себя с ними по-прежнему. Столкновение неизбежно, и правительство должно позаботиться о том, чтобы быть вполне подготовленным для успешной борьбы. Этим Пруссия нисколько не изменит своему призванию в Германии, а только освободится от навязываемого ей ее противниками представления, будто союзный сейм и Германия одно и то же и будто немецкие чувства Пруссии измеряются степенью ее покорности решениям большинства. Напротив, рассуждал Бисмарк, ни одно германское государство в такой мере, как Пруссия, не призвано и не способно ставить свои немецкие чувства в полную независимость от союзного сейма, да и для государств среднего и малого размеров Пруссия гораздо важнее, чем для нее самой какое-то большинство девяти голосов. На сво-

ем посту во Франкфурте-на-Майне Бисмарк оставался восемь лет, весьма искусно защищая интересы своего правительства и в то же время подкапываясь под прежнее положение Австрии. Благодаря ему Пруссия стала играть более самостоятельную и влиятельную роль в союзном сейме, и в Австрии были очень недовольны его политикой. Во время итальянской войны 1859 г. он решительно высказывался против австрийских предложений и стоял на стороне Италии. Ему даже приписали (совершенно неверно, впрочем) авторство брошюры «Пруссия и итальянский вопрос», в которой говорилось, что Пруссия должна или заключить союз с Наполеоном III против Австрии, или остаться в покое, но во всяком случае должна воспользоваться стесненным положением Австрии, чтобы взять в свои руки предводительство в Германии. Правительство сочло нужным отозвать Бисмарка и перевело его на пост своего посланника в Санкт-Петербурге (1859 г.). Как здесь, так и в Париже, куда он был переведен за полгода до своего назначения министром, он сумел овладеть расположением Александра II и совершенно очаровал Наполеона III. Когда Вильгельм I призвал его в министерство, общество знало Бисмарка больше по воспоминаниям о 1847—1850 гг., чем по его деятельности в 1851—1861 гг. Он не принадлежал к числу людей, так сказать, застывающих на раз приобретенных воззрениях, а Франкфурт, Санкт-Петербург и Париж заставили его смотреть на многие вещи совершенно иначе, чем смотрел на них Бисмарк конца сороковых годов, в прошлом которого были только студенческие кутежи да помещичьи заботы и забавы. Общественное мнение не ошиблось только относительно того, что министерство Бисмарка будет министерством боевым. Сам Вильгельм I, когда ему предложили призвать Бисмарка, боялся, что он во внешней политике перевернет все вверх ногами, и согласился на это назначение, скрепя сердце. Это было в такой момент, когда король серьезно подумывал об отречении в пользу сына, которому либералы очень симпатизировали.

Бисмарк сделался главным советником Вильгельма I, которым он совершенно овладел, когда король увидел, что политика его первого министра с успехом осуществляла его цели. По мере того как Бисмарк шел от победы к победе, старый король все более и более стушевывался перед своим советником и последний все более и более становился настоящим властелином Пруссии, хотя и любил выставлять себя верноподданным слугой монарха и династии Гогенцоллернов. Вильгельм I лично был человек простой и непритязательный, признававший за собой не только известные права, но и известные обязанности по отношению к государству, способный поступаться личным мнением и личным чувством во имя своего королевского долга, как он его понимал, и умевший слушаться людей, которых считал умнее и опытнее себя, так как в характере его была своего рода скромность, отсутствие резкого честолюбия. Бисмарк хорошо знал

своего государя и пользовался этим знанием, чтобы вполне подчинить его своей воле. Сам он был по натуре человеком необыкновенно властным, энергичным, честолюбивым, недаром за ним утвердилось прозвище «железного канцлера». Пост первого министра Пруссии открывал широкое поприще для его честолюбия и для осуществления его плана подчинить всю Германию Пруссии, которая сама должна была находиться в полном подчинении у него самого. Прежнее отвращение его к конституционализму не связывало его, однако, настолько, чтобы не делать уступок духу времени, если из этих уступок можно было извлечь пользу, т. е. если он находил удобным превращать в орудия своей политики идеи и учреждения, имевшие, хотя бы и прямо, революционное происхождение. Это не был доктринер, напротив, его оппортунизм граничил иногда чуть не с полной беспринципностью. Судьба наградила его многими качествами, весьма редко встречающимися в соединении. Обладая трезвым и проницательным практическим умом, он хорошо знал людей, особенно их слабости, которыми удобнее всего пользоваться, верно схватывал окружающие отношения, насколько они могли служить его целям, умел учиться и быстро осваиваться с новыми знаниями и понятиями, не пренебрегая для этого никакими источниками, и как искусный игрок, заранее высчитывал все свои будущие ходы, в высшей степени владея искусством не теряться при непредвиденных обстоятельствах. Природа наделила его сверх того и крепким здоровьем, и неутомимостью в работе, и внушительной наружностью, и своеобразным остроумием в беседе. Как дипломат, он превзошел всех современников в искусстве вести тонко задуманную интригу, скрывая ее за грубой, часто цинической откровенностью своих политических заявлений или прибегая для той же цели к прямой лжи, в которой впоследствии он иногда, смотря по надобности, и не запирался. Наполеон III, на которого долго смотрели как на очень искусного политика, оказался, в конце концов, далеко позади Бисмарка. В качестве министра Бисмарку приходилось выступать и на парламентской трибуне, и здесь он выработал себе особые приемы, делавшие из него незаурядного политического оратора, в речах которого тоже чувствовалась большая духовная мощь. Умея страстно ненавидеть и беспощадно мстить, он не останавливался ни перед какими средствами, когда считал возможным нанести удар противнику. Вообще нравственные мотивы менее всего руководили его поступками, и многие его изречения, сделавшиеся достоянием истории, как нельзя лучше характеризуют этого политического деятеля, которому столько людей безуспешно подражало в эпоху его славы и могущества. Он не раз заявлял во всеуслышание, что вся его политика основывается лишь на принципах пользы и целесообразности и что политические вопросы представляются ему лишь вопросами силы, а не права. Он твердо держался того взгляда, что «сила господствует над правом», и в деле объединения Германии фак-

тами старался доказать, что для немецкой нации имеет значение не либерализм Пруссии, а ее армия и что единство Германии будет достигнуто не ораторскими речами и не голосованиями, а «железом и кровью». Беспринципность, с которой он для достижения своей основной цели заигрывал впоследствии с самыми несходными между собой партиями, выразилась также в одном из его изречений: «Все на свете — лицемерие и гаерство». В разное время и при разных обстоятельствах он поэтому способен был говорить об одном и том же или действовать в одном и том же деле различным образом. Общий успех, сопровождавший действие его системы, только укреплял его в убеждении относительно ее правильности и позволял откровеннее излагать ее основные правила. Этот же успех сделал его из крайне непопулярного человека, каким он был в начале своей министерской карьеры, чуть не национальным героем объединенной Германии. Тогда ему простилась и та реакционная роль, которую он играл в 1863—1866 гг., так что бывший когда-то феодальный реакционер сделался кумиром либеральной буржуазии. Эта эволюция не только весьма интересна для биографии Бисмарка, который многими сторонами своих воззрений и своей деятельности приспособился к своей буржуазной эпохе, но и характерна для общественной истории Германии за всю эту эпоху.

С самого начала министерства Бисмарка «конфликт» между правительством и оппозицией принял самую острую форму. Палата объявила, что министры, производя временные расходы, ею отвергнутые, нарушают конституцию и протестовала против внесения бюджета прямо в палату господ, которая его приняла. Бисмарк, со своей стороны, ссылаясь на то, что он действует на благо государства и что конституция молчит насчет того, что нужно делать, если одна из трех властей окажется в разногласии с другими: тут, понятно, или должны прийти к соглашению, или произойдет столкновение, исход которого может решить только сила, на чьей стороне она окажется. В течение трех лет на этом основании правительство представляло бюджет на утверждение лишь одной палаты господ. По окончании сессии 1862 г. избиратели устроили ряд оваций оппозиционным депутатам и приветствовали их благодарственными адресами, что произвело крайне тягостное впечатление на короля. Сессия 1863 г. началась страстными дебатами об адресе королю, и Вильгельм I даже отказался принять депутацию палаты, указав, что она сама создала такое положение — управление без бюджета, и объявив, что при всем его желании прийти к соглашению он ни за что не поступится правами короны. Как раз в это время вспыхнуло восстание в Царстве Польском, и прусское правительство предложило в Санкт-Петербурге общими силами подавить эту революцию; по этому случаю в прусской палате правительству был сделан запрос Шульце-Деличем и Карловицем, повлекший за собой новые страстные дебаты с требованием соблюдения строгого нейтралитета между русскими

и поляками. Правительство возобновило военный законопроект, прогрессисты выступили с проектом закона об ответственности министров, и дело дошло до самых резких сцен. Министры не хотели подчиняться во время прений председателю собрания, депутаты отстаивали председательское право; министры добились от короля объявления о том, что они в этом споре были правы, палата обратилась к королю с адресом, в котором говорилось, что она не может работать с такими министрами, но на это Вильгельм I отвечал, что его министры пользуются его доверием, действуют по его указаниям и потому заслужили его благодарность за противодействие «противоконституционному стремлению палаты депутатов расширить свою власть». Сессия была затем закрыта (май), и через несколько дней (июнь) на основании ст. 63 конституции вышел ордонанс о прессе, дававший администрации право закрывать газеты после двух предостережений. Общественное раздражение было страшное. В Берлине начали составляться адреса и снаряжаться депутации, чтобы просить короля об отмене этого распоряжения, но правительство запретило все подобные манифестации. В начале сентября палата была объявлена распущенной, и на новых выборах была широко применяема система официальных кандидатур и давления на избирателей прямо уже от имени короля. Страна выслала, однако, лишь 37 министерских депутатов; все остальные были на стороне оппозиции. Новая палата протестовала против ордонанса о печати и давления на выборах и приняла закон об ответственности министров, но последние, со своей стороны, ни о чем этом не хотели знать, дело доходило до возбуждения вопроса о предании Бисмарка суду за нарушение конституции. Внешняя политика министерства тоже встретила оппозицию: палата протестовала против решенного правительством совместного занятия Шлезвига и Гольштейна Австрией и Пруссией и громадным большинством голосов отвергла предложение правительства о государственном займе ввиду споров, возникших между Германией и Данией из-за герцогств. Бисмарк не обратил никакого внимания на эту оппозицию, и в 1864 г. была вопреки протесту палаты предпринята шлезвиг-гольштейнская экспедиция, окончившаяся отторжением обоих герцогств от Дании. Так же поступил Бисмарк и в 1866 г., когда начал войну с Австрией. В другом месте мы увидим, что в эпоху этого прусского конфликта зародилась в Германии рабочая партия.

В Австрии в первой половине шестидесятых годов тоже решался конституционный вопрос. Поражение, которое было нанесено монархии в итальянской войне 1859 г., заставило правительство после десятилетнего периода реакции перейти к системе внутренних преобразований. Военная организация государства доказала полную свою несостоятельность, финансы были в самом жалком положении, и неудача займа в 200 млн гульденов произвела особенно сильное впечатление на правительство. Само

оно в манифесте по случаю окончания войны признало существование в государстве застарелых недостатков, требовавших радикального лечения, а тут еще обнаружилось колоссальное казнокрадство, кончившееся несколькими самоубийствами в высших кругах венского общества и выставившее эти круги в самом непривлекательном свете. Франц-Иосиф нашел нужным пообещать своим подданным разные реформы и созвать «усиленный государственный совет» (*verstärker Reichsrath*), в который было приглашено несколько лишних членов из высшей аристократии и бюрократии для совещания по финансовым и законодательным вопросам (6 марта 1860 г.). В это собрание были призваны и некоторые венгерские магнаты, которым было обещано восстановить старые учреждения их страны; они прямо заявили, что они во имя исторических прав своей родины просят покончить с положением, созданным в 1849 г. Комиссия, назначенная для обсуждения бюджета, высказала мнение, что старая система управления никуда не годится, что все отдельные земли монархии должны принять участие в заведовании своими делами и что пора положить конец умственному застою общества. В этом были согласны все, но по вопросу о том, как организовать участие отдельных частей монархии в управлении, образовались две партии — централистическая и федералистическая, как это было и в революционную эпоху. Это разделение получило большое значение в истории Австрии. Партия централистов была по преимуществу партией немецкой либеральной буржуазии, стоявшей за администрацию из немцев, за реформы, которые подняли бы промышленный класс, и за ослабление аристократических и клерикальных влияний. Наоборот, другие национальности монархии, за исключением мелких народностей, а именно мадьяры, чехи, поляки, хорваты, словенцы, итальянцы, или, точнее говоря, аристократические и клерикальные элементы этих народов, одни только и выступавшие в публичной жизни, были на стороне федерализма, который получил характер строго консервативный и поэтому пришелся по душе немецкому дворянству и духовенству. Большинство в комиссии было федералистическое и почти вдвое (25 и 13) превосходило централистическое меньшинство. Федералисты ссылались на исторические права и требовали областной автономии; централисты, отстаивая единство совокупного государства (*Gesamtstaat*), соглашались на октроирование нового устройства императором, хотя и не определяли, чем оно должно было бы быть. Правительство, серьезно все-таки не думавшее отказаться совсем от абсолютизма, решило вопрос в духе более консервативного федерализма. Императорским патентом 20 октября 1860 г. монархии давалось такое устройство: государь должен был пользоваться законодательной властью при содействии областных сеймов и имперского совета (*Reichsrath*), составленного из сеймовых делегатов; сеймы должны по-прежнему состоять из привилегированных сословий и весть

все дела, кроме дел общих (финансов, торговли, путей сообщения и военного дела), которые подлежали компетенции имперского совета из ста членов; министерства внутренних дел, юстиции, народного просвещения и культов отменялись; все подданные объявлялись равными перед законом в отношении вероисповедных прав, уплаты налогов и отбывания воинской повинности. Эта конституция встретила сопротивление со стороны мадьяр, которые воспользовались возвращением венгерской автономии, чтобы объявить недействительность всего сделанного правительством за последние годы и потребовать прямого восстановления конституции 1848 г., превращавшей Венгрию в особое государство в личной унии с Австрией. К числу фактов, за которыми они не хотели признавать юридической силы, относилась и замена на престоле императора Фердинанда Францем-Иосифом. В Венгрии тотчас же вопреки приказаниям правительства были восстановлены все прежние порядки, и народ перестал платить существующие налоги, ссылаясь на то, что они не были утверждены сеймом. Снова образовались комитаты, сеймики которых в январе 1861 г. обратились к императору с адресом, заключавшим в себе просьбу восстановить все законы 1848 г. и объявить полную амнистию. Франц-Иосиф был сильно встревожен настроением, царившим в Венгрии, и перешел на сторону централистов. Патент 1860 г. был выработан при содействии поляка Голуховского, призванного на министерский пост, — как человек, который по своей национальности был одинаково чужд немцам и мадьярам, но в декабре 1860 г. этого министра заменили немцем Шмерлингом, который, естественно, стал стремиться к тому, чтобы удержать за немцами преобладающее влияние в монархии. В это же время австрийские торговые палаты на вопрос правительства, как поднять сильно опустившийся курс бумажных денег, отвечали указанием на необходимость введения конституции. Это тоже произвело впечатление на Франца-Иосифа, и он поручил Шмерлингу выработать новую конституцию, которая и была объявлена 26 февраля 1861 г., хотя была названа только дополнением к патенту, обнародованному за четыре месяца перед тем. Государственное устройство, которое получала теперь Австрия, прямо уже называлось в императорском патенте конституцией, и новый конституционный государь давал обещание за себя и своих преемников соблюдать ее, в силу чего каждый новый император должен был приносить присягу в верности этой конституции.

Австрийская конституция 1861 г. была сочетанием федералистических, дуалистических и централистических принципов с явным преобладанием последних. Областные сеймы сохранялись и, кроме Венгрии и Венецианской области, должны были везде иметь однообразное устройство. Они должны были избираться тремя куриями избирателей — крупными землевладельцами, горожанами и крестьянами, что давало перевес немецкому, т. е. дворянскому и бюргерскому элементам над славянским, т. е.

крестьянским, да и избирательные округа были распределены к явной выгоде немцев, так что получили большее число представителей, чем должны были бы иметь по своей относительной численности. Для земель короны святого Стефана сделано было исключение, и Венгрия сохраняла старые черты своего устройства с большей компетенцией местного сейма; да и в общем представительстве империи венгерские депутаты должны были принимать участие лишь в тех случаях, когда обсуждались дела, общие для всей монархии, все же другие, превышавшие компетенцию местных сеймов, кроме специально венгерских, должны были рассматриваться в более тесных собраниях рейхсрата. Это была уступка дуализму. Центральное представительство сохранило название рейхсрата, т. е. имперского совета и разделилось на палату господ и палату депутатов, 343 члена которой должны были выбираться областными сеймами. И здесь все было устроено так, чтобы преобладающее значение принадлежало немцам, так как даже Венгрия посылала сюда лишь 85 депутатов. Уничтоженные в 1860 г. министерства были восстановлены, и компетенция рейхсрата расширена.

Новая конституция, составленная в духе централистской партии, была хорошо встречена либеральными кругами немецкой национальности и мелкими народностями, которые по своей численной незначительности или малой культурности не могли ничего выиграть от областной автономии, но аристократические элементы немецкого населения и все крупные ненемецкие национальности были конституцией недовольны. Венецианская область, Венгрия, Трансильвания, Хорватия наотрез отказались выслать своих депутатов в Вену. Правительству стоило больших усилий добиться присылки депутатов из Трансильвании, но мадьяры упорно стояли за свое историческое право, и их политический вождь, Дзак, повторял в своих речах на пештском сейме и еще раз заявил в сеймовом адресе императору то, что говорил в эпоху, непосредственно предшествовавшую революции 1848 г.: Венгрия ни ради чего не поступится своими интересами. Пештский сейм был распущен, и комитатские сеймики запрещены, но мадьяры не сдавались. Чехи были тоже недовольны конституцией 1861 г., но все-таки послали в рейхсрат своих депутатов, хотя и с оговоркой относительно исторических прав их родины. Впрочем, в 1863 г. и они перестали принимать участие в этом собрании; между прочим, чехи симпатизировали полякам, а австрийское правительство по случаю восстания в Царстве Польском ввело в Галиции осадное положение. Чешская оппозиция могла выражаться только в печати, но несмотря на то, что, в общем, положение прессы Шмерлингом и было облегчено, чешские газеты подвергались суровой репрессии. Подобно чехам, поступили и поляки, отказавшись от участия в центральном представительстве монархии. Немецкие абсолютисты и клерикалы равным образом выражали свое неудовольствие, между

прочим, например, по поводу отмены стеснений, которым прежде подвергалось протестантское богослужение. «Верный» тирольский народ даже обратился к императору с просьбой, в которой высказался против такой «чумной заразы». Впрочем, крупные немецкие землевладельцы, имевшие, благодаря избирательной системе, преобладание на сеймах, не решились поддерживать федералистических стремлений ненемецких народностей. Рейхсрат все-таки состоялся, хотя и без представителей от целых областей. 1 мая 1861 г. Франц-Иосиф открыл его речью, в которой подтвердил, что новая имперская конституция должна быть неприкосновенной основой единой и нераздельной монархии. Сначала рейхсрат был объявлен только «тесным», но когда в нем явились и трансильванские депутаты, он был признан компетентным рассматривать дела и всей монархии. В конце концов, однако, состав рейхсрата был главным образом немецкий, и Шмерлинг, который сам был одним из «имперских министров» 1848 г., вел чисто немецкую политику, почему она и находила сочувствие и в Германии. Мы видели, что в это время Австрия вступила в переговоры с другими немецкими государствами о переустройстве Германии и что часть немецких либералов, отшатнувшаяся от Пруссии, стала возлагать свои надежды на Франца-Иосифа. Большинство рейхсрата одобряло политику правительства и даже однажды (1863 г.) обратилось к императору с просьбой закрепить более тесным образом узы, связывающие монархию с другими немецкими государствами. Лишь одна финансовая политика правительства, которое не могло справиться с дефицитами и умело только увеличивать государственный долг, вызывала резкую оппозицию немецких либералов. Сначала они потребовали, чтобы был положен конец дефицитам, потом стали добиваться более экономного бюджета, наконец, прямо не захотели утвердить государственный заем. Франца-Иосифа раздражала эта уже чисто немецкая оппозиция, и он задумал отказаться от централистической политики.

Первым делом Франц-Иосиф пошел на уступки Венгрии и начал переговоры с вождями мадьярской нации. В 1865 г. он сам поехал в Пешт, назначил для Венгрии нового канцлера и отставил Шмерлинга (июнь). Не только в Венгрии, но и в славянских землях известие о падении этого министра было встречено с большой радостью: в Пеште, в Праге, во Львове по случаю отставки Шмерлинга были устроены иллюминации. Затем 20 сентября император объявил, что он счел нужным приостановить действие конституции, пока не войдет в соглашение с венгерским и хорватским сеймами относительно той формы, какую должна иметь их связь с другими частями империи. Тотчас после этого были начаты переговоры с обоими сеймами, но они были окончены уже после войны 1866 г., на время которой должны были прерваться. Чехи и поляки отнеслись к приостановке конституции 1861 г. весьма сочувственно. Были довольны и тирольские

католики, и вообще немецкие консерваторы. Немецкая либеральная партия, наоборот, видела в этой приостановке настоящий государственный переворот, тем более, что новое министерство (Белькреди) имело чисто аристократический состав.

Таким образом, в обеих великих державах Германии в середине шестидесятых годов переживался конституционный кризис. В Пруссии конституция явно нарушалась Бисмарком, получившим тогда прозвище «конфликт-министра», в Австрии конституционный опыт был признан неудачным, и действие конституции было приостановлено. Внутренние дела обоих государств особенно сильно занимали общественное мнение в других частях Германии ввиду снова поставленного жизнью вопроса о переустройстве союза, т. е. австрийских и прусских предложений на этот счет и борьбы между великогерманской и малогерманской партиями, разделившими свои симпатии между Австрией и Пруссией. То, что происходило в обоих этих государствах, не могло, понятно, радовать людей, желавших объединения Германии на основах свободных учреждений. В 1864 г. Австрия и Пруссия уже прямо вооружили против себя всю Германию своим поведением в шлезвиг-гольштейнском вопросе, в котором обе эти державы солидарно выступили против Дании вопреки общественному мнению громадного большинства нации.

Шлезвиг-гольштейнскому вопросу, поднявшемуся в 1848 г., великие державы положили конец в 1852 г., когда Англия, Франция и Россия обязались на лондонской конференции оберегать неприкосновенность датской монархии¹. Тогда же наследником всей монархии вместе с герцогствами был признан этими державами принц Глюксбургский, женатый на племяннице датского короля. Но это решение не было принято ни земскими чинами герцогств, отказавшихся и от участия в датском представительстве, ни Германским союзом, ни наследниками герцогств по мужской линии. Датское правительство между тем всячески утесняло немецкое население герцогств к великому неудовольствию Германского союза и всей немецкой нации. Когда в 1863 г. Фридрих VII умер, принц Глюксбургский воцарился в Дании под именем Христиана IX, но шлезвигский и гольштейнский ландтаги провозгласили своим государем Фридриха Аугустенбургского, который тоже имел право на престол, принадлежа к мужской линии царствовавшей династии. Все немецкие государства, кроме Австрии и Пруссии, стали на его сторону, и за него же было также и общественное мнение всей Германии, но державы, участвовавшие в лондонской конференции 1852 г., остались на точке зрения неприкосновенности датской монархии. На ту же самую точку зрения стали и обе великие германские державы. Гольштейн со своим сплошным немецким населением,

¹ О предыдущих фазах этого вопроса см. выше.

Шлезвиг, лишь в северной части которого население было датское, выразили, со своей стороны, желание теснейшим образом соединиться с остальной Германией. Германские патриоты решились тогда поддерживать своих единоплеменников, и оба политических общества, т. е. и великогерманский «Союз реформы» и малогерманский «Немецкий национальный союз», стали собирать деньги и вербовать добровольцев на помощь национальному делу. Они даже забыли свой антагонизм и сообща созвали съезд депутатов разных ландтагов и организовали особую комиссию для руководства предприятием. На сторону этого общественного движения стали и немецкие государи, поддерживаемые местными народными представительствами, и, наконец, сам союзный сейм сделал постановление о военном занятии Гольштейна. Пруссия и Австрия, не соглашаясь только на то, чтобы герцогства находились не в простой лишь личной унии с Данией, но составляли интегральную часть монархии, заняли положение, враждебное по отношению к национальному движению, охватившему немцев и германские правительства и распространившемуся среди их собственных подданных. Дело в том, что и австрийская, и прусская палаты разделяли вполне стремления палат других германских государств.

Инициатива такого оборота дела принадлежала Бисмарку, начавшему своим союзом с Австрией против Дании объединение Германии «кровью и железом». Прежде всего ему было нужно устранить европейское вмешательство в это дело. Россия теперь была на стороне Пруссии после того, как Бисмарк, вопреки общественному мнению всей Германии, сам стал на сторону России в польском вопросе. Между Францией и Англией произошло охлаждение из-за того же польского вопроса, в котором Наполеон III был покинут своей союзницей, и поэтому не захотел помочь Дании, тем более что, сам руководствуясь принципом национальностей, склонялся к мысли о необходимости присоединения к Германии немецкого населения герцогств. Англия, сначала объявившая Пруссии, что не может обещать нейтралитета, и предложившая созвание новой конференции, не решилась одна вести войну. Бисмарку оставалось только привлечь на свою сторону Австрию. Дело было нелегкое: союзу мешал постоянный антагонизм, обострившийся еще несогласием в вопросе о переустройстве Германии, и сам предмет — возбуждение национального вопроса — принадлежал к числу тех, которые, по возможности, всегда устранялись австрийской политикой. Едва Бисмарк увидел, что сближение Франции, Англии и Австрии на почве польского вопроса совсем расстроилось, он стал искать случая перетянуть Австрию, разошедшуюся с западными державами, в прусский лагерь. В Вену был послан из Берлина генерал Мантейфель, который только что перед тем по поручению Бисмарка ездил в Вюрцбург застрашивать собравшийся там конгресс «триады» (Саксонии, Ганновера и Баварии) прусскими вооружениями; успешно исполнив эту миссию, он

должен был теперь передать австрийскому правительству, будто Наполеон III замышляет в самом скором времени снова напустить Италию на Венецианскую область, но что в Берлине не прочь гарантировать Францу-Иосифу обладание его ненемецкими провинциями. Этот дипломатический ход удался как нельзя лучше; удались и другие дипломатические ходы Бисмарка, сумевшего в то же самое время уверить английского министра Джона Росселя, будто Саксония, Ганновер и Бавария готовят новый рейнский союз, который станет под протекторат Наполеона III, передаст в его распоряжение целую половину Германии и поможет ему добиться для Франции границы по Рейну. Склонив на свою сторону Австрию, Бисмарк добился еще того, что Франц-Иосиф объявил в Галиции осадное положение: этим Пруссия оказала новую услугу России, так как именно из Галиции шла главным образом помощь польскому восстанию. В Европе в 1864 г. прямо заговорили даже о возобновлении Священного союза, после того как в Берлине, Киссингене и Карлсбаде произошли свидания между австрийским, прусским и русским государями.

Начало совместных действий Пруссии и Австрии состояло в том, что они потребовали от Дании установления отдельного правительства для Шлезвига. Отказ датского короля исполнить это требование повлек за собой в январе 1864 г. объявление войны. Австро-прусская армия, состоявшая из 70 тыс. человек, быстро (в январе и феврале) заняла оба герцогства, потому что датская армия была вдвое меньше и не решилась оказывать сопротивление, да и правительство приказало ей избегать сражений и тем затягивать войну, чтобы дать время вмешаться в дело европейским державам. Германская армия, раньше посланная в Гольштейн союзным сеймом, была вытеснена австрийцами и пруссаками. Затем в скором времени последовало занятие австро-прусским войском и Ютландии. Англия в это время (в апреле) собрала в Лондоне конференцию, на которой, однако, не встретила поддержки со стороны Франции. Между тем Австрия и Пруссия объявили, что после своей победы они уже не признают силы за договором 1852 г. и желают совершенного отторжения герцогств от Дании. После некоторого перемирия союзники продолжали войну, приказав своим войскам идти и на острова. Совершенно оставленная всей Европой, Дания вынуждена была тогда просить мира (август). Окончательный договор был подписан в Вене 30 октября 1864 г. По этому миру датский король совершенно отказался от своих прав на герцогства Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург в пользу императора Австрийского и короля Прусского и обязался признать все распоряжения, какие они найдут нужным сделать относительно этих герцогств. Еще ранее английское правительство говорило о возможности разделения Шлезвига на две части, и это же самому датскому правительству советовал сделать Наполеон III, который предложил, в данном случае, руководствоваться различием языков населения, т. е. на-

циональным принципом. Одним позднейшим (1866 г.) договором населению северной части Шлезвига действительно было предоставлено право высказаться свободным голосованием, не желает ли оно быть присоединенным к Дании, но это условие никогда не было исполнено: Бисмарк не был сторонником принципа национальностей.

Союз Австрии и Пруссии не мог быть прочным. Австрия позволила Пруссии увлечь себя в войну, боясь, что Пруссия пойдет одна, и не желая дать ей одной воспользоваться плодами победы. Во время войны обе державы объявили себя за права герцога Аугустенбургского, но потом нашли, что датский король в качестве законного государя спорных герцогств имеет право уступить их кому желает, и взяли герцогства себе, оставив открытым вопрос о правах герцога. Со стороны Пруссии последнему были предложены условия, которые он соглашался исполнить, если на то будет согласие самих герцогств, но их население было крайне враждебно настроено по отношению к Пруссии. Именно в Берлине потребовали присоединения герцогств к таможенному союзу, включения шлезвиг-гольштейнской армии в состав прусской и уступки Киля с его портом Пруссии. Видя, что эти условия не будут приняты, Бисмарк сделал новое предложение — присоединить герцогства к Пруссии. Конечно, на это Австрия не могла дать своего согласия, и Бисмарк прямо хотел довести дело до войны со своей союзницей, зная, что она не была готова к войне¹. Вильгельм I, который тогда еще не был в полном подчинении у своего министра, воспротивился войне, и в августе 1865 г. между обоими государствами была заключена в Гаштейне конвенция, по которой Австрия взяла во временное управление Гольштейн, Пруссия — Шлезвиг². Депутаты немецких ландтагов, собравшиеся в октябре на съезд во Франкфурте-на-Майне, протестовали против этой конвенции во имя права самих населений обоих герцогств решить свою судьбу и заявили, что вся немецкая нация должна защищать это право герцогств. Австрия и Пруссия ответили на этот протест грозными представлениями союзному сейму и этим совершенно застрашали остальные германские правительства. Тем не менее, однако, между самими союзниками, поделившими между собой герцогства, начались несогласия. Еще до гаштейнского договора между австрийским и прусским комиссарами, управлявшими Шлезвигом и Гольштейном, происходили вечные недоразумения. Затем после гаштейнской конвенции оба государства стали вести себя совершенно различным образом по отношению к местному населению. Австрия управляла Гольштейном очень мягко, тогда как Пруссия установила в Шлезвиге совершенно деспотический режим. Сторонники самостоятельного существования герцогства всячески преследовались,

¹ Впоследствии сам союз с Австрией в 1864 г. стали объяснять намерением Бисмарка подготовить повод для войны с Австрией из-за дележа добычи.

² Пруссия за деньги приобрела маленькое Лауенбургское герцогство.

и вообще не допускалось никаких проявлений местного патриотизма. Когда австрийское правительство дозволило в Гольштейне одно собрание, выразившее желание, чтобы были созваны земские чины, Пруссия стала обвинять Австрию в потакании революционерам и запросила венское правительство, намерено ли вообще оно оставаться солидарным с Пруссией. Франц-Иосиф ответил на это, что он вовсе не обязан кому бы то ни было давать отчет в своем образе действий и что уже и без того он принес союзу немало жертв, хотя это и угрожало его добрым отношениям к другим германским государствам.

В это время Австрия избегала войны, по крайней мере, пока внутреннее положение монархии оставалось неопределенным, а Венгрия находилась даже в явной оппозиции. Вильгельм I, как было уже сказано, тоже не чувствовал расположения к войне. Бисмарк между тем хлопотал уже о заключении союза с Италией, хотя ему очень долгое время не удавалось преодолеть легитимистические и консервативные сомнения своего государя, видевшего в союзе с Италией своего рода поощрение революции. Если Пруссия в виде уступки либералам в самом еще начале признала Виктора-Эммануила королем Италии, то другие немецкие государства, державшиеся австрийской политики, не хотели поддерживать дипломатических сношений с Италией. После гаштейнского соглашения германские правительства были раздражены против Австрии, и Бисмарку удалось добиться от них не только возобновления прерванных сношений с Италией, но и заключения торгового договора между ней и таможенным союзом. Прусскому министру нужно было всячески располагать Виктора-Эммануила в свою пользу. Рассматривая внешнюю политику Наполеона III и объединение Италии, мы уже упоминали о том, что Бисмарк поманил императора французов обещаниями, отвечавшими его честолюбивым планам, и добился от него разрешения для Италии заключить союз с Пруссией. Ему нужно было спешить во что бы то ни стало, пока Наполеон III был занят мексиканской экспедицией и потому не мог бы деятельно вмешаться в войну. Несмотря на продолжавшуюся оппозицию палаты депутатов, прусское правительство взимало неразрешенные ею налоги и расходовало их по своему усмотрению, но зато реорганизованная прусская армия, благодаря военному министру фон Роону и начальнику генерального штаба Мольтке, была уже совсем готова выступить в поход. Ввиду всего этого Бисмарк, прежде всего, обратился к австрийскому правительству с упреками в том, что оно плохо исполняет гаштейнский договор (январь 1866 г.), и стал затем вести себя по отношению к венскому кабинету все более и более вызывающим образом. С обеих сторон вскоре начались военные приготовления. Австрия, впрочем, торжественно заявляла, что она первая не начнет войны, и Бисмарк тоже со своей стороны объявлял, что «нет ничего дальше от намерений его государя, как наступательные действия против

Австрии». Последнее заверение было, однако, сделано всего за три дня до подписания наступательного и оборонительного союза с Италией (апрель). В конце концов, Бисмарку удалось преодолеть отвращение Вильгельма I к союзу с итальянским королем, этим союзником революции, низвергшей нескольких законных монархов. Бедная деньгами, Италия получила при этом большую субсидию от Пруссии. Заручившись таким союзом, Бисмарк на приглашение отдать прусско-австрийскую распрю на рассмотрение союзного сейма резко ответил, что союзный сейм в этом деле совсем не судья. Мало того, прусское правительство предложило теперь этому сейму не более не менее как «созвание собрания путем прямых выборов и всеобщего голосования всей немецкой нации», которое и рассмотрело бы предложения германских правительств касательно переустройства Германского союза. Предъявляя такой план, Бисмарк, только что заключивший союз с итальянской революцией в лице Виктора-Эммануила, прибегал к политическому средству, заимствованному им уже у немецкой революции, чтобы напасть на Австрию, которую сам же только что обвинял в потакании революции в Гольштейне, как упрекал в том же и других немецких государей, разделявших общественное мнение всей нации по шлезвиг-гольштейнскому вопросу.

Открыла военные действия Пруссия. Ее армия 8 июня выступила из Шлезвига в Гольштейн, откуда австрийское войско немедленно же должно было удалиться, будучи слабее прусского. Через день после первого появления пруссаков в Гольштейне Бисмарк предложил непосредственно отдельным германским государствам свой план переустройства союза: Австрию и Люксембург, соединенный с Голландией, предлагалось совсем исключить из Германии; далее, должен был быть созван путем всеобщего голосования германский парламент, установлена центральная власть для дипломатического представительства, для решения вопроса о войне и мире и для заведования экономическими делами и организована общая армия под начальством королей прусского и баварского. Австрия потребовала в союзном сейме мобилизации союзных войск, чтобы наказать Пруссию за нападение на Гольштейн, и сейм принял это предложение, но прусский уполномоченный встал со своего места и заявил, что его государь считает союз расторгнутым и думает сохранить за собой полную свободу действий. Это было 14 июня, а 15-го числа Бисмарк потребовал от правительств Ганновера, Кургессена и Саксонии взять назад вчерашнее решение, разоружиться и примкнуть к прусскому предложению. Срок для ответа был им дан самый короткий, и когда они ответили отказом, прусские войска немедленно (16 июня) вступили в эти государства, которые в несколько дней и были ими заняты. Мелкие государства Северной Германии подчинились прусским требованиям. Южная Германия стала на сторону Австрии, но тамошние правительства действовали очень вяло и медленно,

так что прусским войскам удалось отрезать их военные силы от соединения с австрийскими или задержать их движение вперед. Главные армии свои Пруссия двинула в Чехию, оставив в своих прирейнских землях едва 15 тыс. солдат, в то самое время как Виктор-Эммануил напал на Венецианскую область (20 июня) и этим отвлек в Италию целую половину австрийской армии. Военные операции в Чехии велись Мольтке необыкновенно быстро. В эту страну вторглись две армии. Одна была под начальством королевского племянника, принца Фридриха-Карла, и явилась сюда через Саксонию, другая, вступившая из Силезии, находилась под командой кронпринца. В несколько дней (26—29 июня) каждая из них одержала ряд побед над австрийцами, пока обе они не соединились и не разбили 3 июля наголову неприятеля (фельдмаршала Бенедекка) при Садовой (или Кёниггреце). Австрийцы потеряли здесь 160 пушек и 40 тыс. человек убитыми, ранеными и взятыми в плен. Путь на Вену был открыт, но, кроме того, прусская армия, в которой даже был особый легион из мадьярских изгнанников, могла двинуться и на Венрию, чтобы поднять в ней новое мадьярское восстание. Мы уже говорили, что Франц-Иосиф поспешил отдать Наполеону III Венецианскую область для переуступки ее Италии, лишь бы он помог Австрии заключить мир с Италией и перемирие с Пруссией. Никто в Европе не ожидал такой быстрой развязки и столь решительной победы Пруссии. Наполеон III, думавший, что война затянется и обессилит обоих противников и что тогда ему легко будет сказать свое властное слово, был застигнут врасплох и, как мы видели, не решился на сколько-нибудь смелый шаг, тем более что Бисмарк и на этот раз сумел его обойти, представив ему в самом скромном виде дальнейшие намерения Пруссии, пообещав ему в будущем союз с Пруссией и поманив его опять надеждой на вознаграждение Франции на левом берегу Рейна. Вместо того чтобы выступить против Пруссии, как того желали во Франции, Наполеон III сделался вполне соучастником Бисмарка, и, заручившись его согласием на задуманные в Германии перемены, Бисмарк уже мог, не стесняясь, ставить свои условия. Россию Пруссия расположила в свою пользу обещанием не противиться, если она при случае откажется от соблюдения трактата 1856 г. Наполеон III потребовал было присоединения к Франции прирейнской Баварии и прирейнского Гессена, но получил от Пруссии решительный отказ, и Бисмарк только воспользовался этим требованием императора французов, чтобы совершенно дискредитировать его в глазах южнонемецких государей, которые ввиду чрезмерных притязаний Пруссии искали защиты у Франции. Бисмарк, поставивший им сначала очень тяжелые условия, хотел лишь застрашать их, а затем, сделав им уступку и обещав защиту против Франции, перетянуть их на свою сторону. При посредничестве Наполеона III переговоры между Австрией и Пруссией привели к заключению сначала предварительного мира в Никольсбурге (26 июля),

потом и окончательного мира в Праге (23 августа), но Наполеон III уклонился от участия в самом заключении этого мира, не желая подписывать трактат, увеличивавший территорию Пруссии, пока в его руках не было вознаграждения, на которое Бисмарк подавал ему надежду. С другой стороны, Бисмарк заключил мир с Австрией, вопреки условиям союза с Италией не спросив на то ее согласия, а на ее протест против этого ответил, что она получила Венецианскую область и что более ей ничего не было обещано. Одновременно Пруссия заключила мирные договоры отдельно с Вюртембергом, Баденом, Баварией (13, 17 и 22 августа), Гессен-Дармштадтом, Рейссом старшей линии (3 и 25 сентября), Саксен-Мейнингеном и Саксонией (8 и 21 октября) на весьма льготных для них условиях. С Баденом, Баварией и Вюртембергом были заключены, кроме того, и наступательно-оборонительные союзы. Подобного же рода договор был подписан (18 августа) между Пруссией и теми государствами Северной Германии, которые перед началом войны стали на сторону Пруссии; вскоре к этому договору вынуждена была присоединиться и Саксония. Союзы с южногерманскими государствами держались в секрете, так как в никольсбургском предварительном трактате было условлено, что государства на юге от Майна должны были оставаться независимыми от Пруссии. Франция, согласившаяся на прусскую гегемонию лишь в Северной Германии, была и тут обманута. Перед самым заключением пражского мира Бисмарк вел переговоры с Наполеоном III, который теперь просил лишь присоединения к Франции Люксембурга и предлагал Пруссии союз, обещая за присоединение Бельгии помочь Пруссии распространить ее гегемонию и на юг от Майна, но едва только мир с Австрией был заключен, как Бисмарк, выпросивший у французского правительства письменное изложение этого проекта, стал делать возражения и настоял на том, чтобы для успеха переговоров Наполеон III объявил, что он одобряет все, что было сделано прусским правительством. 16 сентября Наполеон III в длинной циркулярной ноте объявил всей Европе, что одобряет только что совершившиеся перемены как залог благосостояния и безопасности для всей Европы, и в особенности для Франции. Во Франции, однако, чувствовали, что теперь ее очередь сделаться главным предметом агрессивной политики Пруссии, и сам Наполеон III, не отказываясь от ведения переговоров с Бисмарком, пришел к мысли, что лишь счастливая война с Пруссией в состоянии была бы восстановить его прежнее всемогущество. Бисмарк, еще в 1866 г. предавший гласности проект Наполеона III об увеличении Франции на счет Баварии и Гессена, в 1870 г. опубликовал и план захвата Бельгии.

Война 1866 г. положила конец существованию Германского союза. Господствующим положением в Германии сделалась Пруссия, так как расширила свои владения и стала во главе нового союза, из которого Австрия была совсем исключена. К Пруссии были присоединены, во-первых, Шлезвиг

и Гольштейн, во-вторых, целых три государства Северной Германии, отделившие западные части Пруссии от восточных, именно королевство Ганноверское, курфюршество Гессен-Кассельское и герцогство Нассауское, с небольшими частями Баварии и Гессен-Дармштадта, а также Гессен-Гомбург и, в-третьих, вольный город Франкфурт-на-Майне, занятый Пруссией во время войны. Пруссия не только увеличила свою территорию, но и уничтожила прежнюю ее чересполосность. Отняв обширные владения у законных государей, Вильгельм I оправдывал себя ссылкой на то, что они «по воле Божьей» были побеждены и что как интересы Пруссии, так и благо всей германской нации не позволяют возвратить этим государям власть, отнятую у них победой Пруссии. Ссылаясь на необходимость создать такую Германию, которая вполне осуществляла бы требования нации, прусское правительство было далеко от мысли выслушать голос самой нации в этом деле, и когда комиссия палаты депутатов выразила желание, чтобы присоединение новых территорий получило народную санкцию, более соответствующую духу времени, чем простой факт завоевания, Бисмарк ответил, что эта санкция — в долге Пруссии поддерживать независимость и единство Германии. Как было уже упомянуто, не спросили даже о желании датских жителей Северного Шлезвига, хотя это прямо было условлено в пражском трактате 1866 г. Само прусское правительство в официальном документе о завоевании новых территорий не скрывало того, что убеждение в необходимости присоединения названных областей «разделялось только частью их населения», и лишь выражало свою надежду на то, что, со временем, это население привыкнет к новому своему положению. Число жителей Пруссии увеличилось до 25 млн, но зато сама Германия после исключения из нее Австрии потеряла 8 млн немцев. Устранив от участия в немецких делах свою старую соперницу, Пруссия в том же 1866 г. заключила с другими немецкими государствами, на север от линии Майна, особые договоры, создав из них под своей гегемонией новое союзное государство (Bundesstaat), которое существенно отличалось от прежнего союза государств (Staatenbund) и которое получило название Северогерманского союза (Norddeutscher Bund). В состав него кроме Пруссии вошло 21 государство, и все они, за исключением Саксонии, относились к числу мелких. Вне союза остались лишь южногерманские государства (Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт), и Франция, особенно хлопотавшая о линии Майна, желала, чтобы они создали особый союз по образцу Северогерманского. Однако здесь ни правительства, ни палаты (за исключением вюртембергской) не желали образования союза, но Пруссия и тут путем тайных договоров обеспечила себя на случай войны с Францией.

В 1866 г. Бисмарк еще в одном отношении проявил большую дальновидность. Как ни противился Вильгельм I сначала братоубийственной войне с Австрией и ни отстаивал принцип легитимитета, после Садовой

он стал требовать от имени армии триумфального въезда в Вену и выразил желание получить территориальное приращение из австрийских земель. Бисмарк решительно воспротивился этому, чтобы не нажить Пруссии заклятого врага в Австрии, которая никогда не простила бы подобного унижения. Расчет впоследствии оказался верным, и Австрия после разгрома Франции приняла даже участие в союзе трех императоров, устроенном Бисмарком. Позднее он признавался еще, что после победы 1866 г. ему ничего не стоило бы броситься в самую решительную и смелую реакцию, тем более что об этом прямо просила его и короля депутация от консервативной партии, приехавшая в Прагу и указавшая на удобный случай изменить конституцию в более монархическом направлении. Вильгельму I этот план нравился, но Бисмарк нашел, что такие друзья, не видящие дальше своего носа, гораздо опаснее врагов, и самым решительным образом воспротивился требованию консерваторов.

Поразительные и совершенно неожиданные успехи прусского правительства, его военные и дипломатические победы резким образом изменили его международное и внутреннее положение. Европа, не сумевшая сдержать Пруссию, обнаружила полное бессилие своего «концерта», и отдельные государства стали считаться с политикой Бисмарка как с фактором первостепенной важности. Прусская военная организация, игольчатое ружье, которому она была многим обязана в своих победах, тактика прусского генерального штаба затмили совершенно военную славу Франции. Война с Францией в 1870—1871 гг. прямо доставила Пруссии и объединенной ею Германии господствующее положение в Европе. Внутри страны прусское правительство также сильно укрепило себя всеми этими успехами.

Бисмарк вел датскую и австрийскую войну 1864 и 1866 гг., находясь в конфликте с палатой депутатов, не одобрявшей и внешней его политики. За все это время он всячески подавлял в Пруссии свободное выражение политического мнения. Сессия 1866 г. была закрыта после объявления, сделанного палатой, что министерство нарушило конституцию. Новые выборы происходили под влиянием военных успехов Пруссии; сессия открылась по окончании войны (июль и август). Сам Бисмарк стремился теперь к прекращению конфликта, и в тронную речь короля рядом с указанием на новейшие события, подтвердившие верность принятой правительством политики, было вставлено желание прекратить конфликт путем снятия ответственности (Indemnität) за управление без законного бюджета (die ohne Staatshaushaltsgesetz geführte Verwaltung). Нужно, однако, прибавить, что во время обсуждения последнего вопроса король заявил, что он и «на будущее время будет держаться такого же образа действий, если повторятся подобные обстоятельства», хотя и выразил при этом надежду, что этого, конечно, более не случится. На выборах прогрессисты

получили меньшинство, и в палате составилось правительственное большинство. Предложенный министерством закон о снятии ответственности был принят 230 голосами против 75. Другие предложения правительства (присоединение новых территорий, закон о выборах в рейхстаг Северогерманского союза, покрытие военных расходов, бюджет на 1867 г.) прошли также вполне благополучно. В самой прогрессистской партии теперь произошел раскол. По вопросу об indemnitate часть прогрессистов под предводительством Ласкера и Твестена подала голос за предложение правительства и вышла из состава партии, чтобы в союзе с некоторыми старо-либералами образовать новую партию, которая объявила (24 октября 1866 г.), что будет поддерживать правительство в его внешней политике, а внутри, не поступаясь ни единым конституционным правом, будет, напротив, охранять своей бдительной и лояльной оппозицией народные права. Новая партия получила название национал-либералов. С 1867 г. национал-либералы начали играть самую выдающуюся роль в прусской палате и во вновь учрежденном рейхстаге Северогерманского союза. В ее состав вошли отколовшиеся от своей партии прогрессисты, большинство прусских старо-либералов и либеральные депутаты вновь присоединенных областей; сделавшийся ее главой Беннигсен прежде был вождем ганноверской либеральной оппозиции. Желая полного слияния с Пруссией ее новых областей и объединения Германии путем включения в нее южных государств и вместе с этим стремясь к уничтожению дворянских привилегий, к ослаблению влияния духовенства и к отмене всего, что стесняло промышленность и торговлю, национально-либеральная партия была готова делать правительству уступки по многим другим пунктам, прямо не затрагивавшим ее буржуазно-объединительной программы. Бисмарк сам мало-помалу стал переходить на сторону этой партии, в которой искал поддержки не только против прогрессистов и социалистов, но и против оппозиции, возникшей во вновь присоединенных областях (датчане в Шлезвиге, «гвельфы» в Ганновере и т. п.) и в Познани (поляки), которая до 1866 г. не считалась составной частью Германии. Впрочем, главной ареной борьбы политических партий после образования Северогерманского союза был уже не прусский ландтаг, а северогерманский рейхстаг.

Летом и осенью 1866 г. Пруссия заключила договоры с отдельными северогерманскими государствами об образовании нового союза, а зимой 1866/67 г. происходило обсуждение его будущего устройства. Окончательное решение вопроса было предоставлено учредительному рейхстагу, члены которого, согласно прежнему предложению Бисмарка, были избраны всеобщей подачей голосов. Этот сейм открыл свои заседания 24 февраля 1867 г. Значительное большинство избранных оказалось принадлежащим к средним партиям национал-либералов (115) и так называемых свободных консерваторов (Freikonservative, 40), отколовшихся (Botschafter-

fraktion) от старых консерваторов, чтобы поддерживать правительство. Прогрессистов было избрано только 20. Кроме них к оппозиции принадлежали немецкие партикуляристы и ультрамонтаны и небольшое число польских, датских и социал-демократических депутатов. 4 марта Бисмарк представил рейхстагу проект конституции, указав на необходимость поскорее окончить его рассмотрение ввиду срока, поставленного для этого договорами 1866 г., и поступления его на рассмотрение и отдельных ландтагов. Дело, благодаря сговорчивости большинства, пошло быстро, и 17 апреля была провозглашена новая конституция, а учредительный рейхстаг распущен. Прусский и другие ландтаги приняли конституцию в мае и июне (в Пруссии, несмотря на оппозицию прогрессистов), а в июле она была приведена в действие. 14-го числа этого месяца Бисмарк был назначен на пост имперского канцлера. Первая обыкновенная сессия рейхстага открылась 10 сентября 1867 г.

Образование Северогерманского союза было только преддверием к основанию Германской империи (1871 г.), которая сохранила с соответственными, в сущности самыми незначительными, изменениями и конституцию Северогерманского союза. В промежуток времени между основанием союза и превращением его в империю Бисмарку удалось привлечь и южногерманские государства к совместному рассмотрению дел, касавшихся таможенного союза, и три раза за эти годы созывались так называемые таможенные парламенты (Zoll-parlamente), которые были не чем иным, как своего рода рейхстагами с представителями от южногерманских государств, избранными тем же порядком, как и в Северогерманском союзе. Договор в этом смысле был заключен 8 июля 1867 г., и первый таможенный парламент собрался 27 апреля 1868 г.

Конституция Северогерманского союза¹ заимствовала основные свои очертания из имперской конституции 1849 г. Пруссия получила в союзе председательство (Praesidium): ее король, представленный в союзе особой назначенного им канцлера, сделался носителем всей дипломатической и военной власти союза и его главой во всех внутренних делах. Отдельные правительства посылали своих уполномоченных с определенными инструкциями в союзный совет (Bundesrath), и из 43 голосов Пруссии принадлежало здесь 17 голосов. Третьей основной частью этого устройства был рейхстаг, избиравшийся всеобщей подачей голосов. Бисмарк провел всеобщее избирательное право, с одной стороны, видя из примера Франции, что при известных обстоятельствах всенародное голосование не грозит опасностью для всемогущества правительства, а с другой — признав, что национальное представительство, составленное таким образом, будет служить лучшим средством для политического объединения Германии,

¹ Подробно она будет рассмотрена в томе VI настоящего труда.

так как на рейхстаг будет удобно опираться для противодействия партикуляризму отдельных правительств. В Пруссии была оставлена прежняя трехразрядная система выборов, выгодная для консервативных элементов общества, хотя национал-либералы требовали ее реформы, а сами прусские консерваторы, имевшие на своей стороне почти всю палату господ ландтага и располагавшие довольно значительным по численности своей меньшинством, даже стали в оппозиционное отношение к правительству. Рейхстаг, избранный всеобщей подачей голосов, не казался опасным Бисмарку и потому, что за прусским королем была признана законодательная санкция, а единственным представителем правительства перед рейхстагом являлся, по конституции, союзный канцлер, назначаемый тем же прусским королем, и один имел право контрасигнировать правительственные акты председателя союза, хотя и не нес на себе юридической ответственности за эти акты. Бисмарк воспротивился самым энергичным образом установлению ответственного союзного министерства. Впрочем, он оправдывался от обвинения в стремлении к цезаризму в союзе с народными массами против свободы буржуазии. «Я, — сказал он однажды, — не поклонник народовластия, но в общем чувстве и сознании народа всегда вижу больше здравомыслия, нежели в профильтрованном мнении привилегированного меньшинства, объединяющегося одинаковым имущественным цензом и одинаковыми квитанциями в уплате налогов. Всеобщие и прямые выборы все-таки дают исход брожению в народе и позволяют нам ощупывать народный пульс... Нет ничего более бессмысленного и отвратительного, как прусское избирательное право»¹.

В то самое время как Пруссия создавала Северогерманский союз, бывший лишь первым шагом к образованию теперешней Германской империи, исключенная из состава Германии Австрия из единой и нераздельной империи, какую желала сделать из нее партия централистов, превратилась в дуалистическую Австро-Венгрию. Мы видели, что еще до войны 1866 г. Франц-Иосиф отказался от централистической конституции 1861 г.² Война 1866 г., совершенно изменившая международное положение Австрии, только заставила правительство поспешить с решением вопроса о будущем устройстве монархии. Сначала правительство обратилось к федералистической программе, но немцы отказались заседать в чрезвычайном рейхсрате, который был созван, между прочим, для обсуждения соглашения с Венгрией и в котором образовалось плотное федералистическое большинство. Тогда правительство выступило на путь дуализма, и главным деятелем новой политики явился Бейст. До 1866 г. Бейст был первым

¹ Один раз, отвечая в рейхстаге на упрек в уступке демократизму, Бисмарк сказал, что хотя он и чувствует себя свободнее в прусской палате, но она отнюдь не представляется ему интеллигентнее рейхстага: «скорее напротив», прибавил он.

² Более подробное изложение австрийской истории после 1866 г. будет дано в VI томе.

саксонским министром, крайне враждебно относившимся к Пруссии. В числе проектов нового устройства Германии в начале шестидесятых годов был и его проект, направленный против преобладания Пруссии. В 1864 г. он выступил противником политики Бисмарка, и даже предложил решение вопроса о герцогствах предоставить голосованию их населения. В 1866 г. он выступил самым решительным неприятелем Пруссии и всячески мешал заключению мира с нею. Саксонский король вынужден был дать ему отставку, но Франц-Иосиф принял его на австрийскую службу, сделал министром иностранных дел, а потом назначил канцлером империи. Бейст именно и настоял на том, чтобы разделить господство в монархии между немцами и мадьярами. На этой основе он начал и благополучно довел до конца переговоры с вождем мадьярских патриотов Дзаком, и в силу соглашения (*Ausgleich*) 1867 г. Австрия превратилась в Австро-Венгрию — в два государства, получившие еще названия Цислейтании и Транслейтании (от пограничной реки Лейты), но сохранившие общего государя, хотя и с различными титулами — императора Австрии и «апостолического» короля Венгрии. Венгрия вернула себе конституцию 1848 г., хотя и с некоторым расширением королевской власти, но славяне в обеих частях монархии должны были подчиниться господствующим национальностям. В Австрии в 1867 г. тоже было восстановлено конституционное устройство, и немцы опять заняли господствующее положение.

Мы не станем здесь рассказывать внутреннюю историю Центральной Европы (Пруссии с Северогерманским союзом, Южной Германии и Австро-Венгрии) после 1867 г. и остановимся, но тоже лишь в общих чертах, на событиях, приведших к превращению Северогерманского союза в современную Германскую империю¹. Рассмотрим лишь главнейшие события.

Поманив Наполеона III надеждой на присоединение Бельгии, Бисмарк не думал исполнять своего обещания относительно союза с Францией. Открывая 17 февраля 1867 г. заседания законодательного корпуса, Наполеон III с гордостью объявил, что в предыдущем году он «остановил победителя у ворот Вены, сохранил целостность Австрии и довершил (*complété*) итальянскую независимость», на что Вильгельм I, через неделю после этого открытия рейхстага, ответил выражением твердой надежды на завершение в будущем германского единства, которому помешали в Никольсбурге. Мы видели в другом месте, что в том же 1867 г. Бисмарк помешал Наполеону III приобрести за деньги от голландского короля герцогство Люксембургское. Дурные отношения, установившиеся между прусским и французским правительствами, распространились и на общественное мнение обеих наций, и пресса обеих стран только раздувала националь-

¹ Обо всем этом речь будет в VI томе, который начнется с обзора состояния Западной Европы в конце шестидесятых годов и с истории войны 1870—1871 гг.

ную вражду. Французские публицисты говорили о необходимости отомстить Пруссии за Садовую, немецкие стали ссылаться на старые счеты с Францией, этим «наследственным врагом» германского единства, свободы и величия. Уже в 1867 г. поговаривали о войне, особенно после того, как Наполеон III свиделся с Францем-Иосифом в Зальцбурге. Австрийской политикой в это время уже заправлял Бейст, который не терял надежды вернуть Австрии ее прежнее положение в Германии; новый австрийский министр присутствовал при этом свидании. Австро-французский союз, однако, не состоялся, но попытка его заключения доставила Бисмарку возможность напасть на французское правительство и натравить на него немецкую прессу. Зальцбургское свидание состоялось в августе, и на нем оба правительства «нравственно» друг перед другом обязались не допускать дальнейшего объединения Германии. Бисмарк ответил на это циркулярной нотой от 7 сентября, где было сказано, что, несмотря ни на какие угрозы, германское единство все-таки будет завершено и что линия Майна будет устранена, лишь только южногерманские государства захотят слиться с общим отечеством. Переговоры Австрии с Францией возобновлялись и впоследствии, но Бейст мало доверял Наполеону III и не сходил с его планами. В самой Австрии Бейст поощрял антипруссские немецкие манифестации и прессу, враждебную Бисмарку, что сильно беспокоило и раздражало канцлера. Кроме союза Австрии с Францией имелось в виду и привлечение к нему Италии, и Бейст об этом очень хлопотал, но и из этих переговоров ничего не вышло. Австрия соглашалась на союз под условием, чтобы Италия шла с ней рука об руку, но Италия требовала Рима, а Наполеон III не хотел ей этого обещать. Кроме того, мадьяры были против войны, а австрийские немцы против союза с Францией, в Италии же смело действовала республиканская партия, желавшая союза с Пруссией в расчете на то, что это заставит Францию вывести из Папской области свои войска. Тогда Бисмарк решил, что пора начать войну.

С одной стороны, он боялся, что, в конце концов, может осуществиться соглашение между Австрией, Францией и Италией, а с другой — его сильно тревожило недовольствие населения Северной Германии на разорительные вооружения Пруссии. Особенно жаловались жители областей, присоединенных к Пруссии в 1866 г., так как они должны были теперь платить более высокие налоги, чем платили прежде. В октябре 1869 г. в рейхстаге сделано было даже предложение о разоружении, а срок, на который был вотирован военный бюджет Северогерманского союза, истекал в 1871 г. Кроме того, Бисмарк очень хорошо видел, что в Южной Германии все более и более обнаруживалось нерасположение к тому, чтобы вполне подчиниться прусской гегемонии: как в таможенном парламенте, так и в палатах Баварии и Вюртемберга особенно сильно проявлялось оппозиционное настроение. В начале 1870 г. и в Мюнхене, и в Штутгарте народ-

ное представительство жаловалось на тяжесть военного бюджета и требовало уменьшения вооруженных сил. Наконец, Бисмарк был очень хорошо осведомлен обо всем, что происходило при тюильрийском дворе, где в это время партия, желавшая войны, пользовалась особым расположением и покровительством императрицы Евгении. Бисмарку нужна была война, и в это время ему не стоило большого труда ее вызвать. Он только хотел заставить Наполеона III самого объявить войну и искал для этого удобно-го случая, и повод скоро представился.

Этим поводом послужили испанские дела¹. В 1868 г. в Испании произошла революция, свергшая с престола королеву Изабеллу. Эта новая революция сопровождалась внутренней борьбой партий, но в учредительных кортесах 1869 г. образовалось конституционно-монархическое большинство, которое было одинаково враждебно и восстановлению абсолютизма, и учреждению республики. Но тут являлся вопрос о том, кого возвести на вакантный престол. Кандидатов было несколько, но выбор испанцев остановился на принце Леопольде Гогенцоллерн-Зигмарингенском, который принадлежал к католической церкви и по своему происхождению был родственником прусского королевского дома. Насколько такому решению вопроса содействовала политика берлинского кабинета, в настоящее время пока еще решить нельзя, но с самого же начала в переговорах об этой кандидатуре приняли участие и прусское, и французское правительства. Сначала испанцы три раза обращались с предложением короны к отцу принца, который совсем не обнаруживал расположения к тому, чтобы его сын сделался испанским королем. Вильгельм I, в качестве главы фамилии Гогенцоллернов, тоже не считал эту кандидатуру подходящей, но Бисмарк ей благоприятствовал, хотя и старался представлять дело так, что весь этот вопрос несколько не касается прусского правительства, будучи только делом самой Испании и фамилии Гогенцоллернов. После трех неудачных попыток решения вопроса при посредстве отца принца Гогенцоллерн-Зигмарингенского испанцы обратились прямо к своему избраннику, и в июне 1870 года получили от него согласие. Бисмарк хорошо знал, что Наполеону III эта кандидатура была крайне неприятна, и он, очевидно, интересовался вопросом, что станет против нее возражать император французов, несколько раз заявлявший свое уважение к принципу национальной воли. В конце того же месяца Вильгельм I написал отцу принца письмо, в котором говорил, что в качестве главы фамилии он ничего не имеет против того, чтобы тот дал разрешение своему сыну занять испанский престол. Прусский король тем решительнее мог вмешаться в этот вопрос, что за несколько дней перед этим виделся в Эмсе с Александром II, который обещал ему в случае надобности сдержать Австрию, так как рус-

¹ В предыдущем изложении история Испании была доведена до середины сороковых годов (см. выше). Более подробное ее изложение будет сделано в VI т.

ский император был недоволен австрийским правительством за слишком большое его расположение к полякам. Известие о принятии принцем Леопольдом испанского предложения произвело весьма сильное впечатление в Париже. Воинственная партия при тюильрийском дворе обрадовалась этому обстоятельству и стала эксплуатировать его, всячески стараясь раздуть его значение в глазах общества. Хотя министерство, только что вступившее во власть, было расположено к миролюбивой политике, оно не решилось, желая сохранить свое положение, идти наперекор общественному мнению и сделало кое-какие шаги, которые тоже должны были обострить вопрос. Бисмарк в данный момент находился в отпуске, а лицо, заступавшее в Берлине его место, ответило на запрос французского правительства об испанской кандидатуре, что все это дело не касается прусского правительства. В Париже, однако, вовсе не были расположены различать между королем Вильгельмом I и главою фамилии Гогенцоллернов. В начале июля прусский посланник при дворе Наполеона III, барон Вертер, поехал к своему государю в Эмс, и французский министр иностранных дел герцог Грамон поручил ему передать прусскому королю, что Франция ни под каким видом не потерпит водворения в Испании принца Гогенцоллернского и вообще какого бы то ни было прусского принца. Вскоре французское министерство вызвано было и публично повторить подобное же заявление, когда один член либеральной оппозиции, действовавшей под влиянием возбужденного общественного мнения, сделал в законодательном корпусе запрос о политике правительства в испанском деле. Отвечая ему, Грамон торжественно объявил, что Франция не потерпит нарушения политического равновесия и ущерба для своей чести и сумеет без колебания и слабости постоять за свои интересы и свое достоинство. Представители Австрии и Англии приложили все старания, чтобы предупредить разрыв, но Грамон слишком далеко зашел вперед, чтобы отступить. Он немедленно отправил в Эмс к прусскому королю французского посланника при берлинском дворе Бенедетти, находившегося в то время в отпуске. Бенедетти должен был добиться от Вильгельма I, чтобы тот прямо приказал принцу Леопольду отказаться от кандидатуры. 9 июля французский дипломат был принят прусским королем, который сказал ему, что во всем этом деле прусское правительство ни при чем и что лично он сам не имел бы ничего против отказа принца от кандидатуры. Вильгельм I даже прибавил, что он ждет от отца принца известия, как он намерен поступить. Такой ответ должен был бы вполне удовлетворить французское правительство, тем более что в этом заявлении прусского короля и люди посторонние видели отказ от кандидатуры. Само испанское правительство, по настоянию Англии, Австрии и Италии, согласилось отказаться от своего плана; но при тюильрийском дворе во что бы то ни стало хотели войны, и потому из Парижа летели депеша за депешей в Эмс к Бенедетти, которому пред-

писывалось действовать как можно более настойчиво по отношению к Вильгельму I. 10 июля Бенедетти опять отправился к королю и снова выслушал прежний ответ с просьбой иметь несколько терпения и подождать ответа отца принца. Отказ последнего в это время уже все предвидели, и Вильгельм I, по-видимому, хлопотал лишь о том, чтобы решение принца имело вид совершенно добровольного, никем не вынужденного поступка. Однако Вильгельма I все-таки начинала раздражать настойчивость французского правительства, а тон парижской прессы прямо его оскорблял. Бисмарк между тем немедленно возвратился в Берлин и со своей стороны приложил все свои старания к тому, чтобы дело довести до войны. 12 июля сделалось известным, что отец принца Леопольда официально отказался за своего сына от испанской короны. Но во Франции и этим были недовольны, и Грамон снова послал к Бенедетти несколько телеграмм с требованием, чтобы он добился от прусского короля заявления, что он не только одобряет этот отказ, но и обязуется и на будущее время не позволять принцу взять свой отказ назад. 13 июля Вильгельм I на новое представление Бенедетти ответил, что он одобряет отказ от кандидатуры, что даже уполномочивает его обнародовать известие о его одобрении, но что более этого он ничего не может сделать. Вместе с этим Вильгельм I выразил желание, чтобы Бенедетти больше не возвращался к этому вопросу. Тем не менее на другой день, когда Вильгельм I уезжал из Эмса, Бенедетти явился на вокзал, чтобы с ним проститься, и снова заговорил о необходимости гарантий на будущее время. Ответ короля остался прежним. Между тем в Париже партия войны брала верх, и наиболее решительные советники Наполеона III прямо говорили о необходимости «захватить Пруссию врасплох», хотя представители других держав советовали французскому правительству быть посдержаннее и удовольствоваться полученным ответом. Подстрекаемые правительством французские газеты тоже писали крайне воинственные статьи, и даже независимые публицисты говорили, что пруссаков нужно розгами прогнать за Рейн. На улицах Парижа происходили воинственные манифестации, отчасти тоже возбуждавшиеся правительственными агентами. Бисмарк был очень доволен таким оборотом дел и уже 13 июля в разговоре с австрийским посланником говорил о необходимости потребовать у Франции удовлетворения за ее последние действия, а на другой день после этого разговора появилась в газетах нота к дипломатическим агентам Северогерманского союза, где рассказывалось о последних событиях, но факты передавались так, чтобы подействовать на национальное чувство немцев и вместе с тем задеть французов. Несколько лет тому назад (1892 г.) сделалось известным содержание телеграммы, посланной Бисмарку из Эмса, о разговоре короля с Бенедетти. В этой телеграмме рассказывалось о том, как было дело, и в заключение Бисмарк уполномочивался, если найдет нужным, сообщить об этом по-

слам и печати. Бисмарк, конечно, нашел нужным обнародовать это известие, но вместе с этим предпочел придать эмской телеграмме свою редакцию, гораздо резче выставив настойчивость Бенедетти и придав нежеланию Вильгельма I вести с ним дальнейшие разговоры более оскорбительный для французского дипломата оттенок. Впоследствии Бисмарк объяснял свой поступок тем, что, не особенно доверяя твердости характера Вильгельма I, он хотел поставить его лицом к лицу с совершившимся фактом. Узнав от Мольтке, что в данную минуту Пруссия гораздо более готова к войне, чем Франция, он решился изменить содержание эмской депеши, чтобы одновременно задеть национальную гордость французов и еще более раззадорить немцев. В это же время возникла и стала усердно поддерживаться легенда о том, будто Бенедетти при встрече с королем в парке вел себя очень дерзко и будто, в свою очередь, Вильгельм I выразил ему свое презрение, повернувшись к нему спиной. Сам Мольтке потом говорил, что Бисмарк сумел сделать из «шамады фанфару», т. е. из отбоя призыв к наступлению.

В Париже опубликованная Бисмарком депеша произвела именно то впечатление, на которое он рассчитывал. Оно усилилось тем, что правительству Наполеона III сделался известным и разговор Бисмарка с английским посланником о необходимости добиться от Франции удовлетворения. 15 июля правительство потребовало в законодательном корпусе чрезвычайного кредита на войну. Напрасно противники войны требовали у правительства доказательства, что представитель Франции действительно был оскорблен, и настаивали на необходимости тщательно рассмотреть все это дело. Особенно горячо настаивал на этом Тьер; но большинство не давало ему говорить, и уличная толпа, называвшая его изменником и пруссаком, выбила стекла в его доме. Наоборот, министру Оливье, объявившему, что он «с легким» сердцем берет на себя ответственность за войну, устроили самую бешеную овацию. Законодательный корпус в ночь с 15 на 16 июля вотировал потребованные у него правительством деньги. Иностранные державы еще раз сделали попытку предотвратить войну, но не имели успеха. 19 июля Франция объявила войну, но еще накануне Пруссия приступила к мобилизации своей армии, а 19-го числа рейхстаг Северогерманского союза восторженно приветствовал декларацию Вильгельма I, приглашавшую немцев, по примеру отцов, бороться с оружием в руках за свою свободу и свои права против насилия иноземных завоевателей.

События необыкновенно быстро следовали одно за другим. Немцы предупредили французов и в первых числах августа начали наступление. В самом начале войны французы вынуждены были покинуть Эльзас, и главная часть французского войска вскоре была отрезана от сообщения с другими частями. Другая армия, двинувшаяся к этой армии на выручку, была взята в плен при Седане 2 сентября вместе с Наполеоном III, а 4 сен-

тября в Париже была провозглашена республика. Через две недели после этого немцы уже подступили к самому Парижу, а в конце октября сдалась пруссакам французская армия, еще в начале войны запертая в Меце. Другие, меньшие французские армии тоже терпели поражение за поражением, а 24 января 1871 г. после четырехмесячной осады, сопровождавшейся в последнее время и бомбардировкой, сдался на капитуляцию и сам Париж. Такой быстрой и решительной победы никто не ожидал. Главная квартира немцев в это время находилась в Версале, и вот здесь во дворце «великого короля» всего лишь за несколько дней до падения Парижа произошло торжественное провозглашение Германской империи, и Вильгельм I в присутствии других немецких государей возложил на свою голову императорскую корону. Этим актом и было завершено объединение Германии, в состав которой, по Франкфуртскому миру 1871 г., были включены отнятые у Франции Эльзас и Лотарингия, вовсе не стремившиеся к слиянию с немецким отечеством, как не стремились к тому же раньше и датчане Северного Шлезвига или познанские поляки. Но за пределами объединенной Германии осталось восемь миллионов австрийских немцев. Таким образом, объединение Германии совершилось в духе малонемецкой партии, и прусский король сделался германским императором. И то и другое намечалось еще в 1848—1849 гг., но осуществление идеи далеко не соответствовало тому, к чему стремились в то время передовые люди Германии. После 1870—1871 гг. новая империя заняла первенствующее положение в Европе, которое и сохраняла затем в течение следующих двадцати лет. Для всей Европы эта германская гегемония сопровождалась торжеством милитаризма.

XXIX. Англия до второй парламентской реформы¹

Общий взгляд на историю Англии в рассматриваемый период. — Конец чартистского движения. — Общий характер политики Пальмерстона. — Подавление и возобновление ирландского революционного брожения. — Отношение Англии к революции и реакции на материке. — Внешняя политика Англии в пятидесятых и шестидесятых годах. — Рост материального благосостояния Англии. — Влияние торговых интересов на английскую внешнюю политику. — Английские рабочие союзы. — Избирательная реформа 1867 г. — Брайт. — Дж. Ст. Милль и его политические идеи

В 1848 г. Англия не была серьезно затронута революционным движением и не испытала переворота, подобного тем, которые произошли в разных странах континента. Чартистская и ирландская попытки, сделанные под влиянием Февральской революции, были подавлены на первых же порах, да и неудачи, постигшие демократическое движение на континенте, не могли не отразиться на внутренней истории Англии. Благодаря особым экономическим условиям положение английских рабочих в этот период стало улучшаться, и революционные движения, подобные чартизму, прекратились. Наоборот, в жизни масс в эту эпоху получили особое развитие рабочие союзы, которые держались очень далеко от политики и даже разделяли буржуазный экономический принцип невмешательства государства в отношения предпринимателей и рабочих. Незадолго до Февральской революции либеральная партия и буржуазия одержали в Англии блестящую победу, добившись отмены хлебных законов и открыв эру свободной торговли. В 1851 г. пали последние стеснения свободы судоходства. Правительства и промышленные классы других стран даже прямо стали смотреть на свободную торговлю как на великое средство национального обогащения. С 1847 г. власть находилась почти постоянно в руках либеральной партии, вождями которой были Россель и Пальмерстон. Последний стоял большей частью во главе министерства в пятидесятых и в первой половине

¹ По случаю пятидесятилетнего (1887 г.) и шестидесятилетнего (1897 г.) юбилеев королевы Виктории возникла целая литература исторических обзоров Англии за это полустолетие. Главнейшие из них будут указаны в VI томе настоящего труда. Кроме того, см. сочинения Ersquine May, Held'a, Schulze-Gaevernitz'a, Туган-Барановского и др., указанные в т. IV, и Francqueville, Gammage, Маркса, Янжула и др., отмеченные выше, равно как книги, названные ниже в главе XXXI. Наконец, см. разные сочинения об отдельных деятелях, а именно о Пальмерстоне: Bulwer'a и Ashley (1871—1874 и 1876), Juste (1872) Trollope (1882), Sanders (1888), Lorne (1892) и др., о Брайте: M'Gilchrist (1868) и др., о Милле: Courtney (1889), Compers (1889), F. A. Lange и т. д. О колониальном развитии Англии и о ее отношениях к внеевропейским владениям речь будет идти в VI томе.

шестидесятых годов до самой своей смерти (1865 г.). Беспокойная внешняя политика Франции при Наполеоне III заставляла и правительство, и парламент, и общественное мнение страны интересоваться главным образом иностранными делами, которые, таким образом, в рассматриваемый период и в Англии получили перевес над делами внутренними. Господствующая партия, добившись своего с отменой хлебных законов и прежних других стеснений торговли, совершенно успокоилась и не помышляла ни о каких новых преобразованиях. В истории английского законодательства, которое было так деятельно в тридцатых и сороковых годах, наступило время застоя. Только после смерти Пальмерстона снова с прежней силой выдвинулся вопрос о новой парламентской реформе, и опять в пользу преобразования выборов началась общественная агитация, которая и привела к демократизации государственного строя.

Новая реформа выборов (1867 г.) снова повлекла за собой оживление парламентской деятельности. Как раз в эпоху падения второй империи и окончательного объединения Италии и Германии во главе английского министерства находился Гладстон, который открывает собой эпоху важных внутренних преобразований¹. Таким образом, и в Англии в пятидесятых годах произошло сильное понижение общего тона политической жизни, и лишь в конце шестидесятых годов Англия опять быстро двинулась вперед.

Остановимся прежде всего на чартистском и ирландском движениях 1848 г.

В своем месте мы уже упоминали, что демократические движения на материке Европы, предшествовавшие революции 1848 г., оживили в значительной мере надежды чартистов. Масса политических изгнанников разных национальностей, живших в Лондоне, поддерживала английских демократов своим сочувствием и даже своими связями с континентальными революционерами. В Лондоне же во второй половине 1847 г. и начале 1848 г. происходили известные коммунистические съезды. Едва в Англию пришло известие о Февральской революции, как чартисты в соединении с другими демократическими ассоциациями послали в Париж особую депутацию с адресом на имя французского народа, и в разных городах стали устраиваться манифестации в честь французов. 6 марта народный митинг в Лондоне (Трафальгар-сквер) окончился даже значительными беспорядками. В тот же самый день произошли еще более крупные беспорядки в Глазго: пришлось прибегнуть к военной силе, за которой посылали нарочно в Эдинбург. В течение всего марта месяца то здесь, то там устраивались митинги, на которых требовали народной хартии и освобождения Ирландии. Движение захватило даже ремесленные союзы, прежде держав-

¹ Первое министерство Гладстона относится к 1868—1874 гг.

шиеся в стороне от политической агитации. В начале апреля по приглашению исполнительного комитета чартистской организации в Лондоне собрался Конвент делегатов из разных местностей Англии. Снова заговорили о необходимости подать в парламент петицию о народной хартии: если бы, предполагалось, это опять ни к чему не привело, нужно было бы подать королеве адрес с просьбой распустить парламент и назначить новые выборы, а в случае отказа и на эту просьбу указывали на одно только средство — силой добиваться осуществления народной хартии. С этой целью конвент решил созвать на 24 апреля «национальное собрание» из делегатов, которые были бы выбраны на народных митингах, и для производства выборов назначил повсеместные митинги на 21-е число. Предварительно должна была быть подана петиция в парламент, и для этого была объявлена большая народная сходка на 10 апреля. Когда правительству сделалось известным такое постановление Конвента, оно решилось воспротивиться приведению его в исполнение. Поэтому оно объявляло заранее незаконность всяких петиций, подписанных более чем десятью лицами. Мало того, лорд Грей, занимавший тогда пост министра внутренних дел, поспешил внести в парламент особый билль «о безопасности короны и правительства», и он был немедленно принят обеими палатами: речи, вызывающие волнения, приравнивались к измене и должны были наказываться ссылкой; впрочем, новый закон устанавливался лишь на два года. Чартистский Конвент сначала старался убедить парламент, что намерения его самые мирные, но когда увидел, что ничто не помогает, решил во что бы то ни стало собрать митинг. Тогда правительство начало организовывать добровольческую полицию, которая должна была подавить беспорядки, и встретило сочувствие со стороны буржуазии. Любопытно, что в числе лиц, взявших на себя полицейские обязанности, был и принц Людовик-Наполеон Бонапарт; говорят, что число таких добровольцев доходило до 70 тыс. человек. Независимо от этого правительство держало наготове и войска. Были сделаны и другие приготовления: например, входы в английский банк были забаррикадированы мешками, содержащими в себе песок, и даже вооружены небольшими пушками, из которых можно было стрелять через нарочно приспособленные амбразуры: подобного же рода заграждения были устроены и в других учреждениях. Под влиянием страха, нагнанного Февральской революцией, 10 апреля в Лондоне прямо ожидали восстания, которое, как многие думали, могло бы кончиться настоящим политическим переворотом.

Грандиозная демонстрация действительно состоялась 10 апреля. Власти объявили О'Коннору, снова выступившему вождем движения, что митингу никто мешать не будет, но что против процессии, которая намеревалась доставить в парламент петиции, будут приняты все меры. Сам О'Коннор убеждал собравшуюся толпу не губить дела петиции каким-ли-

бо насилием. Ему удалось уговорить народ, и петиция о хартии с 5 700 000, как говорили, подписей, уложенная отдельными частями в три экипажа, была отвезена в парламент самим О'Коннором лишь в сопровождении еще одного вождя чартистской организации. На самом деле, О'Коннор был введен в заблуждение относительно количества подписей, собранных под петицией. Когда через несколько дней особая парламентская комиссия подсчитала количество подписей, их оказалось лишь около двух миллионов, да и среди них найдено было несколько подписей не настоящих (например, Веллингтона) или смехотворных. Это дало повод парламенту обвинить О'Коннора в умышленной мистификации.

Новый неуспех петиции повлек за собой опять раскол среди чартистов. Из всей их массы выделилась некоторая часть, которая, став под руководством Джонса, организовала рядом с явным исполнительным комитетом еще особый тайный комитет. Одновременно с этим стали устраиваться особые общества для упражнения в стрельбе в цель. При развитии в Англии любви ко всякого рода спорту в этом не было ничего чрезвычайного, но так как подобного рода любительские клубы начали возникать в слишком большом количестве, то правительство было крайне встревожено таким внезапным развитием ружейного спорта. Между тем и манифестации продолжались по-прежнему и в Лондоне, и в других городах. В довершение всего, по решению, принятому раньше, происходили выборы в национальное собрание. Крайние чартисты уже требовали, чтобы в случае новой неудачи это собрание провозгласило себя парламентом, хотя бы ему и пришлось защищаться вооруженной силой, но многие и слышать не хотели о подобном шаге, между другими и О'Коннор.

1 мая в Лондоне собралось 60 чартистских делегатов, не сделавших, впрочем, ни одного решительного шага. В течение мая во многих местах уже происходили беспорядки, и вот тайный комитет чартистов решил 12 июля начать настоящее восстание. Власти, однако, приняли меры, чтобы помешать назначенному на этот день митингу, заняв военным отрядом то место, где он должен был происходить. Дело было тогда отложено до 15 августа, но и на этот раз заговорщики были предупреждены полицией и войском. В тайной организации чартистов полиция имела своего агента в лице некоего Поуеля, игравшего видную роль среди заговорщиков. Каждый раз, когда делались попытки собрать народ, то одни, то другие вожди движения арестовывались; приготовленное заранее оружие было также найдено и отобрано. Уже с июня начались и процессы схваченных чартистов; был подвергнут суду, между прочим, и тайный комитет в полном почти своем составе, и за заговор против королевы члены этого комитета были приговорены к каторжной работе. Тайная чартистская организация была объявлена незаконной, но против старой организации никаких мер не было принято, хотя это не спасло ее от постепенного разложения.

Только демократическая пресса продолжала еще развиваться. В 1849 г. О'Брайен основал газету «The Reformer»¹, в которой, подводя итоги политическим движениям своего времени, он доказывал ту мысль, что вся неудача политических движений заключается в их исключительно политических целях. В то же время Гарней в своих изданиях («Red Republican» и «Democratic Review»²) провозглашал демократическую и социальную республику.

Начало пятидесятых годов было эпохой полного падения чартизма. После неудачи 1848 г. О'Коннор потерял всякое значение. К новому направлению чартизма он отнесся отрицательно, а старое само находилось в разложении. В 1850 г. он примкнул к парламентским радикалам, что еще более подорвало его авторитет среди чартистов. Скоро, впрочем, он сошел с ума и умер. Его место занял Джонс, но и его попытки оживить чартистское движение ни к чему не приводили. Чартистская организация все более и более, так сказать, таяла, и в 1854 г. окончательно прекратила свое существование.

Такая же судьба постигла и ирландское революционное брожение, которое, как было в своем месте сказано, весьма усилилось к концу сороковых годов. Вожди «Молодой Ирландии», подобно чартистам, сблизились с континентальными революционерами, и когда во Франции произошел февральский переворот, ими была сделана неудачная попытка восстания. Французскому временному правительству ирландские патриоты послали даже адрес, в котором заключалась просьба о заступничестве. Английский парламент принял предложение правительства о приостановке действия в Ирландии *habeas-corpus-act*'a³ и уполномочил министерство пустить в ход исключительные меры. Вожди движения были схвачены, первые попытки собрания вооруженного народа подавлены. В пятидесятых годах Ирландия совсем перестала напоминать о своем существовании, но в шестидесятых годах о ней снова заговорили, когда среди ирландского народа снова началось революционное движение. На этот раз агитация шла из Северной Америки, куда эмигрировала масса ирландцев, благодаря главным образом невозможным экономическим условиям на родине. Американские ирландцы организовали особое общество, получившее название фениев, с целью восстания против Англии и превращения Ирландии в республику. Эта организация сгруппировала около себя, конечно, тайным образом, и множество недовольных в самой Ирландии. Фениев думали подготовить восстание, привлекая на свою сторону ирландских солдат, принимавших участие в североамериканской междоусобной войне или

¹ «Реформатор» (англ.). — *Прим. ред.*

² «Красный республиканец» и «Демократическое обозрение» (англ.). — *Прим. ред.*

³ *Habeas corpus* (лат.) — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г. — *Прим. ред.*

служивших в английском войске. Замыслы эти были открыты, вожди движения в Ирландии снова арестованы (среди них главный деятель Стефенс) и отданы под суд, действие *habeas-corpus-act*'а опять приостановлено, и снова пущены в ход исключительные меры (1865 г.). На все это ирландцы, со своей стороны, отвечали поджогами и убийствами, и в 1867 г. сделали новую попытку восстания. Вожди фениев действовали из Америки, где они даже предприняли было вторжение в Канаду. Прибытие в Ирландию из-за океана множества ирландских офицеров и солдат, участвовавших в американском междоусобии, обратило на себя внимание английского правительства, и оно постаралось помешать общему восстанию, на которое рассчитывали фениеи. Так как фениеи появились и в самой Англии и прибегли к такому средству, как взрыв тюрьмы (в Клеркенуэле), то до крайности встревожили англичан, и снова около 40 тыс. человек предложило свои услуги правительству в качестве добровольческой полиции для борьбы с фениеями. Лишь Гладстон в 1869 г. возвратился к политике Пия и заменил репрессию, которая исключительно действовала в Ирландии в течение двух десятилетий, политикой преобразований, которые должны были успокоить эту страну удовлетворением ее наиболее насущных нужд.

Таким образом, оба политических движения, которые доставили хлопоты английскому правительству в 1848 г., окончились ничем. Неудача демократической и республиканской революции на континенте только укрепила в Англии существующий политический строй и упрочила положение господствующих классов. Реакционное направление до известной степени охватило и английское общество, но это не нанесло никакого ущерба внутренней свободе. И внешняя политика Англии не имела также принципиально реакционного характера.

В рассматриваемую эпоху первенствующим государственным деятелем Англии был лорд Пальмерстон. Его парламентская карьера началась еще в 1807 г., и с самого же вступления своего на это поприще он стал играть видную роль в торийской партии, к которой он тогда принадлежал, хотя он и казался слишком либеральным таким людям, как Веллингтон. В конце двадцатых годов Пальмерстон сблизился, однако, с вигами и в кабинете Грея в 1830 г. принял портфель иностранных дел, который и сохранял впоследствии в разных либеральных министерствах. Английская политика времен июльской монархии и в бельгийском, и в испанском, и в португальском, и в восточном вопросах¹ главным образом направлялась Пальмерстоном к поддержанию либеральных движений на континенте и к охране Турции, в которой он видел естественную союзницу против России и Франции, веря вместе с тем в возможность внутреннего возрождения и обновления турецкого народа. В сороковых годах Паль-

¹ См. выше главу VII.

мерстон приобрел репутацию прямо сеятеля революционных смут в других государствах. Действительно, в годы, непосредственно предшествовавшие революции 1848 г., он поддерживал либеральные политические движения в Швейцарии и Италии. Равным образом английское правительство только с удовольствием отнеслось к падению Людовика-Филиппа и поспешило первым признать во Франции республику. Лишь вследствие своих интересов, отнюдь не во имя каких-либо принципов, оно отнеслось неблагосклонно к немецкому национальному движению 1848 г. Когда началась эмиграция побежденных демократов, Англия всем им дала у себя убежище и охраняла это свое право убежища от всех на него покушений. Но, в сущности, политика Пальмерстона была довольно беспринципной. Известие о 2 декабря вызвало в Англии негодование и настоящую панику: здесь не могли одобрить такого грубого насилия над народным представительством, а кроме того, ожидали чуть не вторжения французов. Пальмерстон взглянул на государственный переворот, наоборот, как на событие, счастливое для Англии. Он боялся возвращения во Францию Орлеанской династии, которую ненавидел, и, будучи лично знаком с Людовиком-Наполеоном, надеялся при его посредстве втянуть Францию в союз против Австрии и России. Английского министра несколько не смущало то, что 2 декабря было насилием над свободой, защитником которой он выставлял себя, протестуя, например, против реакции в Италии (в особенности в королевстве Обеих Сицилий) и поощряя восторженные манифестации в честь Кошута, когда он приехал в Лондон¹. Из-за недовольствия, выраженного ему королевой, он даже вышел в отставку (1851 г.), впрочем, на очень короткое время. Хотя, вступая вновь в министерство, он переменял портфель иностранных дел на министерство внутренних дел, тем не менее он продолжал оказывать сильное влияние и на внешнюю политику. То, о чем мечтал Пальмерстон, все-таки осуществилось, и Франция помогла Англии в антирусской политике на Востоке. И впоследствии Пальмерстон, сделавшийся в 1855 г. главой кабинета, старался жить с Францией в хороших отношениях. Из-за Наполеона III ему даже еще раз пришлось выходить в отставку. Дело в том, что покушение Орсини было задумано и подготовлено на английской территории. Наполеон III не только ввел в самой Франции суровый закон об общественной безопасности, но стал добиваться мер против политических выходцев и в других государствах. В этом отношении ему удалось добиться законов против

¹ Наоборот, когда в 1864 г. в Лондон приехал Гарибальди и население английской столицы стало его чуть не на руках носить, Пальмерстон поступил совершенно иначе и постарался выпроводить из Англии неприятного гостя, хотя правительству потом и пришлось объясняться в парламенте, что внезапный-де отъезд Гарибальди вовсе не был вызван каким-то требованием Наполеона III о высылке его из Англии. Интересные подробности об этом эпизоде есть в воспоминаниях Герцена.

оскорбления иностранных государей и от Сардинии, и от Бельгии. Пальмерстон тоже хотел угодить Наполеону III и предложил аналогичный закон английскому парламенту, но палата общин выразила ему порицание, и он снова должен был выйти в отставку, впрочем, опять на очень недолгое время. Конечно, Наполеон III был страшно сердит на «коварный Альбион», откуда вскоре он получил и отказ на предложение решить европейские дела на новом конгрессе. Политика заставляла Наполеона III держаться английской дружбы, и Пальмерстон, вернувшийся к власти в 1859 г., со своей стороны старался поддерживать хорошие отношения с императором французов, хотя и становился поперек его дороги, когда находил это более выгодным для Англии. Например, он был очень доволен, когда Наполеон III Виллафранкским миром и присоединением Савойи раздражил итальянцев против своей политики. Английское министерство даже усилило проявление своей симпатии к делу итальянского народа. Если Пальмерстон и склонялся к мысли, о заключении нового союза с Францией, продолжавшего предлагаться императором, то главным образом для того, чтобы иметь возможность сдерживать честолюбие Наполеона III. Последний, со своей стороны, чтобы расположить в свою пользу Англию, заключил с ней торговый договор, очень выгодный для английской промышленности. Только товарищи Пальмерстона по министерству были против нового союза. Присоединение Савойи и Ниццы произвело дурное впечатление на английское общественное мнение. Боялись снова проектов Наполеона III насчет расширения границ Франции и прежде всего опасались за Бельгию. Общественное мнение стало обвинять «старого Пама» (фамильярное прозвище Пальмерстона) в потворстве Наполеону III, и сам министр сделал вид, что поведение императора вызывало в нем одно негодование. На самом деле он был доволен, что Наполеон III, выставлявший для своей итальянской войны бескорыстную, идейную цель, обирал теперь своего союзника и тем освобождал его от всяких обязательств благодарности, возбуждая, кроме того, и подозрения всей Европы. Англия и ее правительство отнеслись с большим сочувствием и к завоеванию Южной Италии гарибальдийцами, когда убедились, что Наполеон III был здесь ни при чем. Можно даже сказать, что английское правительство не дозволило французскому императору помешать Гарибальди завоевать Неаполь. Заступничество за Франциска II, который обратился за помощью к Франции, могло бы вызвать разрыв с Англией, а в это время Англия и Франция выступили совершенно солидарно в Китае и Сирии. Наполеон III даже разослал ноту, в которой сваливал на Англию все будущие опасности, могущие произойти от революционного предприятия Гарибальди, так как эта держава не захотела допустить, чтобы Франция помешала восстанию в самом начале. Тогда Пальмерстон, все-таки не хотевший ссориться с Францией, объявил, что английское правительство наперед протестует против

всякой попытки Гарибальди напасть на Рим или на Венецию. Зато когда оно убедилось, что ни одна из континентальных держав не обнаруживала охоты воспрепятствовать присоединению к Пьемонту новых земель, оно громко заявило, что стоит на стороне народов, желающих перейти под власть Виктора-Эммануила. При этом была сделана ссылка на тот принцип, что народы всегда должны иметь право менять правительства и что было бы несправедливо оказывать им в этом отношении какие-либо препятствия. Делая такое заявление, английское правительство побивало Наполеона III его собственным оружием. Он еще держал близ Гаэты, куда удалился Франциск II, французскую эскадру, которая мешала сардинскому флоту обложить этот город с моря, но Англия во имя принципа невмешательства предложила императору отозвать свою эскадру, и он, по-прежнему не желая ссориться с Англией, должен был это сделать. Чтобы держать Наполеона III постоянно в некоторой от себя зависимости, лондонский кабинет старался ссорить его с другими государствами и особенно хлопотал расстроить его сближение с Россией.

Польское восстание 1863 г. давало к этому весьма удобный повод. Восстание пользовалось в Англии большой симпатией, но правительство вовсе не помышляло о том, чтобы восстановить Польшу, так как независимое польское государство было бы естественным союзником Франции, и для Англии было важно, чтобы державы, разделявшие Польшу, по крайней мере этим общим своим интересом были связаны между собой и могли противодействовать Франции. Но английская дипломатия нарочно толкала Наполеона III к вмешательству в польские дела для того, чтобы возбудить против него неудовольствие русского государя. Французское правительство не очень-то было склонно выступить в этом шекотливом деле. В законодательном корпусе 5 февраля 1863 г. от имени императора было заявлено, что события в Польше не что иное, как революционная вспышка; эти слова заключали в себе осуждение польского восстания. Но во Франции с давних пор общественное мнение было на стороне поляков, а на этот раз за Польшу стали высказываться и демократы, как за страну, борющуюся за свою национальную независимость, и клерикалы, которые видели в Польше прежде всего одну из частей католического мира. Для поддержания польского дела во Франции писались статьи и брошюры, собирались деньги, происходил набор добровольцев. Но Наполеон III, очень дороживший хорошими отношениями с Россией, долго крепился, и только совокупное влияние французского общественного мнения и английской дипломатии привело его к вмешательству в польский вопрос. Англия, втянувшая его в это дело, вовсе, однако, не думала осуществлять планы, возникшие тогда у Наполеона III насчет новой переделки карты Европы, и, присоединившись к дипломатической кампании, начатой Францией, прямо заявляла, что делает это во имя трактатов 1815 г. Заста-

вив Наполеона III зайти слишком далеко в угрозах против России, лондонский кабинет не обнаружил ни малейшей охоты поддерживать его, когда за словами должны были последовать действия. Когда Наполеон III, чтобы выпутаться из затруднения, предложил созвание европейского конгресса, Англия первая решительным образом от него отказалась. Польша была предоставлена своей судьбе. Но зато и Англии не удалось привлечь на свою сторону Францию, чтобы помешать Австрии и Пруссии отнять у Дании Шлезвиг-Гольштейн, против чего всегда восставало английское правительство, боявшееся усиления Германии на море.

Разлад, обнаружившийся между английской и французской политикой, был как нельзя более выгоден для Пруссии. В европейском кризисе 1866 г. Англия тоже не могла играть деятельной роли, как и в событиях 1864 г., отчасти по указанной причине, отчасти вследствие перемены, которая произошла в ее собственной внутренней жизни. В июле 1866 г. тори под предводительством Дерби и Дизраэли удалось сместить министерство Росселя, и новому кабинету пришлось принять в виде наследства, оставленного ему старым, решение некоторых важных внутренних вопросов, главным образом вопроса об избирательной реформе и о фенианизме, который, по-видимому, грозил Англии новым ирландским восстанием. Внешняя политика нового лондонского кабинета была, безусловно, миролюбивая. Наполеон III, носившийся со своей мыслью о присоединении Бельгии, очень хорошо знал, что Англия этому воспротивится, и хлопотал о заключении союза с Пруссией, который, однако, так и не состоялся. Когда он увидел, что от Бельгии приходится отказаться, и задумал приобрести Люксембург, из-за чего Европа снова переживала довольно острый кризис, английское правительство созвало в Лондоне конференцию (май 1867 г.), которая мирным путем уладила все дело. Обманутый Пруссией, Наполеон III снова стал искать сближения с Англией. Правда, в ноябре 1868 г. здесь опять власть перешла к либеральному кабинету, но во главе правления стоял теперь уже Гладстон, который ближе всего был заинтересован вопросами внутренней политики и проводил тот принцип, что Англия должна держать себя подальше от всяких международных столкновений на континенте. Поэтому и на этот раз английская политика отличалась большим миролюбием. У Гладстона были, кроме того, свои особые взгляды на восточный вопрос¹, который представлял из себя наиболее удобную почву для сближения Англии и Франции. Дело в том, что с 1866 г. европейскую дипломатию сильно занимало восстание Крита, обнаружившего явное стремление присоединиться к Греции, а в 1867 г. вспыхнуло восстание в Болгарии, и сильно стали волноваться Сербия и Босния. Пока Наполеон III мечтал о Бельгии и союзе с Пруссией, он старался угождать и России,

¹ Об этом, как и вообще о политике Гладстона, речь будет в VI томе.

защищавшей интересы единоверных ей народов во владениях Турции, но в 1868 г. он резко изменил свою политику и снова сблизился с государствами, боявшимися усиления России на Востоке, т. е. с Австрией и Англией. Хотя министерство Гладстона и было против какой бы то ни было войны на Востоке, тем не менее и оно не хотело допустить, чтобы Россия безраздельно хозяйничала на Балканском полуострове. Благодаря такому повороту французской политики Греция¹ была вынуждена отказаться от своих надежд на Крит (решение парижской конференции 1869 г.). Совместное действие Англии и Франции в критском вопросе опять установило хорошие отношения между обоими правительствами, и этим Гладстон воспользовался для того, чтобы начать советовать Наполеону III не зарываться слишком вперед в своей распре с прусским правительством, из которой родилась война 1870 г. Англия всячески старалась предупредить эту войну, потому что Гладстон смотрел на нее как на событие, бедственное и для его отечества по вреду, какой она наносила английской внешней торговле. Личные его симпатии и общественное мнение страны были скорее на стороне Пруссии, нежели Франции, тем более что в случае победы Наполеон III не удержался бы от искушения захватить Бельгию. Бисмарк знал очень хорошо, как относились в Англии к этому вопросу, и потому поспешил обнародовать в газете «Times» текст французского проекта о присоединении Бельгии, сообщенный ему, когда об этом Наполеон III вел с ним переговоры; понятно, что это только еще более повредило Франции в глазах англичан. С самого же начала войны лондонский кабинет объявил, что будет держаться строжайшего нейтралитета. Гладстон употребил также все усилия, чтобы локализовать войну, не дав вмешаться в нее каким-либо другим державам. Для Наполеона III, например, очень удобным был бы союз с Данией, которая могла бы произвести крайне невыгодную для Пруссии морскую и сухопутную диверсию, но Англия вместе с Россией добились объявления нейтралитета и со стороны этого государства (хотя и после этого король все еще вел переговоры со специальным агентом Наполеона III, приехавшим в Копенгаген). В начале войны Австрия и Италия тоже вели между собой переговоры о союзе, который был бы направлен, конечно, не против Франции, но Англия и во Флоренции, тогдашней столице Италии, настаивала на том, чтобы и это государство не нарушало своего нейтралитета. Наконец, Гладстон даже предложил образовать лигу нейтральных держав (*la ligue des neutres*), в силу которой государства, не участвовавшие в войне, должны были обязаться не менять своего образа действий до конца кризиса, по крайней мере, без согласия других держав. Первой к этой лиге примкнула Италия, которая, впрочем, была раздражена неуступчивостью Наполеона III в римском вопросе и на другой же день

¹ Отметим еще, что в 1863 г. Англия по инициативе Гладстона отдала Греции Ионические острова, находившиеся под английским протекторатом с 1815 г.

после первых поражений французов стала готовиться к занятию Рима. Россия тоже присоединилась к этой лиге (август), а после некоторого колебания в состав лиги вошла и Австрия (сентябрь).

Внутри Англия в пятидесятых и шестидесятых годах пользовалась спокойствием. Несмотря на то что в течение двадцати лет (1847—1867 гг.) во главе правления почти непрерывно стояли либералы, законодательная деятельность парламента — в смысле новых преобразований — ничем особенным в эту эпоху не ознаменовалась до самого конца шестидесятых годов. Но зато это был период наибольшего развития национального богатства Англии. Благодаря особенно благоприятному стечению обстоятельств английская промышленность и торговля, без серьезного соперничества с чьей бы то ни было стороны, достигла совершенно небывалого прежде процветания. На Всемирной промышленной выставке, устроенной в Лондоне летом 1851 г., вся Европа могла видеть, какие громадные успехи были сделаны англичанами в области промышленности. В 1862 г. в Лондоне еще раз была устроена Всемирная выставка, которая только укрепила за Англией славу первого в мире индустриального государства. О замечательном росте английского национального богатства могут свидетельствовать следующие статистические данные¹. В конце сороковых годов, когда Англия только что переходила к свободной торговле, вывоз из страны определялся 59 и 63,5 млн фунтов стерлингов (в 1846 и 1849 гг.), но в следующее десятилетие цифры эти удваиваются: в 1856 г. вывезено было на 116 млн, в 1860 г. — на 136 млн. Это возрастание вывоза продолжалось и в шестидесятых годах: в 1865 и 1866 гг. вывозилось уже на 166 и 189 млн, что составляет увеличение более чем в три раза, сравнительно с цифрой 1846 г. В середине пятидесятых годов общая сумма ввоза и вывоза была около 268 млн фунтов стерлингов, а в середине следующего десятилетия она доходила почти до 490 млн. За тот же десятилетний период (1855—1865 гг.) увеличение в добывании каменного угля выражается цифрами 16 и 23 млн фунтов стерлингов, в производстве чугуна — цифрами 8 и 12 млн (в обоих случаях в полтора раза). В эти же десять лет и длина железнодорожных линий увеличилась более чем в полтора раза (8154 и 12789), а стоимость их возросла на 140 млн фунтов стерлингов. Этим цифрам вполне соответствует и рост всех доходов, подлежавших подоходному налогу: в 1856 г. общая сумма таких доходов выражалась цифрой в 307 млн фунтов стерлингов, в 1859 г. — 328 млн, в 1862 г. — 352 млн, в 1863 г. — 359 млн, в 1864 г. — 362,5 млн, в 1865 г. — 385,5 млн. Вычислено, что за 12 лет (1853—1864 гг.) прибыль, подлежавшая налогу, возросла на 50%, рента — на 38%, тогда как за тот же период времени народонаселение возросло лишь на 12%. Притом это накопление его капитала сопровождалось и сосредоточением.

¹ Заимствованы из I тома «Капитала» Маркса, но цифры округлены.

С 1815 по 1825 г. не было ни одного движимого имущества выше 1 млн фунтов стерлингов, которое подлежало бы налогу на наследство, да и за тридцать следующих лет (1825—1855 гг.) таких имуществ было только восемь, тогда как с 1856 по июнь 1859 г. их оказалось уже четыре. С 1851 по 1861 г. в десяти только графствах аренды меньше ста акров уменьшились с 31,5 тыс. на 26,5 тыс., т. е. около пяти тысяч аренд слились с более крупными¹. Общее увеличение материального благосостояния иллюстрируется и некоторыми другими цифрами из статистики пауперизма и преступлений. В 1842 г., например, цифра пауперов, получавших общественное пособие, определялась без малого в 1,5 млн человек, но в 1861 г. этой цифре уже многого не хватало до миллиона (1430 и 890 тыс.), а цифра обвиненных по суду понизилась в эти двадцать лет с 31 до 18 тыс.

Обратную сторону указанного увеличения производства и роста национального богатства составляют кризисы и пауперизм². С 1846 по 1863 г. в английской хлопчатобумажной промышленности на 8 лет посредственной жизненности и процветания приходится 9 лет угнетения и застоя, которые тяжело отзывались на положении рабочих. По официальным данным, в Англии (с Уэльсом) нищих считалось средним числом около 865 тыс., но под влиянием хлопкового кризиса 1863 и 1864 гг. эта цифра временно поднималась до 1 080 000 и 1 015 000. Кризис 1866 г., особенно тяжело отозвавшийся на Лондоне, создал увеличение пауперизма почти на 20% в сравнении с 1865 г. и на 24% в сравнении с 1866 г. Подобного рода положение дел создавало необходимость эмиграции из страны, и фабриканты искали случая препятствовать, хотя бы путем правительственного вмешательства, эмиграции фабричных рабочих.

Весьма естественно, что если еще раньше Англия была идеалом промышленной буржуазии и на континенте, то после успехов, обнаруженных ею вслед за переходом к свободной торговле, еще больше поднялся престиж ее экономического строя и ее экономической политики. Свободная торговля, по-видимому, вполне оправдывала возлагавшиеся на нее надежды, и фритредерство вошло в общую моду. Одно то, что Франция, бывшая всегда главным оплотом протекционизма, заключила с Англией торговый трактат во фритредерском духе, было великим торжеством для

¹ Особенно замечателен рост фабричной промышленности, о котором свидетельствуют следующие данные:

Вывезено было:	в 1848 г.	в 1865 г.
Хлопчатобумажных изделий	22,5 млн	57,2 млн
Льняных и пеньковых	3,2	11,6
Шерстяных	6,5	25,5
Шелковых	0,078	2,15

² См. т. IV, гл. XXV, где говорится о кризисах и пауперизме в первой половине XIX в.

новой экономической политики. Конечно, принималась в расчет и оборотная сторона медали, но один лишь Маркс в этом экономическом развитии Англии со всеми отрицательными сторонами усматривал начало нового порядка вещей, наступление которого он пророчил как историческую необходимость. Например, в одном из выпусков «*Neue Rheinische Zeitung*» за 1850 г. он предсказывал еще большее процветание английской промышленности («*die Prosperität der englischen Industrie wird noch gesteigert werden*»), между прочим, от предстоявшей тогда Всемирной выставки. «Эта выставка, — писал он, — есть самое поразительное — доказательство той концентрированной мощи, с которой современная крупная промышленность повсюду разрушает национальные рамки и все более и более стирает местные особенности в производстве, в общественных отношениях, в характере отдельных народов. Собирая для обозрения на небольшом пространстве всю массу производительных сил современной промышленности, как раз в то время, когда современные буржуазные¹ отношения со всех сторон подкопаны, она вместе с тем дает материал для созерцания того, что создалось и ежедневно создается среди этих подкопанных отношений для основания нового общества». Правда, именно в этом процветании английской индустрии и в вызванном им оживлении промышленности во Франции и в Германии Маркс уже тогда усматривал и причину невозможности скорой революции, так как для нее было бы необходимо противоречие между «современными производительными силами и буржуазными формами производства», а как раз в этом-то процветании, по его словам, «производительные силы буржуазного общества развились так роскошно, как только это возможно в буржуазном обществе». Это пророчество исполнилось, прежде всего, на самих английских рабочих, которые в рассматриваемый период действительно отказались вполне от идей революционного чартизма². Заметим, кстати, что промышленные и торговые интересы оказывали весьма сильное, — такое, как нигде, — влияние и на внешнюю политику Англии. Примером может служить война с Китаем, которую вела Англия в рассматриваемую эпоху. В Индии произошло в 1857 г. опасное для англичан восстание сипаев, послужившее поводом для упразднения Ост-Индской компании и непосредственного подчинения английскому правительству этой обширной, населенной и богатой страны. Между прочим, уничтожение монополии Ост-Индской компании повлекло за собой изменения в торговле с Китаем, которая, как известно, была очень стеснена. Вследствие стеснений в Китае развилась контрабандная торговля, особенно опиумом, ввозившимся из Индии, несмотря на строгое запрещение пекинского правительства. В 1839 г. китайские власти конфисковали и сожгли громадную партию опиума, тайно ввезен-

¹ *Bürgerliche Verhältnisse*. Ср. выше, где сказано о значении этого термина.

² См. ниже, в гл. XXXI, где об этом говорится подробнее.

ного в страну, вследствие чего Англия послала в Китай небольшое войско, одержавшее, однако, ряд блестящих побед. Результатом были большие привилегии для английской торговли (нанкинский договор 1842 г.). Но это очень испортило отношения между Англией и Китаем, и во второй половине пятидесятых годов между обоими государствами вспыхнула война, в которой на сторону Англии стала еще Франция. Она окончилась только в 1860 г. новым трактатом (пекинским, которому в 1858 г. предшествовал тьянь-цзиньский), заставившим Китай сделать новые уступки. Главная суть англо-китайских договоров заключалась в том, что Небесная империя вынуждалась открывать новые порты для заграничной торговли и позволить Англии в этих портах учредить свои консульства. В числе предметов ввоза в Китай опиум занял очень видное место, но в большом количестве стали ввозиться и изделия английских фабрик.

Благодаря улучшению материальных условий быта, революционное настроение некоторой части английской нации, выразившееся в воинствующем чартизме, улеглось и уступило место более спокойному движению так называемых тред-юнионов. Годы, о которых идет речь в настоящей главе, были эпохой особого развития рабочих союзов¹. Ставя себе исключительно профессиональные цели, эти ассоциации захватывали все большее и большее количество рабочих и все более расширяли и улучшали свою организацию, но принципиально удерживались от всякого вмешательства в политику. Однако существование законов, которыми ограничивалось право стачек, было немалой помехой для развития самих союзов, и рабочие не могли не прийти к той мысли, что добиться отмены всяких стеснений можно лишь путем влияния на выборах. Это заставило их мало-помалу сблизиться с радикалами и с их помощью добиваться новой парламентской реформы. Эта перемена в образе действий рабочих относится к середине шестидесятых годов, когда после смерти Пальмерстона на очередь был снова поставлен вопрос об избирательной реформе. В 1866 г. министерство Росселя внесло в парламент проект закона, понижавшего избирательный ценз. Но от либеральной партии откололась значительная фракция, которая была против расширения избирательного права и вместе с консерваторами провела поправку к биллю, делавшую предложенный закон совершенно прозрачным. По этой поправке наниматели квартир, которых имел в виду билль, в сущности, оставались бы ни при чем, и, таким образом, значительная часть рабочих осталась бы без права голоса. Министерство подало в отставку, и вследствие этого во главе правления стал консервативный кабинет Дерби—Дизраэли. Тогда заволновались рабочие союзы, вожди которых начали созывать митинги и организовали особый «Народный союз в защиту избирательной реформы». На народных

¹ Подробнее о тред-юнионах см. ниже в гл. XXXI.

сходках защитники преобразования выборов указывали на то, что «избрание палаты общин лишь частью населения есть насилие и насмешка над самими принципами и общим духом английского политического строя» и что потому необходимо добиться лучшего представительства народа, которое будет лишь тогда, когда каждый взрослый мужчина, имеющий свою квартиру, получит право голоса на выборах в палату общин. Общественное мнение так настойчиво высказывалось в пользу реформы, что, наконец, само консервативное министерство нашло нужным уступить и внесло в парламент билль о реформе (1867 г.). Новое преобразование выборов касалось не одного понижения ценза, но, подобно реформе 1832 г., и распределения избирательных округов. У одиннадцати местечек отнято было право посылать от себя депутатов, а за тридцатью пятью оставлено было лишь по одному депутату; вакантные же места (их образовалось 57) были распределены между другими округами. Что касается до понижения избирательного ценза, то оно касалось главным образом только городов, где право голоса получили все хозяева квартир. Это значило, что большая часть городских рабочих с 1867 г. стала принимать участие в парламентских выборах. В том же самом году Германия получила всеобщее избирательное право, но Англии пришлось ждать еще 17 лет до новой реформы, которая и на этот раз не была предоставлением избирательного права всем совершеннолетним мужчинам. Тем не менее уже реформа 1867 г., создав новый класс избирателей, оказала большое влияние на всю внутреннюю политическую жизнь страны. Конечно, результаты перемены в составе избирателей дали почувствовать себя не сразу, но уже первые выборы, произведенные по закону 1867 г., дали такой состав депутатов, при котором прекратился застой законодательной деятельности, продолжавшийся около двадцати лет. В 1868 г. министерство Дизраэли вышло в отставку, и первым министром сделался Гладстон, предпринявший целый ряд реформ в период 1868–1874 гг.¹

Нам остается теперь познакомиться с двумя общественными деятелями, которые более других способствовали новой парламентской реформе. Это были Брайт и Милль. Второй из них интересен и в качестве политического мыслителя².

Джон Брайт вступил на поприще общественной деятельности в эпоху агитации против хлебных законов и принял весьма деятельное участие в лиге, основанной для этой агитации. Он сделался одним из наиболее влиятельных членов «манчестерской» партии и в 1843 г. благодаря поддержке этой партии попал в парламент, где с большой энергией продолжал защищать необходимость отмены хлебных законов. Отличаясь

¹ Отсылаем к VI т.

² Здесь мы рассмотрим лишь политические идеи Милля, оставив его экономические и философские воззрения для глав XXXI и XXXII.

большим ораторским талантом, он охотно выступал и на народных собраниях, и перед палатой. Когда в 1846 г. хлебные законы были отменены, он снова был выбран в члены парламента, на этот раз в самом Манчестере (1847 г.), и в следующих годах очень много хлопотал в пользу отмены других законов, стеснявших свободную торговлю. Подобно Кобдену, от свободной торговли он ожидал всяких благ не только для своей родины, но и для всего человечества. Для того чтобы предаться исключительно общественной деятельности, Брайт передал своим братьям ведение фабрики, унаследованной от отца. С другой стороны, на всем круге его идей отразилось также его происхождение из квакерской семьи¹. Он был противником всякой религиозной исключительности и агитировал против разных ретроградных сторон английского церковного законодательства; между прочим, он был убежденным защитником эмансипации евреев. Понятно, что воинственная политика Пальмерстона не могла пользоваться сочувствием Брайта, и он выступил с резкой критикой системы вмешательства в дела континента. Он с такою страстностью и резкостью нападал на восточную политику Пальмерстона в 1854 г., что общественное мнение, наоборот, сильно сочувствовавшее этой политике, совершенно отвернулось от Брайта, и он сделался положительно очень непопулярным человеком. Ему даже пришлось на время отказаться от общественной деятельности, тем более что и состояние его здоровья требовало пребывания в более теплом климате. После долговременной жизни в Швейцарии и Италии Брайт только в 1857 г. снова сделался членом парламента, в котором на этот раз явился борцом за широкую парламентскую реформу. Будучи сторонником экономической свободы, он вовсе не был защитником классовых интересов буржуазии, потому что та парламентская реформа, которую стремился он провести, должна была как раз распространить избирательные права на рабочих. Новая агитация Брайта оказала такое влияние, что уже в 1859 и 1860 гг. в парламент вносились билли о реформе. Правда, оба раза билли проваливались, и Брайт только убедился, что, пока Пальмерстон будет пользоваться влиянием, никакая реформа не будет мыслима. Поэтому он на время отложил свою агитацию, и только в 1866 г. снова занял видное место среди сторонников реформы. Мы видели, что в следующем году избирательная реформа была, наконец, проведена, и по существу дела она была не чем иным, как осуществлением идей Брайта. Когда под влиянием этой реформы снова оживилась законодательная деятельность парламента, Брайт принял в ней самое деятельное участие, тем более что в 1868 г. он вошел в состав либерального министерства Гладстона. Только новое значительное ухудшение здоровья заставило его опять оставить парламент-

¹ Квакеры (от *англ.* quaker — трясун) — разновидность протестантизма, возникшая в XVII в. в Великобритании. — *Прим. ред.*

скую деятельность (1870 г.), и впоследствии лишь в редких случаях появлялся он на общественной арене.

Общественные воззрения Милля начали складываться под влиянием Бентама и французского либерализма, с которым он имел возможность познакомиться во время своего пребывания во Франции в начале двадцатых годов. Увлечение Бентамом у Милля было до такой степени сильно, что с некоторыми из своих молодых товарищей он основал особое «утилитарное общество», поставившее своей целью пропаганду идей Бентама. Этот кружок единомышленников Милля предпринял даже издание особого органа — «Вестминстерское обозрение», в котором сам он принимал весьма деятельное участие. Основам этической системы Бентама Милль оставался верен и впоследствии, хотя значительно смягчил учение Бентама в своей известной работе «Утилитаризм» (1861 г.). Именно Милль отступил от чересчур большой рассудочности этической теории своего учителя, признав за чувством большее значение в нравственности. Равным образом Милль довольно рано стал колебаться и относительно правильности принципов французского либерализма, после того как познакомился с социальными теориями сен-симонистов и Фурье. Первый серьезный труд, написанный Миллем, был посвящен политической экономии и вышел в свет в 1830 г., а в конце сороковых он издал и свое общее сочинение по этому предмету — «Начала политической экономии». Оставляя до другого места изложение экономических взглядов Милля, отметим также, что около 1840 г. Милль очень заинтересовался позитивной философией и социологией Ог. Конта, с которым даже вступил в переписку. Вскоре после этого (1843 г.) он издал свою знаменитую «Систему логики», в которой, между прочим, впервые подверг систематической обработке вопрос о методе научного исследования общественных явлений. Высоко ставя идеи Конта как мыслителя, Милль самым резким образом расходился, однако, с практическими требованиями Конта, который, как известно, был принципиальным врагом индивидуальной свободы и подобно сен-симонистам проповедовал необходимость безусловного подчинения социальному авторитету. В данном вопросе Милль был настоящим представителем своей нации, издавна привыкшей к самому широкому пользованию личной и общественной свободой. Лучше всего Милль выразил эту сторону своего общественного мирозерцания в знаменитом трактате «О свободе», вышедшем в свет в 1859 г. Уже не раз высказывалась в литературе та мысль, что это небольшое произведение Милля представляет собой самое лучшее, что только было написано на эту тему в последние десятилетия. Милль — принципиальный защитник свободы, в которой он видит благо само по себе, независимо от тех побочных результатов, которые она вообще приносит с собой. То же свободолюбие характеризует и другое сочинение Милля, написанное около того же времени (1861 г.) «Рассуждения

о представительном правлении», где он называет эту форму наилучшим государственным устройством и сетует только, что благом представительства не пользуются на его родине рабочие классы. С той же точки зрения свободы личности Милль рассматривал и так называемый женский вопрос в специальной книжке, посвященной этому предмету («Подчиненность женщины», 1869 г.).

До середины шестидесятых годов Милль не вступал на политическое поприще. В первой половине своей жизни он занимал одну довольно выгодную должность в Ост-Индской компании, бывшую, впрочем, больше синекурой. Одной из причин того, что Милль впервые сделался членом парламента только в середине шестидесятых годов, была дороговизна выборов, против которой он всегда вооружался и с принципиальной точки зрения. Вступивши в парламента в 1865 г., Милль оставался в нем очень недолго, так как в 1868 г. на новых выборах потерпел поражение, но годы пребывания Милля в парламенте как раз были ознаменованы второй парламентской реформой, в которой сам он принимал весьма деятельное участие. Кроме того, в палате Милль выступал в качестве защитника ирландских фермеров, в пользу которых требовал самых энергических мер со стороны правительства. Весьма любопытно, что свою неудачу на выборах 1868 г. Милль объяснял неудовольствием избирателей на то, что он публично выразил свое сочувствие Брэдло, который вооружил против себя английское общество своим открытым атеизмом¹.

В своем трактате «О свободе» Милль рассматривает тот же самый предмет, который составляет содержание известного сочинения В. Гумбольдта «Идеи для попытки определения границ деятельности государства». Но Милль идет далее своего немецкого предшественника, потому что не ограничивается рассмотрением границ деятельности государства, считая, кроме того, нужным принципиально определить и права самого общества над индивидуумом. Он вполне соглашается с основным принципом Гумбольдта, по которому конечная цель человека заключается в развитии его индивидуальности и по которому лучшее средство для достижения этой цели заключается в свободе. Одна из глав трактата Милля так и называется — «Об индивидуальности, как об одном из элементов благосостояния». Он видит только, что в данном отношении личность может страдать не от од-

¹ Чарльз Брэдло в очень юных годах принимал участие в чартистском движении, а после его падения вращался главным образом в кругах лондонской революционной эмиграции. В пятидесятых годах он напечатал несколько брошюр антирелигиозного и республиканского характера, а в 1860 г. основал свой орган «Национальный реформатор». В середине шестидесятых годов он настолько уже выдвинулся, что его избрали вице-председателем лиги реформы, а в 1868 г. он поставил даже свою кандидатуру в члены парламента. Впрочем, избрания ему удалось добиться только в 1880 г., но нежелание его, как атеиста, принести установленную присягу помешало ему тогда же занять свое место в парламенте. Это дело в то время сильно волновало общественное мнение и разрешилось только в 1886 г.

ного лишь государства, но и от общества, и в этом заключается новизна его точки зрения. Дело в том, что бывают случаи, когда тирания общества страшнее всевозможных политических тираний, хотя, именно думает Милль, она и не опирается на какие-нибудь крайние уголовные меры, но спастись от нее гораздо труднее, поскольку она глубже проникает во все подробности частной жизни и кабалит саму душу. Вот почему, говорит Милль, «недостаточно иметь охрану только от правительственной тирании, но необходимо иметь охрану и от тирании господствующего в обществе мнения или чувства». Поэтому он поставил своей задачей установить границу, далее которой само общественное мнение не может законно вмешиваться в индивидуальную независимость. Этот вопрос интересовал его не только с отвлеченной точки зрения, но и ввиду особенностей английской общественной жизни: по его словам, нигде до такой степени, как в Англии, не ослаблено правительственное вмешательство и в то же время нигде так не сильна тирания общественного мнения. Милль даже думает, что нерасположение англичан к правительственному вмешательству обуславливается не столько уважением к индивидуальной независимости, сколько «старой привычкой смотреть на правительство как на представителя интересов, противоположных интересам общества». У англичан поэтому нет принципа, которым бы они оценивали правильность или неправильность правительственного вмешательства. Вот этот-то принцип Милль и старался найти, как для ограждения личности от политической тирании, так и для ограждения ее от общественного деспотизма. «Принцип этот, — говорит он сам, — заключается в том, что люди индивидуально или коллективно могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения и что каждый член цивилизованного общества может только в таком случае справедливо быть подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей». Становясь на эту точку зрения, Милль оговаривается, что он «не пользуется для своей аргументации теми доводами, которые мог бы заимствовать из идеи абстрактного права, предполагающей право совершенно независимым от пользы». Такая оговорка вполне понятна со стороны последователя Бентама и автора книги об утилитаризме; Бентам сам заменял идею права идеей пользы, следуя в этом отношении примеру Гельвеция в его отличии от Руссо. Милль утверждает далее, что интересы человечества оправдывают подчинение личности внешнему контролю лишь по таким ее действиям, которые касаются интересов других людей. Вот почему он подобно, например, Бенжамену Констану защищает всевозможные виды индивидуальной свободы. «Не свободно то общество, — говорит он, — какая бы ни была его форма правления, в котором индивидуум не имеет свободы мысли и слова, свободы жить как хочет, свободы ассоциации; только то

общество свободно, в котором все эти виды индивидуальной свободы существуют абсолютно и безразлично одинаково для всех его членов». На этом понимании свободы сказалось также и влияние Токвиля, идеи которого Милль ставил очень высоко и с особенным рвением популяризировал среди своих соотечественников. Но Милль, как это мы еще увидим из рассмотрения его экономических взглядов, не был защитником невмешательства в экономическую жизнь. Правда, в трактате «О свободе» он почти не касается этого предмета, но в каком смысле он решал этот вопрос, можно видеть из следующих слов: хотя «подчинение торговли или производства каким-либо ограничениям есть, конечно, стеснение, но в этом случае оно относится к таким действиям индивидуума, вмешиваться в которые общество имеет полное право». Милль даже прибавляет, что «принцип индивидуальной свободы, будучи совершенно непричастен к доктрине свободной торговли, равно непричастен к большей части тех вопросов, которые возникают относительно пределов этой доктрины».

В другом своем сочинении, посвященном рассмотрению свойств представительного правления, Милль поставил своей задачей указать как на сильные, так и на слабые стороны этой политической формы и наметить необходимые в ней преобразования. В теории он признавал представительную форму наилучшей, так как она более других благоприятствует, с одной стороны, хорошему управлению текущими делами, с другой — усовершенствованию национального характера. «Права и интересы какого бы то ни было лица, — говорит Милль, — только тогда не игнорируются, когда заинтересованное лицо способно и привыкло отстаивать их: люди верно обеспечиваются против зла, угрожающего им со стороны других, только самозащитой». Понятно, что представительство лишь тогда достигает своей цели, когда этим правом пользуются все члены общества. «Нечего предполагать, что когда власть находится в руках одного какого-нибудь класса, он сознательно и умышленно приносит интересы остальных классов в жертву своим интересам; достаточно и того, что при отсутствии естественных защитников исключенные классы всегда подвергаются опасности пострадать в своих интересах, и что даже тогда, когда последние принимаются во внимание, они рассматриваются совершенно не так, как рассматривались бы со стороны людей, непосредственно заинтересованных». Указав на то, что рабочие классы в Англии устранены от участия в управлении, он замечает, что поэтому парламент и не смотрит на возникающие вопросы жизни глазами рабочих. «По вопросу, например, о стачках не найдется, быть может, ни одного видного члена обеих палат, который не был бы вполне убежден, что в способе обсуждения этого вопроса правы только хозяева и что взгляд рабочих на него просто нелеп. Как бы искренне ни было, — продолжает Милль, — намерение других защищать наши интересы, мы сами не можем без вреда относиться к ним безучастно. Еще

более очевидна истина, что только своими собственными усилиями мы можем добиться положительного и прочного улучшения нашей жизни». «К сожалению, — прибавляет он, — благодетельства свободы, насколько они до сих пор осуществились, распространились только на одну часть общества». Милль подвергает критике даже те демократические представительства, которые не устраняют господства одного класса, и его идеалом было бы такое распределение представительства, при котором были бы уравновешены силы обеих частей современного общества. «Население современного государства, — говорит он, — не страдающего сильной внутренней рознью вследствие племенных особенностей, по большей части может быть в идее разделено на две группы, которые, оставляя в стороне мелкие уклонения, в общем, соответствуют двум противоположным направлениям видимых интересов». Одну из этих групп он называет классом рабочих, другую — классом хозяев. В эту последнюю группу он включает еще «не только капиталистов не у дел и лиц с наследственным состоянием, но и таких работников, которые получают значительное вознаграждение (представители либеральных профессий), по своему воспитанию и образу жизни походят на людей богатых и стремятся занять место в этом классе», но, с другой стороны, он причисляет к рабочим и «тех мелких хозяев, которые по своим интересам, привычкам и воспитанию усвоили себе желания, вкусы и стремления рабочих классов. Если бы, — продолжает Милль, — при таком составе общества можно было создать идеально совершенную представительную систему и сохранять ее в таком виде, то она состояла бы из этих двух классов». В каждом классе большинство обыкновенно руководствуется своими классовыми интересами, и только меньшинство подчиняется разуму, справедливости и общему благу. Милль думал, что именно это меньшинство каждого класса, вступая в союз с другим классом, и будет давать ему перевес над притязаниями собственного большинства, которые, по мнению меньшинства, не должны одержать верх. Эта теория представительства существенным образом отличается от более ранних либеральных теорий, которые иногда, в интересах самой свободы, исключали из пользования политическими правами всю народную массу, не дорожающую свободой самой по себе и не умеющую пользоваться ею. Но и Милль сам необходимым условием благодетельности представительной системы считает широкое развитие народного образования. Другим недостатком действующей системы он считает такие случаи, когда численное большинство представителей нации может быть и часто бывает только меньшинством самого народа даже при существовании всеобщей подачи голосов. Большинство того большинства, которое одержало победу на выборах, само может оказаться меньшинством по отношению к меньшинству этого большинства, сложенному с тем меньшинством кандидатов, которые на выборах тоже собрали значительное количество голосов, но не

имели их достаточно, чтобы попасть в парламент. Вследствие этого обстоятельства Милль предлагал особую систему пропорционального представительства, которое устраняло бы указанный недостаток.

Ввиду того, что, когда Милль писал свою книгу о представительстве, в Англии снова стоял на очереди вопрос о расширении избирательного права, которое должно было теперь распространиться и на часть рабочих, особенно важны соображения, какие мы находим у Милля на этот счет. Считая расширение избирательного права, безусловно, необходимым для хорошего правления, Милль опасался, однако, как бы при переходе большинства на сторону рабочего класса не понизился очень сильно уровень политического развития избирателей и само законодательство не приняло исключительно классового характера: невежество не может иметь такого же права на политическую власть, как и знание. Это опасение существовало уже ранее, и то употребление, которое сделала Франция из всеобщей подачи голосов, заставляло даже такого человека, как Маркс, сомневаться в том, чтобы это было, безусловно, спасительное средство. Со своей стороны, Милль предлагал ввести множественность голосов для более развитых общественных элементов, но при этом он высказывал мысль о необходимости расширения избирательных прав и на женщин, которые исключены из пользования этими правами даже тогда, когда обладают имущественным цензом, а при известном умственном развитии имели бы гораздо более права на участие в политической жизни, чем менее развитые мужчины. «Все люди, — говорит Милль, — одинаково заинтересованы в хорошем правлении, затрагивающем их благосостояние, и, следовательно, имеют одинаковую нужду в праве голоса для обеспечения своей доли участия в его выгодах. Если в данном случае существует какое-либо различие, то лишь то, что женщины нуждаются в политических правах больше, чем мужчины, потому что, будучи физически слабее, они испытывают большую необходимость в покровительстве законов и общества». Признавая, что избирательное право должно зависеть от личных качеств, а не от имущественного ценза, он находил «исключительно ненормальным положение», в силу которого женщина, вполне удовлетворяющая всем условиям, установленным для избирателя-мужчины, устранилась от пользования политическими правами и признается существом лично неспособным. В своем сочинении Милль рассматривает и другие вопросы, связанные с избирательным правом. Говоря, например, о двухступенной системе выборов, он замечает, что этой комбинацией, вероятно, «имелось в виду до известной степени помешать свободному проявлению народных чувств». Вместе с этим он доказывает, что все выгоды, которые думают достигнуть путем косвенных выборов, могут быть получены и при выборах прямых, тогда как, с другой стороны, косвенные выборы имеют очень много невыгодных сторон, свойственных им одним. Несомненно, что в большинстве

случаев косвенные выборы вводились обыкновенно не ради практического удобства, а из желания ослабить непосредственное выражение народных желаний. Только по вопросу об открытой или тайной подаче голосов Милль принципиально высказывался не в духе демократических требований, всегда заключавшихся в предпочтении тайной подачи перед открытой, хотя, с другой стороны, Милль и не считал возможным утверждать, «будто немыслимы случаи, когда закрытая баллотировка заслуживает предпочтения перед открытой». В этом вопросе он исходил из того соображения, что право голоса дается избирателю не ради него самого, т. е. не ради его личной пользы и выгоды, а возлагается на него как общественный долг. Если бы, думает он, подача голоса была правом, мы не имели бы никаких оснований порицать человека, продающего свой голос. Если человек должен иметь право голоса, между прочим, для того, чтобы защищать самого себя, то лишь в таких случаях, когда подобной защиты требуют и другие его сограждане. «Тут полной свободы, — говорит Милль, — быть не может: при подаче голоса избиратель может столько же руководствоваться своими личными желаниями, сколько присяжный, когда он произносит приговор». Милль полагал, что при тайной подаче голосов избиратель будет смотреть так, как будто он вовсе не обязан считаться с общественным мнением своих сограждан. Вот почему он требовал, чтобы голосование, как исполнение общественной обязанности, происходило на глазах и под контролем общества. Но он оправдывал закрытую баллотировку в случаях пагубного влияния немногих лиц над народной массой, и только находил, что в современной Англии в настоящее время опасны не столько посторонние влияния, каким подвергаются избиратели, сколько их личные и классовые выгоды. Мы уже видели, что он желал бы, чтобы лучшие члены обоих общественных классов заботились исключительно об общем интересе. К числу недостатков английской политической жизни Милль относил еще дороговизну выборов, потому что она поддерживает преобладающее положение в парламенте за богатыми. Так как большие расходы при выборах поддерживались обеими политическими партиями, то Милль одинаково порицал за это и консерваторов, и либералов, считая их поведение в данном вопросе совершенно злонамеренным. И для тех и для других было почти безразлично, кто будет голосовать, лишь бы голоса подавались исключительно в пользу лиц их собственного класса. Они знают, говорит Милль, что «им нечего опасаться самого враждебного отношения к их интересам и чувствам при самой демократической системе подачи голосов до тех пор, пока демократы не могут попасть в парламент». Своей политикой они добиваются только того, что дают свободно развиваться классовым чувствам массы. Трудно, с другой стороны, придумать более развращающую систему. Люди вообще не расположены платить большие деньги за право исполнения тяжелой обязанности, и если те или другие лица, не отличаю-

щиеся притом расточительностью в благотворительных делах, тратят значительные суммы, чтобы сделаться членами парламента, то у кого не явится нелестное мнение о мотивах, которыми эти люди руководствуются? Но желая, чтобы кандидаты в члены парламента не тратили денег при выборах, Милль не соглашался с бывшим в ходу у демократов требованием, чтобы члены парламента получали жалованье, так как, опасался он, это открыло бы доступ в палату людям, ищущим денежных выгод, и авантюристам мелкого калибра. Милль допускал только, чтобы лицо, совершенно лишенное самостоятельных средств к существованию, сделавшись членом парламента, жило во время исполнения своих обязанностей на средства, собранные подпиской среди его избирателей.

XXX. Крестьянские реформы середины XIX века¹

Общий взгляд на значение 1848 г. в истории крестьянских реформ. — Перечень законов, изданных в отдельных немецких государствах после 1830 и 1848 гг. — Недостатки прежнего законодательства. — Крестьянский вопрос в ландтагах. — Законодательство по крестьянскому вопросу Ганновера, Саксонии, Гессен-Касселя, Бадена, Баварии, Вюртемберга, Гессен-Дармштадта. — Положение прусского крестьянина перед 1848 г. — Прусская реформа 1850 г. — Положение крестьян в разных частях Австрии перед 1848 г. — Австрийская крестьянская реформа. — Крестьянская реформа в Венгрии. — Общий взгляд на реформы 1830—1850 гг. — Дворянская реакция в крестьянском вопросе после 1848 г. — Переход Германии к новому общественному строю

Рассмотрев историю национальных и политических движений после революции 1848 г. и реакции пятидесятых годов, мы перейдем к социальной истории за тот же период с конца сороковых годов. Здесь обращают на себя внимание, во-первых, крестьянские реформы, вызванные революцией 1848 г., во-вторых, рабочий вопрос и тесно связанное с ним социалистическое движение.

Реакция, наступившая после падения Наполеона I и снова усилившаяся после Июльской революции, была крайне неблагоприятна для начатой в конце XVIII и начале XIX в. ликвидации старых феодальных отношений. Несмотря на разные законы, которые были изданы в предыдущие периоды для прекращения помещичьей власти над крестьянами, остатки старых отношений еще существовали почти во всей Центральной Европе. Против них решительнейшим образом высказывался либерализм, исходивший из идеи естественного права человеческой личности на свободу; против них высказывалась, конечно, и политическая экономия, указывавшая и на помехи земледелию, лежавшие в старых отношениях, и на большую производительность свободного труда. В число политических требований буржуазии всегда входила ликвидация феодальных отношений, и в данном случае буржуазия действовала не только во имя принципа свободы личности, собственности и труда, но из классовой ненависти к дворянству с его сословными привилегиями и реакционным духом. До 1848 г. правительст-

¹ О крестьянских реформах до 1830 г. см. особую главу (XXIII) в IV томе настоящего труда. Кроме сочинений Sugenheim'a, I. Stein'a, Hanssen'a, Knapp'a, Grünberg'a, Hausmann'a, Doniol'я, Ю. Ф. Самарина и др., указанных в т. IV, см. еще статью проф. И. В. Луцицкого «Крестьяне в Западной Европе» (Энциклопедический словарь Брокгауза—Ефрона, т. XVI); Освобождение крестьян на Западе (статьи из «Handwörterbuch des Staatswissenschaften»). Изд. М. И. Водовозовой, 1897; Judeich. Die Grundentlastung in Deutschland, 1863; Knapp. Grundherrschaft und Rittergut, 1897; Stengel. Die Grundentlastung in Bayern, 1874.

ва и помещики в Германии боялись крестьянских восстаний гораздо более, нежели восстаний городских рабочих, а немецкая буржуазия даже охотно смотрела на возникновение народных беспорядков, когда последние обращались против властей — государственной и помещичьей. Революция 1848 г. взволновала и крестьянскую массу, которая своим содействием немало обеспечила первый успех движения. Немецкие правительства и дворяне поспешили сделать крестьянам уступки, чтобы их успокоить, и наиболее прочные результаты от законодательства 1848 г. остались именно в этой области. Но как раз вследствие того, что крестьяне, удовлетворенные исполнением их требований, отстали от революции и даже перешли на сторону властей, движение было обессилено. Благодаря этому обстоятельству и реакционному настроению самой буржуазии правительства, опираясь на дворянство, духовенство, чиновничество и войско, только и могли мало-помалу справиться с движением и перейти к чисто реакционной политике. Последняя отразилась неблагоприятно не только на городских классах, но и на крестьянстве, и законодательство в крестьянском вопросе в эпоху реакции сделало несколько шагов назад.

В настоящей главе мы рассмотрим историю крестьянского вопроса в середине XIX в. в германских государствах, равно как в ненемецких частях монархии Габсбургов. Главное содержание этой истории — законодательство об уничтожении и выкупе повинностей крепостнического и феодального происхождения. «Вообще, — говорит Зугенгейм, автор “Истории уничтожения крепостничества в Европе”, — до Июльской революции во всех германских государствах, где в это время уже существовали законы о выкупе, на самом деле выкупов совершено было очень мало». Причинами такого явления были бедность, а часто и задолженность крестьян, с одной стороны, и нежелание дворян — с другой. И после 1830 г., и в 1848 г. со стороны дворянства также делались разные помехи законодательным работам ландтагов над крестьянским вопросом. Между прочим, упорство, с каким дворянство отстаивало свои привилегии, было одной из причин той ненависти, которую по отношению к нему проявило сельское население в 1848 г.

Июльская революция, отразившаяся и на Германии рядом политических волнений, вызвала крестьянские реформы в Ганновере, Саксонии и Гессен-Касселе, где ранее того не было сделано для крестьян ничего или почти ничего, и несколько подвинула вперед уже прежде начатое крестьянское дело в Бадене, Баварии, Вюртемберге и Гессен-Дармштадте. Но, в общем, законодательство тридцатых годов было крайне несовершенно, и в 1848 г. потребовалось новое. Особенно важны были новые законы в Баварии (4 июня 1848 г.), Вюртемберге (14 апреля 1848 г.), Гессен-Касселе (26 августа 1848 г. и 20 июля 1849 г.), потому что они внесли весьма существенные изменения в прежние правила о выкупе, тогда как новые законы,

изданные в Ганновере (19 июля 1848 г.) и в Саксонии (23 ноября 1848 г. и 15 мая 1851 г.) ограничились легкими переменами. Последнее можно сказать и о баденском законодательстве 1848–1849 гг., но в Бадене к тому времени выкуп большей частью уже был закончен¹. На Пруссии и Австрии 1830 г. совсем не отразился, но революция 1848 г. также заставила оба эти государства заняться ликвидацией старого феодального строя.

Прежнее законодательство, в общем, исходило из принципа, принято-го еще физиократами (Тюрго, Бонсерф) и примененного к уничтожению феодальных прав во Франции в 1789 г. Принцип этот заключался в том, чтобы личная зависимость крестьянина от помещика и вытекающие из этой зависимости повинности были уничтожены безвозмездно, а все повинности поземельного характера подлежали выкупу. В Германии вообще лишь с некоторыми исключениями держались этого принципа, но вопрос заключался еще в том, насколько были хороши законы о выкупе, который должен был освободить землю от лежавшего на ней бремени повинностей. Рассматривая законы, изданные в некоторых германских государствах на этот счет, мы находим, что все они были крайне несовершенны. Во-первых, выкуп предоставлялся свободному соглашению сторон, а оно достигалось с большим трудом, если помещик был против выкупа. Во-вторых, крестьянин был слишком беден, чтобы иметь возможность единовременным взносом известной суммы освободить свою землю от поземельной ренты, заменившей собой прежние повинности, тем более, вдобавок, что перевод повинностей на ренту делался по очень высокой оценке, и то же самое можно сказать о капитализации ренты. Выкуп повинностей пошел бы гораздо быстрее, если бы для него существовали более благоприятные правила, т. е. если бы фиксация и капитализация повинностей совершались по менее высокой оценке, а кроме того, крестьянин пользовался бы кредитом у казны, и сам выкуп не ставился бы, по крайней мере фактически, в зависимость от согласия или несогласия помещиков. Не следует забывать, что во многих немецких государствах за помещиками оставалась еще патримониальная полиция и юстиция, которая вообще держала крестьян в зависимости от землевладельческого дворянства и, в частности, мешала успеху выкупного дела.

Одновременно с изданием в отдельных государствах законов о реформе крестьянских повинностей этот вопрос разрабатывался и в литературе, в которой отмечались все недостатки действующего законодательства. В Пруссии было, например, дозволено освобождать крестьянские участки путем уступки помещикам известной части земли, что вызывало справедливую критику. Среди публицистических произведений эпохи особенно важна одна брошюра Штюфе, в которой была высказана (1829 г.) мысль

¹ Кроме того, в 1848–1850 гг. были изданы новые законы в Саксен-Кобурге, Саксен-Веймаре, Саксен-Мейнингене и др.

о необходимости государству взять выкупную операцию в свои руки путем организации особого кредита для крестьян, мысль, которая и нашла применение в законодательстве по крестьянскому вопросу после 1830 и 1848 гг. Это было существенным нововведением, благодаря которому, несмотря на реакцию, так скоро наступившую после 1848 г., дело освобождения крестьянской земли быстро двинулось вперед. Впрочем, в период, подлежащий нашему рассмотрению, в некоторых местах государство и в иной форме приходило на помощь сельскому населению в деле выкупа повинностей, беря на себя часть той суммы, какую должен был платить крестьянин. Еще очень важным недостатком немецкого законодательства в крестьянском вопросе было то, что оно имело в виду улучшение быта лишь крестьян, на тех или других условиях владевших землей, и совсем оставляло без внимания земледельческих рабочих, число которых, однако, было весьма значительно. И в рассматриваемый период этот важный вопрос оставался в прежнем положении. Вся разница заключалась в том, что более раннее законодательство благоприятствовало преимущественно лишь одной зажиточной части крестьянства, тогда как новые законы старались создать лучшие условия существования и для менее зажиточной части крестьян, владевших землей.

Изучая эти законы, а особенно знакомясь с историей их выработки, мы видим, что, в общем, они в значительной мере щадили интересы дворянства. В тех германских государствах, где и до и после 1830 г. существовали представительные палаты или земские чины, законы об отмене феодальных повинностей рассматривались в этих собраниях, в которых крестьянство или совсем не было представлено, или было представлено очень слабо. Наоборот, дворянство играло в названных учреждениях весьма видную роль, с которой в законодательной деятельности приходилось считаться и правительствам, и представителям других классов общества. Понятно, что законы о выкупе проходили не без оппозиции со стороны дворян или подвергались по требованию их существенным изменениям. Обыкновенно толчком, заставлявшим правительства и ландтаги браться за решение крестьянского вопроса, были политические смуты. Тогда и дворянство делалось стоворчивее и уступчивее, но лишь только оканчивались народные волнения и восстанавливался порядок, как начинались попытки повернуть дело на старое. Вот почему законодательство часто останавливалось на полумерах или само искажало позднейшими изменениями лучшие свои начинания. Только революция 1848 г. оказала более решительное действие, хотя реакция пятидесятих годов все-таки не прошла бесследно.

В дальнейшем мы рассмотрим историю крестьянских реформ в отдельных немецких государствах.

В Ганновере еще ранее 1830 г. вторая палата общего собрания чинов не раз указывала на неотложную необходимость окончательного освобожде-

ния крестьянина и земли, но дворянская палата была против этого, и на ее стороне стояло также правительство. В 1822 г. оснабрюкские провинциальные чины выработали даже порядок уничтожения крепостничества, но и на это не было обращено внимания. Революционное движение, проникшее и в это королевство, заставило герцога Кэмбриджского, сделанного вице-королем, приступить к крестьянской реформе. Открывая собрание наскоро созванных чинов 7 марта 1831 г., он заявил о необходимости облегчить положение крестьян, ради чего признал нужным присутствие в собрании и крестьянских представителей, которые могли бы защищать интересы своего сословия. Действительно, королевский указ 22 февраля 1832 г. призвал 16 представителей земледельческого населения в палату депутатов. Закон 10 ноября 1831 г. отменил в Ганновере безвозмездно крепостничество и личную зависимость со всеми вытекавшими из них повинностями и объявил выкуп всех поземельных повинностей. Палата депутатов при обсуждении вопроса о подробностях настаивала на том, чтобы выкупная сумма определялась умножением чистого ежегодного дохода на 20, но дворянская палата упорно требовала умножения ежегодного дохода на двадцать пять, и палата депутатов вынуждена была уступить. Вполне выработанное законодательство на этот счет мы находим только в *Ablösungs-Ordnung*¹ от 23 июля 1833 г. Что касается до патримониальной судебной власти дворянства, то в Ганновере она для уголовных дел была отменена еще в 1821 г., а затем большая часть помещиков добровольно отказалась в пользу государства и от гражданской юрисдикции.

В Саксонии до 1880 г. не производилось никаких серьезных реформ в крестьянском быту. В революционном движении, вспыхнувшем и здесь после Июльской революции, приняли участие и крестьяне, потребовавшие прямо участия в народном представительстве. Новая конституция 4 сентября 1831 г. дала крестьянам 25 мест в палате депутатов (при общей цифре членов — 75). Затем закон 17 марта 1832 г. объявил отмену наследственного подданства и остатков всякой личной несвободы крестьян, равно как и поземельных повинностей².

Хотя гессенское курфюршеское правительство не раз заявляло официально, что крепостничества в его владениях давным-давно не существует, но это было неверно, и еще в двадцатых годах в курфюршестве многие крестьяне лишь за деньги приобретали свободу. Когда и здесь для прекращения революции наскоро были собраны 19 сентября 1830 г. чины, которые должны были вместе с курфюрстом выработать новую конституцию, то были допущены к этому и представители крестьян. Гессенская конституция 5 января 1831 г. уничтожила в стране крепостничество с наиболее ненавистными барщинами и обещала издание особого закона о выкупе

¹ «Положение о выкупе» (нем.). — *Прим. ред.*

² Специалисты считают этот закон одним из лучших.

повинностей, дав вместе с тем крестьянам 16 представителей в ландтаге. Этот закон появился 23 июня 1832 г.

В Бадене в тридцатых годах были изданы законы о выкупе десятины и барщинных повинностей. Денежную ценность десятины (с хлеба, винограда, сена и т. п.) определяли в начале XIX в. в 3,5 млн марок, и уплачивалась она в доманиальную казну, помещному дворянству и разным учреждениям (школам, на постройку и содержание церквей и т. п.). Закон 28 декабря 1831 г. отменил некоторые мелкие десятины (например, пчелиную и медовую), одни без вознаграждения, другие с выкупом, с участием в выкупе государства и общин. Общий закон о выкупе десятины был издан 15 ноября 1833 г. Помещики и крестьяне или общины получили право требовать выкупа, но последний допускался только для целого округа. Чистый десятинный доход, помноженный на 20, должен был составлять выкупную сумму, но уплату пятой части этой суммы брало на себя государство, которое для облегчения всей операции учреждало кассу для погашения десятинного долга. Что касается до барщины, то ввиду неудовлетворительности старого закона 1820 г. о ее выкупе был издан новый закон 28 декабря 1831 г. Все барщинные работы этим постановлением отменялись за вознаграждение, часть которого платили сами крестьяне, часть — государство и общины, и только государственная барщина отменялась безвозмездно. Выкупная сумма была установлена неодинаковая для барщинных повинностей личного и поземельного характера: первые выкупались денежным взносом, равным произведению цифры годичного дохода на десять, для вторых последняя цифра была 18. Заметим, что патримониальная судебная власть в Бадене была уничтожена еще в 1813 г. Баденское законодательство тридцатых годов встретило оппозицию со стороны так называемых *Standesherren*, т. е. медиатизированных князей, графов и баронов, которые до 1806 г. были суверенными членами Священной Римской империи германской нации. Их было в Бадене очень много, и вот, будучи недовольны новыми законами, они протестовали против них перед правительством, жаловались в союзный сейм и даже затеяли судебную тяжбу, которую проиграли, хотя одна судебная инстанция и присудила в их пользу увеличение выкупа путем повышения множителя с 18 на 24. Затем новый закон о крестьянских поземельных повинностях был издан в Бадене 10 апреля 1848 г. Под этот закон были подведены все поземельные оброки, помещичьи монополии, право охоты и рыбной ловли в чужих владениях и т. п., причем помещикам обеспечивалось справедливое «вознаграждение». Изданный через год (21 апреля 1849 г.) специальный закон уничтожал так называемые крестьянские лены, владельцы которых могли превращать такие свои земли в свободную собственность путем выкупа.

Бавария в деле выкупа крестьянских повинностей сильно отстала от соседних государств, и в ней, как раньше, так и в тридцатых и сороковых

годах, не было сделано ничего с целью ускорения выкупной операции. В 1845 г. в этом государстве количество всей поземельной собственности определялось приблизительно в 10 млн гектаров, из которых около 3 млн гектаров было подчинено еще феодальным повинностям. Принимая в расчет, что в состав указанных 10 млн входили домены и земли привилегированных сословий, мы должны признать, что крестьянская собственность оставалась еще большей частью невыкупленной. Впрочем, выкуп все-таки совершался, и в 1845 г. в Баварии насчитывали более 146 тыс. новых собственников. В 1848 г. Мартовская революция опять двинула дело вперед.

Главнейшими постановлениями баварского закона 4 июня 1848 г. были переход к государству судебной власти помещиков под условием известного вознаграждения, безвозмездная отмена всех барщинных работ и чисто личных оброков, равно как некоторых особых повинностей, перечисленных в законе, превращение в ежегодный неизменный оброк всех непостоянных сборов (например, при переходе наследства), запрещение устанавливать новые поземельно-зависимые отношения, выкуп или превращение в неизменный, но подлежащий выкупу поземельный чинш¹ всех неизменных поземельных сборов, государственное посредничество при выкупе поземельных повинностей и учреждение с этою целью выкупной кассы и т. д. Этим же законом уничтожалось право охоты на чужой земле для всех частей государства на правом берегу Рейна, так как в баварском Пфальце это право было уничтожено раньше. По закону 4 июня 1848 г. выкупная касса вознаграждала лиц и учреждения, у которых производился выкуп повинностей, особыми выкупными свидетельствами (*Ablösungsschuldbriefe*), дававшими 4% в год. Но выкупу подлежали далеко не все поземельные оброки, а только те, для которых до обнародования закона еще не было установлено определенного выкупного капитала, и сам перевод в выкупную кассу мог совершаться лишь после фиксирования оброка и только в течение известного срока, который впоследствии был продолжен до 30 сентября 1861 г. За переведенные в государственную кассу земельные ренты она должна была выдавать (своими свидетельствами по номинальной их стоимости) в 20 раз увеличенную сумму фиксированных рент, тогда как при непосредственном выкупе крестьянином у помещика прежних оброков выплачиваемая сумма должна была равняться старой сумме платежей, помноженной на 18. Таким образом, при посредстве выкупной кассы помещик получал больше (на 11%), чем при непосредственной сделке, и баварскому государственному казначейству приходилось доплачивать разницу, которая составила в общей сложности сумму в 26—27 млн марок. Нужно прибавить, что в рассматриваемом законе выкуп был

¹ Чинш — оброк вольных людей на поместных землях. — *Прим. ред.*

объявлен лишь факультативным и мог заменяться фиксированием поземельных оброков, т. е. превращением их в неизменный поземельный чинш, тоже подлежавший выкупу. Благодаря этому и некоторым другим постановлениям закона ход выкупной операции крайне затянулся, и лишь в 1872 г. (закон 28 апреля) решено было ускорить окончание операции установлением обязательности выкупа и распространением посредничества выкупной кассы на такие оброки, которые по закону 1848 г. не подлежали переводу в эту кассу. Вместе с этим закон 1872 г. уничтожил упомянутую надбавку в 11%, определив, что поземельные повинности будут приниматься в выкупную кассу с уплатой суммы, превышающей годовые платежи лишь в 18 раз, да и то с вычетом 2% для покрытия расходов по управлению. По сведениям, относящимся к 1869 г., казна выплатила помещикам в Баварии около 114 млн гульденов.

В Вюртемберге систематическая выкупная операция началась только в 1836 г. по законам 27, 28 и 29 октября, которые уничтожили или объявили подлежащими выкупу некоторые платежи, не затронутые законодательством 1817 г., устанавливали правила для выкупа всякого рода барщин и запрещали введение даже каких-либо суррогатов барщины, касались также случайных повинностей и, наконец, принимали на казенный счет выкуп всех этих повинностей (в размере, в 20 раз превышавшем по закону 1817 г. сумму чистого дохода). По правилам о выкупе разных повинностей крестьянин должен был выплачивать сумму, превышавшую годичный доход помещика в 10 раз (личная барщина), в 16 раз (поземельная барщина) и в 20 раз (мелкие натуральные поборы). Помещики получали теперь от государства сумму, превышавшую их годовые доходы от этих повинностей уже в 20,5–22 раза, что обошлось государственному казначейству в 2 млн гульденов. Прибавим, что в Вюртемберге патримониальная юрисдикция дворянства была уничтожена еще в 1809 г.

И в Вюртемберге революция 1848 г. подвинула дело выкупа. Закон 14 апреля 1848 г. устанавливал обязательный выкуп всех крестьянских повинностей (а некоторые из них уничтожал безвозмездно) и запрещал вводить вновь что-либо подобное. Затем этим законом изменялись прежние правила о выкупе. Выкупная сумма определялась ежегодными платежами, увеличенными в 12 (для случайных повинностей) и 16 раз (для всех остальных), и рассрочивалась на 25 лет, для посредничества же между помещиками и крестьянами учреждалась государственная выкупная касса. Этот основной закон был дополнен рядом других, относящихся к тому же времени. Таковы законы 1849 г. о выкупе помещичьих монополий (8 июня), о выкупе десятин (17 июня), об отмене права охоты на чужой земле (17 августа), об уничтожении или выкупе разных повинностей, не предусмотренных прежними законами (24 августа), и т. п. Из этих законов заслуживают особого внимания два. Законом 13 июня отменялась введенная раньше при-

нудительность пользования государственной выкупной кассой, которое предоставлялось, таким образом, усмотрению сторон. Другой закон, изданный 4 июня того же года, без всякого вознаграждения помещиков уничтожал патримониальную полицию и юстицию. Первый из этих законов, конечно, замедлил ход выкупной операции, но так как для нее был все-таки поставлен срок, то затянуться на неопределенное время она не могла. Действительно, в 1873 г. вся земля в Вюртемберге уже могла считаться освободившейся от старых повинностей феодального и крепостнического происхождения. Благодаря второму из упомянутых законов, сельское население избавилось от полицейской и судебной власти поместного дворянства, имевшей также феодальное происхождение.

В Гессен-Дармштадте, где крепостное состояние и крепостные платежи, равно как и барщина, были уничтожены в 1811 г. (а частью именно в рейнском Гессене еще французским законодательством), а превращение десятин в подлежащие выкупу поземельные ренты совершилось по законам 1816 и 1824 гг., был предпринят в тридцатых годах и общий выкуп этих рент. Законы 27 июня 1836 г., 20 июня 1839 г. и 2 февраля 1841 г. (последний для рейнского Гессена) объявили все поземельные ренты, возникшие из других повинностей, подлежащими обязательному выкупу за сумму, равную ежегодному доходу, помноженному на 18. Лицо, в пользу которого должна была поступить выкупная сумма, получило право вполне в зависимости от своего желания или брать чистые деньги, или особые облигации государственной кассы для погашения долгов, приносившие 4% годового дохода. Гессенские *Standesherren* тоже стали оспаривать правильность применения этого закона к их землям и потребовали, чтобы казна сделала им особую приплату к выкупной сумме, определенной законом. Когда им в этом было отказано, они пожаловались в союзный совет, а затем начали судебный процесс, в котором, впрочем, потерпели неудачу. Дело это тянулось до 1847 г.¹ Законодательству 1848—1849 гг. сделать оставалось сравнительно мало: 26 июля 1848 г. было уничтожено право охоты на чужих землях; закон 6 августа того же года превратил в свободную собственность наследственные аренды, а закон 2 мая 1849 г. — крестьянские лены и т. п.

Переходим теперь к обеим великим немецким державам, в которых Мартовская революция тоже содействовала ликвидации феодального режима.

В старых провинциях Пруссии 1848 г. застал еще очень много прежних порядков, благодаря большой медленности, с какой здесь совершалась крестьянская реформа. Между прочим, по законам предыдущего времени дозволялось выкупать барщину или регулировать свои отношения к помещикам лишь таким крестьянам, которые имели достаточное количество

¹ Недовольны были новыми законами и *Standesherren* в Баварии и в Вюртемберге.

рабочего скота, были, как говорилось, *spannfähig*¹. Для сохранения за помещиками пешей барщины мелкие крестьяне, владевшие так называемыми *spannlose kleine Stelle*², не имевшие лошадей или имевшие не более одной лошади, не могли пользоваться правилами о выкупе. Впрочем, для Силезии это исключение было в 1845 г. отменено как невыгодное для помещиков, которые должны были отдавать больше 5% умолада крестьянам, отбывавшим пешую барщину. При регулировании прусские крестьяне, как известно, лишались целой трети своей земли, вследствие чего площадь крестьянского землевладения сильно сокращалась. Вот как вообще характеризует положение прусского крестьянина перед 1848 г. упомянутый немецкий историк Зугенгейм. «Так как, — говорит он, — прусский крестьянин получил лишь личную свободу и разрешение превратить в течение нескольких лет свое имущество в свободную собственность, если только находил необходимые для этого средства, но политическая и юридическая эмансипация его совсем не коснулась, то перед 1848 г. он вовсе не был вполне свободным человеком и полноправным гражданином, каким был английский крестьянин уже в течение целых столетий, а французский со времени революции 1789 г. Только в тех частях монархии, которые находились на левом берегу Рейна³, на долю прусского крестьянина выпало это счастье. Вследствие сохранения старых порядков Пруссия сильно отставала от некоторых других германских государств в рассматриваемом отношении». В самом деле, в Пруссии до 1848 г. продолжала существовать патримониальная власть помещиков, которой уже не было во многих других немецких государствах (в Вюртемберге, Бадене, Ганновере и др.). Владельцу рыцарского имения (*Rittergut*) принадлежала вся административная и полицейская власть с правом наказания за несоблюдение его распоряжений двухнедельным арестом и принудительной работой или пятью талерами штрафа. Старосты и крестьянские судьи находились под надзором помещика, который был по отношению к ним и высшей апелляционной инстанцией. На собственной своей территории помещик был единственным судьей по всем гражданским и менее важным уголовным делам, хотя в действительности должен был передавать свою судебную власть какому-нибудь лицу с юридическим образованием, но то обстоятельство, что такой судья получал содержание от помещика, делало из него лишь господского наемника. За правительственным ландратом признавалось право надзора, но этот надзор был чисто номинальным. Любопытно, что люди, находившиеся под патримониальной властью помещика, официально даже продолжали называться его подданными. При существовании таких отношений дело выкупа земли в Пруссии страшно тормозилось, тем более что

¹ Сспособные (нем.). — Прим. ред.

² Незакрепленные (ничейные) небольшие участки земли (нем.). — Прим. ред.

³ Здесь крестьянство было освобождено французами.

правительственные учреждения, которым было поручено это дело, были организованы дурно и имели весьма плохой персонал; наконец, и само делопроизводство обходилось дорого. И при существовании средств нужно было обладать большой энергией, чтобы добиться выкупа против воли помещика, который, разумеется, всегда мог пустить в ход свою полицейскую и судебную власть, чтобы прижать крестьянина, настаивавшего на выкупе, когда он сам был против этого. Во многих частях Пруссии в 1848 г. не было совершено и четвертой части выкупов. Притом там, где выкупы были уже совершены, выгода от них доставалась, главным образом, помещику. «Реформа, — говорит знаток истории прусского крестьянства Кнапп, — принесла помещикам неожиданную выгоду: получая от крестьян землю в вознаграждение за повинности и приобретая крестьянские дворы путем свободных сделок после уничтожения охраны крестьянства¹, помещики могли увеличивать свои земельные владения до каких угодно размеров; уничтожение барщины и замена ее наемным трудом доставили им рабочую силу, при помощи которой можно было завести на место устаревшего, рутинного новое, более рациональное хозяйство». Реформа значительно увеличила число сельских рабочих и в то же время избавила помещиков от обременительных крестьянских рабочих сил, так как до освобождения «наследственно-подданные» помещиков пользовались их законной помощью. «Нужно заметить, — прибавляет еще Кнапп, — что законы о регулировании нигде не распространялись на дворы поденщиков. Все законодательство, — продолжает он, — проникнутое духом XVIII в., — если оставить в стороне освобождение от крепостной зависимости, — было направлено к устройству быта лишь тех сельских жителей, которые имели земледельческое хозяйство. Все внимание законодателя обращено было только на изменение правовых отношений, препятствующих развитию сельскохозяйственного производства».

Мартовская революция в Пруссии снова поставила на очередь крестьянский вопрос, но вскоре начавшаяся реакция опять неблагоприятно подействовала на его решение. Еще в апреле 1848 г. прусское правительство само приступило к пересмотру законодательства о крестьянских и помещичьих отношениях, обратившись к провинциальным властям с предложением прислать свои мнения об этом предмете. Именно оно хотело явиться перед национальным собранием с готовым проектом нового закона, но и само собрание получило отовсюду такую массу жалоб и петиций по тому же вопросу, что и без правительственного предложения должно было серьезно заняться этим делом. Оно решилось успокоить население изданием закона о приостановке, по требованию одной из сторон, начатых дел о выкупе до издания новых правил на этот счет; вместе с тем обязатель-

¹ Об охране крестьянства от обезземеливания см. т. IV.

но должны были быть приостановлены и возникшие, но неоконченные еще процессы. Так как, однако, само собрание было распущено и затем политические обстоятельства вообще сложились так, что обещанное законодательство замедлилось, то упомянутый *Sistirungsgesetz* вместо успокоения крестьян привел к совершенно противоположному результату, и, например, в Силезии вспыхнули во многих деревнях серьезные беспорядки. Между тем правительство все-таки продолжало работать над новым законодательством, и в апреле 1849 г. проект был представлен королю, чтобы по одобрению с его стороны поступить на рассмотрение палат. В это время в Пруссии уже обнаруживалась сильная реакция, и если тем не менее министерство считало нужным издать новые законы, облегчавшие выкуп, то лишь ввиду неотложной государственной необходимости. В палатах предложения правительства возбудили большие прения, но основы проекта остались, в общем, нетронутыми. Зато, наоборот, встретилось некоторое затруднение со стороны короля. Мы знаем, как интересовался Фридрих-Вильгельм IV церковными делами, но между ними и крестьянским вопросом существовала та связь, что доходы многих церковных мест состояли как раз из крестьянских повинностей. Померанское духовенство прямо жаловалось королю, что его разоряют. В самый последний момент, именно в середине февраля 1850 г., Фридрих-Вильгельм IV потребовал от министерства, чтобы оно предложило палатам, уже принявшим закон, не распространять его на крестьянские повинности указанного характера. Но министерство отстояло свой первоначальный проект. Таково было происхождение прусского законодательства 2 марта 1850 г.; содержание же его сводится к следующим пунктам. Во-первых, отменялся без вознаграждения целый ряд разного вида (числом 24) повинностей, являвшихся остатками старых отношений некрепостнического происхождения: например, право помещика требовать от крестьян работы, оплачиваемой по местной цене, или участия в облавах и т. п., а также и особые, помещичьи права над наследственными арендаторами, превращавшимися теперь в полных собственников. Во-вторых, отменялись некоторые исключения из права регулирования повинностей, существовавшие в прежнем законодательстве. Регулирование должно было происходить по требованию одной из сторон, а предпочтительной формой вознаграждения была признана рента, так как невыкупленными оставались, большей частью, мелкие участки, владельцам которых было бы слишком тяжело уступать помещику часть земли для того, чтобы освободить другую. В-третьих, создавались правила для перевода на денежную ренту подлежавших выкупу повинностей, которые были классифицированы, как услуги (*Dienste*), оброки зерном, другие натуральные оброки и т. п. В-четвертых, раз устанавливалась ежегодная денежная рента, крестьянин мог от нее откупаться, внося в 18 раз большую сумму единовременно, но если бы он этого не пожелал, то выкуп должен

был совершаться уже при помощи рентного банка. Закон 2 марта 1850 г. учреждал рентные банки в каждой провинции для посредничества между обеими сторонами, как при взносе ежегодных рент, так и при единовременном выкупе. Правда, помещику банк выдавал лишь 0,8 того, что сам получал от крестьянина; но зато получение помещиком долга, ложившегося на крестьян, было верным, а те 0,2, которые банк удерживал у себя, должны были входить в состав фонда, образованного для совершения операций погашения рентного долга. Банк выдавал помещику особую денежную бумагу, заключавшую обязательство выплачивать 4% на капитал, равный его ренте, помноженный на 20. Сам банк должен был ежегодно погашать часть общего своего долга путем уплаты деньгами за известное количество своих обязательств, и вот для этой операции и удерживалось ежегодно из крестьянских платежей 0,2. Условия регулирования по законодательству 1850 г. оказались, в общем, довольно тяжелыми. Об этом свидетельствуют следующие цифры. В пяти восточных провинциях (в Пруссии, Померании, Бранденбурге, Силезии и Познани) от самого начала регулирования до конца 1865 г. этим путем образовалось 83 285 новых собственников, но из них 70 579 относится ко времени до конца 1848 г., и если принять в расчет, что в 1848 г. это дело остановилось и возобновилось лишь в 1850 г., то окажется, что по новому законодательству в 15 лет прибавилось лишь 12 706 новых собственников. «Это, — справедливо замечает Кнапп, — поразительно малая цифра». В одной Верхней Силезии было (по данным 1827 г.) около 25 тыс. крестьянских участков, которые по прежнему законодательству не подлежали регулированию, но по новому законодательству, уничтожившему многие ограничения, большая часть этих участков, очевидно, подлежала регулированию, а между тем лишь половина этой цифры была регулирована в целых пяти провинциях, из которых лишь в части одной провинции насчитывалось такое множество мелких участков. Одним словом, законодательство 1850 г., как говорит Кнапп, не достигло цели, которую себе поставило — провести регулирование во всем объеме закона 1811 г. Впрочем, не нужно забывать, что с течением времени многие мелкие участки слились с помещичьей землей и перестали существовать, как участки, которые требовали бы регулирования. Во многих случаях новые законы и уже не к чему было применять: мелкие крестьянские участки совсем исчезли. Процесс обезземеливания в Пруссии не прекращался за все это время¹. Трудно точно сказать, во что обошлась прусская регуляционная и выкупная операция, но имеющиеся цифры указывают на то, что крестьяне должны были выплатить около

¹ «Четыре восточные провинции, — говорит Кнапп, — теперь имеют гораздо менее крестьян (т. е. мелких собственников и хозяев), чем прежде. Реформа (die Reformgesetzgebung) не только не остановила известного процесса, в силу которого крупные поместья растут за счет новых, но, наоборот, расчистила ему дорогу».

20 млн талеров в виде капитала, до 4 млн талеров и 55,5 тыс. шеффелей¹ ржи в виде ренты и уступили 113 тыс. моргенов² земли. По вычислению одного официального статистика, с 1816 по 1865 г. в общей сложности крестьянам восточных частей монархии пришлось выплатить до 214 млн талеров. Некоторые утверждают, что эту цифру следует увеличить, так как при переводе на деньги цена ржи принималась более низкой, чем она стояла на хлебном рынке.

Крестьянское население монархии Габсбургов до 1848 г. разделялось на четыре группы. Самую маленькую из них составляли свободные крестьяне-собственники в Тироле и Форарльберге с трансильванскими немцами (саксами) и частью крестьян Истрии в Далмации. Тирольские крестьяне были даже полноправными гражданами и имели представителей в местных собраниях чинов. Вторая группа состояла из свободных арендаторов в Ломбардо-Венецианском королевстве, в итальянском Тироле и в части Истрии и Далмации (в последних областях были и наследственные арендаторы). В третью группу входило земледельческое население Австрии, Штирии, Каринтии, Крайны, Чехии, Моравии, Силезии, Галиции и другой части Истрии. В теории крестьяне этих областей считались свободными, но на самом деле были в полной власти помещиков, пользовавшихся и патримониальной юрисдикцией. Чешские, моравские и галицийские крестьяне вдобавок были по отношению к земле лишь наследственными арендаторами. Последнюю и самую жалкую группу представляли собой крестьяне в Венгрии и Трансильвании, как славянского и румынского, так и мадьярского происхождения. De jure они не были уже крепостными, не считались прикрепленными к земле, но фактически помещик был полным господином своих крестьян в качестве обладателя судебной власти, дававшей ему право подвергать их телесным наказаниям, и законы XVIII в., несколько облегчавшие участь крестьян, не исполнялись, так что, например, крестьяне отбывали барщину по усмотрению помещиков. Жаловаться на нарушение закона можно было судье, но судьей был сам помещик, и жалобщик только получал розги; апелляционные суды состояли опять-таки из помещиков. Наконец, по закону крестьянские повинности выкупу здесь не подлежали, хотя бы на то было согласие помещика, а у крестьянина были средства выкупиться. Крестьяне и третьей, и четвертой категории были обязаны отбывать барщину (Roboten) от двух до трех дней в неделю, т. е. от 100 до 150 дней в год. Сами помещики, впрочем, приходили к мысли о невыгодности барщины, падавшей на определенные дни недели и отнимавшей много времени от работы на приходы и уходы, и даже заговаривали о замене ее денежными оброками, которые позволяли бы держать наемных рабочих, работающих каждый день и постоянно

¹ Мера веса — четверик (ведро). — *Прим. ред.*

² Единица измерения площади земли, равная приблизительно 0,56 гектара. — *Прим. ред.*

находящихся на месте. Некоторые помещики и переходили к такой системе, причем расчеты их затем вполне оправдывались; но это были лишь редкие, исключительные случаи. Со своей стороны, правительство, стоявшее вообще за сохранение в неприкосновенности существующих порядков, не поощряло подобных сделок. В тридцатых и сороковых годах в монархии Габсбургов поэтому не было ничего сделано для облегчения положения крестьян. В 1833 г. венгерский сейм предложил установить некоторые ограничения в пользовании помещичьими правами и даже нашел нужным начать выкуп барщины и оброков, но правительство, боявшееся всяких реформ, не дало на то своего согласия, и только в 1839 г. оно утвердило принятое сеймом постановление о том, чтобы разрешено было по соглашению сторон выкупать крестьянские повинности. В 1844 г. граф Дейм в сочинении своем о кредитных учреждениях, изданном чешскими чинами, предлагал употребить в Австрии саксонский способ выкупа повинностей, но этот проект не получил движения. Галицийская резня 1846 г. показала правительству, как было опасно держать крестьян в прежнем положении, но оно ограничилось очень робким патентом о барщине (13 апреля 1846 г.) и разрешением (12 декабря 1846 г.) крестьянам выкупать свои повинности по соглашению с помещиками.

В славяно-немецких областях Австрии главным крестьянским вопросом в 1848 г. был вопрос о барщине. Едва началось революционное движение этого года, как галицийский губернатор, граф Стадион, желая удержать сельское население Галиции, не забывшее еще 1846 г., от нового восстания, решился собственной властью отменить состояние подданства крестьян. Центральное правительство ввиду всеобщего волнения тоже приступило к решению крестьянского вопроса. Но оно все еще боялось предпринять сразу что-либо такое, что сколько-нибудь выходило бы из круга понятий, господствовавших раньше в высших сферах. Оно объявило, например, что все барщины и оброки будут подлежать выкупу за справедливое вознаграждение господ, но не ранее следующего года (11 апреля 1848 г.), да и этот шаг был сделан по инициативе чинов Нижней Австрии, Штирии и Каринтии. В своей конституции 25 апреля 1848 г. оно тоже обещало предложить народному представительству законы о выкупе крестьянских повинностей. Когда был созван учредительный сейм, в нем оказалось очень много крестьянских депутатов — около одной четвертой части всего числа, и весьма естественно, что крестьянский вопрос был здесь поставлен на первую очередь. Выработанный сеймом закон был обнародован 7 сентября 1848 г. в форме императорского патента. Он уничтожал все отношения крестьянского подданства и зависимости, равно как юридическое различие между помещичьими и крестьянскими землями и предписывал освобождение земли от феодальных повинностей. Отмена последних должна была совершаться безвозмездно или посредством выку-

па, смотря по тому, имела ли та или другая повинность происхождение в крепостничестве либо патримониальной юстиции, или же повинность основывалась на владении землей: повинности первой категории, как и само подданство, уничтожались безвозмездно, для второй же категории устанавливался выкуп. К числу уничтожаемых безвозмездно прав были отнесены водочная и пивная монополии помещиков, но до введения новых административных и судебных учреждений должны были временно продолжать действовать прежние патримониальные власти. Этот закон, который справедливо считается единственным прочным результатом деятельности австрийского государственного сейма 1848 г., был дополнен особым императорским патентом от 4 марта 1849 г., заключавшим в себе подробные правила об отмене поземельных повинностей. Новый закон разделял их на три категории: одни уничтожались безвозмездно, другие подлежали выкупу по соглашению сторон, третьи — в силу постановлений закона. К первой категории повинностей патент присоединял, например, право охоты на чужой земле и так называемую охотничью барщину. Постановления о выкупе по соглашению, и особенно о выкупе за определенное законом вознаграждение, добавлявшиеся особыми позднейшими распоряжениями для отдельных коронных областей, отличались довольно большой сложностью. Выкуп повинностей, подлежавших отмене за законное вознаграждение, был сделан обязательным, и к этой категории были отнесены все наиболее важные повинности, лежавшие на крестьянских землях. Вычисление размера и сроков вознаграждения тоже отличалось некоторой сложностью, но, в общем, принято было капитализировать ежегодную ренту посредством помножения на 20. Пока поземельная рента, в которую должны были быть превращены старые повинности, не была выкуплена, она считалась лежащим на земле долгом, и на него распространялась привилегия государственных налогов быть взимаемыми прежде всех других платежей. Заведование этим делом было возложено на окружные комиссии, действовавшие под контролем высших комиссий, которые были учреждены в отдельных коронных областях. Императорский патент 25 сентября 1850 г. повелевал, далее, образовать особый фонд для выкупа земли (*Grundentlastungsfond*), который по патенту 11 апреля 1851 г. выпускал особые государственные бумаги для того, чтобы помещики вместо ренты могли сразу получать капитал. Установленные правительством облигации гарантировались, между прочим, и всеми имуществами, освобождавшимися от повинностей, а долг, который сделало государство, выпустив такие облигации, подлежал погашению путем тиража в сорок лет. К 1859 г., благодаря быстроте, с которой правительство повело дело, выкупная операция в Австрии была закончена (в Моравии в 1852 г., в Истрии, Силезии, Чехии и Зальцбурге в 1853 г., в Австрии, Крайне, Штирии, Тироле и Каринтии в 1854 г. и т. д.). Наконец, в конституцию 1867 г. была

включена и особая статья, провозглашавшая упразднение крепостнических отношений и запрещавшая когда бы то ни было налагать на недвижимость выкуп собственностью не подлежащие выкупу повинности.

Особенность австрийского закона о выкупе заключалась в том, что при определении ценности выкупаемых повинностей вычиталась треть в качестве налога, который платился помещиком с дохода от этих повинностей, расходов по их взиманию и т. п. Из остальных двух третей крестьянин уплачивал одну треть сам, другую уплачивала казна отдельных областей монархии; если же то, что должен был уплачивать крестьянин, превышало две пятых его ежегодного чистого дохода, в таком случае и недостающую сумму брало на себя государство. Расходы на эту операцию казна возмещала прибавкой к поземельному налогу, падавшему на всех землевладельцев. Впрочем, эта система касалась только повинностей, отменявшихся за «справедливое вознаграждение» (*billige Entschädigung*), а в случаях повинностей, подлежавших «принудительному выкупу» (*gezwungene Ablösung*) обе трети должны были платиться вполне самим лицом, выкупавшим эти повинности. Капитал, потребный для освобождения земли и вознаграждения помещиков по всей империи, составлял около 2100 млн гульденов, но за вычетом из этой суммы указанной трети помещики должны были получить 700 млн гульденов от крестьян и столько же от казны¹.

Одновременно совершалась ликвидация крепостнических отношений и в землях короны святого Стефана. Венгерский сейм законом 18 марта 1848 г., получившим санкцию 1 апреля, уничтожил на вечные времена отношения подданства, причем вознаграждение помещиков было поставлено «под охраняющий щит национальной чести». Этот же закон отменил с согласия духовенства церковную десятину без всякого вознаграждения. Подавление венгерской революции сделало недействительными все постановления революционного сейма, и дело крестьянской реформы было взято австрийским правительством в свои руки. Именно на венгерские земли было распространено австрийское законодательство патентами 3 марта 1853 г. (для Венгрии, Хорватии, Славонии и воеводства Сербского) и 21 июня 1854 г. (для Трансильвании). В этих патентах, впрочем, были допущены некоторые отступления от правил, признанных справедливыми для других частей монархии, и, например, размер вознаграждения вычислялся более выгодным для помещиков образом. Конечно, в данном случае правительство боялось раздражать и без того крайне недовольное венгерское дворянство.

Принятые правила о выкупе поземельных повинностей отличались большим разнообразием². Везде старые помещичьи права делились на две

¹ Некоторые интересные указания можно найти в старой статье Гакстаузена «Об отмене и выкупе помещичьих господских прав в Австрии» («Русский вестник», 1857). Подробности в книге Czoernig'a *Oesterreiche Neugestaltung*, 1858.

² См. сравнительную их оценку у Зугенгейма. Кн. V. Гл. 6.

категории, а в Австрии они были разделены даже на три категории. Само распределение отдельных повинностей по категориям происходило различным образом, и не всегда одинаковые повинности в разных государствах подвергались безвозмездному уничтожению. По вопросу о том, кому должно было принадлежать право требовать выкупа, т. е. крестьянину или помещику или же одинаково и тому и другому, законодательства отдельных государств тоже расходились между собой. Лишь одно австрийское законодательство в этом вопросе выдвинуло вперед почин самих выкупных учреждений и благодаря этой системе особенно быстро и пошла выкупная операция в Австрии. Но особенно был сложен вопрос о способах вознаграждения помещиков и об изыскании денежных средств для этого. В указанном отношении господствовало тоже большое разнообразие. Прусское, саксонское и ганноверское законодательства установили три способа для выкупа повинностей: денежную ренту, уплату капитала и уступку части земли, но баварское и австрийское знает только первые два способа. Далее, способ погашения капитального долга устанавливался неодинаковый в отдельных государствах, а в Австрии сразу вводилось два способа с предоставлением права выбирать любой крестьянину. От других законодательств австрийское отличалось еще тем, что в выкупной операции оно совершенно исключало непосредственные сношения сторон, так как крестьяне выплачивали выкупные деньги государству, и уже казна платила помещикам, чем сразу устранялись все обязательные отношения бывших подданных к их бывшим господам. Выкупные деньги взимались одновременно с государственными налогами и поступали в упомянутые *Grundentlastungs-Fond*'ы отдельных областей. Эти кассы были единственными кредиторами крестьян и должниками помещиков. Вообще старый недостаток всех законодательств, разрешавших выкуп повинностей и создававших для этого особые правила, но не облегчавших для крестьян само совершение выкупа, в последних законодательных мерах главных германских государств устранялся учреждением особых выкупных касс и свидетельств. Впервые это было сделано в Пруссии для нескольких округов Вестфалии (1834–1836 гг.), графства Витгенштейн (1839 г.) и Эйхсфельда (1845 г.), где особая бедность и задолженность крестьян вынудила учредить «погасительные кассы» (*Tilgungskassen*), ссужавшие крестьян деньгами для выкупа повинностей, но общей меры из этого правительство делать не хотело, несмотря на то что его прямо о том просили в некоторых частях монархии. В виде общей меры к этому способу прибегли ранее всего Саксония и Гессен-Кассель, где такие кассы были учреждены в 1832 г., а за ними в 1841 г. последовал Ганновер, хотя здесь чины подняли вопрос об этом еще в 1831 г. В 1848–1850 гг. к государствам, оказывавшим помощь крестьянам при выкупе повинностей, присоединились Бавария, Пруссия и Австрия. Эти фонды или кассы носили разные названия (кроме приводившихся раньше отметим ганноверское «*Landes-Creditanstalt*»), но сущность дела была одна. Они по-

средничали между обеими сторонами, выдавая помещикам долговые обязательства, приносившие известный процент, но требуя с крестьян несколько больший процент, чем сами уплачивали помещикам. В подробностях опять существовало большое разнообразие. Неодинаково были организованы и комиссии, производившие оценку выкупаемых крестьянами повинностей. Только австрийское правительство само определило особыми общими правилами ценность отдельных повинностей. При отмене барщины в Австрии был принят принцип оценивать барщинную работу в размере двух третей стоимости вольнонаемного труда, но самый либеральный закон в данном отношении был баварский, отменивший эти работы без вознаграждения. Капитализация средней годовой ценности отменяемых повинностей производилась тоже различным образом. Более ранние прусские законы определяли выкупную сумму умножением годового дохода на 25, что первоначально было принято и в Саксонии с Ганновером, но потом этот высокий множитель был понижен. Мы видели, что отдельные законодательства устанавливали цифры 22,5, 20, 18, 16 и даже 10. В маленьких государствах главным образом только подражали более крупным, хотя лишь немногие (в пятидесятых годах именно Нассау, Саксен-Альтенбург и Саксен-Мейнинген) учредили у себя рентные банки для облегчения выкупной операции.

На ходе крестьянского дела в пятидесятых годах крайне неблагоприятно отозвалась общая реакция этой эпохи. Несколько примеров, взятых из истории разных государств, укажет, к чему стремилось и чего достигало в это время немецкое дворянство. Во-первых, гессен-дармштадтские *Standesherren* опять пожаловались в союзный сейм на нарушение их прав законами о выкупе крестьянских повинностей. Правительство, не желая усложнять и без того натянутые отношения, с согласия палаты депутатов вошло с недовольными аристократами в сделку на счет особого их вознаграждения из государственной казны. Правда, при этом *Standesherren* понизил и свои требования, но все-таки казне эта сделка стоила около 800 тысяч гульденов. В других государствах *Standesherren* тоже протестовали против новых законов, но в союзный сейм не обращались, предпочитая добиваться своего путем переговоров с местными правительствами. Частью они кое-что и получили, но больше их оппозиция приводила только к замедлению выкупной операции. В Пруссии тоже действовала феодальная реакция, прямо стремившаяся к восстановлению сословных привилегий. Одна из статей прусской конституции гласила, что все подданные равны перед законом и что для сословных отличий в государстве нет уже более места. Статья эта, как и вся конституция, отменена не была, но косвенным путем, вопреки ей, были восстановлены многие дворянские привилегии. По старым законам, брак дворянина с недворянкой считался недействительным, и с 1848 г. прусские суды признавали это постановление отмененным, но в 1851 г. стали находить такие браки недействительными,

чем предрешали вопросы о законности рождения и наследственных правах детей от таких браков. Прямо восстановлены были и некоторые специально дворянские законы об имуществе. Владельцы рыцарских имений получили особые права, и само превращение верхней палаты в палату господ, совершившееся в 1854 г., было нарушением демократического принципа конституции. Восстановлены были в 1853 г. и дворянские привилегии в областном устройстве. Нет ничего удивительного в том, что очередь дошла до возвращения владельцам рыцарских поместий и патримониальной власти, что произошло в 1856 г. Между прочим, все это может служить иллюстрацией к тому, в чем заключались стремления феодальной партии в Пруссии. Понятно, что при таких условиях крестьянская реформа должна была встречать постоянные помехи. Не прошло и года со дня издания прусского закона 2 марта 1850 г., как со стороны дворянства была сделана попытка снова подвергнуть разным ограничениям право крестьян выкупать свои земли. Помещики жаловались, что новый закон наносит ущерб их правам собственности, и Фридрих-Вильгельм IV, который и раньше относился к закону не очень благосклонно, велел министру Вестфалену представить ему доклад по этому делу. Декларацией 24 мая 1853 г. были затем внесены в закон для некоторых местностей желательные для дворян ограничения. Потом (в 1855 г.) юнкерская партия в палатах стала добиваться установления срока, до которого должно было бы произойти регулирование, хотя это было равносильно тому, чтобы масса участков не могла воспользоваться законом 2 марта 1850 г. Реакционерам удалось добиться своей цели, и закон 16 марта 1857 г. установил для объявлений о регулировании срок 31 декабря 1858 г., после которого закон 2 марта 1850 г. уже совершенно терял свою силу. Впрочем, говорит Кнапп, если владельцы отдельных участков не воспользовались правом регулирования, то в этом был виноват не столько упомянутый «Präklusionsgesetz» 1857 г., сколько сам закон о регулировании. Между прочим, благодаря сильному влиянию реакции на прусское законодательство 1850—1857 гг., в монархии Гогенцоллернов выкупная операция шла не так быстро, как в Австрии, и не завершилась с такой полнотой, как в этом последнем государстве.

Как бы то ни было, однако крестьянские реформы 1848—1850 гг. значительно содействовали переходу Германии от средневекового, феодального устройства общества к новому, капиталистическому. Уничтожение крепостнических отношений, освобождение земли от повинностей в пользу помещиков, продолжавшееся обезземеливание крестьянства не могли не отразиться на всем экономическом быте немецкой нации.

XXXI. Социальное движение в пятидесятых и шестидесятых годах¹

Влияние реакции пятидесятых годов на социальное движение. — Разложение союза коммунистов и кельнский процесс коммунистов. — Оживление социального движения в шестидесятых годах. — Национальные различия в рабочем движении. — Английский тред-юнионизм и социализм. — Экономические воззрения Милля. — Рабочее движение во Франции и вторая империя. — Деятельность французских социалистов после 1848 г. — Прудон и мутуалистическое движение во Франции. — Особенности характера рабочего движения в Германии. — Деятельность Маркса в пятидесятых и шестидесятых годах. — Лассаль и возникновение рабочей партии в Германии. — Международное общество рабочих. — Первое появление анархизма

Реакция пятидесятых годов отразилась и на социальном движении. Это движение, как мы знаем, страшно напугало буржуазию, которая стала

¹ Ланге. Рабочий вопрос. Его значение в настоящем и будущем, 1892; *Scheel*. Die Theorie der sozialen Frage, 1871; *Contzen*. Geschichte der sozialen Frage, 1877; *Herkner H.* Die Arbeiterfrage, 1897; *Stein L.* Die soziale Frage im Lichte der Philosophie, 1897. См. также общие истории социализма и коммунизма, указанные в т. IV (книги *Graham'a*, *Bouctot'a*, *Malon'a*, *Wcurschauer'a*, *Limanowskiego*) и выше (*Meyer'a*, *Sombart'a*, *Berghoff-Ising'a*, *Ferraz'a*, *Gumpłowicz'a* и др.); *Stegeman und Hugo*. Handbuch des Socialismus, 1894—1895 (словарь); *Schüffle*. Die Quintessenz des Socialismus, 1875; *Menger A.* Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag, 1886; *Лавелэ*. Современный социализм, 1882; *Kircup*. History of socialism, 1892; *Метен А.* Социализм в Англии, 1898; *Webb S.* Englands Arbeiterschaft 1837 und 1897, 1898 (перевод с английского); *Webb S. and B.* The history of Trade Unionism; *Giffen R.* The progress of the working classes during the last half-century, 1887; *Potter B.* (г-жа Вебб). The cooperative movement in Great Britain, 1896; *Рузье П. де*. Профессиональные рабочие союзы в Англии, 1898; *Brentano L.* History of guilds and origin of trade-unions, 1870; *Woods B.A.* English social-movements, 1895; *Howell*. The conflicts of capital and labour historically and economically considered, being a history and review of the trade-unions of Great Britain, 1878; *Он же*. Trade-Unionism, old and new, 1891 (есть французский перевод); *Baernreither*. Die englischen Arbeiterverbände, 1886. Для Германии: *Adler*. Geschichte der ersten socialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland, 1885; *Bourdeau*. Le socialisme allemand contemporain, 1892; *Mehring*. Geschichte der deutschen Socialdemocratie, 1897 (вторая часть этого труда, законченная в 1898 г., доведена до 1891 г.); *Joerg E.* Geschichte der social-politischen Parteien, 1867; *Scheel H. von*. Unsere social-politischen Parteien, 1878 (в обоих последних об образовании социально-демократической партии в эпоху конфликта). О Лассале: биографии и характеристики *Brandes'a* (1888 г. 2-е изд.), *Plener'a* (1884), *Lenbach'a* (1887), *Kegel'я* (1890), *Kohut'a* (1889), *Becker'a* (Geschichte der Arbeiteragitation F. Lassalle, 1874—1875), *Dawson'a* (German socialism and Lassalle, 1891), *Seilliére* (Études sur Ferdinand Lassalle, fondateur du parti socialiste en Allemagne, 1898), *G. Mayer'a* (Lassalle, als Sozialökonom, 1894), *Brandt'a* (F. Lassalles socialökonomische Anschauungen und praktische Vorschläge, 1895), *Классена* (Жизнь Ф. Лассалья в связи с его научной и общественной деятельностью, 1896). О Шульце-Деличе соч. *Lippert'a* (1884). В дополнение к литературе, указанной в главах XIII и XVI, отметим *Sainte-Beuve*. Proudhon, 1873; *Филиппов М.* Прудон как идеолог мелкой буржуазии («Научное обозрение», 1898); *Sombart W.* Friedrich Engels. Ein Blatt zur Entwicklungsgeschichte des Socialismus, 1895. Литература о Международном обществе рабочих будет указана в VI т.

искать спасения в сильной власти против социального переворота, а со своей стороны, правительства, которые враждебно относились к каким бы то ни было политическим движениям, приняли особенно строгие меры против социализма и рабочих обществ. Известный французский излагатель социалистических учений Рейбо считал себя впоследствии вправе сказать, что социализм скончался и что вести о нем речь можно только на заупокойной службе. Действительно, на весьма долгое время о социализме совсем почти перестали говорить, и возрождение его в шестидесятых годах должно было многим показаться совершенной новостью. После неудачи, постигшей движение 1848—1849 гг., социалисты должны были бежать или подвергались насильственному изгнанию и находили приют только в Лондоне. Великие державы не мешали демократическому развитию Швейцарии лишь под условием, чтобы она не злоупотребляла своим правом убежища. Одних немецких политических эмигрантов было здесь около 11 тыс. человек, и большая часть их должна была выселиться потом в Америку. Правда, в отдельных швейцарских кантонах продолжали еще свое существование немецкие рабочие союзы, и их насчитывалось 24, но все они были весьма незначительны по количеству своих членов, колебавшемуся между цифрами 6 и 112. Среди этих союзов начала устанавливаться связь, о чем особенно хлопотал будущий вождь немецкой социальной демократии, Вильгельм Либкнехт, в то время совсем еще молодой человек. Он совершенно открыто, пользуясь швейцарской политической свободой, занялся даже устройством в феврале 1850 г. общего съезда их делегатов в маленьком городке Муртене. Едва, однако, явились сюда представители 16 союзов, как немедленно были арестованы и обвинены в намерении сделать новое нападение на Баден с целью начать в Германии ниспровержение всех законных властей и всех установленных порядков. Затем немецкие рабочие союзы в Швейцарии были поставлены под особый надзор полиции, а члены не состоявшегося муртенского съезда в количестве 296 человек изгнаны, причем их имена были сообщены дипломатическим путем германским правительствам. В том же 1849 г. в Лондоне была сделана попытка возобновления союза коммунистов, но скоро окончилась совершенной неудачей, благодаря полному падению в начале пятидесятых годов всякой политической жизни на континенте. В это время Маркс и Энгельс издавали в Лондоне «*Neue Rheinische Zeitung*», где старались научным образом объяснить возникновение и исход движения 1848—1849 гг., и тот взгляд, к которому они пришли, был очень неблагоприятен для мысли о возобновлении движения. Причиной только что пережитых событий, и притом «гораздо более важной, чем Февральская революция», они признали открытие золотых приисков в Калифорнии, которое, по их мнению, должно было произвести более значительное влияние, чем то, какое в свое время имело открытие Америки. Калифорнийское золото должно при-

звать к жизни западный берег американского материка, превратить Великий океан в новый путь всемирной торговли, внести цивилизацию на восточные берега Азии. Настоящей причиной революции был, по этому объяснению, всемирный торговый кризис 1847 г., как причиной контрреволюции сделалось процветание промышленности, постепенно усилившееся в 1850 г. Такой вывод, ставивший всю историю в полную независимость от людских желаний, был неблагоприятен для революционной агитации в прежнем духе и отвлек от нее многих членов союза коммунистов, хотя и вызвал оппозицию со стороны других. В центральном комитете союза произошли поэтому раздоры, и главным противником Маркса выступил Виллих, бывший офицер революции, человек страстный и увлекающийся, но лишенный всякого философского или исторического и политического или экономического образования. Маркс напал на Виллиха и его единомышленников за то, что они в качестве догматических идеалистов революции совсем не считают с действительными отношениями, думая, что сразу могут добиться власти для пролетариата, и при этом самым вредным образом лстя национальному чувству и сословным предубеждениям немецких ремесленников. «Как демократы, — говорил он своим противникам, — сделали из слова “народ” какое-то святое существо, так и вы делаете какое-то святое существо из слова “пролетариат”». Дело кончилось расколом в союзе. Виллих основал особый «Международный демократическо-социалистический комитет», вступивший в деятельные сношения с единомышленными тайными обществами его во Франции, Бельгии и Швейцарии, пока на следы этой организации не напала полиция Наполеона III. Большинство членов комитета прежнего союза решило перенести главное его управление в Кёльн, где и были бы выбраны новые лица, которые стали бы во главе союза, но большинство членов самого союза пошло за Виллихом. Последний всячески старался помешать образованию кельнской организации, но не имел в этом отношении успеха. В конце 1860 г. устроилось в Кёльне новое правление союза и послало четырех эмиссаров в разные части Германии, чтобы завязать сношения с местными рабочими обществами, но уже эти эмиссары почти не нашли никаких подобных обществ. Один из этих агентов кельнского комитета весной 1851 г. был арестован в Лейпциге, и при нем захватили массу компрометирующих бумаг. Началось строгое следствие, которое привело к отдаче под суд за государственную измену 11 членов союза. Это открытие наделало много шума, и всему заговору был придан более серьезный характер, нежели то было на самом деле. Союз вовсе не имел характера заговора, тем более что сами его основатели были противниками всяких заговоров¹ и даже об этом прямо заявляли в своих воззваниях, уставах

¹ От *фр.* *complot* — заговор. — *Прим. ред.*

и программах. Это было простое, хотя и тайное общество пропаганды, но в уголовном кодексе за участие в таких обществах не полагалось никаких наказаний. Судебная инстанция, от которой зависело предание суду арестованных коммунистов, не нашла в их деяниях состава преступления, в котором их обвиняли, и предложила дополнить следствие (октябрь 1851 г.). Между тем один тайный агент прусской политической полиции, посланный в Лондон, сумел выкрасть переписку некоторых членов вилливской партии, из которой узнал о существовании единомышленных с нею обществ в Париже. Об этом было сообщено французской полиции, и так как эти общества впопне оказались подходящими под понятие заговора, то несколько немецких рабочих, живших в Париже, в феврале 1852 г. судились присяжными и были приговорены к более или менее продолжительным срокам тюремного заключения. Впрочем, и это дело не давало никакого нового материала для обвинения кельнских коммунистов. Тогда опять были начаты поиски, которые должны были доставить новые документы; так как их нигде не находилось, то судебное разбирательство все откладывалось. Через полтора года напрасных стараний подкрепить обвинение новыми данными правительство решилось, наконец, судить обвиняемых. Процесс длился шесть недель — от 7 октября до 12 ноября 1852 г.; суду полицейские агенты представили подложные документы и ложные свидетельства, чтобы подвести деяния подсудимых под статью закона о политическом заговоре. Во время процесса в Лондон посылались особые агенты за новыми данными, но и защитники подсудимых получали от Маркса все, что только было необходимо для опровержения обвинения. Даже сама кельнская прокуратура вынуждена была говорить о неподлинности некоторых документов. По ходу процесса все ожидали оправдательного приговора присяжных, как о том говорилось и в печати (и немецкой, и английской), желавшей подготовить общественное мнение к такому неблагоприятному исходу дела. Но присяжные нашли улики достаточными, и из одиннадцати подсудимых семеро были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению от трех до шести лет. После этого процесса союз коммунистов распустил себя, мотивируя такое решение тем, что после ареста кельнских его сочленов прекратились все его связи с континентом и что вообще при данных обстоятельствах подобного рода общество пропаганды несвоевременно. Правда, и после этого делались еще попытки местных организаций, но все они кончались неудачей. «Братское общение рабочих» в Германии еще некоторое время существовало беспрепятственно, но хотя на общем собрании своем в феврале 1850 г. оно явно стало на сторону полного отказа от какой-либо политической программы, тем не менее уже в середине того же года одновременно в Пруссии, Баварии и Саксонии эта организация была запрещена властями, так как законодательство этих стран не допускало взаимного общения между полити-

ческими союзами. 13 июля 1854 г. германский союзный сейм обязал все правительства в течение двух месяцев закрыть все рабочие союзы и общества, ставящие себе политические, социалистические и коммунистические цели, и не допускать образования новых. Одним из инициаторов этого закона был прусский член союзного совета Бисмарк.

Во Франции еще раньше этого был издан закон, который делал невозможными какие бы то ни было союзы рабочих с политическими целями, и социальное движение заглохло. Вся социальная политика Наполеона III¹ заключалась в том, чтобы всячески препятствовать буржуазии и пролетариату снова броситься друг на друга. Правительство покровительствовало, так сказать, мирному соперничеству обоих классов, лишив в то же время оба класса всякого политического значения. Вместе с тем Наполеон III прямо подкупал в свою пользу часть буржуазии и пролетариата, одних — поощрением всяким предприятиям, переливавшим деньги из карманов мелких капиталистов в сундуки богатой буржуазии, других — страшным развитием в городах строительной деятельности на государственный счет.

С возрождением политической жизни около 1860 г. возродилось и социальное движение. Благодаря особым историческим условиям на этот раз с наибольшей силой проявилось оно в Германии, в которой получило и совершенно новый характер. Мы видели, что со времени Итальянской войны 1859 г. прежнее направление политики стало изменяться, и это в связи с торговым кризисом 1857 г. нарушило тот внешний покой, который царствовал повсеместно после подавления последних революционных попыток. В разных странах, однако, социальное движение принимало различный характер, если только оно существовало в стране. У некоторых народов, переживавших в 1848—1849 гг. политические революции, в шестидесятых годах, как и тогда, еще не было социальных движений: их не было именно ни в Италии, ни в Венгрии, ни у австрийских славян. Само различие в характере социального движения в Англии, Франции и Германии объясняется весьма многими причинами экономического и полити-

¹ В недавно (1897 г.) вышедшей в свет книге Martin-Saint-Léon'a «Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791» есть краткий очерк истории корпораций и в XIX в. Между прочим, автор утверждает, что «банкротство планов социальной организации, задуманных реформаторами 1848 г., не помешало второй республике с пользой во многих отношениях поработать над улучшением положения рабочих» и что «история должна признать за правлением Наполеона III ту заслугу, что никто не обнаруживал столько заботливости, как он, о моральном и материальном благосостоянии рабочего, не хлопотал так много смягчить бедствия, от которых рабочий терпит». «Восемнадцать лет его царствования, — говорит еще автор, — свидетельствуют о постоянных и терпеливых усилиях, о настойчивом стремлении к социальному прогрессу». Конечно, этот взгляд не выдерживает критики. Нужно, впрочем, заметить, что наполеоновский закон 1864 г. дал рабочим право вступать в коалиции и устраивать стачки с целью добиваться повышения платы. Всякое насилие, однако, закон при этом запрещал.

ческого свойства, не говоря уже о различии национального характера и исторических традиций. Один из новейших писателей о социализме¹ различает три типа рабочих движений, которые он именно и приурочивает к трем главным западноевропейским национальностям. Английский тип характеризуется у него своим неполитическим, чисто профессионально-экономическим направлением. Для характеристики французского типа упомянутый писатель прибегает к понятию «революционизма» или бунтарства (*Putschismus*), т. е. своего рода заговорщичества в соединении с уличной борьбой на баррикадах. Наконец, особенность немецкого типа, говорит он, состоит в легально-парламентарно-политическом характере рабочего движения². В дальнейшем мы и рассмотрим историю социального движения в шестидесятых годах в Англии, Франции и Германии, причем остановимся подробнее всего на последней стране, где впервые образовалась самостоятельная рабочая партия, принявшая тогда же участие и в народном представительстве. В шестидесятых же годах сделана была попытка международного объединения рабочих, о которой в настоящей главе мы упомянем только вскользь, чтобы рассмотреть ее подробнее в другом месте.

После неудачи, постигшей чартистское движение, английский пролетариат прекратил свои революционные попытки. Рабочее движение в Англии стало выражаться в том, что, признав принципиально основы современного капиталистического хозяйства, рабочие поставили себе задачу улучшить свое положение при существующих социальных условиях путем самопомощи и союзов. Такому направлению английского рабочего движения, кроме разочарования в прежнем образе действий, много содействовало улучшение их положения (хотя и далеко не всех), замечаемое после 1848 г. С одной стороны, это улучшение было следствием фабричного законодательства, которое к 1850 г. достигло сравнительно довольно важных результатов, особенно же, с другой стороны, следствием промышленной монополии Англии. В своем экономическом развитии Англия страшно обогнала другие страны и заполонила своими товарами все рынки, так что конкурировать с нею никому не было под силу. Хотя в той или другой отрасли промышленности Англию и посещали кризисы, в общем, однако, ее промышленность в эту эпоху была в цветущем состоянии. Спрос на рабочие руки был поэтому вообще хороший, и предприниматели, получая баснословные барыши, обнаруживали большую склонность, да и имели большую возможность не так уж сильно притеснять рабочих. Более выгодным, чем где-либо, было и политическое положение английских рабочих. Мы видели уже раньше, как много выигрывали они от соперничества обе-

¹ Sombart, сочинение которого названо выше.

² См. мнение Маркса о различии национальных характеров в истории рабочего движения, приведенное выше.

их больших политических партий и представляемых ими общественных классов. То же продолжалось и впоследствии, особенно после расширения избирательного права. Предприниматели стали склоняться к той мысли, что собственный их интерес должен заставлять их, если не прямо содействовать улучшению быта рабочих, возможно при существующих условиях производства, то по крайней мере не препятствовать этому. Потеря во времени могла вознаграждаться качеством работы, и более обеспеченный рабочий являлся более тратающим потребителем. Но самым главным было то, что рабочие союзы могли сделаться лучшей охраной против революционных попыток, и учреждения для полюбовного разбирательства споров между предпринимателями и рабочими предотвращали стачки со всеми их невыгодными последствиями для самих же предпринимателей. Практическая складка английского национального характера и у самих рабочих немало содействовала такому направлению социального движения в стране. Правда, за пределами *trade-union*'ов оставалась еще целая масса рабочих, т. е. организовалась в союзы только рабочая аристократия, но как раз и это разделение в рабочем классе составляет одну из особенностей английской социальной истории в пятидесятых и шестидесятых годах. Часть рабочих, сознавшая свои классовые интересы, выделилась из общей массы, оставив вне своей организации наименее развитые и, следовательно, наиболее пассивные элементы, но та же самая более развитая часть рабочего класса в своих же интересах стала находить более выгодным для себя «социальный мир»¹, а не классовую борьбу. Позднейшие обстоятельства показали, что этот мир не мог быть «вечным», что это было, скорее, «социальным перемирием», причина которого лишь была в исключительном положении, в каком находилась английская промышленность в пятидесятых, шестидесятых и даже семидесятых годах. Нельзя, однако, отрицать, чтобы все это мирное движение не оказало воспитательного влияния на английский рабочий класс, приучив его к известной выдержке и развив в нем умение, создавая прочные организации, добиваться своих практических целей со спокойным упорством и методическим постоянством.

О происхождении рабочих союзов уже была у нас речь раньше, и в своем месте было указано, что рабочие союзы то примыкали к политическому движению, то, наоборот, от него отставали. Период, который мы рассматриваем в этой главе, характеризуется именно разъединением *тред-юнионизма* и политики. Можно сказать, что, зародившись в эпоху революционных движений в среде английского пролетариата, *тред-юнионизм* лишь на время отрешился от политического характера.

¹ См.: *Schulze-Gaevernitz*. Zum Socialen Frieden. Eine Darstellung der social-politischen Erziehung des englischen Volkes im XIX Jahrhundert, 1890. Изложение этого труда дает А.С. Гольденвейзер в книжке «Социальные течения и реформы XIX столетия в Англии», 1891.

По определению историков английского тред-юнионизма Сиднея и Бетрисы Вебб, рабочие союзы суть «постоянные группировки рабочих, состоящих на плате, для обеспечения и улучшения их рабочего договора». Они могли начать развиваться лишь после того, как были отменены в двадцатых годах законы, запрещающие всякие коалиции рабочих. Впрочем, новое законодательство их только терпело, но отнюдь не признавало за ними права на существование, потому что в конце концов в акт 1825 г. была включена угроза наказанием за всякие движения, которые имели бы своей целью принудить кого-либо из рабочих присоединиться к коалиции. Сама редакция этого закона давала мировым судьям возможность сажать в тюрьму рабочего лишь за то, что он обращался к кому-либо из товарищей с упреком за нежелание примкнуть к стачке. С другой стороны, и предприниматели препятствовали в то время образованию союзов, увольняя рабочих, которые в них участвовали, или требуя от поступающих на работу обязательства не быть членами союзов и даже закрывая на время свои промышленные заведения. Шансы судебной защиты интересов обеих сторон были неравны, потому что по старым законам, которые продолжали еще действовать, предприниматель, отказывавший рабочему от места вопреки договору, отделялся одной уплатой неустойки, тогда как рабочий, самовольно ушедший со своего места, мог быть даже посажен в тюрьму на срок до трех месяцев. Мировые судьи были обыкновенно завалены делами подобного рода, и даже была учреждена особая комиссия для исследования вопроса о роли рабочих союзов в разного рода столкновениях между предпринимателями и рабочими. Материал для этого должен был быть собран за десятилетие между 1857 и 1867 гг. Комиссия после добросовестного исследования дела пришла к выводу, диаметрально противоположному тому, какой имелся в виду, что оказало свое влияние на законодательство лишь семидесятых годов. Во всяком случае, за рассматриваемый период и законодательство, и судебная практика были в большей или меньшей степени неблагоприятными для развития рабочих союзов.

Первоначально каждый рабочий союз был не чем иным, как соединением рабочих одной и той же специальности в одном и том же месте с целями взаимопомощи в случаях болезни или смерти кого-либо из участников или во время стачек, а правление каждого такого союза являлось посредником между рабочими и предпринимателем в случаях каких-либо недоразумений или споров. Мало-помалу между союзами разных специальностей в одной местности или одной специальности в разных местностях стали устанавливаться связи, перешедшие в более постоянные и прочные отношения вплоть до настоящих объединений и возникновения особых общих комитетов из уполномоченных отдельных союзов. Временем, когда союзы выработали свою внутреннюю организацию, нужно считать пятидесятые годы, эпоха подобных объединений начинается около

1860 г. В 1861 г. лондонские союзы образовали постоянный «совет союзов» (London trades-council), поставивший своей целью добиться законодательного признания и обеспечения союзов. Он немало содействовал назначению парламентской комиссии 1867 г. для исследования вопроса о союзах. Тред-юнионы других городов около того же времени стали собирать ежегодные съезды своих представителей, а в 1863—1867 гг. примеру Лондона в образовании постоянного совета последовали Глазго, Шеффилд, Ливерпуль, Эдинбург, Манчестер. Trades-council последнего из названных городов пришел к мысли об общем для всего государства съезде, и такой конгресс состоялся в Манчестере же в апреле 1868 г. На этом первом конгрессе тред-юнионов собрались 34 делегата, и только один из них представлял собой trades-council столицы. За этим собранием в 1869 г. последовал второй съезд в Бирмингеме, а в 1871 г. в Лондоне происходили заседания третьего конгресса тред-юнионов, учредившего постоянный комитет, названный парламентским (Parliamentary committee), потому что он должен был добиваться от парламента законов, благоприятных для рабочего класса. Этот комитет заменил собой другое аналогичное учреждение, которое работало над объединением союзов. На лондонском конгрессе 1871 г., кроме того, было решено, что впредь делегаты союзов будут съезжаться ежегодно. В этом движении выработался целый класс работников, которые по избрании своих товарищей и за денежное вознаграждение стали специально посвящать свое время и свой труд делам союзов. Это были секретари отдельных тред-юнионов или члены союзных комитетов, так называемые leader'ы. Рядом с указанной организацией, охватившей, впрочем, далеко не все тред-юнионы, продолжали существовать и вполне разобщенные и лишь соединенные по профессиям. Соединения последнего рода получили название амальгамаций, и старейшие из них ведут свое начало еще с пятидесятых годов. В шестидесятых годах и амальгамации стали объединяться в национальные унии, первой из которых был национальный союз рудокопов, основанный в 1863 г., но разделившийся потом на две соперничающие группы. Наконец, нужно иметь еще в виду, что благами союзного устройства воспользовались квалифицированные рабочие (skilled labourers), т. е. имеющие определенную специальность и постоянный заработок, тогда как все чернорабочие, живущие более или менее случайной работой (unskilled labourers), лишь в редких случаях попадали в эти организации. Тред-юнионы, благодаря этому, стали объединять, как было уже отмечено, лишь рабочую аристократию. Причиной этого было то, что с принадлежностью к тред-юнионам с самого начала были соединены расходы, оказывавшиеся посильными только для более обеспеченных рабочих: достаточно указать, что многие союзы имеют довольно большие деньги в виде банковских вкладов. В этой привилегированной рабочей среде стало вырабатываться и свое классовое чувство, стали формировать-

ся и особые нравы. Только отдельные личности протестовали против развившейся в тред-юнионах исключительности, и из них вышли многие организаторы новейшего тред-юнионизма, начавшего с 1889 г. вербовать сторонников среди неквалифицированных рабочих и с самого начала получившего более агрессивный, прямо боевой характер. Тред-юнионизм рассматриваемой эпохи и двух следующих десятилетий (1870—1890 гг.) был вообще проникнут воззрениями либеральной буржуазии о полной свободе рабочего договора и невмешательстве государства в отношения между предпринимателями и рабочими. Вожди этого движения признавали современный экономический строй за окончательный, и те из них, которые не ограничивали деятельности союзов одной самопомощью в случаях болезни, увечья, смерти или безработицы¹, а имели в виду и улучшения условий найма, видели в союзах лишь средство в борьбе с предпринимателями за эти условия. В новых союзах самопомощь отошла на задний план, и на первый план выдвинулась идея государственной или муниципальной помощи. Новый тред-юнионизм сделался поэтому почвой, удобной для социалистической пропаганды, но вся организация этого новейшего движения была выработана именно в рассматриваемую эпоху.

Нельзя, однако, сказать, чтобы одним этим и исчерпывалось все значение рассматриваемой эпохи в истории английского социального движения. То обстоятельство, что Маркс после 1848 г. жил в Лондоне и обрабатывал в своих трудах преимущественно английский материал, не могло остаться бесследным для развития английских общественных идей, но, в общем, это влияние было сначала более теоретическим, так как тред-юнионы в полном своем составе не захотели примкнуть к основанному Марксом «Международному обществу рабочих». Лишь впоследствии стала организовываться и в Англии рабочая партия на марксистских началах.

В теоретическом отношении социалистическая критика манчестерства поколебала представителей английской экономической науки, что лучше всего выразилось в учении Джона Стюарта Милля. Мы уже имели случай говорить о нем, как о политическом писателе, и отметили его индивидуалистическую защиту свободы, но в своем экономическом учении он сочетал теории ортодоксальной школы с социалистическими требованиями. Милль даже прямо признавался, что если бы ему пришлось выбирать между коммунизмом и неопределенным строем современного общества, то он предпочел бы коммунизм, — слова, доказывающие, как пошатнулась вера в спасительность ничем не стесняемой конкуренции,

¹ По вычислению Гоуэлля (см. выше), 14 старых союзов, основанных между 1836 и 1869 гг., истратили на пособия: по случаю смерти членов до 654 тыс. фунтов стерлингов, по случаю болезни более 1 840 тыс., по случаю старости 895 тыс., в несчастных случаях 195,5 тыс. и при безработице около 3 604 тыс., а на поддержку стачек лишь около 463 тыс., т. е. около 7% общей суммы расходов.

раз их мог произнести такой индивидуалист, каким был Милль. Еще в тридцатых годах он интересовался учениями Сен-Симона и Оуэна, но лично более всего симпатизировал радикальной партии, пока петиции рабочих и особенно революция 1848 г. не заставила его принять в свою систему некоторые социалистические воззрения. Первый том «Оснований политической экономии» Милля вышел в свет еще до Февральской революции, а второй — в 1849 г., и вот в этом втором томе он уже восстает против принципа «laissez faire», на который еще не делал никаких возражений в первом томе. Милль даже принципиально различил законы производства от законов распределения, объявив первые законами природы, вторые же лишь способами, зависящими от людской воли. Эта книга Милля, пользующаяся вполне заслуженной известностью, выходила потом не раз новыми изданиями, и чуть не в каждом из них новый строй мыслей автора давал себя все более и более чувствовать. Кроме того, Милль весьма сочувственно относился к тред-юнионизму и хлопотам о том, чтобы рабочие имели своих депутатов в парламенте. Милль очень благосклонно отнесся и к идее национализации земли, с проповедью о которой выступил в 1850 г. филантроп Дов в книге «Теория человеческого прогресса и естественная вероятность царства справедливости». Законы против коалиций Милль, безусловно, порицал и даже говорил, что если бы «рабочие, соглашаясь между собой, могли возвысить или удержать общий уровень рабочей платы, этому делу следовало бы не определять наказание, а радоваться и давать поощрение». Он был только противником поведения тех «классов мастеровых, которые, получая наибольшую плату, ищут своих выгод не в союзе с другими сотоварищами-работниками, а через исключение их из выгод. Пока, говорил он, они будут основывать свои надежды на ограждении себя от соперничества, на защищении своей рабочей платы закрытием для других доступа к своему занятию, от них нельзя ожидать ничего иного, как совершенного отсутствия обширных и благородных целей, почти полного пренебрежения ко всему, кроме возвышения платы и уменьшения работы для своего малочисленного кружка», обнаруженных «Соединенным обществом машинистов». «Если бы и возможен был успех стремления образовать привилегированный класс между работниками, успех этот был бы не помощью, а задержкой для общей эмансипации рабочих классов». Восставая против принуждения рабочих угрозами и насилиями к вступлению в коалиции или стачки, Милль тем не менее желал, чтобы, вопреки установившейся практике, закон не вмешивался в принуждение чисто нравственное, действующее выражением мнения. Целую главу своей книги Милль, наконец, посвятил вопросу об «основаниях и границах системы laissez faire или принципа невмешательства». На эту главу нужно смотреть как на необходимое дополнение к его книге «О свободе». Признавая, в согласии с общим духом своей философии, с традициями

английской школы политической экономии и с нравами своей родины, что “laissez faire” должно быть общим правилом», Милль к числу случаев, в которых он считал нужным отступать от этого правила, относил те случаи, где одно лицо имеет власть над другими. Нужно, впрочем, заметить, что Милль не сумел выдержать в своей политической экономии одной определенной точки зрения, и его попытки примирения противоположных теорий не всегда были удачны.

В эту же эпоху продолжали действовать и христианские социалисты, пропагандировавшие идею производительных ассоциаций. Переходим к социальному движению во Франции за тот же период.

«Социальное движение во Франции, — говорит Зомбарт, — имело всегда какой-то болезненный, возбужденный, конвульсивный характер. Оно всегда начиналось внезапно, бурно и величественно, но тотчас же затихало и падало при первых неудачах. Оно всегда далеко заглядывало вперед и отличалось идейностью, но зато часто бывало фантастично и утопично. В выборе способов и путей оно постоянно колебалось, но неизменно было исполнено веры в действительность быстрого, внезапного действия с избирательным бюллетенем или оружием в руках, всегда было исполнено веры в чудеса революции». Вот почему французский тип социального движения Зомбарт называет революционизмом, отдельные проявления которого он видит в склонности дробиться на бесчисленные мелкие партии (Factionismus), прятаться в тайных обществах и заговорах (Klubismus) и выступать наружу лишь в уличной борьбе и на баррикадах (Putschismus). Такое направление французского социального движения нужно рассматривать как наследие, переданное пролетариату мелкой буржуазией. Французский пролетариат вступил на историческое поприще под руководством именно мелкой буржуазии, и долгое время спустя после того, как он стал действовать самостоятельно, он все еще следовал традициям, выработавшимся в революционной мелкой буржуазии. Пример Великой революции и, в особенности, пример 1793 г. сделался, как мы не раз уже видели, своего рода обязательным для каждого нового движения правилом, указанием, как нужно действовать. Даже идеи французского пролетариата очень часто являются лишь идеями мелкой буржуазии. Дело в том, что до сих пор многие чисто французские отрасли промышленности стоят на стадии маленьких мастерских, а не больших фабрик. С другой стороны, нельзя также не принимать в расчет французского национального характера, живого, способного к увлечениям, подвижного, а также и всей истории Франции с 1789 г. с постоянными переменами форм правления, оказывавшими влияние и на социальную жизнь.

Понятное дело, что общественного движения с таким характером и быть не могло во Франции в царствование Наполеона III. Но французы, с другой стороны, явились и первыми теоретиками рабочего движения.

И в этой области эпоха второй империи не выставила ни одного видного писателя, если не считать людей, начавших свою деятельность еще в сороковых годах. Старые представители французского радикализма и социализма теперь вынуждены были большей частью жить вне родины. Барбес был помилован в 1854 г., но, не желая ничем быть обязанным Наполеону III, обрек себя на добровольное изгнание. Луи Блан прожил все пятидесятые и шестидесятые годы в Англии, где окончил свою большую «Историю Французской революции» и написал несколько сочинений, относящихся к 1848 г.

За весь этот период — да и после того — во Франции продолжали господствовать воззрения старой экономической школы. Единственным важным писателем, нападавшим на эти воззрения, был Прудон, и лишь одному ему удалось в шестидесятых годах оказать довольно значительное влияние на французских рабочих. Главным представителем идеи полного невмешательства государства в экономические отношения сделался в это время Бастиа, горячий поклонник Кобдена¹, задумавший распространить принцип свободной торговли решительно на все проявления экономической жизни. Бастиа прославлял на разные лады гармонию, царствующую в мире, а об экономических бедствиях говорил, что политическая экономия в них столько же повинна, сколько физиология в существовании болезней, но он только забывал прибавить, что против болезней, однако, принимаются меры и что само их существование далеко не свидетельствует о царстве гармонии. Одно из его сочинений так и было озаглавлено «*Harmonies économiques*»². Свою защиту принципа «laissez passer, laissez faire» он основывал на выгоде конкуренции для потребителей, не принимая в расчет того, как свободная конкуренция отзывается на производителях. Вся его теория сводилась к тому, что основной факт политической экономии заключается в обмене. Замечательно, что и Прудон тоже в области обмена надеялся найти решение социального вопроса.

До 1848 г. Прудон еще не играл никакой политической роли, да и участие его в событиях этой бурной эпохи было самое незначительное. В 1848 г. от своей чисто критической и отрицательной деятельности на умственном поприще он перешел к деятельности положительной и творческой, издав брошюру «Организация кредита и обращения денег и решение социального вопроса», где все сводилось к устройству дарового кредита, но тогда эта идея не обратила на себя никакого внимания. Гораздо более имел он успех со своей газетой «*Le Représentant du peuple*»³, которая даже собрала около его кандидатуры в национальное собрание совершенно достаточное количество голосов. Во время июньского восстания 1848 г. Прудон держал себя

¹ О нем Бастиа написал книгу «*Cobden et la Ligue*» (1845).

² «Экономические гармонии» (фр.). — Прим. ред.

³ «Народный представитель» (фр.). — Прим. ред.

довольно далеко от происходившей борьбы, и даже его газета, несмотря на свой социалистический характер, не была тогда запрещена. Вскоре после этого он сам заменил эту газету другой — «Le Peuple»¹, которая в начале 1849 г. печаталась уже в количестве 50–60 тыс. экземпляров². В национальном собрании Прудон обратил на себя внимание своим проектом о подоходном налоге, который, однако, совершенно провалился. В начале 1849 г. с несколькими из единомышленников своих он приступил к осуществлению своей идеи о народном банке, о котором писал в своей газете, как о чем-то небывалом и долженствующем пересоздать весь общественный порядок. Именно «право на труд» он заменял правом на кредит, который должен был быть взаимным и даровым. Все дело — в организации обмена и солидаризации обращения: обмен должен быть устроен таким образом, чтобы каждый получал только ценность своего труда, без возмещения других расходов, соединенных с превращением сырого материала в продукт, годный для потребления: например, хлебопек должен был бы получать при продаже хлеба лишь за одно печение, без того, что стоили превращение зерна в муку, перевоз зерна и все прочие процессы сельскохозяйственного производства. С задуманным банком, однако, дело совсем не пошло, хотя нашлось, по показанию самого Прудона, около 60 тыс. человек, которые хотели принять участие в предприятии. В 1849 г. Прудон сблизился с демократами, но был против каких бы то ни было манифестаций, между прочим, и против демонстрации 13 июня. Впрочем, за десять дней до этого события он был арестован по приговору суда присяжных за оскорбление президента республики в двух газетных статьях. По этому приговору Прудону пришлось просидеть три года в тюрьме, где он написал свои «Признания революционера» и «Общую идею революции XIX века». Государственный переворот 2 декабря он комментировал в 1852 г. брошюрой «La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 décembre»³. Основная идея этой брошюры, совершенно рассорившей его с республиканцами, была та, что государь, выбранный народом, должен быть и государем народа, т. е. поддерживать его интересы. В следующем году Прудон даже посвятил Наполеону III свое «Изложение принципов социальной организации». Приговоренный в 1858 г. к тюремному заключению за свой труд «De la justice dans la révolution et dans l'église»⁴, в котором он выступил как «революционер, демократ и враг Бога» (и антитеист), Прудон предпочел уехать в Бельгию. В своей «Théorie de l'impôt»⁵, написанной на тему прави-

¹ «Народ» (фр.). — Прим. ред.

² Деньги для внесения залога (24 тыс. франков) были даны Прудону Герценом, который его очень уважал.

³ «Государственный переворот 2 декабря как доказательство социальной революции» (фр.). — Прим. ред.

⁴ «Правосудие революции и церкви» (фр.). — Прим. ред.

⁵ «Теория налога» (фр.). — Прим. ред.

тельства кантона Во в 1861 г., он проводил ту мысль, что теперешние налоги падают исключительно на трудящихся, но что лучше всего было бы брать в виде налога известную часть поземельной ренты. Неприязненное положение, занятое Прудонем в это время по отношению к итальянскому и польскому народам, вызвало против него страшное раздражение во французской демократии. Помилованный Наполеоном III, Прудон в 1862 г. возвратился во Францию. Через два года к нему обратились французские рабочие с вопросом, как им себя держать на выборах, которые тогда должны были происходить, и он им дал совет совсем не голосовать. Но рабочие не послушались Прудона, и из их среды вышел манифест, приглашавший ставить рабочие кандидатуры. Этот манифест вызвал со стороны Прудона книжку «*De la capacité politique des classes ouvrières*»¹. Она вышла в свет в 1865 г., всего за несколько месяцев до его смерти, и в этом своем сочинении Прудон дал наиболее законченное изложение теории «мутуализма», который благодаря именно этой книжке и сделался самым популярным учением французского пролетариата во второй половине шестидесятых годов.

Сущность этого учения Прудона, основания которого он высказал еще в «Экономических противоречиях», заключается в следующем: взаимный обмен услуг должен быть добровольным и, следовательно, основываться на договоре или соглашении. Договор должен быть основой как экономической, так и политической организации, а высшим его проявлением должна быть справедливость. Взяв на себя продолжение дела Сен-Симона, Фурье и Луи Блана, Прудон увидел в праве на труд собственно четыре права: право на орудия, право на материал, право на продукт и право на обмен, а в виде естественного вывода провозгласил еще право на кредит. Право на труд влечет за собой обязанность труда, а право на кредит — обязанность кредита, откуда вытекает взаимность (*réciprocité*) кредита. В частных отношениях кредит проявляется в форме займа, в общественных — в форме обмена. Хорошая организация кредита — основная общественная реформа, которая уже сама вызовет надлежащую организацию производства и потребления. От своей первоначальной мысли о даровом кредите Прудон с течением времени отказался, и вся его задача теперь заключалась в том, чтобы сделать кредит как можно дешевле и доступнее для всех. Он думал, что достигнуть этого можно было бы, сосредоточив все торговые операции в банке, акционерами которого были бы все производители, т. е. все общество; но банк этот должен был быть устроен так, чтобы при его помощи происходил обмен не предметов, а услуг, для чего, думал он, стоило только определить заключенную в каждом предмете стоимость труда отдельных лиц. Потребитель, например, платил бы пекарю, беря у него хлеб, только за его работу, пекарь, беря муку у мельника, — лишь за

¹ «Политический потенциал рабочего класса» (фр.). — *Прим. ред.*

его работу и т. д., причем орудием обмена служили бы особые кредитные квитанции. Прудон, сначала допускавший существование металлических денег, пришел под конец к той мысли, что в деньгах чуть не вся причина зла. Только деньги и получаемый с них процент создали фикцию производительности капитала, а благодаря этой фикции половина продуктов под названием ренты, процента, прибыли и т. п. переходит из рук рабочих в руки капиталистов.

Прудон был врагом крупной промышленности и централизации труда и с этой точки зрения вооружался даже против железных дорог за то, что они убивают мелкий извоз и закабаляют своих рабочих. Его симпатии были, собственно говоря, на стороне класса, среднего между буржуазией и пролетариатом, класса, который, подобно пролетариям, живет «более личным заработком, чем доходом с капиталов», но отличается от пролетариата тем, что работает «за свой счет и риск, тогда как пролетариат работает за жалованье или заработную плату». «Великая работа нашего века» состояла, по его представлению, в том, чтобы «растворить первый и третий классы во втором, крайности в середине». Его желание восстановить как бы первобытные меновые отношения, сохранив в неприкосновенности все остальные элементы капиталистического строя, очень характерно для его системы. С другой стороны, проектированным им введением дарового кредита воспользовались бы только капиталисты, и если Прудон верил в возможность декретировать предоставление государственного дарового кредита и пролетариям, то лишь потому, что не сознавал естественной связи, существующей между политическими учреждениями и экономическим значением тех или других классов. Вот почему у Маркса и его последователей должно было составить представление о Прудоне, как об «идеологе мелкой буржуазии» и утописте¹.

Дополним это изложение мутуалистического учения Прудона кратким указанием на значение его анархии как политического принципа². Признавая анархию не в смысле отсутствия принципа, отсутствия правила, т. е. беспорядка, а в смысле отсутствия господина, государя (*absence de maître, de souverain*), он стоял за упразднение правительства, или государства, предполагая, что власть должна быть заменена свободным договором сторон. При таком порядке, пророчил Прудон, промышленная организа-

¹ К одному этому нельзя свести всего Прудона, и можно только согласиться с Герценом, что это был «по преимуществу диалектик, контрroversист социальных вопросов», сила которого была «не в созидании, а в критике». Этим Герцен объясняет и одиночество Прудона между своими. «Он верил своим началам больше, чем партии, к которой он поневоле принадлежал и с которой он не имел ничего общего, а был, собственно, соединен только ненавистью к общему врагу». Герцен рассказывает такой анекдот:

«Мне очень нравится ваша система», — сказал Прудону один английский турист. «Да у меня нет никакой системы», — отвечал с неудовольствием Прудон.

² Более подробно этого пункта его учения мы коснемся в VI т.

ция заступит место организации политической. С этой точки зрения он постоянно нападал и на демократических государственников и на социалистов, возлагавших все свои надежды на правительственное вмешательство. В качестве последовательного индивидуалиста он нападал на всех писателей, желавших помочь бедствиям человечества новой организацией общества. «Человек, — писал он, — вовсе не хочет, чтобы его организовали, механизировали», напротив, всеми силами души он стремится к «дефатализации». С его индивидуалистической точки зрения, труд должен был быть безусловно свободен, и даже существование правительства он готов был признавать лишь в качестве органа, охраняющего свободу труда.

Прудоновский мутуализм привлек на свою сторону группу рабочих, которые на выборах в законодательный корпус в 1864 г. выставили своего кандидата (Толена, впоследствии сенатора) и стали деятельно пропагандировать свои идеи вообще среди пролетариата. Благодаря этому впервые после пятнадцати лет застоя во Франции снова ожило рабочее движение. Все французские мутуалисты были сторонниками «Международного общества рабочих» и деятельно хлопотали о развитии его французского отделения. Вместе с тем они занялись организацией ссудо-сберегательных касс, дешевых столовых, потребительных и производительных ассоциаций¹. Падение в 1870 г. империи Наполеона III и чрезвычайные события, которыми сопровождалось основание третьей республики, снова вызвали к жизни революционное брожение в пролетариате, и оно нашло самое яркое свое выражение в Парижской коммуне 1871 г. Впрочем, разгром коммуны повлек за собой следствия, аналогичные тем, которые имело поражение пролетариата в 1848 г.

Гораздо значительнее были исторические результаты социального движения в Германии.

В середине нынешнего столетия Германия в экономическом отношении стояла еще на такой ступени развития, которую сравнивают с английской в конце XVIII в.², и чисто экономическое движение по английскому типу было в Германии невозможно. Еще в сороковых годах рабочее движение имело здесь скорее ремесленный, чем пролетарный характер. В 1848 г. немецкий рабочий класс выступил на путь политической революции совершенно по французскому образцу, но, как и во Франции, потерпел неу-

¹ О социальном движении во Франции перед 1870 г. будет сказано подробнее в VI т.

² Прибавим, что в Пруссии в 1853 г. был издан закон, запрещающий фабричный труд для детей моложе 12 лет и устанавливавший шестичасовой день для детей не старше 14 лет и десятичасовой для подростков до 16 лет. При этом были введены фабричные инспектора. К сожалению, они плохо наблюдали за исполнением закона, а если и привлекали фабрикантов к ответственности, то последние за нарушение закона платились лишь небольшим штрафом. Только один ахенский фабричный инспектор Пипер прославился своей энергичной борьбой с фабрикантами, не исполнявшими закона. Впрочем, о фабричном законодательстве речь будет идти в VI т.

дачу. Во всяком случае, пролетариат был захвачен политическим движением, и по аналогии с другими странами можно было бы ожидать, что при возобновлении политической жизни он, скорее всего, примкнет к либеральному направлению буржуазии. Но этого не могло случиться. Одной из особенностей немецкого либерализма сделалась боязнь «красного призрака». С самого начала немецкой революции середины XIX в. между буржуазной оппозицией и пролетарным движением произошел полный разрыв. Можно сказать, что страх перед социальной революцией помешал развиваться на почве буржуазной оппозиции и более решительному радикальному направлению, которое, пожалуй, удовлетворило бы пролетариат на более или менее продолжительное время. В 1848 г. политический радикализм в Германии выразился в образовании республиканской партии и в возбуждении ряда политических движений республиканского характера, но эти движения были так решительно и сурово подавлены, что названная партия в Германии совершенно исчезла. Если, далее, мы перейдем от политических воззрений немецкой буржуазии, резко отмеченных антидемократическим характером, к ее воззрениям экономическим, то увидим, что в этой области царило самое шаблонное манчестерство, соединенное с полнейшим непониманием рабочего вопроса. Таким образом, в Германии в шестидесятых годах между буржуазией и пролетариатом не оказалось того связующего звена, какой в Англии представлял собой чартизм, во Франции — радикализм и даже в самой Германии в 1848 г. — республиканизм. Как относилась немецкая либеральная буржуазия к рабочему движению, лучше всего видно из ответа, данного в 1862 г. вождями «Немецкого национального союза» лейпцигской рабочей депутации, просящей принимать рабочих в члены этого союза. Ответ, как известно, был тот, что рабочие-де и без того являются прирожденными почетными членами «Немецкого национального союза». Нет ничего мудреного поэтому, что в Германии при таких обстоятельствах образовалась особая рабочая партия с парламентарно-политическим характером. Начало этому новому направлению было положено в 1863 г., а введение в 1867 г. в немецкую политическую жизнь всеобщего, для всех равного, прямого и тайного голосования дало возможность этой партии получить вполне самостоятельное значение в политической жизни страны.

К этим общественным причинам особого характера, какой получило в Германии социальное движение, нужно присоединить и причины чисто культурного значения. Рассматривая развитие социальных учений в сороковых годах, мы не раз отмечали то, что в Германии они впервые получили научный характер, отрешившись, с одной стороны, от всякого мистицизма и романтизма, характеризующих более ранние социальные учения, и в то же время обосновав себя на теоретических положениях и исторических наблюдениях политической экономии, к которой относились враж-

дебно или которую плохо знали представители прежних систем общественного переустройства¹. В лице Маркса социальное движение в Германии приобрело такого теоретика, какого не выставили ни Англия, ни Франция. Каковы бы ни были недостатки его отвлеченной философии с ее «экономическим материализмом» и «диалектическим методом», вооруженный хорошим знанием политической экономии и социальной истории Нового, и в особенности Новейшего времени, он глубоко понял как характер «классовой борьбы» XIX в., так и бессилие деланных революций на французский образец в изменении существующих экономических порядков, пока само развитие данных экономических отношений не приведет к необходимости их преобразования. Человек несомненно самого революционного темперамента, он уже в 1848 г. отговаривал своих последователей от заговоров и восстаний. С принципиальной точки зрения марксизм сделался даже полным отрицанием всякого революционизма, за которым необходимо скрывается какой-либо утопизм. Другой вопрос — насколько сам Маркс в этом отношении был последовательным «марксистом» в своем действительном образе действий. Здесь можно говорить о противном, и даже скорее можно было бы удивляться, если бы Маркс не был таким, каким он был на самом деле. Ему пришлось формулировать свои теории в самый разгар революционных страстей, в эпоху преувеличенных надежд и самых отчаянных поражений, причем и лично он подвергался преследованиям и должен был жить в изгнании, где окружали его другие такие же изгнанники, равным образом проникнутые озлоблением против победителей и совершающейся реакции. С 1849 г. Маркс жил все время в Лондоне. В своей «Новой Рейнской газете» он и Энгельс занялись изучением только что пережитых событий с точки зрения классовой борьбы. Кроме того, в пятидесятых годах Маркс сотрудничал в нью-йоркской «Tribune», где поместил тоже несколько экономических и исторических статей². Имея под руками богатые лондонские библиотеки и смотря на Англию как на классическую страну капиталистического производства, он занялся изучением английских экономических отношений и теорий. Плодами этих занятий были вышедшие в 1859 и 1867 гг. «Zur Kritik der politischen Oekonomie»³ и первый том «Капитала», создавшие ему славу первоклассного ученого. Развита им здесь трудовая теория ценности явилась принципиальным оправданием требований рабочего движения⁴. В практическом отношении, как мы увидим, главным

¹ См. выше гл. XVI.

² Статьи из «Neue Rheinische Zeitung» были переизданы не так давно, а в 1897 г. вышли отдельным изданием (в немецком переводе Каутского) и статьи из «Трибуны», составившие книжку под заглавием «Revolution und Contre-Revolution in Deutschland».

³ «К критике политической экономии» (нем.). — Прим. ред.

⁴ Об этом будет речь еще в VI т.

его делом было в эту эпоху (1864 г.) создание «Международного общества рабочих», которое, по его мысли, должно было заниматься пропагандой и агитацией и отнюдь не быть революционным заговором¹.

Другого научного теоретика и практического деятеля немецкое социальное движение приобрело в лице Лассалья. И Маркс, и Лассаль одинаково вышли из школы Гегеля и ранее всего систематически занимались философией, с тем лишь различием, что Маркс в гораздо большей степени, чем Лассаль, освободился от идеалистической основы гегельянства. Экономический материализм был далек от Лассалья, но не потому, чтобы он понял его односторонность, а потому, что он не сумел понять его верной стороны. Оба они, далее, перешли от вопросов отвлеченной философии к вопросам философии практической, испытав свои силы на критике гегелевой философии права, чтобы перейти затем от вопросов юридических к экономическим. Но для обоих теоретическая разработка политической экономии, и притом на чисто научной почве должна была служить лишь практике общественной жизни, как оба они ее понимали. Впрочем, Лассаль был гораздо более юристом, чем экономистом, и его экономическая теория далеко оставалась позади теории Маркса. У прежних экономистов Лассаль заимствовал учение о «железном законе» рабочей платы, в силу которого труд оплачивается вследствие конкуренции в предложении рабочих рук лишь минимумом, необходимым для пропитания рабочего, а у Луи Блана он взял учение о рабочих ассоциациях, получающих помощь от государства: в соединении этих двух идей он и видел выполнение своей мысли о необходимости «вооружиться современной наукой» ради решения социального вопроса. В политической экономии Лассаль вообще не был самостоятельным исследователем, ищущим чистой теоретической истины: из существующих учений он брал то, что считал наиболее пригодным для борьбы, не доискиваясь, насколько теоретические основания нужных ему воззрений сами были верны. В последнем отношении Маркс тоже далеко оставлял за собой Лассалья. Если, однако, он и законы исторического развития экономических отношений и социальных форм понимал с меньшим реализмом, чем Маркс, то, с другой стороны, он гораздо более его верил в силу идей, в творческую силу личности, и эта-то его вера при гораздо большем личном честолюбии, чем то, которым обладал Маркс, и вдохновляла его в его поразительно энергичной деятельности. Вместе с тем он возлагал и неизмеримо большие надежды на современное государство, со-

¹ Для определения марксистских взглядов на революционный способ действий любопытные данные представляет написанное Энгельсом в 1897 г. введение к «*Klassenkämpfe in Frankreich*» Маркса. Здесь автор говорит о том, как революция 1848 г. обманула надежды его и Маркса (ср. выше замечание о том, что оба они признавались в своих ошибках): «*Die Geschichte hat uns Unrecht gegeben*» («История показала, что мы были неправы» (нем.). — *Прим. ред.*), признается Энгельс и на нескольких страницах распространяется о невозможности и нежелательности таких революций, какая была в 1848 г.

хранив из учения Гегеля большое уважение к этому учреждению, лишь бы только оно сделалось орудием социалистической программы. Мы увидим, что в своем стремлении добиться осуществления этой программы он готов был обратиться к ней самого Бисмарка, на что Маркс, конечно, никаким образом не мог бы рассчитывать. Между Марксом и Лассалем лично существовали дружеские отношения, благодаря свиданиям и переписке, но Маркс находил, что его младший друг слишком испытывал на себе влияние обстоятельств данной минуты и вообще впадал в ошибки прежних социалистов¹.

Фердинанд Лассаль родился в 1825 г. в зажиточной еврейской семье, жившей в Бреславле. Он получил и университетское образование сначала в родном своем городе, а затем в Берлине. Это было в начале сороковых годов, в эпоху полного господства гегельянской философии, когда, однако, в ней же обнаружились совершенно новые стремления. Молодой Лассаль сделался убежденным гегельянцем и посвятил себя всецело философии. Плодом этих занятий были два капитальных труда, вполне опубликованных им лишь в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов. Один из них — «Философия Гераклита Темного из Эфеса» (1857 г.) — представляет из себя исследование в области истории древнегреческой философии, другой — «Система приобретенных прав» (1861 г.) — попытку, как выражается сам автор, «научно-юридической разработки той политико-социальной мысли, которая лежит в основе всего современного исторического периода». Получив еще в 1844 г. степень доктора философии в Берлинском университете, Лассаль отправился продолжать свои научные занятия в Париж, где в это время Маркс уже начал свою публицистическую деятельность социалистического характера. Здесь Лассаль сблизился с кружком Маркса и дружески сошелся с Гейне, к которому уже давно относился с большой любовью и уважением. В 1846 г. он возвратился в Берлин с намерением выступить приват-доцентом философии в тамошнем университете и сразу попал в ученые и литературные круги, в которых с самого же начала оценили блестящие качества его ума и его большие научные знания. В это время Лассаль впутался в одну семейную драму из аристократического мира, явившись защитником одной графини (Гацфельд), которая страдала от деспотизма своего мужа. По характеру человек способный увлекаться до самозабвения и страстно жаждавший жизненных битв, Лассаль начал нескончаемый процесс с этим прусским аристократом, который отомстил ему тем, что возбудил преследование против самого Лассаля. Это дело стоило ему шесть месяцев предварительного заключения (1847 г.), но окончилось его торжеством перед судом присяжных (1848 г.). Вся Германия была

¹ Различие взглядов Маркса и Лассаля будет рассмотрено в VI т. по поводу распри между двумя партиями немецкой социальной демократии в конце шестидесятых и начале семидесятых годов.

как раз в это время в революционном движении, и Лассаль принял в нем самое деятельное участие: вступал в демократические общества, говорил на народных сходках, составлял воззвания и сотрудничал в «Новой Рейнской газете» Маркса. В качестве республиканца и социалиста он все более и более приходил к мысли о необходимости дать преобладающее место в совершавшейся тогда борьбе рабочему сословию. Поэтому уже тогда он особенно охотно вращался в рабочих кругах, читал рабочим лекции, произносил речи на их сходках, стараясь объяснить им ту роль, которую пролетариат призван играть в истории. Понятно, что такая деятельность скоро обратила на себя внимание властей. Когда Лассаль принял участие в агитации, происходившей в прирейнской Пруссии против берлинского государственного переворота, он был вместе с другими своими единомышленниками арестован как подстрекатель к вооруженному восстанию против королевской власти (ноябрь 1848 г.). В начале мая 1849 г. после пятидесятидневного предварительного заключения Лассаль предстал перед дюссельдорфскими присяжными, но они вынесли ему оправдательный приговор. Он заранее написал свою защитительную речь, которую отдал в печать, и она стала распространяться в публике еще задолго до начала процесса, что сделалось для суда предлогом рассматривать его дело при закрытых дверях. Лассаль протестовал против этого и отказался от какой бы то ни было защиты, но это не помешало присяжным его оправдать. Сама речь Лассалья была целым обвинительным актом против реакционного характера прусской политики, и крайне раздраженное всем этим правительство возбудило против него новое преследование — уже перед судом исправительной полиции, который и приговорил его к шестимесячному тюремному заключению. Когда он отбыл свое наказание, въезд в Берлин был ему воспрещен¹, и он поселился в Дюссельдорфе и здесь предавался снова своим философским занятиям. Но после такой массы крови, которая была пролита в 1848 и 1849 гг., и после стольких дел, «вопиющих о мщении», как он писал Марксу, он уже не мог заниматься одними отвлеченными теориями, тем более, прибавлял он, что простое теоретизирование не приносит непосредственной пользы, и люди продолжают жить так, как будто никогда не было высказано великих мыслей, никогда не было написано великих произведений человеческого ума. Лассаль задумал тогда написать трагедию «Франц фон Зиккинген», сюжет которой был им взят из истории немецкой революции двадцатых годов XVI в., представлявшей столько аналогий с революцией сороковых годов XIX столетия. В этом драматическом произведении, появившемся в печати в 1859 г., Лассаль вывел на сцену и Ульриха фон Гуттена, этого немецкого радикала реформационной эпохи, характер и судьба которого, по собственному при-

¹ Лишь в 1857 г. ему разрешено было переехать в прусскую столицу.

знанию Лассалья, имели столь много общего с его собственными судьбой и характером. Живой интерес к современности, когда с конца пятидесятых годов снова стала везде пробуждаться политическая жизнь, заставил Лассалья напечатать в 1859 г. (сначала анонимно) брошюру под заглавием «Итальянская война и задача Пруссии, голос демократа», и в ней он весьма красноречиво защищал с демократической точки зрения принцип свободного самоопределения национальностей. Весьма естественно, что он взял под свою защиту дело итальянского освобождения и объединения против Австрии, этого врага свободы народов и оплота всякой реакции. Ненавидя и Наполеона III, он тем не менее становился на его сторону, так как этот враг свободы делал доброе дело, помогая Италии против поработителей. Лассаль считал полезным поражение Австрии в этой войне и с патриотической точки зрения, потому что Австрия была главной помехой и в деле объединения Германии. Последний вопрос, которого Лассаль уже раньше коснулся в своей трагедии, очень его занимал, и он решительно высказывался в том смысле, что великое национальное дело должно быть совершено Пруссией. Впрочем, это обращение к Пруссии, на которую он и прежде и после нападал как на государство с самым отсталым, по его мнению, правительством, было только практическим маневром, настоящей же его мыслью, как республиканца 1848 г., было «объединение Германии без династий». Интересуясь итальянским возрождением, он в 1861 г. посетил Италию и гостил некоторое время у Гарибальди на его острове Капрере.

В 1861 г. Лассаль окончил и выпустил в свет свою «Систему приобретенных прав», представлявшую собой, как значилось в самом подзаголовке, «опыт примирения положительного законодательства с философией права». Эта с первого взгляда строго теоретическая работа была предпринята Лассалем из-за чисто практического политического интереса. В нем он «ковал оружие для новых целей» из всего того, что в области права оставил Древний Рим и последующее историческое развитие, и издавал, как выразился он сам, «прочную твердыню научной системы права для революции и социализма». Являясь в этом труде последователем философии Гегеля в ее основных принципах и в ее методе, Лассаль находил вместе с тем, что философия права Гегеля подлежит устранению и должна быть заменена новой. Критика этой философии права была предпринята левыми гегельянцами еще в сороковых годах, но Лассаль был недоволен и тем направлением, которое приняла разработка философии права в ближайшее к нему время. По его мнению, главная ошибка Гегеля заключалась в том, что он рассматривал такие общественные явления, как собственность, семейное, наследственное и договорное право и т. п., не в качестве форм, зависящих от исторических условий, а в качестве каких-то вечных и неизменных сущностей. Центральной идеей юридического построения самого Лассалья было понятие «приобретенных прав» (*erworbene Rechte*),

т. е. прав, добытых личностью путем ее собственного действия и воли. И эти права не могут считаться незыблемыми и непреложными, потому что подлежат отмене, раз общее сознание народа, которое в каждом историческом периоде представляет единственную основу и источник права, требует уничтожения каких-либо отживших свое время форм. Всякое время имеет вполне самостоятельное значение и вовсе не обязано находиться в зависимости от другого времени. Когда в силу изменения, совершившегося в общем сознании, происходит отмена, например, таких учреждений, как крепостничество или цехи, то не происходит в этих случаях никакого нарушения приобретенных прав, и существующие права могут быть уничтожены без какого бы то ни было вознаграждения тех, которые при этом теряют свои прежние права¹. Это сведение Лассалем права к общему сознанию, как единственной его основе и источнику, показывает, что он продолжал стоять в своей философии на идеалистической точке зрения самого Гегеля. Но он воспользовался этой точкой зрения, равно как диалектическим методом своего учителя, чтобы опровергнуть консервативные выводы исторической школы Савиньи, и особенно выводы теоретика прусской феодальной партии Шталя. Издавая в свет свою книгу, стоившую ему громадного труда, он ожидал от нее важных последствий для законодательства, но действительность не оправдала его ожиданий.

Когда между прусским правительством и народным представительством началась известная конституционная борьба, Лассаль на самых первых порах шел до некоторой степени рука об руку с прогрессистами, но мало-помалу начал высказываться против принципов этой партии. В 1862 г. он написал речь «О сущности конституции», которую произнес в нескольких собраниях либеральной партии, а потом напечатал отдельной брошюрой. «В каждой стране, — говорил здесь Лассаль, — должны существовать какие-либо фактические отношения силы, и они-то, эти отношения, и составляют истинную конституцию (*Verfassung*) данной страны». Частями этой конституции являются король, в распоряжении которого находятся войско и пушки, дворянство, оказывающее влияние на двор и на короля, крупная промышленность и торговля, биржа и банки, в известных пределах общее сознание, а в крайних случаях и сама народная масса. Без подобной конституции не было, да и быть не могло бы, ни одного государства, но в наше время желают иметь еще и писанные конституции. Причина этого та, что в странах, где стремятся иметь такую конституцию, произошли изменения в фактических отношениях силы, и состоят

¹ Сам Лассаль коротко резюмировал свой взгляд на прусское аграрное законодательство с 1850 г. и в своей речи «Наука и рабочие», где читаем: «В системе приобретенных прав я доказываю, что прусское аграрное законодательство есть не что иное, как — я прямо так и говорю — противозаконный и противоречащий собственному правовому сознанию грабеж бедняка в пользу богатой землевладельческой аристократии».

эти изменения в том, что в этих странах совершилось развитие буржуазии, сила которой стала перевешивать силу короны и дворянства. Буржуазия не хочет более играть роль подвластной массы, а желает сама владычествовать и превратить государя в орудие своей воли, и вот в интересе этого своего господства она стремится закрепить все учреждения и все правительственные принципы страны в хартии. Пока, однако, сила буржуазии не имеет надлежащей организации, она совершенно уступает меньшей, но организованной силе короля, в распоряжении которого находятся войско и пушки. Бывают моменты, когда нация, видя, что ею управляют не так, как это ей желательно и для нее выгодно, противопоставляет свою неорганизованную силу организованной власти, и тогда происходит 18 марта 1848 г. В своей речи Лассаль рассматривает Прусскую революцию 1848 г. и находит, что тогдашнее национальное собрание не сумело выполнить своей задачи: оно должно было создать действительную конституцию, т. е. изменить в пользу граждан существующие в стране реальные отношения силы, а именно овладеть организованной силой войска и пушек; тогда ему было бы легко в три дня сочинить писаную конституцию, а оно теряло драгоценное время в прениях о разных статьях писаной конституции. Правда, король дал такую конституцию, но он хорошо понимал, что после его победы над буржуазией эта писаная конституция всегда будет идти позади конституции действительной. Где действительная конституция находится в противоречии с писаной, там последней не помогут никакие крики. «Конституционные вопросы, — говорил Лассаль, резюмируя свою мысль, — суть в своей основе (ursprünglich) не вопросы права, а вопросы силы». Лишь там писаная конституция, не соответствующая действительной, может измениться влево, где неорганизованная сила общества снова начинает доказывать, что оно превосходит организованную силу войска и пушек. Рядом с войском Лассаль ставил еще чиновничество и указывал на то, что у королевской власти есть «практические слуги, не краснобаи (Schönredner), а именно практические слуги, каких желать для себя должны были бы и либералы. Вожди прогрессистов, которых Лассаль имел в виду, говоря о краснобаях, были очень недовольны этой речью, косвенно порицавшей их политику; наоборот, публицисты феодальной партии, более всего хлопотавшие о том, чтобы рассорить правительство с буржуазией, находили, что Лассаль совершенно верно понял существо дела. В общем, речь была предостережением по адресу буржуазии, чтобы она не повторяла ошибок 1848 г. Вскоре после этого Лассаль написал другую речь — «Об особой связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия», более известную под названием «Программа рабочих». Она была им произнесена в одном берлинском ремесленном союзе в апреле 1862 г., ею и начал Лассаль свою агитаторскую деятельность среди рабочих.

В этой знаменитой речи Лассаль прежде всего вкратце изложил историю отношений, существовавших между отдельными классами западноевро-

пейского общества. Но главное значение этой речи заключалось в изложении собственных политических воззрений Лассалья. Как последователь Гегеля, он стоял на точке зрения закономерности исторического процесса и применял эту идею к пониманию общественных переворотов как результатов предыдущего развития. «Нельзя, — говорил он, — сделать революцию; можно дать только внешнее признание и последовательное развитие революции, уже совершившейся в действительных отношениях общества. Хотеть сделать революцию может только глупость неразвитых людей, не имеющих понятия о законах истории. Но, — продолжал он далее, — такая же глупость, такое же ребячество заключаются и в желании остановить революцию, уже совершившуюся внутри общества, в сопротивлении ее правовому признанию, в упреках обществу, в котором произошла такая революция, или людям, которые помогали ее рождению на свет: как скоро революция находится внутри общества, в его действительных отношениях, ей надо выйти на свет, выйти в законодательство и никакими усилиями не удержишь ее». Тем не менее Лассаль высказывал мысль, что постепенные реформы не так быстро приводят к цели, как внезапные перевороты. «При всех своих великих преимуществах, — говорил он, — легальные преобразования имеют очень важное неудобство — неудобство бессилия, простирающегося на целые столетия», а потому он находил в революционном пути, «несмотря на его неоспоримые невыгоды, то преимущество, что он быстро и энергически ведет к практической цели». На такое размышление его навела неудача реформ, предшествовавших Французской революции, реформ, которые тоже должны были доставить преобладание буржуазии. Характеризуя положение, занятое средним сословием после 1789 г., Лассаль видит в буржуазии не столько известный общественный класс¹, сколько «известное политическое направление». По его определению, «крупный промышленник сам по себе, как таковой, еще не буржуа. Но, — продолжает Лассаль, — если крупный промышленник, не довольствуясь фактическими приятностями богатства, хочет еще поставить свое богатство, капитал условием участия в государственной власти, в определении воли и цели государства, то он обращается в буржуа, он превращает факт владения в правовое условие политической власти, он выказывает себя новым привилегированным сословием в народе, сословием, которое хочет навязать всем общественным учреждениям существенный характер своей привилегии, как делало в Средние века дворянство с привилегией землевладения». Буржуазия, в таком понимании слова, и сделала революцию 1789 г. Но революция 1848 г. была уже революцией четвертого сословия. Подобно тому как прежде дворянство, а потом буржуазия основывали все общественные учреждения на принципах сво-

¹ Ср. определение буржуазии, сделанное около 1840 г. Луи Бланом (см. выше).

их сословий, так и четвертое сословие «пожелало сделать свой принцип господствующим принципом всего общества и проникнуть им все его учреждения. Но здесь, — замечает Лассаль, — в господстве четвертого сословия тотчас высказывается громадная разница с господствами других классов. Дело в том, что четвертое сословие есть последнее и крайнее сословие общества, сословие обездоленное, не имеющее и не могущее выставить никакого исключительного ни правового, ни фактического условия, — ни благородства, ни землевладения, ни обладания капиталом, — которое оно могло бы обратить в новую привилегию и провести через все учреждения общества. Следовательно, — заключает Лассаль, — в недрах четвертого сословия не может быть зародыша новой привилегированности, и потому оно тождественно со всем человеческим родом. Его дело есть действительно дело всего человечества, его свобода есть свобода самого человечества, его владычество есть владычество всех». Рассматривая буржуазию не столько как социальный класс со своими особыми интересами, сколько как политическое направление с определенными принципами, Лассаль и еще в одном отношении отклонялся от идеи классовой борьбы, провозглашенной в «Коммунистическом манифесте». Именно он с особой силой подчеркнул в своей речи, что «провозглашение идеи рабочего сословия господствующим принципом общества не есть возглас разделения и вражды классов общества: напротив, это возглас примирения, возглас, обращенный ко всему обществу, возглас, сглаживающий все противоречия между общественными кругами, возглас единения» и т. д. Провозгласив принцип рабочего сословия как господствующий принцип общества, Лассаль рассматривает, каким формальным средством он мог бы быть осуществлен, каково, далее, нравственное достоинство этого принципа и как, наконец, с его точки зрения, следует понимать цель государства. Средство осуществления этого принципа Лассаль видит в общем и прямом избирательном праве. Правда, опыт Франции в 1848—1849 гг. был неудачен, но тем не менее, думает Лассаль, «общее и прямое избирательное право есть единственное средство, само заглаживающее с течением времени ошибки, к которым может повести неудачное пользование им в данную минуту. Это — копьё, само исцеляющее раны, которые наносит». Со стороны внутреннего достоинства, по словам Лассаля, принцип четвертого сословия есть «величайший прогресс и триумф нравственности, какой до сих пор известен в истории». Причина неизбежной безнравственности привилегированных классов заключается в противоречии между их интересами и культурным развитием нации. «Стоит только представить себе, в какие условия ежедневно ставит их такое существование, чтобы понять необходимость глубокого падения их. Быть в необходимости ежедневно противиться всему высокому и доброму, быть в необходимости огорчаться его успехами, радоваться его неудачам, задерживать его дальнейший ход, ста-

ратся обратить его вспять, проклинать его победы, вечно жить как во вражеской стране — и кто же этот враг? — нравственная солидарность своего народа, в стремлении к которой и состоит вся истинная нравственность, — вот роковая судьба высших классов!» Притом им приходится «или делать все это против голоса собственной совести и собственного разума, или задушить в себе этот голос постыдной практикой, чтобы он больше не смущал, или, наконец, никогда не знать его, никогда ничего лучшего не видеть и не слышать, как религия корысти». Наоборот, у низших классов нет этого противоречия между личным интересом и культурным развитием нации. «Когда низшие классы общества стремятся к улучшению своего положения как класса, к улучшению участи своего сословия, их личный интерес совпадает с развитием всего народа, с победой идеи, с прогрессом культуры, с самым жизненным началом истории, которое есть не что иное, как развитие свободы»¹. Лассаль и обращался к рабочим с указанием на то, что они счастливы, будучи представителями этого совпадения личных интересов с жизненным началом нравственного развития. Поэтому у четвертого сословия должен быть и совершенно иной, нежели у буржуазии, взгляд на цель государства. Воззрение буржуазии, по которому «государство имеет целью исключительно лишь обеспечение каждому беспрепятственного пользования своими силами», было бы верно, «если бы все мы были равно сильны, равно ловки, равно образованы и равно богаты. Но такого равенства нет и быть не может», а потому более сильный и подчиняет себе более слабого. Отсюда Лассаль делает тот вывод, что функция государства заключается в «развитии рода человеческого для свободы. Нравственная идея рабочего сословия состоит в том, что беспрепятственное и свободное пользование личными силами само по себе еще недостаточно и что для нравственной социальной жизни необходима, сверх того, солидарность интересов, общность и взаимность в развитии. Цель государства в том, чтобы соединением индивидуумов доставить им возможность достигать ступеней существования, недостижимых для одинокой личности, делать их способными приобретать такую сумму просвещения и свободы, которая немыслима для отдельного индивидуума». Лассаль утверждает при этом, что «государство более или менее служило этой цели во все времена силой самих вещей, даже невольно, даже бессознательно, даже против желания своих вождей», при господстве же идеи рабочего сословия государство, по его словам, стало бы служить указанной цели с полным сознанием и совершенной ясностью. Только усвоив такую идею, рабочее сословие приобретет достойный и глубоко нравственный отпечаток, так как его идея должна сделаться принципом всего века и руководящей идеей всего общества. «Высокая всемирно-историческая честь такого

¹ Последнее определение жизненного начала истории имеет чисто гегельянский характер.

назначения, — говорил Лассаль в заключение, — должна преисполнить собой все ваши помыслы. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей не мыслящих, даже невинное легкомыслие ничтожных — все это теперь недостойно вас. Вы — камень, на котором созиждется церковь настоящая». Всю речь Лассаль закончил такими словами: «С высоких вершин науки можно раньше увидеть зарю рассвета, чем среди обыденной сумятицы. Смотрели ли вы когда-нибудь, господа, с высокой горы на восход солнца? Багряная полоса кровавым цветом окрашивает край небосклона, возвещая новый день; туманы и облака поднимаются, сгущаются и бросаются навстречу заре, на мгновение скрывая ее лучи; но нет той силы на земле, которая могла бы остановить медленное и величественное восхождение солнца, и час спустя оно стоит на небе, на виду у всех, ярко сияя и согревая. Что — час в естественном зрелище суточных небесных перемен, то — одно или два десятилетия в неизмеримо величественнейшем зрелище всемирно-исторического восхода солнца!»

Буржуазия была крайне недовольна речью Лассалья; очень она не понравилась также и прогрессистам. Между тем конфликт правительства с палатой обострился еще более, и осенью 1862 г. король поставил во главе министерства Бисмарка, который фактически совершенно устранил конституцию. Это дало повод Лассалю составить свою вторую речь о сущности конституции под заглавием «Что же теперь?». Она также была написана для произнесения в либеральных собраниях. В новой речи Лассаль ссылался на то, что последние события вполне подтвердили заключения первой его речи, верность которых, кроме того, подтвердили еще «Крестовая газета» и даже некоторые министры. Отказ палаты в утверждении бюджета не имел никакого значения, и для спасения парламентского строя остается, пожалуй, лишь отказ в уплате налогов, средство, которое с успехом может применяться в Англии, но совершенно непригодное в Пруссии, где организованная сила находится всецело в распоряжении правительства. Поэтому Лассаль не советовал прибегать к этой мере. Он думал, что депутаты должны были только констатировать факт взимания правительством налогов, не утвержденных палатой, и прекратить всякую конституционную деятельность, дабы правительству оставалось одно из двух — или уступить, или и впредь управлять без палаты. Лассаль был уверен, что правительство предпочтет уступить. Прогрессисты были недовольны таким советом и упрекали его в том, что он выдвигает вперед силу в ущерб праву. Лассаль пожелал отвечать на это обвинение, но все органы либеральной прессы были против него, и свою отповедь он напечатал в виде брошюры под заглавием «Сила и право». В этом «открытом письме», сделавшемся своего рода объявлением войны прогрессистам, Лассаль говорил, что если бы ему пришлось творить мир, то он, по всей вероятности, дал бы в нем перевес праву над силой, так как это соответствует его этике, но что он не

виноват, если в действительности, которую только он и старался разъяснить в своих брошюрах, дела идут иным образом. На обвинение в том, что Бисмарк действует, как его ученик, Лассаль ответил прогрессистам обвинением, что они как раз сами бросили право, чтобы в общей суматохе поживиться на счет силы.

В то самое время, как совершился окончательный разрыв Лассалья с прогрессистами, прокуратура подвергла его судебному преследованию за «Программу рабочих», в которой она усмотрела опасность для общественного спокойствия. Процесс происходил в январе 1863 г., и Лассаль сумел сделать из него научный и политический диспут, на котором он, между прочим, произнес речь под заглавием «Наука и рабочие», принадлежащую к числу лучших его речей. Против обвинения в том, что его речь о рабочем вопросе имеет характер демагогической махинации, он возражал, доказывая, что это — чисто научное сочинение, — а по § 20 прусской конституции «наука и ее преподавание свободны», — и что в научности единственное лекарство против необузданной демагогии. Суд приговорил Лассалья к четырехмесячному тюремному заключению, но дело пошло на апелляцию, и Лассаль был только оштрафован небольшой денежной суммой.

Опубликование «Программы рабочих» и разрыв с прогрессистами привели Лассалья к образованию самостоятельной рабочей партии. Прогрессисты сильно хлопотали о том, чтобы иметь на своей стороне рабочих, союзом с которыми можно было действовать устрашающим образом на правительство и на феодальную партию. Но они были очень далеки от того, чтобы разделять экономические и политические стремления вождей пролетариата. В области экономической они держались принципа *laissez passer, laissez faire* и теории гармонии интересов капитала и труда. Эта теория усиленно пропагандировалась в рабочей среде. Особенно прославившийся в те годы прогрессист Шульце-Делич доказывал рабочим, что они должны остерегаться какой бы то ни было помощи со стороны государства, а должны помогать сами себе устройством разных товариществ — потребительных, ссудо-сберегательных, производительных, а также и самообразовательных. Эта проповедь самопомощи имела большой успех, но главным образом только у тех представителей рабочего класса, у которых кое-что оставалось для сбережения. В таком положении находились ремесленники и мелкие сельские хозяева, отнюдь не фабричные рабочие и батраки. Проповедь Шульце-Делича и партийная агитация прогрессистов шли рука об руку. Когда, однако, некоторые рабочие выразили желание вступить действительными членами в руководимый прогрессистами «Немецкий национальный союз», то прогрессисты объявили им, что рабочие — «прирожденные почетные члены союза», но действительными его членами быть не могут, а Шульце-Делич стал даже доказывать, что рабочим выгоднее сделать сбережения, чем платить членские взносы. Среди

рабочих это вызвало неудовольствие. Многие из них стали поэтому поговаривать о необходимости собрать рабочий конгресс, на котором можно было бы сообща обсудить свое положение. Между прочим, такая мысль распространялась рабочими, которые ездили в 1862 г. на Лондонскую всемирную выставку. «Программа рабочих» и громкий процесс, ею вызванный, обратили на себя большое внимание в рабочих кругах, особенно в так называемых союзах для самообразования, начавших в это время возникать во многих городах Германии. Комитет, устроенный лейпцигскими рабочими для организации конгресса, обратился в феврале 1863 г. к Лассалью с просьбой, чтобы он высказал свой взгляд на рабочее движение и на средства, которыми рабочие должны пользоваться для улучшения своего быта. На этот запрос Лассаль отвечал немедленно печатным открытым письмом, в котором дал рабочим совет, оставив прогрессистов, образовать самостоятельную политическую партию, и указал на то, что шульце-деличевские сбережение и самопомощь, в лучшем случае, могут поднять благосостояние единиц, никак не всего рабочего класса. Подавляющее большинство последнего находится под действием «железного закона» спроса на труд и его предложения: средняя рабочая плата вследствие этого закона не превышает той суммы, которая в каждой стране по образовавшимся у народа привычкам необходима для его существования и размножения. Рабочий получает лишь то, что нужно для его пропитания, весь же остальной доход от производства достается предпринимателю. Для действительного улучшения своего быта рабочим нужно получать весь доход, а достигнуть этого можно лишь путем образования производительных ассоциаций с государственным кредитом, которые охватили бы собой весь рабочий класс. Ссылаясь на то, что государство оказывает помощь строителям железных дорог и даже берет на себя при этом риск убытков, Лассаль советовал и рабочим добиваться подобной же государственной помощи и для себя. Для этого «четвертое сословие» прежде всего должно обладать всеобщим и прямым избирательным правом. Чтобы эта идея получила практическое осуществление, рабочие должны были бы основать особый «Общенемецкий рабочий союз», члены которого делали бы небольшие еженедельные взносы для пропаганды такой реформы. Раз 96% нации поймет, что всеобщее голосование есть «вопрос желудка», и начнет отстаивать свое право на голосование со всей страстью голода, никакая сила в мире долго против них не выдержит. Совет показался простым и ясным, и среди рабочих Лассаль приобрел массу поклонников и последователей, но прогрессисты были раздражены его агитацией в пользу всеобщего голосования, боясь, между прочим, что при слабом политическом развитии массы всеобщее избирательное право сделается в руках правительства или феодальной партии орудием реакции — опасение, которое и раньше высказывалось либералами разных стран и которое имело слишком недавнее фактиче-

ское подтверждение преимущественно в известных событиях французской истории¹. Возражая Лассалю, прогрессисты старались выставить его перед рабочими сторонником реакции и даже агентом тогдашнего правительства, и многие рабочие готовы были этому поверить. Лассаль отвечал своим противникам, стараясь убедить рабочих в несостоятельности прогрессистских экономических и политических воззрений. Началась борьба на собраниях рабочих, устраивавшихся сторонниками и противниками Лассалья в разных городах Германии (в Лейпциге, во Франкфурте-на-Майне, в Майнце и т. д.); порой это были настоящие диспуты Лассалья с противниками перед сотнями слушателей. На некоторых собраниях происходило голосование, которое ясно указывало на то, что победителем из прений выходил Лассаль. Уже 23 мая уполномоченные от рабочих из десяти наиболее крупных промышленных центров собрались в Лейпциге, чтобы положить, по мысли Лассалья, начало общенемецкому союзу рабочих, который вполне мирным образом и на легальной почве добивался бы осуществления обоих пунктов практической, только что провозглашенной программы, т. е. всеобщего избирательного права и производительных ассоциаций с государственной помощью. Устав нового общества был выработан Лассалем, и сам он был выбран на пять лет в председатели союза с весьма обширными полномочиями, позволявшими даже говорить о диктатуре. Натура у Лассалья была повелительная, властная, и он был убежден, что для успеха дела союз должен был быть «молотом в руках одного», что «должна господствовать одна воля». Так как союз распространялся и расширял свою деятельность не так быстро, как то было бы желательно его основателям, Лассаль еще более усилил свою агитационную работу: вел обширную переписку, печатал полемические статьи², произносил речи на народных собраниях, издавал новые воззвания к рабочим, сгорая нетерпением поскорее видеть основанный им союз действительной политической силой. К сожалению, его полемика с прогрессистами мало-помалу приняла не особенно пристойный характер. В это время прогрессистская пресса подвергалась постоянным нападкам со стороны реакционных органов и разного рода преследованиям со стороны правительства, во главе которого стоял Бисмарк, но Лассаль в своей борьбе с прогрессистами нередко цитировал даже самые пристрастные и несправедливые нападки, какие делались на них в реакционной печати, а о Бисмарке отзывался с большими комплиментами. Дело в том, что у Лассалья родилась мысль перетянуть

¹ См. выше, гл. XX и XXIV.

² К числу полемических произведений Лассалья нужно отнести его главный политико-экономический трактат «Бастиа-Шульце из Делича, или Капитал и труд», написанный им в зиму 1863/64 г. Теоретические идеи этого трактата были навеяны Лассалю сочинением Маркса «Zur Kritik der politischen Oekonomie», практически были видоизмененным повторением учения Луи Блана, от которого Лассаль вообще воспринял очень многое.

на свою сторону самого Бисмарка и внушить ему сочувствие к главным своим идеям. Живя зиму 1863/64 г. в Берлине, он даже вступил в довольно деятельные сношения с Бисмарком, начавшиеся, впрочем, по инициативе последнего. Будущий «железный канцлер» сам уже подумывал в это время о введении в Германии всеобщего избирательного права, казавшегося ему прекрасным орудием в борьбе с оппозицией прогрессистов, и даже соглашался, в принципе, с другим планом Лассалья касательно государственного кредита производительным товариществам рабочих. Бисмарк сразу разгадал крайнее честолюбие Лассалья и впоследствии острил над ним, говоря, что Лассаль готов был сомневаться, совершится ли объединение Германии под династий Гогенцоллернов или под династией Лассалей. Впрочем, и Лассаль очень скоро понял, что Бисмарк в душе относился к нему не как к политическому деятелю, который опирается на целую партию, а как к человеку, которым удобно пользоваться в качестве орудия все в той же борьбе с ненавистными прогрессистами. Одним словом, оба они, как выразился потом сам Лассаль, хитрили друг с другом, отлично вместе с тем понимая свою взаимную хитрость. Хотя скоро они и разошлись между собой, Лассаль и впоследствии доставлял Бисмарку свои брошюры.

Агитационная деятельность Лассалья не обходилась ему даром: против него возбуждались судебные преследования, и сам он подвергался арестам. Между прочим, осенью 1863 г. он напечатал «Воззвание к берлинским рабочим», где говорил, главным образом, о необходимости всеобщего избирательного права. За эту брошюру весной 1864 г. Лассаль пришлось отвечать перед судом по обвинению в государственном преступлении, так как его обращение к рабочим было признано воззванием к насильственному изменению конституции с установлением всеобщего избирательного права. Из этого процесса Лассаль опять сделал средство для нападения на существующие порядки. Будучи и на этот раз оправдан, он снова предпринял агитационную поездку по Германии, повсюду с восторгом приветствуемый народом, который даже устраивал ему настоящие торжественные встречи и проводы — до постройки триумфальных арок включительно. Лассаль был наверху своей славы, и в его воображении могла носиться картина его будущего въезда на белых лошадях через Бранденбургские ворота в столицу Пруссии. В речах, которые он произносил представлявшимся ему депутатам или в народных собраниях, — особенно в речи на одном празднике в годовщину основания «Общенемецкого рабочего союза», — Лассаль подогревал самого себя и своих слушателей довольно-таки преувеличенными указаниями на то, чего успел уже достигнуть этот союз. Увлекаясь личным успехом в народной массе, он в то же время думал импонировать правительству, как бы делая смотр своей партии и, конечно, стараясь представить ее силы большими, чем то было на самом деле. Еще раньше приговоренный дюссельдорфским судом за одну из своих речей к годовому тюремному за-

ключению, летом 1864 г. Лассаль защищал свое дело перед второй инстанцией, которая вдвое сократила этот срок. Крайне утомленный и серьезно расхворавшись, он уехал отдохнуть и поправить свое здоровье в Швейцарию. Здесь произошел знаменитый «роман Лассалья», окончившийся трагической развязкой: 31 августа 1864 г. он был убит на дуэли.

После смерти Лассалья во главе основанного им союза стал сначала Беккер, за которым стояли Тёльке и Перль, пока руководство не перешло к Швейцеру, еще в 1865 г. основателю в Берлине орган новой партии «Социал-демократ». С 1867 г., благодаря всеобщей подаче голосов, социал-демократы стали попадать в рейхстаг (сначала Северогерманского союза, потом Германской империи). Но рядом с этой партией, основанной в Пруссии Лассалем, возникла в Саксонии другая социалистическая партия, организатором которой был Либкнехт. Живя в Лондоне после революции 1848 г., в которой он принимал участие в качестве журналиста, Либкнехт сделался одним из самых горячих сторонников Маркса. Он сумел завербовать в ряды последователей Маркса токаря Бебеля, состоявшего председателем лейпцигского союза для самообразования рабочих (Arbeiterbildungsverein) и пользовавшегося большим авторитетом среди своего сословия. Первоначально Бебель в экономических вопросах разделял воззрения Шульце-Делича, а в политическом стоял на стороне «Немецкого национального союза», будучи в то же время представителем демократического католицизма, пока Либкнехт не познакомил его с учением Маркса. За Бебелем перешли в ряды марксистов многие его товарищи и последователи, и когда в 1868 г. в Нюрнберге собрался съезд представителей от рабочих союзов для самообразования, то громадным большинством их было решено примкнуть к основанному незадолго перед тем Марксом «Международному обществу рабочих». В следующем году последователи Маркса собрались в Эйзенахе, где и выработали программу особой партии рабочих социалистов-демократов. Своими политическими принципами она провозгласила всеобщее избирательное право с 21 года и непосредственное участие народа в законодательстве, экономическая же программа партии состояла в установлении нормального рабочего дня, отмене косвенных налогов, введении прогрессивного налога на наследства и на доходы и государственной помощи для производительных товариществ. Между обеими партиями началось соперничество ввиду несогласия основных пунктов. Теоретическое учение Лассалья не совпадало с учением Маркса, а помимо того, партия, основанная Лассалем, имела характер национальный, т. е. ограничивала свою деятельность одной Германией, тогда как Либкнехт и его последователи примкнули к международному направлению Маркса. Более же всего последователи Маркса нападали на то, что партия приверженцев программы Лассалья признавала демократическую монархию и выставляла более умеренные экономические требования. Лассалья немецкие интернационалисты прямо обви-

няли в том, что он продал себя Бисмарку, а организацию партии, основанной на диктатуре и централизации, находили совершенно неподходящей. Лишь в виде приманки для сторонников Лассалья они включили в свою программу (эйзенахскую 1869 г.) требование государственной помощи производительным ассоциациям. Это соперничество продолжалось до 1875 г., когда на конгрессе в Готе обе фракции немецкой социальной демократии не слились в одну общую партию под предводительством Либкнехта и Бебеля¹. Несмотря, однако, на победу марксистов, социально-демократическая партия, основанная в Германии, осталась национальной. Этому, впрочем, немало содействовало то обстоятельство, что опыт международного объединения рабочих окончился неудачей.

Первая идея о соединении пролетариев всех стран, как уже известно, была высказана еще в «Коммунистическом манифесте» 1848 г. В 1849 г., как мы видели выше, в Лондоне была сделана попытка возобновить союз коммунистов по-прежнему с характером международным, но она тогда ни к чему не привела. Лондон тем не менее оставался главным местом убежища социальных агитаторов. Почин основания нового международного общения был сделан английскими рабочими союзами, но тем, что они для этого подготовили, воспользовались потом вожди эмиграции для возобновления в новых формах старого союза. Именно среди руководителей английских рабочих союзов явилась мысль об установлении солидарности с рабочими других стран для отстаивания общих интересов в борьбе с предпринимателями, которые, например в Англии, выписывали рабочих из других государств, когда не могли поладить со своими. Как сами тред-юнионы, так и задуманное общение с иностранными рабочими не должно было, однако, иметь никакой политической окраски. Приезд континентальных рабочих — французских и бельгийских, а также и немецких — на Всемирную выставку 1862 г. был первым поводом к переговорам о заключении международного союза. Кроме вождей английских рабочих союзов наиболее видную роль играли в этих предварительных совещаниях французские мутуалисты, т. е. последователи Прудона, как раз в это время пользовавшегося наибольшей популярностью среди французского пролетариата. Подобно Прудону, они были далеки от идеи о государственном вмешательстве, которого раньше требовал Луи Блан, а около этого времени стал требовать в Германии Лассаль. Сами переговоры начались в 1863 г. на демократическом собрании в Лондоне, которое было созвано по поводу польского восстания и на которое нарочно приехали многие французы. Уже это придало всему плану и политический характер, а когда в следующем году организовался комитет для выработки устава нового союза, то в состав его уже вошли и политические изгнанники: Мадзини, Маркс и др.

¹ О соперничестве и слиянии немецких социал-демократических партий будет говорить еще подробнее в VI т. настоящего труда.

Устав, написанный Марксом, и был принят до первого съезда, который собрался в Женеве в 1866 г., когда окончательно и организовалось «Международное общество рабочих». Оно начало с заявления, что будет действовать путем полюбовных соглашений в интересах рабочего класса различных стран, но с каждым новым своим съездом оно все более и более стало принимать характер политической организации, ставящей себе и цели тоже чисто политического свойства; вместе с тем в своих постановлениях оно все более и более проникалось учением Маркса. Поэтому во Франции еще в 1867 г. против новой организации было начато преследование. Эта организация действовала лишь во второй половине шестидесятых годов на ежегодных съездах¹, но в семидесятых годах она сначала ничего не предпринимала, потом стала разлагаться и, наконец (1876 г.), закрылась. Ему, между прочим, повредили и внутренние несогласия, внесенные в него Бакуниным. Старый революционер 1848 г., бежавший из Сибири, Бакунин продолжал свою агитаторскую деятельность и в шестидесятых годах, явившись теперь представителем идей анархизма. В 1867 г. на жевевском съезде «Лиги мира и свободы», бывшей созданием либеральной буржуазии, он произнес речь прямо революционного характера. На следующем съезде той же лиги в Берне в 1868 г. Бакунин с нею окончательно разошелся и основал особый «Международный союз социалистической демократии», сделавшись сам председателем комитета, который управлял новым обществом. Эта организация с самого начала стала соперничать с «Международным обществом рабочих». Последнее ставило на первый план цели экономические, действовало явно и сообразовывалось с конституциями отдельных стран, тогда как Бакунин поставил своему союзу задачу чисто политическую, которая могла быть достигнута только революционным путем и, следовательно, требовала тайного образа действий. Честолюбивый характер Бакунина и его нерасположение к немцам, игравшим первую роль (в лице Маркса) в «Международном обществе рабочих», тоже содействовали этому сепаратизму. Но Бакунин все-таки хотел присоединить свой союз к организации, во главе которой стоял Маркс, но под условием сохранения самостоятельности. Когда ему в этом было отказано, основанный им союз объявил себя прекратившим существование, но на самом деле тайная его организация не прекращалась. Вместе с тем Бакунин добился включения в состав «Международного общества рабочих» отдельных групп своего союза, и в 1870 г. в «Международном обществе рабочих» произошли крупные раздоры между Марксом и Бакуниным. Это было началом выделения анархизма.

¹ Подробности об организации и деятельности этого общества будут изложены в начале VI т., где вообще будет идти речь о состоянии Западной Европы перед 1870 г.

XXXII. Умственный переворот середины XIX века¹

Двойное значение научных успехов XIX в. — Влияние успехов естествознания на материальную жизнь. — Взаимные отношения науки и метафизики до середины XIX в. — Падение гегельянства и материализм. — «Возвращение к Канту». — Новые физические теории. — Перемены в изучении физиологии и психологии. — Эволюционная история мироздания. — Биологическая эволюция и учение Дарвина. — Позитивизм Огюста Конта. — Важность мысли о научном обществоведении. — Милль и Бокль. — Первые труды Спенсера. — Недостатки прежнего исторического направления в юриспруденции и в политической экономии. — «Научный социализм» и экономическое понимание истории. — Историческое отношение к действительности

Никогда раньше научное знание не делало таких громадных и важных по своим последствиям успехов, как в XIX столетии. Не касаясь вообще всей истории науки в XIX в., мы остановимся здесь лишь на том значении, какое развитие науки получило в указанном периоде для общего движения общественной жизни. Эта общая тема, в свою очередь, разделяется на две темы. С одной стороны, материальная жизнь общества зависит всегда от развития в нем техники в широком смысле слова, от той власти над приро-

¹ Кроме сочинений по истории философии, государствоведения, юриспруденции, политической экономии и т. п., указанных выше (Paul Janet, Henry Michel'я, Ferraz'a, Erdmann'a, Roscher'a, Ингрэма, Weryho, Wenckstern'a, Kaytsky, Людвига Штейна, Б. Н. Чичерина и др.), см.: *Ланге*. История материализма и критика его значения в настоящее время, 1881—1883; *Рибо*. Современная английская психология, 1881; *Он же*. Современная германская психология, 1895; *Троцкий М. М.* Немецкая психология в текущем столетии, 1866; *Льюис, Милль*. О. Конт и положительная философия, 1867; *Милль, Спенсер, Уорд*. О. Конт и позитивизм, 1897; *Gruber*. A. Comte der Begründer des Positivismus, 1889; *Он же*. Der Positivismus vom Tode A. Comte's bis auf unsere Zeit, 1891; *Waentig*. A. Comte und seine Bedeutung für die Entwicklung der Staatswissenschaft, 1894; *Лесевич В. В.* Опыт критического исследования основначал позитивной философии, 1875; *Кареев Н.* Введение в изучение социологии, 1897; *Он же*. Старые и новые этюды об экономическом материализме, 1896. Систематическое изложение истории экономического материализма можно найти в некоторых главах книги *Mehring'a*, указанной выше; *Robinson*. Thomas Buckle and his critics, 1896; *Bernheim*. Lehrbuch der historischen Methode (2-е изд.), 1894; *Новгородцев*. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба, 1896; *Иванюков*. Основные положения теории экономической политики от Адама Смита до настоящего времени, 1891; *Зибер*. Д. Рикардо и К. Маркс в их общественно-исторических исследованиях, 1885; *Левитский*. Задачи и методы науки о народном хозяйстве, 1890; *Менгер К.* Исследования о методах социальных наук и политической экономии в особенности, 1894; *Мейер М.* Главные течения в современной политической экономии, 1891; *Тимирязев К.* Дарвин, как тип ученого; *Он же*. Исторический метод в биологии («Русская мысль», 1894—1895); *Антонович М. Ч.* Дарвин и его теория, 1896; *Грант Аллен*. Чарльз Дарвин (перевод А. Н. Энгельгардта); *Вуиле*. The philosophy of H. Spencer, 1874. Более подробные указания на литературу читатель найдет в двух названных выше моих книгах о социологии и об экономическом материализме.

дой, которую дает человеку научное знание естественных законов, управляющих физическими явлениями, беря последнее слово опять в наиболее широком значении. Технические изобретения, основывающиеся на практическом применении старых научных истин к тем или другим потребностям жизни или вытекающие из новых научных открытий, вызывая перемены в способах производства или обмена продуктов, а также в способах ведения войны, оказывают сильное влияние на всю материальную жизнь общества, на его экономический строй, а через него и на разные социальные отношения других категорий. Известно, например, что промышленная революция, создавшая современный капитализм со всеми его общественными следствиями, была в весьма значительной мере результатом изобретения и применения в промышленности машин. Но это лишь одна сторона дела. Кроме такой связи научных открытий и основанных на них изобретений с движением общественной жизни существует еще и другая связь. Не разделяя взгляда, будто общественные отношения и учреждения всецело покоятся на мнениях людей, мы тем не менее не можем отрицать громадного влияния человеческих миросозерцаний на социальную жизнь целых народов и эпох. В своей деятельности мы руководимся разными целями и осуществляем их разными способами. И тогда, когда мы к чему-либо стремимся, и тогда, когда как-нибудь действуем для достижения того, к чему стремимся, мы всегда и целями, какие себе ставим, и средствами, к которым прибегаем, обнаруживаем известное понимание общественной жизни, которое может быть оцениваемо с разных точек зрения (например, хотя бы с моральной точки зрения), но которое не может не быть вместе с тем либо более или менее научным, либо, наоборот, более или менее ненаучным. Всякое общественное движение совершается под знаменем тех или других идей, в которых выражается характер существующего в данный момент миросозерцания и обуславливаемое им понимание общества, целей общественной деятельности, способов разрешения общественных задач. Общественные партии отражают на себе не только различие материальных интересов, но и различие миросозерцаний. В эпоху Реформации политические и социальные движения совершались под знаменем идей религиозных, и разные общественные партии в то же время были и разными религиозными сектами. В XVII столетии господство теологического миросозерцания в западноевропейском обществе стало сменяться преобладанием метафизической мысли, и вот политические и социальные движения XVIII в. стали происходить под знаменем уже не религиозных, а философских принципов. В начале XIX в. на западе Европы совершалась религиозная реакция против рационализма философии XVIII в., но оказалась не в состоянии победить метафизику. Господство философии Гегеля, на которую опирались в тридцатых и сороковых годах и ретроградные, и прогрессивные общественные течения, было, однако,

последним крупным проявлением метафизического настроения культурных слоев западноевропейского общества. С середины XIX в. метафизика стала все более и более отступать назад перед наукой, и это стало отражаться не только на общем мирозерцании эпохи, но и на понимании общественных задач и способов их решения.

Конечно, не все технические изобретения были результатом преднамеренного применения теоретических истин отвлеченной науки к практическим потребностям жизни, и многими изобретениями человечество было обязано людям, которые никогда не занимались разработкой чистой науки, а были только специалистами того или другого практического дела, иногда лишь случайно нападавшими на новую мысль, в большинстве же случаев вносящими лишь какие-либо изменения и улучшения в уже существовавшие орудия и приемы. Никто, однако, не станет отрицать, что по мере того, как все дальше идет развитие техники, тем все более и более оно пользуется и услугами научного знания и что лишь блестящие успехи механики, физики и химии сделали возможными многие важные стороны области современной техники. Можно даже сказать, что развитие техники идет рука об руку и находится в постоянном взаимодействии с чисто теоретическим развитием науки. Практическая механика, прикладная физика, техническая химия благодаря этому получили в XIX в. небывалое развитие, и для обучения этим предприятиям возникли особые высшие учебные заведения вне старых рамок университетских факультетов. Здесь не место перечислять все изобретения XIX в., которые делают жизнь людей (хотя, конечно, далеко не всех) все более и более удобной и приятной, потому что наша задача гораздо уже, нам нужно коснуться лишь тех изобретений, которые оказали непосредственное влияние на экономические и политические отношения. Сюда относятся главным образом изобретения, давшие людям новые и неизмеримо большие силы в борьбе с природой (да и с другими людьми) и новые способы преодолевать препятствия, лежащие в условиях пространства и времени. Другими словами, тут речь может идти лишь о машинах в разных отраслях производства, о вооружении, о путях сообщения и способах сношений между людьми. Во всех этих областях XIX в. создал такие чудеса, которые для людей предыдущих веков могли существовать лишь в сказочной фантазии. Нередко даже высказывается мысль, что все прошлое исторического человечества до XIX в. представляет из себя один период в истории развития техники и что в XIX в. начинается совершенно новый период. Этим прогрессом человечество обязано преимущественно пару, электричеству и новым взрывчатым веществам с их многочисленными применениями, каковы паровые машины в добывающей и обрабатывающей промышленности, паровой транспорт (пароходство и железные дороги), электрический телеграф и начинающаяся замена пара, как рабочей или двигательной силы, электричеством, ши-

рое пользование взрывчатыми веществами в целях горного, инженерного и военного дела. Увеличив силы людей, дав людям возможность не только больше и быстрее производить, но и быстрее и легче передвигаться с места на место, обмениваться продуктами своего труда, сноситься между собой на самых отдаленных расстояниях, перечисленные изобретения произвели целый ряд перемен в экономической и культурной жизни, а через то и в чисто социальных и политических отношениях целых народов. Никогда раньше не было такого громадного производства ценностей, такого роста национального богатства, таких деятельных торговых сношений между отдельными народами, такого живого культурного между ними общения. Кроме того, разные технические применения химических открытий создали новые продукты и отрасли производства, внесли разные усовершенствования в старые отрасли и увеличили количество продуктов, добывавшихся и прежде, и этим тоже способствовали увеличению и улучшению производимых ценностей. Наконец, все эти изобретения не могли не произвести еще и непосредственного действия на социальные и политические формы. В истории взаимных отношений капитала и труда, буржуазии и пролетариата, получивших такую важность в XIX столетии, машинное производство, паровой транспорт и электрический телеграф дали государственной власти возможность действовать с невозможной для прежних времен быстротой и во внутренних, и во внешних делах, что внесло ряд изменений в администрацию и дипломатию, ослабив самостоятельность правительственных агентов в провинциях и за границей. Усовершенствования в военном деле довели до небывалых размеров производство военных припасов и сделали невозможными народные восстания, по крайней мере в том виде, в каком они происходили раньше. Все это увеличило силу правительственной власти, дав в ее руки такие орудия, каких она раньше не имела. Правда, и общество стало иным, чем было прежде, и опять-таки благодаря во многих отношениях действию указанных новых факторов. Новые формы промышленности и торговли сильно способствовали росту городского населения вообще и образованию многих особенно населенных центров и довели до небывалых прежде размеров сношения между людьми, что, в свою очередь, вообще содействовало росту общественного самосознания и развитию общественной инициативы и деятельности. Общественное мнение, благодаря облегчению в способах передвижения и сношений между людьми (паровая печатная машина и электрический телеграф), стало выражаться более постоянно и систематически в небывалом развитии разных съездов и собраний, особенно же в сильном развитии ежедневной политической газеты. Общий темп исторической жизни ускорился¹.

¹ История указанных изобретений и их влияния на социальную жизнь будет рассмотрена в VI т. Ср. брошюру П. К. Энгельмейера «Технический итог XIX века», 1898.

Помимо непосредственных своих практических следствий технические изобретения XIX в. оказали влияние и на общий характер идей своего времени. Расширение власти над природой, которому человек был обязан успехам естествознания, только усиливало авторитет науки и вселяло в умы общества убеждение в том, что естественные науки стоят на верном пути и что на их выводы можно более полагаться, чем на метафизические умозрения, которые, наоборот, все более и более обнаруживали свою внутреннюю несостоятельность. Независимо от этого, и само развитие естественных наук с каждым шагом позволяло им оказывать все большее влияние на общее мирозерцание образованных классов общества. Еще с середины XVIII в. делались попытки обоснования наших представлений об окружающем нас мире на выводах естествознания, и традиция этих попыток не прерывалась во все последующие времена, правда, по временам ослабевая. Одной из эпох, наиболее благоприятных для такого направления мысли, была середина XVIII в., время появления «Естественной истории» Бюффона и «Энциклопедии» Дидро. Последнего из названных просветителей XVIII в. можно даже считать вообще одним из наиболее видных предшественников научного духа XIX столетия. В ту эпоху именно Дидро был главным образом проповедником той идеи, что в положительной науке нужно преимущественно видеть орудие умственного, нравственного и материального улучшения общества. Но в прошлом веке орудия самой науки — опыт и наблюдение — еще слишком много уступали идеологическому рационализму, особенно в области общественных наук. Правда, Монтескьё уже полагал начало научному изучению общественных явлений, но настоящим выразителем господствовавшего направления XVIII в. был все-таки Руссо со своим «Общественным договором», оказавший своей политической метафизикой большое влияние и на других публицистов той эпохи¹. Одновременно с тем, как провозглашалась вера в положительную науку и последняя уже вырабатывала материал для будущего здания научного мирозерцания, Кант своей «Критикой чистого разума» (1781 г.) определял границы человеческого знания, доказывая, что нашему знанию доступны лишь одни явления, «вещь же в себе» лежит за пределами мира, доступного нашему знанию. Это был своего рода отказ от метафизики, от стремления проникнуть за границы мира явлений, доступных опыту и наблюдению; другими словами, это было приглашением заниматься изучением лишь того, что может быть предметом опыта и наблюдения, т. е. положительной науки. Научному мирозерцанию Дидро и критической философии Канта не суждено было в ближайшем времени получить дальнейшее развитие. Общая реакция самого конца XVIII и начала XIX в. была неблагоприятна для научного духа и философского критицизма. В миро-

¹ Например, на Мабли.

созерцании эпохи стали брать верх элементы мистики и романтики, спиритуализма и метафизики. Во Франции «философов XVIII в.» сменили такие мыслители, как Ройе-Коллар, Мэн-де-Виран, Виктор Кузен, поставившие своей задачей восстановление отживших умозрений. В Германии за Кантом следовали Фихте, Шеллинг и Гегель, все трое одинаково отвернувшиеся от реализма и критики XVIII в. для возвращения к идеалистическому догматизму. Господство гегельянства во всей Германии и даже за ее границами в первой половине XIX столетия представляет из себя один из самых характерных признаков того, что в эту эпоху наука смирялась перед метафизикой. В школе Шеллинга даже возникло особое натурфилософское направление, в котором господствовали довольно-таки фантастические представления о природе. Например, знаменитый Лоренц Окен (1779—1851 гг.), автор многочисленных сочинений натурфилософского характера, учил, что все царство животных есть человек, разложенный на свои составные части, в силу чего, например, насекомое есть животное зрения, улитка — животное осязания, птица — слуха, рыба — обоняния, амфибия — вкуса. В общественном отношении все философские системы указанных направлений отличались консервативным духом. Ройе-Коллар прямо ставил задачей своей философии «дать основу для морали, а через нее — для спокойствия и порядка». Кузен объявил скептицизм учением безнравственным и всю жизнь более боролся с превратными учениями, нежели искал истины. Философия Гегеля была «научообразной хранильницей духа прусской Реставрации». Когда в его школе произошел раскол и левые гегельянцы выступили на сцену со своим философским радикализмом, для противодействия им в Берлин был вызван старик Шеллинг, который своей романтической философией должен был содействовать поддержанию консервативных начал жизни. С другой стороны, и прогрессивные деятели первых десятилетий XIX в. отличались большой склонностью к мистике и романтике, или по меньшей мере отсутствием научного духа. Это можно сказать прежде всего об обеих первых социалистических школах Франции. У Фурье была собственная натурфилософия, которая своей фантастичностью далеко оставляла позади себя натурфилософию Окена. Сен-симонизм превратился в настоящую религиозную секту. В тридцатых и сороковых годах социальный протест во Франции тоже соединяется с религиозными и мистическими мечтаниями. Бюшез сочетал социализм с аскетизмом и представлял Французскую революцию в католической оболочке. Другой социалист, Леру, создал свою особую религию, в которой видную роль играло учение о переселении душ. Политический радикализм и социалистические заявления Ламенне тоже развивались на почве демократизованного католицизма. Основой мирозозерцания Жорж Санд была равным образом особая мистическая религиозность. Когда в начале сороковых годов Руге стал издавать в Париже свой журнал, ему не

удалось привлечь к нему французов, находивших его слишком вольнодумным, и, например, Луи Блан мотивировал свой отказ тем, что новейшая немецкая философия, органом которой должен был быть журнал Руге, впала в материализм. Известно и чисто идеалистическое мирозерцание Карлейля. Кое-что в том же смысле можно сказать и о Бёрне. Выдающиеся деятели национального возрождения у итальянцев и у славян проявляли опять-таки те же характерные черты эпохи. Демократический национализм Мадзини был насквозь проникнут своего рода мистическим деизмом, формулой которого было «Dio e popolo». Джиоберти доказывал провиденциальную миссию итальянского народа и проповедовал либеральный католицизм. Вожди славянского возрождения в Австрии были идеализаторами родной старины и учениками немецкого романтизма, а панславизм был своего рода националистическим утопизмом. Польский мессианизм является уже прямо доведенным до крайности политическим фантазерством. Все это было далеко от какого бы то ни было научного реализма и философской критики. В области изящной литературы тоже господствовал романтизм со своей идеализацией, — господствовал даже тогда, когда служил целям пропаганды социальных идей, как у Жорж Санд, или когда соединялся со скептицизмом, как у Гейне. Эпоха реализма в литературе должна была еще наступить.

Но в недрах того самого гегельянства, которое было господствующей философией культурного застоя, зародилась в тридцатых годах и оппозиция против мистики и романтики, именно в так называемом левом лагере этой философской школы. Исходным пунктом была критика философии религии Гегеля, завершением — критика его философии права. Эпоха процветания этого философского радикализма — тридцатые и сороковые, годы, как раз то время, когда (1830—1842 гг.) во Франции появлялся «Курс положительной философии» Огюста Конта, провозгласивший необходимость философии, основанной на науке, и научной теории общественной жизни. С одним из этих явлений мы познакомились выше, о другом речь будет еще впереди, здесь же мы отметим лишь то, что и левое гегельянство, и контовский позитивизм, несмотря на все черты несходства между ними и различие их происхождения, приходят к одному и тому же отрицанию метафизики во имя научного отношения к действительности. Тем традиционным культурным идеям, на которых держалась большая часть философских мирозерцаний первой половины XIX в., оба направления объявляли войну во имя изучения реального мира и законов, управляющих его явлениями. В настоящее время и левое гегельянство, и контовский позитивизм имеют лишь историческое значение, но последнее именно в том-то и заключается, что они открывают собой эпоху научного мирозерцания второй половины XIX в. Казалось бы, что реакция, наступившая после 1848—1849 гг., должна была нанести удар всему, что только было

прогрессивного в умственном движении предыдущих десятилетий, но научное мышление продолжало свою работу, и в истории развития мирозерцания вторая половина XIX в. стоит гораздо выше первой. В этом смысле можно сказать, что в середине нашего столетия произошел умственный переворот, который был крайне неблагоприятен для метафизики и, наоборот, очень содействовал развитию науки.

Временно указанный переворот сопровождался значительным развитием и распространением материализма, опиравшегося, с одной стороны, на данные естественных наук, но с другой — бывшего порождением самой же метафизики, которая вообще стремилась проникнуть за пределы мира явлений в самую сущность вещей и, в частности, создала такое направление, как натурфилософия. Уже в левом гегельянстве, благодаря главным образом Фейербаху, начал вырабатываться философский натурализм, который мало-помалу стал переходить в настоящий материализм. С другой стороны, господствовавшие до середины текущего столетия философские системы Шеллинга и Гегеля не могли удовлетворять представителей естествознания, сделавшего в эту эпоху большие успехи. Многие из них начали поэтому обосновывать свое мирозерцание исключительно на данных и выводах естественных наук. В начале пятидесятых годов вопрос о материалистическом мирозерцании сделался уже предметом весьма горячей и даже страстной полемики среди немецких философов и натуралистов. В особенности этот вопрос обратил на себя внимание в 1854 г., когда на съезде естествоиспытателей в Геттингене Рудольф Вагнер, полемизировавший по этому вопросу с Карлом Фогтом, прочитал реферат «О создании человека и о субстанции души». Собственно говоря, Вагнер старался доказать, что с точки зрения науки нельзя ни утверждать, ни отрицать происхождения человечества от одной четы и что новейшее научное исследование несколько не колеблет библейского догмата. Вместе с этим он представлял некомпетентность естествознания в решении вопросов о сущности души и об индивидуальном бессмертии. Сверх всего этого, он старался опровергнуть Карла Фогта и аргументами морального свойства, находя, что сведение душевных деятельностей к функциям мозга, как материального субстрата, естественно должно привести к тому выводу, что еда и питье суть высшие функции человека и что отрицание индивидуальной и устойчивой субстанции души способно только разрушить нравственные устои общественного порядка. Карл Фогт не остался в долгу и вступил в полемику с Вагнером, который, заметим, развил свои взгляды еще в двух сочинениях: «О знании и вере, особенно по отношению к будущности душ» (1854 г.) и «Борьба за душу» (1857 г.). Отличаясь большим остроумием, Карл Фогт старался главным образом высмеять своего противника, что и сделал в полемическом памфлете «Слепая вера и наука» (1854 г.). В спор о материализме вмешались и некоторые другие писатели, так что

по этому вопросу скоро создалась целая литература. Наиболее видными представителями материализма кроме Карла Фогта являлись в пятидесятых годах еще Молешотт и Бюхнер. Первый из них выступил в 1852 г. с сочинением «Круговорот жизни», представлявшим собой возражения на «Письма о химии» Либиха, а второй в 1855 г. напечатал трактат под заглавием «Сила и материя». Обе только что названные книги, написанные популярным языком, сразу потребовали новых и новых изданий, скоро были переведены на иностранные языки и сильно содействовали распространению материализма в обществе; «Сила и материя» Бюхнера сделалась даже основным сочинением немецкого материализма середины XIX в., и дальнейшие сочинения самого Бюхнера в том же направлении не прибавили ничего нового к мыслям, высказанным в этой книге. Понятно, что возрождение материализма должно было вызвать отпор со стороны представителей идеалистического мировоззрения, но в полемике приняли участие и сторонники критической философии, которая начинает возрождаться почти одновременно с появлением материализма.

Именно к рассматриваемому периоду относится и лучшая история и критика материализма, принадлежащая неокантианцу Фридриху Альберту Ланге¹. Еще в 1857 г. он читал университетский курс (в Бонне) по истории материализма, а в 1865 г. издал и свой капитальный труд (*Geschichte des Materialismus*) по этому вопросу. Точка зрения Ланге та, что более всех других метафизических теорий может быть допущен материализм, который притом оказывается даже полезным в смысле научного метода, но что тем не менее теория познания Канта совершенно лишает его права на существование в качестве философской системы. Главное значение материализма с его приемами научного исследования, исходящего из опыта, заключается именно в том, что он устраняет метафизику, т. е. всякое философское направление, ставящее себе задачу проникнуть в сущность вещей и стремящееся извлечь из идей нашего ума то, чему мы можем научиться только из одного опыта. Тот, кто не выходит из мира явлений, в сущности, невольно стоит на почве материализма, но последний все-таки не в состоянии разъяснить нам основные вопросы о сущности природы. Своей критикой, направленной против материализма как философского мировоззрения, Ланге в то же время наносил удар и идеалистической метафизике, которую он находил неправую и в научном отношении за то, что она пыталась строить все наше знание из одного разума. Впрочем, и в качестве приема исследования материализм должен быть найти необходимое дополнение в формальном идеализме. Пусть знание наше ограничивается лишь тем, что дает нам

¹ Ланге кроме философии занимался еще социальным вопросом. Ему, между прочим, принадлежит книга «Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung für Gegenwart und Zukunft», русский перевод которой указан выше. Сверх того, и в своей «Истории материализма» Ланге тоже касается и социального вопроса.

наш опыт, но в силу своей организации мы творим еще идеи, которые, не заключая в себе никаких научных истин, тем не менее имеют для нас нравственную ценность, не позволяющую нам относиться к ним как к совершенно праздным фантазиям.

Ланге был лишь одним из представителей «возвращения к Канту», начавшегося в немецкой философии в середине XIX в. и особенно усилившегося после того, как великий немецкий натуралист Гельмгольц¹ объявил, что результаты физиологии органов чувств вполне согласуются с основной точкой зрения «Критики чистого разума». Сама книга Ланге тоже немало содействовала дальнейшим успехам неокантианского движения. Это возвращение к Канту нанесло сильный удар построению метафизических систем и оживило интерес к теории знания. Изучением Канта занялись и многие натуралисты, которые также стали признавать, что из области научного познания нужно исключить все, вообще находящееся за пределами точного исследования, и которые, отказываясь поэтому от проникновения в сокровенную сущность вещей, отворачивались от всякой метафизики, не исключая и материалистической. Эту точку зрения резюмировал, между прочим, известный немецкий естествоиспытатель Дюбуа-Реймон, который в своей речи «О границах знания природы» (1872 г.) заявил, что естествознание на вопрос о том, что такое материя и сила и как они могут мыслить, не может дать ответа, и что ученые должны раз и навсегда решиться сказать: «ignorabimus»².

Отказ от познания метафизической сущности мира, конечно, вовсе не был отречением от научного исследования материи и силы, как они даются нам в явлениях природы, в нашем опыте³. Напротив, как раз в эту эпоху

¹ В 1856 г. Гельмгольц в пользу фонда для сооружения памятника Канту прочитал лекцию «О зрении человека», начинающую ряд его других трудов в области физиологии органов чувств.

² Не узнаем (*лат.*). — *Прим. ред.*

³ Ввиду того что в дальнейшем будет идти речь о новых научных идеях в систематическом порядке, представляем хронологию главнейших сочинений, которые будут называться:

1830—1842. «Курс положительной философии» Конта.

1830—1833. «Основы геологии» Лайэлла.

1835. «О человеке и развитии его способностей, или Опыт социальной физики» Кетле.

1840. «Органическая химия в приложении к земледелию и физиологии» Либиха.

1842. «О силах неживленной природы» Роберта Майера.

1843. «Система логики» Милля.

1843. «Пособие к лекциям политической экономии на основании исторического метода» Рошера.

1847. «О сохранении силы» Гельмгольца.

1850. Начало работ Гельмгольца в области физиологии чувств.

1851. «Социальная статика» Спенсера.

1852. «Круговорот жизни» Мошотта.

1855. «Сила и материя» Бюхнера.

1855. «Основания психологии» Спенсера.

1858—1859. «История цивилизации в Англии» Бокля.

1859. «О происхождении видов путем естественного подбора» Дарвина.

были сделаны величайшие теоретические открытия в физике и химии, как раз направленные на основные вопросы этих наук. В сороковых годах впервые была высказана мысль о переходе сил природы одной в другую без изменения в их величинах, т. е. положение, что сила качественно изменчива, но количественно неразрушима. Открытием и развитием принципа единства сил и сохранения энергии наука обязана Майеру, творцу механической теории теплоты (превращение теплоты и движения друг в друга), но в особенности Гельмгольцу, написавшему в 1847 г. статью «О сохранении силы», которая считается главным начальным трудом всей теории. По этому учению сумма сил, способных к действию, в целом природы при всех ее изменениях остается вечно и неизменно той же самой.

Не стояла на одном месте и химия. В 1859 г. Кирхгофом и Бунзеном был открыт спектральный анализ, который показал, что в химическом составе Солнца и других небесных светил находятся те же элементы, что и на Земле. Это не только расширило наши астрономические знания и даже повело к основанию особой научной дисциплины, получившей название астрофизики, но и дало возможность сформулировать принцип однородности мировой материи.

Эти научные открытия нанесли совершенный удар так называемому витализму в биологии, который давно уже вообще подкапывался развитием научных физических и химических теорий. Сущность витализма, как известно, сводится к учению о «жизненной силе» (*vis vitalis*) как об особом начале, проявляющемся в процессах, которые совершаются в живых организмах. Некоторые натуралисты даже думали, что в химическом составе живых тел есть нечто, свойственное лишь этим телам, т. е. такой элемент, которого нет в неорганических предметах. Этот взгляд вообще стал подрываться с тех пор, как в естествознании получил широкое применение экспериментальный метод исследования, но господство метафизики и натурфилософии в первой половине XIX в. немало еще содействовало сохранению веры в существование таинственной «жизненной силы», ускользавшей от всякого эксперимента, и еще в исходе первой половины XIX в. виталистические мнения не были окончательно оставлены биологами и медиками. Между тем все более и более накапливались факты, доказы-

1859. Открытие спектрального анализа.

1860. «Элементы психофизики» Фехнера.

1862. «Основные начала» Спенсера.

1863. «Лекции о душе человека и животных» Вундта.

1863—1867. «Основания биологии» Спенсера.

1866. «История материализма» Ланге.

1867. «Капитал» Маркса.

1867. Журнал «*Philosophie positive*» и 2-е изд. «Курса» Конта.

1870. «Об уме и познании» Тэна.

1871. «Происхождение человека и половой подбор» Дарвина.

вавшие, что в составе животных и растительных организмов не обретаётся никакого особого вещества, которого не было бы в неодушевленной природе, что в организмах происходят только новые химические соединения, которые могут получаться и искусственно в лабораториях, что каждое жизненное явление всегда протекает в известных физико-химических условиях и что, следовательно, биологические явления, с одной стороны, в последнем анализе сводятся к физико-химическим причинам, а с другой — совершаются столь же закономерно, как и явления, которые мы называем механическими в широком смысле этого слова. Законы сохранения силы и превращения материи, с этой точки зрения, в середине XIX в. были признаны натуралистами за вполне достаточные для объяснения явлений жизни, чем в общем сознании представителей науки именно и устранялась надобность в признании особой «жизненной силы»¹. Это применение физических и химических принципов к изучению жизненных процессов, совершающихся в организмах, дало весьма сильный толчок развитию физиологии. Одним из родоначальников нового направления в этой науке был Иоганн Мюллер, который в начале своей деятельности (еще в двадцатых годах) был несколько заражен натурфилософскими стремлениями, но потом сумел от них отделаться, чтобы держаться затем исключительно на почве опытного знания. Особенно важное философское значение получили открытия, которые с пятидесятих годов стали делаться в области физиологии нервных процессов и органов чувств, так как они отразились самым благотворным образом и на развитии психологии. Иоганн Мюллер может прямо считаться (по крайней мере для Германии) основателем опытной психологии.

Теоретическое учение о душевных явлениях было всегда излюбленной областью философов, и вся психология поэтому долгое время стояла почти исключительно на метафизической почве. Под общим влиянием научных стремлений и, в частности, под влиянием успехов физиологии нервных процессов и органов чувств и в этой научной специальности явились новые идеи, благодаря которым психология из метафизической дисциплины стала превращаться в положительную науку. На границах физиологии и психологии даже возникла особая научная дисциплина под названием «психофизика», основателем которой был Фехнер (1860 г.). Новые взгляды на психические явления совершенно преобразовали науку о душевных явлениях, и уже в 1863 г. Вундт издал свои знаменитые «Лекции о душе человека и животных». В Англии реалистическое отношение к психологии составляет очень старую традицию (со времен Локка), но и здесь психология обновилась, благодаря трудам Спенсера («Основания психологии», 1855) и Бэна («Чувства и ум», 1855; «Эмоции и воля», 1859). Во Франции науч-

¹ Впрочем, за самое последнее время среди биологов появились так называемые неовиталисты, которые признают себя неудовлетворенными «механическим» взглядом.

ные стремления в психологии выразились в сочинении Тэна «Об уме и познании» (*De l'intelligence*).

Особенно важное значение получило в естествознании в середине XIX в. идея естественной эволюции мироздания. Еще в прошлом столетии Кантом была высказана гениальная мысль об образовании Солнечной системы, мысль, которая, будучи повторена французским астрономом Лапласом, была затем принята другими учеными и стала известна в науке под названием Канта-Лапласовской гипотезы о происхождении Солнечной системы. С этой точки зрения Солнечная система является результатом длинного процесса, чисто механически совершавшегося в бесформенной массе первичной материи. Но этот принцип естественной эволюции долгое время не прилагался ни к истории земного шара, ни к истории органической жизни на нашей планете. Знаменитый французский ученый Кювье (1769—1832 гг.), мнения которого долгое время были господствующими в науке, держался того взгляда, что земной шар не раз подвергался катастрофам, после которых совершенно исчезала прежняя органическая жизнь и новая жизнь возникала путем повторных творческих актов, и что современные виды животного и растительного царства сохраняются в совершенной неизменности, т. е. такими, какими они были первоначально созданы. Вот это представление о жизни нашей планеты с населяющими ее организмами и было разрушено в середине XIX в. сначала по отношению к истории самого земного шара, затем по отношению к населяющим землю животным и растениям. Творцом современной геологии был английский ученый Ляйэлль (1797—1875 гг.), в начале тридцатых годов издавший знаменитые «Основы геологии», в которых он поставил свой предмет на чисто эволюционную точку зрения. У сторонников прежнего взгляда изучение ныне действующих факторов, которые изменяют вид земной поверхности, считалось совершенно излишним для понимания прошедших периодов в истории земной коры. Ляйэлль отверг гипотезу катастроф и положил начало вполне эволюционному представлению об истории земной коры, в которой действовали те же самые факторы, что и в настоящее время. Этой мысли удалось утвердиться в науке не без затруднений со стороны представителей прежнего взгляда, и лишь в шестидесятых годах она могла считаться окончательно восторжествовавшей в науке. С другой стороны, и вера в неизменность видов органического мира стала подкапываться некоторыми учеными еще в первой половине XIX в. Самым видным противником теории постоянства видов был французский ученый Ламарк (1744—1822 гг.), который является настоящим предшественником дарвинизма. Еще в 1809 г. в своей «Философской зоологии» он высказал мысль об изменяемости видов и даже изложил целую теорию, которая должна была объяснить, вследствие чего происходят изменения видов. Сущность теории Ламарка заключалась в том, что образ

жизни того или другого животного вида создает у его представителей известные привычки, благодаря которым отдельные органы особи упражняются в большей или меньшей степени или совсем перестают упражняться; перемены, происходящие подобным путем в организме, передаются затем по наследству потомству, и путем постепенного накопления маленьких изменений совершаются все изменения видов. Современники, высоко ценившие зоологические знания Ламарка, в большинстве случаев смотрели на эти его соображения скорее как на игру ума, чем на серьезную мысль, с которой следует считаться. Другим предшественником Дарвина был французский же ученый Жоффруа Сент-Илер (1772—1844 гг.), который, занимаясь сравнительной анатомией, выдвигал на первый план черты сходства в организации животных, как бы указывающие на общий основной план их внутреннего строения, так сказать, лишь варьирующийся в отдельных видах. Но громадное большинство биологов стояло на точке зрения Кювье, который сам полемизировал с защитниками идеи трансформизма. Последняя восторжествовала в науке, и притом необыкновенно быстро, лишь благодаря Чарльзу Дарвину, развившему далее основную мысль Ламарка, но давшему иное объяснение того, как происходит изменение видов. В 1839 г. Дарвин познакомился с основным сочинением Мальтуса, как известно, доказывавшего, что люди распложаются в геометрической прогрессии, тогда как необходимые средства к жизни увеличиваются лишь в прогрессии арифметической. Чтение этой книги произвело на Дарвина весьма сильное действие, и извлеченную отсюда мысль о борьбе за существование он применил к изучению природы, которому он предавался с замечательной энергией. Уже в начале сороковых годов общие основы будущей теории изменения видов были готовы, но Дарвин не торопился с обнародованием взглядов, к которым пришел, желая проверить их на фактах и обосновать их, по возможности, большим количеством реальных доказательств, а также заранее рассмотреть все могущие быть сделанными возражения, чтобы явиться с вполне готовыми на них ответами. Быть может, Дарвин еще дальше держал бы при себе свое открытие, если бы одновременно с ним другой английский натуралист, Уоллэс, работавший над тем же вопросом, не написал статьи, которая заставила друзей Дарвина настоять на том, чтобы он не медлил более с изложением своей теории. В 1859 г., таким образом, появилась в свет знаменитая книга «О происхождении видов путем естественного отбора», книга, которая произвела громадное впечатление в ученом мире и вызвала большое волнение в образованном обществе. С одной стороны, своими крупными научными достоинствами она сразу, хотя и не без сопротивления, завоевала себе почетное место в специальной биологической литературе, с другой — ученые других специальностей и просто образованные люди сразу почувствовали, какой переворот новая теория

должна была произвести во всех представлениях об истории населяющих землю живых существ и, между прочим, о доисторическом прошлом человеческого рода. Наиболее горячие сторонники нового биологического учения не замедлили распространить принципы этой теории и на вопрос о происхождении человека. Сам Дарвин занялся и этим предметом и через двенадцать лет после «Происхождения видов» издал в свет специальное исследование под заглавием «Происхождение человека и половой подбор» (1871 г.). К числу первых присоединившихся к учению Дарвина естествоиспытателей принадлежал и Ляйэлль, ранее по многим вопросам державшийся иных взглядов. В сущности, теория Дарвина была как бы естественным продолжением и необходимым дополнением к теории самого Ляйэлля. В обоих случаях мы имеем дело с принципом трансформизма, с идеей постепенной эволюции, совершающейся чисто естественным путем, и в обоих случаях чисто механическое объяснение процессов, вносящих в природу изменения, вытеснило прежние объяснения телеологического характера. Дарвин подтвердил своим открытием основную мысль Ламарка, и даже воспользовался его идеей о значении наследственности. Он только выдвинул на первый план принцип естественного подбора, путем которого природа сохраняет и упрочивает полезные виду изменения, но самым основным принципом его теории является борьба за существование, в которой выживают и оставляют после себя более многочисленное потомство лишь особи, наиболее приспособленные к условиям окружающей среды. Эволюция, как ее представлял себе Дарвин, вовсе не была мирным и безболезненным развитием, о котором мечтали идеалистические оптимисты первой половины XIX в. Замечательно, что свой основной принцип Дарвин заимствовал из трактата, сыгравшего свою роль в истории политико-экономических идей. Да и на самом деле, экономическая конкуренция есть не что иное, как борьба за существование в иной лишь обстановке, чем та борьба, которая происходит в природе. Интересно также и то, что около того же времени, когда возникала и впервые распространялась теория Дарвина, идея борьбы — борьбы между общественными классами и отдельными личностями — вносилась Марксом и Йерингом в теории развития хозяйственных и правовых отношений, явившиеся на смену учениям исторических школ политической экономии и юриспруденции.

Падение идеалистической метафизики и успехи естествознания должны были отразиться не только на общем миросозерцании, но в особенности и на общественных науках. Общие теории государства и права были излюбленной областью метафизических мыслителей, и в этой области вполне и безраздельно господствовали те самые методы, при помощи которых строились и метафизические системы. Уже в то время, когда главные отрасли естествознания освободились от натурфилософских воззре-

ний и методов, чтобы обосновать себя исключительно на данных опыта и наблюдения, общественные науки (за исключением разве одной политической экономии) все еще вращались в сфере метафизических идей и мало считались с фактами действительной общественной жизни. Весьма естественно, однако, что рано или поздно и в этой области должен был произойти переворот. Раз метафизике объявлялась война и пример естественных наук показывал, каким путем следовало добывать истинное знание действительности, новые умственные принципы уже легко было перенести на всю область человеческого знания, а следовательно, и на общественные науки как часть одного великого целого. В этом направлении действительно и произошло весьма замечательное научное движение, которое имело своим результатом коренную реформу общественных наук. Так как метафизическая философия достигла безраздельного господства только в Германии, то в этой стране и позже почувствовалось наступление новой эпохи в развитии обществоведения. С наибольшей ясностью и полнотой новое направление впервые обнаружилось во французском позитивизме Ог. Конта. Еще в первой половине XIX в. Конт формулировал главные положения философии, опирающейся исключительно на науку, и высказал мысль о необходимости основания новой, чисто положительной науки об обществе. Любопытно, однако, что мысль об общей реформе знания и о чисто научном изучении общественных явлений была высказана еще Сен-Симоном, в учении которого лишь с течением времени мистические элементы возобладали над научными идеями. Отмеченное обстоятельство важно в том смысле, что мысль о необходимости создания позитивной социальной науки зародилась на почве искания новых форм самого общества, которыми предполагалось заменить неудовлетворительные порядки современности. С самого начала научному исследованию общественных явлений ставилась, таким образом, и чисто жизненная задача.

Сен-Симон выступил социальным реформатором, собственно говоря, лишь в конце своей жизни; ранее же он мечтал только о реформе всей системы человеческих знаний¹. Еще в самом конце XVIII и начале XIX в. он создал, по собственным его словам, какой-то проект с целью открыть новое поприще человеческому уму, которое он назвал физико-политическим (*la carri re physico-politique*). В этот план, очевидно, входила мысль о необходимости систематизации положительных знаний и планомерной организации научных трудов, от чего ожидалось важные последствия и для улучшения участи человечества. Сен-Симон признавал частные науки лишь за элементы некоторой общей науки, которая именно и есть философия. И в своем целом, и в своих частях, по его определению, наука должна иметь лишь «относительный и положительный характер», и этого состоя-

¹ Об этой стороне идей Сен-Симона см. т. IV.

ния, думал он, человеческие знания уже достигли, а потому Сен-Симон и считал вполне возможным такой общий свод частных наук, который составил бы настоящую «положительную философию». Далее, по его мысли, такая философия должна была быть не только итогом результатов, добытых частными науками, но и руководительницей в дальнейших научных исследованиях. Интересно также и то, что Сен-Симон доказывал необходимость особой положительной «науки о человеке» (*le science de l'homme*), т. е. изучения человечества с чисто научной точки зрения, которую он вынес из своих занятий точными науками. В специальном мемуаре, посвященном этому вопросу, он высказывает ту идею, что человечество развивается, как и все органическое на земле. Наконец, одной из любимых его идей была та, что истинными духовными вождями общества должны сделаться ученые. К этим чисто научным идеям Сен-Симона и примыкает позитивизм Конта.

Огюст Конт родился в 1798 г. Уже в годы своего учения он поражал как своих товарищей, так и преподавателей ранним развитием умственных способностей. Высшее образование Конт получил в Париже в знаменитой Политехнической школе, в которой были сосредоточены лучшие силы по преподаванию точных наук. Не окончив вследствие случайности курса в этом учебном заведении, Конт вынужден был впоследствии перебиваться уроками математики и разными другими частными занятиями. Около 1820 г. он сошелся с Сен-Симоном и сделался одним из самых ревностных его последователей. В настоящее время иногда даже трудно определить, какие из идей Конта были в это время заимствованы им у Сен-Симона и какие, наоборот, были внушены самому учителю его молодым учеником. Во всяком случае, однако, Конт заинтересовался главным образом научными планами Сен-Симона. В духе именно этих идей в 1822 г. юный мыслитель написал свое первое литературное произведение, озаглавленное «*Prospectus*¹ научных трудов, необходимых для реорганизации общества». Вскоре после этого между учителем и учеником произошел разрыв. В это время Сен-Симон уже переходил от более ранних научных своих планов к созданию новой религии и был очень недоволен тем, что Конт развивал исключительно научную точку зрения, пренебрегая точкой зрения сентиментальной и религиозной. Со своей стороны, Конт видел в этом повороте к религиозности измену прежним взглядам Сен-Симона, на почве которых он с ним главным образом и сблизился. Хотя после смерти учителя Конт и поддерживал некоторое время сношения с нарождавшейся сектой и даже принимал участие в издававшемся ею органе «*Le Producteur*»², однако его дорога совершенно разошлась с дорогой сен-симонистов. Его влекли к себе чисто научные занятия, и он помышлял об ученом поприще,

¹ Обзор (лат.). — Прим. ред.

² «Производитель» (фр.). — Прим. ред.

тем более что названный юношеский его трактат был встречен сочувственно многими выдающимися людьми той эпохи, например Гизо, Сеем и Гегелем. Уже в это время в уме Конта зародились основные черты его будущей системы, и в 1826 г. он начал читать у себя на дому курс позитивной философии, имея в своей небольшой аудитории настоящих ученых, среди которых достаточно назвать знаменитого Александра Гумбольдта. От усиленных умственных занятий Конт в самом начале этого курса подвергся довольно продолжительной душевной болезни (которая в другой только форме повторилась с ним и впоследствии). В 1829 г. Конт снова читал свой курс позитивной философии, имея и на этот раз довольно значительное количество слушателей. В начале тридцатых годов он напрасно хлопотал у бывшего тогда министра народного просвещения Гизо об учреждении для себя особой кафедры истории математических и естественных наук. Неудача в этом деле не помешала ему, впрочем, заняться организацией даровых публичных лекций, в которых он хотел популяризировать точные знания среди рабочего класса столицы; с этой целью он даже устроил небольшое общество, получившее название Политехнической ассоциации. Занимая скромную должность репетитора в Политехнической школе, Конт в тридцатых годах работал главным образом над своим основным трудом, который под названием «Курса положительной философии» и вышел в свет в период времени от 1830 по 1842 г. Лишь один раз за все это время Конт выступил на публичную арену, приняв на себя защиту одного из подсудимых в известном политическом процессе 1835 г. Окончив свой главный труд, Конт сам постепенно перешел на ту самую сентиментально-религиозную точку зрения, которой не одобрял у Сен-Симона в последние годы его жизни. Основатель позитивной философии захотел сделаться творцом новой религии, которая тоже должна была быть позитивной. Этой новой религии он ставил задачу социальной и политической реорганизации человечества, и даже основал с этой целью в 1848 г. так называемое Позитивистическое общество. Считая себя теперь первосвященником этой новой религии, он думал найти себе поддержку в таких людях, как император Николай I, генерал ордена иезуитов Бекс и турецкий великий визирь Решид-паша. Результатом такого поворота в мыслях Конта была «Система положительной политики», вышедшая в 1851—1854 гг. за несколько лет до его смерти (1857 г.). Последние годы своей жизни Конт очень бедствовал, лишившись вследствие личных столкновений своего скромного места в Политехнической школе. Ему даже пришлось жить на счет частной благотворительности, которая шла даже из Англии. Между прочим, денежную помощь Конту оказывал Милль, очень заинтересовавшийся научными его идеями и ведший с ним переписку в начале сороковых годов. В самой Франции «Курс положительной философии» не нашел особенно большого количества последователей, но Конт

все-таки имел счастье привлечь на свою сторону весьма видного ученика в лице Литтре, сделавшегося впоследствии главным представителем научного позитивизма. Подобно тому как сам Конт разошелся с Сен-Симоном вследствие перемены, совершившейся в идеях последнего, и Литтре в 1852 г. резко оборвал свои прежние отношения к Конту, когда увидел, что тот изменил прежнему научному духу своей философии. Впоследствии Литтре даже оспаривал перед судом духовное завещание Конта, доказывая, что в последние двенадцать лет своей жизни он страдал душевной болезнью. Однако целая группа последователей Конта приняла его религиозное учение, изложенное в «Системе положительной политики». Контисты появились даже вне Франции, между прочим, и в Америке, но за ними нельзя признать никакого общего исторического значения. Заметный след в истории мысли оставил Конт лишь в качестве автора «Курса положительной философии».

Конт не был специалистом в какой-либо области человеческого знания, но зато он отличался широким энциклопедическим образованием и проявил громадную способность к систематизации научных знаний. К сожалению, он мало-помалу пришел к мысли об особом умственном режиме, который он назвал «мозговой гигиеной» и который состоял в воздержании от чтения. Вот почему, между прочим, по некоторым в высшей степени важным вопросам он придерживался взглядов, которые сделали из него противника научных теорий, впоследствии восторжествовавших над противоположными взглядами. К числу учений, с которыми он не хотел согласиться, относятся, например, механическая теория теплоты, спектральный анализ и учение об изменяемости животных и растительных видов. Не рассматривая здесь всех сторон учения Конта, мы остановимся лишь на том, в чем он полагал отличительную черту позитивной философии, в особенности же на его мысли о необходимости создания положительной науки об обществе, которой он дал сохранившееся за нею название социологии.

Наблюдая умственное состояние современного общества, Конт характеризовал его как состояние анархии и сводил к этой анархии, как к основной причине, все проявления общественной дезорганизации. По его мнению, общество должно было получить новую организацию через новое миросозерцание, которое целиком основывалось бы на данных и выводах чистой науки. К числу основных положений Конта относится его знаменитый закон о трех фазисах, через которые проходит история человеческого миросозерцания. Первая стадия есть стадия теологическая, и на ней человеческий ум объясняет себе явления природы прямым и постоянным вмешательством какого бы то ни было количества сверхъестественных деятелей. На второй, метафизической стадии эти сверхъестественные деятели заменяются отвлеченными сущностями, за которыми признается способность производить наблюдаемые явления; например, когда подня-

тие воды в насос объясняли тем, что природа боится пустоты, то мыслили метафизически. Третью стадию представляет собой положительная наука, отказывающаяся от всех тех задач, какие ставили себе теология и метафизика, и занимающаяся исключительно открытием законов, которыми управляются происходящие вокруг нас явления. Вывод, к которому приходит Конт, тот же, что и у Канта в «Критике чистого разума»: нашему знанию доступны только явления, а не лежащие в основе их какие-то сверхчувственные сущности. Только Конт принимал это положение догматически, не дав ему критического обоснования в теории познания. Умственная анархия, на которую указывал Конт, была, по его объяснению, результатом того, что не все наши знания перешли на позитивную ступень развития. Задача положительной философии понималась им в том смысле, чтобы обосновать все наши представления и понятия на прочном фундаменте положительного знания. Самой отсталой отраслью знания Конт совершенно справедливо считал ту, которая имеет своим предметом общественную жизнь человека. В то самое время, как в области математики, астрономии, физики и химии господствуют строго научные приемы мысли, изучение общественных явлений все еще находится на метафизической и даже теологической ступени развития. Поэтому Конт поставил себе грандиозную задачу объединить одним принципом теоретическое отношение нашего ума ко всем наблюдаемым нами явлениям окружающей нас действительности. С этой целью он нашел нужным создать и новую положительную науку о закономерности общественных явлений, и этой науке, т. е. социологии, он первоначально дал название «социальной физики»¹, тем самым показывая, какой характер должна была получить новая наука. Предметом социологии должны были быть общественные явления вообще, другими словами — общество, взятое во всех своих сторонах, т. е. не так, как ранее рассматривали его политики, юристы и экономисты, делавшие предметом своего изучения или государство, или право, или народное хозяйство. К числу общественных явлений Конт относил также и явления духовной культуры, указывая вместе с тем на то, что между всеми этими явлениями существуют взаимоотношения, подчиненные действию определенных законов. Подобно другим основным наукам, социология должна была быть, по мысли Конта, наукой чистой, т. е. вполне теоретической, и он даже провел резкую грань между науками чистыми и прикладными, т. е. между науками в собственном смысле и соответственными искусстваами. Сами науки он разделил на конкретные, имеющие дело с данными, определенными явлениями, и абстрактные, занимающиеся открытием законов, которые управляют той или другой категорией явлений: социология представлялась Конту именно как наука абстрактная, и сама задача, которую

¹ Это название употребил и Кетле в труде, названном выше.

он ставил этой науке, указывала на его мысль о том, что общественные явления совершенно так же подчинены действию законов, как и явления природы. Далее, он разделял эти законы на законы сосуществования и преимущественности общественных явлений, представляя себе эту последнюю как эволюцию. Сообразно с этим он делил социологию на социальную статику и социальную динамику, и вторая, собственно, должна была быть не чем иным, как теорией социальной эволюции. Социология представлялась Конту конечной целью и высшим завершением всей его системы, и целую половину своего «Курса» он посвятил именно изложению своих социологических взглядов. Определив указанным образом предмет и задачу новой науки, он, естественным образом, должен был поднять вопрос о средствах разрешения поставленной задачи, другими словами — о методах изучения общественных явлений. В этом тоже заключается одна из крупных его заслуг перед наукой. Но если социология должна была быть наукой чисто теоретической и абстрактной, Конт все-таки ставил ей и практические общественные цели. Находя вредным для успехов науки смешение теоретических и практических задач, он стоял, однако, на той точке зрения, что успешная практика может быть основана лишь на верной теории. Конт отнесся отрицательно к общественным теориям XVIII в. (в особенности к Руссо), потому что считал их теориями вполне метафизическими, в которых воображение господствовало над наблюдением, тогда как в настоящей науке, наоборот, наблюдение должно господствовать над воображением. Ложные теории и не могли дать прочных результатов: чтобы успешно действовать, нужно обладать знанием законов, управляющих предметами нашего воздействия, нужно, так сказать, пользоваться одними законами против других, — и в этом отношении Конт не делал различия между воздействием на природу и воздействием на общество. Только зная законы, управляющие явлениями, человек может предвидеть наступление тех или других явлений, и, лишь обладая таким предвидением, он будет в состоянии успешно действовать для достижения своих целей. Эту мысль Конт высказал коротко в следующих словах: «Наука, откуда предвидение; предвидение, откуда действие».

Позитивизм Конта обращал на себя вообще очень мало внимания в течение почти целой четверти века после выхода в свет «Курса положительной философии». Его значение, так сказать, заслонялось «Системой положительной политики», которая на первых порах приобрела гораздо более многочисленных последователей, чем чисто научная мысль основателя позитивизма. С этой точки зрения и посторонним наблюдателям могло казаться, что все учение Конта имеет совершенно такой же характер, с каким уже раньше выступали сен-симонисты или Пьер Леру. Нужно было, чтобы среди последователей Конта нашлись люди, которые сумели бы разобраться в идеях этого оригинального мыслителя и выделить из них то, что имело действительную ценность и вполне соответствовало научным

стремлениям эпохи. Такими людьми по отношению к учению Конта были Литтре во Франции и Милль в Англии. Оба они в начале шестидесятых годов издали по сочинению, специально посвященному Конту, чем в значительной мере содействовали распространению его идей в обществе. Литтре познакомился с философией Конта, уже имея репутацию перво-классного ученого. Он сам признавался, что знакомство с «Курсом положительной философии» было поворотной точкой в его жизни, и он стал популяризировать идеи Конта. В 1863 г. он издал обстоятельное сочинение о его философии («Auguste Comte et la philosophie positive»¹), а в 1867 г. основал вместе с Вырубовым специальный орган для позитивизма «Philosophie positive». Одновременно с этим Литтре предпринял второе издание «Курса положительной философии»².

Англия, в которой давным-давно уже не обнаруживалось особой склонности к метафизическому мышлению, выставила в рассматриваемую эпоху трех писателей, поставивших себе однородные задачи в области изучения общественных явлений. Одним из них был Милль, довольно рано испытывавший на себе влияние Конта, другим — Бокль, которого с Контом роднило стремление изгнать метафизику из изучения общественных явлений и применить к ним исключительно научные методы, третьим является Спенсер, достигший наибольшего влияния только в последующие десятилетия.

Джон Стюарт Милль, о политических и экономических взглядах которого уже была речь выше, принадлежит и к числу видных деятелей положительного направления в философии. На него оказали вообще большое влияние взгляды Конта, с которым в 1841 г. он вступил в научную переписку и которому оказывал денежную помощь. Впоследствии Милль посвятил особое сочинение («Огюст Конт и позитивизм», 1865) рассмотрению учения, изложенного в «Курсе положительной философии». Основную точку зрения Конта Милль называет здесь «общим достоянием века», но находит чисто личной собственностью Конта тот вид, который она у него получила. Между прочим, он поставил ему в большую заслугу то, что он занялся разработкой научной методологии общественных явлений: по его

¹ «Положительная философия Огюста Конта» (фр.). — Прим. ред.

² В новейшем историко-философском труде (Арнольди С.С. Задачи понимания истории. М., 1898. С. 354—355) весьма верно отмечено, что обе особенности позитивизма («вполне определенная постановка задач научной философии, устранивающей все посторонние ей примеси» и «первая попытка философски установить и отграничить социологию как особую науку») «при их громадном теоретическом значении не представляли удобной почвы для борьбы общественных партий», и что, с другой стороны, «наиболее научная отрасль позитивизма обнаружила свое подпадение влиянию современного идейного индифферентизма в том, что отказалась от систематического внесения в свою систему какого бы то ни было присущего этому мирозерцанию нравственного учения». Поэтому автор считает едва ли возможным «признать за позитивизмом ту историческую роль в попытках решить современные задачи мысли, которая, казалось, принадлежала бы ему по его замечательной теоретической постановке научно-философских задач».

признанию, Конт «разработал предмет с таким совершенством, что не имеет до сих пор соперника в этом деле», и «с таким глубоким знанием вопроса, которое оставляет желать весьма немногого». Главным философским трудом самого Милля была изданная им в 1843 г. «Система логики», долгое время остававшаяся единственным трудом по систематическому исследованию научных методов. Критерием истины Милль признает только опыт и наблюдение, и для него может называться истинным лишь то умозаключение, которое соответствует реальным фактам. Рассматривая относительное достоинство индуктивного и дедуктивного методов, он считает их задачей открытие законов, которыми управляются все явления окружающего нас мира. Общественные явления в этом случае не составляют исключения, и Милль подверг поэтому особой обработке «логику нравственных наук». Это была чисто контовская тема. «Система логики» выдержала несколько изданий, что указывает на успех ее в обществе, и стала переводиться на иностранные языки. Она приобрела большой авторитет и у естествоиспытателей, которые начали обращаться к ней как к кодексу правил научного мышления.

Родственные позитивизму стремления проявились и в научной деятельности Бокля. Еще восемнадцатилетним юношей Бокль поставил себе задачу написать историю цивилизации и в течение семнадцати лет по десять часов в день работал над своей темой, читая все, что только считал нужным для исполнения своей задачи. Сначала в задуманном труде он хотел охватить всю историю человечества, но потом пришел к мысли, что это задача слишком сложная и обширная, и ограничился историей своей родины. В 1858 г. вышел в свет первый том, в 1861 г. — второй том прославившей его имя «Истории цивилизации в Англии», но этот труд ему не пришлось довести до конца: в 1862 г. Бокль скончался во время своего путешествия на Восток для поправления здоровья, расшатанного чрезмерным мозговым напряжением. Изложению главного предмета своего сочинения Бокль предпослал обширное историко-философское введение, в котором высказал все свои научные убеждения. Главной своей задачей в «Истории цивилизации в Англии» он прямо ставил «сделать для истории нечто равное или, по меньшей мере, подобное тому, что сделано другими исследователями для разных отраслей естествознания. В области природы, — говорит он, — явления, по-видимому, самые неправильные и причудливые, объяснены и подведены под некоторые определенные и общие законы». Одни только историки не занимались таким делом, что и «замедлило возведение истории на степень науки». Одна из причин этого — в большей сложности общественных явлений, изучаемых историей, другая — в господстве среди историков мистических и метафизических представлений. Бокль заимствовал из естествознания идею о закономерности всех явлений, происходящих в мире, и распространил ее на исто-

рию, где, по его словам, прежде все объяснялось или случайностью, или сверхестественным вмешательством. «Дела человеческие, — говорит он, — порождаются предшествующими явлениями, существующими в человеческом духе или во внешней природе», и вся история представлялась ему главным образом изменением человека природою и природы человеком. Мысль о влиянии природы на человека — одна из основных мыслей историко-философского введения Бокля. «Когда мы вспомним, — говорит он, — постоянное соприкосновение между человеком и природой, для нас сделается очевидным, что должна существовать тесная связь между делами человеческими и законами природы. Причина того, что до сих пор естественные науки не имели влияния на историю, заключается в том, что историки не понимали этой связи, а которые и понимали, те не имели сведений, нужных для ее изображения». Известно, что Бокль старался доказать громадное влияние на историю таких природных факторов, как климат, почва, пища, доставляемая флорой и фауной страны, общий вид страны, так или иначе действующий на человеческую психику. Но не в этом только пункте Бокль обращался за помощью к естествознанию. Для историка важно не только знание законов природы и действия ее на человека, но и обладание теми методами, при помощи которых натуралисты совершают свои открытия. Целая глава книги была посвящена им «рассмотрению метода, употребляемого метафизиками для открытия законов духа», и он пришел здесь к тому заключению, что метафизики потерпели неудачу и что «исторический метод изучения законов духа выше метафизического». Это — «единственно остающийся метод, по которому можно изучать явления духа не только как они совершаются в духе отдельного наблюдателя, но и так, как они выражаются в действиях человечества вообще». Бокль даже Конта причислял к метафизикам, хотя и относил его к той небольшой их группе, которые, по его выражению, мыслят более научным образом.

Мысль о необходимости воспользоваться в изучении общественных явлений данными, выводами и методами естествознания сделалась особенно популярной в шестидесятых годах, когда, и с другой стороны, под влиянием великого открытия Дарвина точка зрения биологической эволюции была приложена и к изучению человека. В последнем отношении дарвинизм оказал сильное влияние не только на антропологию как науку о человеке, взятом с чисто физической стороны, не только на психологию, перед которой была поставлена задача подметить зарождение и проследить развитие психической жизни в зоологическом мире, но и на едва лишь зародившуюся социологию, в которую некоторые писатели даже с чрезмерной поспешностью стали переносить основные понятия дарвинизма с целью ими одними объяснить все главные явления общественной жизни и исторического процесса. Впоследствии многие крайности этого направления исчезли, но об-

шее представление о тесной связи между социологией и биологией осталось непоколебимым, и перед научной мыслью, таким образом, явился вопрос о взаимных отношениях, существующих между жизненными и общественными явлениями.

Наконец, нужно отметить, что к этому же периоду относятся первые труды Герберта Спенсера, философия которого достигла наибольшего влияния лишь в следующем периоде, хотя основные мысли его системы были уже тогда высказаны и был начат (1862 г.) главный труд его жизни — «Система синтетической философии». Подобно другим мыслителям своего времени, Спенсер ограничивает область философии одним миром явлений, данных в человеческом опыте: все, что другие философы называют сущностью вещей, он признаёт «непознаваемым». Подобно Конту, он превращал философию в цельное научное познание мира и человека, вследствие чего его система должна была охватить в одном великом синтезе все основные понятия и высшие обобщения отдельных наук, начиная с науки о неорганической природе и кончая этикой. В основу этой «Системы синтетической философии» Спенсер положил идею эволюции, общий закон которой царит у него и в образовании солнечных систем, и в истории человеческих обществ. Особой известности достиг Спенсер лишь после того, когда его «Система синтетической философии» дошла до вопросов социологии и этики, что относится уже к следующему историческому периоду. Вообще можно сказать, что XIX в. оставит после себя две великие всеобъемлющие системы философии, в которых мир одинаково понимается как развитие, но из которых одна может быть названа эволюционизмом идеалистическим или метафизическим, другая — эволюционизмом реалистическим или научным. Говоря это, мы имеем в виду в первом случае философию Гегеля, во втором — философию Спенсера. Одна из них характеризует общее умственное настроение первой половины XIX в., другая — умственное настроение второй половины столетия. Стоит только сравнить обе системы для того, чтобы увидеть с особенной ясностью, в чем заключался умственный переворот середины XIX в.

Конечно, весьма многое из того, что особенно характеризует вторую половину XIX в. в области изучения общественной жизни, получило начало еще в эпоху господства метафизического мышления. Обращение к исследованию реальных общественных фактов, которыми пренебрегали рационалисты XVIII в. и идеалисты первой половины XIX столетия, должно было необходимо привести к сознанию важности исторического материала и исторической точки зрения. Независимо от развития тех взглядов, которые выразились, например, в сочинениях Конта и Бокля, уже до середины текущего столетия существовало историческое направление в юриспруденции и в политической экономии. В свое время обе «исторические школы» были большим шагом вперед, но и в них проявились некоторые

важные недостатки, которые были устранены опять-таки лишь в середине XIX в. под влиянием общего поворота к большему реализму.

В XVIII в. теоретически изучали разные стороны культурной и социальной жизни человека, — например, язык и литературу, право и народное хозяйство, — без всякого отношения к их историческому развитию и даже без достаточного исторического материала. Явления эти брались, как нечто существующее неподвижно, причем какие-либо данные формы этих явлений принимались за основу заключений, распространявшихся на все возможные случаи. Общие законы языка думали вывести из изучения латинского или французского языков, которые брались так, как будто это были системы, сразу получившие свой настоящий вид. Теория литературы со своими общеобязательными правилами, получившими в ложном классицизме абсолютное значение, строилась на основании поэтических произведений древности, в которых видели воплощение вечных законов красоты. Система естественного права создавала вечные нормы справедливости, находя их в римском праве, этом своего рода «писанном разуме». Созданная Адамом Смитом политическая экономия возводила на степень общих и неизменных законов народного хозяйства выводы, которые получались из наблюдений над современным экономическим бытом Англии. XIX в. отказался от такой точки зрения и от соответствующего ей метода мысли, выдвинув вперед идею исторического изучения, и в смысле привлечения к исследованию фактического материала из разных времен, и в смысле рассмотрения культурных и социальных явлений, представленных этим материалом, в их историческом развитии. Можно сказать, что если XVIII столетие называют веком философским, то XIX в. следует обозначить как век истории. С исторической точки зрения изучаются в настоящее время и язык, и мифология, и религия, и философия, и литература, и искусство, изучаются также право и народное хозяйство. В других местах настоящего труда уже приходилось говорить о возникновении исторических школ юриспруденции и политической экономии, одной еще в начале, другой в середине XIX в. В истории общественных наук это были, в высшей степени, важные начинания, но и историческая школа права, и историческое направление в экономической науке страдали, как было сказано, весьма важными недостатками.

Историческая школа в Германии возникла в эпоху политической реакции и даже должна была служить ее целям. В ней историзм принял чисто консервативный характер, роднивший юристов этой школы с романтиками, которые тоже были поклонниками исторических традиций. С другой стороны, историческое направление в политической экономии, возникшее под сильным влиянием исторической школы права, тоже отличалось консерватизмом, нередко оправдывая настоящее с ссылкой на его необходимость как на естественный результат прошедшего. Поэтому

представители обеих школ не обнаружили большого понимания современности, которое вообще возможно лишь под условием некоторого предвосхищения будущих явлений, идущих на смену настоящему. В чисто теоретическом отношении историческая школа права отразила на себе современное идеалистическое мирозерцание, сделав из «народного духа», творящего право, какую-то мистическую силу. Но это была, по крайней мере, все-таки некоторая теория. Историческая школа в политической экономии не создала даже никакой общей теории. Ей удалось собрать громадный исторический материал, но, собственно говоря, он не подвергся настоящей методологической обработке, которая привела бы к какой-нибудь теории. Даже современные сторонники этого направления сознаются в том, что в нем исполнение не соответствовало замыслу. Внесение исторической точки зрения в юриспруденцию и в политическую экономию было реакцией против исключительного господства абстрактной идеологии в обеих науках, но реакция эта стала заходить (особенно в историческом направлении политической экономии) слишком далеко, потому что наиболее рьяные сторонники историзма стали даже отрицать всякое научное значение за дедукцией, а между тем без последней, конечно, трудно было прийти к выработке какой-нибудь определенной и последовательной теории. Между прочим, это сказалось на известном оппортунизме экономистов исторической школы, которые оказались не в состоянии противопоставить явлениям современности какую-либо систему принципов. Конечно, великая их заслуга заключалась в том, что они выставили на вид историческую относительность экономических форм и принципов, но они слишком злоупотребляли этим понятием относительности, прикрывая им отсутствие у себя определенной теории. Впрочем, и сама эта идея относительности не была исключительной собственностью школы, потому что к той же самой идее стали независимо от нее приходить и социалистические противники классической школы экономистов. Наконец, весьма важный недостаток исторического направления заключался в том, что оно, опять-таки односторонне понимая требования историзма, сравнительно очень мало интересовалось и занималось современностью, направляя преимущественно свое внимание на более или менее далекое прошлое. Вот почему и в этом направлении экономического (а также и юридического) мышления необходим был переворот. В юриспруденции он и был сделан главным образом Рудольфом Йерингом, подвергшим критике основные воззрения исторической школы права. Будучи сам крупным историком права (особенно в сочинении «Дух римского права на разных ступенях его развития», 1852–1854), он восстал против теории мистического «народного духа» для того, чтобы вывести как частно-правовой, так и государственный порядок людских отношений из борьбы индивидуумов или социальных групп, объединен-

ных общностью интересов. С этой точки зрения право перестало рассматриваться, как продукт народного духа, безболезненно и мирно развивающийся из моральных принципов, изначально вложенных в народное сознание. Наоборот, Йеринг стал учить, что право создается личностью путем борьбы за обеспечение своих интересов. Позднее в своих сочинениях начала восьмидесятых годов («Борьба за право» и «Цель в праве») он особенно подробно развил эту теорию, которая, в общем, отличается несомненным реализмом и способна охватить все исторические эпохи, не исключая и современности. Мы увидим несколько далее, что аналогичное положение занял по отношению к исторической школе экономистов Карл Маркс.

Новый научный дух стал проникать и в социальные теории, которые раньше были соединены большей частью со стремлениями метафизического и даже религиозного характера. Если применить к истории общественных теорий знаменитую формулу Конта, то можно сказать, что вся эта история до середины XIX в. прошла две первые свои стадии. Подобно тому, как в эпоху Реформации сектанты стремились создать новые общественные отношения, ссылаясь на волю Божию, данную во внешнем или внутреннем откровении, так начиная с XVIII в. стали ссылаться на естественное право, открываемое чистой деятельностью разума. Но в обоих случаях общественные реформаторы были далеки от мысли о необходимости опираться на положительное знание законов, управляющих действительной общественной жизнью. Лишь в середине XIX в. стала утверждаться и распространяться та истина, что лучшей руководительницей в деле сознательного и преднамеренного обновления и преобразования общественной жизни может быть только наука.

Взгляд на то, что общественная деятельность должна руководиться указаниями строгой науки и что вообще решение общественных вопросов должно быть поставлено на научную почву, в середине XIX в. имел уже немало представителей. Мы видели, например, что в данном вопросе к Конту довольно близко подходил Луи Блан. Прудон прямо ставил себе задачу дать социализму чисто научное обоснование, и в этом отношении он является ближайшим предшественником Маркса и Энгельса. В своей книге о французском социализме и коммунизме Лоренц Штейн тоже переводил вопрос на почву чисто научного исследования общественных отношений и течений и выражал желание, чтобы немецкая наука работала именно в этом направлении. Позднее Лассаль равным образом особенно подчеркивал, что его работы в области социальных вопросов имеют чисто научный характер. Наконец, Маркс и Энгельс прямо противопоставили свою теорию, как «социализм научный», прежнему «утопическому социализму».

Различие между утопическим и научным социализмом было особенно подробно рассмотрено Энгельсом в его полемике с берлинским профессо-

ром Дюрингом¹. «По своей теоретической форме, — говорит Энгельс, — новейший социализм с первого взгляда представляется лишь дальнейшим развитием и, пожалуй, только более последовательным применением принципов, провозглашенных крупными философами XVIII столетия». Эти философы были рационалисты, делавшие из разума единственное мерило всех вещей и с точки зрения идей разума критиковавшие и отрицавшие действительность², но «это царство разума было, — говорит далее Энгельс, — не чем иным, как идеализированным царством буржуазии». Однако уже и тогда, да и раньше, существовал антагонизм между имущими и неимущими, отражавшийся, с одной стороны, в революционных попытках народных масс, с другой — в созидании утопических изображений идеального общественного строя. К числу авторов подобных утопий в XIX в. Энгельс относит Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Все они «сходились в том, что никогда не выставляли себя защитниками исторически развившегося тем временем пролетариата». Подобно философам XVIII в., они хотели начать эпоху обновления «освобождением всего человечества, а не данного только общественного класса», хотя, с другой стороны, они и нашли порядок, созданный на основах идей XVIII в., столь же неразумным и несправедливым, как и порядок феодальный. Но они думали, что если человечество не руководилось истинными принципами разума и справедливости, то лишь по той причине, что их не знало. С этой точки зрения, вся беда заключалась в том, что не появлялось гениального человека, который провозгласил бы истину; само появление таких людей, какими и считали себя великие утописты начала XIX в., казалось им просто счастливой случайностью, а не результатом какого-либо исторического процесса. В этом смысле утопический социализм вполне соответствовал политическому рационализму прошлого столетия. Однако подобно тому, как последний потерпел крушение в эпоху террора, приведшего к деспотизму, так и утопический социализм не мог сделаться основанием нового общественного строя. Сен-Симон, Фурье и Оуэн констатировали только неудовлетворительность блестящих обещаний философов XVIII в., но в то время, когда они явились, продолжала еще господствовать мысль, что найти средства к устранению недостатков общественного строя есть только задача мыслящего разума: «Требовалось именно изобрести новую и наиболее совершенную систему человеческих отношений и ввести ее в существующее общество путем пропаганды, равно как путем примера образцовых учреждений, созданных по новой системе. Но, — продолжает Энгельс, — эти новые социальные системы были с самого начала обречены на то, чтобы

¹ В сочинении «Herrn E. Dühring's Umwälzung der Wissenschaft», из которого позднее было сделано извлечение под заглавием «Развитие социализма из утопии в науку» («Die Entwicklung des Socialismus von der Utopie zur Wissenschaft»).

² О действительно рационалистическом характере философии XVIII в. см. т. III.

оставаться утопиями, и чем тщательнее развивались подробности этих систем, тем все более и более становились они чистыми фантазиями». «Социализм в представлении утопистов, — говорит еще Энгельс, — является выражением абсолютной истины, разума и справедливости, и нужно только открыть его, а там уже он своей собственной силой покорит вселенную. Но поскольку абсолютная истина не зависит от условий времени и пространства и от исторического развития человечества, совершенно случайно должно быть, когда и где произойдет открытие этой истины». Чтобы сделаться наукой, социализму нужно было, по собственному выражению Энгельса, «стать на реальную почву».

Такой почвой, по мнению Энгельса, была новейшая немецкая философия, нашедшая свое завершение в системе Гегеля. Величайшей заслугой гегельянства он считает то, что оно поняло весь мир, как процесс непрерывного движения, изменения и развития и стремилось постигнуть его закономерность. Конечно, Энгельс сочувствовал лишь левому гегельянству, и главным образом тому видоизменению, которое в нем произошло под влиянием сближения с французской социальной мыслью. Научный социализм, по определению Энгельса, таким образом основывается на идее закономерного исторического развития, которое совершенно устраняет точку зрения рационалистов XVIII в. и утопистов XIX столетия, веривших в то, что стоит только открыть или создать в своем уме справедливую систему человеческих отношений для того, чтобы тем самым вызвать и соответственные изменения в реальном общественном мире. Полемизируя с Дюрингом, Энгельс только более систематически изложил взгляды, которые и ранее уже довольно определенно высказывались им и Марксом, когда они критиковали воззрения современных им социалистов, очень часто действительно стоявших на такой точке зрения, которая совсем не считалась ни с законами исторического развития, ни с условиями современности. Достаточно только вспомнить, что Фурье считал возможным преобразовать социальный строй всего человечества в какие-нибудь шесть лет. Вспомним также попытку икарійцев практически осуществить коммунистическую утопию Кабе, попытку, к которой так неодобрительно отнесся Маркс. Верно и то, что в данном случае социальный утопизм был своеобразным продолжением рационализма XVIII в. с его верой в то, что одной деятельностью разума можно все объяснить и все преобразовать: объяснить без указаний опыта и наблюдения, преобразовать, не считаясь с условиями места и времени. В этом смысле, действительно, и на социализме сказалось влияние научного переворота середины XIX в.

Весьма важным обстоятельством нужно считать и то, что только что рассмотренным направлением было выдвинуто вперед изучение экономических основ социальной жизни. Эта перемена стоит в тесной связи с отмеченным выше экономическим направлением в исторической науке, ко-

торое приобретает все более и более важное значение в сознании историков и вообще образованных людей. Мы уже видели, как зародилась даже целая социологическая теория («экономический материализм»), сводящая всю социальную эволюцию к чисто экономическому процессу. В односторонности, с какой эта теория взялась объяснить все общественные явления из одного начала, нельзя не видеть реакции против другого столь же одностороннего взгляда, который всю социальную эволюцию сводил в последнем анализе к чисто умственному процессу. В то, что историей управляют главным образом идеи, верили не одни гегельянцы, но и мыслители, сознательно стремившиеся к научному реализму. Недаром, например, Конт за главный закон социальной эволюции принимал смену теологического мирозерцания метафизическим и метафизического — позитивным. Он даже вполне сознательно становился на ту точку зрения, с которой преобладающим элементом общественного развития, дающим первоначальный толчок другим элементам, должен был считаться элемент интеллектуальный. Он прямо говорил, что умственную эволюцию следует без колебания поставить на первом плане, как основу всего развития человечества. Это свое положение Конт оправдывал тем, что вообще социальный организм в последнем анализе основывается на совокупности известных взглядов в обществе. По его мнению, изменение этих взглядов должно оказывать сильное влияние на последовательные изменения жизни человечества. Вот почему он и считал возможным исследовать социальную эволюцию, опираясь главным образом на теорию развития человеческого духа. Сущность же этой теории и заключалась для него в том, что человеческий ум во всяком роде умозрений проходит через три стадии развития: теологическую, метафизическую и положительную. В его теории, далее, каждой из этих стадий соответствуют не только различные духовные вожди общества, т. е. жрецы, метафизические философы и ученые, но и различные светские вожди общества, именно: воины, легисты и промышленники. Материальная эволюция человечества, заключающаяся в переходе общества от военного устройства к устройству промышленному, является у Конта лишь результатом эволюции духовной. Военная власть представлялась ему лишь дополнением власти жреческой, вытекающим из того же умственного состояния, которое породило жречество. Военный режим, по его словам, не мог бы даже возникнуть и, в особенности, установиться, если бы он не опирался на теологическую санкцию. Такое же взаимоотношение Конт видел между наукой и промышленностью нашего времени. Подобно тому, как в теоретической области метафизика является у него лишь переходной ступенью от теологии в науке, так и в практической жизни власть от воинов переходит к индустриалам не непосредственно, а через юристов, между которыми и метафизиками Конт находил также внутреннее сродство. Наконец, вспомним и о том, что, по мнению Конта, главная беда совре-

менности заключается в умственной анархии, в отсутствии безраздельно господствующего мирозозерцания, и что одной из задач своей философии он ставил создание такого мирозозерцания, которое могло бы лечь в основу новой общественной организации. В этом отношении он несколько не отличался от утопических социалистов, и особенно его «Система положительной политики» была данью его ума утопическим стремлениям эпохи. Если от Конта мы перейдем к Боклю, то увидим и у него то же самое. Несмотря на весь «натурализм» его исторической теории, в конце концов и он был убежден в том, что прогресс человечества зависит от успеха, с каким разрабатываются наши знания, и от степени распространения этих знаний. И в его представлении исторического процесса умственное развитие выдвигается на первый план. Горячий поклонник естествознания, Бокль старался даже доказать тот тезис, что успехи естественных наук оказали громадное влияние на рост демократических стремлений и что вся Французская революция была порождена умственным переворотом, в котором видную роль он отводил влиянию именно естествознания. В данном случае мы имеем дело с несомненным преувеличением той основной идеи, по которой ближайшими причинами политических переворотов являются умственные перевороты. В главе о ближайших причинах Французской революции Бокль дает нам целую историю успехов естествознания во Франции с середины прошлого столетия, потому что ему нужно было доказать следующее положение: «Умы Франции во второй половине XVIII в. сосредоточились с беспримерной ревностью на изучении внешнего мира и тем способствовали обширному движению, которого сама революция была только последствием». «Французской революции, — говорит еще Бокль, — как всем великим переворотам в мире, предшествовало полное изменение в обычаях и понятиях народного ума. Но сверх того, — продолжает он, — одновременно с этим совершилось обширное социальное движение, которое тесно связано с умственным и настолько составляет часть его, насколько оно повело к одинаковым результатам и порождено одинаковыми причинами». По мнению Бокля, первым сильным ударом, нанесенным сословным отличиям французского общества, был «беспримерный толчок, данный изучению естественных наук». По этому-то случаю Бокль и развивает положение, что естественные науки, по существу своему, демократичны и что потому громадные успехи естествознания должны были преобразовать французское общество. Подводя итоги под рассмотрением причин Французской революции, Бокль обвиняет даже других историков в том, что они не обратили никакого внимания на указанную им причину. «Наперекор здравой философии, — говорит он, — можно сказать даже, наперекор здравому смыслу, — историки упорно пренебрегают теми великими отраслями естествоведения, в которых каждая образованная страна наиболее ясно выказывает действия ума человеческого, а сле-

довательно, и наиболее рельефно выставляется и общее направление умов. Так мы видели, что чрезвычайный толчок, данный изучению внешнего мира, был тесно связан с демократическим движением, низвергшим учреждения Франции. Но начертать эту связь историки были неспособны, ибо они были незнакомы с различными успехами естествознания»¹. Таким образом, и Конт, и Бокль одинаково сводили исторический процесс к чисто умственному развитию, которое притом понимали преимущественно в смысле развития научных знаний, и для обоих общественные перемены являлись лишь результатами разных идейных течений. Между тем оба они сознательно выступали реалистами, подчеркивая на каждом шагу, что отвергают всякие метафизические начала, основываются исключительно на наблюдении над действительностью и широко пользуются приемами и выводами естествознания. Понятно, что и у Конта идеи, как движущие силы истории, не имели ничего общего с идеями в том смысле, в каком это слово употребляли метафизики, т. е. это не были для них какие-то абстрактные сущности, имеющие бытие вне и независимо от человеческого сознания, а были простые человеческие мысли, которым они только приписывали первенствующее и даже господствующее значение в общественном развитии. В данном случае они только разделяли общераспространенное мнение, которому одинаково подчинялись и материалисты. Хотя, по их представлению, мысль была лишь таким же продуктом мозга, каким желчь является по отношению к печени, тем не менее и они в умственном процессе видели основную и главную силу человеческой истории. В сущности, на ту же точку зрения становились и социологические романтики вроде юристов исторической школы, веривших в народное сознание как в основной источник всех правовых форм частного и государственного быта. Несомненно, что такая общая историко-философская концепция была односторонней. Более внимательное отношение к историческому опыту, который в изобилии давался самой современностью, должно было породить и другую точку зрения: именно социальная борьба нашей эпохи заставила искать объяснения и таких событий, как Великая французская революция, и разных общественных перемен не в истории человеческого сознания, а в истории внешнего, материального быта общества. Новая точка зрения в том и заключалась, что за этим бытом было признано первенствующее значение и даже было объявлено, что вся история идей есть не что иное, как простое отражение в человеческом сознании перемен, происходящих в материальных условиях человеческого существования. Этот новый взгляд на историю с самого начала был противопоставлен не вообще прежнему пониманию вопроса, а тому его пониманию, которое по своей метафизичности было дальше всего от действительности.

¹ Вспомним и философию истории Луи Блана, по которой общество управляется в своем развитии сменой трех принципов.

Новый взгляд, о котором идет речь, получил название экономического материализма. Родоначальником этого направления был Маркс, который, как мы уже видели в своем месте, начал свою литературную деятельность в левом лагере гегельянства, но весьма рано испытал на себе влияние французского социализма. Известно, что в левом гегельянстве развитие мысли шло от идеализма к материализму, и Маркс сам прошел эту дорогу, но те материальные отношения, которые в своем мирозерцании он выдвинул на первый план, были вовсе не физического свойства: это была не природа, а экономический строй общества. Понятие об обществе, взятом с чисто экономической точки зрения, Маркс, собственно, заимствовал у французских социалистов. У французских же историков он научился смотреть на историю общества, как на борьбу классов, в которой самими же этими историками все более и более подчеркивался экономический момент. В эпоху Реставрации господствовала мысль о борьбе между аристократией и буржуазией, а во время июльской монархии особое внимание было обращено на борьбу буржуазии и пролетариата. Один из современников Маркса уже раньше, нежели он сам, занялся вопросом: именно Лоренц Штейн указал на то, что социальные учения эпохи не были простыми идеологическими построениями, но были порождены тем же экономическим развитием, которое создало пролетариат. Далее, еще сен-симонисты указывали на совершающуюся в истории эволюцию положения работника в обществе: за рабством следует крепостничество, уступающее место вольнонаемному труду, который сам должен будет уступить место новой форме, получившей у них название *travail sociétaire*¹. Маркс проникся всеми этими идеями, подвергши их переработке. Сохранив из философии Гегеля представление об истории, как процессе диалектическом по своей форме, он содержание этого процесса понял не идеалистически, а материалистически — в том смысле, что сущность всего процесса была сведена им к изменениям в материальной жизни общества. Уже в статьях, которые Маркс печатал в журнале Руге, и в своей полемике против Прудона он проводил ту мысль, что экономия общества является основой его культуры и политики. Ту же самую точку зрения Маркс проводил и в «Коммунистическом манифесте» 1848 г. В начале пятидесятых годов Маркс применил свою теорию классовой борьбы на почве экономических интересов к рассмотрению событий французской и немецкой революций 1848 г., и в данном случае он действительно имел дело с такими событиями, которые вполне научно объяснялись с этой точки зрения. Но он пошел еще дальше, сделав из своего экономического материализма всеобъемлющую историческую теорию, которую он, однако, нигде и никогда не доказывал с общетеоретической точки зрения. Свой новый взгляд на

¹ «Трудовое товарищество» (фр.). — Прим. ред.

историю он весьма решительно заявил в предисловии к «Критике некоторых положений политической экономии» (1859 г.), где вкратце сам рассказывает, как он пришел к своей теории. Саму идею свою он кратко формулирует здесь следующим образом: «В отправлении своей общественной жизни люди вступают в определенные, неизбежные, от их воли независимые отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития материальных производительных сил. Сумма этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальное основание, на котором возвышается правовая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные степени общественного сознания». Отсюда Маркс выводит, что «не сознание людей определяет формы их бытия, но, напротив, общественное бытие определяет формы их сознания». Сам исторический процесс с этой точки зрения объясняется тем, что «на известной ступени своего развития материальные и производительные силы общества впадают в противоречие с существующими производственными отношениями или, употребляя юридическое выражение, с имущественными отношениями, среди которых они до сих пор действовали: из форм развития производительных сил эти отношения делаются их оковами, и тогда наступает эпоха кризисов». Здесь же Маркс советует «всегда иметь в виду разницу между материальным переворотом в экономических условиях производства, который можно определить с естественно-научной точностью, и идеологическими формами, в которых люди воспринимают в своем сознании этот конфликт и в которых выступают с ним в борьбу». Но этот совет, в сущности, обозначает только то, что историк, оценивая значение исторических переворотов, не должен полагаться на то, как понимались эти перевороты современниками, но обязан самостоятельно исследовать их реальные причины и следствия. Статьи самого Маркса о событиях 1848—1850 гг. во Франции и в Германии могут считаться образцами такого реального исследования, но они отнюдь не доказывают правильности той точки зрения, будто весь исторический процесс сводится исключительно к одной экономической эволюции. Впрочем, в свое время эта идея и не получила дальнейшего развития в смысле сколько-нибудь разработанной социологической теории. В тот период, который мы теперь рассматриваем, и даже позднее социологическая мысль гораздо более возбуждалась идеями Конта и Бокля, Дарвина и Спенсера, чем только что изложенной концепцией Маркса: литература экономического материализма стала развиваться только в последнем десятилетии XIX в. Самое важное сочинение Маркса, «Капитал», первый том которого вышел в свет в 1867 г., ничего не прибавило к брошенной им мысли об экономической основе исторического процесса, так как сочинение это и не имеет ближайшего отношения к вопросу о том, в чем заключается и какими силами создается исторический процесс. Социологическое зна-

чение экономического материализма заключается в том, что он явился необходимым дополнением к теории, слишком односторонне сводившей исторический процесс к одной идейной эволюции.

В последнем отношении, впрочем, гораздо большее значение имеют специальные историко-экономические исследования Маркса, стоящие в тесной связи с двумя научными течениями в этой области, возникшими в середине XIX в. Одним из этих течений было историческое направление в политической экономии, о котором уже прежде у нас была речь. Другое течение заключается в постепенном возникновении самостоятельного экономического направления в исторической науке. В середине нашего столетия вообще произошло сближение между политической экономией и исторической наукой, которые до того времени одна от другой стояли очень далеко. Это сближение заключалось в том, что экономисты стали работать над историческим материалом с исторической точки зрения и историческим методом, а историки обратили особое внимание на экономические явления народной жизни. В обоих случаях ученые, пролагавшие новые пути в своих областях, находились под непосредственным или, по крайней мере, косвенным влиянием самой жизни, которая, с одной стороны, заставляла сильно сомневаться в общей применимости положений абстрактной школы экономистов, а с другой — все более и более обнаруживала важность экономических отношений даже в истории чисто политических и идейных движений. Социальное движение середины XIX в. вообще, и в особенности 1848 г., имело в последнем отношении решающее значение для экономического направления исторической науки во второй половине XIX в. Понятно, что Маркс, который глубоко анализировал экономическую подкладку революции 1848 г., должен был один из первых отразить новую стадию социальной мысли в области исторического исследования. Между прочим, он и сделал это в конце рассматриваемого периода в первом томе своего «Капитала».

Здесь не место излагать экономическую теорию Маркса, которая сводит предпринимательскую прибыль к излишку рабочего времени, остающемуся от количества труда, необходимого для содержания самого рабочего. Кроме чисто теоретической части «Капитал» Маркса имеет и часть историческую, посвященную вопросу о происхождении современного капиталистического строя. Поставив себе такую задачу, он нашел, что удобнее всего будет это сделать на примере Англии, в которой данный процесс совершился ранее и полнее, чем где бы то ни было. В этом сочинении Маркс собрал массу фактов и подверг их весьма тщательной обработке, причем задача всего труда была определена самим автором, как «раскрытие экономического закона развития новейшего общества». Хотя понятие развития экономической жизни мы находим уже в исторической школе, однако в ней не было сделано ничего подобного тому, что совершил Маркс

в исторической части своего «Капитала». Экономисты исторической школы, тоже собравшие громадную массу материала, не пришли ни к какой определенной теории, которая объясняла бы сущность самой экономической эволюции. Общая теоретическая идея Маркса в данном вопросе заключается в том, что основу экономического развития составляет рост производительных сил и что совершающиеся изменения в этих силах вызывают необходимым образом и изменения в формах производства, обмена и распределения продуктов, — изменения, в свою очередь, так сказать, перестраивающие взаимные отношения людей, участвующих в указанных процессах народного хозяйства. На этих отношениях и основывается существование определенных классов, между которыми происходит борьба за сохранение или за изменение существующих форм производства, обмена и распределения, так как эти формы являются для одних выгодными, для других, наоборот, невыгодными. Вместе с этим в соответствии со своими взглядами, выраженными раньше, Маркс указывал на то, что лишь в том случае борьба может привести к изменению в существующих экономических формах, когда, с одной стороны, развитие производительных сил допускает возможность перехода на новую ступень, а с другой — существуют общественные классы, имеющие интерес в этом переходе на новую ступень и ведущие за это борьбу. Конечно, это совсем уже другой вопрос, насколько можно считать верной ту мысль, что весь исторический процесс со всеми своими культурными и политическими переменами сводится к одной экономической эволюции. Точно так же должен был возникнуть спор и по поводу того, насколько формула развития капитализма, извлеченная из истории одной страны, применима без всяких оговорок к другим странам. Важно было то, что историческое изучение экономической эволюции на этот раз привело к цельному объяснению материального процесса, совершающегося в общественном развитии, и тем была устранена односторонность более ранних историологических концепций, сводивших всю социальную эволюцию к чисто идейным переменам.

Весьма естественно, что трагические события конца сороковых годов, с одной стороны, и новые идейные течения, восторжествовавшие после реакции пятидесятых годов — с другой, должны были отразиться и на взаимных отношениях между жизнью и наукою и в области истории. Если опыт жизни сильно повлиял на исторические воззрения, заставив трезвее смотреть на многие явления прошлого, то и изменения, которые должны были произойти в исторических взглядах, не могли не отразиться на суждениях о современности. Историческое понимание действительности, вырабатывающееся философией и наукой XIX в., можно считать одним из важных приобретений нашего времени. С середины XIX в. это понимание сделало громадные успехи. Так как исходным пунктом всей истории Западной Европы за последнее столетие была революция 1789 г., то на исто-

риогрaфии этого события легко проследить смену разных общественных настроений и умственных течений XIX в. Вполне в согласии с общей темой настоящей главы можно отметить то обстоятельство, что современная научная постановка истории Французской революции ведет начало лишь из пятидесятих годов, когда впервые и этот вопрос был поставлен на почву объективного и критического исследования.

В 1850 г. Лоренц Штейн издал в трех томах «Историю социального движения во Франции», в которой указал, между прочим, на то, что события только что происшедшей революции оправдали его предсказания¹: «Революция, видневшаяся на горизонте, разразилась, и никто не дерзает сомневаться в том, что она действительно была социальной». С той точки зрения, что «устройство и управление государств подчинено элементам и движениям общественного порядка», Штейн и взялся рассмотреть историю социальных движений во Франции с 1789 по 1850 г. Могушественное действие Французской революции 1789 г. он объяснял тем, что «те отношения, которые она разрушила во Франции, равным образом тяготели над народами и в других странах Европы». По мнению Штейна, она победила не столько тем, что ею было вызвано, сколько тем, что ей предшествовало. Отсюда большая важность изучения дореволюционных порядков, тем более что «состояние общества, из которого она произошла, не могло возникнуть в какие-нибудь несколько лет». С другой стороны, и новое общество не могло сложиться сразу, и Штейн поставил себе именно задачу исследовать, каким образом старое феодальное общество превратилось в современное буржуазное общество (*industriellee Gesellschaft*), причем он довел свое изложение до издания французской конституции 4 ноября 1848 г. Точку зрения Штейна можно назвать эволюционной: он за внешней катастрофой видит процесс внутреннего развития и связывает настоящее с прошедшим, как естественное его продолжение. История объясняется не из смены противоположных принципов, как, например, у Луи Блана, а из изменений, происходящих в недрах общественных отношений. То же самое мы и видим в знаменитом сочинении Токвиля «Старый порядок и революция», с которого начинается новая эпоха в историографии Французской революции. В 1789 г. французы совершили величайшее усилие, какое когда-либо предпринималось целым народом для того, чтобы порвать связь с прошлым и сделаться совсем иными, чем они были прежде, но они в этом успели гораздо меньше, нежели об этом вообще думают и сами они воображают. Изучая старый порядок по такому материалу, к которому прежние историки не обращались, Токвиль убедился, что помимо своего желания его соотечественники «удержали из старого порядка большую часть чувств, привычек и даже идей, при по-

¹ В сочинении «Социализм и коммунизм современной Франции». См. выше.

средстве которых они вели революцию, разрушившую этот порядок, и что они даже пользовались его обломками для постройки здания нового общества». Чем более знакомился он с дореволюционной Францией, тем все более находил в ней черты, поражающие современного наблюдателя. Задача, которую поставил себе Токвиль, заключалась в том, чтобы выяснить, «почему эта великая революция, подготавливавшаяся одновременно почти на всем европейском континенте, разразилась во Франции раньше, чем в других местах, почему она как бы сама собой вытекла (*est sortie comme d'elle même*) из общества, которое она должна была разрушить, и почему, наконец, старая монархия могла пасть столь внезапно и так бесповоротно». При этом Токвилю, конечно, предстояло «различить, в каких отношениях революция походила на то, что ей предшествовало, и в чем между ними была разница». Прежние историки обращали внимание только на вторую сторону, исходя из понятия катастрофы и не предчувствуя даже, что старый порядок не только вызвал революцию, которая его унесла, но и подготовил новый общественный строй, его сменивший и вместе с тем унаследовавший от него гораздо более основных черт, чем это могло казаться с первого взгляда. И у Лоренца Штейна, и у Токвиля, одинаково видящих в революции 1789 г. лишь наиболее ранний симптом процесса общественной эволюции, которая совершалась во всей феодальной Европе, основные взгляды на революцию стоят в связи с тем, что их раньше поражало в современности. Один из них заинтересовался социальным движением на экономической подкладке, другой — демократическим движением чисто политического характера¹. Токвиля главным образом поражало зрелище исторического движения, направившегося на «разрушение аристократии», причем тогдашнее состояние Франции (т. е. первые годы второй империи) внушало ему мысль, что из всех человеческих обществ наименее способны избежать абсолютного правления те, в которых более не существует и вновь не может образоваться аристократии, и что нигде деспотизм не может приносить более губительных плодов, как именно в таких обществах. Прежняя мысль Токвиля о том, что демократия далеко не всегда является синонимом свободы, получила новое подтверждение в демократическом цезаризме Наполеона III. Но и в новом своем сочинении Токвиль признал, что действие силы демократического движения можно регулировать, и даже затормозить, но победить нельзя. Он был первым французским историком, применившим к изучению Французской революции кроме нового, архивного материала эволюционную точку зрения и критицизм, исключающий, с одной стороны, преклонение перед национальной традицией, т. е.

¹ Любопытно, что на «Старом порядке и революции» не отразилось влияния 1848 г. с его социальной борьбой, хотя о последней Токвилю и приходилось высказываться (см. выше).

в сущности, ходячими взглядами¹, а с другой — предвзятые мнения в форме идеологических построений, под которые подгоняются исторические факты, тем самым искажаясь или получая ложное освещение. Этот критицизм тоже характеризует прогресс исторической науки².

¹ Точка зрения Мишле, о чем см. выше.

² Кроме сочинений Лоренца Штейна и Токвиля в историографии Французской революции важны из этой эпохи труды Кине и Зибеля. Французский историк Кине в своей книге (см. выше) ставит вопрос, почему, несмотря на громадность и напряженность усилий, какие сделали французы для того, чтобы добиться свободы, несмотря на все эти революции и жертвы, они не добились свободы, почему люди, удивительно умевшие умирать за свободу, не умели сделаться свободными. Подобно Токвилю, Кине указывает на то воспитание, которое французы получили при старом порядке. Немецкий историк Зибель в своей большой «Истории революционной эпохи» (1853 г. и след.) первый рассмотрел историю Французской революции с общеевропейской точки зрения в связи с падением Польши и разложением Священной Римской империи, но эту сторону своей темы он разработал внешним только образом. Принадлежа к малогерманской партии, он взглянул и на международные отношения 1789-го и следующих годов слишком с прусской точки зрения, а во внутренней истории Франции за эту эпоху интересовался исключительно условиями, при которых правильно функционирует представительная система. Зибель писал свою книгу, когда в Пруссии впервые применялся конституционный режим, а политические его взгляды лучше всего определяются тем, что с 1867 г. в рейхстаге он всегда подавал свой голос с национал-либералами. (Более обстоятельные данные о развитии исторической науки в XIX в. будут даны в VI т.)

Содержание

Предисловие	2
Июльская революция	5
I. Общий взгляд на состояние Западной Европы перед Июльской революцией . . .	7
II. Июльская революция	34
III. Влияние Июльской революции на Европу	52
IV. Парламентская реформа 1832 года в Англии	70
V. Торжество буржуазии после 1830 года	85
Тридцатые и сороковые годы	107
VI. Борьба с революцией во Франции в тридцатых годах	109
VII. Внешняя политика июльской монархии	135
VIII. Реакция тридцатых годов в Германии	156
IX. Общий очерк политических, социальных и национальных движений в 1830—1840-х годах	172
X. Английское законодательство тридцатых и сороковых годов	188
XI. Чартистское движение в Англии	212
XII. Французский либерализм времен июльской монархии	232
XIII. Французский социализм и коммунизм времен июльской монархии	254
XIV. Идеи и настроение французской демократии времен июльской монархии . . .	284
XV. Немецкий литературный и политический радикализм тридцатых и сороковых годов	308
XVI. Немецкие экономические и социальные учения 1830—1840-х годов	335
XVII. Славянское возрождение, панславизм и мессианизм	357
Революция 1848 года	381
XVIII. Состояние Западной Европы накануне 1848 года	383
XIX. Министерство Гизо и Февральская революция	411
XX. Начало Второй республики и июньские дни	439
XXI. Немецкая революция 1848 года и франкфуртский парламент	461
XXII. Падение немецкой революции и конец франкфуртского парламента	489
XXIII. Славянская, венгерская и итальянская революции	515
XXIV. Французская конституция 1848 года и декабрьский переворот	532

Пятидесятые и шестидесятые годы 559

XXV. Общая реакция пятидесятих годов	561
XXVI. Господство Наполеона III в Европе и во Франции	589
XXVII. Объединение Италии	607
XXVIII. Объединение Германии.	631
XXIX. Англия до второй парламентской реформы.	675
XXX. Крестьянские реформы середины XIX века	700
XXXI. Социальное движение в пятидесятих и шестидесятих годах	720
XXXII. Умственный переворот середины XIX века	756